UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00306744 4

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER
COLLECTION

purchased from
a gift by

THE DONNER CANADIAN
FOUNDATION

LIBRARY
MAY 2 1968
UNIVERSITY OF TORONTO

PG
3337
P2
1888
t.5

Полное собраніе сочиненій

Ивана Ивановича ПАНАЕВА.

БИБЛІОТЕКА
Николая Михайловича
БЫКАЙЛОВА
По Хвоп Гр. № 415

Изданіе Н. Г. Мартынова.

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

ИВАНА ИВАНОВИЧА

ПАНАЕВА.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1889.

И. И. Панаевъ.

I.

ОЧЕРКИ

ИЗЪ

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

II.

СТИХОТВОРЕНІЯ И ПАРОДІИ.

Сорокъ пять очерковъ изъ Петербургской жизни.— Семь стихотвореній и пятьдесятъ пять пародій, съ десятью приложеніями.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе книгопродавца Н. Г. МАРТЫНОВА.

1889.

Типографія В. Безобразова и Комп. (Вас. Остр., 8 л., № 45).

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

„Очерки и замѣтки Новаго Поэта о петербургской жизни“ печатались И. И. Панаевымъ въ каждой книжкѣ „Современника“, начиная съ № 12-го 1855 г. Въ 1860 г. онъ сдѣлалъ изъ нихъ выборъ, кое-что переправилъ и очень многое сократилъ, преимущественно изъ того, что имѣло интересъ минуты, но утратило свое значеніе съ теченіемъ времени. Эти „избранныя“ самимъ авторомъ статьи были изданы въ 2 томахъ, подъ заглавіемъ „Очерки изъ Петербургской жизни Новаго Поэта“.

Мы ихъ печатаемъ въ томъ самомъ видѣ, какой имъ далъ авторъ при послѣднемъ изданіи, и хотѣли было пополнить ихъ „очерками“, написанными послѣ того, помѣщенными въ „Современникѣ“ 1860—1862 г., но остановились по слѣдующимъ соображеніямъ: 1) если напечатать эти статьи сполна, то онѣ займутъ мѣста вдвое болѣе, чѣмъ все выбранное Панаевымъ за цѣлое пятилѣтіе, и будутъ изобиловать тѣми мелочами, которыя авторъ устранялъ при указанномъ выборѣ статей 1855 — 1859 г., 2) сокращать же ихъ, по примѣру автора, оставляя отъ цѣлой статьи только ея часть, мы не имѣемъ права, не говоря уже о томъ, что тутъ являлся бы совершенный произволъ выбора.

Все это заставило насъ ограничиться только перепечаткою „очерковъ“, выбранныхъ самимъ авторомъ, безъ всякихъ пополненій, оставивъ за собою право: современемъ издать, въ допол-

неніе къ нынѣшнему собранію сочиненій Панаева, полный текстъ „Очерковъ и замѣтокъ Новаго Поэта о петербургской жизни“, начиная съ 1855 г. по 1862 г. включительно. Въ составъ другаго дополнительнаго тома, по тѣмъ же самымъ причинамъ, мы предположили внести: „Замѣтки и размышленія Новаго Поэта по поводу русской журналистики“, печатавшіяся въ отдѣлѣ „смѣси“ каждой книжки „Современника“, начиная съ № 5-го 1851 года по № 12-й 1853 года и съ № 5-го 1854 года по № 9-й 1855 года.

Отъ пріема публикою нынѣшняго изданія сочиненій И. И. Панаева будетъ зависѣть болѣе или менѣе скорое появленіе въ печати предположенныхъ нами дополненій.

Н. Г. Мартыновъ.

14-го Января
1889 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Очерки изъ Петербургской жизни Новаго Поэта.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

	стран.
Предисловіе.	V
Литературные кумиры, дилетанты и проч. (Изъ моихъ воспоминаній)	1
Широкая натура. (Фактъ)	10
Прошедшее и настоящее. (Святки двадцать-пять лѣтъ назадъ и теперь)	13
Зима. На дорогѣ. (Разсказъ дамы)	34
Шницъ-балъ за городомъ	40
Дама изъ петербургскаго полусвѣта (Demi-Monde)	55
Камеліи	68
Петербургскіе праздношатающіеся	73
Петербургскіе ростовщики	88
Фантазія при видѣ семилѣтней дѣвочки	111
На желѣзной дорогѣ и въ Павловскомъ вокзалѣ	122
Дачникъ	133
Галерная гавань	148
Встрѣча на Невскомъ проспектѣ	178
Мой иногородный другъ	184
Святки. (Разсказъ для дѣтей)	204
Петербургскій Монте-Кристо. (Разсказъ для взрослыхъ)	224
Шарлота Осдоровна. (Вовсе не дѣтскій разсказъ)	237
Именинный обѣдъ у добраго товарища	262
Великій артистъ среди сѣверныхъ варваровъ	269
Въ петербургскихъ окрестностяхъ. (Варіаціи на одну и ту же тему)	278

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Обѣдъ у генерала	297
Замѣтки на долгихъ. (Подражаніе замѣткамъ на лету)	306
Петербургская прислуга. (Лакей изъ хорошихъ домовъ)	322
Анна Павловна	327
Слабый очеркъ сильной особы	332
Петербургскій литературный промышленникъ	350
Ночь на Рождество. (Святочный разсказъ)	362

СТРАН.

Благонамѣреннѣйшій господинъ 384
Друзья и старые школьные товарищи 399
Армейскій офицеръ 411
Максимъ Иванычъ Фаворскій и его дневникъ 425
Страданія журналиста 445
Петергофскій праздникъ. 451
Петербургское тщеславіе 428
Что такое нравственность? 469
Одно изъ неизбѣжныхъ лицъ Невскаго проспекта 482
На яву и во снѣ. (Святочный полу-фантастическій разсказъ). . 503
Свѣтскій либералъ и литературный дилетантъ 533
Мой увлекающійся другъ 548
Хорошій тонъ 563
Свѣтлый праздникъ въ Петербургѣ и фантазіи на эту тему . . 580
По поводу дачъ 592
Русскій джентльменъ-оптимистъ. (Посвящается всѣмъ *нашимъ*) . 607
Сомнительныя существованія. (Этюды петерб. нравовъ) 628

СТИХОТВОРЕНІЯ И. П. ПАНАЕВА.

I. Екатеринѣ Сергѣевнѣ Комаровой 3
II. Стансы. (Изъ Виктора Гюго) 4
III. Минувшая юность. (Изъ Виктора Гюго) . . . . . —
IV. Поэту 5
V. Смерть 6
VI. Двѣ слезы . . . . . —
VII. Померкнулъ день . . . . . —

СТИХОТВОРЕНІЯ И ПАРОДІИ НОВАГО ПОЭТА.

Новый Поэтъ 7
Два слова отъ автора (къ изданію 1855 г.) 10
I. На дорогѣ 13
II. Поэтъ. 14
III. Напрасно говорятъ, что я гонюсь за славой. 15
IV. Къ друзьямъ 17
V. Серенада . . . . . —
VI. Къ матери. 18
VII. Къ Азіяткѣ. 19
VIII. Къ *** 20
IX. Requiem 21

СТРАН.

X. Передъ баломъ. (Отрывокъ изъ поэмы) . . . . . —
XI. Будто изъ Гейне 22
XII. Болота и степь и окрестъ ни кусточка 23
XIII. Современный человѣкъ . . . . . —
XIV. Сельская тишина 24
XV. Far-niente. . . . . —
XVI. Когда палящій жаръ смѣняется прохладой 25
XVII. Въ безумныхъ оргіяхъ уходитъ жизнь, какъ сонъ . . . 26
XVIII. Къ ней . . . . . —
XIX. Мелодія 27
XX. Онъ блѣденъ былъ. Она была блѣдна . . . . . —
XXI. Мнѣ грустно 28
XXII. Зимній вечеръ . . . . . —
XXIII. Осенній вечеръ 29
XXIV. Въ деревнѣ 30
XXV. Отрывокъ . . . . . —
XXVI. Къ Фанни Эльслеръ. 31
XXVII. Картина 32
XXVIII. Другая картина 33
XXIX. Могила. . . . . —
XXX. Она стояла у окна 34
XXXI. Notturno . . . . . —
XXXII. Къ плохому стихотворцу . . . . . —
XXXIII. Воспоминаніе 35
XXXIV. Раннею весною. 36
XXXV. Подражаніе Гейне 37
XXXVI. Ночь была ароматомъ полна . . . . . —
XXXVII Ревность . . . . . —
XXVIII. Было то давно, давно 39
XXXIX. Они молчали оба . . . . . —
XL. Балъ 40
XLI. На другой день послѣ бала. 41
XLII. Вчера, въ пустомъ и длинномъ переулкѣ 42
XLIII. Ты мнѣ все шепчешь „постой“ . . . . . —
XLIV. Къ женщинѣ 43
XLV. Къ Дію . . . . . —
XLVI. Къ чудной дѣвѣ 44
XLVII. Я 45
XLVIII. Воспоминанія дѣтства . . . . . —
XLIX. Греческое стихотвореніе 46
L. Весеннее чувство 47
LI. Она и я 48
LII. Мое разочарованіе. Поэма 49
Два отрывка изъ „Доминикино Фети 52
Два отрывка изъ драмы: „Петровъ“ 60
Апропія. Римская драма въ пяти дѣйствіяхъ 72

Приложенія.

СТРАН.

I. Наполеонъ 90
II. Прогрессъ 92
III. Египтянка. . . . . —
IV. Въ одинъ трактиръ они оба ходили. 93
V. Far-niente . . . . . —
VI. Было . . . . . —
VII. Письмо Новаго Поэта (1850) 94
VIII. Письмо Новаго Поэта (1852) 97
IX. Странный сонъ (1851). 99
Вечеръ на Днѣпрѣ 103
Какъ прежде когда-то бывало. 104
Воспоминаніе . . . . . —
Какъ жаль, что ея нѣтъ со мною . . . . . —
Признанье 105
X. Нѣсколько словъ отъ Новаго Поэта 108

Очерки изъ Петербургской жизни

НОВАГО ПОЭТА.

I. ЛИТЕРАТУРНЫЕ КУМИРЫ, ДИЛЛЕТАНТЫ И ПРОЧ.

(Изъ моихъ воспоминаній.)

У меня съ ранняго возраста развилась страсть къ литературѣ. Я живо помню, когда именно и при какихъ обстоятельствахъ я читалъ такой-то новый романъ Вальтеръ-Скотта или такую-то новую главу «Онѣгина». Самое высочайшее наслажденіе мое было читать вслухъ Вальтеръ-Скотта моимъ товарищамъ, моимъ родственникамъ и разнымъ проживалкамъ, которыми былъ набитъ нашъ домъ. Я никогда не забуду, какъ одна изъ нихъ, взрощенная на романахъ Коттень и Жанлисъ, дама очень толстая, съ большимъ аппетитомъ и съ сантиментальностью, замѣтила мнѣ однажды: «Ну, ужъ вашъ Вальтеръ-Скоттъ—такая скука! Все только объ ѣдѣ пишетъ!» Я вспыхнулъ отъ негодованія и отвѣчалъ ей: «Что жъ! вамъ это должно быть очень пріятно, потому что вы ѣдите съ утра до вечера и только и думаете, что объ ѣдѣ.» Сантиментальная дама съ аппетитомъ пожаловалась на меня матери, и добрая маменька слегка взяла меня за ухо и сказала мнѣ съ очень пріятною улыбкой: «какъ это тебѣ не стыдно, душенька, говорить такія глупости и оскорблять такую почтенную женщину?» Но въ сущности, кажется, маменька была очень довольна, что я оскорбилъ эту почтенную женщину, потому что маменька ненавидѣла ее и боялась ея вліянія на моего дѣдушку, отъ котораго маменька должна была получить значительное наслѣдство.

Впослѣдствіи, я даже началъ издавать для домашнихъ еженедѣльный полемическій листокъ противъ сантиментальной дамы съ аппетитомъ, первый нумеръ котораго маменька (какъ я замѣтилъ однажды случайно) читала съ великимъ удовольствіемъ и потомъ положила такъ, чтобы онъ попался прямо

на глаза сантиментальной дамѣ съ аппетитомъ, которая пришла отъ него въ совершенное негодованіе, дошедшее до ярости, и, такимъ образомъ, въ первый разъ доставила мнѣ возможность почувствовать прелесть удовлетвореннаго авторскаго самолюбія. Ярость сантиментальной дамы поощрила мои литературныя занятія, несмотря на то, что я оставленъ былъ безъ обѣда и листокъ мой, тщательно переписанный, съ различными украшеніями и виньетками, въ моихъ глазахъ разорванъ на мелкіе кусочки.

Трудно передать мой восторгъ, мой юношескій трепетъ, когда я въ первый разъ въ жизни увидѣлъ литератора и когда тотъ благосклонно пожалъ мою дрожавшую руку, робко протянутую къ нему. Все въ этомъ литераторѣ казалось мнѣ необыкновенно и велико. Я съ жадностью ловилъ каждое его слово, подмѣчалъ каждое его движеніе, хотя эти движенія, надо сознаться, были очень однообразны, потому что литераторъ только и дѣлалъ, что протягивалъ руку къ стоявшей передъ нимъ бутылкѣ, наполнялъ свой стаканъ и подносилъ его ко рту. Въ его глазахъ, какъ-то странно разгорѣвшихся, когда бутылка была уже почти опорожнена, я видѣлъ священный огонь вдохновенія. Его рѣчи, которыя становились все смѣлѣе и одушевленнѣе, музыкально отзывались въ ушахъ моихъ и поражали меня глубиной и поэзіей... Онъ говорилъ: «нѣтъ, не хочу писать по-русски! Еще Россія недостаточно приготовлена для того, чтобъ оцѣнить и понимать мои произведенія... Буду писать по-французски или по-итальянски!» Впослѣдствіи оказалось, что литераторъ могъ только читать по-французски, и то не безъ помощи лексикона. Но я и еще нѣсколько подобныхъ мнѣ, горячихъ, неопытныхъ юношей, ужаснувшись при мысли, что итальянская и французская литературы, въ ущербъ отечественной, пріобрѣтутъ такого таланта, бросились съ чувствомъ къ литератору и вскрикнули почти въ одинъ голосъ: «О, Бога ради! не лишайте русской литературы вашихъ чудныхъ произведеній! Повѣрьте, что у васъ найдутся и здѣсь цѣнители, — люди, которые горячо сочувствуютъ вамъ....» И голосъ нашъ дрожалъ отъ волненія, а на глазахъ дрожали слезы. Литераторъ былъ видимо тронутъ и открылъ глаза, за минуту передъ этимъ закрытые. Мы полагали тогда, что въ поэтической душѣ его совершались какія-

нибудь чудныя видѣнія, и онъ, чтобы яснѣе созерцать ихъ, углубился въ самого себя и для того закрылъ глаза. Впослѣдствіи, припоминая эту сцену, мы растолковали ее правдоподобнѣе и ближе къ истинѣ: литераторъ просто выпилъ лишнее и задремалъ... Но, какъ бы то ни было, наши крики, наши мольбы, наши порывистыя движенія вывели его изъ міра фантазіи, или разбудили отъ дремоты. Литераторъ очнулся, обвелъ насъ мутными глазами и произнесъ торжественно: «Ну, ужъ такъ и быть!»—и при этомъ многозначительно махнулъ рукой — «такъ и быть, буду писать по-русски!» и потомъ, обратясь къ намъ, протянулъ обѣ свои руки, которыя мы схватили съ благоговѣйнымъ энтузіазмомъ. «Благодарю васъ, благодарю! Сегодня лучшій вечеръ въ моей жизни, продолжалъ онъ:—я его никогда не забуду. Я нашелъ теплыя и поэтическія сердца, и между нами установился съ сей минуты союзъ несокрушимый и вѣчный, *зане* союзъ тотъ духовный... Ну, теперь выпьемъ!» И всѣ мы отправились ужинать, и первый тостъ былъ, разумѣется, въ честь литератора, который къ концу ужина заговорилъ тономъ пророческимъ, прекрасно, но не совсѣмъ понятно... «Шекспиръ—геній, и Шекспиръ—дрянь», проповѣдывалъ онъ. «Я умѣю соединить эти двѣ, повидимому, несоединимыя идеи. У меня свой взглядъ на Шекспира. Да!... Пушкинъ—талантъ, большой талантъ, но онъ никогда не произведетъ великаго, колоссальнаго. Его пьесы—это художественныя игрушки Бенвенуто-Челлини: отдѣлка—изящество, но въ нихъ нѣтъ *этого*», и при этомъ литераторъ какъ-то сжималъ кулакъ, уже съ большимъ трудомъ ворочая своимъ поэтическимъ языкомъ. «Есть разница между Микель-Анжело и Бенвенуто, между пѣсенникомъ Беранже и творцомъ Иліады...» Затѣмъ литераторъ смолкалъ на минуту, выпивалъ стаканъ и продолжалъ, какъ бы говоря съ самимъ собою: — «если Богъ продолжитъ мою жизнь, чувствую, создамъ что нибудь большое и оставлю по себѣ имя. Будетъ чѣмъ помянуть. Въ этой головѣ—и онъ указывалъ на свою голову—роится много поэтическихъ замысловъ и образовъ!»

И таково увлеченіе молодости, что всѣ эти несвязныя рѣчи подгулявшаго господина мы принимали, по неопытности и молодости, за вдохновенныя слова поэта, долженствовавшаго совершить переворотъ въ русской литературѣ, начать

собой новую эру.... И когда давали его пьесы на сценѣ, мы выходили изъ себя, съ презрѣніемъ смотрѣли на тѣхъ, которые не находили въ нихъ геніальности, кричали, вызывали автора по десяти разъ, стучали палками, ломали стулья, такъ что обратили на себя даже вниманіе блюстителей общественнаго порядка. И изъ-за чего, какъ подумаешь теперь, мы надсаживали себѣ горло, бѣсновались до поту, отбивали себѣ руки?—изъ-за чего?... Одинъ изъ насъ встрѣтилъ недавно нашего бывшаго кумира, оплывшаго и отекшаго.... «Ну, что, ты не написалъ ли чего нибудь новенькаго?» спросилъ онъ его. «Что-о?» протяжно преревѣлъ отставной нашъ кумиръ, усиливаясь на своемъ оплывшемъ лицѣ изобразить иронію. «Я, братъ, нынче этими пустяками не занимаюсь: я теперь кую деньгу! Теперь не то!» И, скорчивъ многозначительную физіономію, онъ важно продолжалъ свой путь.

Но оплывшій литераторъ, *кующій деньгу*, не охладилъ моихъ стремленій и любви къ литературѣ. Всякое новое явленіе въ литературѣ, всякій новый талантъ производили на меня невыразимо-отрадное впечатлѣніе: я радовался всякому литературному успѣху; никогда ни малѣйшее чувство зависти не отравляло меня: напротивъ, натурѣ моей нужны были авторитеты, герои Карлейля, поклоненіе,—и, за неимѣніемъ настоящихъ героевъ, я поклонялся кумирчикамъ, которые созидались людьми мнѣ близкими, которымъ я вѣрилъ и которыхъ уважалъ. Мы ставили нашихъ кумирчиковъ на пьедесталъ и поклонялись имъ съ искреннимъ энтузіазмомъ. Одного, произведеннаго такимъ образомъ въ кумиры, куреніями и поклоненіями передъ нимъ, мы чуть было даже не свели съ ума. Этому кумирчику посчастливилось болѣе, нежели другому: его мы носили на рукахъ по городскимъ стогнамъ и, показывая публикѣ, кричали: «Вотъ только что народившійся маленькій геній, который современемъ убьетъ своими произведеніями всю настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему! кланяйтесь!...» Объ немъ мы протрубили вездѣ, и на площадяхъ, и въ салонахъ. Одна барышня съ пушистыми пуклями и съ блестящимъ именемъ, бѣлокурая и стройная, пожелала его видѣть, наслышавшись объ немъ, и нашъ кумирчикъ былъ поднесенъ къ ней, и подносившій его говорилъ ей съ восторгомъ: «Вотъ онъ! смотрите! вотъ онъ!»

Барышня съ пушистыми локонами изящно пошевелила своими маленькими губками, которыя она безпрестанно обсасывала своимъ маленькимъ язычкомъ, для приданія имъ свѣжести, и хотѣла отпустить нашему кумирчику прелестный комплиментъ, — одинъ изъ тѣхъ комплиментовъ, которые одинъ мой знакомый семинаристъ, учившій дѣтей въ знатномъ домѣ, называлъ обыкновенно «благовонными свѣтскими бездѣлушками» и который (это ужъ пейдетъ къ дѣлу, а такъ кстати) собственную супругу величалъ *милой нелѣпостью*. «Я — говоритъ — гулялъ сегодня по Невскому съ моей милой нелѣпостью»... Такъ только что барышня съ пушистыми локонами хотѣла поднести нашему маленькому генію благовонную свѣтскую бездѣлушку, какъ вдругъ онъ поблѣднѣлъ и зашатался. Его вынесли въ заднюю комнату и облили одеколономъ. Онъ очнулся, но уже не входилъ въ салонъ, гдѣ сидѣла барышня съ пушистыми локонами, ярко освѣщенная свѣтомъ карселей и свѣчъ.... Съ этихъ поръ нашъ маленькій геній сдѣлался невыносимъ: онъ ни за что не хотѣлъ ходить самъ по землѣ или по тротуару, а непремѣнно требовалъ, чтобы мы его носили на рукахъ и поднимали какъ можно выше, чтобы его всѣ видѣли; онъ безпрестанно злился на насъ и кричалъ: «выше! выше!» У насъ совсѣмъ затекали руки, донельзя поднятыя кверху, а онъ все злился и все кричалъ: «выше!» Онъ началъ упрекать насъ въ зависти, въ ненависти къ нему, когда мы объявили ему наотрѣзъ, что у насъ нѣтъ ни силъ, ни возможности поднять его выше; съ бѣшенствомъ вырывался изъ нашихъ рукъ, соскакивалъ на землю, совсѣмъ загибалъ голову назадъ и необыкновенно величаво прохаживался въ толпѣ, удивляясь, что толпа не замѣчаетъ его и не падаетъ ницъ при его появленіи.... Оскорбленный толпою, онъ бросался къ себѣ на чердачокъ, и тамъ являлась къ нему аристократическая барышня съ пушистыми локонами и говорила ему: «ты геній! ты мой! Я люблю тебя! Я пришла за тобой. Пойдемъ въ храмъ славы — въ наши якіе и блестящіе салоны, въ которыхъ ты не услышишь ни одного русскаго слова; тебя надобно познакомить съ *нашими*, потому что *наши* только раздаютъ настоящую славу.... Міръ раздѣляется на два разряда людей: connus и inconnus, и ты ничего не будешь значить до тѣхъ поръ, покуда не позна-

комишься съ первыми....» И она обвивала его своей душистой рукой и касалась до его лица своими пушистыми локонами.... Онъ сначала не хотѣлъ признавать такого раздѣленія людей: вся природа его возставала невольно противъ такого страннаго дѣленія; но когда рука ея касалась его руки, тщеславіе самое жалкое и мелкое пробуждалось въ немъ и облекалось въ современную форму.... Онъ воображалъ всего себя въ золотѣ, среди раззолоченной, великолѣпно-освѣщенной залы, въ самомъ центрѣ этихъ господъ, которыхъ барышня съ пушистыми локонами называла comus, и эти comus подходили къ нему и пожимали ему руку, а она все манила его куда-то.... въ какіе-то роскошные и таинственные будуары съ матовымъ освѣщеніемъ и съ гамбсовскими кушетками, какъ въ старинныхъ русскихъ повѣстяхъ.... и онъ все шелъ за нею туда, туда! Но видѣніе вдругъ исчезало—и онъ снова видѣлъ себя на своемъ жосткомъ турецкомъ диванѣ съ толкучаго рынка, на своемъ бѣдномъ чердачкѣ, и, протеревъ глаза и оглядѣвшись кругомъ, рыдалъ и съ ужасомъ закрывалъ лицо руками: такъ казался ему тяжелъ переходъ отъ его видѣнія къ дѣйствительной жизни. Однажды, послѣ такого видѣнія, онъ долго ходилъ въ волненіи по комнаткѣ и вдругъ побѣжалъ къ издателю одного журнала, которому далъ какую-то статейку за нѣсколько дней предъ этимъ. Для издателя онъ былъ въ эту минуту такъ же, какъ и для всѣхъ насъ—кумирчикомъ. Кумирчикъ нашъ потребовалъ, чтобы его статью напечатали непремѣнно въ началѣ или въ концѣ книги, чтобы она бросилась въ глаза всѣмъ и была, не въ примѣръ другимъ, обведена золотымъ бордюромъ или каймою. Издатель на все согласился и запѣлъ, потрепавъ маленькаго генія по плечу:

Ты доволенъ будешь мною:
Поступлю я, какъ подлецъ,
Обведу тебя каймаю,
Помѣщу тебя въ конецъ.

Съ этой минуты кумирчикъ нашъ сталъ совсѣмъ заговариваться и вскорѣ былъ низвергнутъ нами съ пьедестала и совсѣмъ забытъ. Бѣдный! мы погубили его, мы сдѣлали его смѣшнымъ. Онъ не былъ виноватъ. Онъ не могъ выдержать себя на той высотѣ, на которую мы его подняли. Но мы сами были увлечены имъ искренно, добродушно, безкорыстно.

И мы не были виноваты: развѣ можно ставить въ преступленіе людямъ ихъ молодость, ихъ энтузіазмъ, ихъ увлеченія, ихъ заблужденія?....

У меня въ молодости было много литературныхъ кумировъ и кумирчиковъ (и я не стыжусь признаться въ этомъ), покуда мой взглядъ на жизнь былъ еще неясенъ, покуда убѣжденія мои не успѣли установиться.... Я и теперь во многомъ и во многихъ обманываюсь и часто очень забавно заблуждаюсь, и въ литературѣ и въ жизни; но я всегда готовъ торжественно сознаться въ заблужденіяхъ, если мнѣ ясно докажутъ, что я заблуждаюсь. Людей вѣчно правыхъ, ничему не удивляющихся, никогда не ошибающихся, непогрѣшительныхъ я не терплю, потому что это люди холодные, безъ увлеченій, безъ сердца, хотя, можетъ быть, и въ высшей степени comme il faut. Я, во всякомъ случаѣ, предпочитаю людей съ заблужденіями. Есть даже заблужденія, которыя можно назвать *милыми*, выходящія изъ великодушной и доброй натуры, изъ теплаго и любящаго сердца. У меня есть одинъ пріятель, человѣкъ образованный, умный, съ благородными убѣжденіями, писатель съ большимъ и въ высшей степени симпатичнымъ и поэтическимъ талантомъ, съ самымъ тонкимъ эстетическимъ вкусомъ и, притомъ, одинъ изъ милѣйшихъ и пріятнѣйшихъ собесѣдниковъ, въ которомъ не знаешь что болѣе любить—человѣка или писателя. Его самоотверженію и великодушію въ отношеніи къ начинающимъ и литературнымъ диллетантамъ нѣтъ границъ, и потому всѣ начинающіе, всѣ кончающіе, всѣ продолжающіе писатели и, кромѣ того, свѣтскіе литературные диллетанты довѣрчиво бѣгутъ къ нему съ своими рукописями, и онъ всѣхъ встрѣчаетъ теплымъ словомъ и радушнымъ пожатіемъ руки. У него читаютъ съ утра до вечера, и въ квартирѣ его съ утра до вечера слышится шелестъ переворачиваемыхъ листовъ; онъ заваленъ рукописями. Я знаю, что при одномъ видѣ этихъ рукописей онъ ощущаетъ дрожь по всему тѣлу и непріятное стѣсненіе подъ ложечкой; но, когда является чтецъ, онъ все-таки, безмолвной жертвой, опускается на стулъ, безнадежно проводитъ рукой по своимъ длиннымъ и густымъ волосамъ, откидывая ихъ назадъ, и своимъ мягкимъ голосомъ, въ которомъ, однако, звучитъ тщательно подавляемая нота отчаянія, приглашаетъ безжалостнаго чтеца начинать....

Свѣтскій литературный диллетантъ, въ такихъ случаяхъ, предварительно долгомъ считаетъ объяснить, что онъ вовсе не литераторъ и не желаетъ быть литераторомъ (и это, замѣтьте, онъ говоритъ литератору: какая любезность и свѣтскость!); что литературой онъ занимается такъ, отъ нечего дѣлать, въ свободные часы; что литература для него не болѣе, какъ развлеченіе, какъ отдыхъ; что онъ не совсѣмъ правильно умѣетъ писать по-русски, что онъ къ русской конструкціи не привыкъ; что ему болѣе свой — языкъ французскій, и что за то по-французски онъ пишетъ совершенно свободно. При этомъ диллетантъ отпуститъ обыкновенно нѣсколько комплиментовъ моему пріятелю насчетъ его таланта, отъ которыхъ мой бѣдный пріятель невольно сожмется, принужденно улыбнется и, въ отвѣтъ на любезность, пробормочетъ что-то непонятное; а диллетантъ, ко всему этому, прибавитъ еще иногда:

«Я обращаюсь къ вамъ не только какъ къ нашему извѣстному, какъ къ нашему первому писателю, но вмѣстѣ какъ къ человѣку съ изящнымъ вкусомъ, какъ къ человѣку, которому хорошо знакомо *наше* общество и который, слѣдовательно, вполнѣ можетъ оцѣнить и произнести свой судъ надъ моимъ произведеніемъ, — конечно, слабымъ, но въ которомъ, по крайней мѣрѣ, вѣрно изображена *наша* свѣтская жизнь. Вамъ, который посѣщаетъ *наше* общество, въ моемъ разсказѣ будетъ многое знакомо.... Тутъ, знаете, всѣ *наши* нравы, обычаи, которые не всѣмъ литераторамъ могутъ быть извѣстны и понятны; но вы....» и прочее.

И затѣмъ диллетантъ, попросивъ сахарной воды, свободно располагается въ креслѣ и начинаетъ читать съ большимъ одушевленіемъ и очень довольный собою, перебивая отъ времени до времени самъ свое чтеніе такого рода замѣчаніями: «это недурно? неправда ли? Это мнѣ удалось, я самъ чувствую. Какъ вы находите, вѣдь эта страница горячо написана? а?» и прочее.

Литературный новичокъ не имѣетъ смѣлости свѣтскаго диллетанта. Новичокъ безъ всякихъ предварительныхъ объясненій, робко усаживается на стулъ, трепещущей рукой развертываетъ свою рукопись и начинаетъ читать дрожащимъ, замирающимъ и прерывающимся голосомъ.

Извѣстные литераторы (и извѣстные литераторы читаютъ

моему пріятелю свои произведенія) приступаютъ обыкновенно къ чтенію просто, безъ церемоніи.

«Ну-съ, извольте-ка, батюшка, послушать, но прежде велите-ка, мнѣ дать рюмку водки (или стаканъ воды, смотря по вкусу)....»

И мой добрый пріятель, во время чтенія сочиненій извѣстныхъ литераторовъ, совершенно подчиняется ихъ вліянію, превращается въ младенца, робѣетъ передъ ними, забываетъ въ эти минуты свой талантъ и свой авторитетъ и, при каждой удачной сценѣ или вѣрномъ очеркѣ, вскакиваетъ въ волненіи, откидываетъ назадъ свою голову, проводитъ рукой по своимъ волосамъ, и потомъ, разсказывая, своимъ знакомымъ—людямъ свѣтскимъ, литераторамъ и журналистамъ, объ этомъ чтеніи, восклицаетъ съ добродушнымъ одушевленіемъ про статью, про драму, про повѣсть, прочитанную ему какимъ нибудь извѣстнымъ литераторомъ: «а, это необыкновенная вещь! это удивительное произведеніе!» и послѣ этихъ восклицаній начинаетъ увлекательно и прекрасно доказывать достоинство этого произведенія. И когда до журналистовъ доходитъ слухъ объ удивительномъ произведеніи, которое тогда-то читалось у моего пріятеля и отъ котораго мой пріятель въ восторгѣ, журналистъ въ волненіи бѣжитъ къ извѣстному литератору, чтобы пріобрѣсти его удивительное произведеніе и не допустить его въ другое изданіе.... Тогда извѣстный литераторъ смѣло можетъ назначить самую фантастическую цѣну своему произведенію, въ томъ предположеніи, что если съ этой цѣны придется и спустить кое-что, то онъ все-таки продастъ свое произведеніе за неслыханную цѣну.

Мой пріятель, какъ всѣ истинные таланты, въ высшей степени мягкосердеченъ и снисходителенъ не только къ своимъ собратамъ по искусству, но даже и къ нѣкоторымъ *писунамъ*. Оттого мой пріятель, при оцѣнкѣ литературныхъ произведеній, несмотря на свой эстетическій вкусъ, чувство литературнаго такта, образованность и начитанность, впадаетъ нерѣдко въ промахи и заблужденія и потомъ самъ добродушно смѣется надъ собою. Но эти самые промахи и заблужденія въ немъ необыкновенно милы; онъ такъ уменъ, даже въ самыхъ парадоксахъ своихъ, что его живая, поэтическая бесѣда въ тысячу разъ пріятнѣе и даже поучительнѣе разговора сухаго, стро-

гаго, положительнаго и никогда не ошибающагося и ничѣмъ не увлекающагося господина.

Нѣтъ! что бы ни говорили, а вообще литераторы, настоящіе литераторы, въ своемъ дружескомъ кругу — пріятнѣйшіе, милѣйшіе и добродушнѣйшіе люди на свѣтѣ. Несмотря на это, я не разъ въ моей жизни пробовалъ удаляться отъ моихъ литературныхъ пріятелей и искалъ для развлеченія — новыхъ, не имѣвшихъ ничего общаго съ литературой, но потомъ всегда возвращался къ моимъ старымъ пріятелямъ еще съ большею горячностью, съ большею любовью, чувствуя, что всѣ мои интересы, все мнѣ дорогое заключается между ними, въ ихъ кругу, что внѣ этого круга все для меня чужое, точно такъ же, какъ и я чужой для всѣхъ.... Литературѣ я обязанъ моими лучшими знакомствами, самыми задушевными моими связями, и я былъ бы въ высшей степени неблагодаренъ, если бы рѣшился сказать, что литература и литераторы вообще надоѣли мнѣ.

Еще и теперь я съ нѣкоторой горячностью бросаюсь на вновь вышедшую книжку журнала и на шею къ литератору, моему пріятелю, возвращающемуся изъ какой нибудь поѣздки...

Увы! моя слабость къ литературѣ не охладѣла съ лѣтами. Это, кажется, самая упорная изъ всѣхъ человѣческихъ слабостей....

II. ШИРОКАЯ НАТУРА.

(Фактъ.)

Нѣсколько лѣтъ назадъ тому, были большіе толки о бракѣ единственной дочери одного изъ богатѣйшихъ купцовъ также съ очень богатымъ купцомъ, человѣкомъ лѣтъ тридцати, не занимавшимся, впрочемъ, торговлею. Я забылъ его настоящее имя.... что-то въ родѣ Колотушкина, если не ошибаюсь. Этотъ союзъ милліоновъ не могъ не обратить на себя вниманія. Весь городъ толковалъ о неслыханныхъ суммахъ, употребленныхъ г. Колотушкинымъ на меблировку дома, на экипажи и на всѣ обзаведенія. Г. Колотушкинъ ужасно стыдился своего сословія, своихъ бородатыхъ и почтенныхъ родственниковъ и во всѣхъ отношеніяхъ и во что бы то ни стало хотѣлъ прослыть джентльменомъ. Вотъ вы увидите,

какъ онъ понималъ *джентльменство*. Въ это время въ Москвѣ пользовался авторитетомъ одинъ господинъ очень любезный и образованный и величайшій джентльменъ по наружности, имѣвшій совершенно англійскую *складку*. Онъ былъ ораторомъ во всѣхъ московскихъ салонахъ и клубахъ, и всѣ петербургскія знаменитости, посѣщавшія Москву, считали непремѣннымъ долгомъ, тотчасъ по пріѣздѣ, являться къ нему. Не быть знакомымъ съ этимъ господиномъ, не посѣщать его скромнаго салона, значило не быть порядочнымъ человѣкомъ. Г. Колотушкинъ мучительно завидовалъ его славѣ и его знакомствамъ и употреблялъ всѣ усилія, чтобы до мельчайшихъ подробностей походить наружностью на своего идеала. Для этого онъ изучалъ его съ величайшимъ тщаніемъ и любовью и слѣдилъ за нимъ повсюду.... Покрой его платья, манеру повязывать галстухъ, его походку, его палку—онъ все усвоилъ себѣ, и считалъ величайшимъ счастіемъ, если кто нибудь замѣчалъ ему о поразительномъ его сходствѣ съ г. N. N. Г. Колотушкинъ завелъ себѣ огромную библіотеку, съ великолѣпными переплетами, хотя въ жизнь свою не раскрывалъ ни одной книги. Онъ зналъ, впрочемъ, всѣ имена знаменитыхъ поэтовъ, художниковъ, ученыхъ и любилъ иногда щегольнуть ими въ разговорѣ.

Сознавая отчасти, что онъ не можетъ блестѣть своимъ образованіемъ и соперничествовать съ первѣйшимъ ораторомъ, своимъ идеаломъ, г. Колотушкинъ добивался до того, чтобы пріобрѣсть себѣ равную съ нимъ славу, хоть чѣмъ нибудь, чтобы заставить безпрестанно говорить о себѣ. Для этого въ ресторанахъ онъ бросалъ на водку полуимперіалы, заставлялъ непремѣнно свою жену брать всякій день молочныя ванны, по примѣру какой-то княгини, о которой кто-то ему разсказывалъ, бралъ въ магазинахъ цѣлыя партіи духовъ и цѣлыя партіи различныхъ матерій для себя и для жены.... «Я хочу, говорилъ онъ модисткѣ: — чтобы ни у кого не было такого рисунка платья, чтобы такое платье имѣла одна моя жена въ цѣломъ городѣ.....» Онъ выбиралъ у портнаго матерію на жилетъ и на панталоны и спрашивалъ у него: «А сколько у васъ кусковъ этого трико?» — Пятьдесятъ, отвѣчалъ портной. — «Я беру всѣ себѣ: я хочу, чтобы ни у кого не было такихъ панталонъ... Понимаете?...» Модистки, портные

и магазинщики благоговѣли передъ нимъ и мастерски умѣли пользоваться его слабостями. Нѣкоторые, по милости его, составили себѣ состояніе.

Однажды кучеръ его опоздалъ четвертью часами подать карету.

— Что это значитъ? закричалъ г. Колотушкинъ грозно на кучера.

— Да вѣдь у меня нѣтъ, сударь, часовъ, отвѣчалъ кучеръ.

— Что-о?.... Вотъ тебѣ часы, чтобы ты впередъ не опаздывалъ.

И г. Колотушкинъ отстегнулъ собственные часы — хронометръ рублей въ триста серебромъ, и отдалъ кучеру.

Въ другой разъ, парикмахеръ, долженствовавшій убирать голову его супруги, опоздалъ часомъ. Г. Колотушкинъ взбѣсился и раскричался на парикмахера.

Французъ отвѣчалъ ему, что у него нѣтъ собственнаго экипажа, что онъ едва могъ достать извощика, чтобъ доѣхать, что въ этомъ городѣ въ десять часовъ нѣтъ уже ни души на улицахъ, что въ Москвѣ народъ мало цивилизованъ, и въ заключеніе прибавилъ, со вздохомъ:

— Fichtre, Monsieur! nous ne sommes pas à Paris!

Когда французъ окончилъ свое дѣло, расшаркался и сошелъ внизъ, у подъѣзда его ожидали сани, запряженныя великолѣпнымъ рысакомъ, и швейцаръ объявилъ ему, что баринъ приказалъ доложить, «что этотъ экипажъ принадлежитъ *имъ*, для того-де, чтобы *они* въ другой разъ не опаздывали...»

Французъ былъ тронутъ до слезъ, въ волненіи вернулся назадъ, наговорилъ г. Колотушкину тысячи комплиментовъ и, между прочимъ, сказалъ, что его поступокъ съ нимъ показываетъ истинное величіе души (une veritable grandeur d'âme), что заставило г. Колотушкина улыбнуться самой счастливой улыбкой.

Если г. Колотушкинъ приглашалъ къ себѣ въ ложу пріятелей и у нихъ не оказывалось биноклей, онъ сейчасъ же посылалъ за биноклями въ магазинъ и дарилъ ихъ пріятелямъ. Пріятели, пораженные этимъ, восклицали:

— Помилуйте, зачѣмъ это? Мы забыли.... у насъ есть свои бинокли....

— Это отъ меня на память, господа, возражалъ онъ: — потому что у васъ коротка память....

Все это не вымышлено.... Въ три года г. Колотушкинъ промоталъ и свое, и женинно имѣніе и въ заключеніе сошелъ съ ума....

III. ПРОШЕДШЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ.

СВЯТКИ ДВАДЦАТЬ-ПЯТЬ ЛѢТЪ НАЗАДЪ И ТЕПЕРЬ.

I.

Праздники Рождества и Новаго года съ дѣтства имѣли для меня что-то особенно привлекательное. Съ какимъ нетерпѣніемъ ждалъ я этихъ праздниковъ! Какое необъяснимое ощущеніе, къ которому примѣшивалось что-то поэтическое, пробуждалось въ душѣ моей по мѣрѣ приближенія къ рождественскимъ днямъ!... Вотъ большая темная зала съ хорами, въ углу которой тускло мерцаетъ на столѣ желтоватая восковая свѣча. Передъ этимъ столомъ сидитъ старушка въ серебряныхъ очкахъ, съ темно-шелковой косынкой, тщательно обвязанной вокругъ головы, и съ бантикомъ по серединѣ. Ея сѣдые волосы, закрытые этимъ платкомъ, выбиваются изъ-подъ платка только у висковъ. Морщинистыя щеки ея точно сплоены. Она какъ будто прямо снята съ картины Деннера; только ни у одной старушки Деннера нѣтъ такого добраго, такого привлекательнаго выраженія въ лицѣ. Лицо это освѣщено красноватымъ огнемъ нагорѣвшей свѣчи. Старушка шевелитъ спицами и сказываетъ мнѣ сказку объ «Иванѣ Царевичѣ», прерываемую восклицаніями: «а ту, бѣсъ! опять петлю спустила!» и привстаетъ, и подноситъ чулокъ къ самой свѣтильнѣ. Прислонясь головою къ колѣнямъ старушки, я слушаю сказку съ замираніемъ въ сердцѣ, и мнѣ досадно на няню, что она такъ часто спускаетъ петли. Мерцаньемъ свѣчи слабо озаряется только небольшое пространство вокругъ стола; остальная зала вся впотьмахъ, и мнѣ становится страшно, когда я повременамъ всматриваюсь въ эту пустоту, въ этотъ мракъ, который кажется мнѣ безконечнымъ. И мнѣ чудится иногда,

какъ будто что-то волнуется и шевелится въ этой пустотѣ и въ этомъ мракѣ: я закрываю глаза и крѣпче прижимаюсь къ нянѣ. Старушка кончаетъ сказку, зѣваетъ вслухъ, снимаетъ очки, складываетъ ихъ въ зеленый футляръ, снова зѣваетъ и говоритъ, вздыхая и качая своей старой головой: «А вотъ и ужь праздники на дворѣ. Господи! Господи! и не видишь, какъ время-то идетъ!...» И, въ самомъ дѣлѣ, вотъ ужь и канунъ сочельника. Весь домъ въ волненіи—все трутъ, моютъ, чистятъ, стулья взгромождены на столы, стулъ на стулѣ: дѣвки бѣгаютъ съ мочалками и съ мѣдными тазами; старый Никита, съ сѣдыми иглами на подбородкѣ, въ длинномъ синемъ сюртукѣ и въ бѣломъ галстухѣ, отчищаетъ мѣдную ручку у двери и повременамъ поглядываетъ на горничную, которая безъ толку снуетъ изъ угла въ уголъ, поглядываетъ строго, съ какимъ-то педантическимъ выраженіемъ, и, недовольный ею, только молча пожимаетъ плечами. И все опять приведено въ прежній порядокъ; но все кажется какъ будто лучше и новѣе: все горитъ, блеститъ и лоснится, нигдѣ ни пятнышка, ни пылинки.... И мнѣ становится весело, что послѣ-завтра праздникъ, и я ожидаю его съ замираніемъ сердца. Вотъ ужь и сочельникъ... У насъ весь домъ не ѣстъ до звѣзды, кромѣ меня, потому что и няня и бабушка съ утра накормили меня сахарными булками, чтобы, въ ожиданіи поздняго обѣда, не отощалъ мой дѣтскій желудокъ. Мнѣ ѣсть не хочется; но я съ бо̀льшимъ нетерпѣніемъ, чѣмъ всѣ проголодавшіеся, жду этой таинственной звѣзды, сажусь въ сумерки у окна и смотрю съ любопытствомъ, не мигая, на небо, потому что мнѣ хочется уловить именно ту минуту, когда она зажжется; но этой-то минуты мнѣ никакъ и не удается уловить: всегда появится незамѣтно нѣсколько мелкихъ звѣздъ, тускло мерцающихъ въ какомъ-то волнующемся пару; паръ рѣдѣетъ, и небо вдругъ загорается безчисленными огнями, милліонами мигающихъ звѣдочекъ... Вотъ взошелъ и мѣсяцъ. Ночь свѣтла. На снѣгу, покрывающемъ землю, загораются такія же блестящія звѣзды, какъ въ небѣ; полозья саней визжатъ по снѣжной глади; окно расписано фантастическими узорами: пальмовыми листьями, цвѣтами, бесѣдками... вотъ какъ будто человѣкъ лежитъ подъ деревомъ, вотъ какъ будто лошадь съ телѣгою.... какіе чудные рисунки! Свѣтъ

луны прямо ударяетъ въ окно, и эта картина, расписанная морозомъ, также освѣщается и загорается звѣздами. Вездѣ искры и звѣзды — и на небѣ, и на землѣ, и на окнахъ; но въ этомъ фантастическомъ, бѣломъ, звѣздящемся царствѣ, въ этихъ садахъ, подъ этими пальмами — холодно и мертво: я бы не хотѣлъ быть тамъ. Вдругъ какъ будто выстрѣлъ или кто нибудь хлопнулъ воротами. Я вздрагиваю.

— Что это, няня? спрашиваю я.

— Это, голубчикъ, къ морозу, отвѣчаетъ она.

Наступили праздники. Весь домъ въ какомъ-то особенномъ настроеніи. Маменька, няня, проживалки, ключницы, горничныя, — всѣ гадаютъ: топятъ воскъ, олово, жгутъ бумагу на подносахъ, и все разсматриваютъ на стѣнѣ тѣни, разсказываютъ, что кому вышло, и все слушаютъ съ напряженнымъ любопытствомъ и отъ всего сердца вѣрятъ своимъ толкованіямъ.

— У, какое богатство вамъ, какое богатство! говоритъ няня маменькѣ, глядя на олово.

И маменька улыбается такъ счастливо, какъ будто, въ самомъ дѣлѣ, это богатство передъ нею въ дѣйтвительности. Горничныя и проживалки безпрестанно выбѣгаютъ на улицу спрашивать имена у прохожихъ.... Вдругъ входятъ въ освѣщенную залу наряженые: кто въ вывороченой шубѣ, кто во французскомъ засаленномъ кафтанѣ, въ растрепанномъ парикѣ, посыпанномъ мукою, и съ трехгольной складной шляпой подъ мышкой; кто просто въ халатѣ и въ какомъ-то дурацкомъ колпакѣ на головѣ, — всѣ въ бѣлыхъ маскахъ съ красными щеками и съ огромными, безобразными носами... Боже мой! какая радость! какой шумъ, какой хохотъ, какая бѣготня по залѣ! какъ раздражено всеобщее любопытство, какъ хочется узнать, кто подъ маской! Начинаются предположенія, догадки... На этотъ шумъ и крикъ выходитъ изъ кабинета даже дѣдушка, вѣчно сидящій за своимъ письменнымъ столомъ надъ бумагами, вѣчно трудящійся. Я какъ теперь вижу его въ длинномъ сюртукѣ изъ шелковой полосатой матеріи, въ бѣломъ галстукѣ, съ накрахмаленными и тщательно сплоенными манжетами на груди, причесаннаго по старинной модѣ: съ волосами, поднятыми кверху, напудренными и собранными назади въ небольшую косичку съ чернымъ бантомъ. Я какъ

теперь вижу его благородныя, выразительныя, спокойныя черты лица; его глаза, добрые, кроткіе, полные любви; его старческую красоту, внушавшую мнѣ безсознательное, но благоговѣйное и безпредѣльное чувство любви. Дѣдушка останавливался въ дверяхъ залы, разсматривалъ маски, улыбался своей симпатической, свѣтлой улыбкой, и потомъ, счастливый мыслію, что мы забавляемся, что намъ весело, возвращался къ своимъ занятіямъ. Наконецъ маски снимались, и тогда страшный хохотъ съ визгомъ и восклицаніями оглашалъ всю залу: уродливый маркизъ съ животомъ, съ огромными икрами и съ шапо-клакъ подъ мышкою оказывалась — старая и толстая проживалка Лизавета Алексѣевна; вывороченная шуба, представлявшая волка — горничная Аннушка; маска въ халатѣ, представлявшая турку — казачокъ Вася, и такъ далѣе.

Праздничные дни быстро летѣли... Наканунѣ Новаго года няня обыкновенно распускала въ стаканѣ воды сырое яйцо и ставила стаканъ за форточку, а на другой день приносила мнѣ его и говорила:

— Смотри, батюшка, какъ тебѣ хорошо вышло: будешь ты жить, мой голубчикъ, въ радости и богатствѣ, — и, указывая на непонятные узоры и нити, образовавшіеся въ водѣ, прибавляла: — видишь ли, это корабли къ тебѣ плывутъ изъ-за моря съ золотомъ, а вотъ стоятъ сундуки, и въ нихъ видимо-невидимо всякаго добра...

Иногда маменька и проживалки устраивали гаданье въ зеркало — самое страшное гаданье, къ которому онѣ приступали не безъ волненія. Въ приготовленіяхъ къ нему было что-то таинственное. Эти приготовленія дѣлались тихонько отъ дѣдушки, который запретилъ это гаданье, какъ сильно дѣйствовавшее на нервы. При этомъ разсказывался обыкновенно анекдотъ, какъ одна деревенская барышня захотѣла увидѣть въ зеркалѣ своего суженаго и какъ все необходимое для гаданья приготовила отъ тихонько отъ всѣхъ въ банѣ; она отправилась туда въ полночь одна, стала смотрѣть въ зеркало и вмѣсто суженаго увидѣла себѣ въ гробу, упала безъ чувствъ и утромъ найдена была мертвою. Кто передалъ о томъ, что̀ видѣла барышня въ зеркалѣ, если она была найдена мертвою? Этотъ простой вопросъ никому не приходилъ въ голову, но въ истинѣ анекдота никто и не думалъ сомнѣваться.

Несмотря на это, непреодолимое желаніе узнать свою будущность заставляло маменьку и проживалокъ устроивать это гаданье въ самой отдаленной комнатѣ, которая была совершенно въ сторонѣ и гдѣ складывалась разная ненужная домашняя утварь. Я всегда наблюдалъ исподтишка за этими таинственными приготовленіями. Я даже однажды вечеромъ прокрался въ кладовую, гдѣ уже все было готово для гаданья; но, какъ ни тянуло меня къ зеркалу, я не рѣшился взглянуть въ него... При одной мысли, что я увижу въ зеркалѣ гробъ или мертвеца, холодъ пробѣгалъ по мнѣ, сердце болѣзненно билось, и я, дрожа отъ страха, выбѣгалъ изъ комнаты. Няня, испуганная моей блѣдностью и дрожью, крестила меня своею костлявою и морщинистою рукой и съ безпокойствомъ повторяла: «Что это! Господь съ тобой! Ужь не сглазилъ ли тебя кто нибудь?...» И она брала меня на руки, обвертывала въ свою душегрейку, согрѣвала и успокоивала.... Сколько мнѣ помнится, маменька всегда оставалась недовольной своимъ гаданьемъ въ зеркало.

— Все это пустяки, говаривала маменька: — я этому ничему не вѣрю. Сколько разъ я ни смотрѣла въ это зеркало, никогда ничего не видала. Да и всѣ эти гаданья — вздоръ, я имъ не вѣрю.

Она была неоткровенна. Она вѣрила имъ отъ всей души, а такъ только любила, при случаѣ, пустить пыль въ глаза своимъ скептицизмомъ. Но этотъ скептицизмъ маменьки чрезвычайно оскорблялъ проживалку Лизавету Алексѣеву, и она, обыкновенно, возражала:

— Ахъ, что это вы, родная, говорите! можно ли это? Ужъ съ кѣмъ чему случиться, зеркало ужъ непремѣнно покажетъ. Да вотъ хоть бы Катерина-то Селиверстовна, пряхинская дочка: она вѣдь третьяго года увидала же въ зеркалѣ своего суженаго — во всей формѣ, какъ онъ есть, гусаръ, съ саблей, съ ташкой, со всѣмъ и съ родинкой на щекѣ, съ эдакими усами (и барышня показывала руками усы), — ну, словомъ, какъ онъ есть — эдакій прелестный; а вѣдь она и не думала и не гадала о немъ прежде. Но такъ и случилось: въ этотъ же годъ она и вышла за него замужъ... Ахъ, какой мужчина! продолжала барышня, одушевляясь (она была очень веселаго нрава и часто очень смѣшила ма-

меньку и гостей): — войдетъ эдакъ съ громомъ, кровь съ молокомъ, брякнетъ шпорами, расшаркается, махнетъ султаномъ, проведетъ по усамъ—и барышня расшаркивалась, звенѣла вмѣсто шпоръ ключами, проводила какъ будто по усамъ и махала носовымъ платкомъ, вмѣсто султана.

При этомъ маменька и всѣ присутствующіе смѣялись; но когда барышня, ободренная смѣхомъ, продолжала слишкомъ кривляться и начинала представлять, какъ гусаръ ѣздитъ верхомъ, маменька принимала серьёзный и недовольный видъ и замѣчала: «Ну, перестаньте, довольно...» Тогда барышня бросалась къ маменькиной ручкѣ, цѣловала ее и говорила: «Ахъ, неоцѣненная вы наша, красавица вы наша, и подурачиться-то не позволяете; а вѣдь я вамъ же, по простотѣ своей, хотѣла доставить удовольствіе!...» И затѣмъ барышня продолжала болѣе серьёзно доказывать, что зеркало никогда не обманываетъ.

Кромѣ топленія олова, воска, жженія бумаги, зеркалъ и проч., были и другія гаданья. Въ дѣвичьей, вечеромъ, подъ предсѣдательствомъ няни, всѣ горничныя, молодыя и старыя, усаживались за столъ, за которымъ обыкновенно онѣ работали; на столѣ ставилось блюдо съ водою и накрывалось салфеткою. Горничныя снимали кольца, серьги и клали ихъ на столъ, загадывая надъ ними свою судьбу. Няня запѣвала подблюдную пѣсню своимъ дряхлымъ, дребезжащимъ голосомъ, и всѣ сидѣвшія за столомъ вторили ей своими визгливыми голосами. По окончаніи каждой пѣсни, поднималась салфетка и въ блюдо опускались кольца и серьги, съ припѣвомъ:

Да кому мы спѣли, тому добро...
Слава!
Кому вынется, тому сбудется...
Слава! и проч.

Все это производило на меня сильное впечатлѣніе; особенно я любилъ, когда дѣвушки хоронили золото, и пѣсня:

И я золото хороню,
Чисто серебро хороню,
Я у батюшки въ терему,
Я у матушки въ высокомъ... и проч.

до сихъ поръ какъ-то особенно пріятно звучитъ для меня.

Проживалка—веселая барышня, — забавляла меня всячески въ эти праздничные вечера: румянилась, расписывала себѣ брови и усы жженой пробкой, плясала передо мной,

несмотря на свою полноту и уже довольно почтенныя лѣта, и декламировала нараспѣвъ, ужасно перевирая стихи:

Разъ въ крещенскій вечерокъ
Дѣвушки гадали,
За ворота башмачокъ,
Снявъ съ *ножки*, бросали...

или:

Спитъ *аль* нѣтъ моя Людмила,
Помнитъ друга *аль* забыла?... и проч.

и при этомъ хмурила брови, корчила престрашную гримасу и такъ завывала, что мнѣ становилось страшно. Тогда няня останавливала ее съ неудовольствіемъ и говорила:

— Ну, полно выть-то, матушка! полно пугать ребенка-то!

— Ужъ какія ты слова употребляешь, няня! возражала барышня:—выть!... фи, какое слово!

— И, матушка, куда ужъ мнѣ за словами гоняться: вѣдь я не ученая....

— Да ты у насъ, нянюшка, умнѣе всякаго профессора, перебивала барышня, обнимая ее.

Чувство собственнаго достоинства рѣдко проявлялось въ веселой барышнѣ, которая угождала и льстила всѣмъ безъ исключенія; но однажды—я какъ теперь помню эту сцену—безъ просыпу спавшее въ ней самолюбіе вдругъ пробудилось съ необыкновенною силою, вѣрно, ужъ слишкомъ больно затронутое. Самая бойкая и молоденькая изъ всѣхъ горничныхъ, которую называли въ домѣ *чертенкомъ*, нагрубила ей; слово за слово, барышня назвала ее *дрянью*, горничная вспыхнула и проворчала сквозь зубы:

— Сама ты дрянь.... шлюха!

— Что? что? что? завизжала барышня, посоловѣвъ: — повтори, что ты сказала, повтори, негодяйка эдакая!...

Барышня дотого расходилась и разрюмилась, что побѣжала жаловаться на чертенка дѣдушкѣ, маменькѣ, гостямъ, ключницѣ и другимъ дѣвкамъ. Голосъ ея раздавался по всему дому, и еще до сихъ поръ какъ будто въ ушахъ моихъ слова, которыя она безпрестанно всѣмъ повторяла:

— Нѣтъ, я не позволю себя никому обидѣть. Я не таковская, я ей покажу, что я значу. Я въ домѣ не останусь, ни за что не останусь, если ей не выстригутъ косы и не отошлютъ въ деревню свиней пасти! У *меня есть своя*

амбиція. Я досталась имъ не лакейка какая нибудь! Я дочь титулярнаго совѣтника!

Но черезъ нѣсколько дней она притихла и успокоилась и, несмотря на то, что чертенокъ не былъ наказанъ, осталась въ домѣ, а впослѣдствіи даже обнималась съ чертенкомъ, цѣловала его и приговаривала:

— Ахъ ты, наша звѣзда восточная! Ужъ я всегда говорю, Параша, что ты можешь здѣсь въ домѣ всѣхъ провести, продать и выкупить—и никто и не замѣтитъ этого...

Когда Святки проходили, съ своими гаданьями, переряжаньями, пѣснями, со всей этой поэзіей старины, въ домѣ ощущалась странная пустота: чего-то недоставало, кого-то не было, кто оживлялъ и одушевлялъ собою всѣхъ и все; становилось какъ-то особенно тяжело и грустно, какъ на другой день послѣ покойника, всѣми любимаго.

Святки, дѣйствительно, самое поэтическое время на Руси, и Пушкинъ, уловлявшій во всемъ поэзію русской жизни, не могъ не посвятить нѣсколькихъ строфъ русскимъ Святкамъ. Кто не помнитъ этихъ строфъ?...

«Настали Святки. То-то радость!
Гадаетъ вѣтренная младость,
Которой ничего не жаль,
Передъ которой жизни даль
Лежитъ свѣтла, необозрима;
Гадаетъ старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Все потерявъ невозвратимо... и прочее
. . . . . .

Можетъ быть, внутри Россіи Святки сохраняютъ еще и теперь поэзію старины, воспѣтую Пушкинымъ; но Петербургъ давно утратилъ ее.

Блѣдные и слабые остатки старинныхъ святочныхъ обычаевъ приняли въ Петербургѣ другую форму. Теперь простодушныя дѣвы не выходятъ, какъ встарь, въ сумерки на крыльцо, съ открытой шеей и грудью, встрѣчая вьюгу въ лицо и не боясь мороза, потому что

«.... бури сѣвера не вредны русской розѣ....»

теперь не выбѣгаютъ онѣ, какъ выбѣгала, бывало, Татьяна, въ открытомъ платьицѣ, на широкій дворъ или на улицу, чтобы спросить имя у прохожаго. Но еще нерѣдко, въ рождественскіе вечера, вы можете встрѣтить на петербургскихъ

улицахъ какую нибудь барышню въ шляпкѣ, которая вдругъ остановитъ васъ вопросомъ:

— Позвольте спросить, милостивый государь, ваше имя.

Этотъ вопросъ просто придирка заговорить съ неизвѣстнымъ господиномъ...

Теперь и петербургскія горничныя *хорошаго тона*, потому что хорошій тонъ проникъ здѣсь и въ дѣвичьи, стыдятся выливать воскъ и олово—о подблюдныхъ пѣсняхъ и говорить нечего—и горничныя даже подсмѣиваются надъ этими обычаями старины!

Въ Петербургѣ всѣ помѣшаны на елкахъ. Начиная отъ бѣдной комнаты чиновника до великолѣпнаго салона, вездѣ въ Петербургѣ горятъ, блестятъ, свѣтятся и мерцаютъ елки въ рождественскіе вечера. Безъ елки теперь существовать нельзя. Что и за праздникъ, коли не было елки? Послѣднюю копѣйку ребромъ, только чтобы засвѣтить и украсить елку, потому что нельзя же мнѣ обойтись безъ елки, когда елка была у Ивана Алексѣевича и у Дарьи Ивановны. Чѣмъ же я хуже ихъ? Я не хочу, чтобы они имѣли какой-нибудь перевѣсъ передо мною. Я даже, во что бы то ни стало, хоть займу, а сдѣлаю елку богаче и лучше, чѣмъ у Ивана Алексѣевича и у Дарьи Ивановны, и тѣмъ нанесу оскорбленіе ихъ самолюбію, удовлетворивъ свое собственное. Елки дотого вошли въ петербургскіе нравы, въ петербургскія потребности, что люди холостые и пожилые устраиваютъ ихъ въ складчину, для собственнаго увеселенія и забавы. Изъ-за елокъ нерѣдко случаются родственныя непріятности, доходящія иногда до формальной ссоры. Дѣти одного моего пріятеля, Григорья Петровича, разревѣлись оттого, что ихъ елка была бѣднѣе, нежели у ихъ двоюродныхъ сестрицъ и братьевъ, и супруга Григорья Петровича—Анна Васильевна, предостойная, впрочемъ, дама, сдѣлала, по этому случаю, ужасную сцену также предостойной дамѣ, супругѣ брата своего мужа — Надеждѣ Александровнѣ....

II.

У меня есть иногородный другъ — человѣкъ, только что пріѣхавшій изъ провинціи и уже успѣвшій влюбиться въ какую-то маску, которая его интриговала въ маскарадѣ Дво-

рянскаго Собранія. Онъ изъявилъ мнѣ сильное желаніе посмотрѣть на петербургскую елку въ какомъ-нибудь богатомъ домѣ, и я былъ очень радъ, что имѣлъ случай выполнить его желаніе.

Я его повелъ къ одному барину. Баринъ этотъ родился бѣднымъ, но съ раннихъ лѣтъ умѣлъ понять, что умъ и бѣдность, соединенные вмѣстѣ—прескверныя вещи и нисколько не цѣнятся въ свѣтѣ; что умъ при состояніи, конечно, не совсѣмъ безполезенъ, но при богатствѣ — вещь лишняя. Поэтому мой пріятель обратилъ преимущественное вниманіе на способы къ развитію своего кармана, оставивъ свой маленькій умъ въ покоѣ, безъ всякаго развитія.... Но какимъ образомъ вдругъ изъ бѣднаго сдѣлаться богатымъ?... Вотъ вопросъ, великій вопросъ! Мой пріятель рѣшилъ этотъ вопросъ какъ нельзя легче и проще.... Онъ сказалъ самому себѣ: «Самый легкій способъ разбогатѣть — жениться на богатой. Большая часть богатствъ въ рукахъ торговаго и промышленнаго класса, слѣдовательно надобно искать невѣсту въ этомъ классѣ; но для пріобрѣтенія таковой невѣсты необходимо самому имѣть что-нибудь привлекательное, могущее пріятно броситься въ глаза невѣстѣ и ея родителямъ, — напримѣръ, какія-нибудь особенныя, блестящія вышивки и украшенія на платьѣ, какое-нибудь званіе или титло, пріятно звучащее для слуха, что-нибудь въ родѣ этого; слѣдовательно, надобно прежде всего добиться какой-нибудь вышивки или украшенія.» И мой пріятель употребилъ всѣ способности, данныя ему Богомъ, для достиженія этого: онъ работалъ, кланялся, угождалъ, танцовалъ, составлялъ партію въ вистъ, ѣздилъ по коммиссіямъ, и прочее, чтобы понравиться тому, кому слѣдуетъ, и, благоразумно достигнувъ, такимъ образомъ, *предварительной* цѣли, уже смѣло пошелъ къ достиженію *верховной*.... Онъ не ошибся.... Безъ украшеній на него никто не обращалъ вниманія; съ украшеніями—ему стали пріятно улыбаться и, жать руки. Милліонъ, съ нѣжностью, заключилъ его въ свои обширныя объятія, прикоснулся своими жирными устами къ его блестящимъ украшеніямъ и объявилъ, что онъ за счастіе почтетъ наречь его своимъ зятемъ; наслѣдница милліона улыбнулась ангельскою улыбкою, взглянувъ на эти украшенія, и прошептала: «ахъ, какъ это красиво!» коснувшись до нихъ пальчикомъ....

Пріятель мой сдѣлался милліонеромъ и скоро достигъ степеней довольно извѣстныхъ; но я долженъ отдать ему справедливость, что, несмотря на своихъ швейцаровъ, ливрейныхъ лакеевъ съ гербовыми пуговицами (гербъ моего пріятеля возбуждалъ любопытство многихъ изъ тѣхъ, которые знали, что у него прежде не было вовсе герба и что онъ запечатывалъ письма старой печатью, доставшейся ему въ наслѣдство отъ отца — единственное наслѣдство — на которой былъ изображенъ голубь, несущій письмо во рту).... такъ я говорю, что нельзя было не отдать справедливости моему пріятелю въ томъ, что, несмотря на эти гербы, вышитые на его подушкахъ, вытканные на его коврахъ, расписанные на его экипажахъ, тарелкахъ и блюдахъ, вычеканенные на его серебрѣ, вылѣпленные на фронтонѣ его дома, на углахъ потолка его танцовальной залы и на каминѣ салона,—онъ не измѣнился къ своимъ старымъ пріятелямъ: любитъ ихъ принимать у себя, принимаетъ радушно и угощаетъ отъ всей души. Люди, смотрящіе на все въ черное стекло, говорятъ, что онъ дѣлаетъ это не изъ любви къ нимъ, а изъ желанія удивить ихъ и похвастать предъ ними своимъ богатствомъ; но я рѣшительно не хочу вѣрить этому, потому что нельзя же наконецъ разсматривать все въ черное стекло. Итакъ, мой разбогатѣвшій баринъ пригласилъ меня къ себѣ на елку, а я съ своей стороны пригласилъ на эту елку моего иногороднаго друга....

Приглашеніе было къ десяти часамъ... Въ наше время, когда не было елокъ, малютки уже покоились безмятежнымъ сномъ въ это время, а теперь, съ елками, въ десять часовъ начинается для нихъ праздникъ... *Для нихъ!*

Четверть одиннадцатаго мы были у подъѣзда ярко освѣщеннаго дома въ Милліонной.

Массивныя двери ясеневаго дерева, съ рѣзьбой, отворяются передъ нами, и насъ встрѣчаетъ толстый и разукрашенный швейцаръ, отдавая намъ честь своей булавой. Мы останавливаемся на площадкѣ. Нѣсколько лакеевъ, въ черныхъ фракахъ и въ бѣлыхъ галстукахъ, суетятся около насъ, снимая шубы. Дверь направо съ площадки ведетъ въ комнаты хозяина дома: его кабинеты и уборныя. Прямо поднимается лѣстница наверхъ, въ парадныя комнаты, устланная ковромъ

и вся ярко освѣщенная карселями. Хотя мой иногородный другъ не слишкомъ увлекается внѣшностью, но этотъ блескъ и этотъ толстый швейцаръ съ булавою, предвѣщающіе еще большую роскошь, дѣйствуютъ и на него. Онъ не то, чтобы робѣетъ, а нѣсколько смущается...

Изъ толпы лакеевъ выходитъ молодой человѣкъ, прилизанный, красивой наружности, съ румяными щеками, съ сладкой улыбкой и съ подобострастными движеніями, съ перваго взгляда ничѣмъ не отличающійся отъ лакеевъ. Но это совсѣмъ не лакей: онъ довольно близкій родственникъ хозяина дома, котораго хозяинъ, впрочемъ, явно не признаетъ родственникомъ. Его называютъ въ домѣ *Петрушей;* фамилія его неизвѣстна... Очень можетъ быть, что онъ носитъ одинаковую фамилію съ хозяиномъ дома. И когда гость спрашиваетъ у хозяина дома, указывая на Петрушу: «кто это?» тотъ обыкновенно отвѣчаетъ: «это одинъ сирота, котораго я знаю почти съ дѣтства и который живетъ у меня въ родѣ секретаря». Сирота необходимое въ домѣ лицо, какъ мы это увидимъ впослѣдствіи.

Молодой человѣкъ, глядя на меня почти влюбленными глазами, подходитъ ко мнѣ, не протягивая мнѣ руки, но только съ нѣкоторымъ поползновеніемъ протянуть ее. Я протягиваю ему свою — и онъ жметъ ее такъ, что мнѣ больно. Въ то же время, я называю ему по имени моего иногороднаго друга, онъ почтительно кланяется ему и, обращаясь ко мнѣ, говоритъ:

— Николай Андреичъ (имя хозяина дома) ждали васъ съ большимъ нетерпѣніемъ. Они наверху, въ угольной гостиной. Тамъ ужъ есть нѣсколько гостей: генеральша Добрищина съ дѣтьми, ихъ превосходительство Александръ Иванычъ, ихъ сіятельство князь Карапетъ Аракеловичъ Мурзароевъ и еще нѣсколько другихъ...

Мы всходимъ по ковру лѣстницы. Молодой человѣкъ идетъ почтительно за нами, всегда одной ступенькой ниже. Онъ продолжаетъ:

— Сегодня *у насъ* большой съѣздъ: князь Краснопольскій, князь Бельцынъ, графъ Тромпгаузенъ, ея сіятельство княгиня Наталья Васильевна...

Молодой человѣкъ называетъ чуть не всѣхъ князей и графовъ, находящихся налицо въ Петербургѣ.

Онъ, какъ пчела, жужжитъ надъ нашими ушами:

— Ихъ сіятельство обѣщали привезти своихъ внучекъ, дѣтей князя Василья Васильича, и графа Анатоля Кириловича...

Это утомительное жужжанье подъ ухо прерывается только въ первой комнатѣ, гдѣ насъ встрѣчаетъ хозяинъ дома — господинъ среднихъ лѣтъ, худощавый, съ очень довольной улыбкой на лицѣ, которое не представляетъ ничего особеннаго, съ очень развязными движеніями, имѣющій видъ человѣка чрезвычайно озабоченнаго: перебѣгающій отъ одного лица къ другому и находящійся въ вѣчно тревожномъ состояніи.

— *Шарме, шарме!* произноситъ онъ разсѣянно и беретъ меня дружески за руку.—Очень, очень радъ съ вами познакомиться, продолжаетъ онъ, обращаясь къ моему иногородному другу: — сегодня у насъ дѣтскій праздникъ. Мои дѣти въ большой дружбѣ съ внучками княгини Натальи Васильевны... Онѣ всякій годъ у меня на елкѣ. Что это за дѣти — прелесть!... Пойдемте къ моей женѣ... Позвольте мнѣ васъ представить ей. — Онъ обращается къ моему иногородному другу и тащитъ насъ вслѣдъ за собою черезъ великолѣпно убранныя и освѣщенныя комнаты.

Супруга Николая Андреича сидитъ въ угольной гостиной, окруженная разными дамами и кавалерами. Она маленькая, худенькая, очень застѣнчивая, мало говорливая, какъ будто подавленная всѣмъ этимъ великолѣпіемъ окружающимъ ее, и ослѣпленная всѣмъ этимъ блескомъ: она безпрестанно и очень неловко щуритъ свои, и безъ того маленькіе, глазки. Она отвѣчаетъ на нашъ поклонъ очень привѣтливою улыбкою и наклоненіемъ головы и шевелитъ своими блѣдными губами, какъ будто желая сказать что-то, и, однако, не говоритъ ничего, а мы отходимъ въ сторону, смѣшиваясь съ остальными гостями.

— Безподобно время, тепло очень, говоритъ мнѣ, съ сильнымъ азіятскимъ акцентомъ, азіятскій князь, жметъ мнѣ руку и смѣется.

Въ отвѣтъ на это, я не нахожу ничего и тоже смѣюсь.

Затѣмъ князь смолкаетъ, и я не говорю ни слова.

Гости прибываютъ съ каждой минутой—съ дѣтьми, завитыми, раздушенными и разодѣтыми, какъ большіе—все генералы и генеральши, люди болѣе или менѣе значительные. За исключеніемъ князя Карапеса Аракеловича, еще не видно, впрочемъ, князей и графовъ, о которыхъ возвѣстилъ намъ Петруша. Отъ этого, кажется, хозяинъ дома обнаруживаетъ безпокойство болѣе обыкновеннаго и замѣтно измѣняется въ лицѣ при каждомъ звонкѣ... У него двое дѣтей—сынъ пяти и дочь восьми лѣтъ... Вотъ они въ той гостиной, гдѣ собрались всѣ разряженныя дѣти, ихъ гости, которыхъ они стараются занять, какъ хозяева... Я беру подъ руку моего иногороднаго друга, и мы отправляемся смотрѣть на этихъ дѣтей.

Мой иногородный другъ съ перваго взгляда восхищенъ малютками, которыя нарядны, какъ куколки. Мальчики большею частію въ ополченныхъ сѣрыхъ кафтанчикахъ, съ высокими сапожками, съ красною оторочкою и съ красными кушаками. Туалеты дѣвочекъ болѣе разнообразны и почти такъ же роскошны, какъ туалеты взрослыхъ барышень; только у дѣвочекъ платьица гораздо покороче, чѣмъ у барышень, и у самыхъ маленькихъ голыя икры — по-шотландски, какъ у дѣтей королевы Викторіи, на извѣстной гравюрѣ. Можетъ быть, при нашемъ 25-градусомъ морозѣ, и не совсѣмъ удобно обнажать дѣтскія ножки, но нельзя же мнѣ не обнажить ножекъ моимъ малюткамъ, если княгиня такая-то и графиня такая-то обнажаютъ ножки своимъ!... Мой иногородный другъ, съ перваго взгляда, восхищенъ также манерами этихъ дѣтей и ихъ обращеніемъ между собою: дѣвочки съ любопытствомъ разглядываютъ наряды другъ у друга, объясняются другъ съ другомъ съ нѣкоторою изысканною любезностью; принужденно улыбаются; дѣлаютъ равнодушныя гримаски; разсуждаютъ о модахъ; не безъ маленькаго тщеславія произносятъ имена извѣстныхъ модистокъ, которыя шьютъ имъ платьица, и обнаруживаютъ маленькое кокетство въ разговорахъ съ мальчиками; а мальчики, въ свою очередь, ведутъ себя необыкновенно прилично, ловко расшаркиваются, отвѣчаютъ такъ умно, щеголяютъ своими лакированными сапожками и своими кушачками, — словомъ, ведутъ себя какъ большіе....

Вдругъ—сильный звонокъ.

При этомъ звонкѣ всѣ невольно обнаруживаютъ движеніе, не исключая и дѣтей. На лицѣ хозяйки появляется какое-то болѣзненное ощущеніе; хозяинъ дома, въ волненіи, бѣжитъ на парадную лѣстницу, повторяя всѣмъ направо и налѣво: «кажется, княгиня Наталья Петровна пріѣхала!»

Мы съ иногороднымъ другомъ смотримъ впередъ.

Въ дверяхъ, между драпри, появляется высокая старушка съ румяными щеками, въ маленькомъ чепцѣ съ кружевами и бантами на затылкѣ, съ темными волосами напереди, которые, при яркомъ свѣтѣ, имѣютъ какой-то малиновый отливъ. Старушка, кажется, вовсе не желаетъ казаться старушкой: она держитъ себя очень прямо, очень величественно и притомъ посматриваетъ на всѣхъ и на все снисходительно и говоритъ хозяину дома *ты*. За нею слѣдуютъ три ея внучки между восемью и десятью годами. Туалетъ ихъ уничтожаетъ всѣ дѣтскіе туалеты, не столько своимъ великолѣпіемъ, сколько изысканною простотою. Онѣ держатся такъ же прямо, какъ бабушка, и — странно! — ихъ живые, ярко свѣтящіеся дѣтскіе глазки выражаютъ то же самое, что мутные и тусклые глаза старухи — снисхожденіе ко всему ихъ окружающему. Хозяинъ дома поражаетъ гибкостью своихъ членовъ, извиваясь и увиваясь передъ бабушкой и внучками. Хозяйка дома не безъ смущенія выбѣгаетъ навстрѣчу къ пріѣзжей, которая снисходительно протягиваетъ ей руку и снисходительно киваетъ головой и снисходительно улыбается ея дѣтямъ, вышедшимъ изъ толпы ей навстрѣчу, расшаркивающимся передъ нею и присѣдающимъ ей..... Затѣмъ всѣ большіе и малые, мужчины и женщины, дѣвочки и мальчики, — все, что встрѣчается ей на пути, низко присѣдаетъ ей, почтительно наклоняется передъ нею. Это, ужь навѣрно, должна быть княгиня! Дѣйствительно, это она!

— Я привезла къ вамъ гостей, снисходительно говоритъ она хозяйкѣ, указывая на своихъ внучекъ, на княженъ Мери и Софи и на графиню Натали, которыя въ свою очередь снисходительно подвигаютъ свои головки впередъ.

Княгиня продолжаетъ свое тріумфальное шествіе въ угольную гостиную, а внучки остаются съ дѣтьми. Всѣ дѣти явно смущаются, видя ихъ въ кругу своемъ и смотря на нихъ съ трепетнымъ любопытствомъ. Онѣ, бѣдныя малютки, невольно

чувствуютъ, какая бездна раздѣляетъ ихъ отъ этихъ княженъ, которыхъ всѣ величаютъ княжнами и которымъ всѣ оказываютъ нѣсколько даже почтительное вниманіе, несмотря на то, что онѣ дѣти... Малютки подходятъ къ этимъ величественнымъ дѣтямъ; когда же величественныя дѣти заговариваютъ съ ними, имъ пріятно, бѣднымъ дѣтямъ, и они улыбаются какъ-то особенно счастливо! Маленькія княжны и графини прелестны; но въ ихъ гордой граціи, въ ихъ взглядахъ, проникнутыхъ рановременнымъ чувствомъ собственнаго величія, есть что-то комическое и отталкивающее.

Вслѣдъ за старой княгиней являются нѣсколько молодыхъ людей, едва удостоивающихъ насъ своими взглядами или разсматривающихъ насъ съ тѣмъ беззастѣнчивымъ любопытствомъ, съ которымъ мы позволяемъ себѣ разсматривать только вещи.... Господинъ на мягкихъ подошвахъ, съ значительнымъ видомъ и украшеніями — мой старинный знакомый — едва съ полуулыбкой кивающій мнѣ головой на мой почтительный поклонъ и удостоивающій коснуться до моей руки только однимъ пальцемъ своей, шаркаетъ передъ этими молодыми людьми своими мягкими подошвами, улыбается имъ полной своей улыбкой и протягиваетъ имъ даже обѣ свои руки.

Княгинѣ тотчасъ составлена партія въ ералашъ, и въ этой партіи самъ хозяинъ, успокоенный и осчастливленный пріѣздомъ княгини и породистыхъ молодыхъ людей; объ остальныхъ гостяхъ заботиться ему теперь нечего: остальные гости необходимы только для полноты и для того, чтобы приходить въ благоговѣйное изумленіе при созерцаніи этихъ особъ и завидовать связямъ и знакомствамъ хозяина дома. Въ партіи княгини и господинъ на мягкихъ подошвахъ; онъ, даже сидя, шаркаетъ подъ столомъ своими подошвами передъ княгинею, обращается къ ней съ выраженіемъ въ лицѣ глубочайшаго почтенія и безпрестанію свиститъ: «ваше сіятельство, вашего сіятельства, вашему сіятельству». За стуломъ княгини стоитъ Петруша, который, при каждомъ малѣйшемъ движеніи княгини, приходитъ также въ невольное движеніе, и когда голова княгини поднимается, голова Петруши мгновенно почтительно опускается.

Породистые молодые люди расхаживаютъ по комнатѣ, съ улыбкой подмигиваютъ на гербы, подсмѣиваются надъ безвкусною роскошью, съ которой убраны комнаты, и вообще надъ нелѣпыми претензіями хозяина дома; до нашего слуха

доходятъ презабавные анекдоты о немъ, его смѣшные промахи во французскомъ языкѣ, и прочее. Породистые молодые люди разсказываютъ объ этомъ безъ всякой застѣнчивости, довольно громко.

— А надо сказать правду, нашъ амфитріонъ очень *хамоватъ?* говоритъ одинъ изъ нихъ.

— Еще бы! возражаютъ всѣ.

Порядочно достается и бѣдной хозяйкѣ дома, когда она робко проходитъ мимо нихъ, чѣмъ-то встревоженная или озабоченная.

Мой иногородный другъ, глядя на все это, грустно качаетъ головой и произноситъ протяжно, съ глубокимъ вздохомъ:

— Вотъ, давай людямъ праздники, корми ихъ, пои, угощай! вмѣсто благодарности, васъ же съ женой и дѣтьми опозорятъ и осмѣютъ! Что, если бы хозяинъ дома могъ бы все это слышать? Онъ, я думаю, этихъ господъ ужъ не пригласилъ бы къ себѣ въ другой разъ?

— Пригласилъ бы непремѣнно, отвѣчаю я.

— Полноте, какъ это можно!

— Да, пригласилъ бы, продолжаю я: — потому что они необходимы его тщеславію столько же, сколько пища желудку, сколько солнце цвѣтку. Онъ былъ бы, конечно, въ высшей степени счастливъ, если бы они отзывались объ его квартирѣ и о немъ хорошо, но онъ все стерпитъ, даже «дурака» стерпитъ отъ нихъ и виду имъ не покажетъ, и послѣ этого все также крѣпко будетъ имъ жать руки, также дружески кивать головой и улыбаться, также раззоряться для нихъ...

Около одиннадцати часовъ, двери залы, гдѣ уставлялась елка, отворяются.... и всѣ, большіе и малые, породистые и безъ породы, — всѣ отправляются въ эту залу... Даже княгиня оставляетъ карты и идетъ взглянуть на елку, сопровождаемая съ одной стороны хозяиномъ дома, въ почтительной позѣ, съ другой стороны расшаркивающимся господиномъ на мягкихъ подошвахъ, а сзади Петрушей, который, свѣсивъ свою красивую головку на одинъ бокъ, несетъ на рукѣ шаль княгини, которую онъ, по чрезмѣрной своей догадливости, взялъ на случай, если бы княгинѣ показалось холодно въ залѣ.

Дѣти обступили елку безъ шума, безъ крика, безъ удивленія, безъ дѣтскаго восторга, потому что кричатъ, удивляются и

восторгаются только дѣти дурнаго тона, а они *дѣти хорошаго тона*, въ которыхъ чувство благоразумія, приличія и такта уже развито съ той минуты, когда они начинаютъ ходить и говорить. Ихъ дѣтскіе глазки устремлены на елку съ безмолвнымъ любопытствомъ, и каждый, и каждая изъ этихъ малютокъ заранѣе завидуютъ тѣмъ, которымъ должны будутъ достаться самые блестящіе и дорогіе подарки. Сзади этихъ благоразумныхъ и приличныхъ малютокъ толпятся большія дѣти, разступаясь передъ княгиней и уступая ей первое мѣсто. Господинъ на мягкихъ подошвахъ расшаркивается передъ хозяйкой и передъ хозяиномъ дома и разсыпается въ комплиментахъ ихъ елкѣ; княгиня смотритъ на елку въ двойной лорнетъ, а хозяинъ — съ безпокойствомъ на княгиню, желая прочесть въ ея взорахъ, довольна ли она елкой....

Княгиня говоритъ:

— Ваша елка прекрасна — и при этомъ хозяинъ наклоняетъ голову, а хозяйка какъ-то тупо улыбается... — но... продолжаетъ княгиня: — но зачѣмъ вы такъ освѣтили залу? отъ этого пропадаетъ эффектъ самой елки....

— Замѣчаніе ваше, княгиня, совершенно справедливо, говоритъ хозяинъ дома съ безпокойствомъ... «Ахъ, это точно большой промахъ!» думаетъ онъ, и мучительно желаетъ, чтобы всѣ карсели и свѣчи потухли сами собой мгновенно; но выносить и тушить ихъ уже неловко, поздно.... первое впечатлѣніе потеряно.

— Да, залы не слѣдовало бы освѣщать, никакъ не слѣдовало бы! восклицаетъ господинъ на мягкихъ подошвахъ, шаркая передъ княгинею. — Princesse a raison!...

Княгиня отправляется доигрывать партію; дѣти еще нѣсколько времени гуляютъ около елки. Между тѣмъ, подарки, висящіе на елкѣ, разыгрываются для нихъ въ лотерею, и самые блестящіе и дорогіе подарки достаются княжнамъ и графинѣ — внучкамъ княгини. Елка тухнетъ; дѣти расходятся недовольныя, завидуя другъ другу, а княгиня доканчиваетъ партію, выигрываетъ значительныя деньги съ хозяина дома и очень благосклонно на прощаньи пожимаетъ руки ему и его супругѣ.... Хозяйка дома прощается съ нею на верхней площадкѣ лѣстницы, хозяинъ и Петруша сбѣгаютъ внизъ; хозяинъ кричитъ: «карету княгини! карету!» а Петруша съ

нѣкоторымъ ожесточеніемъ вырываетъ изъ рукъ ливрейнаго лакея салопъ княгини, подаетъ ей и награждается благосклонной полу-улыбкой! Вслѣдъ за княгиней отправляются породистые молодые люди; но хозяинъ дома удерживаетъ ихъ, умоляетъ еще остаться закусить *чего нибудь*, говоритъ, что князь Андрей обѣщалъ къ нему пріѣхать въ первомъ часу, что *всѣ эти* (указывая съ гримасой на дамъ) разъѣдутся сейчасъ, что у него есть старое венгерское, и проч. Нѣкоторые изъ породистыхъ, несмотря на всѣ эти доводы, уѣзжаютъ; другіе остаются... Одинъ изъ нихъ говоритъ, кладя фамильярно свою руку на плечо князя Карапета Аракеловича:

— Я, пожалуй, останусь, вотъ если этотъ милѣйшій князь остается.... Вы остаетесь, ваше сіятельство? а?

— Онъ остается, перебиваетъ хозяинъ дома, съ ироніей поглядывая на азіятскаго князя.

Азіятскій князь простодушно улыбается и говоритъ:

— Да. Я остаюсь. Мнѣ кушать хочется.

Всѣ, безъ церемоніи, хохочутъ при этомъ, не исключая даже и Петруши.

Дамы и дѣти разъѣзжаются. Огни въ бель-этажѣ тухнутъ.... Огни въ нижнемъ этажѣ, на половинѣ хозяина дома, зажигаются. Всѣ отправляются внизъ. Хозяинъ очень любезно приглашаетъ насъ остаться ужинать. Мы остаемся.

Кабинетъ хозяина дома, въ который мы входимъ, съ перваго взгляда поражаетъ тѣмъ великолѣпіемъ, которое не отличается большою тонкостью вкуса. Длинная стѣна, прямо противъ входа, вся завѣшена портретами въ рамахъ. Изъ этихъ великолѣпныхъ рамъ смотрятъ какіе-то господа и госпожи въ пудрѣ и безъ пудры, въ платьяхъ временъ Имперіи, съ таліей подъ мышкой и въ длинныхъ корсажахъ; въ разноцвѣтныхъ кафтанахъ съ стразовыми пуговицами и въ синихъ фракахъ съ пуфами... Всѣ эти господа и госпожи, какъ-то неловко смотрящіе, неловко улыбающіеся, какъ будто совѣстящіеся самихъ себя, такъ, однако, ярко блестятъ, какъ-будто сейчасъ только выскочили изъ-подъ кисти.

— Что это? Чьи это портреты? спрашиваетъ мой иногородный другъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ.

Я не успѣваю рта разинуть, какъ румяный Петруша съ своей вѣчно-пріятной улыбкой, какъ будто бы вдругъ высколь-

знувшій изъ-подъ половицы, отвѣчаетъ, что это «портреты *предковъ* хозяина дома».

Когда Петруша съ тою же пріятной улыбкой и также предупредительно обращается съ какими-то словами къ другимъ, мой иногородный другъ, улыбаясь, говоритъ мнѣ:

— Да какіе же предки-то?

— Вѣроятно, были какіе-нибудь, потому что у всякаго есть предки; но эти предки явно *заказные;* они появились вмѣстѣ съ домомъ и швейцаромъ... Нельзя же при такомъ домѣ и при такомъ швейцарѣ не имѣть предковъ!...

Вотъ уже около часа. Хозяинъ дома все поглядываетъ на часы, вѣрно, поджидая князя Андрея. Между тѣмъ, въ нижней столовой столъ давно накрытъ и ярко освѣщенъ огромными бронзовыми канделябрами. Мы, расхаживая по комнатѣ, входимъ въ столовую. Петруша, не выпускающій насъ изъ глазъ, слѣдуетъ за нами. Онъ прикасается рукой къ одной изъ канделябръ и, обращаясь къ намъ, говоритъ:

— Попробуйте поднять!

— А что?

Мы дѣлаемъ опыты поднять канделябру, которая, дѣйствительно, оказывается очень тяжела.

Петруша продолжаетъ:

— А какъ вы думаете, что это стоитъ? Полторы тысячи рублей пара!

Петруша ходитъ кругомъ стола, посматриваетъ на бутылки и потомъ на насъ.

— А винцо, я вамъ скажу, доброе, говоритъ онъ съ улыбкой еще болѣе сладкой: — эдакого вина, вотъ какъ, напримѣръ, это бургонское, нельзя достать ни за какія деньги. Николай Андреичъ достали его случайно. Это изъ погреба его свѣтлости **, купленнаго въ Парижѣ послѣ революціи, когда продавались вина Людовика-Филиппа...

Въ это мгновеніе раздается шумъ изъ кабинета, и хозяинъ дома съ свѣтлой улыбкой вбѣгаетъ въ столовую.

— Князь Андрей пріѣхалъ! князь Андрей пріѣхалъ! повторяетъ онъ: — велите давать ужинать...

Петруша и лакей суетятся, и черезъ нѣсколько минутъ всѣ входятъ въ столовую, — хозяинъ дома подъ руку съ княземъ Андреемъ. Столовая оклеена просто обоями. Хозяину

дома совѣстно, что она не изъ дуба, какъ всѣ столовыя въ большихъ домахъ, и онъ говоритъ князю Андрею:

— Нынѣшній годъ я за хлопотами не успѣлъ отдѣлать еще здѣсь внизу—такъ гадко. Но на будущій годъ это будетъ непремѣнно все рѣзное изъ дерева...

Какъ-будто князю Андрею это нужно знать!

Садятся за ужинъ: породистые молодые люди и князь Андрей возлѣ хозяина дома, на одномъ концѣ стола; мы на другомъ, возлѣ Петруши. Хозяинъ дома угощаетъ тѣхъ, говоря о цѣнности каждой бутылки, причемъ снова тревожится память Людовика-Филиппа. Петруша угощаетъ насъ и, какъ эхо хозяина дома, повторяетъ его слова. Ужинъ превосходный. Всѣ довольны. Хозяинъ дома счастливъ, а добрый Петруша счастливъ счастіемъ хозяина дома.

— Неправда ли, превосходный поваръ? спрашиваетъ онъ насъ.—Вы знаете, вѣдь это бывшій поваръ англійскаго посланника.

Азіятскій князь отъ всего таращитъ глаза, разѣваетъ ротъ и ѣстъ за четверыхъ. Породистые люди подсмѣиваются надъ нимъ безъ церемоніи, а Карапетъ Аракеловичъ отъ души хохочетъ, не подозрѣвая, что онъ хохочетъ надъ самимъ собою.

Подаютъ венгерское, и при этомъ разсказывается его исторія: выходятъ на сцену польскіе короли, Собіески, Пулавскій зàмокъ и прочее.

Вдругъ хозяинъ дома прерываетъ этотъ историческій разсказъ, совсѣмъ запутавшись въ эпохахъ и лицахъ, и кричитъ намъ съ своего конца:

— Господа, довольны ли вы Петрушей? угощаетъ ли онъ васъ?

Азіятскій князь отвѣчаетъ:

— Безподобно! и треплетъ по плечу Петрушу, приговаривая: — онъ добрій малый, — и хохочетъ.

Мы благодаримъ, кланяемся, восхищаемся вѝнами, поваромъ, всѣмъ... и разъѣзжаемся часовъ около четырехъ.

Такъ оканчивается *дѣтская елка.*

IV. ЗИМА.

НА ДОРОГѢ *). (Разсказъ дамы.)

«Ухъ, загудѣла вьюга! Кругомъ все бѣло: и земля и небо слились въ одинъ снѣжный вихорь. Дорога тяжелая: лошади чуть тянутъ; наконецъ вотъ огоньки — возокъ подъѣхалъ къ станціи. Слава Богу!...

«Барыня опередила человѣка, отворила дверь въ жаркую избу, освѣщенную лучиной, и позвала хозяйку. Покуда та зажигала свѣчу, въ дверяхъ показался, какъ бѣлый столбъ, завѣянный снѣгомъ, мужчина. Хозяйка провела обоихъ на другую половину. Женщина скинула салопъ и капоръ, мужчина сбросилъ съ себя сугробъ снѣга вмѣстѣ съ шубой, снялъ съ высокаго лба шапку съ снѣговымъ околышемъ, и оба оказались красивыми молодыми людьми.

«— Хозяйка, ради Бога, скорѣй самоваръ! я совсѣмъ замерзла.

«— Да и барина-то совсѣмъ занесло снѣгомъ. Чай, муженёкъ? сказала хозяйка.

«— Какой муженёкъ? гдѣ муженёкъ? спросила барыня.

«— А что̀ съ твоею милостью-то вошелъ?

«— Да я его въ первый разъ вижу... Это она васъ принимаетъ за моего мужа, сказала дама, обращаясь къ мужчинѣ.— Да я видѣла, мы вмѣстѣ подъѣхали. Кажется, это я васъ такъ невѣжливо толкнула на крыльцѣ, проходя. Извините, пожалуйста: меня страшно закачало.

«— Неужели вы меня не узнаете?

«— Ахъ, Лёвъ Николаичъ! это вы? Какже это я васъ, въ самомъ дѣлѣ, не узнала? Ужъ, должно быть, сильно кружится у меня голова! Господи! я себѣ не вѣрю, что я наконецъ въ комнатѣ, а не въ этомъ ужасномъ возкѣ. Я думала, что дорогѣ конца не будетъ. Ну, ужъ зато теперь я разлягусь на диванѣ; только мнѣ будетъ при васъ совѣстно.

«— Я могу услужить вамъ подушками, если вамъ своихъ будетъ мало.

---

*) Этотъ разсказъ не принадлежитъ Новому Поэту. Онъ нѣкогда случайно попалъ въ его Замѣтки и оттуда перешелъ въ эту книгу. Въ немъ столько оригинальности и граціи, что жаль было не повторить его еще разъ.

Прим. Панаева.

«Замороженные люди втаскивали подушки и ящики. Подали самоваръ. Комнатка была маленькая, оклеена обоями, довольно чистая. У стѣны стоялъ твердый диванъ, а огромныя кожаныя кресла напротивъ; въ углу чикали старинные часы; на столѣ ярко горѣла сальная свѣча. Обстановка не изящная; но послѣ мрака и мороза отрадно обдали путешественниковъ свѣтъ и теплота.

«— Какъ славно! говорила дама.—Напьюсь чаю и сейчасъ же засну. Вы извините?

«— Да я и самъ засну. Въ креслахъ мнѣ будетъ отлично: слѣдовательно, вамъ не передъ кѣмъ будетъ совѣститься.

«— Да, правда! Какъ я глупа! Мы можемъ расположиться прекрасно. Давайте же пить чай.

«Они усѣлись за самоваръ и оказали большое вниманіе хозяйскимъ баранкамъ.

«Разсмотримъ теперь путешественниковъ поближе, при двойномъ свѣтѣ—свѣчи и ярко пылающей печи, отъ блеска огня которой еще румянѣе казались горѣвшія съ мороза щеки Марины Александровны. Выраженіе лица ея, оживленнаго ясными глазами, было насмѣшливое, умное и доброе, что соединяется рѣдко. Она была счастлива всю свою жизнь и, можетъ быть, этому обязана была безпечнымъ выраженіемъ своего личика. Вышла она замужъ не по любви, но, по свойственной всѣмъ почти женщинамъ слабости характера или нѣжности сердца, привязалась къ мужу и жила тихо, въ строгомъ исполненіи своихъ обязанностей. Не знаю, какъ въ столицахъ, но у насъ, въ провинціяхъ, какъ-то грустно, какъ-то сжато проходитъ жизнь нынѣшнихъ молодыхъ женщинъ. Молва ли, проходя десятки лѣтъ, преувеличила ошибки нашихъ бабушекъ, или, несмотря на увѣренія многихъ, вѣкъ становится лучше, только нѣтъ никакого сравненія между разсказами о похожденіяхъ прежнихъ женщинъ и тихимъ поведеніемъ нынѣшнихъ.

«Лёвъ Николаичъ принадлежалъ къ числу молодыхъ людей дѣльныхъ, занятыхъ службой. Ему двадцать-семь лѣтъ, и онъ уже коллежскій совѣтникъ. Онъ строенъ, худъ, блѣденъ и, какъ большая часть блондиновъ, очень моложавъ, такъ что одинъ уѣздный чиновникъ, увидѣвъ его, вскричалъ: «Вотъ, поди угадай, что это коллежскій совѣтникъ!»

«Молодые люди болтали, какъ братъ съ сестрой. Марина Александровна смѣялась надъ своимъ собесѣдникомъ и надъ его побѣдами въ губернскомъ городѣ, въ которомъ они вмѣстѣ провели зиму.

«— Да-съ, скажите-ка мнѣ, сказала Марина Александровна: — мнѣ только теперь это пришло въ голову; отчего вы ухаживали за многими, а за мной нѣтъ?

«— Во-первыхъ, вы мнѣ не очень нравились...

«— Какъ это вѣжливо! Отчего же? Вѣдь я хорошенькая.

«— Согласенъ; но вы не въ моемъ вкусѣ. Въ вашемъ лицѣ нѣтъ того обѣщающаго и манящаго выраженія, которое бываетъ у женщинъ, сильно желающихъ нравиться. Мнѣ кажется такъ же страннымъ представить себя въ порывѣ страсти предъ вами, какъ передъ этимъ ребенкомъ, прибавилъ онъ, указывая на кудрявую дѣтскую головку, просунувшуюся въ дверь. — Во-вторыхъ, вы любите вашего мужа и обращаете на ухаживанье вниманія столько, сколько нужно, чтобъ дурачить дерзкаго. Какая же польза ухаживать за вами?

«— И въ награду за мою добродѣтель вы говорите мнѣ, что я не могу нравиться? Впрочемъ, мнѣ все равно, нравлюсь я вамъ или нѣтъ. Оттого ли, что вы съумѣли сказать это въ лестныхъ для меня выраженіяхъ, или оттого, что кругомъ меня тепло и свѣтло и я въ счастливомъ расположеніи духа, только меня это нисколько не обижаетъ. Однако, я страшно устала: мнѣ спать хочется; а при васъ ложиться мнѣ все-таки какъ-то совѣстно.

«— Неужели вы хотите, чтобы я провелъ ночь въ избѣ съ мужиками или бы отправился спать въ свою повозку? На вашей душѣ будетъ грѣхъ, если я задохнусь въ избѣ или замерзну на дворѣ. Nous pouvons placer une de vos fammes de chambre auprès.

«— Слишкомъ много чести для васъ, чтобъ я стала безпокоиться объ этомъ! Мнѣ совѣстно только, что я буду лежать барыней на диванѣ, тогда какъ вы должны спать сидя.

«— Стоитъ ли объ этомъ думать! У меня есть дорожная подушка, которую я положу подъ голову, и мнѣ будетъ прекрасно. Обо мнѣ не безпокойтесь, а вотъ себѣ приготовьте ложе помягче. Диванъ, на которомъ вы мечтаете, кажется, мягокъ какъ камень.

«Диванъ уложили весь подушками, и Марина Александровна вздохнула радостно, когда опустила голову на чистое бѣлье мягкой подушки.

«— Вѣдь я нарочно говорила, что мнѣ совѣстно будетъ лежать покойно, тогда какъ вы должны провести ночь вытянувшись въ струнку. Мнѣ, напротивъ, становится вдвое покойнѣе лежать, какъ я посмотрю на твердую спинку вашего донотоннаго кресла. Слава Богу, что я женщина!

«Она вздохнула и закрыла глазки; но лукаво сквозилъ повременамъ зеленый ихъ пламень сквозь черныя рѣсницы. Лёвъ Николаичъ дѣлалъ приготовленіе провести ночь покойнѣе, съ смѣшною торжественностью. Онъ наложилъ сѣна въ кресло, утыкалъ его во всѣхъ углахъ подушками и, не обращая вниманія на насмѣшливые взгляды Марины Александровны, потому что его замѣтно клонилъ сонъ, важно усѣлся, подложивъ подъ голову дорожную подушку. Самоваръ убрали. Сальную свѣчу замѣнили стеариновой, добытой изъ чемодана Льва Николаича, и ту заставили ящикомъ, и комната озарилась блѣднымъ полусвѣтомъ. За дверью сначала громко шептали люди обоихъ господъ, расшивая чай, потомъ начали возиться, укладываясь спать, и черезъ нѣсколько времени уже слышалось мѣрное ихъ храпѣнье. Было тихо, тихо; маятникъ часовъ, однообразнымъ звукомъ своимъ, скорѣе наводилъ дремоту, чѣмъ мѣшалъ спать. Но Маринѣ Александровнѣ не спалось отъ слишкомъ сильной усталости, какъ это часто бываетъ. Тѣло ея сладко нѣжилось, но духъ бодрствовалъ, и мысли за мыслями тянулись въ ея головѣ, мѣшая спу.

«Напрасно я смѣялась надъ Львомъ Николаичемъ: видно, ему лучше спится въ его жесткихъ креслахъ, чѣмъ мнѣ, на моихъ подушкахъ.» И она подняла усталыя вѣки, чтобъ посмотрѣть, спитъ ли ея товарищъ. При слабомъ свѣтѣ, она увидала большіе, блестящіе глаза его, устремленные на нее. Она хотѣла было сказать: «что вы не спите, Лёвъ Николаичъ?» но ей лѣнь было пошевельнуть губами. Она опять закрыла глаза и принялась считать сухіе удары маятника, чтобъ навести на себя сонъ этимъ однообразнымъ занятіемъ. Но что-то тянуло ее открыть глаза, и она опять увидѣла въ полусвѣтѣ тотъ же пристально устремленный на нее взоръ. Ей стало какъ-то неловко. Она повернулась къ стѣнѣ, и ей

попалась подъ руку одна изъ ея густыхъ косъ. Она обвела глазами свой туалетъ: темныя косы ея лежали, распущенныя на свѣтломъ шелку блузы, воротничекъ разстегнулся, оставляя напоказъ смуглую молодую шею. Встрѣтивъ опять взглядъ Льва Николаича, она не выдержала и встала съ дивана.

«— Что съ вами? спросилъ онъ тихо. — Я думалъ, что вы спите?

«— Нѣтъ, вы счастливѣе меня: вамъ, кажется, покойнѣе въ вашемъ креслѣ.

«— Да, я ужъ видѣлъ сонъ, сказалъ онъ, зѣвая.—Что же вы-то не спите?

«— Подушки лежатъ неловко.

«— Постойте, я позову вашу дѣвушку, если вы сами не можете поправить. Должно быть, она спитъ подлѣ.

«Онъ вышелъ въ узкую комнату, гдѣ расположились люди. Горничной тамъ не оказалось: она, вѣрно, предпочла теплую избу холоднымъ сѣнямъ. Отъ лакеевъ онъ ничего не могъ добиться, кромѣ неяснаго мычанья.

«— Нечего дѣлать! сказала Марина Александровна:—я и такъ лягу.

«— Отчего же вамъ безпокойно лежать?

«— Подушки низки и голова западаетъ.

«— Да вотъ вамъ подушки, возьмите, подложите ихъ подъ голову.

«Онъ вынулъ подушки и помогъ ей уложить ихъ на диванъ.

«— Теперь вамъ будетъ покойнѣе... Не смѣяться было бы надо мной...

«Они опять расположились для сна. Марина Александровна, видя, какъ сонливо опустилъ голову Лёвъ Николаичъ въ своихъ креслахъ, подумала: «мнѣ всегда приходятъ въ голову такія глупости!» Она еще не спала, но на нее только сходила сладкая дремота; вдругъ она вздрогнула: ей показалось, скрипнула половица. Она открыла глаза: Лёвъ Николаичъ осторожно подходилъ къ столу. Она хотѣла спросить его, зачѣмъ онъ всталъ, но подумала: «если мы будемъ этакъ разговаривать, то не заснемъ никогда». Въ комнатѣ вдругъ стало темно. Лёвъ Николаичъ тихими шагами вернулся къ креслу. На секунду мелькнула у нея мысль: зачѣмъ было ему гасить свѣчу; но сонъ одолѣвалъ ее, сладкая истома

разливалась по членамъ, ее какъ-будто тихо укачивали волны... и вотъ кажется ей, что она слышитъ подлѣ себя шорохъ, что-то опустилось на полъ подлѣ дивана, и она чувствуетъ, что къ рукамъ ея, сложеннымъ на колѣняхъ, прикасаются влажныя губы. Въ первую минуту она хотѣла вскрикнуть, хотѣла встать; но къ ней быстро возвратилось сознаніе. «Встать, заговорить—проснутся люди!... Глупости! поцѣлуетъ руку и уйдетъ», думала она съ хладнокровіемъ, свойственнымъ женщинамъ въ такія минуты. Но трепещущія губы тѣснѣе прижимались къ ея рукѣ, она чувствовала, какъ горячѣе и горячѣе становилось ихъ дыханіе; щека, дотрогивавшаяся до ея рукъ, начинала жечь, какъ полоса раскаленнаго желѣза. Что ей было дѣлать? пошевельнуться, чтобъ дать знать, что она не спитъ? Она попробовала отнять руку; но послышался вздохъ глубокій, и ее охватила дрожащая рука, судорожно сжимавшая складки ея шелковаго платья. Марина Александровна не испугалась, не разсердилась: какое-то ласковое сожалѣніе къ безумцу шевельнулось въ ея женскомъ сердце. Тихо приподнялась она, выпрямилась и крикнула громко:

— Лёвъ Николаичъ! что̀, вы спите?

Сжимавшія ее руки отпали мгновенно, и ей показалось, что полъ заскрипѣлъ снова. Черезъ минуту сонный голосъ отвѣтилъ:

— Что̀ вамъ угодно?

— На столѣ спичка, зажгите свѣчу.

Послышался трескъ спички, и голубоватый пламень разгоравшейся свѣчи освѣтилъ Льва Николаевича и Марину Александровну.

Что̀ жъ это было сонъ... или?... подумала она.

— Здѣсь страшно натоплено, сказала она, протирая глаза:—у меня отъ жара разболѣлась голова. Будьте добры, Лёвъ Николаичъ, разбудите моего человѣка... Я думая, пора ѣхать... уже свѣтаетъ.

Въ окно, точно, видна было красная полоса зари. Люди начали подыматься; велѣно было запрягать экипажи обоихъ господъ, и черезъ нѣсколько времени Марина Александровна и Лёвъ Николаичъ, простясь дружески, отправились въ разныя стороны по дорогѣ, освѣщенной лучами восходящаго зимняго солнца...

V. ШПИЦЪ-БАЛЪ ЗА ГОРОДОМЪ.

Мой иногородный другъ — влюбленъ, окончательно влюбленъ въ таинственную маску. Онъ полагаетъ, что она должна принадлежать къ самому высшему петербургскому обществу, потому что съ ней переходили въ маскарадѣ всѣ петербургскія знаменитости.

Въ то время, какъ онъ сообщалъ мнѣ свои догадки о ней, раздался звонокъ, и въ комнату вошелъ какимъ-то особенно гордымъ и самоувѣреннымъ шагомъ — небольшой, довольно полный человѣкъ лѣтъ подъ тридцать, съ круглымъ лицомъ, нѣсколько приплюснутымъ сверху; съ широкимъ, короткимъ и нахально вздернутымъ кверху носомъ, съ полуоткрытыми ноздрями, изъ которыхъ торчали волосы; съ полными румяными щеками, до половины заросшими густыми, темными, лоснящимися бакенбардами, съ густыми и непокорными волосами, завитыми на кончикахъ, густо напомаженными и приглаженными крѣпкой щеткой; съ крошечнымъ, немного вдавленнымъ лбомъ; съ глазами, каріе зрачки которыхъ поднимались, опускались и ворочались, какъ на пружинахъ, подъ навѣсомъ бровей, которыя, по своей ширинѣ и густотѣ, походили болѣе на подкрашенные соболиные хвосты, чѣмъ на брови. Эти соболиные хвосты поражали, впрочемъ, не столько своей густотою, какъ необыкновенною подвижностью: они передергивались изъ стороны въ сторону, гордо подпрыгивали вверхъ, вмѣстѣ съ движеніемъ нижней губы и подбородка, и опускались на глаза, бросая на лицо густую тѣнь глубокомысленной задумчивости. Господинъ съ пахальнымъ носомъ былъ одѣтъ, что̀ называется, съ иголочки, и прежде всего въ его туалетѣ бросались въ глаза плюшевый черный жилетъ съ малиновыми цвѣтами, который былъ такъ же пушистъ и глянцовитъ, какъ его бакенбарды; на жилетѣ — солидная золотая цѣпочка, а на пухломъ и коротенькомъ указательномъ пальцѣ правой руки — золотой широкій перстень съ гербомъ. Вся фигура эта была покрыта самодовольствіемъ и грубо свѣтилась, какъ картина, замазанная густымъ слоемъ лака, за которымъ скрылись всѣ тонкіе штрихи и оттѣнки. Голосъ у лоснящейся фигуры былъ звонкій, сильный, съ эффектными возвышеніями, пониженіями и удареніями, выпечатывавшій нѣкоторыя слова, какъ будто курсивомъ.... Я

былъ нѣсколько удивленъ появленіемъ у себя этого господина, котораго я видѣлъ передъ этимъ всего раза три у моего иногороднаго друга, съ которымъ онъ былъ знакомъ, кажется, довольно коротко, потому что служилъ въ той губерніи, въ которой находится его деревня. Иногородный другъ мой не имѣлъ къ нему, повидимому, большой симпатіи, но былъ съ нимъ очень вѣжливъ и внимателенъ, по своему добродушному и кроткому характеру. Отъ него я узналъ, что этотъ господинъ, не имѣющій никакого состоянія, оставилъ губернскую службу по какимъ-то непріятностямъ и переселился въ Петербургъ, въ мѣсто своего рожденія, для пріисканія себѣ, по его собственнымъ словамъ, *тепленькаго и выгоднаго мѣстечка.*

— Mille pardon, началъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — за смѣлость явиться къ вамъ безъ зову. Я васъ уважаю, во-первыхъ, какъ писателя; во-вторыхъ, вы, какъ человѣкъ, понравились мнѣ, съ перваго взгляда; а я вамъ скажу, что я таковъ: кто мнѣ понравится, я съ тѣмъ уже безъ церемоніи, на короткой ногѣ. Вотъ онъ это знаетъ, спросите его.

Господинъ съ нахальнымъ носомъ указалъ на моего иногороднаго друга, обнялъ его, поцѣловалъ и продолжалъ:

— Ну что, mon cher, какъ поживаешь? что подѣлываешь? Я давно не видалъ тебя.... Все еще очарованъ Петербургомъ? а? Да, для васъ, провинціаловъ, Петербургъ—не глупая штука.

И онъ потеръ крѣпко ладонь объ ладонь, крякнулъ, взглянулъ на меня и передернулъ своими соболями.

— А намъ съ вами, батюшка, онъ ужъ понадоѣлъ, я думаю? Мы его вдоль и поперекъ изучили. Не правда-ли?

При этомъ онъ захохоталъ.

— Ну, конечно, дайте намъ сто тысячъ дохода, тогда другое дѣло: тогда, я вамъ скажу, и Петербургъ можетъ принять для насъ другую физіономію. Можно было бы распорядиться съ этими денежками и показать, *какъ* должно жить. А у насъ и съ деньгами, я вамъ доложу, нигдѣ жить не умѣютъ, утонченность вкуса ни въ чемъ не развита; голову набиваютъ пустѣйшими книжонками, желудокъ—щами да замороженными индѣйками.... Ахъ, матушка Россія! еще многаго недостаетъ тебѣ!.... Ну, скажите намилость, продолжалъ господинъ съ нахальнымъ носомъ, все болѣе одушевляясь:—скажите нами-

лость, умѣютъ ли у насъ, напримѣръ, ѣсть? Я не говорю о провинціи, а о Петербургѣ,—на какой степени стоитъ у насъ вообще *кулинарное* искусство, я васъ спрашиваю? Прихожу я третьяго-дня къ Борелю, велю подать самый лучшій, самый дорогой обѣдъ. Что жъ? подаютъ обѣдъ изъ десяти блюдъ—мерзость, въ ротъ ничего взять нельзя; если бъ не бутылка хорошаго вина, vieux, extra fin, вы знаете это stomachique, я не переварилъ бы этого обѣда. Но вѣдь зато какія же цѣны! шесть, семь рублей бутылка—это неслыханно! Ну, а я ужъ дряннаго вина пить не могу,—мое почтеніе, лучше буду пить воду. По мнѣ, я вамъ скажу, простой домашній обѣдъ лучше всякаго заказнаго въ ресторацiи.... чортъ ихъ возьми этихъ Дюссо, Дононовъ, Борелей!... Съѣшь хорошій кусокъ сочнаго, мягкаго бифстека, подернутаго кровью, да оросишь его доброю полубутылку элькока—и сытъ. Чего же больше? Вѣдь не всякій же день можно есть какія нибудь truffes à la serviette и вспрыскивать ихъ замороженнымъ шампанскимъ. Правда вѣдь?

Мы съ иногороднымъ другомъ молчали и смотрѣли на нахальнаго господина.

— Вотъ вы спросите у него, продолжалъ онъ:—какъ я жилъ въ провинціи. Онъ знаетъ это; онъ вамъ скажетъ.... Помнишь, братецъ? Что жь, я холостой человѣкъ, а мое маленькое хозяйство шло, я вамъ доложу, такъ, какъ дай Богъ вести его и женатому зажиточному человѣку. Правда, братецъ? скажи. У меня никто не выходилъ безъ закуски.... утромъ ли кто забредетъ, или вечеромъ.... всегда. Ну, разумѣется, не было ничего роскошнаго, но все, что можетъ быть у холостаго—незатѣйливая холодная закуска: хорошія жирныя сардины, розовая ветчина отъ добраго *Лидекенса*.... мнѣ все высылали изъ Петербурга.... честеръ, стильтонъ отъ Елисѣева.... При этомъ бутылка скромнаго нюи или шабли, а въ заключеніе, pour la bonne bouche — Regalia Flor de Cabanos — по двадцать-четыре рубля сотня. Я доставалъ ихъ прямо отъ барона Штиглица; но это ужъ для знатока и притомъ для избраннаго друга. Чего же больше для холостаго?... Но, господа, не въ томъ дѣло....

Господинъ съ нахальнымъ носомъ вздернулъ кверху свои соболи и приподнялъ верхнюю губу.

— Я (онъ обратился ко мнѣ), кромѣ давнишняго моего

желанія быть у насъ, явился сюда еще и съ другою цѣлью. Я имѣю сообщить вамъ нѣчто весьма *пикантное.*—Онъ слегка прищурилъ лѣвый глазъ и слегка прищолкнулъ языкомъ. — Дѣло, изволите видѣть, вотъ въ чемъ. Онъ вытащилъ изъ кармана огромный и довольно истертый бумажникъ, раскрылъ его, началъ перебирать, выдернулъ сначала, вѣроятно, нечаянно пятидесяти-рублевую депозитку, пробормоталъ, съ педантическимъ видомъ, сдвинувъ свои соболи: «нѣтъ, это все не то», со вздохомъ прибавилъ: «въ этомъ портфелѣ лежали нѣкогда и тысячи, но нынче не тѣ времена!...» показалъ намъ, при этомъ удобномъ случаѣ, свои визитныя карточки—желтоватаго цвѣта, немного потолще обыкновенной почтовой бумаги, сдѣланныя изъ дерева, замѣтивъ: «*Песпа ке се жоли, се тре з'оригинальъ?* Этими карточками снабдилъ меня мой другъ *Экъ*, первый петербургскій токарь, человѣкъ, обладающій величайшимъ вкусомъ и замѣчательною изобрѣтательностью...» и наконецъ уже досталъ изъ портфеля нѣсколько билетиковъ и подалъ ихъ намъ. На этихъ билетикахъ было напечатано: *20 января въ воскресенье большой балъ съ ужиномъ на дачѣ I*, по ***вской дорогѣ, по десяти рублей за входъ.*

— Что же это такое? спросили мы въ одинъ голосъ.

— Это?... и онъ, вертя въ рукѣ билетъ, глубокомысленно опустилъ свои соболи на глаза... это — ни болѣе, ни менѣе, какъ балъ monstre; пятьсотъ человѣкъ и, по крайней мѣрѣ, до двухсотъ дамъ, первыхъ петербургскихъ красавицъ— только!! *багатель!* Ужиномъ занимается Кузьма, *самъ знаменитый Кузьма*, бывшій поваромъ у перваго гастронома нашего времени князя Хрущинскаго, нашъ русскій Ватель, который готовитъ, я вамъ доложу, такъ, что послѣ каждаго блюда только пальчики облизываешь....

— Развѣ можетъ быть хорошій ужинъ на пятьсотъ человѣкъ? замѣтилъ я.

— Ah fichtre, vous avez raison!... правда ваша, не можетъ!—Онъ подмигнулъ моему иногородному другу и ударилъ меня по плечу:—человѣкъ-то понимаетъ, кажись, дѣло!.. Ха, ха, ха!... Но между нами, господа, будь сказано, я ужъ распорядился такъ, что для насъ будетъ особый ужинъ, въ особой комнатѣ, человѣкъ на двѣнадцать.... Я сейчасъ видѣлъ Кузьму, я все объяснилъ ему, я ему сказалъ напрямки: «ты

у меня смотри, братецъ! вѣдь ты человѣкъ геніальный, но плутъ, я это знаю; меня, голубчикъ, обмануть, впрочемъ, нельзя.... стара шутка!... Ну, что, господа, какъ скажете, вѣдь не глупо выдумано? а?

И господинъ съ нахальнымъ носомъ, потирая свои ладони, разразился смѣхомъ.

— А какъ вы полагаете, сколько этотъ бестія Кузьма получаетъ ежегоднаго дохода?... шутите-ка вы съ этимъ плутомъ-то!... три тысячи серебромъ отъ клуба, да украдетъ тысячи двѣ, да частные заказы.... ужъ не менѣе, чѣмъ на полторы тысячи въ годъ.... итого шесть тысячъ пятьсотъ рублей серебромъ, по крайней мѣрѣ! Вотъ онъ каковъ! Это хоть бы и намъ съ вами, было бы того.... ничего....

— Кто же будетъ на этомъ балѣ? спросилъ я.

— Весь петербургскій *финь флёръ*.... вся эта молодежь, знаете до которой я, между нами сказать, не охотникъ, и, разумѣется, всѣ эти *Армансъ*, *Эрмини*, *Луизы*, *Берты* и прочія,—эти *махровыя камеліи*....

— Вотъ если бы, сказалъ иногородный другъ мой, взглянувъ на меня:—тамъ была наша дама Большаго Театра, въ бѣломъ платьѣ съ черными кружевами, это было бы недурно: мнѣ ужасно хочется посмотрѣть на нее поближе....

— *Она-то?* возразилъ господинъ съ нахальнымъ носомъ: — еще бы! Нѣтъ сомнѣнія, что она будетъ, comme de raison...

— Да кто она? Развѣ ты знаешь, о комъ я говорю?

— Parbleu!... Это мнѣ нравится... какая тайна! Да кто жъ, братецъ, ее не знаетъ! Предоставь, братецъ, и мнѣ знать ее хоть немножко, ну такъ, чуть-чуть...

И онъ опять залился смѣхомъ.

— Что жъ, господа, берете, что ли, билеты? Вы ужъ у меня въ спискѣ помѣчены....

Мы изъявили наше согласіе, и господинъ съ нахальнымъ носомъ простился съ нами, замѣтивъ, что «у него пропасть еще дѣла, такъ что голова идетъ кругомъ», наговорилъ, особенно мнѣ, разныхъ любезностей и ушелъ.

— Типъ-то недурной! сказалъ я, когда за нимъ захлопнули дверь.

Иногородный другъ мой наморщился и сталъ извиняться передо мной за это неожиданное посѣщеніе, бранить себя за

слабость своего характера, за то, что онъ никакъ не можетъ отдѣлываться отъ такого рода нахаловъ, увѣрять меня, что онъ нисколько не виноватъ въ этомъ посѣщеніи, и прочее.

— А на балъ мы все-таки поѣдемъ, перебилъ я:—непремѣнно поѣдемъ. Надобно же имѣть понятіе о петербургскихъ шницъ-балахъ.

— Пожалуй; но только какъ бы намъ отдѣлаться отъ провожатаго?

— Напротивъ, надобно ѣхать именно съ нимъ: это будетъ гораздо забавнѣе; къ тому же, этотъ господинъ, право, недуренъ. Это одинъ изъ отличнѣйшихъ образцовъ.

Часу въ одиннадцатомъ вечера, 20 января, я пріѣхалъ къ моему иногороднему другу и нашелъ уже у него господина съ нахальнымъ носомъ. Онъ встрѣтилъ меня, какъ стараго и короткаго знакомаго, вынулъ изъ кармана огромную сигарочницу изъ поддѣльной черепахи, съ бронзовыми украшеніями, въ которыя была вдѣлана картинка, изображавшая барыню въ сорочкѣ, поправляющую подвязку на чулкѣ, вынулъ сигарку и, осторожно держа ея двумя пальцами, предложилъ мнѣ. Я взялъ и поблагодарилъ его.

— Это, батюшка, я вамъ скажу, сигары! сказалъ онъ, потирая свой круглый подбородокъ.—Посмакуйте-ка, вы увидите, что это за ароматъ. Это ужъ не отъ Фейка, не отъ Тенката, не отъ Янсенъ-Юста: нѣтъ! прямехонько изъ Гаванны.... царская сигара!.. У меня ихъ только пятьдесятъ.... Этакихъ сигаръ по двадцати-пяти рублей за штуку здѣсь не достанешь.... Что? не правда ли? каковъ ароматъ-то?—И онъ началъ махать къ себѣ дымъ....

Въ началѣ двѣнадцатаго часа мы сѣли въ широкіе пошевни, и тройка понесла насъ по петербургскимъ улицамъ къ **говской заставѣ.

Вотъ промелькнуло направо огромное зданіе этажей въ пять, сверху до низу ярко освященное газомъ, точно декорація, представляющая освѣщенный дворецъ, въ которомъ дается праздникъ какимъ нибудь подестой или дожемъ: это бумагопрядильная фабрика.... Вотъ ужъ мы за Обводнымъ каналомъ, за тріумфальными воротами. По обѣимъ сторонамъ домики съ закрытыми ставнями, среди деревьевъ и кустовъ, опушенныхъ инеемъ.... Тройка мчится такъ, что духъ замираетъ, и вдругъ

поворачиваетъ налѣво, въ узкій переулокъ между двумя заборами. Вѣтви деревьевъ, висящія надъ переулкомъ, вздрагиваютъ отъ движенія нашей тройки и осыпаютъ насъ снѣгомъ. Тройка въѣзжаетъ на широкій дворъ, гдѣ стоятъ три или четыре извощичьи кареты и нѣсколько троекъ, и останавливается у крыльца довольно большаго деревяннаго дома. Господинъ съ нахальнымъ носомъ первый выскакиваетъ изъ пошевней и восклицаетъ:

— Diantre! какая гибель экипажей!... Слышите, какъ оркестръ гремитъ! Это полька! Bravo! Bravo!

И онъ начинаетъ полькировать одинъ на снѣгу и въ шубѣ, въ ожиданіи насъ.

Наконецъ мы выходимъ изъ передней въ первую комнату. На порогѣ намъ попадается какая-то худощавая барыня въ голубой юбкѣ и въ бѣломъ шпензерѣ, съ черными бархатными бретелями и съ цвѣточкомъ въ черной косѣ, съ очень добродушнымъ выраженіемъ на лицѣ, слегка нарумяненномъ, и съ улыбкой на губахъ, жирно намазанныхъ розовой помадой.

Господинъ съ нахальнымъ носомъ схватываетъ ея ручку, чмокаетъ ее и говоритъ:

— Ба, ба, ба! кого я вижу? Александра Ивановна! Это вы? Очаровательная и милѣйшая изъ женщинъ на земномъ шарѣ!... Имѣю честь вамъ представить этихъ господъ. Вы должны ихъ полюбить такъ, какъ меня.... слышите?... ни больше, ни меньше.

Онъ указываетъ на насъ и обращается снова къ намъ:

— Messieurs! вы видите передъ собою существо, воздушнѣе и легче котораго нѣтъ ничего dans ce bas monde. Никто въ этомъ *подлунномъ* мірѣ не вальсируетъ и не полькируетъ лучше ее.

И онъ схватываетъ ее за талію и начинаетъ съ нею полькировать въ слабо-освѣщенной комнатѣ, почти въ полумракѣ, подъ звуки музыки, едва доходящей издали.

Мы проходимъ двѣ или три комнаты, также слабо освѣщенныя, и останавливаемся у порога большой залы, гдѣ толпится нѣсколько зрительницъ: женщина въ ситцевомъ платьѣ, съ платкомъ на головѣ, и нѣсколько дѣвушекъ, очень скромнаго вида, въ люстриновыхъ платьяхъ, которыя съ большимъ любопытствомъ смотрятъ на танцующихъ въ залѣ.

Господинъ съ нахальнымъ носомъ, который уже бросилъ Александру Ивановну, догоняетъ насъ, подбѣгаетъ къ одной изъ дѣвушекъ въ люстринѣ, смотритъ на нее, помахивая своими соболями, вскрикиваетъ: «Charmante, charmante!» и говоритъ ей:

— Сдѣлайте мнѣ честь, душенька, на одинъ туръ.

И простираетъ къ ней руки.

Дѣвушка въ люстринѣ конфузится, переглядывается съ другими дѣвушками, которыя улыбаются, и отвѣчаетъ съ нѣкоторою запинкою:

— Нѣтъ-съ... покорно васъ благодарю-съ... я не умѣю-съ... Мы совсѣмъ не для того, чтобы.... Куда же намъ танцовать, помилуйте!

— Ну, какъ угодно, какъ угодно.

Господинъ съ нахальнымъ носомъ входитъ въ залу, съ необыкновенно торжественнымъ видомъ, палецъ за жилетъ, сначала гордо осматриваетъ всѣхъ, то поднимая, то опуская свои соболи, потомъ киваетъ головой нѣкоторымъ мужчинамъ и дамамъ и пожимаетъ имъ руки, съ различными восклицаніями: «Ба, ба, ба! Charmé!... Que vois-je?» и тому подобное.

Зала, большая, подъ мраморъ, съ различными украшеніямм, такъ же, какъ и всѣ остальныя комнаты въ домѣ, показываютъ, что эта дача была нѣкогда фантазіей богатаго человѣка, что здѣсь были нѣкогда большіе пиры и празднества, что, вѣроятно, промотавшійся владѣлецъ его или его наслѣдники сбыли эту фантазію какому нибудь спекулятору, который обратилъ ее въ притонъ публичныхъ увеселеній. Стѣны подъ мраморъ почернѣли и растрескались, обои полиняли и оборвались, позолота потускнѣла, лѣпная работа пообломалась, зеркала, вдѣланныя въ простѣнки, покрылись слоемъ пыли; разрушеніе и пустота на каждомъ шагу; мебели мало, и та напрокатъ съ Толкучаго рынка; только посрединѣ залы виситъ огромная и безобразная бумажная люстра, съ множествомъ неровныхъ свѣчъ — цѣльныхъ вмѣстѣ съ огарками, какъ-будто зажженными для того, чтобы ярче освѣтить пыль, копоть, грязь и разрушеніе.

Въ этой залѣ, подъ звуки сборнаго оркестра, прыгаютъ до пятидесяти мужчинъ и женщинъ. Мужчины, большею частію, очень молодые, изъ которыхъ нѣкоторые, кажется, отъ

души веселятся; женщины—нельзя сказать, чтобы молодыя, и нельзя сказать, чтобы красивыя. Туалеты ихъ очень пестры и разнообразны, всѣ онѣ одѣты болѣе или менѣе по бальному: на рукахъ множество колецъ и бронзовыхъ браслетъ, на головахъ и на платьяхъ цвѣтовъ; но отъ нѣкоторыхъ платьевъ вѣетъ какимъ-то затхлымъ запахомъ сырыхъ квартиръ, котораго не могутъ заглушить никакія благовонія. Этотъ затхлый запахъ смѣшивается, впрочемъ, съ благоуханіемъ фіалковой помады отъ головъ и розовой пудры отъ шей и отъ лицъ.

Черезъ четверть часа мой иногородный другъ подходитъ къ господину съ нахальнымъ носомъ:

— Двухсотъ-то дамъ, кажется, здѣсь не наберется, говоритъ онъ. — И нельзя сказать, чтобы эти дамы были очень красивы, а ты намъ обѣщалъ первыхъ петербургскихъ красавицъ....

Соболи господина съ нахальнымъ носомъ при этихъ словахъ мгновенно совсѣмъ надвигаются на глаза, погружая лицо его въ совершенный мракъ; подбородокъ его въ волненіи, изъ глазныхъ впадинъ сверкаютъ молніи; изъ устъ вырывается громъ:

— Вотъ то-то есть, братецъ, вы, провинціалы, ничего не смыслите, а туда же подтрунивать!... Ахъ, уже какъ не люблю я этихъ замашекъ! Чудакъ ты! Ну, смотри....

Онъ вынимаетъ изъ кармана массивные золотые часы, подавляетъ пружинку, дощечка часовъ отскакиваетъ.

— Ну, смотри, смотри....

И господинъ съ нахальнымъ носомъ подноситъ циферблятъ къ его носу.

— Ясно!... Видишь, еще нѣтъ половины 12-го. А это, замѣть, хронометръ! Теперь только-что начинаютъ съѣзжаться. Понимаешь ты это? Всѣ эти дамы будутъ никакъ не прежде двѣнадцати часовъ. Вѣдь это у васъ, батюшка, въ провинціи ложатся спать въ десять часовъ вечера и встаютъ съ пѣтухами... Здѣсь не то, любезнѣйшій другъ; ты забываешь, что мы въ Петербургѣ, въ столицѣ, въ центрѣ всей русской образованности... Женщины некрасивы! c'est à mourir de rire. Что же у васъ, въ провинціи, лучше, что ли?... Вотъ посмотри хоть на эту блондиночку въ голубомъ платьѣ: это личико изъ англійскаго книсека.... Charmante!

И онъ подбѣгаетъ къ блондинкѣ, захвативъ стулъ по дорогѣ.

Мы становимся сзади и слушаемъ.

— Ma toute belle Кетти, какъ ваше здоровье? говоритъ онъ:—вы меня извините, я васъ не могу иначе звать, какъ Кетти.... Вы совсѣмъ не похожи на русскую — чистѣйшій англійскій типъ.

И при этомъ онъ вздергиваетъ свои соболи.

Катя смѣется.

— Ужъ будто я такъ похожа на англичанку? спрашиваетъ она.

— Parlez moi de ça! восклицаетъ онъ.—Еще бы!

— Что васъ такъ давно не видать? спрашиваетъ Катя.

Господинъ съ нахальнымъ носомъ принимаетъ сладкое выраженіе и смотритъ съ нѣжностью влажными глазами на Катю, почти приложивъ свой круглый подбородокъ къ ея плечу.

— А вамъ бы хотѣлось меня видѣть?... Ахъ, прелестнѣйшая Кетти! мнѣ, если бы вы знали, все такъ пріѣлось, все такъ наскучило, что иногда просто не вышелъ бы изъ своего турецкаго халата, цѣлый день бы пролежалъ на пате у своего камина, съ доброй гаванской сигарой во рту... Сигара, я вамъ доложу, мой лучшій другъ, сигара мнѣ замѣняетъ иногда все... Жизнь хороша для новичковъ, а для нашего брата, знаете, который ужъ вдоль и поперекъ познакомился съ нею, мало, я вамъ скажу, въ ней привлекательнаго, кромѣ развѣ иногда этакихъ глазенокъ, сверкающихъ, какъ звѣзды, какъ у васъ.

— Полноте, какіе у меня глаза! глаза, какъ у всѣхъ, возражаетъ Катя жеманно.

— О, нѣтъ, не какъ у всѣхъ, прошу извинить: въ этихъ глазахъ такія искры, такія... Я чувствую, что я бы могъ влюбиться въ васъ, если бы могъ влюбляться.... Но что такое любовь? разберемте хорошенько, взглянемъ на этотъ предметъ съ настоящей, прямой точки зрѣнія.... Любовь съ ея идеальной стороны и съ матеріальной.... во-первыхъ....

Въ эту минуту какой-то молодой человѣкъ съ сіяющимъ лицомъ, веселящійся отъ всей души и канканирующій очень ловко, вдругъ пустился въ присядку, перекувыркнулся, вскочилъ, подлетѣлъ къ своей дамѣ и началъ кружиться съ нею....

— Браво! браво! кричитъ ему во все горло господинъ съ нахальнымъ носомъ и хлопаетъ руками. — Ай да молодецъ! Отлично, mon cher, отлично! Вотъ-съ, продолжалъ онъ, обращаясь къ Катѣ и покачивая головой:—молодежь-то счастлива: она веселится отъ всей души. Я завидую, признаться, этой способности....

— Что это! да развѣ вы старики?

— Старикъ не старикъ, а ужъ близится къ тридцати, я вамъ доложу, и я могу воскликнуть съ Пушкинымъ:

Уже ль мнѣ скоро тридцать лѣтъ?

Весна-то моя промчалась, и бурно, я вамъ доложу, промчалась.... Но продолжимъ нашъ разговоръ о любви...

— Все любовь! у васъ другаго разговора нѣтъ, замѣчаетъ Катя:—подите съ вашей любовью....

Кадриль кончена. Музыка смолкаетъ.

Въ залу входитъ высокая женщина, съ величественными манерами, лѣтъ за тридцать, которая была, повидимому, очень хороша и издали теперь еще недурна, какъ декорація. На ней шелковое пестрое платье, съ воланами, брильянтовая брошка, браслеты. Ея туалетъ чрезвычайно богатъ, сравнительно съ остальными туалетами; ея движенія и взгляды необыкновенно горды. Она, кажется, такъ и хочетъ сказать, что попала на этотъ балъ случайно и не имѣетъ ничего общаго съ остальными дамами. Около нея вертятся два купеческихъ сынка, одѣтые франтами, изъ которыхъ одинъ совсѣмъ лысый. Она осматриваетъ залу кругомъ, въ двойной лорнетъ, и говоритъ лысому:

— Куда вы это меня завезли? Очень весело себя компрометировать!

Всѣ дамы поворачиваются въ ту сторону, гдѣ она появилась, пожираютъ глазами ея туалетъ и потомъ шушукаютъ между собою. Дѣло ясно: величественная дама, окруженная богатыми купчиками—аристократка этого общества.

— Это Адель Петровна, говоритъ Катя, глядя на нее.— Какъ она прекрасно одѣта, всегда съ такимъ вкусомъ, и такое на ней все дорогое....

— Такъ себѣ! замѣчаетъ господинъ съ нахальнымъ носомъ, вздернувъ верхнюю губу къ носу:—впрочемъ, эта барыня не

моего романа. Я вѣдь ее давно знаю, когда она еще на рысакахъ щеголяла.... теперь ужъ не то.... градусомъ пониже....

Величественная дама, въ сопровожденіи своихъ кавалеровъ, проходитъ мимо Кати. Катя встаетъ.

— Здравствуйте, Адель Петровна! говоритъ она.

Адель Петровна взглядываетъ на Катю изъ-за плеча въ свой лорнетъ и произноситъ, растягивая слова:

— Ахъ, Катя, здравствуйте. Ну что, вы здѣсь веселитесь?

— Да-съ, мы танцуемъ.

— Счастливица! вы нетребовательны. Васъ и такой балъ удовлетворяетъ. А я такъ попала сюда нечайно... Мы ѣздили кататься и такъ, проѣзжая мимо, на минутку заѣхали.

И Адель Петровна, не обращая уже болѣе вниманія на Катю, проходитъ далѣе.

— Вишь какъ носъ-то вздернула! ворчитъ Катя. — Съ чего это такъ? а небось, соболью-то шубу заложила.... Чего важничать-то!...

Кавалеры Адели Петровны разговариваютъ съ Катей, произносятъ нѣсколько любезностей и жмутъ руку господину съ нахальнымъ носомъ, который съ ними, повидимому, на короткой ногѣ.

— Ну, что, братецъ, тутъ сидѣть, говоритъ ему лысый купчикъ: — пойдемъ-ка лучше съ нами. Разопьемъ сулеечку холодненькаго.... Хочешь, что ли?...

— Отчего же, любезнѣйшій, отвѣчаетъ господинъ съ нахальнымъ носомъ, заливаясь громкимъ смѣхомъ и въ то же время иронически кивая на купчиковъ.—Отчего же?... можно и выпить.... Выпьемъ. Это неглупо.... Лакей, лакей! кричитъ онъ на всю залу:—подать намъ двѣ бутылки холоднаго редерёра.... да смотри же, холоднаго, а не то я тебя вышвырну изъ окна и съ бутылкой вмѣстѣ, слышишь?... да редерёру прошлогодняго, а не нынѣшняго привоза....

Всѣ оборачиваются на этотъ крикъ. Мы съ иногороднымъ другомъ моимъ въ эту минуту скрываемся за толпою. Господинъ съ нахальнымъ носомъ ищетъ насъ глазами и, не находя, отправляется за купчиками, довольный произведеннымъ имъ эффектомъ и оставивъ въ заблужденіи всю публику, что не его купцы будутъ пить, а онъ купцовъ.

Въ углу залы сидитъ барыня, гораздо лѣтъ за тридцать,

нарумяненная, въ черномъ платьѣ и съ нѣсколько сантиментальнымъ выраженіемъ. Сзади насъ какой-то пріятный мужчина говоритъ другому, менѣе пріятному, указывая на нее:

— *Вдовушка*-то, посмотрите, какъ буркулы-то закатываетъ!

— Да ужъ какъ ни закатывай, отвѣчаетъ другой:—теперь ничѣмъ не возьмешь. Адьё, монъ-плезиръ.

Пріятный мужчина подходитъ къ ней и раскланивается.

Она поднимаетъ голову и смотритъ на него съ притворнымъ удивленіемъ.

— Здравствуйте! какъ вы поживаете?... Что, вы не узнали меня?

— Я?... васъ?... Она обводитъ его съ ногъ до головы влажно проницательнымъ взглядомъ и вздыхаетъ: — вы, кажется, ошибаетесь... Я не имѣю удовольствія васъ знать... вы меня принимаете, вѣрно, за другую.

— Нѣтъ-съ, нисколько, именно за васъ. Неужели вы забыли, помните, у Палагеи Александровны: я тамъ первый разъ имѣлъ честь васъ видѣть... Я какъ теперь помню, на васъ былъ бѣлый распашной капотъ... Да вотъ и Палагея Александровна... чего же лучше?... Палагея Александровна! пожалуйте сюда.

— Что вамъ угодно? спрашиваетъ Палагея Александровна, смѣясь, присѣдая и обмахиваясь вѣеромъ, сложеннымъ изъ бумаги.

— Вотъ *они* говорятъ, будто видѣли меня у васъ... Я совсѣмъ не помню! начинаетъ вдовушка.

Пріятный мужчина наклоняется къ уху Палагеи Александровны и что-то шепчетъ. Палагея Александровна улыбается, беретъ его за ухо, произноситъ: «шалунъ!» и потомъ, обращаясь къ вдовушкѣ, говоритъ: «ну, конечно, душенька, вы *ихъ* видѣли у меня.»

— У васъ коротенькая память! замѣчаетъ пріятный мужчина.

— Напротивъ, отвѣчаетъ вдовушка, прищурясь и смотря куда-то неопредѣленно:—съ чего вы это взяли?...

«Воспоминаніемъ живетъ душа моя....»

Вдругъ изъ сосѣдней комнаты раздается громкій женскій

голосъ, съ акомпаниментомъ фортепьяно, похожимъ болѣе на цимбалы:

«Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей....»

Это поетъ Адель Петровна — сирена, привлекающая къ себѣ своимъ голосомъ (громкимъ, но непріятнымъ) купеческое сословіе, особенно страстное въ Россіи до пѣнія. Извѣстно, что, послѣ нѣсколькихъ стакановъ шампанскаго, при раздраженіи нервовъ, звуки музыки и женскій голосъ совсѣмъ одуряютъ и разнѣживаютъ русскаго человѣка, и въ эти минуты онъ готовъ отдать пѣвицѣ не только свою душу, но даже всѣ свои деньги, все, что есть на немъ и при немъ... Ловкая пѣвица можетъ посредствомъ «Соловья» или «На зарѣ ты ея не буди» заставить мгновенно жениться на себѣ. Такіе примѣры бывали. Вслѣдствіе своего голоса, говорятъ, Адель Петровна пользуется вообще большимъ авторитетомъ между торгующимъ сословіемъ. Она чуть даже не подцѣпила, однажды, милліонера съ бородой, безъ-устали заливаясь передъ нимъ цѣлый день и закатывая зрачки подъ лобъ. Милліонеръ растаялъ, не выдержалъ, бросился передъ нею на колѣни и, заливаясь слезами, произнесъ:

— Матушка Адель Петровна, голубушка! все состояніе мое у твоихъ ногъ, и самъ я. Не отвергай только.

— Ахъ!... воскликнула пѣвица.

И затѣмъ нервическій припадокъ, обморокъ, объясненіе и такъ далѣе.

— Будете ли вы любить меня? произнесла она, наконецъ придя въ чувство и нѣжно смотря на купца.

— *Залюблю*, матушка, ей-Богу, *залюблю!* отвѣчалъ онъ.— Ну, пропой еще «Соловушку»-то, пропой, родимая! Такъ вотъ сердце и захлебывается, слушая тебя...

Если бы съ купцомъ не сдѣлался вскорѣ ударъ, отъ сильныхъ ощущеній, Адель Петровна была бы, въ настоящую минуту, купчихой и милліонеркой...

Когда пѣвица въ сосѣдней комнатѣ замолкаетъ, раздаются крики и рукоплесканія; но голосъ господина съ нахальнымъ носомъ покрываетъ всѣ голоса.

Онъ кричитъ:

— Bravo! Bravissimo! Charmant!

Съ другой стороны также слышны крики и тамъ сильно щолкаютъ пробки; въ залѣ начинаютъ появляться какія-то подозрительныя лица, съ усами, нагло поглядывающія на всѣхъ; въ одномъ углу залы затѣивается уже что-то въ родѣ исторіи. Господинъ съ нахальнымъ носомъ выбѣгаетъ изъ сосѣдней комнаты въ залу и натыкается прямо на насъ.

— Вообразите, messieurs, какое несчастіе! говоритъ онъ, нѣсколько сконфуженный: — Вася Прилуцкій пріѣхалъ объявить, что *эти дамы* не будутъ; онѣ хотѣли непремѣнно быть, но непредвидѣнный случай—балъ у Лунзы... *Ну сомъ воле...* это такъ досадно, все разстроилось... Вотъ загадывай впередъ, разсчитывай на удовольствія!...

Въ эту минуту въ залѣ обнаруживается смятеніе. Комната, въ которой расположены музыканты, запирается. Дамы въ смущеніи перешептываются между собою, кавалеры смотрятъ въ недоумѣніи, нѣкоторые кричатъ:

— Что̀ же музыка?

Разносится слухъ, что пріѣхалъ становой остановить балъ, на который не было испрошено разрѣшенія. Въ самомъ дѣлѣ, въ залу является мужикъ, съ огромной лѣстницей, чтобы тушить свѣчи въ люстрѣ.

Господинъ съ нахальнымъ носомъ кричитъ мужику:

— Ба, ба, ба! Это что? Ты съ ума сошелъ, братецъ! Пошелъ вонъ!

Мужикъ не слушаетъ и продолжаетъ тушить.

— Эй, ты, бородачъ! пошелъ вонъ, тебѣ говорятъ, на чистомъ русскомъ языкѣ! продолжаетъ господинъ съ нахальнымъ носомъ, нотою выше.

И подходитъ къ лѣстницѣ съ угрозой опрокинуть ее.

Неизвѣстный прикасается слегка рукой къ его плечу и говоритъ:

— Не извольте кричать. Это не ваше дѣло. Ему приказано тушить свѣчи.

Господинъ съ нахальнымъ носомъ сдвигаетъ свои соболи, принимаетъ надменное выраженіе и восклицаетъ:

— Кто вы такой, милостивый государь? Что̀ вамъ угодно? Какое право вы имѣете дѣлать мнѣ замѣчанія? Знаете ли вы, съ кѣмъ вы говорите? Я вамъ не совѣтую со мною шутить.

На этотъ крикъ сбѣгаются мужчины и дамы и окружаютъ неизвѣстнаго и господина съ нахальнымъ носомъ.

— Не шумите, я вамъ говорю: васъ велятъ вывести, замѣчаетъ неизвѣстный.

— Кого? меня? да еще нѣтъ той руки, которая бы осмѣлилась ко мнѣ прикоснуться!... Попробуйте, попробуйте.

— А вотъ мы это увидимъ.

Неизвѣстный взглядываетъ въ сторону. Появляются еще нѣсколько неизвѣстныхъ и приближаются къ господину съ нахальнымъ носомъ, который заговариваетъ тремя нотами ниже и отступаетъ, бормоча что-то.

Изъ толпы раздается голосъ:

— Спасовалъ, братъ, спасовалъ!

Но только что неизвѣстные скрываются изъ виду, господинъ съ нахальнымъ носомъ кричитъ:

— Хорошо, что этотъ господинъ благоразумно ретировался; а-то я показалъ бы ему, голубчику, что̀ такое значитъ затронуть меня!... Не на такого напалъ... Нѣтъ...

И онъ осматриваетъ толпу, стараясь придать себѣ торжествующій видъ.

Между тѣмъ, свѣчи одна за другой тухнутъ. Суматоха увеличивается. Пользуясь ею, мы уѣзжаемъ, оставляя господина съ нахальнымъ носомъ, съ Аделью Петровной и купчиками...

VI. ДАМА ИЗЪ ПЕТЕРБУРГСКАГО ПОЛУСВѢТА (DEMI MONDE).

«Я человѣкъ вполнѣ образованный, потому что одѣваюсь какъ всѣ *порядочные* люди, умѣю вставлять въ глазъ стеклышко, подпрыгиваю на сѣдлѣ по-англійски; я выработалъ себѣ извѣстную посадку въ экипажѣ, извѣстные пріемы въ салонѣ и въ театрѣ; читаю Поль де-Кока и Александра Дюма-сына, легко вальсирую и полькирую, говорю по-французски; притворяюсь, будто чувствую неловкость, говорить по-русски; знаю, кому и какъ поклониться при встрѣчѣ на улицѣ, и проч.

«Я живу какъ всѣ *порядочные* люди: у меня мебели Гамбса, коверъ на лѣстницѣ, лакей въ штиблетахъ и въ гер-

бовой ливреѣ, бананъ за диваномъ, англійскіе кипсеки на столѣ, и проч.

«Петербургъ удовлетворяетъ меня совершенно: въ немъ итальянская опера, отличный балетъ, французскій театръ (въ русскій театръ я не хожу и русскихъ книгъ не читаю), *дамы съ камеліями*, которыя, при встрѣчѣ со мною, улыбаются и дружески киваютъ мнѣ головою. Я на *ты* со всѣми *порядочными* людьми въ Петербургѣ: объ остальныхъ я мало заботусь. Я счастливъ. Чего же мнѣ больше?...»

Людей, такъ думающихъ, такого рода счастливцевъ въ Петербургѣ множество... «Петербургъ—это Парижъ въ миніатюрѣ», сказалъ мнѣ недавно одинъ изъ такихъ. «Знаете ли, что въ Петербургѣ заводится нѣчто въ родѣ парижскаго Demi-Monde?... Мы начинаемъ не шутя развиваться.»

Дѣйствительно, Петербургъ быстро идетъ по пути такого развитія. Мы очень ловко воспользовались внѣшнею стороною европейской цивилизаціи и развили въ высшей степени все ея безобразіе. Петербургская жизнь съ каждымъ годомъ становится требовательнѣе, блестящѣе и дороже. Мы почти не можемъ обходиться безъ роскошной мебели; намъ какъ-то неловко, если у насъ въ гостиной не торчитъ хоть маленькій бананчикъ, если на полу не натянутъ коверъ или что-нибудь подобное. Намъ непремѣнно хочется, чтобы наши комнаты, наша квартира были хоть слабымъ подобіемъ великолѣпныхъ салоновъ княгини К* или Б*... «Не могу же я принимать моихъ знакомыхъ (даже хоть бы у меня ихъ было очень мало) въ плохо меблированной комнатѣ и сажать ихъ на жесткія кресла съ деревянными спинками: что скажутъ обо мнѣ?...» И всѣ мы, смертельно боясь этого *что скажутъ?* тянемся изо всѣхъ силъ для того, чтобы придать себѣ сколько можно внѣшняго лоску и блеску. Господинъ М. ѣздитъ къ графинѣ К*, заражается ея роскошью и подражаетъ ей въ образѣ жизни; господинъ Р* ѣздитъ къ господину М*, онъ заражается его роскошью и подражаетъ ему; господинъ Ф* подражаетъ господину М*, и такъ далѣе, и такъ далѣе. Всѣ мы безпощадно завидуемъ другъ другу, тянемся другъ за другомъ и заражаемся другъ отъ друга нелѣпымъ тщеславіемъ, и всѣ мы—не то, что есть, да и не то, чѣмъ хотимъ казаться. Роковое *что скажутъ?* связало насъ по рукамъ и

по ногамъ и не даетъ намъ жить и дышать свободно. Жалкіе рабы тщеславія, мы сами создаемъ себѣ мученія и страданія, на каждомъ шагу сами себѣ подставляемъ баррикады и все болѣе и болѣе удаляемся отъ нормальной человѣческой жизни...

Къ чему все это приведетъ наконецъ, я не знаю. Мое дѣло только отмѣтить фактъ... Если развитіе общественной жизни заключается въ экипажѣ, въ мебеляхъ, въ туалетахъ, въ умноженіи публичныхъ увеселеній, ресторановъ, въ расположеніи дамъ, называемыхъ *камеліями*, и прочее, то мы точно развиваемся быстро и по наружности не уступаемъ даже парижанамъ. Въ самомъ дѣлѣ, чего нѣтъ въ Петербургѣ въ сію минуту? Намъ даже нечего завидовать парижскому Demi-Monde... У насъ образуется тоже нѣчто въ родѣ этого *полусвѣта*, начинаютъ появляться женщины, занимающія середину между прославленными камеліями и тѣми, которыхъ французы зовутъ femmes-honnêtes...

Я васъ познакомлю съ этимъ новымъ явленіемъ, съ этою странною дамою, для которой Парижъ еще не придумалъ названія.

Она не вдова, потому что мужъ ея живъ; но она почти вдова, потому что онъ не живетъ съ нею, или, вѣрнѣе, она не живетъ съ нимъ. Отчего они разошлись, мы увидимъ. Я думаю, виноватъ скорѣе онъ, чѣмъ она: я въ такихъ случаяхъ всегда на сторонѣ женщинъ. Она была отдана замужъ почти ребенкомъ, онъ женился на ней слишкомъ молодымъ, оба они получили въ наслѣдство отъ своихъ родителей огромное тщеславіе и маленькое состояніе. Тщеславіе быстро поглотило состояніе. Они остались ни съ чѣмъ — и въ этомъ положеніи въ первый разъ серьёзно взглянули другъ на друга; затѣмъ мгновенно обнаружилась разность ихъ характеровъ, начались упреки, ссоры, сцены и проч. Жена обвиняла мужа, мужъ — жену. Разобрать ихъ было трудно. Дѣло дошло до того, что жена, характера болѣе смѣлаго, первая оставила мужа; мужъ былъ убитъ первое время, онъ все думалъ: «что скажутъ?» Но когда говорить перестали, онъ совершенно успокоился и очень легко примирился съ своимъ положеніемъ; она, съ большими инстинктами къ независимости, успокоилась на мысли, что презираетъ свѣтъ и общественное мнѣніе. Она,

въ сущности, хорошенько еще не знала, что такое свѣтъ и общественное мнѣніе. Съ этими словами она была только нѣсколько знакома по французскимъ романамъ. Родители ея, къ счастію, сошли въ могилу — слезъ, упрековъ и морали ждать было не отъ кого. И вотъ она одна, одна въ цѣломъ мірѣ, въ небольшой квартиркѣ въ 4-мъ этажѣ, плохо меблированной, съ небольшимъ пенсіономъ отъ мужа, который еще, притомъ, платитъ его неакуратно, съ горничной и кухаркой, даже безъ *человѣка*... Это ужасно!... Ей, которую въ дѣтствѣ вывозили четверней на выносъ; ей, у которой были экипажи на лежачихъ рессорахъ и лакей со штиблетами; ей, которая привыкла вставать въ двѣнадцать часовъ и ничѣмъ не заниматься втеченіе дня, кромѣ какъ туалетомъ и чтеніемъ романовъ; ей, дочери стараго *генерала;* ей, которая воспитывалась въ аристократическомъ заведеніи, вмѣстѣ съ княжною П* и графинею Л*, которыя вышли потомъ замужъ за генералъ-адъютантовъ и теперь украшаютъ собою Дворъ; ей, носящей извѣстную дворянскую фамилію, унизиться до того, чтобы жить въ голой комнаткѣ, не имѣть экипажа и человѣка; ей дойти до того, чтобы убѣдиться, что и горничную держать нельзя, что надобно остаться съ одной кухаркой и содержать себя трудами рукъ своихъ, не привыкшихъ ни къ какой работѣ!... Можно съ ума сойти при такой мысли!... Ей, въ двадцать-семь лѣтъ, съ недурнымъ личикомъ, съ внѣшнимъ блескомъ— съ отличнымъ французскимъ языкомъ, съ нѣкоторыми музыкальными способностями, съ граціей и ловкостью въ танцахъ, съ умѣньемъ и со вкусомъ одѣваться, прозябать гдѣ нибудь въ неизвѣстности, на чердакѣ, за шитьемъ, подобно какой-нибудь швеѣ! Ей убить свою молодость на этомъ чердакѣ среди блеска и шума столичной жизни, не слыхать ни Маріо, ни Лаблаша, не видать m-me Плесси, не танцовать съ кавалергардскимъ офицеромъ; шелковый чулокъ промѣнять на бумажный; ботинку Соболева на ботинку какого-нибудь Короваева на Загородномъ проспектѣ!... Это безуміе!... Но что же дѣлать?... Проходитъ годъ страшныхъ терзаній, лишеній и слезъ. Она сошла бы съ ума, если бы не одно обстоятельство... Къ ней ѣздитъ офицеръ, гусаръ—одинъ изъ ея свѣтскихъ знакомыхъ, который нѣкогда робко приволакивался за нею и на котораго она обращала также вниманіе. Онъ начинаетъ теперь

волочиться за нею посмѣлѣе; она начинаетъ кокетничать съ нимъ: то приближаетъ его къ себѣ, то отталкиваетъ, играетъ съ нимъ, какъ кошка съ мышкой, сама еще не зная, куда поведетъ эта игра, которая ее развлекаетъ. Гусаръ рѣшительно влюбляется въ нее, раздражаемый кокетствомъ и препятствіями; она увлекается имъ невольно и незамѣтно и свое увлеченіе принимаетъ за истинную любовь. «Вотъ тотъ, которому я должна бы была принадлежать», думаетъ она. Страсти съ обѣихъ сторонъ усиливаются crescendo, и при этомъ музыка, пѣніе, дуэты. У гусара очень пріятный теноръ... Кончается тѣмъ, чѣмъ обыкновенно кончается всякая любовь, начинающаяся совершенно платонически; затѣмъ слезы, минутное раскаяніе, легкая ссора, примиреніе, и проч., и проч.

Гусаръ присылаетъ цвѣты, привозитъ браслетъ съ своимъ портретомъ... Цвѣты принимаются, какъ вещь невинная, браслетъ потому только, что онъ съ его портретомъ; но когда гусаръ намекаетъ о перемѣнѣ квартиры, о мебели и о прочемъ, она вспыхиваетъ отъ негодованія, она потрясена и взволнована... «Ah, vous me traitez comme une femme perdue!» восклицаетъ она, зарыдавъ. Съ нея дѣлается первическій припадокъ. Гусаръ никакъ не ожидалъ такой сцены. Онъ пораженъ такою чистою, безкорыстною, восторженною любовью. Она три дня не принимаетъ его, онъ въ отчаяніи, наконецъ они примиряются, и черезъ мѣсяцъ послѣ примиренія она переѣзжаетъ на новую квартиру, меблированную безъ роскоши, но со вкусомъ, удобно и изящно. Она поняла, что Бальзакъ правъ, что, живя въ Парижѣ или Петербургѣ, нельзя любить на чердакѣ или въ хижинѣ, что любовь охлаждается въ комнатѣ съ крашенымъ поломъ, къ которому прилипаетъ подошва ботинки, съ голыми стѣнами и на диванѣ съ деревяннымъ задкомъ. Она убѣдилась, что Бальзакъ величайшій сердцевѣдецъ, потому что въ будуарѣ, меблированномъ Гамбсомъ, въ шелковомъ чулкѣ и въ соболевской ботинкѣ, на мягкихъ коврахъ, любишь тоньше, и изящнѣе, и горячѣе. Мало-помалу она начинаетъ выѣзжать въ театры, особенно въ оперу. Театры и маскарады замѣнили ей свѣтъ съ его балами и вечерами, о которыхъ она теперь нисколько не сожалѣетъ; она начинаетъ отзываться о свѣтѣ и о свѣтскихъ домахъ съ презрительной ироніей, а о дамахъ на рысакахъ и съ *каме-*

ліями — съ неудержимымъ негодованіемъ и ненавистью. Вся кровь ея бросается ей въ лицо при встрѣчѣ въ театрахъ и на гуляньяхъ съ какой-нибудь *Армансъ*, *Эрмини*, *Формозой*, не оттого ли, что внутренній голосъ говоритъ ей, что ея положеніе походитъ нѣсколько на положеніе этихъ дамъ?

Между ею и ими завязывается кровная, непримиримая вражда: онѣ нагло измѣряютъ ее съ ногъ до головы, съ насмѣшливою улыбкою,—не оттого ли, что видятъ въ ней тайную соперницу, съ которой имъ сойтись нельзя и которая можетъ современемъ отбивать у нихъ хлѣбъ?...

Отъ гусара она заимствуетъ нѣкоторыя привычки, не совсѣмъ идущія къ женщинѣ... Она начинаетъ курить папироски, впрочемъ еще немного, какъ будто шутя, и съ большой граціей. Послѣ медоваго мѣсяца, гусаръ представляетъ ей своихъ друзей и товарищей, потому что гусару хочется прихвастнуть ею, заставить товарищей завидовать ему; къ тому же, надобно какое-нибудь развлеченіе обоимъ: никакая любовь не выдержитъ мѣсяца глазъ на глазъ... Однажды вечеромъ, въ присутствіи своихъ гостей, она оживлена болѣе обыкновеннаго, ея нервы раздражены, глаза горятъ, она подходитъ къ роялю, беретъ аккорды и поетъ:

Уймитесь, волненія страсти,
Засни, безнадежное сердце...

Гости въ восторгѣ. Всѣ рукоплещутъ ей... Одинъ изъ гостей, адъютантъ, влюбляется въ нее... Вечеръ оканчивается жжонкой... Она любуется синимъ пламенемъ, фантастическимъ свѣтомъ, которымъ огонь жжонки освѣщаетъ лица. Сахаръ, растопляясь, падаетъ въ кипящую серебряную чашу, съ трескомъ, пламя вспыхиваетъ ярче... Она не спускаетъ глазъ съ чаши, съ любопытствомъ слѣдя за огнемъ: она радуется, какъ дитя... Огонь тухнетъ, жжонку разливаютъ въ стаканы, адъютантъ подноситъ ей маленькую рюмку, она улыбается, обмакиваетъ свои губки, морщится, удивляется, какъ можно пить этотъ спиртъ, однако, еще отпиваетъ... Жжонка ей нравится. Она выпиваетъ всю рюмку. Глаза ея еще ярче разгораются, щеки пылаютъ, голова немножко кружится, сердце бьется чаще, какая-то пріятная теплота разливается по всему тѣлу... Воздухъ въ комнатѣ пропитывается тонкимъ и душистымъ запахомъ спирта; дымъ отъ папиросъ ходитъ волнами; въ

туманѣ мелькаютъ передъ нею раскраснѣвшіяся лица... адъютантъ сидитъ возлѣ нея, онъ такъ странно смотритъ на нее. Ей бы хотѣлось встать и уйти; но, между тѣмъ, ей лѣнь пошевелиться: ни руки, ни ноги не повинуются ей... Одна ея ножка полуоткрыта; шелковый чулокъ обрисовываетъ ея прекрасныя формы, и она не замѣчаетъ положенія этой ножки. Адъютантъ проситъ ее спѣть что-нибудь, наклоняется къ ея рукѣ и прикасается къ ней горячими губами... Она вздрагиваетъ, дѣлаетъ усиліе надъ собою, встаетъ и подходитъ къ роялю, и опять изъ груди ея несутся звуки, еще горячѣе прежнихъ... Послѣ пѣнія одинъ изъ гостей садится за фортепьяно и начинаетъ играть польку... Къ ней кто-то подходитъ и обвиваетъ ея талію... она полькируетъ въ этомъ чаду, переходя изъ рукъ въ руки... и наконецъ, утомленная, бросается на диванъ... Сквозь двойные занавѣсы прорывается уже дневной свѣтъ...

Проходитъ болѣе года. Гусаръ ѣздитъ рѣже; между нимъ и ею начинаются охлажденія, сцены; она убѣждается, что не любила гусара, а была только увлечена имъ... Адъютантъ пользуется размолвкой, онъ дѣлается сначала ея повѣреннымъ, ея другомъ... Гусаръ уѣзжаетъ совсѣмъ изъ Петербурга, и адъютантъ начинаетъ являться къ ней всякій день... Общество ея увеличивается, она пріобрѣтаетъ знакомство въ маскарадахъ... ея смѣлость, любезность и кокетство съ каждымъ маскарадомъ умножаютъ число ея поклонниковъ... Она въ модѣ... Извѣстная молодежь считаетъ за необходимость быть ей представленной... Она держитъ салонъ; послѣ театра избранные являются къ ней пить чай... Всѣ въ восхищеніи отъ нея, всѣ смотрятъ на нее съ надеждою — она кокетничаетъ со всѣми; но къ кому она особенно благосклонна, никто не знаетъ... Нѣкоторые подозрѣваютъ адъютанта; но онъ не имѣетъ никакого состоянія, къ тому же онъ послѣднее время рѣже показывается у нея... Носятся неясные слухи даже о какомъ-то богатомъ купцѣ; но можно ли вѣрить городскимъ клеветамъ и сплетнямъ? И кто же распускаетъ эти слухи— Армансъ или Эрмини, которыя не упускаютъ случая злословить ее всячески, хотя бы онѣ почли за величайшее счастіе, если бы она изъявила желаніе познакомиться съ ними; хотя каждая изъ нихъ съ ума бы сошла отъ восторга, если

бы она рѣшилась показаться съ нею въ публикѣ, если бы она вздумала появиться въ ея ложѣ... Но этого никогда не будетъ. Эти Армансъ и Эрмини—самая больная сторона ея: она болѣе всего боится, чтобы ее не смѣшивали съ ними, но она знаетъ подробно исторію каждой изъ этихъ дамъ; она изподтишка смотритъ на нихъ съ величайшимъ любопытствомъ. Когда же при ней заходитъ рѣчь о нихъ, она очень ловко прикидывается, будто не имѣетъ о нихъ никакого понятія...

Какая же собственно разница между нею и ими?

Она ведетъ себя несравненно скромнѣе. У нея нѣтъ и она не хочетъ имѣть экипажей и рысаковъ, бросающихся въ глаза, и вы рѣдко можете встрѣтить ее на Невскомъ проспектѣ, тогда какъ эти дамы ежедневно выставляютъ себя, свои экипажи, свои туалеты и своихъ рысаковъ. Квартира ея меблирована нероскошно. Она даже немножко щеголяетъ простотою,—не потому, говоря откровенно, что простота ей нравится, а потому, чтобъ не имѣть ничего общаго съ этими дамами, которыя обиваютъ стѣны свои шелками и не щадятъ позолоты и бронзы. Она отлично образована... сравнительно съ этими дамами; она имѣетъ понятіе обо всемъ, читаетъ и даже любитъ читать; она поддерживаетъ разговоръ съ ловкостью и тактомъ. Если бы у нея было блестящее имя и тысяча душъ, она была бы свѣтской львицей. Въ маскарадахъ она одѣта всегда въ черномъ; она не бросается въ глаза, какъ эти дамы, голубыми и розовыми домино, неслыханными кружевами, тысячными браслетами и приводящими въ изумленіе букетами; она никогда не позволитъ себѣ укоротить свое домино, чтобы обнаружить свою изысканно обутую ножку, какъ часто дѣлаютъ эти дамы. Въ театрахъ вы никогда не увидите ея въ бель-этажахъ или бенуарахъ на выставкѣ. Оттого она не пользуется такою извѣстностью, какъ эти дамы. Она показывается иногда даже въ домахъ средняго круга; въ ея ложу во-второмъ ярусѣ, безъ боязни быть замѣченными, входятъ многіе извѣстные господа, которые бы скорѣе рѣшились умереть, чѣмъ публично показаться въ великолѣпныхъ ложахъ этихъ дамъ. Ея тщеславіе не такъ рѣзко и грубо, какъ у нихъ; но, несмотря на это, она суетна и тщеславна въ высшей степени. Въ ея разговорѣ съ вами она непремѣнно нѣсколько разъ упомянетъ, что ея отецъ былъ гене-

ралъ, что у него была аннепская лента, что къ нимъ въ домъ ѣздило самое лучшее петербургское общество, и замѣтитъ вамъ, что она могла бы, если бы хотѣла, ѣздить въ общество, но независимость предпочитаетъ всему на свѣтѣ, и что у нея такой характеръ, что она никакъ не можетъ подчиняться общественнымъ условіямъ и предразсудкамъ. Къ этому она навѣрно прибавитъ:

— Вотъ вы знаете графиню Язвинскую—Катринь, жену генералъ-адъютанта, урожденную графиню Липовскую? Мы съ нею вмѣстѣ воспитывались. Она всякій разъ, когда встрѣчается со мною на улицахъ или въ театрѣ, зоветъ къ себѣ; но съ какой стати я поѣду къ ней, — я, которая прервала всѣ связи съ свѣтомъ, хотя, признаюсь вамъ, я очень люблю Катринь: c'est un ange de bonté!... Княгиня Рахманова, Адель, также одного со мною выпуска.

Вся разница между нею и ими въ томъ, что онѣ продаютъ себя, а она *увлекается*, хотя, въ сущности, основа ихъ жизни одна, — основа шаткая и неопредѣленная. И она и онѣ живутъ настоящимъ: сегодня въ довольствѣ и роскоши, завтра, можетъ быть, безъ куска хлѣба. И она и онѣ скорѣе умрутъ съ голоду, чѣмъ разстанутся съ своими саксонскими куклами и коврами и рѣшатся поддерживать свое существованіе трудами рукъ своихъ. Многія изъ подобныхъ ей, и именно такія, которыя имѣютъ безпечный характеръ и доброе сердце, кончаютъ свое поприще очень печально; другія, съ наклонностями практическими, заводятся богатыми и надежными старичками, выманиваютъ себѣ капиталы, на склонѣ дней занимаются торговлей, отдачей меблированныхъ квартиръ внаймы, пріобрѣтаютъ дома, выходятъ замужъ довольно выгодно за людей чиновныхъ, и прочее.

Я не знаю, какъ кончитъ моя дама среди этого сплетенія интригъ, кокетства, суеты и тщеславія; но будущность ея начинаетъ тревожить меня: она слишкомъ послѣднее время злоупотребляетъ своими глазами и замѣтно прибѣгаетъ къ косметическимъ средствамъ, въ которыхъ, впрочемъ, еще не слишкомъ нуждается. По увѣренію Армансъ, она даже пьетъ жжонку, какъ мужчины; но клеветы Армансъ я не принимаю серьёзно.

Чтобы читатель, не видавшій въ дѣйствительности такого

рода дамъ, могъ получить болѣе наглядное и опредѣленное понятіе о моей дамѣ, я передамъ здѣсь ему о моемъ знакомствѣ съ нею.

Нѣсколько лѣтъ назадъ, я жилъ на дачѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ парками и лѣсами, и гулялъ почти съ утра до вечера. Разъ вечеромъ я возвращался изъ лѣсу, и когда подходилъ къ большой дорогѣ, совсѣмъ уже смерклось. Мѣсяцъ еще не показывался. Вдругъ, среди мрака и тишины, раздался женскій крикъ, такой, какой, обыкновенно, издаютъ женщины, испугавшіяся лягушки. Я вышелъ на большую дорогу и увидѣлъ двѣ женскія тѣни: одна изъ нихъ была въ шляпкѣ и въ шали, другая въ бурнусѣ, съ платочкомъ на головѣ. Онѣ, замѣтивъ мою тѣнь, обѣ въ одно время прокричали маскараднымъ пискливымъ голосомъ мою фамилію съ французскимъ акцентомъ и удареніемъ. Это меня нѣсколько удивило. Я схватилъ тѣнь въ шляпкѣ за руку—тѣнь вскрикнула, вырвалась отъ меня, и обѣ онѣ побѣжали по большой дорогѣ. Я бросился за ними. Онѣ кричали: «Петръ! Петръ!» Въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отъ того мѣста, гдѣ я нашелъ ихъ, стояла карета. Я нагналъ ихъ въ ту минуту, когда онѣ бросились въ карету. Карета двинулась. Тѣнь въ шляпкѣ высунулась изъ окна и закричала мнѣ, смѣясь: «au revoir!» Я вернулся домой, ничего не понимая, и на другой же день забылъ объ этомъ происшествіи. Дней черезъ десять послѣ этого, гуляя, я отошелъ версты двѣ отъ своей дачи и очутился въ паркѣ, черезъ который проходилъ часто. Впереди меня по дорожкѣ шли двѣ дамы. Я поровнялся съ ними и взглянулъ на нихъ. Одна—стройная, высокаго роста, лѣтъ подъ тридцать, съ густыми черными волосами, на которые накинутъ былъ бѣлый газовый вуаль, съ черными небольшими, но очень выразительными глазами. Другая — маленькая, бѣлокурая и полная. Когда я посмотрѣлъ на нихъ, брюнетка улыбнулась и взглянула на блондинку, которая также отвѣчала ей улыбкою.

— Я тебѣ говорила, Nadine, сказала брюнетка довольно громко, такъ, чтобы я слышалъ: — что намъ надобно было взять часы. Мы можемъ этакъ опоздать; а намъ надобно быть къ 9 часамъ на пароходной пристани. Который теперь можетъ быть часъ?

— Еще только четверть восьмаго, сказалъ я, вынимая часы и обращаясь къ гулявшимъ дамамъ.

Брюнетка взглянула на меня, какъ бы удивляясь моей дерзости.

— Благодарю васъ, сказала она. — Намъ впередъ, ma chère, наука брать съ собою часы, продолжала она, обратясь къ блондинкѣ.

Несмотря на это колкое замѣчаніе въ сторону, я пошелъ съ ними рядомъ и продолжалъ разговоръ:

— Вы, вѣрно, изволите жить здѣсь недалеко на дачѣ?

— Да.

— А какія прекрасныя мѣста здѣсь... сады, лѣса, море... это лучшія изъ петербургскихъ окрестностей. Не правда ли?

— Можетъ быть.

Послѣ этихъ краткихъ и холодныхъ отвѣтовъ, я хотѣлъ было удалиться; но брюнетка вдругъ обратилась ко мнѣ.

— Знаете ли, сказала она:—что мы вамъ завидуемъ?

Я посмотрѣлъ на нее вопросительно.

— Не шутя, продолжала она:—мы желали бы жить въ вашемъ домикѣ. Онъ такъ хорошъ въ зелени и въ цвѣтахъ. Вѣдь это вы живете на дачѣ Б*, въ швейцарскомъ домикѣ у моря?

— Я. Такъ вамъ этотъ домикъ нравится?

— Пожалуйста, вы не удивляйтесь, *почему* мы васъ знаемъ. Это очень просто. Вашъ домикъ давно насъ интересуетъ, и одинъ разъ, гуляя въ вашемъ паркѣ, мы встрѣтили управляющаго и спросили у него, кто живетъ въ этомъ домикѣ. Онъ намъ сказалъ и къ этому прибавилъ, указывая на васъ... вы сидѣли на крайней скамейкѣ у моря: «Да вотъ и они сами...» Однакожъ, Nadine, намъ пора вернуться домой.

Я вернулся вмѣстѣ съ ними. Проходя мимо одной дачи, я замѣтилъ брюнеткѣ:

— Кажется, эта дача не занята.

— Отчего жъ вы думаете?

— Да оттого, что никого не видно; цвѣтовъ нѣтъ на балконѣ.

— Это еще ничего не доказываетъ, возразила брюнетка:— вотъ я очень люблю цвѣты, а у меня нѣтъ цвѣтовъ на балконѣ.

— Почему же?

— Потому что я нахожу, что это лишняя издержка.

Въ это время мы спускались подъ гору, и брюнетка, приподнявъ платье, обнаружила маленькую ножку, хорошо обутую.

— Если вы такъ разсчетливы, въ такомъ случаѣ, вы бы приказали кому нибудь украсить вашъ балконъ...

— Кому же я могу приказать? перебила она, взглянувъ на меня строго.

— А му.... мужу? возразилъ я.

Она улыбнулась.

— Мой мужъ далеко отсюда. Да притомъ развѣ мужья угождаютъ женамъ?...

Въ эту минуту мы остановились передъ небольшою дачею, проѣзжая мимо которой я почти всякій разъ слышалъ пѣніе. Вороты на дворъ были отворены, двери сарая открыты, а изъ дверей высовывалось дышло кареты.

— Петръ! закладывай карету! закричала брюнетка.

— Ахъ, вашего кучера зовутъ Петромъ? вскрикнулъ я невольно.

Она взглянула на меня съ спокойнымъ удивленіемъ.

— Да-съ, Петромъ. Что же это васъ удивляетъ?

— Нѣтъ, но...

— Но, прибавила она: — тъперь мы должны съ вами проститься и поблагодарить васъ за вашу любезность.

Я поклонился.

— Позвольте мнѣ, сказалъ я: — имѣть честь поднести вамъ букетъ изъ моего сада. Я не смѣлъ бы отнестись къ вамъ съ этой просьбой, если бы не былъ увѣренъ, что букетъ этотъ вамъ, какъ охотницѣ до цвѣтовъ, можетъ понравиться. У меня есть цвѣты очень рѣдкіе.

Она проговорила что-то невнятно, улыбнулась, очень привѣтливо кивнула мнѣ головой и исчезла.

Я понятія не имѣлъ, кто такая эта госпожа. Спросить о ней было не у кого. Однако, несмотря не это, на другой день утромъ я отправился къ ней съ огромнымъ букетомъ. Подъѣзжая къ дачѣ, я, къ счастью, увидѣлъ на балконѣ блондинку, которая на мой поклонъ отвѣчала мнѣ сладкою улыбкою, какъ старая знакомая.

— Могу я видѣть... началъ я — и не зналъ, какъ продолжать.

— Александру Николавну? продолжала за меня блондинка: — милости просимъ. Она сейчасъ войдетъ.

Минутъ черезъ пять, Александра Николавна явилась въ очень изящномъ утреннемъ туалетѣ. Я поднесъ ей букетъ. Она поднесла его къ носу, поблагодарила меня съ очень пріятной улыбкой и отдала блондинкѣ, съ приказаніемъ тотчасъ поставить его въ вазу съ водой. Александра Николавна была очень любезна со мною и въ разговорѣ, между прочимъ, замѣтила, что она послѣ завтра будетъ на музыкѣ въ Петергофѣ. Я не сомнѣвался, что одержалъ побѣду. Просидѣвъ минутъ двадцать, я всталъ. Александра Николавна просила меня о продолженіи знакомства и прибавила, что она почти всегда по вечерамъ дома.

Не безъ нѣкотораго самодовольствія, я отправился въ Петергофъ на музыку. У вокзала стояло нѣсколько экипажей: гуляющихъ дамъ и мужчинъ было много. Я искалъ ее глазами, какъ вдругъ одинъ изъ моихъ знакомыхъ спросилъ меня:

— Не знаешь ли ты, кто эти дамы въ каретѣ съ сѣрыми лошадьми, вотъ съ которыми разговариваетъ Ипатъ?

Ипатъ былъ одинъ изъ нашихъ пріятелей, знавшій весь Петербургъ наизусть.

Я взглянулъ въ ту сторону, гдѣ стоялъ Ипатъ, и ахнулъ. Дама, сидѣвшая въ каретѣ, съ которой разговаривалъ онъ, была моя брюнетка.

— Все, что я могу тебѣ сказать, отвѣчалъ я моему знакомому: — эту даму зовутъ Александрой Николавной. Я знакомъ съ нею, я былъ у нея; но *что* она такое и *кто*, я понятія не имѣю.

Когда Ипатъ отошелъ отъ кареты, мы отвели его въ сторону и стали разспрашивать объ Александрѣ Николавнѣ. Онъ назвалъ намъ ея фамилію и разсказалъ намъ ея исторію, которую я передалъ въ началѣ, и въ заключеніе прибавилъ:

— Тутъ, господа, взятки гладки... Вакансія занята!...

Послѣ того я былъ у нея нѣсколько разъ и убѣдился, что Ипатъ правъ. Всякій разъ встрѣчалъ я у нея адъютанта, того самого адъютанта, о которомъ упомянуто выше. Съ

адъютантомъ она ѣздила то верхомъ, то въ кабріолетѣ и оставляла меня съ блондинкой, всякій разъ извиняясь и увѣряя, что возвратится черезъ полчаса. Блондинка была ея старая пріятельница, въ которой она принимала большое участіе. Она сама впослѣдствіи призналась мнѣ, что нѣсколько разсчитывала на меня въ отношеніи къ блондинкѣ,

— Покорно васъ благодарю; да она ужасно дурна, сказалъ я.

— А вы, мужчины, отвратительны, отвѣчала она:—вамъ непремѣнно нужно хорошенькое личико... Но если бы вы знали, какое у нея чудесное сердце! какія у нея прекрасныя чувства!

И, произнося это, она сама захохотала первая...

VII. КАМЕЛІИ.

Знакомство съ *камеліями* еще легче. Есть много способовъ знакомиться съ ними, и тотъ, который я разскажу вамъ сейчасъ, еще не изъ легчайшихъ.

Волненіе и нетерпѣніе моего иногороднаго друга и непреодолимое желаніе разгадать, кто его маска, возрастали въ немъ съ каждою минутою, по мѣрѣ приближенія маскарада, въ которомъ тайна должна была открыться. Онъ подозрѣвалъ ее въ каждомъ хорошенькомъ личикѣ, которое встрѣчалъ на улицахъ, и преслѣдовалъ безпокойнымъ и подозрительнымъ взглядомъ каждую женщину, одѣтую со вкусомъ. Однажды въ онерѣ (мы сидѣли рядомъ) онъ долго смотрѣлъ въ свой бинокль на даму съ бѣлокурыми, пушистыми локонами, которую онъ увидѣлъ въ первый разъ, въ платьѣ бѣлаго дама̀, съ черными кружевами, потому что въ ней онъ, по какой-то причинѣ, болѣе всего подозрѣвалъ свою маску.

И вдругъ онъ обратился ко мнѣ:

— Ты хорошо знакомъ съ этою госпожею? спросилъ онъ меня, указывая на ложу.

— Ну, такъ что жь?...

— Ты можешь меня представить къ ней?

— Хоть сію минуту. Отчего же ты прежде мнѣ не сказалъ объ этомъ? Я бы давно тебя представилъ.

— Такъ, мнѣ не хотѣлось, а теперь я бы желалъ.

Только что занавѣсъ, послѣ перваго дѣйствія, опустился, мы отправились наверхъ.

Мы вошли въ маленькую комнату передъ ложей, въ которой стояли диванъ, нѣсколько стульевъ и надъ диваномъ зеркало. *Луиза*, дама съ пушистыми локонами, извѣстная всему Петербургу подъ этимъ именемъ, сидѣла на диванѣ, обмахиваясь вѣеромъ и улыбаясь на любезности какого-то офицера, который сидѣлъ рядомъ съ нею. Другой, статскій, разговаривалъ стоя съ ея наперсницей — съ дѣвицей или дамой, столько же дурной, сколько бойкой...

Когда мы вошли, статскій взглянулъ на насъ съ безпокойствомъ и вопросительно посмотрѣлъ на наперсницу.

Луиза протянула мнѣ руку. Я представилъ ей моего иногороднаго друга.

— Очень, очень рада, произнесла Луиза тѣмъ ломанымъ русскимъ языкомъ, какимъ, обыкновенно, говорятъ нѣмки, нѣсколько растягивая слова: — давно вы пріѣхали въ Петербургъ?... Здѣсь весело вамъ?

При этихъ звукахъ мой иногородный другъ смѣшался и даже взглянулъ на меня съ недоумѣніемъ...

— Замѣтили вы, какой браслетъ у Бозіо? Мнѣ очень нравится, продолжала она, обращаясь любезно ко всѣмъ намъ.

— Вамъ, кажется, нельзя завидовать чужимъ браслетамъ, сказалъ военный: — такихъ браслетовъ нѣтъ ни у кого, какъ у васъ. Напримѣръ, вотъ этотъ...

И онъ взялъ руку Луизы, съ драгоцѣннымъ браслетомъ, поднялъ ее и взглянулъ на насъ.

Мы начали разсматривать браслетъ и восхищаться имъ.

— Этотъ браслетъ хорошъ. Онъ стòитъ три тысячи... Послушайте, графъ — Луиза обратилась къ статскому, разговаривавшему съ ея наперсницей: — чтò вы тамъ дѣлаете? Принесите мнѣ стаканъ воды.

Тотъ, котораго называла она графомъ, вышелъ изъ ложи и черезъ минуту принесъ на подносѣ стаканъ воды.

— Погодите, графъ, немножко подержите... Мнѣ еще жарко... можно простудиться...

— Ахъ, нѣтъ, не безпокойтесь! это вода не холодная, перебилъ графъ: — я не принесъ бы вамъ холодной воды...

— Все равно, погодите... А знаете, графъ, что я влюблена въ него. — Она указывала на офицера, улыбаясь. — Ахъ, Боже мой! какъ я о немъ страдаю!

Графъ все держалъ подносъ со стаканомъ. Онъ принужденно улыбался.

— Ну, что жь! я васъ поздравляю съ этимъ...

— Право, ей Богу... влюблена.

Луиза захохотала.

Потомъ еще минутъ пять продолжала она разговоръ въ этомъ родѣ, а графъ все стоялъ передъ нею съ подносомъ. Между тѣмъ, наперсница говорила съ моимъ иногороднымъ другомъ по-французски очень ловко и бойко. Наконецъ мы раскланялись.

Луиза снова протянула мнѣ руку.

— Пріѣзжайте ко мнѣ... Пожалуйста... привозите вашего пріятеля.

И она пріятно улыбнулась моему иногородному другу.

Графъ все стоялъ съ подносомъ.

Мы вышли въ корридоръ.

— Боже мой! Что это такое? Я не вѣрю своимъ ушамъ! воскликнулъ мой иногородный другъ: — я не могу прійти въ себя, объясните мнѣ...

— Что такое?

— Вѣдь я воображалъ, что ваши петербургскія камеліи имѣютъ хоть какое нибудь внѣшнее образованіе, хоть говорить умѣютъ... а это... да неужели онѣ всѣ въ такомъ родѣ?

— Нѣтъ... Есть такія, которыя умѣютъ держать себя лучше и говорятъ довольно прилично.

— И я могъ подозрѣвать, что это моя маска! И съ чего мнѣ этакая глупость пришла въ голову?... Ну, а этотъ графъ-то что такое?...

— Графъ имѣетъ тысячъ полтораста доходу, онъ влюбленъ въ Луизу, какъ безумный, страшно ревнуетъ ее, и всегда тамъ, гдѣ она... Ну, а Луиза все больше и больше завлекаетъ его. Вы не смотрите на нее, что она такая простенькая на видъ: она прехитрая!...

— Но какъ же можетъ завлечь такая женщина? Что въ этомъ личикѣ? съ ней слова сказать не о чемъ. Даже эта госпожа, которая съ ней выѣзжаетъ — геній ума и образова-

нія передъ нею!... И на такихъ женщинъ тратятъ сотни тысячъ!... Ничего не понимаю!...

Въ маскарадѣ Дворянскаго Собранія я хотѣлъ было подвести моего иногороднаго друга къ Армансъ, чтобы примирить его нѣсколько съ петербургскими камеліями. Армансъ — француженка, и, несмотря на то, что ея образованіе немного выше образованія Луизы, Армансъ умѣетъ бросать пыль въ глаза своею болтовнею и поддерживать разговоръ. Она очень весела, жива и находчива на отвѣты; она можетъ принимать на себя какія угодно роли — разъигрывать недоступную даму и вдругъ превращаться въ самую разгульную и отчаянную лоретку. Она отлично поетъ: *Un soir à la barriere*... канканируетъ изумительно и вообще очень забавна; но познакомить съ нею моего иногороднаго друга я не могъ, потому что онъ уже былъ занятъ своею маской.

Я сидѣлъ въ маленькой угольной комнатѣ и смотрѣлъ на извѣстнаго читателю господина съ соболями вмѣсто бровей и съ нахальнымъ носомъ, который держалъ какую-то маску за руку и кричалъ ей, поводя своими соболями:

— Повѣрь мнѣ, бо-маскъ, что я не пожалѣю тысячи цѣлковыхъ. *Пароль д'онёръ*. Деньги — вещь наживная... Надобно имѣть только немножко здѣсь.

И онъ тыкалъ пальцемъ въ свой узенькій лобъ...

Въ эту минуту мой иногородный другъ очутился передо мною и схватилъ меня за руку.

— Я тебя ищу вездѣ. Поздравь меня, сказалъ онъ мнѣ, улыбаясь: — я наконецъ знаю, кто моя маска, и ты ее знаешь...

— Неужели?

Онъ наклонился къ моему уху и шепнулъ.

— Александра Николаевна... и къ этому прибавилъ фамилію, о которой я умолчу изъ скромности.

— Александра Николаевна! воскликнулъ я, стараясь выразить какъ можно болѣе удивленія.

— Она, она! Пойдемте къ ней; она мнѣ велѣла привести тебя, она ждетъ насъ.

Когда мы подошли къ Александрѣ Николаевнѣ, она взяла меня за руку и сказала:

— Знаете ли, что мы очень сошлись съ вашимъ пріятелемъ?... Но я только сейчасъ узнала, что вы знакомы другъ

съ другомъ. Вы, вѣрно, будете такъ добры, что возьмете на себя трудъ привезти его ко мнѣ завтра... Не правда ли? тѣмъ болѣе, что вы очень давно у меня не были, и я на васъ сердита. Если вы хотите заслужить прощеніе, исполните то, о чемъ я васъ прошу... Итакъ, a demain, messieurs!..

Она пожала намъ руку, кивнула головой и скрылась.

Черезъ десять минутъ она снова расхаживала по заламъ, только въ другомъ домино, не узнаваемая моимъ иногороднымъ другомъ. Она подошла ко мнѣ.

— Что жь, ты завтра привезешь его ко мнѣ? спросила она. — А, знаешь ли, онъ премилый и преумный...

— Въ самомъ дѣлѣ?... Да ты ужъ не начинаешь ли чувствовать къ нему нѣкотораго влеченія?

— А почему же нѣтъ?... Онъ еще такой молодой сердцемъ, у него еще кровь кипитъ... Не къ вамъ же чувствовать влеченіе... всѣ вы противные, бездушные эгоисты, вы уже отжили, въ васъ нѣтъ искры жизни!... Скажи, ты его хорошо знаешь?

— Довольно. Да говори прямо: тебѣ хочется знать, богатъ онъ или нѣтъ?... Онъ имѣетъ хорошее состояніе. Влюбиться въ него полезно, я совѣтую тебѣ.

— Гадкій! произнесла Александра Николаевна, ударивъ меня пальчикомъ по носу.

На другой день, въ два часа утра, мы явились къ ней... Въ комнатѣ царствовалъ полусвѣтъ... Кружевныя занавѣски на окнахъ были опущены; сквозь нихъ виднѣлись цвѣты. Каминъ пылалъ довольно ярко. Александра Николаевна сидѣла въ самомъ темномъ углу комнаты. Ея утренній туалетъ, ея поза, высунувшаяся изъ-подъ платья ножка, ручка съ блестящими кольцами на одномъ пальцѣ, безпокойно передвигавшаяся, ея взгляды, каждый поворотъ головы и проч., — все, что приводило моего иногороднаго друга въ упоеніе, было въ моихъ глазахъ однимъ разсчетомъ.

И какъ ловко избѣгала она яркаго дневнаго свѣта!...

Когда мы усѣлись противъ нея, она сказала, обращаясь къ моему иногородному другу:

— Прежде всего я должна просить у васъ прощенія. Вы,

вѣрно, не ожидали этого?... Не удивляйтесь: именно *прощенье* — c'est le mot, потому что мы были противъ васъ въ заговорѣ. Вашъ пріятель — мой старый знакомый (она указала на меня), упросилъ меня развлечь васъ, сказалъ мнѣ, что вы пріѣзжіе, что у васъ въ Петербургѣ нѣтъ знакомыхъ. Я живо вообразила ваше положеніе, какъ вы должны будете скучать одни: вѣдь наши дамы интригуютъ только знакомыхъ кавалеровъ, — а эти господа (она снова указала на меня) такъ вялы и скучны, что я, признаюсь, съ удовольствіемъ взяла на себя роль развлекать новаго, живаго человѣка, не похожаго на нихъ... я хотѣла доставить вамъ нѣсколько пріятныхъ минутъ... не знаю, успѣла ли я въ этомъ?...

Она бросила на него проницательный взглядъ.

— Что касается до меня, я никогда не забуду тѣхъ пріятныхъ часовъ, которые вы мнѣ доставили: мнѣ никогда не было такъ хорошо въ маскарадахъ.

Она снова взглянула на моего иногороднаго друга и продолжала:

— Если я въ маскѣ могла сколько нибудь быть вамъ пріятной, занять васъ хоть на минуту, развлечь васъ... я желала бы, чтобы эти впечатлѣнія я съумѣла поддержать въ васъ теперь, когда безъ маски. Вы видѣли передъ собой вымышленную женщину, теперь вы видите настоящую. Мнѣ было бы очень пріятно, если бы вы съ настоящей были такъ же откровенны и прямы, какъ съ вымышленной...

Она остановилась на минуту и прибавила, протягивая къ нему свою руку:

— Знакомство, которое началось шуткой, можетъ продолжаться серьёзно. Неправда ли?...

Онъ поцѣловалъ ея руку...

VIII. ПЕТЕРБУРГСКІЕ ПРАЗДНОШАТАЮЩІЕСЯ.

Въ Петербургѣ, какъ и во всѣхъ большихъ городахъ, очень много праздношатающихся. Они принадлежатъ къ разнымъ классамъ общества, къ разнымъ сословіямъ, а есть и такіе, которые не принадлежатъ ни къ какому классу и ни къ какому

сословію: это ужъ праздношатающіеся по преимуществу. Праздношатающимися зовутъ обыкновенно людей бѣдныхъ, промотавшихся, пѣшеходовъ, малоизвѣстныхъ (inconnus). Люди съ богатствомъ или именемъ, не имѣющіе никакого общественнаго положенія и ничего не дѣлающіе, зовутся вѣжливѣе, по-французски—*фланёрами*. Въ сущности, это тѣ же праздношатающіяся, только съ внѣшнимъ блескомъ... Общество очень благосклонно къ нимъ: оно дѣлаетъ имъ ручки, съ пріятной улыбкой киваетъ имъ головами, пьетъ съ ними шампанское и снисходительно величаетъ ихъ названіемъ *добрыхъ малыхъ;* но оно строго и презрительно относится о праздношатающихся-пѣшеходахъ и при встрѣчахъ съ таковыми не замѣчаетъ ихъ или отворачивается отъ нихъ, не подозрѣвая, что оно само нѣсколько виновато въ томъ, что они сдѣлались праздношатающимися и дошли до нищеты. Если бы общество чувствовало, что на немъ лежитъ нѣкоторая отвѣтственность въ отношеніи этихъ несчастныхъ, оно было бы, вѣроятно, снисходительнѣе къ нимъ и не подавляло бы ихъ такъ легко своимъ благороднымъ негодованіемъ. Къ праздношатающимся богатымъ принадлежатъ молодые купчики, дѣти отцовъ, честно или нечестно наживавшихъ копѣйку и оставившихъ дѣтямъ въ наслѣдство — свое невѣжество и свои капиталы, которые дѣти, стыдящіеся своего сословія и пренебрегающіе торговлей, обыкновенно глупо проматываютъ, заражаясь претензіями барства. Къ праздношатающимся богатымъ принадлежатъ... но мы на этотъ разъ оставимъ ихъ въ покоѣ и займемся праздношатающимися-пѣшеходами.

Я помню одного мальчика, очень красиваго собой, которому родители завивали волосы локонами, которому и сами они и знакомые ихъ твердили безпрестанно: «Какой красавецъ!» Я помню, какъ всѣ ахали, какое *блестящее* воспитаніе даютъ этому мальчику, какъ всѣ восхищались его граціей въ танцахъ, его болтаньемъ по-французски и по-англійски, его острымъ словамъ, его дѣтскому такту и проч. Родители едва имѣли сами средства къ существованію, а свое милое дитя воспитывали такъ, какъ будто оно всю жизнь должно было провести сложа ручки, въ совершенномъ довольствѣ и праздности. Воспитаніе это стоило имъ тысячи, и всѣ удивлялись, откуда берутъ они эти тысячи; но родители имѣли

связи съ людьми богатыми и сильными. У ребенка были крестная маменька — княгиня, крестный папенька — князь. Князь и княгиня, восхищенные красотою своего крестника и притомъ движимые возвышенными чувствами: помогать ближнимъ, взяли на себя всѣ издержки по его воспитанію. Кромѣ того, родители красиваго малютки умѣли возбуждать вообще участіе къ своему положенію въ людяхъ высшаго общества: имъ очень деликатно помогали, дѣлали подарки, давали деньги въ займы на заемныя письма, которыя потомъ великодушно раздирали, такъ что они привыкли уже разсчитывать на великодушіе, какъ на свой вѣрный доходъ, законно и неотъемлемо принадлежащій имъ. Имѣя самый легкій и пріятный взглядъ на жизнь, они сообщили его и своему наслѣднику, и этотъ взглядъ все болѣе и болѣе развивался въ немъ подъ благодѣтельнымъ вліяніемъ блестящаго воспитанія. Миша (имя красиваго ребенка) посылался родителями раза три въ недѣлю въ разные аристократическіе дома играть съ княжескими и графскими дѣтьми и возвращался домой съ дорогими, подержанными, впрочемъ, игрушками, которыя ему тамъ дарили. Миша дѣлался ловчѣе и развязнѣе съ каждымъ днемъ; онъ былъ *фаворитомъ* двухъ свѣтскихъ дамъ, пользовавшихся большимъ значеніемъ. Онъ уже начиналъ посматривать гордо на своихъ сверстниковъ изъ средняго сословія, хвастать передъ ними своими знакомствами и дорогими куклами и внутренно стыдиться, что домъ его родителей, сравнительно съ тѣми домами, которые онъ посѣщалъ, бѣденъ. Для этого онъ иногда прибѣгалъ даже къ невинной лжи, увѣряя, что родители его переѣзжаютъ на другую квартиру, что они заказываютъ богатую мебель, и проч. Родители въ такихъ случаяхъ не останавливали его, потому что они сами имѣли привычку всякими средствами приподниматься передъ людьми, равными имъ. Миша росъ къ ихъ утѣшенію, вполнѣ удовлетворяя ихъ самолюбіе, и они не сомнѣвались, что его ожидаетъ блестящая карьера. Его готовили въ дипломаты, потому что еще въ то доброе, старое время, когда Миша былъ мальчикомъ, единственно возможной службой въ Россіи для *порядочнаго* человѣка считалась дипломатическая служба, и высшимъ идеаломъ для молодыхъ людей были мѣста секретарей при различныхъ посольствахъ. Замѣтивъ въ Мишѣ нѣкоторую тонкость и

хитрость, родители, прижимая его къ своему сердцу и цѣлуя, повторяли съ гордостью: «Онъ рожденъ быть дипломатомъ!»

Когда маленькій дипломатъ достигъ четырнадцатилѣтняго возраста, его отдали въ такое заведеніе, гдѣ воспитывались дѣти извѣстныхъ фамилій. Миша подурнѣлъ немножко, но зато сдѣлался щеголемъ; а такъ какъ родители не имѣли средствъ давать ему денегъ на прихоти, то онъ, для пріобрѣтенія ихъ, началъ объигрывать товарищей въ *орлянку*. Отъ орлянки, лѣтъ въ семнадцать, онъ перешелъ къ бильярду и для практики, въ праздничные дни, тайкомъ отправлялся обыкновенно въ трактиры, гдѣ свелъ очень короткое знакомство съ извѣстными маркерами. Незамѣтно онъ сдѣлался однимъ изъ лучшихъ бильярдныхъ игроковъ и однажды, играя въ какомъ-то домѣ на бильярдѣ передъ своими родителями, привелъ ихъ своимъ искусствомъ въ совершенное изумленіе... «Какія способности у этого мальчика на все!» замѣтили они другъ другу чуть не со слезами. Когда Миша окончилъ курсъ наукъ — не съ такимъ, кажется, блескомъ, какъ отъ него ожидали, чему причиною были, конечно, бильярдъ и орлянка— его опредѣлили по дипломатической части, и молодой человѣкъ вступилъ въ большой свѣтъ безъ гроша денегъ и съ претензіями на тысячи. Крестные папенька и маменька ничего ему не дали, но ввели его въ этотъ свѣтъ, и это ужъ съ ихъ стороны и съ ихъ точки зрѣнія было, конечно, величайшимъ благодѣяніемъ. На дѣлѣ оказалось не совсѣмъ такъ. Для поддержанія себя въ большомъ свѣтѣ молодому человѣку нужны были издержки на туалеты, на экипажи и проч... самолюбіе не позволяло ему отставать отъ другихъ... да и нельзя: жалованье небольшое... родители сами кое-какъ перебиваются подаяніями и займами... откуда же деньги? Миша пустилъ въ ходъ свои бильярдныя способности; вмѣсто должности по утрамъ началъ шататься по трактирамъ, наблюдать посѣтителей и ловить новичковъ и неопытныхъ охотниковъ, не обнаруживая передъ ними своего таланта, постепенно завлекая ихъ умышленными проигрышами и потомъ объигрывая, какъ будто нечаянно. Деньги, пріобрѣтенныя имъ такимъ образомъ утромъ, онъ растрачивалъ вечеромъ на наемъ экипажа, на перчатки и другіе мелкіе расходы, потому-что нельзя же ему было подъѣхать къ великолѣпно освѣщенному подъѣзду на

«Ванькѣ». Какое бы мнѣніе въ такомъ случаѣ получилъ о немъ толстый и важный швейцаръ, отъ вниманія котораго ничто не ускользало?... Въ тѣ дни, когда баловъ въ городѣ не было, онъ проводилъ вечера въ модныхъ ресторанахъ съ своими великосвѣтскими пріятелями. Денежныя потребности его постепенно расширялись, а деньги, добываемыя въ трактирахъ, были ничтожны. Миша попробовалъ счастія въ карты и завелъ довольно значительную игру. Сначала было ему повезло; потомъ онъ сталъ проигрываться и не платить... Отъ него стали бѣгать, когда онъ у всѣхъ началъ занимать помаленьку на два, на три дня, на недѣлю. О немъ начали говорить вслухъ нехорошо. Дамы еще были къ нему довольно внимательны; но мужчины стали обращаться съ нимъ не только съ холодностію, но съ явнымъ пренебреженіемъ. Дамы замѣтили это и отвернулись отъ него. Но Миша все еще продолжалъ ѣздить въ свѣтъ, хотя уже гораздо рѣже, встрѣчаемый холодно и даже едва замѣчаемый. Ко всему этому начальство стало на него жаловаться, что онъ служить не хочетъ, что онъ никогда не показывается въ министерство, и проч.; начались домашнія сцены; родители пришли въ отчаяніе, полились упреки, слезы... «Ты обманулъ наши ожиданія, ты заплатилъ намъ черною неблагодарностью за наши хлопоты, заботы о тебѣ... Ты служить не хочешь, занимаешь деньги и не платишь — позоришь себя и насъ!» говорили родители. Миша сначала молча выслушивалъ все это, а потомъ началъ возражать и грубить и въ одинъ день наотрѣзъ сказалъ: «Вольно же вамъ было давать мнѣ такое воспитаніе и потомъ пустить меня нищимъ! Что жь такое, что я занимаю и не плачу: и вы также у всѣхъ занимаете и не платите!»

Отецъ Миши не перенесъ обманутыхъ сыномъ надеждъ и фантазій и умеръ, не имѣя даже возможности благословить его, потому что въ ту ночь, когда онъ умиралъ, сынъ объигрывалъ кого-то въ ланскнэ и никакъ не могъ отстать отъ игры, потому что ему везло очень. Поссорившись съ своимъ начальствомъ, Миша, не сказавъ матери, вышелъ въ отставку и совсѣмъ пересталъ ѣздить въ свѣтъ, потому что его перестали звать, перестали присылать ему приглашенія. Это, однако, глубоко оскорбляло его, и однажды, на вопросъ своего знакомаго, будетъ ли онъ на балѣ княгини Д*, о которомъ

кричалъ весь городъ, онъ смѣло отвѣчалъ: «буду» — и, дѣйствительно, поѣхалъ на балъ безъ приглашенія... Старые его пріятели указали на него хозяину дома, а тотъ чрезвычайно вѣжливо подошелъ къ нему и попросилъ его очень деликатно — удалиться. Разсказъ объ этомъ распространился на другой день по всему городу, — и съ этой минуты Миша исчезъ для свѣта.

Своихъ великосвѣтскихъ знакомыхъ онъ замѣнилъ уличными и трактирными, но еще, встрѣчая на улицѣ первыхъ, блѣднѣлъ и отворачивался отъ нихъ. Онъ все еще одѣвался франтомъ; но платья его поистерлись и позавяли, бѣлье не имѣло прежней бѣлизны, а енотъ на шубѣ порыжѣлъ и пообтерся. Онъ отпустилъ усы. Прошло года два.

Однажды, когда я проходилъ по одной изъ самыхъ отдаленныхъ и пустынныхъ петербургскихъ улицъ, кто-то вдругъ выскочилъ изъ-подъ воротъ и наткнулся на меня. Это былъ онъ. Онъ взглянулъ мнѣ прямо въ глаза съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хотѣлъ сказать: «Ну, смотри на меня... Это я... что же изъ этого, и какое тебѣ дѣло до меня?» Онъ не поклонился мнѣ, хотя мы были прежде знакомы, закусилъ губу, улыбнулся и съ достоинствомъ прошелъ, напѣвая что-то себѣ подъ носъ. Мнѣ показалось, что онъ очень измѣнился — похудѣлъ и осунулся. Пальто его очень замѣтно лоснилось, шолкъ на пуговицахъ оборвался, обнаруживая деревяшки, тулья шляпы порыжѣла; но все это было тщательно вычищено, нигдѣ ни пушинки, и руки вложены въ задніе карманы, какъ у франтовъ. На большихъ улицахъ, при дневномъ и особенно солнечномъ свѣтѣ, онъ совсѣмъ не показывался; по крайней мѣрѣ, мнѣ ни разу не случалось встрѣчать его.

Мѣсяцъ спустя послѣ этой встрѣчи, я зашелъ вечеромъ въ одинъ изъ кафе-ресторановъ на Невскомъ. Бильярдная комната была полна народомъ. Густыя облака дыма висѣли надъ бильярдомъ, притягиваемыя колпаками лампъ. Въ чаду и дыму, съ перваго раза никого разглядѣть было невозможно; только слышались разные голоса, восклицанія и трескъ шаровъ. Мало-по-малу изъ дыма начинали выглядывать раскраснѣвшіяся физіономіи съ усами, съ рѣзкими морщинами, съ загрубѣлой кожей и съ нѣжной кожицей и пушкомъ на подбородкѣ... Между этими физіономіями въ особенности одна

обращала на себя вниманіе рѣзкостью и грубостью чертъ, длиннымъ и горбатымъ носомъ, большими черными глазами, съ какимъ-то хищнымъ выраженіемъ, и южнымъ, желтовато-смуглымъ колоритомъ. Владѣлецъ этой физіономіи мрачно стоялъ съ кіемъ въ рукѣ, не играя, но слѣдя съ участіемъ и вниманіемъ за движеніемъ шаровъ, и отъ поры до времени мычалъ себѣ что-то подъ носъ или покачивалъ головою, съ педантическимъ выраженіемъ знатока. Всѣ присутствующіе обращались съ нимъ, какъ съ коротко знакомымъ, и называли его *Синьоромъ*. Этотъ синьоръ, какъ мнѣ сообщили, носилъ нѣкогда на лоткахъ алебастровыя фигуры, завелъ потомъ свою мастерскую въ Гороховой улицѣ, пріобрѣлъ маленькій капиталецъ и, передавъ мастерскую другому соотечественнику, сбросилъ куртку, запачканную алебастромъ, облекся въ сюртукъ, отпустилъ усы и бородку, пустилъ капиталецъ свой въ какой-то таинственный оборотъ, а самъ жилъ бильярдомъ, на которомъ игралъ отлично, и сдѣлался самымъ постояннымъ посѣтителемъ этого кафе. Онъ почти безвыходно находился въ бильярдной, — только ежедневно въ четыре часа удалялся къ себѣ, чтобы наѣсться макаронъ, которыя ему приготовляла, отлично и совершенно по-итальянски, русская рябая и толстая дѣвка Акулина, жившая у него постоянно лѣтъ десять и пользовавшаяся полною его довѣренностью; послѣ макаронъ соснетъ съ часокъ и аккуратно въ шесть часовъ снова возвращается къ своему посту и остается ужъ тамъ до полуночи. Синьоръ и самъ игралъ и держалъ пари за другихъ. Онъ обыкновенно грубо отвѣчалъ на любезности и шуточки посѣтителей, впивался проницательнымъ взглядомъ въ новыя, незнакомыя ему лица, появлявшіяся въ бильярдной, и часто очень значительно и исподтишка переглядывался съ маркеромъ. Если партія не интересовала его, онъ сидѣлъ на диванѣ, дремалъ или засыпалъ.

Въ то время, когда я вошелъ въ бильярдную, играли обыкновенную русскую партію къ пять шаровъ какой-то господинъ съ короткой шеей и пожилыхъ лѣтъ съ молодымъ человѣкомъ.

Господинъ съ короткой шеей выигрывалъ. По мѣрѣ выигрыша, голосъ его становился веселѣе и повелительнѣе, физіономія дѣлалась открытѣе и свѣтлѣе. Аппетитъ его также возрасталъ. Послѣ каждой выигранной партіи онъ громогласно

и весело требовалъ себѣ то рюмку хересу, то чашку шоколаду, то порцію бифштекса.

Проигрывавшій молодой человѣкъ горячился, проклиная свое несчастіе, пожималъ плечами, дѣлалъ отчаянныя гримасы, поминутно перемѣнялъ кій и съ неистовствомъ стучалъ шарами... Вдругъ, выкинувъ неловкимъ и сильнымъ ударомъ шаръ за бортъ, онъ схватилъ его съ полу и со всего размаху кинулъ на бильярдъ. Шаръ отскочилъ и ударилъ прямо въ животъ короткошеему господину.

Всѣ зрители удвоили вниманіе и съ любопытствомъ ждали, что будетъ. Господинъ съ короткой шеей, поднявъ съ полу шаръ и, покачиваясь, весело сказалъ звонкимъ и пріятнымъ голосомъ: —Ахъ, горячая кровь! горячая кровь!—затѣмъ поставилъ шары на мѣсто и прицѣлился... Онъ сдѣлалъ свою билію и съ удара кончилъ партію.

— На не, что-ли? спросилъ онъ молодаго человѣка.

— Идетъ, отвѣчалъ тотъ съ волненіемъ.

Проигравъ двѣ партіи, молодой человѣкъ отказался.

— Ну, я вамъ дамъ пожалуй десять впередъ, сказалъ короткошеей господинъ.

— Пятнадцать, возразилъ молодой человѣкъ.

— Ну, такъ и быть, извольте!

Но молодой человѣкъ проигралъ и съ пятнадцатью. Тогда короткошеей господинъ предложилъ ему двадцать. Проигравъ и съ двадцатью, молодой человѣкъ опять бросилъ кій.

— Ну, я вамъ дамъ тридцать! великодушно произнесъ короткошеей.

Молодой человѣкъ нерѣшительно посмотрѣлъ на оставленный кій.

Въ эту минуту въ бильярдной появилось новое лицо, которое заняло общее вниманіе. Это былъ сѣденькій старичокъ, съ плутовскими глазками. При появленіи его вдругъ на минуту воцарилось почтительное молчаніе.

Я встрѣчалъ этого старичка въ разныхъ бильярдныхъ и замѣтилъ, что ему вездѣ оказывали особенное почтеніе: уступали мѣста, принимали слово его за законъ, обращались къ нему въ сомнительныхъ случаяхъ, въ спорахъ. Когда его обступали и просили съиграть партію, онъ обыкновенно отговаривался, жаловался на темноту въ глазахъ, на дрожаніе рукъ,

наконецъ соглашался, и всѣ были въ восторгѣ... Знакомые и незнакомые долгомъ считали восхищаться каждымъ его ударомъ. Старикъ дрожащей рукою сдѣлаетъ шаръ на себя — и на всѣхъ лицахъ обнаружатся слѣды глубокаго сожалѣнія... Онъ отпуститъ пошлую шутку — всѣ хохочатъ, несмотря на то, что онъ нищій и не имѣетъ другой извѣстности, кромѣ пріобрѣтенной продолжительнымъ шуллерствомъ...

Старичокъ появился въ бильярдной въ то мгновеніе, когда короткошеей господинъ предложилъ молодому человѣку тридцать.

— Тридцать! воскликнулъ старикъ. — Да если вы дадите *имъ* тридцать, я буду за нихъ пари держать. Я видывалъ игру ихъ....

Ободренный такимъ авторитетомъ, молодой человѣкъ рѣшился попробовать счастія. Короткошеей господинъ условился съ старичкомъ въ пари.... Молодой человѣкъ проигралъ и съ тридцатью.

— Нѣтъ, больше не держу: — сказалъ старичокъ, *они* сегодня не въ ударѣ... Дайте имъ сорокъ, такъ тогда, пожалуй, подержу.

— Извольте.... сорокъ, такъ сорокъ! отвѣчалъ короткошеей:—отчего и не рискнуть съ выигрыша?...

Но и сорокъ не помогли. Молодой человѣкъ получилъ наконецъ пятьдесятъ. Соболѣзнуя о проигрышѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ любуясь съ артистическимъ увлеченіемъ превосходными биліями господина съ короткой шеей, старичокъ шепталъ своему сосѣду:

— Вотъ у молодаго-то человѣка игры съ каждымъ годомъ прибываетъ, прибываетъ, а у старика убываетъ: руки дрожатъ, глаза плохо видятъ...

Молодой человѣкъ, между тѣмъ, проигралъ съ пятидесятью.

— Ну, хотите пятьдесятъ-пять? воскликнулъ короткошеей господинъ.

Но молодой человѣкъ бросилъ молча кій и, блѣдный, какъ полотно, вышелъ изъ бильярдной комнаты.

Маркеръ, съ живыми глазами и быстрыми тѣлодвиженіями, поднесъ короткошеему его выигрышъ, довольно значительный.

— А со мной не сыграете? спросилъ онъ.

— Поди ты! отвѣчалъ презрительно короткошеей и подошелъ къ старичку.

— Вотъ, Иванъ Маркелычъ, сказалъ онъ, подавая ему нѣсколько ассигнацій:—мой вчерашній должокъ. Благодарю за довѣріе... Понимаете, прибавилъ онъ выразительно:—съ сегодняшнимъ вашимъ проигрышемъ такъ ровно и будетъ...

— Понимаемъ, отвѣчалъ старичокъ также выразительно.

— Не хотите ли, господа, шампанскаго? закричалъ короткошеей, обращаясь къ своимъ пріятелямъ и, между прочими, къ синьору, который на все посматривалъ исподлобья, но наблюдательно.

— Съ хозяиномъ-то прежде расплатитесь! шепнулъ на крикъ короткошеяго довольно грубо маркеръ.

Короткошеей важно бросилъ ему нѣсколько ассигнацій.

— А со мной такъ и не съиграете? началъ маркеръ сладкимъ голосомъ.

Но короткошеей довольно рѣшительно послалъ его къ чорту. Несмотря на это, маркеръ продолжалъ увиваться около него, приставая безпрестанно съ новыми предложеніями.

— Ну, партію *деконте*....

— Не хочу! отстань!

— Ну, я буду играть *одной рукой*.... Ну, вы мнѣ дайте тридцать впередъ—я буду играть *отвернувшись и закрывши глаза*.

— Пошелъ прочь!

— Ну, дайте сорокъ. Я буду играть *пальцемъ*, а вы кіемъ!

— Не хотите?

— Не хочу!

— А я вотъ было и денежки приготовилъ, сказалъ маркеръ, вертя передъ глазами короткошеяго нѣсколько депозитокъ.—Право, только хочется проиграть! Съиграемте?

— Говорятъ тебѣ, не хочу!

Маркеръ отошелъ къ своей черной доскѣ, но скоро воротился съ обломкомъ стараго кія.

— Вотъ я буду играть *обломкомъ, вмѣсто кія*, сказалъ онъ, показывая короткошеему неровный разщепленный конецъ палки.

— Убирайся!...

Такъ-какъ просто никто не играетъ съ маркерами, то они,

обыкновенно, пускаются на всевозможныя выдумки. Изобрѣтательность ихъ въ бильярдной сферѣ не имѣетъ границъ; искусство выполненія разныхъ бильярдныхъ фокусовъ доходитъ до невѣроятности. Они объигрываютъ самыхъ искусныхъ и осторожныхъ игроковъ... Дѣло не обходится иногда и безъ плутней. Разъ, говорятъ, одинъ изъ маркеровъ *наскочилъ* (бильярдное выраженіе) на пріѣзжаго, который превосходилъ его искусствомъ и опытностью. Три дня длился между ними смертельный бой, и втеченіе ихъ маркеръ постоянно проигрывалъ; на четвертый день искусный и опытный господинъ проигралъ не только весь выигрышъ, но и всѣ свои деньги. Одного не могъ онъ понять, проигрывая, отчего шары не останавливались у него тамъ, гдѣ, по его разсчету и по свойству удара, слѣдовало имъ останавливаться. Дѣло объяснилось очень просто: смѣясь его недогадливости, маркеръ самъ потомъ признался ему, что онъ немного отвинтилъ борты бильярда, и такимъ образомъ отраженіе шаровъ сдѣлалось слабѣе, чѣмъ было наканунѣ.... Помѣлить разгорячившемуся сопернику кій съ одного края, прилѣпить въ роковую минуту надъ лузой незамѣтный кусочекъ воску и другія подобныя хитрости—всѣ были пущены имъ въ дѣло. Люди, опытные въ бильярдномъ дѣлѣ, сообщили мнѣ, что въ маркеры идутъ обыкновенно люди ловкіе, находчивые и предпріимчивые, и что нигдѣ нельзя встрѣтить такого плутовства и такого разврата, какъ между ними. Поприще свое они кончаютъ почти всегда трагически; дни, проведенные стоя; частыя безсонныя ночи, ежеминутныя корыстолюбивыя волненія скоро старятъ ихъ. Постоянное и свободное соприкосновеніе съ «господами» дѣлаетъ ихъ неспособными къ другимъ должностямъ. Лишившись маркерскаго мѣста, они спиваются и умираютъ въ нищетѣ... Хотя чрезъ руки ихъ проходитъ много денегъ, но они никогда не запасаются на черный день. Жизнь въ трактирѣ, ежеминутный соблазнъ — пріучаютъ ихъ къ расточительности. Игра становится ихъ потребностью. Выстоявъ день за бильярдомъ и заработавъ своимъ искусствомъ сколько придется съ посѣтителей, ночью они сбираются въ какомъ нибудь отдаленномъ трактирѣ *помѣряться силами между собой*. При такихъ сходкахъ не существуетъ границъ между средствами позволительными и непозволительными: кто искуснѣе сплутовалъ,—тому и деньги

и слава! Въ эти сборища, гдѣ бываетъ не только бильярдная, но и карточная игра, допускаются и трактирные шуллера, которые, по ремеслу своему, вообще дружны съ маркерами... Синьоръ долженъ быть непремѣнно въ числѣ гостей на такихъ сборищахъ. Деньги у маркеровъ не держатся. Выигравъ, они сорятъ ихъ на шампанское и проматываютъ по нѣскольку сотъ въ одну ночь въ танцклассѣ. Но чаще, мучимые потребностью непрестанной дѣятельности, которую не всегда является возможность удовлетворить съ барышомъ, они наконецъ «сводятъ игру» на такія тяжелыя условія, что проигрываютъ до послѣдней копѣйки. И тогда начинается для нихъ періодъ медленнаго и осторожнаго копленія, — періодъ, о которомъ говорятъ, что человѣкъ «въ подмазкѣ». Разъигравшись, они опять кутятъ. Маркеры иногда скапливаютъ тысячъ до четырехъ, и, если они крѣпостные, у нихъ рождается желаніе выкупиться; но это намѣреніе они откладываютъ день за день и никогда не осуществляютъ. Кончается тѣмъ, что господа вызываютъ ихъ въ деревню и приставляютъ ихъ къ своему домашнему бильярду....

Послѣ рѣшительнаго «убирайся!...» произнесеннаго короткошеимъ господиномъ, выступили на бильярдную арену два новые бойца: одинъ—господинъ, повидимому, неизвѣстный никому изъ присутствовавшихъ, а другой — знакомый всѣмъ Миша, котораго мы будемъ звать теперь Михайломъ Васильичемъ.

Синьоръ предложилъ три цѣлковыхъ пари за Михайла Васильича и принялъ въ игрѣ кровное участіе. Послѣ трехъ ударовъ, неизвѣстный господинъ, который вовсе не зналъ своего партнера, обратился къ нему и сказалъ:

— А я было забылъ положить въ лузу деньги.

И съ этими словами, оставивъ свой кій, вынулъ десятирублевую депозитку, такъ что ее всѣ видѣли, и положилъ ее въ одну изъ лузъ. Михайло Васильичъ обнаружилъ при этомъ какое-то неловкое движеніе въ лицѣ и искоса взглянулъ на синьора, который на этотъ взглядъ дернулъ однимъ глазомъ и бровью. Михайло Васильичъ засунулъ руку въ ту же лузу и глухо произнесъ:

— Вотъ и мои.

Незнакомецъ игралъ въ началѣ неудачно, такъ что Ми-

хайло Васильичъ былъ впереди пятнадцатью очками. Синьоръ пріятно улыбался и мигалъ короткошеему. Михайло Васильичъ довольно гордо посматривалъ кругомъ и гладилъ свои усы, какъ человѣкъ, совершенно довольный собою. Онъ сталъ обнаруживать даже нѣкоторую небрежность и послѣ одного удара неудачно подставилъ жолтаго шара къ средней лузѣ. Синьоръ вздернулъ плечами. Шаръ былъ, впрочемъ, трудный, потому что надобно было играть отъ борта; но когда неизвѣстный мѣткимъ ударомъ положилъ его въ лузу при всеобщемъ одобреніи и чьихъ-то крикахъ: «предъ симъ благоговѣю!» и еще очень ловко подошелъ къ жолтому своимъ шаромъ, у синьора сверкнула въ глазахъ молнія негодованія, и онъ пробормоталъ сквозь зубы, поведя головой на Михайла Васильича:

— Держи тутъ! играть не умѣетъ... per Bacco!...

Три раза сряду жолтый шаръ ложился въ среднюю лузу, подъ ударами незнакомца. Онъ остался побѣдителемъ, вынулъ деньги изъ лузы, посмотрѣлъ на нихъ, остановился, еще разъ взглянулъ въ недоумѣніи, потомъ обвелъ глазами присутствовавшихъ, посмотрѣлъ какъ-то странно на Михайла Васильича, который избѣгнулъ его взгляда, и сказалъ, держа двумя пальцами смятый клочекъ печатной бумажки:

— Что это такое? вы, вѣрно, ошибкой....

Михайло Васильичъ взглянулъ умоляющими глазами на синьора и незамѣтно подвинулся къ нему. Синьоръ мрачно и отрицательно покачалъ головою и въ ту же минуту подалъ три рубля тому господину, съ которымъ держалъ пари.

— Это не деньги-съ, продолжалъ незнакомецъ, все держа двумя пальцами клочокъ бумажки передъ толпою: — господа! кажется, вѣдь это не деньги!...

Всѣ переглянулись другъ съ другомъ, улыбнулись, обратились къ Михайлу Васильичу и, казалось, были немножко довольны тѣмъ, что завязывается любопытная исторія.

Съ минуту была совершенная тишина. Всѣ ждали, что скажетъ Михайло Васильичъ.

Онъ, блѣдный, какъ полотно, проговорилъ невнятно:

— Я не знаю, что̀ это такое: я положилъ деньги, — и сдѣлалъ шагъ къ двери. — Я не понимаю, что̀ это значитъ, бормоталъ онъ, обращаясь не совсѣмъ смѣло къ нѣкоторымъ изъ толпы.

Тѣ отвернулись отъ него. Онъ сдѣлалъ еще шагъ впередъ; но незнакомый господинъ закричалъ:

— Нѣтъ, это не можетъ же такъ остаться! Что же вы, милостивый государь, шутите, что ли?... Эй, хозяинъ! хозяинъ!... Я васъ не знаю: онъ долженъ отвѣчать за васъ.... Пусть онъ заплатитъ мнѣ мои десять рублей.

Хозяинъ явился. Незнакомый господинъ, горячась и размахивая руками, объяснилъ ему, въ чемъ дѣло. Затѣмъ начались объясненія хозяина съ Михайломъ Васильичемъ. Михайло Васильичъ увѣрялъ, что онъ положилъ въ лузу деньги и не понимаетъ, какимъ образомъ вмѣсто денегъ очутилась простая бумажка. На это раздалось нѣсколько раздраженныхъ голосовъ:

— Что жъ, вы насъ подозрѣваете, что ли? Къ лузамъ, кажется, никто не подходилъ.

Поднялся страшный шумъ. Всѣ говорили и кричали; короткошеей съ достоинствомъ пожалъ плечами и удалился, шепнувъ что-то синьору. Хозяинъ наконецъ объявилъ, что онъ проситъ всѣхъ успокоиться, что онъ вноситъ свои деньги и очень сожалѣетъ, что случилась у него въ заведеніи такая непріятность, и потомъ обратился къ виновнику этихъ безпокойствъ и попросилъ его выйти, говоря, что ему нужно переговорить съ нимъ. Михайло Васильичъ молча послѣдовалъ за нимъ, а за Михайломъ Васильичемъ синьоръ. Хозяинъ началъ что-то шептать Михайлу Васильичу; синьоръ стоялъ въ отдаленіи, пожималъ плечами и, надвинувъ брови, покачивалъ головою. Послѣ переговоровъ съ хозяиномъ, Михайло Васильичъ надѣлъ свою шубу и, совсѣмъ съ головой скрывшись въ ней, вышелъ изъ заведенія; а синьоръ остался разсуждать съ хозяиномъ объ этомъ необыкновенномъ событіи. Толпа въ бильярдной окружила маркера, и бильярдъ оставался незанятымъ до тѣхъ поръ, покуда волненіе стихло.

Съ тѣхъ поръ, говорятъ, Михайло Васильичъ не показывался болѣе въ этомъ кафе, котораго онъ мѣсяца четыре былъ постояннымъ посѣтителемъ. Онъ мелькаетъ еще, впрочемъ, во всѣхъ петербургскихъ трактирахъ, гдѣ только есть мало-мальски сносные бильярды... изрѣдка даже появляется у Палкина, въ залѣ семи бильярдовъ въ Пассажѣ, въ Нѣмецкомъ трактирѣ у Полицейскаго моста и въ другихъ тому

подобныхъ высшихъ заведеніяхъ. Дружба его съ синьоромъ. кажется, продолжается, потому что мнѣ случалось не разъ встрѣчать ихъ вмѣстѣ на улицѣ очень горячо и совершенно по-пріятельски разговаривавшихъ другъ съ другомъ...

Есть ли своя комната у Михайла Васильевича, неизвѣстно,— должно быть, есть, потому что гдѣ же нибудь онъ ночуетъ, умывается, причесывается и одѣвается. Комната ему собственно нужна для ночлега, потому что живетъ онъ въ трактирахъ и на улицахъ.... Но несмотря на всѣ претерпѣнныя имъ бѣдствія, онъ умѣлъ отчасти сохранить свое внѣшнее достоинство. Утративъ безукоризненную джентльменскую свѣжесть въ своемъ ежедневномъ туалетѣ, онъ всетаки имѣетъ видъ джентльмена.... пробывшаго сутки въ дорогѣ. Онъ пользуется большимъ значеніемъ между трактирными новичками, которыхъ поражаютъ его гордыя манеры и знаніе иностранныхъ языковъ. У Михайла Васильича есть, впрочемъ, совершенно новая пара платья, которая надѣвается только въ экстренныхъ случаяхъ. Въ этой новой парѣ самый опытный глазъ не отличитъ его отъ настоящаго джентльмена.

Когда всѣ карточныя и бильярдныя средства его истощаются, Михайло Васильичъ прибѣгаетъ къ другимъ, еще болѣе смѣлымъ и замысловатымъ средствамъ для пріобрѣтенія денегъ.

Вотъ одно изъ такихъ средствъ, открытое нечаянно однимъ изъ моихъ знакомыхъ.

Въ одно прекрасное утро лѣтомъ 185*, самый безукоризненный на видъ господинъ, съ манерами человѣка, имѣющаго тысячъ пятьдесятъ дохода, явился въ знаменитую мастерскую г-на В* и объявилъ, что онъ желаетъ взять напрокатъ флигель, для одной своей родственницы, княгини Г*, которая только-что пріѣхала въ Петербургъ и остановилась на дачѣ Д*, на Каменномъ островѣ. — Г. В* отвѣчалъ, что онъ напрокатъ своихъ инструментовъ никому не дастъ; но безукоризненный господинъ сталъ упрашивать г. В*, чтобы онъ сдѣлалъ для него исключеніе, называлъ его геніальнымъ мастеромъ, увѣрялъ, что княгиня можетъ играть только на инструментахъ, вышедшихъ изъ его мастерской, разъигралъ передъ нимъ очень мило какую-то сонату, пробуя инструменты и восхищаясь ими,—словомъ, плѣнилъ г. В* своею любезностью и убѣдилъ его согласиться.

Заплативъ деньги впередъ за мѣсяцъ, безукоризненный господинъ объявилъ, что пришлетъ за флигелемъ своихъ лошадей, и совершенно уже по-пріятельски простился съ г. В*, оставивъ ему подробный адресъ дачи княгини Г*. Флигель былъ взятъ черезъ часъ.

Прошелъ мѣсяцъ. Г. В* посылаетъ на дачу, по адресу, оставленному ему, къ княгинѣ Г* за деньгами... Оказывается, что никакой княгини на этой дачѣ не жило и что дача все лѣто простояла пустая. Безукоризненный господинъ и флигель, стоившій 700 р., канули въ воду. Обманутый г. В* махнулъ рукой и не пожелалъ отыскивать ни флигеля, ни безукоризненнаго господина. Черезъ годъ вдругъ приносятъ ему для поправки этотъ флигель отъ генерала К*, и вслѣдъ за тѣмъ является самъ генералъ. Г-нъ В* спрашиваетъ у генерала, какимъ образомъ онъ пріобрѣлъ флигель.

— Я купилъ его, отвѣчалъ генералъ: — въ Громоздкихъ Движимостяхъ съ аукціоннаго торга за триста рублей; онъ былъ заложенъ въ двухстахъ.

Дѣло объяснилось очень просто. Безукоризненный господинъ прямо отъ г. В* отправилъ инструментъ его въ Громоздкія Движимости и, за уплатой 20 рублей за прокатъ, пріобрѣлъ чистыхъ 180 руб.

Этотъ безукоризненный господинъ былъ Михайло Васильичъ.

Я не знаю, чѣмъ онъ кончитъ; но вообще подобные ему господа кончаютъ плачевно.

IX. ПЕТЕРБУРГСКІЕ РОСТОВЩИКИ.

Мой иногородный другъ въ разговорахъ со мною умалчиваетъ объ Александрѣ Николаевнѣ. Онъ пересталъ жаловаться на дороговизну Петербурга и обращается съ деньгами уже съ меньшею осторожностью. На-дняхъ онъ заѣхалъ ко мнѣ, чтобы спросить, нельзя ли какъ-нибудь достать ему 2,000 руб. Доставать деньги въ Петербургѣ безъ вѣрныхъ залоговъ нелегко. Мы раговорились по этому поводу, и я сообщилъ ему нѣкоторыя свѣдѣнія о петербургскихъ ростовщикахъ.

Петербургскіе ростовщики раздѣляются на мелкихъ и круп-

ныхъ, тайныхъ и явныхъ. Къ тайнымъ принадлежатъ люди, пускающіе въ оборотъ свои капиталы черезъ агентовъ, т. е. явныхъ ростовщиковъ, не желая компрометировать свое имя, которымъ они дорожатъ, какъ люди свѣтскіе; къ тайнымъ же ростовщикамъ принадлежатъ господа средняго класса, съ небольшими капиталами, которые они отдаютъ за большіе проценты, увѣряя, обыкновенно, что это деньги не ихъ. Каждый изъ такихъ господъ говоритъ при полученіи заемныхъ писемъ и при отдачѣ денегъ: «Я этими дѣлами не занимаюсь... У меня есть свой кусокъ хлѣба. Сталъ ли бы я брать такіе проценты?... Это не мои деньги: это *сиротскія*. Я почитаю священною обязанностью соблюдать интересы ввѣренныхъ мнѣ малютокъ, за которыхъ я долженъ отдать отчетъ Богу», и проч. Для чего прибѣгаютъ они къ такого рода уловкамъ?— Неизвѣстно.—Никто не вѣритъ имъ, да и сами они это чувствуютъ. Явные ростовщики ведутъ себя откровенно и прямо. Они не только не стыдятся своего ремесла, даже гордятся имъ, и смотрятъ нагло и неумолимо. Они, обыкновенно, постепенно и незамѣтно выползаютъ изъ неизвѣстности, получаютъ выгодныя мѣста, втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ сколачиваютъ капитальцы, которые тотчасъ же пускаютъ въ ростъ, а потомъ заводятъ связи съ тайными своими собратами, пріобрѣтаютъ ихъ довѣренность и вступаютъ съ ними въ сношенія, расширяя кругъ своей дѣятельности, то есть пуская въ оборотъ и ихъ капиталы, подъ своимъ именемъ, и превращаются въ крупныхъ ростовщиковъ. Въ послѣднее время появились въ Петербургѣ исполинскіе дома, принадлежащіе портнымъ, сапожникамъ, шорникамъ, булочникамъ, — дома, стоющіе милліоны. Не всѣ эти дома нажиты только фраками, сапогами, шорами и булками... Присяжнымъ петербургскимъ ростовщикамъ это хорошо извѣстно. Капиталы и капитальцы, пріобрѣтенные какимъ бы то ни было образомъ: булками, поддѣльнымъ шампанскимъ, или чѣмъ-нибудь подобнымъ, пускаются людьми расчетливыми и ловкими въ другіе обороты и въ ростъ, и, такимъ образомъ, въ нѣсколько лѣтъ эти капиталы и капитальцы, разростаясь изумительно, превращаются въ тѣ исполинскіе дома, которые поражаютъ бѣдняковъ и служатъ украшеніемъ столицы.

Имѣя подъ залогомъ экипажи, рысаковъ, мебели, бриль-

янты, явные ростовщики пользуются этимъ чужимъ блескомъ: проѣзжаютъ на Невскомъ чужихъ рысаковъ, позволяютъ изрѣдка своимъ женамъ надѣвать на вечера чужіе брильянты, выдавая все это за свою собственность. Они вообще любятъ пускать пыль въ глаза чужимъ добромъ и щеголять чужими богатствами, потому что это ничего имъ не стòитъ.

Я зналъ въ молодости одного бѣднаго чиновника съ нѣмецкой фамиліей и съ жидовской физіономіей, небольшаго роста, съ черными густыми и жесткими волосами, съ маленькимъ лбомъ, съ черными глазами, плававшими какъ будто въ маслѣ, съ малиновымъ румянцемъ на щекахъ, съ подобострастнымъ и сладкимъ выраженіемъ лица. Онъ занимался переписываніемъ бумагъ въ домѣ одного моего знакомаго, а жена его—чисткою перчатокъ. Они едва добывали себѣ насущный хлѣбъ. Онъ писалъ всегда въ нарукавникахъ, чтобы не тереть рукавовъ своего сюртука, безъ того уже истертаго, и при появленіи всякаго посторонняго лица вскакивалъ съ своего мѣста. Усердіемъ, услужливостью и трудолюбіемъ онъ тронулъ семейство моего знакомаго и черезъ него получилъ себѣ невидное, но выгодное мѣстечко. Съ тѣхъ поръ я потерялъ его изъ виду. Прошло нѣсколько лѣтъ. Разъ на Невскомъ поразилъ меня и всѣхъ гулявшихъ необыкновенныхъ статей рысакъ, запряженный въ щегольскія маленькія сани, сплетенныя изъ проволоки. Въ саняхъ сидѣлъ господинъ, съ лицомъ, напоминавшимъ мнѣ что-то. На господинѣ былъ бекешъ съ сѣдымъ бобромъ на воротникѣ и рукавахъ. Онъ остановилъ на мнѣ свои глаза, закивалъ головой, положилъ руку на плечо кучера, шуба котораго была также въ бобрахъ, и выскочилъ изъ саней прямо ко мнѣ. Къ изумленію моему это былъ мой чиновникъ съ нарукавниками.

— Какъ я радъ васъ видѣть! Ну, какъ вы поживаете? сказалъ онъ развязно и протягивая мнѣ руку.—Сколько лѣтъ не встрѣчались!... А чтò, вы охотникъ до рысачковъ, что ли, что такъ заглядѣлись на моего Полкана?... Лошадка недурная-съ; у меня этакихъ еще три на конюшнѣ. Заѣзжайте когда нибудь посмотрѣть на мое житьё-бытьё. Я вамъ буду очень радъ: вѣдь мы старые знакомые. Если вы охотникъ до лошадей, то посмотрите, какая у меня конюшня. У иного гостиной такой нѣтъ.

Онъ объявилъ мнѣ свой адресъ, повторилъ свое приглашеніе, простился со мною, потрепалъ своего рысака по шеѣ, сѣлъ въ сани, велѣлъ пустить его и нѣсколько разъ потомъ обертывался, кивая мнѣ.

Мнѣ любопытно было узнать, какимъ образомъ этотъ человѣкъ изъ нищаго превратился въ богача, и я однажды отправился къ нему.

Взойдя по лѣстницѣ, устланной ковромъ, я позвонилъ. На мѣдной доскѣ, на двери, обитой зеленымъ сукномъ, съ блестящими гвоздиками, было крупно вырѣзано: «Иванъ Карлычъ Вербергъ». Иванъ Карлычъ самъ отворилъ мнѣ дверь и, казалось, очень обрадовался мнѣ...

— Вотъ дорогой гость! произнесъ онъ. — Пожалуйте, очень радъ.

Онъ ввелъ меня въ свою гостиную.

Гостиная была меблирована роскошно: ковры, бронзы, китайскія вазы на каминахъ, люстра со свѣчами и съ карселемъ, шкапы-буль, какія-то шкатулки съ инкрустаціями, пять или шесть картинъ оригинальныхъ: настоящій Мурилло, Ванъ-деръ-Неръ и Остадъ, въ рѣзныхъ золотыхъ рамахъ; мебель въ чехлахъ... Иванъ Карлычъ приподнялъ чехлы: подъ чехлами оказались штофъ и позолота. Чистота вездѣ изумительная, все разставлено въ величайшемъ порядкѣ; шторы у оконъ всѣ спущены.

— Это мои парадныя комнаты, сказалъ Иванъ Карлычъ: — мы тутъ рѣдко и бываемъ: только тогда, когда обѣдъ или балъ званый.

— Дѣла ваши, кажется, идутъ хорошо! замѣтилъ я, разсматривая одинъ изъ памятниковъ старины—большіе столовые часы съ перламутромъ и бронзой.

— Ничего. Слава Богу, жаловаться не могу. А каковы часики-то? Они вѣдь, батюшка, изъ кабинета Мазаринова. Вотъ какая штучка! Но пойдемте ко мнѣ лучше въ кабинетъ: посидимте тамъ да поболтаемте. Я васъ угощу хорошенькой сигарочкой—этакъ рублей въ тридцать сотня.

Мы пошли въ кабинетъ. Кабинетъ меблированъ былъ сборною, но также дорогою мебелью и заваленъ, какъ магазинъ, разными вещами: фарфоромъ, мраморомъ, бронзою и прочимъ. Иванъ Карлычъ подалъ мнѣ сигару и сказалъ:

— Попробуйте, спасибо скажете; а вотъ погодите, я вамъ покажу мою конюшню. Присядьте-ка, я кучера пошлю.

И онъ вышелъ. Я сталъ разсматривать различныя вещи. На одной бронзовой группѣ болтался билетикъ. Я посмотрѣлъ, что̀ это такое. На билетикѣ было написано: *заложена 18 ноября 185 на полгода во 120 рубляхъ...*

Этотъ билетикъ раскрылъ передо мною тайну богатства Ивана Карлыча и всѣхъ сокровищъ, украшавшихъ его квартиру.

Иванъ Карлычъ вернулся и повелъ меня въ конюшню. Конюшня была точно удивительная: стойлы изъ ясеневаго дерева, чистота необыкновенная. Затѣмъ кучеръ, въ бархатной поддёвкѣ, началъ выводить на дворъ лошадей.

— Каковы рысачки-то? вскрикнулъ Иванъ Карлычъ, дружески потрепавъ меня по плечу.—Михайло! что̀, бишь, я не помню, графъ Бержицкій давалъ намъ за пару?

— Три тысячи цѣлковыхъ, Иванъ Карлычъ! отвѣчалъ кучеръ.

— Да, три тысячи; да я не отдалъ, прибавилъ Иванъ Карлычъ съ улыбкою.—И за четыре не отдамъ...

Послѣ смотра рысаковъ и конюшенъ, я хотѣлъ отправиться домой; но Иванъ Карлычъ началъ уговаривать меня еще зайти къ нему.

— Ну, что вамъ? куда вамъ? говорилъ онъ:—а у меня посидимте, *поболтаемте*. Я васъ угощу хересомъ, такимъ, какого вы никогда не пивали... прямехонько изъ-за моря. Ужъ у меня вы ничего дурнаго не найдете. Вы этакаго хереса не достанете и по восьми рублей за бутылку. Онъ называется *секъ*—попробуйте.

Когда мы возвратились въ кабинетъ, онъ принесъ бутылку, показалъ мнѣ раскрашенный и раззолоченный этикетъ, самъ откупорилъ ее и, наливая въ рюмку, повторялъ:

— Точно растопленное золото льется.

— А вотъ я вамъ покажу рѣдкость по вашей книжной части.

И онъ досталъ изъ бюро небольшой латинскій молитвенникъ XV вѣка, съ пожелтѣвшими листами, въ серебряномъ переплетѣ, съ барельефными изображеніями святыхъ и съ замѣчательно-тонкою рѣзьбою, работы если не самого Бенве-

нуто Челлини, то ужъ навѣрно Джіанпаголо или Доминико Поджини, или кого нибудь изъ замѣчательныхъ мастеровъ того времени.

— Отличная вещь! замѣтилъ я.

— Тысячная, перебилъ меня Иванъ Карлычъ, прищуривъ одинъ глазъ:—ужъ у меня нѣтъ поддѣлокъ, не безпокойтесь, все настоящія вещи. Коли нравится, купите. Съ васъ, по старому знакомству, я не возьму дорого. У меня, я вамъ скажу, нѣтъ ничего завѣтнаго; мнѣ надоѣдаютъ однѣ и тѣ же вещи, сбудешь старыя, пріобрѣтешь новыя—еще лучше... Вотъ и мебель у меня—вѣдь хорошая? а долго она, я вамъ скажу, не простоитъ: много мѣсяца три, а потомъ все опять заново... Ужъ я такой человѣкъ.

Потомъ онъ вынулъ изъ стола нѣсколько коробокъ и началъ показывать мнѣ брильянтовыя брошки, колье, фермуары. При блескѣ брильянтовъ, маленькіе глазки его также заблистали. Онъ улыбнулся и сказалъ:

— Ну, это, признаться вамъ, покуда еще не мое, а можетъ и будетъ мое.

Онъ захлопнулъ ящикъ стола и засмѣялся нѣсколько насильственнымъ смѣхомъ.

— Надо умѣть жить, продолжалъ онъ, одушевляясь: — понимать, какъ жить... Вы сами согласитесь, что жалости тутъ быть не можетъ, когда сами лѣзутъ въ петлю. Вѣдь я не гувернёръ имъ, чтобы ихъ останавливать! Почему же и не воспользоваться, когда представляется случай? Имъ жить хочется хорошо, неправда ли? Я такой же человѣкъ, какъ они. Имъ папеньки и маменьки оставили и брильянты, и вещи, и души, а меня папенька и маменька голаго по міру пустили. Вотъ вы знаете, какой я былъ. Самъ до всего дошелъ и своего сына не пущу по міру... Нѣтъ! Что жъ, мнѣ же честь. Не правда ли?...

— Что жъ, эти брильянты у васъ подъ залогомъ? спросилъ я.

— Да, подъ залогомъ. Это вѣрный залогъ, хорошіе, фамильные брильянты. Я даю деньги. Почему же не дать хорошимъ людямъ, подъ вѣрное обезпеченіе? Черезъ это связи, я вамъ скажу, дѣлаешь, значительныя связи. Теперь меня весь почти городъ знаетъ... всѣ молодые князья, графы жмутъ

руки Ивану Карлычу, женѣ ложу посылаютъ. Черезъ эти знакомства я сына опредѣлилъ на службу... Натурально, кто этакую услугу окажетъ, съ того и проценты не тѣ (и онъ при этомъ снова насильственно засмѣялся). Надо чувствовать одолженія. Ухъ, сколько испыталъ Иванъ Карлычъ, чтобы достигнуть обезпеченія! Чего не узналъ, на что не насмотрѣлся! Теперь, кажется, всѣхъ людей насквозь видишь. Вы спросите у меня,—ужъ никто лучше меня городскихъ тайнъ не знаетъ. Вотъ я вамъ, напримѣръ, разскажу случай, который былъ со мною прошлаго года... Сидѣлъ я разъ вечеромъ дома: что-то нездоровилось, никуда не хотѣлось; а это былъ оперный день... Я, знаете, оперу никогда не пропускаю: очень люблю музыку; но на этотъ разъ думаю: лучше посижу дома. Я немножко мнительный. Что жъ, умирать никому не хочется. Это натурально... Сидѣть дома, сложа руки, скучно. Я и принялся чистить мои брильянтики... Сижу себѣ и чищу... вдругъ звонокъ... этакъ ужъ былъ часъ девятый. Кто бы, я думаю, въ такой часъ? По дѣламъ ко мнѣ больше все утромъ пріѣзжаютъ. У меня, знаете, все женская прислуга: женщина аккуратнѣе и чистоту больше любитъ. Ну, а когда званый вечеръ, тогда берешь людей со стороны. Вотъ Каролина моя входитъ ко мнѣ и говоритъ: такой-то. Я не назову вамъ его имени... зачѣмъ? не нужно... а человѣкъ извѣстный, хорошей фамиліи: папенька ихъ былъ богатый-богатый, жилъ по-вельможески, его обирали, онъ ни во что не входилъ—прожился и умеръ, а сынъ тоже съ малолѣтства привыкъ къ роскоши, домоталъ остальное и запутался совсѣмъ, а за женой взялъ немного... Ну, а знаете, самолюбіе-то ему не позволяетъ показать, что карманъ пустъ, туда же хочетъ тягаться за богатыми: такъ гордо держитъ себя, что страхъ! голову-то куда какъ закидываетъ, подумаешь съ виду, что Боже упаси—милліонеръ!... Думаю себѣ: знаю, голубчикъ, зачѣмъ пожаловалъ ко мнѣ... кажется, только напрасно. Выхожу, однако, къ нему. — Очень, говорю, радъ, милости прошу, и привелъ его въ гостиную, зажегъ свѣчи. — Что, говорю, прикажете? А онъ вставилъ лорнетъ въ глазъ, взялъ подсвѣчникъ, смотритъ кругомъ на мои вещи, на картины (онъ, правду сказать, знатокъ во всемъ этомъ) и бормочетъ сквозь зубы: «славная вещь! дорогая картина!» А я думаю про-себя: «безъ

тебя, братъ, знаемъ». Походилъ, этакъ, посмотрѣлъ на все; а я ужъ вижу, что человѣкъ-то въ безпокойствѣ и все старается скрыть это. Я улыбаюсь и говорю ему:

— Купите, я говорю, ваше с.... Я продаю все, что угодно,—все, что̀ вы здѣсь видите...

— Въ самомъ дѣлѣ? говоритъ. Вотъ эту картину я купилъ бы съ удовольствіемъ...

И показываетъ на моего Мурилла.

«Нѣтъ, братъ, думаю себѣ, шутишь; не по твоимъ деньгамъ.»

— Картина, говоритъ, очень хорошая; а что бы вы за нее взяли?

— Тысячи три, я говорю: — по знакомству съ васъ возьму...

— У меня теперь, говоритъ, денегъ нѣтъ.

И вдругъ обернулся ко мнѣ:

— А знаете ли, Иванъ Карлычъ, я къ вамъ съ просьбой!...

И слышу я этакое маленькое дрожаніе въ голосѣ; это нехорошій знакъ!... Кто проситъ денегъ и у кого голосъ въ это время дрожитъ, тотъ уже ненадежный человѣкъ.

Я молчу.

— Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ:—большая просьба до васъ. Мнѣ деньги очень нужны.

— Деньги, я говорю, всѣмъ очень нужны.

— Да, я это знаю... по мнѣ въ сію минуту до зарѣзу нужно пять тысячъ...

Поблѣднѣлъ и смотритъ на меня.

Я молчу.

— Что жъ, говоритъ, вы ничего не говорите?

— Да что жъ я буду говорить?

— Бога ради! говоритъ:—одолжите мнѣ пять тысячъ на полгода, возьмите, какіе хотите проценты...

И схватилъ меня за руку.

— Что мнѣ проценты? я говорю:—Богъ съ ними...

Онъ молчитъ и все смотритъ на меня и я тоже молчу.

— Ну, что жъ? вырвалось у него вдругъ изнутри...

— Денегъ, я говорю, нѣтъ; напрасно безпокоитесь.

Ну, тутъ онъ и присталъ ко мнѣ:

— Вы, говоритъ, не хотите дать мнѣ. Можетъ ли быть, чтобы у васъ не было? Чего онъ только не наговорилъ мнѣ: божился, клялся, что отдастъ въ срокъ, что ему надо черезъ полгода и отсюда и оттуда получить, билъ себя въ грудь... Мнѣ даже жалко было смотрѣть на него. «Сколько хочешь— думаю себѣ—колоти себя въ грудь, толку-то изъ этого никакого не будетъ.»

— Послушайте, я говорю, что изъ пустаго-то въ порожнее переливать! не стòитъ того. У меня денегъ теперь нѣтъ: всѣ роздалъ по рукамъ, да если бы и были, я говорю, такъ вѣдь о деньгахъ такъ шутя говорить нельзя; деньги вещь серьёзная. Чѣмъ же вы могли бы обезпечить меня?

— Залогу, говоритъ, у меня нѣтъ, а берите какіе хотите проценты: черезъ полгода я вамъ возвращу все. Я вамъ даю честное слово.

— Нѣтъ, я говорю, у меня нѣтъ денегъ.

— Что жъ, говоритъ, вы не вѣрите моему честному слову?

— Какъ, я говорю, не вѣрить!... Да ужъ нынче времена такія: на честное слово не только пяти тысячъ, и пяти рублей ни у кого не достанешь. Что изъ честнаго слова сдѣлаешь?

Онъ было разгорячился.

— Напрасно, говорю, тревожите себя... Чтò же мнѣ дѣлать? нѣтъ у меня денегъ.

Онъ схватилъ себя за голову и началъ ходить по комнатѣ, ходилъ, ходилъ, да вдругъ, какъ бросится ко мнѣ... я даже испугался... въ плечо меня цѣлуетъ, жметъ меня.

— Спасите меня, говоритъ, спасите, добрый Иванъ Карлычъ, дѣло идетъ о моей чести! а у самого слезы дрожатъ на глазахъ, ей-Богу.

— Радъ бы я, говорю, душевно; но на нѣтъ и суда нѣтъ. Вотъ чтò съ этакимъ господиномъ будешь дѣлать? Измучилъ меня совсѣмъ... Да это еще что? погодите, чтò будетъ!

— Такъ вы, говоритъ, рѣшительно не хотите мнѣ дать?

— Да откуда жъ, я говорю, взять, коли нѣту?...

— Ну, слушайте же, говоритъ, я вотъ въ какомъ положеніи: одинъ мой пріятель — я вамъ даже назову — кто, и

назвалъ мнѣ одного очень богатаго князя,—выслалъ, говоритъ, мнѣ пять тысячъ рублей съ просьбою немедля передать одному лицу... я эти деньги издержалъ...

Онъ остановился и посмотрѣлъ на меня.

— Только-то? я говорю:—а я думалъ Богъ знаетъ что... Стоитъ ли объ этомъ тревожиться?... Помилуйте!... ну, что князю пять тысячъ? то же, что нашему брату пять копѣекъ. Вы же съ нимъ пріятели... Напишите ему, что вамъ случилась нужда—что дѣлать? что вы ихъ издержали... и отдайте ему черезъ полгода; а онъ вышлетъ другія пять тысячъ... Вотъ и прекрасно!...

— Ахъ, говоритъ, вы не понимаете, это невозможно... Къ тому же, я написалъ ему, что я ужъ отдалъ эти деньги, кому слѣдуетъ... Ихъ надо отдать завтра же. Иначе я погибъ. Тутъ дѣло чести, чести... слышите ли вы?...

— Да что, помилуйте! я говорю: — сами же виноваты. Зачѣмъ поступили такъ опрометчиво? Если не хотѣли написать, что вы деньги издержали, могли бы сказать, что не получили — вотъ и все. Протянули бы этакъ полгода... А теперь гдѣ достать? да еще къ завтраму! вѣдь пять тысячъ— капиталъ!... Кто дастъ нынче, безъ залога, пять тысячъ? Никакихъ резоновъ не принимаетъ, только и кричитъ: — Бога ради! достаньте мнѣ, если у васъ нѣтъ... вы можете достать...

Опять пошелъ клясться и вдругъ... вы не повѣрите... а ей-Богу это было... бухъ передо мною на колѣни!

У меня такъ и руки опустились. Онъ тотчасъ же вскочилъ, однако, бросился въ кресло и закрылъ лицо руками; а грудь у него такъ и поднимается... Случись, въ эту минуту входитъ моя жена... Онъ бросился къ ней, умоляетъ ее, чтобы она меня уговорила. Смѣшное же дѣло! Послушаю я жену въ этакомъ дѣлѣ!...

Ужъ жена моя, знаете, немножко привыкла къ этимъ сценамъ, наслушалась: иной разъ, натурально, изъ любопытства, приставитъ ухо къ двери, когда у меня кто нибудь изъ просителей,—ей ужъ это не въ первый разъ, — а онъ такъ говорилъ, что и ее разстрогалъ...

«Какъ, думаю, отъ него отвязаться?» Вѣдь вотъ наше положеніе иногда бываетъ какое!

— Ну, послушайте, я говорю, достаньте вѣрный залогъ: брильянты или что нибудь этакое; тогда, такъ и быть, ужъ я къ завтрашнему утру достану вамъ денегъ; а безъ залога и говорить нечего.

Онъ схватилъ шляпу, выбѣжалъ, какъ сумасшедшій, и закричалъ:

— Завтра, въ десять часовъ, у васъ будетъ залогъ... Приготовьте же мнѣ деньги.

— Хорошо, я говорю, а самъ думаю: «хвастаешь, братъ! откуда взять тебѣ такой залогъ?...»

На другой день, утромъ, въ 10-ть часовъ, звонокъ... Я еще засмѣялся и говорю женѣ:

— Ужъ не съ залогомъ ли нашъ баринъ явился?

Что жъ бы вы думали?... Отворяю дверь... Дѣйствительно, онъ. Вошелъ въ гостиную, въ бекеши и въ шляпѣ, и изо всѣхъ кармановъ началъ выбрасывать сафьянныя коробки.

— Вотъ, говоритъ, вамъ... Давайте мнѣ деньги... Я и заемное письмо написалъ. Оно у меня въ карманѣ.

Думаю:

«Э! да ужъ это не надувательство ли какое нибудь?»

Началъ я разсматривать вещи: вижу, что вещи цѣнныя, фамильные брильянты; взялъ карандашъ, сдѣлалъ приблизительную оцѣнку: всего, по мéньшей мѣрѣ, на десять тысячъ...

«Это женнины брильянты, подумалъ я. — Должно быть, разжалобилъ жену.»

И взглянулъ на него: въ одну ночь осунулся, бѣдняжка, пожелтѣлъ такъ, что страшно.

«Ну, думаю себѣ, не дешево добылъ ты, голубчикъ, эти брильянты!»

— Покажите-ка, я говорю, заемное-то письмецо? на какую вы сумму его написали?

— На полгода, пять тысячъ пять-сотъ.

— Ахъ, я говорю, ваше с... да какъ же это?... Я самъ за шесть-сотъ рублей перехватилъ у пріятеля на полгода... И точно, что у меня самого тогда такой суммы не случилось... За что же, говорю, мнѣ-то потерять сто рублей? Ужъ больше-то я съ васъ не возьму, Богъ съ вами. Извольте, я говорю, четыре тысячи девять-сотъ рублей сію минуту отсчитаю еще новенькими.

— Ну, говоритъ, все равно, давайте! и махнулъ рукой. Я зналъ, что онъ спорить не станетъ.

Взялъ деньги, сосчиталъ.

— Только, чтобъ брильянты мои, говоритъ, были цѣлы.

— Помилуйте! я говорю. Да что жъ, вы меня за безчестнаго человѣка считаете, что ли? Мнѣ ваши брильянты не нужны. Возвратите деньги, тогда и брильянты получите въ цѣлости...

Проходитъ полгода. Наступаетъ день срока. О моемъ баринѣ ни слуху, ни духу. Такъ и мѣсяцъ прошелъ. Слава Богу, думаю, теперь брильянтики мои; я не въ накладѣ: захочу продать, всякій ювелиръ дастъ мнѣ за нихъ 8,000 руб. Слѣдовательно, и въ такомъ случаѣ, я все-таки 8,600 руб. въ барышахъ. Вдругъ является какой-то чиновникъ, говоритъ, что присланъ отъ такого-то лица—лицо очень важное, родственникъ моего барина — спрашиваетъ, находятся ли у меня въ залогѣ такіе-то брильянты? Я отвѣчаю:

— Находились, а теперь ужъ нѣтъ: проданы, потому что вексель просроченъ.

— А во сколько, говоритъ, вексель?

Въ 5,600 рублей.

— Вы сейчасъ, говоритъ, эти деньги получите, пожалуйте мнѣ брильянты, и вынулъ опись.

— Да откуда же мнѣ теперь взять ихъ? ихъ теперь и за десять тысячъ не воротишь.

Чиновникъ началъ было угрожать мнѣ. Оказалось, что мой баринъ брильянты-то взялъ тайкомъ. Жена ужъ ихъ послѣ схватилась. Она было и скрыла это; да родные узнали и вступились въ это дѣло. Я угрозъ не побоялся. Что же? мое дѣло чистое. Какое мнѣ дѣло, что онъ безъ согласія жены брильянты заложилъ? Пусть заводятъ, я говорю, дѣло; своего же родственника по всему городу ославятъ, имъ же будетъ хуже. Подумали, подумали, да и выкупили у меня за десять тысячъ. Изъ нихъ я еще далъ сто чиновнику. Это была афера славная: я въ восемь мѣсяцевъ на 4,900 рублей пріобрѣлъ, за вычетомъ ста рублей, 5,500 рублей, больше, чѣмъ капиталъ на капиталъ. Ну, разумѣется, такіе обороты не всегда случаются. Изъ-за своихъ денегъ бываетъ иногда столько возни, что и жизни не радъ и выгоды бы бросилъ!.. Нѣтъ, приба-

вилъ Иванъ Карлычъ въ заключеніе и со вздохомъ:—деньги только проживать легко; а наживать ихъ ой-ой какъ трудно! Вотъ хоть бы этотъ солитеръ. И онъ снялъ съ указательнаго пальца правой руки большой перстень. Посмотрите, отличный перстень, рѣдкой розовой воды.... Но я изъ-за этого солитера такую имѣлъ исторію, такую непріятность: онъ былъ у меня тоже подъ залогомъ.... Да лучше ужъ объ этомъ не говорить! благо ужъ прошло все.

Прощаясь съ Иваномъ Карлычемъ, я шутя спросилъ у него:

— А что, если я у васъ попрошу въ займы денегъ, вы мнѣ дадите по старой памяти?

Иванъ Карлычъ засмѣялся.

— Съ обезпеченіемъ, сколько угодно, и за небольшіе проценты. Больше двѣнадцати, ей-Богу, не возьму съ васъ. Я очень радъ, что мы съ вами возобновили знакомство. Пожалуйте когда нибудь откушать ко мнѣ. Будете обѣдомъ довольны-Не раскаятесь. Я вѣдь гастрономъ. Я люблю попить и поѣсть хорошо.

Съ этихъ поръ я болѣе уже не посѣщалъ Ивана Карлыча, несмотря на то, что онъ два раза пріѣзжалъ меня звать обѣдать, для того, чтобы похвастать передо мною обѣдомъ, винами и статскимъ генераломъ съ двумя звѣздами, котораго постоянно можно было, говорятъ, встрѣчать на всѣхъ званыхъ обѣдахъ, преимущественно купеческихъ.

Объ Иванѣ Карлычѣ я впослѣдствіи собралъ подробныя свѣдѣнія. Онъ началъ съ того, что, воспользовавшись какими-то служебными командировками и порученіями, пріобрѣлъ три тысячи рублей. Этотъ капиталъ былъ началомъ его дѣятельности. Онъ пустилъ его тотчасъ въ ростъ по мелочи: по пятидесяти, по сту рублей, взимая отъ двадцати до пятидесяти процентовъ, и въ два года увеличилъ его до шести тысячъ рублей. Расширяя помаленьку свои дѣла, онъ дошелъ втеченіе пяти лѣтъ до двадцати тысячъ и почувствовалъ уже нѣкоторую самостоятельность, достигнувъ, разными путями, до знакомствъ и связей съ тайными ростовщиками, которые ввѣряли ему сначала небольшія, а впослѣдствіи значительныя суммы, и которымъ онъ аккуратно и честно выплачивалъ по пятнадцати процентовъ, самъ пріобрѣтая столько же и болѣе. Те-

перь у него, говорятъ, тысячъ до ста капитала. Несмотря на окружающую роскошь, которая вся заключается, впрочемъ, въ заложенныхъ вещахъ, онъ проживаетъ немного и ведетъ жизнь болѣе, нежели скромную: тщеславіе свое удовлетворяетъ онъ двумя зваными обѣдами втеченіе года съ статскимъ генераломъ и однимъ баломъ, на которомъ, кромѣ этого генерала, присутствуетъ между прочими какая-то разрумяненная княгиня Бржемирская, съ насурмленными бровями, посѣщавшая нѣкогда и танцклассы, когда танцклассы существовали. Жена Ивана Карлыча сама ходитъ на рынокъ за провизіей и отдаетъ отчетъ мужу въ каждой копѣйкѣ. Она не имѣетъ права распоряжаться ничѣмъ, даже своимъ туалетомъ. Иванъ Карлычъ даритъ ей обыкновенно три платья въ годъ: одно дорогое, праздничное, и два будничныя. Дома въ обыкновенные дни она имѣетъ видъ ключницы средняго дома, а при гостяхъ — богатой купчихи, потому что тогда она облекается въ свое дорогое платье и украшается заложенными брильянтами. Два раза въ годъ, о Рождествѣ и о Святой недѣлѣ, ей позволяется выѣзжать въ коляскѣ на заложенныхъ рысакахъ; остальное время она ходитъ пѣшкомъ, или ѣздитъ на извощикахъ, не смѣя и помышлять о рысакахъ и экипажахъ. Себя Иванъ Карлычъ любитъ украшать бобрами, плюшами, бархатомъ и галантерейными вещами: цѣпочками и особенно перстнями, и часто перемѣняетъ ихъ. Все это онъ дѣлаетъ не столько для себя, сколько для другихъ, чтобы всѣ удивлялись его богатству. Онъ своимъ дорогимъ виномъ и тридцатирублевыми сигарами только хвастаетъ передъ знакомыми, а дома ежедневно за обѣдомъ пьетъ пиво и куритъ сигары внутренняго производства цѣною по три рубля за сотню. Въ оперѣ онъ абонируетъ себѣ кресло въ послѣднихъ рядахъ. Жена не смѣетъ и заикаться о подобномъ удовольствіи. Ей, впрочемъ, одинъ разъ въ годъ покупается ложа на Александринскомъ театрѣ. При встрѣчѣ въ оперѣ съ знакомыми, онъ часто говоритъ: «Пойдемте-ка въ буфетъ. Не хотите-ли роспить бутылочку шампанскаго?» Но это предложеніе онъ дѣлаетъ только такимъ людямъ, въ отказѣ которыхъ увѣренъ заранѣе. Въ семействѣ Ивана Карлыча случилась, говорятъ, недавно непріятность. Единственный сынъ его и наслѣдникъ, не получившій очень прочныхъ нравственныхъ основъ, заразившійся отъ батюшки хвастовствомъ,

но не имѣвшій его талантовъ къ пріобрѣтенію, жившій однимъ ничтожнымъ жалованьемъ и лишенный всякаго пособія со стороны родителя, который все твердилъ: «надо выдержать молодаго человѣка», укралъ у кого-то вещи и деньги, прокутилъ ихъ и застрѣлился. Это очень огорчило почтеннаго Ивана Карлыча и пробудило неожиданную энергію въ его супругѣ, которая осмѣлилась прямо сказать ему:

— Это ты довелъ его до этого, погубилъ ни за что бѣднаго мальчика. Ты за него Богу дашь отчетъ.

Иванъ Карлычъ, не терпѣвшій никакихъ возраженій и замѣчаній со стороны супруги, въ этотъ разъ не только выслушалъ ее, даже промолчалъ и задумался. Впрочемъ, черезъ мѣсяцъ послѣ смерти сына онъ совсѣмъ успокоился и вскорѣ послѣ этого несчастнаго событія подарилъ женѣ 1000 р., съ тѣмъ, чтобы она располагала этою суммою какъ хотѣла. Этимъ онъ хотѣлъ нѣсколько успокоить бѣдную женщину, которая очень горевала о сынѣ. Онъ не выдержалъ, однакоже, и предложилъ ей пустить ихъ въ ростъ, разсчитавъ, что она можетъ имѣть до 200 р. въ годъ дохода....

Когда я кончилъ разсказъ объ Иванѣ Карлычѣ, мой иногородный другъ, слушавшій меня съ большимъ вниманіемъ, замѣтилъ, что онъ не имѣетъ ни малѣйшаго желанія заводить знакомство и вступать въ переговоры съ Иваномъ Карлычемъ.

— Это, точно, безполезно, сказалъ я: — къ нему безъ залоговъ нечего и показываться. Къ тому же онъ теперь увѣряетъ, что даетъ только отъ 10 до 100 и болѣе тысячъ. Съ годъ тому назадъ, одному моему пріятелю понадобилось 1000 рублей. Я было адресовался къ нему. Онъ выслушалъ меня, улыбнулся и спросилъ: «Сколько? 1000 р.? Нѣтъ, говоритъ, я этакою мелочью, этакими пустяками и не занимаюсь: и рукъ не стоитъ марать.»

Я предложилъ моему иногородному другу завести переговоры съ однимъ тайнымъ ростовщикомъ, который иногда съ поручительствомъ даетъ деньги безъ залоговъ и беретъ процентовъ двадцать, и познакомилъ его предварительно съ этою личностью.

Господина этого зовутъ Васильемъ Васильичемъ. У Василья Васильича есть душъ 400 родоваго имѣнія и притомъ

порядочный капиталецъ, который онъ пускаетъ въ ростъ, подъ именемъ сестрина, тёткина или вообще сиротскаго капитала. Василій Васильичъ страшно самолюбивъ, честолюбивъ и тщеславенъ. Онъ служилъ — служба ему не повезла, и съ тѣхъ поръ онъ презрительно отзывается обо всѣхъ служащихъ, съ мучительною завистью читаетъ въ газетахъ о повышеніяхъ и наградахъ, ругаетъ всѣхъ повышаемыхъ и награждаемыхъ и въ то же время хвастаетъ знакомствомъ съ ними. Онъ пробовалъ заниматься литературой — литература удалась ему еще менѣе службы, и съ тѣхъ поръ онъ съ ненавистью и злобою смотритъ на всѣ извѣстные таланты, въ глаза ухаживаетъ за ними, льститъ имъ, зоветъ къ себѣ, чтобы щегольнуть ими у себя, а за глаза говоритъ о нихъ: «Мнѣ они надоѣли. Они всѣ у меня болтались бы съ утра до вечера, если бы я захотѣлъ.» Онъ сначала выѣзжалъ немного въ свѣтъ; но и въ свѣтѣ было ему столько же удачъ, сколько въ литературѣ и въ службѣ, и съ тѣхъ поръ онъ озлобился противъ свѣта, съ желчью отзывается обо всѣхъ свѣтскихъ людяхъ и млѣетъ отъ блаженства, если свѣтскіе люди удостоиваютъ принимать его приглашенія. Онъ весь сотканъ изъ зависти и мелкой, безсильной злости. Онъ злится и завидуетъ въ каждую данную минуту: ему хотѣлось бы и чиновъ, и крестовъ, и звѣздъ, и литературной славы, и громкаго имени съ княжескимъ или графскимъ гербомъ. Весь блескъ жизни, который мечется ему ежеминутно въ глаза, раздражаетъ его и поднимаетъ его желчь. Отъ этого у него лицо и волосы желтые и глаза желтоватые, отъ этого у него вѣчно безпокойное движеніе въ лицѣ и внутреннее недовольство, при внѣшнемъ самодовольствіи. Нѣтъ человѣка, о которомъ бы онъ отозвался хорошо, потому что каждый человѣкъ чѣмъ нибудь мѣшаетъ ему жить; нѣтъ вещи, не принадлежащей ему, которую бы онъ похвалилъ, потому что ему досадно, зачѣмъ эта вещь не его.

Зимой онъ живетъ съ своимъ семействомъ въ Петербургѣ, лѣтомъ въ деревнѣ. Семейство его состоитъ изъ жены—безмолвной, подчиненной ему особы, и племянника—гвардейскаго офицера. Василій Васильичъ очень доволенъ тѣмъ, что племянникъ его въ гвардіи, и безпрестанно твердитъ: «У меня расходовъ бездна. Одинъ племянникъ чего мнѣ стоитъ! У него товарищи все князья и графы, онъ въ большой свѣтъ

выѣзжаетъ. Тутъ только запасай денежки!» И дѣйствительно, несмотря на свою алчность къ деньгамъ, Василій Васильичъ не отказываетъ иногда племяннику въ нѣкоторыхъ прихотяхъ, выдерживая страшную внутреннюю борьбу алчности съ тщеславіемъ. Одинъ разъ въ годъ, по соглашенію съ дядей, племянникъ приглашаетъ къ себѣ своихъ товарищей князей и графовъ, и въ этотъ вечеръ вся квартира дяди отдается въ полное распоряженіе племянника, а дядя, тётка, дѣвица для компаніи и прочее запираются въ заднія комнаты. Пиръ продолжается иногда до утра, и дядя и тётка не могутъ всю ночь сомкнуть глазъ отъ криковъ, но переносятъ это терпѣливо при мысли, что кричатъ князья и графы... Послѣ этого дядя разсказываетъ своимъ знакомымъ, какой былъ пиръ у его племянника, и перечисляетъ всѣхъ князей и графовъ, присутствовавшихъ на этомъ пирѣ, умалчивая о простыхъ дворянахъ. У самого Василья Васильича бываютъ также званые вечера—танцовальные и музыкальные, съ итальянскими артистами. Объ итальянскихъ артистахъ онъ натрубитъ всѣмъ заранѣе, но всегда случится такъ, что, на его горе, артисты или отозваны въ другой домъ, или занемогли. Впрочемъ, кто нибудь изъ артистовъ непремѣнно присутствуетъ: г. Дидо или г. Чекони, и при этомъ еще какая нибудь неслыханная тринадцатилѣтняя пьяністка, которую Василій Васильичъ называлъ «геніальной дѣвочкой». На этихъ званыхъ вечерахъ обыкновенно бываютъ два или три значительныхъ лица: какой нибудь графъ или князь, полный генералъ и даже иногда генералъ съ аксельбантами. Этими лицами онъ щеголяетъ передъ остальными своими гостями. На одномъ изъ танцовальныхъ вечеровъ у Василья Васильича мой пріятель подошелъ къ нему и спросилъ, указывая на какую-то хорошенькую барышню, какъ ея фамилія.... Василій Васильичъ какъ будто не слыхалъ вопроса; пріятель мой повторилъ его. «Да которая? гдѣ?...» пробормоталъ Василій Васильичъ нехотя. Ему растолковали, которая. «Ахъ.... это? это?... *Малимонова...*» Онъ произнесъ эту фамилію скороговоркою и, указавъ тотчасъ же на господина, стоящаго у двери, прибавилъ, вѣроятно, для того, чтобы изгладить впечатлѣніе, произведенное Малимоновой: «А вотъ это графъ Черноморъ-Свирскій».

Вообще у Василья Васильича бываютъ престранныя вы-

ходки. Онъ можетъ вдругъ, встрѣтивъ васъ на улицѣ и не будучи съ вами коротко знакомъ, послѣ обычнаго «здравствуйте» или «бонъ-журъ»—потому, что онъ болѣе говоритъ бонжуръ, чѣмъ здравствуйте—вдругъ такъ, ни къ селу, ни къ городу, сказать: «а у меня вчера обѣдалъ генералъ-адъютантъ такой-то», или «племянникъ мой былъ третьяго-дня на вечерѣ у княгини такой-то», какъ будто эти факты (если это еще факты) могутъ интересовать васъ...

Графъ Черноморъ-Свирскій, съ которымъ у Василья Васильича есть какія-то денежныя дѣла (я подозрѣваю, что графъ пускаетъ также въ ростъ деньги), находится въ довольно короткихъ отношеніяхъ съ Васильемъ Васильичемъ и всегда является на призывъ его, для удивленія его гостей, не имѣющихъ титловъ. У этого графа довольно значительное состояніе; но, несмотря на то, движимый сильною страстію къ пріобрѣтенію, онъ скупаетъ векселя разныхъ промотавшихся господъ за безцѣнокъ и потомъ овладѣваетъ ихъ имѣніями, которыя, такимъ образомъ, достаются ему чуть не даромъ. На такія аферы онъ чрезвычайно ловокъ. Домъ его заваленъ различными рѣдкими и драгоцѣнными вещами—наслѣдственными и благопріобрѣтенными. Въ способѣ благопріобрѣтенія онъ не стѣсняетъ себя и, говорятъ, пріобрѣлъ, между прочимъ, недавно у одной бѣдной старушки, посѣщающей его домъ и которую онъ знаетъ съ дѣтства, единственное ея имущество—брильянтовое кольцо—менѣе, нежели за полцѣны, воспользовавшись тѣмъ, что старушку выгоняли изъ квартиры за неплатежъ денегъ.

Въ домашней жизни Василій Васильичъ очень разсчетливъ и въ обыкновенные дни, когда никого нѣтъ, ѣстъ скверно, вина пьетъ отъ Фохта, по 35 коп. за бутылку, не позволяетъ зажечь лишнюю свѣчку и дѣлаетъ женѣ исторіи за каждую, по его мнѣнію, лишнюю копѣйку, истраченную ею на хозяйство; но если кто нибудь нечаянно забредетъ къ нему обѣдать (что, впрочемъ, случается рѣдко), онъ посылаетъ въ трактиръ за лишнимъ кушаньемъ и въ погребъ за бутылкою дорогаго лафита или бургонскаго и говоритъ гостю, угощая его виномъ и замѣчая о цѣнности этого вина, что онъ выпиваетъ всякій день *такую* бутылку, что у него вкусъ избалованный, что онъ пьетъ только самыя тонкія вина и что у него отлич-

ный погребъ. Приглашая къ себѣ на вечеръ человѣкъ 50, онъ дѣлаетъ ужинъ только на 25, разсчитывая на то, что половина гостей разъѣдутся до ужина. Оттого къ концу вечера онъ ощущаетъ всегда безпокойство, если мало разъѣхалось, и смотритъ съ удовольствіемъ на тѣхъ, которые берутся за шляпы и натягиваютъ перчатки. Онъ провожаетъ уѣзжающихъ до передней, и когда уѣзжающій завернется уже въ свою шубу, Василій Васильичъ говоритъ ему обыкновенно: «А жаль, что вы не хотѣли остаться поужинать. Ужинъ недуренъ, а вино— чудо!»

За ужиномъ на званыхъ вечерахъ Василья Васильича бываютъ иногда презабавныя сцены. Одинъ молодой князь, съ юмористическимъ направленіемъ, подмѣтившій всѣ слабости и уловки хозяина дома, уговорилъ однажды всѣхъ мужчинъ не разъѣзжаться до ужина и расположился съ своими знакомыми на особомъ столѣ у дверей, въ которыя вносили блюда. Человѣкъ, появившійся съ первымъ блюдомъ, хотѣлъ было пронести его мимо. Князь остановилъ лакея.

— Подавай сюда! закричалъ онъ.

— Нельзя-съ, отвѣчалъ лакей: — прежде приказано дамамъ подавать-съ.

— Пустяки! сказалъ князь: — здѣсь сидятъ все князья и графы, — ты долженъ начинать отсюда.

Лакей, убѣжденный этимъ, повиновался. И бо̀льшая часть дамъ осталась безъ ужина, къ совершенному отчаянію хозяина дома, который въ смущеніи даже скрылся на нѣкоторое время отъ гостей.

Послѣ этого Василій Васильичъ вездѣ относился о князѣ, какъ о пустѣйшемъ и ничтожнѣйшемъ господинѣ, но при встрѣчахъ съ нимъ продолжалъ ему, такъ же, какъ и прежде, крѣпко жать руки, пріятно улыбаться и посылать приглашенія на свои вечера.

Несмотря на все это, Василій Васильичъ человѣкъ неглупый и не безъ образованія, но только безъ всякихъ талантовъ, кромѣ пріобрѣтенія денегъ. У него есть порядочная библіотека, онъ читалъ много и любитъ блеснуть иногда своею начитанностью и потолковать и поспорить о предметахъ серьёзныхъ и отвлеченныхъ. Продолжительнаго спора, съ умными людьми, онъ поддерживать, впрочемъ, не можетъ и, чувствуя

себя всякій разъ побѣждаемымъ, раздражается и начинаетъ говорить колкости, а послѣ еще обыкновенно замѣчаетъ, что онъ терпѣть не можетъ спорить съ семинаристами, потому что они люди неприличные, педанты и не умѣютъ разсуждать съ порядочными людьми. Семинаристами онъ называетъ всѣхъ вообще людей умныхъ и серьёзныхъ, занимающихся наукой или литературой, хотя бы они и не были семинаристами; по этимъ названіемъ онъ только отгѣняетъ ихъ отъ себя, показываетъ свои преимущества передъ ними. Себя онъ почитаетъ столбовымъ дворяниномъ и говоритъ, что фамилія его внесена въ Бархатную Книгу, на ряду съ самыми старинными фамиліями, что̀, впрочемъ, не безъ основанія опровергаютъ люди, занимающіеся спеціально родословіями и геральдикой. Василій Васильичъ носитъ на указательномъ пальцѣ правой руки золотой перстень съ гербомъ; въ гостиной у него шерстяная подушка съ гербомъ и гербы на тарелкахъ. Эти тарелки, впрочемъ, подаются только тогда, когда у него гости. Онъ держитъ себя съ низшими и даже равными съ величайшею гордостью и совершенно распростирается не только передъ высшими — передъ всякой звѣздой. Чѣмъ болѣе удается ему собрать звѣздъ на свой званый вечеръ, тѣмъ болѣе онъ счастливъ и тѣмъ болѣе поднимаетъ носъ передъ неимѣющими звѣздъ. Онъ почитаетъ себя человѣкомъ современнымъ и вполнѣ европейскимъ, любитъ разсуждать о политикѣ и политическія сужденія свои заимствуетъ изъ бельгійской газеты «Indépendance», выдавая ихъ за свои собственныя.

Я обѣщалъ моему иногородному другу съѣздить къ этому господину и попробовать, не дастъ ли онъ денегъ.

На другой день, въ часъ, я уже былъ у Василья Васильича.

Квартира Василья Васильича нисколько не походитъ на квартиру Ивана Карлыча. У Василья Васильича нѣтъ почти ни въ одной комнатѣ слѣдовъ его занятій: всѣ вещи, находящіяся у него подъ залогомъ, тщательно припрятаны; онъ только не утерпѣлъ и выставилъ на пьедесталѣ въ гостиной, передъ окномъ, одну большую и дорогую старинную, серебряную вазу, говоря всѣмъ своимъ знакомымъ и всѣмъ входящимъ въ эту комнату, что эта ваза досталась ему по наслѣдству отъ его

прадѣдушки. Онъ нарочно сочинилъ исторію ея происхожденія, которую разсказываетъ всякому встрѣчному.

Василій Васильичъ также боится, чтобы его не принимали за ростовщика, какъ дамы, занимающія середину между femmes honêttes и камеліями, боятся, чтобы ихъ не принимали за камелій.

Послѣ разговора о политикѣ, литературѣ и о городскихъ новостяхъ, я осторожно приступилъ къ цѣли моего визита. Бросивъ нѣсколько словъ о дороговизнѣ петербургской жизни, я замѣтилъ мимоходомъ, что въ настоящую минуту деньги очень рѣдки, и что даже люди достаточные нуждаются въ нихъ, и привелъ въ примѣръ моего иногороднаго друга, расписавъ предварительно его богатство.

— Кстати, сказалъ я: — онъ ищетъ денегъ. Не знаете ли, у кого бы достать?

Василья Васильича всего какъ-то передернуло.

— Что жъ? отвѣчалъ онъ: — деньги всегда достать можно подъ вѣрный залогъ: на это есть ростовщики.

Но когда я возразилъ, что къ ростовщикамъ прибѣгаютъ только въ крайности, что мой иногородный другъ не намѣренъ платить огромныхъ процентовъ, что онъ, конечно, могъ бы заложить какую нибудь небольшую деревню, но на это потребуется много времени, а ему нужны деньги сейчасъ, — Василій Васильичъ пробормоталъ: «да, конечно, но безъ залоговъ и безъ поручительствъ кто же дастъ денегъ?» и тотчасъ перемѣнилъ разговоръ.

— А каковъ Илья-то Ѳедорычъ! сказалъ онъ, весь измѣняясь и ироническимъ тономъ (Илья Ѳедорычъ, нашъ общій знакомый — человѣкъ дѣловой и почтенный, служащій усердно и честно). Анненскую ленту получилъ! а вѣдь былъ еще мальчишкой, когда я въ службу вступилъ! Вотъ что̀ значитъ быть пролазомъ, льстить да кланяться! Впрочемъ, я могъ бы имѣть теперь, пожалуй, и Бѣлаго Орла, если бы продолжалъ служить, но

«Служить бы радъ; прислуживаться тошно».

И Василій Васильичъ засмѣялся насильственнымъ смѣхомъ, прибавивъ:

— Мы съ вами сойдемъ въ могилу безъ всякихъ украшеній; передъ нами, батюшка, не понесутъ бархатныхъ подушекъ. Мы люди маленькіе; однако, нами не брезгаютъ люди почетные и съ именемъ, у насъ бываютъ такія лица, которыхъ, можетъ быть, Илья-то Ѳедорычъ, съ своей Анненской лентой, по часу въ пріемной дожидается...

Потомъ Василій Васильичъ началъ ругать новую повѣсть одного изъ извѣстныхъ нашихъ писателей, о которой въ ту минуту много говорили въ городѣ.

— Между нами, сказалъ Василій Васильичъ въ заключеніе: — если бы мы съ вами понатужились, ей-Богу, написали бы не хуже.

Жолчь у него сильно расходилась. Онъ началъ язвить разныхъ своихъ знакомыхъ, имѣвшихъ успѣхъ въ службѣ, въ свѣтѣ и въ литературѣ; но я снова свелъ разговоръ на моего иногороднаго друга.

— У васъ есть, кажется, сказалъ я: — какія-то сиротскія деньги. Не дадите ли вы изъ этихъ? Мой пріятель человѣкъ вѣрный и охотно заплатилъ бы десять процентовъ.

Василій Васильичъ немного нахмурился.

— Да, это правда, возразилъ онъ: — мнѣ поручены матерью на смертномъ одрѣ малютки, у которыхъ есть капиталецъ. Но всѣ ихъ деньги я, слава Богу, пристроилъ въ вѣрныя руки и подъ хорошіе залоги. Это была моя обязанность. У меня деньги и есть; но я вѣдь не занимаюсь отдачею ихъ на проценты: Я, батюшка, не ростовщикъ. Къ тому же, мнѣ деньги всегда нужны: я не могу не имѣть ихъ въ запасѣ. У меня племянникъ въ гвардіи. Онъ ѣздитъ въ первые дома въ столицѣ. Мало ли на что ему могутъ вдругъ понадобиться?... А давно ли вы были у князя Владиміра Петровича? Я, признаюсь, давно у него былъ. Онъ пишетъ ко мнѣ, что соскучился безъ меня, и зоветъ послѣ-завтра обѣдать. Надо ѣхать, хоть не хочется. Онъ вѣдь, между нами, прескучный господинъ! И какой у него въ гостиной всегда странный сбродъ людей! Чортъ знаетъ, что̀ за народъ!

Василій Васильичъ хотѣлъ было пуститься клеветать и сплетничать; но я простился съ нимъ. Мой иногородный другъ устроилъ дѣло безъ меня и занялъ черезъ кого-то деньги у одной надворной совѣтницы, которая свой небольшой капита-

лецъ, нажитый ею посредствомъ страшныхъ усилій и лишеній, отдаетъ по частямъ въ ростъ за 10 и 12 процентовъ, по рекомендаціи людей, пользующихся ея довѣренностью. Эта надворная совѣтница, какъ я узналъ случайно, дама съ замѣчательнымъ характеромъ. Надворный совѣтникъ женился на ней, когда она была уже дѣвицею въ лѣтахъ, польстившись на ея капиталъ (у ней было тысячъ десять); но онъ не видалъ не только этого капитала, а вынужденъ еще былъ отдавать женѣ половину своего жалованья, а остальной половиной содержать себя и малолѣтняго сына. Когда же пришло время отдать мальчика въ школу, надворный совѣтникъ просилъ жену, чтобы она позволила ему располагать всѣмъ своимъ жалованьемъ, потому что ему надобно платить за сына въ школу. Жена отъ этой просьбы пришла въ страшное негодованіе, начала кричать: «Ты мой мужъ... Ты обязанъ меня содержать по законамъ; ты обязанъ мнѣ отдавать половину того, что получаешь. Я въ другую половину не вступаюсь... Какъ хочешь содержи себя и воспитай сына, мнѣ до этого нѣтъ дѣла. Самъ хотѣлъ имѣть потомство, такъ и пеняй теперь на себя, если тяжело!» Слово за слово, дѣло дошло до исторіи. Надворная совѣтница прибѣжала къ своей знакомой дамѣ, въ слезахъ, и объявила, что мужъ нанесъ ей непереносимое для благородной женщины оскорбленіе, и указала на царапину на рукѣ и синякъ на щекѣ, прося вступиться въ ея безпомощное положеніе. Дама согласилась и послала за надворнымъ совѣтникомъ. Тотъ явился.

— Не стыдно ли вамъ такъ неделикатно обращаться съ вашей женой? сказала ему посредствующая дама: — развѣ порядочные и образованные люди бьютъ своихъ женъ?

— Нѣтъ-съ, позвольте, однако, отвѣчалъ надворный совѣтникъ: — что же мнѣ дѣлать?... Я точно что виноватъ, можетъ быть; но вѣдь не я началъ-съ, а она... Вотъ не угодно ли вамъ будетъ посмотрѣть?

И надворный совѣтникъ при этомъ отворотилъ обшлагъ своего вицъ-мундира и показалъ посредствующей дамѣ выкушенный кусокъ мяса на рукѣ, прибавивъ:

— Я вотъ только послѣ этого обстоятельства вышелъ изъ себя.

Посредствующая дама, впрочемъ, примирила супруга съ

супругой... Но надворный совѣтникъ не смѣлъ послѣ этого заикаться женѣ о томъ, чтобы пользоваться полнымъ жалованьемъ: онъ махнулъ на все рукой.

Надворная совѣтница хозяйства никакого не держала и не держитъ. Она питается въ день двумя булками и чаемъ, не заботясь о томъ, ѣдятъ ли что нибудь мужъ и сынъ. Невѣроятной экономіей и процентами втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ она, говорятъ, удвоила свой капиталъ. Надворный совѣтникъ недавно умеръ, и она получаетъ послѣ него пенсіонъ. Сынъ, 16 лѣтъ, спился и пропалъ безъ вѣсти. Расходовъ своихъ до сей минуты она не увеличила ни на копѣйку.

Въ Петербургѣ многія изъ прекраснаго пола занимаются ростовщичествомъ въ мелкихъ размѣрахъ.

Мелкія ростовщицы берутъ подъ залоги шинели, салопы, платья, серебряныя ложки, кольца и вообще всякую домашнюю утварь. Онѣ почти ничѣмъ не брезгаютъ.

Типы этихъ дамъ замѣчательны. Ихъ можно назвать *ростовщицами-салопницами.*

X. ФАНТАЗІЯ ПРИ ВИДѢ СЕМИЛѢТНЕЙ ДѢВОЧКИ.

Часу въ первомъ, въ одно прекрасное утро первыхъ чиселъ мая, когда, при лѣтнемъ теплѣ, половина Невы еще покрыта была почернѣвшими и тонкими льдинами, которыя неслись изъ Ладожскаго озера въ море, разрываясь, тая и превращаясь въ осколки, — пройдясь по набережной, я сѣлъ отдохнуть на одной изъ скамеекъ Лѣтняго сада, недалеко отъ памятника Крылова. Деревья сада еще были обнажены; но яркая зелень показывалась уже на лужайкахъ. Въ кружкѣ около памятника и на площадкѣ большой аллеи играло множество дѣтей. Нѣкоторыя изъ гувернантокъ сидѣли съ книгами, болѣе для виду, нежели для чтенія; нѣкоторыя изъ нянекъ взяли чулки. Высокіе лакеи, въ длинныхъ ливрейныхъ сюртукахъ и штиблетахъ, стояли у тѣхъ колясочекъ, въ которыхъ сидѣли и лежали малютки въ кружевахъ и перьяхъ. Няни, съ чулками, съ любопытствомъ и удивленіемъ поглядывали на ливрейныхъ гайдуковъ и на кружевныхъ дѣтей; простенькія гувернантки съ завистью поглядывали на

разряженныхъ. Здѣсь, какъ и вездѣ, обнаруживались касты: кружевныя дѣти не смѣшивались съ остальными дѣтьми; они играли только между собою, поглядывая не безъ любопытства на шумную толпу остальныхъ дѣтей. Дѣтскій шумъ, визгъ и крикъ весело оглашали воздухъ. Одна дѣвочка лѣтъ семи, въ сторонѣ отъ другихъ, катала обручъ. Это дитя обращало на себя особенное вниманіе. Ея бѣлокурые длинные волосы, завитые въ локоны, голубые глазки, нѣжныя, миніатюрныя черты лица, выраженіе разгорѣвшагося личика, граціозныя движенія отличали ее рѣзко отъ другихъ, окружавшихъ ее дѣтей. На нее смотрѣть было весело, отъ нея не хотѣлось оторваться. Надъ нею надзирала горничная или нянюшка въ шляпкѣ, рябая и пожилая. Она сидѣла на скамейкѣ. Сзади нея стоялъ лакей въ синемъ потертомъ сюртукѣ, съ гербовымъ басономъ, въ пестрыхъ панталонахъ, въ пестромъ галстухѣ и въ круглой помятой шляпѣ, обшитой мишурнымъ почернѣвшимъ шнуромъ съ бантомъ напереди. Рябая горничная въ шляпкѣ отъ времени до времени разговаривала съ лакеемъ или обращалась къ бѣгавшей съ обручемъ барышнѣ, повторяя: «Довольно, перестаньте, барышня, бѣгать... отдохните, Сонинка!... сядьте на скамейку...» Но Сонинка мало обращала вниманія на эти замѣчанія, продолжая неутомимо гонять обручъ, и только, когда она сбросила съ своей головки шляпку, рябая горничная вскочила съ скамейки, дернула Сонинку за руку и прокричала: «Что̀ это вы? что̀ это? какъ это можно?... Вотъ я маменькѣ пожалуюсь, что вы не слушаетесь... Маменька не велитъ снимать вамъ шляпку. Мнѣ же достанется, когда вы загорите. Срамъ этакой! Вотъ посмотрите, княжескія-то дѣти на васъ смотрятъ и смѣются надъ вами!» И она надѣвала шляпку на голову дѣвочки, которая повиновалась безмолвно; потомъ усадила ее на скамейку и грубо обдернула ей платьице, пробормотавъ: «Вишь, какъ запылилась!» Сонинка пріуныла и какъ будто задумалась... Я не спускалъ съ нея глазъ. Что̀ за ребенокъ! Прелесть!

— Чье это дитя? спросилъ я у рябой горничной.

Горничная бросила на меня недовольный взглядъ и грубо отвѣчала:

— Генеральское...

— Какого генерала? продолжалъ я.

— Никиты Иваныча, пробормотала она.

Лакей, стоявшій сзади, назвалъ генерала по фамиліи и прибавилъ, что *онъ* служатъ въ Банкѣ.

Я никогда не слыхалъ такой фамиліи. И зачѣмъ я спрашивалъ? Я продолжалъ смотрѣть на нее. Мнѣ показалось, однако, что сквозь дѣтскую наивность и простоту въ ней проглядывала уже нѣкоторая искусственность, что-то въ родѣ кокетства. Она долго съ любопытствомъ слѣдила своими глазками за одной изъ кружевныхъ дѣвочекъ и вдругъ произнесла, обращаясь къ своей надзирательницѣ:

— Наташа, зачѣмъ мамаша не купитъ мнѣ такой шляпки?

Горничная ничего не отвѣчала. Сонечка увидѣла, что я смотрю на нее, покраснѣла и потупила глазки.

Я не замѣтилъ, какъ вдругъ исчезли рябая горничная, лакей съ гербовымъ басономъ и Сонечка; но этотъ милый ребенокъ долго не выходилъ у меня изъ головы. Я все думалъ о немъ.

Лѣтъ черезъ пять—думалъ я—когда Сонечка нѣсколько повытянется и будетъ умѣть *прямо держаться* и присѣдать съ достоинствомъ, ее отдадутъ въ большой, богатый пансіонъ. Тамъ Сонечка пріобрѣтетъ окончательно *хорошія манеры*, т. е. войдетъ въ ту искусственную форму, въ которую выливаются всѣ петербургскія барышни... Она пріобрѣтетъ всего понемножку, а самоувѣренности—даже очень много, потому что Сонечку порядочно будутъ баловать дома и твердить ей и при ней безпрестанно: «Comme elle est jolie! Ахъ, какое дитя! Ахъ какая красавица! Вамъ, матушка ваше превосходительство, нечего заботиться насчетъ сонечкинова приданаго: ужъ она у васъ родилась такъ, безприданницей!» Въ большомъ пансіонѣ Сонечка будетъ учиться всѣмъ возможнымъ наукамъ, ей будутъ преподавать всѣ литературы на свѣтѣ, и она выйдетъ изъ пансіона, перепутавъ въ своей прелестной головкѣ всѣ познанія и не пріобрѣтя почти никакихъ. Въ этомъ будутъ виноваты отчасти метода воспитанія, отчасти учителя и отчасти сама Сонечка. Она будетъ непремѣнно любимой ученицей всѣхъ учителей. Ей невольно будутъ ставить лучшіе балы, если она даже вздумаетъ лѣниться немножко. Любуясь блескомъ ея глазокъ, ея веселымъ и пріят-

нымъ личикомъ, ея густыми, вьющимися отъ природы пепельными волосами, ея дѣтскою ловкостью... у кого поднимется рука поставить ей дурные балы? Сонечка непремѣнно станетъ *обожать* косаго французскаго учителя въ парикѣ, неизвѣстно по какой причинѣ, и называть его Богъ знаетъ почему «душкой». Она выучится очень мило, хотя не совсѣмъ правильно, болтать по-французски, тѣмъ французско-петербургскимъ нарѣчіемъ, которое почти всѣми нами очень простодушно принимается за чистѣйшій французскій языкъ. Она будетъ умѣть писать французскія записочки, хотя не совсѣмъ правильно, но все-таки правильнѣе, чѣмъ по-русски. Она обнаружитъ замѣчательную грацію въ танцахъ и какой нибудь *характерный танецъ съ шалью* протанцуетъ на публичномъ экзаменѣ такъ, что заставитъ прослезиться не только своихъ родителей, но и стараго танцовальнаго учителя, который ходитъ съ припрыжкой и вывороченными ногами, съ шапо-клакъ подъ мышкою и со взоромъ, вѣчно устремленнымъ на кончикъ носка; заставитъ двѣ недѣли сряду говорить о своей граціи и ловкости директриссу и классныхъ дамъ, передъ которыми она очень мило и незамѣтно станетъ лицемѣрить, приведетъ въ восторгъ учителей и двухъ офицеровъ, которые, прищелкивая языкомъ, воскликнутъ, глядя другъ на друга: «Вотъ, братецъ, дѣвочка-то!» и притомъ присвистнутъ. Сонечка будетъ также очень много заниматься музыкой (музыка стоитъ на первомъ планѣ въ воспитаніи) и достигнетъ до того, что, не сбиваясь, будетъ играть на фортепьяно различные вальсы и польки и — пожалуй, прослыветъ еще въ своемъ кругу отличной музыкантшей. Къ Сонечкѣ въ пансіонъ будетъ непремѣнно ходить юнкеръ—ея двоюродный или троюродный братецъ, двумя или тремя годами постарше ея, въ дѣтствѣ игравшій съ нею въ горѣлки и въ серсо, котораго Сонечка нѣкогда цѣловала при всѣхъ и которому говорила ты... Это *ты* она будетъ продолжать ему говорить первое время и въ пансіонѣ, хотя уже не станетъ цѣловать его; но когда Сонечкѣ минетъ четырнадцать лѣтъ, въ ней вдругъ обнаружится застѣнчивость въ отношеніи къ *кузену*. Она всякій разъ, увидѣвъ его, будетъ вспыхивать; почти не станетъ обращать на него вниманія, будетъ очень мало говорить съ нимъ; *ты* замѣнитъ *вы*; робко, дрожащей рукой, вѣжливо присѣдая,

будетъ брать отъ него конфекты, которыя онъ будетъ приносить ей, хранить ихъ, какъ драгоцѣнность, и не кушать, а только обсасывать сверху. Такъ обнаружится въ Соничкѣ первое поползновеніе къ любви. Въ эти годы — между 14-ю и 16-ю — особенно къ шестьнадцати годамъ, когда она совсѣмъ выростетъ изъ платьица и нехотя обнаружитъ чудесную ножку; когда ея формы примутъ пріятное округленіе и стройность, платье станетъ ей особенно узко въ плечахъ, звонкій дѣтскій смѣхъ замѣнится прищуриваніемъ глазокъ и полуулыбками, а бѣганье — осторожной и плавной поступью; когда волнующаяся кровь, приливая къ головѣ, будетъ вспыхивать частымъ и горячимъ румянцемъ на щекахъ, мягко пушистыхъ, какъ персикъ, — въ эти годы, когда у профессора, толкующаго ей о *прекрасномъ* и *изящномъ*, будутъ, глядя на нее, замирать на устахъ краснорѣчивыя фразы; когда онъ будетъ спотыкаться и путаться передъ ученицей, какъ она нѣкогда спотыкалась и путалась передъ нимъ; когда онъ будетъ думать: «О Господи! да что ей толковать о прекрасномъ и изящномъ? просто, бросился бы къ ея ножкамъ, расцѣловалъ бы ихъ и воскликнулъ: вотъ оно прекрасное! вотъ оно изящное! вы все это совмѣщаете въ себѣ, вы лучшая поэма, вы самый восторженный диѳирамбъ, самое горячее лирическое стихотвореніе!» — въ эти годы, которые послѣдніе риторы (ихъ уже осталось немного) обыкновенно называютъ *веснами*, — на шестнадцатой *веснѣ*, когда Соничку перестанутъ звать Соничкой, а будутъ называть Sophie просто, или m-lle Sophie, — въ ней помаленьку съ дѣтства развивавшееся тщеславіе, подъ вліяніемъ папеньки, маменьки, барынь, подругъ, директриссы, классныхъ дамъ и проч., обнаружится довольно замѣтно. Но оно даже не повредитъ ей въ началѣ, потому что хорошенькихъ ничего не портитъ, даже маленькое тщеславіе: — къ нимъ все идетъ. M-lle Sophie съ удивленіемъ и съ біеніемъ сердца станетъ слушать соблазнительные разсказы своихъ подругъ, княженъ и графинь, вышедшихъ изъ пансіона и заѣзжающихъ иногда въ пансіонъ похвастать своими туалетами, — о великолѣпныхъ городскихъ балахъ. Она черезъ нихъ узнаетъ имена всѣхъ модныхъ кавалеровъ, всѣхъ лучшихъ городскихъ танцоровъ. Она въ своемъ воображеніи (я увѣренъ, что у m-lle Sophie будетъ самое пылкое воображеніе), еще сидя на школьной

скамейкѣ, станетъ летать съ ними въ вальсѣ или полькѣ по паркету ярко освѣщенныхъ залъ, въ прелестнѣйшемъ туалетѣ: въ розовомъ платьѣ съ двумя туниками и съ бѣлыми гіацинтами, которое было на княжнѣ Л*, на балѣ у княгини Ю*... M-lle Sophie будетъ знать еще за годъ до выпуска всѣ модные великосвѣтскіе магазины. Она будетъ замирая разсматривать шляпки, мантильи, платья, ботинки, перчатки, — все... все... малѣйшія принадлежности туалета этихъ вышедшихъ счастливицъ, которыя будутъ смущать ее своимъ появленіемъ въ пансіонѣ. Она, высунувшись изъ форточки, будетъ провожать ихъ глазами, когда онѣ будутъ садиться въ свои блестящіе экипажи, и думать: «когда-то я буду кататься въ такомъ экипажѣ?» Ее даже и во снѣ начнутъ смущать звуки лядовскаго оркестра, о которомъ ей такъ много наговорили, и мерещиться тотъ флигель-адъютантъ, о ловкости, любезности, красотѣ, умѣ и усахъ котораго ей столько натолковала княжна — ея подруга. Кузенъ-юнкеръ поблѣднѣетъ передъ этимъ таинственнымъ флигель-адъютантомъ, и m-lle Sophie, сдѣлавъ очаровательную гримаску, прошепчетъ даже нѣсколько презрительно о кузенѣ: «Онъ ребенокъ!» и безжалостно скушаетъ всѣ конфекты, которыя онъ привезъ ей наканунѣ... Во всемъ этомъ еще нѣтъ собственно ничего предосудительнаго: это только данныя для тщеславія; но дурно то, что m-lle Sophie начнетъ уже нѣсколько гордо поглядывать на тѣхъ изъ своихъ подругъ, родители которыхъ ѣздятъ въ дурныхъ экипажахъ или просто ходятъ пѣшкомъ; она будетъ обращаться съ ними нѣсколько свысока, подсмѣиваться вмѣстѣ съ классными дамами надъ дурнымъ тономъ этихъ родителей и всю симпатію свою обнаружитъ къ богатымъ и знатнымъ.

Но съ минуты выпуска начнется ея разочарованіе, явится передъ нею дѣйствительность, побивающая пансіонскія фантазіи. Квартира родителей ей покажется дурно меблированной, комнаты низки, гости смѣшны, балы, на которые ее будутъ вывозить, бѣдны и плохо освѣщены, кавалеры, танцующіе съ нею, нелюбезны и неуклюжи... Вмѣсто Лядова— какой-то скверный *тапёръ*. Княжна—ея подруга не узнаетъ ее при встрѣчѣ на улицѣ, о флигель-адъютантѣ не будетъ и помину... Изъ всѣхъ ея близкихъ его знаетъ, и то только по слуху, кузенъ-юнкеръ, который, между тѣмъ, выйдетъ въ

офицеры, — и мысли m-lle Sophie поневолѣ обратятся къ кузену, потому-что онъ всетаки лучше, ловче и смѣлѣе всѣхъ остальныхъ изъ ея круга. Все это нѣсколько раздражитъ m-lle Sophie, и она сдѣлается немного капризна, что придастъ ей, впрочемъ, новую прелесть и заманчивость. Она рѣшительно потребуетъ отъ папеньки, чтобы онъ абонировался на итальянскую оперу, и когда папенька привезетъ ей билетъ на абонементъ, она не только равнодушно взглянетъ и на папеньку и на билетъ, но при этомъ еще сдѣлаетъ недовольную гримаску, потому что ложа абонирована будетъ во второмъ ярусѣ, а не въ бель-этажѣ. Опера сдѣлается ея любимымъ развлеченіемъ. Въ залѣ театра она съ жаднымъ любопытствомъ станетъ слѣдить сверху за большимъ свѣтомъ, за туалетами, движеніями, взглядами дамъ этого свѣта, за кавалерами, которые появляются въ ихъ ложахъ. Ей покажется однажды, что она угадала того флигель-адъютанта, о которомъ мечтала... «Счастливыя!» подумаетъ она, глядя на этихъ дамъ. M-lle Sophie... но мы лучше будемъ называть ее по-русски — Софьей Александровной... Софья Александровна будетъ даже цѣлые два дня счастлива послѣ того, какъ княжна ея подруга, однажды замѣтивъ ее въ театрѣ, кивнетъ ей головой изъ своего бель-этажа и пошлетъ ей ручкой привѣтъ во 2-й ярусъ. У Софьи Александровны при этомъ жестѣ княжны забьется сердце, и она вся вспыхнетъ, отчасти отъ радости, отчасти оттого, что ей немножко стыдно будетъ, что она не въ бель-этажѣ.

Когда нибудь зимой, вечеромъ, часу въ двѣнадцатомъ, Софья Александровна будетъ возвращаться съ маменькой откуда нибудь изъ гостей... На одной изъ лучшихъ петербургскихъ улицъ карета ихъ должна будетъ остановиться на минуту, потому что въ этой улицѣ не будетъ проѣзда отъ экипажей. Софья Александровна спуститъ стекло и выглянетъ въ окно. Она увидитъ великолѣпный домъ съ каріатидами, горящій огнями; широкій, иллюминованный, съ палаткою подъѣздъ; ряды экипажей, которые тянутся къ палаткѣ; куафюры изъ цвѣтовъ и брильянтовъ, бѣлые султаны (вѣроятно, флигель-адъютантовъ), выскакивающіе изъ экипажей; она увидитъ на коврѣ лѣстницы, въ глубинѣ палатки, всего обшитаго золотыми галунами, съ перевязью и съ булавой, швейцара, отдаю-

щаго честь своей булавой пріѣзжающимъ... Балъ!... При этомъ зрѣлищѣ у Софьи Александровны замретъ сердце... «Быть на такомъ балѣ—и умереть!» подумаетъ она, глядя на широкое окно, сквозь которое видна будетъ огромная люстра съ тысячами свѣчей. «Вотъ это балъ, вотъ это счастіе, вотъ это жизнь!» будетъ думать она. Карета двинется. Софья Александровна порывисто подниметъ стекло, закутается печально въ салопъ, забьется въ самый уголъ кареты, изъ глазъ ея закапаютъ слезы, и она непремѣнно скажетъ самой себѣ: «Я самая несчастная! Что такое моя жизнь? Что мнѣ за утѣшеніе, что мой папенька генералъ, когда ни у насъ не бываетъ *порядочныхъ* людей, ни мы не ходимъ къ *порядочнымъ* людямъ!» И сквозь слезы ей еще долго будутъ мерещиться: огни, куафюры, султаны, княжна ея подруга, въ вихрѣ вальса съ флигель-адъютантомъ, вся избранная, вся великосвѣтская петербургская молодежь... Софья Александровна не будетъ спать всю эту ночь, и къ утру у нея даже обнаружится маленькій жаръ...

Но судьба сжалится на мгновеніе надъ Софьей Александровной. Эта блестящая петербургская молодежь, къ которой обращаются мечты ея, *замѣтитъ* ее. Софья Александровна пойдетъ гулять съ маменькой на Дворцовую набережную... Тамъ ей непремѣнно встрѣтятся одинъ статскій, два адъютанта и одинъ флигель-адъютантъ—тотъ самый, который такъ встревожилъ ея воображеніе еще въ пансіонѣ. Статскій (я знаю его) одинъ изъ самыхъ милѣйшихъ и добродушнѣйшихъ фланёровъ, членъ всѣхъ петербургскихъ клубовъ, непремѣнный посѣтитель театровъ, всѣхъ гуляній и публичныхъ мѣстъ, отыскивающій себѣ пищу и развлеченіе вездѣ, при встрѣчѣ съ Софьей Александровной, непремѣнно (я увѣренъ въ этомъ) шепнетъ своимъ пріятелямъ-адъютантамъ: «смотрите!» Адъютанты посмотрятъ на нее... Когда они пройдутъ нѣсколько шаговъ, статскій обратится къ адъютантамъ, скажетъ: «Что̀? какова̀!»... Чудо! отвѣтятъ ему. Да кто это? Откуда *это?* Статскій, знающій всѣхъ въ Петербургѣ, разскажетъ имъ біографію ея отца, матери и всѣхъ родственниковъ... Они вернутся, чтобы снова съ нею встрѣтиться. При вторичной встрѣчѣ они еще съ большимъ вниманіемъ осмотрятъ ее.

— Прелесть! замѣтитъ флигель-адъютантъ.

— О! еще бы! перебьетъ статскій. — Я, господа, знаю, гдѣ раки зимуютъ. Я вамъ тысячу разъ говорилъ о ней! Вотъ видите!...

Въ этотъ же день слухъ о красотѣ Софьи Александровны быстро распространится между великосвѣтскою молодежью... Во время прогулокъ ея по набережной за ней уже начнутъ ходить толпами. Софья Александровна воскреснетъ... Она, какъ будто ничего не понимая, будетъ проходить мимо этихъ господъ очень серьёзно, повидимому, не обращая на нихъ ни малѣйшаго вниманія; между тѣмъ, не пропустить ни малѣйшаго взгляда, ни малѣйшаго движенія... особенно одного изъ нихъ — флигель-адъютанта, который всѣхъ внимательнѣе будетъ смотрѣть на нее, и сердце ея страшно будетъ биться при этихъ встрѣчахъ. Эти господа сначала будутъ звать Софью Александровну просто *Она*, вслѣдствіе того, что статскій напишетъ къ ней стихи (онъ отчасти поэтъ), которые вся эта молодежь выучитъ наизусть:

Она и *ей*!... Всякъ безъ названья
Пойметъ, о комъ веду я рѣчь.
Въ *ней* совершенствъ всѣхъ сочетанья.
Она — высокій перлъ созданья.
Глаза, коса, округлость плечь,
Станъ, ножка, — все очарованье!
Ее никакъ нельзя забыть,
Ей нѣтъ и не было названья
И никогда не можетъ быть!

Несмотря, однако, на это, черезъ нѣсколько времени *Она*, неизвѣстно почему, назовется *Миньоной*, и статскій составитъ цѣлый комитетъ изъ поклонниковъ Миньоны, который будетъ собираться единственно за тѣмъ, чтобы говорить о ней, писать къ ней стихи, праздновать дни ея рожденія и именинъ. Темные слухи обо всемъ этомъ, можетъ быть, отчасти дойдутъ до Софьи Александровны, черезъ кузена-офицера; по крайней мѣрѣ, она узнаетъ навѣрно то, что ее зовутъ Миньоной, что заставитъ ее прочесть «Вильгельма-Мейстера». Статскій введетъ трехъ изъ самыхъ ревностныхъ ея поклонниковъ и, между прочими, флигель-адъютанта въ одинъ домъ, гдѣ даются вечера и куда она ѣздитъ... Всѣ эти господа будутъ ей представлены, найдутъ ее очень миленькой и ни съ кѣмъ кромѣ ея не будутъ танцовать. Родители Софьи

Александровны станутъ захлебываться отъ восторга, глядя на свою дочь, носящуюся по залѣ съ флигель-адъютантомъ. Въ головѣ ихъ, можетъ быть, родятся несбыточныя мечты. Миньона на верху счастія, вѣрно, въ эту минуту будетъ мечтать тоже о несбыточномъ. Слухи о ней дойдутъ даже до великосвѣтскихъ дамъ, и одна изъ нихъ, улыбаясь, спроситъ у флигель-адъютанта:

— Ну, а что ваша Миньона, Serge?

Такъ пройдетъ годъ. Черезъ годъ комитетъ разбредется: толковать объ одномъ и томъ же и восхищаться однимъ и тѣмъ же прискучитъ, ѣздить въ Богъ знаетъ какое общество неловко; къ тому же издали всегда все лучше, чѣмъ вблизи. Миньона будетъ оставлена и забыта, и ея минутные поклонники найдутъ себѣ какія нибудь новыя развлеченія. Милый фланёръ, надѣлавшій всю эту кутерьму, найдетъ себѣ новое занятіе, станетъ, напримѣръ, преслѣдовать какого нибудь смѣшнаго и неизвѣстнаго господина, гуляющаго ежедневно по Невскому, и въ честь его напишетъ стихи, которые начнутся въ этомъ родѣ:

Кто онъ? Откуда появился
Сей замѣчательный уродъ?
Съ кѣмъ былъ знакомъ онъ? съ кѣмъ водился
И отъ кого ведетъ свой родъ?...

не подозрѣвая, какой онъ ужасный вредъ надѣлалъ Софьѣ Александровнѣ, на мгновенье прославивъ ее; какой страшный ударъ нанесъ ея самолюбію; какія безсонныя и тяжелыя ночи заставилъ проводить бѣдную дѣвушку. Оставленная и забытая, Софья Александровна подурнѣетъ и похудѣетъ. Она нѣсколько времени не будетъ никуда выѣзжать, никакія развлеченія на нее не будутъ дѣйствовать... Родители придутъ въ отчаяніе, не зная, что съ нею дѣлать... Пройдетъ нѣсколько лѣтъ.

Софьѣ Александровнѣ стукнетъ *двадцать-шесть!*

Пора! пора! а жениховъ нѣтъ. Родители сильно призадумаются. Софья Александровна такъ поблѣднѣетъ, что сочтетъ нужнымъ прибѣгнуть къ косметическимъ средствамъ для оживленія цвѣта лица. Она уже перестанетъ мечтать о флигель-адъютантахъ. Она готова будетъ выйти замужъ за какого нибудь господина,—разумѣется, только съ приличнымъ чиномъ и деньгами. Для этого и она, и ея родители начнутъ прибѣ-

гать къ усиленнымъ средствамъ: они устроятъ въ своемъ домѣ вечера *съ живыми картинами*, въ которыхъ Софья Александровна будетъ занимать главную роль и являться передъ гостями въ различныхъ эффектныхъ и соблазнительныхъ костюмахъ и позахъ: съ распущенной косой, съ приподнятой ножкой, съ открытой шеей, и прочее. Это средство, можетъ, быть, удастся. Какой нибудь генералъ (не совсѣмъ старый), занимающій выгодное мѣсто, влѣпится Софьей Александровной въ картинѣ, въ которой она будетъ представлять «Удящую дѣвушку», съ полуоткрытой ножкой, спущенной къ водѣ, и очень открытой шеей... Генералъ послѣ этой картины попроситъ немедленно ея руки. Софья Александровна и ея родители будутъ очень довольны этимъ, и немедленно Миньона превратится—въ генеральшу.

Что же потомъ будетъ съ Софьей Александровной?

Ну, это ужъ будетъ зависѣть отъ обстоятельствъ.

Софья Александровна можетъ, примирясь съ своимъ положеніемъ и оторвавшись отъ фантазій о свѣтской жизни, успокоиться въ сознаніи долга, сдѣлаться хорошей женой, хозяйкой и матерью или просто народить дѣтей (при сохраненіи супружеской вѣрности), расплыться, отупѣть, сдѣлаться равнодушной ко всему, не только къ своимъ дѣтямъ, даже къ туалету; замаслиться, опуститься, жить одною привычкою, безъ всякаго сознанія, безъ всякой мысли; въ своемъ супругѣ, каковъ бы онъ ни былъ, видѣть кумира; прожить извѣстный срокъ, безъ всякихъ домашнихъ бурь, вяло и тихо и наконецъ совсѣмъ успокоиться на Смоленскомъ или на Волковомъ кладбищѣ, а можетъ быть даже и въ Невскомъ монастырѣ. Супругъ поставитъ на ея могилѣ великолѣпный памятникъ и напишетъ на немъ: «Незабвенной, нѣжной матери, примѣрной супругѣ, блиставшей всѣми земными добродѣтелями, отъ неутѣшнаго супруга»; или, пожалуй, еще въ стихахъ, въ родѣ слѣдующихъ:

ДОСТОЙНОЙ СУПРУГѢ.

Подъ камнемъ симъ лежитъ отличнѣйшая мать,
Супруга вѣрная, семьи всей украшенье;
А мнѣ осталося лишь одного желать
И объ одномъ молить: съ ней тамъ соединенья!

А можетъ быть, *ни вдова, ни мужняя жена*, какъ говорится въ пѣснѣ, Софья Александровна насмѣется надъ супружескими и семейными добродѣтелями, не понявъ ихъ. Можетъ быть, единственною и постоянною цѣлію ея жизни (такихъ дамъ мы встрѣчаемъ довольно часто) будетъ *желаніе нравиться*, — упорное желаніе, которое сохранится въ ней до преклонныхъ лѣтъ. Можетъ быть, она вся уйдетъ въ мелочную суету, вся проникнется самымъ смѣшнымъ тщеславіемъ, вся отдастся своимъ страстямъ: будетъ наряжаться, бѣлиться, румяниться, промотаетъ свое состояніе, оставитъ нищими дѣтей, раззоритъ мужа (и это случается), да еще сведетъ его прежде срока въ могилу—нервическими припадками, обмороками, сценами, жалобами, упреками, стонами, и проч., и (если только у нея останутся какія нибудь средства) непремѣнно, несмотря на все это, воздвигнетъ ему памятникъ съ надписью:

«Нѣутѣшная супруга—незабвенному супругу своему генералъ-майору или дѣйствительному статскому-совѣтнику и кавалеру орденовъ...» и проч. А подъ этимъ: «Покойся, *милый прахъ*, до радостнаго утра!»

Можетъ быть...

Но въ эту минуту мысли мои прервалъ звонкій дѣтскій голосокъ, и почти у самыхъ ногъ моихъ прокатился по дорожкѣ обручъ, а вслѣдъ за нимъ пробѣжала Соничка.

Я проводилъ ее глазами и подумалъ: «Что за нелѣпая фантазія пришла мнѣ въ голову? Можетъ ли быть, чтобъ эта хорошенькая дѣвочка, съ умнымъ и живымъ личикомъ, превратилась когда нибудь въ разрумяненную и лицемѣрную барыню съ глупыми претензіями? И для чего заглядывать въ ея будущее? Не лучше ли просто, глядя на нее—

«Благословлять ее на радость и на счастье?...»

XI. НА ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГѢ И ВЪ ПАВЛОВСКОМЪ ВОКСАЛѢ.

Четвергъ. — Погода довольно сомнительная, и по временамъ даже накрапываетъ дождь. Я отправляюсь съ 6-тичасовымъ поѣздомъ въ Павловскъ, полагая, что охотниковъ

ѣхать за городъ въ такую погоду немного, но едва добираюсь до прилавка, гдѣ раздаютъ билеты, и едва достаю билетъ. Вся длинная зала дебаркадера набита биткомъ. За четверть часа до отъѣзда я сажусь въ карету. Въ одномъ отдѣленіи сидятъ со мною, между прочимъ, двѣ пожилыя дамы, изъ которыхъ лицо у одной нарумянено, а брови начернены. Она щуритъ глаза, приставляя къ нимъ иногда двойной золотой лорнетъ, и все улыбается, неизвѣстно отчего. Съ ними сидитъ офицеръ. На галлереѣ, противъ самаго окна нашего вагона, появляется дама, средняго роста, въ шляпкѣ, опрокинутой совершенно на затылокъ... Ей кажется на видъ лѣтъ за тридцать; изжелта-бѣлокурые ея волосы взбиты и подняты кверху, плоское лицо замѣчательно отсутствіемъ верхней части носа, нижняя часть котораго выходитъ широкой пуговкой надъ губами. У нея на выкатѣ, мутносѣрые глаза, и цвѣтъ лица ослѣпительной золотушной бѣлизны. Одѣта она довольно безвкусно и пестро. На рукѣ браслетъ.

Нарумяненная дама въ вагонѣ (*увидѣвъ даму золотушной бѣлизны на галлереѣ*). Marie! Марія Васильевна! Здравствуйте! Поскорѣй, душечка! Мы всѣ васъ такъ ждали. Садитесь съ нами... У васъ есть билетъ?

Другая пожилая дама (*приподнимаясь*). Поскорѣй! поскорѣй! (*Машетъ рукой.*)

Золотушная дама въ галлереѣ (*кивая головой*). Бонъжуръ, mesdames, *команъ са ва?* (*Очень скоро и громко.*) Вообразите, я никакъ не могла добраться! Такая давка... ужасъ... Я отпустила карету и человѣка... (*Съ наивной гримасой и младенческимъ простодушіемъ, нѣсколько пискливымъ голосомъ.*) У меня нѣтъ еще билета. Что мнѣ теперь дѣлать?

Нарумяненная дама въ вагонѣ. Душечка, садитесь поскорѣй! Машина сейчасъ пойдетъ.

Золотушная дама въ галлереѣ. Да какъ же я безъ билета? Кондукторъ! кондукторъ! Я заплачу деньги за билетъ въ Царскомъ-Селѣ... пусти меня...

Кондукторъ. Безъ билета нельзя-съ.

Золотушная дама въ галлереѣ. Да какъ нельзя? Почему? Вѣдь я не могла достать билета... Тамъ такая давка! Пусти, говорятъ тебѣ, пусти... (*Размахиваетъ руками.*)

Кондукторъ (*загораживаетъ рукой входъ*). Нельзя-съ.

Золотушная дама. Ахъ, Боже мой! да что же я буду, однако, дѣлать, mesdames? Кондукторъ! вотъ деньги, возьми мнѣ билетъ. (*Торопливо вынимаетъ замшевый кошелекъ.*)

Кондукторъ. Мнѣ нельзя отлучиться.

(Второй звонокъ.)

Золотушная дама въ галлереѣ. Ахъ! Ахъ! машина уйдетъ! (*Въ отчаяніи.*) Что же это наконецъ?

Нарумяненная дама въ вагонѣ (*къ офицеру, сидящему противъ нея*). Поль, прикрикните на кондуктора... да гдѣ полковникъ? (*Высовывается изъ окна.*) Кондукторъ! пусти эту даму... Я скажу полковнику.

(Офицеръ выходитъ изъ вагона, объясняется съ кондукторомъ; кондукторъ соглашается пустить золотушную даму; она входитъ въ вагонъ въ сопровожденіи офицера и садится возлѣ нарумяненной дамы.)

Золотушная дама (*во все горло*). Вотъ прелестно, *машеръ,* если бы меня не пустили... *Ме сетъ афрё!* Что̀ бы я стала дѣлать безъ экипажа и безъ человѣка?... (*Къ офицеру.*) *Мерси, мосье.* (*Обдергиваетъ платье, проводитъ рукою по волосамъ и вообще охорашивается.*) Ахъ, сколько сегодня ѣдетъ! (*Бойко оглядываетъ всѣхъ сидящихъ въ вагонѣ.*) Я сегодня особенно въ музыкальномъ расположеніи. Мнѣ ужасно хочется слышать Штрауса. Я просто была бы въ отчаяніи, если бы не попала.

(Третій звонокъ. Машина свиститъ. Поѣздъ двигается.)

Офицеръ. Черезъ полчаса пойдетъ другой поѣздъ. Вы немножко подождали бы и пріѣхали бы полчаса позже. Вотъ и все.

Золотушная дама (*не безъ кокетства и съ гримаской*). Какже, мнѣ бы дожидаться одной? ѣхать съ незнакомыми? *Мерси...* Прекрасно выдумали! (*Съ пріятной улыбкой.*) Какой же вы, однако, *гадкій!*

Офицеръ (*покручивая усы*). Вы находите?

Золотушная дама (*вынимая коробочку съ конфектами и подчуя нарумяненную даму и другую, которыя берутъ по конфектѣ осторожно, приговаривая:* «Мерси, машеръ», *подноситъ потомъ коробку къ офицеру и повторяетъ его слова:*) Нахожу... да! Не хотите ли?... (*Офицеръ протягиваетъ руку къ коробкѣ, но дама отнимаетъ отъ него коробку.*) Впрочемъ,

нѣтъ, вы не стоите! (*Офицеръ смѣется, дамы тоже.*) Ну возьмите, возьмите. Богъ съ вами! (*Громкій разговоръ золотушной и развязной дамы обращаетъ на нее вниманіе сидящихъ даже въ другихъ отдѣленіяхъ, что, повидимому, не смущаетъ ее, потому что она продолжаетъ, кушая конфекты, также громко:*) Не правда ли, душечка, какъ хорошъ Штраусъ?

Офицеръ (*иронически*). Собой?

Нарумяненная дама. Вообрази, машеръ, я его еще не слыхала... все какъ-то не удавалось... а всѣ говорятъ, что онъ очень интересный мужчина.

Офицеръ. Ничего нѣтъ интереснаго; по-моему, Гунгель гораздо лучше.

Золотушная дама. Вотъ ужь извините! У него очень пріятныя манеры, онъ такой *комъ-иль-фо!*

Офицеръ. Въ чемъ же это *комъ-иль-фо*, позвольте спросить? Что онъ входитъ въ залу въ какой-то шубкѣ съ гайдукомъ сзади и сбрасываетъ ее съ себя при публикѣ на руки гайдука? Вамъ это нравится?

Золотушная дама. Онъ артистъ и имѣетъ европейскую репутацію. Почему же ему не позволить себѣ немного пококетничать? (*Нарумяненной дамѣ, указывая головой на офицера.*) Не вѣрь ему, душечка: онъ это говоритъ изъ зависти.

Офицеръ (*хохочетъ*). Мнѣ завидовать? *Кель иде!...*

Золотушная дама (*полушутя, полусерьезно*). Разумѣется, завидуете. Вамъ досадно, что за него всѣ дамы. Я знаю, что многіе кавалеры нападали на Маріо именно потому, что всѣ дамы были отъ него въ восхищеніи...

Офицеръ. Нельзя же сравнить Маріо съ Штраусомъ... Во-первыхъ Маріо — пѣвецъ; къ тому же...

Нарумяненная дама (*закатывая глаза подъ лобъ*). Ахъ, машеръ, не говори о Маріо. Съ Маріо никто не сравнится!

(Свистъ машины, приближающейся къ Царскому-Селу, заглушаетъ разговоръ. Машина черезъ нѣсколько минутъ останавливается у дебаркадера.)

Золотушная дама. Ахъ, какъ душно (*обдувается*) и какъ мнѣ хочется пить... Я не знаю, что̀ бы я дала за стаканъ воды.

(На галлереѣ разнощикъ съ апельсинами тоненькимъ голоскомъ: «пельсины хорошіе! пельсины!»)

Офицеръ (*иронически къ разнощику*). Эй, ты, *пельсины!* поди сюда. (*Покупаетъ апельсины и подноситъ золотушной дамѣ.*) Не угодно ли?...

Золотушная дама. Non, mercі... Я апельсиновъ не хочу. Мнѣ воды... (*Высовывается изъ окна и кричитъ какому-то мальчику, бѣгущему по галлереѣ.*) Мальчикъ! мальчикъ! принеси мнѣ стаканъ воды. Я тебѣ заплачу. (*Мальчикъ, не слушая, убѣгаетъ.*) Ахъ, Боже мой! какъ бы мнѣ достать стаканъ воды?

(Офицеръ кричитъ кондуктору: «принеси воды!»)

Посторонній господинъ (*въ другомъ отдѣленіи, обращаясь съ улыбкою къ своимъ сосѣдямъ*). Экая неугомонная! могла бы подождать, кажется, пять минутъ... напилась бы въ Павловскѣ!

(Кондукторъ приноситъ стаканъ воды, дама пьетъ, офицеръ шаритъ въ карманѣ.)

Золотушная дама. *Не ву з'енкомоде па!*

(Вынимаетъ замшевый кошелекъ и бросаетъ на подносъ гривенникъ. Свистокъ. Поѣздъ двигается. Золотушная дама неумолкаемо и все также громко продолжаетъ говорить о томъ, какъ она любитъ Павловскъ, сколько у нея тамъ пріятныхъ воспоминаній; какое очаровательное мѣсто *Красная долина;* какъ она разъ у *Розоваго павильона* наломала *сирени* (дикій жасминъ) и какъ поймалъ ее часовой, который хотѣлъ вести ее къ коменданту, въ какомъ была она безпокойствѣ... и проч., и проч. Поѣздъ останавливается. Всѣ выходятъ изъ вагоновъ. Золотушная дама на галлереѣ, толкая нарумяненную даму локтемъ и указывая на четырехъ великосвѣтскихъ дамъ съ розами въ рукахъ, сопровождаемыхъ двумя военными и однимъ статскимъ съ *пледомъ* на рукѣ и со стеклышкомъ въ глазу, которыхъ она обозрѣваетъ съ жадностью.)

Посмотри, машеръ... это, вѣрно, кто нибудь изъ знати. Замѣть, какія кружева; а фасонъ-то шляпки! Ахъ, какая шляпка! прелесть! А адъютантъ-то, адъютантъ! вотъ этотъ черненькій, съ маленькими усиками... Какой ловкій!... какой молодецъ! И, замѣть, онъ чувствуетъ, машеръ, что хорошъ, — это видно сейчасъ...

(Исчезаетъ въ толпѣ. Зала воксала въ одно мгновеніе наполняется пріѣзжими. Начинаетъ накрапывать, ко всеобщему огорченію, дождь, вслѣдствіе чего оркестръ располагается въ залѣ. Г. Штрауса еще нѣтъ. Нѣкоторые изъ пріѣзжихъ выходятъ на галлерею и въ садъ; дождь усиливается, и они возвращаются въ залу. Въ залѣ многіе располагаются кушать... откупориваются бутылки шампанскаго, лакеи вынуряютъ изъ угла въ уголъ, дымъ отъ сигаръ и папиросъ волнами ходитъ по залѣ. Черезъ десять минутъ становится нестерпимо душно.

Молодой человѣкъ съ усиками, въ пальто сверхъ фрака, появляется на эстрадѣ, сбросивъ сопровождающему его лакею пальто и раскланивается публикѣ. Это самъ г. Штраусъ.

Когда вваливается въ залу слѣдующій поѣздъ, въ залѣ оставаться уже невозможно. Несмотря на мелкій дождь, бо́льшая часть публики выходитъ на галлереи и въ садъ. Теплый совершенно лѣтній воздухъ растворенъ смолистыми запахами деревьевъ. Публика, разсыпавшаяся по дорожкамъ, въ ожиданіи оркестра, который переходитъ на воздухъ, споритъ, кто лучше — Штраусъ или Гунгель.)

Пожилой офицеръ (*другому офицеру и статскому, съ которыми идетъ*). И отчего это сегодня столько наѣхало? чего обрадовались? Терпѣть не могу, когда такая давка.

Статскій (*съ пледомъ на рукѣ, съ нѣкоторой принужденной ироніей въ голосѣ, смотритъ съ любопытнымъ благоговѣніемъ на великосвѣтскихъ дамъ съ розами въ рукахъ. Онѣ нѣсколько отдѣльно отъ другихъ вмѣстѣ съ своими кавалерами занимаютъ стулья въ саду съ правой стороны оркестра, который располагается на внѣшней галлереѣ*). Зато посмотри, какое блестящее общество!

(Не спускаетъ глазъ съ этихъ дамъ.)

Пожилой офицеръ. Ну, братъ, тѣмъ хуже... Я до *бомонда* не охотникъ.

Статскій. Зачѣмъ же ты ѣздишь въ четвергъ? извѣстно, что по четвергамъ здѣсь бываетъ *высшее* общество.

(Упираетъ иронически на слово высшее.)

Пожилой офицеръ. Зачѣмъ? Скука: не знаешь, куда дѣваться.

Статскій. Да вѣдь и здѣсь нѣтъ ничего забавнаго... (*Насильственно зѣваетъ.*) А посмотри, посмотри... *наши.*

(Мимо проходитъ дама среднихъ лѣтъ, еще сохранившая свою красоту, одѣтая со вкусомъ и съ роскошью, бросающеюся въ глаза, съ другой дамой, похуже и попроще одѣтой. Офицеры и статскій кланяются ей. Она незамѣтно шевелитъ головой, улыбаясь имъ. Статскій съ пледомъ подходитъ къ ней, жметъ ея руку, любезничаетъ и продолжаетъ съ нею идти, поглядывая по сторонамъ.)

Пожилой офицеръ (*другому, молоденькому, указывая головой на статскаго съ пледомъ*). Онъ счастливъ, что можетъ показать передъ всей публикой, что въ пріятныхъ отношеніяхъ съ Марьей Александровной! Чортъ знаетъ, какъ все это глупо и противно... (*Зѣваетъ.*) Экая тоска!

Молоденькій офицеръ (*провожая глазами Марью Александровну*). А вѣдь еще до-сихъ-поръ какъ хороша!

Пожилой офицеръ. Какое: вся намазана!

(Къ нимъ подходитъ другой статскій, небольшаго роста, лѣтъ за тридцать-пять, съ круглымъ, румянымъ и ординарнымъ лицомъ, съ веселыми бѣгающими глазками. Онъ пожимаетъ руки офицерамъ. Пожилой офицеръ обращается съ нимъ довольно холодно.)

Румяный статскій (*тоненькимъ голоскомъ*). Какая скука! Зачѣмъ я сюда пріѣхалъ? (*Обращаясь къ молоденькому офицеру.*) Гдѣ ты былъ вчера? А мы, братецъ чудо какъ провели день... Мы съ Марьей Александровной, съ Пашей, съ Надеждою Петровной на биржѣ ѣли устрицы, потомъ я обѣдалъ у Дюссо съ Васей, вечеромъ мы отправились кататься на острова, а оттуда къ Луизѣ и просидѣли тамъ до четырехъ часовъ. Ты знаешь, что сдѣлала Луиза съ Васей? чудо!...

(Продолжаетъ что-то шопотомъ молоденькому офицеру, который слушаетъ его съ любопытствомъ, смѣется и вскрикиваетъ: «Неужели?» Въ это время проходитъ недурная собой и очень разряженная дама. Румяный статскій съ восклицаніемъ: «легка на поминѣ», бросается къ ней.)

Пожилой офицеръ (*къ молоденькому*). Вѣдь все вретъ! ты его не слушай... Охота тебѣ съ нимъ возиться; это противная и препаглая фигура — вездѣ втирается. Передъ Марьей Александровной подличаетъ, чуть ногъ у нея не цѣлуетъ, у нея какъ лакей на посылкахъ, льститъ ей въ глаза, такъ что противно слушать, а Луизу увѣряетъ, что въ Петербургѣ не умѣютъ цѣнить женщинъ, что она могла бы себѣ составить фортуну заграницей! И онѣ, каждая въ свою очередь, вѣрятъ ему! Онъ тебѣ сейчасъ вралъ, будто бы Луиза сдѣлала что-то съ Васей, а небось не разскажетъ, что онъ сдѣлалъ съ Луизой.

Молодой офицеръ (*съ любопытствомъ*). А что такое?

Пожилой офицеръ. Этому, братецъ, я самъ былъ свидѣтель. Разъ какъ-то утромъ, года три тому назадъ — тогда я еще къ этимъ барынямъ имѣлъ глупость ѣздить — сижу я у Луизы, вмѣстѣ съ графомъ Славинскимъ. Мы ухаживали за нею... Является этотъ веселый и румяный господинъ, вертится и болтаетъ всякій вздоръ. А Луиза ломается передъ нами на диванѣ и думаетъ, какъ бы что нибудь стянуть съ кого нибудь изъ насъ, и вдругъ говоритъ: «Ахъ, какъ мнѣ хочется цвѣтовъ!... Господа, достаньте мнѣ цвѣтовъ!» Мы и рта не успѣли рази-

нуть, а онъ — «Извольте», говоритъ, «черезъ часъ вся ваша гостиная будетъ заставлена цвѣтами.» Я посмотрѣлъ на него, да и говорю Луизѣ: «Вы сами успѣете двадцать разъ завянуть прежде, нежели дождетесь отъ него цвѣточка.» Обидѣлся. «Отчего ты», говоритъ, «это думаешь?» А чего обижаться! извѣстно, что у него гроша никогда нѣтъ. Не понимаю, какъ онъ живетъ! одѣтъ франтомъ, руки въ заднихъ карманахъ. Находятся же дураки, которые вѣрятъ ему и обшиваютъ его въ долгъ! Удивительно!... Онъ взялъ шляпу и вышелъ. Графъ тоже вслѣдъ за нимъ уѣхалъ. Остался я одинъ. Черезъ полчаса, въ самомъ дѣлѣ, пріѣзжаетъ мой молодчикъ, а за нимъ несутъ горшковъ пятьдесятъ... рублей на восемьдесять... всю комнату уставили. Луиза, разумѣется, очень довольна, поцѣловала его за это и говоритъ мнѣ: «вотъ, видите, вы ошиблись!» Ну, хорошо, думаю себѣ, погоди. Разставили цвѣты. А въ передней мужикъ дожидается. Я думаю, что будетъ. Онъ выбѣгаетъ и говоритъ мужику: «я послѣ, говоритъ, отдамъ что слѣдуетъ за цвѣты, ступай.» А мужикъ говоритъ: «нѣтъ, сударь, мнѣ приказано получить сейчасъ.» Онъ было прикрикнулъ на него, но видитъ, что дѣло плохо, затѣется исторія: мужикъ не выходитъ... «Ну, хорошо, говоритъ онъ ему, я поѣду, а ты пошелъ за мной: я тебѣ сейчасъ отдамъ. Онъ видимо разсчитывалъ на графа, думая тихонько призанять у него дня на два тутъ же; а графъ, на его бѣду, уѣхалъ. Я потираю себѣ руки и думаю: попался молодецъ! Какъ-то теперь вывернешься? Что жь? онъ отъ Луизы съ мужикомъ прямо къ одному богатому старичку, къ извѣстному волокитѣ. Вбѣгаетъ къ нему; а мужикъ ждетъ на лѣстницѣ. «Я, говоритъ онъ старичку, сію секунду къ вамъ отъ Луизы. Она очень хочетъ съ вами познакомиться. Мы все съ ней говорили объ васъ, и я для того, чтобы еще болѣе расположить ее въ вашу пользу, послалъ ей отъ имени вашего на восемьдесятъ рублей цвѣтовъ... Вы не разсердитесь, говоритъ, на меня за это? Старикъ растаялъ, благодаритъ его, отдалъ ему сейчасъ деньги... Онъ отпустилъ мужика и отправился со старикомъ къ Луизѣ, оставляетъ его въ каретѣ и вбѣгаетъ къ ней... «Позвольте, говоритъ, вамъ представить такого-то... Онъ съ ума сходитъ объ васъ и богатъ страшно...» наговорилъ ей о немъ турусы на колесахъ... Луиза слышать ничего не хочетъ. Какъ онъ ни

уговаривалъ ее, съ тѣмъ и отправился. Старикъ съ полчаса прождалъ его въ каретѣ напрасно. Натурально, онъ взбѣсился и на другой день написалъ къ ней письмо... «Цвѣты мои, говоритъ, счастливѣе меня, сударыня: ихъ вамъ было угодно принять, а меня нѣтъ; этакъ, говоритъ, порядочныя и честныя женщины не дѣлаютъ», и прочее. Луиза ужасно разобидѣлась, въ слезы. Она показываетъ это письмо одному изъ своихъ обожателей и проситъ его съѣздить къ старику и попросить у него объясненія. Въ заключеніе вся продѣлка нашего молодца открывается, всеобщій хохотъ, — а онъ какъ ни въ чемъ не бывалъ и до сихъ поръ продолжаетъ ѣздить къ ней. Вотъ мѣдный лобъ-то! Да и та хороша, — принимаетъ этакого господина! Я думаю, впрочемъ, между нимъ и ею какая нибудь стачка, что нибудь нечисто. Она вѣдь прехитрая. Онъ у нея, я думаю, въ такой же должности, какъ Расплюевъ у Кречинскаго.

(Оба хохочутъ.)

Молодой офицеръ. А вѣдь онъ, однако, со всѣми знакомъ, со всѣми на *ты*. Я познакомился съ нимъ у графа Лыскова...

Пожилой офицеръ. Да вѣдь эти господа не слишкомъ разборчивы... Имъ что? Кто выпить любитъ, вертится всякій день у Дюссо, ѣздитъ къ цыганамъ, таскается по всѣмъ публичнымъ мѣстамъ, волочится за кѣмъ нибудь въ театрѣ, тотъ имъ и другъ, съ тѣми они и на *ты*... Нѣтъ, ты, братъ, пожалуйста, будь съ нимъ остороженъ и когда въ толпѣ онъ сзади тебя, такъ ты, смотри, береги свой носовой платокъ.

(Молодой офицеръ хохочетъ.)

Пожилой офицеръ (*серьезно*). Я тебѣ говорю нешутя, — это такъ.

(Оба идутъ далѣе и исчезаютъ въ толпѣ. Двѣ дамы среднихъ лѣтъ, съ претензіями на великосвѣтскость, не принадлежащія ни къ высшему, ни къ среднему обществу, унижающіяся передъ первымъ и вздирающія носъ передъ послѣднимъ, сидятъ на скамейкѣ, разговаривая съ своими кавалерами. Передъ ними вертится худенькій, жиденькій и гаденькій франтикъ, съ англійскимъ проборомъ сзади, съ двойнымъ лорнетомъ на носу и съ пледомъ на рукѣ. Дамы все говорятъ по-французски о графахъ и князьяхъ, о графиняхъ и княгиняхъ.)

Франтикъ (*перебивая ихъ*). Mesdames, mesdames! посмотрите.

(Указываетъ, съ улыбкой, глазами на пожилаго господина очень серьёзнаго вида, выступающаго съ достоинствомъ и съ сигарой во рту, въ сѣромъ пальто военнаго покроя на красной подкладкѣ.)

Дамы (*въ одинъ голосъ*). Что такое?

Франтикъ. Посмотрите, красная подкладка!... Я бьюсь объ закладъ, что это статскій генералъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, и онъ хочетъ, чтобы всѣ знали, что онъ генералъ.

(Дамы смѣются и лорнируютъ господина на красной подкладкѣ.)

Одинъ изъ кавалеровъ (*сидящій съ дамами на скамейкѣ, къ гаденькому франту*). Отчего? Какой генералъ? это просто господинъ, которому нравится красный цвѣтъ—больше ничего.

Франтикъ. Ну, а хочешь побиться объ закладъ, что это генералъ? Хочешь — бутылку шампанскаго? Идетъ?

Одинъ изъ кавалеровъ. Пожалуй; но какъ ты узнаешь это? Что жь, ты пойдешь у него спрашивать, генералъ онъ или нѣтъ?

Франтикъ. Ты увидишь сейчасъ... Masdames, вы свидѣтельницы...

(Дамы киваютъ головами. Въ эту минуту, какъ будто нарочно, господинъ на красной подкладкѣ останавливается передъ ними. Гаденькій франтикъ вынимаетъ папироску, подходитъ къ нему и говоритъ громко:)

Позвольте огоньку, ваше превосходительство!

(Улыбается значительно и взглядываетъ на дамъ, которыя смѣются, произнося: *Polisson!* Одна ему грозитъ своимъ зонтикомъ.)

Господинъ на красной подкладкѣ (*обозрѣвъ гаденькаго франта, торжественно и съ достоинствомъ, протягивая ему свою сигару*). Извольте. *Франтикъ* (*закуривъ папироску и прикоснувшись къ полямъ шляпы*). Покорнѣйше васъ благодарю, ваше превосходительство! (*Упираетъ на слово превосходительство и возвращается къ дамамъ.*)... Ну, я, надѣюсь, выигралъ бутылку шампанскаго!...

(Общій хохотъ. Звуки музыки заглушаютъ разговоръ.)

Появляются два молодые великосвѣтскіе господина: статскій и военный. Франтикъ подобострастно слѣдитъ за ними. Ему смертельно хочется подойти къ нимъ; но онъ колеблется и, между тѣмъ, составляетъ въ головѣ французскую фразу, чтобъ начать разговоръ съ ними.

Великосвѣтскій военный. Какая тоска! и что за лица!

Великосвѣтскій статскій. Да. (*Зѣваетъ.*) Ужасная скука!

(Гаденькій франтъ не безъ смущенія кланяется этимъ господамъ и, преодолѣвая внутреннюю робость, подходитъ къ нимъ.)

Франтикъ (*къ великосвѣтскому статскому, подслушавъ его восклицаніе*). Всѣ наши гулянья вялы. N'est ce pas, m-r le comte?

(Великосвѣтскій статскій, чуть-чуть поведя голову и обозрѣвъ съ ногъ до головы гаденькаго франта, произноситъ себѣ подъ носъ: «Да», и отворачивается въ сторону. Франтикъ, повертѣвшись около него, отходитъ, нѣсколько сконфуженный.)

Великосвѣтскій военный. Что это за фигура?

Великосвѣтскій статскій. Я забылъ его фамилію... Я не знаю, я гдѣ-то его встрѣчалъ... у Дюссо, кажется...

(Проходятъ. — Пожилой офицеръ съ молодымъ офицеромъ попадаются навстрѣчу великосвѣтскимъ господамъ. Молодой офицеръ кланяется имъ съ пріятною улыбкою. Пожилой сухо киваетъ имъ головою.)

Пожилой офицеръ (*иронически*). Аристократы! Ну, а что, пріятно вѣдь пройтиться подъ руку съ этими господами торжественно при всей публикѣ... какъ ты думаешь? (*Молодой офицеръ смѣется.*) Нѣтъ, куда намъ, братецъ, съ такими важными господами! Мочи нѣтъ какая скука! пойдемъ-ка спросимъ бутылочку.

(Начинаетъ смеркаться. Десятичасовой поѣздъ уѣзжаетъ, увозя съ собою великосвѣтскихъ дамъ и кавалеровъ. На галлереяхъ воксала образуются группы офицеровъ и статскихъ. Въ нѣкоторыхъ группахъ начинается попойка. Передъ воксаломъ, по дорожкамъ сада, извѣстные господа прохаживаются уже подъ ручку съ различными камеліями, ординарными и махровыми... Изъ растворенныхъ отдѣльныхъ кабинетовъ воксала, гдѣ мелькаютъ мундиры и женскія шляпки, раздаются крики, шумъ и пѣсни. Появляется нѣсколько господъ, очень развеселившихся. Крики и споръ съ лакеями. Скромная группа на галлереѣ мужчинъ и дамъ за чайнымъ столомъ поспѣшно удаляется, потому что изъ другой группы, по сосѣдству, передъ которой на столѣ стоитъ нѣсколько опорожненныхъ бутылокъ, раздаются очень странныя слова и рѣчи. Черезъ головы скромной группы перелетаетъ даже стаканъ и упадаетъ въ клумбу съ цвѣтами. Гулянье, въ началѣ вялое, обращается въ нѣсколько

дикую оргію. Одинъ изъ кавалеровъ скромной удаляющейся группы говоритъ дамѣ: «Я вамъ говорилъ, что здѣсь нельзя оставаться послѣ перваго поѣзда.»

Свистъ машины, и вслѣдъ затѣмъ звонокъ...

Толпа, спѣша и толкаясь, бросается за билетами. Страшный шумъ и крики на галлереѣ у подъѣзда. Наконецъ всѣ усаживаются. Машина двигается съ оглушительнымъ визгомъ и черезъ пять минутъ останавливается у дебаркадера въ Царскомъ-Селѣ. Господинъ пожилыхъ лѣтъ съ дамой вылѣзаютъ изъ кареты.)

Господинъ пожилыхъ лѣтъ (*въ раздраженіи*). Здѣсь невозможно сидѣть!... Что это такое?... Кондукторъ! кондукторъ! есть ли мѣсто въ линейкахъ? Пусти насъ въ линейку... Это ни на что не похоже. (*Къ дамѣ.*) Пойдемъ, душечка!...

(Исчезаетъ въ толпѣ на галлереѣ. Слышны крики: «гдѣ главный кондукторъ?» Поѣздъ снова двигается.)

XII. ДАЧНИКЪ.

Прошедшее лѣто я жилъ на дачѣ за Парголовомъ. Дачу эту я нанялъ въ концѣ февраля. Она мнѣ очень понравилась, потому что стояла особнякомъ на горѣ и выходила въ поле. Сзади моего домика по скату горы саженяхъ въ пятнадцати начинался уже рядъ дачь, одна возлѣ другой. Я переѣхалъ въ концѣ мая, устроился очень удобно, навезъ съ собой книгъ, которыя мнѣ были нужны для моей работы, и былъ въ восторгѣ при мысли, что мнѣ никто не будетъ мѣшать. «Въ такомъ уединеніи, думалъ я, втеченіе трехъ мѣсяцевъ я надѣлаю столько, сколько бы и въ годъ не надѣлалъ въ городѣ.» Первое время я былъ очень доволенъ моею жизнію. Вставалъ я часовъ въ 7, купался, гулялъ до 8, потомъ пилъ кофе, послѣ кофе принимался обыкновенно за свои занятія и работалъ вплоть до обѣда, то есть до 5 часовъ. Послѣ обѣда читалъ, а съ 8 до 11 часовъ гулялъ, ходилъ въ «Осиновую рощу», а иногда и дальше. Въ 11 часовъ я уже былъ всегда въ постели. Въ комнату я входилъ для того только, чтобы ложиться спать, а днемъ былъ постоянно на воздухѣ. Во всю длину моего домика была широкая галлерея, гдѣ я обыкно-

венно пилъ кофе и чай, обѣдалъ и работалъ. О томъ, кто жилъ на сосѣднихъ дачахъ, я не имѣлъ и не желалъ имѣть ни малѣйшаго понятія; мимо этихъ дачь я и проходилъ рѣдко, потому что гулялъ все или въ полѣ, или въ дальнихъ рощахъ, куда никто изъ дачныхъ жителей не заглядывалъ. Однажды, вечеромъ, въ урочный часъ — это было въ началѣ іюня — пошелъ я погулять по обыкновенію. Вечеръ былъ прекрасный и душистый. Такіе вечера въ Петербургѣ рѣдки. Вся даль съ лугами и холмами тонула въ пару. Я спустился съ горки по тропинкѣ, проложенной противъ самой моей дачи, и вышелъ на широкій лугъ, пестрѣвшій цвѣтами... Тишина въ воздухѣ была удивительная. Солнце было уже довольно низко. Жаръ только-что начиналъ спадать. Въ такой вечеръ лугъ имѣетъ особенную прелесть. Мнѣ было хорошо, и въ эту минуту болѣе чѣмъ когда нибудь хотѣлось быть одному. Я прошелъ съ четверть часа и остановился на серединѣ луга, озираясь кругомъ. Съ минуту простоялъ я такъ, безъ всякой мысли, въ блаженномъ одурѣніи, жадно вдыхая въ себя воздухъ.

Вдругъ слышу надъ самымъ ухомъ чей-то голосъ. Я вздрогнулъ. Гляжу—передо мной стоитъ свѣжій и румяненькій старичокъ съ брюшкомъ, съ просѣдью на вискахъ, въ соломенной фуражкѣ, съ палочкой и съ сладкой улыбкой. Откуда взялся вдругъ этотъ старичокъ, я и до сихъ поръ понять не могу. Когда я съ удивленіемъ остановился на немъ, онъ приподнялъ свою фуражку и принялъ выраженіе еще болѣе сладкое.

— Мое почтеніе-съ, сказалъ онъ.

Я поклонился ему съ недоумѣніемъ, потому что въ первый разъ видѣлъ его, и сдѣлалъ шагъ впередъ. Старичокъ поровнялся со мною.

— Изволите гулять? спросилъ онъ.

— Да-съ, гуляю.

— Это хорошее дѣло, продолжалъ онъ:—что же на дачѣ и дѣлать, какъ не гулять, особенно въ такой прекрасный вечеръ... Вы изволите жить, если не ошибаюсь, на крайней дачѣ, на горкѣ?

— Такъ точно.

— Миленькая дача, очень веселенькая, и отъ васъ съ

галлереи долженъ быть видъ прекрасный... Позвольте мнѣ имѣть честь вамъ рекомендоваться: я ближайшій сосѣдъ вашъ... мы занимаемъ дачу первую отъ васъ... я съ семействомъ 15 лѣтъ сряду живу на этой дачѣ... мы очень любимъ здѣшнія мѣста—и жена и дѣти: привычка-съ... а позвольте узнать, съ кѣмъ я имѣю удовольствіе говорить?

Я сказалъ ему мою фамилію.

— А имя и отчество?

Я сказалъ имя и отчество.

Но этимъ онъ еще не удовлетворилъ своего любопытства и продолжалъ, все принимая болѣе и болѣе пріятное выраженіе:

— Изволите служить? женаты или нѣтъ?... батюшка и матушка живы?

Отвѣчавъ коротко на каждый изъ этихъ вопросовъ, я хотѣлъ раскланяться съ нимъ и повернуть въ сторону; но, когда я взглянулъ на него, мнѣ вдругъ стало жалко оскорбить старичка. Въ лицѣ его и во всей фигурѣ было много добродушія и кротости.

Онъ продолжалъ идти рядомъ со мною. Я смягчился и слушалъ его безъ досады. Онъ мнѣ разсказалъ, что семейство его состоитъ изъ жены, двухъ сыновей и трехъ дочерей; что онъ уволенъ отъ службы съ чиномъ статскаго совѣтника; что у его жены 400 душъ въ Пензенской губерніи; что они очень привыкли къ городской жизни, къ столичнымъ развлеченіямъ: что притомъ дѣти у нихъ на возрастѣ: дочери почти невѣсты, а сыновья приготовляются въ гимназію,—такъ нельзя не жить въ столицѣ.

Мы проходили болѣе часу. Болтливый старичокъ не умолкалъ всю дорогу, и, когда, на возвратномъ пути, мы поднялись на гору и остановились противъ моего домика —

— Благодарю васъ за компанію, сказалъ онъ:—и надѣюсь на продолженіе знакомства. Покорнѣйше прошу объ этомъ... Мы здѣсь почти со всѣми нашими сосѣдями знакомы. Собираемся другъ у друга въ положенные дни, болтаемъ, развлекаемъ другъ друга; иногда молодежь затѣетъ танцы подъ фортепьяно... Вотъ время-то и идетъ незамѣтно. Прошу быть съ нами запросто: на дачахъ нечего церемониться... По пятницамъ я всегда обѣдаю дома, и у меня бываетъ кое-кто изъ

городу и наши дачные сосѣди. Всѣ мои домашніе очень рады будутъ видѣть васъ... будемъ болтать, гулять вмѣстѣ... Вамъ одному-то, чай, скучновато?

Я отвѣчалъ, что «нисколько», что я привыкъ быть одинъ; но старикъ недовѣрчиво покачалъ головою и улыбнулся.

— Полноте! на людяхъ всетаки веселѣе... Да вы, пожалуйста, безъ церемоніи, какъ немножко соскучитесь, такъ прямо милости просимъ къ намъ. Мы душевно будемъ рады всегда доставить вамъ развлеченіе... Итакъ, до пріятнаго свиданія.

Старичокъ крѣпко пожалъ мнѣ руку и съ восклицаніемъ: «мои домашніе удивляются, я думаю, куда я это пропалъ!» отправился домой.

На другое утро я и забылъ о старичкѣ. Но только что я расположился на своей галлереѣ, уложилъ себя книгами и взялся за перо. какъ раздался скрипъ калитки и послышались осторожные шаги на пескѣ.

— Я на минуточку, на одну минуточку, раздался вслѣдъ за тѣмъ мягкій голосъ моего старичка—онъ вошелъ на галлерею и съ своею пріятною улыбкою протянулъ мнѣ руку:— я не помѣшаю вамъ, не безпокойтесь, я зашелъ къ вамъ мимоходомъ, думаю себѣ, нельзя же пройти мимо хорошаго сосѣда, не пожелавъ ему добраго утра... Хорошо ли вы почивали послѣ вчерашней прогулки?

— Я всегда хорошо сплю.

— На вольномъ воздухѣ, точно, хорошо спится, это я по себѣ знаю, замѣтилъ онъ, взявъ одну изъ книгъ, лежавшихъ передо мною, посмотрѣвъ на переплетъ и снова положивъ ее на мѣсто.—Э! да какое множество у васъ книгъ! Позвольте, спросить, вы, вѣрно, охотники до чтенія?

— Да, охотникъ.

— Что жъ? и прекрасно. Я вамъ скажу, чтеніе приноситъ и удовольствіе и пользу. Вотъ у меня старшая дочь просто страстная охотница до чтенія: она все больше французскія и англійскія книги читаетъ... Меньшая — нѣтъ, не скажу: у той страсть къ танцамъ. Позволите выкурить сигару?

Старикъ закурилъ сигару и началъ разсуждать о погодѣ. Онъ говорилъ, что май въ Петербургѣ всегда дурной и холодный, а іюнь теплый, что и безъ барометра можно узнавать

хорошую погоду: когда вечеромъ съ поля возвращаются коровы и если впереди идетъ красная, то на слѣдующій день будетъ непремѣнно хорошая погода, а если черная—то дурная,—что это самая вѣрная примѣта. Онъ просидѣлъ у меня болѣе часа и, уходя, извинялся, что помѣшалъ моимъ занятіямъ, и снова звалъ къ себѣ, прибавивъ, что жена его ожидаетъ меня и что она тоже удивляется, какъ это я могу жить одинъ-одинехонекъ.

— Пожалуйста! прибавилъ онъ въ заключеніе:—запросто, по дачному, милости прошу къ намъ откушать. Мы церемоній никакихъ не любимъ: мы люди простые.

Старикъ разстроилъ все мое утро. Я былъ взбѣшенъ внутренно; но его мягкость и добродушіе обезоруживали меня. Я обѣщалъ непремѣнно быть у него.

Мысль о предстоящемъ визитѣ, однако, отравила мое существованіе. Моя свобода, моя независимость исчезли; мое уединеніе было нарушено. Я обвинялъ себя за то, что не умѣлъ отдѣлаться, что у меня недостало духу объявить наотрѣзъ, что я человѣкъ занятый, избѣгающій не только новыхъ знакомствъ, но не умѣющій поддерживать даже старыхъ... Я спалъ скверно: неотвязчивый старичокъ мерещился мнѣ во снѣ. Утромъ я все думалъ: идти ли мнѣ къ нему, или нѣтъ? Я прохаживался по моей галлереѣ въ нерѣшительности. «Нѣтъ, не пойду», сказалъ я самъ себѣ твердо и хотѣлъ было приняться за свою работу; но работа какъ-то не клеилась. «Не отдать визита невозможно — думалъ я — это будетъ, просто, невѣжливо. Этимъ визитомъ я, по крайней мѣрѣ, приличнымъ образомъ могу отдѣлаться... Потомъ я буду избѣгать всякихъ столкновеній и встрѣчъ съ старичкомъ. Онъ замѣтитъ это и самъ отстанетъ отъ меня. Тѣмъ дѣло и кончится. Рѣшено: иду.» Я одѣлся и пошелъ.

Старичокъ сидѣлъ на скамейкѣ въ палисадникѣ, передъ своимъ домомъ. На рукахъ у него былъ очень хорошенькій мальчикъ лѣтъ пяти. Ребенокъ обнималъ его своими ручонками, а старичокъ цѣловалъ его съ нѣжностью.

— Очень радъ, очень радъ! закричалъ онъ, увидѣвъ меня, приподнимаясь и отпуская ребенка съ рукъ: — милости просимъ. Вотъ рекомендую вамъ моего сынка, — это мой баловникъ... Кланяйся, Петруша, гостю... Это будетъ у меня чело-

вѣкъ свѣтскій и дипломатъ. Мы ужъ съ женой такъ и назначаемъ его по дипломатической части.

Будущій дипломатъ ловко расшаркался передо мною и произнесъ:

— Bonjour, monsieur!

— Умница, умница! произнесъ отецъ, съ чувствомъ погладивъ его по головѣ.—Понятливость у него, я вамъ скажу, не по лѣтамъ, а память изумительная. Мы еще и не думали приступать къ его ученію, а ужъ онъ очень порядочно болтаетъ по-французски и знаетъ наизусть нѣсколько французскихъ басенъ. Его старшая сестра выучила... Ну, Петя, скажи-ка гостю басенку, какую ты знаешь.

Петя, безъ запинки, картавя, проговорилъ:

— La Cigale et la Fourmi...

Отецъ слушалъ его со слезами на глазахъ.

— Ну, моя умница, сказалъ онъ, обнявъ Петю и поцѣловавъ его:—поди теперь, скажи маменькѣ, что къ намъ пришелъ гость сосѣдъ... слышишь? такъ скажи, что сосѣдъ.

Петя убѣжалъ, а старикъ ввелъ меня въ гостиную, гдѣ, между прочимъ, стояли рояль и этажерка съ нотами.

— Старшая дочь моя, Лиза, сказалъ онъ мнѣ, указывая на ноты:—большая музыкантша и голосокъ у нея преизрядный: она очень мило поетъ. Онъ напоминаетъ нѣсколько голосъ ея матери. Та была большая пѣвица въ свое время. Она ѣздила въ Италію съ семействомъ князя Кириллы Александрыча. Она, видите ли, и воспитывалась въ его семействѣ. Покойница княгиня Анна Александровна любила ее, какъ родную сестру... Присядьте, сдѣлайте одолженіе... Не прикажете ли сигарочку? У меня сигарки хорошія...

Я было сталъ отговариваться, говоря, что зашелъ на минутку, что у меня есть кое-какое дѣло дома; но старикъ заставилъ меня закурить сигару почти насильно, безпрестанно прибавляя:

— Пожалуйста, не церемоньтесь! Что за церемонія на дачѣ!

И потомъ спрашивалъ:

— Ну, какъ вамъ нравится?... Неправда ли, очень недурныя сигары? Я, знаете, беру ихъ постоянно, вотъ ужъ пять лѣтъ, у Жукова. Онъ мой старинный знакомый, человѣкъ, достойный уваженія... Прежде я курилъ трубку; но съ нею

много возни, а сигары всегда съ собою въ карманѣ и мѣста мало занимаютъ: захочется, тотчасъ вынулъ и закурилъ.

Сигара была прескверная. Я только изъ вѣжливости не бросилъ ея и, куря насильно, еще долженъ былъ подхваливать.

Вскорѣ явилась супруга старичка, женщина на видъ лѣтъ тридцати-пяти; она, вѣроятно, въ свое время была не дурна: это можно было замѣтить, несмотря на то, что она заплыла жиромъ. На ея лицѣ съ двумя подбородками трудно было, впрочемъ, что нибудь прочесть, кромѣ доброты. Въ ея манерахъ была какая-то безпечность, а въ разговорѣ — разсѣянность, которая совсѣмъ не шла къ ея массивной фигурѣ.

Видно было, что она довольна своимъ положеніемъ и что никакая серьёзная мысль никогда не тревожила ее. Она приняла меня съ большимъ радушіемъ.

— Скажите, вы должны страшно скучать одни? спросила она меня, съ перваго слова.

Я отвѣчалъ, что не скучаю, что у меня есть занятіе, что мнѣ иногда даже весело одному.

— Ну, воля ваша, это ненатурально. Нельзя же цѣлый день все заниматься!... Мы будемъ васъ развлекать. Пожалуйста заходите къ намъ почаще... и обѣдайте у насъ всякую пятницу... дайте мнѣ слово.

— Хорошо-съ, отвѣчалъ я, чтобъ отдѣлаться.

— Смотрите же, безъ отговорокъ, а не то я сама буду за вами приходить. (Она засмѣялась.) Ну-съ... а послѣ-завтра мы и кое-кто изъ нашихъ знакомыхъ отправляемся на цѣлый день въ «Осиновую рощу»: тамъ будемъ гулять, обѣдать, вечеромъ устроимъ маленькіе танцы... вы танцуете?

— Нѣтъ-съ.

— Отчего же?

— Да я неловокъ и слишкомъ старъ для танцевъ.

— Какіе пустяки! Я старѣе васъ и видите, какая толстая, а иногда еще, право, танцую съ удовольствіемъ. Отчего жъ вамъ не танцовать?

Въ это минуту вошла старшая дочка, похожая лицомъ на мать, съ нѣсколько натянутымъ выраженіемъ и съ англійскою книжкою въ рукѣ. Она холодно наклонила голову на мой поклонъ, подошла къ этажеркѣ и начала перебирать ноты. За нею вошли и вбѣжали остальные члены семейства—

дѣвицы, дѣвочки и мальчики. Всѣ они поочереди были представлены мнѣ. За ними явилась гувернантка.

Я началъ было раскланиваться, но супруга старичка сказала:

— Куда это вы спѣшите? Пойдемте гулять съ нами.

— Вотъ и прекрасно! замѣтилъ старичокъ, потирая руки:—передъ обѣдомъ прогулка необходима.

Я было замялся, но старичокъ потрепалъ меня по плечу и вскрикнулъ:

— Да полноте церемониться! Какъ вамъ не стыдно! Не дичитесь насъ: видите, мы люди безъ претензій и откровенные. У насъ что на умѣ, то и на языкѣ.

Дѣлать было нечего. Я долженъ былъ слѣдовать за семействомъ, которое направилось сперва къ могилѣ графа Полье, а потомъ къ большому дому. Я шелъ съ матерью впереди.

— Счастливцы эти богатые! сказала она, остановясь на минуту передъ домомъ и обдуваясь зонтикомъ:—я имъ, право, завидую: для нихъ всякій день праздникъ. Наша жизнь такая однообразная и скучная. Все одно и то же.

Разговоръ продолжался на эту тему. Старичокъ возражалъ женѣ: «Отчего же скучно? Мы гуляемъ, катаемся, устроиваемъ пикники и время идетъ незамѣтно.» — «Ну, что эти катанья и гулянья? возразила она: — все это одно и то же; мнѣ бы хотѣлось куда нибудь дальше, за границу.» — «Ну дастъ Богъ, душенька, устроимъ дѣтей и за границу съѣздимъ...»—По возвращеніи съ прогулки, старичокъ обратился ко мнѣ.

— Сдѣлайте намъ честь откушать съ нами, сказалъ онъ съ необыкновенною мягкостію и чувствомъ.

Я согласился.

Обѣдъ былъ плохъ и масло несвѣжее. Старичокъ сидѣлъ возлѣ меня и все подчивалъ. Я долженъ былъ ѣсть поневолѣ. Послѣ обѣда у меня обнаружилась изжога. Едва мы вышли изъ-за стола, какъ явились два гостя, жившіе на дачахъ по сосѣдству. Одного изъ нихъ какъ теперь вижу передъ собою. Это былъ (какъ я узналъ послѣ) довольно богатый негоціантъ-нѣмецъ, сѣденькій, небольшаго роста, съ изящными манерами, говорившій вяло, какъ будто пережевывая слова, все по-французски (плохо, но съ претензіей корчить француза)

и нюхавшій табакъ изъ своей золотой табакерки съ особенными пріемами. Онъ во время разговора вынималъ изъ кармана табакерку и сначала потряхивалъ ее съ боку двумя пальцами, потомъ медленно открывалъ крышку, опускалъ глаза на табакъ, нѣсколько минутъ мялъ его двумя пальцами и, размявъ осторожно, съ особенною граціею подносилъ щепотку къ носу, не вбивая табакъ въ носъ, а только съ нѣжностью вдыхая въ себя его ароматъ. Нѣмецъ этотъ имѣлъ частыя сношенія по домашнимъ дѣламъ съ важнымъ княземъ Б* и съ нѣжнымъ графомъ С* и перенялъ важныя манеры князя, смягчивъ ихъ нѣжностью графа, у котораго онъ заимствовалъ способъ нюханья. Весь разговоръ его обыкновенно ограничивался разсказами о томъ, какъ онъ обѣдалъ у князя Александра Васильича или у графа Петра Иваныча, о томъ, чей поваръ тоньше, и какая прекрасная дама — графиня Софья Ивановна.

— At! mais s'est une femme, говорилъ онъ, обыкновенно растирая свой табакъ и какъ-то поводя голову на сторону по методѣ князя Б*: — une femme comme il y en a peu... charmante! moi... voyez-vous... moi je la connais depuis l'âge de sept ans. Я на рукахъ носилъ ее... на рукахъ, малютку этакую... Ну, а теперь... нѣмецъ при этомъ недносилъ щепотку къ носу и лукаво улыбался... теперь ее не поднимешь... Ravissante! Une beauté, dans toute la force du mot! и любимица Государыни, прибавлялъ онъ въ заключеніе, значительно прищуривъ глаза.

Нѣмецъ этотъ былъ глупъ и несносенъ несказанно и, притомъ, чертовски счастливъ въ картахъ. Старичокъ питалъ къ нему величайшее уваженіе.

Другой гость былъ такъ, ни рыба, ни мясо, какой-то безмолвный и безцвѣтный.

Старичокъ подошелъ ко мнѣ и взглянулъ на меня съ умильной улыбкой.

— Позвольте, сказалъ онъ: — предложить вамъ нескромный вопросецъ: вы играете въ ералашъ?

У меня сорвалось съ языка: «иногда». Старичокъ просіялъ.

— Вотъ и прекрасно, возразилъ онъ: — мы вчетверомъ можемъ составить партійку, по маленькой, отъ скуки, такъ, знаете, для препровожденія времени.

Черезъ минуту я очутился за зеленымъ столомъ и возвратился домой утомленный пустотою дня, съ испорченнымъ желудкомъ и, въ добавокъ, еще безъ двадцати рублей, которые я проигралъ нѣмцу, корчившему аристократовъ.

На слѣдующій день мои добрые сосѣди оставили меня въ покоѣ, потому что, какъ я узналъ послѣ, они цѣлый день провели у кого-то на именинахъ.

Черезъ день, рано утромъ, когда я еще умывался, вбѣжалъ ко мнѣ мальчикъ, котораго я не узналъ съ перваго взгляда. Это былъ десятилѣтній сынъ старичка.

— Маменька и папенька, сказалъ онъ мнѣ, расшаркиваясь: — приказали вамъ кланяться и напомнить, что они сегодня ѣдутъ въ «Осиновую рощу» и ожидаютъ васъ къ себѣ въ половинѣ одиннадцатаго. Они сказали, что безъ васъ не поѣдутъ.

Я совсѣмъ было и забылъ объ «Осиновой рощѣ» и о своемъ обѣщаніи ѣхать туда съ ними. Дѣлать было, однако, нечего, и хотя внутренно я посылалъ къ чорту моихъ добрыхъ сосѣдей, но, пріятно улыбаясь, отвѣчалъ:

— Благодарите, душенька, маменьку и папеньку и скажите, что я сейчасъ прійду.

Мальчикъ убѣжалъ. «Еще погибшій день — думалъ я — ну, это послѣдняя жертва, которую я приношу слабости моего характера и неумѣнью отдѣлываться отъ навязчивыхъ людей.»

Утро было пасмурное.

«Хоть бы дождикъ пошелъ, хоть бы занемогъ кто нибудь изъ нихъ», разсуждалъ я самъ съ собою.

Въ половинѣ одиннадцатаго я явился къ моимъ добрымъ сосѣдямъ. Мужъ, жена и даже дѣти встрѣтили меня, какъ будто стариннаго друга дома, а Авдотья Петровна (супруга старичка) представила меня всѣмъ мужчинамъ и дамамъ, которые должны были участвовать въ поѣздкѣ.

Этого ужаснаго дня я никогда въ жизни не забуду... Нѣмецъ, корчившій аристократовъ, приставалъ ко мнѣ съ своимъ графомъ Петромъ Иванычемъ и съ своей графиней Софьей Ивановной; какая-то толстая барыня съ мелкими пукляшками, желавшая нравиться и страдавшая отъ одышки, передавала мнѣ свои патріотическія чувства, ненависть къ англичанамъ и восторгъ отъ ополченной формы.

— Неправда ли, восклицала она: — что можетъ быть лучше настоящаго, національнаго костюма? Я нахожу, что всякій русскій въ этомъ костюмѣ выигрываетъ? Какъ вы полагаете?

Я, разумѣется, согласился.

Какой-то статскій генералъ въ сюртукѣ и съ крестомъ на шеѣ, съ усиліемъ державшійся на высотѣ своего чина, разсказывалъ мнѣ, какую прекрасную игру онъ проигралъ недавно по милости какого-то Евграфа Васильича.

— Вообразите, говорилъ онъ: — у меня были отъ туза всѣ старшія черви до девятки, за исключеніемъ короля... у него король съ маленькой и тузъ трефъ самъ-четвертъ, остальная пустая масть... При этомъ у меня всѣ пріемные листы и прочее.

И при этомъ генералъ, начавъ свою рѣчь довольно благосклонно, вдругъ, какъ бы опомнясь, что онъ заговорилъ съ человѣкомъ неизвѣстнаго ему чина слишкомъ запросто, пришелъ въ безпокойство, возвысилъ голосъ, поднялъ голову и, нюхая табакъ, началъ осматривать меня довольно нагло. Авдотья Петровна приставала ко мнѣ съ танцами, подсадила меня къ какой-то прескучной барышнѣ и заставляла меня любезничать съ нею. Ко всему этому неизвѣстный мнѣ господинъ съ крошечными усами и съ отекшей фигурой, должно быть отставной кавалеристъ, разсказывалъ мнѣ о какой-то тройкѣ, которою онъ надулъ барышника, и хохоталъ при этомъ во все горло, дергая меня за сюртукъ и крича надъ самымъ моимъ ухомъ: «Надулъ барышника! а? какъ вы полагаете, это недурно!...» А старичокъ безпрестанно подходилъ ко мнѣ и говорилъ: «Неправда ли, какъ весело? Что можетъ быть пріятнѣе провести время этакъ, запросто, безъ церемоніи, въ своей компаніи?... Сегодняшній денекъ намъ очень удался. Неправда ли?»

Въ заключеніе, на возвратномъ пути, я еще долженъ былъ изъ вѣжливости уступить свое мѣсто въ коляскѣ какой-то барышнѣ, разливавшей чай и которая Богъ знаетъ откуда вдругъ появилась къ вечеру, и сѣсть на козлы. На полдорогѣ насъ захватилъ проливной дождь, и я возвратился домой промокшій до костей. Недѣлю послѣ этого удовольствія я пролежалъ въ постели; но мои добрые сосѣди и тутъ не оставляли меня въ покоѣ. Они прислали мнѣ своего доктора, кур-

носаго и противнаго господина, гнусливаго и наглаго, который взялъ у меня почти насильно очень нужную мнѣ, довольно рѣдкую и дорогую книгу и зачиталъ ее. Когда я почувствовалъ себя легче и могъ сидѣть и заниматься на своей галлереѣ, мальчишки — дѣти моего сосѣда, разъ десять въ утро прибѣгали ко мнѣ отъ своихъ родителей, надоѣдая однимъ и тѣмъ же вопросомъ: «маменька и папенька приказали спросить, какъ вы себя чувствуете?» Старичокъ затѣялъ съ своею супругою прогулки мимо моей дачи, и они всякій разъ останавливались у калитки моего палисадника.

— Не раненько ли вы, сосѣдъ, вышли на свою галлерею? говорилъ онъ своимъ мягкимъ голосомъ, съ выраженіемъ участія. — Право, кажется, раненько. Въ воздухѣ есть какая-то рѣзкость. Или: — что вы будете дѣлать вечеркомъ? Не прійти ли немножко развлечь васъ? Скажите откровенно. Я очень радъ. Я приведу къ вамъ Карла Иваныча (нѣмца, корчившаго аристократовъ), и мы втроемъ сыграемъ партійку въ преферансъ. Прійти, что ли?...

Авдотья Петровна за меня отвѣчала: «И прекрасно! разумѣется, приходи. *Имъ* скучно.» Однажды я какъ-то проговорился, что люблю музыку, и съ тѣхъ поръ старичокъ при моемъ появленіи заставлялъ свою старшую дочь, Лизу, всякій разъ пѣть что нибудь. Лиза постоянно отнѣкивалась, но потомъ, убѣжденная отцомъ, который говорилъ, указывая на меня: «сдѣлай же *имъ* удовольствіе: *они* любятъ музыку», садилась за фортепьяно и фальшиво затягивала итальянскія аріи. Радушіе и гостепріимство моихъ сосѣдей становились наконецъ невыносимы: ихъ музыка раздирала мои уши, ихъ обѣды совсѣмъ разстроили мой желудокъ, ихъ безпрестанныя поѣздки и пикники отъ скуки, въ которыхъ они насильно заставляли участвовать, отнимали у меня время; ихъ знакомые объигрывали меня въ карты; ихъ дѣти завели у меня игры на галлереѣ. Моя дача въ половинѣ лѣта мнѣ опротивѣла. Къ счастію, въ это время пріѣхалъ ко мнѣ погостить одинъ изъ моихъ знакомыхъ. Имъ я вздумалъ было отговариваться отъ обѣдовъ и различныхъ приглашеній; но старичокъ перебилъ меня.

— Да помилуйте, говорилъ онъ: — что же такое? Милости прошу къ намъ вмѣстѣ съ вашимъ пріятелемъ. Мы очень

рады. По дачному, запросто. Я надѣюсь, что онъ сдѣлаетъ намъ честь пожаловать къ намъ. Я самъ прійду его просить.

Но пріятель мой былъ человѣкъ съ характеромъ: никакія увѣщанія и просьбы старичка не поколебали его, и я подъ его защитою почти цѣлую недѣлю провелъ спокойно.

На другой день послѣ его отъѣзда снова начались мои пытки. Я встрѣтилъ старичка въ паркѣ.

— Ну, что, вы проводили вашего пріятеля? спросилъ онъ меня нѣсколько ироническимъ и оскорбленнымъ голосомъ.

— Онъ уѣхалъ, отвѣчалъ я лаконически.

— Онъ, повидимому, мизантропъ, философъ?

— Да, онъ человѣкъ серьёзный.

— Нелюдимъ, кажется? возразилъ старичокъ: — ну, я надѣюсь, что теперь мы снова будемъ пользоваться вашимъ пріятнымъ обществомъ? Сегодня пятница: я надѣюсь, вы кушаете у насъ?

— Постараюсь, отвѣчалъ я.

— Къ чему постараюсь? Отчего же не навѣрное? перебилъ старичокъ. — Ужъ какъ вы себѣ хотите, а мы безъ васъ не сядемъ за столъ: въ компаніи, повѣрьте, какъ-то слаще кусокъ.

«Каковъ кусокъ, въ какой компаніи и въ какомъ маслѣ изжаренъ!» подумалъ я. Чтобы отвязаться отъ старичка, я обѣщалъ прійти, но убѣдительно просилъ, чтобы меня не ждали.

Внутренно я рѣшился не ходить, распорядился пораньше отобѣдать и тотчасъ послѣ обѣда идти гулять куда нибудь подальше. Вечера дѣлались короче. Листъ съ деревьевъ начиналъ падать, и попахивало осенью. Утро было довольно холодное. Я легъ на диванъ на моей галлереѣ, закрылся платкомъ и взялъ книгу. Я начиналъ постепенно согрѣваться, мнѣ было хорошо и не хотѣлось пошевельнуться. Я пролежалъ такъ часа два и пролежалъ бы еще дольше, если бы тоненькій голосокъ «маменька и папенька приказали сказать вамъ, что они ожидаютъ васъ, всѣ гости съѣхались и столъ накрытъ...» не заставилъ меня вздрогнуть и вскочить съ дивана.

— Скажите, миленькій, сказалъ я злобно, глядя на мальчика: — вашему папенькѣ и маменькѣ, что я чувствую себя

не совсѣмъ здоровымъ и очень сожалѣю, что никакъ не могу прійти обѣдать.

Послѣ этого я дня четыре не былъ у моихъ сосѣдей. Старичокъ и дѣти также не заглядывали ко мнѣ. На пятый день я зашелъ къ нимъ на минуту изъ приличія. Старичокъ встрѣтилъ меня привѣтливо, но нѣсколько сухо. Въ тонѣ всего семейства невольно проглядывали какая-то неловкость и холодность.

— Что, вы все погружены въ ваши занятія? сказала мнѣ съ улыбкою Авдотья Петровна, съ удареніемъ на слово погружены.

— Нѣтъ-съ, я не очень здоровъ.

— Ужъ лучше признайтесь, что у насъ вамъ скучно, пристала она: — вы насъ не любите? вамъ не нравится наше общество?

Я сидѣлъ какъ на иголкахъ и глупо бормоталъ: «Помилуйте... напротивъ...» Рѣчь зашла о развлеченіяхъ, и Авдотья Петровна заговорила о своей страсти къ перемѣнѣ мѣстъ.

— Отчего же вы не съѣздите къ себѣ въ деревню? спросилъ я.

— Куда? спросила она разсѣянно.

— Въ деревню, повторилъ я.

— Покорно васъ благодарю, отвѣчала она, засмѣявшись: — что мы будемъ дѣлать въ глуши? Тамъ лица человѣческаго не увидишь; тамъ можно съума сойти...

Она улыбнулась и посмотрѣла на меня съ недоумѣніемъ.

— А вы развѣ любите деревню?

— Очень.

— Неужто? Что жъ тутъ любить-то? кучи грязной соломы, навозъ, гнилушки, вросшія въ землю, лужи, стада барановъ и коровъ и перепачканыхъ дѣтей съ бѣлыми волосами? Если бы еще у насъ въ деревнѣ былъ домъ, порядочно меблированный, садъ, хорошіе сосѣди...

Она не докончила, а я не возражалъ.

Я узналъ впослѣдствіи, что у этихъ истинно добрыхъ людей, безпрестанно развлекающихъ себя, чтобы чѣмъ нибудь наполнить свою пустоту, имѣніе заложено и перезаложено, крестьяне раззорены и ходятъ по міру, и что они живутъ надеждою получить въ наслѣдство еще нѣсколько сотъ душъ

отъ одного близкаго родственника; что, несмотря на свои разстроенныя дѣла, они даютъ совершенно барское воспитаніе своимъ дѣтямъ, то есть приготовляютъ пустыхъ и праздныхъ людей, натрубивъ имъ въ уши съ малолѣтства, что имъ отъ дяди достанется большое и чистое имѣніе, и что у нихъ будетъ всегда вѣрный кусокъ хлѣба: одного изъ нихъ назначаютъ въ дипломаты, другаго въ гусары, третьяго въ уланы, и т. д.

Поѣздки и развлеченія моихъ дачныхъ сосѣдей продолжались; но я уже рѣшительно отказался отъ нихъ. Послѣднее время пребыванія моего на дачѣ я видѣлся съ ними не болѣе, какъ разъ въ недѣлю, а потомъ и еще рѣже, и чувствовалъ, что съ каждымъ свиданіемъ холодность ихъ ко мнѣ возрастала. Они наконецъ почти совсѣмъ перестали меня тревожить.

Послѣднее мое свиданіе съ добрымъ семействомъ, наканунѣ переѣзда моего съ дачи, было уже неловко для меня и для нихъ. Искренность и добродушіе старичка замѣнились оффиціальною привѣтливостью и утонченною вѣжливостью. Все семейство, не исключая и трехлѣтняго сынка, какъ будто сердилось на меня. «За что же? спрашивалъ я самъ себя. — Кто изъ насъ болѣе въ правѣ сердиться: они ли на меня, или я на нихъ?... Я, на сколько могъ и на сколько умѣлъ, по слабости своего характера, доставлялъ имъ собою развлеченіе; я не мѣшалъ имъ, не отрывалъ ихъ отъ ихъ забавъ, а они ежеминутно терзали меня и заставили провести праздно и глупѣйшимъ образомъ болѣе двухъ съ половиною мѣсяцевъ!...»

Они просили меня о продолженіи и въ городѣ знакомства; но эта просьба звучала не болѣе, какъ вѣжливой фразой.

Я узналъ недавно отзывы обо мнѣ старичка и его супруги. Ихъ сообщилъ мнѣ, смѣясь, одинъ общій нашъ знакомый. Почему-то рѣчь зашла обо мнѣ.

— Онъ прекрасный человѣкъ, сказалъ про меня старичокъ: — безъ всякаго сомнѣнія, прекрасный, умный, образованный, но, я вамъ скажу, большой чудакъ и, если я не ошибаюсь, имѣетъ наклонность къ ипохондріи... Онъ любитъ быть больше одинъ, бродитъ все по уединеннымъ мѣстамъ, какъ будто боится встрѣчать людей, дичится общества... Мы, знаете, искренно полюбили его, принимали его, какъ роднаго, желали доставить ему развлеченіе... Намъ, право, было какъ-то

жалко, что онъ одинъ-одинехонекъ; но онъ все удалялся отъ насъ. Что дѣлать... Мы ему видно не понравились. Насильно милъ не будешь.

— А знаете ли, что, замѣтила Авдотья Петровна:—мнѣ кажется, эта страсть въ немъ къ одиночеству и уединенію—начало болѣзни. Вѣдь ипохондрія болѣзнь, и очень серьёзная. Ему бы нешутя надо посовѣтоваться съ врачами... Она можетъ кончитьея сумасшествіемъ.

Эти добрые и гостепріимные люди дѣйствительно и искренно сожалѣли обо мнѣ.

XIII. ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ.

«Сытый голоднаго не разумѣетъ» — прекрасная и очень умная пословица. Справедливость ея подтверждается въ жизни на каждомъ шагу. Я недавно думалъ объ этомъ, возвращаясь изъ Галерной гавани...

— Что такое это Галерная гавань? быть можетъ, спроситъ меня не только иногородный, даже петербургскій читатель.

Вы желаете знать, что такое Галерная гавань? Неужели вы никогда не слыхали этого имени,—вы, петербургскій житель? Галерная гавань—частичка громаднаго и великолѣпнаго города, въ которомъ вы живете и наслаждаетесь, далеко у взморья, на самомъ концѣ Васильевскаго острова, по сосѣдству со Смоленскимъ кладбищемъ; ненадежный пріютъ самаго бѣднаго петербургскаго народонаселенія, о существованіи котораго вы только подозрѣваете—того народонаселенія, которое замираетъ отъ страха при малѣйшемъ возвышеніи воды и рискуетъ быть потопленнымъ всякій разъ, когда въ сѣрый осенній день воетъ вѣтеръ, раздается зловѣщій звукъ пушекъ, днемъ развѣваются флаги на Адмиралтейской башнѣ, а ночью зажигаются роковые фонари. Вы, живущіе въ лучшей и возвышенной части Петербурга, окруженные всѣми прихотями той утонченной цивилизаціи, которая съ каждымъ днемъ развиваетъ для васъ неслыханныя удобства и роскошь, мало заботитесь объ этихъ фонаряхъ и флагахъ на Адмиралтействѣ и только при звукѣ пушекъ спрашиваете съ любопытствомъ:

— Что это такое? отчего это пальба?

— Вода поднялась выше колецъ въ каналахъ, отвѣчаютъ вамъ.

— А! равнодушно восклицаете вы, въ ту минуту, когда несчастные обитатели Галерной гавани уже перебираются, дрожа отъ холода, при крикѣ и визгѣ дѣтей, на свои чердаки....

Вотъ что такое Галерная гавань.

Не все же намъ разъѣзжать съ вами, любезный читатель, по торцовой мостовой Невскаго проспекта и Большой Морской; гулять по Дворцовой набережной; сидѣть въ креслахъ или ложахъ блестящихъ театральныхъ залъ; любоваться хорошенькими личиками и изящными туалетами; не все же намъ собирать анекдоты изъ жизни петербургскихъ камелій; рыскать по магазинамъ; толковать о томъ, что такой-то изъ нашихъ пріятелей получилъ такое-то мѣсто, а другой, котораго мы даже не имѣемъ чести знать, такой-то чинъ, крестъ, такое-то званіе, такую-то награду или такое-то повышеніе; завидовать всѣмъ этимъ лицамъ втайнѣ и злословить ихъ въ явѣ; подробно описывать балы, на которыхъ мы съ вами приглашены не были; подмѣчать смѣшныя стороны разныхъ господъ и госпожъ, прогуливающихся по Невскому проспекту....

Петербургъ — не на одномъ Невскомъ проспектѣ. Морскихъ и набережныхъ. И Галерная гавань — Петербургъ, и тамъ живутъ люди, къ тому же, люди, о которыхъ мы не имѣемъ почти никакого понятія, о которыхъ намъ почти ни кто не говоритъ и съ которыми я хочу слегка познакомить васъ....

Итакъ, читатель, обратимся къ Галерной гавани. Теперь же это кстати: осень, сѣрое небо, мелкій дождь, вѣтеръ, и вода, кажется, прибываетъ....

Мы отправимся по Большому проспекту Васильевскаго острова. Васильевскій островъ—это особый городъ въ городѣ, не похожій на остальной Петербургъ. Онъ весь въ зелени, въ садахъ и въ бульварахъ, какъ Москва. Аристократическая часть Васильевскаго острова—это его великолѣпная набережная, и такъ называемая Первая линія—его Невскій проспектъ. На одномъ концѣ его - Биржа съ своимъ великолѣпнымъ портикомъ и монументальными маяками; на другомъ—Галерная гавань съ своими полусгнившими и покрытыми мохомъ и плѣсенью домишками; на одномъ концѣ—счастливцы, кушающіе

устрицы въ биржевыхъ лавкахъ и запивающіе ихъ шампанскимъ; на другомъ—люди, не имѣющіе, можетъ быть, и насущнаго хлѣба — контрастъ, къ которому всѣ мы, впрочемъ, приглядѣлись и который безпрестанно встрѣчается въ жизни не на одномъ Васильевскомъ островѣ. Негоціанты, моряки, кадетскіе офицеры, художники, ученые и самый бѣдный классъ мелкаго петербургскаго чиновничества составляютъ главное народонаселеніе Васильевскаго острова. Здѣсь, на его хазовомъ концѣ, вы встрѣчаете толпы студентовъ, возвращающихся съ лекцій; биржевыхъ диктаторовъ, подкатывающихъ къ Биржѣ на рысакахъ, моряковъ съ георгіевскими ленточками на черномъ пальто; профессоровъ въ синихъ вицъ-мундирахъ или сюртукахъ, въ очкахъ и безъ очковъ; въ нѣсколько фантастическомъ нарядѣ: въ какомъ нибудь плащѣ, перекинутомъ за плечо, въ сѣрой шляпѣ съ большими полями, съ волосами до плечь, съ различными бородками и съ портфелями въ рукахъ и подъ мышками — молодыхъ художниковъ, которые всѣ немножко любятъ корчить Вандиковъ и Рафаэлей.

Коренные жители Васильевскаго острова, всѣ, и мужчины и женщины, за исключеніемъ разныхъ биржевыхъ тузовъ (по крайней мѣрѣ, мнѣ такъ кажется), имѣютъ характеръ болѣе скромный сравнительно съ жителями петербургскаго материка; въ ихъ походкѣ, взглядѣ, одеждѣ нѣтъ того мелочнаго и заносчиваго тщеславія, которое встрѣчаешь и пѣшкомъ, и верхомъ, и въ экипажахъ на Морскихъ, на Невскомъ проспектѣ и на великолѣпныхъ набережныхъ здѣшней стороны. Какимъ-то миромъ и спокойствіемъ охватываетъ васъ, когда вы углубитесь въ линіи Васильевскаго острова, подальше отъ Биржи и Первой линіи. Глядя на эти небольшіе, красивые и чистенькіе деревянные домики съ садами или на эти каменные дома, отдѣланные съ англійскою прочностью, тщательностью, красотою и комфортомъ, съ мѣдными дощечками на дверяхъ, блестящими, какъ золото, — вы невольно полагаете, что въ нихъ обитаютъ самый строгій порядокъ, самая благоразумная разсчетливость; что здѣсь не бросаютъ безумно денегъ, какъ у насъ въ Морской или на Невскомъ; не живутъ на *авось* и не ставятъ послѣдней копѣйки ребромъ, чтобы только пустить въ глаза пыль своему ближнему. Эти дома и домики принадлежатъ по большей части иностранцамъ,—людямъ, помаленьку

скопившимъ себѣ капиталы трудомъ, знающимъ цѣну деньгамъ, на которыя мы, не знающіе, что такое трудъ, и имѣющіе по нѣскольку сотъ и тысячъ душъ, выпадающихъ намъ на долю по наслѣдству, смотримъ съ небреженіемъ. Городъ на Васильевскомъ островѣ имѣетъ, можетъ быть, поэтому что-то свое, особенное, не петербургское; по скромности и наружному порядку онъ напоминаетъ нѣсколько нѣмецкіе города. Здѣсь нѣтъ той славянской размашистости въ жизни, которая поражаетъ вездѣ по другой сторонѣ Невы, на материкѣ, за монументальнымъ Николаевскимъ мостомъ....

Загляните хоть изъ любопытства, или для повѣрки моихъ замѣчаній въ трактиръ г. *Гейде*. Это заведеніе не имѣетъ ничего общаго ни съ баснословно дорогими ресторанами Дюссо, Донона и Бореля, гдѣ ухаживаютъ только за лицами извѣстными, кушающими по картѣ, т. е. платящими за обѣдъ не менѣе шести рублей серебромъ; ни съ русскими трактирами, которые болѣе радушно угощаютъ васъ скверным масломъ, поддѣльнымъ шампанскимъ и разстроеннымъ органомъ. Заведеніе г. Гейде переноситъ васъ совершенно въ Германію, въ средней руки трактиры въ нѣмецкомъ городѣ: здѣсь умѣренный, очень порядочный table-d'hôte отъ 2 до 6 часовъ, по 60 коп., два бильярда, кости и пиво. Это нѣмецкій клубъ, пропитанный табачнымъ запахомъ, всегда полный своими обычными посѣтителями, которые молчаливо и глубокомысленно пощелкиваютъ бильярдными шарами или костями, покуривая свои сигары и попивая свое пиво... Ни одинъ изъ посѣтителей ресторана Гейде — можно пари держать — не издержитъ болѣе полутора рубля, хотя бы онъ просидѣлъ до полуночи; ни одному изъ этихъ господъ не придетъ въ голову закричать: «шампанскаго!» и пить безъ всякаго удовольствія теплое и подозрительное вино, только для того, чтобы озадачить неизвѣстнаго господина, сидящаго напротивъ, какъ это иногда дѣлается у Дюссо и у Палкина. У Гейде всѣ посѣтители знакомы другъ съ другомъ, и никто не желаетъ озадачивать другъ друга....

Чѣмъ далѣе вы углубляетесь по Большому проспекту отъ Первой линіи, тѣмъ все тише и спокойнѣе становится вокругъ васъ. Вы идете какъ будто большой аллеей сада, потому что домовъ не видать за кустами и деревьями. За 7-й линіей по-

являются уже деревянные мостки вмѣсто плитныхъ тротуаровъ; экипажи все рѣже и рѣже; за 12-й линіей вамъ попадаются только извощичьи дрожки, и то изрѣдка. Здѣсь и пѣшеходовъ-то не много.... Матросъ въ холстинномъ сюртукѣ, замазанномъ дегтемъ, идущій въ Галерную гавань, молодой чиновникъ въ форменномъ пальто съ блестящими пуговицами, въ фуражкѣ съ кокардою и краснымъ околышемъ, очень довольный, повидимому, этой полувоенной формой. Чиновникъ вдругъ останавливается, пораженный, и провожаетъ глазами очень стройную, очень хорошенькую и очень бѣдно одѣтую дѣвушку, которая, не обращая вниманія, спѣшитъ къ художнику, которому служитъ натурщицей. Далѣе за финляндскими казармами, вправо, огромное поле съ лѣсомъ въ глубинѣ, изъ котораго выглядываютъ главы церквей: это Смоленское кладбище. Деревянные мостки съ каждымъ шагомъ вашимъ впередъ становятся безпокойнѣе и опаснѣе; здѣсь они служатъ не удобствомъ, а препятствіемъ для пѣшехода: доски въ иныхъ мѣстахъ вздуло и покоробило, въ другихъ онѣ сгнили и провалились, обнаруживъ небольшую пропасть, покрытую грязною плѣсенью; къ тому же, у каждыхъ воротъ надо прыгать съ этихъ патріархальныхъ тротуаровъ и потомъ карабкаться на нихъ, а у иныхъ домовъ они поднялись больше, чѣмъ на аршинъ. Боясь переломить или вывихнуть себѣ ногу, вы сходите съ нихъ и продолжаете вашъ путь по узенькой тропинкѣ между заборами и палисадниками и этими допотопными тротуарами. Навстрѣчу вамъ почти ужъ никто не попадается, а если и попадается какой нибудь обитатель или обитательница Галерной гавани, то они посмотрятъ на васъ съ такимъ удивленіемъ и недоумѣніемъ, съ какимъ смотрятъ только развѣ на выходцевъ съ того свѣта. Впереди васъ и ужъ очень недалеко полосатое бревно шлагбаума, за шлагбаумомъ взморье и парусъ лодки, а вправо рядъ лачугъ, которыя тянутся къ Смоленскому кладбищу—это-то и есть Галерная гавань, начинающаяся на концѣ Смоленскаго поля, или, вѣрнѣе, болота, и спускающаяся къ мутно-сѣрой водѣ взморья. Вотъ что-то похожее на улицу передъ вами: вы поворачиваете въ нее.... Неужели, въ самомъ дѣлѣ, это улица? Съ двухъ сторонъ рядъ небольшихъ деревянныхъ, полусгнившихъ, одноэтажныхъ домиковъ, передъ которыми торчатъ одни безобразные остовы, на

которыхъ нѣкогда были устроены мостки; а между этими остовами страшная тонь, черная грязь и лужи: дѣйствительно, это улица. Она то вздувается холмомъ, то снова спускается въ яму. Эти холмы покрыты яркою зеленью, которую пощипываютъ двѣ грязныя и тощія козы. Въ черной тонк противъ одного домика, почти по серединѣ улицы, стоитъ невыкрашенная почернѣвшая лодка, на которой, можетъ быть, за нѣсколько дней передъ этимъ плавали ея хозяева по этой улицѣ. Домики по бо̀льшей части въ три окна, много въ пять; они выкрашены были нѣкогда желтой и сѣрой краской, слѣды которой еще видны доселѣ; крыши подернуты зеленымъ или желтымъ сухимъ мохомъ; у иныхъ домиковъ, вмѣсто забора, рогожи, прибитыя къ палкамъ, за которыми, когда рогожи распахнутся отъ вѣтра, выглянутъ двѣ или три гряды капусты. Замѣчательно, что почти всѣ эти домики заклеймены красными такого рода надписями: «сей домъ долженъ быть уничтоженъ въ маѣ 1854 года», а внизу иногда другая надпись: «простоять можетъ до 1860 года», или «сей домъ можетъ простоять до 1850 года» и, несмотря на это, онъ еще кое-какъ стоитъ до сей минуты, сильно, впрочемъ, покачнувшись на бокъ. Эти надписи поражаютъ человѣка, въ первый разъ зашедшаго въ Галерную гавань: тяжело становится, глядя на эту заклейменую нищету, на эту шаткую, ненадежную собственность съ опредѣленнымъ срокомъ для существованія. Но посмотрите повыше: еще страшнѣе этихъ клеймъ ерлыки почти подъ крышами, съ надписью *7 Ноября 1824 года.* Между полусгнившими лачужками, у завалинокъ которыхъ растутъ крапива и грибные наросты, попадаются нерѣдко и новые домики, выкрашенные яркой краской, съ бальзаминами и еранью на окнахъ и съ кисейными занавѣсками, — аристократическіе домики, потому что вездѣ есть аристократы, — даже и въ Галерной гавани. Въ самой серединѣ галерную слободу раздѣляетъ каналъ, черезъ который перекинутъ большой деревянный мостъ. За мостомъ улица нѣсколько пошире и потому посуше. Она сплошь поросла травой и въ иныхъ мѣстахъ загромождена телѣгами, бревнами и досками и кучами хвороста и всякаго сора. Эта главная улица, къ которой сходятся другіе улицы и переулки, выходитъ на болотистый лугъ, покрытый безчисленными кочками, въ концѣ котораго видны, середи

тощихъ и низкихъ кустовъ, скирды сѣна, а у самаго горизонта лѣсъ, примыкающій къ лѣсу Смоленскаго кладбища.... Людей въ этой печальной слободѣ почти не видно: изрѣдка перейдетъ черезъ улицу отъ своего разваливающагося дома къ мелочной лавочкѣ старушонка въ лохмотьяхъ, держа въ изсохшей и морщинистой рукѣ молочникъ съ отбитымъ носкомъ, или, услышавъ шумъ вашихъ шаговъ, высунется изъ окна дѣвушка, цѣлый день не отнимающая головы отъ срочнаго шитья, и съ любопытствомъ и удивленіемъ посмотритъ на васъ и задумается: откуда, какъ и для чего попалъ сюда незнакомый человѣкъ? Тишина на улицѣ нарушается только крикомъ гусей, размахивающихъ крыльями и вылетающихъ изъ канала на берегъ, и мычаніемъ коровы, которая, остановясь у воротъ, глухо мычитъ, просясь домой и виляя своимъ хвостомъ отъ нетерпѣнія. Каналъ, раздѣляющій гавань пополамъ, оканчивается большимъ прудомъ, берега котораго поросли ивовыми кустами, а поверхность покрыта широкими круглыми листьями жолтыхъ болотныхъ кувшинчиковъ. У моста, гдѣ каналъ довольно широкъ, стоитъ большая барка безъ мачтъ, набитая разнымъ тряпьемъ и стружками, въ которыхъ очень усердно копаются старуха и дѣвочка.... Воздухъ въ Галерной гавани пропитанъ болотистымъ, грибнымъ запахомъ и гнилью. Самый бѣдный, отдаленный, грязный городокъ внутри Россіи нельзя сравнить съ этою несчастною слободою, которая еле держится на трясинѣ болота. Глядя на эти домишки и улицы, не вѣришь, что это частичка великолѣпнаго Петербурга, и что гранитная набережная Невы съ ея огромными зданіями только въ трехъ верстахъ отсюда.

Замѣтьте вотъ этотъ домикъ въ два окна пепельнаго цвѣта, съ завалинкой напереди, стоящій нѣсколько повыше другихъ на берегу канала и прислонившійся къ толстой, расщепившейся и полусгнившей ивѣ. Въ немъ (это было давно) жила старушка, вдова чиновника, съ двумя дѣтьми—сыномъ и дочерью.

Я вамъ разскажу вкратцѣ исторію этого семейства, какъ она была мнѣ передана человѣкомъ, принимавшимъ участіе въ этихъ бѣдныхъ людяхъ.

Старушку звали Матреной Васильевной, дочь ея — Татьяной, а сына—Петромъ. Мужъ старушки служилъ въ какомъ-то департаментѣ столоначальникомъ и всякій день изъ Галерной

гавани ходилъ на службу. Онъ родился въ гавани, женился и провелъ въ ней всю жизнь, аккуратно и добросовѣстно исполняя свои служебныя обязанности и раздѣляя всѣ свои интересы между службой и семействомъ. Способности онъ имѣлъ ограниченныя, по натурѣ былъ робокъ, и мѣсто столоначальника, полученное имъ въ 50 лѣтъ, совершенно удовлетворяло его честолюбіе. Начальство было довольно его аккуратностью и усердіемъ и всякій почти годъ давало ему небольшія денежныя награды; товарищи любили его за его честность; жена души въ немъ не слышала. Требованій у нихъ никакихъ не было, и они не жаловались на свою судьбу; даже частыя наводненія ихъ не безпокоили, потому что они привыкли къ нимъ съ дѣтства. Всю прислугу ихъ составляла кухарка, женщина, преданная имъ, служившая еще отцу чиновника, которой сама Матрена Васильевна нерѣдко подмогала. Въ трехъ комнаткахъ и въ кухнѣ, составлявшихъ весь домикъ, были удивительный порядокъ и чистота: нигдѣ ни пылинки и все лоснилось. Матрена Васильевна, всякій разъ послѣ чаю, провожая своего мужа въ должность, сама закутывала его, чистила щоткой его шинель и крестила его, а когда онъ возвращался со службы, встрѣчала его съ такою радостью, какъ будто не видала нѣсколько мѣсяцевъ. Дѣтей оба они любили и баловали немного. Такъ прожили они кротко и тихо болѣе двадцати лѣтъ. Дѣти тѣмъ временемъ подросли; дочь была ужь почти невѣста, а сынъ кончилъ курсъ въ гимназіи, когда старикъ, послѣ наводненія осенью 183* года, провозившись, несмотря на крики и увѣщаніе своей жены, по колѣни въ водѣ нѣсколько часовъ сряду, простудился, слегъ въ постель и умеръ. Отчаяніе Матрены Васильевны было страшно. Съ годъ послѣ смерти его она всякій день, несмотря ни на какую погоду, таскалась на его могилу на Смоленское кладбище, сидя на ней, кивала головой, причитая и восхлипывая и, навѣрно, отправилась бы вслѣдъ за нимъ, если бы ее не поддержала любовь къ дѣтямъ. Своихъ домашнихъ обязанностей она, однако, не забывала; несмотря на свое горе, цѣлый день хлопотала и возилась и когда дочь говорила ей: «что это, маменька, вы все сами... позвольте, я...» — она перебивала ее: «нѣтъ, сиди, матушка, за своимъ шитьемъ, это не твое дѣло. Ты и такъ замучилась.» — Послѣ смерти мужа старушка

поневолѣ взошла въ долги, потому что однимъ пенсіономъ ей и одной нельзя было прокормиться. Дочь, впрочемъ, немного поддерживала ее своимъ рукодѣльемъ.

Таня была высокая, стройная и хорошенькая бѣлокурая дѣвушка. Она съ дѣтства показывала твердый и рѣшительный характеръ, который можно было впослѣдствіи особенно замѣтить въ ея взглядѣ и въ умномъ, нѣсколько грустномъ выраженіи ея глубокихъ, сѣрыхъ глазъ. У нея рано обнаружились ничѣмъ необъяснимыя антипатіи и симпатіи къ людямъ. На четвертомъ году своего возраста она привела въ совершенный ужасъ своихъ родителей, назвавъ одного изъ самыхъ рѣдкихъ и почетныхъ ихъ гостей, господина, въ чинѣ статскаго совѣтника и съ крестомъ на шеѣ, въ глаза «противнымъ и гадкимъ» (что, впрочемъ, дѣйствительно, было справедливо) и убѣжала отъ него съ визгомъ въ ту минуту, когда онъ хотѣлъ удостоить ее своею ласкою и протянулъ уже свою руку, чтобы потрепать ее по щекѣ; а за два года до этого непріятнаго событія, когда еще ее носили на рукахъ, она, улыбаясь, протянула рученки приласкавшему ее старику, отставному матросу-конопатчику въ бѣлой, замасленной дегтемъ курткѣ, изъ кармановъ которой торчала пакля, и сейчасъ съ видимымъ удовольствіемъ пошла къ нему на руки. Припоминая эти обстоятельства, ихъ сосѣдка-чиновница, имѣвшая слабость молодиться, румяниться и закатывать глаза подъ лобъ въ разговорѣ съ молодыми людьми и почему-то считавшая Таню своей соперницей, замѣчала о ней съ презрительной гримасой: «Она еще съ дѣтства показывала самыя неблагородныя наклонности. У нея и амбиціи никакой нѣтъ. Хорошаго общества она избѣгаетъ, а съ Тимоѳѣемъ конопатчикомъ по цѣлымъ днямъ разговариваетъ.» И это была правда: Таня очень любила конопатчика Тимоѳѣя, а конопатчикъ Тимоѳѣй, извѣстный всей Галерной гавани своею суровостью и честностью, обнаруживалъ постоянно къ Танѣ необыкновенную и странную въ такомъ человѣкѣ привязанность и нѣжность: когда она была ребенкомъ, онъ строилъ ей корабли и помогалъ ей спускать ихъ на воду, возился съ ребенкомъ во время отдыха отъ своей работы по цѣлымъ часамъ и впослѣдствіи, когда Таня выросла, часто заходилъ ко вдовѣ посмотрѣть на «свою барышню» — такъ онъ называлъ Таню.

Таня рано поняла свое положеніе: лѣтъ съ тринадцати она уже сдѣлалась усердной помощницей своей матери и потомъ не выпускала иголки изъ рукъ, такъ что старушка должна была твердить ей нѣсколько разъ въ день: «Полно, Танюша, перестань, отдохни немножко. Ужъ совсѣмъ смерклось. Что ты это глазыньки-то свои портишь?» Даже по большимъ праздникамъ и по воскресеньямъ послѣ обѣдни, когда ея подруги, въ праздничныхъ, раскрахмаленныхъ кисейныхъ платьяхъ, прогуливались по Смоленскому кладбищу, она возвращалась домой и принималась за свою работу. По ночамъ Таня читала книжки, которыя приносилъ ей братъ; по днемъ никогда никто не видалъ ее за книжкой, и многіе сомнѣвались даже, умѣетъ ли она читать; а нарумяненая чиновница, страстная охотница до романовъ, называла ее рѣшительно безграмотной. Одѣвалась Таня чисто, но гораздо проще своихъ подругъ, и, несмотря на свою любовь къ нарядамъ, отдавала почти всѣ заработываемыя ею деньги матери; иногда только оставляла себѣ бездѣлицу на самыя необходимыя покупки. Далѣе набережной Васильевскаго острова Таня никогда не ходила, и Петербургъ по ту сторону Невы представлялся ей какимъ-то фантастическимъ городомъ, который возбуждалъ въ ней и любопытство, и боязнь. Въ особенности дѣйствовали на ея воображеніе разсказы ея брата о театральныхъ представленіяхъ. Петруша былъ страстный охотникъ до театровъ и непремѣнно въ мѣсяцъ разъ ходилъ въ раекъ, добывая себѣ деньги для этого перепискою.

Матрена Васильевна очень сокрушалась о сынѣ. Его надо было опредѣлить на службу, а онъ все говорилъ: «еще успѣю, маменька», по цѣлымъ днямъ сидѣлъ дома все за какими-то книжками или рыскалъ Богъ знаетъ гдѣ и возвращался домой поздно, не заботясь о томъ, что мать и сестра не смыкали глазъ до его возвращенія.

— Бога ты не боишься, говорила ему старушка: — вѣдь здѣсь долго ли до грѣха... здѣсь пустырь такой... тебя могутъ ограбить и убить. Развѣ не слыхалъ, что на прошедшей недѣлѣ нашли на Смоленскомъ кладбищѣ мертвое тѣло?

Петруша обнималъ и цѣловалъ мать, смѣялся и говорилъ: «Что у меня взять-то, маменька? какой дуракъ станетъ на меня нападать?» и въ заключеніе успокоивалъ встревоженную

мать клятвами, что впередъ никогда не будетъ возвращаться такъ поздно. Однако, слово свое Петрушка не всегда держалъ. Кромѣ вспыльчивости и безпечности, извинительной, впрочемъ, въ восемьнадцать лѣтъ, онъ никакихъ дурныхъ наклонностей не обнаруживалъ...

Однажды, рано утромъ, старушка, надѣвъ свое парадное платье, которое было подарено ей ея мужемъкогда онъ, еще былъ женихомъ и которое она хранила, какъ драгоцѣнность, въ сундукѣ, отчего оно немного пахло затхлымъ, и свой лучшій чепецъ съ бантомъ напереди, по старинной модѣ, вышла изъ дому, никому не сказавъ, куда она отправляется въ такомъ нарядѣ. На вопросъ дочери, надѣвавшей на нее салопъ и укутывавшей ея горло шерстянымъ шарфомъ, Матрена Васильевна только улыбнулась и сказала привѣтливо: «Молода, хочешь все знать: скоро состарѣешься. Послѣ узнаешь, дурочка!»

Старушка, выходившая изъ своей Гавани рѣдко, очутившись вдругъ на Адмиралтейской площади, въ первую минуту совсѣмъ потерялась отъ шума, грома и блеска. Она у всѣхъ встрѣчныхъ спрашивала: «Позвольте спросить, батюшка, какъ мнѣ пройти на Литейную улицу?» Нѣкоторые проходили, не удостоивъ вниманія ея вопросъ, другіе, болѣе остроумные, указывали ей въ противоположную отъ Литейной сторону; но, къ къ счастью, ей попалась старушонка-салопница, останавливавшая прохожихъ съ плачевной гримасой, словами: «Помогите бѣдной, несчастной вдовѣ съ семерыми дѣтьми. Два дня безъ куска хлѣба. Вѣчно буду за васъ Богу молиться.» Матрена Васильевна, добродушно тронутая этими словами, подумала: «вотъ еще есть на свѣтѣ и бѣднѣе насъ; какже намъ жаловаться и гнѣвить Бога?» и заговорила съ салопницей.

— Неужто у васъ семеро дѣтей?

И покачала съ сочувствіемъ головой.

— Семеро, семеро, матушка, малъ-мала-меньше, отвѣчала салопница:—два дня сидятъ голоднехоньки.

Матрена Васильевна вынула изъ своего ридикюля гривенникъ—у нея всего было три — и подала его салопницѣ. Салопница проводила ее до Литейной и болтала дорогой безъ умолку о своей крайности и о своихъ дѣтяхъ, которыхъ въ дѣйствительности у нея не было, и чуть не до слезъ разстрогала старушку.

На Литейной жилъ начальникъ того департамента, въ которомъ служилъ ея покойный мужъ. Съ трепетомъ сердца и съ молитвою на губахъ Матрена Васильевна взялась за мѣдную ручку подъѣзда, сверкавшую, какъ золото...

— Въ добрый часъ, въ добрый часъ, шептала она про-себя.

Въ подъѣздѣ остановилъ ее усатый унтеръ-офицеръ съ медалями.

— Кого вамъ? спросилъ онъ строго.

— Ихъ превосходительства господина...

— Просительница, что ли? перебилъ онъ еще строже.

— Да, батюшка, съ просьбой къ ихъ превосходительству...

— Наверхъ, на правой сторонѣ. Тамъ скажутъ, куда.

— Слушаю, батюшка, — и старушка, поклонясь сторожу, съ великимъ страхомъ начала подниматься по лѣстницѣ, боясь ступить на холстъ, которымъ былъ покрытъ коверъ, чтобы не оставить слѣда на холстѣ.

Лакей на верху, гордо осмотрѣвъ ее съ ногъ до головы, ввелъ въ комнату, гдѣ дожидались уже два просителя, и, произнеся: «здѣсь», вышелъ изъ комнаты. Старушка, несмотря на то, что едва держалась на ногахъ отъ такого длиннаго и непривычнаго для нея похода, не смѣла сѣсть и только по временамъ, вздыхая, произносила про-себя: «Господи, Боже мой! Охъ, Господи, Господи!»

Такъ прошло около часу. Наконецъ дверь изъ сосѣдней комнаты растворилась, и въ дверяхъ показался господинъ среднихъ лѣтъ, небольшаго роста, съ блестящимъ украшеніемъ на груди, съ необыкновенно значительной и озабоченной физіономіей, окинувъ орлинымъ взглядомъ, изъ-подъ нависшихъ бровей, присутствующихъ. Старушка, какъ взглянула на него, такъ и обомлѣла. «Что я надѣлала — подумала она — никакъ я не къ тому попала!» Начальникъ ея мужа былъ плѣшивый старичокъ. Она видѣла его только разъ въ жизни; но черты его сильно врѣзались ей въ память. Ей никакъ не могло прійти въ голову, чтобы онъ могъ умереть или выйти въ отставку и быть замѣненъ другимъ. Правда, плѣшивый старичокъ, начальникъ ея мужа, жилъ не на Литейной, а въ Шестилавочной, но она, получая адресъ, думала, что онъ перемѣнилъ квартиру. «Къ кому же я это попала? что я теперь буду дѣлать?» продолжала думать она и въ ту же минуту, какъ бы

не вѣря глазамъ своимъ, спрашивала самоё себя: «неужто жь это генералъ, и такой молодой?»

Между тѣмъ, господинъ съ украшеніемъ на груди подошелъ, съ замѣчательнымъ достоинствомъ и ловкостью, къ господину съ украшеніемъ въ петлицѣ, съ глубокомысленною снисходительностью выслушалъ его и произнесъ: «Все это мнѣ очень хорошо извѣстно, но...»

Господинъ съ украшеніемъ въ петлицѣ началъ было что-то такое еще говорить; но господинъ съ украшеніемъ на груди перебилъ его величавымъ жестомъ и произнесъ выразительно и громко, ударяя на нѣкоторыя слова:

— Теперь мнѣ все это выслушивать некогда: меня ждетъ г. министръ.

И съ словомъ министръ онъ посмотрѣлъ на свои карманные часы.

— Я не могу же для васъ жертвовать временемъ, когда меня ждетъ министръ. Вы понимаете?...

У старушки духъ захлебнулся при этихъ словахъ.

Господинъ съ украшеніемъ въ петлицѣ низко и молча поклонился и вышелъ. Затѣмъ, бросивъ мимоходомъ два слова другому просителю и взглянувъ на него только однимъ глазомъ, генералъ, шаркнувъ правой ногой съ такимъ искусствомъ, которое бы сдѣлало честь любому танцмейстеру, остановилъ себя въ двухъ шагахъ отъ старушки и нѣсколько попятился назадъ туловищемъ, вполнѣ обнаруживъ тѣмъ свою ловкость и прекрасныя манеры (хотя ихъ, правду сказать, обнаруживать было не передъ-кѣмъ, потому что старушка одна только оставалась въ комнатѣ), и произнесъ, повернувъ къ ней свое правое ухо, назначенное для выслушиванія просьбъ:

— Что вамъ угодно, сударыня?

Матрена Васильевна прерывающимся и дрожащимъ голосомъ, нескладно и длинно начала объяснять, что мужъ ея служилъ въ департаментѣ тридцать-пять лѣтъ сряду, что онъ пользовался милостями его превосходительства Ивана Кузьмича...

— Моего предмѣстника? бѣгло замѣтилъ начальникъ: — но... на этомъ *но* онъ сдѣлалъ значительное удареніе и опять нѣсколько попятился назадъ туловищемъ, взглянувъ на старушку съ нѣкоторымъ, впрочемъ благосклоннымъ, нетерпѣніемъ, выразивъ голосомъ участіе, а своей позой неизмѣримую

разницу, которая раздѣляла его отъ нея. — *Но* позвольте просить васъ изложить вашу просьбу какъ можно кратче, потому что я не могу терять времени: меня ожидаетъ г. министръ... Въ чемъ она состоитъ?

Матрена Васильевна объявила, что она нижайше проситъ объ опредѣленіи своего сына, кончившаго курсъ въ гимназіи, на службу въ тотъ департаментъ, гдѣ служилъ его отецъ.

— А! воскликнулъ начальникъ. — Очень хорошо-съ... но изволите видѣть, сударыня, вакансій теперь нѣтъ. Онъ можетъ быть покуда опредѣленъ только безъ жалованья; а тамъ мы увидимъ, испытаемъ его, и тогда можно будетъ назначить ему жалованье по мѣрѣ его способностей и усердія къ службѣ... Пришлите его ко мнѣ.

Затѣмъ онъ, взглянувъ лѣвымъ глазомъ на просительницу, съ полу-улыбкою наклонилъ голову нѣсколько въ правый бокъ и крикнулъ: «карету!» Лакеи засуетились, курьеръ побѣжалъ по лѣстницѣ съ портфелемъ впередъ, а за нимъ величественно послѣдовалъ начальникъ.

Старушка, слѣдуя за нимъ, не спускала съ него глазъ и видѣла, какъ онъ сѣлъ въ карету, поддерживаемый съ одной стороны лакеемъ, а съ другой курьеромъ. Генералъ даже удостоилъ бросить на нее взглядъ изъ кареты, когда она стояла на тротуарѣ и низко кланялась ему.

Господинъ съ блестящимъ украшеніемъ на груди, несмотря на гордыя и величественныя манеры, имѣлъ доброе сердце, которое смягчалось въ особенности, когда онъ замѣчалъ въ своихъ подчиненныхъ или просителяхъ нѣкоторый трепетъ и удивленіе, справедливо возбуждаемые его званіемъ и его величественными манерами. Злые языки и господа, расположенные къ ироніи, увѣряли, что будто онъ воображаетъ о себѣ Богъ знаетъ что, людей низшихъ чиновъ даже не считаетъ людьми, учится передъ зеркаломъ своимъ позамъ и орлинымъ взглядамъ, бьется изъ одного эффекта и пускаетъ пыль въ глаза даже передъ такими ничтожными старушками изъ Галерной гавани, какъ Матрена Васильевна, въ непрестанномъ безпокойствѣ не уронить своего достоинства; но мало ли чего не говорятъ. Конечно, онъ не имѣлъ, можетъ быть, той «неизмѣнной кротости и неутомимой вѣжливости — вѣрнаго свидѣтельства уваженія человѣка къ достоинству человѣческому въ себѣ

и въ другихъ, и, наконецъ, той неистощимой любви къ людямъ-братьямъ, какой бы ни были они крови, на какой бы степени развитія ни стояли», какъ тотъ англійскій государственный мужъ, на котораго обратила справедливое вниманіе «Русская Бесѣда» *); но такіе государственные люди во всѣхъ странахъ бываютъ рѣдки, и ставить на одну доску какого нибудь лорда Меткальфа съ государственнымъ лицомъ, къ которому приходила съ просьбой Матрена Васильевна, было бы, безъ всякаго сомнѣнія, несправедливо...

По крайней мѣрѣ, Матрена Васильевна была отъ него въ восторгѣ, и, возвратясь домой, съ торжествомъ сообщила подробности своего посѣщенія сыну и дочери, не могла наговориться о добрѣйшемъ и вѣжливомъ генералѣ, который называлъ ее *сударыней*, и не могла надивиться молодости его лѣтъ. По мнѣнію старушки, умнѣе, значительнѣе, важнѣе и красивѣе не было генерала на свѣтѣ.

Петруша, дѣйствительно, былъ опредѣленъ добрымъ генераломъ въ департаментъ безъ жалованья и началъ совершать ежедневныя путешествія изъ Галерной гавани на Фонтанку.

Вскорѣ послѣ этого одна довольно значительная дама, старая благодѣтельница Матрены Васильевны, къ которой она ходила на поклонъ разъ въ годъ, рекомендовала Таню, какъ хорошую швею, другой значительной дамѣ, такъ что Таня получила большую работу, и за довольно выгодную цѣну.

Старушка никогда еще не была такъ счастлива и спокойна послѣ смерти мужа...

Разъ, когда Таня, по своему обыкновенію, сидѣла у окна за работой, а Матрена Васильевна вязала носки для сына (Петруша былъ въ должности), у ихъ домика остановились блестящія дрожки, запряженныя сѣрою лошадью съ яблоками. На этихъ дрожкахъ сидѣлъ очень красивый и молодой господинъ, щегольски одѣтый, и кричалъ: «Эй, дворникъ, дворникъ!»

Но такъ какъ дворниковъ въ Галерной гавани нѣтъ, то крики этого господина оставались безотвѣтными; только на этотъ крикъ повысунулись съ удивленіемъ изъ оконъ въ сосѣднихъ домахъ мужскія и женскія головы, а на улицу сбѣжались толпою ребятишки и обступили блестящія дрожки ще-

---

*) См. «Русскую Бесѣду», книга II. Біографія, стр. 80.

гольски одѣтаго господина, разинувъ рты отъ удивленія при видѣ необыкновеннаго для нихъ зрѣлища...

— Гдѣ домъ Савелова? крикнулъ на ребятишекъ щегольски одѣтый господинъ съ нетерпѣніемъ и досадой...

Они молчали, неподвижно выпучивъ на него глаза; а тѣ, которые стояли поближе къ дрожкамъ, испуганные его сердитымъ голосомъ, отбѣжали подальше и начали смотрѣть на него издалека.

Когда господинъ повторилъ свой вопросъ, Таня на его крики отворила окно и, высунувшись въ него, отвѣчала:

— Кого вамъ угодно? Савелова домъ здѣсь.

Господинъ щеголеватой наружности, услышавъ тонкій и звучный голосъ дѣвушки и увидѣвъ въ окнѣ хорошенькое личико, мгновенно сгладилъ морщины съ своего лица, соскочилъ съ дрожекъ, принялъ очень красивую позу и ловко приложилъ руку къ шляпѣ.

— Извините, сказалъ онъ: — не знаете ли вы, гдѣ живетъ вдова чиновника... онъ назвалъ ихъ фамилію.

Таня отвѣчала, что здѣсь.

— Покорно васъ благодарю. Вы позволите къ вамъ войти?

И, послѣ этихъ вопросовъ, обернулся къ своему кучеру.

— Чортъ знаетъ, сказалъ онъ ему вполголоса: — куда это мы заѣхали! Посмотри, не сломались ли дрожки... Здѣсь невозможно ѣздить... это ни на что не похоже... это не улицы, а я не знаю что такое... Ты выѣзжай потихоньку и осторожнѣе на Большой проспектъ и тамъ меня дожидайся.

И съ этимъ словомъ онъ наклонился и вошелъ въ калитку дома.

На крыльцѣ встрѣтила его нѣсколько встревоженная и удивленная старушка, сзади которой стояла дочь.

— Извините, что я васъ безпокою, началъ щеголеватый господинъ, приподнявъ слегка шляпу и обращаясь къ Матренѣ Васильевнѣ: — въ васъ принимаетъ участіе одна дама, и я, по ея просьбѣ, пріѣхалъ къ вамъ, чтобы узнать о вашемъ положеніи...

— Ахъ, это, вѣрно, моя благодѣтельница, ея превосходительство Анна Ивановна! воскликнула старушка: — дай ей Богъ здоровья, она не оставляетъ насъ своими милостями... и Танюшу мою не забываетъ...

Старушка повернула голову къ дочери.

— Это ваша дочь? спросилъ щеголеватый господинъ, устремивъ на Таню внимательный и долгій взглядъ, который, казалось, хотѣлъ проникнуть въ самую глубину ея сердца.

О такихъ взглядахъ Таня не имѣла никакого понятія и потому ей стало какъ-то неловко. Она вся вспыхнула и потупила глаза.

Щеголеватый господинъ поклонился ей.

— Да пожалуйте, батюшка, къ намъ въ комнату, говорила старушка: — милости просимъ, батюшка...

Щеголеватый благотворитель (потому что это, дѣйствительно, былъ благотворитель) пошелъ вслѣдъ за старушкой, устремивъ мимоходомъ на Таню еще болѣе пронзительный и эффектный взглядъ.

Старушка привела его въ комнату и, усадивъ на стулъ, остановилась передъ нимъ; но благотворитель вскочилъ съ своего стула съ утонченною вѣжливостью и усадилъ ее въ свою очередь. Таня сѣла къ окну за свое шитье. Когда всѣ усѣлись, наступила минута молчанія. Благотворитель принялъ живописную позу, снялъ перчатку съ руки, обнаружилъ бѣлую, точно выточенную изъ слоновой кости руку, съ розовыми, искусно обточенными ногтями, сверкнулъ передъ этими бѣдными людьми цѣлою массою дорогихъ колецъ на одномъ изъ своихъ пальцевъ и выставилъ свою маленькую ногу въ блестящихъ сапогахъ на показъ...

Я зналъ благотворителя довольно близко. Онъ былъ человѣкъ превосходный и добрѣйшій, но имѣлъ небольшую слабость, если только это можно назвать слабостью, рисоваться передъ женщинами, особенно передъ хорошенькими, и показывать, какъ говорится, свой товаръ лицомъ. Онъ былъ убѣжденъ, и не безъ основанія, что каждая женщина при взглядѣ на него не можетъ оставаться равнодушною, и любилъ, иногда даже безъ особенной цѣли, смущать женскія сердца. И потому за достовѣрность всего того, что онъ продѣлывалъ передъ Таней, я ручаюсь.

Послѣ минуты молчанія, щеголеватый благодѣтель произнесъ, осматривая комнату:

— Какой у васъ порядокъ, какая чистота! это пріятно видѣть... Это дѣлаетъ вамъ честь... Вы меня извините, если

я попрошу васъ сообщить мнѣ нѣкоторыя подробности о вашей жизни...

Старушка откровенно и просто разсказала ему все и въ заключеніе прибавила, что ея Таня занимается теперь шитьемъ для генеральши N.

Благотворитель выслушалъ ее очень внимательно и серьёзно, при словѣ пенсіонъ, замѣтилъ, надвинувъ немного брови: «а! такъ вы получаете пенсіонъ!» а при имени генеральши N. выразилъ свое изумленіе вопросительнымъ взглядомъ, устремленнымъ на Таню, и вскрикнулъ, какъ будто обрадовавшись чему-то:

— Въ самомъ дѣлѣ? и съ пріятнѣйшею улыбкою прибавилъ болѣе тихимъ голосомъ: — я очень радъ — это моя матушка... я этого совсѣмъ не зналъ... Потомъ онъ задумался и спросилъ: — такъ вы, стало быть, не имѣете никакихъ другихъ средствъ къ существованію?

— Какія же другія средства, батюшка! нѣтъ, отвѣчала старушка: — кромѣ этого маленькаго пенсіона, ничего; да вотъ еще моя кормилица — она указала на дочь... Сынъ, слава Богу, опредѣлился на службу, да еще жалованья не получаетъ; а она, моя голубушка, вотъ какъ видите, цѣлый день сидитъ и головы отъ работы не отнимаетъ.

Благотворитель всталъ, подошелъ съ большою граціею къ Танѣ и произнесъ съ большимъ участіемъ:

— Матушкѣ моей совсѣмъ не нужны эти вещи къ спѣху. Я могу васъ увѣрить. А вамъ такъ много заниматься нехорошо: это можетъ повредить вашему здоровью...

Таня покраснѣла и отвѣчала:

— Ничего-съ: я къ этому привыкла.

— Неужели, продолжалъ онъ: — вы все сидите дома, не имѣете никакихъ развлеченій?

— Да какія же я могу имѣть развлеченія? спросила она, не отнимая головы отъ шитья...

— Напримѣръ, театры?...

Но на этомъ словѣ щеголеватый благотворитель споткнулся, какъ будто почувствовавъ, что произнесъ глупость.

— Или какія нибудь другія развлеченія, добавилъ онъ.

— Я никогда не была въ театрѣ, сказала Таня, улыбаясь: — да и на той сторонѣ я никогда тоже не бывала...

— Это, однако, ужасно! воскликнулъ благотворитель, пожавъ плечами...

Затѣмъ онъ обратился къ старушкѣ и, повторивъ, что въ ея положеніи принимаетъ участіе дама, имени которой онъ не имѣетъ права назвать, замѣтилъ, нѣсколько смѣшавшись, что онъ съ своей стороны постарается быть ей полезнымъ. Старушка кланялась и благодарила. Уходя, благотворитель замѣтилъ ей, что жить такъ далеко отъ центра города и въ такой глуши неудобно, и что она могла бы пріискать небольшую квартирку за дешевую цѣну на той сторонѣ города, на что Матрена Васильевна отвѣчала, что они ужъ привыкли къ своей гавани, что здѣсь жили ихные родители, здѣсь она родилась и замужъ вышла, здѣсь похороненъ ея мужъ и здѣсь она хочетъ положить свои кости.

Затѣмъ благотворитель съ восклицаніемъ: «А!» очень ловко раскланялся и, уходя, бросилъ еще разъ взглядъ на Таню. Перешагнувъ за калитку, онъ подумалъ: «однако, какая хорошенькая — и гдѣ же? въ Галерной гавани... и какое симпатическое личико!» и обернулся на окно... Онъ былъ очень доволенъ, увидѣвъ высунувшееся изъ окна личико Тани, и, встрѣтясь съ ней глазами, снялъ шляпу, но Таня, замѣтивъ, что онъ ее увидѣлъ, быстро скрылась, не видавъ этого поклона.

Дня черезъ два послѣ этого Матрена Васильевна получила пакетъ отъ неизвѣстнаго съ 25 руб. серебромъ.

Внезапное появленіе щеголеватаго благодѣтеля, разумѣется, привело надолго въ волненіе всѣхъ жителей и въ особенности жительницъ Галерной гавани и возбудило во многихъ неблагопріятные и завистливые толки о Матренѣ Васильевнѣ и ея дочери. Болѣе всѣхъ кричала нарумяненная сосѣдка-чиновница, называя Матрену Васильевну пройдохой, а Таню — такимъ именемъ, о которомъ лучше не упоминать. Потомъ, когда волненіе мало-по-малу стихло, жизнь галерныхъ обитателей вошла въ свой обычный порядокъ. Такъ камень, брошенный въ болотную лужу, покрытою плѣсенью и тиной, приведетъ ее въ волненіе, образуетъ на мгновеніе кружокъ на поверхности стоячей лужи и когда упадаетъ на дно, кружокъ снова затянется плѣсенью.

Прошло мѣсяца три послѣ этого событія. Въ это время въ домишкѣ Матрены Васильевны не произошло ничего но-

ваго... сама она вязала носки и хлопотала по хозяйству, какъ обыкновенно; Петруша занимался, повидимому, службой усердно и приносилъ еще на домъ переписывать бумаги. Таня все шила; но когда работа приведена была къ окончанію, надо было подумать о томъ, чтобы отнести ее.

— Мнѣ вѣдь надо это отнести самой, маменька! Какъ вы думаете?

— Да, да, голубушка! отвѣчала Матрена Васильевна: — какже это только ты пойдешь-то? Ты ничего не знаешь: заблудиться можешь, да и какой нибудь шальной, пожалуй еще, обидитъ.

Послѣ долгихъ разговоровъ рѣшено было, что она пойдетъ на другой день съ братомъ, и что братъ проводитъ ее до самаго дома генеральши, а на обратномъ пути изъ службы зайдетъ за нею. Такъ и было сдѣлано. Таня принарядилась нѣсколько и рано утромъ отправилась съ братомъ. Старушка прочла ей наставленіе, какъ она должна вести себя съ генеральшей и съ ея сыномъ, если увидитъ его; въ какихъ словахъ выразить имъ благодарность за ихъ благодѣяніе (она была увѣрена, что 25 рублей были присланы ими) и въ заключеніе перецѣловала ее и нѣсколько разъ перекрестила.

Петруша возвратился домой, по обыкновенію часовъ около шести, но одинъ. Сначала это испугало Матрену Васильевну; но когда Петруша объявилъ ей, что генеральша уговорила Таню остаться на нѣсколько дней, чтобы заняться работой, которую нельзя брать на домъ; когда онъ отдалъ ей письмо отъ Тани и деньги, полученныя ею за ея работу, когда онъ прочелъ ей это письмо, въ которомъ Таня успокоивала мать на свой счетъ и писала, что генеральша осталась очень довольна ея работой, обласкала ее и просила ее такъ убѣдительно остаться, что она не могла отказать ей въ этой просьбѣ, — старушка успокоилась и произнесла, перекрестясь: «Слава Богу! Господь бѣдныхъ людей не оставляетъ.»

Прошло двѣ недѣли послѣ отлучки Тани, и Матрена Васильевна, замѣтно скучавшая по дочери, начала приходить въ безпокойство и просила Петю зайти провѣдать сестру и узнать, когда она прійдетъ домой. Конопатчикъ Тимоѳѣй всякій разъ заходилъ навѣдываться, не возвратилась ли Таня, и,

однажды, нахмуривъ свои густыя брови, которыя у него торчали напередъ, и строго покачавъ головой, сказалъ:

— Это ужь неслѣдъ, Матрена Васильевна — вотъ что̀! И вынувъ свою тавлинку, съ нѣкоторымъ ожесточеніемъ понюхалъ табаку.

— Что такое неслѣдъ? спросила старушка.

— Да то же... нехорошо...

— Да что же нехорошо-то? Она вѣдь не гдѣ нибудь, а въ генеральскомъ домѣ; генеральша обращается съ ней, какъ съ своей дочерью... и она сама пишетъ объ этомъ и Петинька говоритъ.

Однако, оправдываясь передъ Тимоѳѣемъ въ отсутствіи дочери, Матрена Васильевна внутренно чувствовала, что Тимоѳѣй правъ. На сердцѣ у нея было что-то неспокойно, а отчего, она и сама не знала.

— Богъ съ ней, съ генеральшей, возразилъ Тимоѳѣй: — генеральша ей не мать... да! дѣвица-то умная, что говорить, да ужь тамъ обычаи не тѣ, совсѣмъ другое положеніе; дома-то все лучше, Матрена Васильевна: дома-то она, какъ въ родномъ гнѣздышкѣ; а та сторона намъ чужая... туда соваться неслѣдъ, вѣрно такъ...

Прошелъ мѣсяцъ, и хотя Матрена Васильевна имѣла постоянныя свѣдѣнія о дочери, но безпокойство ея увеличивалось, несмотря на это, съ каждымъ днемъ, и она сама рѣшилась пойти къ Танѣ. Она нашла Таню здоровою и веселою; но материнское сердце замѣтило сейчасъ какую-то перемѣну въ дочери, — какую именно, Матрена Васильевна не могла отдать себѣ отчета, — но эта перемѣна заставила ее призадуматься. Точно, въ весельи Тани было что-то раздражительное, тревожное, выражавшееся и въ движеніяхъ, и въ голосѣ, и во взглядѣ, что-то необыкновенное и несвойственное ей. Генеральша, однако, упросила Матрену Васильевну, чтобы она оставила у нея дочь еще на нѣсколько времени, и разсыпалась въ похвалахъ ей. Старушка возвратилась домой, отчасти довольная лестными похвалами ея милой Танюшѣ, отчасти печальная, сама не зная, отчего.

Таня пробыла у генеральши болѣе двухъ мѣсяцевъ. Первые дни послѣ ея возвращенія домой Матрена Васильевна была въ полномъ восторгѣ и не дѣлала надъ нею никакихъ

наблюденій. Присутствіе ея оживило ихъ уголокъ: безъ Тани все было въ домѣ не то, недоставало чего-то; съ ея прибытіемъ опять все приняло прежній видъ. Таня первые дни немножко отдохнула, а потомъ снова усѣлась къ своему окну за работу, и все пошло прежнимъ порядкомъ, какъ будто она и не была въ отсутствіи; но старушка, глядя на нее исподтишка, начала замѣчать, что она работаетъ не такъ ровно и спокойно, какъ прежде: иногда воткнетъ иголку въ свою подушку и о чемъ-то какъ будто задумается: иногда такъ, ни съ того, ни съ сего, высунется въ окно, какъ будто въ комнатѣ ей недостаетъ воздуху; иногда не слышитъ вопроса или отвѣчаетъ совсѣмъ не на вопросъ. Матрена Васильевна находила даже, что Таня худѣетъ. Было ли это дѣйствительно такъ, или только казалось безпокойному материнскому воображенію, — рѣшить трудно. Такъ прошло еще нѣсколько мѣсяцевъ. Втеченіе этого времени Таня раза два въ недѣлю выходила изъ дому на короткое время и на вопросъ матери: «куда ты ходила, Танюша?» отвѣчала постоянно, «что немного прошлась для воздуха, что у нея голова болитъ что-то: должно быть, приливъ къ головѣ». Такихъ приливовъ прежде у Тани не бывало, и она выходила только въ воскресенье и по праздникамъ въ церковь. Время шло. Таня начала замѣтно скучать. Часто, оставляя работу, она принималась за книжку днемъ, противъ своего обыкновенія; часто выбѣгала въ кухню и о чемъ-то тайкомъ шепталась съ кухаркой. Кухарка, разъ мимоходомъ, всунула ей въ руку какую-то записочку, которую Таня бѣгло пробѣжала и съ судорожнымъ движеніемъ спрятала на груди.

Когда, однажды, старушка получила рублей пятьдесятъ, и все отъ неизвѣстнаго, эти деньги отчего-то болѣе ее смутили, чѣмъ обрадовали.

— Знаешь ли что, Таня? сказала она, обращаясь къ дочери: — я вѣдь подозрѣваю, отъ кого эти деньги... мнѣ все сдается, что это сынъ генеральши... только это напрасно: вѣдь есть люди бѣднѣе насъ... Мы еще, слава Богу, пробиваемся кой-какъ, а иные, просто, по суткамъ голодные сидятъ...

Таня ничего не отвѣчала на это. Она смотрѣла въ окно. Старушка продолжала:

— Вотъ хошь бы наша Прасковья Антиповна. Она вчера

забѣгала ко мнѣ; просто, говоритъ, хоть петлю на шею да въ воду... Знаешь ли, Танюша, я хочу отнести ей что нибудь изъ этихъ денегъ... Вѣдь они намъ какъ съ неба свалились...

Таня вдругъ, въ какомъ-то волненіи, съ пылающими щеками, обратилась къ матери и быстро проговорила:

— Что жь, это прекрасно, маменька! Дайте мнѣ, я сама сейчасъ отнесу ей...

Наступила зима; зима смѣнилась весной. Въ семействѣ Матрены Васильевны не произошло никакихъ особенныхъ перемѣнъ; только прогулки Тани все дѣлались чаще и продолжительнѣе, а на лѣто генеральша, мать щеголеватаго благотворителя, взяла Таню къ себѣ на дачу, написавъ очень лестное письмо къ ея матери, въ которомъ, между прочимъ, было сказано, что она (генеральша) «принимаетъ искреннее участіе въ положеніи ея и ея дочери, и что готова быть для нея второю матерью».

Какъ ни лестна была такая фраза самолюбію Матрены Васильевны, но она отпустила дочь скрѣпя сердце.

По возвращеніи Тани съ дачи, старушка, взглянувъ на нее, не повѣрила своимъ глазамъ: такъ Таня, стоявшая теперь передъ нею, не походила на прежнюю ея Таню... На ней было прекрасное платье, шляпка, манишка, ботинки, — все это подаренное ей доброй генеральшей. Матрена Васильевна любовалась всѣми этими нарядами и осматривала ее въ подробности. Ей показалось, что Таня и ходитъ, и смотритъ иначе, и говоритъ не такъ.

— Теперь ты у меня стала точно какая нибудь знатная барышня, сказала старушка, цѣлуя ее, и невольно вздохнула, почему-то, о прежней Танѣ.

Зимой Таня начала часто бывать у генеральши и, уходя изъ дому, обыкновенно вмѣстѣ съ братомъ, который провожалъ ее, говорила матери:

— Можетъ быть, я останусь ночевать тамъ, маменька, такъ вы не безпокойтесь.

Матрена Васильевна крестила ее, говорила: «хорошо», но безпокоилась, хотя скрывала это.

Таня въ послѣднее время очень сблизилась съ своимъ

братомъ. Было замѣтно, что между нимъ и ею существуетъ полная откровенность.

Въ Гавани начали ходить о Танѣ недобрые слухи. На ея нарядъ косились старухи-салопницы и жены чиновниковъ и штурманскихъ офицеровъ, а дѣвушки, ихъ дочери, даже нѣкоторыя изъ прежнихъ подругъ Тани, разговаривая съ нею, какъ-то подозрительно улыбались; Тимоѳей-копопатчикъ сталъ ходить ко вдовѣ рѣже и избѣгалъ встрѣчи съ Танею. Странно, что это послѣднее обстоятельство, повидимому, болѣе всего безпокоило Таню.

На слѣдующее лѣто приглашенія отъ генеральши не было, и Таня все лѣто провела въ гавани. Но она была постоянно въ тревожномъ состояніи, сидѣла за работой только для виду, по вечерамъ уходила съ братомъ гулять на Смоленское поле и возвращалась домой съ красными, распухшими глазами. У Матрены Васильевны сердце чуяло что-то нехорошее. Она нѣсколько разъ спрашивала Таню:

— Да что съ тобой, Танюша? скажи мнѣ, другъ ты мой! Не скрывайся отъ матери.

Или:

— Отчего у тебя заплаканы глаза-то?

Но Таня упорно отвѣчала на эти вопросы одно и то же:

— Ахъ, Боже мой! да ничего, маменька! Это вамъ такъ кажется.

И даже начинала сердиться на мать, когда та очень приставала къ ней.

Такъ наступила дождливая и бурная осень 184* года... Но я долженъ еще сказать нѣсколько словъ о Петрушѣ. Два года слишкомъ служилъ онъ въ департаментѣ. Способностями и усердіемъ его къ службѣ были, кажется, довольны; самъ начальникъ, съ блестящимъ украшеніемъ на груди, изволилъ отзываться нѣсколько разъ въ очень лестныхъ выраженіяхъ о его почеркѣ; но жалованье Петрушѣ не давали и когда онъ осмѣлился замѣтить объ этомъ своему столоначальнику, прибавивъ, что хоть бы какую нибудь награду ему дали, хоть бы на сапоги, потому что одни сапоги разорили его; что онъ всякій день ходитъ изъ Галерной гавани, — то столоначальникъ, не любившій, чтобы подчиненные его разсуждали (онъ въ этомъ нѣсколько подражалъ своему высшему начальнику),

принялъ слова молодаго человѣка за грубость и сдѣлалъ ему очень крупное замѣчаніе, проговоривъ, между прочимъ, себѣ подъ носъ, такъ что Петруша слышалъ: «каждый молокососъ нынче ужь Богъ знаетъ что о себѣ думаетъ!» Петруша въ этотъ разъ пересилилъ себя и смолчалъ, но когда шесть вакансій съ жалованьемъ прошли мимо него, замѣщенныя по разнымъ просьбамъ и протекціямъ, Петруша, послѣ замѣщенія шестой, не выдержалъ и въ одинъ день прямо отправился къ начальнику съ блестящимъ украшеніемъ на груди, который всегда сидѣлъ въ особой комнатѣ и одинъ. Когда Петруша подошелъ къ завѣтной двери, отъ которой въ эту минуту какъ нарочно отлучился курьеръ, постоянно торчавшій тутъ, у Петруши сильно забилось сердце; но онъ не удержалъ своей вспыльчивости, хватился за отлично вычищенную ручку замка и очутился за роковою дверью прямо передъ лицомъ начальника.

Начальникъ, державшій въ рукѣ какую-то газету, при этомъ шумѣ, положилъ ее на столъ и обратился къ двери. При видѣ Петруши, брови его строго надвинулись на глаза, и онъ спросилъ сердито и скороговоркою:

— Что это значитъ? что вамъ надобно?

— Я осмѣлился, ваше превосходительство... началъ было Петруша взволнованнымъ голосомъ.

Но его превосходительство замахалъ рукой, схватился за колокольчикъ, началъ звонить и кричать:

— Курьеръ! курьеръ! гдѣ курьеръ? пошлите курьера!

Въ сосѣдней комнатѣ поднялась страшная тревога; нѣсколько человѣкъ бросились за курьеромъ.

Курьеръ явился и вытянулся передъ начальникомъ.

— Что ты? гдѣ ты? закричалъ онъ на него: — куда ты уходишь?... Я занятъ, а тутъ безъ доклада... Смотри... смотри .. что это такое? что это такое? я тебя спрашиваю.

И разгоряченный начальникъ указывалъ пальцемъ на Петрушу.

— Ты видишь это? а? видишь?

— Виноватъ, ваше превосходительство, я только на минутку отлучился по нуждѣ, произнесъ курьеръ, искоса взглянувъ на Петрушу.

— Ты не знаешь, болванъ, своей обязанности! По нуждѣ!

А отъ твоей нужды происходятъ здѣсь безпорядки! Нужды не должно быть, когда ты на службѣ. Въ другой разъ я тебя за это выгоню... я тебѣ прощаю это въ послѣдній разъ... слышишь? въ послѣдній.

Когда курьеръ вышелъ, начальникъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и полуоборотомъ обратился къ Петрушѣ.

— А вы, сказалъ онъ: — какъ же вы осмѣливаетесь входить къ своему высшему начальнику безъ доклада? И какая можетъ быть у васъ до меня необходимость?... Вы понимаете, какое разстояніе между мною и вами?... Отвѣчайте.

— Ваше превосходительство, отвѣчалъ Петруша: — я виноватъ, простите меня, только крайность... я служу усердно два года и пять мѣсяцевъ безъ всякаго жалованья; я всякій день хожу изъ Галерной гавани...

— Что мнѣ за дѣло до вашей Галерной гавани? перебилъ генералъ. — У васъ есть непосредственный начальникъ: вы должны обращаться съ вашими нуждами къ нему, а не ко мнѣ... какже вы можете лѣзть ко мнѣ сюда, со всякою глупостью? Что это за своевольство! И какъ вы можете самого себя рекомендовать... Что это такое?... Извольте выйти вонъ.

И начальникъ энергическимъ жестомъ указалъ Петрушѣ на дверь.

— И знайте, прибавилъ онъ: — что такая съ вашей стороны дерзость не можетъ всегда пройти вамъ даромъ. Пошлите ко мнѣ сейчасъ вашего столоначальника.

Столоначальникъ въ одно мгновеніе ока явился передъ начальникомъ и вышелъ изъ генеральскаго кабинета блѣдный. Онъ накинулся на Петрушу. Петруша вспылилъ и, не давая себѣ отчета въ словахъ, не помня, что онъ говоритъ, объявилъ, что онъ подаетъ въ отставку, и тотчасъ выбѣжалъ изъ департамента.

Онъ едва очнулся на половинѣ дороги.

«Что я сдѣлалъ — подумалъ онъ — и что я буду дѣлать теперь?»

Въ совершенномъ отчаяніи онъ возвратился домой, а дома ожидало его новое горе.

Старушка-мать бросилась ему на встрѣчу. На ней лица не было. Она объявила ему, что Таня лежитъ въ обморокѣ; что вскорѣ послѣ его ухода въ департаментъ она выбѣгала

въ кухню, шепталась съ кухаркой и, возвратясь изъ кухни блѣдная, какъ смерть, вдругъ схватила себя за голову и грянулась объ полъ; что когда ей разстегнули платье, на груди нашли смятую записку, и что кухарка призналась, что эта записка отдана ей лакеемъ генеральскаго сына съ просьбою доставить ее барышнѣ.

И старушка подала записку сыну.

Петруша въ эту минуту забылъ о своемъ собственномъ горѣ. Онъ помертвѣлъ, выслушавъ мать, и съ нетерпѣніемъ, дрожащими руками, раскрылъ записку.

Она была безъ подписи и вотъ какого содержанія:

«Отношенія наши должны кончиться. Къ тому же я не давалъ тебѣ клятвы въ вѣчной вѣрности. Я болѣе не могу съ тобой видѣться, ты сама поймешь причину, если я тебѣ скажу, что я женюсь. Прошу тебя быть благоразумной и не дѣлать никакихъ скандаловъ — это ни къ чему не поведетъ. Повѣрь, что я все что могу для тебя сдѣлаю, — свои обязанности въ отношеніи къ тебѣ я очень хорошо понимаю; свиданіе же наше безполезно, теперь ни къ чему не послужатъ сцены· а я надѣюсь, что ты не откажешься хоть въ этотъ разъ принять отъ меня небольшую сумму, которая можетъ тебя обезпечить и которую ты вскорѣ получишь черезъ моего повѣреннаго, о чемъ я уже распорядился...»

Петруша пробѣжалъ эту записку, смялъ ее въ рукѣ и положилъ въ карманъ. Матрена Васильевна смотрѣла на него, ожидая, что онъ передастъ ей содержаніе записки; но Петруша сказалъ только.

— Пойдемте, матушка, къ Танѣ.

Когда они вошли въ комнату, гдѣ Таня лежала на постели, Петруша подошелъ къ ней. Таня открыла глаза и посмотрѣла блуждающими, безсмысленными глазами на брата и на мать. Петруша припалъ къ ней, давясь слезами, и повторялъ захлебывавшимся голосомъ:

— Полно, Таня, успокойся, Таня!... Бога ради, не мучь себя напрасно.

Матрена Васильевна со стономъ и оханьемъ говорила:

— Голубушка моя, что съ тобою? что ты чувствуешь? скажи намъ.

Но Таня ничего не понимала и ничего не отвѣчала. Петруша обратился къ матери и сказалъ:

— Маменька, я побѣгу за лекаремъ, а вы покуда не трогайте ее.

У Тани сдѣлалось воспаленіе въ мозгу. Двѣ недѣли она была почти въ безнадежномъ состояніи. Петруша и мать не отходили отъ нея. На это время конопатчикъ Тимофѣй почти поселился у нихъ: онъ бѣгалъ за лекарствомъ въ аптеку, къ фельдшеру, завѣдывалъ всѣмъ и распоряжался, потому что Матрена Васильевна бросила все. Таня выздоровѣла. Она такъ измѣнилась, что ее было узнать невозможно. По цѣлымъ часамъ она сидѣла сложа руки и не говоря ни съ кѣмъ ни слова. Ласки брата и матери были ей въ тягость, и она отвѣчала на нихъ съ принужденіемъ.....

Въ одно изъ послѣднихъ чиселъ октября, дней черезъ восемь послѣ того, какъ Таня встала съ постели, вечеромъ поднялся сильный вѣтеръ, вода начала выступать и разливаться за плетни по огородамъ, выходившимъ къ самому взморью. Во всей Гавани поднялась страшная тревога и суматоха. Вездѣ загорѣлись огоньки. Всѣ перебирались и переносились на свои чердаки. Въ каждомъ домикѣ раздавались стоны и оханье старухъ, крикъ женщинъ, визгъ дѣтей. Вѣтеръ къ ночи усилился. Вода прибывала, затопивъ ближнія къ взморью улицы, и пробирались въ подполья. Ночь была такая темная, хоть глазъ выколи. На адмиралтейской башнѣ горѣли уже три фонаря. Матрена Васильевна, Петруша и кухарка перетаскивали также кое-какія вещи получше на чердакъ, Таня помогала имъ, и на замѣчанія матери: «ты ужъ не трогай: мы все это безъ тебя сдѣлаемъ... Куда тебѣ! Ты еще такая слабая, еще, сохрани Богъ, простудишься да опять сляжешь», Таня отвѣчала: «ничего, я совсѣмъ теперь здорова, вы не безпокойтесь обо мнѣ», и бѣгала вмѣстѣ съ другими снизу на чердакъ. Вода у ихъ домика остановилась на половинѣ завалины, потому что онъ стоялъ немного выше другихъ, но все пространство отъ ихъ завалины до другаго домика по ту сторону канала было затоплено. Огоньки въ окнахъ отражались и трепетали въ мутной водѣ, которая ходила волнами и съ плескомъ ударялась въ стѣны домовъ, разливаясь и проникая во всѣ щели и подмывая шаткія ихъ

основанія. Издали повременамъ раздавались протяжные крики, заглушаемые стономъ и свистомъ вѣтра. Вѣтеръ, однако, понемногу начиналъ стихать.

— Ну, слава Богу, Петруша, сказала Матрена Васильевна, спускаясь съ чердака: — вѣтеръ-то сталъ, кажись, потише, и вода маленько убыла... А гдѣ Таня?... Таня! Таня!

— Она сейчасъ была тутъ, отвѣчалъ Петруша, — и онъ также сталъ кричать: — Таня! Таня!...

Отвѣта на эти крики не было.

— Гдѣ Таня? съ испугомъ вскрикнула Матрена Васильевна, натолкнувшись на кухарку.

— Я не знаю, матушка! она въ сѣняхъ была сію минуточку, отвѣчала кухарка.

Петруша, потерявшись, началъ бѣгать по всему дому, шарить во всѣхъ углахъ и кричать: «Таня! Таня!»

Онъ выбѣжалъ въ сѣни, на улицу, остановился по колѣно въ водѣ и кричалъ: — Таня! Таня!

Но въ отвѣтъ на это только завывалъ вѣтеръ и раздавался плескъ воды...

Тани нигдѣ не оказалось.

Блѣдное, печальное утро взошло надъ полузатопленной Гаванью. Матрена Васильевна все еще жила надеждой, что дочь ея гдѣ нибудь отъищется; но съ первымъ утреннимъ свѣтомъ эти надежды начинали въ ней исчезать. Она подошла къ окну, взглянула на убывающую воду и отчаянно вскрикнула въ послѣдній разъ: «гдѣ жъ моя Таня?...»

У ней отнялся языкъ. Двои сутки пролежала она безъ движенія, безъ памяти и безъ языка, а на третьи сутки отдала Богу душу.

Тимофѣй и Петруша опустили ее въ могилу.

Дней черезъ пять послѣ ея похоронъ, Тимофѣй, все ходившій по берегу взморья и какъ будто искавшись чего-то, увидѣлъ верстахъ въ двухъ отъ Гавани, на самомъ заворотѣ острова, женскій трупъ, только что прибытый волною къ песчаной отмели. Это былъ, по всѣмъ примѣтамъ, трупъ Тани. Онъ самъ сколотилъ для нея гробъ, вырылъ могилу въ лѣсу недалеко отъ берега, прочиталъ надъ гробомъ молитву и опустилъ его. Черезъ нѣсколько времени онъ обложилъ могилу дерномъ и поставилъ крестъ надъ нею.

Эту могилу, съ почернѣвшимъ и покачнувшимся отъ времени крестомъ, можно видѣть до сихъ поръ влѣво отъ Смоленскаго кладбища, въ лѣсу, на оконечности Васильевскаго острова.

О Петрушѣ нѣсколько времени послѣ похоронъ матери не было никакого слуху. Гдѣ онъ скрывался — неизвѣстно; только онъ не возвращался болѣе на свою квартиру.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, передъ самымъ Рождественскимъ постомъ, у освѣщеннаго плошками подъѣзда на одной изъ большихъ петербургскихъ улицъ столпились любопытные въ ожиданіи молодыхъ. Двѣ горничныя изъ сосѣдняго дома разсуждали между собою:

— А что, Маша, невѣсту-то ты видѣла?

— Какже, видѣла. Съ рожи-то она такъ себѣ; только, говорятъ, пребогатѣйшая... Онъ-то красавецъ передъ нею... ну да видно на богатство польстился; а ужъ волокита такой, что этакого и нѣтъ другаго... Просто бѣдовый!

Въ эту минуту къ подъѣзду съ громомъ начали подкатываться кареты, и изъ нихъ, мелькая блестящими тѣнями, стали выскакивать дамы въ великолѣпныхъ туалетахъ и кавалеры въ военныхъ и статскихъ мундирахъ, съ кавалеріями черезъ плечо и съ блестящими украшеніями на шеѣ и на груди, и въ числѣ ихъ начальникъ Петруши.

— Смотри, смотри... вотъ и молодые! вскрикнула одна изъ горничныхъ, толкая другую.

Всѣ придвинулись къ подъѣзду, чтобы лучше видѣть молодыхъ. Какой-то молодой человѣкъ въ фуражкѣ, бѣдно одѣтый и блѣдный, какъ смерть, протолкался впередъ всѣхъ и сталъ у самаго подъѣзда, оттолкнувъ женщину съ платкомъ на головѣ, не пускавшую его. Женщина выругала его *мазурикомъ*.

Изъ кареты вышла сначала молодая, въ бѣломъ атласномъ салопѣ, а за нею уже молодой, въ блестящемъ мундирѣ, на который была накинута шинель, и въ трехугольной, также блестящей, шляпѣ. Онъ ступилъ на тротуаръ съ подножки; но въ это самое мгновеніе человѣкъ въ фуражкѣ, протолкавшійся впередъ, ринулся на него съ какимъ-то безумнымъ ожесточеніемъ... Затѣмъ раздался крикъ... Нѣсколько

человѣкъ изъ толпы вмѣстѣ съ полицейскими служителями схватили безумца и связали. Въ рукахъ его оказался ножъ. Суматоха у подъѣзда сдѣлалась страшная. Къ счастію, онъ не успѣлъ нанести вреда молодому.

— Вотъ вѣдь я говорила, что мазурикъ! вскрикнула съ какимъ-то торжественнымъ ожесточеніемъ женщина съ платкомъ на головѣ...

Это необыкновенное происшествіе надѣлало въ Петербургѣ большаго шума. О немъ долго были различные, весьма противорѣчащіе толки.

XIV. ВСТРѢЧА НА НЕВСКОМЪ ПРОСПЕКТѢ.

Я надняхъ шелъ по Невскому проспекту съ однимъ моимъ знакомымъ. Солнце сіяло. День былъ морозный. Экипажи гремѣли, перегоняя другъ друга; развѣвались пестрые султаны посланничьихъ егерей и ярко сверкали красныя ливреи придворныхъ лакеевъ. Камеліи, укутанныя теплыми плащами, въ соболяхъ, развалясь въ своихъ колясках, мчались быстрѣе всѣхъ, перегоняя всѣ экипажи, и съ гордымъ равнодушіемъ поглядывали на свѣтскихъ женщинъ, которыя, въ свою очередь, поглядывали на нихъ не безъ любопытства. Цѣльныя стекла магазиновъ съ разнообразными выставками, освѣщенныя солнцемъ, привлекали праздношатающихся *порядочныхъ* и непорядочныхъ людей; на дверяхъ лавки Елисѣева висѣлъ билетъ съ надписью: «свѣжія устрицы»; у милютиныхъ лавокъ на тротуарѣ валялись устричныя раковины для соблазна, а изъ оконъ выглядывали кисти винограда и огромныя груши. Петербургъ былъ во всемъ блескѣ и въ полномъ сборѣ. Намъ попался навстрѣчу господинъ среднихъ лѣтъ, высокаго роста, съ горбатымъ носомъ, въ золотыхъ очкахъ, чрезвычайно гордо несшій свою курчавую голову.

— Кто этотъ бель-омъ? спросилъ я у моего знакомаго. — Это долженъ быть очень значительный человѣкъ: онъ такъ свысока поглядываетъ.

— Нѣтъ, не очень, отвѣчалъ мой знакомый: — это господинъ, читающій только иностранныя книги и состоящій на

губернаторской вакансіи. Недавно я провелъ съ нимъ вечеръ у одного изъ моихъ пріятелей. Рѣчь зашла о русской литературѣ. Въ числѣ присутствовавшихъ былъ нѣсколько литераторовъ. Кто-то замѣтилъ, что русская литература, какъ еще она ни молода, все-таки стоитъ нѣсколько повыше большинства своей публики.

Господинъ этотъ презрительно-иронически улыбнулся съ своей высоты и важно произнесъ:

— Вотъ это ново! это я слышу въ первый разъ: до сихъ поръ я думалъ совершенно наоборотъ, что публика наша стоитъ гораздо выше этой литературы, и эта литература не можетъ удовлетворять ее. Къ тому же, у насъ литература дурнаго тона. Объясните, почему всѣ истинно порядочные люди читаютъ только однѣ иностранныя книги?...

— Вамъ угодно знать объясненія этого? возразилъ одинъ изъ литераторовъ: — вамъ это можно бы было объяснить очень ясно и просто, еслибъ это былъ фактъ; но я вамъ долженъ замѣтить, прежде всего, что всѣ образованные и благовоспитанные люди считаютъ долгомъ слѣдить и слѣдятъ за развитіемъ своей отечественной литературы, какъ бы, повидимому, она ни была мелка и ничтожна. А если она не удовлетворяетъ вполнѣ людей *очень развитыхъ*, къ какимъ, вѣроятно, вы причисляете самого себя, то это не ея вина, потому что она не находится въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ находятся европейскія литературы, и это, замѣтьте, принимается въ соображеніе всѣми людьми развитыми. Напрасно же вы изволите упускать это изъ виду. Если русская литература не удовлетворяетъ васъ, то виною этому вы же, милостивый государь!...

— Какимъ это образомъ я? глубокомысленно спросилъ господинъ, опуская глаза долу на литератора, который казался ему съ его высоты не крупнѣе муравья.

— А вотъ какимъ, отвѣчалъ литераторъ: — общество истинно образованное, дѣйствительно проникнутое національнымъ чувствомъ, споспѣшествуетъ ходу своей отечественной литературы всѣми зависящими отъ него средствами, гордится и радуется ея успѣхамъ, ея движенію впередъ, оно дѣло литературы считаетъ своимъ кровнымъ дѣломъ; а вы... я обращаюсь къ вамъ, какъ одной изъ единицъ русской публики...

(дай Богъ, чтобъ такихъ единицъ было меньше — это литераторъ не сказалъ, а подумалъ) вы вашимъ пренебреженіемъ къ ней (и въ добавокъ еще не заслуженнымъ) или повременамъ вашими криками о ней, которые еще хуже пренебреженія, задерживаете ее. Вы или говорите съ гримасой постыднаго презрѣнія: «можно ли читать русскіе журналы или книги? развѣ въ нихъ есть что нибудь замѣчательное, порядочное?» или когда изрѣдка дойдутъ до вашего слуха толки о какой нибудь статьѣ, написанной горячо, съ честною и благородною цѣлію, съ желаніемъ добра и пользы, и вы, возбужденные этими толками, изъ любопытства пробѣжите ее, — вы поднимаете гвалтъ, начинаете кричать о ея рѣзкости на всѣхъ перекресткахъ, ужасаться, удивляться, и тому подобное. Вы задерживаете успѣхи русскаго слова тѣмъ, что стыдитесь собственнаго, роднаго языка и считаете обязанностію, какъ человѣкъ порядочный, говорить по-французски, хотя вы по-французски говорите и съ трудомъ и плохо. Вы жалуетесь, что въ русской литературѣ, о которой вы не имѣете понятія, потому что сами признаетесь, что не читаете русскихъ книгъ, дурной тонъ; но хорошій и дурной тонъ — вещи относительныя: въ вашемъ кружку вы считаетесь, вѣроятно, человѣкомъ хорошаго тона, а какой нибудь князь, вращающійся въ кружку гораздо высшемъ вашего, навѣрно, смотритъ на васъ, какъ на человѣка дурнаго тона, и сами вы робѣете при князѣ и смотрите на него съ заискивающей улыбкою, тогда какъ на людей, стоящихъ ниже васъ, и то только съ точки зрѣнія вашей чиновничьей іерархіи, вы взираете свысока, что все въ совокупности показываетъ, что вы человѣкъ неблаговоспитанный. Вы извините меня за рѣзкость, прибавилъ литераторъ въ заключеніе. — Въ этомъ виноватъ не столько я, сколько нашъ языкъ: онъ еще не имѣетъ утонченности французскаго языка, потому что не проходилъ черезъ салоны Рамбулье и Рекамье...

Литераторъ говорилъ очень горячо. Господинъ этотъ, смотрѣвшій на всѣхъ свысока, былъ внутренно, кажется, смущенъ нѣсколько словами литератора; но это смущеніе онъ прикрылъ гордою осанкою, безподобнымъ взглядомъ, измѣрившимъ литератора съ ногъ до головы, и гримасою, въ родѣ улыбки, которая говорила: «Это дерзости; но я выше того,

чтобы отвѣчать на нихъ. Я прохожу ихъ презрительнымъ молчаніемъ Я поднимаю перчатку только отъ равныхъ мнѣ...»

И онъ вышелъ изъ комнаты съ чувствомъ необыкновеннаго достоинства, сопровождаемый улыбками молодежи, присутствовавшей тутъ, которая, конечно, болѣе сочувствовала литератору, чѣмъ этому великолѣпному господину, читающему только *иностранныя книги.*

Я потомъ собралъ кое-какія свѣдѣнія о немъ. Онъ сдѣлалъ свою карьеру довольно быстро, потому что находился при довольно значительномъ лицѣ, которое умѣло оцѣнить его преданность и благонамѣренность и вывело его за эти дѣйствительно похвальныя качества. Достигнувъ неожиданно скоро до чина, который составляетъ цѣль жизни многихъ и достигается иными лишь въ преклонныхъ лѣтахъ, господинъ, *читающій только иностранныя книги*, возмечталъ, что онъ призванъ быть государственнымъ человѣкомъ; прочитавъ нѣсколько извѣстныхъ французскихъ романовъ, а изъ такъ называемыхъ *серьёзныхъ* книгъ — *Капфига*, онъ возмечталъ, что имѣетъ полное право смотрѣть съ презрѣніемъ на русскую литературу. И сколько у насъ господъ въ родѣ этого господина, *читающаго только иностранныя книги!...*

Въ эту минуту съ моимъ знакомымъ раскланялся маленькій старичокъ въ мѣховомъ пальто, съ тросточкой съ позолоченнымъ наболдашникомъ, — самодовольная фигурка, шедшая пѣтушкомъ.

— Вотъ я эдакихъ людей лучше люблю, замѣтилъ мой знакомый. — Это премилый старичокъ. Онъ убѣжденъ очень искренно, что безукоризненно совершилъ подвигъ жизни, исполнилъ вполнѣ свой человѣческій долгъ, составивъ себѣ на службѣ и состояніе и капиталецъ, достигнувъ въ шестьдесятъ лѣтъ четвертаго класса и украсивъ грудь свою звѣздой. Проживалка, жившая нѣкогда у его жены, называетъ его *вельможей*, и онъ самъ считаетъ себя необыкновенно значительнымъ лицомъ и обижается, если его сажаютъ играть въ карты съ людьми ниже его чиномъ. Онъ сердится, если въ разговорѣ ему не говорятъ: ваше превосходительство, и потому всѣмъ обществамъ предпочитаетъ общество богатыхъ купцовъ, которые часто приглашаютъ его на обѣды. Тамъ онъ и покушаетъ хорошо, и выпьетъ, и поважничаетъ вдоволь, и

вполнѣ насладится уваженіемъ. Тамъ его слушаютъ, какъ оратора, и сидитъ онъ на первомъ мѣстѣ. Важничать передъ низшими, низкопоклонничать и распростираться передъ высшими— въ этомъ заключаются всѣ принципы, вынесенные имъ изъ его долгаго служебнаго поприща, весь нравственный кодексъ, на которомъ вертится его жизнь. Слова: благонамѣренность и нравственность, въ этомъ значеніи... о другой нравственности онъ и не подозрѣваетъ... не сходятъ у него съ языка. Молодыхъ или среднихъ лѣтъ людей, которые со всѣми ведутъ себя равно, не унижая никого и не унижаясь ни передъ кѣмъ, не роняя своего человѣческаго достоинства, онъ называетъ людьми съ *фанаберіей*. Онъ самъ не знаетъ опредѣленно смысла этого слова; но въ его понятіи оно имѣетъ широкое значеніе: отсутствіе лицемѣрія, низкопоклонности и преданности, неисполненіе до мелочей китайскихъ условій и приличій и, слѣдовательно, присутствіе безнравственности и либерализма — вотъ что заключается въ словѣ фанаберія!...

Старичокъ этотъ, выбранный въ прошломъ году въ члены Англійскаго клуба и дрожавшій отъ страху, чтобы его не забаллотировали (почему три года передъ выборомъ сряду, по его просьбѣ, его то выставляли на доску, то снимали съ нея), пришелъ въ такой восторгъ отъ чести кушать за однимъ столомъ и проводить время съ разными знатными и сановными особами, что, говорятъ, съ слезами на глазахъ сказалъ своему другу и прежнему сослуживцу (также въ четвертомъ классѣ):

— Ну, Прокофій Иванычъ, теперь я достигъ до всего, что только человѣкъ можетъ желать: изрядное состояньице, почетный чинъ, лента и наконецъ и до Англійскаго клуба добился... вотъ и билетъ: прочитай, братецъ! Теперь ужъ мнѣ ничего не остается, какъ умереть — и можно, кажется, умереть спокойно. Все, что называется, совершилъ въ жизни...

И надобно его видѣть въ клубѣ: какъ благоговѣйно онъ раскланивается высшимъ; какое глубокое уваженіе обнаруживаетъ передъ молодыми людьми, выскочившими не по лѣтамъ впередъ, которыхъ онъ въ душѣ ненавидитъ, какъ зараженныхъ фанаберіей, и съ какою почтительною осторожностью обращается даже просто съ клубными молодыми людьми, потому что въ клубѣ онъ во всѣхъ подозрѣваетъ знатныхъ особъ.

Онъ нашелъ въ клубѣ общество изъ четырехъ или пяти человѣкъ (также въ четвертомъ классѣ или около этого), съ которыми онъ сошелся на короткую, пріятельскую ногу, вслѣдствіе одинаковости взглядовъ на предметы и взаимной ненависти къ фанаберіи. Они играютъ не свыше десяти коп. въ ералашъ, а за обѣдомъ всегда сидятъ вмѣстѣ и разсуждаютъ между собою съ ужасомъ о томъ, что дѣлается нынѣ, и какъ фанаберія сильно начинаетъ распространяться. Въ этой теплой, дружеской бесѣдѣ нѣтъ пощады ничему живому и молодому, и особенно достается молодымъ людямъ, сдѣлавшимъ или дѣлающимъ карьеру, и толстымъ журналамъ, имѣющимъ успѣхъ въ публикѣ. Въ этой почтенной компаніи есть свой ораторъ и оракулъ, который лѣтъ тридцать назадъ тому, въ тѣ счастливыя времена, когда на французскомъ престолѣ былъ Карлъ X, а въ русской литературѣ шумѣлъ «Иванъ Выжигинъ», считался въ Петербургѣ остроумнѣйшимъ и краснорѣчивѣйшимъ изъ людей и приводилъ всѣхъ въ восторгъ и изумленіе своимъ словомъ, и на котораго теперь — увы! — никто не обращаетъ вниманія, кромѣ восьми или десяти человѣкъ, достигшихъ четвертаго класса и семидесятилѣтняго возраста и воображающихъ, что и въ сію минуту все должно идти такъ, какъ шло въ ихъ цвѣтущія лѣта. Когда оракулъ заговоритъ (а онъ все еще большой говорунъ, несмотря на старость), вся его компанія смолкаетъ и слушаетъ его съ подобострастіемъ. По мнѣнію оракула, всѣхъ молодыхъ людей съ карьерой надо истребить, всѣ толстые журналы сжечь на площади, потому что каждое правдивое, горячее, честное слово есть либерализмъ, непростительная дерзость, неуваженіе властей и прочее... «Фанаберія!» хоромъ повторяетъ его компанія. «И — Боже мой! — до чего доведетъ насъ эта фанаберія!» Начинаются стоны, жалобы, вздохи, поднятія очей къ потолку. Какъ тутъ бѣдному Гоголю достается, котораго они никогда не читали, потому что они ничего не читаютъ, кромѣ «Пчелки»!... По ихъ мнѣнію, начало фанаберіи именно въ «Ревизорѣ» и въ «Мертвыхъ Душахъ»; что эта книга—гнусная клевета на Россію; что у насъ нѣтъ ни Ноздревыхъ, ни Хлестаковыхъ, ни Чичиковыхъ, а одни только Добросердовы и Добронравовы... И мало ли чего не переговорятъ въ этой милой компаніи! По ихъ мнѣнію, Гоголь даже виноватъ въ томъ, что г. N. N.

въ десять лѣтъ *выскочилъ* въ дѣйствительные статскіе совѣтники и получилъ въ тридцать-два года такой постъ, какой прежде давался только въ награду людямъ солиднымъ, опытнымъ, извѣданнымъ въ благонамѣренности, послѣ сорокалѣтней службы.

— Да помилуйте, замѣчаетъ мой старичокъ четвертаго класса: — это поистинѣ невѣроятно! — Я уже шесть лѣтъ былъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, когда онъ, въ чинѣ десятаго класса, поступилъ къ намъ въ департаментъ. Такихъ примѣровъ еще доселѣ не было.

И старички пускаются злословить г. N. N., обвиняютъ его въ фанаберіи и еще хуже въ чемъ-то; а когда онъ проходитъ мимо ихъ, они почтительно привстаютъ передъ нимъ и кланяются ему съ самыми сладкими и заискивающими улыбками. Но на этихъ старичковъ нападать нечего: они беззубые и беззащитные; а непріятно слышать, когда вотъ эти образованные-то, не старые, зубастые и съ такъ называемыми широкими взглядами люди готовы изъязвить своего сверстника, поднявшагося одною ступенью выше ихъ, хотя они и сознаютъ, можетъ быть, внутренно, что онъ достоинъ такого повышенія. Къ чему ведутъ это образованіе и эти широкіе взгляды, если люди съ широкими взглядами топчутъ общественную пользу во имя своихъ личныхъ выгодъ, своего жалкаго и мелочнаго тщеславія и готовы подставить, при случаѣ, подножку дѣльному человѣку, который становится для нихъ опасенъ? Многимъ ли такіе господа лучше этихъ добродушныхъ и беззубыхъ старичковъ, помѣшавшихся на фанаберіи?... Однако ужъ начинаетъ смеркаться. Пора домой. Прощай!

Мы пожали другъ другу руки.

«Какой говорунъ!» подумалъ я.

XV. МОЙ ИНОГОРОДНЫЙ ДРУГЪ.

Онъ недуренъ собой... по крайней мѣрѣ, это находитъ Мина Александровна, — а на ея утонченный вкусъ, касательно нашего пола, я совершенно полагаюсь; онъ хотя не первой молодости, впрочемъ, моложе насъ съ вами, если эпоха нашего рожденія близка къ незабвенному для Россіи 1812 году; до

конца прошлаго года онъ никогда не бывалъ въ Петербургѣ. У него такого рода состояніе, которое теперь называютъ только состояніемъ, а прежде называли богатствомъ. Онъ воспитывался въ одномъ изъ губернскихъ университетовъ и кончилъ, говорятъ, курсъ изъ первыхъ, хотя, правду сказать, прочныхъ, основательныхъ и серьёзныхъ свѣдѣній у него нѣтъ. Онъ имѣетъ, впрочемъ, понятіе обо всемъ и можетъ поддерживать разговоръ о матеріяхъ важныхъ. Послушавъ его немного, можно даже сказать про-себя: «у, какой образованный!» Въ двадцать-три года онъ распоряжался вполнѣ своей собственною душою и сотнями другихъ душъ, не входя, впрочемъ, въ тонкости отношеній этихъ душъ къ своей собственной. Съ этого же времени онъ началъ службу по выборамъ, — не потому, чтобы онъ слишкомъ сознавалъ важность этой службы, но болѣе потому, что эта служба казалась ему покойна и льстила его самолюбію (его, какъ человѣка съ состояніемъ, выбирали, разумѣется, въ должности видныя). Родители его баловали, потому что онъ былъ у нихъ одинъ, и ничего не щадили на его воспитаніе, то есть къ нему съ раннихъ лѣтъ были приставлены нѣмецъ-дядька и французъ-гувернёръ. Отчасти по милости папеньки и маменьки, отчасти по собственной натурѣ и отчасти по милости француза, изъ прелестнѣйшаго и капризнѣйшаго ребенка-барченка онъ превратился въ пріятнаго молодаго человѣка, ловкости и легкости необыкновенной. За нимъ съ дѣтства всѣ ухаживали: и папенька, и маменька, и дядьки, и няньки, и гувернёры, и профессора, у которыхъ онъ жилъ въ губернскомъ городѣ, приготовляясь къ университету, и которымъ платили, разумѣется, большія деньги, и даже товарищи, которые въ то же время нѣсколько завидовали его бойкости, ловкости, успѣхамъ между губернскими гризетками, вороному рысаку завода его папеньки и дрожкамъ, выписаннымъ для него изъ Москвы. Онъ немножко привыкъ считать себя высшимъ, сравнительно съ другими, существомъ и полагалъ, что всѣ его окружавшіе созданы для его удовольствія и забавы. Это были результаты воспитанія и обстоятельствъ, которыя окружали его съ дѣтства, и за это нельзя осуждать его... Еще студентомъ на аристократическихъ губернскихъ балахъ онъ слылъ первымъ кавалеромъ и приводилъ въ восхищеніе барынь и барышень своими манерами. Когда

онъ сдѣлался неограниченнымъ распорядителемъ самого себя и другихъ, въ немъ вдругъ вспыхнуло желаніе ѣхать на службу въ Петербургъ; но это желаніе тотчасъ же потухло при мысли, что въ Петербургѣ онъ не можетъ играть видной роли, а отъ такой роли ему тяжело было отказаться. «Лучше быть, думалъ онъ, первымъ въ своемъ уголкѣ, какъ бы онъ ничтоженъ ни былъ, чѣмъ смѣшаться съ толпою въ блестящемъ свѣтѣ». Такъ думаютъ, впрочемъ, многіе, не онъ одинъ. Однако, этотъ блестящій свѣтъ часто мерещился ему и смущалъ его самолюбіе; но онъ примирился окончательно съ своимъ положеніемъ, когда его выбрали чуть не единогласно въ уѣздные предводители. Предводитель онъ былъ неотличный и только подписывалъ то, что ему подносилъ его секретарь. Говорили, будто бы этотъ секретарь, стакнувшись съ другими уѣздными властями, бралъ взятки и смотрѣлъ сквозь пальцы на все, что дѣлалось по дѣламъ предводительскимъ въ уѣздѣ; говорили, что управляющій его деревнями, сынъ его дядьки-нѣмца, не совсѣмъ справедливо распоряжался крестьянами, и что баринъ, добрѣйшій изъ господъ, не видѣлъ, что дѣлается у него подъ носомъ, избѣгалъ всякихъ сношеній съ своими подчиненными, охотился, волочился за губернскими красавицами и хвасталъ своими успѣхами... но было ли это такъ дѣйствительно, я, право, не знаю. То, что онъ немножко разъигрывалъ роль провинціальнаго Донъ-Жуана, это несомнѣнно. Между прочимъ, онъ приволакивался, и не безъ успѣха, за одной молодой барыней, слухи о красотѣ которой доходили даже до Петербурга. Барыня эта, также избалованная нѣсколько своими родителями, немножко испорченная своими воспитательницами и немножко впослѣдствіи своими многочисленными поклонниками, превратилась въ очаровательнѣйшую изъ провинціальныхъ кокетокъ, противъ которой не было никакихъ силъ устоять. Она вышла замужъ за человѣка страннаго, за какого-то оригинала, который рѣзалъ всѣмъ правду въ глаза, начиная съ высшихъ провинціальныхъ властей; шелъ по прямой дорогѣ, никогда не увлекаясь проселочными, не дозволялъ себѣ ни единаго уклончиваго слова, говорилъ мало, а дѣлалъ много для блага тѣхъ, которые отъ него зависѣли, не подчинялся уставу о тысячи китайскихъ церемоніяхъ, не пользовался любовью помѣщиковъ и былъ

любимъ своими крестьянами. Помѣщики даже нѣсколько побаивались его, жена его уважала; но онъ не имѣлъ блестящихъ манеръ, не отличался ловкостью и былъ уже не первой молодости. Мой иногородный другъ мало обращалъ вниманія на мужа и очень ухаживалъ за женою. Между молодымъ человѣкомъ, о которомъ съ восторгомъ отзывались всѣ губернскія дамы, и молодою барынею, которая производила величайшій эффектъ своею красотою и кокетствомъ, послѣдовало очень натуральное сближеніе и завязалась переписка. Одно изъ писемъ молодаго человѣка на отличномъ французскомъ языкѣ, очень горячо написанное, какимъ-то образомъ попалось въ руки мужа. Мужъ прочелъ его внимательно и спокойно, не подалъ ни малѣйшаго вида женѣ, продолжалъ обращаться очень внимательно съ сочинителемъ письма, но однажды, вылучивъ удобную минуту, когда они остались глазъ на глазъ, вынулъ изъ кармана письмо и хладнокровно спросилъ:

— Вы писали это письмо?

Этотъ вопросъ былъ такъ страненъ и неожиданъ, что мой иногородный другъ вдругъ поблѣднѣлъ и смѣшался, взглянувъ на письмо, и не нашелся ничего отвѣчать.

— Вы любите мою жену? продолжалъ онъ, пристально глядя въ глаза молодаго человѣка, безъ малѣйшаго волненія, какъ будто онъ предлагалъ ему самый обыкновенный вопросъ.

На это послѣдовалъ отвѣтъ не совсѣмъ складный и ясный, въ которомъ разъ пять было повторено Я при началѣ фразы безъ окончанія.

— И вы увѣрены, что она расположена къ вамъ?

И на этотъ новый вопросъ не послѣдовало рѣшительнаго отвѣта.

— Что, если бы я, произнесъ мужъ тѣмъ же спокойнымъ тономъ: — убѣдясь въ вашей взаимной склонности и въ томъ, что вы, дѣйствительно, можете составить счастіе этой женщины, что вы серьёзно другъ друга любите, сказалъ вамъ: препятствіе между вами и ею — я. Это препятствіе не существуетъ. Она свободна съ этой минуты... что бы вы отвѣчали мнѣ на это?... Говорите по совѣсти...

Мой иногородный другъ молчалъ, кусая губы.

— Вы молчите, такъ въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ говорить. Въ васъ нѣтъ не только любви, даже увлеченія.

Вы сегодня волочитесь за моею женою потому, что о ней кричатъ; завтра забудутъ о ней и будутъ кричать о другой — вы станете ухаживать за тою. Вы только ищете пищи для удовлетворенія своего мелочнаго тщеславія и, можетъ быть, нѣсколько раздражены препятствіями; но когда поэзія препятствій уничтожится, вашъ пылъ остынетъ. Я увѣренъ, что вы честный человѣкъ; но вы затѣваете безчестное дѣло, потому что, по легкомыслію и молодости, не отдаете себѣ отчета въ своихъ поступкахъ. Вы шутите съ жизнію; а жизнь не шутка. Подумайте хорошенько о томъ, что я говорю, спросите самого себя, хорошее ли дѣло вы начинаете. Я вамъ даю нѣсколько дней на размышленіе. Я увѣренъ, что вы отвѣтите мнѣ, какъ честный человѣкъ, искренно и прямо.

Эта сцена, переданная мнѣ иногороднымъ другомъ гораздо подробнѣе, чѣмъ я передаю ее здѣсь, до того подѣйствовала на него, что онъ, возвратясь домой, написалъ письмо къ мужу, прося его прощенія и сознаваясь, что онъ поступилъ, какъ мальчишка. Это было сильное внутреннее потрясеніе, которое пробудило въ немъ въ первый разъ всѣ его нравственные инстинкты.

— Поступокъ этого человѣка со мною такъ на меня подѣйствовалъ, говорилъ онъ мнѣ: — что я вдругъ заперся у себя въ деревнѣ, совершенно измѣнилъ свой образъ жизни, началъ поневолѣ на все смотрѣть серьёзно, учиться и читать. Моя прошедшая жизнь показалась мнѣ ужаснымъ безобразіемъ; я прогналъ управителя-нѣмца и самъ сдѣлался управителемъ. Изъ человѣка, который не зналъ счета въ деньгахъ и бросалъ ихъ направо и налѣво, не зная, какимъ пòтомъ добывались онѣ, я сдѣлался, по совѣсти, человѣкомъ разсчетливымъ. Я отказался отъ званія уѣзднаго предводителя, видя, что не могу эту обязанность исправлять какъ слѣдуетъ. Эта передѣлка самого себя, эта борьба съ самимъ собою доставалась мнѣ, впрочемъ, не дешево: мои прежнія наклонности и привычки иногда возставали во мнѣ съ такимъ упорствомъ, что мнѣ надобно было собирать всю энергію воли, чтобы подавить ихъ, и я подавлялъ ихъ съ болью. Но зато торжество надъ самимъ собою доставляло мнѣ такія минуты блаженнаго ощущенія, какихъ я никогда не испытывалъ до этого. Мое уединеніе, сначала тяготившее меня, мало-

по-малу дѣлалось моею потребностью. Я начиналъ понимать, что собственно съ природой и книгами нѣтъ уединенія, что природа можетъ дать иногда гораздо болѣе, чѣмъ люди. Я не видалъ и не замѣчалъ прежде природы. Она открылась передо мною тогда только, когда я оторвался отъ всѣхъ своихъ прежнихъ связей, заперъ двери для всѣхъ и вошелъ въ самого себя. Тогда все передо мною какъ будто ожило и воскресло, какъ будто новое зрѣніе, новый слухъ, новое обоняніе были вдругъ даны мнѣ какимъ-то чудомъ. Солнце, которое заходило за горой въ лѣтній вечеръ; луга, пашни, лѣса, плававшіе въ розовомъ парѣ его потухавшихъ лучей; заунывная и безконечно тянувшаяся пѣсня мужика, возвращающагося съ сѣнокоса; пестрое стадо на водопоѣ у рѣчки; тишина остывающаго вечера послѣ раскаленнаго дня; густые пары, поднимающіеся съ озера; тысячи голосовъ насѣкомыхъ въ травѣ и въ кустахъ передъ закатомъ, кваканье лягушки въ пруду въ темную лунную ночь,—вся поэзія, вся прелесть деревенской жизни со всѣми ея мелочами, до тѣхъ поръ ускользавшая отъ меня, все это вдругъ охватило меня. Бывало, у меня слезы навертывались на глазахъ, когда, гуляя вечеромъ, забредешь куда нибудь далеко отъ деревни и очутишься одинъ-одинехонекъ въ кустахъ оврага надъ рѣкою, откуда открывается видъ верстъ на десять, или утонешь во ржи, которая вся подернута красноватымъ заревомъ заката. Остановишься въ какомъ-то блаженствѣ, не думая ни о чемъ; только вдыхаешь полною грудью воздухъ, напитанный тонкимъ запахомъ ржи, да прислушиваешься къ стрекотанью и треску невидимыхъ насѣкомыхъ, среди такой тишины, когда ни одинъ листочекъ не шевелится на кустѣ. А внутри такъ легко и покойно.

Я слушалъ моего иногороднаго друга съ наслажденіемъ. Онъ передавалъ мнѣ свои деревенскія ощущенія съ такой искренностью и простотою, которую я не съумѣю никогда передать... Онъ пробудилъ во мнѣ всѣ порыванія мои къ той жизни, которая такъ часто грезится мнѣ и во снѣ и на яву. Онъ вдругъ пахнулъ на меня чистымъ, свѣжимъ воздухомъ; оторвалъ меня на минуту отъ моихъ мелочныхъ ежедневныхъ заботъ; заставилъ забыть меня на минуту всѣ литературныя дрязги, журнальныя клеветы, сплетни и проч.

— Пять лѣтъ, продолжалъ мой иногородный другъ: — я прожилъ почти безвыѣздно въ своей деревнѣ и видался только съ однимъ изъ своихъ сосѣдей, котораго я любилъ за его прямоту, честность, а болѣе всего за то, что крестьянамъ его было хорошо жить. По его милости, и я сдѣлался порядочнымъ помѣщикомъ и заслужилъ любовь своихъ крестьянъ. Я уже думалъ, что я сдѣлался вполнѣ человѣкомъ, что я готовъ на борьбу жизни, что сознаніе долга во мнѣ сильно, что у меня выработался взглядъ на жизнь и убѣжденія, что я уже не сверну съ прямой дороги, и я уже внутренно началъ гордиться этимъ и нѣсколько свысока посматривать на другихъ.

Но въ Петербургѣ я почувствовалъ опять свою слабость, безсиліе своего характера, неспособность бороться съ своими дурными инстинктами. Гордость моя здѣсь начала пропадать. Пустота, суетность и тщеславіе опять овладѣли мною, и еще съ бо̀льшею силою. Въ началѣ я еще кое-какъ боролся съ собою. Меня поразили та беззаботность, то безсознательное хладнокровіе, съ которымъ здѣсь бросаются деньги, добываемыя внутри съ такимъ трудомъ; я старался увѣрить себя, что мнѣ возмутительна эта роскошь, которая такъ мечется въ глаза на соблазнъ людямъ, не имѣющимъ средствъ. Но всѣ мои благоразумныя фантазіи, планы и разсчеты разлетѣлись, когда я прикоснулся къ дѣйствительности. Я пріѣхалъ сюда недѣли на двѣ или на три — много на мѣсяцъ — и вотъ ужъ теперь живу здѣсь больше года. И чѣмъ все это кончится — я, право, не знаю.

Иногородный другъ мой высказывалъ все это очень горячо, потомъ вдругъ остановился и прибавилъ:

— Худо то, что я теряю вѣру въ самого себя; а съ человѣкомъ, теряющимъ вѣру въ себя, разсуждать нечего: глядя на него, остается только махнуть рукой....

— Вы, я думаю, не совсѣмъ справедливы къ самому себѣ, перебилъ я его: — вы сердитесь на самого себя, а это признакъ, что въ васъ есть еще силы для борьбы съ самимъ собою.

— Нѣтъ, вы не знаете меня хорошенько, возразилъ съ досадою мой иногородный другъ: — я признаюсь вамъ во всемъ, я буду съ вами откровененъ. Я вамъ покажу себя въ такомъ безобразіи, что вы ужаснетесь. Во мнѣ, напримѣръ, развилось здѣсь самое мелочное и жалкое самолюбіе, до того, что я

сдѣлался лгуномъ, самъ не зная какъ!... повѣрите ли вы этому?... Да, для того, чтобы удовлетворять, напримѣръ, прихотямъ женщины, которую я люблю дѣйствительно или насилую любить себя по тщеславію, — я этого еще не разобралъ хорошенько, — для удовлетворенія капризамъ этой женщины, изъ боязни потерять ее, я прикинулся втрое богаче, чѣмъ въ самомъ дѣлѣ, и въ восемь мѣсяцевъ надѣлалъ такихъ глупостей, которыя не буду въ состояніи поправить всю жизнь. Я хотѣлъ въ глазахъ этой женщины придать себѣ бо́льшее значеніе, утроивъ цифру своего дохода. Согласитесь, что такъ поступать могутъ только мальчишки и, притомъ, дурно воспитанные? Совсѣмъ одурѣвъ отъ этой роскоши, отъ этого блеска, я бросалъ деньги наравнѣ съ людьми, которые имѣютъ вдесятеро, во сто разъ больше, чѣмъ я — и для чего? — для того только, чтобы вести дружбу съ этими людьми, для того, чтобы сойтись съ ними на *ты*, на пріятельскую ногу, для того, чтобы весь вашъ Петербургъ видѣлъ, — я такъ воображалъ, потому что Петербургъ, разумѣется, и не замѣчалъ меня, — что я другъ съ такими блестящими людьми, что я вращаюсь въ такомъ высокомъ обществѣ!... А что это за люди, вы знаете. И что я имѣю съ ними общаго?... Я умиралъ отъ скуки съ ними, я не слыхалъ ни отъ одного изъ нихъ не только какой нибудь свѣжей мысли, ни одного живаго слова. Я просиживалъ съ ними цѣлыя ночи у Дюссо или у Донона, выслушивая вѣчные толки о лошадяхъ, анекдоты объ извѣстныхъ женщинахъ, о театральныхъ сплетняхъ и о разныхъ глупостяхъ, о которыхъ вспоминать стыдно. Мало этого: я прикидывался, что самъ принимаю интересъ во всемъ этомъ. Я пилъ, когда мнѣ пить не хотѣлось, и возвращался домой съ болью въ головѣ, съ внутренней пустотой, съ тайнымъ презрѣніемъ къ самому себѣ, которое заглушалось постыдными утѣшеніями глупаго самолюбія, что я вращаюсь съ людьми *хорошаго тона*, слѣдовательно и самъ я человѣкъ хорошаго тона. Я таскался по театрамъ не потому, чтобы интересовали меня искусство, успѣхи нашей сцены.... нѣтъ! я ѣздилъ въ балетъ, чтобы аплодировать танцовщицѣ, за которою ухаживалъ одинъ изъ моихъ пріятелей, господинъ хорошаго тона, а въ оперу потому, что туда ѣздятъ всѣ порядочные люди, хоть у меня нѣтъ музыкальнаго уха, хоть музыка дѣйствуетъ только болѣе

или менѣе раздражительно на мои нервы.... Я и передъ вами прикидывался, кажется, музыкантомъ? Но я, клянусь вамъ, за милліонъ не отличу вѣрнаго отъ невѣрнаго звука; а сколько разъ бывало на замѣчанія: «какъ этотъ господинъ или эта госпожа фальшатъ!» я поддакивалъ, восклицая, съ видомъ знатока: «ужасно! нестерпимо!» и корчилъ еще при этомъ гримасу, какъ будто бы фальшивый звукъ, дѣйствительно, безпокоилъ меня. Я былъ счастливъ, когда гулялъ по Невскому рука въ руку съ какимъ нибудь блестящимъ господиномъ. Нѣсколько разъ, когда, прогуливаясь съ однимъ изъ такихъ и встрѣтивъ васъ, я былъ внутренно въ восхищеніи, что вы встрѣтили меня именно съ нимъ, и думалъ.... видите ли, какъ я съ вами откровененъ?... «пусть онъ себѣ пишетъ сатирическія статейки и проповѣдуетъ противъ суетности и тщеславія, а я пари держу, что я выросъ на цѣлый вершокъ въ его мнѣніи послѣ того, какъ онъ увидѣлъ меня дружески идущаго рука въ руку и фамильярно разговаривающаго съ такимъ господиномъ!» Меня радовало до глупости, что я въ короткое время пріобрѣлъ такія великосвѣтскія знакомства, которыхъ вы не имѣете, проживъ всю жизнь въ Петербургѣ, и что я иногда могу пустить пыль въ глаза вамъ и другимъ моимъ знакомымъ такими именами, которыя произносятъ иные захлебываясь отъ благоговѣнія. Если мнѣ попадались невстрѣчу гдѣ нибудь на гуляньи ваши Мины Александровны, Луизы, Берты и прочія, когда я шелъ съ человѣкомъ неизвѣстнымъ и плохо одѣтымъ, мнѣ становилось неловко и досадно, хотя онѣ меня почти не знали, и я не имѣлъ на нихъ никакихъ видовъ. Самолюбіе мое не давало мнѣ покоя; я завидовалъ до безумія всѣмъ богатымъ людямъ и часто одинъ, лежа на диванѣ, увлекался такими фантазіями, отъ которыхъ въ другія минуты самъ краснѣлъ. Я воображалъ себя обладателемъ милліоновъ, строилъ великолѣпный домъ, меблировалъ его въ головѣ до послѣднихъ подробностей, давалъ у себя вечера и обѣды для самыхъ значительныхъ лицъ, ставилъ себя въ разныя положенія и отношенія къ этимъ лицамъ, велъ съ ними разговоры и былъ убѣжденъ, что съ моимъ умомъ, образованіемъ и дарованіями, съ моимъ вкусомъ, тактомъ и тонкостію я съумѣлъ бы распорядиться съ этими милліонами, какъ никто. Я перешелъ въ мое пребываніе въ Петербургѣ черезъ всѣ

степени суетности и тщеславія и теперь вотъ въ сію минуту, когда я говорю съ вами, смѣюсь надъ самимъ собою, отдаю вамъ себя на посмѣяніе, и теперь — я чувствую это — я въ состояніи еще сдѣлать неслыханную глупость, выходящую изъ тщеславія или изъ самаго жалкаго и мелкаго самолюбія. А не забудьте, я пять лѣтъ провелъ, какъ схимникъ, пять лѣтъ читалъ, учился, хозяйничалъ, трудился, упорно искоренялъ въ себѣ всѣ гадости и почти торжествовалъ побѣду надъ собою!

Мой иногородный другъ въ волненіи прошелся нѣсколько разъ молча по комнатѣ и вдругъ обратился ко мнѣ:

— Нѣтъ, я долженъ рѣшительно уѣхать отсюда, я не могу оставаться здѣсь....

— Да что же вамъ мѣшаетъ уѣхать? сказалъ я.

— Что?... (Онъ на минуту задумался). Но я отъ васъ не буду скрываться. Я люблю женщину, которую вы знаете, съ которой вы меня познакомили. Если бы не она....

— Неужели? кто же это? спросилъ я, не смотря на него.

— Какъ будто вы не догадываетесь?... Помните, у кого мы съ вами были на островахъ на дачѣ нынѣшнее лѣто.

— Александра Николаевна?

— Да, Александра Николаевна, повторилъ онъ: — я люблю ее. Вы давно знаете ее.... Скажите мнѣ, что вы думаете о ней?

— Она неглупая и незлая женщина, съ большимъ желаніемъ нравиться, она немножко избалована и капризна, немножко легко смотритъ на жизнь....

Я остановился, потому что не зналъ, что прибавить къ этому.

— Это странная женщина.... я ее до сихъ поръ не могу разгадать, сказалъ мой иногородный другъ, бросая сигару, которую онъ только что закурилъ передъ этимъ: — въ ней такая смѣсь хорошихъ качествъ и дурныхъ наклонностей и привычекъ, что ее можно любить и ненавидѣть въ одно и то же время. То мнѣ кажется, что это женщина съ сердцемъ, то, что въ ней нѣтъ признака сердца, ничего, кромѣ холоднаго эгоизма, смѣшаннаго съ самою пустою суетностію. Иногда она бываетъ такъ увлекательна, такъ тонко-умна, иногда въ ней бываетъ столько поэзіи и женственности, столько теплоты и мягкости и столько благоразумія, что, слушая ее и глядя на нее, думаешь, что это само совершенство; а иногда ея

громкій, раздражающій смѣхъ, рѣзкость манеръ и сужденій, капризы, ничѣмъ необъяснимые, и нелѣпыя желанія и требованія могутъ привести самаго кроткаго человѣка въ бѣшенство. Случается, что она по цѣлымъ недѣлямъ сидитъ дома, никого постороннихъ не принимаетъ и не хочетъ видѣть: читаетъ, работаетъ, занимается хозяйствомъ, аккуратно записываетъ всѣ свои издержки, даже дѣлается разсчетливою; — вдругъ, безъ всякой причины, бросаетъ все, начинаетъ тратить тысячи на свой туалетъ, всякій день выѣзжаетъ въ театръ, съума сходитъ о какомъ нибудь браслетѣ неслыханной цѣны, который она увидитъ въ Англійскомъ магазинѣ, и до тѣхъ поръ, покуда не купитъ его, съ ней дѣлаются обмороки, нервическіе припадки и Богъ знаетъ что. Она увѣряетъ, что терпѣть не можетъ новыхъ знакомствъ, а между тѣмъ, Богъ знаетъ для чего, принимаетъ къ себѣ разныхъ мальчишекъ, только что вырвавшихся изъ школы, да еще кокетничаетъ съ ними; смѣется надъ разными великосвѣтскими обычаями и приличіями — и смѣется-то еще какъ умно и ядовито! — а иногда сама вздумаетъ корчить великосвѣтскую даму, задаетъ такіе тоны, что даже смотрѣть на нее досадно, назначаетъ у себя дни, устроиваетъ салонъ, — и тогда подавайте ей откуда хотите, и чего бы это ни стоило, севрской сервизъ и серебряный самоваръ.... Въ первые два пріема она сіяетъ счастіемъ. Севромъ и серебряннымъ самоваромъ она тайно любуется, какъ ребенокъ, потомъ вдругъ все это исчезаетъ, неизвѣстно по какой причинѣ: самоваръ продается за полцѣны, и является какая нибудь новая прихоть! Подавайте ей непремѣнно толстаго кучера, съ огромной черной бородищей: иначе, она никуда не выѣдетъ, будетъ плакать, совсѣмъ разстроитъ себя, занеможетъ.... И этой женщинѣ слишкомъ тридцать лѣтъ!...

— Чему жъ вы удивляетесь? перебилъ я моего иногороднаго друга: — вамъ тоже за тридцать, а вы сами признаетесь, что увлекаетесь такими вещами, которыми можно увлекаться развѣ въ восемьнадцать. Ей еще простительнѣе....

— А мнѣ непростительно? Да, я это очень хорошо знаю. Если бы я не сознавалъ этого, я былъ бы покоенъ, я считалъ бы себя счастливѣйшимъ человѣкомъ.

— Нѣтъ, вы не поняли меня, замѣтилъ я: — я и васъ не виню, но только вашимъ примѣромъ оправдываю ее и

нахожу, что въ ея капризахъ и слабостяхъ нѣтъ ничего особенно удивительнаго. Васъ это удивляетъ потому, что вы такую женщину встрѣчаете въ первый разъ; а въ Петербургѣ много похожихъ на нее. Несмотря на ваше знакомство съ Петербургомъ, вы все еще продолжаете *удивляться*, тогда какъ ужъ мы ничему не удивляемся.

— Можетъ быть, сказалъ онъ:—но мнѣ досадно и больно то, что я не умѣю отличать въ ней правды отъ лжи, истинныхъ слезъ отъ притворныхъ, настоящаго раскаянія отъ комедіи. Я увѣренъ, что и вы не отличили бы этого. Нельзя же допустить, чтобъ въ ней все было ложь, все театральное. Искусство нельзя довести до такой степени правды, которая иногда дышетъ въ каждомъ ея взглядѣ, въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи. Я никогда не забуду одной нашей прогулки нынѣшнее лѣто. Въ этотъ день мы были какъ-то особенно хорошо настроены. Утромъ я читалъ ей шекспирова «Лира», и читалъ съ большимъ увлеченіемъ, потому что я видѣлъ, какъ она тонко понимаетъ все и съ какимъ сочувствіемъ и любопытствомъ слѣдитъ за чтеніемъ. Ея восторгъ, ея слезы, ея восклицанія и замѣчанія были такъ просты, искренни и вѣрны, что въ эту минуту я былъ убѣжденъ, что на всемъ земномъ шарѣ нѣтъ другой женщины, которая бы лучше могла понимать Шекспира. Корделія такъ поразила ее, что она впродолженіе всего дня безпрестанно переходила къ ней въ разговорѣ, задумывалась и вдругъ припоминала ея стихи. Вечеромъ, въ самомъ поэтическомъ расположеніи духа, мы отправились кататься на лодкѣ. Вечеръ былъ чудесный и теплый, какіе бываютъ рѣдко въ Петербургѣ. Она была такъ хороша въ этотъ вечеръ, что вы себѣ представить не можете. Ея темные волосы напереди падали длинными локонами до самой груди; они нѣсколько развились отъ влажности воздуха. Въ ея глазахъ было столько задумчивости и кротости, во всемъ ея существѣ столько искренности и тихой грусти!... Она была блѣдна; но заря, которой горѣли облака и которой была подернута вода, гладкое, какъ стекло, отражалась и на ея лицѣ тонкимъ розовымъ оттѣнкомъ. Она казалась моложе пятью годами. Даже голосъ ея въ этотъ вечеръ былъ особенно мягокъ и музыкаленъ. Она говорила мнѣ о томъ, что хочетъ совсѣмъ измѣнить свою жизнь, что она была бы

счастлива, если бы могла уѣхать изъ Петербурга на нѣсколько лѣтъ, что она чувствуетъ потребность уединенной, деревенской жизни. Я предложилъ ей мою деревню, и она, какъ дитя за новую игрушку, съ восторгомъ ухватилась за эту мысль. Мы начинали строить планы о нашей будущей деревенской жизни и удивительно фантазировали на эту тему. Когда мы возвратились домой, она объявила мнѣ рѣшительно, что не хочетъ оставаться въ Петербургѣ, и даже нѣсколько дней послѣ того приготовлялась къ отъѣзду, покупала для деревни разныя книги... Не притворялась же она въ эту минуту — такое притворство невозможно! — а кончилось тѣмъ, что она поѣхала въ Москву на коронацію, издержала въ полтора мѣсяца тысячъ пять, о деревнѣ тамъ уже не говорила ни полслова, принимала къ себѣ разныхъ адъютантовъ, флигель-адъютантовъ, секретарей посольствъ и возвратилась въ Петербургъ съ такими прихотями, какихъ я еще не замѣчалъ въ ней прежде. Я было на дняхъ, по возвращеніи моемъ въ Петербургъ, заикнулся ей о деревнѣ — куда! и слышать не хочетъ; вспылила, назвала меня эгоистомъ, тираномъ, закричала, что она не можетъ жить безъ оперы; что это единственное ея наслажденіе въ жизни; что я хочу ее лишить этого послѣдняго наслажденія, и проч. Чуть нервическій припадокъ не сдѣлался! Я и прикусилъ языкъ. Послѣднее время я съ ней совсѣмъ не могу говорить: о чемъ бы ни зашла у насъ рѣчь, она ужъ непремѣнно кончится трагической сценой — слезами, упреками и проч. Нельзя представить себѣ, до какой нервической раздражительности дошла эта женщина въ послѣднее время... Всякое малѣйшее противорѣчіе выводитъ ее изъ себя: войдешь тихо въ комнату, гдѣ сидитъ она — бѣда, заговоришь громко — она мѣняется въ лицѣ. Только и твердитъ: «Мнѣ нужно разсѣяніе, разсѣяніе: иначе, я съума сойду». Нельзя найти минуты удобной, чтобы поговорить съ ней серьёзно. Она почти всякій день въ театрѣ, а послѣ театра еще принимаетъ къ себѣ разныхъ блестящихъ господъ, и они сидятъ у ней часу до третьяго. Я было ей заикнулся, что такой образъ жизни для нея вреденъ, что ей надобно подумать о себѣ серьёзно и лечиться — такъ вспылила, что ужасъ...

— Я, говоритъ, уѣду за границу. Я не хочу здѣсь оста-

ваться и прошу васъ не заботиться обо мнѣ: я сама знаю, что для меня полезно и вредно.

«Ну—подумалъ я про себя, выслушавъ все это—дѣло-то идетъ, кажется къ развязкѣ».—Что жъ, если она непремѣнно захочетъ поѣхать за границу, и вы поѣдете? спросилъ я, взглянувъ на моего иногороднаго друга.

— Непремѣнно, отвѣчалъ онъ, на минуту не задумавшись.—Я вамъ повторяю, что, несмотря на всѣ капризы и слабости, я люблю ее.

— А она любитъ васъ?

— Я, откинувъ всякое самолюбіе, увѣренъ, что она любила меня; а теперь я самъ не знаю: иногда мнѣ кажется еще, что она любитъ меня, иногда... ея кокетство съ другими выводитъ меня изъ терпѣнія... Я знаю, что это одно только кокетство; но...

Иногородный другъ мой остановился и прибавилъ потомъ:

— Можетъ быть, это глупо; но я не могу не ревновать... Что жъ дѣлать?

«О, самолюбіе человѣческое—подумалъ я—какъ ты ослѣпляешь людей и какими смѣшными дѣлаешь ихъ!... Мой иногородный другъ воображаетъ, что удивительно какъ понимаетъ самого себя и видитъ, какъ въ чистомъ зеркалѣ, самое вѣрное изображеніе отношеній своихъ къ этой женщинѣ, и всѣ свои недостатки и слабости, даже для эффекта еще, можетъ быть, нѣсколько преувеличиваетъ послѣднія... Но все это самолюбіе. Онъ и самолюбіе обвиняетъ изъ самолюбія, не подозрѣвая этого. Онъ боится, чтобы кто нибудь изъ пріятелей не сказалъ ему того, что онъ, предупреждая ихъ, говоритъ самъ про себя, думая: каковъ же я молодецъ! смотрите, какъ безпощадно и ловко я анализирую самого себя!... Самолюбіе нашептываетъ ему, что такого рода женщина, какъ Александра Николаевна, можетъ любить его,—и онъ заставляетъ себя вѣрить этому; онъ начинаетъ, можетъ быть, чувствовать, что она хочетъ отъ него отдѣлаться, а самолюбіе успокоиваетъ его, говоря: «Нѣтъ, она любитъ тебя по прежнему; но у нея разстроенны нервы, она больна и проч. Она замѣчаетъ, что она перенесла свое расположеніе на другаго, а самолюбіе увѣряетъ его, что она просто кокетничаетъ съ этимъ другимъ...»

Я, впрочемъ, ничего этого не сказалъ моему иногород-

ному другу, но рѣшился предложить ему вопросъ весьма нескромный:

— Ужъ если пошло на откровенность, замѣтилъ я: — скажите, сколько втеченіе этихъ послѣднихъ восьми мѣсяцевъ вы истратили?

Иногородный другъ мой нѣсколько смутился.

— Не спрашивайте! безумно! отвѣчалъ онъ, схватывая себя за голову.

— Однако?

— Тысячъ восемьнадцать или двадцать, около этого.

«Вотъ она любовь-то! 20,000 въ восемь мѣсяцевъ! подумалъ я.—Вотъ онъ Петербургъ-то!»

Мнѣ стало, однако, жаль моего иногороднаго друга, потому что я очень снисходителенъ къ человѣческимъ слабостямъ и всегда чѣмъ нибудь стараюсь оправдать ихъ. «Кто знаетъ, продолжалъ думать я, при другомъ воспитаніи, въ другой средѣ и обстановкѣ и при другихъ обстоятельствахъ, онъ имѣлъ бы какой нибудь опредѣленный характеръ, былъ бы, вѣроятно, полезнымъ членомъ общества и при другихъ, болѣе важныхъ, интересахъ, не отдался бы съ такимъ легкомысліемъ внѣшней сторонѣ жизни и такимъ женщинамъ, какъ Александра Николаевна».

Мнѣ захотѣлось разъяснить его отношенія къ ней и вывести его изъ заблужденія мѣрами рѣшительными. На другой день послѣ моего разговора съ нимъ я отправился къ Александрѣ Николаевнѣ.

Я засталъ ее въ гостиной.

Она кивнула мнѣ головой очень привѣтливо, не перемѣняя своего положенія на диванѣ и не выпуская отъ себя собачки, которая лежала у нее на колѣняхъ... Александра Николаевна была въ очень роскошномъ и изысканномъ утреннемъ туалетѣ, вся въ вышивкахъ и кружевахъ... Ее гостиная, уставленная деревьями, показалась мнѣ въ этотъ разъ еще блистательнѣе, чѣмъ когда нибудь. Мебель была какъ-то разставлена иначе, ковры, тюлевыя вышитыя и спущенныя занавѣски, полусвѣтъ,—словомъ, все какъ слѣдуетъ...

— Посмотрите, какая чудесная, умная мордочка, сказала она, приподнимая собачку, которая заворчала, и обращая ее

ко мнѣ: — это мое утѣшеніе... Женщины на старости обыкновенно привязываются къ животнымъ...

— Вы вызываете меня на возраженія и на любезности; но я считаю это напраснымъ, потому что вы принадлежите къ такимъ женщинамъ, которыя никогда не старѣются.

— Будто? возразила она, улыбнувшись: — вспомните, сколько лѣтъ мы съ вами знакомы. Вы хотите увѣрить себя, что я не стара, потому что вы сами хотите молодиться.

— Вовсе не потому, отвѣчалъ я: — женщины отжившія, старыя, — тѣ, которымъ ничего не остается, кромѣ привязанности къ собакамъ, не возбуждаютъ такихъ страстей и такой пламенной любви въ людяхъ, и притомъ, молодыхъ, какую возбуждаете вы...

— Это что такое? въ комъ же я возбуждаю такую любовь?

— А мой иногородный другъ?

— А! протянула она очень хладнокровно. — Такъ онъ вамъ передаетъ свои сердечныя тайны? прибавила она иронически.

— А если бы и такъ?

— Такъ онъ еще болтунъ? Я за нимъ не знала этого достоинства.

— Отчего же болтунъ? откровенность съ друзьями и болтовство — двѣ вещи разныя. Вы сами удостоили меня довѣренности касательно его... Вы же первые сказали мнѣ, что онъ васъ любитъ... Помните, когда мы гуляли на островахъ нынѣшнее лѣто? Вы ужъ забыли это?

— Ну, да, и я его люблю: онъ очень добрый человѣкъ... Биби... Биби... И она начала ласкать собачку, которая стала лизать ей руку. Ты любишь меня, Биби?

— Какой холодный тонъ! Что вы въ эту мунуту въ ссорѣ съ нимъ?

— Съ чего вы это взяли?

Она пожала въ нетерпѣніи плечами.

— Какая ссора! За что намъ ссориться!

— А какъ онъ васъ любитъ! продолжалъ я.

— Это для меня не новость, я ужъ слышала это отъ него самого... Ну, что жъ? и я его люблю, я вамъ повторяю.

— А я начинаю сомнѣваться. Вы его не любите...

— Онъ очень добрый, хорошій человѣкъ: его нельзя не любить. Но послушайте... Александра Николаевна при этомъ сдѣлала такое движеніе, что собачка сбѣжала съ ея колѣнъ и залаяла.

— Скажите мнѣ *ваше* мнѣніе о немъ... только откровенно.

— Я повторяю то же, что говорите вы: онъ очень добрый и хорошій человѣкъ.

— А уменъ онъ, по вашему, или нѣтъ?

— Конечно, уменъ.

— Ну, теперь извольте же выслушать о немъ мое откровенное мнѣніе, которое будетъ гораздо откровеннѣе вашего. Это человѣкъ, коли хотите, точно неглупый, добрый по сердцу и дотого мягкій, что изъ него, какъ изъ теплаго воска или изъ какой нибудь мастики, можно сдѣлать сегодня одну фигуру, а завтра передѣлать на другую, совершенно непохожую на вчерашнюю... Когда онъ вертится въ обществѣ съ людьми умными и дѣльными, онъ кричитъ о важныхъ вопросахъ, о трудѣ, о долгѣ... ну, обо всемъ, о чемъ говорятъ обыкновенно эти дѣльные люди. Когда онъ въ обществѣ литераторовъ, онъ весь такъ и уйдетъ въ литературу: читаетъ Гомера, зѣваетъ и скучаетъ надъ нимъ, а потомъ приходитъ въ неестественный восторгъ отъ него, потому что всѣ вы кричите, что Гомеръ, Шекспиръ и Дантъ геніи. Онъ было мнѣ вздумалъ читать разъ вечеромъ «Иліаду», да я заснула — въ концѣ первой главы—и онъ на меня дулся за это дня два. Прочелъ онъ мнѣ также шекспирова «Лира». Мнѣ «Лиръ» ужасно понравился... въ самомъ дѣлѣ, это такая вещь, которая не можетъ не тронуть... и онъ такъ обрадовался, увидѣвъ, какое впечатлѣніе сдѣлалъ на меня «Лиръ», что бросился передо мною на колѣни, началъ цѣловать мнѣ руки и увѣрять, что я необыкновенная женщина, что я такъ тонко понимаю поэзію, какъ никто, а дня черезъ три послѣ этого сдѣлалъ мнѣ сцену, за то, что читая какой-то романъ Дюма... не помню какой... я похвалила этотъ романъ. Послѣ Шекспира читать Дюма—это преступленіе, позоръ, стыдъ!... Богъ знаетъ, чего онъ не наговорилъ мнѣ... Когда онъ съ людьми свѣтскими, пустыми, онъ превращается очень легко въ пустаго и свѣтскаго человѣка. У него нѣтъ ничего своего: онъ, какъ флюгеръ, куда вѣтеръ подуетъ. У него есть одно достоинство:

онъ очень понимаетъ и чувствуетъ природу, въ немъ есть что-то артистическое. Онъ могъ бы быть, я думаю хорошимъ пейзажистомъ или немножко поэтомъ, если бы онъ могъ остановиться серьёзно на чемъ нибудь; а то онъ безпрестанно увлекается безъ разбора всѣмъ и мучится оттого, что онъ— ничего... Вотъ вамъ его портретъ. Правда или нѣтъ? Скажите?

— Правда, отвѣчалъ я:—вы очень тонко и зло наблюдаете людей,—надо отдать вамъ эту справедливость.

Александра Николаевна самодовольно улыбнулась и продолжала:

— У него дотого слабъ характеръ, дотого нѣтъ никакой воли, что иногда можно подумать, что онъ человѣкъ недальнаго ума. Право, знаете ли, что мы женщины, надолго не можемъ привязываться къ такого рода людямъ. Любовь тогда только прочна, когда она соединяется съ нѣкоторымъ уваженіемъ къ человѣку, даже съ нѣкоторымъ страхомъ къ нему. Намъ необходимо, чтобы мы чувствовали надъ собою желѣзную руку, силу воли. Мы сами слабы, такъ намъ противна слабость въ мужчинѣ. Если мы нѣсколько покоряемъ себѣ и смиряемъ человѣка сильнаго, это льститъ нашему самолюбію; а съ такими мягкими людьми, какъ вашъ другъ, право, не стòитъ возиться. Ими иногда можно увлечься, но увлеченіе—ненадежно. Я его люблю и желаю ему добра; но я не могу его любить такъ, какъ онъ хочетъ. Всякіе стоны, жалобы, вздохи ревности—это для меня невыносимо. У меня отъ этого нервы раздражаются, и я дѣлаюсь несправедлива, капризна... Но что жъ дѣлать? Я не могу владѣть собою. Я вамъ скажу правду: намъ надо бы разстаться на время; теперь мы еще можемъ разстаться друзьями. А я не хочу съ нимъ ссориться. Я такъ много обязана этому человѣку... Поговорите съ нимъ объ этомъ нешутя...

Въ эту минуту раздался звонокъ. Александра Николаевна вздрогнула и взглянула на часы. Черезъ минуту вошелъ въ комнату, гремя саблей и шпорами, тотъ самый адъютантъ, съ которымъ я встрѣтилъ ее на Невскомъ проспектѣ. Это былъ человѣкъ высокаго роста, атлетическаго сложенія, съ нѣсколько грубыми чертами лица, съ нѣсколько рѣзкими манерами и съ гордымъ взглядомъ. Я догадался, что это былъ человѣкъ съ той желѣзной рукой, на которую намекала Але-

ксандра Николаевна. Она вся измѣнилась въ лицѣ при его приходѣ, какъ ни старалась скрыть свое внутреннее волненіе.

Я взялъ шляпу и раскланялся.

— Прощайте, до свиданія, сказала она: — прошу васъ, поговорите съ тѣмъ господиномъ о томъ, о чемъ я васъ просила.

— Я обѣщалъ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, при свиданіи съ моимъ иногороднымъ другомъ, я, не щадя его самолюбія, передалъ ему разговоръ мой съ Александрой Николаевной до мельчайшихъ подробностей; поставилъ его на ту точку зрѣнія, съ которой, по моему мнѣнію, должно смотрѣть на такихъ женщинъ, какъ она, и въ заключеніе совѣтовалъ ему ѣхать въ деревню. Онъ совершенно смѣшался, упалъ духомъ, дѣлалъ мнѣ какія-то ничтожныя возраженія; какъ утопающій за соломинку, хватался за мысль, что ему надо объясниться съ ней, что между ними существуютъ недоразумѣнія, и проч.

Въ какомъ родѣ было его объясненіе съ нею, я не знаю, но только тотчасъ послѣ этого объясненія онъ явился ко мнѣ. На немъ лица не было. Онъ то жаловался на нее и бранилъ ее, то обвинялъ во всемъ самого себя, то увѣрялъ, что онъ до такой степени любитъ ее, что сейчасъ бы готовъ жениться на ней, то увѣрялъ, что эта женщина тщеславная, ничтожная, пустая, безъ сердца, что она ничего любить не можетъ, и что онъ радъ, что разстался съ нею... Въ словахъ его была страшная путаница. Въ заключеніе онъ объявилъ мнѣ, что онъ черезъ три дня рѣшительно уѣзжаетъ изъ Петербурга. Я, впрочемъ, не очень вѣрилъ этому.

Вслѣдъ за этимъ я получилъ записку отъ Александры Николаевны, со вложеніемъ заемнаго письма въ десять тысячъ рублей на имя моего иногороднаго друга. Вотъ эта любопытная записка.

«Будьте такъ добры и простите, что я васъ дѣлаю нашимъ посредникомъ—передайте N.N. это заемное письмо.— Пусть онъ увѣдомитъ меня черезъ васъ и я тотчасъ же вышлю вамъ другое заемное письмо для него. Я теперь никакъ не могу заплатить эти деньги, и это меня приводитъ въ отчаяніе тѣмъ болѣе что я знаю что онъ самъ нуждается теперь въ деньгахъ. Скажите ему, что я умѣю цѣнить его

доброе прекрасное сердце и глубоко чувствую все то, что онъ для меня дѣлалъ. Его участія ко мнѣ я никогда не забуду. Если онъ не хочетъ поставить меня въ рядъ съ извѣстными вамъ женщинами и оскорбить меня, онъ долженъ принять это заемное письмо. Бога ради я и васъ прошу объ этомъ — уговорите его. Пожелайте ему отъ меня всевозможнаго счастія въ жизни, скажите что я никогда не забуду его и что въ моемъ домѣ онъ будетъ всегда принятъ—какъ человѣкъ—самый близкій мнѣ, какъ искренній другъ...»

Эта записка и въ особенности заемное письмо въ первую минуту нѣсколько удивили меня; потомъ я понялъ, что это заемное письмо не стоитъ ровно ничего, что это только одинъ эффектъ; что по немъ никогда не будетъ заплачено ни копѣйки; что она только хочетъ показать, что не была у моего иногороднаго друга на содержаніи и не имѣетъ ничего общаго съ Луизами, Бертами, Минами Александровнами и проч.

Я передалъ моему иногородному другу и мою записку и заемное письмо. Какъ онъ растолковалъ себѣ этотъ поступокъ Александры Николаевны, я не знаю. Онъ пробѣжалъ записку въ волненіи, взглянулъ на заемное письмо и надорвалъ его тотчасъ съ нѣкоторою торжественностью.

— Прошу васъ, сказалъ онъ мнѣ, отдавая разорванное письмо:—окажите мнѣ послѣднюю дружбу: передайте ей это и скажите, что она никогда у меня ничего не занимала, что я не понимаю ничего и не знаю, о какихъ деньгахъ говоритъ она, и къ чему это заемное письмо.

Мой иногородный другъ, говоря это, поднялся, какъ мнѣ показалось, немножко на ходули великодушія и былъ очень доволенъ своимъ поступкомъ, вѣроятно, не сознавая, что этотъ вексель, надорванный, или сохраненный, въ обоихъ случаяхъ, ровно ничего не значилъ. На другой день я проводилъ моего иногороднаго друга на желѣзную дорогу и простился съ нимъ очень дружески. Онъ обѣщалъ писать ко мнѣ. Я надѣюсь, что въ деревенскомъ уединеніе онъ разъяснитъ для себя многіе вопросы касательно Александры Николаевны и пойметъ настоящее значеніе этого векселя, а пріѣхавъ другой разъ въ Петербургъ, не увлечется тѣмъ ничтожнымъ и внѣшнимъ блескомъ, который оставляетъ послѣ себя пустоту въ душѣ и въ карманѣ да еще, при этомъ, угрызенія совѣсти.

Я возвратилъ Александрѣ Николаевнѣ надорванный вексель при письмѣ. Послѣ этого я не видалъ ее.

Мнѣ говорили (мало ли чего, впрочемъ, не говорятъ; къ тому же мнѣ говорила это Лупза, которая ненавидитъ Александру Николаевну), будто Александра Николаевна взяла у своего новаго обожателя десять тысячъ руб. для уплаты моему иногородному другу и разсудила употребить эти деньги на собственныя издержки, пославъ моему иногородному другу заемное письмо. Я, впрочемъ, не вѣрю этому.

XVI. СВЯТКИ.

(Разсказъ для дѣтей.)

Года бѣгутъ—и, странно, чѣмъ ближе къ старости, тѣмъ быстрѣе. Я это замѣчаю съ тѣхъ поръ, какъ волосы на моихъ вискахъ начали замѣтно сѣдѣть. Я могъ бы очень легко обманывать себя и утѣшать мыслію, что я все еще молодъ, подкрашивая сѣдины персидскою краскою цвѣта воронова крыла, которую многіе употребляютъ съ успѣхомъ; но, во первыхъ, персидская краска имѣетъ неестественный и непріятный красноватый отливъ на солнцѣ, а во вторыхъ, молодость, къ сожалѣнію, зависитъ не отъ одного цвѣта волосъ. Въ этомъ я убѣдился, разсматривая молодящихся мужчинъ и отцвѣтающихъ женщинъ, желающихъ, посредствомъ различныхъ пудръ и притираній, возвратить себѣ невозвратимую свѣжесть, вмѣстѣ съ граціозною наивностью и очаровательнымъ легкомысліемъ молодости. Въ томъ, что откровенная старость гораздо лучше искусственной молодости, хотя бы искусственность доведена была до высшей степени совершенства,—убѣждены вѣроятно всѣ мы болѣе или менѣе...

Но я долженъ признаться вамъ, что, несмотря на мои лѣта, сѣдину, опытность и благоразуміе, я, одинъ разъ въ году, постоянно чувствую непреодолимое желаніе помолодѣть, но помолодѣть внутренно, а не наружно. Когда я чувствую приближеніе этого желанія, всѣ разсужденія о политикѣ, о наукѣ въ примѣненіи ея къ жизни, объ искусствѣ, о свободномъ творчествѣ, о подчиненіи искусства инымъ цѣлямъ; всѣ толки о желѣзныхъ дорогахъ, о свободной и несвободной тор-

говлѣ и о прочемъ,—всѣ эти вопросы, которые такъ интересуютъ меня въ другое время, становятся для меня невыносимо тягостны. Всѣ насущные вопросы современности теряютъ для меня привлекательность. Я утрачиваю всякую любознательность, всякую способность къ размышленію. Странная беззаботность и равнодушіе вдругъ овладѣваютъ мною, сомнѣнія перестаютъ тревожить меня.

Никакіе общественные предразсудки и несправедливости, никакія злоупотребленія меня не возмущаютъ... я даже перестаю вѣрить въ возможность несправедливости и злоупотребленій. Все какъ-то свѣтло и ясно становится передо мною, какъ будто никогда не касались меня эти ежедневно и незамѣтно подтачивающія человѣка мелочи и дрязги жизни, дѣлающія его раздражительнымъ, мрачнымъ, жолчнымъ; какъ будто я никогда неиспытывалъ мукъ вслѣдствіе обманутыхъ надеждъ или оскорбленнаго самолюбія, которыя имѣютъ скверное разъѣдающее свойство и преждевременно старятъ людей... Я дѣлаюсь до крайности простодушенъ и довѣрчивъ, всякая бездѣлица меня начинаетъ занимать и радовать, какъ въ годы моего дѣтства, которые вдругъ воскресаютъ ярко и живо въ моей памяти, со всѣми своими мелочными, но отрадными сердцу подробностями, и охватываютъ все существо мое, совершенно заслоняя отъ меня настоящее. Я бы могъ, кажется, превратиться въ эти минуты въ совершеннаго ребенка, если бы совсѣмъ не видѣлъ взрослыхъ... Это невѣроятное желаніе возвратиться къ дѣтству почему-то я постоянно ощущаю при наступленіи рождественскихъ праздниковъ, во время такъ называемыхъ *Святокъ*.

Святки имѣютъ для меня, какъ я уже замѣтилъ однажды, особенную, необъяснимую прелесть, смѣшанную съ чѣмъ-то таинственнымъ, фантастическимъ... Только одинъ разъ въ жизни, эти праздники прошли для меня почти незамѣтно, какъ обыкновенные дни,—и то потому, что я былъ тогда за границей; но за то, передъ наступленіемъ ихъ, мучительное чувство тоски овладѣло мною. Я возъимѣлъ непреодолимую потребность русской обстановки и русской природы. Что бы я далъ тогда за то, чтобы увидѣть сѣрое мутное небо, на которомъ сквозь туманъ мерцаютъ звѣзды, землю, покрытую снѣгомъ, снѣжныя порошинки въ воздухѣ, стекло, расписан-

ное морозомъ, дерево, пушисто покрытое инеемъ; чтобы услышать скрипъ полозьевъ по замерзшему снѣгу, чтобы вдругъ очутиться въ простомъ, добродушномъ русскомъ старинномъ семействѣ, съ няньками, мамками, горничными, ключницами, проживалками; чтобы барыни и барышни начали выливать при мнѣ воскъ и олово, подносили бы вылившіяся имъ фигуры къ стѣнѣ и съ любопытствомъ смотрѣли на тѣни этихъ фигуръ; чтобы проживалки и горничныя выбѣгали на улицу, несмотря на трескучій морозъ, спрашивать имена у проходящихъ; чтобы вся домашняя челядь затянула хоромъ подблюдныя пѣсни; чтобы наряженные гурьбою вбѣжали неожиданно въ залу въ сарафанахъ, съ кокошниками, въ выворочепныхъ шубахъ, въ армякахъ, съ длинными бородами и проч.; чтобы радостные крики, испугъ и шумъ дѣтскій огласили залу при этомъ появленіи и начались бы толкотня, хохотъ и безумное веселье?... При видѣ всего этого, я сдѣлался бы непремѣнно похожимъ на несравненнаго героя одной изъ лучшихъ фантастическихъ сказокъ Гофмана—Перегринуса Тисса, который слишкомъ въ тридцать лѣтъ, передъ каждыми рождественскими праздниками, самъ закупалъ себѣ игрушки, устроивалъ для себя елку, освѣщалъ ее тысячами огней, и ходя вокругъ нее, съ дѣтскимъ біеніемъ сердца и съ чувствомъ невыразимаго блаженства любовался игрушками.

Если бы я родился нѣмцемъ, я, вѣроятно, подобно Перегринусу, устроивалъ бы себѣ каждый годъ подобную забаву и такимъ образомъ воскрешалъ для себя поэзію своего дѣтства; но, къ сожалѣнію, елка не имѣетъ для меня ни малѣйшей привлекательности, потому что въ моемъ дѣтствѣ о елкахъ еще не имѣли никакого понятія. Меня, напротивъ, такъ и тянетъ въ рождественскіе дни въ большой семейный кружокъ, гдѣ бы раздавался дѣтскій радостный смѣхъ и крики, писк женскихъ голосовъ, гдѣ бы я видѣлъ старушку-няню, въ новомъ ситцевомъ торчащемъ и шумящемъ платьѣ, которое еще не обмялось, въ новыхъ козловыхъ башмакахъ со скрипомъ, съ нѣкоторою торжественностію въ лицѣ, съ небольшимъ румянцемъ на морщинистыхъ щекахъ и даже съ легкимъ праздничнымъ запахомъ сладкой водки изо рта. Одиночество, на которое я никогда не жалуюсь, становится для меня тягостнымъ только на Рождествѣ.

И вотъ почему я принялъ съ величайшею радостію приглашеніе одного семейства, съ которымъ знакомъ съ дѣтства, провести съ нимъ вечеръ *запросто*, на четвертый день праздника. Семейство это довольно богатое, живетъ постоянно у себя въ деревнѣ—верстахъ въ двадцати отъ моей деревни и мнѣ случалось не разъ, во время моихъ поѣздокъ, проводить у моихъ сосѣдей рождественскіе вечера съ большою пріятностію, именно потому, что въ домѣ ихъ строго придерживались въ эти дни всѣмъ обычаямъ старины. Я зналъ, что мои сосѣди, пріѣхавшіе въ Петербургъ за мѣсяцъ до праздниковъ, по дѣламъ, привезли съ собой всю свою многочисленную старинную домашнюю прислугу, и я былъ вполнѣ убѣжденъ, что вечеръ, который я проведу у нихъ, совершенно удовлетворитъ моимъ рождественскимъ потребностямъ и представитъ передо мной въ живой картинѣ мое дѣтство. Я отказался въ этотъ вечеръ отъ трехъ торжественныхъ елокъ. Къ тому же, послѣ прошлогодней торжественной елки, на которую я ѣздилъ съ моимъ иногороднымъ другомъ, я далъ и безъ того себѣ слово не ѣздить болѣе на эти скучныя выставки родительскаго тщеславія...

Когда я проснулся утромъ въ день приглашенія, прежде всего мнѣ пришло въ голову: «Какое наслажденіе ожидаетъ меня сегодня вечеромъ!» И я всталъ съ постели такъ весело, какъ лѣтъ тридцать тому назадъ вставалъ въ тѣ дни, когда меня ожидало что нибудь необыкновенное — или поѣздка въ театръ, или въ гости съ маменькою, или домашній вечеръ съ музыкою и танцами. Ровно въ семь часовъ вечера я вышелъ изъ дома, полагая, что за-просто къ добрымъ сосѣдямъ явиться чѣмъ раньше, тѣмъ лучше... Сосѣди мои нанимали большой, отдѣльный деревянный домъ, въ одной изъ отдаленныхъ частей города, потому что этотъ домъ былъ со всѣми возможными удобствами для хозяйства и съ флигелями для помѣщенія многочисленной прислуги. Лучшаго дома для помѣщиковъ, въ Петербургѣ нельзя было съискать. Мнѣ, между прочимъ, было особенно пріятно, что этотъ вечеръ, на который я такъ много разсчитывалъ, я проведу именно въ старомъ деревянномъ домѣ, похожемъ на деревенскіе помѣщичьи дома. Старинные русскіе обычаи и святочныя повѣрья должны были, по моему мнѣнію, совершаться именно въ такомъ домѣ. Ка-

менные трехъэтажные петербургскіе дома совсѣмъ не годятся для этого.

Морозъ былъ въ этотъ вечеръ сильный. Дорога ровная и бѣлая, какъ скатерть. У тротуаровъ складены были огромныя груды снѣга, снѣгъ покрывалъ крыши домовъ, цѣльныя стекла магазиновъ были расписаны морозомъ, небо было мутно, безъ звѣздъ и мѣсяцъ бросалъ на все какой-то холодно-синеватый блескъ, сквозь морозный паръ, который застилалъ прозрачность неба; стекла фонарей сдѣлались матовыми отъ мороза и огонь сквозь нихъ горѣлъ тускло. Этотъ тусклый огонь фонарей совсѣмъ почти поглощался синеватымъ блескомъ мѣсяца. Я взялъ перваго попавшагося мнѣ извощика, который прыгалъ на тротуарѣ, хлопалъ руками и отдувался, пуская густой паръ изо рта. Борода его и волосы, торчавшіе изъ подъ шапки, были забѣлены инеемъ. Онъ, по видимому, очень обрадовался сѣдоку, весело замахалъ надъ лошаденкой кнутомъ и санки быстро помчались по ровной дорогѣ, рѣзко скрипя по мерзлому сверкающему искрами снѣгу.

Извощикъ по временамъ бросалъ возжи, предоставляя лошаденку самой себѣ и хлопалъ руками. Народу на улицахъ было много, всѣ, казалось, шли или изъ гостей или въ гости; два пьяныхъ ремесленника цѣловались на мосту и усиливались, кажется, объяснить другъ другу свою любовь, но у нихъ выходили только какіе-то отдѣльныя, косноязычныя и непонятныя фразы отъ вина и мороза; какой-то гуляка, размахивая руками, шелъ по срединѣ улицы, отшатываясь то къ правому, то къ лѣвому тротуару, и во все горло пѣлъ пѣсню, прерывая ее криками, и когда натыкался на лошадь ѣхавшаго ему навстрѣчу извощика, кричалъ: «прочь съ дороги». Женщина, въ салопѣ и съ платкомъ на головѣ, усиливалась поднять, ругаясь, человѣка въ сибиркѣ, который только кричалъ: «не хочу!» и барахтался на снѣгу. Женщина кричала ему: «пьяница ты проклятый, Бога ты небоишься!» и сама въ тоже время немножко пошатывалась... Шумъ и движеніе были необыкновенные, праздничные, но, по мѣрѣ того, какъ мы въѣзжали въ отдаленные кварталы, тишина и пустота на улицѣ дѣлались замѣтнѣе, и мнѣ стало почему-то еще веселѣе, когда высокіе каменные дома стали попадаться рѣже, и когда я увидѣлъ рѣшетчатые, покривившіеся заборы передъ

маленькими деревянными домиками, съ деревьями и кустами, опушенными инеемъ...

Вотъ и домъ, который нанимали мои сосѣди.

Передъ нимъ также рѣшетчатый высокій заборъ, а за заборомъ большія деревья съ пушистыми вѣтвями, концы которыхъ повисли отягченные инеемъ... Вдали, сквозь нихъ, мелькнулъ свѣтъ изъ освѣщенныхъ, полузамерзшихъ оконъ, занесенныхъ снизу снѣгомъ. Я велѣлъ извощику повернуть въ ворота, и санки въѣхали на большой и широкій дворъ и, миновавъ садъ передъ домомъ, остановились у подъѣзда. Я выскочилъ изъ саней почти съ біеніемъ сердца и, прежде, чѣмъ взялся за ручку звонка, остановился на минуту, чтобы полюбоваться еще разъ этими бѣлыми, пушистыми деревьями и оглянуться кругомъ. На дворѣ, во флигеляхъ, въ нѣкоторыхъ окнахъ мелькали огоньки, и середи тишины раздавался скрипъ шаговъ женщины, шедшей изъ флигеля къ большому дому. Извощикъ мой уѣхалъ, а я, все еще не звоня, стоялъ у дверей, какъ будто ожидая чего-то, и мнѣ казалось, что я какой-то чародѣйственной, но благодѣтельной силой вдругъ перенесенъ изъ Петербурга въ деревню, и что этотъ домъ, у двери котораго я стою — деревенскій домъ моей тётки, въ которомъ я проводилъ рождественскіе праздники, когда мнѣ было пятнадцать лѣтъ, и что эта женщина, скрипящая по снѣгу, ея горничная Катя, на которую я не могъ смотрѣть тогда безъ волненія. Этотъ подъѣздъ съ двумя деревянными маленькими колонками и навѣсомъ, эти пять ступенекъ, форма двора, низенькій флигель, съ окнами на нѣсколько вершковъ отъ земли—все это было удивительно похоже на деревенскій дворъ и крыльцо дома моей тётки. Мнѣ сдѣлалось какъ-то странно и пріятно, я началъ невольно улыбаться и мнѣ захотѣлось подбѣжать къ этой женщинѣ и взглянуть ей въ лицо, какъ будто для того, чтобы удостовѣриться, не Катя ли это въ самомъ дѣлѣ? Но я не сдѣлалъ этой глупости, потому что морозъ, несмотря на мою шубу, началъ не на шутку пробирать меня. Я взбѣжалъ на ступеньки и дернулъ за звонокъ.

Давно знакомый мнѣ Егоръ, — но только во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ и въ бѣломъ жилетѣ, отворилъ мнѣ дверь.

Этотъ бѣлый галстукъ и бѣлый жилетъ подѣйствовали на меня какъ-то непріятно.

— Отчего это ты, Егоръ, такимъ франтомъ разодѣлся? спросилъ я его.

— Такъ слѣдуетъ-съ, отвѣчалъ онъ... у насъ сегодня *балъ*.

— Какъ балъ? вскрикнулъ я въ испугѣ.

— Точно такъ-съ, возразилъ онъ, снимая съ меня шубу... «Что это значитъ?» думалъ я нерѣшительно, подвигаясь впередъ, по ярко освѣщенному корридору... «Меня звали *запросто*, говорили — вспомните старину... проведемте вечеръ по-деревенски, семейно: кромѣ дѣтей нѣкоторыхъ нашихъ знакомыхъ, у насъ почти никого не будетъ постороннихъ. Рождество — дѣтскій праздникъ... и проч. Если бы я зналъ, что тутъ *балъ*, я ни за что бы не пріѣхалъ.» Слово «балъ» непріятно отзывалось въ ушахъ моихъ и смущало меня до крайности. Съ болѣзненнымъ ощущеніемъ я замѣтилъ въ это мгновеніе коверъ, разостланный по корридору, и ощутилъ запахъ какого-то куренья, отзывавшагося ванилью. Этотъ коверъ и эта ваниль — дѣйствительно предвѣщали что-то необыкновенное. Хозяинъ дома, котораго звали Григорьемъ Иванычемъ, — человѣкъ лѣтъ 60 съ небольшимъ, съ добродушнымъ, свѣтлымъ и открытымъ лицомъ, съ сѣдыми волосами, обстриженными подъ гребенку, полный и небольшого роста, встрѣтилъ меня въ передней съ распростертыми объятіями и громкими восклицаніями.

— А! сосѣдъ, любезнѣйшій сосѣдъ, очень радъ, милости просимъ! Вотъ люблю за то, что попросту. пораньше. Вечеръ такъ вечеръ, а то вѣдь по вашему петербургскому вечеръ—это значитъ ночь!

И Григорій Иванычъ громко при этомъ засмѣялся.

— Очень, очень радъ, продолжалъ онъ, откашливаясь послѣ смѣха и вырывая изъ рукъ моихъ шляпу: — жена сейчасъ явится... Она, знаете, еще, кажется, доканчиваетъ свой туалетъ. Вѣдь нельзя же, — вѣдь мы, сударь, въ столицѣ, а не въ Рѣшетиловкѣ...

И Григорій Иванычъ снова началъ смѣяться.

Этотъ смѣхъ, впрочемъ, нимало не веселилъ меня, тѣмъ болѣе, что въ лицѣ Григорья Иваныча я замѣтилъ нѣкоторое безпокойство и озабоченность и что-то особенное, торжествен-

ное во всей его фигурѣ: онъ былъ во фракѣ, который онъ надѣвалъ только въ необыкновенныхъ случаяхъ...

— Кажется, у васъ сегодня гости?—замѣтилъ я, взглянувъ на зажженную въ залѣ люстру, и ощутивъ въ той комнатѣ еще сильнѣйшій запахъ ванили:—вашъ Егоръ сказалъ мнѣ, что у васъ балъ?... вы меня не предупредили, я никакъ не ожидалъ этого и не забрался бы къ вамъ такъ рано...

— Егорка вретъ, вскрикнулъ Григорій Иванычъ:—какой балъ, помилуйте! — такъ, нѣсколько добрыхъ знакомыхъ... балъ!! — вотъ оселъ выдумалъ-то!... такъ попляшутъ немножко дѣтки — вотъ и все, какой балъ! Здѣсь двоюродный мой племянникъ Петруша... поручикомъ въ Семеновскомъ полку, такъ я его просилъ привезти нѣсколько кавалеровъ... Женнина сестра обѣщала пріѣхать съ дочерьми... да еще кое-кто... Между прочимъ, его превосходительство Захаръ Захарычъ... какой балъ!... дуракъ этотъ Егорка, деревенщина!

И Григорій Иванычъ, повторяя слово «балъ», всякій разъ сопровождалъ его своимъ добродушнымъ и громкимъ смѣхомъ, который всякій разъ оканчивался кашлемъ.

— Вѣдь вы знаете Захара Захарыча? спросилъ онъ меня.

— Нѣтъ, отвѣчалъ я.

— Какъ же это? спросилъ Григорій Иванычъ не безъ удивленія:—вѣдь онъ въ Петербургѣ лицо видное, значительное... Тайный совѣтникъ! а я его еще помню такъ ничегонезнающимъ чиновникомъ, ну, а теперь у него и здѣсь, и тутъ, и эдакъ... и при послѣднемъ словѣ Григорій Иванычъ провелъ рукою отъ лѣваго плеча къ правому боку...

Въ эту минуту вошла Настасья Антоновна — жена Григорья Ивановича, дама высокая и полная, въ шелковомъ парадномъ платьѣ и въ чепцѣ съ цвѣточками.

— Вообрази, душенька,—закричалъ Григорій Иванычъ:—дуракъ Егорка объявилъ, что у насъ балъ...

Настасья Антоновна протянула мнѣ разсѣянно руку и улыбнулась.

— Какой вздоръ! сказала она и повела глазами всю комнату, обративъ, какъ мнѣ показалось, особенное вниманіе на лампы, потомъ приподняла колокольчикъ со стола и позвонила...

— Отчего лампы такъ дурно горятъ?—поправьте ихъ,—

сказала она вошедшему человѣку, не безъ волненія... да велите еще покурить.

Человѣкъ началъ поправлять одну изъ лампъ, но неудачно: дымъ и копоть показались изъ стекла. Настасья Антоновна съ раздраженіемъ вскрикнула: — «вынеси ее вонъ и поправь тамъ!» — и потомъ начала со мною разговоръ, явно для того, чтобы *занимать* меня. Но разговоръ какъ-то не клеился и не имѣлъ никакой связи, потому что Настасья Антоновна думала въ эту минуту о томъ (я былъ убѣжденъ въ этомъ), съумѣетъ ли человѣкъ поправить лампы и будутъ ли хорошо горѣть онѣ?

Я почувствовалъ вдругъ тоску и неловкость, сознавая, что стѣсняю хозяевъ, что они еще не совсѣмъ успѣли приготовиться къ пріему своихъ гостей — и что не во-время гость дѣйствительно долженъ быть хуже татарина...

— Что ваши дѣти? сказалъ я, обращаясь къ Настасьѣ Антоновнѣ.

— Ничего, слава Богу, они здоровы... маленькія въ дѣтской... у нихъ сегодня съ утра гости... и такая у нихъ тамъ кутерьма, что ужасъ... они забавляются, кажется, различными святочными играми...

При словѣ святочныя игры я невольно вздрогнулъ. Вдругъ чудная, фантастическая перспектива начала раскрываться предо мною; меня такъ и потянуло въ этотъ сказочный, дѣтскій міръ...

— Вы мнѣ позволите пойти къ нимъ въ дѣтскую? сказалъ я.

— Если хотите, — отвѣчала, пріятно улыбнувшись, Настасья Антоновна, которая была очень рада этому случаю, чтобы освободиться отъ меня.

Григорій Иванычъ довелъ меня до двери дѣтской.

Я отворилъ дверь — и вдругъ свѣтлое и радостное ощущеніе, какого я давно не испытывалъ, охватило всего меня.

Эта дѣтская въ самомъ дѣлѣ представляла прелестнѣйшее зрѣлище. На полу, на столѣ, на диванѣ, на дѣтскихъ кроваткахъ — вездѣ валялись различныя игрушки, пестрые лоскутки ситца и шелковыхъ матерій, обрѣзки бумажекъ, согнутыя карты, развернутыя и засаленныя книжки съ картинками, деревянные ящички и картонажи отъ игрушекъ. Кромѣ четы-

рехъ обыкновенныхъ свѣчъ, которыми освѣщалась эта комната, въ ней свѣтилось еще множество маленькихъ огоньковъ: въ дѣтскихъ оловянныхъ подсвѣчникахъ зажжены были тоненькія, небольшія восковыя свѣчи, и на большомъ столѣ, около котораго большая часть дѣтей столпилась съ любопытствомъ, колыхались огоньки въ скорлупахъ грецкихъ орѣховъ, пущенныхъ на воду въ большой деревянной чашкѣ. Эти маленькіе огоньки распространяли какой-то фантастическій и пріятный свѣтъ. Дѣтскій звонкій, свѣтлый и радостный смѣхъ, послѣ крика и восклицаній тоненькихъ, но разнообразно звучавшихъ голосовъ, прерывался иногда дребезжащимъ, старческимъ женскимъ голосомъ и покрывался полными и звучными молодыми голосами горничныхъ, игравшихъ съ дѣтьми. Въ то мгновеніе, когда я отворилъ дверь, старая няня, съ шелковымъ платкомъ на головѣ и въ серебряныхъ очкахъ, настоящая русская няня, какихъ въ Петербургѣ теперь уже нельзя встрѣтить, съ различными прибаутками спускала скорлупки на воду... И трудно было рѣшать, кто болѣе принималъ участія въ участи этихъ скорлупокъ, чье лицо выражало бо̀льшее волненіе: морщинистое, сплоенное лицо старушки, которая, протянувъ свою сухую, костлявую руку, съ синими выпуклыми жилами, осторожно опускала ихъ на воду, или нѣжное, бѣлое, пушистое личико бѣлорукой дѣвочки, которая, облокотясь своей кудрявой головкой на ладонь руки, слѣдила съ замирающимъ любопытствомъ за колыханіемъ ихъ на водѣ... Кромѣ группы дѣтей у стола возлѣ старой няни, — въ комнатѣ играли маленькія дѣти, въ разныхъ мѣстахъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ двери, влѣво, четырехлѣтній мальчикъ, съ черными, курчавыми волосами, съ вздернутымъ носикомъ и съ блестящими глазками, въ золоченомъ шлемѣ съ бѣлымъ конскимъ хвостомъ, качался на большой деревянной лошади, размахивая саблею съ криками... Другой мальчикъ, немного поменьше Володи, толстый, неповоротливый, какъ будто нехотя тащилъ за собою на веревкѣ козла съ золочеными рогами. Двѣ дѣвочки возились съ куклой, которая была почти съ нихъ ростомъ, и привѣтливо кивала имъ головой, мигая вѣками. Каждый и каждая были такъ заняты своимъ дѣломъ, что я простоялъ у двери минутъ пять никѣмъ незамѣченный, пока толстый, неповоротливый мальчикъ, съ козломъ лѣниво по-

двигавшійся впередъ, наткнулся на мои ноги и въ испугѣ, при видѣ незнакомца, поднялъ крикъ на всю комнату.

При этомъ крикѣ, всѣ дѣти обратились къ толстому, неуклюжему мальчику, и всѣ бросились къ нему. Онъ стоялъ передо мною съ закрытыми глазами и послѣ перваго крика смолкнулъ на минуту, чтобы еще громче и сильнѣе залиться. Всѣ дѣти какъ будто вдругъ оробѣли и затаили дыханіе, увидѣвъ меня... Общій шумъ, говоръ и крикъ затихли и среди возникшей тишины еще сильнѣе и пронзительнѣе раздался крикъ толстаго и неуклюжаго мальчика. Наконецъ, старая няня утѣшила крикуна и успокоила всѣхъ, назвавъ меня по имени и по отчеству и прибавивъ, что я тотъ самый господинъ, который прислалъ наканунѣ Рождества Володѣ, Сашѣ и Ванѣ книжки съ картинками, а Вѣрочкѣ и Надѣ двухъ большихъ куколъ, которыя кланяются и мигаютъ глазами. Володя, который слѣзъ съ своего коня, Саша, Вѣрочка и Надя начали смотрѣть на меня безъ робости, все понемногу приближаясь ко мнѣ, впрочемъ, еще съ нѣкоторою недовѣрчивостью... Володя сдѣлалъ первый шагъ къ сближенію со мною, замѣтивъ, зачѣмъ у меня такіе длинные усы, и дернулъ меня за усъ, что̀, повидимому, очень понравилось всѣмъ, даже толстому и неуклюжему мальчику, потому что всѣ, не исключая и его, начали смѣяться. Черезъ пять минутъ послѣ этого, полная довѣренность водворилась между мною и дѣтьми—и дѣтская дѣятельность снова закипѣла сильнѣе прежняго. Всѣ дѣти и куклы пришли въ движеніе: конь закачался, почувствовавъ всадника, маленькая болонка, которую завели, начала бѣгать и кружиться, разодѣтая кукла заморгала глазами и закивала головой, поднялся опять шумъ и крикъ, испорченная шарманка вдругъ захрипѣла и зазвякала; всѣ игрушки какъ будто ожили... трещотки затрещали, собаки залаяли, волчки завизжали, бубны зазвенѣли: и этотъ визгъ, гамъ, трескъ, хрипѣнье и пискъ, эти нестройные и безобразные звуки доставляли мнѣ необъяснимое удовольствіе, сливались для меня въ странную гармонію и открывали передо мною безконечную перспективу, въ которой мелькали смутно, неопредѣленно и неясно милые образы изъ моего давнопрошедшаго. Деревенская старушка-няня напоминала мнѣ нѣсколько мою няню; двухлѣтній мальчикъ съ черными, блестящими, живыми глаз-

ками, сидѣвшій на кроваткѣ, разсматривавшій «Художественный Листокъ» Тимма, и останавливавшійся почему-то съ особенною любовію на одномъ портретѣ, указывавшій на него своимъ пальчикомъ, улыбавшійся ему привѣтливо и называвшій его по имени, напоминалъ мнѣ другое дитя, близкое моему сердцу, и самыя свѣтлыя и счастливыя минуты моей жизни, съ которыми были связаны и лай собачки, и трескъ трещотки, и особенно визгъ и гудѣнье волчка... Къ свѣтлому и отрадному чувству, которое я ощущалъ въ эти минуты, примѣшивалась тоскливая и грустная нота, нисколько, впрочемъ, не мѣшавшая моему наслажденію и какъ будто еще нѣсколько смягчавшая его. Дѣти все болѣе и болѣе становились ко мнѣ довѣрчивы: я, по ихъ просьбѣ, строилъ домики изъ картъ, разставлялъ оловянныхъ солдатиковъ, вырѣзывалъ различныя фигуры изъ бумаги, показывалъ имъ картинки въ панорамѣ, рисовалъ какія-то каракульки на бумагѣ... Они съ любопытствомъ толпились около меня, слѣдя за движеніемъ моего карандаша, заигрывали со мною, предлагали мнѣ различные вопросы, и чѣмъ съ большимъ увлеченіемъ я отдавался ихъ прихотямъ, тѣмъ они становились со мною простѣе и довѣрчивѣе. Ваня, сидѣвшій надъ «Художественнымъ Листкомъ», самъ даже протянулъ ко мнѣ свои ручонки и пожелалъ непремѣнно, чтобы я взялъ его на руки. Я съ увлеченіемъ схватилъ его и поцѣловалъ, и онъ такъ довѣрчиво и ласково прижался къ моей груди, какъ будто это былъ тотъ ребенокъ, котораго онъ напоминалъ мнѣ. Слезы закипѣли въ моей груди, но я пересилилъ себя... Между тѣмъ, старушка-няня, по моей просьбѣ, отправились выливать для меня олово и черезъ нѣсколько времени принесла мнѣ еще не совсѣмъ остывшій и мокрый кусокъ, который мы принялись вмѣстѣ разсматривать на стѣнѣ. Няня, со вниманіемъ смотря сквозь свои очки на фигуры, образовавшіяся на стѣнѣ, серьёзно и подробно толковала мнѣ, что это значитъ и пророчила мнѣ такъ же, какъ нѣкогда и моя няня, особенное счастіе и еще деньги при этомъ. И, странно, слушая теперь эту старушку, я въ сорокъ лѣтъ, съ сѣдинами въ волосахъ, вѣрилъ ей такъ же искренно и добродушно, какъ добродушно вѣрилъ я моей старушкѣ въ тѣ годы, когда еще меня водили на помочахъ! Занимаясь различными играми съ дѣтьми, я чувствовалъ, что

самъ забавляюсь какъ дитя. Правда, сомнѣніе съ насмѣшкою раза два въ продолженіе этого блаженнаго вечера подкрадывались ко мнѣ и мнѣ, вдругъ становилось стыдно за мое ребячество, и я былъ увѣренъ, что смѣшался бы и покраснѣлъ, если бы какой нибудь великосвѣтскій умникъ, съ англійскимъ проборомъ и съ стеклышкомъ въ глазу, засталъ меня тутъ играющаго съ младенцами; но я мгновенно поборолъ въ себѣ эти мысли, даже начиналъ краснѣть за нихъ — и мысленно вызывалъ такого господина передъ собою, становился прямо передъ нимъ, смѣло смотрѣлъ ему въ глаза и говорилъ торжественно: «я кажусь тебѣ смѣшнымъ, но кто изъ насъ въ сущности смѣшнѣе — я ли, на старости лѣтъ забывшійся на мгновеніе съ этими дѣтьми и почувствовавшій себя въ этомъ дѣтскомъ кружку и простѣе, и искреннѣе, и человѣчнѣе, и чище, или ты—изломанное и исковерканное созданіе, не смотря на молодость, уже утратившее въ себѣ все святое и человѣческое, и превратившееся въ куклу, которую приводятъ въ движеніе только однѣ китайскія церемоніи, условія и приличія извѣстнаго кружка?»

Вдругъ дверь дѣтской съ шумомъ распахнулась и на порогѣ появилась торжественная фигура Настасьи Антоновны, которая произнесла, и, какъ мнѣ показалось, нѣсколько раздраженнымъ голосомъ:

— Няня, что жъ, дѣти готовы?... Ихъ скоро позовутъ въ залу... Пожалуйста, чтобъ они явились въ *порядкѣ* и вели себя *прилично*... Слышишь?

При звукахъ этого голоса все вдругъ смолкло, дѣти замерли въ тѣхъ позахъ, въ какихъ ихъ засталъ этотъ голосъ, и даже куклы, какъ мнѣ показалось, повѣсили головы.

— Слышишь, няня? повторилъ тотъ же голосъ.

— Слушаю, матушка, отвѣчала няня и потомъ обратилась къ дѣтямъ, прибавивъ шопотомъ и съ какимъ-то страхомъ:—слышите, что маменька приказываетъ?... Ну, теперь довольно играть, одѣваться пойдемте.

При словахъ: *порядокъ*, *приличіе*, у меня такъ и замерло сердце,—я вдругъ ощутилъ страхъ совершенно дѣтскій, и когда Настасья Антоновна обратилась ко мнѣ съ свойственною ей любезностью и, улыбаясь, сказала:

— А вы все еще здѣсь? Я думаю... они (и она указала головой на дѣтей) надоѣли вамъ...

Я совершенно смѣшался и отвѣчалъ что-то неясно, какъ будто былъ уличенъ въ какомъ нибудь неприличномъ поступкѣ, и не находилъ словъ къ оправданію себя.

Къ счастію, Настасья Анисимовна была занята другимъ и не замѣтила моего смущенія...

— Пойдемте въ тѣ комнаты, продолжала она: — ужъ начинаютъ съѣзжаться. И какая у васъ здѣсь духота! прибавила она, смотря на старушку-няню: — и какой хаосъ, какой безпорядокъ... это ни на что не похоже.

Настасья Антоновна величественно вышла изъ дѣтской съ этими словами. Я послѣдовалъ за нею съ усиливавшеюся робостію. Мысль явиться въ салонъ, даже въ салонъ Настасьи Антоновны, въ эту минуту казалась мнѣ ужасною, какъ будто я въ жизнь мою не бывалъ ни въ какихъ салонахъ...

— Позвольте, батюшка, сказалъ мнѣ Егоръ, когда я проходилъ черезъ корридоръ: — я почищу васъ. Вы, сударь, всѣ въ пуху и какія-то бумажки сзади пристали къ вамъ.

Зала и гостиная были почти наполнены гостями обоего пола... барынями, барышнями, офицерами и статскими. Дочери хозяйки дома, въ бѣлыхъ кисейныхъ платьяхъ, надутыхъ *кринолиномъ,* прохаживались по залѣ каждая порознь съ своими пріятельницами, также кринолиновыми барышнями, и обѣ очень горячо о чемъ-то разговаривали, то возвышая, то понижая голосъ. До слуха постороннихъ доходили только иногда отрывочныя французскія восклицанія, въ родѣ: «Ахъ, ma chère!» «Mais je vous assure!». «Est-ce possible?» и тому подобныя. Старшей барышнѣ-хозяйкѣ было лѣтъ девятнадцать, меньшой — лѣтъ шестнадцать; обѣ онѣ были такъ ни то, ни сё, ни хороши, ни дурны, ни блондинки, ни брюнетки... за ними по рожденію слѣдовали четыре сына, воспитывавшіеся въ разныхъ корпусахъ, и, наконецъ, пять малютокъ, которыхъ мы видѣли въ дѣтской. Всего налицо у Настасьи Антоновны и Григорья Иваныча было одиннадцать дѣтей... Богъ благословилъ ихъ... Главную роль играла старшая — Sophie — фаворитка маменьки — барышня, повидимому, избалованная, съ искусственной граціей и претензіями провинціальной аристократки. Для нея-то былъ устроенъ этотъ танцовальный вечеръ. Она

была его героиней, и офицеръ-племянникъ, котораго Sophie называла mon cousin, безпрестанно подбѣгалъ къ ней и какъ будто совѣтовался съ нею о чемъ-то. Онъ, при каждомъ звонкѣ, выбѣгалъ въ переднюю и являлся съ какимъ нибудь новымъ пріѣзжимъ офицеромъ, или даже юнкеромъ, отчаянными танцорами, которыхъ онъ представлялъ хозяину и потомъ Sophie. Григорій Иванычъ пожималъ имъ одинаково руки, одинаково улыбался и одинаково повторялъ: «очень радъ, очень радъ»... Всѣмъ казалось очень неловко: и офицерамъ, которые перешептывались въ группахъ между собою, и юнкерамъ, которые конфузились и не знали, что̀ дѣлать съ собой, потому что и тѣ и другіе не были вовсе знакомы съ барышнями, которыя также видѣли первый разъ въ жизни этихъ офицеровъ, и хозяину дома, который изо всѣхъ гостей зналъ, можетъ быть, не болѣе десяти человѣкъ, и въ то же время усиливался быть любезнымъ со всѣми. Каждое лицо отдѣльно чувствовало невольное стѣсненіе, порождавшее скуку. Скука, принужденность и тягость явно подавляли всѣхъ этихъ людей, собравшихся для того, чтобы веселиться. Изрѣдка какой нибудь офицеръ, только что выпущенный, подходилъ къ какой нибудь барышнѣ и предлагалъ ей вопросъ, такъ, ни съ того, ни съ сего: «aimez-vous la musique, mademoiselle?» — на что барышня робко, потупляя глазки, отвѣчала: «oui, monsieur, beaucoup!» — и разговоръ иногда останавливался на этомъ. M-lle Brohan, бывшая тогда въ Петербургѣ, также представляла очень удобный предлогъ для начатія разговора: «Avez-vous vue m-lle Brohan? Ah, quel talent!» и проч. Въ гостиной, гдѣ сидѣли болѣе почтенныя и почетныя лица обоего пола, *игра въ гости* шла также неудачно, несмотря на все желаніе Настасьи Антоновны одушевить эту игру... Разговоръ шелъ вяло и не вязался. Все вниманіе хозяйки дома было устремлено, впрочемъ, въ особенности на одно значительное и почетнѣйшее изъ всѣхъ лицо, потому что всѣ другія обнаруживали передъ этимъ лицомъ нѣкоторое судорожное подергиваніе на своихъ лицахъ, сладость въ глазахъ и преданность въ движеніяхъ, отвѣчая на его вопросы, или рѣшаясь обращаться къ нему съ разговоромъ. Значительное лицо, съ большимъ чувствомъ и съ жаромъ, говорило о томъ, что нынче все не такъ, все гораздо хуже, что прежде и

женщины были красивѣе, и молодые люди нравственнѣе и почтительнѣе, и дружба надежнѣе, и вина дешевле и лучше, и писатели талантливѣе, и предметы, которые они выбирали для своихъ сочиненій, возвышеннѣе, и проч. Всѣ поддакивали этому остроумному образу мыслей и вяло распространяли ту же самую тему, желая заслужить лестное со стороны его одобреніе. Робость все болѣе и болѣе овладѣвала мной; я забился въ уголъ, никѣмъ не замѣчаемый, и оттуда слушалъ и смотрѣлъ на все происходившее. Попавъ на тему о безнравственности настоящаго сравнительно съ прошедшимъ, разговоръ принялъ исполинскіе размѣры и обратился въ обвинительный актъ вообще противъ успѣховъ ума человѣческаго, сдѣланныхъ въ послѣднее время, и противъ всѣхъ примѣненій науки на пользу человѣчества, не исключая и желѣзныхъ дорогъ, которыя причислялись также къ безнравственному дѣлу... Мнѣ становилось какъ-то грустно и тѣсно среди этихъ умныхъ, почтенныхъ и пожилыхъ людей, ревностныхъ защитниковъ нравственности, и болѣзненное ощущеніе начинало овладѣвать мною, дыханіе мое спиралось, какъ будто мнѣ недоставало воздуха, чтобъ дышать; но, къ моему счастію, хозяйка дома, обратившись ко всѣмъ, прервала нравственныя разсужденія восклицаніемъ:

— Не угодно ли вамъ посмотрѣть на дѣтскую елку?

И въ то же время протянула свою руку съ пріятнѣйшею гримасою значительному лицу. Значительное лицо протянуло ей свою съ таковою же, и всѣ двинулись въ столовую: старые и молодые, офицеры и статскіе, юнкера, барыни и барышни, и я вслѣдъ за всѣми.

Двери столовой были заперты, но когда Настасья Антоновна съ значительнымъ лицомъ приблизилась къ ней, обѣ половинки дверей распахнулись передъ ними торжественно...

По срединѣ залы на кругломъ столѣ стояла елка, досягавшая почти до потолка и увѣшенная конфектами, разноцвѣтными фонариками и игрушками, которыми былъ живописно уставленъ весь столъ.. Всѣ взрослые и пожилые ахнули отъ восторга при видѣ такой великолѣпной елки...

— Позовите теперь дѣтей! — крикнула Настасья Антоновна.

И дѣти чинно и попарно вошли въ комнату. Няня замыкала шествіе, неся на рукахъ Ваню. Толпа большихъ разсту-

нилась передъ ними и пропустила ихъ впередъ... Съ минуту малютки стояли неподвижно, пораженныя общей картиной, блескомъ свѣчей, фонарей и игрушекъ... и вдругъ вскрикнули, не будучи въ силахъ удержать своего восторга, и бросились къ игрушкамъ; Ваня чуть не вырвался изъ рукъ старушки и съ крикомъ протянулъ свои ручонки къ елкѣ... Но въ эту минуту раздался громкій и пронзительный женскій голосъ, заглушившій всѣ эти дѣтскіе крики:

— Дѣти! дѣти! тише... не подходите близко къ игрушкамъ... Станьте въ *порядкѣ*... надо *терпѣніе*... вы получите свои подарки, по очереди.

И при звукахъ этого голоса, дѣти смолкли и сдѣлались неподвижными, какъ куклы, стоявшія на столѣ.

Затѣмъ началась раздача подарковъ. Настасья Антоновна выбрала самыя лучшія куклы, самыя блестящія игрушки и самыя пестрыя бонбоньерки, отложила ихъ въ сторону и, обращаясь къ значительному лицу съ своей пріятной гримасой, сказала:

— Это отъ моихъ дѣтей вашимъ милымъ дѣткамъ... Намъ такъ больно, что не привезли ихъ!...

Значительное лицо скорчило въ свою очередь также пріятную гримасу и отвѣчало, что если бы они были здоровы, онъ непремѣнно бы привезъ ихъ, и что ему это больно самому, что онъ искренно благодаритъ Настасью Антоновну за ея вниманіе къ нему и къ его шалунамъ, которые не стоятъ такихъ прелестныхъ подарковъ.

И при этомъ они съ чувствомъ пожали другъ другу руки.

Въ это мгновеніе я почувствовалъ какую-то неловкость въ лѣвомъ глазѣ, какъ будто рѣсница загнулась или мнѣ что нибудь попало въ глазъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какое-то странное ощущеніе, смѣшанное съ дрожью, пробѣжало по всему моему тѣлу. Эта ёлка съ разноцвѣтными огнями, на которой остались только золотые орѣхи, и двигавшаяся вокругъ нея толпа разнохарактерныхъ лицъ, шумъ и говоръ, разряженныя дѣти и разряженныя куклы,—все это приняло для меня внезапно какой-то фантастическій колоритъ, все показалось мнѣ ненатуральнымъ и страннымъ, похожимъ на сонъ или на сказку. Голова моя закружилась и смутныя, дикія мысли начали пробѣгать въ ней. Мнѣ казалось, что въ зрачкѣ моего

глаза очутилось какимъ-то чудомъ микроскопическое стеклышко, которымъ «Мейстеръ Фло» Гофмана снабжалъ своего друга Перегринуса, для того, чтобы открывать передъ нимъ настоящій образъ мыслей людей, ихъ тайныя помышленія, которыя они обыкновенно скрываютъ подъ личинами лживыхъ фразъ и самаго невѣроятнаго лицемѣрія... За оболочкой глазъ каждаго изъ присутствующихъ я увидѣлъ, какъ Перегринусъ, преуродливые вѣтвистые нервы и могъ слѣдить за безпрестанно перепутывающимся теченіемъ ихъ до самой глубины мозга... Это-то и были собственно ихъ настоящія мысли, и, смотря въ глаза каждому и каждой, я ясно читалъ ихъ.

Хозяйка дома думала: «Я надѣюсь, что нашъ вечеръ совершенно удался и отъ него будутъ всѣ въ восхищеніи... Я увѣрена, что завтра въ городѣ непремѣнно заговорятъ объ нашей ёлкѣ... я очень довольна, что его превосходительство (подъ этимъ титломъ подразумѣвалось, вѣроятно, значительное лицо) удостоилъ насъ своимъ посѣщеніемъ; я нарочно послала его дѣтямъ такіе дорогіе подарки, чтобъ показать этой гордячкѣ, его женѣ, что мы хоть и провинціалы, но и въ столицѣ себя не уронимъ...» и прочее.

Хозяинъ дома исподтишка зѣвалъ и ничего не думалъ.

Значительное лицо, поборникъ нравственности, думалъ: «Чортъ знаетъ для чего я пріѣхалъ на этотъ глупый вечеръ! Гораздо бы умнѣе я сдѣлалъ, если бы отправился въ клубъ и сѣлъ играть въ палки съ Петромъ Петровичемъ,—я бы по крайней мѣрѣ привезъ домой тысячи три-четыре, а можетъ и больше, потому что этотъ дуракъ играть не умѣетъ, а страстишку къ картамъ имѣетъ ужасную. То пріятно, что съ нимъ всегда садишься *навѣрняка...*» и прочее.

Одна изъ барышень думала, исподтишка смотря на одного офицера:—«Ахъ, если бы *онъ* ангажировалъ меня на мазурку!» А этотъ офицеръ думалъ: «какая страшная тоска и какія все рожи эти барышни!... Я сейчасъ уѣду отсюда къ Луизѣ; она послѣ театра хотѣла быть дома...»

Странно, что большая часть мужчинъ,—офицеровъ, юнкеровъ и статскихъ,—которымъ я смотрѣлъ въ глаза, имѣли совершенно одинаковыя мысли, какъ будто сговорились думать одно и то же, а именно:

«Каковъ-то будетъ ужинъ, и довольно ли будетъ вина?...

Если еще ужинъ скверный, да вина мало,—такъ ужъ, покорный слуга, я въ другой разъ сюда никогда ни ногой...»

— Французскій кадриль!... раздался голосъ племянника офицера...

Мрачный танёръ, помышляя о томъ, какъ бы выпить рюмку водки, злобно подсѣлъ къ фортепьянамъ и забарабанилъ по клавишамъ...

Офицеры бросились къ барышнямъ, и вся эта толпа закружилась, завертѣлась и запрыгала. Мнѣ показалось, что все это сумасшедшіе, и что я тоже начинаю мѣшаться... Я протеръ въ испугѣ глазъ, выбѣжалъ въ переднюю, насилу отыскалъ свою шубу—и только очутившись на улицѣ, вздохнулъ свободно.

Но все еще я ощущалъ какой-то ничѣмъ непреодолимый страхъ и мнѣ казалось долгое время, что за мной послали въ погоню, что меня преслѣдуютъ, что за мной уже кто-то гонится по пятамъ, и мнѣ даже слышалось, что кто-то издалека кличетъ меня по имени. Передо мною развертывались цѣлыя сцены. Я живо воображалъ, какъ будто это совершалось въ дѣйствительности, что я вошелъ въ залу, какъ преступникъ, и Настасья Антоновна, вмѣстѣ съ значительнымъ лицомъ, встрѣтили меня грозно...

— Васъ удостоиваютъ чести приглашать на вечеръ, кричала на меня Настасья Антоновна—полагая, что вы можете быть полезны на что нибудь — танцовать, или играть въ карты,—а вы, милостивый государь, забиваетесь въ дѣтскую, возитесь съ дѣтьми, что совершенно неприлично,—и потомъ въ гостиной забиваетесь въ уголъ,—не умѣете занять разговоромъ ни этихъ миленькихъ барышень, ни этихъ почтенныхъ дамъ... Извольте сейчасъ танцовать... Танцуйте, милостивый государь, танцуйте! я вамъ приказываю танцовать!

Значительное лицо перебило Настасью Антоновну и, устремивъ на меня взглядъ, отъ котораго меня бросило вдругъ и въ жаръ и въ холодъ, произнесло:

— Вы не обнаружили предо мною никакого знака уваженія... Что это значитъ? Отчего вы себя не ведете такъ, какъ всѣ?... Милостивый государь, тотъ, кто не играетъ въ карты, или не танцуетъ, тотъ—безполезный и, въ нѣкоторомъ

смыслѣ, *неблагонадежный* членъ общества. Играете ли вы, сударь, въ карты?

— Нѣтъ, виноватъ, я не умѣю, ваше превосходительство,—отвѣчалъ я, совершенно смѣшавшись.

— И не танцуете?... строго перебилъ онъ съ нахмуренными бровями...

— И къ танцамъ никакой способности не имѣю, отвѣчалъ я:—но, ваше превосходительство... у меня ужъ волосы сѣдѣютъ, осмѣлился прибавить я:—въ мои лѣта танцовать-то... я осмѣливаюсь думать, неприлично...

— Почему же вы полагаете, что неприлично, когда я въ мои лѣта танцую, а я старше васъ?... А! такъ вы не танцуете! такъ вы въ карты не играете?! Что же вы, милостивый государь, дѣлаете? Вы, сударь, считаете карты и танцы пустымъ препровожденіемъ времени!

И Настасья Антоновна, и значительное лицо напали на меня съ ожесточеніемъ, начали упрекать меня въ безнравственности, въ *фанаберіи* и прочее и говорили мнѣ, что послѣ этого я не могу быть терпимъ въ порядочномъ обществѣ...

Только добѣжавъ до Аничкова моста, я опомнился. «Какой вздоръ лѣзетъ мнѣ въ голову», — подумалъ я, смѣясь надъ самимъ собою,—«и отчего это?... Должно быть я ужъ слишкомъ начитался гофмановскихъ сказокъ, которыя я особенно люблю читать въ рождественскіе вечера,—и фантастическое съ дѣйствительнымъ перемѣшались въ моей головѣ и совсѣмъ спутали меня.

Однако, странное дѣйствіе на людей имѣетъ столица... Я никакъ не воображалъ, чтобы Настасья Антоновна была такая тщеславная и строгая дама... Въ деревнѣ она казалась мнѣ гораздо мягче и проще: даже добрый Григорій Ивановичъ казался мнѣ въ деревнѣ умнѣе и самостоятельнѣе. Неужели,—продолжалъ думать я—эти милыя дѣти — Вѣрочка и Надинька—сдѣлаются современемъ похожи на свою старшую сестрицу, искусственную m-lle Sophie? Неужели крошка Ваня — этотъ Ваня, къ которому я чувствовалъ какую-то особенную симпатію, — превратится современемъ въ одного изъ такихъ офицеровъ и будетъ думать только о томъ, какъ бы потанцовать, задать тону, выпить и поухаживать?...

Я возвратился домой въ какомъ-то неопредѣленномъ состояніи духа, подъ двумя совершенно различными впечатлѣніями. Чистымъ и отраднымъ впечатлѣніямъ я былъ обязанъ дѣтямъ; тяжелымъ, подавляющимъ и непріятнымъ — взрослымъ...

XVII. ПЕТЕРБУРГСКІЙ МОНТЕ-КРИСТО.

(Разсказъ для взрослыхъ.)

Въ Петербургѣ, какъ извѣстно, — и, вѣроятно, не въ одномъ Петербургѣ, а во всѣхъ большихъ городахъ, — есть особый классъ господъ, неимѣющихъ ровно никакого состоянія и живущихъ такъ, какъ будто они получаютъ сотни тысячъ. Чѣмъ же живутъ эти господа? на какія деньги они покупаютъ свои драгоцѣнные мебели и экипажи, пріобрѣтаютъ себѣ неслыханныхъ рысаковъ и неописанныхъ любовницъ? Никто не знаетъ этого;—но они со всѣми знакомы, имъ всѣ издали улыбаются, всѣ дружески пожимаютъ руки при встрѣчѣ, всѣ ѣздятъ къ нимъ на обѣды и приходятъ въ восторгъ отъ этихъ обѣдовъ, потому что, дѣйствительно, при видѣ какой-нибудь свѣжей земляники и малины въ февралѣ мѣсяцѣ нельзя не прійти въ восторгъ.... Нельзя же, послѣ такого великолѣпнаго обѣда и драгоцѣнныхъ винъ (сердце человѣческое слабо), съ умиленіемъ и съ увлаженными зрачками не взглянуть на хозяина, не схватить съ жаромъ его руку и не пожать ее съ чувствомъ. Но послѣ перваго порыва восторга, когда пищевареніе начинаетъ совершаться, невольное подозрѣніе закрадывается въ душу каждаго и каждый спрашиваетъ себя: «однако, что это такое? откуда все это?» А у нѣкоторыхъ можетъ быть очень щекотливыхъ людей (такихъ, конечно, не много) земляника становится иногда даже поперегъ горла при такомъ внутреннемъ вопросѣ.

Вотъ что говорилъ мой знакомый NN про одного изъ такихъ таинственныхъ господъ, который проживалъ неизвѣстно какимъ образомъ сотни тысячъ въ годъ и отъ котораго ахалъ въ свое время весь Петербургъ: «Петръ Петровичъ — удивительный человѣкъ, умный, любезный, со вкусомъ, съ тактомъ, — бывать у него—истинное наслажденіе, — потому что валяешься

на гамбсовскихъ диванахъ, попираешь драгоцѣнные ковры, пьешь какой-то нектаръ рублей по пятнадцати серебромъ бутылку, ѣшь какія-то неслыханныя блюда, которыя сами во рту таютъ, смотришь на свою рожу въ трехъ-саженное трюмо;— это пріятно, чортъ возьми, а все, знаешь, какъ-то страшно, когда бываешь у него... я это всякій разъ испытываю на себѣ. Вотъ, вотъ, думаешь, сейчасъ нагрянетъ полиція, свяжетъ хозяина по рукамъ и по ногамъ,—ну и для гостей, разумѣется, непріятно. Вотъ еслибъ не эта мысль, которая мнѣ постоянно лѣзетъ въ голову на его балахъ, обѣдахъ и ужинахъ, — то ужъ, конечно, въ Петербургѣ не найти бы другаго дома, гдѣ бы можно было проводить время съ такимъ наслажденіемъ.»

NN очень коротко и чуть не съ дѣтства зналъ Петра Петровича.

— Такихъ людей, говорилъ мнѣ онъ:—не много, повѣрьте. Это не дюжинный человѣкъ. Все, что онъ задумываетъ—такъ смѣло, широко. Я не знаю человѣка великодушнѣе его, щедрѣе, — онъ бросаетъ деньги потому, что для него деньги не цѣль, а средство.... Онъ живетъ не для себя, а для другихъ. Домъ его открытъ для всѣхъ съ утра до вечера. Поѣзжайте къ нему и попробуйте спросить хоть птичьяго молока,—вамъ навѣрно принесутъ и птичье молоко. Петръ Петровичъ—чародѣй.... Что бы тамъ ни говорили, а, по жизни, это баринъ въ настоящемъ, въ старинномъ значеніи этого слова. Не смѣйтесь, я говорю не шутя....

— Однако, вы сами боитесь, перебилъ я: — что этого чародѣя и барина полиція рано или поздно свяжетъ по рукамъ.

— Свяжетъ, непремѣнно свяжетъ! сердце мое чуетъ, — а всетаки, что ни говорите, онъ баринъ, всетаки онъ умѣетъ жить, какъ никто, и все-таки весь городъ къ нему ѣздитъ. Еще будучи молодымъ человѣкомъ, имѣя какихъ нибудь три тысячи рублей ассигнаціями дохода, не больше, онъ умѣлъ жить такъ, что вы сказали бы, что онъ получаетъ двадцать. «Вотъ когда я разбогатѣю, говорилъ онъ: — я покажу, какъ должны жить порядочные люди, я весь Петербургъ заставлю о себѣ кричать.» Я тогда, недовѣрчиво улыбаясь, слушалъ его: «Да откуда же ты разбогатѣешь? спрашивалъ я его:—наслѣдства у тебя нѣтъ въ виду, службой — не слишкомъ разжи-

вешься, развѣ получишь какое нибудь очень тепленькое мѣстечко и будешь хапать безъ церемоніи.» — «Это вздоръ, возражалъ онъ: — я взятки брать не буду, но, какъ бы то ни было, а ты увидишь, что я заставлю о себѣ говорить всѣхъ, что я достигну до того, что мнѣ всѣ будутъ кланяться и весь нашъ блестящій Петербургъ ко мнѣ будетъ ѣздить. Вспомнишь мое слово!» — И дѣйствительно вышло такъ, какъ онъ говорилъ. А кто бы могъ двадцать-пять лѣтъ назадъ серьезно принимать его слова?... Хвастуновъ-то въ Петербургѣ много, — послушаешь, на словахъ они тратятъ сотни тысячъ, а всѣ въ долгу, какъ въ шелку, и еле перебиваются, — но тутъ не слова, а дѣло... Петръ Петровичъ не долженъ, а проживаетъ въ годъ тысячъ двѣсти серебромъ....

— Да что жъ онъ, за женой, что ли, взялъ такъ много?...

— Что жена! Она — точно съ состояніемъ. Она, быть можетъ, принесла ему за собой тысячъ пятнадцать серебромъ дохода, но отъ пятнадцати до двухъ сотъ еще далеко... Скорѣе карты... онъ ведетъ большую игру и, говорятъ, выигралъ тысячъ триста серебромъ, — ну, да скажите, что значатъ человѣку триста тысячъ, когда онъ проживаетъ въ годъ двѣсти?...

— Откуда же беретъ онъ деньги?

— Вотъ въ этомъ-то и вопросъ! Этотъ вопросъ всѣ задаютъ себѣ, а разрѣшить его никто не можетъ....

— Можетъ быть онъ золотыми промыслами занимается, участвуетъ въ откупахъ?

— Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ.

— Что же онъ, наконецъ, дѣлаетъ фальшивыя деньги?

— Нѣтъ, съ фальшивыми деньгами десять лѣтъ не проживешь... Разумѣется, тутъ ужъ что-нибудь не чисто, подозрѣнія-то кой-какія есть и основательныя, но попробуйте сообщить эти подозрѣнія какому нибудь изъ тѣхъ почетныхъ лицъ, которыхъ онъ угощаетъ своими бальтазаровскими пирами, — васъ остановятъ съ негодованіемъ и закричатъ:

— Какой вздоръ! Этого быть не можетъ во-первыхъ потому-то, во вторыхъ потому-то, а въ третьихъ Петръ Петровичъ благороднѣйшій и честнѣйшій человѣкъ.... Онъ самъ напрашивается на ревизію.... я, говоритъ, не могу быть покоенъ (это я тысячу разъ отъ него слышалъ), потому что, говоритъ, для меня каждая казенная копѣйка дороже собственнаго рубля;

да вы не знаете, батюшка, что это за человѣкъ, и проч. и проч.,—такой гвалтъ подымутъ, что и по неволѣ прикусишь язычокъ.... Господи Боже мой, какъ, подумаешь, на людей-то хорошіе обѣды дѣйствуютъ—и непостижимо! Если бы еще эти люди были голодны, бѣдны, если бы имъ было все въ сласть и диковину, а то они вѣдь чуть не лопнутъ отъ жиру и имѣютъ своихъ метръ д'отелей и дворецкихъ.... Хорошіе обѣды это тотъ же подкупъ, та же взятка.... Вотъ почему люди разсчетливые и тонкіе дѣйствуютъ прежде всего на желудокъ нужныхъ имъ людей. Ухъ, какъ Петръ Петровичъ-то это хорошо понимаетъ. Знатокъ жизни, великій сердцевѣдецъ!... Отчего вы съ нимъ незнакомы? Отчего вы не ѣздите къ нему?...

— Да такъ; для чего?—я вообще избѣгаю знакомствъ.

— Полноте, возразилъ мнѣ NN: — это такой домъ, въ которомъ вы скучать не будете. Я вамъ отвѣчаю за это,—и Петръ Петровичъ будетъ въ восхищеніи, если вы пріѣдете.... Да что долго думать и откладывать, поѣдемте сегодня вечеромъ послѣ театра.

Это было пять лѣтъ тому назадъ. Я былъ тогда посговорчивѣе и не могъ отдѣлаться отъ настояній NN. Мы поѣхали вмѣстѣ съ нимъ въ оперу, съ тѣмъ, чтобы изъ оперы отправиться къ Петру Петровичу.

Въ первомъ антрактѣ NN указалъ мнѣ на литерную ложу съ правой стороны.

— Эта ложа Петра Петровича, сказалъ онъ.—Онъ абонируетъ ее постоянно втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Знаете ли, что одна меблировка и отдѣлка этой крошечной ложи стоила ему пять тысячъ рублей?... Мраморный каминъ велѣлъ сдѣлать въ ложѣ, ковры натянуть, драпри вездѣ развѣсить,—ужъ ничего не любитъ дѣлать въ половину....

— А кто это у него въ ложѣ?

— Вотъ эта дама расплывшаяся-то, что ближе къ сценѣ—это жена, а другая, у которой брови дугой, орлиный носъ, крупные и темные, какъ вишни, глаза и которая издали кажется такой удивительной belle-femme—это ее самая близкая пріятельница—женщина довольно легкаго нрава; несмотря на то, что ей ужъ тридцать-пять лѣтъ, а предобрая сердцемъ! Сзади жены Петра Петровича офицеръ, который играетъ, ка-

жется, роль друга дома. Злые языки Богъ знаетъ что говорятъ: будто жена Петра Петровича даетъ ему деньги... вѣроятно, въ-займы, а онъ эти деньги будто бы отдаетъ одной танцовщицѣ... да это, я думаю, все вздоръ.... А! да вотъ и самъ Петръ Петровичъ!

Петръ Петровичъ, поговоривъ съ какимъ-то почетнымъ лицомъ въ первомъ ряду креселъ, возвращался, вѣроятно, въ свою ложу. Это былъ пожилой, очень подвижной, средняго роста человѣкъ, съ оффиціально-пріятнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Отъ постоянныхъ условныхъ гримасъ и натяжекъ, отъ лжи, лицемѣрія, лести и тому подобнаго, лицо Петра Петровича утратило простоту и естественность и походило болѣе на маску....

— Петръ Петровичъ! Петръ Петровичъ!... вскрикнулъ NN, когда Петръ Петровичъ поровнялся съ нашимъ рядомъ креселъ.

Петръ Петровичъ обернулся съ своей оффиціально-пріятной улыбкой и протянулъ руку NN.

— Что, у меня послѣ театра? спросилъ онъ.

— Непремѣнно, отвѣчалъ NN—и еще не одинъ... Я хочу привезти къ тебѣ вотъ кого—онъ указалъ на меня.

Петръ Петровичъ, съ которымъ мы всегда раскланивались и который не разъ приглашалъ меня къ себѣ, наговорилъ мнѣ множество любезностей на французскомъ языкѣ и въ заключеніе, кивнувъ нѣсколько разъ головой, произнесъ: au plaisir de vous revoir,—и, пройдя нѣсколько шаговъ, остановился на минуту противъ бенуара, гдѣ сидѣли двѣ разряженныя дамы, и, значительно переглянувшись съ одной изъ нихъ, сдѣлалъ ей привѣтливый знакъ рукою....

— Съ кѣмъ это онъ такъ любезничаетъ? спросилъ я у NN.

— Неужто вы не знаете? это m-me Армансъ,—его возлюбленная.... Посмотрите, что у ней за туалетъ,—а она больше трехъ-четырехъ разъ одного платья ни за что не надѣнетъ! Какіе у нея экипажи, мебели! Она въ прошломъ году жила съ однимъ барономъ, а Петръ Петровичъ съ извѣстной Натальей Ивановной. Петру Петровичу Армансъ-то давно нравилась, а барону она надоѣла.... Они и промѣнялись: Петръ Петровичъ отдалъ ему свою Наталью Ивановну и взялъ у

него Армансъ.... И Армансъ не въ накладѣ.... Вотъ-съ какія дѣла дѣлаются на свѣтѣ!

Когда изъ театра мы подъѣзжали къ освѣщенному двумя фонарями подъѣзду Петра Петровича, я сказалъ NN:

— Ну, а если полиціи-то вломится сегодня?

NN засмѣялся.

— Нѣтъ, я думаю, еще не присвѣлъ часъ, сказалъ онъ.

Насъ встрѣтилъ высокій, толстый и важный швейцаръ въ синемъ длинномъ сюртукѣ съ большими гербовыми пуговицами безъ перевязи, въ гороховыхъ штиблетахъ и въ синей фуражкѣ съ широкимъ серебрянымъ галуномъ. Большой каминъ передъ дверью, съ алебастровыми каріатидами, пылалъ ярко и весело. Надъ каминомъ вставлено было широкое зеркало въ тоненькой, золоченой рамѣ и на доскѣ камина стояли массивныя часы темной бронзы; вправо отъ входа стоялъ столъ швейцара съ письменными принадлежностями и кресло съ высокой спинкой, обитое темнымъ сафьяномъ. Вся площадка передъ лѣстницей и лѣстница были ярко освѣщены карселями, хотя большой фонарь съ лампами внутри, висѣвшій передъ входомъ, не былъ зажженъ, потому что онъ зажигался только въ торжественные дни. Широкая лѣстница вся была обита зеленымъ сукномъ, сверхъ котораго былъ настланъ узорчатый коверъ....

— Что, Петръ Петровичъ возвратился изъ театра? спросилъ NN у швейцара.

— Возвратились, отвѣчалъ швейцаръ важно.

На площадкѣ толпилось нѣсколько ливрейныхъ лакеевъ.

Мы поднялись по драгоцѣннымъ коврамъ на лѣстницу и встрѣчены были на верхней площадкѣ лакеями въ черныхъ фракахъ.

— Такъ въ носъ и бросаются мильоны! шепнулъ мнѣ NN, улыбаясь.—Настоящій вельможа!

Мы прошли чрезъ узкую и длинную комнату въ родѣ галлереи, всю завѣшанную картинами, и повернули направо. Передъ нами открылась анфилада комнатъ, обитыхъ малиновымъ, голубымъ и блѣдно-желтымъ штофомъ, заставленныхъ дорогою мебелью, саксонскимъ и китайскимъ фарфоромъ, мраморными статуями въ тѣни банановъ и прочее. Во второй комнатѣ, на двухъ столахъ, играло нѣсколько извѣстныхъ игроковъ и зна-

чительныхъ лицъ... Въ слѣдующей комнатѣ также былъ разложенъ столъ для картъ, за который сѣла потомъ хозяйка дома.

— Вы думаете, можетъ быть, что она играетъ по маленькой?... шепнулъ мнѣ NN: — какое! она въ вечеръ проигрываетъ и выигрываетъ по тысячѣ и по двѣ.... Это домъ чудесъ!—Въ этой же комнатѣ сидѣло и ходило нѣсколько дамъ и офицеровъ. Хозяинъ дома встрѣтилъ насъ на порогѣ третьей комнаты и былъ особенно привѣтливъ ко мнѣ. Онъ подвелъ меня къ своей супругѣ и, представляя, замѣтилъ, что онъ всегда желалъ видѣть меня въ своемъ домѣ и что очень радъ, что наконецъ сбылось его желаніе. Она въ свою очередь сказала мнѣ тоже какую-то любезность и прибавила, что любитъ, чтобы у нихъ въ домѣ всѣ были свободны и веселы.

— А вы играете въ карты? спросила она меня.

— Понятія не имѣю, отвѣчалъ я.

— А я такъ большая охотница играть въ карты—и сейчасъ сяду. Ужъ вы меня извините.

Дѣйствительно, въ домѣ не было, кажется, ни малѣйшаго стѣсненія. Съѣздъ продолжался часовъ до двухъ: тутъ были господа и изъ высшаго общества, и изъ того неопредѣленнаго, которое колеблется между высшимъ и среднимъ, и изъ средняго.... Что же касается до дамъ, то трудно было рѣшить, къ какому собственно обществу принадлежали онѣ, хотя многія изъ нихъ и, между прочими, дама съ орлинымъ носомъ и съ глазами, подобными вишнямъ, носили громкія титла. Каждый и каждая занимались чѣмъ имъ угодно; я въ особенности любовался одной четой: дамой очень хорошенькой и молодымъ офицеромъ, также очень не дурнымъ собою, которые въ теченіе всего вечера, выбравъ уединенный уголокъ, не выходили оттуда и не обращали ни на кого вниманія. Около часа явился господинъ—одно изъ извѣстнѣйшихъ лицъ въ Петербургѣ—Д* и оживилъ всѣхъ и все.

Д* со всѣмъ Петербургомъ на *ты*, онъ обладаетъ всѣми возможными маленькими талантами, которые очень цѣнятъ: онъ недурной музыкантъ и сочиняетъ скверныя польки, — пѣвецъ, на столько, чтобы съ большимъ искусствомъ передразнивать итальянскихъ и русскихъ пѣвцовъ; онъ очень бойко и мѣтко чертитъ карандашомъ каррикатуры, отлично танцуетъ,

необыкновенно забавно разсказываетъ анекдоты, иногда очень кстати остритъ и каламбуритъ,—даже по-русски, отличается смѣлостію необыкновенною и при всемъ этомъ любитъ выпить. У Д* натура артистическая. Изъ него непремѣнно вышло бы что нибудь замѣчательное, если бы его наклонности получили правильное развитіе и если бы привычка и пустота свѣтской жизни не сгубили его. Онъ размѣнялъ свой талантъ на мелочь и незамѣтно разстратилъ его въ шумѣ баловъ, въ попойкахъ съ пріятелями и въ ночныхъ похожденіяхъ у цыганъ и въ другихъ мѣстахъ....

Д* называлъ жену Петра Петровича *матушкой-княгиней.*

— У васъ, говорилъ онъ ей:—домъ весь на княжескую ногу, такъ стало быть и вы княгиня.

Подойдя къ столу, на которомъ она играла, Д* пожалъ ей руку и сказалъ:

— Матушка-княгиня ужъ за своимъ дѣломъ?...

— А ты, шалунъ, откуда такъ поздно?

Д* наклонился къ уху и шепнулъ ей что-то. Она улыбнулась и выдрала его за ухо....

Черезъ минуту раздалось пѣніе.... Д* спѣлъ какой-то романсъ и съ послѣдней нотой прищелкнулъ языкомъ и мигнулъ глазомъ съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ лакею, стоявшему у дверей: лакей исчезъ по этому знаку и черезъ минуту воротился съ бутылкой лафита и со стаканомъ...

Д* выпилъ залпомъ стаканъ, извиняясь, что у него ужаснѣйшая жажда, и по просьбѣ дамъ началъ подражать различнымъ пѣвцамъ.—Charmant! charmant! раздавалось со всѣхъ сторонъ.

За ужинъ сѣло человѣкъ сорокъ—(и это вѣдь всякій день такъ, замѣтилъ мнѣ NN). Ужинъ былъ холодный, но тонкій... вина самыя дорогія, и бутылка шампанскаго между каждыхъ двухъ приборовъ. За ужиномъ между прочими находился одинъ господинъ, также всѣмъ извѣстный въ Петербургѣ, практическій мыслитель, каратель общественныхъ предразсудковъ и прожектёръ, обладающій удивительнѣйшими и разнообразнѣйшими проэктами наживанія денегъ посредствомъ неслыханныхъ коммерческихъ оборотовъ: имѣющій средства изъ 5000 р., въ два года, очень легко сдѣлать 50 т., изъ 10—100 и т. д. Въ его наживательные проэкты входила, между прочимъ, и литера-

тура—отчасти, можетъ быть, потому, что онъ былъ человѣкъ литературно-образованный. Онъ представлялъ убѣдительнѣйшіе примѣры, какъ отъ одного литературнаго предпріятія,—проэктъ котораго онъ тутъ же сообщилъ,—съ 500 рублями можно въ два года нажить до мильона. Слушая этого господина, излагавшаго свои проэкты съ убѣдительностью и невообразимымъ краснорѣчіемъ, такъ и хотѣлось въ ту же минуту отдать въ его руки все состояніе до копѣйки,—и только одна мысль удерживала отъ этого, — мысль, впрочемъ, довольно основательная: то, что этотъ господинъ, ворочающій сотнями тысячъ и пріобрѣтающій мильоны въ фантазіи, не только не нажилъ себѣ что нибудь, но еще, напротивъ, прожилъ все, что̀ досталось ему въ наслѣдіе отъ его почтенныхъ родителей, и кромѣ того, еще всѣмъ задолжалъ по мелочамъ....

А разсказывать онъ былъ дѣйствительно великій мастеръ...

У него было до двадцати извѣстныхъ разсказовъ, которые онъ повторялъ въ теченіе всей своей жизни и довелъ ихъ такимъ образомъ до художественнаго совершенства. Рѣчь его лилась гладко, плавно и мягко, точно какъ будто онъ читалъ по печатному, и въ его разсказѣ слышались и запятая, и точка съ запятой, и тире, и точка. И въ эти минуты любо было смотрѣть на свѣтлое, довольное лицо разскащика, который былъ ко всему этому весь примазанъ, прилизанъ и подклеенъ съ величайшею аккуратностью и тщательностью. Я уже не разъ слышалъ всѣ его разсказы и потому они меня интересовали мало. Но за ужиномъ рѣчь зашла объ одномъ извѣстномъ генералѣ, при которомъ онъ состоялъ нѣсколько лѣтъ. По этому поводу Петръ Петровичъ обратился къ нему и просилъ его разсказать нѣкоторыя черты изъ жизни генерала для двухъ значительныхъ лицъ, которыя еще не слыхали этого разсказа... Прилизанный господинъ только и ждалъ этого... Всѣ смолкли—и онъ залился, какъ соловей. Д*, который слушалъ этотъ разсказъ разъ двадцать и который терпѣть не могъ молчать и слушать другихъ, сѣлъ сзади разскащика и началъ корчить гримасы. Гримасы эти очень смѣшили дамъ—и дамы съ пріятной улыбкой грозили ему изподтишка пальчиками и качали головками.

Д* не унимался и безпрестанно перебивалъ разсказъ фразой: «ну, я не думаю»; когда разскащикъ говорилъ, напри-

мѣръ, о томъ, что генералъ чувствовалъ къ нему *особенное расположеніе*, Д* прибавлялъ: — «ну, я не думаю, чтобы особенное»; когда разскащикъ замѣчалъ, что онъ имѣетъ на такой-то предметъ свой оригинальный взглядъ, Д* перебивалъ: «ну, я не думаю, чтобы оригинальный», и т. д. Разскащикъ наконецъ вышелъ изъ себя, остановился и обратился къ нему, съ минуту поглядѣвъ на него молча и торжественно:

— Вы полагаете, сказалъ онъ наконецъ, — что вы хорошо сдѣлали, что нашили на вашу *манишку* эти балаболки? И онъ указалъ на его грудь. На груди у Д* дѣйствительно были нашиты валансьенскіе кружева. — Извините, отвѣчалъ Д*, нисколько не смѣшавшись и очень серьёзно: — я не ношу манишекъ, я ношу рубашки, а вотъ вы носите манишки: вонъ у васъ сзади и накрахмаленная тесемка торчитъ... Всѣ невольно улыбнулись такому неожиданному выраженію и взглянули на шею разскащика... Сзади у него дѣйствительно торчала крѣпко накрахмаленная тесемка отъ манишки. Это, повидимому, ничтожное замѣчаніе совершенно убило его — и онъ вдругъ осовѣлъ. Мысль о томъ, что всѣ узнали, что онъ носитъ вмѣсто рубашекъ манишки, мгновенно убила практическаго мыслителя и карателя общественныхъ предразсудковъ.

Когда мы съ NN возвращались послѣ ужина Петра Петровича домой, я не могъ не замѣтить о томъ, сколько вообще вкуса у Петра Петровича и какое умѣнье жить.

— Я вамъ говорилъ, что *баринъ, вельможа*, возразилъ мнѣ NN: — вкусу-то много, а денегъ, денегъ-то! Еще что сегодня! Вы посмотрите на его званые обѣды и вечера... посмотрите на его дачную жизнь... на его дачныя середы. Я не говорю ужъ объ тонкости и прелести этихъ обѣдовъ и винъ, — послѣ обѣда шесть линеекъ для гостей, запряженныхъ четвернями для тѣхъ, кому угодно кататься по островамъ; для мужчинъ отъ самаго обѣда до ужина въ особенной комнатѣ шампанское не сходитъ со стола; персики, абрикосы и различные фрукты корзинами. Разъ подали такіе персики, что гости всѣ выпучили глаза отъ изумленія, а я не утерпѣлъ и говорю Петру Петровичу: «ну, Петръ Петровичъ, передъ вашими пирами и праздниками — сказки тысячи и одной ночи — просто дрянь... Изъ какихъ неслыханныхъ оранжерей добываете вы такіе персики?»

— А что, хороши? спросилъ онъ, улыбаясь.

— Это какое-то чудо! Я въ жизни не видалъ подобныхъ.

— Коли тебѣ нравится, говоритъ: — я велю тебѣ отпустить съ собой, — и крикнулъ дворецкаго. — Прикажи, говоритъ, Демьянъ Иванычъ, приготовить для него — и показываетъ на меня—корзиночку персиковъ, которые у насъ сегодня за столомъ были.

Я уѣзжаю, а дворецкій за мной...

— Что жъ, говоритъ, батюшка, — персики-то свои изволили забыть, да и суетъ мнѣ въ руку корзинищу — три десятка, на подборъ, вотъ какъ самыя крупныя яблоки... Такъ вотъ каковъ Петръ Петровичъ!

Но несмотря на все, потому ли, что душа моя не лежала къ Петру Петровичу, или потому, что въ домѣ у него бывали такія лица, какихъ я вовсе не желалъ видѣть, я послѣ этого вечера ни разу не былъ у него. Однажды, въ театрѣ, черезъ годъ послѣ этого, въ февралѣ мѣсяцѣ, Петръ Петровичъ подходитъ ко мнѣ и послѣ очень любезныхъ упрековъ, что я забылъ его, говоритъ:

— А у меня до васъ просьба... то есть, лучше сказать, я имѣю къ вамъ порученіе съ просьбой: Армансъ проситъ васъ въ четвергъ къ себѣ на вечеръ, васъ и вашего пріятеля Л*. Пожалуйста сами пріѣзжайте и привезите его... Да онъ, кажется, здѣсь, въ театрѣ, я пойду самъ скажу ему.

Петръ Петровичъ отправился отыскивать Л*.—Съ Армансъ я познакомился мѣсяца за два передъ этимъ у одной изъ самыхъ блистательныхъ въ Петербургѣ камелій. Армансъ въ эту минуту была съ ней въ крайней дружбѣ, что особенно выражалось тѣмъ, что онѣ, въ театрѣ и въ концертахъ, въ теченіе мѣсяца являлись неразлучно... Дружба камелій продолжалась не долго... Онѣ скоро, кажется, разстались — и въ сію минуту блистательная камелія не можетъ слышать имени Армансъ...

Въ четвергъ, въ день бала Армансъ, Л* пріѣхалъ ко мнѣ и объявилъ, что мы непремѣнно должны ѣхать къ ней. Я не могъ отговориться; онъ потащилъ меня насильно, увѣряя, что мы увидимъ пропасть любопытнаго.

Въ началѣ одиннадцатаго мы подъѣхали къ ярко освѣщенному этажу небольшаго дома, въ которомъ жила Армансъ.

Домъ былъ двухъ-этажный и къ ея квартирѣ былъ отдѣльный подъѣздъ. У него стояло уже довольно экипажей. Лѣстница вся была заставлена деревьями и цвѣтами. Но это бы еще ничего. На лѣстницѣ разставлены были лакеи въ ливреяхъ, правда, безъ гербовъ, но въ короткихъ штанахъ и шелковыхъ чулкахъ... Всѣ комнаты, не исключая и спальни, были открыты и блистательно освѣщены; въ спальнѣ, въ круглой раззолоченной рамѣ, висѣлъ, между прочимъ, портретъ Армансъ, рисованный пастелью, работы Робильяра... Балъ былъ блистательный: оркестръ Лядова, различныя театральныя знаменитости, цвѣтъ петербургскихъ камелій въ блистательныхъ туалетахъ, въ цвѣтахъ, въ бриллiантахъ, съ букетами и цвѣтъ петербургской великосвѣтской молодежи, а въ заключеніе ужинъ съ свѣжимъ горошкомъ, съ свѣжими ягодами въ февралѣ и еще, кажется, съ какими-то диковинками. Всѣ плясали до упаду часовъ до осьми утра. Отъ хозяйки дома не отходилъ почти все время одинъ молодой и очень красивый офицеръ, который, въ эту минуту, имѣлъ успѣхъ между этими дамами колоссальный, и, кажется, былъ *Артюромъ* Армансъ. Она ревниво слѣдила за нимъ и почти не отпускала его отъ себя... Петръ Петровичъ за ужиномъ хлопоталъ ужасно и угощалъ всѣхъ, отъ времени до времени посматривая не безъ волненія на Армансъ, возлѣ которой сидѣлъ молодой и красивый офицеръ. Петръ Петровичъ подошелъ къ ней и шепнулъ ей что-то на ухо, при чемъ брови Армансъ сердито сдвинулись и она сказала довольно громко и съ гримасой: «Assez, assez»... и потомъ, когда онъ еще разъ наклонился къ ея уху, прибавила болѣе благосклонно, взявъ со стола свой вѣеръ и ударивъ имъ по губамъ Петра Петровича: «Tais-toi, tais-toi, monstre!...»

Въ то время, какъ мы сходили съ лѣстницы, впереди насъ шли два господина. Одинъ изъ нихъ говорилъ другому:

— А вѣдь надо правду сказать, этотъ Петръ Петровичъ молодецъ... каковъ вечеръ задалъ!...

— Да, только этотъ господинъ подозрителенъ, отвѣчалъ другой по-французски:—къ его Армансъ еще можно ѣздить, но ѣздить къ нему — я этого не понимаю... Это какое-то баснословное существованіе, подъ которымъ можетъ быть кроется чортъ знаетъ что!... Мнѣ Луиза разсказывала, что

онъ одного бѣлья выписалъ для Армансъ изъ за границы на пятнадцать тысячъ рубл. сер. Луиза съ ума сходитъ отъ этого бѣлья, помѣшалась на этомъ бѣльѣ... все это ужасно смѣшно!... Это тотъ же «Bourgeois-Gentilhomme», только въ современной формѣ, а еще можетъ быть, что нибудь и хуже этого. Я подозрѣваю... и онъ наклонился къ уху другаго господина, который воскликнулъ:

— Неужели? Не можетъ быть!

Черезъ три мѣсяца послѣ этого была, все это баснословное существованіе вдругъ рухнуло съ шумомъ и громомъ неописаннымъ, увлекая все близкое въ своемъ паденіи. «Не можетъ быть» превратилось въ несомнѣнный фактъ—и каждый удивлялся: какъ же это ему не пришло въ голову прежде. Это было ужъ слишкомъ очевидно.

Въ самомъ дѣлѣ, какимъ же образомъ человѣкъ, имѣвшій десять тысячъ рублей сер. дохода, могъ проживать двѣсти? и проч.—Но это ужасное существованіе, — замѣчали многіе:— трепетать каждую минуту... ложиться съ мыслію:—«что если завтра?» и просыпаться съ мыслію:—«ну что если сегодня?» Этотъ господинъ походилъ на тѣхъ героевъ древнихъ сказокъ, которые продавали на неопредѣленное время свою душу чорту за блескъ и почести и дрожали въ этомъ блескѣ каждую минуту, думая: «ну, а если ему вздумается сейчасъ придти за моей душой?...»

Послѣ великой катастрофы, случившейся съ Петромъ Петровичемъ, NN прибѣжалъ ко мнѣ. — Ну что, говорилъ онъ въ волненіи:—вѣдь я вамъ твердилъ, что его рано или поздно свяжутъ по рукамъ и по ногамъ. Вотъ такъ и случилось. А вѣдь человѣкъ могъ жить съ удобствами, честно, спокойно! Но ему нужны были блескъ, извѣстность, слава, удивленіе, ему нужно было, чтобы всѣ кричали при видѣ его: «Вонъ Петръ Петровичъ, тотъ самый Петръ Петровичъ, который задаетъ неслыханные обѣды, неописанные вечера у себя дома и у своей любовницы, тотъ Петръ Петровичъ, который забираетъ ежегодно въ англійскомъ магазинѣ и у Елисѣева тысячъ на восемьдесятъ серебромъ, тотъ Петръ Петровичъ, у любовницы котораго одного бѣлья на пятнадцать тысячъ серебромъ

и проч. и проч. «Никогда еще тщеславіе не развивалось въ человѣкѣ до такихъ безобразныхъ размѣровъ: долгъ, совѣсть, честь — онъ все отдалъ на удовлетвореніе этого безумнаго тщеславія. — Подумать страшно!...

XVIII. ШАРЛОТА ѲЕДОРОВНА.

(Вовсе не дѣтскій разсказъ.)

Я шелъ по Невскому проспекту утромъ на второй день масляницы. Молодой, только что выпущенный гусаръ, еще безъ усовъ, сынъ одной моей старинной знакомой, за которымъ ѣхали сани парой съ крутозавившейся на отлетѣ пристяжной, на которую онъ безпрестанно оглядывался, остановилъ меня восклицаніемъ:

— Charmé de vous voir!

— Здравствуйте, отвѣчалъ я.

— А что, вы будете, продолжалъ гусаръ, вставляя въ глазъ стеклышко и смотря на меня, хотя онъ могъ видѣть меня легко простымъ глазомъ, потому что мы стояли лицомъ къ лицу: — будете завтра на пикникѣ, который устраиваетъ Шарлота Ѳедоровна?

— Что такое? спросилъ я.

Онъ повторилъ свои слова.

— Шарлота Ѳедоровна! А-а! Такъ Шарлота Ѳедоровна даетъ пикникъ?

— Да завтра, батюшка, весь городъ тамъ, всѣ *наши!*

— Весь вашъ полкъ?

— Нѣтъ, quelle idée! я разумѣю *наши*, то есть всѣ *порядочные* люди... Сережа Бѣльскій, Саша Гребецкой...

— Вотъ что! Ну прощайте, желаю вамъ веселиться, сказалъ я.

Пройдя нѣсколько шаговъ, я былъ опять остановленъ, но на этотъ разъ моимъ старымъ пріятелемъ.

— Очень радъ, что я тебя встрѣтилъ, сказалъ я ему:— мнѣ ты нуженъ. Я хотѣлъ зайти къ тебѣ завтра вечеромъ, чтобы переговорить объ одномъ дѣлѣ.

— Завтра?... пожалуй... отвѣчалъ онъ нерѣшительно и

какъ будто припоминая что-то.—Ахъ нѣтъ, завтра не могу. Я совсѣмъ забылъ, завтра я на пикникѣ у Шарлоты Ѳедоровны....

Опять Шарлота Ѳедоровна!

— Да что это за пикникъ? спросилъ я.

— Я ничего не знаю, мнѣ навязали билетъ и я заплатилъ за него двадцать-пять рублей.—Заплативъ такія деньги, нельзя же бросить билетъ въ печку; къ тому же, мнѣ любопытно посмотрѣть, что это такое; говорятъ, тамъ будутъ всѣ извѣстныя хорошенькія петербургскія женщины. Поѣдемъ-ка. Это право любопытно.

— Не знаю, можетъ быть—отвѣчалъ я, простившись съ моимъ пріятелемъ.

Въ этотъ день я обѣдалъ у Донона.

Противъ меня сидѣли два молодыхъ человѣка неизвѣстныхъ мнѣ. Они разговаривали очень громко, смѣшивая русскую рѣчь съ французскими фразами, пересыпали разговоръ блестящими аристократическими именами, одѣты были франтовски, называли всѣхъ лакеевъ по именамъ, обращались къ самому Донону съ дружескою фамильярностью, несмотря на то, что Дононъ оказывалъ имъ совершенное хладнокровіе, и посматривали на меня и на другихъ обѣдавшихъ въ этой комнатѣ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хотѣли сказать: «Что вы за люди? Откуда вы?»—Не трудно было догадаться, что эти джентльмены средней руки принадлежали къ тому многочисленному классу петербургскихъ праздношатающихся, для котораго безконечное стремленіе къ comme il faut есть цѣль всей жизни, а величайшее счастіе и благо—достиженіе чести пройтиться по Невскому проспекту или посидѣть въ театрѣ въ первомъ ряду креселъ съ какимъ нибудь княземъ, графомъ и вообще великосвѣтскимъ господиномъ. Джентльмены эти кушали блины съ икрой и запивали ихъ холоднымъ шампанскимъ.

— А я съ нетерпѣніемъ жду завтрашняго дня, сказалъ одинъ изъ нихъ такъ, чтобъ всѣ мы слышали.—Я увѣренъ, что будетъ чудо какъ весело. Ужъ если за это взялась Шарлота Ѳедоровна, я увѣренъ, что все будетъ устроено отлично. Ah! Elle a du chic, cette femme, cher ami! Прелесть что за

женщина! Я вчера былъ у нея цѣлое утро съ Сережей Бѣльскимъ...

— Армансъ приготовила для этого пикника удивительный туалетъ, возразилъ другой.

— Но все-таки, перебилъ первый:—Шарлота Ѳедоровна будетъ la reine du bal... Il n'y a pas de doute...

Пикникъ и Шарлота Ѳедоровна преслѣдовали меня цѣлый день.

Пикникъ этотъ, какъ я слышалъ на другой день, дѣйствительно удался. Всѣ самыя *цѣнныя* петербургскія камеліи участвовали въ немъ... Туалеты ихъ были блистательны, кринолинныя юбки поражали своими размѣрами: дамы эти, несмотря на ихъ изящный вкусъ, любятъ немного преувеличивать моду. Вся великосвѣтская молодежь, военная и штатская, присутствовала на этомъ пикникѣ со своими двойниками и подражателями. Для пикника этого нанята была одна изъ большихъ меблированныхъ дачъ Лѣснаго Института, ужинъ готовилъ Дюссо, конфекты и мороженое были отъ Сальватора, оркестръ конногвардейскій. Танцовали до шести часовъ утра. Царица бала была дѣйствительно, по общему сознанію, Шарлота Ѳедоровна. Ея туалетъ убилъ всѣ туалеты, и, въ самомъ дѣлѣ, онъ отличался неслыханнымъ вкусомъ и удивительно шелъ ей къ лицу. Всѣ дамы, даже тѣ, которыя считались самыми близкими ея пріятельницами, кипѣли, какъ слѣдовало ожидать, противъ нее въ этотъ вечеръ непримиримою враждою и мучительною завистью. Армансъ отпускала на ея счетъ разныя колкости. Успѣхъ Шарлоты Ѳедоровны злобно одушевлялъ ее. Она пустила въ ходъ всю свою французскую любезность и живость, и въ контрадансахъ такъ ловко и беззастѣнчиво канканировала, что многихъ привела въ восторгъ и возбудила самыя энергическія рукоплесканія. Но такая безграничная веселость Армансъ привела въ негодованіе Шарлоту Ѳедоровну. Шарлота Ѳедоровна была оскорблена неприличнымъ поведеніемъ этой француженки, потому что Шарлота Ѳедоровна корчила, говорятъ, великосвѣтскую даму и танцовала съ необыкновеннымъ чувствомъ достоинства.

Что такое Шарлота Ѳедоровна, читателю, даже иногородному, объяснять, я полагаю, не нужно. Къ тому же, я представлялъ нѣсколько очерковъ такого рода дамъ, и если я

снова обращаюсь къ *этимъ* дамамъ, то это не оттого, чтобъ я питалъ къ нимъ особенную нѣжность; не потому, чтобъ я слишкомъ увлекался ими и находилъ особенное удовольствіе говорить нихъ... Но нельзя не обратить вниманія на то, что въ послѣднее время *эти* размножающіяся съ каждымъ днемъ *дамы* начинаютъ играть роль довольно замѣтную, выходятъ иногда изъ своей сферы и пріобрѣтаютъ внѣ ея силу и значеніе. Съ этими прелестными Луизами, Бертами, Армансами и Шарлотами Ѳедоровнами, которыя бросаются въ глаза всѣмъ роскошью, выходящею изъ всѣхъ границъ, соединяются, быть можетъ, вопросы весьма серьёзные. Эти госпожи — явленіе не случайное, и разсказы объ нихъ могутъ быть не одною пустою и праздною болтовнею, потому что изъ этихъ разсказовъ читатель, наблюдающій и размышляющій, можетъ извлечь нѣкоторыя данныя, не лишенныя любопытства, о жизни и о степени нравственнаго состоянія нѣкотораго класса общества.

Шарлота Ѳедоровна въ сію минуту львица между всѣми этими дамами. На нее обращено великосвѣтское вниманіе, объ ней толкуютъ во всѣхъ кружкахъ петербургскаго общества, ее знаютъ всѣ... по крайней мѣрѣ, по имени. Она самая модная изъ всѣхъ камелій; объ ея роскоши разсказываютъ баснословные анекдоты даже на Петербургской сторонѣ, и я теперь передамъ моимъ провинціальнымъ читатетямъ (для петербургскихъ все это ужъ неинтересно) нѣкоторыя самыя любопытныя черты изъ ея жизни.

Шарлота Ѳедоровна появилась въ Петербургѣ лѣтъ восемь тому назадъ. Она вывезена была изъ какого-то нѣмецкаго городка и первое время послѣ своего пріѣзда называлась *Іоганной*. Подъ этимъ именемъ она была извѣстна всему богатому и веселящемуся Петербургу. Іоганнѣ было тогда девятнадцать лѣтъ. Она не могла не обратить на себя особеннаго вниманія знатоковъ. Они приходили прежде всего въ восторгъ отъ ея ручки и ножки. Іоганна, въ этомъ случаѣ, была исключеніемъ изъ нѣмокъ, потому что нѣмки вообще не отличаются красотою ногъ и рукъ. Потомъ знатоки приходили въ восторгъ — и совершенно справедливый — отъ ея гибкой и тонкой таліи, отъ изящной формы ея плечь, сквозь прозрачную бѣлизну которыхъ виднѣлись тоненькія голубоватыя жилки, отъ

ея удивительно тонкаго профиля, отъ особенно симпатическаго выраженія ея лица, оживленнаго синими, продолговатыми глазками, въ которыхъ иногда сверкали какія-то искры, и отъ густой, падавшей до колѣнъ косы пепельнаго цвѣта. Тѣ, которымъ этотъ портретъ покажется преувеличеннымъ, могутъ посмотрѣть въ сію минуту на Шарлоту Ѳедоровну въ оперѣ, на гуляньяхъ или, наконецъ, быть ей представленными, чтобы убѣдиться, что я не прибавилъ къ нему ни одной черты, потому что съ тѣхъ поръ она мало измѣнилась. Несмотря на это, прежнюю Іоганну нельзя почти узнать въ настоящей Шарлотѣ Ѳедоровнѣ. Іоганна одѣвалась, или, вѣрнѣе сказать, ее одѣвали безъ всякаго вкуса, волосы причесывали какими-то безобразными колечками и завитками. Іоганна совсѣмъ не умѣла держать себя и, ломаясь, повторяла своимъ неотвязчивымъ поклонникамъ: «lassen sie mich». Превращаясь постепенно изъ Іоганны въ Шарлоту Ѳедоровну, она обнаружила удивительную наблюдательность и необыкновенную способность воспринимать весь наружный блескъ, всѣ внѣшнія условныя формы, со всѣми ихъ тонкими и неуловимыми для простаго глаза оттѣнками. Черезъ три года послѣ своего пріѣзда въ Петербургъ, когда она, подъ покровительствомъ какого-то господина, влюбившагося въ нее, обзавелась своимъ маленькимъ хозяйствомъ и квартиркой — ее нельзя было узнать. Она сдѣлалась развязною, начала болтать довольно порядочно по-русски, перестала говорить lassen sie mich, обнаружила вкусъ въ выборѣ своихъ туалетовъ и вела себя съ такимъ тактомъ и съ такою скромностью, что на улицѣ или въ театрахъ ее можно было бы принять за порядочную женщину, если бы не сопровождавшая ее толстая наперсница очень страннаго вида, въ желтыхъ, довольно грязныхъ перчаткахъ и въ поношенной французской шали, которая бросала на нее невыгодную и подозрительную тѣнь. По мѣрѣ того, какъ средства Шарлоты расширялись, жажда блеска и роскоши росла въ ней, раздражаемая примѣрами Берты, Лунзы и другихъ, которыя еще обращались съ нею тономъ покровительства и допускали ее только иногда, въ тѣ часы, когда у нихъ никого не было, въ свой блестящій кругъ. Экипажи Фребеліуса, Туровскіе и Гамбсовскіе мебели, лакеи съ штиблетами не давали ей покоя. Но она смотрѣлась въ зеркало, задумы-

валась на минуту, синіе глазки ея загорались искрами, и, лукаво улыбаясь, она почти вслухъ говорила самой себѣ: «у меня непремѣнно будетъ все это!»

И дѣйствительно, не прошло года, какъ въ одинъ прекрасный солнечный день, на Дворцовой набережной, въ часъ гулянья, промчалась темная коляска безукоризненнаго вкуса, запряженная парою темносѣрыхъ рысаковъ, съ толстымъ кучеромъ на козлахъ, съ огромной черной бородой, и съ тоненькимъ лакеемъ въ гороховомъ сюртукѣ и штиблетахъ, съ небольшою кокардою на круглой шляпѣ и со сложенными накрестъ руками,—коляска, въ которой сидѣла, прислонившись къ одному углу съ очаровательной небрежностью, прелестнѣйшая женщина съ пепельными волосами, въ восхитительномъ туалетѣ.

Всѣ глаза, стеклышки и лорнеты обратились на эту коляску...

— Кто это? Что это такое? Quelle jolie femme! Charmante! Просто чудо! посыпались вопросы и восклицанія со всѣхъ сторонъ.

— А я знаю, кто это, сказалъ съ нѣкоторымъ торжествомъ одинъ изъ гулявшихъ.

— Ну, да говорите же, кто? воскликнуло нѣсколько голосовъ съ нетерпѣніемъ.

— Шарлота.

— Какая Шарлота?

— Ну, просто Шарлота. Она, говорятъ, живетъ съ какимъ-то купцомъ.

Имя Шарлоты начало переходить отъ одного къ другому и извѣстность ея въ эту минуту была уже упрочена. Никому и въ голову не приходило, что эта прелестная женщина была нѣкогда извѣстна многимъ изъ нихъ подъ именемъ Іоганны.

Цѣлую недѣлю послѣ этого великосвѣтская петербургская молодежь только и толковала о Шарлотѣ. Вслѣдъ за тѣмъ, Шарлота начала являться въ абонированной ложѣ въ оперѣ и во всѣхъ бенефисахъ въ балетѣ, производя неописанный эффектъ. Вся блестящая молодежь уже увивалась около нея.

Совершенное невѣжество и неумѣнье говорить выкупалось въ ней природной хитростью и ловко усвоенными ею граціозными движеніями и живописными позами, которыя она при-

нимала въ извѣстныя минуты съ величайшимъ искусствомъ, и необыкновенно привлекательною улыбкою, во время которой лицо ея имѣло такое выраженіе, которое такъ невольно и влекло къ ней... Безграмотность и невѣжество (Шарлота съ трудомъ подписывала свое имя) нимало, впрочемъ, не вредили ей; всѣ эти блестящіе господа, окружавшіе ее, не были прихотливы на этотъ счетъ, потому что сами они отъ Шарлоты отличались только тѣмъ, что свободно болтали по-французски и читали романы Фудра и Дюма, о которыхъ Шарлота, разумѣется, никогда не слыхала.

Хотя Шарлота одинаково, повидимому, кокетничала со всѣми, но наблюдательный глазъ могъ замѣтить, что она начинаетъ обращать особенное вниманіе на одного изъ нихъ... я назову его хоть княземъ Езерскимъ, потому что надобно же хоть какъ нибудь назвать его. Онъ и она какъ-то ужъ слишкомъ часто поглядывали другъ на друга и между имъ и ею начались уже *телеграфическіе знаки*. Шарлота чувствовала къ нему влеченіе прежде всего потому, что онъ носилъ громкое имя и очень основательно считался тончайшимъ цвѣтомъ великосвѣтскости и образчикомъ военнаго comme il faut. Дѣйствительно, никто не привѣшивалъ съ такимъ искусствомъ аксельбанта, никто такъ ловко не пристегивалъ эполетъ, ни у кого не было сюртука такого покроя, никто такъ ловко не носилъ своей сабли, ни у кого изъ-подъ широкихъ рукавовъ сюртука не выглядывало бѣлье такой удивительной бѣлизны и тонкости, ни у кого не было такихъ изящныхъ запонокъ и англійскаго пробора, расчесаннаго съ такимъ искусствомъ; никто не былъ такъ смѣлъ съ женщинами и никто не танцовалъ ловче и лучше его. Онъ породилъ тьму подражателей; къ тому же, весь городъ кричалъ объ его неслыханныхъ успѣхахъ между женщинами и особенно о его побѣдѣ надъ одной великосвѣтской барыней, которая почему-то преимущественно обращала на себя вниманіе Петербурга. Шарлота очень хорошо понимала, что близость ея отношеній къ этому человѣку придастъ ей еще болѣе блеску, и что Берта, Луиза, Армансъ и прочія съ ума сойдутъ отъ зависти, узнавъ объ этомъ, потому что и Берта, и Луиза, и Армансъ наперерывъ другъ передъ другомъ употребляли всевозможныя ухищренія кокетства, чтобы завлечь князя въ свои сѣти. Замѣча-

тельно то, что всѣ эти дамы не имѣли относительно его никакихъ корыстныхъ цѣлей, потому что состояніе его (это знали всѣ) было очень разстроено и ограничено. Каждая изъ нихъ, соблазненная единственно блескомъ его имени, его свѣтскими успѣхами и тою ролью, которую онъ игралъ между великосвѣтскою молодежью, какъ утонченнѣйшій представитель comme il faut, руководилась одною только соблазнительною мыслію имѣть его своимъ другомъ, своимъ *Артюромъ*, какъ говорятъ французы, своимъ amant de coeur, потому что эти дамы не могутъ обходиться безъ Артюровъ. Отдаться безкорыстно человѣку незначительному и темному нѣтъ никакой выгоды. Необходимо, чтобы Артюръ удовлетворялъ, по крайней мѣрѣ, хоть тщеславію, чтобы частицу своего блеска онъ удѣлилъ своей возлюбленной, чтобы онъ былъ или модный художникъ, или необыкновенный артистъ, или безукоризненный comme il faut; чтобъ онъ былъ непремѣнно героемъ въ какомъ бы то родѣ ни было, чтобы объ немъ вездѣ и всѣ кричали, чтобы ему удивлялись, завидовали, подражали и рукоплескали...

Князь былъ одинъ изъ самыхъ привлекательныхъ Артюровъ, потому что онъ въ этомъ случаѣ удовлетворялъ всѣмъ условіямъ. Великосвѣтскость для этихъ дамъ все-таки выше всѣхъ талантовъ и онѣ всегда предпочтутъ сценическому герою—героя салоннаго. Но независимо отъ всего, князь былъ такъ хорошъ собой, черты лица его были такъ тонки, темные волосы такъ мягки и густы, усы, оканчивающіеся однимъ волоскомъ, такъ красивы, небольшіе каріе глаза такъ хитры и привлекательны, что если бы онъ даже не былъ тѣмъ, чѣмъ былъ,—онъ и тогда, я въ этомъ увѣренъ, могъ бы подѣйствовать на впечатлительную Шарлоту. Шарлота, какъ всѣ нѣмки, была при этомъ немножко сантиментальна и въ патетическія минуты говорила нѣсколько нараспѣвъ.

Въ то самое время, какъ князь началъ ухаживать за Шарлотой, къ ней началъ ѣздить очень богатый и уважаемый всѣми господинъ. Онъ зналъ князя съ той минуты, какъ тотъ вышелъ изъ пеленокъ, и былъ всегда особенно расположенъ къ нему, но ему было неловко встрѣтиться съ нимъ у Шарлоты; къ тому же, къ этой неловкости примѣшалась ревность. Шарлота все это тотчасъ смекнула. Она устроила такъ, чтобы всѣми уважаемый господинъ никогда не могъ встрѣтиться у

ней съ княземъ, нарочно отзывалась о князѣ, когда о немъ заходила рѣчь, съ совершеннымъ равнодушіемъ и была до такой степени мила и внимательна съ уважаемымъ всѣми господиномъ, такъ пристально смотрѣла на его лысину въ свой бинокль въ театрѣ, съ такою непритворною радостью встрѣчала его, такъ соблазнительно ласкалась къ нему, что уважаемый всѣми господинъ, не отличавшійся никогда большою твердостью, совсѣмъ ослабѣлъ...

Черезъ полгода послѣ знакомства съ нимъ, Шарлота переѣхала на новую квартиру, о баснословной роскоши которой закричалъ весь городъ. Еще до ея переѣзда многіе пріѣзжали посмотрѣть на отдѣлку этой квартиры. Въ особенности всѣхъ приводилъ въ восторгъ ея будуаръ, во вкусѣ Помпадуръ, и столовая изъ рѣзанаго дуба, въ которой, начиная отъ огромнаго буфета, на которомъ была вырѣзана звѣриная травля горельефомъ, до самой маленькой вещицы, все было самой утонченной артистической работы. Ея туалеты сдѣлались еще роскошнѣе, экипажи еще блестящѣе (они выписывались изъ Лондона).... Шарлота затемнила окончательно всѣхъ своихъ соперницъ, явилась во главѣ ихъ и съ тѣхъ поръ называется не иначе, какъ Шарлота Ѳедоровна.

Новоселье свое Шарлота Ѳедоровна праздновала великолѣпнымъ баломъ. Это былъ счастливый день въ ея жизни. Она явилась передъ всѣми своими завистницами и соперницами въ неслыханномъ блескѣ, и тѣ, которыя года три назадъ тому едва допускали ее къ себѣ,—теперь невольно преклонились передъ нею, въ величіи ея обстановки. Даже Армансъ,—ядовитая Армансъ—ея непримиримый врагъ, смирилась передъ этою роскошью и, съ жаднымъ и безпокойнымъ любопытствомъ разсматривая различныя драгоцѣнныя украшенія и вещи на каминахъ и зеркалахъ Шарлоты Ѳедоровны, вдругъ вскрикнула, обращаясь къ окружавшимъ ея дамамъ, которыя были крайне удивлены этимъ восклицаніемъ: «Ah!... mais savez vous, mesdames, que c'est une femme de beaucoup d'ésprit.... beaucoup!» На балѣ Шарлоты Ѳедоровны, кромѣ этихъ дамъ, были многія извѣстныя актрисы нѣмки и француженки. Общество мужчинъ было самое избранное, въ смыслѣ великосвѣтскомъ. Шарлота Ѳедоровна вела себя съ величайшимъ тактомъ и была со всѣми одинаково любезна и предупредительна, даже

съ своими заклятыми врагами и завистницами. Она была въ этотъ вечеръ счастлива и нарочно показывала всѣмъ свое особенное расположеніе къ князю Езерскому. Ей какъ будто хотѣлось сказать: «смотрите, я его люблю и онъ меня любитъ. Чего же наконецъ недостаетъ мнѣ?»

О балѣ Шарлоты Ѳедоровны и о ея великолѣпномъ ужинѣ говорили въ городѣ нѣсколько дней. Великосвѣтскія дамы начинали интересоваться Шарлотой Ѳедоровной: онѣ разспрашивали объ ея балѣ и, встрѣчая ее на улицѣ, не только измѣряли ее съ ногъ до головы, даже оглядывались. Женское любопытство пересиливало чувство аристократическаго достоинства....

Уважаемый господинъ—виновникъ всего этого блеска, который окружалъ Шарлоту Ѳедоровну, никогда не показывался на ея великолѣпныхъ вечерахъ, но изрѣдка, говорятъ, устраивалъ у нея особые вечера, на которые приглашалъ только своихъ короткихъ пріятелей и сверстниковъ. Шарлота Ѳедоровна имѣла надъ нимъ власть неограниченную, которая усиливалась съ каждымъ днемъ. Не смотря на это, домашнія сцены и бури бывали довольно часто. Причиною ихъ по большой части была ревность.

Уважаемый господинъ ревновалъ Шарлоту Ѳедоровну ко всѣмъ, но менѣе всѣхъ къ князю Езерскому,—такъ хитро и ловко она вела себя. Сцены эти обыкновенно оканчивались полнымъ торжествомъ Шарлоты Ѳедоровны. Всѣ подозрѣнія разбивались въ прахъ. Ея невинность выступала во всемъ блескѣ и уважаемый господинъ испрашивалъ у нея прощенія со слезами и на колѣняхъ.

Между тѣмъ, Шарлота Ѳедоровна, сблизившаяся съ княземъ Езерскимъ изъ тщеславія, начала привязываться къ нему не на шутку. Не было дня, въ который бы они не видѣлись хотя на минутку.... Встрѣчи эти назначались въ Англійскомъ магазинѣ, у Елисѣева, во время устрицъ, и въ другихъ мѣстахъ; а продолжительныя свиданія — въ квартирѣ одной изъ самыхъ вѣрныхъ пріятельницъ Шарлоты Ѳедоровны. Князь совсѣмъ не ѣздилъ къ ней и только появлялся — и то не всегда — на ея званыхъ вечерахъ. Эти свиданія у пріятельницы скоро оказались неудобными и князь нанялъ для этой цѣли небольшую квартиру въ одной изъ уединенныхъ улицъ,

недалекой впрочемъ отъ центра города, меблировалъ ее просто, но со вкусомъ, поселилъ тамъ преданнаго ему человѣка и завелъ маленькое хозяйство....

Когда Шарлота Ѳедоровна въ первый разъ пріѣхала на эту квартиру, въ условленный часъ, тайкомъ, одна и въ наемной каретѣ, каминъ уже горѣлъ въ маленькой гостиной и на столѣ зажженъ былъ карсель подъ длиннымъ бумажнымъ колпакомъ. Князь въ нетерпѣливомъ ожиданіи сидѣлъ у камина съ развернутою книгою на колѣняхъ.... Здѣсь я кстати замѣчу мимоходомъ, что князь, считавшійся въ свѣтѣ очень образованнымъ человѣкомъ, никогда никакой книжки, даже Польде-кокова романа не могъ дочесть до конца.... Онъ бралъ обыкновенно книгу, прочитывалъ двѣ или три страницы—и задумывался. Одинъ изъ его пріятелей, съ которымъ онъ жилъ вмѣстѣ, сказалъ ему однажды, когда онъ лежалъ въ такомъ созерцательномъ положеніи съ открытою книгою, опрокинутою переплетомъ вверхъ....

— Сознайся, что ты не можешь прочесть двухъ страницъ сряду. Скажи пожалуйста, неужели тебѣ веселѣе такъ лежать, ничего не дѣлая?

— А ты полагаешь, отвѣчалъ ему князь, улыбаясь:—что я ничего не дѣлаю? ты ошибаешься — *я думаю*, и это для меня гораздо важнѣе и полезнѣе всякихъ книгъ.

Пріятель засмѣялся....

— О чемъ же ты думаешь? спросилъ онъ.

— Я мысленно, отвѣчалъ князь очень серьезно:—ставлю себя въ различныя положенія относительно разныхъ лицъ въ обществѣ и дѣлаю планы, какъ я долженъ и какъ буду вести себя въ такомъ или въ другомъ положеніи. Эта игра очень забавная и она занимаетъ меня гораздо болѣе вашихъ романовъ, прибавилъ князь, улыбаясь....

Въ ожиданіи Шарлоты Ѳедоровны, князь, сидѣвшій у камина съ развернутою книгою, занятъ былъ вѣроятно этою остроумною игрою. Шарлота Ѳедоровна вбѣжала въ комнату въ салопѣ и съ муфтой.... При видѣ пылающаго камина, она кинула муфту и захлопала въ ладоши. Князь вскочилъ и бросился къ ней, уронивъ книгу съ колѣнъ. Онъ и не замѣтилъ, какъ вошла она, потому что Шарлота Ѳедоровна не звонила и, не зная входа, прошла черезъ заднюю лѣстницу.... Князь

разстегнулъ ей салопъ, снялъ съ нея шляпку.... Шарлота Ѳедоровна бросилась осматривать квартиру.... Она была въ восторгѣ отъ всего, хотя приходить въ восторгъ было не отъ чего; она рѣзвилась, радовалась, прыгала какъ дитя—и безпрестанно обнимала своего *Сашу*—такъ называла она князя.... Она сама разливала чай, болтала безъ умолку ужаснѣйшій вздоръ, передавала ему всѣ сплетни, которыя плели Армансъ, Берта, Луиза и другія, опутывая другъ друга. И князь слушалъ все это съ величайшимъ любопытствомъ и принималъ во всемъ этомъ живое участіе. Шарлота Ѳедоровна начинала немножко говорить по-французски и вмѣшивала въ разговоръ французскія фразы... Князь смѣялся надъ ея ошибками. Время летѣло незамѣтно. Было уже половина двѣнадцатаго.

— Мнѣ не хочется домой, сказала Шарлота Ѳедоровна, лѣниво потянувшись и заложивъ руки къ косѣ, которая чуть-чуть держалась, слегка поддерживаемая небрежно воткнутой гребенкой.—Я бы здѣсь хотѣла остаться.

— Что жъ? оставайся, возразилъ князь.

Шарлота Ѳедоровна вздохнула.

— Развѣ мнѣ можно? произнесла она печально: — онъ такой несносный *мой*, такой ревнивый — бѣда. Онъ съ ума сойдетъ, а я, Саша, хотѣла бы остаться съ тобой долго, долго, до утра.

И Шарлота Ѳедоровна, говоря это, съ нѣжностью разглаживала густые и глянцовитые волосы князя.

— Ты не умѣешь держать его въ рукахъ, замѣтилъ князь.

— Не правда, ты меня не знаешь, у меня есть характеръ, у-у, какой характеръ! онъ разсердится и сейчасъ проситъ у меня прощенья, да еще на колѣняхъ; но нельзя же мнѣ дѣлать все, что я хочу. Я все-таки отъ него завишу. Ахъ, Саша, какъ мнѣ скучно съ нимъ! Послѣ театра онъ у меня сидитъ долго, все говоритъ, какъ меня любитъ; я задремлю, а онъ, я чувствую это и сквозь сонъ, все глазъ съ меня не спускаетъ, все смотритъ мнѣ въ лицо, а я думаю— вотъ еслибъ, вмѣсто него, ты былъ тутъ....

— Ну, а если бы тебѣ, вмѣсто двадцати тысячъ, перебилъ князь: — дали, напримѣръ, полную свободу и тысячи четыре въ годъ, такъ чтобы ты не нуждалась, ты бы бросила его?

Шарлота Ѳедоровна задумалась.

— Скажи только правду.

Шарлота Ѳедоровна молчала.

Князь, улыбаясь, смотрѣлъ на нее въ ожиданіи отвѣта.

— Можетъ быть.... начала она, и остановилась.—Нѣтъ, Саша, нѣтъ!... я скажу всю правду. Я не могу, я привыкла много издерживать. Не сердись на меня, Саша.... ужъ я такая, что жъ мнѣ дѣлать? Я за то правду говорю тебѣ.

Князь засмѣялся. Шарлота Ѳедоровна также начала смѣяться и потомъ поцѣловала князя. Она безпрестанно перемѣняла свои позы на низенькомъ диванѣ, стоявшемъ передъ каминомъ: то ложилась на плечо къ князю, то обвивала его рукой, усаживалась на диванѣ совсѣмъ съ ножками, то протягивала эти ножки, обутыя въ блѣднорозовый чулокъ и туфли съ каблучками, къ камину. Часы пробили двѣнадцать.

— Ахъ, мнѣ пора! воскликнула Шарлота Ѳедоровна, быстро вскакивая съ дивана.

Она сдѣлала два шага и вдругъ остановилась.

— Знаешь, что? Мнѣ захотѣлось ужинать, Саша, сказала она.—Я еще хочу остаться съ тобой. Ты хочешь со мной ужинать?... Ты хочешь, чтобы я осталась немного?

(Нельзя не замѣтить, что у этихъ дамъ всегда прекрасный аппетитъ.)

— Прекрасно, отвѣчалъ князь:—только весь нашъ ужинъ будетъ состоять изъ холодной пулярки и сыра.

— Это чудо! Лучше ничего не надо! закричала Шарлота Ѳедоровна.

Ужинъ былъ принесенъ. Шарлота Ѳедоровна скушала почти половину пулярки и выпила три стакана шампанскаго. Щеки ея разгорѣлись, развившіеся волосы падали на лицо. Она была очень хороша въ эту минуту, и князь, глядя на нее, былъ очень доволенъ собой. Онъ любилъ ее въ эту минуту, хотя, какъ истинный comme il faut, считалъ неприличнымъ слишкомъ обнаруживать свои чувства. Онъ держалъ себя съ нею постоянно одинаково прилично и нѣсколько равнодушно.

Часу въ третьемъ, князь самъ довезъ ее до дома и выпустилъ, не доѣзжая до ея подъѣзда дома за два.

Такія свиданія бывали раза два въ недѣлю. Шарлота Ѳедоровна была дѣйствительно привязана къ князю, и эта при-

вязанность выражалась очень наивно. Одинъ разъ изъ кармана ея платья посыпались какія-то бумажки. На вопросъ князя: «что это?» она отвѣчала, что это билеты въ лотерею; что одна ея знакомая (промотавшаяся камелія) разъигрываетъ свою турецкую шаль.

— Я взяла много билетовъ и много раздала, прибавила Шарлота Ѳедоровна:—мнѣ очень жаль ее!

— А почемъ билетъ? спросилъ князь.

— По двадцати-пяти рублей.

— Дай мнѣ четыре билета.

— Ни за что! вскрикнула Шарлота Ѳедоровна:—я знаю, кому отдать. У меня много такихъ.... А я не хочу, чтобы ты попусту тратилъ деньги.... у тебя денегъ мало. Зачѣмъ брать! не нужно.

Князь иронически улыбнулся.

— Что жъ, ты воображаешь, сказалъ онъ:—что я не въ состояніи бросить ста рублей, если захочу?

Князь насильно взялъ у нея билеты и бросилъ деньги на столъ.

Но Шарлота Ѳедоровна таки поставила на своемъ: она не взяла этихъ денегъ, и отняла у него билеты, несмотря на его гнѣвъ.

Она не хотѣла подвергать его ни малѣйшимъ издержкамъ и даже упрекала его за то, что онъ много издержалъ на квартиру и слишкомъ хорошо меблировалъ ее.

— Намъ было бы довольно одной комнаты и одного дивана, Саша! говорила она.

Князь подарилъ ей браслетъ съ часами, и она не разсталась съ нимъ, она постоянно носила его и берегла всѣ его письма, какъ драгоцѣнность. На эти письма Шарлота Ѳедоровна отвѣчала раздушенными записочками на отличномъ французскомъ языкѣ, которыя обыкновенно писала ей одна изъ ея пріятельницъ, та самая, въ квартирѣ которой князь имѣлъ свиданія.

— Ты мнѣ скажешь правду? спросилъ онъ у Шарлоты, послѣ полученія одной изъ ея записокъ, поразившей его ужъ слишкомъ сильной изящностью слога.

— Ну, конечно, а развѣ я лгу когда-нибудь? возразила она, нахмуривъ брови.

— Ну, такъ скажи мнѣ, кто тебѣ писалъ эту записку?

— Я писала сама, отвѣчала Шарлота Ѳедоровна оскорбленнымъ тономъ.

— Нѣтъ, не ты, отвѣчалъ князь спокойно. — Ты двухъ словъ не напишешь правильно ни по-каковски.

Шарлота Ѳедоровна клялась, что это писала она; наконецъ разсердилась, надулась и заплакала, но чрезъ минуту призналась во всемъ и, съ безпокойствомъ глядя въ глаза князю, спрашивала его:

— Саша, вѣдь ты не будешь меня меньше любить оттого, что я безграмотна?

Она точно была привязана къ князю и привязана безкорыстно, въ этомъ нельзя было сомнѣваться, но въ то же самое время она кокетничала и водила за носъ одного молодаго, очень богатаго русскаго купчика, который изъ тщеславія готовъ былъ раззориться на нее въ пухъ, и другаго извѣстнаго почтеннаго старичка изъ нѣмцевъ, нажившаго мильоны посредствомъ золотыхъ промысловъ. Почтенный старичокъ былъ влюбленъ въ нее до безумія. Онъ таялъ при одномъ взглядѣ на нее, и чуть не заплакалъ, когда она въ первый разъ позволила поцѣловать ему руку. Шарлота Ѳедоровна нѣжно смотрѣла на почтеннаго старичка, называла его «папашей» и, пользуясь его слабостью, обирала его самымъ безпощаднымъ образомъ, показывая ему въ отдаленіи только слабый лучъ надежды. Она была даже у него два раза и почтенный старичокъ чуть не помѣшался отъ этого счастія. Онъ показалъ ей всѣ свои драгоцѣнности: старое серебро, китайскій и саксонскій фарфоръ, мраморы и бронзы, и, кромѣ серебра и мраморовъ, всѣ эти вещи вскорѣ перешли къ Шарлотѣ Ѳедоровнѣ.... А почтенный старичокъ все жилъ только слабымъ лучомъ надежды. Говорили, что молодой купчикъ былъ счастливѣе его, но что счастіе его было кратковременно и обошлось ему не дешево: онъ заплатилъ по векселямъ Шарлоты Ѳедоровны около двадцати тысячъ рублей серебромъ, и послѣ этой уплаты дверь Шарлоты Ѳедоровны заперлась для него навсегда. Темные слухи обо всемъ этомъ давно ходили между великосвѣтскою молодежью, которую очень занимали скандальныя похожденія всѣхъ этихъ дамъ за неимѣніемъ другихъ интересовъ — и, вѣроятно, дошли до князя Езерскаго.

Князь спросилъ ее о купчикѣ и о старикѣ-золотопромышленникѣ. Шарлота Ѳедоровна вспыхнула, начала клясться и божиться, что о купчикѣ не имѣетъ никакого понятія, что она слишкомъ дорожитъ собой и такихъ.... (она произнесла при этомъ: фи! и сдѣлала гримасу) не пускаетъ на порогъ своего дома, что съ старичкомъ-золотопромышленникомъ она дѣйствительно встрѣчается у своихъ пріятельницъ и что онъ строитъ ей куры, но что никакихъ вещей онъ никогда не думалъ дарить и что она ни за что не приняла бы отъ него въ подарокъ даже букета цвѣтовъ, что онъ ей гадокъ, противенъ, и прочее. Затѣмъ Шарлота Ѳедоровна начала жаловаться, что Саша слушаетъ про нее всякія гадкія сплетни и вѣритъ имъ, что онъ ее не любитъ, и прочее. Все, впрочемъ, окончилось благополучно, слезами и поцѣлуями.

Лѣтомъ Шарлота Ѳедоровна переѣхала на дачу на острова, а уважаемый всѣми господинъ, вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, по настоянію докторовъ, долженъ былъ уѣхать за границу. Прощаніе его съ Шарлотой Ѳедоровной было, говорятъ, истинно трогательно, такъ что всѣ присутствующіе прослезились. Онъ цѣловалъ ея руки и ноги, кряхтя и охая становился передъ нею на колѣни, рыдалъ на ея груди, взялъ съ нея торжественную клятву оставаться ему вѣрной до возвращенія, поручилъ своему управляющему выдавать ей все такъ, какъ выдавалось при немъ, и, кромѣ того, положилъ на ея имя въ ломбардъ довольно порядочную сумму, съ тѣмъ, чтобы она только пользовалась процентами. Шарлота Ѳедоровна послѣднимъ распоряженіемъ не была, впрочемъ, довольна. Она, несмотря на все, съумѣла какимъ-то образомъ задолжать огромныя деньги своей модисткѣ и въ различные магазины.

На другой же день отъѣзда уважаемаго господина, Шарлота Ѳедоровна переѣхала на дачу, которая вся была уставлена цвѣтами, — и въ тотъ же вечеръ явился къ ней князь Езерскій, который просидѣлъ у нея до утра. Никогда она не чувствовала себя болѣе счастливой: она была почти свободна. Почтенный старичокъ изъ нѣмцевъ нанялъ также дачу на островахъ. Шарлота Ѳедоровна принимала его къ себѣ, не скрывая этого отъ князя, и заставляла дѣлать почтеннаго старичка страшныя дурачества, что, между прочимъ, очень забавляло и развлекало князя. Старичокъ въ угодность ей носилъ соло-

менную пастушескую шляпу; она постоянно украшала его бутоньерку цвѣткомъ, устраивала у себя маленькіе танцовальные вечера и заставляла его танцовать, дѣлать соло во французскомъ кадрилѣ и прочее.

Несмотря на всѣ эти и еще болѣе существенныя пожертвованія, дѣла старичка не подвигались. Прошло лѣто, наступила осень и Шарлота Ѳедоровна переѣхала на свою городскую квартиру. Стала зима. Старичокъ, мучимый ревностью, терялъ всякое терпѣніе и рѣшился обратиться къ пріятельницѣ Шарлоты Ѳедоровны, къ Линѣ Карловнѣ, той самой, которая писала для Шарлоты Ѳедоровны изящныя записки на французскомъ языкѣ.

Лина Карловна не отличалась красотою, но имѣла умъ вкрадчивый и проницательный; она получила довольно хорошее воспитаніе въ какомъ-то пансіонѣ за границею и развила себя чтеніемъ. Лина Карловна не увлекалась тщеславнымъ внѣшнимъ блескомъ, она была невзыскательна, экономна, кротка и тиха. Покровителемъ ея былъ, говорятъ, простой, русскій купецъ, съ бородкой, но очень богатый, который привязался къ ней сильно, плѣненный ея добродѣтелью, скромностью, аккуратностью и чистоплотностью. Лина Карловна жила тихо, откладывала деньги въ ломбардъ и брала ихъ оттуда для того, чтобы отдавать за огромные проценты своимъ пріятельницамъ, разумѣеться, скрывая отъ нихъ, что это ея деньги. Лина Карловна каждое воскресенье съ своей книжечкой ходила въ церковь, любила разсуждать о предметахъ нравственности и вообще болѣе походила на сестру милосердія, чѣмъ на лоретку. Злые языки говорили, впрочемъ, что у Лины Карловны есть также свой *Артюръ* — первая скрипка въ оперѣ.

Она встрѣтила почтеннаго старичка, занимавшагося золотыми промыслами, безъ удивленія и съ большимъ участіемъ и вниманіемъ выслушала исповѣдь его долготерпѣливой любви. Впродолженіи его рѣчи, не совсѣмъ складной и съ запинками, Лина Карловна повременамъ испускала глубокіе вздохи, а въ мѣстахъ, слишкомъ щекотливыхъ, застѣнчиво потупляла глаза. Когда онъ кончилъ, прося ея совѣта, она отвѣчала:

— Все, что̀ я могу вамъ сказать,—это то, что Шарлота Ѳедоровна очень васъ уважаетъ и любитъ. Она немножко

легкомысленна, но, я могу васъ увѣрить, очень умѣетъ цѣнить людей солидныхъ, — вы это увидите; будьте покойны.

Лина Карловна говорила тихо, скромно, однозвучно и убѣдительно, вставляя иногда въ разговоръ очень кстати нравственныя сентенціи, и привела въ совершенное восхищеніе почтеннаго старичка, который высоко цѣнилъ скромность и добродѣтель.

Съ этого дня онъ очень часто прибѣгалъ за совѣтами къ Линѣ Карловнѣ. Лина Карловна дѣйствовала въ его пользу; къ тому же, поле дѣйствія съ нѣкотораго времени было очищено. Князь выѣхалъ на нѣсколько времени изъ Петербурга по дѣламъ службы...

Послѣ долгихъ совѣщаній и переговоровъ, рѣшено было, что почтенный старичокъ, для достиженія своихъ цѣлей, долженъ былъ заплатить самые безпокойные и важные долги Шарлоты Ѳедоровны.

Онъ согласился на все, просіялъ, сдѣлалъ какой-то драгоцѣнный подарокъ Линѣ Карловнѣ и сотавилъ въ головѣ своей восхитительную пасторальную фантазію, совершенно въ нѣмецкомъ вкусѣ, которая должна была разыграться въ счастливый для него день.

Условились такъ, чтобы наканунѣ Новаго года ужинать втроемъ у Донона. Старичокъ заказалъ великолѣпный ужинъ. Послѣ ужина онъ долженъ былъ отвезть Шарлоту Ѳедоровну домой; но такъ какъ онъ приготовлялъ для нея различные сюрпризы, то Лина Карловна пригласила Шарлоту Ѳедоровну на цѣлый день къ себѣ. Старичокъ послалъ къ ней на квартиру цѣлый лѣсъ деревьевъ и камелій въ цвѣту и роскошно разубранную корзинку, въ родѣ corbeille de noce, которая была до верху наложена различными дорогими галантерейными вещами: брошками, браслетами, кольцами и на дно которой были положены два ломбардныхъ билета, по 5,000 рублей каждый.

Шарлота Ѳедоровна съ утра явилась къ Линѣ Карловнѣ. Шарлота Ѳедоровна была въ нѣкоторомъ волненіи. Она показала своей пріятельницѣ два письма, которыя только-что получила: одно отъ всѣми уважаемаго господина, который писалъ ей, что здоровье его значительно поправлялось, что

онъ совершенно посвѣжѣлъ и помолодѣлъ, надѣется возвратиться скоро въ Петербургъ, ждетъ съ ней минуты свиданія, какъ величайшаго блаженства, и надѣется вполнѣ, что она сдержала клятву, данную ему при разставаньи; другое письмо— отъ князя. Это не было такъ длинно и нѣжно, какъ первое: князь просто увѣдомлялъ, что онъ кончилъ свое дѣло неожиданно скоро и надѣется возвратиться въ Петербургъ гораздо ранѣе того, чѣмъ предполагалъ...

— Знаешь ли, Лина, у меня есть предчувствіе, сказала Шарлота Ѳедоровна:—что Саша пріѣдетъ сегодня, и я знаю, что онъ прямо пріѣдетъ ко мнѣ, въ которомъ бы это часу ни было... Нельзя ли какъ нибудь отдѣлаться отъ этого противнаго и сладкаго старичишки?

— Это нехорошо, отвѣчала Лина Карловна: — вспомни, Шарлота, какой онъ благороднѣйшій человѣкъ... Надо быть внимательнѣе къ такого рода людямъ; ты ужъ зашла съ нимъ слишкомъ далеко. Сколько денегъ и вещей ты перебрала у него!

— Ахъ, я несчастная! вскричала Шарлота Ѳедоровна.—Я безумная, я не знаю, зачѣмъ я это все сдѣлала. Я возвращу ему его вещи, его деньги...

— Ты говоришь неправду, это пустяки, перебила Лина Карловна: — ты этого не сдѣлаешь и не можешь сдѣлать; ссориться съ нимъ и оскорблять его тебѣ не слѣдуетъ. Подумай, что онъ можетъ пригодиться тебѣ. На твоего покровителя разсчитывать долго нельзя. Онъ еле дышетъ, хоть и разсказываетъ, что помолодѣлъ; князь же твой... ну, это что такое? капризъ, больше ничего:—онъ болѣе, я думаю, стоитъ тебѣ, нежели ты ему... Если же ты дала слово, такъ и должна сдержать его... Онъ свое сдержалъ...

Шарлота Ѳедоровна надулась. Лина Карловна подошла къ ней съ истинно материнскою нѣжностью и поцѣловала ее...

— Знаешь ли, Шарлота, продолжала она съ таинственною вкрадчивостью:—онъ приготовилъ тебѣ такіе сюрпризы... ты ужъ никакъ не ожидаешь — и все это будетъ послано къ тебѣ сегодня. Видишь ли, какой человѣкъ!... И ты, дурочка, не цѣнишь своего счастья... прибавила она съ нѣжностью: — а знаешь ли, что я не встрѣчала женщины такой счастливой, какъ ты...

При словѣ сюрпризы, глаза Шарлоты Ѳедоровны засверкали.

— Что такое, душенька Линочка, какіе сюрпризы? скажи мнѣ! вскрикнула она, оживляясь.

— Ты увидишь...

— Но скажи, въ какомъ родѣ? Что такое?... Какой-нибудь браслетъ!... но они ужъ мнѣ надоѣли... У меня ихъ столько! произнесла съ гримасою и какъ бы думая вслухъ Шарлота Ѳедоровна и потомъ обратилась къ Линѣ Карловнѣ.

— Послушай, Лина, сказала она:—я слово свое сдержу, я тебѣ клянусь, но только не сегодня, пожалуйста, не сегодня... Милая Линочка, спаси меня, помоги мнѣ...

— Что же я могу тебѣ сдѣлать?

— Ты только не оставляй меня одну съ нимъ... я прошу тебя объ этомъ...

Лина Карловна нѣсколько минутъ колебалась, но потомъ согласилась, разцѣловала Шарлоту и сказала:

— Ну, смотри же, Шарлота, только сдержи свое слово.

Почтенный старичокъ явился на ужинъ раздушенный и завитой. Продолговатое и рябоватое лицо его лоснилось отъ счастія. На немъ былъ фракъ, тончайшая рубашка, застегнутая солитеромъ, и желтыя перчатки. Онъ точно нарядился на свадьбу, не доставало только бѣлаго галстуха. Ужинъ былъ сервированъ великолѣпно, комната затоплена свѣтомъ, по его приказанію. На столѣ стояли, между прочимъ, двѣ вазы съ рѣдчайшими букетами цвѣтовъ.

Ужинъ, однако, не могъ назваться одушевленнымъ. Шарлота Ѳедоровна была не то задумчива, не то разсѣянна. Лина Карловна не отличалась вообще большою живостью. Она говорила, какъ всегда, очень умно, разсудительно и серьёзно, стараясь развлечь старичка, который все съ безпокойствомъ посматривалъ на Шарлоту Ѳедоровну. Раздавался только стукъ ножей и вилокъ о тарелки и мѣрный, нѣсколько монотонный голосъ Лины Карловны. Самыя свѣчи горѣли какъ-то тускло и цвѣты въ вазахъ опустили головки и начинали вянуть преждевременно.

Что, еслибъ какимъ нибудь образомъ за этимъ ужиномъ вдругъ очутилась Армансъ? Я убѣжденъ, что съ ея появле-

піемъ все воскресло бы и одушевилось, шампанское заиграло бы сильнѣе въ бокалахъ, цвѣты подняли бы головки, свѣчи загорѣлись бы ярче, комната огласилась бы крикомъ, пѣснями и хохотомъ. Француженки удивительны въ такихъ случаяхъ!

Когда, послѣ ужина, почтенный старичокъ обратился къ Шарлотѣ Ѳедоровнѣ съ предложеніемъ довезти ее, Лина Карловна сказала ему: «я надѣюсь, что вы будете ужъ такъ любезны, что и меня довезете. Мы какъ нибудь усядемся втроемъ». Почтенный старичокъ невольно скорчилъ гримасу и съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на Лину Карловну, которая не хотѣла замѣтить этого взгляда...

Квартира Шарлоты Ѳедоровны была ближе, и потому надобно было завезти ее первую. Дорогою всѣ трое молчали; старичокъ цѣловалъ кисть руки Шарлоты Ѳедоровны у самой пуговки перчатки. Карета повернула въ ту улицу, въ которой жила Шарлота Ѳедоровна. Шарлота Ѳедоровна съ безпокойствомъ выдернула свою руку изъ руки почтеннаго старичка и начала глядѣть въ окно...

— Папаша, милый папаша! сказала Шарлота Ѳедоровна: — вы на меня не сердитесь, я прошу васъ...

Карета подъѣзжала къ дому. Шарлота Ѳедоровна съ нетерпѣливымъ волненіемъ опустила стекло, взглянула наверхъ и увидѣла свѣтъ въ окнѣ своей маленькой гостиной... «Саша пріѣхалъ! Саша здѣсь!» промелькнула у нея мысль. Ея предчувствіе сбылось.

— Я не могу, продолжала она: — не могу сегодня... Клянусь, не могу!... Лина скажетъ вамъ, почему... не браните меня.

Карета остановилась въ это мгновеніе — и Шарлота Ѳедоровна такъ быстро выскочила изъ кареты, такъ быстро исчезла въ дверяхъ подъѣзда, что почтенный старичокъ не скоро могъ опомниться. Лина Карловна высунулась изъ окна и закричала кучеру, чтобы онъ ѣхалъ къ ней. Карета двинулась.

Всѣ очаровательныя фантазіи старичка вдругъ разрушились. Вся идиллія, придуманная имъ заранѣе, разлетѣлась въ прахъ: поднесеніе корзинки съ вещами и ломбардными билетами, лѣсъ камелій, чрезъ который они должны были проходить, — всѣ эти сюрпризы, отъ которыхъ, конечно, Шарлота

Ѳедоровна должна была прійти въ восторгъ; наслажденіе этимъ восторгомъ, когда она при немъ стала бы разсматривать эти вещи, ея благодарность, ея нѣжные взгляды на него,—все, все исчезло, какъ сонъ... Почтенный старичокъ вдругъ очнулся, терзаемый гнѣвомъ и отчаяніемъ.

— Что же это все значитъ? сказалъ онъ задыхающимся голосомъ, обращаясь къ Линѣ Карловнѣ.—Развѣ такъ поступаютъ съ порядочными людьми? Это гадко, подло... я не позволю вертѣть собой, какъ пѣшкой... я...

— Успокойтесь и выслушайте меня, будьте разсудительны, произнесла Лина Карловна своимъ кроткимъ и убѣдительнымъ голосомъ.

— Но нельзя же такъ поступать... Надо знать совѣсть, стыдъ; она водитъ меня больше года...

— Любите ли вы ее, или нѣтъ? перебила его Лина Карловна...

— Люблю ли я ее! вскрикнулъ онъ, разрывая перчатки и бросая ихъ: — я съ ума схожу, я умираю отъ любви къ ней... У меня жена, дѣти, я отецъ семейства—и для нея я забылъ все; я компрометирую себя, я не щажу для нея ничего... Люблю ли я ее!... А она смѣется надо мной!

— Прекрасно. Если вы любите ее, такъ выслушайте меня и будьте разсудительны. Она васъ не обманываетъ, она не смѣется надъ вами,—за это я вамъ отвѣчаю, а я въ жизнь свою еще никому не сказала неправды. Знаете ли, что она борется между долгомъ къ своему покровителю и расположеніемъ къ вамъ? Мы всѣ обязаны исполнять нашъ долгъ. Это первое. Положимъ, она не любитъ его, но она всѣмъ ему обязана и она чувствуетъ это. Это ее убиваетъ; она сегодня цѣлый день проплакала у меня. Она говоритъ, что она должна вести себя такъ, чтобы онъ не имѣлъ права ни въ чемъ упрекать ее. Если вы любите ее, вы должны оцѣнить въ ней эти похвальныя, прекрасныя черты. Благодарность показываетъ хорошее сердце. Сегодня она особенно разстроена, потому что получила отъ него письмо... Но это пройдетъ, она обдумаетъ все и пойметъ, что вамъ она обязана такою же благодарностью. Я ей повторяю это безпрестанно; она, впрочемъ, сама это чувствуетъ. Она имѣетъ къ вамъ, я вамъ скажу, даже какую-то особенную нѣжность... Успокойтесь, ради Бога,

мой добрый другъ! прибавила Лина Карловна въ заключеніе, пожавъ съ участіемъ руку старичка:—будьте разсудительны.

Слова эти дѣйствительно произвели на него успокоивающее дѣйствіе, и онъ нашелъ, что чувства благодарности Шарлоты Ѳедоровны къ своему покровителю точно дѣлаютъ ей величайшую честь, а самолюбіе заставляло его вѣрить, что Шарлота Ѳедоровна питаетъ къ нему особенную нѣжность, но все еще какое-то неопредѣленное сомнѣніе тревожило его.

— А князь Езерскій? спросилъ онъ, повернувшись къ Линѣ Карловнѣ всѣмъ туловищемъ.

— Объ этомъ и говорить не стоитъ. Это увлеченіе въ ней совсѣмъ прошло; къ тому же, его теперь нѣтъ въ Петербургѣ и она совсѣмъ забыла объ немъ.

Когда карета подъѣхала къ дому, гдѣ жила Лина Карловна, она еще разъ взяла его за руку и своимъ вкрадчивымъ голосомъ сказала:

— Не сердитесь на нее, не показывайте ей, что вы огорчены. Это ее ужасно разстроитъ,—я знаю. Дѣло ваше будетъ устроено—и скоро,—въ этомъ я вамъ отвѣчаю, а я никогда напрасно не говорю... Слушайтесь только во всемъ меня. Потерпите немного и будьте разсудительны.

Почтенный старичокъ разцѣловалъ ручки Лины Карловны и простился съ нею...

Когда Шарлота Ѳедоровна выскочила изъ кареты, она такъ нетерпѣливо дернула ручку звонка, что всѣ люди въ домѣ всполошились.

— Кто здѣсь? спросила она у лакея.—Отчего огонь на верху?

— Васъ дожидаются князь Александръ Кирилычъ, отвѣчалъ человѣкъ:—они ужъ больше часа здѣсь...

Шарлота Ѳедоровна сбросила съ себя салопъ и взбѣжала наверхъ съ біеніемъ сердца и, запыхавшись, бросилась на шею къ своему Сашѣ.

Князь холодно прикоснулся къ ея лбу и спросилъ:

— Откуда такъ поздно?...

Князь уже успѣлъ послѣ пріѣзда видѣться съ нѣкоторыми своими пріятелями, которые передали ему, разумѣется съ преувеличеніями, всѣ похожденія его возлюбленной. Къ тому же,

князь, начинавшій въ это время ухаживать за одной знаменитой пѣвицей, искалъ, кажется, только предлога, чтобы разстаться съ Шарлотой.

— Я была у Лины, отвѣчала Шарлота Ѳедоровна, нимало не задумавшись:—она, бѣдная, нездорова... Ахъ, какъ я рада тебя видѣть, Саша!... Мое сердце предчувствовало, что ты сегодня пріѣдешь!...

— Въ-самомъ-дѣлѣ, перебилъ князь:—я вижу по всему, что ты ждала меня.

— Да что съ тобой, Саша? Полтора мѣсяца не видалъ меня и хоть бы сколько-нибудь обрадовался мнѣ!... жалобнымъ голосомъ простонала Шарлота Ѳедоровна...

— Что, ты замужъ выходишь? спросилъ князь, не обращая вниманія на ея слова.

— Ты съума сошелъ!... Что съ тобою?...

Князь взялъ со стола свѣчу и пригласилъ съ собою Шарлоту Ѳедоровну въ большую гостиную, которая была рѣшительно превращена въ садъ, и подвелъ ее къ столу, стоявшему посрединѣ комнаты, заваленному различными книжками въ раззолоченныхъ переплетахъ, на которыхъ поставлена была корзинка, убранная цвѣтами и лентами.

— Это что такое? спросилъ онъ.—Кто этотъ счастливецъ, который на тебѣ женится?

Шарлота Ѳедоровна поняла, что лѣсъ камелій и эта корзинка—сюпризы почтеннаго старичка... Ей смертельно захотѣлось открыть корзинку и посмотрѣть, что̀ въ ней, но она удержалась и произнесла съ гримасой:

— Я и не знаю, что это такое... Это глупости, о которыхъ я и не подозрѣвала. Я увѣрена, что это прислалъ мнѣ этотъ поганый старичишка (она назвала фамилію почтеннаго старичка, занимавшагося золотыми промыслами); онъ мнѣ надоѣлъ съ своими подарками—и я завтра же отошлю ему все это назадъ.

— Ты лжешь, сказалъ князь, приподнимая крышку корзинки, вытаскивая оттуда поодиночкѣ браслеты, брошки и проч. и бросая ихъ:—такія вещи не дарятъ *такъ*, даромъ, и ты не отошлешь ихъ...

Князь дорылся до ломбардныхъ билетовъ, взглянулъ на нихъ, показалъ ей и спросилъ, засмѣявшись:

— И это тоже *такъ?*... Онъ все это посылаетъ тебѣ только за одни твои прекрасные глазки? Ты лжешь нагло. Это противно. Я знаю всѣ твои продѣлки, ты меня не обманешь...

Князь вышелъ изъ себя, не смотря на свою утонченную деликатность, и наговорилъ тысячу разныхъ оскорбленій бѣдной Шарлотѣ Ѳедоровнѣ.

Она молчала. Она стояла нѣсколько минутъ блѣдная, какъ смерть, не шевелясь, и вдругъ схватила себя за голову, зарыдала и упала на стулъ.

Князь холодно произнесъ:

— Пожалуйста, безъ сценъ. Это напрасно.

И вышелъ изъ комнаты.

Шарлота Ѳедоровна съ крикомъ: «Саша! Саша! выслушай меня!» бросилась за нимъ, но князь уже сбѣжалъ внизъ. Она нѣсколько времени простояла на одномъ мѣстѣ съ помутившимися и остолбенѣвшими глазами, потомъ вдругъ начала судорожно дергать снурокъ звонка и кричать: «Дайте мнѣ салопъ и шляпку... Извощика!...» (Она хотѣла догонять его). «Скорѣй, скорѣй!» Горничная въ испугѣ прибѣжала на этотъ крикъ... Но Шарлота Ѳедоровна такъ ослабѣла, что упала на руки горничной почти безъ памяти. Ее кое-какъ раздѣли и уложили.

На слѣдующее утро она встала очень блѣдная и разстроенная, что не помѣшало, однако, ей разсмотрѣть въ подробности всѣ вещи, присланныя почтеннымъ старичкомъ, и спрятать въ шкатулку ломбардные билеты. Это занятіе нѣсколько развлекло ее — и она велѣла закладывать коляску, чтобы проѣхаться.

Въ этотъ же день она получила отъ князя очень вѣжливое и сухое письмо. Онъ извинялся, что оскорбилъ ее, не имѣя на это никакого права, и вмѣстѣ съ этимъ посылалъ ей три тысячи рублей. Мысль, что онъ былъ *Артюромъ* этой женщины, не давала покоя его великосвѣтскому самолюбію, и посылкою этихъ трехъ тысячъ рублей онъ думалъ расквитаться съ нею и нѣсколько успокоить себя. Шарлота Ѳедоровна тотчасъ же отослала ему назадъ эти деньги при слѣдующей запискѣ, которую она сама кое-какъ нацарапала: «Я не ждала это отъ васъ. Послѣ этого все между нами

кончено, а я любила васъ и не продавала вамъ себя, — денегъ вашихъ мнѣ не нужно.»

Двѣ недѣли послѣ этого она была неутѣшна, плакала и жаловалась на судьбу и не видалась ни съ кѣмъ, кромѣ Лины Карловны. Черезъ двѣ недѣли она начала опять показываться въ публикѣ и принимать къ себѣ почтеннаго старичка, занимающагося золотыми промыслами... Черезъ полтара мѣсяца она совсѣмъ утѣшилась и свела, говорятъ, очень короткую пріязнь съ какимъ-то знаменитымъ пріѣзжимъ артистомъ. Артистъ этотъ поступилъ на очистившуюся вакансію *Артюра*.

Вотъ что̀ такое Шарлота Ѳедоровна, распоряжавшаяся пикникомъ въ Лѣсномъ Институтѣ въ среду на масляницѣ. Она, какъ видно, процвѣтаетъ до сей минуты и окружена толпою поклонниковъ.

XIX. ИМЕНИННЫЙ ОБѢДЪ У ДОБРАГО ТОВАРИЩА.

Я былъ приглашенъ однимъ изъ моихъ университетскихъ товарищей на обѣдъ, по случаю именинъ жены его.

Товарищъ мой имѣетъ состояніе, притомъ служитъ, помаленьку подвигается впередъ и современемъ, можетъ-быть, достигнетъ и до генеральскаго чина. Человѣкъ онъ мягкій, кроткій, довольный всѣмъ и добросердечный въ высшей степени. Супруга его дама полная, очень пріятной наружности, и съ постоянно заспанными глазами. Оба они очень радушны, любятъ угощать, невзыскательны въ выборѣ своихъ знакомыхъ и большіе охотники до чиновныхъ особъ. Посѣщеніемъ чиновныхъ особъ они гордятся, остальнымъ гостямъ радуются. Если кто нибудь зайдетъ къ нимъ нечаянно обѣдать, они бываютъ тронуты этимъ чуть не до слезъ... Такихъ гостепріимныхъ домовъ въ Петербургѣ очень мало. Домъ моего товарища кладъ для такъ-называемыхъ блюдолизовъ (pique-assiettes), которыхъ въ Петербургѣ, какъ и во всѣхъ большихъ городахъ, очень много... Я забылъ еще объ одной чертѣ — товарищъ мой и жена его нѣсколько падки къ лести, очень чувствительны и склонны къ слезамъ.

Я пріѣхалъ къ пяти часамъ, зная, что званые обѣды на-

чинаются всегда позже обыкновеннаго. Въ гостиной я нашелъ трехъ пожилыхъ чиновныхъ особъ и человѣкъ восемь также пожилыхъ, но менѣе чиновныхъ, въ числѣ которыхъ былъ одинъ маленькій и грязненькій господинъ, въ вицъ-мундирѣ, съ манишкой, торчавшей изъ-подъ жилета, съ застѣнчивыми манерами, державшійся больше около стѣнокъ и въ углахъ, и наклонявшій почтительно голову всякій разъ, когда чиновная особа проходила мимо него или взглядывала на него. Господинъ этотъ смотрѣлъ блюдолизомъ. Кромѣ этого были еще тутъ два молодыхъ человѣка, неопредѣленныхъ и робкихъ, державшихъ себя въ сторонѣ, съ которыми маленькій господинъ отъ времени до времени заговаривалъ.

Въ столовой былъ накрытъ длинный столъ, съ именинным *граненымъ* хрусталемъ, а на ломберномъ столѣ между двухъ оконъ стояла заскуска, на которую маленькій и грязненькій человѣкъ поглядывалъ изъ подлобья, но съ пріятностью.

Въ то время, какъ я вошелъ въ гостиную, одна изъ чиновныхъ особъ разговаривала съ какимъ-то господиномъ, стоявшимъ задомъ ко мнѣ.

Поздравивъ хозяина и хозяйку, я пошелъ положить мою шляпу въ залу. Въ эту минуту господинъ, разговаривавшій съ чиновной особой, обратился ко мнѣ и съ необыкновенною привѣтливостью и пріятными улыбками закивалъ мнѣ головой.

Я узналъ въ немъ также моего стараго товарища, котораго я совершенно потерялъ изъ виду и не встрѣчалъ лѣтъ десять. Это былъ господинъ средняго роста, блѣдный, съ тонкими губами, худощавый и сутоловатый, въ очкахъ, съ крестомъ на шеѣ и съ другимъ въ петлицѣ.

Когда чиновная особа отошла отъ него, онъ бросился ко мнѣ съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ и протянулъ мнѣ обѣ руки. Такой порывъ нѣсколько удивилъ меня, потому что я никогда не былъ съ нимъ въ близкихъ сношеніяхъ.

— Какъ я радъ, что я тебя вижу... Боже мой, какая пріятная встрѣча!... и, говоря это, онъ крѣпко жалъ мнѣ обѣ руки.—Сколько лѣтъ мы не видались! — И не мудрено. Вѣдь я уже лѣтъ шесть, какъ оставилъ Петербургъ — и не сожалѣю объ этомъ. Я служу въ провинціи; благодаря Бога,

занимаю мѣсто почетное, начальство расположено ко мнѣ, я исполняю свой долгъ по совѣсти — спокоенъ и счастливъ. Вообрази, я въ нынѣшнемъ году получилъ три награды: вотъ это — онъ указалъ на свою шею, благоволеніе и годовой окладъ. Это, братецъ, не со многими случается. Три награды въ одинъ годъ! *Се жоли!*

Онъ на минуту остановился и посмотрѣлъ на меня. Я смотрѣлъ на него. Кажется, нѣсколько недовольный тѣмъ, что лицо мое не выражало никакого изумленія, онъ продолжалъ однако:

— Я устроился такъ, что не завидую никому; женатъ, братецъ, имѣю милую, добрую жену, хорошую хозяйку, обзавелся дѣточками... Старшему сыну будетъ вотъ на Пасхѣ ужъ пять лѣтъ. Да какой мальчикъ-то, еслибъ ты видѣлъ! я отецъ, мнѣ хвалить его, конечно, смѣшно, но если ты когда нибудь заѣдешь въ наши стороны и будешь у меня, ты увидишь: головка у него совершенно въ родѣ рафаэлевскихъ ангеловъ. И какой умный, бойкій мальчикъ! ужъ читать умѣетъ, страшный охотникъ до книгъ... И вообрази, что, при всемъ этомъ, у меня женнино имѣніе подъ рукою—въ двадцати верстахъ отъ губернскаго города, да и мое не очень далеко — ста верстъ не будетъ. Еще служба нѣсколько мѣшаетъ, а хозяйствомъ я люблю заниматься—это моя страсть—и я въ этомъ дѣлѣ *кое-что* таки понимаю. Ты вѣрно читалъ мои статейки въ «Запискахъ Вольно-Экономическаго Общества»?... Посмотри, какой у меня порядокъ въ деревняхъ: всѣ, и дворовые и крестьяне, по стрункѣ ходятъ, а между тѣмъ, крестьяне любятъ меня, какъ отца. Народъ нашъ вообще, братецъ, славный и привязанъ къ своимъ помѣщикамъ, разумѣется, если они хорошіе, а у насъ въ губерніи всѣ помѣщики прекрасные... Ну, конечно, въ семьѣ не безъ урода. Положеніе крестьянина, я тебѣ скажу, самое завидное, если помѣщикъ хорошій...

Благодѣтельный помѣщикъ продолжалъ бы, вѣроятно, свой разговоръ еще долго, но равнодушіе, съ которымъ я выслушивалъ его, нѣсколько охладило его; онъ остановился и, послѣ минуты молчанія (я не нашелся ничего сказать ему), потрепалъ меня по плечу.

— Ну, а ты все попрежнему занимаешься литературой?

сказалъ онъ мнѣ съ пріятною, но нѣсколько ироническою улыбкою.

— Попрежнему, отвѣчалъ я.

— Это, конечно, дѣло хорошее, возразилъ онъ, — но я признаюсь откровенно, мы съ тобой товарищи, такъ намъ съ тобой церемониться нечего, — я, господа, на всѣхъ на васъ пишущихъ сердитъ немножко... Какъ-то вы на все странно смотрите, отзываетесь обо всемъ съ какою-то жолчью, отъискиваете вездѣ одни недостатки...

Въ эту минуту раздался голосъ хозяина дома:

— Милости прошу закусить, пожалуйте. .

Всѣ двинулись въ столовую, и рѣчь о литературѣ была прервана.

Минутъ черезъ десять всѣ усѣлись за столомъ. Чиновныя особы на почетномъ концѣ, близь хозяйки дома, а мы ближе къ хозяину. Первыя блюда прошли въ молчаніи, раздавался только звонъ тарелокъ и стукъ ножей и вилокъ. Когда желудки нѣсколько попаполнились, хозяинъ дома, неотличавшійся большимъ тактомъ и постоянно озабоченный мыслью занимать своихъ почетныхъ гостей, обратился къ одной изъ чиновныхъ особъ и, чтобъ завести общій разговоръ, сказалъ съ пріятною улыбкою:

— Читали ли вы, ваше превосходительство, «Губернскіе Очерки» Щедрина?...

Хозяинъ дома читалъ очень медленно, онъ читалъ больше послѣ обѣда, лежа на диванѣ, и послѣ двухъ страничекъ обыкновенно засыпалъ, но любилъ чтеніе, и любилъ иногда поговорить объ литературѣ.

— Эти очерки, ваше превосходительство, прекрасно написаны, и всѣ ихъ очень хвалятъ.

— Что такое? Какіе очерки? произнесла чиновная особа... Нѣтъ, я не читалъ... У меня и на дѣло-то не станетъ времени.

— Гм! промычалъ нѣсколько смущенный хозяинъ дома.

— Позволь, Евграфъ Матвѣичъ, произнесъ благодѣтельный помѣщикъ чрезвычайно благонамѣреннымъ голосомъ, поправляя очки и смотря на чиновныхъ особъ: — я очень уважаю тебя и знаю твои правила, потому что мы знакомы почти съ дѣтства и сидѣли на одной скамейкѣ, — но, извини

меня, съ твоимъ мнѣніемъ я согласиться никакъ не могу. Очерки г. Щедрина я читалъ, и, признаюсь тебѣ откровенно, направленіе ихъ мнѣ весьма не нравится: въ нихъ все представляется въ искаженномъ видѣ, съ одной только неблагопріятной стороны,—что недобросовѣстно.

Благодѣтельный помѣщикъ обратился къ одной изъ особъ...

— Уѣздныя и губернскія власти, ваше превосходительство, помѣщики и даже дамы представляются въ этихъ очеркахъ въ самыхъ грязныхъ краскахъ... Такихъ уже нѣтъ въ наше время... Тоже въ этихъ очеркахъ сочинитель нападаетъ на взяточничество... Да, помилуйте, я самъ служу, имѣю сношенія со всѣми... Смѣло могу сказать, положа руку на сердце, что у насъ въ губерніи нѣтъ ни одного взяточника... Помилуйте, мы и не потерпѣли бы такого!... Я, по крайней мѣрѣ, про себя скажу, что я съ человѣкомъ, который рѣшился бы взять взятку, еслибъ онъ былъ даже мой старшій, не захотѣлъ бы служить ни одного дня; а еслибъ онъ былъ мой подчиненный — я бы и пяти минутъ не сталъ держать его при себѣ. Сохрани Боже!... А эти сочинители ничего сами не знаютъ, а такъ говорятъ зря, что имъ придетъ въ голову. Это недобросовѣстно, ваше превосходительство.

Онъ обратился ко мнѣ.

— Ты меня извини, сказалъ онъ мнѣ съ пріятною улыбкою: — я говорю не о всѣхъ сочинителяхъ, тебя я не причисляю къ такимъ, потому что хорошо знаю твои правила...

Маленькій и грязненькій господинъ, все время молчавшій, вдругъ произнесъ, взглянувъ на одну изъ особъ и скромно потупивъ глаза:

— Дѣйствительно, ваше превосходительство, они прекрасно и совершенно справедливо разсуждаютъ (онъ указалъ головою на благодѣтельнаго помѣщика). Къ величайшему прискорбію, новѣйшая литература... за немногими исключеніями... (маленькій и грязненькій господинъ съ лицемѣрно-сладкимъ выраженіемъ взглянулъ на меня) изображаетъ только картины, возмущающія душу, какъ будто у насъ нѣтъ людей добродѣтельныхъ, прекрасныхъ, безкорыстныхъ, исполняющихъ свято свой долгъ, которые составляютъ, такъ сказать, украшеніе общества.

— Всѣ знаютъ, что такіе люди есть, и никто не сомнѣ-

вается въ ихъ существованіи, сказалъ я:—но есть и другаго рода люди, для которыхъ нѣтъ ни долга, ни чести, ни совѣсти... и, я думаю, нѣтъ преступленія изобличать такого рода людей и предавать суду общественному. Литература дѣлаетъ въ этомъ случаѣ не дурное дѣло.

— Ну-съ, позвольте вамъ замѣтить, сказалъ одинъ изъ присутствовавшихъ, господинъ, очень важный по фигурѣ, улыбаясь съ ироніей:—вы *вашей* литературой ужъ злоупотребленій и взяточничества не истребите... Нѣтъ? Слѣдовательно къ чему же объ этомъ писать, только скандалъ дѣлать!...

— Именно, продолжала одна изъ особъ съ непритворною грустію:—это удивительно, что̀ нынче вообще пишутъ... вотъ хоть бы, напримѣръ, этотъ Гоголь... Ну, гдѣ такихъ людей можно встрѣтить нынче, какихъ онъ описываетъ?... Что̀ касается до меня, я, слава Богу, пятьдесятъ-восемь лѣтъ живу на свѣтѣ, бывалъ вездѣ и въ провинціяхъ, а никогда не встрѣчалъ такихъ уродовъ... и вся его книга, эти «Мертвыя Души», зловредное сочиненіе и оскорбительное для дворянскаго сословія...

— И, по моему мнѣнію, прибавила другая особа:—злоупотребленія разныя, взяточничество и тому подобное, — это совсѣмъ не дѣло литературы, она не должна въ это вмѣшиваться... Мало ли у нея предметовъ для описанія—картины природы, любовь! Почему бы, напримѣръ, не взять какой нибудь историческій сюжетъ... вотъ хоть бы изъ царствованія Бориса Годунова, что ли?... тутъ поэтическое воображеніе очень можетъ разыграться; а то чиновники, помѣщики — ну кому это интересно?

— Совершенно справедливо, замѣтилъ благодѣтельный помѣщикъ съ чувствомъ.

— Золотомъ бы напечатать ваши слова, ваше превосходительство, произнесъ съ горячностью маленькій и грязненькій господинъ, который передъ жаркимъ начиналъ приходить въ безпокойство и все хватался рукою за свой карманъ... Безпокойство это еще болѣе увеличилось, когда появилось шампанское и начались поздравленія. Послѣ поздравленія все на минуту смолкло. Маленькій и грязненькій господинъ всталъ, вынулъ изъ кармана дрожащей рукой бумажку и обратился къ хозяйкѣ дома.

— Позвольте... я приготовилъ, сказалъ онъ, заикаясь, небольшое привѣтствіе въ стихахъ... Я желалъ бы...

Всѣ обратились къ нему съ любопытствомъ и онъ началъ читать съ чувствомъ, съ увлеченіемъ и нараспѣвъ:

Семьи достойной украшенье —
Примѣрная хозяйка, мать:
Супруга гордость, утѣшенье!
Примите наше поздравленье...
Чего могу вамъ пожелать?
Одно—чтобъ Божья благодать
Васъ осѣняла, какъ донынѣ;
Чтобъ въ вашемъ Мишѣ—добромъ сынѣ
Всѣ добродѣтели отца
Во всемъ ихъ блескѣ отразились...
Объ этомъ молимъ мы Творца!
Чтобъ это пожелать—явились
Сегодня къ вамъ на вашъ обѣдъ:
Сановники, друзья, подруги —
И всѣ приносятъ свой привѣтъ
Хозяйкѣ доброй и супругѣ!...
Цвѣти жъ, цвѣти на много лѣтъ —
Семьѣ и всѣмъ на утѣшенье
Произнесемъ мы въ заключенье!...

Поэтъ смолкъ, поклонившись, при кликахъ: «браво! прекрасно!» А у хозяина дома покатились слезы изъ глазъ и по окончаніи чтенія онъ прижалъ къ груди своей грязненькаго господина.

Когда всѣ вышли изъ за стола, грязненькій господинъ, который удостоился одобренія чиновныхъ особъ и даже пожатія руки, подошелъ къ хозяйкѣ дома, поговорилъ съ нею что-то и поцѣловалъ ея ручку. Онъ платилъ тѣмъ семействамъ, которыя допускали его къ себѣ, за даровые обѣды и ласку лестью и мадригалами въ дни именинъ и рожденья. Господинъ этотъ—литературный обломокъ временъ давно минувшихъ, лѣтъ тридцать, или тридцать-пять назадъ тому пописывалъ еще стишки въ «Колокольчикахъ», въ «Гирляндахъ», въ «Звѣздочкахъ», въ «Дамскомъ Журналѣ». Онъ смотритъ съ озлобленіемъ на новую литературу, и взводитъ на нея страшныя обвиненія за то только, что она не подозрѣваетъ о его существованіи.

Въ то время, какъ чиновныя особы садились за карточные столы, онъ подошелъ ко мнѣ.

— Вы не смѣйтесь надъ моими виршами, сказалъ онъ, смотря на меня съ подобострастнымъ и вмѣстѣ язвительнымъ

выраженіемъ: — передъ обѣдомъ, ѣдучи сюда, мнѣ пришелъ въ голову этотъ экспромптъ и я для памяти набросалъ его на бумажку. Мы ужъ люди отжившіе, отсталые... Куда же намъ гоняться за новѣйшими писателями и имѣть такія возвышенныя мысли, какія имѣютъ они! Мы дѣйствуемъ въ простотѣ души. У насъ глаголятъ уста только отъ избытка сердца...

И онъ засмѣялся насильственно, схватилъ мою руку и крѣпко пожалъ ее.

Я отъискалъ свою шляпу и незамѣченный добрался до передней, давъ себѣ слово не ходить больше на именинные обѣды къ моему доброму товарищу.

XX. ВЕЛИКІЙ АРТИСТЪ СРЕДИ СѢВЕРНЫХЪ ВАРВАРОВЪ.

Между безчисленными моими пріятелями есть одинъ страстный любитель поэзіи и музыки, самъ немножко поэтъ и немножко музыкантъ. Онъ постоянно почти декламируетъ стихи или напѣваетъ итальянскія аріи себѣ подъ носъ; при этомъ онъ имѣетъ хорошее состояніе и отличается величайшимъ добродушіемъ, которое совпадаетъ съ безхарактерностью. Домъ его открытъ для всѣхъ литераторовъ, поэтовъ, актеровъ, живописцевъ, музыкантовъ, заѣзжихъ артистовъ и отечественныхъ диллетантовъ въ разныхъ родахъ. Всѣхъ сколько нибудь владѣющихъ перомъ, кистью, смычкомъ, карандашомъ и прочее — онъ принимаетъ къ себѣ съ распростертыми объятіями... Это прекрасно, но не хорошо то, что подъ громкимъ именемъ артиста къ нему можетъ втереться безъ разбора всякій и безнаказанно злоупотреблять его добродушіемъ и гостепріимствомъ, ѣсть его завтраки, обѣды, пить его вино, распоряжаться его кошелькомъ и проч. Такого рода артистовъ въ Петербургѣ очень много.

Проѣзжая мимо гостепріимной квартиры моего добродушнаго пріятеля, я велѣлъ кучеру остановиться.

И въ этотъ разъ, какъ всегда, я нашелъ у моего пріятеля множество разнаго рода артистовъ и между прочими одного піаниста, кларнетиста, флейтиста или скрипача, считаю-

щаго себя величайшимъ артистомъ; это лицо довольно забавное и принадлежитъ къ характернымъ петербургскимъ лицамъ. Объ этомъ господинѣ я уже имѣлъ нѣкоторое понятіе и не разъ встрѣчалъ его. Фамилія его—Шульцъ. Онъ лѣтъ десять назадъ тому прибылъ къ намъ изъ какого-то городка южной Германіи, съ мыслію поразить своимъ талантомъ *сѣверныхъ варваровъ,* собрать съ нихъ должную дань и, обогатившись, возвратиться въ свое отечество. Надежды его однако не совсѣмъ осуществились. Онъ не удивилъ и не обогатился, — это нѣсколько ожесточило его и потому онъ безъ церемоніи сталъ кричать, что музыкальный городъ Петербургъ ничего не смыслитъ въ музыкѣ, особенно въ высокой музыкѣ, что вообще русскіе не имѣютъ ни малѣйшихъ музыкальныхъ способностей и что артисту съ истиннымъ музыкальнымъ талантомъ нѣтъ никакихъ средствъ жить въ Петербургѣ, что, впрочемъ, не мѣшаетъ ему продолжать жить въ этомъ городѣ и пользоваться добродушнымъ гостепріимствомъ и покровительствомъ ничего несмыслящихъ въ музыкѣ русскихъ, имѣющихъ, какъ всѣмъ извѣстно, еще доселѣ маленькую слабость ко всякаго рода иностранцамъ...

Шульцъ явился въ Петербургъ изъ своей родины съ маленькимъ чемоданчикомъ, въ которомъ находилась одна перемѣна бѣлья, два галстуха — черный и бѣлый, фракъ и брюки. Остальное пространство чемоданчика было занято грудою нотъ; портфель его былъ набитъ... рекомендательными письмами отъ разныхъ значительныхъ особъ и извѣстныхъ артистовъ, при которыхъ Шульцъ состоялъ въ званіи секретаря или переписчика нотъ, что-то въ родѣ этого.

Надобно замѣтить, что Шульцъ принадлежитъ къ тому разряду нѣмцевъ, которые выбиваются изъ всѣхъ силъ, чтобъ походить на французовъ; онъ предпочитаетъ французскій языкъ своему отечественному — и какой удивительный французскій акцентъ у Шульца! Въ разговоръ свой безпрестанно вставляетъ mon cher и cher ami, къ кому бы ни обращался, хотя бы къ человѣку, котораго онъ видитъ въ первый разъ въ жизни. Шульцъ дѣйствуетъ по русской пословицѣ: «смѣлость города беретъ», хотя, вѣроятно, не знаетъ о существованіи этой пословицы, потому что не знаетъ русскаго языка и не говоритъ по-русски, не смотря на свое десятилѣтнее пребы-

ваніе въ русскомъ городѣ между русскими, которые пріятно ему улыбаются, жмутъ ему руки, гуляютъ съ нимъ подъ-ручку по Невскому проспекту (чего они никакъ не дозволяютъ себѣ относительно своихъ соотечественниковъ, имѣющихъ таланта не менѣе Шульца), кормятъ его утонченными обѣдами, поятъ драгоцѣнными винами, грудами разбираютъ билеты въ его концерты и проч. Я подозрѣваю, впрочемъ, что Шульцъ хорошо понимаетъ по-русски и даже самъ можетъ довольно сносно объясняться на этомъ языкѣ, но онъ считаетъ для себя унизительнымъ говорить по-русски и только иногда съ насильственной гримасой, съ величайшимъ трудомъ и съ ироніей при встрѣчѣ съ своими знакомыми произноситъ: «здравствуй-те, какъ пò-жи-ваете?» На замѣчанія одного простаго русскаго человѣка: какъ же вамъ не стыдно.... вы десять лѣтъ живете въ Россіи и до сихъ поръ не можете сказать двухъ словъ по-русски» — Шульцъ отвѣчалъ съ гримасой, фамильярно ударивъ этого господина по плечу:

— Ah! mais ce que... voyez vous, mon cher monsieur, я въ кругу людей образованныхъ, въ такомъ обществѣ, которое говоритъ всегда по-французски, — поэтому мнѣ вовсе ненуженъ вашъ языкъ...

Шульцъ раздѣлялъ русскихъ на три разряда: на людей избранныхъ, высшаго общества (les russes de distinction), которыхъ онъ ставитъ наравнѣ съ Европой и съ самимъ собой; на людей порядочныхъ, къ которымъ онъ причисляетъ всѣхъ, говорящихъ по-французски или по-нѣмецки; третій разрядъ — не умѣющихъ говорить на иностранныхъ языкахъ, онъ, вмѣстѣ со всѣмъ русскимъ народомъ, причисляетъ вообще *къ сѣвернымъ варварамъ.*

Въ Петербургѣ нѣмцевъ-музыкантовъ съ такимъ талантомъ, какъ у Шульца, очень много, но на этихъ нѣмцевъ не обращаютъ никакого вниманія, ихъ не допускаютъ въ салоны, съ ними не прогуливаются по Невскому подъ-ручку, ихъ не кормятъ утонченными обѣдами и прочее. Отчего же такое счастіе выпало на долю Шульца? отчего великосвѣтскія петербургскія дамы пріятно улыбаются ему и покровительственно киваютъ ему своими прелестными головками? отчего сановныя особы, знатоки и любители музыки обращаются съ нимъ почти какъ съ равнымъ?... Надобно замѣтить, что Шульцъ

несравненно хитрѣе, изворотливѣе и разсчетливѣе своихъ собратовъ по искусству,—и это происходитъ, вѣроятно, оттого, что онъ не совсѣмъ чистаго нѣмецкаго происхожденія, что въ немъ есть примѣсь еврейской крови. Чистые нѣмцы вообще апатичны, вялы, неловки и плохо понимаютъ практическую жизнь.... А Шульцъ надѣленъ самымъ вѣрнымъ практическимъ взглядомъ и смѣлостью изумительною....

Большая смѣлость въ обществѣ стоитъ большаго таланта. Я зналъ одного, тоже артиста и еще, притомъ, русскаго.... русскіе люди, даже самые смѣлые по духу — въ свѣтѣ большой части робки, застѣнчивы и неловки; но артистъ, о которомъ я хочу сказать, принадлежалъ къ блестящимъ исключеніямъ. Онъ вездѣ былъ, какъ дома, безцеремонно разваливался на креслахъ и на диванахъ, со всѣми сейчасъ сходился и если замѣчалъ въ человѣкѣ слабость характера и вслѣдствіе этого излишнюю деликатность (артистъ мой былъ человѣкъ не глупый и наблюдательный), то безцеремонно завладѣвалъ такимъ человѣкомъ и извлекалъ изъ него всевозможныя выгоды. Онъ черезъ три дня послѣ знакомства говорилъ ему *ты*, черезъ недѣлю къ *ты* прибавлялъ — *душа моя* и, по праву дружбы (непрошенной), не скрывалъ ни малѣйшихъ своихъ желаній. Сегодня онъ говорилъ своему новому другу: «мнѣ что-то смертельно хочется пить, вели-ка подать мнѣ бутылочку *холодненькаго*....» Завтра, подмѣтивъ у своего новаго друга какую нибудь цѣнную вещицу, восклицалъ: «прелесть, какая штучка!... ну, на что тебѣ, братецъ, она? подари мнѣ....» И если новый другъ морщился и колебался, — артистъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на эти гримасы и колебанія, клалъ цѣнную вещицу себѣ въ карманъ и говорилъ, схватывая своего друга за талію.... «что, душа моя, не жаль? Ну, спасибо, спасибо»... а если новый другъ продолжалъ обнаруживать замѣшательство, артистъ вскрикивалъ: «да ты скажи мнѣ, если жаль, — чортъ съ тобой, я не возьму ее.... возьми назадъ....» и запускалъ пальцы въ карманъ. Кончалось, однако, тѣмъ, что онъ уходилъ домой съ цѣнной вещицей. Артиста моего, правда, за-глаза называли наглецомъ, но въ-глаза пріятно улыбались ему, жали руки, принимали даже въ нѣкоторые великосвѣтскіе дома, кормили обѣдами и ужинами и выслушивали его анекдоты въ лицахъ, его мастерскіе и забавные разсказы

(онъ этими дешевыми анекдотами и разсказами платилъ за дорогое гостепріимство), приходили отъ него въ восторгъ и удивлялись его таланту.... Мой артистъ пользуется въ Петербургѣ большою популярностью, особенно между богатыми купцами и мотающими купеческими сынками. Онъ не столько дарованіемъ, сколько смѣлостью, пріобрѣлъ себѣ капиталецъ и зажилъ на барскую ногу, тогда какъ другой артистъ — человѣкъ съ глубокимъ и сильнымъ талантомъ, но безъ смѣлости, больше всего дорожащій своимъ артистическимъ и человѣческимъ достоинствомъ, не имѣетъ и десятой доли его популярности, и только что кое-какъ поддерживаетъ существованіе свое и своего семейства....

Но обратимся къ Шульцу. Шульцъ по пріѣздѣ въ Петербургъ прежде всего явился къ одному значительному лицу, которое принимало большое участіе во всѣхъ артистахъ и раздавало дипломы на таланты однимъ своимъ одобрительнымъ словомъ. Такого слова достаточно было, чтобы сдѣлать артисту репутацію въ петербургскомъ свѣтѣ. Шульцъ зналъ это и употребилъ всѣ средства, чтобы понравиться значительному лицу. Какъ человѣкъ хитрый и ловкій, онъ сейчасъ разсчиталъ, какъ надобно ему дѣйствовать. Онъ явился къ значительному лицу не какъ робкій и униженный проситель, ищущій покровительства, но какъ человѣкъ, пользующійся извѣстностію въ европейскомъ музыкальномъ мірѣ.

— Я знаю, mon prince, сказалъ онъ значительному лицу: — что вы сами, какъ великій артистъ въ душѣ, уважаете, цѣните и покровительствуете всѣхъ артистовъ — и я заранѣе увѣренъ въ вашей помощи. Имя ваше всѣ европейскіе артисты произносятъ съ благоговѣніемъ.... Листъ, Тальбергъ, Гензельтъ, Серве, Вьётанъ, Вивье — всѣ вспоминаютъ о васъ съ восторгомъ и съ энтузіазмомъ; всѣ говорятъ, что воспоминаніе о тѣхъ петербургскихъ вечерахъ, которые они провели въ вашемъ домѣ, останутся для нихъ навсегда незабвенными.... и прочее.

Эта рѣчь произвела очень пріятное впечатлѣніе на значительное лицо. Онъ протянулъ руку г. Шульцу и крѣпко пожалъ ее....

Вскорѣ послѣ этого въ Петербургѣ заговорили объ удивительномъ пріѣзжемъ артистѣ г. Шульцѣ, потому что лестный отзывъ объ немъ значительнаго лица, великаго авторитета въ

искусствахъ, распространился мгновенно во всѣхъ слояхъ петербургскаго общества.

На первый концертъ Шульца стеклась многочисленная публика. Онъ принятъ былъ съ громомъ рукоплесканій, съ энтузіазмомъ, который впрочемъ къ концу концерта поохладѣлъ значительно. Публика, несмотря даже на авторитетъ, его покровительствовавшій, нашла, что талантъ г. Шульца посредственный. Во второмъ концертѣ посѣтителей было уже гораздо менѣе, въ третьемъ еще меньше. Г. Шульцъ внутренно озлобился, но однако не упалъ духомъ. Онъ разными угожденіями и самою тонкою лестью успѣлъ втереться въ милостивое расположеніе значительнаго лица.

— Шульцъ, говорилъ значительное лицо: — можетъ быть исполнитель посредственный, но.... безъ всякаго сомнѣнія, онъ великій знатокъ музыки, глубоко изучившій ее... Я, который пріятельски знакомъ со всѣми европейскими артистами, рѣдко встрѣчалъ даже и между ними человѣка, который бы былъ развитъ такъ тонко въ музыкальномъ отношеніи, какъ Шульцъ...

И значительное лицо рекомендовало его учителемъ музыки въ разные великосвѣтскіе дома.

Такимъ образомъ Шульцъ пріобрѣлъ связи и очень хорошія средства къ существованію. Онъ даетъ при этомъ каждый годъ по одному концерту, билеты на который разбираются большею частію его учениками и ученицами. Съ одной стороны — самолюбіе его уязвлено, потому что онъ не имѣлъ успѣха въ петербургской публикѣ, но за то Шульцъ успокоиваетъ себя мыслію, что русская публика вообще невѣжественна и что именно это невѣжество причина его неуспѣха; съ другой стороны — самолюбіе его удовлетворено тѣми связями и знакомствами, которыя онъ пріобрѣлъ въ высшемъ обществѣ. Поэтому Шульцъ очень гордо держитъ себя съ остальными русскими, съ людьми, не принадлежащими къ большому свѣту, съ inconnus.

Одинъ изъ inconnus въ домѣ моего пріятеля, любителя искусствъ, заговорилъ съ Шульцемъ вообще о литературѣ и о русской въ особенности. Я подозрѣваю, что этотъ inconnu былъ литераторъ....

Г. Шульцъ, важно обозрѣвая его съ ногъ до головы, съ иронической усмѣшкой спросилъ его:

— А развѣ у васъ есть литература?

Інсонти обидѣлся и началъ доказывать г. Шульцу, что наша литература даже очень серьёзная; приводилъ въ примѣръ Пушкина, Грибоѣдова, Гоголя, Лермонтова и нѣкоторыхъ изъ современныхъ писателей....

— Fichtre! возразилъ Шульцъ, поднявъ верхнюю губу: — я не подозрѣвалъ этого... Пушкинъ! Пушкинъ!... Это имя я слышалъ... но croyez moi, mon cher monsieur.... pardon! je n'ai pas l'honneur de connaître votre nom.... вся ваша литература не стоитъ одного имени какого нибудь Гёте. О! вотъ геній!

Шульцъ — неизбѣжное лицо на всѣхъ аристократическихъ музыкальныхъ вечерахъ и *аматерскихъ* благотворительныхъ концертахъ.... Онъ на репетиціяхъ съ капельмейстерской палочкой торжественно размахиваетъ рукой, восклицая: «Bravo, princesse!... Charmant, comtesse!» или иногда для забавы по-русски: «такъ, такъ, кòрошо.... при-краснò» или «mais vous êtes un vrai musicien, mon prince!» или что нибудь въ родѣ этого. На самыхъ вечерахъ и концертахъ онъ акомпанируетъ на фортепіано поющимъ княжнамъ, княгинямъ и графинямъ, или, когда онѣ играютъ на фортепіано, перевертываетъ имъ ноты. Съ великосвѣтскою молодежью онъ обращается совершенно безцеремонно и называетъ ихъ, смотря по ихъ титламъ: cher comte или prince, а иногда и просто mon cher. И всѣ эти князья и графы съ нимъ, какъ я уже выше замѣтилъ, очень привѣтливы и обращаются какъ съ равнымъ. Г. Шульцъ очень хорошо знаетъ, что чѣмъ онъ будетъ обращаться съ этими господами смѣлѣе и грубѣе, тѣмъ они будутъ съ нимъ привѣтливѣе и мягче, и наоборотъ. Это ужъ такъ обыкновенно водится...

Изъ этого легкаго очерка читатель можетъ себѣ составить нѣкоторое понятіе о Шульцѣ.

Я, признаюсь, всегда удивлялся пріятелю моему, любителю искусствъ, почему онъ дружески обращается съ этимъ нѣмецкимъ евреемъ... Пускать его къ себѣ, это я еще понимаю.... по безконечной душевной добротѣ — мой пріятель отказывать никому не можетъ... но какая пріязнь можетъ существовать между нимъ — человѣкомъ истинно образованнымъ, понимающимъ и любящимъ искусство, и между Шульцомъ?

Я его спросилъ однажды объ этомъ.

Пріятель мой отвѣчалъ какъ-то уклончиво и неопредѣленно, и вполнѣ соглашался со мною, что Шульцъ наглецъ, шарлатанъ и человѣкъ навязчивый. Но въ дружескомъ обращеніи моего пріятеля съ Шульцомъ заключалась таинственная причина. Пріятель мой человѣкъ свѣтскій, хотя, по его увѣренію, онъ терпѣть не можетъ свѣта, что̀ не мѣшаетъ ему исполнять тщательно всѣ свѣтскія обязанности и выѣзжать не безъ удовольствія на вечера и на балы... Въ свѣтѣ онъ встрѣчаетъ Шульца, съ которымъ князь Л*, графъ П* и прочіе и прочіе обращаются по-пріятельски и на котораго княгиня Н* и графиня К* смотрятъ благосклонно. Пріятель мой нисколько не уважаетъ князя Л* и графа П* и вовсе не дорожитъ мнѣніемъ княгини Н* и графини К* (по крайней мѣрѣ, онъ говоритъ такъ); но эти господа и госпожи совершенно независимо отъ его воли имѣютъ на него какое-то вліяніе, которое онъ самъ опредѣлить не можетъ, потому что какъ будто стыдится анализировать это. Не вмѣшайся тутъ княгини и графини, князья и графы, можетъ быть онъ совсѣмъ иначе обращался бы съ Шульцомъ. Это, впрочемъ, только мое предположеніе и вѣроятно неосновательное, потому что пріятель мой превосходный человѣкъ, сочувствующій всѣмъ либеральнымъ идеямъ и преслѣдующій всякое ничтожное тщеславіе.

Въ ту минуту, когда я вошелъ къ моему пріятелю, — Шульцъ ораторствовалъ объ нѣмецкой и итальянской музыкѣ: о Бетховенѣ, Моцартѣ и Россини. Бѣднаго Россини онъ топталъ въ грязь и отрицалъ всевозможныя достоинства въ итальянской музыкѣ. Можетъ быть онъ былъ и правъ, я не судья въ музыкальномъ дѣлѣ, но рѣшительный и диктаторскій тонъ, съ которымъ онъ говорилъ, показался мнѣ возмутительнымъ... Отъ музыки рѣчь перешла вообще къ искусствамъ. Шульцъ судилъ и рѣшалъ какъ власть имѣющій, обнаруживалъ въ своихъ приговорахъ крайнее невѣжество и былъ при этомъ очень доволенъ собою, воображая, что онъ озадачилъ всѣхъ бѣдныхъ русскихъ, присутствовавшихъ тутъ. Онъ намекнулъ даже, что nous autres Russes мало приготовлены, чтобы судить о такихъ высокихъ предметахъ, которые онъ, Шульцъ, рѣшалъ неостанавливаясь....

Русскіе молчали,—вѣроятно, по свойственной имъ скром-

ности, непривычки говорить вообще и въ особенности изъ боязни сдѣлать промахъ во французскомъ языкѣ; они даже не ободрялись безпрестанными и неслыханными промахами г. Шульца, который былъ однако убѣжденъ, что говоритъ по-французски превосходно. Г. Шульцъ торжествовалъ. Мнѣ было досадно въ особенности на молчаніе хозяина дома, потому что онъ удивительный діалектикъ и говоритъ по-французски безукоризненно.

Молчаніе продолжалось минуты двѣ.

Шульцъ снова началъ съ побѣдоноснымъ взглядомъ:

— Vous autres Russes, messieurs....

Но въ эту минуту онъ былъ неожиданно прерванъ однимъ изъ присутствовавшихъ — незначительнымъ на видъ господиномъ, inconnu, къ которому Шульцъ даже и не обращался во время разговора.

— Nous autres Russes, — сказалъ inconnu, обращаясь прямо къ Шульцу, — и продолжая по-французски: — отличаемся величайшимъ терпѣніемъ, которое, переходя извѣстныя границы, изъ добродѣтели дѣлается порокомъ — и снисходительностью, которая, деведенная до крайности, тоже превращается въ порокъ.... Какъ робкіе ученики на учителя, мы до сихъ поръ еще смотримъ на всякаго иностранца. Мы уважаемъ французовъ, нѣмцевъ, англичанъ, потому что дѣйствительно обязаны имъ многимъ; уважаемъ ихъ потому, что они передовые люди въ дѣлѣ цивилизаціи и намъ нисколько не стыдно считать ихъ своими учителями; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы каждый французъ, англичанинъ или нѣмецъ — шарлатанъ и невѣжда, имѣлъ право не только на наше уваженіе, но даже на наше снисхожденіе, потому только, что онъ англичанинъ, французъ или нѣмецъ... Такого рода господину мы говоримъ прямо въ глаза, что онъ *неучъ*, *шарлатанъ* и *невѣжда*, что онъ долженъ быть намъ благодарнымъ за то, что мы даемъ ему кусокъ насущнаго хлѣба.

Шульцъ выслушалъ эту рѣчь, замѣтно поблѣднѣвъ, и черезъ минуту послѣ этого, взялъ шляпу и исчезъ незамѣтно.

Когда дверь передней за нимъ захлопнулась, хозяинъ дома, мой пріятель, неистово захлопалъ въ ладоши и закричалъ, обращаясь къ inconnu:

— Bravo! bravo! Какъ я радъ, что вы его отдѣлали....

У меня бы не хватило духу на эту.... Теперь ужъ, я думаю, этотъ господинъ ко мнѣ не появится, и я очень радъ этому....

Пріятель мой ошибался. Черезъ два дня послѣ этой сцены, Шульцъ явился къ нему, какъ ни въ чемъ не бывало...

XXI. ВЪ ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ.

(Варіаціи на одну и ту же тему.)

Жизнь хороша, но жить скучно... по крайней мѣрѣ мнѣ. Можетъ быть вамъ весело, любезный читатель; впрочемъ, нѣтъ, убѣжденъ, что и вамъ скучно, если только привычка въ соединіи съ апатіей еще не совсѣмъ завладѣла вами и не заставила васъ окончательно примириться съ тѣмъ, съ чѣмъ примириться нѣкогда вамъ казалось невозможнымъ и преступнымъ.

Я скучаю въ городѣ, въ столицѣ, не смотря на ослѣпляющій блескъ, который такъ и мечется мнѣ въ глаза на каждомъ шагу, не смотря на тысячи такъ называемыхъ удовольствій, наслажденій и развлеченій, которыми я могу пользоваться ежедневно, не смотря на балы, рауты, театры, маскарады; не смотря на итальянскую оперу съ восхитительной Бозіо; не смотря на устрицы и омары; не смотря на великолѣпные рестораны, въ которыхъ берутъ съ васъ въ маѣ мѣсяцѣ по три рубля серебромъ за одного тощаго и маленькаго цыпленка; не смотря на прелестныя петербургскія окрестности, въ которыхъ гремятъ оркестры музыки; не смотря на всѣхъ этихъ Гунглей и Штраусовъ, которые размахиваютъ смычками и подпрыгиваютъ in's Grüne, не столько для того, чтобы дирижировать своими оркестрами, сколько для того, чтобы согрѣваться, потому что въ лѣтніе петербургскіе вечера иногда бываетъ не болѣе восьми градусовъ тепла; не смотря на *восхитительныхъ* петербургскихъ камелій... это прилагательное я вставляю впрочемъ собственно для красоты слога (безъ прилагательныхъ слогъ какъ-то сухъ и холоденъ)... Я скучаю въ столицѣ и завидую... кому бы вы думали? Деревенскимъ жителямъ!

Отчего же, скажите мнѣ Бога ради!... отчего же прежде люди не знали, что такое скука? Отчего наши дѣды и отцы жили такъ весело, широко и беззаботно въ городахъ и въ

деревняхъ, хотя города не представляли и сотой доли тѣхъ развлеченій, которыя они представляютъ теперь... а деревни... Но, правда, въ деревняхъ, во время оно, живали несравненно съ бо́льшими затѣями, чѣмъ теперь, и въ этомъ случаѣ нельзя не отдать преимущество доброму старому времени... У кого, напримѣръ, изъ нынѣшнихъ помѣщиковъ вы найдете *крѣпостные*, домашніе оркестры?... Увы! теперь *всѣ эти амуры и зефиры*, кларнеты и скрипки распроданы поодиночкѣ.

Лѣтъ десять назадъ тому, одинъ благодѣтельный помѣщикъ вздумалъ было перевезти амуровъ и зефировъ, доставшихся ему послѣ покойныхъ родителей и заложенныхъ въ Опекунскомъ Совѣтѣ, въ балаганъ, на Адмиралтейской площади, но эта попытка ему не совсѣмъ удалась... Во-первыхъ, амуры и зефиры устарѣли немножко, утратили гибкость и ловкость въ членахъ, развязность и смѣлость, потолстѣли и огрубѣли въ уединеніи скромной сельской жизни и при отсутствіи практики, да и костюмы ихъ и трико полиняли, поистерлись и сдѣлались имъ узковаты... а во-вторыхъ, эта афера показалась уже слишкомъ груба и неудачна даже самымъ отчаяннымъ любителямъ и защитникамъ крѣпостнаго права. Я сомнѣваюсь даже, что самъ г. Бланкъ — этотъ остроумнѣйшій и пламеннѣйшій защитникъ патріархальности, даже и онъ протестовалъ бы противъ такого балагана, если бы такой балаганъ могъ появиться въ наше время... Но дѣло не въ томъ. Я хочу знать, почему мы утратили способность веселиться такъ, какъ веселились прежде?...

Я помню, меня возили въ дѣтствѣ къ одному веселому и благодѣтельному помѣщику, который не удовольствовался тѣмъ, что самъ постоянно былъ веселъ, но требовалъ, чтобы всѣ кругомъ его веселились. Въ воскресенье и табельные дни всѣ крестьяне и крестьянки его обязаны были, надѣвъ праздничные кафтаны и сарафаны, съ веселыми лицами прохаживаться въ помѣщичьемъ паркѣ живописными группами и пѣть пѣсни. Послѣ этой прогулки праздничныя платья снимались съ нихъ и складывались въ кладовую до новаго праздника. Въ самые торжественные дни ставился посреди помѣщичьяго двора превысокій шестъ, съ подарками на вершинѣ, на который взлѣзали самые ловкіе и отчаянные парни. Помѣщикъ съ отеческою любовію слѣдилъ за играми поселянъ и одобрялъ ихъ

иногда привѣтливою улыбкою, ласковымъ словомъ или рукоплесканіемъ. Люди, неспособные къ играмъ, и потому мало принимавшіе въ нихъ участія, характера серьёзнаго, неумѣвшіе корчить веселаго лица, причислялись помѣщикомъ къ людямъ подозрительнымъ и неблагонадежнымъ, не смотря на то, что нѣкоторые изъ нихъ были примѣрными крестьянами по честности и по трудолюбію. Но благодѣтельный помѣщикъ даже преслѣдовалъ такого рода людей.

— «Если человѣкъ не имѣетъ открытой, веселой физіономіи, разсуждалъ онъ: — слѣдовательно онъ не доволенъ чѣмъ нибудь, а я хочу, чтобы у меня всѣ были веселы и довольны...»

Этотъ помѣщикъ напоминалъ мнѣ начальника того заведенія, въ которомъ я воспитывался, человѣка очень почтеннаго и добраго. Начальникъ прежде всего требовалъ отъ воспитанниковъ, чтобы они имѣли веселыя физіономіи, и неослабно преслѣдовалъ и даже строго наказывалъ тѣхъ, которые не умѣли казаться довольными и веселыми. Всѣхъ серьёзныхъ мальчиковъ, даже самыхъ кроткихъ и смирныхъ, онъ добросовѣстно почиталъ если не совершенно безнравственными, то по крайней мѣрѣ подозрительными, потому только, что они не смотрѣли ему сладко въ глаза и не корчили улыбки при его взглядѣ.

Такіе любители веселости, такіе милые весельчаки, теперь стали уже рѣдкостью...

Но можетъ быть я не замѣчаю веселыхъ людей, потому только, что мнѣ скучно?... Развѣ эти толпы, *гуляющія* (въ обширномъ значеніи слова) въ виллѣ Боргезе, у Излера, на Крестовскомъ, на Петровскомъ, на Кушелевкѣ, на Петергофской дорогѣ, въ *Марьиныхъ Рощахъ*, въ *Веселыхъ Островахъ* и прочее, не веселятся?... Развѣ эти безпрестанные оттычки шампанскаго, эти крики — не веселье?... Развѣ вотъ этотъ господинъ съ стеклышкомъ въ глазу и съ пледомъ на рукѣ, стоящій въ залѣ Минеральныхъ водъ у самой рампы устроеннаго въ этой залѣ театра и аплодирующій цыганкамъ — не веселится?... Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ!... Какое же это веселье? Такъ ли веселились въ старые годы!... Да и эти цыгане... помилуйте, неужели эти цыгане похожи на прежнихъ удалыхъ и веселыхъ цыганъ — на знаменитую Та-

нюшу, или Стешу, или на незабвеннаго и удалаго Ильюшку?... Бывало, когда Илья притопнетъ, да взмахнетъ гитарой на вольномъ воздухѣ, на широкомъ пространствѣ, въ настоящей Марьиной Рощѣ, а Таня или Стеша зальются — такъ у васъ сердце захлебнется отъ восторга, и всѣ косточки сами собой заходятъ... А когда Стеша кончитъ, такъ на нее польется дождь изъ бумажекъ, серебра и золота... То ли еще бывало? Какой нибудь отставной гусаръ давыдовскихъ временъ, съ огромными усищами и съ пурпуровымъ носомъ, за одну пѣсню Стеши бросалъ къ ея ногамъ сто тысячъ, которые онъ сорвалъ наканунѣ въ штоссъ... Боже мой! Что дѣлалось тогда въ цыганскихъ таборахъ!... Вотъ это было веселье, безумное, шумное, искреннее веселье!... И неужели нынѣшнія цыганки, въ корсетахъ, въ шаляхъ и въ пестрыхъ нѣмецкихъ платьяхъ, съ кринолинами, и стоящіе сзади ихъ деревянные, неповоротливые, неловкіе цыгане въ раковаго цвѣта кафтанахъ, однимъ видомъ своимъ наводящіе непроходимую скуку и уныніе... неужели это потомки Ильюшки, Танюши и Стеши?

Увы! теперь даже и въ цыганскихъ таборахъ нѣтъ веселья, и цыгане выродились, выдохлись, и скучаютъ... Скажите, куда же дѣваться отъ тоски, отъ этой разъѣдающей душу современной тоски, отъ которой не можешь отдѣлаться нигдѣ... даже на индійскихъ, мавританскихъ и фэерическихъ вечерахъ, которую не могутъ разогнать ни Штраусы, ни Гунгли, ни ліонскія, ни тирольскія пѣвицы, ни фейерверки, ни иллюминаціи, никакія выдумки?

Я на-дняхъ ѣздилъ въ Павловскъ. Въ томъ отдѣленіи кареты, куда попалъ я, сидѣли между прочими пожилая барыня или барышня, дочь или жена статскаго совѣтника, пожилой господинъ—покрайней мѣрѣ статскій совѣтникъ (судя по прекраснымъ манерамъ и по апломбу) — мужъ или братъ этой госпожи, вѣрнѣе братъ; дама великолѣпно разодѣтая въ кринолинѣ, въ шелковомъ платьѣ съ воланами и въ турецкой шали, лѣтъ 25-ти, съ южными чертами лица, и противъ нея поношенная госпожа, въ поношенномъ платьѣ и таковой же шляпкѣ... Это были, какъ оказалось впослѣдствіи, вновь прибывшая въ Петербургъ испанская камелія и ея наперсница... Глядя на первую, я убѣдился, что камеліи — французскія, нѣмецкія, испанскія, русскія и такъ далѣе, не смотря

на различіе національностей, какъ цыгане, имѣютъ въ манерахъ, во взглядѣ, въ позахъ и проч. что-то родственное и что всѣхъ ихъ можно отличить съ перваго взгляда. Возлѣ наперсницы, наискосокъ испанской камеліи, сидѣлъ молодой человѣкъ, русскій, очень красивый и одѣтый щеголевато. Онъ завелъ рѣчь съ испанкой на французскомъ языкѣ. Между тѣмъ статскій совѣтникъ, сидѣвшій рядомъ съ нею, искоса бросалъ на нее взгляды и потомъ посматривалъ на всѣхъ насъ съ значительною улыбкою, ясно говорившею: «вы понимаете, господа, къ какому *классу* принадлежитъ *эта барыня?*» — Люди чиновные вѣроятно по служебной привычкѣ даже и прекрасный полъ раздѣляютъ на *классы*... Возлѣ статскаго совѣтника сидѣла его... ну, положимъ сестра, — все равно, я буду звать его сестрою... Сестра статскаго совѣтника съ непреодолимымъ и жаднымъ любопытствомъ пожирала своими глазами испанскую камелію, ея шляпку, шаль, платье, ботинки... Испанка обнаружила свою ножку, положивъ ее на противуположную скамейку, гдѣ сидѣла ея наперсница. Ножка у испанки маленькая и обута въ изящную ботинку и шелковый чулокъ... Статская совѣтница, или по крайней мѣрѣ сестра статскаго совѣтника... впивалась во все это и въ то же время улыбалась съ презрительной гримасой и съ оттѣнкомъ злобы.

Отрывая на мгновеніе свой ядовитый взоръ отъ испанки, она обращалась съ продолженіемъ той же улыбки, только нѣсколько смягченной, къ намъ, т. е. къ публикѣ и казалось хотѣла сказать: «Вотъ чѣмъ непріятны эти желѣзныя дороги: — по неволѣ сидишь иногда... чортъ знаетъ съ кѣмъ. Ну, представьте, я столбовая дворянка, я помѣщица, я статская совѣтница должна сидѣть на одной скамейкѣ вотъ съ этакой... Это ужасно!»

Она почему-то обращалась въ особенности ко мнѣ и, казалось, искала въ моемъ лицѣ сочувственнаго выраженія своимъ мыслямъ...

— Отчего это у васъ на всѣхъ гуляньяхъ такая скука? спросила испанка по-французски молодаго человѣка: — вы всѣ ходите повѣся головы, какими-то вялыми, какъ будто васъ насильно притащили гулять...

«Видно я не ошибаюсь», подумалъ я, «даже и испанка замѣтила, что насъ томитъ скука!»

— Вотъ что выдумала! прошептала по-русски статская совѣтница, взглянувъ на братца: — у нихъ, въ Испаніи, я думаю, весело!...

— Вы можетъ быть нашу скромность принимаете за скуку... замѣтилъ статскій совѣтникъ по-французски и не безъ ироніи, взглянувъ на нее лѣвымъ глазомъ: — мы, русскіе, любимъ скромность и приличіе.

Испанка быстро измѣрила своимъ взглядомъ статскаго совѣтника, полуоборотившись въ его сторону, и, улыбаясь, обратилась къ молодому человѣку и шепнула ему что-то.

— Охота говорить тебѣ съ эдакой дрянью! прошептала сестрица статскаго совѣтника, толкнувъ его съ досады локтемъ.

Но статскій совѣтникъ не послушалъ сестрицу и уже не только съ ироніей, но съ раздраженіемъ обратился къ испанкѣ:

— А что, сударыня, вамъ нравятся наши мужчины? Не правда ли, они молодцы?... я думаю, получше и *повеликодушнѣе* вашихъ испанцевъ?...

— Я мало обращала на нихъ вниманія и не имѣла нужды испытывать ихъ великодушія, отвѣчала испанка, не глядя на статскаго совѣтника: — если ваши дамы находятъ, что ваши мужчины такъ хороши, то я ихъ поздравляю съ этимъ.

— Экая наглость! прошептала статская совѣтница: — скажи ей, что ея испанцы во сто разъ хуже нашихъ русскихъ... слышишь?... И она опять толкнула братца локтемъ.

— Ну, Богъ съ ней, матушка, лучше оставить ее въ покоѣ, отвѣчалъ братецъ.

Молодой человѣкъ завелъ рѣчь о нынѣшнихъ шляпкахъ, замѣчая, что онѣ идутъ только къ очень молоденькимъ и хорошенькимъ, и испанка замѣтила ему по этому случаю, что въ Парижѣ уже восемь мѣсяцевъ, какъ перестали носить эти шляпки и что мы, русскіе, сильно отстаемъ модами...

При этомъ статская совѣтница уже совершенно вышла изъ себя.

— Слышишь, прошептала она, все толкая брата локтемъ: — слышишь? мы отстали! да какъ она смѣетъ это гово-

рить!... дрянь эдакая!... отдѣлать бы ее хорошенько... Если бы только я не считала униженіемъ заговорить съ нею, ужъ я бы ее отдѣлала, она въ другой разъ не посмѣла бы говорить этого...

— Да полно, матушка, возразилъ статскій совѣтникъ шопотомъ:—ну чего ты разгорячилась... Стоитъ она этого?

Но сестрица продолжала сердиться и шипѣть всю дорогу и все-таки не спускала глазъ съ испанки. По выраженію лица ея не трудно было догадаться, что она мучительно завидовала платью испанки, ея шляпкѣ, ея шелковому чулку, ея шелковой ботинкѣ, ея турецкой шали и проч.

Мы пріѣхали въ Павловскъ. Толпы высыпали изъ вагоновъ.

— Ты къ кому нибудь пріѣхалъ сюда? спрашивалъ какой-то господинъ у другаго.

— Нѣтъ, ни къ кому, отвѣчалъ, зѣвая, другой:—не зналъ, куда дѣться отъ скуки, такъ и притащился сюда...

Черезъ пять минутъ вся пріѣзжая толпа разсыпалась по парку, и я потерялъ изъ виду и испанку и наперсницу и статскую совѣтницу съ статскимъ совѣтникомъ...

Вечеромъ въ воксалѣ была толпа народа. Отчаянные любители музыки и отчаянныя любительницы Штрауса, — по большей части павловскія обитательницы, — сидѣли у самой эстрады, на которой подпрыгиваетъ Штраусъ... По ту сторону пруда въ паркѣ стояли экипажи... Великосвѣтскія барышни по большой части слушаютъ музыку издалека, въ своихъ экипажахъ, около которыхъ толкутся великосвѣтскіе господа. Пользуясь этимъ, многіе совсѣмъ не великосвѣтскія госпожи останавливаютъ тутъ же свои экипажи, въ надеждѣ быть принятыми за великосвѣтскихъ. Имъ очень скучно недвижно сидѣть въ экипажахъ: пройтиться было бы гораздо веселѣе и полезнѣе для здоровья, но мысль смѣшаться съ *толпою*, со *всѣми*, заставитъ ихъ перенести не только скуку—пытку. Странно устроено петербургское общество,—впрочемъ, я думаю, не одно петербургское, а и московское, саратовское, царевококшайское, устьсысольское, и такъ далѣе... всѣ эти общества помѣшаны на своего рода галантерейностяхъ и приличіяхъ. Слова: «Ахъ! это *не принято!*» не сходятъ съ языка нашихъ дамъ, начиная съ супруги царевококшай-

скаго судьи и устъ-сысольскаго исправника, не ѣздившихъ никуда далѣе Казани или Устъ-Сысольска, до петербургской генеральши, имѣющей пріѣздъ ко Двору... *Кѣмъ* не принято? *Почему* не принято? Эти вопросы никому и въ голову не приходитъ. Не принято, да и кончено. Этого «не принято» придерживаются не однѣ дамы и кавалеры. Еслибы у кавалеровъ *не принято* было брать взятки, взятокъ бы не брали— и въ такомъ случаѣ даже какой нибудь самый мельчайшій уѣздный чиновникъ скорѣе бы умеръ съ голоду, чѣмъ взялъ взятку, такъ всемогуще слово: *не принято*. Но къ сожалѣнію это всемогущее слово не примѣняется у насъ ни къ чему существенному въ жизни. Брать взятки принято, надуть лошадью, зачитать книжку, воспользоваться стѣсненнымъ положеніемъ человѣка, скупить его векселя за безцѣнокъ и посредствомъ этой операціи задаромъ пріобрѣсти хорошее имѣніе, подставить подножку человѣку, стоящему на нашей дорогѣ, оклеветать и погубить его, если намъ это полезно, изъ-за какого нибудь лишняго украшенія на одеждѣ продать свою совѣсть... и прочее и прочее — все это *принято*, все это дѣлаютъ сплошь и рядомъ, а пойти, напримѣръ, въ кресла въ оперу съ женой, если средства не позволяютъ пріобрѣсть ложу... сохрани Боже! Это *не принято*... Мы дворяне— да еще можетъ быть столбовые!... Что про насъ скажутъ? А ни меня, ни жены моей почти никто не знаетъ... Мы страстные любители музыки, мы сходимъ съ ума отъ Россини, Беллини и Донидзетти, слышать Рубини, Маріо, Гризи, Бозіо было бы для насъ величайшимъ наслажденіемъ, — пойти въ кресла у насъ достало бы денегъ, но мы ни за что не пойдемъ въ кресла, потому только, что это *не принято*. Лучше проскучаемъ дома, или для того, чтобы только сидѣть въ ложѣ, какъ прилично столбовымъ дворянамъ, займемъ — если не имѣемъ другихъ средствъ доставать деньги, или — возьмемъ взятку, чтобы только сидѣть въ ложѣ. Иному легче взять взятку, чѣмъ рѣшиться сказать женѣ: «другъ мой, ложа для насъ дорога, пойдемъ въ кресла», потому что жена его также столбовая дворянка, потому что она получила прекрасное воспитаніе, и отъ одной мысли идти пѣшкомъ въ театръ, да еще въ кресла, могла бы упасть въ обморокъ. Она можетъ быть еще и не захочетъ ѣхать въ ложу — въ 4-й или даже

въ 3-й ярусъ, потому что она ѣздила всегда въ бель-этажъ, въ бенуаръ или, покрайней мѣрѣ, во 2-й ярусъ... Ея папенька можетъ быть генералъ, а генеральской дочкѣ невозможно же карабкаться въ 3-й ярусъ, — и сидѣть на ряду съ *какими-нибудь*, принадлежащими къ Богъ знаетъ какому обществу! И какъ же она будетъ сидѣть въ 3-мъ ярусѣ, когда ея институтская подруга Sophie или Nadine сидитъ въ бель-этажѣ, но мужья у Sophie и у Nadine имѣютъ большое состояніе—это другое дѣло... Возраженія по этому случаю безполезны, они не принимаются... образованной супругѣ и въ голову не приходитъ вопросъ: откуда взять мужу денегъ? По ея понятіямъ, порядочному человѣку нельзя не имѣть денегъ... Она увидитъ у Sophie или у Nadine какую нибудь удивительную шляпку или мантилью съ валансьенскими кружевами — и не успокоится до тѣхъ поръ, покуда мужъ не купитъ ей точно такую, не смотря на то, что эта мантилья поглотитъ мѣсячный доходъ бѣднаго мужа. Отъ этой мантильи зависитъ семейное спокойствіе и счастіе... А для чего ей мантилья?... Sophie и Nadine имѣютъ большой кругъ знакомства, онѣ много выѣзжаютъ, у нихъ блестящіе экипажи, абонированныя ложи, собственные дома, — а у нея нѣтъ ничего этого, кругъ ея знакомства вовсе не блестящъ и очень ограниченъ. Ея родители истрачивали вдвое, нежели получали, ихъ имѣніе заложено и перезаложено, ихъ крестьяне въ нищетѣ, ихъ домъ въ деревнѣ разваливается и дождь проходитъ сквозь полусгнившую крышу; они на шагъ отъ нищеты, но этотъ примѣръ не дѣйствуетъ на дочку; она приметъ за сумасшедшаго того, кто рѣшится сказать ей о положеніи ея родителей, потому что столбовые дворяне въ генеральскомъ чинѣ никакъ не могутъ впасть въ нищету. Къ этому же она слышала, что въ Петербургѣ есть люди, которые проживаютъ десятки тысячъ, не имѣя ничего — и на этихъ людей всѣ смотрятъ съ пріятностью, всѣ ихъ принимаютъ, всѣ имъ пожимаютъ руки, всѣ ихъ называютъ людьми *порядочными*, потому что они не дѣлаютъ ничего такого, что *не принято*, потому что они одѣты прилично и со вкусомъ, имѣютъ хорошіе экипажи, дорогую мебель, мѣшаютъ французскія фразы съ русскими,— словомъ, все какъ слѣдуетъ. Отчего же люди, не имѣющіе ничего, умѣютъ жить такъ хорошо, тогда какъ мы живемъ

бѣднѣе ихъ и хуже, имѣя состояніе, — хоть небольшое, но всетаки состояніе, душъ 200 или 300?...

И Боже мой! еслибы мы вглядѣлись попристальнѣе въ жизнь и въ людей, насъ окружающихъ, еслибы мы разоблачили всѣ эти таинственныя существованія такъ называемыхъ порядочныхъ людей,—намъ можетъ быть огадились бы слова и фразы: *человѣкъ порядочный* (un homme comme il faut)... *это такъ принято* и проч... И господинъ, слывшій въ Петербургѣ подъ именемъ Монте-Кристо, считался *порядочнымъ* человѣкомъ... и вотъ этотъ господинъ, который теперь подходитъ ко мнѣ (я гуляю въ Павловскомъ вокзалѣ) и протягиваетъ ко мнѣ руку, которую я пожимаю, слыветъ *порядочнымъ* человѣкомъ...

А чѣмъ же онъ непорядочный?... У него очень привлекательная наружность: густые, бѣлокурые волосы ниже ушей съ завитками на концахъ, у него большіе голубые глаза съ выраженіемъ томнымъ и какъ будто просящимъ чего-то. Онъ одѣтъ по модѣ, на немъ брелоки, драгоцѣнныя кольца и цѣпочки... Правда, все это въ такомъ изобиліи, которое бросаетъ нѣкоторую тѣнь на его порядочность; правда, манеры его какъ-то ужъ слишкомъ сладки, движенія слишкомъ изнѣженны, онъ ужъ слишкомъ щеголяетъ своими глазами, кольцами и брелоками, чего не дѣлаютъ порядочные люди; правда, весь онъ пропитанъ какими-то сильными духами, которые порядочные люди не употребляютъ, и пропитанъ до того, что могъ бы съ успѣхомъ замѣнять въ комнатахъ курительныя бумажки, плитки съ одеколономъ и другія благовонныя снадобья, — но всетаки онъ слыветъ *порядочнымъ* человѣкомъ; съ нимъ знакомъ князь Г*, графъ С*, онъ даже *на ты* съ ними; его знаютъ всѣ — и мнѣ нисколько не стыдно протянуть ему руку, и еще пожать ее, несмотря на то, что я очень хорошо знаю, *что такое* этотъ господинъ.

— Какъ *твое* здоровье? говоритъ онъ мнѣ, улыбаясь съ тою оффиціально-приторной улыбкой, которая обратилась въ гримасу у нѣкоторыхъ.

Онъ говоритъ мнѣ *ты* и даже часто называетъ меня въ разговорѣ *душа моя*...

Какое же онъ имѣетъ право говорить мнѣ ты и называть меня своею душою?...

Я всегда затрудняюсь отвѣчать на эти вопросы, которые я задаю самому себѣ. Я съ этимъ сладкимъ господиномъ не имѣю ничего общаго, я съ нимъ видаюсь въ годъ разъ и рѣже; я даже не желалъ бы вовсе встрѣчаться съ нимъ... Но разъ какъ-то... это было ужъ очень давно... я былъ на какомъ-то обѣдѣ, на которомъ присутствовалъ и этотъ сладкій господинъ и на которомъ всѣ пили *на ты* по желанію хозяина. Мѣсяцъ спустя послѣ этого обѣда, я встрѣчаюсь съ нимъ и говорю ему *вы*, а онъ перебиваетъ меня съ улыбкою:

— Развѣ ты забылъ, говоритъ, душа моя, что мы пили на *ты?*

Нечего дѣлать, съ тѣхъ поръ мы такъ и остались на ты.

— Давно мы съ тобой не видались, душа моя, продолжаетъ онъ, и при этомъ еще дружески треплетъ меня по плечу.

«Да для чего же намъ съ тобою видѣться?» — думаю я, однако, по слабости моего характера, не говоря ему этого. Я только смотрю на него.

— Ты никогда не заглянешь ко мнѣ, продолжаетъ онъ, не смущаясь моею холодностью: — это стыдно тебѣ... Я, говоритъ, совсѣмъ за-ново отдѣлалъ свою квартиру. Меблировалъ ее Туръ...

Странные бываютъ люди на свѣтѣ, — да что же мнѣ за дѣло до того, кто меблировалъ его квартиру?

— А какая здѣсь скука!.... (При этомъ сладенькій господинъ насильственно зѣваетъ): — и что за публика! Онъ дѣлаетъ гримасу.

Но что же это за господинъ?

Это г. Курмышевъ. — Фамилія, кажется не важная, состоянія онъ не имѣетъ никакого, да у него, видите ли, дяденька женился на единственной дочери какого-то купца-милліонера и изъ мелкаго, бѣднаго и ничтожнаго чиновника превратился быстро въ особу 4-го класса, завелъ швейцара съ булавой и галлерею съ предками, сталъ задавать князьямъ и графамъ блистательные ужины и обѣды.... Черезъ дядю князья и графы узнали и племянника... и племянникъ въ свою очередь пригласилъ къ себѣ на ужинъ князей и графовъ.... И князья и графы поѣхали. Откуда же онъ беретъ деньги,

чтобъ задавать ужины, ѣздить въ экипажахъ, покупать мебель Тура, и прочее? Вѣдь у него ничего нѣтъ?... Развѣ ему дядя даетъ денегъ? Нѣтъ, дядя ему не даетъ ничего. Можетъ быть, онъ имѣетъ выгодное мѣсто по службѣ и ловко пользуется имъ? — Нѣтъ; существованіе его и принадлежитъ къ сомнительнымъ существованіямъ тѣхъ петербургскихъ господъ, которые, не имѣя ничего, проживаютъ много. Тайны такихъ существованій разоблачаются не вдругъ, но однако разоблачаются.

Однажды, на какомъ-то вечерѣ, одинъ изъ великосвѣтскихъ знакомыхъ г. Курмышева подходитъ къ нему и, указывая на блестящія, зеленыя пуговицы его жилета, говоритъ:

— Какъ блестятъ твои стеклышки!

Г. Курмышевъ нѣсколько оскорбляется.

— Нѣтъ, душа моя, отвѣчаетъ онъ: — ты ошибаешься.... это не стеклышки, а настоящіе изумруды.... Эти пуговицы стоятъ три тысячи серебромъ; у меня такая коллекція пуговицъ для жилетовъ, какой у васъ ни у кого нѣтъ; у меня, начиная отъ самыхъ простенькихъ, отъ двухсотъ-рублевыхъ, до этихъ — семь перемѣнъ.

Пуговки дѣйствительно изумрудныя.... господинъ Курмышевъ не хвастаетъ.... Квартира его точно меблирована Туромъ, и стѣны ее разукрашены заграничными литографіями въ великолѣпныхъ рамахъ. Въ искусствѣ г. Курмышевъ мало понимаетъ толку, и не отличитъ раскрашенную литографію отъ живописи, и потому онъ обращаетъ болѣе вниманія на рамки, но за то всѣ стѣны его такъ и горятъ золотомъ; ѣздитъ онъ на настоящихъ рысакахъ, сбруя на которыхъ изукрашена блестящими бляхами.... Если бы онъ умѣлъ побороть въ себѣ излишнюю страсть къ блеску и желанію всѣмъ метаться въ глаза, если бы онъ менѣе удивлялся (а еще бы лучше, если бы не удивлялся вовсе) самому себѣ и своимъ украшеніямъ, если бы у него было поболѣе вкусу и такту — онъ былъ бы безукоризненъ.... Онъ даже могъ бы сдѣлать карьеру, если бы былъ немного поумнѣе.... Но развѣ онъ не уменъ? Развѣ, не имѣя ничего, проживать десятки тысячъ — не есть доказательство ума, и при томъ замѣчательнаго ума!...

Не всегда, любезный читатель, смазливое личико съ успѣхомъ замѣняетъ иногда умъ, если ужъ допустить, что

всѣ люди, наживающіеся или живущіе богато, должны непремѣнно имѣть умъ, въ чемъ я, признаюсь, сомнѣваюсь, потому что мнѣ неоднократно случалось видѣть въ жизни, какъ славно разживаются и богатѣютъ очень тупоумные господа и какъ нуждаются люди очень умные и даже остроумные.... Но дѣло не въ томъ, я только хочу сказать, что съ умомъ иногда бываетъ труднѣе добывать деньги, чѣмъ съ смазливымъ личикомъ.

Есть дѣйствительно такія счастливыя физіономіи, посредствомъ которыхъ люди совершенно обезпечиваютъ себя не только на время, даже иногда на всю жизнь. А у г. Курмышева именно одна изъ такихъ физіономій.... Говорятъ, что добывать деньги такимъ легкимъ способомъ, какимъ добываетъ г. Курмышевъ, не совсѣмъ честно и что на такого рода добываніе денегъ рѣшаются не многіе, но г. Курмышевъ въ невинности души своей и не подозрѣваетъ этого, онъ самъ невольно обнаруживаетъ свою тайну.... На вопросы — откуда ты взялъ такую дорогую мебель? или такого рысака? или такіе изумруды?... онъ отвѣчаетъ всегда съ наивной и самодовольной улыбкой: «Мнѣ подарили». Счастливчикъ! Ему все дарятъ.... даже и деньги....

Глядя на него, мнѣ дѣлается еще скучнѣе....

Къ счастію, звонятъ....

Машина свиститъ. Поѣздъ готовъ....

Въ толпѣ на галлереѣ я еще разъ встрѣчаю г. Курмышева, ведущаго подъ руку какую-то пожилую и массивную даму, великолѣпно разодѣтую и въ пастушеской шляпкѣ. Дама эта по крайней мѣрѣ на вершокъ выше его, несмотря на то, что онъ хорошаго роста. Рядомъ съ нею онъ имѣетъ видъ ея меньшого сына....

Въ Павловскѣ скучно. Не отправиться ли на острова?

Въ 8 часовъ я былъ на невскомъ пароходѣ. Вечеръ былъ тихій и ясный, хотя довольно свѣжій, Нева была тиха и гладка, какъ зеркало; пароходъ переѣхалъ Неву и вошелъ въ Большую Невку.... Когда онъ подошелъ къ мосту, соединяющему Петербургскую сторону съ Выборгской, я оглянулся назадъ. Гагаринская набережная противъ Большой

Невки была облита красноватымъ огнемъ солнца, которое было уже довольно низко. Всѣ стѣны домовъ загорѣлись этимъ огнемъ, какъ будто освѣщенныя изнутри бальнымъ, праздничнымъ свѣтомъ, и всѣ эти дома, съ тысячами своихъ ослѣпительныхъ оконъ, опрокинутые, отразились въ Невѣ. Флагъ опустился, труба парохода со свистомъ нагнулась, подходя подъ мостъ, пароходъ уже за мостомъ, труба снова выпрямилась, флагъ поднялся — и картина измѣнилась: городъ исчезъ сзади; пароходъ быстро мчится. Съ обѣихъ сторонъ дачи въ густой зелени. — Я выхожу на пристани у Каменнаго острова. Послѣ довольно долгой прогулки я захожу отдохнуть въ трактиръ противъ Каменноостровскаго театра. Вечеръ прекрасный, теплый. Я закуриваю сигару и спрашиваю чаю. Противъ меня сидятъ два господина и также пьютъ чай. Одинъ изъ нихъ, среднихъ лѣтъ, худощавый, съ желтоватыми пятнами на лицѣ—должно быть онъ страдаетъ печенью. Его рѣдкіе волосы, желтое лицо, бакенбарды, шляпа и пальто покрыты пылью.... У него даже и глазки пыльные, а голосокъ чахоточный. Другой, напротивъ, господинъ полный, круглый, съ жирнымъ затылкомъ, съ черными, масляными глазами, съ черными подкрашенными усами, съ звонкимъ голосомъ — и въ фуражкѣ.... Онъ говоритъ не стѣсняясь и во всеуслышаніе.

— Вотъ-съ, такимъ-то образомъ, — говоритъ онъ своему товарищу, закуривая папироску и бросая на меня косвенный взглядъ: — я и вышелъ въ отставку. Теперь, спрашивается, что же я буду дѣлать? къ чему я способенъ?... Учили-то меня плохо, да и тому, чему учили, я учился плохо. Меня, видите ли, съ дѣтства назначали въ военную службу, у меня матушка просто непреодолимую страсть имѣла къ военнымъ, мундиръ видѣть не могла равнодушно, а какъ брякнетъ бывало сабля, у нея такъ и захлебнется сердце.... Мнѣ она еще трехлѣтнему все толковала: «ты, говоритъ, у меня, душенька Петинька, непремѣнно будешь военный.» — И игрушки у меня все были военныя: барабанъ, сабля, шашка, киверъ, пика, я все маршировалъ или скакалъ верхомъ на палочкѣ.... У меня было цѣлое войско, составленное изъ дворовыхъ мальчишекъ.... У насъ было человѣкъ 200 въ дворнѣ, жили мы, я вамъ скажу, на барскую, на широкую ногу. Все-то это прошло! — При этомъ толстый господинъ вздохнулъ. —

Отдали меня въ заведеніе, матушка переѣхала для меня въ Петербургъ; въ Петербургѣ жизнь-то не то что въ деревнѣ, все свое, и утка и курица и масло.... ну а въ Петербургѣ, извѣстно, за все это плата, ктомужь, матушка по барской привычкѣ навезла съ собой цѣлую орду, а между тѣмъ, неурожай да пожары, да уплата въ Опекунскій Совѣтъ, имѣніе-то управлялось кое-какъ... ну гдѣ же управлять женщинѣ, сами знаете? Отца я еще лишился въ малолѣтствѣ, а дѣло-то шло къ моему выпуску въ офицеры... такъ что матушка-то и на обмундировку мою должна была занять.... Обстоятельства ее сильно придавили, но какъ она увидѣла меня въ офицерскомъ мундирѣ, въ эполетахъ, въ саблѣ, такъ все забыла, какъ ни горько было, глазъ съ меня не спускаетъ, не нарадуется. А мнѣ что? я тогда и въ усъ себѣ не дулъ, да еще и усовъ у меня тогда не было (толстый господинъ погладилъ свои усы), мнѣ и въ голову не приходило, что придется со временемъ въ кулакъ свистать. Извѣстно, молодой человѣкъ, вновь выпеченный офицеръ — шампанское, актрисы, то да сё, знакомства эдакія.... все съ первѣйшею молодежью, которая и счету въ деньгахъ не знаетъ, все съ князьями да графами, уронить себя передъ ними тоже не хочется.... а матушка-то, вмѣсто того, чтобы образумить мальчишку, радуется, что я такое знатное знакомство имѣю.... Кончилось тѣмъ, что не только въ гвардіи, да и въ арміи-то служить пришлось трудновато. Матушка скончалась. Дѣла послѣ нея остались такія запутанныя, что и распутать-то, я вамъ скажу, никакихъ нѣтъ средствій. Ктому же я ничего не понималъ, сердце, знаете, доброе, довѣрчивое, а тутъ подвернулся дядя съ родственнымъ участіемъ, да при такой вѣрной оказіи и надулъ меня, шельма!... Остался у меня маленькій капиталецъ, я вознамѣрился пустить его въ оборотъ.... то есть въ карты, да и спустилъ половину въ два вечера: попалъ на какихъ-то шулеровъ проклятыхъ — неопытенъ былъ.... Ну, а потомъ, какъ вижу совсѣмъ плохо, — а между тѣмъ дворянское-то свое достоинство поддержать надо, — тутъ откуда и умъ взялся.... пустился на аферы.... сталъ лошадьми промышлять.... Этимъ только и жилъ.... Ну, а теперь, я васъ спрашиваю, что мнѣ дѣлать? На что я годенъ? Въ штатскую службу идти не могу.... грамотѣ не знаю, двухъ словъ складно и

правильно написать не умѣю.... ей Богу, складываю по пальцамъ, и четыре-то правила ариѳметики знаю съ горемъ пополамъ, — ну, да положимъ, это ничего; но вѣдь нельзя же мнѣ въ подполковничьемъ чинѣ въ какіе нибудь эдакіе столоначальники идти, сами согласитесь, на какой нибудь ничтожный окладъ?... Меня воспитывали по-дворянски, у меня всѣ привычки дворянскія, мнѣ нуженъ, батюшка, нѣкоторый комфортъ.... Я, напримѣръ, не могу обойтись безъ человѣка, ужъ я привыкъ, чтобы человѣкъ былъ всегда при мнѣ: трубку принять, набить, закурить.... я эти поганыя папиросы курю, я вамъ скажу, по необходимости, только нельзя же съ собой всюду трубку таскать.... Мнѣ бы, знаете, мѣсто эдакое, смотрителемъ при дворцѣ... что нибудь въ этомъ родѣ, но для этого нужна протекція, а безъ протекціи ничего не сдѣлаешь: хоть камень на шею, да въ воду.... Не въ сидѣльцы же мнѣ или не въ сапожники же идти.... да и въ какое ремесло я годенъ? Дворянъ ремесламъ не учатъ, да если бы и учили, не пойти же въ самомъ дѣлѣ дворянину въ сапожники. Чѣмъ же станешь хлѣбъ-то промышлять?.... я васъ спрашиваю, а безъ manger и boire существовать нельзя.... вы понимаете!.... Скучно, я вамъ скажу, жить на свѣтѣ.... вотъ вы, напримѣръ, это совсѣмъ дѣло другое. Васъ ужъ съ дѣтства приготовляли къ штатской службѣ, да вы ужъ и комплекціи такой, чтобы по штатской служить, вы ужъ всѣ эти крючки-то изучили, знаете гдѣ *ѣ* и гдѣ *е* поставить, по штатской службѣ другое дѣло.... Штатская служба вѣрный кусокъ хлѣба, по штатской люди наживаются, а въ военной проживаются.... Не всякому вѣдь удается попасть въ полковые командиры.... Ахъ горе, горе!...

— Не всегда, Петръ Александровичъ, и по штатской везетъ, возразилъ печально господинъ съ чахоточномъ голосомъ: — и тутъ кому какое счастье: иному все удается, а другаго судьба такъ вотъ и гнететъ, такъ и гнететъ.... Хорошо, если при одномъ начальникѣ прослужишь лѣтъ двадцать, тридцать.... прежде, бывало, какъ дадутъ кому нибудь значительное мѣсто, такъ онъ ужъ можетъ быть покоенъ, что и умретъ на этомъ мѣстѣ, и подчиненныхъ-то своихъ имѣетъ время вывести въ люди, а нынче не то, нынче тузы-то что-то не сидятъ долго на однихъ мѣстахъ, а для нашего брата

подчиненнаго это бѣда. Вотъ я вамъ скажу случай.... Илья Ильичъ Брылкинъ.... вы, можетъ быть, его знаете? — Достойнѣйшій человѣкъ, труженикъ, ни себѣ, ни подчиненнымъ покоя не давалъ.... ужъ дѣлецъ извѣстный.... и честнѣйшій человѣкъ, до глупости честный. Получилъ онъ, знаете, очень видное мѣсто.... и не потому, чтобы цѣнили его достоинство, а потому, что его протежировалъ князь Ардальонъ Никитичъ Драницынъ.... Онъ его и взялъ къ себѣ.... Ну, зажилъ нашъ Илья Ильичъ припѣваючи, все семейство воскресло... у него жена, семеро дѣтей, жалованье большое, квартира — хоть балы задавай; думаетъ: «слава Богу, обезпечилъ покуда семейство, ужъ я лучше ничего не желаю, какъ умеретъ на этомъ мѣстѣ....» Вдругъ-съ князь-то Ардальонъ Никитичъ умираетъ, а вѣдь какой здоровый, сильный старикъ былъ! Назначаютъ на его мѣсто графа Швейковскаго.... Графъ-то, надобно вамъ замѣтить, ненавидѣлъ покойника князя, говорить объ немъ не могъ равнодушно, хотя въ свѣтѣ они встрѣчались ничего, какъ пріятели.... Графъ и пошелъ все ломать, не потому, чтобы система князя была дурна, а потому только, что онъ былъ врагъ князю.... «Чтобы и духомъ его не пахло», такъ разсуждалъ.... Илья Ильичъ перепугался, однако графъ ничего.... «вы, говоритъ, отличный чиновникъ, мнѣ извѣстный, я очень радъ служить съ вами.» Илья Ильичъ въ простотѣ сердца и повѣрилъ этому, а графъ это сказалъ только такъ, понимаете, для отводу, чтобы не обнаружить себя вдругъ, да потомъ и началъ его тѣснить, три мѣсяца не давалъ ему покоя ни днемъ, ни ночью, а все говоритъ, что «я радъ служить съ вами»; догадался наконецъ Илья Итьичъ — подалъ въ отставку, а графъ еще какъ будто удивляется.... «отчего, говоритъ, вы служить со мной не хотите?» Пустилъ его по міру съ семерыми дѣтьми, да еще говоритъ: «я его не выгонялъ, онъ самъ, говоритъ, вышелъ....» Да не только его.... у покойника князя былъ любимый писецъ, такъ и того выгналъ.... Камня на камнѣ не оставилъ, все своихъ, новыхъ привелъ съ собою.... Такъ вотъ-съ оно и по штатской-то службѣ и со способностями-то и съ честностью, иногда ничего не возьмешь. Пойдите-ка.... скоро ли Илья Ильичъ въ его чинѣ отыщетъ для себя мѣсто, да еще безъ покровителя!... Нѣтъ-съ, у кого нѣтъ своего куска хлѣба,

— тому тяжело.... Дѣйствительно, жить такъ... скучно, очень скучно....

Толстый человѣкъ махнулъ рукой и закричалъ:

— Человѣкъ! эй! дай, братецъ, рюмку коньяку. Становится что-то сыро.

Становилось точно сыро. Было уже половина десятаго и я отправился на одну изъ пароходныхъ пристаней.

На пристани взадъ и впередъ прохаживалась пожилая и бойкая барыня, вѣроятно съ ближайшей дачи, одѣтая по-домашнему, въ чепцѣ и съ бородкой, и стоялъ, грустно облокотившись на перилы, господинъ лѣтъ тридцати, тихій и скромный, должно быть сынъ барыни, судя по ея обращенію съ нимъ... Барыня была въ волненіи, отчего бородка ея приходила въ безпрестанное движеніе и она что-то ворчала просебя... Отъ Новой деревни плыла небольшая лодка къ пристани. Въ этой лодкѣ сидѣли два мальчика... Когда лодка была въ нѣсколькихъ шагахъ отъ пристани, барыня обратилась къ сыну и произнесла строгимъ голосомъ:

— Вѣдь это они?

— Они, отвѣчалъ сынъ.

— Эй, вы!... закричала барыня къ мальчикамъ, сидѣвшимъ въ лодкѣ — Васька! Куда вы это ѣздили?

— Въ Новую деревню, ваше превосходительство, отвѣчалъ Васька, складывая вёсла и берясь за багоръ.

— Зачѣмъ? что вы тамъ дѣлали? Кто вамъ позволилъ?...

— Такъ-съ, прокатиться, сказалъ Васька, запинаясь.

— Вотъ я вамъ дамъ прокатиться! вскрикнула барыня грозно и потомъ, не смотря на присутствіе на пристани людей постороннихъ, обратясь къ сыну, произнесла: — вы всѣхъ людей перебаловали!...

Сынъ молчалъ, потупилъ голову и смотрѣлъ на воду.

— Чья это лодка?... продолжала барыня, останавливая мальчиковъ, вышедшихъ изъ лодки.

— Алексѣя повара, отвѣчалъ Васька.

— Еще лодку свою завелъ... какой баринъ!... Скажи ему, чтобы завтра же этой лодки не было, иначе я сжечь ее велю; я выбью у него изъ головы эти барскія затѣи.

Затѣмъ она снова обратилась съ неудовольствіемъ къ сыну и произнесла:

— Какъ здѣсь на дачѣ у насъ перебаловались всѣ люди, это ни на что не похоже. Какого-то новаго духу набрались... Ты совсѣмъ за ними не смотришь, а у меня ужъ силы не достаетъ...

Въ эту минуту пароходъ присталъ къ пристани, и я не слыхалъ дальнѣйшаго разговора...

XXII. ОБѢДЪ У ГЕНЕРАЛА.

Въ послѣдніе годы мнѣнія какъ-то измѣнились.

Кстати объ измѣненіи мнѣній...

Я имѣю честь быть знакомымъ съ однимъ очень почтеннымъ господиномъ, отличающимся высокою благонамѣренностію, усердіемъ, преданностію и другими гражданскими добродѣтелями, за каковыя онъ получилъ достойную мзду, ибо имѣетъ уже весьма почетное званіе. Грудь и шея его, начиная отъ самаго подбородка до подложечки, украшены различными блестящими украшеніями, а голова голая, какъ у Барклая-де-Толли, прелестнѣйшими мягкими и густыми каштановыми волосами. Мой почетный знакомый имѣетъ сердце замѣчательной мягкости и нѣжности, такъ что при малѣйшемъ чувствительномъ разсказѣ, у него мгновенно выступаютъ слезы; въ дамскомъ обществѣ онъ такъ и таетъ, дамы его времени говорятъ съ восторгомъ, что онъ былъ *удивительно хорошъ*. «До-сихъ-поръ какіе у него глаза», прибавляютъ онѣ, «и какое выраженіе!» Въ самомъ дѣлѣ «удивительные глаза!» и онъ мастерски дѣйствуетъ ими. При появленіи лица низшаго, или подчиненнаго ему, они вдругъ теряютъ всю свою кротость и маслянистость и начинаютъ сверкать; голубиный взглядъ его превращается быстро въ орлиный, а густыя брови, потерявшія юношескую шелковистость и начинающія торчать, какъ иглы, быстро надвигаются на глаза. Въ такія минуты онъ становится даже ужасенъ!...

Не всякій человѣкъ умѣетъ поддержать свое достоинство и званіе,—но этою высокою способностію мой почетный знако-

мый владѣетъ въ совершенствѣ. Всякій, взглянувъ на него, скажетъ: «У! у! какой!»

Но дѣло не въ томъ. Я замѣтилъ, какъ вообще измѣнились съ нѣкотораго времени понятія, взгляды, воззрѣнія и образъ мыслей у петербургскихъ обитателей... и не только у людей обыкновенныхъ, малозначущихъ, но даже и у такихъ значительныхъ особъ, каковъ мой почетный знакомый. Надо замѣтить, что я получилъ прекрасное и нравственное воспитаніе и потому никогда и ни въ чемъ не только не противорѣчу старшимъ себя, напротивъ, чтобы имъ понравиться, завожу съ ними разговоръ совершенно поддѣлываясь подъ ихъ образъ мыслей, діаметрально противоположный моему. Я чувствую, что это не хорошо; я знаю, что правда выше всѣхъ чиновъ и званій, но мнѣ внушено съ дѣтства такое уваженіе къ чинамъ и званіямъ, что при одной мысли: «а что, если эта правда не понравится?...» правда замираетъ на моемъ языкѣ и я начинаю невольно лгать и противорѣчить всѣмъ моимъ понятіямъ и убѣжденіямъ.

Бывало, когда мой почетный знакомый удостоивалъ обращаться ко мнѣ и говорилъ:

— Люди, батюшка, вездѣ люди, — злоупотребленія вы найдете повсюду, и во Франціи, и въ Англіи, и во всемъ свѣтѣ, въ семьѣ не безъ урода. Это дѣло извѣстное. И только люди безпокойные, опасные, злонамѣренные, враги отечества могутъ кричать, что будто у насъ только подкупы, взятки, обманы, или что нибудь въ родѣ этого... Если бы и дѣйствительно это было, такъ истинный сынъ отечества долженъ это скрывать и тайно скорбѣть объ этомъ, а не кричать во всеуслышаніе; но этого нѣтъ, я могу сказать положительно.

Я всегда отвѣчалъ на такія рѣчи:

— Это совершенно справедливо, ваше превосходительство, я вполнѣ раздѣляю вашъ образъ мыслей...

И при этомъ еще останавливалъ вкрадчивый и благонамѣренный взглядъ на его превосходительствѣ.

Я совершенно соглашался съ нимъ во всемъ: — въ томъ, что мы умнѣе, сильнѣе, счастливѣе и добродѣтельнѣе всѣхъ народовъ—французовъ, англичанъ, нѣмцевъ, шведовъ и другихъ, что они существуютъ на земномъ шарѣ только по нашей милости, что славны бубны только за горами, а что въ

сущности за границей все дурно, что тамъ даже булокъ печь не умѣютъ и вина нельзя достать порядочнаго, потому что все лучшее вино отсылаютъ къ намъ въ Россію...

Въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ я хотя и имѣлъ честь нерѣдко встрѣчаться съ его превосходительствомъ, но мнѣ не удавалось вступать съ нимъ въ разговоръ объ этихъ возвышенныхъ предметахъ.

15-го іюля я отправился къ нему на дачу въ Петергофъ. Генералъ принялъ меня очень благосклонно и оставилъ меня обѣдать. Генеральша съ свойственною ей любезностью упрекнула меня на французскомъ языкѣ за то, что я долго не былъ у нихъ... Меня всегда приводилъ въ восхищеніе семейный бытъ генерала. Глядя на него, на его супругу и на ихъ дочерей (сыновей у него нѣтъ, а дочери всѣ пристроены за людей чиновныхъ и благонамѣренныхъ), я всегда думалъ: «Вотъ гдѣ истинное семейное счастіе!» Генералъ смотрѣлъ на генеральшу съ такою нѣжностію, какъ будто вчера только соединился съ ней узами брака, даже увивался около нея, называлъ ее уменьшительными именами, неимѣющими опредѣленнаго смысла, но тѣмъ болѣе нѣжно звучащими. Генеральша иногда трепала его по щекѣ и называла выразительно mon vieux (она моложе его двумя или тремя годами), при чемъ генералъ всегда улыбался, какъ будто принимая это названіе за шутку, а дочери безпрестанно цѣловали ручки у папеньки и у маменьки... Въ будуарѣ генеральши висѣлъ портретъ генерала, рисованный масляными красками, въ полномъ мундирѣ, со всѣми украшеніями; въ кабинетѣ генерала висѣлъ портретъ генеральши — декольте, и также масляными красками, и акварельные портреты дочерей... У меня всегда выступали слезы на глазахъ при этой семейной картинѣ, и я продолжалъ думать, глядя на генерала: «Не всякому въ жизни дается такое счастіе! Чего не достаетъ ему?... Чины, званіе, ордена, почетъ, состояніе, увеличивающееся съ каждымъ годомъ, любовь жены, любовь дѣтей... зятья почтительные и съ карьерой. Богъ всѣмъ благословилъ его! Пусть люди, невѣрующіе въ семейное счастіе, взглянутъ на него!» И я до-сихъ-поръ продолжаю думать такъ, не смотря на то, что проживающая у нихъ въ домѣ моя старая знакомая, Анна Григорьевна, еще носившая меня на рукахъ въ дѣтствѣ, вдова чиновника, имѣющая 5,000 р.

сер. капиталу, который она отдаетъ въ проценты, увѣряетъ, что генералъ нисколько не любитъ генеральши, а только боится ее, что у него есть какая-то *Агланда* Ивановна, къ которой онъ ѣздитъ всякій божій день, что ей неоднократно подтверждалъ генеральскій кучеръ Игнатій, которому генералъ сверхъ жалованья дастъ 15 р. въ мѣсяцъ, и котораго генеральша ненавидитъ, что ужъ нечего таить, и за генеральшей-то грѣшки водятся, но такъ какъ она облагодѣтельствована ими и живетъ у нихъ въ домѣ, то ужъ объ этомъ она говорить не хочетъ; что генеральша вытолкнула дочерей изъ дому при первой возможности за какихъ-то полуотживших господъ съ деньгами, для того, чтобы быть свободнѣе въ домѣ, и надула зятей, отдавъ за дочерьми по нѣскольку сотъ душъ, которыя она заложила передъ самой свадьбой, и что въ генеральскомъ домѣ иногда такія сцены происходятъ, что хоть изъ дому бѣжать... и прочее, и прочее.

Вѣрить сплетнямъ и клеветамъ какой-нибудь проживалки было бы совершенно непростительно съ моей стороны, тѣмъ болѣе, что когда генералъ говоритъ о святости семейныхъ узъ и о блаженствѣ семейной жизни, пересыпая эти рѣчи нравственными сентенціями, а это одна изъ любимыхъ темъ его разговора, — я бываю всякій разъ тронутъ до глубины души. Онъ говоритъ съ такимъ убѣжденіемъ и такъ горячо, что подозрѣвать существованіе *Агланды* Ивановны и плату кучеру Игнатію 15 р. въ мѣсяцъ сверхъ жалованья — верхъ безумія. Анна Григорьевна ставитъ въ преступленіе генеральшѣ, что она отдала за дочерьми заложенныя души (и это дѣйствительно такъ); но какое же тутъ преступленіе? Она обѣщала за каждой дочерью дать триста душъ и дала ровно по триста. Она не говорила, какія это души, заложенныя или незаложенныя, слѣдовательно она имѣла полное право заложить ихъ и воспользоваться деньгами, тѣмъ болѣе, что зятья ея имѣютъ свое состояніе. А то, что она отдала дочерей своихъ замужъ насильно, почти вытолкала ихъ изъ дома — не имѣетъ никакого вѣроятія, потому что генеральша получила прекрасное воспитаніе, имѣетъ самые изящные манеры, чувствительное сердце, и такъ хорошо говоритъ объ обязанностяхъ матери, что, кажется, вѣкъ слушалъ бы ее... Конечно, и въ дворянскомъ сословіи, которое у насъ считается преимущественно

образованнымъ, встрѣчаются не совсѣмъ удачныя маменьки. Я зналъ такую, которая каждой изъ своихъ дочерей (а у нея было, кажется, пять), послѣ выпуска изъ института, говорила: «Ну вотъ я тебѣ даю полгода сроку, полгода ты можешь жить дома, а послѣ полугода какъ хочешь — изъ дому вонъ; отыщи, какъ знаешь, себѣ жениха, я въ это дѣло не мѣшаюсь, только чтобы женихъ былъ солидный, хорошій, чтобъ деньги имѣлъ, а не какой нибудь голый и пустой мальчика. Славу Богу, ты хорошенькая, поправиться сейчасъ можешь, надо, разумѣется, употребить кокетство, чтобы завлечь человѣка, — ты это должна знать, ты получила воспитаніе, — вѣдь ты стоишь намъ порядочныхъ денегъ... ну, словомъ, сама, какъ знаешь, и обработай это, а только ужъ послѣ полугода дома не оставаться...» И дѣйствительно, болѣе полугода ни одна изъ дочерей ея не оставалась дома: двѣ прежде полугода умерли въ чахоткѣ, а три вышли замужъ и одна даже очень счастлива... Но такого рода маменьки не могутъ быть сравниваемы съ генеральшей, съ супругой моего почетнаго знакомаго...

Однако я безпрестанно увлекаюсь эпизодами и теряю нить разсказа... Я остановился на томъ, что 15-го іюля, на дачѣ въ Петергофѣ, я обѣдалъ у генерала... Обѣдъ былъ прекрасный, вина отличныя. За обѣдомъ были все почетныя лица, исключая меня; у одного сіяніе съ праваго бока, у другаго съ лѣваго.... блескъ страшный, преобладаніе краснаго цвѣта... Извѣстно, что красный цвѣтъ у насъ имѣетъ совсѣмъ другое значеніе, чѣмъ въ Европѣ... Чтобы обратить на себя лестное вниманіе такого блестящаго общества и заслужить его расположеніе, я, по поводу превосходныхъ жареныхъ грибовъ, вовсе неупотребляемыхъ въ пищу за границей, началъ изумляться варварству Западной Европы....

— Вообразите, ваше превосходительство (я обратился къ хозяину дома и обвелъ всѣхъ гостей съ почтительною и пріятною улыбкою), вообразите, воскликнулъ я съ жаромъ и негодованіемъ: — въ Германіи и во Франціи, и вездѣ за границей даже бѣлые грибы—эти, такъ сказать, перлы изъ грибовъ, считаются ядовитыми. Это совершенное невѣжество, варварство!! И послѣ этого они еще осмѣливаются называть насъ варварами, насъ, которые лакомятся грибами и съѣдаютъ безвредно цѣлыя

сковороды въ сухаряхъ, въ сметанѣ, въ сливочномъ маслѣ!! и проч.

Отъ грибовъ я перешелъ тотчасъ же къ предметамъ болѣе возвышеннымъ, и началъ доказывать преимущества наши во всѣхъ отношеніяхъ передъ иностранцами. Я особенно не щадилъ Англіи, лорда Пальмерстона и всѣхъ англійскихъ парламентскихъ крикуновъ...

— Можно ли ожидать чего нибудь порядочнаго отъ государства, которое управляется такими людьми? воскликнулъ я съ сверкающими глазами: — отъ государства, въ которомъ законодатели, не только въ Нижней, но даже въ Верхней Камерѣ, сидятъ какъ въ тавернѣ, забывая всякое приличіе и чувство собственнаго достоинства, въ сюртукахъ, въ пальто и съ шляпами на головахъ, и запиваютъ грогомъ свои рѣчи?....

Я говорилъ хорошо и долго, съ большой энергіей, и былъ убѣжденъ, что слова мои произведутъ сильное и пріятное впечатлѣніе.

Да не подумаетъ однако мой читатель, что, говоря такъ, я имѣлъ какіе либо корыстные виды.... Нѣтъ! Увѣряю честью, я хотѣлъ только угодить моимъ почтеннымъ слушателямъ, руководимый правилами, внушенными мнѣ съ дѣтства, что при моемъ маломъ чинѣ и въ мои лѣта....

....Не должно смѣть
Свое сужденіе имѣть

и противорѣчить старшимъ.

Но каково же было мое изумленіе, когда не только на самого хозяина дома, но и на всѣхъ гостей слова мои произвели очень невыгодное, даже, можно сказать, непріятное впечатлѣніе....

— Помилуйте, что такое это вы говорите? перебилъ меня хозяинъ дома, нахмуривъ брови: — я не защитникъ лорда Пальмерстона; какъ русскій, я его не люблю, но не могу не отдать ему справедливости въ томъ, что онъ дѣйствуетъ какъ истинный сынъ отечества и не упускаетъ ни малѣйшей пользы и выгоды Англіи. Вся наша бѣда въ томъ, что мы слишкомъ заносимся и воображаемъ о себѣ Богъ знаетъ что.... Нѣтъ, намъ еще надо поучиться во многомъ у иностранцевъ; отбросивъ всякую спѣсь, намъ надо стараться открывать наши заблужденія и недостатки, съ искрен-

нимъ желаніемъ искоренить ихъ. Пустое самохвальство и безумная самоувѣренность до добра не доводятъ. Патріотизмъ заключается не въ томъ, чтобы находить себя лучше и совершеннѣе всѣхъ, а чтобы постоянно стремиться къ усовершенствованіямъ и къ улучшенію самихъ себя...

Слова эти, противорѣчившія совершенно тому, что его превосходительство говорилъ четыре года назадъ тому, поразили меня сильно. Я, при всемъ уваженіи къ моему почетному знакомому, никакъ не могъ ожидать въ немъ такого быстраго прогресса, и въ такое короткое время, и покраснѣлъ до ушей. Мнѣ былъ несказанно пріятенъ такой переворотъ въ немъ, и мнѣ стало стыдно за самого себя. Въ эту минуту я убѣдился, что правила, внушенныя мнѣ съ дѣтства, фальшивы и безнравственны, и что говорить противъ себя въ угожденіе другимъ, хотя бы и почетнымъ лицамъ, — не хорошо; что лицемѣріе, какъ бы ни было оно искусно скрыто, рано или поздно непремѣнно откроется... Признаться въ томъ, что я лгалъ и лицемѣрилъ, у меня также недоставало духу; однако, я возразилъ съ нѣкоторымъ смущеніемъ:

— Я вовсе не хотѣлъ сказать, ваше превосходительство, чтобы въ Англіи не было достойныхъ людей... Сохрани меня Боже отъ этой мысли! Вотъ, напримѣръ, сэръ Робертъ-Пиль — онъ даже можетъ служить образцомъ для государственныхъ людей всѣхъ странъ. Въ немъ чувство гражданственности, государственной доблести и просвѣщеннаго патріотизма проявилось въ высшей степени. Онъ служилъ отечеству, а не личнымъ выгодамъ, не для того, чтобы добиться до почестей ради удовлетворенія собственнаго тщеславія, ради того только, чтобы стать выше другихъ и бросать съ высоты презрительные взгляды на остальное человѣчество... Онъ отказался отъ графства, отъ ордена Подвязки, онъ запретилъ дѣтямъ своимъ, къ завѣщаніи своемъ, принимать какія нибудь титла за его собственныя заслуги...

— Но, позвольте, перебилъ меня мой почетный знакомый: — это ужъ опять крайность. Почему же не принять награду, если чувствуешь себя достойнымъ ее, если убѣжденъ, что принесъ дѣйствительную выгоду и пользу своему отечеству? Такая излишняя гордость неумѣстна, — это тоже своего

рода тщеславіе, и притомъ совершенно противное христіанскому духу....

— Конечно, это такъ, замѣтилъ одинъ изъ почетныхъ гостей: — да и опять, какъ же я осмѣлюсь отказаться отъ награды, которой меня удостоиваютъ? Къ тому же, люди вездѣ люди, и для нихъ прежде всего необходимы поощренія: безъ поощреній нельзя. И какъ же отличить наконецъ человѣка заслуженаго, почетнаго, — отъ простого, обыкновеннаго человѣка: вѣдь на лбу ни у кого не написана заслуга.

— Да объ этомъ и говорить нечего, повторило нѣсколько голосовъ.

— Безъ всякаго сомнѣнія, произнесъ хозяинъ дома съ нѣкоторою торжественностію: — человѣка умнаго, сметливаго, трудолюбиваго, съ образованіемъ, съ благонамѣреннымъ образомъ мыслей нельзя не подвигать впередъ, не поощрять, не награждать, ничѣмъ не отличать отъ другихъ: это противъ логики, противъ здраваго смысла. Такого человѣка слѣдуетъ возвышать, точно также, какъ неспособнаго, неблагонадежнаго, какого нибудь воришку, взяточника, неимѣющаго нравственныхъ правилъ, преслѣдовать безпощадно, всякими путями; даже пусть и пасквили печатаютъ противъ такого рода людей, какъ это дѣлаютъ нынче — я не противъ того. Зло и безнравственность надо преслѣдовать всѣми средствами и не скрывать, а обнаруживать его. Въ этомъ случаѣ гласности бояться нечего.

— Да, теперь славно отдѣлываютъ въ журналахъ всѣхъ этихъ исправниковъ, засѣдателей, становыхъ, замѣтилъ самый молодой изъ гостей, господинъ, про котораго всѣ говорятъ: «У у! да онъ далеко пойдетъ!» и съ которымъ поэтому всѣ даже почетныя лица обращаются съ уважаніемъ: — всѣмъ мелкимъ уѣзднымъ и губернскимъ приказнымъ достается порядочно, всѣ ихъ штуки выводятся на чистую воду...

— И прекрасно.... и по дѣломъ! возразилъ, смѣясь, одинъ изъ гостей, занимающій довольно видное мѣсто, пріобрѣтшій, говорятъ, втеченіе десяти лѣтъ, до тысячи душъ крестьянъ, домъ въ Петербургѣ и выстроившій великолѣпную дачу, близъ Лѣснаго Института, удивительный хозяинъ и превосходный семьянинъ: — да только бѣда, что они, канальи, я думаю, ничего не читаютъ... Плутовать-то умѣютъ, а гра-

моту-то знаютъ плохо, а вотъ имъ поставлять бы въ обязанность читать такого рода вещи....

Я переходилъ отъ изумленія къ изумленію, слушая все, это, и едва вѣрилъ ушамъ своимъ. Давно ли всѣ эти господа вопили не только противъ гласности, даже противъ просвѣщенія, называли всѣхъ писателей людьми опасными, врагами общественнаго порядка, считали чуть не уголовнымъ преступленіемъ всякое скромное замѣчаніе о какомъ нибудь общественномъ предразсудкѣ, злоупотребленіи, или о чемъ нибудь подобномъ? Не всѣ ли они съ негодованіемъ возставали противъ «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ?» и прочее и прочее.... Любопытно было бы, однако, узнать, до какой степени они считаютъ полезною гласность? Что̀, если бы вдругъ, вмѣсто плутней и мелкихъ взятокъ какихъ нибудь исправниковъ, становыхъ и приказныхъ, обнаружить крупную плутню и взятку, равняющуюся четырехъ-этажному каменному дому, или деревнѣ душъ въ тысячу? Что тогда заговорятъ эти господа и будутъ ли они продолжать защищать гласность?

Я чуть было не предложилъ имъ этотъ вопросъ, разумѣется, подъ самой деликатной формой, но правила, внушенныя мнѣ съ дѣтства, остановили меня, и слова замерли на они продолязыкѣ....

Эти правила рѣшительно никуда не годятся, потому что они мѣшаютъ мнѣ жить, лишаютъ меня свободы, дѣлаютъ меня фальшивымъ и лживымъ, трусливымъ и лицемѣрнымъ. Моя совѣсть безпрестанно протестуетъ противъ этихъ правилъ и шепчетъ мнѣ съ горькимъ упрекомъ, что я унижаю человѣческое достоинство; отъ этого я нахожусь постоянно въ разладѣ съ самимъ собою и чувствую какое-то внутреннее безпокойство и не ловкость.

Послѣдній пароходъ отходилъ изъ Петергофа въ девять часовъ вечера. Я долженъ былъ непремѣнно отправиться на этомъ пароходѣ, я даже далъ слово прямо съ парохода пріѣхать къ одному моему пріятелю; но обѣдъ кончился въ семь часовъ, послѣ обѣда нельзя было уйти тотчасъ, къ тому же хозяинъ предложилъ мнѣ сыграть три робера въ ералашъ съ его супругой, которая величайшая охотница до картъ — и отказаться было невозможно.... то-есть, собственно онъ мнѣ и не предлагалъ, а просто подвелъ къ своей супругѣ и

сказалъ: «Вотъ тебѣ и четвертый, душенька... Онъ страстный охотникъ играть въ карты и мастеръ.» А я играю очень плохо и терпѣть не могу играть, потому что всегда проигрываю....

Мы сѣли за столъ.

— По чемъ же, ваше превосходительство? спросилъ одинъ господинъ, берясь за колоду....

— Я думаю, по обыкновенной, отвѣчала ея превосходительство. — Я всегда играю по пяти копѣекъ, а вы какъ? (Она обратилась ко мнѣ).

Я отъ роду не игралъ болѣе трехъ, но изъ угожденія и вѣжливости отвѣчалъ:

— Какъ вамъ угодно и по скольку угодно.

Въ три робера я проигралъ пятнадцать рублей, и хотя мнѣ было это очень непріятно, но я съ пріятною улыбкою подалъ деньги ея превосходительству, потому что выиграла она...

Затѣмъ я взялся за шляпу. Было уже пора отправляться на пароходъ, но въ ту минуту подошелъ ко мнѣ его превосходительство, заговорилъ со мною о своихъ оранжереяхъ и повелъ меня показывать ихъ.

Я было хотѣлъ сказать, что мнѣ время отправляться на пароходъ, но по правиламъ, внушеннымъ мнѣ съ дѣтства, это было невѣжливо, и я молча послѣдовалъ за его превосходительствомъ. Надежда какъ нибудь урваться и поспѣть на пароходъ не оставляла меня нѣсколько минутъ; еще выходя изъ оранжерей, можно было бы поспѣть, но его превосходительству вздумалось показать мнѣ еще искуственную горку, которую онъ дѣлалъ въ саду.... и эта безобразная груда земли была причиною того, что я долженъ былъ провести ночь въ Петергофскомъ воксалѣ.

XXIII. ЗАМѢТКИ НА ДОЛГИХЪ.

(Подражаніе замѣткамъ на лету).

....Пусть будетъ истинно или ошибочно мое впечатлѣніе, ново или не ново — въ немъ всегда найдется одно достоинство: оно не заимствовано. А чѣмъ болѣе выказывается личныхъ впечатлѣній отъ чего бы то ни было, тѣмъ лучше....

(Замѣтки на лету, соч. г. К.)

....Я просто передаю вамъ мои личныя впечатлѣнія: о чемъ уже имѣлъ честь вамъ докладывать.

(Путев. впеч. Василько-Петрова).

....Я выѣхалъ съ дачи въ 10 часовъ. Утро было ясное и теплое, безъ малѣйшаго вѣтра, отчего на шоссе (маккадамѣ) пыль была нестерпимая. Не желая, чтобы поѣзда моя пропала даромъ, я, по примѣру одного изъ русскихъ туристовъ, вознамѣрился *всматриваться* въ различные *симптомы общественной жизни* на моемъ краткомъ пути отъ Петергофа до Лопухинки и обратно.

За валомъ Англійскаго парка выстроено недавно множество прекрасныхъ дачъ.... Еще четыре года назадъ тому на этомъ мѣстѣ было болото съ кочками.... За Англійскимъ паркомъ.... Кстати объ Англійскомъ паркѣ. Въ большомъ каменномъ дворцѣ, находящемся въ серединѣ этого парка и выкрашенномъ желтою краскою, во время петергофскихъ празднествъ, обыкновенно останавливаются посланники.... за Англійскимъ паркомъ противъ деревни Троицкой, стоящей на значительной возвышенности въ верстѣ отъ этого парка, дорога поворачиваетъ вправо, и шоссе (маккадамъ) прекращается. Въ послѣдній разъ бросивъ взглядъ на слободку Царской охоты, стоящую за паркомъ, и на выбѣленное каменное зданіе присутственныхъ петергофскихъ мѣстъ, я простился съ Петергофомъ. Лошади бѣжали легкой рысью по мягкой дорогѣ, опушенной съ обѣихъ сторонъ небольшимъ лѣскомъ на болотѣ, и скоро присутственныя мѣста скрылись.... Проѣхавъ версты три, я остановился въ чухонской деревнѣ *Левдузи*, расположенной по обѣимъ сторонамъ дороги, для

того, чтобы всматриваться въ симптомы общественной чухонской жизни.

Деревня эта имѣетъ не болѣе шести дворовъ, въ ней находится до тридцати душъ, но я не нашелъ въ ней ни одной души, кромѣ старой и безобразной чухонки, которая не въ состояніи была удовлетворить моей любознательности и повидимому не понимала моихъ вопросовъ, несмотря на то, что они были не глубоки и не сложны. Чухны вообще народъ безобразный, злой, тупой и несловоохотливый. Любимая пища ихъ — молоко съ селедкой. Боже мой! сколько выпиваютъ они молока и съѣдаютъ селедокъ!.... Я говорилъ передъ чухонкою съ гордостью и громко по-русски, но на безобразную чухонку моя русская рѣчь не производила никакого дѣйствія, и эта финская вѣдьма не обращала на меня ни малѣйшаго вниманія. Убѣдившись, что въ Левдузи мнѣ оставаться долѣе не для чего, ибо здѣсь нельзя наблюдать симптомы чухонской общественной жизни, я отправился далѣе.

За Левдузи находится деревня *Сойкина*, столько незначительная и безлюдная и также чухонская. На улицѣ передъ этой деревнею валялись въ пыли и играли бѣловолосыя чухонскія дѣти, въ грязныхъ рубашкахъ и съ выпачканными лицами....

За Сойкинымъ до Гостилицъ попадается на дорогѣ еще нѣсколько чухонскихъ деревень въ густомъ лѣсу, состоящемъ изъ березника, ели и сосны, въ которомъ, по замѣчанію туземцевъ, водится много грибовъ. Отъ одной изъ этихъ деревень дорога поворачиваетъ влѣво, лѣсъ рѣдѣетъ и открывается поле, засѣянное рожью и овсомъ. Рожь изрядная, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она уже снята, овсы плохи.... Впереди и справа поле и болото окаймлены густымъ лѣсомъ на значительной возвышенности. Изъ лѣса вдругъ выглянуло передъ нами желтое каменное зданіе въ видѣ башни... Желтая краска на домахъ и желтые цвѣты на лугахъ преслѣдуютъ меня повсюду. По моему мнѣнію (и думаю, что таково мнѣніе всѣхъ людей благомыслящихъ) какъ бы зданіе ни было изящно, но покрывающая его штукатура, вымазанная желтой краской, портитъ все, а въ Петербургѣ и въ его окрестностяхъ, какъ извѣстно, кирпичныя выштукатуренныя зданія непремѣнно мажутся желтой и бѣлой краской....

— Что это за башня тамъ въ лѣсу? спросилъ я у моего ямщика.

— Эвто и есть Гостилицы, отвѣчалъ онъ.

— А-а!...

Я усилилъ мое наблюденіе.

Сдѣлавъ нѣсколько зигзаговъ по полю и поднимаясь въ гору, мы очутились у садоваго вала. Влѣво показался сарай на каменномъ фундаментѣ и скоро замелькали различные домики, вѣроятно службы. Ямщикъ мой взялъ вправо.... Съ этой стороны садъ огороженъ рѣшеткою. Сквозь деревья мелькнуло какое-то большое каменное зданіе, вѣроятно домъ помѣщика, и передъ нами открылась каменная, пятиглавая церковь, не замѣчательная по своей архитектурѣ и не древняя.... Отъ церкви мы спустились къ пруду, переѣхали чрезъ мостъ, снова поднялись на гору и остановились у двухъэтажнаго зданія, въ которомъ помѣщается трактиръ. По довольно широкой деревянной лѣстницѣ я вошелъ въ свѣтлыя сѣни, а изъ нихъ, черезъ небольшую переднюю, въ чисто меблированную и большую комнату, въ четыре окна, если я не ошибаюсь, ибо записать число оконъ я забылъ; стѣны этой комнаты окрашены по штукатуркѣ темноголубою краскою, а на стѣнѣ висятъ гравированные портреты помѣщицы. На подоконникахъ разставлены горшки съ геранью и окна украшены кисейными занавѣсками. Осмотрѣлъ и другія заднія комнаты, но въ нихъ замѣчательнаго ничего нѣтъ. Меня встрѣтила женщина, пухлая и высокаго роста, въ нѣмецкомъ платьѣ, съ двуличнымъ платкомъ на головѣ, какъ у купчихъ.

— А что, матушка, можно тутъ у васъ отобѣдать? спросилъ я ее.

— Отчего нельзя? отвѣчала она.

— А что̀ именно?

— Щи, бифштекъ, курицу....

Я заказалъ щи и бифштекъ и отправился гулять въ садъ. Садъ и паркъ содержатся превосходно. Садъ расположенъ на гористомъ мѣстѣ, между оврагами. На каждомъ шагу въ саду вы встрѣчаете каскады и фонтаны. Глядя на эти непрерывно бьющія воды, я невольно вздохнулъ и подумалъ: «Если у тебя есть фонтанъ, — заткни его. Дай отдохнуть и фонтану!» (извѣстный афоризмъ Кузьмы Пруткова). Глубоко и вѣрно! Полюбовавшись съ высоты сада, съ одной стороны

на безконечную даль, разстилавшуюся передо мною, на пустоту и широту русскихъ пространствъ, съ другой стороны на деревню.... (крестьяне въ Гостилицахъ русскіе, и, слѣдовательно, я не могъ вникать въ симптомы общественной чухонской жизни), я отправился въ трактиръ. Обѣдъ мой состоялъ изъ слѣдующихъ блюдъ: щи — изготовленныя плохо, кусокъ ветчины и пирогъ съ грибами, взятый мною изъ дома, и бивштекъ, крѣпкій какъ подошва, съ картофелемъ. Все это я запилъ доброю бутылкою бургонскаго, которую также привезъ съ собою.... Изъ Гостилицъ, поговоривъ съ трактирною прислужницею — миловидною чухонкою (что большая рѣдкость), черезъ полчаса послѣ обѣда, а именно сорокъ-двѣ минуты шестаго, я отправился далѣе. Въ Гостилицы я пріѣхалъ въ часъ пополудни, слѣдовательно всего пробылъ я въ этомъ живописомъ и истинно царскомъ мѣстѣ пять часовъ и сорокъ-восемь минутъ. За обѣдъ, — то есть за щи и бивштекъ, пухлая и высокая женщина взяла съ меня восемь гривецъ серебромъ. Не дешево! Тутъ только убѣдился я, какъ мало можно довѣрять свѣдѣніямъ, сообщаемымъ нашими туристами. Меня утвѣряли, что въ Гостилицахъ трактиръ очень дешевый и порядочный. Замѣчу мимоходомъ, что въ Гостилицахъ есть бесѣдка, называемая Belle-vue, откуда дѣйствительно видъ прекрасный. По дорогѣ отъ Гостилицъ до Лопухинки деревень я что-то вовсе не замѣтилъ, можетъ быть потому, что вздремнулъ.... Еще не было сорока-трехъ минутъ восьмаго, когда, оставивъ влѣво двухъ-этажный деревянный домъ, выстроенный среди лѣсу, мы повернули направо въ аллею, по обѣимъ сторонамъ которой расположены крестьянскіе домики. Это и есть Лопухинка. Проѣхавъ аллею, не доѣзжая сада, мы остановились направо у крыльца деревенскаго домика, выкрашеннаго, къ моему удовольствію, сѣрой, а не желтой краской. Здѣсь при выходѣ изъ коляски случилась со мною небольшая непріятность: оторвалась пуговица, поддерживающая штрипки у панталонъ. Вздоръ, а все-таки досадно. Въ домикѣ, у котораго мы остановились, помѣщается гостинница для пріѣзжающихъ. Въ нижнемъ этажѣ, въ одной изъ комнатъ table d'hôte, куда сходятся больные. Въ Лопухинкѣ, какъ извѣстно, устроено водолечебное заведеніе. Начинало смеркаться и я поспѣшилъ осмотрѣть мѣстность....

Войдя въ садъ, я повернулъ налѣво къ бесѣдкѣ, висящей надъ пропастью.... Удивительная картина!... Между двумя крутыми и высокими берегами, обросшими лѣсомъ, большой прудъ; вода имѣетъ зеленоватый колоритъ, напоминающій воду Рейна... Внизу, на противоположномъ берегу, у подножія лѣсистой скалы, съ которой сбѣгаютъ тысячи ключей, стоитъ деревянный двухъ-этажный домъ, въ которомъ помѣщается Водолечебница, и въ сторонѣ нѣсколько будочекъ съ *душами*.

Сдѣлавъ эти бѣглыя наблюденія, я возвратился въ гостинницу. Луна начинала ярко обливать крыльцо и площадку передъ нимъ, показываясь надъ вершинами деревьевъ. На крыльцѣ сидѣлъ кто-то и курилъ трубку. Подойдя ближе, я увидѣлъ человѣка небольшаго роста, но коренастаго, въ бархатной фуражкѣ блиномъ и на бекрень, изъ-за которой торчали бѣлокурые или сѣдые кудри (при мѣсячномъ свѣтѣ хорошенько разсмотрѣть было нельзя), въ широкомъ пальто безъ пуговицъ и въ шароварахъ....

Но здѣсь собственно я прекращаю мои путевыя впечатлѣнія и замѣтки, за неимѣніемъ *Гида* въ Лопухинку, а безъ Гида не пишется и ничего нейдетъ въ голову. Приступаю *къ копировкѣ съ натуры* господина, сидящаго на крыльцѣ.

Лицо его имѣло видъ грязноватый, потому что, кажется, онъ нѣсколько дней не брился. Увидѣвъ меня, онъ пустилъ изо рта клубы дыма и началъ обозрѣвать меня съ ногъ до головы, съ нѣкоторою наглостію, крякнувъ и запѣвъ дребезжащимъ голосомъ, впрочемъ, не безъ пріятности:

«На зарѣ ты ее не буди.
На зарѣ она сладко такъ спитъ,
Утро дышетъ у ней на груди...» и проч.

Во время пѣнія онъ все продолжалъ, однако, смотрѣть на меня; вдругъ голосъ его рѣзко прервался на словахъ:

«И подушка ея горяча.»

— Ба, ба, ба! Кого я зрю? воскликнулъ онъ и распростеръ ко мнѣ обѣ свои руки, не вставая однако.

— Не узнаешь, батенька, что ли, продолжалъ онъ:—или ты этакъ все *на команъ-ву-портеву*, съ аристократическими закорючками, а съ нашимъ братомъ, съ простымъ дворяниномъ, который съ гордостью не поддается злому року.... этого

мимо, этого мы не узнаемъ.... Ахъ, ахъ, ахъ! То-то! Катались и мы, душенька, на рысакахъ, умѣли запускать пыли-то въ глаза не хуже другихъ, тоже этакъ *силь-ву-пле* мадамъ— и прочее, да мнѣ, братецъ, наплевать на все....

И онъ еще разъ затянулся, выпустилъ тучу дыма, и сплюнулъ.

— Какими судьбами ты здѣсь? сказалъ я, узнавъ дѣйствительно въ этомъ господинѣ одного изъ моихъ старыхъ знакомыхъ, съ которымъ въ дни моей молодости нерѣдко встрѣчался въ трактирахъ и въ другихъ публичныхъ мѣстахъ. Я не видалъ его лѣтъ десять, но слышалъ, что онъ послѣднее время пустился въ какую-то не совсѣмъ удачную спекуляцію, и что его постигло какое-то бѣдствіе....

— Я, душенька, я! собственною своей персоной, вскрикнулъ онъ, вставая и раскаркиваясь передо мною иронически: — вотъ гдѣ Богъ привелъ свидѣться.... Это не Дюссо, нѣтъ! тутъ, милый другъ, намъ не подадутъ котлетъ à la Ришельё, съ субизскимъ соусомъ и съ бутылочкой замороженнаго.... Сколько хочешь кричи: Simon! не услышитъ; отсюда далеко!... Ты спрашиваешь, какъ я попалъ сюда? Воздухомъ, братецъ, свѣжимъ подышать захотѣлось, отъ прежней жизни оторваться, луной полюбоваться... Вишь, шельма, какъ свѣтитъ!... (Онъ чубукомъ ткнулъ на луну съ нѣкоторою досадою). Не зналъ, что случится, вотъ и пришлось полечиться.... Ну, да все это вздоръ.... Поцѣлуй меня и садись.... Ужасно радъ, что тебя встрѣтилъ, я человѣкъ простой, безъ закорючекъ, люблю тебя смерть, чортъ знаетъ за что,—вѣдь ты выѣзжаешь все на тонкостяхъ, тебѣ бы все эдакіе bouquets de l'Imperatrice, или мозгъ одуряющіе финь-флеры. Да брось ты, братецъ, все это, ради самого Бога! тамъ, душенька, мягко стелятъ, да жостко спать, тамъ все для выставки, а не для души. Что ты тамъ ни толкуй, а надо жить, братецъ, по душѣ, надобно, чтобы внутри-то у человѣка была музыка... чтобы какъ дотронулся до живой струны, такъ чтобъ и заиграла тамъ, въ глубинѣ, небесная внутренняя гармоника, а ты бы слушалъ ее да не наслушался, да сердечной, теплой водой, въ просторѣчіи именуемой слезами, обливался... вотъ что!... Я, братецъ, пожилъ на свѣтѣ, вездѣ вертѣлся, на все насмотрѣлся, все испыталъ; бывало, народъ только ротъ разѣваетъ, какъ катишь по Нев-

скому или по Тверской, а искры летятъ по сторонамъ... У князя Каланчакова первые рысаки были, особенно одинъ — Птицей прозывался, а я, братецъ, на моемъ Вихрѣ и Птицу обжигалъ. Спроси у Петруши Драницына про меня.... Какими обѣдами я кормилъ.... Онъ, я чай, до-сихъ-поръ облизывается—по 25 р. съ персоны, безъ вина.... какъ Богъ святъ!— тебѣ это скажетъ и Фельётъ, и Леграпъ, и Шевалье, и Дюссо, и Морели эти всякіе.... Людямъ по 5 цѣлкачей на водку бросалъ, — этотъ мошенникъ Симонъ, чай, не отопрется.... ты, душа моя, человѣкъ съ искрой, въ тебѣ есть, даромъ что ты все на *экскюзе* прохаживаешься, частичка Божьей благодати, эта поэзія-то что вы зовете, а по нашему внутренняя гармоника.... Хочешь выслушать?...

— Я слушаю, отвѣчалъ я.

— Ахъ!... Это было, братецъ ты мой, продолжалъ мой знакомый, не безъ важности нахмуривъ брови и задумываясь:— это было давно.... Тогда еще сѣдой волосъ не прокрадывался въ мои кудри.... Они у меня сами вились безъ щипцовъ парикмахерскихъ.... Только, бывало, мокрой щеткой проведешь по нимъ — и готовъ.... никакой Грильонъ лучше не причешетъ.... Молодая кровь кипяткомъ кипѣла, а сердце любви да воли хотѣло. Состояніе у меня было хорошее, другому на два вѣка стало бы, а я его въ десять лѣтъ порѣшилъ, потому что не зналъ ни въ чемъ удержу; съ дѣтства омерзѣніе питалъ ко всякимъ шлагбаумамъ, къ вѣсамъ и къ мѣрамъ. Душа— мѣра, думалъ я, и каталъ-валялъ безъ оглядки, только духъ занимался, да прохожій дивовался. Ну, вотъ, въ это-то время.... ахъ! золотое было времячко.... Я только что вышелъ въ отставку.... Всего только съ годъ корнетскій мундиръ проносилъ.... парады разные, паркеты да этикеты мнѣ были не по душѣ.... На паркетахъ скользко, а вздыхать, ухаживать, мирлифлерничать было не по мнѣ. По нашему, просто, душа на распашкѣ, сердце на ладони; приложилъ руку къ сердцу, съ колѣнопреклоненіемъ:—такъ-молъ и такъ, сударыня, люблю до страсти, осчастливить въ вашей власти, такъ осчастливьте, а на нѣтъ суда нѣтъ,—и вся недолга. Я любилъ, братъ, крѣпости брать безъ приступа, съ набѣга, чтобъ съ перваго раза озадачить. Вотъ вышелъ я въ отставку, все не ловко, чувствую, что тѣсновато въ Петербургѣ, воздуху мало. Ночь, бы-

вало, коротаешь съ пріятелями да съ пріятельницами у Фельёта; пьешь, пьешь, все кажется мало; начинаешь отъ тоски въ зеркала бутылками швырять, всю посуду перебьешь, а сердце все ноетъ—все не то; полдня проспишь, поѣшь, да въ театръ, а изъ театра опять къ Фельёту съ новой компаніей, а отъ Фельёта въ ночной объѣздъ, тамъ нѣмцевъ приколотишь,—а все не полегчитъ. Думаю себѣ—нѣтъ, вонъ изъ Питера, тутъ задохнешься еще, пожалуй, въ гранитныхъ стѣнахъ.... Матушка Русь святая не клиномъ сошлась, широка, родная, есть гдѣ погулять, гдѣ душу отвести. Тогда еще объ этихъ заморскихъ хитростяхъ.... самоварахъ то этихъ, на которыхъ вы нынче разъѣзжаете, и помину не было въ нашемъ православномъ царствѣ.... Мы ѣзжали на птицахъ—на тройкахъ: ляжешь, бывало, въ кибитку, кони вздрогнутъ, колокольчикъ задребезжитъ, ямщикъ встанетъ на облучокъ, взмахнетъ кнутомъ, вскрикнетъ: «Эй вы, голубчики, выносите!» колокольчикъ зальется, а въ сѣдокѣ душа отъ быстроты захлебнется. Все это прошло!... Дернулъ я такимъ манеромъ въ первопрестольную, да на дорогѣ въ Крестцахъ зацѣпилъ въ одномъ шугайчикѣ такую красотку.... (Разскащикъ при этомъ языкомъ прищолкнулъ) Матрёшей прозывалась.... ростомъ, дородствомъ, бѣлизной и пригожествомъ—чудо!... Я недолго и уговаривалъ ее—просто, такъ пришелся ей по сердцу.... за околицей ждала меня, ночь была темная, продрогла, голубка, да я ее въ свою медвѣжью шубу закуталъ, такъ мигомъ согрѣлась. Дивная была дѣвка-то! Я въ Москвѣ нашилъ ей всякихъ парчевыхъ и бархатныхъ съ позументами сарафановъ и шугаевъ, надѣла она башмаки козловые со скрыпомъ, навязала кисейные рукава.... бывало одѣнется, взглянешь на нее.... краля! Ну, въ Москвѣ жизнь попросторнѣе, пошире, тамъ у меня тоска немного поотошла, тамъ я три мѣсяца изъ цыганскаго табора не выходилъ, пятьсотъ душъ на этихъ проклятыхъ черномазыхъ египтянокъ ухнулъ, всѣмъ цыганскимъ ухваткамъ выучился, съ Ильюшкой пилъ мертвую, ну, просто, совсѣмъ было въ цыгана обратился и лошадьми сталъ надувать, ей Богу!... Матрёша моя сначала и рветъ и мечетъ, плачетъ-надрывается, горючими слезами обливается.... Ревнива была, какъ тигрица, братецъ!— Да сладить-то со мной было трудно въ ту пору: — необъѣзженный былъ конь, дикій, диче того, что подъ Мазепой былъ.

Наконецъ опостылѣло мнѣ все это, хватилъ я въ степную деревню, да и заперся съ Матрёшей, — полгода носу никуда не показывалъ, а обо мнѣ тамъ чортъ знаетъ какіе слухи идутъ между сосѣдями. Я ни къ кому и никто ко мнѣ,—былъ у меня только одинъ другъ закадычный—исправникъ, съ живаго и съ мертваго, съ друга и съ недруга кожу дралъ, а малый былъ съ широтой и со вздохомъ....—онъ бывало заѣдетъ, такъ съ нимъ налижемся до положенія ризъ, вотъ и все развлеченіе. Душа, знаешь, отдыху потребовала.... Ну вотъ такимъ манеромъ и отдохнулъ я.... А самъ чувствую между тѣмъ, что крылья начинаютъ ужъ расправляться. Вдругъ вздумалось мнѣ ни съ того ни съ сего — пирушку задать сосѣдямъ.... «Вотъ», думаю, «я-молъ имъ покажу, сволочи-то этой... что̀ я за человѣкъ. Пусть-молъ и дѣти ихъ и внуки и правнуки вспоминаютъ обо мнѣ....» Какъ затемяшилась въ меня эта мысль—не даетъ покою.... «Надо», думаю, «у кого нибудь денегъ достать», а на ту пору у меня просто гроша не было, впередъ двухгодовой доходъ просвисталъ; имѣніе бы заложилъ, да закладывать-то было нечего: жаль, что мнѣ не удалось пожить прежде родителей, а то они, вѣчная имъ память, распорядились, все заложили безъ моего спросу, только и оставили мнѣ чистенькихъ пятьсотъ, которыя я въ три мѣсяца въ Москвѣ на цыганъ прогулялъ.... Занимать—видъ не хорошъ, обдуть въ карты нельзя: подлецы грошевыя игры ведутъ, а ужъ если бы хоть кто нибудь изъ нихъ имѣлъ страстишку, не вывернулся бы изъ моихъ рукъ, потому что всѣ эти фокусы я обдѣлываю тоньше самого Пинетти.... Надо тебѣ, душенька, сказать, что, будучи еще корнетомъ въ отпуску въ Лебедянѣ, я попалъ на шулеровъ, которые облупили меня, какъ липку.... Парни были, впрочемъ, добрые—я потомъ съ ними сошелся, они мнѣ всѣ свои секреты поразсказали и доставили мнѣ случай воротить мои денежки.... уступили мнѣ одного молодчика, — забубенныя были головы, но съ великодушной отрыжкой!... Откуда же однако взять денегъ? а надо тысячъ пять по мѐньшей мѣрѣ — тогда мы считали на ассигнаціи. Теперь ужъ я отупѣлъ, выдохся, эръ-фиксу нѣтъ, теперь и въ годъ того не придумаешь, что̀ бывало въ минуту пантіемъ, а тогда умъ, воображеніе, ловкость все было, какъ англійская бритва.... Вдругъ, братецъ, меня такъ и озарило.... Я вско-

чилъ со стула и велѣлъ заложить разъѣзжую тройку. Врестахъ, братецъ, въ тридцати отъ меня, на большой проѣзжей дорогѣ стояла харчевня. Содержала ее, изволишь видѣть, какая-то вдова мѣщанка, Акулина Власьевна, по прозванію *Юла*, видно въ молодости, бестія, юлила много, — вѣдь всегда по шерсти и кличка,—бабища лѣтъ сорока, полная, высокая, здоровенная—изъ себя корява маленько, да носъ ужъ больно курносъ. Но про Акулину Власьевну шла, братецъ ты мой, такая молва, что ей отъ мужа капиталы достались, да и сама-то она, какъ извѣстно было, шибко торговала. Харчевня-то ея была у самаго перевоза на кормилицѣ Волгѣ. Въ большіе капиталы я не вѣрилъ, но въ томъ не сомнѣвался, что у нея деньжонки есть, потому что гласъ народа гласъ Божій. Видъ она имѣла строгій, а шашни за ней водились,—не безъ того; по глазамъ было видно,—да и курносый носъ—вѣрный признакъ страсти,—замѣть, душа моя, это ужъ какъ дважды два—я ужъ и тогда, не смотря на незрѣлость и неопытность, эту смѣтку сдѣлалъ, потому что знакомъ былъ передъ этимъ съ одной курносой—просто кипятокъ, обвариться было можно, да и у Матрёши у моей былъ носикъ немножко кверху вздернутый. Завалился я такимъ образомъ въ тарантасъ,—дѣло-то было ужъ весеннее, да и покатилъ къ Акулинѣ.... Пробылъ я у нея три дня и три ночи—такія шутки только въ молодости, душенька, откалывать можно, — подластился къ ней, мелкимъ бѣсомъ разсыпался, ну просто безъ мыла въ душу ей влѣзъ.... Растаяла моя Юла, глазъ съ меня не спускаетъ, такъ и юлитъ, а я-то ей турусы на колесахъ, глаза горятъ, бью себя въ грудь, говорю: — приколдовала ты меня, бестія; самъ не знаю, что̀ со мною дѣлается, ошалѣлъ совсѣмъ, чувствую, что безъ тебя и жизнь не мила,—а она и ногъ подъ собою не слышитъ отъ радости, несмотря на то, что лапищи у нея были преогромныя, все твердитъ: «Охъ, голубчикъ ты мой, ясный ты мой соколъ, все мнѣ что-то не вѣрится, не обмани ты меня, батюшка мой....» руки, ноги мнѣ цѣлуетъ, своими ручищами кудри мнѣ приглаживаетъ; въ порывѣ страсти благимъ матомъ кричитъ: «охъ тошненько, охъ, голубчикъ!» Я теперь самъ удивляюсь, какъ это у меня духу достало.... вотъ она что значитъ молодость-то! ну, да какъ бы тамъ ни было, а черезъ три дня, братецъ ты мой, пріѣхалъ домой съ пятью

тысячами въ карманѣ.... Я, впрочемъ, далъ ей росписку, что взялъ у нея деньги на сохраненіе.... Съ тѣхъ поръ я и улыбнулся для нея.... Въ объѣздъ, братецъ, ѣздилъ, чтобы только не видать этой морды....

— Отчего жъ ты не попробовалъ у нея занять просто? спросилъ я.

— Дала бы она такъ!... И ужъ задалъ же я на эти денежки праздникъ! Вино—разливанное море, музыка, иллюминація, фейерверкъ—просто небу жарко. Наѣхали ко мнѣ всѣ эти чучелы съ того свѣта съ женами, съ дочерьми, съ сыновьями, съ племянницами, съ проживалками, со всею дворнею, то есть просто въ караванъ-сарай весь мой домъ превратили.... а къ вечеру такая потѣха пошла, — чудо!... Пляски, танцы, игры, куры да амуры, дымъ столбомъ и ума помраченіе.... бураки трещатъ, визги, восклицанія, восторги,—потѣха да и только. Ужъ когда въ головѣ у всѣхъ заходило.... я, безъ церемоніи, вывелъ въ залъ Матрёшу.... Выступила она, братецъ ты мой, какъ пава: золотой сарафанъ, кокошникъ, какъ жаръ горитъ, а самъ я одѣлся по крестьянскому, какъ на театрахъ, въ бархатной поддевкѣ, въ козловыхъ высокихъ сапогахъ съ оторочкой, въ шелковой малиновой рубахѣ, золотымъ поясомъ перехваченной, и пошли мы съ Матрёшей порусски плясать.... Всѣ такъ и разинули рты, такъ и ахнули, подумали, что это барыня какая нибудь, переряженная въ сарафанъ.... Я потомъ взялъ гитару, да какъ отхватилъ имъ: «Мы цыгане молодцы», такъ просто у семидесятилѣтнихъ старцевъ суставчики заходили, а потомъ, знаешь, чувствительную, со вздохомъ, для барынь....

— Ты не улыбайся, душенька, не думай, что я такъ вотъ какъ дуракъ бросилъ эти пять тысячъ изъ одного этакого какого нибудь пустаго фанфаронства. Оно точно, что мнѣ хотѣлось таки и показать себя.... пусть-знаютъ, съ какого полета птицей дѣло имѣютъ! — а на эти пять тысячъ я пріобрѣлъ сорокъ тысячъ. Черезъ недѣлю послѣ этого я занялъ у одного сосѣда двадцать, а черезъ мѣсяцъ у двухъ по десяти.... Вотъ оно что значило одурить ихъ, пыль-то имъ пустить въ глаза. Я и самъ не ждалъ такой благодати отъ этой пирушки, да еще pour la bonne bouche, послѣ нея четыре барыни врѣзались въ меня — вотъ по сихъ поръ....

Онъ показалъ на брови.

— Ну что жъ, занявъ эти 40,000, заплатилъ ли ты Акулинѣ-то 5000? перебилъ я его....

Разскащикъ мой посмотрѣлъ на меня пристально, улыбнулся какою-то странною улыбкою, началъ вычищать золу изъ своей трубки, потомъ набивать трубку табакомъ, повторяя сквозь зубы:

— Заплатилъ.... заплатилъ.... гмъ!... заплатилъ бы я ей можетъ, если бы.... Чужимъ добромъ я пользоваться не хочу.... Я плюнулъ бы ей въ рябую ея рожу и заплатилъ бы, — да она жаловаться на меня, шельма, вздумала.... Ну, я говорю, коли такъ, не видать тебѣ этихъ денегъ, какъ своихъ ушей. Хорошо еще, что мой другъ исправникъ — уговорилъ ее не представлять росписки, а самъ мнѣ.... «принимай, говоритъ, монъ-шеръ, мѣры, я удержалъ ее покуда, ну а представитъ росписку, тогда, братъ, дѣлать нечего, взыщемъ съ тебя....» Хорошо, думаю себѣ.... Я къ ней.... Но тутъ такая сцена произошла, что перомъ не опишешь. Она, братецъ ты мой, какъ мы остались наединѣ, подняла такой крикъ: — погубилъ ты душу мою, говоритъ, обокралъ, чтобъ тебѣ, говоритъ, и то и то — а я ни слова, только гляжу на нее да улыбаюсь....

— Чего орешь-то, дура, говорю я.... Деньги твои я, коли хочешь, сейчасъ отдамъ.... Подавай мнѣ мою росписку....

— Врешь, говоритъ: — теперь не надуешь.

— Да надувать я тебя не хочу.... вотъ смотри — и показалъ ей пачки: сверху-то, знаешь, ассигнація, а внизу простая тонкая бумага....

Она посмотрѣла и пошла отпирать шкапъ; вынула оттуда росписку, и показываетъ ее.... Ну, давай, говоритъ, деньги, а я вырвалъ у нея росписку, да въ огонь... Въ комнатѣ-то печка на счастье топилась....

— Ну, я говорю, теперь взыскивай съ меня деньги, жалуйся, представляй росписку. Я такой, говорю, человѣкъ, что когда со мной мирно, кротко, по душѣ поступаютъ, съ тѣмъ и я дѣйствую по душѣ. Баба моя совсѣмъ ошалѣла, стоитъ, вылупивъ на меня свои буркулы, и не смигнетъ.... Да ужъ какъ я съ лѣстницы сходилъ, слышу, кричитъ: «караулъ!

караулъ!» Дери глотку-то, думаю, сколько хочешь — теперь поздно... Я въ таратасъ... Свистнулъ — и былъ таковъ...

Стало мнѣ опять послѣ этого грустно, томитъ что-то, все какъ-то не то, не по мнѣ, а сердце въ груди словно голубь трепещетъ и стонетъ, дома тошно, хожу, какъ звѣрь какой нибудь, ото всякой бездѣлицы вспыхиваю, всю дворню такъ ни за что ни прочто на конюшнѣ отодралъ; въ гостяхъ еще тошнѣе, только, бывало, отойдетъ маленько, какъ къ вдовѣ Клико прибѣгнешь, забудешься на мгновенье, а того мнѣ невдомекъ, что сердце тяжесть носитъ, оттого что любви проситъ. Матрёша-то ужъ крѣпко мнѣ надоѣла, а человѣкъ я былъ всегда любящій, со вздохомъ.... Ну вотъ одинъ разъ поѣхалъ я на охоту; верстъ со ста отъѣхалъ отъ дому, хожу, брожу по болотамъ, а въ головѣ не то, и птица нейдетъ.... Поднялся я на бугорочекъ и прилегъ — лежу, а неподалеку вижу лѣсокъ, расчищенный, въ родѣ рощи. Вдругъ выѣзжаетъ изъ этой рощи амазонка, вся, братецъ, въ черномъ, на вороной лошади, шляпа съ широкими полями, черное перо назадъ, вуаль зеленый на отлетѣ, талія тоньше рюмки шампанской.... хлыстикъ въ рукѣ. Выѣхала она изъ рощи, да мимо меня, бросила на меня, знаешь, этакой взглядъ, сердце сокрушающій, и помчалась, словно вихорь, по полю... Сто лѣтъ проживу, не забуду этого взгляда... У меня только въ сердцѣ ёкнуло, да кровь въ голову прихлынула; я вскочилъ, какъ угорѣлый, гляжу, а ужъ ее и слѣдъ простылъ... «Что это, думаю, за аксіома такая, откуда?...» — И схватилъ себя за башку, какъ помѣшанный...

Разскащикъ мой остановился на минуту, вздохнулъ, покачалъ головою и сказалъ, повидимому, разчувствовавшись:

— Много прожилъ я на свѣтѣ, душа моя, много видалъ разнаго сорта барынь со всякимъ эръ-фиксомъ, со многими вѣкъ короталъ, — а ужъ такой барыни ни прежде, ни послѣ не встрѣчалъ, да и встрѣтить-то такую не всякому въ жизни удастся. На это свыше благоволеніе надо имѣть... Глаза черные какъ звѣзды горятъ, коса, какъ смоль, ниже колѣнъ разсыпается, ямки на щечкахъ, когда улыбается.... сложена, братецъ ты мой, какъ мальчикъ, роста большаго, а ножки и ручки, какъ у трехлѣтняго младенца, голосъ контральтовый, да такой, если бы эти Рубини ваши, Лаблаши и

Маріо услыхали ее, такъ и они ахнули бы. Образованія, братецъ, такого, что и профессора всякаго за поясъ бы заткнула, всѣхъ этихъ вашихъ Гюго и Волтеровъ наизусть знала, танцовала такъ, что сама Тальони передъ нею на колѣни бы стала и сказала бы только: mille pardon!... Подлецомъ, братецъ, позволю себя назвать, если я хоть что-нибудь прибавляю... Взгляни на нее, прошепчи про-себя: *недостоинъ*, да и бѣги вонъ — вотъ какого рода существо была!... Я не стоилъ.... послѣдней песчинки на подошвѣ ея ботинки.

— Какъ же ты съ ней познакомился?... спросилъ я.

— Черезъ три часа послѣ встрѣчи въ лѣсу, я ужъ сидѣлъ, душенька, въ гостиной у нее. Въ три часа все обработалъ... Мужу ея представился, богатый помѣщикъ былъ, только мокрая курица, алхимикъ какой-то: все за старыми, гнилыми книжищами сидѣлъ и отъ него гнилью несло... Гутенбергъ былъ эдакой... а она, братецъ, поэзіей дышитъ, вся кипитъ огнемъ несгораемымъ, страстію пышетъ, гдѣ жъ ему понимать ее?... Ей нуженъ былъ, братецъ, человѣкъ съ искрой и со вздохомъ, который бы съ одной стороны могъ ее въ эмпиреи уносить. Ну, да какъ бы тамъ ни было, а она, братецъ, полюбила меня.... Видитъ, что я человѣкъ со вздохомъ, — а я...

Онъ вскочилъ и ударилъ себя въ грудь...

— Я бы за одинъ ея взглядъ въ тартарары пошелъ, душу свою дьяволу закабалилъ навѣкъ... Какъ вспомнишь прошлое, невозвратное, такъ кровавой слезой обольешься. Какіе вечера-то, бывало, проводили мы съ нею!.. Уйдемъ въ паркъ... Съ одной стороны заря догораетъ, съ другой красный мѣсяцъ выплываетъ и звѣздочки зажигаются; идемъ по дорожкѣ, а дорожка-то вся облита точно янтарнымъ свѣтомъ, сядемъ на скамейку передъ прудомъ... Прудъ-то какъ серебряное блюдо, деревья не шелохнутся, только по серебряной дорожкѣ тѣни бросаютъ, у нее, у моей красавицы, черныя кудри по плечамъ разовьются, а глаза блестятъ ярче звѣздочекъ небесныхъ, грудь волной поднимается; у обѣихъ внутри музыка звучитъ...

Онъ прошелся нѣсколько въ волненіи по комнатѣ и вдругъ вскрикнулъ съ азартомъ: — да что, братъ, пьешь ты водку? выпьемъ! — Мнѣ стало даже страшно отъ этого восклицанія... Я объявилъ наотрѣзъ, что не пью.

Онъ взглянулъ на меня съ ядовитымъ укоромъ.

— Ахъ фификусы вы эдакіе!... Что, небось, бонъ-тонъ не допускаетъ?.... Онъ покачалъ головою. — Жалкіе вы, братецъ, мелкіе люди!... Исказили вы себя, обузили, чортъ знаетъ на что похожи стали!... Ни широты, ни полету, куклы настоящія...

— Полно вздоръ-то говорить, докончи-ка лучше свою исторію, перебилъ я.

— Что кончать-то... Теперь не стану кончать... Душа требовала высказаться, и я высказалъ бы, все высказалъ, да ты охолодилъ, братецъ; нѣтъ, ужъ теперь такъ не скажется....

— Ну чѣмъ же, однако, кончилось....

— А тѣмъ, отвѣчалъ онъ, съ замѣтною холодностію и нехотя: — что однажды я привезъ ее къ себѣ; долго мы съ нею по душѣ толковали, сталъ я передъ нею на колѣни, да и говорю... «Брось, говорю, мужа, голубка, поживемъ на волѣ»... Вдругъ, братецъ, дверь настежь, а въ дверяхъ, какъ фурія какая — Матрёшка... Бѣдовая была дѣвка.... Львица.... Мнѣ теперь ужъ и жалъ ее.... (Онъ вздохнулъ). Бросился было я, чтобы вытолкать ее вонъ, а она кричитъ: — Разбойникъ ты эдакой!... Мало, говоритъ, что ты на сторонѣ чортъ знаетъ что дѣлаешь, еще въ домъ, говоритъ, полюбовницъ привозить сталъ.... А она, моя голубка, при этомъ только вскрикнула, да на диванъ покатилась, а у меня кровь въ голову; я схватилъ со стола шандалъ, да въ Матрёшу... такъ угодилъ, что тутъ же грянулась, да черезъ часъ Богу душу отдала... Что ужъ потомъ было — и говорить не хочу, только счастіе мое съ этой минутой покончилось... Все пошло съ тѣхъ поръ не такъ, какъ слѣдуетъ... И что мнѣ это стоило!... Тысячъ десять земскимъ властямъ ввалилъ; ну, разумѣется, послѣ эдакого куша по слѣдствію оказалось, что умерла скоропостижно отъ удара... Исправникъ былъ мнѣ другъ закадычный, а и тотъ, шельмецъ, содралъ съ меня особо еще 3,000.... Дружба, говоритъ, дружбой, а служба службой!... Да зачѣмъ я имъ давалъ эти деньги? и самъ не понимаю... Лучше бы тогда же пошелъ въ Сибирь! Что, братецъ, теперь моя жизнь?... Изъ Долговаго Отдѣленія, по милости добрыхъ людей, теперь на поруки выпущенъ по болѣзненному состоянію для излеченія!... Укатали бурку крутыя горки!... Теперь охоты нѣтъ; а вотъ я когда нибудь тебѣ

разскажу мою петербургскую жизнь, если Богъ приведетъ снова гдѣ нибудь встрѣтиться. Вы живете въ Петербургѣ, а вѣдь не знаете его, всѣ столичные продѣлки открою тебѣ, всѣ приказаные крючки и каверзы... *«Жилблазъ»*, душенька, скучная книга передъ моими похожденіями, *«Парижскія Тайны»* пустяки передъ моими петербургскими тайнами. Напиши я свои записки, да издай ихъ, — еще обогатиться могу... да къ чему мнѣ теперь богатство?... Ужъ прежняго полета не будетъ, сѣдина въ бородѣ, а въ ребрѣ—ужъ не бѣсъ, а просто-на-просто ломота. Вотъ и теперь кости заныли, потому что сыро становится. Прощай, душенька... сонъ клонить начинаетъ.

И онъ крѣпко пожалъ мнѣ руку, прибавивъ: — а все еще я, братецъ, человѣкъ со вздохомъ, не смотря на старческія немощи! и, уходя, снова запѣлъ:

На зарѣ ты ее не буди....

XXIV. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРИСЛУГА.

ЛАКЕЙ ИЗЪ ХОРОШИХЪ ДОМОВЪ.

Къ числу большихъ удобствъ жизни принадлежитъ, безъ всякаго сомнѣнія, прислуга, — но Боже мой! какъ мы отстали въ этомъ отношеніи, по причинамъ, впрочемъ, очень понятнымъ, отъ европейской прислуги. Слава Богу, въ Петербургѣ теперь мало-по-малу начинаютъ выводиться Парашки, Машки, Васьки и Петьки, *казачки* и *малые* — вся эта босая, лѣнивая, оборванная челядь; теперь лакеи почти вездѣ одѣты довольно чисто, натягиваютъ нитяныя перчатки на руки и даже надѣваютъ бѣлые галстуки, и горничныя (не крѣпостныя, а наемныя) принимаютъ нѣсколько щеголеватый видъ и носятъ чистые чулки и ботинки; — все это прекрасно, но бѣда относительно прислуги — вотъ въ чемъ. Если вы господинъ кроткаго нрава, добрый по сердцу, не слишкомъ взыскательный, и обращающійся деликатно и почеловѣчески съ вашей прислугой — горе вамъ! Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ ваша прислуга совсѣмъ избалуется, зазнается и залѣнится до того, что не она вамъ, а вы ей ужъ должны будете прислуживать, и въ довершеніе всего будетъ еще грубить

вамъ при малѣйшемъ замѣчаніи съ вашей стороны. Добраго, человѣчнаго и вѣжливаго барина наша прислуга не ставитъ въ грошъ и еще съ презрѣніемъ говоритъ объ немъ: «Что это за баринъ! Похожъ ли онъ на барина?» По мнѣнію этой прислуги, баринъ долженъ имѣть видъ величественный и суровый, такой, чтобъ отъ одного взгляда его мурашки пробѣгали по кожѣ непремѣнно, и говорить голосомъ Стентора. Баринъ не долженъ позволять лакею пикнуть передъ собою и не долженъ сдѣлать двухъ шаговъ по комнатѣ, не крикнувъ: «Эй, человѣкъ!» А баринъ, который самъ одѣвается и умывается, говоритъ тихо, не кричитъ, который не держитъ свою прислугу въ ежовыхъ рукавицахъ — какой это баринъ!... Но всего ужаснѣе русскіе лакеи хорошаго тона, такіе, которые служили въ аристократическихъ домахъ, то есть, между десятками своихъ собратій торчали цѣлый день безо всякаго дѣла въ бѣлыхъ галстукахъ на парадной лѣстницѣ съ мраморами, или дремали на ясневыхъ готическихъ стульяхъ.... если такого рода человѣкъ попадетъ потомъ въ домъ къ человѣку средняго состоянія — бѣда!

Я недавно имѣлъ случай испытать это удовольствіе. Мнѣ нуженъ былъ лакей и мнѣ рекомандовали токоваго, прибавивъ, что онъ все служилъ въ *хорошихъ* домахъ. Лакей явился ко мнѣ. Это былъ человѣкъ лѣтъ подъ-пятьдесятъ, высокаго роста, немного рябоватый, одѣтый солидно и чисто, съ глубокомысленнымъ выраженіемъ въ лицѣ и съ большимъ чувствомъ собственнаго достоинства. Я объявилъ ему мои условія и предстоящія ему обязанности.

— За десять рублей въ мѣсяцъ служить, сударь, невозможно, — отвѣчалъ онъ резонёрскимъ тономъ....

— Отчего же, перебилъ я: — вѣдь у меня служили же люди, которымъ я платилъ по десяти рублей?

— Точно, что такъ, но опять же каковы люди. Люди людямъ рознь, сударь. Я служилъ все въ первыхъ домахъ: у княгини Красносельской, у графа Хлюстина.... Мнѣ платили, сударь, по двадцати рублей и работы было совсѣмъ малость, потому что въ ихнихъ домахъ прислуга большая; и на лѣстницѣ, и при столовой, и при буфетѣ, и при лампахъ — на все особые люди....

— Въ такомъ случаѣ, любезный другъ, намъ съ тобой

и разсуждать нечего. Ты и приходилъ ко мнѣ напрасно. Вѣдь тебѣ, вѣрно, сказали, что у меня не двадцать, а одинъ человѣкъ?

— Это точно, сударь, — какъ вамъ угодно, а я не могу же взять на себя, сами вы изволите понимать, эдакую обузу за такое малое жалованье.

— Ну, такъ прощай, сказалъ я, вставая.

— Я охотно бы пошелъ къ вашей милости за пятнадцать рублей, сударь, продолжалъ онъ: — потому что я много наслышанъ объ васъ: говорятъ, вы господинъ добрый; если за пятнадцать рублей угодно, я согласенъ.

По слабости характера и по широтѣ, свойственной русской натурѣ, я прибавилъ ему, сверхъ положенныхъ по моему бюджету десяти рублей на человѣка, еще три рубля, и онъ согласился. Я объяснилъ ему подробно его обязанности и спросилъ, какъ его зовутъ.

— Антонъ Михайловъ, сударь, отвѣчалъ онъ, слегка наклонивъ свою голову.

На слѣдующій день Антонъ перебрался ко мнѣ.

— Какой славный долженъ быть твой новый человѣкъ, замѣтилъ одинъ изъ моихъ пріятелей, глядя на Антона, который все дѣлалъ съ торжественною медленностію, сохраняя художественное спокойствіе во всей своей фигурѣ:—мнѣ особенно нравится въ немъ то, что въ немъ нѣтъ лакейской увертливости, униженности и льстивости, онъ все дѣлаетъ съ чувствомъ собственнаго достоинства.

Я также раздѣлялъ въ эту минуту мнѣніе моего пріятеля и любовался Антономъ. Черезъ недѣлю, однако, я замѣтилъ, что это художественное спокойствіе и чувство собственнаго достоинства ни что иное, какъ лѣнь и непривычка къ работѣ. Я долженъ былъ безпрестанно звать его то за тѣмъ, то за другимъ, потому что онъ ничего не приготовлялъ заранѣе. Каждый разъ онъ медленно выступалъ на мой зовъ и, выслушавъ мои замѣчанія, отвѣчалъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ и съ совершеннымъ равнодушіемъ: «Слушаю, сударь»... Но мало-по-малу въ его голосѣ, въ этомъ вѣчномъ «слушаю» все болѣе и болѣе начинала звучать какая-то грустная нота, а на лицѣ его, когда онъ глядѣлъ на меня и выслушивалъ меня, выражалось что-то въ родѣ сдержаннаго сожалѣнія,

какъ будто онъ думалъ: «баринъ ты добрый, но состояніе-то у тебя маловато. Куда жъ тебѣ имѣть такого человѣка, какъ я, который жилъ у княгини Красносельской и у графа Хлюстина?» Послѣ своего «слушаю» онъ даже иногда вздыхалъ.

Однажды я нечаянно подслушалъ его разговоръ съ горничною.

— Нѣтъ, говорилъ онъ съ разстановкою и дѣлая ударенія на нѣкоторыя слова: — жалованье у васъ небольшое, а работы много. День-деньской все на ногахъ. Я все въ *хорошихъ* домахъ служилъ, тамъ почти что при каждой вещи человѣкъ,—онъ ужъ и знаетъ свое дѣло, а тутъ я и камердинъ и буфетчикъ, и то долженъ вынести и другое.... Вонъ у графа Хлюстина камердинъ тотъ только подаетъ барину одѣться да раздѣнетъ его вечеромъ—вотъ и вся работа....

— Зачѣмъ ты личныя-то барскія полотенца затираешь? перебила его грубо горничная, которая постоянно посматривала на Антона съ неудовольствіемъ:—скажи-ка это лучше?

— Да развѣ это личное полотенце, — я думалъ, что это тряпка для пыли, возразилъ Антонъ съ равнодушнымъ презрѣніемъ.

— Вишь какой баринъ! что у тебя глазъ нѣтъ, что ли? вскрикнула горничная оскорбленнымъ голосомъ: — тряпки! много ты видалъ эдакихъ тряпокъ?...

— Да что, съ вами говорить не стоитъ, сказалъ Антонъ съ свойственнымъ ему спокойствіемъ, безъ малѣйшаго раздраженія въ голосѣ:—потому что гдѣ же вамъ знать, вы не живали въ *хорошихъ* домахъ....

Самолюбіе горничной было уязвлено. Она вспылила и подняла крикъ. Антонъ, ничего ей не отвѣчая, вышелъ изъ комнаты и только хлопнулъ дверью.

Снисходительность моя къ Антону и терпѣніе начали исчезать. Его крайняя небрежность и спокойствіе раздражали меня, но я сдерживалъ себя и молчалъ.... Между тѣмъ Антонъ все вздыхалъ чаще и чаще и смотрѣлъ на меня все съ бо̀льшимъ сожалѣніемъ. Наконецъ въ одно прекрасное утро онъ остановился передо мною съ достоинствомъ, сложивъ назадъ руки.

— Отпустите меня, сударь, сказалъ онъ: — я не могу у васъ оставаться, потому что я привыкъ служить въ *хорошихъ*

домахъ, а у васъ работы черезъ силу, и опять тоже отвѣтственность большая, за всякую вещь отвѣчать долженъ.

Антонъ предупредилъ меня, потому что я самъ хотѣлъ отказать ему. Я былъ очень обрадованъ этимъ и попросилъ его только остаться у меня до пріисканія другаго человѣка.

— Извольте, сударь, отвѣчалъ онъ, я покуда останусь.... Нельзя же вамъ совсѣмъ безъ человѣка, это я понимаю, и Антонъ вздохнулъ.

Онъ пробылъ у меня послѣ этого еще дней десять, почти ничего не дѣлая, раздражая меня своею величавостью, своимъ художественнымъ спокойствіемъ и резонерскими отвѣтами, и все это безсознательно, нисколько не желая огорчить меня. Онъ даже чувствовалъ ко мнѣ какъ будто расположеніе, и разъ, подавая мнѣ платье, передалъ мнѣ свою біографію, изъ которой я узналъ между прочимъ, что онъ женатъ, что жена его пятнадцатью годами моложе его и занимается прачешнымъ дѣломъ, что до пріисканія мѣста въ *хорошемъ* домѣ, онъ переѣдетъ къ женѣ на квартиру, что дворники въ томъ домѣ, гдѣ живу я, грубые и *фанатики, какъ англичане*.... Горничная, которая возненавидѣла Антона съ той минуты, какъ онъ сказалъ ей, что она не жила въ хорошихъ домахъ, прибавила къ этому, что жена Антона называетъ его «старымъ чортомъ», что онъ нигдѣ не можетъ ужиться, потому что не хочетъ ничего дѣлать—и если бы не бѣдная жена, онъ умеръ бы съ голоду.

Антонъ прожилъ у меня около мѣсяца. Я отдалъ ему деньги за мѣсяцъ.

— Покорно васъ благодарю, сударь, произнесъ онъ, взявъ деньги:—я бы желалъ послужить вамъ охотно, только что я привыкъ служить въ *хорошихъ* домахъ, гдѣ прислуги много, а баринъ вы добрый. Прощайте, сударь, желаю вамъ всякаго благополучія....

И вдругъ.... къ изумленію моему величественный Антонъ, проникнутый чувствомъ собственнаго достоинства, схватилъ было мою руку и наклонился, чтобы поцѣловать ее.... но я успѣлъ отскочить отъ него.

———

XXV. АННА ПАВЛОВНА.

Петербургскій осенній сезонъ открылся. Вотъ мчится какая-то дама по Невскому проспекту, въ раззолоченной коляскѣ на темносѣрыхъ рысакахъ, съ длиннобородымъ, толстымъ кучеромъ, возлѣ котораго сидитъ лакей въ темной ливреѣ, въ бѣломъ галстукѣ, подбочась одной рукой.... Неужели это.... быть не можетъ!... Мнѣ только такъ показалось.... Но вотъ коляска повертываетъ назадъ.... за нею мчатся дрожки съ молодымъ и статнымъ офицеромъ.... дрожки обгоняютъ коляску.... офицеръ раскланивается дамѣ въ коляскѣ.... Коляска останавливается.... дрожки тоже.... Дама начинаетъ говорить съ офицеромъ.... Я смотрю на даму.... Нѣтъ никакого сомнѣнія, это точно *она!*

Я не могу удержаться, чтобы не передать читателю краткую біографію этой дамы.... Ее зовутъ Анной Павловной. Анна Павловна, дочь театральнаго музыканта, умершаго давно и въ бѣдности. Собой она не хороша, хотя въ ея мелкихъ чертахъ и маленькихъ, довольно быстрыхъ глазкахъ есть, по увѣренію одного моего знакомаго, что-то *пикантное;* росту она маленькаго и къ довершенію всего крива на одинъ бокъ. На красоту разсчитывать было нельзя, однако, Анна Павловна всегда считала себя хорошенькой, и главное, полагала, что обладаетъ огромнымъ драматическимъ талантомъ. Въ противномъ ее нельзя было увѣрить. Она все хлопотала о томъ, чтобы поступить на сцену, все декламировала изъ различныхъ трагедій, называла себя *артисткой,* и, въ надеждѣ будущихъ благъ на поступленіе въ театръ, содержала себя тѣмъ, что давала уроки на фортепьяно. Анна Павловна, несмотря на страсть къ декламаціи, часто грѣшила противъ мѣры стиха, иностранныя слова и имена произносила съ ужасными удареніями на русскій ладъ и почти не понимала смысла того, что̀ декламируетъ.... Жалко было смотрѣть на добрую Анну Павловну (она имѣла сердце доброе), какъ она, бывало, начнетъ, размахивая руками, завывая и вскрикивая, декламировать сцены изъ «Коварство и Любовь», изъ «Отелло», или представляетъ сумасшедшую Офелію.... Однако, на людей, не понимающихъ тонкости драматическаго искусства, она про-

изводила сильное впечатлѣніе, и говорили, что одинъ богатый купецъ, слушая ее, обыкновенно плакалъ навзрыдъ.... Вообще Анна Павловна была очень довольна собой, любила пококетничать, жаловалась только, что у насъ не умѣютъ цѣнить *артистовъ*, и говорила, что, если бы она бы за границей, то объ ней знала бы вся Европа и жила бы она не хуже *какой нибудь* Рашели. Анна Павловна всегда склоняла собственныя иностранныя имена.

Я познакомился съ нею въ одномъ домѣ, гдѣ она давала уроки. Анна Павловна пригласила меня къ себѣ. Жила она тогда очень мило и чисто въ двухъ небольшихъ комнаткахъ.... и все мечтала о большой, богатой, меблированной квартирѣ, экипажахъ, и прочее.

Я улыбался обыкновенно, выслушивая ея великолѣпныя фантазіи и думалъ: «счастливая женщина! Зачѣмъ разочаровывать ее?»

Внимательность и любезность ко мнѣ Анны Павловны основывалась на слѣдующемъ обстоятельствѣ: ей было извѣстно, что я пишу въ журналахъ, и потому она меня считала человѣкомъ умнымъ и полезнымъ для нее въ будущемъ. Къ умнымъ людямъ вообще она питала влеченіе непреодолимое, хотя не умѣла отличить умнаго отъ глупаго, мысли отъ пошлой фразы, человѣка образованнаго отъ круглаго невѣжды; она хотѣла окружать себя во что бы то ни стало людьми умными, и мечтала завести у себя маленькій салончикъ изъ умныхъ людей.... Всѣхъ литераторовъ она принимала съ распростертыми объятіями. «Никто не усомнится въ томъ, что я умна, если узнаютъ, что ко мнѣ будутъ ѣздить все умные люди», думала Анна Павловна. Я нѣсколько разъ старался убѣждать ее, что она заблуждается, по крайней мѣрѣ, относительно меня, что я человѣкъ, неимѣющій ни особеннаго ума, ни таланта, и потому лишній въ ея салонѣ, но она на это обыкновенно грозила мнѣ пальцемъ, недовѣрчиво качала головой и говорила: «Полноте, полноте вздоръ-то говорить. Пожалуйста, не считайте меня такой дурочкой.... Я очень понимаю и умѣю цѣнить людей....»

Черезъ годъ послѣ моего знакомства, Анна Павловна перемѣнила квартиру. Вмѣсто двухъ, у нее было пять комнатъ.... Я не могъ понять, отчего это вдругъ средства ея

расширяются, тогда какъ она жаловалась еще недавно, что лишилась двухъ уроковъ; но мое изумленіе возросло еще болѣе, когда Анна Павловна пригласила меня и двухъ моихъ пріятелей-литераторовъ на новоселье къ себѣ... Мебель отличная, занавѣски, портреты, этажерки.... Мы такъ и ахнули, обозрѣвъ все это.... «Да что вы получили, что ли, наслѣдство?» вскрикнули мы въ одинъ голосъ. Она самодовольно улыбнулась. «Откуда мнѣ, дочери бѣднаго артиста, получить наслѣдство, возразила она:—а неприлично же, вы сами понимаете, *артисткѣ* жить кое-какъ, и я какъ настоящая *артистка* живу на будущее!...» Анна Павловна угостила насъ ужиномъ съ шампанскимъ, объявила въ заключеніе, что у нея дни по середамъ, и просила насъ познакомить ее съ литературными и съ другими петербургскими знаменитостями...

Фантазія Анны Павловны осуществилась. У нее открылся салончикъ.... Мы навезли къ ней различныхъ знаменитостей, и она была совершенно счастлива.... Всякую среду ужинъ и шампанское.... «Что же это такое? размышлялъ я.... Откуда все это?...» Анна Павловна начинала дѣлаться для насъ загадкою. Жить тѣми средствами, которыми живутъ камеліи, она не могла, потому что никто не плѣнялся ею, и никому и въ голову даже не приходило приволокнуться за нею, хотя она бы, я думаю, была не прочь отъ этого. Знакомства съ *этими дамами* она не вела, и въ разговорѣ объ нихъ отзывалась съ презрительной гримасой. Она разсказывала намъ, между прочимъ, что самая знаменитая изъ *этихъ дамъ*, пріобрѣтшая чуть не европейскую извѣстность, желала съ нею познакомиться, и что будто она отвергла это знакомство, потому что ей, *артисткѣ* и дочери артиста, неприлично заводить съ *такими дамами* знакомство, что она должна дорожить своимъ добрымъ именемъ и проч.... Я подозрѣвалъ, однако, что это не совсѣмъ такъ, и что, еслибы, дѣйствительно, знаменитая петербургская камелія изъявила желаніе познакомиться съ Анной Павловной, Анна Павловна пришла бы отъ этого въ неописанный восторгъ.... Анна Павловна имѣла между-прочимъ слабость къ аристократіи и просила меня познакомить ее съ какими-нибудь графами и князьями.... Я исполнилъ однажды ея желаніе и привезъ къ ней одного молодаго графа. За ужиномъ прислуживала намъ ея горничная, очень хорошенькая,

которую звали Катей. Вновь привезенный графъ, съ большимъ удовольствіемъ все время посматривавшій на Катю, когда она налила вина въ его бокалъ, обратился къ ней и произнесъ громко: «ваше здоровье, Катя!» Катя сконфузилась и покраснѣла, а Анна Павловна вспыхнула отъ негодованія и впослѣдствіи долго упрекала меня этимъ графомъ....—«Вы же сами желали имѣть графа, возражалъ я:—и я исполнилъ ваше желаніе.»—«Но этотъ какой-то необразованный, невѣжда!...» восклицала Анна Павловна, выходя изъ себя. Графъ сильно уязвилъ ея самолюбіе и она не могла послѣ этого долго успокоиться.... Къ числу ея обыкновенныхъ посѣтителей принадлежалъ между прочимъ одинъ старичокъ, прожившійся отставной генералъ и аферистъ. Генералъ этотъ принималъ отеческое участіе въ Аннѣ Павловнѣ, увѣрялъ, что любитъ ее какъ дочь, выслушивалъ ея декламацію, увѣрялъ что она имѣетъ сходство съ несравненной *Жоржъ*, съ которой онъ былъ другомъ, и покупалъ вина для ужиновъ Анны Павловны, которыя всегда оказывались никуда негодными. «Ты дай мнѣ только деньги, говорилъ ей генералъ (генералъ всѣмъ говорилъ ты),—а я ужъ тебѣ устрою все—и вина закуплю и мѣхъ тебѣ на салонъ куплю, если нужно. Гдѣ тебѣ, женщинѣ, съ этимъ возиться? Тебя обманутъ. Ты ничего сама не понимаешь въ житейскомъ дѣлѣ, потому-что ты *артистка*....»

Жизнь Анны Павловны становилась съ каждымъ днемъ роскошнѣе. Она устлала коврами свой будуаръ, развѣсила на стѣнахъ портреты Тальмы, Марсъ, Рашель, Кина, уставила этажерки саксонскимъ фарфоромъ и иначе не показывалась, какъ въ шелковыхъ платьяхъ.... Мы начинали уже подозрѣвать какого нибудь тайнаго покровителя, но не могли отыскать и слѣдовъ его. Я началъ замѣчать, однако, что съ тѣхъ поръ, какъ она окружила себя роскошною обстановкою, нѣкоторые изъ прежнихъ ея знакомыхъ, которые постоянно подсмѣивались надъ нею и надъ ея кривобокостью, начали смотрѣть на нее не только серьёзнѣе — стали даже явно приволакиваться за нею, какъ будто вмѣстѣ съ этими коврами, этажерками, фарфорами и проч. она пріобрѣла красоту. Особенно одинъ корчилъ чуть не влюбленнаго, да и Анна Павловна посматривала на него нѣжнѣе, чѣмъ на другихъ.

Попытка Анны Павловны поступить на театръ не удалась.

Ей, говорятъ, отказали за неимѣніемъ таланта и за фигуру, неподходящую къ трагической актрисѣ, вслѣдствіе чего Анна Павловна вооружилась противъ театральныхъ властей и вообще нѣсколько ожесточилась.

Вскорѣ послѣ этого она вышла замужъ за того самаго богатаго господина, который проливалъ слезы, слушая ея декламацію.

Я потерялъ послѣ этого Анну Павловну изъ виду. Прошло нѣсколько лѣтъ. До меня доходили только слухи о ея роскошной квартирѣ, о ея дачахъ, объ открытомъ образѣ ея жизни и, что всего удивительнѣе, объ ея побѣдахъ. Одинъ мой знакомый, постоянно посѣщавшій ее, говорилъ, что она все еще жалуется на свою судьбу, увѣряетъ, что мужъ ея хотя человѣкъ добрый, но не понимающій ее, что онъ, какъ человѣкъ необразованный, не можетъ сочувствовать ей, и что она съ охотою поступила бы сейчасъ на сцену, потому что рождена быть *артисткой* и что семейное счастіе удовлетворить ее не можетъ....

Втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ мнѣ не удавалось встрѣчать Анну Павловну нигдѣ, даже на улицахъ, и теперь я не безъ любопытства смотрѣлъ на нее, полулежащую въ раззолоченной коляскѣ съ высокой мокетовой подушкой подъ ногами, потому что коротенькія ножки ея иначе должны были бы болтаться и она не могла бы принять необходимой живописной позы.... Какъ она измѣнилась въ эти годы! и не мудрено: ей ужъ за тридцать-пять лѣтъ. Искусственный румянецъ не молодитъ ее.... Когда она была дѣйствительно молода, бѣдна, румяна, на нее Петербургъ не обращалъ никакого вниманія.... Она, бѣдненькая, скромно идетъ бывало по тротуару—и не одинъ мужчина не обернется на нее, не заглянетъ ей подъ шляпку.... а если и заглянетъ, то сейчасъ отворотится и ускоритъ шаги, а теперь въ тридцать-пять лѣтъ, съ искусственнымъ румянцемъ, въ кринолинѣ и въ раззолоченной коляскѣ, съ лакеемъ въ бѣломъ галстухѣ, она останавливаетъ вниманіе всѣхъ идущихъ и ѣдущихъ — и молодой и статный офицеръ гоняется за нею на своемъ рысакѣ, торчитъ передъ ея бенуаромъ въ оперѣ, преслѣдуетъ ее вездѣ... и даже по неопытности и молодости, вѣроятно, гордится своимъ успѣхомъ, а успѣхъ его несомнѣненъ, потому что она такъ нѣжно смо-

тритъ на него и такъ горячо говоритъ съ нимъ.... И какъ же ей не смотрѣть на него нѣжно: у него едва пробивается усъ и на погонахъ его одна только звѣздочка!...

Когда Анна Павловна пожала руку счастливому офицеру и коляска двинулась, она нѣсколько разъ обернулась назадъ, чтобы взглянуть на него....

Что же это такое? Неужели этотъ офицеръ любитъ ее?... Нѣтъ, — онъ только доволенъ мыслію, что пользуется вниманіемъ женщины, у которой коляски, рысаки, мебели и дома. Эта мысль удовлетворяетъ его ребяческое тщеславіе.... А она, — она навѣрно любитъ его?... Нѣтъ.... Онъ только льститъ ея самолюбію, потому что она воображаетъ, что она можетъ нравиться, что онъ ухаживаетъ за нею, а не за ея рысаками, коляскою и прочее.... Странная жизнь! Странные нравы!...

XXVI. СЛАБЫЙ ОЧЕРКЪ СИЛЬНОЙ ОСОБЫ.

Его превосходительство занимаетъ значительное и видное мѣсто, такъ что другіе генералы, когда рѣчь заходитъ объ немъ, говорятъ обыкновенно со вздохомъ и покачивая головой: «Экъ везетъ-то человѣку! Экъ везетъ! даже противно! Въ сорочкѣ родился!» И дѣйствительно, мѣсто, занимаемое его превосходительствомъ, во всѣхъ отношеніяхъ завидное мѣсто — и по окладамъ, и по почету, и потому еще, что оно такого рода, что невозможно почти обойтись безъ его превосходительства. Оттого съ нимъ обращаются привѣтливо, ему улыбаются и подаютъ два пальца такіе сановники, при одномъ видѣ которыхъ у всѣхъ петербургскихъ чиновныхъ людей, до четвертаго класса включительно, захлебывается дыханіе и замираетъ подъ сердцемъ. Я самъ былъ однажды свидѣтелемъ въ театрѣ, какъ, во время антракта, его превосходительству протянули привѣтно два пальца, и съ какимъ почтительнымъ восхищеніемъ онъ коснулся этихъ пальцевъ, нагнувъ голову ниже желудка; я самъ видѣлъ, какъ послѣ этого магическаго прикосновенія его превосходительство выпрямилъ свой станъ, торжественно загнулъ голову назадъ и съ побѣдоносной улыбкой продолжалъ свое шествіе среди толпы, которая съ любопытствомъ осматривала его и провожала его глазами, шушу-

кая: «кто это такой?... Вы видѣли, какъ самъ NN протянулъ ему руку!»

Я имѣю честь знать его превосходительство очень давно. Въ дѣтствѣ онъ поднималъ меня на руки и трепалъ по щекѣ.... когда еще не мечталъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ теперь, когда, при входѣ особъ 4-го класса, онъ робко отступалъ, низко кланяясь имъ, и только отвѣчалъ на ихъ вопросы, не смѣя заговаривать съ ними. Вслѣдствіе такого давняго знакомства, его превосходительство удостоивалъ меня своимъ особеннымъ вниманіемъ, а иногда позволялъ себѣ въ разговорѣ со мною употреблять одобрительныя и весьма лестныя для меня шутки, чего не удостоивались другіе господа, имѣвшіе равный со мною чинъ,—чинъ очень слабый. Мало этого, его превосходительство не одинъ разъ изволилъ приглашать меня на обѣды къ себѣ и даже сажалъ меня возлѣ себя съ лѣвой стороны. Если я долго не бывалъ у его превосходительства, онъ, при встрѣчѣ со мною на улицѣ, останавливался и говорилъ: «что это, батюшка, вы совсѣмъ пропали, васъ не видно, вы забыли меня.... Стыдно, стыдно!» и при этомъ иногда благосклонно грозилъ мнѣ своимъ указательнымъ пальцемъ. Сначала его превосходительство имѣлъ небольшую казенную квартиру и велъ образъ жизни очень умѣренный. Разъ въ недѣлю у него обыкновенно обѣдали гости, именно по воскресеньямъ. Эти гости состояли изъ старыхъ избранныхъ друзей его превосходительства, но про нихъ... увы! нельзя было сказать того, что̀ съ гордостью сказалъ про своихъ друзей Ѳ. Н. Глинка:

«Всѣ *тайные* совѣтники,
Но *явные* друзья!»

Нѣтъ, у его превосходительства, хотя онъ уже десять лѣтъ пользовался этимъ титломъ, этимъ вѣнцомъ всѣхъ нашихъ помышленій и надеждъ (извѣстно, что всѣ мы—русскіе дворяне—родимся для того только, чтобы сойти въ могилу съ генеральскимъ титломъ...), у его превосходительства въ ту эпоху между друзьями еще не было ни одного тайнаго совѣтника.... Я имѣлъ удовольствіе знать всѣхъ друзей его превосходительства той давно минувшей эпохи: надворнаго совѣтника Ивана Ильича Нефедьева, съ Станиславомъ на шеѣ, который постоянно ходилъ на цыпочкахъ, какъ будто полъ подъ нимъ былъ хрустальный, говорилъ, выдвигая губы впередъ и сжимая ихъ,

какъ будто собирался играть на флейтѣ, къ каждому слову прибавлялъ *съ* и ваше превосходительство, отчего разговоръ его походилъ нѣсколько на птичій свистъ, и смотрѣлъ на всѣхъ генераловъ такъ пріятно и съ такимъ умиленіемъ, какъ дѣти смотрятъ на конфекты. Статскаго совѣтника Василья Васильича Прокофьева, съ Анной на шеѣ, отличавшагося свѣтскостью пріемовъ, ловкостью движеній, увлекательной діалектикой, артистическими наклонностями (онъ прекрасно декламировалъ стихи и пѣлъ куплеты) и глубокомысленностью. Я какъ теперь помню (такія минуты никогда не забываются!), какъ Василій Васильичъ, послѣ сладко свистящихъ рѣчей Ивана Ильича, однажды отвелъ меня въ сторону и произнесъ съ пониженіемъ и возвышеніемъ голоса.

— Я истинно не понимаю нашего добраго Ивана Ильича. Какъ не стыдно ему какую-нибудь ничтожную частичку *съ* принимать знакомъ учтивости. Учтивость нашего образованнаго XIX вѣка заключается не въ этой ничтожной частичкѣ, а въ интонаціи голоса!...

Я не могъ не согласиться съ этимъ. Василій Васильичъ улыбнулся, пожалъ мнѣ руку и произнесъ нѣсколько нараспѣвъ, съ удареніемъ на *мы*:

— Я знаю, что *мы* понимаемъ другъ друга!

Кромѣ Ивана Ильича и Василья Васильича, на воскресныхъ обѣдахъ его превосходительства всегда присутствовалъ другъ его дѣтства, Сергій Ѳедорычъ Брусковъ, также статскій совѣтникъ, мужчина ражій, плечистый, въ рыжеватомъ парикѣ, съ мутно-свѣтлыми глазами, имѣвшими нѣсколько дикое и пронзающее выраженіе, говорившій рѣзко, твердо и упиравшій въ особенности на букву *о*. Сергія Ѳедорыча очень уважали, но не любили и побаивались нѣсколько, потому что онъ, по его собственному выраженію, *рѣзалъ правду-матку всѣмъ въ глаза* и всѣхъ озадачивалъ своею смѣлостью, доходившею до грубости. Однажды за обѣдомъ его превосходительства, какой-то чиновникъ, пріѣхавшій изъ провинціи и подчиненный его превосходительству, распространился о высокихъ качествахъ души его, обращаясь къ нему самому. Сергій Ѳедорычъ смотрѣлъ на чиновника пронзительно во все время его рѣчи, и когда чиновникъ кончилъ свой панегирикъ его превосходительству, а его превосходительство, умилившись,

протянулъ ему руку, Сергій Ѳедорычъ положилъ, безъ всякой церемоніи, свою огромную пятерню на плечо его превосходительства и сказалъ:

— Льстецы, братецъ ты мой, раздѣляются на обыкновенныхъ льстецовъ и *сугубыхъ*. Вотъ этотъ господинъ, я не имѣю чести знать его (онъ ткнулъ пальцемъ на пріѣзжаго чиновника), принадлежитъ къ *сугубымъ* льстецамъ.

И потомъ прибавилъ, обращаясь къ чиновнику:

— Не удивляйтесь, милостивый государь, моему замѣчанію. Оно, можетъ, жестко показалось вамъ, но я мягко стлать не умѣю. Я какъ Правдолюбъ въ старинныхъ комедіяхъ. Ужъ у меня такая тенденція.... Онъ, конечно, хорошій человѣкъ (при этомъ Сергій Ѳедорычъ ткнулъ пальцемъ на его превосходительство), но вы, милостивый государь, отзываетесь объ немъ, какъ о существѣ совершенномъ, или о духѣ безплотномъ, а и за нимъ такъ же, какъ и за другими смертными, грѣшки водятся.... Вѣдь правду я говорю, мать?...

Онъ повернулъ голову къ ея превосходительству, супругѣ его превосходительства.

Ея превосходительство была дама роста небольшаго, съежившаяся и сморщившаяся, нѣсколько походившая на плодъ, неуспѣвшій налиться и засохшій на вѣткѣ; но зато она отличалась высокими нравственными достоинствами: благоразуміемъ, умѣренностью, аккуратностью, благочестіемъ и такъ далѣе. Она строго исполняла всѣ семейныя обязанности, строго присматривала за домашней прислугой, за своей воспитанницей и отчасти, можетъ быть, за его превосходительствомъ, потому что его превосходительство очень часто, что̀ называется, лебезилъ около нее, заискивалъ въ ней, какъ бы чувствуя что нибудь за собою. Онъ называлъ ее нѣжными уменьшительными именами, какъ, напримѣръ, *Машурочка*, *дружочекъ* и т. п., отчего строгое, неподвижное и сморщенное лицо ея превосходительства не смягчалось ни мало. Она никогда не улыбалась, потому что, по ея мнѣнію, улыбка могла нанести ущербъ ея нравственному достоинству, и дѣлалась еще строже и серьёзнѣе, когда въ веселомъ расположеніи духа его превосходительство разшутится, бывало, съ гостями и расхохочется иногда, довольный собственнымъ юморомъ. Никакихъ дамъ я никогда не видалъ въ домѣ его превосходительства,

потому что ея превосходительство собственно къ себѣ почти никого не принимала, кромѣ одной пожилой вдовы коллежскаго ассесора, съ ридикюлемъ, на которомъ по черному фону была вышита какая-то пестрая птица, въ родѣ райской. Эта почтенная вдова съ райской птицей была ея повѣренной и наперсницей и, по чувству благодарности къ генеральшѣ, подсматривала за генераломъ, за что̀ послѣдній не очень ее жаловалъ, хотя наружно былъ очень любезенъ съ нею. Ея превосходительство являлась обыкновенно къ самому обѣду въ сопровожденіи почтенной вдовы съ райской птицей, которая садилась за обѣдомъ возлѣ нея. Во время постовъ имъ подавали особо постныя кушанья, которыя чрезвычайно шли къ ихъ постнымъ физіономіямъ. При входѣ ея превосходительства, его превосходительство бросался къ ней навстрѣчу, называлъ ея *маточкой*, цѣловалъ ея руку и представлялъ ей гостей. Когда очередь доходила до меня, — его превосходительство всякій разъ произносилъ одну и ту же шутку:

— Ну, а этотъ молодой человѣкъ, который такъ рѣдко удостоиваетъ насъ своимъ посѣщеніемъ, знакомъ тебѣ, дружокъ?...

Но генеральша не обращала вниманія на юморъ генерала, очень серьёзно отвѣчала на мой почтительный поклонъ, и спрашивала:

— Какъ здоровье вашей матушки?

Я обыкновенно благодарилъ, и отвѣчалъ:

— Слава Богу.

Тогда генеральша замѣчала:

— Очень рада, что имѣю удовольствіе васъ видѣть.

И въ заключеніе прибавляла обязательно:

— Потрудитесь засвидѣтельствовать почтеніе вашей матушкѣ. Не забудьте, прошу васъ.

Этимъ обыкновенно оканчивался нашъ разговоръ. За обѣдомъ ея превосходительство почти всегда молчала, а если и разговаривала, то шопотомъ, съ почтенной вдовой, которую райская птица не оставляла даже и за обѣдомъ.

Это было въ первую эпоху генеральства его превосходительства, когда еще никто не завидовалъ ему,—да и завидовать, признаться, было нечему. Оклады онъ получалъ небольшіе, очень нуждался и прибѣгалъ иногда къ займамъ; санов-

ники и не подозрѣвали тогда о его существованіи: еще мягкая нога его, которая теперь такъ изящно скользитъ и шаркаетъ въ раззолоченныхъ салонахъ разныхъ стилей на мозаичныхъ паркетахъ,—тихо, несмѣло и осторожно ступала тогда только по паркету пріемной одного вельможескаго дома, не осмѣливаясь переступить за дверь этой пріемной; еще выше Прокофьева, Нефедьева и Брускова онъ не имѣлъ тогда друзей.

Но.... но уже человѣкъ наблюдательный, дальновидный и проницательный могъ предугадать, что его превосходительство ожидаетъ высшая доля, что передъ нимъ должна открыться блестящая перспектива. Его открытое чело, орлиный носъ, привѣтливый взглядъ, быстро переходившій въ строгій начальническій, то лестный и услаждавшій душу маленькаго чиновника, то повергавшій его въ прахъ, — все предвѣщало, что онъ долженъ подняться, и *значительно подняться*. Такъ и вышло. Конечно, его превосходительство возвышенію своему не былъ обязанъ исключительно своему открытому челу и орлиному носу; безъ особенной протекціи и безъ счастливыхъ обстоятельствъ, онъ могъ бы и съ своимъ орлинымъ носомъ остаться на невидномъ и незначительномъ мѣстѣ. Но какъ бы то ни было, и чему бы онъ ни былъ обязанъ своему возвышенію, теперь его превосходительство уже не лицо, а *особа*, и особа, которой протягиваютъ особы изъ особъ по два пальца. Этотъ орлиный носъ,—счастливая игра природы, который былъ бы вовсе не кстати, даже имѣлъ бы что-то комическое, если бы его превосходительство занималъ невидное мѣсто,—теперь удивительно идетъ къ нему и придаетъ что-то необыкновенно гордое и значительное его физіономіи, а это открытое чело, которое просто называлось бы лысиной, еслибъ онъ не занималъ виднаго мѣста, теперь придаетъ ему что-то олимпійское и заставляетъ предполагать о его возвышенномъ умѣ. Глядя на этотъ огромный, лоснящійся лобъ, странно было бы сомнѣваться въ его умѣ, въ его широкихъ взглядахъ, въ его высокихъ административныхъ способностяхъ, что бы ни говорили противъ этого вольнодумцы и безпокойные люди, которые во всемъ и во всѣхъ отыскиваютъ одни недостатки....

У его превосходительства теперь анфилады комнатъ, превосходно меблированныхъ на казенный счетъ; въ его перед-

ней кишатъ ловкіе курьеры и офиціанты, а въ пріемной, передъ кабинетомъ, стоятъ, притаивъ дыханіе, смиренные чиновники и робкіе просители.

Какъ человѣкъ съ великодушнымъ сердцемъ, его превосходительство не измѣнился къ своимъ старымъ друзьямъ, къ Прокофьеву и къ Нефедьеву, которые все еще состоятъ въ прежнихъ чинахъ, и приглашаетъ ихъ снисходительно обѣдать по-прежнему, по воскресеньямъ; даже и я, не имѣющій чина титулярнаго совѣтника, удостоивался этой чести,—только всѣ мы въ великолѣпныхъ его салонахъ отчего-то утратили прежнюю развязность и ощущали какую-то неловкость, какъ будто на насъ были надѣты дурно сшитыя узкія платья, которыя жали подъ мышкой. Съ однимъ другомъ дѣтства, Брусковымъ, его превосходительство прекратилъ всѣ сношенія, и вотъ по какому поводу, если вѣрить разсказамъ людей, собирающихъ городскія сплетни.

Когда другъ дѣтства его превосходительства въ первый разъ явился на новую квартиру его, сей послѣдній встрѣтилъ его, говорятъ, съ величайшимъ радушіемъ и повелъ ему показывать свои анфилады въ деталяхъ. Другъ дѣтства останавливался въ каждой комнатѣ, осматривалъ ее отъ потолка до полу и восклицалъ:

— Дивно хорошо! Сколько капиталу, а главное, сколько вкусу потрачено! Вкусъ-то это, вѣдь я чай, обойщика?...

— Отчего жъ обойщика? возразилъ его превосходительство:—я всѣмъ, братецъ, распоряжался самъ,—самъ выбиралъ матеріи, бронзы....

— Полно, ваше превосходительство, морочить, полно! перебилъ его другъ дѣтства: — откуда намъ съ тобой такого вельможескаго вкуса было набраться. Вѣдь родословная-то наша не отъ Рюрика идетъ, — надо правду говорить. Предки-то наши не Богъ знаетъ кто такіе были, и воспитаны мы съ тобой были на мѣдные гроши, въ дѣтствѣ-то почти что босоногіе бѣгали, да и въ юношескомъ-то возрастѣ крѣпко нуждались. Помнишь, какъ ты у меня шинелишку занималъ: у тебя вѣдь и порядочной шинелишки-то, чѣмъ отъ холоду защититься, не было.... Такъ ужъ гдѣ намъ самимъ этакіе палацы меблировать!

Что̀ отвѣчалъ на это его превосходительство—я не знаю;

только съ этихъ поръ неумолимый другъ дѣтства не появлялся въ домѣ его превосходительства.

Ея превосходительство нисколько не измѣнилась среди новой блестящей обстановки. Она по-прежнему появлялась къ обѣду, въ сопровожденіи почтенной вдовы съ райской птицей, которой, по великодушію своему, назначила пенсію въ 10 руб. въ мѣсяцъ, и по-прежнему, когда я обѣдывалъ у его превосходительства, спрашивала меня о здоровьѣ матушки, только уже не просила о засвидѣтельствованіи ей почтенія; а его превосходительство хоть и продолжалъ мнѣ оказывать свое лестное вниманіе, но сдѣлался нѣсколько серьёзнѣе въ обращеніи со мною и не позволялъ себѣ прежнихъ шутокъ. Послѣ обѣда генеральша отправлялась съ райской птицей на свою половину, а генералъ удостоивалъ приглашать насъ въ свой кабинетъ, на четверть часа передъ сномъ. Покуривая сигару, онъ благосклонно выслушивалъ наши разсказы и иногда изволилъ улыбаться, когда выслушивалъ что нибудь смѣшное. Нефедьевъ со своимъ Станиславомъ обыкновенно сидѣлъ на кончикѣ стула, несмотря на то, что послѣ обѣда такая поза не совсѣмъ удобна и, заговаривая, поднималъ страшный свистъ, только и слышалось: «ваше пр-ство, вы изволили-съ, ваше пр-ство» и проч. Прокофьевъ, какъ человѣкъ болѣе свѣтскій, былъ несравненно развязнѣе, и свое глубочайшее уваженіе и совершенную преданность обнаруживалъ, по своему обыкновенію, посредствомъ *интонаціи* голоса.

Въ поклонахъ его превосходительства произошла также значительная разница. Онъ при встрѣчѣ со мной, на мой почтительный поклонъ, только слегка покачивалъ головой, съ бѣглой, едва замѣтной улыбкой, и уже никогда не останавливалъ меня на улицѣ, какъ бывало прежде. Я и не смѣлъ претендовать на бо́льшее вниманіе со стороны его, очень хорошо понимая, что человѣку, такъ высоко поднявшемуся, трудно замѣчать такихъ маленькихъ человѣчковъ, какъ мы. Я былъ уже доволенъ тѣмъ, что его превосходительство замѣчаетъ мои поклоны, тѣмъ болѣе, что мнѣ было не безъизвѣстно, хоть онъ никогда не говорилъ мнѣ этого, что, по его понятіямъ, человѣкъ неслужащій почти синонимъ человѣка вреднаго, ибо его превосходительство воспитанъ былъ

въ тѣхъ понятіяхъ, что кромѣ коронной службы—все пустяки, и что человѣкъ неслужащій непремѣнно долженъ быть пустой и праздный человѣкъ. О таковыхъ онъ отзывался съ благороднымъ негодованіемъ, справедливо замѣчая, что праздность есть мать всѣхъ пороковъ, что она порождаетъ вольнодумство и прочее. Замѣтное охлажденіе ко мнѣ его превосходительства въ послѣднее время происходило, можетъ быть, отчасти оттого, что мое свободное обращеніе въ его присутствіи, мое неумѣнье садиться на кончикъ стула, говорить съ нѣкоторымъ замираніемъ въ голосѣ, слегка приподнимаясь на стулѣ и тому подобное, его превосходительство принималъ за симптомы вольнодумства.

Его превосходительство принадлежалъ къ старому поколѣнію, которое въ этомъ отношеніи несравненно взыскательнѣе и строже новаго поколѣнія значительныхъ особъ. Послѣднія также мастерски съумѣютъ показать неизмѣримую разницу, существующую между ними и нами; но при нихъ вы можете смѣло не только сѣсть на стулъ, даже, если вамъ захочется, положить ногу на ногу; въ ихъ присутствіи вы даже можете свободно судить обо всемъ, несмотря на свой ничтожный чинъ, говорить о злоупотребленіяхъ, о мѣрахъ къ ихъ исправленію и проч., — они даже и въ такомъ случаѣ не назовутъ васъ вольнодумцемъ. Вообще вольнодумецъ слово обветшалое, совершенно выходящее изъ употребленія. Оно замѣнилось нынѣ другимъ словомъ: «человѣкъ свободномыслящій». Въ глазахъ стараго поколѣнія значительныхъ особъ быть *вольнодумцемъ* значило почти то же, что быть уголовнымъ преступникомъ; въ глазахъ новаго поколѣнія значительныхъ особъ слова: «человѣкъ свободномыслящій» не имѣютъ такого ужасающаго значенія; напротивъ, люди свободномыслящіе пользуются даже уваженіемъ извѣстныхъ значительныхъ особъ, какъ люди умные. Новое поколѣніе значительныхъ особъ и на неслужащаго человѣка смотритъ уже безъ сожалѣнія, или безъ презрѣнія, понимая, что можно быть человѣкомъ дѣльнымъ и полезнымъ отечеству и не занимая никакого коронпаго мѣста.

До такихъ истинъ нельзя, конечно, доходить легко и скоро, и какъ мнѣ это ни больно, но я не виню его превосходительство за то значительное охлажденіе, которое онъ, вслѣд-

ствіе вышеизъясненныхъ причинъ, сталъ обнаруживать ко мнѣ въ послѣднее время. Двадцатилѣтняго юношу въ чинѣ десятаго класса, съ каштановыми волосами, съ пушкомъ на усахъ и съ розовыми щеками, его превосходительство могъ ободрять своимъ благосклоннымъ покровительствомъ; но когда этотъ юноша превратился въ мужа, когда сѣдина посеребрила его виски, когда на лбу его показались рѣзкія морщины, а на верхней губѣ длинные усы, которые въ штатскомъ его превосходительство принималъ почему-то за одинъ изъ несомнѣнныхъ признаковъ вольнодумства (если штатскій, носившій усы, не служилъ прежде въ военной службѣ).... на такого усатаго сорока-пятилѣтняго господина, не подвинувшагося ни на полчина и оставшагося въ томъ же роковомъ десятомъ классѣ, его превосходительство, натурально, не могъ уже смотрѣть прежними глазами.... Къ тому же, съ своей стороны усатый сорока-пятилѣтній господинъ съ нѣкоторою уже самостоятельностью и проникнутый чувствомъ человѣческаго достоинства, не смотря на все глубокое уваженіе къ сану его превосходительства, не могъ вести себя относительно его такъ, какъ онъ велъ себя прежде мальчишкой, когда у него былъ пушокъ на губѣ и розовыя щеки.... Въ нашихъ отношеніяхъ (если могутъ существовать какія-либо отношенія между людьми 3-го и 10-го классовъ) должно было возникнуть недоразумѣніе, а за недоразумѣніемъ неизбѣжно послѣдовало охлажденіе. Несмотря на это, я, однако, изрѣдка все еще являлся къ его превосходительству, а въ Свѣтлое Христово Воскресенье и въ Новый Годъ оставлялъ въ его передней свои карточки.

Я и не подозрѣвалъ, что эти карточки окончательно вооружатъ противъ меня его превосходительство, потому что, какъ уже мнѣ растолковали впослѣдствіи, не смотря на мои преклонныя лѣта, въ слабомъ чинѣ я не могъ оставлять ему карточки (карточки только оставляютъ равные равнымъ), а долженъ былъ расписываться на листѣ, который лежалъ въ торжественные дни въ передней его превосходительства. Эти карточки и еще то, что я никогда не поздравлялъ ни его превосходительство, ни ея превосходительство съ днемъ ихъ ангела и рожденія, утвердили окончательно, кажется, его превосходительство въ неисправимости моего вольнодумства. .

— Жаль, жаль мнѣ молодого человѣка, говорилъ онъ

про меня одному моему знакомому съ карьерой: — душевно жаль... Я не ожидалъ этого отъ него... Онъ съ этакими какими-то идеями... не служитъ, отпустилъ усы; у него какія-то развязныя манеры... онъ вовсе не кстати, говоря со мной, размахиваетъ руками... Жаль, очень жаль молодого человѣка!

Молодой человѣкъ! Я грустно вздохнулъ, выслушавъ это.— Увы! кромѣ его превосходительства, меня уже никто не называетъ молодымъ человѣкомъ.

Въ первый разъ, когда его превосходительство увидѣлъ меня съ усами, онъ взглянулъ на меня съ благосклонной, но иронической улыбкой и, покачавъ головой, изволилъ замѣтить:—«къ чему это? это ужъ напрасно.» Но потомъ, видя мое упорство, ничего никогда болѣе не говорилъ мнѣ объ усахъ и только смотрѣлъ на меня съ снисходительнымъ сожалѣніемъ, постепенно переходившимъ въ нѣкоторую суровость.

Таковы были мои отношенія къ его превосходительству до той минуты, когда случай заставилъ меня явиться къ нему въ видѣ просителя...

Кругъ дѣятельности его превосходительства все расширялся и онъ кромѣ прежнихъ своихъ назначеній получилъ еще новое назначеніе. Въ числѣ новыхъ его подчиненныхъ находился одинъ пятидесяти-восьмилѣтній чиновникъ-труженикъ, кормившій многочисленное семейство и старуху-мать. Чиновникъ этотъ сорокъ лѣтъ служилъ на одномъ мѣстѣ и занималъ лѣтъ пятнадцать должность столоначальника. Я зналъ давно и его, и его семейство. Онъ не отличался ни образованіемъ, ни глубиною взглядовъ, но былъ трудолюбивъ, честенъ, строго исполнялъ свою обязанность и, по единогласному отзыву всѣхъ своихъ сослуживцевъ, былъ весьма полезнымъ чиновникомъ... Прежнее начальство дорожило имъ. Онъ получалъ почти ежегодныя вспомоществованія изъ такъ называемыхъ *остаточныхъ* суммъ, но, не смотря на это и на пособія своихъ дочерей, которыя занимались шитьемъ по заказамъ, очень нуждался, особенно въ послѣднее время, при увеличившейся дороговизнѣ петербургской жизни. Его звали Кондратіемъ Иванычемъ Кондратьевымъ. Кондратій Иванычъ никогда не жаловался на свое положеніе, не хапжилъ, не заискивалъ. Честолюбіе его не простиралось выше занимае-

маго имъ мѣста, и онъ былъ въ полной увѣренности, что умретъ на этомъ мѣстѣ.

Но его превосходительство, принявъ на себя новыя обязанности, вознамѣрился все измѣнить и передѣлать въ своемъ новомъ управленіи, не столько по желанію дѣйствительныхъ улучшеній, сколько потому, чтобы показать міру, что предшественникъ его былъ не такъ дѣятеленъ, какъ онъ, и не имѣлъ такихъ широкихъ воззрѣній и соображеній, какія имѣетъ онъ.—Ломка началась страшная. Нѣсколько десятковъ чиновническихъ существованій вздрогнули за себя и за свои семейства. Его превосходительство безпрестанно изволилъ говорить: — «Я не потерплю этого»... «У меня это не должно быть»... А что̀ такое разумѣлъ онъ подъ *этимъ*, никто не зналъ... Съ высоты своей онъ обратилъ свое начальническое вниманіе даже на Кандратія Иваныча, призвалъ его къ себѣ и лично изволилъ объявить ему, что по его столу большія упущенія. Кондратій Иванычъ очень изумился этому, потому что онъ по совѣсти не зналъ за собою по службѣ никакихъ упущеній и съ почтительною робостію осмѣлился замѣтить это его превосходительству, поставивъ на видъ, что онъ служитъ 40 лѣтъ въ одномъ вѣдомствѣ, 15 лѣтъ занимаетъ должность столоначальника и былъ всегда аттестованъ съ хорошей стороны начальствомъ... Но его превосходительство изволилъ вскрикнуть: «мнѣ нѣтъ никакого дѣла до того, какъ было прежде, но я, сударь, не потерплю никакихъ упущеній, примите ваши мѣры»... И задалъ бѣдному Кондратію Иванычу въ три мѣсяца окончить такую работу, которую едва можно было исполнить въ полгода. Кондратій Иванычъ не спалъ ночи—и окончилъ заданную работу къ сроку, сдалъ ее начальнику отдѣленія и ожидалъ съ трепетомъ рѣшенія его превосходительства, скрывъ отъ своего семейства свои служебныя непріятности. Начальникъ отдѣленія черезъ мѣсяцъ объявилъ Кондратію Иванычу, что все сдѣлано имъ не такъ, какъ ожидалъ его превосходительство, и что его превосходительство очень недоволенъ имъ. У Кондратія Иваныча помутилось въ глазахъ, когда онъ выслушалъ свой приговоръ; онъ поблѣднѣлъ какъ смерть...

— Что же это значитъ? спросилъ онъ у начальника

отдѣленія, запкаясь.—Я все исполнилъ такъ, какъ мнѣ было приказано.

— Мнѣ очень больно огорчить васъ, отвѣчалъ начальникъ отдѣленія:—но, кажется, любезный Кондратій Иванычъ, его превосходительство прочитъ кого-то другого на ваше мѣсто. Вы должны принять мѣры.

— Какія же мѣры? произнесъ Кондратій Иванычъ совершенно потерянный.—У меня шесть человѣкъ дѣтей, жена, мать... Какія мѣры?

Кондратій Иванычъ въ первый разъ въ теченіе своей сорокалѣтней службы произнесъ передъ начальствомъ имя жены и дѣтей.

— Ну, ужъ какъ вы тамъ знаете, пробормоталъ начальникъ отдѣленія:—повѣрьте, я вхожу въ ваше положеніе... Мнѣ васъ очень жалко... но...

— Господи! да что же это? вскрикнулъ Кондратій Иванычъ, схвативъ себя за голову, и выбѣжалъ вонъ изъ департамента.

Въ это утро солнце противъ обыкновенія ярко освѣщало Петербургъ. Невскій проспектъ имѣлъ видъ совершенно праздничный; въ цѣльныхъ стеклахъ магазиновъ свѣтились и играли бронзы, хрустали, драгоцѣнные камни; роскошные экипажи быстро летали по торцовой мостовой; тротуары были полны гуляющими; устрицы только-что привезли—и привозъ былъ отличный: устричныя раковины валялись у дверей Милютиныхъ лавокъ для соблазна прохожихъ; въ окнахъ этихъ лавокъ въ стеклянныхъ шарахъ плавали золотыя рыбки; грудами были наложены только-что привезенныя изъ-за границы чудовищной величины груши и прохладительные освѣжающіе гранаты; на полкахъ разставлены были раздражающіе вкусъ страсбургскіе пироги; за дверьми болтались на гвоздикахъ вестфальскіе окорока; на каждомъ шагу встрѣчались пушистые бобры, съ удивительною просѣдью, темные, мягкіе соболи, драгоцѣнныя шелковыя ткани на кринолинахъ, кружева, блонды, цвѣты, перья... и вся эта роскошь, освѣщенная солнцемъ, дѣйствовала на глазъ еще раздражительнѣе, чѣмъ когда нибудь.

Но Кондратій Иванычъ не видалъ ничего этого, въ глазахъ бѣднаго чиновника была ночь, непроницаемый, безвы-

ходный мракъ, перспектива скорби и голода.... Нестерпимая тяжесть гнула его къ землѣ; на плечахъ его было восемь существъ, требовавшихъ одежды, пищи и теплаго угла, а пенсіонъ при отставкѣ едва достаетъ только на одну пищу такого многочисленнаго семейства.... Кондратій Иванычъ переходилъ черезъ улицу, шатаясь, какъ пьяный; ноги его подламывались; блестящій экипажъ Шарлоты Ѳедоровны обрызгалъ его грязью, а огнедышащіе рысаки ея чуть не задавили его. Онъ еле добрался до дому и слегъ въ постель.

Жена его узнала обо всемъ случившемся съ мужемъ на другой день, и прибѣжала ко мнѣ. На этой бѣдной женщинѣ лица не было. Она, заливаясь слезами, передала мнѣ постигшее ихъ несчастіе, и зная о моемъ знакомствѣ съ его превосходительствомъ, умоляла меня съѣздить къ нему и заступиться за ея мужа, упросить его превосходительство, чтобъ онъ не лишилъ его мѣста.

— Но что̀ же я могу сдѣлать для васъ? возразилъ я. — Я, точно, знакомъ съ его превосходительствомъ, но неужели вы думаете, что мое ходатайство, какъ бы оно ни было горячо, можетъ на него подѣйствовать? Въ глазахъ его превосходительства я человѣкъ ничтожный, незамѣтный.

Но бѣдная женщина не слушала моихъ возраженій. Она твердила одно, задыхаясь отъ слезъ:

— Съѣздите, батюшка, попросите, заставьте за себя вѣчно Бога молить! Вѣдь его превосходительство человѣкъ... онъ отецъ семейства... разскажите ему о нашемъ положеніи; неужели онъ не войдетъ въ наше положеніе, не сжалится надъ нами....

Я былъ увѣренъ, что не помогу ея горю, но далъ ей слово ѣхать къ его превосходительству и употребить всѣ отъ меня зависящія средства, чтобы возбудить участіе его превосходительства къ ея мужу. Я тотчасъ поѣхалъ къ его превосходительству — и не засталъ ни его, ни ея превосходительства; въ другой разъ они меня не приняли. Я рѣшился, не откладывая въ дальній ящикъ, отправиться къ нему въ то утро, когда онъ принимаетъ просителей. Въ первый разъ съ трепетомъ я входилъ въ переднюю его превосходительства, и въ первый разъ стоялъ между его просителямъ въ пріемной,

вздрагивая каждый разъ, когда отворялась завѣтная дверь въ его кабинетъ.

Дверь эта отворялась и затворялась нѣсколько разъ. Въ нее входили и изъ нея выходили озабоченные господа съ бумагами и портфелями въ рукахъ, не безъ любопытства поглядывая на насъ; не разъ раздавался звонокъ изъ кабинета, и мы думали: «вотъ, вотъ наступаетъ минута...» но этотъ звонокъ призывалъ какого нибудь подчиненнаго; подчиненный вбѣгалъ, скрывался за дверью, и снова водворялась тишина... У меня дѣлалось волненіе отъ нетерпѣнія, даже біеніе сердца; я вставалъ, прохаживался по комнатѣ, подходилъ къ окну, глядѣлъ въ окно, садился на стулъ, снова вставалъ и прохаживался, но его превосходительство не появлялся.

— Видно вы еще новичокъ, батюшка? сказалъ мнѣ со вздохомъ и съ улыбкой одинъ изъ просителей, сморщенный старичокъ, замѣтивъ мое нетерпѣніе: — а мы ужъ привыкли къ этому, обтерпѣлись.... Его превосходительство изволитъ назначать пріемъ въ десять часовъ, а раньше двѣнадцати никогда не выходитъ. Что̀ жъ дѣлать? занятъ, видно... дѣлъ много.

Наконецъ изъ кабинета послышался шумъ отодвигавшагося массивнаго кресла. На такомъ креслѣ никто не могъ сидѣть, кромѣ его превосходительства. При этомъ шумѣ, курьеръ и чиновникъ, находившіеся въ пріемной, пришли въ движеніе. Затѣмъ снова раздался звонокъ, курьеръ вошелъ въ кабинетъ и тотчасъ же вышелъ, отворяя дверь и взглянувъ значительно на просителей. Всѣ просители вскочили съ своихъ мѣстъ, обдергиваясь. На порогѣ дверей показался его превосходительство съ своимъ возвышеннымъ челомъ и орлинымъ носомъ.

Я первый разъ видѣлъ его превосходительство въ такую оффиціальную, торжественную минуту. Онъ былъ прекрасенъ. Горделивая осанка, приподнятая голова и нѣсколько надвинутыя на глаза брови выражали глубокомысліе и чувство собственнаго достоинства и внушали въ просителяхъ невольное ощущеніе страха, а нѣсколько нервическія, нетерпѣливыя движенія его показывали, что его превосходительство занятъ важными дѣлами и что ему долго выслушивать просителей нѣтъ времени.... Изрѣдка онъ повторялъ, не глядя, впрочемъ, на просителя:

— Покороче, покороче, — въ чемъ дѣло?...

Къ просительницамъ онъ былъ вообще внимательнѣе и, выслушивая просьбу одной молодой дамы въ прекрасной лиловой шляпкѣ, даже очень пріятно улыбнулся.

Когда очередь дошла до меня, его превосходительство, бросивъ на меня взглядъ, въ первую минуту обнаружилъ какъ будто изумленіе, потомъ произнесъ:

— А, это вы?... И вы имѣете какую нибудь просьбу?... Ужъ не на службу ли опредѣлиться хотите?

И при этомъ его превосходительство изволилъ улыбнуться иронически.

Я просилъ его превосходительство о дозволеніи мнѣ сообщить ему мою просьбу наединѣ, и прибавилъ, что я не болѣе, какъ на десять минутъ обезпокою его.

Его превосходительство немного нахмурился, однако, по мгновенномъ размышленіи, произнесъ:

— Очень хорошо-съ. Пойдемте ко мнѣ въ кабинетъ.

Я, сколько могъ, кратко, но въ то же время горячо и убѣдительно изложилъ дѣло, представилъ ему бѣдственную картину положенія Кондратія Иваныча, и въ заключеніе обратился къ его великодушному сердцу, къ которому ни одинъ страждущій не прибѣгалъ тщетно. Это я, впрочемъ, прибавилъ только для смягченія его превосходительства и для красоты слога.

Въ продолженіе моей рѣчи, его превосходительство нѣсколько разъ непріятно подергивало. Когда я кончилъ, онъ сказалъ:

— Все это прекрасно, всему этому я вѣрю, но что же вы хотите?

И не давъ мнѣ рта разинуть, продолжалъ, постепенно разгорячаясь:

— Чтобы я оставлялъ у себя безтолковыхъ и негодныхъ чиновниковъ потому только, что они народили кучу дѣтей?... Я не предсѣдатель благотворительнаго общества и мое вѣдомство не богадѣльня! Въ службѣ человѣколюбіе неумѣстно. Мнѣ нужно не трутней, а дѣловыхъ людей. Я не потерплю, чтобы подъ моимъ вѣдомствомъ былъ хотя одинъ винтикъ слабый или негодный. Вы не служили. Вы этого не знаете.... одинъ негодный винтикъ можетъ повредить дѣйствію всей машины.

Тутъ, *любезный мой*, не фантазіи, а дѣло, практика. И къ тому же, признаюсь вамъ, я не люблю, чтобы вмѣшивались въ мои распоряженія. Я знаю, что̀ дѣлаю.... Извините меня, я тутъ ничего не могу сдѣлать.

Его превосходительство кивнулъ мнѣ головой въ знакъ того, что онъ болѣе уже ничего не намѣренъ выслушивать отъ меня. Не смотря на все мое уваженіе къ званію его превосходительства, при словѣ *любезный мой*, кровь бросилась мнѣ въ голову и я едва удержался, чтобы не замѣтить, что такого рода эпитеты онъ можетъ, если ему угодно, раздавать своимъ канцелярскимъ служителямъ и курьерамъ, а я, какъ человѣкъ нимало отъ него независящій, не желаю со стороны его превосходительства такого фамильярнаго обращенія, но удержался отъ такого неумѣстнаго замѣчанія и молча, поклонясь, вышелъ изъ кабинета его.

Участь семейства бѣднаго Кондратія Иваныча сильно тревожила меня и я, подавивъ собственное самолюбіе, рѣшился сдѣлать еще попытку и отправился къ ея превосходительству.

Ея превосходительство приняла меня съ свойственною ей сухою благосклонностью и, по обыкновенію, спросила о здоровьѣ маменьки.

Я изложилъ передъ нею бѣдственное положеніе семейства Кондратія Иваныча, попросилъ о ея заступничествѣ у супруга за бѣднаго чиновника, и въ заключеніе прибавилъ, что рѣшился безпокоить ее потому, что мнѣ извѣстно ея нѣжное и доброе сердце и горячее, христіанское участіе, которое она принимаетъ въ бѣдныхъ и страждущихъ. Ея превосходительство отвѣчала мнѣ, что она очень сожалѣетъ объ этомъ несчастномъ семействѣ, что она готова съ своей стороны оказать ему пособіе по мѣрѣ силъ своихъ, но что его превосходительству она говорить ничего не будетъ, ибо положила себѣ за правило не вмѣшиваться въ служебныя его распоряженія.

Вознамѣрясь испытать всѣ средства, я отправился къ старымъ друзьямъ его превосходительства, Нефедьеву и Прокофьеву, думая, не возьмутся ли они ходатайствовать за бѣднаго чиновника.

Но г. Нефедьевъ просвисталъ мнѣ по своему обыкнове-

нію, что хотя онъ и пользуется изстари лестнымъ для него благорасположеніемъ ихъ пре-ства, но обезпокоивать ихъ пре-ства не рѣшится, ибо ихъ пре-ству непріятно, чтобы вмѣшивались въ его дѣла, безпокоили ихъ и прочее.

Прокофьевъ сказалъ мнѣ съ удареніями, съ возвышеніемъ и пониженіемъ голоса:

— Я съ удовольствіемъ взялся бы за это, но его превосходительство человѣкъ *несовременный*, онъ характера упорнаго и придерживается служебной рутины; у него свои взгляды на все, совершенно несообразные съ нашимъ *образованнымъ* XIX вѣкомъ. Съ нимъ не сговоришь. Онъ нашего брата, который, такъ сказать, *отрѣшился* отъ всѣхъ этихъ формальностей, и слушать не захочетъ....

А Брусковъ, находящійся тутъ, перебилъ его, обратившись ко мнѣ:

— Да вы ужъ лучше отложите попеченіе, ничего тутъ сдѣлать нельзя, я вамъ скажу наотрѣзъ. Вы еще больно горячи и прытки, жизнь-то, милостивый государь, вы мало знаете. Ужъ на мѣсто вашего *протеже* опредѣленъ другой.... такъ, какой-то свистунъ, похожій на парикмахерскую вывѣску, женнинъ племянникъ.... Это мѣсто-то для него и очищено.... Извѣстное дѣло: *нельзя не порадѣть родному человѣчку*.... А вы тутъ лѣзете ему въ глаза съ вашимъ человѣколюбіемъ и правосудіемъ!...

Г-нъ Брусковъ былъ правъ. Дѣйствительно, какъ я узналъ впослѣдствіи, на мѣсто Кондратія Иваныча былъ опредѣленъ родной племянникъ супруги его превосходительства, которому еще при этомъ дана казенная квартира съ отопленіемъ, чѣмъ не пользовался Кондратій Иванычъ....

Нѣкто, оправдывая его превосходительство въ моемъ присутствіи, замѣтилъ, что нельзя же держать на службѣ безполезныхъ чиновниковъ, принимая только въ соображеніе ихъ престарѣлыя лѣта и многочисленныя семейства, что необходимо сокращать штаты и безполезную переписку, что это теперь à l'ordre du jour. Это совершенно справедливо, а между тѣмъ бѣднаго Кондратія Иваныча, который содержалъ семь душъ, — не существуетъ на свѣтѣ и чѣмъ будутъ питаться теперь эти семь душъ, — неизвѣстно....

XXVII. ПЕТЕРБУРГСКІЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННИКЪ.

— Э! помилуйте, какіе литературные промышленники, перебилъ я моего знакомаго.... (Мой предшествовавшій съ нимъ разговоръ не можетъ быть интересенъ читателямъ, и потому я не сообщаю его). — Что вы разумѣете подъ литературнымъ промышленникомъ? Всѣ издатели газетъ и журналовъ по вашему литературные промышленники, потому что всѣ они разсчитываютъ на возможно бо̀льшее число подписчиковъ и завлекаютъ ихъ передъ подпиской различными заманчивыми объявленіями, разумѣется, въ надеждѣ бо̀льшихъ барышей. Въ каждомъ, самомъ идеальномъ литературномъ предпріятіи есть сторона матеріальная, промышленная, коммерческая....

— Я это очень хорошо знаю, перебилъ меня мой знакомый: — я очень хорошо понимаю, что, можетъ быть, самый честный издатель журнала или газеты, человѣкъ съ благородными убѣжденіями, съ умомъ, знаніями, желаетъ получить небольшое вознагражденіе за свой трудъ,—это дѣло понятное; но такой господинъ не можетъ назваться литературнымъ промышленникомъ, потому что онъ не загребаетъ жаръ только чужими руками, не обсчитываетъ и не обманываетъ своихъ талантливыхъ сотрудниковъ, не эксплуатируетъ ими.

— Повѣрьте, въ настоящее время, перебилъ я въ свою очередь:—торговать чужимъ умомъ невозможно, даромъ теперь никто не работаетъ, эти идеальныя времена безвозвратно минули, — теперь литературный трудъ оцѣняется не дешево.... Нѣтъ-съ, теперь эксплуатировать не только талантливыми, но и безталантными сотрудниками трудно....

— Тѣмъ лучше, сказалъ мой знакомый: — но тѣмъ не менѣе литературные промышленники и эксплуататоры существовали и существуютъ, только теперь они обезоружены, съ прекращеніемъ журнальныхъ монополій. Въ старые годы бывало не такъ; въ старые годы мало совѣстливый журнальный монополистъ что хотѣлъ дѣлалъ съ своими сотрудниками, потому что отъ него имъ уйти было некуда.... Да вотъ я лучше передамъ вамъ нѣкоторые матеріалы для біографіи одного изъ такихъ монополистовъ,—я его коротко знаю. Изъ этого вы увидите, что̀ такое я разумѣю подъ литературнымъ промышленникомъ.

Я назову его хоть Петромъ Васильичемъ изъ скромности, потому что надобно же какъ нибудь называть человѣка. Я познакомился съ Петромъ Васильичемъ черезъ годъ послѣ пріѣзда его въ Петербургъ. Петръ Васильичъ находился тогда на службѣ и пользовался уваженіемъ нѣсколькихъ тупоумныхъ господъ, которые безъ уваженія къ кому бы то ни было существовать не могутъ.... Эти господа говорили про него: «У! да какой онъ умница, какой ученый!... Какую онъ, говорятъ, статью написалъ!» Петръ Васильичъ, дѣйствительно, перевелъ съ французскаго какую-то статейку о какомъ-то слабомъ французскомъ философѣ и долго возился съ ней, придавая ей огромное значеніе и читая ее своимъ знакомымъ—имѣвшимъ вѣсъ въ литературѣ, которымъ онъ былъ представленъ именно вслѣдствіи этой статейки. Въ ту эпоху еще литературныя, поэтическія и ученыя репутаціи доставались у насъ очень легко, такъ что вслѣдствіе своей переводной статейки Петръ Васильичъ прослылъ чуть не мудрецомъ. Надобно замѣтить, что этому не мало способствовала наружность Петра Васильича. Выраженіе лица его было постоянно глубокомысленное, а густыя брови нѣсколько надвигались на большіе глаза, въ которыхъ, казалось, такъ и сверкалъ умъ. Наружность его была до того обманчива, что, признаюсь, въ первыя минуты моего знакомства съ Петромъ Васильичемъ, я былъ также увѣренъ, что онъ человѣкъ глубокомысленный и ученый.... Меня вводили въ заблужденіе именно эти, чудно сверкавшіе глаза и эта густая, оттѣнявшая ихъ бровь.... Къ тому же Петръ Васильичъ, по своей натурѣ, принадлежалъ къ такъ называемымъ *мѣднымъ лбамъ*, которые этимъ лбомъ весьма удачно пробиваютъ себѣ дорогу; онъ говорилъ отрывисто и рѣзко, задумывался, покачивалъ строго головою, нерѣдко значительно мычалъ, словомъ, имѣлъ что-то внушающее и дѣйствовалъ сильно, въ особенности на прямые, открытые, но слабые характеры. Даже впослѣдствіи, когда Петръ Васильичъ совсѣмъ обнаружился, онъ внушалъ нѣчто въ родѣ страха людямъ очень умнымъ и образованнымъ, но робкимъ.

— Послѣ своей переводной статейки, болѣе или менѣе сблизившись съ извѣстными литераторами, Петръ Васильичъ, дѣлавшійся все смѣлѣе и смѣлѣе, уже попробовалъ *сочинить* статейку и назвалъ ее «Взглядъ на Россію». Въ этомъ новомъ

произведеніи своего пера онъ доказывалъ, что Россія — шестая часть свѣта, неимѣющая ничего общаго съ пятью остальными и долженствующая управляться собственными законами, неимѣющими ничего общаго съ общечеловѣческими законами. Такая оригинальная мысль, несмотря на свою нелѣпость, понравилась нѣкоторымъ. Одинъ изъ этихъ нѣкоторыхъ, человѣкъ очень почтенный и имѣвшій въ то время литературное значеніе, страстный охотникъ до всего оригинальнаго, хотя бы во вредъ здраваго смысла, взялъ Петра Васильича подъ свою протекцію. Этотъ почтенный и необыкновенно добродушный господинъ былъ первою ступенью къ возвышенію Петра Васильича. Перешагнувъ ступенью выше и не имѣя болѣе надобности въ добродушномъ господинѣ, Петръ Васильичъ взглянулъ на своего благодѣтеля свысока и съ насмѣшкою отвернулся отъ него. Извѣстно, что литературные промышленники — люди безъ сердца. Но подъ защитою его авторитета, Петръ Васильичъ началъ издавать литературный листокъ. О цѣли, о мысли, о направленіи изданія въ то время мало заботились, да, признаться, и заботиться-то объ этомъ было безполезно. Самъ Петръ Васильичъ не зналъ, во имя чего онъ будетъ подвизаться на журнальномъ поприщѣ, потому что кромѣ остроумной мысли, что Россія шестая часть свѣта, и прочее — у него никакой другой мысли въ головѣ не было, да и эта мысль вовсе не была его убѣжденіемъ, а такъ черезъ другихъ, какъ-то случайно забрела къ нему въ голову, и онъ поспѣшилъ воспользоваться ею собственно для того, чтобы обратить на себя вниманіе.

Увидѣвъ передъ собою впервые кучи денегъ при подпискѣ и груды пакетовъ съ пятью печатями, Петръ Васильичъ затрепеталъ отъ внутренняго удовольствія. Мысль *нажиться* посредствомъ литературы сознательно блеснула передъ нимъ, когда онъ подрѣзывалъ пакеты и жадными, многовыразительными глазами своими пожиралъ увеличивающуюся кучку ассигнацій. Какъ человѣкъ аккуратный и положительный, Петръ Васильичъ устроилъ отлично бухгалтерскую часть, самъ велъ приходныя и расходныя книги, не упуская ни одной копѣйки, и испытавъ на опытѣ прелесть полученія и горечь уплаты, мало-по-малу, началъ удерживать отъ своихъ сотрудниковъ въ пользу собственнаго кармана сначала копѣйки, потомъ рубли,

а потомъ и десятки рублей. Онъ смотрѣлъ на своихъ сотрудниковъ съ нѣкоторымъ ожесточеніемъ и завистью: съ ожесточеніемъ потому, что имъ надо было платить деньги; съ завистью потому, что его внутренній голосъ иногда нашептывалъ ему, что голова его тупа и туга и неспособна ни къ какому умственному труду. Заглушая этотъ неделикатный голосъ, который часто тревожитъ самыя свинцовыя натуры въ началѣ ихъ поприща, Петръ Васильичъ въ утѣшеніе называлъ своихъ сотрудниковъ презрительнымъ именемъ *борзописцевъ*, что не мѣшало ему иногда приписывать себѣ тѣ изъ статей борзописцевъ, которыя обращали на себя особенное вниманіе публики. Удерживать себѣ частички изъ вознагражденія, слѣдующаго за чужой трудъ—дѣло, конечно, непохвальное и недобросовѣстное, — но присвоивать себѣ чужую мысль, чужой трудъ, посягать на умъ и познанія ближняго, рядиться въ чужія блестящія перья, какъ ворона въ баснѣ,—еще недобросовѣстнѣе, и я упоминаю объ этомъ грустномъ для человѣчества фактѣ только потому, чтобы нѣсколько оправдать человѣка и показать, до чего иногда можетъ довести его несвойственный ему путь и ложное положеніе, въ которое онъ по необходимости ставитъ себя на такомъ пути. Петръ Васильичъ родился для счетовъ, для веденія конторскихъ книгъ, для занятія винными откупами или чѣмъ нибудь подобнымъ. Вся цѣль его жизни, всѣ его убѣжденія заключались въ деньгахъ.

Какой-то остроумный англичанинъ увѣрялъ, что весь нравственный катехизисъ американцевъ заключается въ слѣдующемъ:

Что такое жизнь?—Опредѣленное время для пріобрѣтенія денегъ.

Что такое деньги?—Цѣль жизни.

Что такое человѣкъ?—Машина для пріобрѣтенія денегъ.

Это былъ также нравственный катехизисъ Петра Васильича. Подобно очень многимъ, онъ считалъ только тѣхъ людей геніальными и умными, которые пріобрѣтали, или составляли себѣ капиталы, какими бы то ни было средствами. Такого рода людей онъ уважалъ и внутренно преклонялся передъ ними, какъ передъ авторитетами. Талантъ, умъ, образованіе, мысль, безъ денегъ и безъ умѣнья пріобрѣтать, онъ явно презиралъ бы, если бы не попалъ случайно на литера-

турную стезю, гдѣ и съ огромными капиталами, но безъ таланта, ума, образованія и мысли существовать нельзя. Онъ понималъ это; онъ чувствовалъ, что ему надобно было какими нибудь средствами держаться на высотѣ своего редакторскаго величія, что для удержанія равновѣсія ему недостаточно было переводной статейки о французскомъ философѣ и оригинальной о томъ, что Россія шестая часть свѣта... и онъ прибѣгнулъ къ присвоенію чужой невещественной собственности — средство печальное и ненадежное, потому что вѣдь правда рано или поздно должна была открыться...

Но не бросайте въ него камня, читатель. Онъ несъ тяжкое нравственное наказаніе. Вы не знаете, какая страшная пытка безъ знаній, даже безъ простой начитанности, безъ всякаго эстетическаго вкуса, съ одними конторскими способностями, разыгрывать роль литературнаго судьи, имѣть безпрестанныя сношенія съ людьми болѣе или менѣе талантливыми, начитанными, мыслящими, прикидываться всепонимающимъ, всезнающимъ, литераторомъ между литераторами, ученымъ между учеными, и трепетать каждую минуту, чтобы не обнаружить своего безвкусія и невѣжества; не имѣть возможности поддерживать никакого продолжительнаго серьёзнаго разговора и только отъ времени до времени повторять съ важнымъ видомъ знатока и съ нахмуренными бровями: «ну да, разумѣется такъ», или даже просто глубокомысленно мычать!... Самолюбіе, уязвляемое каждую минуту, терзало бѣднаго литературнаго промышленника и раздражало его жолчь, которая, не выливаясь изъ-подъ пера, потому что перомъ онъ владѣлъ плохо, только пятнами выступала на его лицѣ. И какія жалкія мѣры употреблялъ, бывало, Петръ Васильичъ для прикрытія своего ничтожества!... Онъ заказалъ себѣ огромный столъ, цѣлое зданіе необыкновеннаго устройства съ закоулками, башенками, полками, ящичками, и на верхней полкѣ поставилъ бюстъ какого-то нѣмецкаго философа, но увы! и это остроумное изобрѣтеніе принадлежало не ему, — онъ видѣлъ подобный столъ въ кабинетѣ какого-то литератора или ученаго; въ подражаніе этому ученому или литератору, онъ заказалъ себѣ также какой-то необыкновенный домашній костюмъ, въ родѣ того, который носили средневѣковые ученые и алхимики; окружилъ себя различными учеными

книгами, которыхъ онъ никогда не раскрывалъ, и среди такой обстановки съ необыкновенною важностью принялся... исправлять грамматическія ошибки въ корректурныхъ листахъ!... Уродливый столъ, алхимическій костюмъ, ученыя книги, званіе редактора и строгій таинственный и глубокомысленный видъ, данный ему природою какъ бы въ насмѣшку, наводили въ первое время нѣкоторый страхъ на литературныхъ новичковъ, и Петръ Васильичъ, замѣчая это, успокоивалъ на время свое самолюбіе. Иногда онъ рѣшался вступать въ краткіе и неудачные споры съ извѣстными литераторами о какихъ нибудь литературныхъ явленіяхъ.

— Это славная вещь, что вы ни толкуйте, серьёзное произведеніе, говорилъ онъ:—тутъ виденъ и талантъ, и наблюдательность, и поэзія... Славная, славная вещь!

— Ничего тутъ нѣтъ, возражалъ ему хладнокровно литераторъ:—произведеніе это самое посредственное — и доказывалъ ему очень ясно, что въ этомъ произведеніи нѣтъ ни таланта, ни наблюдательности, ни поэзіи...

— Нѣтъ, нѣтъ, какъ можно, повторялъ Петръ Васильичъ:—полноте—это прекрасная вещь...

Но обыкновенно черезъ мѣсяцъ, а иногда и ранѣе, ни мало не смущаясь, объ этомъ самомъ же произведеніи и тому же самому литератору слово въ слово повторялъ его мнѣніе, выдавая его за свое собственное.

Такія комическія сцены повторялись безпрестанно.

Пріобрѣтя чужимъ умомъ и собственною аккуратностью небольшія средства, нѣкоторую внѣшнюю опытность для журнальнаго дѣла, литературныя связи, кредитъ типографщиковъ и бумажныхъ фабрикантовъ и увлекаемый все болѣе и болѣе жаждою пріобрѣтенія, Петръ Васильичъ затѣялъ обширное изданіе и вознамѣрился превратить свой листокъ въ журналъ. Онъ сообщалъ мнѣ свои планы.

— Все это прекрасно, сказалъ я, выслушавъ его: — но для этого вамъ необходимо прежде всего пріобрѣсти серьёзнаго и дѣльнаго человѣка, съ талантомъ и убѣжденіями, который могъ бы дать цвѣтъ и жизнь вашему журналу. Для такого предпріятія недостаточно одного громкаго объявленія, съ обѣщаніями и съ безчисленными именами...

— Да, да, да; это правда, — сказалъ Петръ Васильичъ,

нахмуривъ брови и кивая головою. — Но я, право, не знаю, кого бы пригласить для этого дѣла?

Я назвалъ ему человѣка, обращавшаго на себя въ то время всеобщее вниманіе своей умной, энергической и смѣлой критикой, своимъ свободнымъ и самостоятельнымъ взглядомъ и горячими убѣжденіями, въ короткое время пріобрѣтшаго жаркихъ защитниковъ и ожесточенныхъ враговъ.

Петръ Васильичъ замоталъ съ неудовольствіемъ головою и воскликнулъ:

— Полноте, какъ вамъ не стыдно. Что за охота связываться съ мальчишкой, неимѣющимъ никакого прочнаго знанія, съ пустымъ крикуномъ...

Этимъ и кончился нашъ разговоръ. Разувѣрять Петра Васильича было бы безполезно...

Онъ началъ свое новое изданіе, выписавъ для завѣдыванія критическимъ отдѣломъ, который считался тогда самымъ важнымъ отдѣломъ въ журналѣ, своего стариннаго пріятеля, писавшаго водевили, куплетцы, повѣсти, стишки и рутинныя статейки по части теоріи словесности, которыя Петру Васильичу казались серьёзными и учеными статьями.

Петръ Васильичъ принялъ его съ чувствомъ и чуть не со слезами, какъ будущую подпору своего изданія, какъ средство для увеличенія своихъ подписчиковъ и доходовъ, и потому съ нѣжностью прижалъ его къ груди своей.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ; я уѣхалъ изъ Петербурга... Вдругъ, совершенно неожиданно, въ одинъ прекрасный день получаю письмо отъ Петра Васильича...

Знакомый мой остановился на минуту, досталъ изъ своего портфеля письмо и подалъ мнѣ его.

— Вотъ прочтите, если хотите, — сказалъ онъ: — это матеріалъ для исторіи русской журналистики. Я хотѣлъ его отослать къ М. Н. Лонгинову. Въ этомъ письмѣ вы познакомитесь съ слогомъ литературныхъ промышленниковъ.

.... «Христа-ради, писалъ Петръ Васильичъ, хлопочите сами и подбейте Н. и П., чтобы вырвать у Б* (писатель, пользовавшійся въ то время огромнымъ успѣхомъ) статью для моего журнала. С*** сказывалъ мнѣ, что Б* черезъ мѣсяцъ будетъ въ Петербургѣ. Его статья необходима: надобно употребить всѣ средства, чтобъ получить ее. Не пишу къ нему

самъ, потому что эти вещи не дѣлаются черезъ письма, особенно съ нимъ. Растолкуйте ему *необходимость поддержать мой журналъ всѣми силами.*—Если же онъ сдѣлался равнодушенъ къ судьбамъ «россійской словесности», чего я и ожидаю, *покажите ему впередъ за статью хорошія деньги,* въ которыхъ онъ вѣрно очень нуждается. Если жъ ничто не возьметъ, то надо дождаться пріѣзда его сюда и *напасть на него соединенными силами...*

«Я теперь ясно вижу, что мой Л* не годится для дѣла, для котораго я его выписалъ, поговорите съ Б* (съ тѣмъ самымъ, котораго Петръ Васильичъ полгода назадъ передъ этимъ называлъ пустымъ мальчишкой, крикуномъ), я желалъ бы передать ему весь критическій отдѣлъ: *онъ одушевитъ журналъ, я въ этомъ убѣжденъ.* Средства мои теперь недостаточны, и я не могу ему предложить болѣе 3500 руб. асс. въ годъ, это maximum; убѣдите его согласиться. Я буду душевно радъ его сотрудничеству, *ибо уважаю его.* Низкій поклонъ ему отъ меня...»

Б* былъ тогда въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, продолжалъ мой знакомый, когда я кончилъ письмо и возвратилъ его, улыбаясь:—и долженъ былъ согласиться на условія Петра Васильича. Надо замѣтить, что еще Петръ Васильичъ не успѣлъ въ эту эпоху вполнѣ обнаружиться, хотя уже было видно, что съ нимъ надо дѣйствовать осторожно. Я замѣтилъ объ этомъ Б*. — Что же мнѣ дѣлать? отвѣчалъ онъ: — мнѣ нѣтъ другаго выхода, какъ согласиться на его условія, или умереть съ голоду; я даже готовъ идти въ сотрудники, не только къ нему, но къ Ѳ., если онъ согласится принять меня съ моими убѣжденіями, потому что я лучше соглашусь умереть съ голода, чѣмъ измѣнить своимъ убѣжденіямъ.

Дѣло было рѣшено, и я пріѣхалъ въ Петербургъ вмѣстѣ съ Б*, и въ тотъ же день привезъ его къ Петру Васильичу.

Петръ Васильичъ задолго уже до этого вышелъ въ отставку, чтобы свободнѣе посвятить себя литературной коммерціи. Онъ лично объяснился съ Б*, принявъ его, какъ принималъ всѣхъ нужныхъ людей, привѣтливо и ласково, какъ только могъ по своей грубой натурѣ. Съ той минуты Б* принялся за трудъ съ свойственною ему горячностью. Несмотря на ничтожную плату, онъ отдалъ всего себя труду, положилъ

въ него всю свою благородную, горячую душу, работалъ день и ночь, а Петръ Васильичъ, глядя на него, только ухмылялся и потиралъ отъ удовольствія руки, повторяя: «Молодецъ, ей-Богу молодецъ! больше печатнаго листа въ день можетъ отмахивать!» И, пользуясь этимъ, Петръ Васильичъ сталъ присылать къ нему для обзора, кромѣ серёзныхъ книгъ, всевозможныя книжонки: азбуки, дѣтскія грамматики, сонники и тому подобныя, чтобы не платить за нихъ другимъ. Б* при своемъ глубокомъ умѣ, широкомъ и свѣтломъ взглядѣ, при своей духовной энергіи, былъ совершенный младенецъ въ практической жизни: у него недоставало духу объясниться съ Петромъ Васильичемъ, что въ условіе его съ нимъ не входилъ разборъ всякихъ ничтожныхъ книжонокъ, что онъ и безъ нихъ заваленъ работой. — Просить объ увеличеніи годовой платы ему и въ голову не приходило, потому что Петръ Васильичъ безпрестанно жаловался на то, что не можетъ свести даже концы съ концами, несмотря на то, что слухи объ увеличивающейся подпискѣ на изданіе его становились все громче и громче... Петръ Васильичъ тотчасъ же смекнулъ, что онъ нашелъ въ новомъ своемъ сотрудникѣ кладъ, и что онъ можетъ эксплуатировать его сколько душѣ угодно. Подчинясь ему совершенно въ моральномъ отношеніи, и позабывъ о томъ, что Россія шестая часть свѣта, долженствующая управляться особыми законами, онъ самъ, не замѣчая того, началъ вслѣдъ за Б* повторять его мысли, выдавая ихъ за свои собственныя, какъ будто всегда принадлежащія ему.

Онъ даже сталъ съ нѣкоторымъ ожесточеніемъ нападать на тѣхъ, чей образъ мыслей нѣсколько клонился къ тому, что Россія шестая часть свѣта, и почему-то враждебно началъ относиться вообще къ славянскому племени, повторяя: «Славянинъ, братецъ, славянинъ! Чего ждать отъ славянина!»

Смѣшно и жалко было смотрѣть, какъ онъ, морально подчиняясь своему сотруднику, не хотѣлъ обнаруживать этой подчиненности передъ другими, полагая, что этой очевидной истины никто не подозрѣваетъ. Когда Б* совѣтывалъ, напримѣръ, ему велѣть перевести какую нибудь статью для журнала, — Петръ Васильичъ упирался, хмурилъ брови, качалъ головою и говорилъ: «Это совсѣмъ не нужно, это безполезно,

кчему это?» а черезъ недѣлю самъ говорилъ Б* о необходимости перевести эту самую статью, какъ будто мысль объ ней ему первому пришла въ голову.

Съ каждымъ годомъ журналъ Петра Васильича пріобрѣталъ все большій и большій успѣхъ по милости его сотрудника, который вложилъ въ него жизнь, силу и направленіе, оставаясь неизвѣстнымъ для большинства публики, потому что имя его никогда не являлось въ печати. Вся слава успѣха относилась къ Петру Васильичу, и даже тѣ немногіе, которымъ была извѣстна тайна редакціи,—повторяли иногда: «А надобно отдать справедливость Петру Васильичу; онъ мастеръ вести журнальное дѣло!» Эти господа забывали, что онъ только велъ конторскіе счеты и заставлялъ терпѣть всю тяжесть нужды того, которому былъ обязанъ всѣмъ — и успѣхомъ, и славою, и деньгами; того, который силою своего авторитета и своей энергической, благородной личности соединилъ вокругъ себя всѣхъ молодыхъ писателей того времени. Теперь это покажется баснословнымъ, но всѣ они трудились для журнала Петра Васильича безплатно, даромъ, со всею любовію и жаромъ молодости, поощряемые тѣмъ, кого они высоко уважали и цѣнили,—а Петръ Васильичъ только самодовольно улыбался изподтишка и собиралъ деньги, безпрестанно жалуясь на безденежье. Петръ Васильичъ постоянно избѣгалъ общества сотрудниковъ, потому что въ ихъ присутствіи и особенно въ присутствіи Б* онъ чувствовалъ себя неловкимъ, уничтожаясь морально, и въ утѣшеніе себя разсматривалъ этихъ безукоризненныхъ служителей мысли, какъ идеальныхъ пустыхъ мальчишекъ, годныхъ только на то, чтобы писать даромъ статьи въ его журналъ и доставлять ему средства разживаться; онъ составилъ свой собственный, задушевный кругъ изъ людей дѣльныхъ, практическихъ, наживавшихся посредствомъ откуповъ, процентовъ и другихъ, тому подобныхъ промысловъ; въ этомъ кругу онъ царилъ; тамъ удивлялись его уму, его образованію, его учености; тамъ онъ говорилъ бойко, смѣло и рѣзко, и всѣ слушали его съ благоговѣніемъ; тамъ онъ былъ авторитетъ, оракулъ; тамъ всѣ предполагали, что онъ одинъ сочиняетъ весь свой журналъ, или, по крайней мѣрѣ, тѣ статьи, которыя печатаются въ немъ безъ имени; онъ даже самъ любилъ намекать объ этомъ, повторяя без-

престанно: «*Мой* журналъ, *я* написалъ (хотя онъ ничего не писалъ), *я* составилъ» (хотя онъ ничего не составлялъ)... Онъ такъ и выставлялъ собственное Я при всякомъ удобномъ или неудобномъ случаѣ—и если когда нибудь кто нибудь спрашивалъ его объ Б*, онъ почти съ равнодушнымъ презрѣніемъ отвѣчалъ:—«Да онъ у меня пишетъ кое-какія статейки.»

А онъ, этотъ человѣкъ, который писалъ *кое-какія* статейки—двигалъ всѣмъ и животворилъ своимъ духомъ все изданіе, а онъ въ потѣ и крови работалъ день и ночь, до изнуренія своихъ физическихъ силъ!

Я зашелъ къ нему однажды. Онъ ходилъ по комнатѣ и размахивалъ съ усиліемъ правою рукою.

— Что это съ вами? спросилъ я.

— Рука отекла, отвѣчалъ онъ: — я десять часовъ сряду писалъ, не вставая съ мѣста. Нѣтъ силъ больше; за эту плату такъ работать невозможно. Я весь въ долгахъ, эти долги не даютъ мнѣ покоя.... Наконецъ я выйду изъ терпѣнія и объявлю наотрѣзъ Петру Васильичу, что онъ долженъ мнѣ прибавить, или я откажусь отъ всего.

Десять разъ онъ входилъ къ Петру Васильичу съ этимъ намѣреніемъ, и уходилъ съ ничѣмъ, потому что у него языкъ не повертывался. Онъ проклиналъ свою глупую совѣстливость и робость, и горько смѣялся надъ самимъ собою.

Наконецъ въ городѣ начали ходить слухи, что дѣла Петра Васильича идутъ великолѣпно, что онъ ужъ капиталецъ составляетъ; но когда безкорыстные сотрудники рѣшились послѣ этого объявить Петру Васильичу, что теперь они не намѣрены болѣе трудиться для его журнала даромъ, и надѣются, что онъ прибавитъ плату Б*, Петръ Васильичъ измѣнился въ лицѣ, поблѣднѣлъ, пожелтѣлъ и забормоталъ своимъ грубымъ, отрывистымъ голосомъ: «Что за вздоръ! Кто это вамъ сказалъ?... Охота вамъ вѣрить всякому вздору», и началъ клясться, что онъ еще не всѣ долги уплатилъ, что онъ находится все еще въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, и тому подобное, однако призналъ необходимость прибавить Б* какую-то ничтожную сумму.

Безкорыстнымъ сотрудникамъ своимъ онъ началъ платить только тогда, когда обстоятельства принудили его къ этому: въ Москвѣ затѣвался новый журналъ, и поговаривали о томъ,

что его разрѣшатъ не въ примѣръ другимъ.... Тѣ, которые намѣревались издавать его, обратились къ безкорыстнымъ сотрудникамъ Петра Васильича, обѣщая имъ значительное вознагражденіе за труды.... Сотрудники показали это письмо своему журнальному антрепренёру. Петръ Васильичъ въ этотъ разъ пожелтѣлъ еще замѣтнѣе, — у него разлилась жолчь, и онъ, нешутя, призадумался.

— Ну, что за вздоръ, забормоталъ онъ съ свойственною ему мрачностью:—какъ не стыдно перебѣгать изъ одного журнала въ другой?... Полноте, у нихъ тамъ будутъ свои сотрудники.... Надобно ужъ держаться одного журнала.... Что такое.... Это недобросовѣстно!

Добросовѣстность было любимое слово Петра Васильича, которое почти не сходило у него съ языка. Онъ почиталъ себя добросовѣстнымъ издателемъ въ противность какому-то другому недобросовѣстному....

— Вы намъ не платите ничего за нашъ трудъ, а тамъ мы будемъ получать за него вознагражденіе, возразили сотрудники,—такъ ужъ извините....

— Ну, полноте, полноте, перебилъ Петръ Васильичъ: — ну, что такое.... Я вамъ буду тоже платить....

— Но вы не заплатите намъ такихъ денегъ, которыя обѣщаютъ намъ въ этомъ письмѣ, замѣтили сотрудники, начинавшіе ужъ пріобрѣтать практическую опытность.

Петра Васильича покоробило, какъ листъ на огнѣ, и изъ стѣсненной груди его вырвались глухія слова:

— Ну! ну! пожалуй, я вамъ заплачу такія же деньги.

Это была минута торжественная. Талантъ и трудъ побѣдили въ эту минуту антрепренерство и торговлю чужимъ умомъ, познаніями и талантомъ.... Съ тѣхъ поръ корыстолюбивые литературные промышленники не смѣютъ уже помышлять о даровомъ, безкорыстномъ трудѣ въ свою пользу....

Когда Петръ Васильичъ окончательно разоблачился, когда маска была сдернута съ лица его и Б* рѣшился оставить его изданіе, Петръ Васильичъ имѣлъ смѣлость печатно увѣрять публику, что Б* былъ въ его изданіи такъ, однимъ изъ обыкновенныхъ сотрудниковъ, что его удаленіе пройдетъ незамѣченнымъ, и прочее въ этомъ родѣ. Петръ Васильичъ пошелъ далѣе: убѣжденія человѣка, который далъ его журналу мысль

и значеніе, онъ безцеремонно усвоилъ себѣ, и гордился тѣмъ, что служилъ *честно* общественному дѣлу. Вотъ что называется загребать жаръ чужими руками, вотъ что такое разумѣю я подъ именемъ литературнаго промышленника!

XXVIII. НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО.

(Святочный разсказъ).

«Нѣтъ», думалъ я, лежа у камина наканунѣ Рождества:— «борьба съ духомъ времени нелѣпа и безумна. Увы! возвратиться къ прошедшему нельзя, его только можно воскрешать въ воспоминаніяхъ» — и мнѣ начинало мерещиться это прошедшее со всѣми его мелкими и почти невѣроятными въ наше время подробностями... Передо мною оживало и воскресало мое дѣтство...

Я видѣлъ старинный барскій домъ, набитый биткомъ многочисленною дворнею: буфетчиками, дворецкими, ѣздовыми исполинскаго роста, проживалками съ льстивыми ужимками и гримасами, ключницами, нянями, дѣвчонками, казачками... Я видѣлъ большую залу съ хорами, съ нѣсколько разщелившимся паркетнымъ поломъ; съ драпри на окнахъ, обшитыми шелковой хитросплетенной бахромой, повѣшенными на вызолоченныхъ палкахъ въ видѣ стрѣлъ; съ большими пыльными зеркалами въ простѣнкахъ, съ подстольями, изукрашенными бронзой и съ мраморными досками; гостиную съ симметрически расположенною мебелью; диванную съ альковомъ, съ круглымъ зеркальцомъ наверху, съ пышными подушками на диванахъ, обтянутыми блѣдно-зеленымъ штофомъ, съ бѣлыми узорами; столовую съ люстрой, увѣшанной стеклышками разныхъ формъ и величинъ, на которую я такъ любилъ смотрѣть, бывало, когда она зажигалась и стеклышки начинали переливаться радужными отливами; дѣвичью, изъ которой всегда раздавалось хихиканье и шушуканье; спальню, подходя къ которой всѣ поднимались на цыпочки и сдерживали дыханіе—и домашніе и гости, и господа и прислуга. Когда крѣпостныя дѣвочки, по очереди дежурившія въ этой комнатѣ у двери, отворяли завѣтную дверь и изъ нея выходила женщина высокаго роста, на высокихъ каблукахъ, въ небольшомъ

кружевномъ чепцѣ, съ строгими и повелительными чертами лица, одѣтая почти такъ, какъ на извѣстной гравюрѣ Императрица Екатерина, гуляющая въ Царскосельскомъ саду: въ длинномъ атласномъ брусничнаго цвѣта капотѣ, съ высокой таліей и съ пуговками отъ груди до пятъ; когда раздавался какъ-то особенно торжественно стукъ ея каблучковъ по паркету,—казалось, всѣ и одушевленные и неодушевленные предметы на пути ея приходили въ движеніе и тотчасъ же замирали. Стеклянныя балаболки на жирандоляхъ и люстрахъ, пробужденныя этими шагами, закачавшись и ударяясь другъ о друга, какъ бы привѣтствовали ее своимъ звономъ; проживалки растягивали рты, улыбались и глядѣли прямо въ глаза своей благодѣтельницѣ съ подобострастнымъ благоговѣніемъ, ибо она любила, чтобы ей смотрѣли прямо въ глаза. «Кто смотритъ мнѣ прямо съ глаза, у того совѣсть чиста», говаривала обыкновенно величественная барыня въ брусничномъ капотѣ, питавшая между прочимъ непоколебимую, безграничную довѣренность къ своему дворецкому, нагло обкрадывавшему ее, но всегда смѣло и прямо смотрѣвшему ей въ глаза. При видѣ ея, исполины (для барской прислуги, какъ въ гвардію, выбирались обыкновенно самые красивые и рослые люди изъ ея деревень) вздрагивали и вытягивали руки по швамъ; дѣвки, — когда барыня удостоивала входить въ дѣвичью, вскакивали съ мѣстъ своихъ, оставляли свою работу и кланялись ей въ поясъ; старый попугай — ея фаворитъ, когда она входила въ залу, начиналъ метаться въ своей мѣдной клѣткѣ и оглашалъ комнату четкимъ и пронзительнымъ крикомъ: «барыня идетъ! .. барыня идетъ!»

— Здравствуй, попка! говорила барыня, обращаясь къ клѣткѣ съ благосклонною улыбкою:—здоровъ ли ты, попочка?...

— Барыня... барыня! повторялъ попугай.

Слово: «барыня», отъ попугая до послѣдней судомойки, боязливо пробѣгало по всѣмъ губамъ, когда барыня поднималась съ своей кушетки, выходила изъ спальни и появлялась въ другихъ комнатахъ. У всѣхъ замирало сердце и всѣ шептали: «барыня идетъ!»

Только одинъ мой маленькій братъ, Петя, пользовался въ домѣ неограниченной свободой и безнаказанно кричалъ, шумѣлъ и бѣгалъ во всякое время въ бабушкину спальню.

Бабушка, приводившая все въ трепетъ и безусловно подчинявшая всѣхъ своему безпощадному деспотизму, сама подчинила себя волѣ восьмилѣтняго ребенка, на котораго она не могла налюбоваться и котораго называла обыкновенно полушутя и полусерьёзно «княземъ Петромъ», не зная ужъ какъ и чѣмъ возвысить его передъ другими.

Комната Пети была возлѣ спальни бабушки; до пяти лѣтъ Петю водили на помочахъ изъ боязни, чтобы ребенокъ не упалъ; до 9-ти лѣтъ онъ спалъ съ нянькой въ постелѣ, обложенный со всѣхъ сторонъ подушками, чтобы какъ нибудь вѣтеръ не пахнулъ на барченка или чтобы онъ не зашибъ головку; кромѣ няни, при Петѣ приставлены были двѣ проживалки, нѣсколько горничныхъ и дѣвчонокъ для его развлеченія и забавы... — У бабушки вмѣстѣ съ попугаемъ былъ еще и другой фаворитъ, старый и толстый котъ Ванька, имѣвшій лестную привиллегію, подобно Петѣ, забираться когда ему вздумается въ спальню бабушки и располагаться на какой угодно мебели. Какъ бы догадываясь, чѣмъ особенно заслужить благоволеніе своей госпожи, Ванька съ исключительною нѣжностью ласкался къ барчонку, терся около него и мурлыкалъ, глядя ему подобострастно въ глаза, не смотря на то, что отъ Пети иногда ему порядочно доставалось... Когда толстый Ванька околѣлъ отъ старости, отъ Пети это долго скрывали, потомъ объявили, но не вдругъ, а съ различными предосторожностями. Не смотря однако на всѣ мѣры, барченокъ поднялъ страшный вопль по всему дому, — всю почти дворню нагнали для развлеченія неутѣшнаго барчонка: проживалки вырѣзывали ему офицеровъ, дрожки и лошадей изъ картъ; дѣвки пѣли плясовыя пѣсни; дворецкій вертѣлъ шарманку; дѣвчонки прыгали передъ Петей — и сама бабушка, хлопая въ ладоши, поводила плечами и подплясывала, постукивая своими каблучками и съ умиленіемъ поглядывая на ненаглядняго внучка... Матушка послана была бабушкою для покупки новыхъ игрушекъ, хотя вся комната Пети и безъ того завалена была всякими игрушками. Бабушка держала своего любимца въ отдаленіи отъ матери; бабушка какъ будто ревновала ее къ нему. Ей не позволялось вмѣшиваться ни въ какія распоряженія касательно сына — и если бабушкѣ иногда казалось, что матушка строго взглянула на Петю, въ

такомъ случаѣ бабушка дня два, три и даже болѣе отворачивалась отъ матушки, не говорила съ ней ни слова, и когда матушка подходила къ ея рукѣ, съ гнѣвомъ отрывала отъ нея свою руку. Если кто изъ прислуги хотѣлъ заслужить милостивое слово, или быть осчастливленнымъ одобрительной улыбкою, тотъ долженъ былъ какъ можно болѣе обнаруживать угодливости и подобострастія передъ внучкомъ-барчонкомъ, и фаворитъ внучка дѣлался фаворитомъ бабушки. Вся дворня чуть не ползала передъ нимъ... Гости и родственники, заискивавшіе въ бабушкѣ, старались угождать ему и не осмѣливались пріѣзжать, особенно въ праздники, безъ конфектъ и игрушекъ.

Однажды, въ день именинъ бабушки, богатая и близкая родственница ея прислала съ ней съ поздравленіемъ свою бѣдную родственницу, исправлявшую въ ея домѣ обязанности высшей ключницы и надзирательницы. Бѣдная родственница должна была представить отъ имени своей благодѣтельницы подарокъ бабушкѣ — очень богатый по тогдашнему времени диванъ на пружинахъ, работы Гамбса-отца. Бабушка приняла поздравленія и диванъ благосклонно и указала мѣсто, куда поставить его. Только-что диванъ былъ поставленъ, Петя вскочилъ на него, началъ бѣгать по немъ взадъ и впередъ и качаться на пружинахъ. Бѣдная родственница, дама суроваго нрава и строгихъ правилъ, обыкновенно саморучно расправлявшаяся съ подчиненными ей душами мужескаго и женскаго пола, съ крѣпостными дѣвками и съ родными племянницами и не терпѣвшая никакихъ безпорядковъ,—схватила Петю за ухо и стащила его съ дивана. Ничего подобнаго никогда не случалось съ Петей, никто ни изъ близкихъ, ни изъ постороннихъ не осмѣливался дотрогиваться до него иначе, какъ съ ласкою; барчонокъ такъ взвизгнулъ, что весь домъ вздрогнулъ въ испугѣ, а бабушка, поблѣднѣвъ, вскочила съ своихъ волтеровскихъ креселъ и ринулась на этотъ визгъ...

— Что съ тобой, мой голубчикъ? Что такое случилось? раздавался голосъ бабушки... Вѣрно ребенокъ ушибся!... Гдѣ же эти мамки, няньки, вся эта сволочь, всѣ эти дармоѣды?... Чего они смотрятъ?...

Все замерло при этихъ звукахъ. Бабушка остановилась и грозно, безпокойно оглянула комнату, изъ которой раз-

дался визгъ; схватила внучка на руки и начала обнимать и цѣловать его.

— Что съ тобою, мое сокровище? повторяла она нѣжнымъ шопотомъ: — не испугался ли ты чего нибудь, ангелъ мой? И въ то время, какъ губы ея шептали эти нѣжныя, ласковыя рѣчи, бровь ея хмурилась и глаза бѣгали изъ угла въ уголъ комнаты, какъ бы доискиваясь причины, кто осмѣлился обезпокоить ея любимца.

— Это вотъ она, бабушка, забормоталъ внучекъ, снова начиная всхлипывать и указывая пальцемъ на даму, пріѣхавшую съ диваномъ и съ поздравленіемъ: — она выдрала меня за уши и стащила съ дивана.

Бабушка отдала внучка на руки няни. Съ минуту смотрѣла она на свою бѣдную родственницу, измѣряя ее презрительно съ ногъ до головы; губы и руки бабушки дрожали; казалось, неудержимый потокъ гнѣвныхъ словъ готовъ былъ разразиться надъ головою совершившей преступленіе; люди, присутствовавшіе при этой сценѣ, мысленно творили крестное знаменіе и думали что-то будетъ?... Въ этой минутѣ тишины дѣйствительно было что-то страшное.

Но бабушка только подняла повелительно руку, указала пальцемъ на дверь, и съ усиліемъ произнесла:

— Вонъ, сейчасъ вонъ изъ моего дома, чтобы и духу твоего здѣсь никогда не было... Слышишь ли?

Гнѣвъ задушалъ ее. Она не могла высказать всего того, что накипѣло въ ней въ эту минуту.

И когда бѣдная родственница разинула ротъ, вѣроятно для оправданій,—бабушка затопала только каблуками и повторила глухо: «Вонъ, вонъ!»

За тѣмъ она отдала приказаніе дворецкому, чтобы диванъ тотчасъ же былъ вынесенъ и отправленъ назадъ съ тою, которая привезла его.

— И его чтобы духу не было, — произнесла она въ заключеніе.

Вслѣдствіе этого происшествія, бабушка поссорилась съ своей богатой родственницей и болѣе года не допускала къ себѣ ея посланницу.

Утромъ, просыпаясь въ одно время съ своимъ внучкомъ, бабушка употребляла обыкновенно болѣе часа на туалетъ,

потому что она умывалась и одѣвалась, или, лучше сказать, ее умывали и одѣвали съ большими церемоніями. И когда раздавался утренній звонокъ, такъ знакомый всему дому, весь домъ приходилъ въ волненіе. Камеръ-юнгфера бабушки, Анна Михайловна, первая входила въ спальню въ сопровожденіи двухъ дѣвокъ и двухъ дѣвчонокъ. Анна Михайловна подходила почтительно къ высокой постели, на которой еще лежала бабушка, произнося шопотомъ молитвы и осѣняя себя мелкими крестами. Аннушка молча и недвижно останавливалась, покуда оканчивалась барская молитва, и потомъ уже кланялась барынѣ низко, когда барыня, зѣвнувъ громогласно, оборачивала къ ней голову.

— Ну что, Аннушка, спрашивала обыкновенно бабушка, продолжая кряхтѣть, тянуться и слегка, но также вслухъ, позѣвывать:—что на дворѣ?

Послѣ отвѣта на этотъ вопросъ, бабушка приподнималась съ постели съ помощью Аннушки.

Въ это время двѣ другія горничныя: самая младшая, занимавшаяся глаженьемъ бѣлья, съ накрахмальной юбкой въ рукѣ, и другая постарше, состоявшая уже въ званіи швеи, съ бабушкинымъ утреннимъ балахономъ — стояли поодаль у двери, вмѣстѣ съ двумя дѣвчонками.

Когда бабушка съ высокой скамейки, стоявшей у постели, ступала ногою на полъ, — швея, кланяясь бабушкѣ, передавала балахонъ ея камеръ-юнгферѣ, а камеръ-юнгфера надѣвала его на бабушку. Всѣ пять присутствовали во все время ея туалета, но кромѣ камеръ-юнгферы никто изъ нихъ не прикасался къ бабушкѣ, остальныя только помогали Аннушкѣ, передавая ей юбки, шемизетки, чепчики, поднося булавки и прочее...

Бабушка только иногда строго и искоса посматривала на нихъ своимъ проницательнымъ взглядомъ и потомъ дѣлала замѣчанія Аннушкѣ:

— Что это Палашка-то какъ раздулась? а?... отчего это?... ты смотри за ней—ужъ не пошаливаетъ ли она? чтобы у меня въ домѣ никакого срама не было — слышите? я не терплю этого, — у меня, вы знаете, расправа коротка: велю высѣчь, выстричь косу и отправлю въ деревню на скотный дворъ.

Дѣвки и лакеи боялись Аннушки, какъ огня, льстили ей, ухаживали за нею и дѣлали ей всевозможныя угожденія, потому что Аннушкѣ стоило сказать барынѣ одно слово на кого нибудь изъ нихъ, на лакея или на дѣвку — у лакея тотчасъ же обривался лобъ, а у дѣвки обстригалась коса...

Когда бабушка оканчивала свой туалетъ, она отправлялась въ дѣтскую къ внучку обнять его, или внучекъ прибѣгалъ къ ней, цѣловалъ и поздравлялъ ее съ добрымъ утромъ... Затѣмъ она вмѣстѣ съ нимъ отправлялась въ комнату, которая называлась чайною, и сама разливала чай для себя и для внучка. За чаемъ бабушка обращала иногда такую рѣчь къ внучку:

— Красавецъ ты мой милый!... За этимъ восклицаніемъ слѣдовалъ вздохъ и нѣжный взглядъ на внучка: — не приведетъ мнѣ Богъ увидѣть тебя, когда ты выростешь, будешь большой, въ блескѣ, въ почестяхъ.

Бабушка произносила это элегическимъ тономъ и кивала печально головою...

Когда воображеніе бабушки переносилось въ будущее, Петя представлялся ей не иначе, какъ сказочнымъ красавцемъ, который невольно заставляетъ страдать всѣхъ дѣвицъ и дамъ, и первымъ умникомъ въ государствѣ, на котораго такъ и сыплются различныя награды и почести. И чѣмъ болѣе разгорячалась фантазія бабушки, тѣмъ великолѣпнѣе и блестящѣе являлся передъ нею Петя: онъ весь зашитъ въ золотѣ, весь завѣшанъ и ушпиленъ звѣздами и орденами; у него красавица жена изъ самаго знатнаго рода; нѣсколько тысячъ душъ; до ста человѣкъ дворни; два гайдука на запяткахъ; арапъ, обернутый турецкою шалью...

И бабушка улыбалась этой блестящей картинѣ и шептала про-себя: «каковъ мой князь Петръ!» какъ будто все это уже осуществилось.

— Ахъ-ахъ-ахъ! продолжала бабушка, обращаясь къ нянѣ, которая стояла за стуломъ барчонка: — намъ съ тобой, няня, не дождаться до этого счастія.

— Отчего же, матушка-сударыня? Господь Богъ милостивъ; можетъ быть вы и дождетесь до этого...

— Отчего же, сударыня? вторила Аннушка, стоявшая за кресломъ барыни.

— Нѣтъ, люди не живутъ два вѣка, строго возражала бабушка: — но меня утѣшаетъ по крайней мѣрѣ то, что ему будетъ *чѣмъ* вспомянуть бабушку: что онъ будетъ имѣть средства беззаботно прожить весь вѣкъ барономъ.. Бабушка все тебѣ приготовитъ, голубчикъ, и при этомъ бабушка гладила Петю по головкѣ: — и о подаркахъ для невѣсты твоей тебѣ нечего будетъ думать — все готово... Принеси-ка, Аннушка, брильянты-то...

Брильянты являлись на столѣ, — бабушка вынимала изъ сафьянныхъ коробокъ эсклаважи, фермуары, булавки, нити жемчуга, опалы, изумруды, яхонты, и все это загоралось при солнечныхъ лучахъ разноцвѣтными, чудными огнями, и Петя, ослѣпленный фантастическимъ переливомъ этихъ радужныхъ огней, прыгалъ отъ восторга.

— И это все твое! произносила въ заключеніе бабушка.

— И мы всѣ твои, голубчикъ! вторили няня и Аннушка, кланяясь барчонку...

Послѣ чая бабушка отправлялась прогуливаться со внучкомъ. На внучка надѣвали шубу, въ уши его втыкали паклю или вату, мѣховую шапку надвигали на глаза, шею обвязывали теплымъ платкомъ, на ножки надѣвали теплые сапоги; бабушка облекалась въ теплый капотъ, отороченный мѣхомъ, брала въ руку большую камышевую палку съ золотымъ набалдашникомъ, на которомъ былъ вырѣзанъ ея гербъ, и отправлялась гулять съ внучкомъ. Сзади ихъ шли два лакея исполинскаго роста, въ травянаго цвѣта ливреяхъ съ нѣсколькими воротниками, обшитыми гербовымъ басономъ, въ высокихъ трехъугольныхъ шляпахъ и ѣхала высокая четырехмѣстная карета желтаго цвѣта, запряженная четверней на выносъ, съ высокимъ выбритымъ форейторомъ, у котораго въ волосахъ и бородѣ пробивалась уже сѣдина, но котораго бабушка называла еще все мальчикомъ... Шествіе бабушки съ внучкомъ по высокимъ деревяннымъ мосткамъ (тогда еще не на всѣхъ улицахъ въ Петербургѣ были каменные тротуары) было торжественно и медленно. При каждомъ спускѣ съ мостковъ, у воротъ, одинъ изъ исполиновъ бралъ барчонка на руки и переносилъ его на другую сторону мостковъ, потомъ возвращался къ барынѣ и тогда вмѣстѣ съ другимъ лакеемъ осторожно бралъ барыню подъ локти при каждомъ подъемѣ.

Когда кто нибудь шелъ на встрѣчу бабушки, она обыкновенно нѣсколько хмурила брови и выставляла палку впередъ, указывая, чтобы шедшій не безпокоилъ ея и обошелъ бы ея, сойдя съ мостковъ. На возвратномъ пути бабушка съ внучкомъ садилась въ карету, и садясь въ карету, бабушка ежедневно повторяла подсаживающимъ ее лакеямъ:

— Скажите, чтобы ѣхали тише, осторожнѣе; да чтобы *мальчикъ* смотрѣлъ чаще назадъ на кучера и вытягивалъ хорошенько постромки, а то онъ все путается.

Послѣ обѣда въ диванной зажигались четыре свѣчи подъ зонтикомъ: бабушка ложилась на диванъ въ альковѣ, а одна изъ очередныхъ проживалокъ являлась съ газетой и начинала читать однозвучнымъ голосомъ. Бабушка въ началѣ всегда нѣсколько разъ перебивала чтеніе:

— Громче! говорила она:—я не слышу... да не торопись... тебя никто не погоняетъ... громче!...

И когда проживалка возвышала голосъ, бабушка, нѣсколько уже ослабѣвающимъ голосомъ, потому что ее начинала долить дрема, произносила:

— Тише... тише... какъ разоралась!... вѣдь я не глухая.

Вскорѣ послѣ этого раздавалось тонкое храпѣнье... проживалка смолкала, затаивала дыханіе и оставалась неподвижною съ газетою въ рукѣ до тѣхъ поръ, пока бабушка просыпалась и восклицала:

— Ну, что жъ ты остановилась? я слушаю.

Бабушка никакъ не хотѣла обнаружить, что она вздремнула, и когда одна изъ неопытныхъ проживалокъ осторожно замѣтила ей: «вы изволили заснуть», бабушка очень изволила разсердиться и вскрикнула:

— Пошла вонъ, дурища!... Пошли мнѣ кого нибудь поумнѣе себя...

Барчонокъ всегда ложился въ 11 часовъ и бабушка постоянно присутствовала при его раздѣваніи, сама укладывала его въ постель и крестила его. Послѣ этого за двѣ комнаты отъ дѣтской вся дворня ходила на цыпочкахъ и не смѣла говорить даже шопотомъ, а объяснялась одними жестами.

Гости и родственники обоего пола, пріѣзжавшіе къ бабушкѣ съ визитами, зная ея причуды, капризы и вспыльчивый нравъ, вели себя съ крайнею осторожностью; не смотря

на это, неожиданныя и оскорбительныя выходки бабушки, какъ громъ, разражались надъ ними.

Бабушка выгнала изъ своей комнаты своего племянника генерала со звѣздами за то, что онъ въ разговорѣ съ нею осмѣлился прислониться къ спинкѣ креселъ и положилъ ногу на ногу и три мѣсяца послѣ этого не допускала его къ себѣ.

Однажды, долго и пристально смотря на пріѣхавшую къ ней съ визитомъ барыню, безобразной наружности, кокетливую старуху, одѣтую безъ вкуса и съ большими претензіями, бабушка закричала:

— Дѣвочка, принеси ко мнѣ изъ спальни мое маленькое зеркальцо.

Дѣвочка исполнила ея волю. Бабушка взяла зеркальцо, поднесла его къ пріѣхавшей дамѣ и сказала, улыбаясь:

— Посмотрись, матушка, въ это зеркало... ну, къ твоему ли лицу такіе наряды, скажи по совѣсти?...

Но вотъ страшная сцена, которую я какъ будто теперь вижу...

По желанію бабушки устроился пикъ-никъ на ея дачѣ... съѣхалось множество гостей. Бабушка во все время была въ особенно веселомъ и милостивомъ расположеніи духа. Танцовали до часу послѣ полуночи. Въ часъ бабушка приказала подавать экипажи. Въ ожиданіи отъѣзда, всѣ гости столпились въ большой залѣ. Бабушка стояла на первомъ планѣ съ своею тростью въ рукѣ. Вдругъ является на сцену Аннушка, подходитъ къ бабушкѣ, почтительно наклоняется къ ея уху и что-то шепчетъ... Бабушка измѣняется въ лицѣ... Аннушка исчезаетъ.

— Александръ Иванычъ! Гдѣ вы? пожалуйте сюда! — восклицаетъ бабушка, принимая грозную и торжественную позу.

Всѣ стихаютъ при этомъ голосѣ, въ предчувствіи чего-то необыкновеннаго.

Александръ Иванычъ, родной племянникъ бабушки, тридцатилѣтній господинъ, выступаетъ не безъ боязни впередъ.

— Я здѣсь, тетушка, — говоритъ онъ: — что изволите приказать?

И подходитъ къ ней.

— Правда ли, говоритъ она:—что вы изволите самовольно распоряжаться съ моими людьми?

Племянникъ разѣваетъ ротъ, чтобы отвѣчать, но бабушка прерываетъ его, громко ударяя своей палкой объ полъ.

— Молчать!... Правда ли, что вы осмѣлились ударить моего кучера?... отвѣчайте теперь.

— Онъ нагрубилъ мнѣ тетушка; онъ...

— Отвѣчайте, правда ли, что вы ударили его? перебиваетъ бабушка, возвышая голосъ.

— Да, я ударилъ его, потому что...

Но бабушка не дослушиваетъ, палка выпадаетъ у нея изъ руки, рука ея замахивается и раздается оплеуха на всю залу. Всѣ гости вздрагиваютъ... Племянникъ скрывается въ толпѣ, а бабушка кричитъ вслѣдъ ему:

— Помните же, что моихъ людей никто не осмѣливается бить, кромѣ меня самой...

Всѣ гости разъѣзжаются въ ужасѣ, а бабушка какъ ни въ чемъ не бывало, съ спокойнымъ достоинствомъ обращается къ Петѣ и начинаетъ его ласкать и закутывать...

И давно ли все это совершалось? Еще сорока лѣтъ не прошло отъ этой оплеухи, но все это кажется въ сію минуту уже чѣмъ-то невѣроятнымъ, чуть не баснословнымъ... Можетъ быть, и многое изъ того, что совершается теперь, покажется также черезъ сорокъ лѣтъ баснословнымъ... кто знаетъ?

Въ такихъ размышленіяхъ, потягиваясь, я поднялся съ дивана и подошелъ къ окну. На улицѣ ни снѣжинки, на небѣ ни облачка, заря охватываетъ багровымъ свѣтомъ весь закатъ и изъ тысячи печныхъ трубъ завитыми столбами поднимается надъ городомъ дымъ въ багровыхъ сумеркахъ. Отчего же не скрипятъ полозья по замерзшему, блестящему искрами снѣгу?... Отчего на оконныхъ стеклахъ рождественскій морозъ не расписалъ своихъ фантастическихъ узоровъ?... Неужели жъ это Рождественскій сочельникъ? Да и какимъ образомъ теперь можетъ быть вечерняя заря, когда я въ сочельникъ за полночь просидѣлъ съ моимъ товарищемъ у камина?... Развѣ время идетъ раковымъ шагомъ?... Неужели старовѣры, рутинеры и эгоисты побѣдили духъ времени и заставили его идти назадъ?... Какъ это ни казалось нелѣпо, однако отъ этой мысли мнѣ сдѣлалось душно и страшно...

Я почувствовалъ невыносимую тяжесть на сердцѣ, а между тѣмъ все становилось темнѣй и темнѣй. Багровый закатъ потухъ, непроницаемый туманъ застилалъ улицы, въ окнѣ не видно было ни зги... я хотѣлъ встать, но ноги мои едва передвигались, какъ будто къ нимъ были привязаны гири... Отъ этого мнѣ сдѣлалось еще страшнѣе... Что все это значитъ? подумалъ я, пройдя нѣсколько шаговъ во тмѣ, повалился на что-то какъ снопъ и заснулъ... Долго ли я такъ спалъ, не знаю, но это былъ свинцовый сонъ... вдругъ я почувствовалъ на груди моей холодную и тяжелую руку... я усиливался поднять отяжелѣвшія вѣки, но не могъ; мучительная тоска вмѣстѣ съ страхомъ томили меня... наконецъ я приподнялъ вѣки... дрожь пробѣжала по всему моему тѣлу... Передо мною стояла бабушка въ своемъ кружевномъ чепцѣ и брусничномъ капотѣ съ высокой таліей... я хотѣлъ вскрикнуть, но не могъ...

— Гдѣ мой Петя? что вы съ нимъ сдѣлали? произнесла она тѣмъ гнѣвнымъ голосомъ, отъ котораго я ребенкомъ прятался въ подушки и который я тотчасъ узналъ, не смотря на то, что сорокъ лѣтъ не слыхалъ его: — отвѣчай, гдѣ мой Петя?

Сердце мое сильно билось... я смотрѣлъ на бабушку, ничего не понимая. Это точно она: но она давно уже умерла; какимъ же образомъ она теперь передо мною?

— Петя?... сказалъ я съ удивленіемъ... Но онъ давно лежитъ рядомъ съ вами, бабушка!...

— Это вы его погубили изъ зависти къ его уму, красотѣ и богатству... вы свели его въ могилу преждевременно. Вы его убійцы... Вы отдадите за него отчетъ Богу! произнесла она, поднимая руку и грозя мнѣ.

Жизнь моего брата, со всѣми ея мучительными подробностями, воскресла въ моей памяти. Въ эту минуту я смотрѣлъ на бабушку уже безъ страха; я даже радъ былъ, что она встала изъ своей могилы, вышла изъ своего мраморнаго саркофага съ бронзовыми гербами и явилась передо мною, — мнѣ хотѣлось ей многое высказать по поводу брата.

— Не мы погубили его, началъ я смѣло:—его погубила жизнь, къ которой онъ не былъ приготовленъ; его погубили вы, бабушка, своею горячею, искреннею, но неразумною

любовью. Вы, конечно, не виноваты въ этомъ: вы разсматривали жизнь, какъ наслажденіе, какъ вѣчный пиръ для немногихъ избранныхъ; вы не подозрѣвали, добрая бабушка, что жизнь есть движеніе, борьба, и что горе тому, кто не приготовленъ къ этой борьбѣ; вы добродушно вѣровали, что міръ окаменѣлъ въ вашихъ формахъ; что ваше величіе неприкосновенно, что ему не будетъ конца, и что все создано Богомъ только для удовлетворенія вашихъ прихотей... Вы сдѣлали изъ вашего баловня и любимца не человѣка, а нарядную куклу; вы задушили въ немъ всякую энергію, всякую волю, всякое свободное проявленіе мысли, всякое самостоятельное движеніе, всякую самостоятельную, разумную дѣятельность; вы, съ той минуты, какъ его отняли отъ груди, толковали ему только о томъ, что ему не о чемъ заботиться, не о чемъ думать, потому что за него заботятся и думаютъ другіе; что онъ, какъ существо избранное, высшее, только долженъ сидѣть или лежать, сложа свои бѣлыя барскія ручки, и не прикасаться ни къ какому труду, потому что трудъ— не барское дѣло; вы на всю жизнь спеленали ему руки и ноги, и вообразили, что его всю жизнь будутъ водить на шелковыхъ помочахъ...

Бабушка смотрѣла на меня вопросительно и печально, какъ на безумнаго, не понимая ни слова изъ того, что я сказалъ. Я продолжалъ, разгорячаясь болѣе и болѣе:

— Вы развили въ немъ предразсудки своей касты, привычки и прихоти, вы сдѣлали его ни на что неспособнымъ, слабымъ, боязливымъ, безсильнымъ, общественнымъ трутнемъ, жалкимъ эгоистомъ, занятымъ только собою и своими удовольствіями; вы полагали, что вы застраховали его отъ всѣхъ невзгодъ, вполнѣ обезпечили его существованіе своими деревнями, своими брильянтами, серебромъ и ломбардными билетами; а когда эти деревни, брильянты и серебро пошли съ молотка; когда эти билеты были размѣнены на различныя наслажденія, удобства и прихоти,—вашъ внучекъ вдругъ очутился безсильный, безоружный, лицомъ къ лицу съ жизнію. Ему оставалось на выборъ — или смерть, или безчестное существованіе, или честный трудъ... О, если бы вы видѣли, бѣдная бабушка, его внутреннія страданія, горькое сознаніе собственнаго безсилія и неспособности ни къ чему, его отчаяніе

и слезы; если бы вы слышали его жалобы и упреки тѣмъ, которые довели его до этого нравственнаго растлѣнія и разслабленія, вы содрогнулись бы въ вашемъ гробѣ, добрая бабушка!... Онъ не могъ вынести борьбы съ жизнію и сломился отъ перваго ея прикосновенія... О, если бы вы знали, добрая бабушка, сколько переворотовъ совершилось безъ васъ въ теченіе этихъ сорока лѣтъ! Какъ страшно измѣнилась жизнь! Сколько новыхъ потребностей возникло!... Вашъ старый порядокъ дряхлѣетъ съ каждой минутой... Для новаго порядка нужны новые люди, а вашъ внучекъ былъ однимъ изъ послѣднихъ барчонковъ. Миръ его праху!

Когда я кончилъ, бабушка гордо и грозно выпрямилась во весь станъ и бросила на меня уничтожающій, презрительный взглядъ.

— Если таковы ваши новыя разсужденія и понятія, произнесла она: — то я благодарю Бога, что ни меня, ни его нѣтъ на свѣтѣ. Между нами и вами нѣтъ ничего общаго. Я родилась барыней и сошла въ могилу барыней. Онъ—дитя моего сердца, не могъ измѣнить своей породѣ и унизиться до вашихъ новыхъ понятій. Благодареніе Богу, соединившему меня съ нимъ...

И мнѣ показалось въ эту минуту, что я стою на богатомъ кладбищѣ, съ тщеславными монументами и надписями.

— Для чего же, сказалъ я невольно, вслухъ: — эти бронзы и мраморы, эти гербы и титла на нивѣ Господней?... Развѣ смерть не сглаживаетъ всѣ жизненныя отличія и не равняетъ всѣхъ?...

— Безумецъ! произнесла бабушка съ ядовитою и холодною ироніею, отчего ея блѣдное, мертвое лицо приняло ужасающее выраженіе: — безумецъ! Ты не понимаешь, что чувства родоваго достоинства и гордости переживаютъ смерть... Они переходятъ наслѣдственно. Со смертію моего Пети, нашъ родъ кончился, потому что ты не достоинъ носить своего имени!

И произнеся это, бабушка бросила на меня уничтожающій взглядъ, вошла гордо и торжественно подъ мраморные своды своего мавзолея, украшеннаго гербами, и опустилась въ могилу, призывая имя своего внучка, имя послѣдняго барчонка...

Я сознавалъ, что это сонъ, хотѣлъ — и никакъ не могъ проснуться... Мои усилія были мучительны, сердце мое страшно билось... Наконецъ мнѣ показалось, что я открываю глаза.

Блескъ свѣчь и лампъ поразилъ меня... Что же все это значитъ? думалъ я... Гдѣ я? Что это за комнаты, совершенно незнакомыя мнѣ? Кто эти лица?...

И, не смотря на бальный блескъ, мнѣ еще все было страшно и дико, и сердце мое билось болѣзненно.

Я сѣлъ въ уголъ, боясь быть замѣченнымъ, и началъ съ волненіемъ наблюдать за лицами, сидѣвшими и расхаживавшими по этимъ блестящимъ и роскошно разубраннымъ комнатамъ.

Мнѣ сдѣлалось еще страшнѣе, когда въ этихъ лицахъ я узналъ порожденія собственной фантазіи: различныхъ почетныхъ лицъ: маменьку, сбывающую съ рукъ дочекъ и надувающую своихъ зятей; довольно сильную и чиновную особу, выгнавшую изъ службы бѣднаго Кондратія Иваныча; пріятелей молодости его превосходительства, незабвенной памяти знаменитаго петербургскаго Монте-Кристо, наглаго Нѣмца-музыканта, Литературнаго Промышленника, Талантливую Натуру, оканчивающую свое поприще въ Лопухинкѣ, — очаровательныхъ Шарлоту Ѳедоровну, Луизу, Армансъ, Берту и прочихъ,—наконецъ даже моего лакея, служившаго въ *хорошихъ* домахъ, и прочіе, и прочіе.

Почтенныя лица сидѣли въ сторонѣ отъ другихъ на видныхъ мѣстахъ, вмѣстѣ съ довольно сильной, чиновной особой, знаменитымъ петербургскимъ Монте-Кристо и маменькой, надувающей своихъ зятей... Нѣсколько въ почтительномъ отдаленіи отъ сей сановной компаніи находились пріятели молодости довольно сильной особы: Иванъ Ильичъ Нефедьевъ со свистомъ во рту и со Станиславомъ на шеѣ и Василій Васильичъ Прокофьевъ съ увлекательнымъ даромъ краснорѣчія, съ танцмейстерскими манерами и съ Анной на шеѣ... Оба они внимали рѣчамъ ихъ превосходительствъ въ благоговѣйномъ экстазѣ, съ какимъ слушаютъ знатоки музыки Моцартоваго «Донъ-Жуана». Только Сергѣй Ѳедорычъ Брусковъ подходилъ ко всѣмъ группамъ, прислушивался ко всему, покачивалъ значительно головою и иронически улыбался... Въ другой комнатѣ, похожей на будуаръ, обтянутой свѣтло-голу-

бой шелковой матеріей, съ креслами и диванами изъ розоваго дерева, съ медальонами изъ севрскаго фарфора, въ живописныхъ позахъ и въ неизмѣримыхъ кринолинахъ сидѣли и полулежали: Шарлота Ѳедоровна, Луиза, Армансъ и Берта и прочія. Около *этихъ* дамъ вертѣлись наглый Нѣмецъ-музыкантъ и лопухинская Талантливая Натура. Литературный Промышленникъ, попавшій не въ свое общество, чувствовалъ себя какъ-то неловко, вертѣлъ шляпу и изъ-за портьера пожиралъ своими многозначительными и вводящими въ обманъ глазами очаровательныхъ Шарлотъ, Луизъ и проч., и все думалъ, какъ бы заговорить съ которой нибудь изъ нихъ, но не рѣшался, чувствуя себя для этого не достаточно свѣтскимъ и утонченнымъ. . Мой лакей, служившій въ *хорошихъ* домахъ, въ бѣломъ, отлично повязанномъ галстукѣ, стоялъ при входѣ въ первую комнату съ чувствомъ своего лакейскаго достоинства и посматривая на нѣкоторыхъ лицъ съ подозрѣніемъ, шепталъ про-себя: «Этихъ господъ я что-то не видалъ въ *хорошихъ* домахъ. *Хорошихъ* господъ я всѣхъ знаю, — это все что-то не то!»

— Я, ваше превосходительство, говорила довольно сильная особа, обращаясь особенно къ одному изъ почетнѣйшихъ — (его превосходительство всѣмъ почетнѣйшимъ всегда говорилъ ваше превосходительство, а тѣ, въ свою очередь, платили ему тѣмъ же). Я не понимаю нынѣшняго направленія, и не знаю, куда мы идемъ. Возьмите, напримѣръ, хоть нынѣшнихъ молодыхъ людей — они грубы, заносчивы, не оказываютъ ни малѣйшей атенціи старшимъ; кричатъ при старшихъ, разваливаются; вкось и вкривь толкуютъ о разныхъ предметахъ, для обсужденія которыхъ нужна зрѣлая опытность... На гуляньяхъ появляются открыто съ извѣстными женщинами, и въ театрахъ безъ всякаго стыда подходятъ къ ихъ бенуарамъ, не смотря на то, что тутъ же въ театрахъ дамы высшаго общества, наконецъ, ихъ собственныя сестры и матери... Помилуйте, на что же это похоже? и мы были молоды, и мы позволяли себѣ шалости, но все это дѣлалось въ извѣстныхъ предѣлахъ, украдкой, втихомолку...

— Такъ, такъ; именно; да, да... хоромъ подтверждали ихъ превосходительства.

— Посмотрите, продолжалъ его превосходительство: —

какъ обращаются нынче молодые люди съ дамами и, прибавлю къ этому, какъ нынѣшнія дамы ведутъ себя... Гдѣ же нравственность? Это ужасно!

— Ужасно! повторила на французскомъ языкѣ нравственная маменька, выталкивающая дочерей изъ дому и надувающая зятей.—Ужасно!

— Горько, очень горько!... Его превосходительство вздохнулъ, вынулъ изъ кармана золотую табакерку рококо и понюхалъ: — горько именно потому, что нравственность страдаетъ, наша молодежь попираетъ преданіе, пренебрегаетъ обычаями отцовъ,—о настоящей гордости понятія не имѣетъ: дѣти почтенныхъ отцовъ, столбовыхъ дворянъ заводятъ знакомства чортъ знаетъ съ какими людьми: съ актерами, музыкантами, сочинителями,—словомъ, съ самымъ развращеннымъ классомъ, и въ этомъ постыдномъ обществѣ набираются безнравственныхъ правилъ и самыхъ зловредныхъ мыслей... Можно ли же, спрашивается, отъ такого безнравственнаго поколѣнія ждать проку?... Было ли что нибудь подобное въ наше время?... Безъ прочной нравственности, которая должна быть, такъ сказать, основою жизни, общество не можетъ держаться.

— Безъ всякаго сомнѣнія! воскликнули съ живостью ихъ превосходительства.

Василій Васильичъ Прокофьевъ, съ ловкостью, сдѣлавшею бы честь любому танцмейстеру, сдѣлалъ chassé en avant и воскликнулъ нѣсколько нараспѣвъ:

— Какія высокія мысли, ваше превосходительство! Все это надобно бы напечатать золотыми буквами!

Нравственная маменька, надувающая своихъ зятей, пожала руку краснорѣчивому генералу, и съ чувствомъ произнесла по-французски:

— Благодарю васъ! Ахъ, какъ отрадно слушать, что̀ вы говорите!—и при этомъ отъ себя прибавила нѣсколько высокихъ нравственныхъ разсужденій.

Знаменитый петербургскій Монте-Кристо былъ также до глубины тронутъ нравственною рѣчью его превосходительства и пригласилъ его къ себѣ на другой день откушать. Его превосходительство съ чувствомъ принялъ это приглашеніе, пожалъ руку Монте-Кристо, и прекрасное лицо его приняло при этомъ сладкое выраженіе, какъ бы предвкушая заранѣе

утонченный и роскошный обѣдъ. Его превосходительство при этомъ случаѣ, съ свойственнымъ ему краснорѣчіемъ, распространился объ изящномъ вкусѣ, объ умѣньи жить и тратить деньги *истинно по-барски* и о возвышенныхъ качествахъ ума и сердца Монте-Кристо. Всѣ окружавшіе были тронуты этими рѣчами и почти сквозь слезы умиленія смотрѣли на Монте-Кристо, который самъ чуть не прослезился при такомъ высокомъ вниманіи къ нему значительныхъ и нравственныхъ особъ. Послѣ этого его превосходительство обратился къ другому его превосходительству, и сказалъ шопотомъ, незамѣтно поводя глазомъ на Монте-Кристо:

— Какой прекрасный, истинно достойный и высоконравственный человѣкъ!.. Конечно, онъ имѣетъ свои слабости, но кто же ихъ не имѣетъ?... А эти слухи, которые о немъ ходятъ въ городѣ—все это пустяки, сплетни, распространяемыя злонамѣренными и безнравственными людьми.

— Это новѣйшій чародѣй,—произнесъ съ улыбкой Брусковъ, подходя къ Монте-Кристо и опуская руку на его плечо: — современный Каліостро, великій магикъ, сотни и тысячи рублей превращающій въ мильоны!

Монте-Кристо скрылъ непріятное впечатлѣніе, произведенное на него этими двусмысленными рѣчами, подъ принужденной улыбкой и произнесъ сквозь зубы, кивнувъ головой на Брускова:

— Шутникъ!

Но въ эту минуту женскій веселый смѣхъ, восклицанія и крики удивленія раздались изъ другой комнаты изъ той, въ которой сидѣли очаровательнѣйшія Шарлоты, Луизы и прочія. Я незамѣтно пробрался по стѣнкѣ и спрятался между дверьми въ портьерахъ.

Восхитительнѣйшая картина поразила меня. Свѣтлоголубой будуаръ, гдѣ сидѣли *эти* дамы, оказался палаткою на колесахъ, поставленною въ огромной роскошной залѣ. Никто въ началѣ не подозрѣвалъ этого. То былъ сюрпризъ, устроенный для *этихъ* дамъ ихъ обожателями: пламенными откупщиками, молодыми дикими купчиками, проматывающими наслѣдіе своихъ бородатыхъ родителей, и почетными, вѣчно юными старцами.

Въ условленную минуту шелковыя стѣны будуара-палатки

открылись со всѣхъ сторонъ, и неизмѣримый залъ, освѣщенный мильонами огней, открылся передъ изумленными взорами присутствовавшихъ. По срединѣ залы стояла исполинская ёлка, каждая вѣтка которой могла равняться по толщинѣ пятидесятилѣтнему дереву. Елка занимала собою почти всю неизмѣримую залу, и на ней были повѣшены — изящныя и легкія, какъ пухъ, вѣнскія коляски, парижскія и лондонскія кареты, рояли и піанины налисандроваго дерева, бронзы, старый саксонскій и китайскій фарфоры, драгоцѣнныя кружева, блонды и матеріи для платьевъ, мебели орѣховаго дерева, дорогіе ковры, шкуры медвѣдей, барсовъ, тигровъ и пантеръ, картины Маду, Кукука, Калама и другихъ знаменитостей въ золоченыхъ рамахъ, рѣки бриліантовъ и иныхъ драгоцѣнныхъ камней въ формѣ фермуаровъ, булавокъ, брошъ, браслетъ и прочее.... Елка эта освѣщена была тысячами карсельскихъ лампъ и, кромѣ того, разноцвѣтными стеклянными шарами въ формѣ различныхъ фруктовъ.

Восторгъ *этихъ* дамъ при видѣ такого необыкновеннаго дерева, которое было соблазнительнѣе самаго древа познанія добра и зла, — былъ неописанъ. Мысль этой ёлки и самое устройство ея принадлежало петербургскому Монте-Кристо — блестящая, нравственная мысль, которая могла зародиться только въ его смѣлой головѣ, не знавшей препятствій и не останавливавшейся ни передъ чѣмъ; колоссальная фантазія, которая могла только осуществиться подъ его надзоромъ, ибо петербургскій Монте-Кристо извѣстенъ былъ всему Петербургу своимъ тонкимъ, изящнымъ вкусомъ.... Всѣ замѣчательныя благотворительныя выставки въ Петербургѣ, какъ извѣстно, не обходились безъ его участія. Подъ этимъ деревомъ стояли обожатели *этихъ* дамъ: пламенные откупщики, почетные и вѣчно-юные старцы, и прочіе, съ умиленіемъ на старческихъ лицахъ, не замѣчая что изъ-за нихъ выглядывали цвѣтущіе красотою, пустотою и молодостью Артюры, съ усами и усиками, съ стеклышками въ глазу, въ мундирахъ и во фракахъ.

Послѣ визгу, рукоплесканій, криковъ удивленія и восторженныхъ восклицаній, *эти* дамы подбѣжали къ своимъ обожателямъ-старцамъ, обнимали, цѣловали ихъ, называли самыми нѣжными именами... Затѣмъ онѣ съ неудержимымъ бѣшенствомъ и съ сверкающими и опьяненными отъ восторга

глазами кинулись на самые цѣнные и блестящіе подарки. Послѣ первыхъ мгновеній восторга начались споры, неудовольствія, жалобы, слезы. Жадность и зависть выступили на первый планъ. Луиза завидовала брильянтамъ Шарлоты Ѳедоровны, Шарлота Ѳедоровна завидовала вѣнской коляскѣ Армансъ, Армансъ завидовала бронзамъ, саксонскому и китайскимъ фарфорамъ Берты, и такъ далѣе...

Всѣ *эти* очаровательныя дамы завидовали другъ другу, ссорились между собою, отпускали другъ другу колкости и дулись на своихъ престарѣлыхъ обожателей.... Между тѣмъ свѣчи понемногу гасли въ залѣ и на ёлкѣ. Все смѣшивалось и путалось. Герой изъ Лопухинки, съ гитарой черезъ плечо, пѣлъ по-цыгански, бряцая на гитарѣ, становился на колѣни передъ дамами, приставалъ ко всѣмъ, и всѣхъ увѣрялъ, что онъ человѣкъ со вздохомъ.

Онъ преклонилъ колѣно передъ Луизой Ѳедоровной, закатилъ глаза подъ лобъ и запѣлъ дребезжащимъ голосомъ:

«Полюби меня, дѣва милая,
Радость дней моихъ, ненаглядная!
Если бъ знала ты весь огонь любви,
Всю тоску души...»

И вдругъ остановился...

— Луиза Ѳедоровна, сказалъ онъ: — матушка, я хоть и перегорѣлъ въ страстяхъ, хоть сердце мое пепломъ, а голова сѣдиной подернуты, а я еще никому эдакому *финьфлеру* съ усиками не уступлю....

Луиза съ презрѣніемъ отвернулась отъ него и отошла.

Лопухинскій герой проводилъ ее глазами, покачалъ головою, — вздохнулъ, обернулся къ Литературному Промышленнику и сказалъ:

— Вѣдь дрянь, а туда же носъ деретъ! да я плевать на нее не хочу, потому что меня, душа моя, любили такія женщины, которымъ всѣ эти въ судомойки не годятся. Вотъ что̀.... Ну, пойдемъ, душенька, протанцуемъ мазурку. Не все же по учености прохаживаться.

И онъ схватилъ за руку Литературнаго Промышленника и притопнулъ ногою.

— Полно! полно! оставь, съ ума сошелъ, братецъ! бормоталъ Литературный Промышленникъ, сердито и глубоко-

мысленно надвинувъ бровь на свои много выразительные и обманчивые глаза... Оставь!... Оставь!... Убирайся...

Между тѣмъ въ залѣ становилось все темнѣй и темнѣй... и все сильнѣе перепутывалось и перемѣшивалось. Въ одномъ изъ самыхъ темныхъ угловъ залы, на колѣняхъ передъ Луизой, стоялъ его превосходительство съ возвышеннымъ челомъ и орлинымъ носомъ, такъ прекрасно за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ разсуждавшій о нравственности. Его превосходительство дрожащей рукой схватывалъ руку Луизы, осыпалъ ее поцѣлуями и нѣжно лепеталъ:

— Если бы вы знали, какъ я люблю васъ, прелестная Луиза, для васъ я готовъ...

— Развестись съ женой? перебила его Луиза съ хохотомъ.

— Что мнѣ жена? говорилъ его превосходительство: — у ногъ вашихъ я самый счастливый человѣкъ въ мірѣ!...

И его превосходительство, слабѣя и тая, опустилъ свою лысую голову на колѣни Луизы, а Луиза со смѣхомъ дергала его за ухо и повторяла: — «Шалунъ!»

Литературный Промышленникъ, сидя передъ Шарлотой Ѳедоровной, съ книгой въ рукѣ, очень серьёзно декламировалъ ей Лермонтова «Демона», а Шарлота Ѳедоровна, ничего не понимая, отъ времени до времени повторяла: «Ахъ, какъ хорошо!» тогда какъ ея Артюръ, сидѣвшій сзади ее, шепталъ ей: «какъ этотъ господинъ надоѣлъ съ своимъ чтеніемъ... Нельзя ли поскорѣй спровадить его?»

При видѣ Литературнаго Промышленника, знакомящаго Нѣмецкую Аспазію съ русской поэзіей, я не могъ удержаться и засмѣялся громко.

Литературный Промышленникъ вздрогнулъ, поднялъ голову и увидѣлъ меня.... Забывъ всякое приличіе, онъ съ злобой бросился на меня и закричалъ на всю залу:

— Вотъ онъ... Наконецъ мы его поймали!... Вотъ онъ!... Онъ всѣхъ насъ описалъ, выставилъ, опозорилъ.... Милостивые государи, не вѣрьте ему, — я платилъ *хорошее вознагражденіе* моему сотруднику Б*, о чемъ я даже уже имѣлъ честь напечатать въ одномъ изъ подвѣдомственныхъ мнѣ изданій... Господа! сюда, сюда! держите его.... Нашъ врагъ въ рукахъ нашихъ!...

И послѣ этого всѣ съ криками бросились на меня....

— Какъ вы, сударь, осмѣлились, не смотря на мой чинъ и званіе, выставить меня въ вашихъ замѣткахъ? вскрикнулъ его превосходительство съ орлинымъ носомъ и возвышеннымъ челомъ.

— Съ чего вы взяли, что я выталкиваю моихъ дочерей изъ дому и обманываю моихъ дѣтей? взвизгнула нравственная маменька, о которой я вскользь упомянулъ въ моихъ замѣткахъ.

— Вы также описали меня, горячась и размахивая рукой, восклицалъ Нѣмецъ-музыкантъ: — mais savez vous Monsieur, que c'est une chose inpardonable.... mais....

— Ахъ, душа моя, говорилъ Лопухинскій Герой: ужъ если ты непремѣнно хотѣлъ зацѣпить меня, такъ ужъ надобно было размахнуться хорошенько, нарисовать меня широко, смѣлою кистью, потому что, братецъ ты мой, у меня широкая и размашистая, русская душа. Я человѣкъ со вздохомъ, съ искрой....

Шарлоты Ѳедоровны, Армансы, Луизы, ихъ содержатели и Артюры также напали на меня съ ожесточеніемъ. Даже и лакей, служившій въ *хорошихъ* домахъ, негодовалъ на меня...

Милостивые государи и милостивыя государыни! отвѣчалъ я: — что съ вами? за что вы сердитесь, о чемъ вы кричите? Я ничего не понимаю.... Вы дѣти моей фантазіи, вы порожденіе моего воображенія. Вы не существуете въ дѣйствительности.... Для изображенія васъ я только бралъ общія черты изъ петербургской жизни и изъ этихъ общихъ чертъ составилъ ваши лица... Въ дѣйствительности есть, можетъ быть, люди, на васъ болѣе или менѣе похожіе, дѣлающіе то, что я заставлялъ васъ дѣлать; но вы—ваше превосходительство, вы—Шарлота Ѳедоровна, вы — г. Шульцъ, вы — г. Литературный Промышленникъ, всѣ вы, милостивые государи и милостивыя государыни, не болѣе, какъ моя фантазія, я повторяю вамъ... Какое же вы имѣете право нападать на меня? Слыханное ли дѣло, чтобы дѣти возставали противъ своего отца?... Это безчеловѣчно, неблагодарно, безнравственно.

Но краснорѣчивое слово мое не произвело никакого дѣйствія, крики негодованія противъ меня дѣлались все громче и пронзительнѣе, и среди этихъ неясныхъ и глухихъ

криковъ раздавались восклицанія: «Все это обыкновенная, сочинительская уловка, — пустое оправданіе, ложь; вы не увѣрите насъ, что мы не существуемъ въ дѣйствительности.... Мы будемъ на васъ жаловаться, — мы запретимъ вамъ писать, мы задушимъ всякую гласность, намъ не нужно гласности, мы не хотимъ знать ни о какихъ нашихъ злоупотребленіяхъ, предразсудкахъ, глупостяхъ, притѣсненіяхъ, — все это ваши выдумки... ваши сатиры никого не исправляютъ. Мы не хотимъ никакихъ перемѣнъ, никакихъ исправленій, никакого движенія.... оставьте насъ въ покоѣ жить такъ, какъ жили наши отцы и дѣды.... и прочее.

Всѣ эти господа и госпожи такъ стѣснили меня со всѣхъ сторонъ, что я совсѣмъ задыхался. Они уже подняли на меня руки и хотѣли растерзать меня, но въ эту минуту я такъ вскрикнулъ, что испугался собственнаго крика.... и наконецъ, въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ проснулся....

Я едва могъ прійти въ себя, и, протирая глаза, смотрѣлъ кругомъ: я лежалъ на диванѣ передъ потухшимъ каминомъ. Съ боку на столикѣ стояли догорѣвшія свѣчи.... Часы на каминѣ показывали половину четвертаго....

XXIX. БЛАГОНАМѢРЕННѢИШІЙ ГОСПОДИНЪ.

Представляю читателю кое-какія наблюденія, сдѣланныя мною въ послѣднее время. Изъ этихъ изблюденій въ моей фантазіи составился очеркъ цѣлаго лица... Лицо это, впрочемъ, не новое. Такихъ лицъ много, не въ одномъ Петербургѣ. Лица эти, вообще довольно неподвижныя и безцвѣтныя, пріняли въ движеніе, приняли особенный колоритъ и заговорили громко только въ послѣднее время, вслѣдствіе нѣкоторыхъ обстоятельствъ, потревожившихъ ихъ блаженное существованіе... Я не дамъ никакого имени моему воображаемому лицу. Пусть каждый изъ читателей даетъ ему имя того изъ своихъ знакомыхъ, который по характеру, образу воззрѣнія, привычкамъ и разговорамъ будетъ подходить къ нему. Его даже можно бы, пожалуй, назвать *героемъ*, но только никакъ не *героемъ нашего времени*, потому что онъ съ ужаснымъ ожесточеніемъ, почти съ пѣной у рта, напа-

даетъ на наше время и вообще на такъ называемый *духъ времени*, говоря, что этотъ духъ выдуманъ выскочками, мальчишками, либералами, людьми зловредными, нахватавшимися безнравственныхъ идей...

Для бо̀льшей ясности, я долженъ прежде всего познакомить васъ съ біографіей моего воображаемаго лица, или, говоря вѣрнѣе, съ его послужнымъ спискомъ... Отъ роду ему шестьдесятъ-три года, онъ изъ дворянъ, служилъ сначала въ военной службѣ, въ сраженіяхъ не былъ, изъ полка переведенъ въ коммиссаріатское вѣдомство, дослужился до генеральскаго чина, родоваго имѣнія—ни одной души, благопріобрѣтенныхъ—тысячу пятьсотъ; два года передъ симъ уволенъ по прошенію отъ службы... Наружность его очень обыкновенная, такого рода господъ встрѣчаешь у насъ сплошь и рядомъ:—ростъ ередній, сложеніе тучное, лицо полное и круглое, глазки маленькіе и заплывшіе, зеленоватаго цвѣта, носъ плоскій, губы толстыя—признакъ доброты, волосы бѣлокурые съ просѣдью, небольшая лысина; голосъ рѣзкій, манеры величественныя, совершенно генеральскія... Онъ пользуется большою любовью, какъ своихъ знакомыхъ, такъ и сослуживцевъ, которые считаютъ его прекраснѣйшимъ, добрѣйшимъ и благонамѣреннѣйшимъ господиномъ... Вслѣдствіе этого и я буду также звать его *благонамѣреннѣйшимъ господиномъ*...

Но чтобы читатель не заподозрилъ меня въ личности и не подумалъ, что такой формулярный списокъ дѣйствительно существуетъ, я покорнѣйше прошу его придать моему лицу какую угодно физіономію... Онъ легко можетъ быть пожилымъ господиномъ, съ прекраснымъ орлинымъ носомъ, или сладенькимъ старичкомъ съ накрашенными бровями и бакенбардами, въ завитомъ парикѣ и съ неизмѣримымъ лбомъ.... для меня это совершенно все равно, внѣшняя оболочка ничего не значитъ, дѣло въ сущности. Онъ можетъ, вмѣсто благопріобрѣтенныхъ 1,500 душъ, имѣть родовыхъ—300, 500, 600, сколько угодно, болѣе или менѣе... И я вовсе не поставлю непремѣннымъ условіемъ, чтобы онъ былъ на службѣ въ Коммиссаріатѣ и за два года передъ симъ былъ уволеннымъ по прошенію отъ службы.... Дѣло не въ этомъ.

Оговорившись, я спокойнѣе продолжаю:

Мой благонамѣреннѣйшій господинъ получилъ воспитаніе

въ корпусѣ.... въ какомъ, это для читателя все равно.... учился онъ собственно не для пріобрѣтенія знаній, а для того, чтобы поскорѣй выскочить въ офицеры. Вышелъ онъ въ армію, но вскорѣ переведенъ въ гвардію, не столько за усердіе къ службѣ, сколько за величайшую способность угождать начальству, за строгую подчиненность и примѣрную нравственность. Нравственность эта заключалась въ неумолимой строгости относительно подвѣдомственныхъ ему лицъ, въ раболѣпной мягкости относительно тѣхъ, отъ которыхъ онъ зависѣлъ, въ аккуратности и въ безусловномъ поклоненіи всѣмъ служебнымъ и общественнымъ преданіямъ. Благонамѣреннѣйшій господинъ не разсуждалъ самъ и не позволялъ разсуждать другимъ. Никогда ни малѣйшая мысль не тревожила его головы и никогда ни малѣйшее сомнѣніе не колебало его. Сомнѣніе въ чемъ бы то ни было онъ почиталъ дѣломъ безнравственнымъ и преклонялся передъ каждымъ фактомъ, какъ бы этотъ фактъ ни былъ несправедливъ, если только онъ опирался на преданіи. Въ капитанскомъ чинѣ онъ былъ переведенъ въ коммиссаріатское вѣдомство и, дѣйствуя на основаніи преданія, не противорѣча ни въ чемъ принятымъ обычаямъ, легко пріобрѣлъ себѣ ордена, чины, души, любовь и уваженіе своихъ сослуживцевъ, своего семейства (ибо онъ богатѣлъ съ каждымъ годомъ) и своихъ сочленовъ по клубу (ибо игралъ по большой). Послѣ службы и хозяйственныхъ распоряженій, главнымъ его занятіемъ были карты. Чтеніемъ онъ не занимался, говорилъ вообще мало, но иногда одушевлялся, когда разговоръ касался нравственности или патріотизма.... Въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно билъ себя въ грудь, ударялъ кулакомъ по столу и восклицалъ коротко и ясно: «Тотъ, кто не патріотъ, тотъ просто никуда негодный человѣкъ!»... Свои хозяйственныя дѣла онъ велъ примѣрно и съ каждымъ годомъ дѣлалъ какія нибудь улучшенія въ своемъ благопріобрѣтенномъ имѣніи: выстраивалъ новый флигель или баню въ готическомъ вкусѣ, увеличивалъ садъ, украшалъ храмъ Божій и тому подобное. Семейство его, состоявшее изъ жены и двухъ дочерей, лѣтомъ всегда проживало въ деревнѣ; самъ же онъ пріѣзжалъ туда на короткое время, потому что служебныя обязанности не позволяли ему оставаться долго въ деревнѣ.

Въ часы отдохновенія отъ картъ и службы, любилъ онъ иногда поговорить о своихъ дворянскихъ достоинствахъ и преимуществахъ и не скрывалъ своего отвращенія къ другимъ классамъ, не признавая ничего общаго между дворяниномъ и человѣкомъ просто.... Въ человѣкѣ не *благорожденномъ* (благорожденные, по его мнѣнію, были только дворяне) онъ не признавалъ ни возвышеннаго ума, ни замѣчательныхъ способностей, ни чувства чести, и однажды, когда при немъ одинъ престарѣлый дворянинъ-стихотворецъ задалъ глубокомысленный вопросъ: «Почему въ наше время не пишутъ хорошихъ стиховъ?...» а другой дворянинъ, изъ молодыхъ, шутя отвѣчалъ: «оттого, я полагаю, что нынче больше пишутъ не дворяне»,—то мой благонамѣреннѣйшій герой, не смотря на то, что вовсе не интересовался поэзіей, пришелъ въ такой восторгъ отъ этого отвѣта, что обнялъ отвѣчавшаго, разцѣловалъ его и воскликнулъ: «Дѣльно и правда!» Въ другой разъ, когда кто-то сказалъ ему, что одинъ профессоръ на лекціи объявилъ, что дворяне отличаются отъ простыхъ людей тѣмъ, что родятся съ *бѣлою костью*,—герой мой обнаружилъ желаніе познакомиться съ этимъ профессоромъ, не смотря на то, что не питалъ большаго уваженія къ этому званію....

Да не подумаетъ дворянинъ-читатель, что я подсмѣиваюсь надъ чувствами дворянскаго достоинства. Сохрани меня Боже отъ такой преступной мысли!... Я былъ бы въ отчаяніи, если бы кто нибудь вздумалъ заподозрить меня въ томъ, что я не принадлежу къ этому почтенному и привиллегированному сословію.... Но я искренно желалъ бы для собственной пользы этого, такъ сказать, передоваго сословія, чтобы оно поглубже понимало свои обязанности, свой долгъ, и умѣло бы возбуждать уваженіе къ себѣ въ другихъ сословіяхъ исполненіемъ этого долга, принося во-время нѣкоторыя личныя жертвы въ пользу общаго.... «Noblesse oblige».

Но оставимъ это лирическое отступленіе и будемъ продолжать разсказъ.

Мой благонамѣреннѣйшій господинъ слылъ образцовымъ хозяиномъ, потому что умѣлъ извлекать всевозможныя выгоды изъ своихъ крестьянъ и при этомъ свои сады и парки, устроенные домашними средствами, содержалъ въ примѣрномъ

благолѣпіи и услаждавшій глазъ чистотѣ... Я самъ восхищался этими садами и парками, китайскими бесѣдками и мостиками, готической баней и прекраснѣйшимъ домомъ съ бельведеромъ, на которомъ торжественно развивался флагъ съ гербомъ.... Внутри дома—порядокъ и чистота повергали въ изумленіе.... нигдѣ ни пылинки; полъ какъ будто языкомъ вылизанъ, съ какимъ-то янтарнымъ отливомъ; все подведено подъ лакъ и разставлено подъ аранжиръ, или симметрически. Военная дисциплина отражалась на всемъ.... Городская квартира его отличалась такою же чистотою, симметричностью и дисциплиной.... Все поставлено было въ струнку и все ходило по стрункѣ....

Безмятежно протекла жизнь благонамѣреннѣйшаго изъ людей, среди этой внѣшней чистоты, благоустройства и порядка.... въ той почетной и покойной колеѣ, попасть въ которую всѣ такъ добиваются и въ которой жизнь двигается какъ будто по маслу: состояніе невидимо расширяется, а грудь черезъ каждые два года украшается новымъ отличіемъ... «Слава Богу!» думалъ мой благонамѣреннѣйшій господинъ, «я почти уже совершилъ на землѣ назначеніе дворянина: достигъ генеральскаго чина, украсилъ грудь отличіями, пріобрѣлъ трудами большое состояніе и оставлю его дѣтямъ въ благоустройствѣ и порядкѣ; надѣюсь, что имъ будетъ чѣмъ помянуть меня!... Хоть сію минуту готовъ предстать на судъ Всевышняго!»... И онъ продолжалъ съ душевнымъ спокойствіемъ и самодовольствіемъ, рѣзко проявлявшимся на его привлекательномъ лицѣ, заплывшемъ отъ счастія, ежедневно ѣздить по утрамъ на службу. Возвратившись со службы, плотно покушавъ и выкуривъ трубочку Жукова (его превосходительство былъ во всемъ рабъ привычки и Жуковъ предпочиталъ всякому другому табаку), онъ ложился соснуть часокъ-другой, а потомъ, подкрѣпившись сномъ, отправлялся въ клубъ.... И думалъ мой благонамѣреннѣйшій господинъ проводить такой регулярный, благонамѣренный и ничѣмъ невозмутимый образъ жизни до той минуты, когда положатъ его превосходительство на столъ и накроютъ богатой парчею, а вокругъ уставятъ табуреты съ знаками отличія... Ему и въ голову не приходило, что условія жизни измѣняются, что жизнь движется и обновляется, что законы ея совершен-

ствуются, что преданія вмѣстѣ съ людьми дряхлѣютъ и, наконецъ, разрушаются, что дурныя привычки (какъ, напримѣръ, привычка *наживаться на службѣ* и тому подобное) не всегда остаются безнаказанными.... Но, какъ гроза разражается иногда надъ головою незамѣтно, въ тихій и душный лѣтній день, такъ его превосходительство былъ пораженъ, внезапно, посягательствомъ на его служебныя привычки, которыя онъ отъ долговременнаго употребленія почиталъ почти законными, хотя, между нами сказать, онѣ были совсѣмъ беззаконны.

Смущенный увольненіемъ отъ службы *по прошенію*, благонамѣреннѣйшій господинъ, въ самомъ недовольномъ и мрачномъ расположеніи духа, отправился съ семействомъ въ деревню. Онъ безпрестанно повторялъ: «Вотъ служилъ, служилъ, здоровье потерялъ, зрѣніе ослабло на службѣ, а что̀ выслужилъ?... Только что могу прокормиться съ семействомъ.... вотъ и все.... Нѣтъ, у *насъ правдой ничего не наживешь на службѣ!* Эту послѣднюю фразу онъ повторилъ еще задолго до остроумной комедіи г. Львова.... Замѣчательные умы сходятся, говоритъ французская пословица.... Не смотря однако на жалобы о разстройствѣ здоровья, благонамѣреннѣйшій господинъ спалъ и кушалъ отлично и разъ, въ сумеркахъ, не смотря на слабость зрѣнія, замѣтилъ издалека, на дворѣ, двѣ фигуры, очень нѣжно разговаривавшія между собою, и тотчасъ узналъ въ одной изъ нихъ своего двороваго человѣка Алексашку, а въ другой дворовую дѣвушку Аксютку, за что̀ первый немедленно былъ имъ сосланъ въ отдаленную деревню, а послѣдняя удалена на скотный дворъ — за оскорбленіе общественной нравственности.

Но въ деревнѣ благонамѣреннѣйшій господинъ не могъ прожить болѣе полугода.... Ничего нѣтъ ужаснѣе, какъ измѣнять свои привычки въ преклонныя лѣта!... Его такъ и тянуло въ Петербургъ: существованіе его было не полно безъ клуба....

Онъ возвратился въ Петербургъ и чуть не заплакалъ отъ радости, увидѣвъ Демидовъ переулокъ!...

Прошло нѣсколько недѣль, но, не смотря на клубъ, онъ и въ Петербургѣ начиналъ ощущать какую-то неловкость.... Ему недоставало чего-то.... Онъ не зналъ, что̀ дѣлать съ со-

бою по утрамъ.... даже Жуковъ не развлекалъ его.... Его, просто, томила тоска по служебной дѣятельности.

Приглядываясь къ Петербургу, онъ началъ съ нѣкоторымъ непріятнымъ удивленіемъ замѣчать, что Петербургъ совсѣмъ измѣнился: особенно его смущали офицеры въ фуражкахъ и юнкера на извощикахъ, и онъ печально покачивалъ головой, вздыхая о прошедшемъ. Въ обществѣ попадался ему иногда какой нибудь молодой человѣкъ, на видъ не больше какъ коллежскій ассесоръ, неимѣющій ничего особеннаго въ физіономіи,—просто вниманія нестоющій, и онъ дѣйствительно не удостоивалъ его вниманія,—а вдругъ ему говорятъ, что этотъ молодой человѣкъ занимаетъ генеральское, директорское мѣсто....

— За кого же вы меня принимаете, чтобы я повѣрилъ этому? восклицалъ благонамѣреннѣйшій господинъ: — директоръ, у котораго еще молоко на губахъ не обсохло?... Это забавно!

Но когда онъ дѣйствительно убѣдился въ томъ, что господинъ, имѣющій видъ коллежскаго ассесора—генералъ, тяжелый вздохъ вырвался изъ груди его, вмѣстѣ съ словами: «Господи! до чего мы дожили!»

— Впрочемъ, произнесъ онъ послѣ минуты глубокомысленнаго молчанія: — если это какой нибудь князь или графъ, то тутъ нѣтъ ничего мудренаго....

Ему отвѣчали, что это не князь и не графъ, а человѣкъ вовсе даже неимѣющій протекціи, но обратившій на себя вниманіе своимъ умомъ, способностями, свѣдѣніями и поэтому быстро вышедшій впередъ.

Благонамѣреннѣйшій человѣкъ грустно улыбнулся.

— Прекрасно! прекрасно! возразилъ онъ: — положимъ даже, что онъ геній, съ неба звѣзды хватаетъ, да у него никакой опытности нѣтъ. Можетъ ли же онъ быть директоромъ,—тутъ, я вамъ скажу, все дѣло въ опытности.

— А вотъ, ваше превосходительство, замѣчаютъ благонамѣреннѣйшему господину: — слышно, что мѣста будутъ давать по способностямъ, а не за выслугу лѣтъ.... Тогда, ваше превосходительство, еще болѣе покажется молодыхъ людей на почетныхъ и видныхъ мѣстахъ.

При этомъ всѣ жилки на лицѣ благонамѣреннѣйшаго

господина посинѣли и во всемъ лицѣ его обнаружилось на минуту судорожное движеніе: онъ, впрочемъ, подавилъ въ себѣ внутреннее раздраженіе и захохоталъ, но неудержимый гнѣвъ вырвался невольно въ звукахъ его хохота.

— Ну, что жъ, ибезподобно, воскликнулъ благонамѣреннѣйшій господинъ: — этого только недоставало!... Наши дѣды и отцы видно не знали, что дѣлали. Мы умнѣе ихъ!...

Когда какой нибудь молодой человѣкъ свободно разсуждаетъ о чемъ нибудь въ обществѣ въ присутствіи значительныхъ старцевъ, — мой благонамѣреннѣйшій господинъ смотритъ на него иронически и пожимаетъ невольно плечами! Онъ указываетъ на него и говоритъ:

— Ужъ и этотъ не генералъ ли?

Благонамѣреннѣйшаго господина раздражаетъ все, совершающееся въ настоящую минуту; даже и литература, о существованіи которой онъ зналъ только по «Сѣверной Пчелѣ». До него доходятъ слухи, что литература вооружается противъ взяточничества и разныхъ служебныхъ злоупотребленій — и онъ кричитъ, размахивая руками, съ чужаго голоса:

— Помилуйте, что это такое! на что это похоже! выставлять только однѣ гадости, одну грязь?... это все сочиняютъ какіе нибудь безнравственные молокососы, зараженные гнусными западными идеями (хотя о западныхъ идеяхъ онъ имѣетъ очень смутное понятіе, но любитъ повторять эту фразу), враги отечества, которыхъ слѣдуетъ отдать подъ строгій полицейскій надзоръ.... чего смотритъ цензура-то?...

— Но указывать на зло, выставлять зло на позоръ.... возражаютъ: — въ этомъ нѣтъ ничего дурнаго, ваше превосходительство. Если бы, напримѣръ, указали по вашему вѣдомству на злоупотребленіе, которое было вамъ вовсе неизвѣстно, которое бы скрывали отъ васъ, мы бы изволили, вѣроятно, прочитавъ это, принять мѣры къ искорененію этого злоупотребленія и были бы за это очень благодарны сочинителю, изобличившему его....

— Это не дѣло сочинителей указывать на такого рода вещи, перебиваетъ сухо его превосходительство. — Я не позволилъ бы какому нибудь сочинителю учить меня и вмѣшиваться въ мое управленіе....

— Но, ваше превосходительство, нельзя же совершенно идти противъ духа времени, почтительно возражаютъ ему.

— Вотъ еще выдумали какой-то духъ времени! перебиваетъ благонамѣреннѣйшій господинъ, разгорячаясь все болѣе и болѣе:—а вотъ заткнутъ имъ глотку, такъ они и узнаютъ, что такое духъ времени....

Всякая мѣра усовершенствованія, улучшенія, измѣненія и нововведенія кажется благонамѣреннѣйшему господину гибелью.... При каждомъ слухѣ о таковой мѣрѣ, онъ сердится, поднимаетъ крикъ, ударяетъ кулакомъ по столу, не находя болѣе убѣдительныхъ выраженій, и даже топаетъ ногами. Семейство не узнаетъ его въ послѣднее время: изъ человѣка сговорчиваго, весьма довольнаго собою и даже кроткаго, онъ превратился чуть не въ звѣря: ни жена, ни дочери, ни прислуга ничѣмъ угодить ему не могутъ.

— Что это, милый папа, съ вами? Вы такой нынче сердитый, говоритъ ему его любимица меньшая дочь, цѣлуя его въ лобъ.

— Ахъ, матушка! восклицаетъ благонамѣреннѣйшій господинъ:—оставь меня пожалуйста въ покоѣ! И потомъ, осматривая ее неблагосклонно съ ногъ до головы, прибавляетъ:—Ты думаешь, что это хорошо, что вы обручи-то нынче вздумали подкладывать подъ платья?... Это гадко, безобразно и чего это стоитъ? Вѣдь это раззореніе!... Ты думаешь, что у отца много денегъ? Да! какъ же!... Что скопилъ служебными трудами и экономіей, то теперь и проживай на ваши *карнолины!*.... (Его превосходительство никакъ не можетъ произнести: кринолинъ). Вы отца не пожалѣете, только пишите: «денегъ надо!» а откуда отцу взять денегъ?... Знаешь ли ты, что̀ теперь стоитъ жить въ Петербургѣ-то? Знаешь ли?... За все платишь втрое, вчетверо противъ прежняго.... Пришла конечная гибель и раззореніе!... А вы еще съ вашими *карнолинами*....

Избалованная дочка бѣжитъ въ слезахъ жаловаться маменькѣ на папеньку, а папенька вымѣщаетъ гнѣвъ свой на прислугѣ.

Раздается рѣзкій барскій свистъ.

Является лакей.

— Бриться! кричитъ благонамѣреннѣйшій господинъ.

— Готово, ваше превосходительство, черезъ минуту докладываетъ лакей.

Его превосходительство садится за туалетный столъ и вдругъ вскакиваетъ....

— Что это такое! восклицаетъ онъ на весь домъ: — Алексашка! поди сюда!... что это?... Смотри... Куда поставилъ бритвенницу? Ты двадцать-пять лѣтъ служишь мнѣ, чучело, а не знаешь того, что бритвенницу надо ставить на правую, а не на лѣвую сторону.... а? ты этого не знаешь? ты не знаешь, болванъ, до сихъ поръ мои привычки: не знаешь того, что я сорокъ-пять лѣтъ брѣюсь и сорокъ-пять лѣтъ мнѣ ставятъ бритвенницу на правую сторону, а полотенце кладутъ на лѣвую?!... Что у тебя въ головѣ-то? Смотри у меня! Я вѣдь дурь-то у тебя выбью изъ головы!

Является мальчикъ, одѣтый казачкомъ, только три мѣсяца передъ этимъ привезенный изъ деревни.

— Генеральша спрашиваетъ, говоритъ онъ: — поѣдете ли вы сегодня утромъ....

Благонамѣреннѣйшій господинъ грозно смотритъ на казачка.

— Сколько разъ я твердилъ тебѣ, говоритъ онъ казачку: — чтобы ты не смотрѣлъ изъ-подлобья, сколько разъ? Ты не можешь мнѣ прямо въ глаза смотрѣть? Экой дрянной мальчишка!... Я тебя научу смотрѣть мнѣ прямо въ глаза, погоди ты у меня! Всѣ вы, канальи, изъ рукъ выбились!... Пошелъ вонъ... Скажи генеральшѣ, что я никуда не ѣду... И куда мнѣ ѣхать? Зачѣмъ мнѣ ѣхать?...

— Что это за народецъ нынче (говоритъ благонамѣреннѣйшій господинъ своему пріятелю):—силъ недостаетъ справляться съ ними! Выписалъ я изъ деревни мальчика, привезли его, велѣлъ я его позвать въ переднюю, чтобы посмотрѣть; выхожу, смотрю.... Не понравился мнѣ, смотритъ эдакой букой, изъ-подлобья, грязный, нечесаный.... велѣлъ я его обмыть, выстричь, вычесать; одѣли его потомъ въ казакинчикъ, — ну принялъ, кажется, человѣческій образъ, а все смотритъ изъ-подлобья.... и вѣришь ли, до сихъ поръ не могу пріучить его смотрѣть мнѣ прямо въ глаза.... какія мѣры ни принималъ, ничего не понимаетъ. А ужъ въ томъ не бывать проку, кто смотритъ изъ-подлобья! Я это замѣ-

тилъ.... Задалъ я ему должность, кажется не велика: топить печку въ маленькой гостиной моей, да прибирать ее. Тамъ, ты знаешь, у меня на мебели.... дочери вышили по канвѣ.... цвѣты и птицы... На одномъ стулѣ—птицы, на другомъ—цвѣты. Вотъ я и говорю ему: — «смотри, когда будешь убирать, ставь стулья такъ, чтобы цвѣты были съ цвѣтами, а птицы съ птицами.... слышишь?»... Что жъ бы вы думали?... ничего не бывало; вѣчно, каналья, перемѣшаетъ: цвѣты рядомъ съ птицами, а птицы съ цвѣтами поставитъ.... Извольте съ эдакимъ народцомъ возиться: четырнадцатилѣтнему мальчишкѣ въ голову ничего вбить нельзя!... И вѣдь не потому, чтобы онъ не понималъ, — нѣтъ, просто потому, что не хочетъ, нѣтъ усердія, желанія угодить барину, *чувства* нѣтъ.... Я вѣдь помню, какъ прежде люди служили—только и думали о томъ, чтобы сдѣлать барину что нибудь угодное, смотрѣли ему въ глаза, чтобы предупредить его желаніе.... а нынче — это ни на что не похоже.... Занемогъ у меня на прошедшей недѣлѣ камердинеръ, другіе люди всѣ своимъ дѣломъ заняты, я не хотѣлъ ихъ отвлекать отъ дѣла, и призываю этого мальчишку.... «Покуда, я говорю, Алексашка боленъ, ты будешь исправлять должность моего камердинера,» — и смотрю, какое это на него впечатлѣніе произведетъ.... Что же? стоитъ, какъ пень, насупившись, и уткнулъ глаза въ полъ, никакого выраженія въ лицѣ, точно какъ будто я сказалъ ему: «принеси стаканъ воды» и не чувствуетъ той милости, которую дѣлаетъ ему баринъ, допуская такъ близко къ себѣ, а вѣдь три мѣсяца назадъ онъ свиней пасъ въ деревнѣ!... Нѣтъ, любезнѣйшій другъ, въ плохія времена живемъ мы!...

И благонамѣреннѣйшій господинъ, въ заключеніе, качая головою, испускалъ глубокій вздохъ.

Но его превосходительство несправедливъ: виноваты не казачокъ, не прислуга его, которою онъ десять лѣтъ тому назадъ былъ очень доволенъ и которая служитъ ему съ прежнимъ усердіемъ, — всему причиною внутреннее настроеніе духа его превосходительства; недовольство тѣмъ, что съ ходомъ времени совершаются различныя перемѣны и преобразованія, которыя ему не нравятся... Фуражки, юнкера на извощикахъ, молодые генералы, литература, изобличающая взяточниковъ, — все это мѣшаетъ ему жить... Онъ, кажется,

готовъ бы, если можно, съ бѣшенствомъ броситься на время, схватить его за шиворотъ какъ подчиненнаго, и остановить. Ему бы хотѣлось, чтобы это неудержимое, Богъ знаетъ для чего, такъ быстро бѣгущее время—всеоживляющее и всеобновляющее.... замерло и окоченѣло въ томъ положеніи, въ какомъ оно было нѣсколько лѣтъ назадъ тому, — въ тѣ дни, когда передъ нимъ вытягивались въ струнку писаря, курьеры и чиновники; когда все было шито и крыто; когда онъ чувствовалъ свою силу, ощущалъ, что онъ не просто генералъ въ отставкѣ, на котораго никто не обращаетъ вниманія, а *особа*, приводящая въ трепетъ и замираніе нѣсколько десятковъ людей!

О! если его превосходительство и несправедливъ къ настоящему времени. . не сердитесь на него за это, лучше пожалѣйте его!... Не раздражайте его вашими литературными выходками! Хорошо еще, что онъ не читаетъ ничего, но вѣдь ему могутъ прочесть добрые пріятели... Оговорка, что такого лица нѣтъ въ дѣйствительности, нисколько не помогаетъ... подобнымъ оговоркамъ никто вѣрить не хочетъ. Въ вашей фантазіи, въ вымышленномъ вами лицѣ... непремѣнно тысячи лицъ узнаютъ своихъ пріятелей... «Списанъ какъ живой! Всѣ его слова, всѣ выраженія, просто вылитый!» начнутъ кричать эти господа и разведутъ по городу пріятную новость, что Александръ Петровичъ или Григорій Иванычъ выставленъ въ такой-то книжкѣ такого-то журнала... И кончится тѣмъ, что даже самъ Александръ Петровичъ, нисколько не похожій на выставленное лицо, повѣритъ, что его списали, хотя ни онъ сочинителя, ни его сочинитель отъ роду никогда не видывалъ!...

Въ этихъ случая надобно быть чрезвычайно осторожнымъ... Очень легко можно совсѣмъ свести съ ума человѣка, увѣривъ, что его описали... Не шутите съ этимъ; говорятъ, бывали и такіе примѣры!...

Но какъ бы то ни было, дѣло сдѣлано—и я продолжаю...

Недовольство настоящимъ моего благонамѣреннѣйшаго лица возрастало съ каждымъ днемъ и наконецъ достигло крайнихъ предѣловъ при одной изъ послѣднихъ улучшительныхъ мѣръ, задѣвшей его за живое.

Когда только носился объ этомъ слухъ, онъ не хотѣлъ вѣрить и затыкалъ уши...

— Перестаньте, перестаньте!... говорилъ онъ: — вздоръ!... этого быть не можетъ!... Я и слушать не хочу...

Когда же слухъ осуществился, и сомнѣваться уже было невозможно, — въ первую минуту онъ остолбенѣлъ и неподвижно простоялъ нѣсколько времени, какъ-то дико вытаращивъ глаза. Вся кровь вдругъ прилила къ его темени и лицо приняло жаркій, пурпуровый колоритъ, который на картинѣ бы показался невозможнымъ... Минута — и можетъ быть, смертельный ударъ былъ бы неизбѣженъ, если бы не случайно находившійся тутъ докторъ.. Докторъ бросился на него съ ланцетомъ и пустилъ кровь.

Послѣ трехъ чашекъ густой, черной, запекшейся крови, благонамѣреннѣйшій господинъ отошелъ и посмотрѣлъ кругомъ, болѣе мягкимъ взоромъ, произнеся:

— Боже мой, Боже мой!... Что же это наконецъ?...

Ночь онъ, однако, провелъ довольно покойно.

Но на слѣдующее утро снова пришелъ въ состояніе неслыханнаго раздраженія, ударялъ кулакомъ по столу и произносилъ совсѣмъ нескладныя и отрывистыя рѣчи, обращаясь къ женѣ и дочерямъ:

— Теперь, матушка, кончено!... Всѣ прихоти выбить изъ головы.. я не знаю, что будетъ... можетъ ѣсть нечего будетъ... очень легко!... Надо ко всему приготовиться... вотъ живешь, живешь и доживешь до эдакаго... Теперь *карнолины* — мое почтенье... Ситцевое платье — попросту безъ затѣй — вотъ и все!

Нѣсколько дней послѣ этого, благонамѣреннѣйшій господинъ даже не ѣздилъ въ клубъ и не игралъ въ карты...

Онъ заперся въ своемъ кабинетѣ.

Изъ этого кабинета раздавались иногда восклицанія, знакомые удары кулакомъ по столу, шаги и говоръ. Но никто не смѣлъ войти туда. Благонамѣреннѣйшій господинъ выходилъ оттуда только къ завтраку и къ обѣду... Кушалъ довольно аппетитно, но велъ себя странно: былъ задумчивъ, говорилъ вообще мало, а если и говорилъ, то нескладно и не обращаясь ни къ кому.

— Вотъ теперь кулебяка съ сигомъ... маіонезы... фри-

касе разныя... а тамъ что?... зубы на полку... щи... каша... И за что? Вотъ сорокъ лѣтъ и служи отечеству...

Генеральша съ боязливымъ участіемъ взглядывала на генерала.

— Что такое, другъ мой? рѣшалась замѣчать она: — что ты говоришь?... И отчего ты такой странный, голубчикъ?

— Ничего... я ничего... Что такое? перебивалъ онъ вздрагивая: — тсс!... тсс!... и онъ начиналъ дѣлать супругѣ многозначительные знаки глазами, указывая на казачка и на людей, служившихъ за столомъ.

При выходѣ изъ-за стола, онъ наклонился къ уху супруги и шепталъ:

— Ахъ, какая ты неосторожная!... какъ это можно!... при людяхъ!...

Проходя мимо казачка, его превосходительство пристально взглядывалъ на него и потомъ шопотомъ говорилъ дочери:

— Ты замѣтила, какъ онъ на меня смотритъ?... Еще диче прежняго... это я понимаю, что̀ такое...

Такое поведеніе благонамѣреннѣйшаго господина и такія странныя рѣчи не могли не испугать его семейства. Супруга и дочери его передали все это домашнему доктору.

Докторъ улыбнулся и сказалъ:

— Это ничего, — пройдетъ... Я знаю, что всякое новое положеніе, всякая перемѣна, покуда онъ съ нею не освоится, дѣйствуетъ на него тяжело... У него мало воспріимчивости въ натурѣ. Ему надо разсѣяніе; я посовѣтую ему...

Докторъ вошелъ въ его кабинетъ. Благонамѣреннѣйшій господинъ сидѣлъ у своего письменнаго стола, опустивъ печально голову, съ безнадежнымъ выраженіемъ въ лицѣ.

— Ну, что, ваше превосходительство, какъ ваше здоровье?... какъ идутъ ваши клубныя дѣла... Хорошо?...

Докторъ произнесъ это веселымъ и фамильярнымъ тономъ, потому что онъ самъ былъ генералъ.

— Ааа! воскликнулъ благонамѣреннѣйшій господинъ, услышавъ голосъ доктора: — здравствуйте, почтеннѣйшій Ардальонъ Петровичъ!... Ну что, батюшка?!... до чего мы дожили! прибавилъ онъ печально, и послѣ минуты молчанія продолжалъ: — клубныя дѣла!... Какія теперь клубныя дѣла!... Нѣтъ, вы лучше подумайте объ этомъ: вѣдь у меня въ деревнѣ садъ,

паркъ, домъ — все это содержалось въ исправности, въ порядкѣ, собственными средствами... Чего это мнѣ стоило?... Зачѣмъ же я убивалъ деньги на все это?...

— И, полноте! Ну что жъ, возразилъ докторъ: — и вы будете всѣмъ этимъ пользоваться... Вотъ я къ вамъ когда нибудь пріѣду въ деревню... Посмотрю, какъ вы все это тамъ устроили... Я знаю, что вы большой хозяинъ...

Благонамѣреннѣйшій господинъ посмотрѣлъ на доктора, какъ на сумасшедшаго, и сказалъ:

— Что съ вами? Полноте! все пропало... Теперь ужъ все кончено...

— Э, батюшка... ей Богу все прекрасно обойдется... повѣрьте... перебилъ докторъ: — Да что вы дома-то сидите?... Вамъ нужно движеніе, разсѣяніе... Поѣзжайте-ка въ клубъ сегодня...

Благонамѣреннѣйшій господинъ, къ удовольствію своего семейства, по собственному побужденію или по совѣту доктора, вечеромъ поѣхалъ въ клубъ.

При встрѣчѣ съ своими партнёрами и друзьями, онъ грустно и значительно пожалъ имъ руки и молча покачалъ головою... Тѣ, въ свою очередь, также печально и молча покачали головами...

— Ахъ, ахъ, ахъ! вырвалось наконецъ изъ груди благонамѣреннѣйшаго господина.

— Не думали мы дожить до такихъ временъ! произнесъ одинъ изъ друзей его.

— Нѣтъ, вотъ вы посудите... у меня тамъ садъ, паркъ, домъ съ иголочки... чего это стоило!... началъ-было его превосходительство...

— Сдѣлайте одолженіе... нѣтъ, ужъ лучше объ этомъ не говорить... я не могу объ этомъ говорить хладнокровно, перебилъ сморщенный и, повидимому, значительный старичокъ въ парикѣ, съ накрашенными бакенбардами, дрожа всѣмъ тѣломъ: — я запретилъ объ этомъ говорить и у себя дома, — лучше-ка вотъ займемся этимъ...

И онъ указалъ на зеленый столъ, на которомъ уже горѣли четыре свѣчи, лежали прекрасно заостренные мѣлки и колоды отборныхъ картъ.

Еще и до-сихъ-поръ мой благонамѣреннѣйшій господинъ,

среди обыкновеннаго разговора, вдругъ прерывая его, начинаетъ какъ будто заговариваться и произноситъ слова и фразы, неимѣющія между собой никакой связи: «домъ... жена... служба.. паркъ... дѣти... я патріотъ... генералъ, вы сами согласитесь... чего это мнѣ стоило... это невозможно... сорокъ-два года службы... Что же это?» Но вообще, въ послѣднее время, онъ, слава Богу, началъ говорить нѣсколько посвязнѣе... На-дняхъ, слушая, съ какимъ бѣшенствомъ онъ кричалъ противъ всѣхъ улучшеній и нововведеній, я подумалъ:

— Однако, можно ли его теперь называть *благонамѣреннѣйшимъ* господиномъ?... Это вопросъ... Въ старые годы онъ называлъ неблагонамѣренными и опасными людей *недовольныхъ* даже петербургскою погодою и дурно отзывавшихся о петербургскомъ климатѣ... На того, кто изъявлялъ какое нибудь неудовольствіе, хотя противъ кислой капусты и квасу, онъ смотрѣлъ уже какъ на врага отечества; того, кто читалъ книги и съ похвалой отзывался о заграничной жизни, онъ называлъ либераломъ... А теперь... Какъ время-то подшучиваетъ надъ людьми и какъ странно мѣняетъ роли!... Кто бы могъ повѣрить, пять лѣтъ назадъ тому, что его превосходительство будетъ принадлежать къ *недовольнымъ?*... А по его же собственному опредѣленію *недовольные* принадлежатъ къ людямъ *неблагонамѣреннымъ*. Во всякомъ случаѣ, я ни за что на свѣтѣ не позволю себѣ назвать этимъ именемъ его превосходительство.

Вчера одинъ мой знакомый сказывалъ мнѣ, что его превосходительство со всѣмъ семействомъ изволитъ отправиться за границу... «Я, говоритъ, тамъ отдохну отъ всего и, вѣроятно, останусь надолго...»

— Неужели? воскликнулъ я.—Чудеса! Свѣтъ рѣшительно начинаетъ идти навыворотъ...

XXX. ДРУЗЬЯ И СТАРЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРИЩИ.

Я имѣю друзей рѣшительно во всѣхъ классахъ петербургскаго общества, за исключеніемъ достопочтеннаго класса откупщиковъ.

Друзья не даютъ мнѣ покоя, мѣшаютъ мнѣ жить, не позволяютъ мнѣ ничѣмъ заняться серьёзно, не оставляютъ мнѣ ни одной свободной минуты, чтобы углубиться въ самого себя, а такого рода углубленіе человѣку, какъ извѣстно, не только полезно, даже необходимо. Друзья врываются ко мнѣ во всякій часъ, требуютъ отъ меня визитовъ, навязываютъ мнѣ разныя порученія, сердятся, если я у нихъ долго не бываю. Я задыхаюсь отъ ихъ ласкъ, вниманія, заботливости, сплетень и папиросокъ.... И я, по слабости моего характера, всѣмъ имъ жму руки направо и налѣво, всѣмъ улыбаюсь любезно, всѣмъ все обѣщаю и никогда не успѣваю исполнять....

Одинъ изъ моихъ друзей, имѣющій двухъ дочерей невѣстъ и супругу съ накрашенными волосами и щеками, приглашаетъ меня безпрестанно то на *балки* (уменьшительное отъ слова *балъ*), то на домашніе концерты, въ которыхъ его дочери, затянутыя въ рюмочку, и оттого едва дышащія, разъигрываютъ на фортепіано какія-то варіяціи въ четыре руки, послѣ исполненія которыхъ я непремѣнно долженъ кричать: Charmant! Charmant! хоть для выраженія этого фальшиваго восторга у меня и языкъ не ворочается и голосъ замираетъ; то на *живыя картины*, въ которыхъ дочери его являются съ растрепанными подвязными косами, въ различныхъ живописныхъ позахъ, въ видѣ ундинъ, сильфидъ и какихъ-то миѳологическихъ божествъ.... Я знаю, что на этихъ балкахъ, концертахъ и живыхъ картинахъ, удостоивающихся, между прочимъ, посѣщенія нѣкоторыхъ значительныхъ особъ—смертельная тоска, погружающая въ апатію не только людей, даже мухъ.... я, нешутя, замѣтилъ, что мухи въ домѣ моего друга какъ-то особенно сонны и вялы, даже въ самые сильные жары, придающіе имъ, какъ извѣстно, особенную быстроту и легкость.... И, не смотря на все это, я ѣзжу на увеселительныя вечеринки моего друга.... Зачѣмъ? для чего? Я очень хорошо понимаю, что я не нуженъ ни хозяину, ни хозяйкѣ дома, ни его затянутымъ въ рюмочку дочерямъ, которымъ только нужны танцующіе и также затянутые въ рюмочку офицеры, или господа статскіе, съ проборомъ посрединѣ головы и съ стеклышкомъ на глазу; ни его генераламъ, посѣщеніе которыхъ доставляетъ ему несказанное блаженство, потому что его гости говорятъ потомъ: «Однако, сколько у

Василья Иваныча было звѣздъ-то на вечерѣ! Шутите съ нимъ!» Я вижу ясно, что для ихъ превосходительствъ—мое присутствіе непріятно, что они готовы были бы, если бы только это было въ ихъ власти, отправить меня въ отдаленныя губерніи, дабы не встрѣчаться со мною. Я предчувствую, что мое присутствіе на увеселительныхъ вечеринкахъ моего друга, во-первыхъ, нѣсколько женируетъ его вслѣдствіе моихъ отношеній къ ихъ превосходительствамъ; во-вторыхъ, оно не доставляетъ ни малѣйшей пріятности моему другу, и въ-третьихъ, ни въ какомъ случаѣ не можетъ льстить его самолюбію, ибо я не женихъ, не генералъ, не пользуюсь никакою особенною извѣстностью ни въ литературѣ, ни въ обществѣ, не танцую, не играю въ карты, не умѣю занимать разговорами почетныхъ старушекъ и, пріятно улыбаясь, поддакивать почетнымъ старцамъ, когда они, съ пѣною у рта, изволятъ отзываться о разныхъ улучшеніяхъ и нововведеніяхъ. Да, я все это вижу, знаю, понимаю, предчувствую, ощущаю—и все-таки не имѣю силы отказаться отъ приглашеній.... Странный я человѣкъ! Да и мой другъ также не безъ странности.... Я знаю, что если я не поѣду на его вечеринку, онъ внутренно будетъ очень доволенъ этимъ, но все-таки сочтетъ потомъ непремѣннымъ долгомъ упрекать меня за это и возьметъ съ меня честное слово быть у него на слѣдующей вечеринкѣ,—и я никакъ не съумѣю отдѣлаться отъ него и непремѣнно дамъ ему честное слово.

И еще если бы такого рода другъ былъ у меня одинъ!

Я имѣю честь получать три раза въ зиму литографированныя приглашенія отъ князя и княгини Л* на ихъ великолѣпные балы, на которыхъ присутствуетъ весь блестящій и фешенебельный Петербургъ. Я, по природѣ своей, человѣкъ робкій, боящійся всякаго блеска, любящій болѣе всего на свѣтѣ независимость и спокойствіе. Одна мысль о присутствіи на такомъ ослѣпительномъ балѣ, среди брильянтовыхъ дамъ и мужчинъ, среди фонтановъ и тропическихъ растеній,—одна мысль попирать эти ковры и мраморы, проходить мимо этого гордаго швейцара въ золотыхъ галунахъ, плюшевыхъ штанахъ и шелковыхъ чулкахъ,—приводитъ меня въ трепетъ; я знаю, что моего присутствія въ этихъ раззолоченныхъ и

рѣзныхъ изъ дуба залахъ никто не замѣтитъ; я знаю, что ни князь, ни княгиня не будутъ упрекать меня за то, что я не воспользовался ихъ лестнымъ приглашеніемъ, но я, не смотря на то, что мнѣ такъ хорошо и тепло дома, и такая лѣнь одѣваться, и дѣло есть,—все-таки ѣду на княжескій балъ.... Зачѣмъ? Неужели же тщеславная и жалкая мысль показать себя въ большомъ свѣтѣ, а на другой день, какъ будто случайно, замѣтить друзьямъ, не выѣзжающимъ въ этотъ свѣтъ, что я былъ на балѣ у князя.... неужели такое ничтожное побужденіе заставляетъ меня преодолѣвать всѣ нравственныя препятствія и пытки, которыя всякія разъ сопряжены съ моими выѣздами въ большой свѣтъ? И отчего въ такихъ случаяхъ я, слабый человѣкъ, вдругъ дѣлаюсь героемъ? И что мнѣ въ этомъ князѣ и въ этой княгинѣ? Что̀ общаго между мною и ими? Еще съ моимъ другомъ, дающимъ вечера съ живыми картинами, у меня есть что нибудь общее: какія нибудь одинаковые интересы; мы немножно понимаемъ другъ друга, а съ княземъ и княгиней я чувствую себя просто глупымъ и не нахожу, о чемъ говорить съ ними.... О паденіи лорда Пальмерстона и о новомъ торійскомъ министерствѣ?... Но что могу сказать я по этому поводу новаго: князь и княгиня давно выслушали уже объ этомъ событіи мнѣніе одного важнаго дипломатическаго лица и толки различныхъ посланниковъ, секретарей и повѣренныхъ въ дѣлахъ.... О рѣчи Жюль-Фавра въ защиту Орсини?... Но ни князь, ни княгиня не могутъ слышать имени этого ужаснаго человѣка. О русской литературѣ?... Вотъ было бы забавно!... Князь, правда, получаетъ русскіе журналы, но не удостоиваетъ ихъ прочтенія, не смотря на то, что его камердинеръ постоянно ихъ разрѣзываетъ тотчасъ по полученіи и раскладываетъ ихъ въ его кабинетѣ, а княгиня по-русски даже понимаетъ плохо: не смотря на то, что въ ея княжескихъ жилахъ течетъ чистѣйшая русская кровь. Въ послѣднее свиданіе мое съ нею, я было хотѣлъ завести рѣчь о г. Эдмонѣ Абу, который такъ быстро пріобрѣлъ въ Парижѣ извѣстность своими романами и за которые даже награжденъ орденомъ Почетнаго Легіона. Но княгиня отвѣчала мнѣ коротко и холодно: «Oui, c'est un joli talent», не желая, повидимому, входить въ дальнѣйшія объясненія, и я долженъ былъ проглотить заготовленныя мною

заранѣе прекрасныя французскія фразы о значеніи этого господина во французской литературѣ....

Сколько разъ приходило мнѣ въ голову бросить петербургскую жизнь, всѣхъ этихъ лестныхъ для моего самолюбія знакомыхъ и нѣжныхъ друзей, съ которыми я ежедневно раскланиваюсь, которымъ киваю головой и жму руки на Невскомъ проспектѣ, до боли въ головѣ и въ рукѣ; уѣхать куда нибудь какъ можно дальше отъ Петербурга, и отдохнуть гдѣ нибудь въ глуши, на свободѣ отъ знакомствъ и дружбы. Но, увы! вмѣсто того, чтобы осуществить эту мысль, я съ каждымъ мигомъ все болѣе и болѣе запутываюсь въ лабиринтахъ петербургской жизни, съ каждымъ днемъ умножаю количество своихъ друзей и даже возобновляю утраченныя знакомства и связи, какъ это случилось со мною мѣсяцъ тому назадъ.

Я шелъ по улицѣ, близкой къ Невскому проспекту. Въ одномъ изъ домовъ этой улицы, въ подвальномъ этажѣ, находится харчевня подъ вывѣскою: *Русское пирожное заведеніе.* Эти пирожныя заведенія, помѣщавшіяся въ самомъ приличномъ для нихъ мѣстѣ—туннелѣ пассажа, благоразумно запертаго по распоряженію полиціи, вышли недавно изъ мрака на свѣтъ Божій во всей своей нечистотѣ, съ пятнами горькаго масла на салфеткахъ и съ кухоннымъ чадомъ отъ блиновъ, смѣшаннымъ съ запахомъ алкоголя. Въ ту минуту, когда я поровнялся съ подвальнымъ заведеніемъ, изъ него, вмѣстѣ съ струею алкоголя, поднялись на тротуаръ двѣ фигуры,—одна въ какой-то неопредѣленной полувоенной формѣ, съ пурпуровымъ лицомъ, другая въ статской шинели и въ бархатной пестрой фуражкѣ.

Послѣдній дружески ударилъ меня по плечу. Онъ мнѣ былъ, какъ будто, знакомъ.

— Здравствуй, сказалъ онъ: — сколько лѣтъ и зимъ не видались!... Что, не узнаешь меня?

Я началъ вглядываться въ него.

— Не узнаетъ! замѣтилъ онъ иронически, обращаясь къ своему полу-военному другу: — вотъ оно, братецъ, что значитъ.... а вѣдь мы съ нимъ однокашники, на одной лавкѣ сидѣли!... Гдѣ жъ ему узнать стараго товарища.... Мы, вотъ, видишь ли, вышли изъ русской пирожной, такъ какъ же

можно узнавать такихъ людей, хоть бы они были и однокашники!... Не брезгай, братецъ, нами, не брезгай. Вѣдь въ нашихъ жилахъ течетъ также, слава Богу, дворянская кровь.

— Они точно что васъ не узнаютъ, замѣтилъ полу-военный, улыбнувшись такъ, какъ улыбается г. Горбуновъ въ своемъ превосходномъ разсказѣ о господинѣ, допившемся до чортиковъ.

— Я васъ узналъ, сказалъ я статскому, который держался за пуговицу моего пальто.

Это былъ точно одинъ изъ моихъ школьныхъ товарищей, окончившій курсъ годомъ позже меня, съ которымъ я никогда не имѣлъ никакихъ близкихъ отношеній, и котораго втеченіе двадцати-пяти лѣтъ встрѣчалъ нѣсколко разъ мелькомъ на улицахъ, на желѣзныхъ дорогахъ и на гуляньяхъ. Всѣ свѣдѣнія мои о немъ ограничивались слухомъ, что онъ женатъ на какой-то помѣщицѣ въ триста или пятьсотъ душъ, что имѣніе жены его находится между Петербургомъ и Москвой, и что онъ занимается какими-то мелкими подрядами.

— Мы такъ рѣдко встрѣчаемся съ вами, прибавилъ я: — что если бы я и совсѣмъ не узналъ васъ, — это было бы не удивительно.

— *Вы, васъ....* Слышишь, братецъ, ужъ на *вы* съ однокашникомъ-то, съ старымъ товарищемъ-то!

Онъ обратился къ полу-военному, скорчилъ гримасу и покачалъ головой.

— Ну, Богъ съ тобой, какъ хочешь, сказалъ онъ съ ироніей, осматривая меня съ ногъ до головы: — пожалуй, говори мнѣ *вы*, а я съ тобой буду всетаки на *ты*, потому что я стараго товарища не забываю.

Я хотѣлъ было идти, но старый товарищъ безцеремонно схватилъ меня за руку.

— Нѣтъ, постой, куда ты! Не важничай! Еще успѣешь, сказалъ онъ: — погоди! Вы думаете, что вы сочинители, такъ всѣ передъ вами такъ и должны кланяться и вѣрить каждому вашему слову?... Какъ бы не такъ! Нѣтъ, братъ, извини. Когда вы описываете тамъ эти цвѣточки, кусточки, или какъ тамъ какой нибудь господинъ влюбился въ барышню и катится съ нею въ лодкѣ при закатѣ солнца, — это можетъ

быть и хорошо по вашему. Оно, пожалуй, иной разъ и прочтешь это съ удовольствіемъ, когда нечего дѣлать, во время отдыха. А вотъ когда вы залѣзаете въ чужія усадьбы, да пускаетесь разсуждать о нихъ вкривь и вкось, когда вы добираетесь до нашего сельскаго устройства, о которомъ вы ничего не разумѣете, и хотите увѣрить насъ, что наши дѣды и отцы были глупы, хотите все передѣлывать на какой-то новый манеръ, когда вы посягаете, милостивые государи, на нашу собственность и хотите распоряжаться ею.... это ужъ *атанде!*... Твое помѣстье, братецъ, изъ сколькихъ душъ состоитъ?

Господинъ въ бархатной фуражкѣ разгорячился, глазки его налились кровью, а голосъ принялъ раздражительный тонъ.

— Сколько у тебя душъ? говори!

— Ни одной, отвѣчалъ я, улыбнувшись.

— А-а-а! Извольте видѣть! Вотъ оно что! Ну, такъ послѣ этого понятно, ему нечего терять, такъ онъ можетъ разсуждать о новомъ сельскомъ устройствѣ!... Матвѣй Ѳедоровичъ, слышишь? Вѣдь это понятно, братецъ?...

Полу-военный улыбнулся по-горбуновски, а мой старый товарищъ продолжалъ, все не выпуская моей руки:

— У тебя нѣтъ ни одной души,—я и поздравляю тебя съ этимъ, а у меня своихъ сто, да за женой шестьсотъ, а у него (онъ кивнулъ головой на полу-военнаго) двадцать двѣ души, онъ сосѣдъ мой.... Положимъ, что я не пропаду еще съ голода, что̀ будетъ дѣлать онъ?... Ему вы прикажете съ сумой идти, дворянину-то?...

— Родовое имѣніе, изъ рода въ родъ владѣли.... отъ предковъ, произнесъ, запкаясь, полу-военный.

— Да, отъ предковъ. Ужъ какіе бы ни были предки, а все-таки предки, перебилъ мой старый товарищъ:—у него имѣніе законное, родовое и документы на-лицо, — а вотъ они,—эти господа сочинители (онъ указалъ на меня) говорятъ, что мы наше кровное, законное наслѣдіе должны отдать, уступить, или какъ-то тамъ раздѣлить пополамъ,—я ужъ не знаю.... Прочти-ка, что они пишутъ!... Нѣтъ любезнѣйшій, ты дворянинъ, тебѣ долгъ, честь и совѣсть повелѣваютъ вступиться за нашего брата....

— Прекрасно, перебилъ я:—но я не понимаю, къ чему же вы мнѣ все это говорите? Я отъ роду не писалъ никакихъ статей объ измѣненіи вашего сельскаго устройства.

— Ну если не ты, такъ я знаю, кто такъ у васъ сочиняетъ эту чушь,—и слава Богу, что не ты, потому что дворянину стыдно это писать!... Я не повѣрю, чтобы дворянинъ это писалъ. Но я все вижу, все.... я вижу, что ты противъ насъ, этого ты не скроешь....

— И за что же насъ обижать? произнесъ нетвердо полувоенный:—отнимутъ достояніе.... чѣмъ же жить?

Я хотѣлъ было вырваться отъ моего стараго товарища, но онъ схватилъ меня за другую руку и закричалъ во все горло, такъ что уже около насъ начали останавливаться прохожіе.

— Нѣтъ, не пущу. Ты отвѣчай ему на вопросъ. Чѣмъ онъ жить-то будетъ?

— А сколько вы получали доходу съ вашихъ душъ? спросилъ я у полу-военнаго.

— Сто цѣлковыхъ-съ.... у меня имѣніе заложено-съ....

— Такъ изъ чего же вы такъ хлопочете. Ну, положимъ, что вы ихъ не будете получать съ вашего имѣнія, вслѣдствіе новыхъ условій сельскаго быта, такъ неужели же вы собственнымъ честнымъ трудомъ не будете себѣ въ состояніи добыть вдвое противъ того, что вы получали съ вашего помѣстья? Вы не стары, сложеніе у васъ такое прекрасное, цвѣтъ лица такой....

— Да что жъ ему, однако, пойти въ поденьщики, что ли? перебилъ мой старый товарищъ:—онъ, любезнѣйшій, такъ же дворянинъ, какъ и ты. Вѣдь ты не пойдешь въ плотники? Онъ у себя въ деревушкѣ живетъ себѣ покойно, валяется цѣлый день на лежанкѣ въ своемъ тулупчикѣ, да покуриваетъ трубку, или гарцуетъ въ отъѣзжемъ полѣ. Онъ у себя на всемъ на готовомъ и знать себѣ никого не хочетъ. Ему ста рублей за глаза довольно; а не хочетъ жить дома, возьметъ подводу у своего мужика, пріѣдетъ ко мнѣ, у меня прогоститъ мѣсяцъ-другой.... Онъ такъ мыкается иногда отъ сосѣда къ сосѣду круглый годъ,—тогда и ста рублей ему много. А теперь такъ, ни за что̀, ни про что̀ таскайся по бѣлу свѣту, клянайся, да ищи работы, ради насущнаго про-

кормленія. Да я не хочу работать, не хочу именно потому, что мнѣ предки оставили кусокъ хлѣба,—не хочу! Они оставили мнѣ его для того, чтобы я ничего не дѣлалъ, а пользовался бы только правами и привилегіями своего сословія. Вотъ поэтому-то я и не хочу, если бы и могъ работать....

— Да у васъ никто ничего и не отнимаетъ, будьте покойны, не горячитесь напрасно.

Я хотѣлъ было снова вырваться отъ своего стараго товарища.

— Нѣтъ, братъ, погоди, шалишь!... Не выпущу такъ скоро! воскликнулъ мой старый товарищъ:—у меня накипѣло въ груди-то!... Не отнимаютъ! Ты это думаешь? Нѣтъ, ты прежде меня выслушай.... Мы вѣдь, братецъ, читаемъ вашу дребедень; конечно, сочинять не умѣемъ, но имѣемъ также въ головѣ логику, здравыя понятія. Моя деревенька устроена,—ты спроси у него (онъ ткнулъ пальцемъ на полу-военнаго), какъ игрушка: прекрасный садъ,—жена охотница до цвѣтовъ, оранжереи и много этакихъ разныхъ затѣй. Я въ своемъ помѣстьѣ одинъ хозяинъ, все мое, все мнѣ принадлежитъ; ну, а когда тутъ будетъ сто, двѣсти, триста владѣльцевъ, когда эти неизвѣстные владѣльцы противъ моего дома на своей землѣ вздумаютъ, на зло мнѣ, дѣлать разныя безчинства?... а? Ты не забудь, братецъ, вѣдь у меня жена—женщина образованная, воспитанная въ нѣгѣ, въ баловствѣ,—у дѣда ея было семь тысячъ душъ! Шутка сказать.... У меня четырнадцатилѣтняя дочь, при ней француженка, чистѣйшая парижанка.... Я ей тысячу рублей въ годъ плачу, и вдругъ какой нибудь мужикъ, который, понимаешь, мнѣ теперь за версту шапку снимаетъ, тутъ нарочно передъ нашими глазами будетъ ломаться въ пьяномъ видѣ, въ той мысли, что онъ самъ себѣ господинъ, будетъ еще насъ поддразнивать, что мы ужъ не имѣемъ права распоряжаться съ нимъ, какъ слѣдуетъ. Ну, это каково будетъ, братецъ, я тебя спрашиваю?

— Товарищъ мой скорчилъ ядовитую ироническую гримасу и захохоталъ трагическимъ хохотомъ.

— Да, это ужасно! сказалъ я:—однако, прощайте... мнѣ холодно.

— А намъ не холодно, перебилъ онъ:—потому что мы себя предохранили отъ сырости. Не улыбайся, братецъ, не

улыбайся. Тебѣ кажется не приличнымъ, что мы изъ этого заведенія вышли.... Ахъ вы, франты! Да вѣдь вы насъ не удивите своими Борелями и Дюссо. Ну, хочешь.... пойдемъ сейчасъ обѣдать къ Дюссо. Я тебя угощу. Хочешь,—идетъ, что ли?

Я отказался отъ этого любезнаго приглашенія.

— Ну, Богъ съ тобой, сказалъ мой старый товарищъ:— честь приложена, а отъ убытка Богъ избавилъ.... Насильно милъ не будешь, а я тебя все-таки люблю.... Ты не сердись на меня за правду. Я человѣкъ прямой. Когда тебя можно застать дома? Мнѣ съ тобой, братецъ, нужно переговорить серьёзно объ одномъ литературномъ дѣлѣ. Я непремѣнно къ тебѣ заѣду, непремѣнно. Мы еще должны переговорить о многомъ.

И при этомъ онъ обнялъ меня.

— Говори, когда же я могу застать тебя дома?...

— Всегда, отвѣчалъ я.

— Это значитъ никогда! Да ужъ ты какъ тамъ хочешь, а я, братецъ, насильно ворвусь къ тебѣ.

Я разсказалъ объ этой странной встрѣчѣ одному изъ нашихъ общихъ товарищей, который объяснилъ мнѣ, что товарищъ нашъ изъ русскаго пирожнаго заведенія точно женатъ на вдовѣ помѣщицѣ съ состояніемъ, но что онъ промоталъ свои собственныя души, совершенно запуталъ ея имѣніе и кругомъ задолжалъ, пустившись въ какія-то нелѣпыя аферы, что жена отняла у него въ послѣднее время довѣренность на управленіе ея имѣніемъ, и что, вѣроятно, съ горя онъ началъ зашибать хмѣлемъ.

На-дняхъ онъ сдержалъ свое слово и дѣйствительно ворвался ко мнѣ; напрасно человѣкъ мой увѣрялъ его, что меня нѣтъ дома.

— Ты врешь! кричалъ онъ:—я знаю, что онъ дома.... Я старый товарищъ и другъ твоего барина, меня онъ всегда приметъ, у меня до него важное дѣло...

— Ага! поймалъ же тебя, продолжалъ онъ кричать, входя въ мой кабинетъ;—дома нѣтъ! Нѣтъ, братецъ, меня не надуешь!

Онъ схватилъ мою руку, крѣпко пожалъ ее, потомъ безъ церемоніи развалился на диванъ, закурилъ свою папиросу,

распространившую въ комнатѣ непріятный чадъ, вытащилъ изъ кармана засаленную рукопись и, ударя по ней рукой, произнесъ съ нѣкоторою торжественностію:

— Я принесъ тебѣ, братецъ, кладъ.... такая статья, что фуроръ произведетъ. Я тебѣ отвѣчаю за это: тутъ бездна ума, познаній, историческіе факты, все основано на данныхъ, глубоко обдумано и вѣрно; это не то, что вы тамъ печатаете этакія фантасмагоріи о новомъ сельскомъ устройствѣ,—тутъ, братъ, не теорія, а дѣло, практика. Тому, кому нечего терять, хорошо запускать фантасмагоріи-то, а это писалъ человѣкъ, имѣющій четыре тысячи душъ, хозяинъ, практикъ, все знающій, все изучившій. Вотъ, послушай....

И онъ развернулъ рукопись, приготовляясь читать.

— Нѣтъ, я не могу... мнѣ теперь некогда, вскрикнулъ я съ ужасомъ.

Но мой старый товарищъ не внималъ ничему, и, не смотря на мое восклицаніе, началъ чтеніе, спотыкаясь и путаясь.

Сколько можно было понять изъ такого чтенія, въ рукописи доказывались всѣ прелести и выгоды крѣпостнаго состоянія и къ этому прибавлялось еще, что улучшеніе сельскаго быта не только полезно, но гибельно; что мысль объ этомъ улучшеніи пришла къ намъ изъ растлѣннаго Запада, исказившаго и извратившаго всѣ истинныя и здравыя понятія; что отъ сохраненія стараго крестьянскаго быта во всей его неприкосновенности зависитъ счастіе и благоденствіе нашего отечества, и прочее.

Когда чтеніе кончилось, мой старый товарищъ бросилъ на меня взглядъ побѣдителя и воскликнулъ:

— Ну, что, каково? Что ты послѣ этого скажешь?... Хочешь взять эту рукопись? Ты имѣешь связи съ разными журналистами,—отдай имъ, пусть они напечатаютъ. Вѣдь такая статья принесетъ пять тысячъ подписчиковъ, вѣдь за этакую статью они должны мнѣ въ ножки поклониться.

— Статья точно удивительная, но мнѣ до нея нѣтъ никакого дѣла, отвѣчалъ я:—отправляйтесь сами къ журналистамъ, попробуйте, можетъ быть, и напечатаютъ.

— Понимаю, братецъ, понимаю!... Ты мнѣ этакъ обиняком хочешь сказать, что вы такого рода статей не печатаете....

Не печатайте.... Не печатайте!... Намъ, братецъ, только бы выхлопотать издавать свой журналъ, тогда намъ наплевать на васъ. Извини за откровенность. Тогда мы покажемъ вамъ, въ чемъ дѣло-то. Мы забьемъ, братецъ, уничтожимъ васъ!... Такъ ты рѣшительно не берешься за то, чтобы эта статья была напечатана?

— Нѣтъ, отвѣчалъ я.

— Ну, въ такомъ случаѣ чортъ съ тобой!... Вели-ка водки подать. У тебя что-то холодно.... Я, братецъ, безъ церемоніи, я старый товарищъ!

Старые школьные товарищи и однокашники еще ужаснѣе простыхъ друзей и пріятелей.

На-дняхъ ко мнѣ явился также старый товарищъ, котораго я не видалъ нѣсколько лѣтъ. Помѣщикъ К* губерніи, статскій совѣтникъ и каммеръ-юнкеръ, съ зачесанными отъ затылка на лобъ остатками волосъ. Боже мой! какъ время измѣняетъ людей, какія страшныя черты проводитъ по лицу, и какъ безжалостно обнаруживаетъ то, что подъ румяною и кудрявою юностью почти незамѣтно!... Мнѣ какъ-то грустно стало, когда я вглядѣлся въ выраженіе выпуклыхъ оловянныхъ глазахъ моего товарища, имѣвшихъ нѣкогда пріятный голубой оттѣнокъ, и въ его странную улыбку.... Онъ, неизвѣстно по какой причинѣ, безпрестанно улыбается и потомъ хохочетъ, хотя бы рѣчь шла о самыхъ грустныхъ предметахъ....

— Ну что, какъ ты поживаешь? произнесъ мой товарищъ густымъ басомъ—и захохоталъ.

— Я ничего, отвѣчалъ я: —но ты разскажи мнѣ лучше, какъ идутъ ваши деревенскія дѣла и какъ вы разсматриваете мѣры къ улучшенію крестьянскаго быта?

— Мнѣ, братецъ, что! отвѣчалъ онъ:—у меня вѣдь восемнадцать десятинъ на душу.... мнѣ все равно.... Да что объ этомъ говорить, братецъ, заговоришь, а толку не выйдетъ....

И онъ опять захохоталъ.

— А вотъ я къ тебѣ съ просьбой... Ты тамъ все что-то сочиняешь и со всѣми пишущими знакомъ.... Такъ, вотъ, нельзи ли гдѣ нибудь эти стишки напечатать. Прочти, братецъ, я не знаю, какъ по тебѣ, а по-моему это прекрасные стишки.

Я пробѣжалъ поданный мнѣ листъ. То былъ гимнъ прошедшему времени, исполненный самыми смѣшными, нелѣпыми и непріязненными выходками напротивъ стоящаго.

— Ну, что, каково? спросилъ меня мой товарищъ, улыбаясь, когда я возвратилъ ему стихи.

— Превосходно! отвѣчалъ я:—стихи такъ хороши, что я совѣтую тебѣ напечатать ихъ отдѣльно на веленевой бумагѣ, золотыми буквами, съ гербами кругомъ и арматурой.

Мой товарищъ захохоталъ и выпучилъ на меня глаза.

— Въ самомъ дѣлѣ, возразилъ онъ:—я объ этомъ подумаю. А ты не напечатаешь ихъ?

— Нѣтъ.

XXXI. АРМЕЙСКІЙ ОФИЦЕРЪ.

Въ одно утро, когда я только-что принялся за работу, ко мнѣ явился совершенно незнакомый мнѣ молодой армейскій офицеръ.

— Извините меня, что я безпокою васъ, что я помѣшалъ вашимъ занятіямъ, началъ онъ: — я *такой-то* и рѣшился обратиться къ вамъ; войдите въ мое положеніе, если можете.

— Пожалуйста, садитесь... Что васъ угодно, и чѣмъ я могу быть вамъ полезенъ? спросилъ я.

— Я постараюсь не отнимать у васъ много времени, отвѣчалъ онъ:—но все-таки попрошу у васъ четверть часа, чтобы объяснить вамъ, какъ я очутился у васъ. Для этого надобно все-таки начать издалека. Дѣдъ мой былъ очень извѣстный и богатый помѣщикъ. Говорятъ, что онъ былъ человѣкъ умный, но безъ всякаго образованія, и съ дикой, ничѣмъ необузданной волей. По разсказамъ объ немъ моего отца, онъ долженъ былъ походить отчасти на Багрова, отчасти на барина въ «Старыхъ временахъ», или на Пушкинскаго Дубровскаго. Изъ дѣдушкиныхъ шести тысячъ душъ, отцу моему досталось только шестьсотъ и тѣ заложенныя. Насъ было человѣкъ восемь, изъ которыхъ осталось въ живыхъ четверо. Батюшка былъ человѣкъ добрый, горячо насъ любившій, но съ барскими понятіями, взглядами и предраз-

судками. Онъ непремѣнно хотѣлъ дать намъ блестящее въ барскомъ смыслѣ образованіе, полагая, что съ такимъ образованіемъ намъ легко будетъ послѣ самимъ проложить себѣ дорогу, особенно съ именемъ, которое мы носимъ. Французы и француженки, англичанки, нѣмцы и нѣмки были выписаны для насъ. Въ деревнѣ нашей былъ великолѣпный домъ съ садами, съ насыпными горами, съ вырытыми прудами и съ парками; въ этомъ имѣніи была дѣдушкина резиденція; батюшка, разумѣется, не могъ поддерживать всѣхъ этихъ барскихъ затѣй: пруды обсохли или заплѣсневѣли, домъ разрушался и половина его была заколочена наглухо, паркъ давно заглохъ, а садъ чисто содержался только передъ домомъ. Все это мучило его самолюбіе, оскорбляло его гордость и постепенно раздражало его кроткій характеръ. Вы меня извините за подробности; мнѣ хочется вамъ объяснить мое положеніе... Въ десять лѣтъ я порядочно болталъ на трехъ языкахъ, танцовалъ съ большою ловкостью и былъ смѣлъ и развязенъ не по лѣтамъ. Эту смѣлость и развязность я пріобрѣлъ отъ своего гувернёра-француза. Не только всѣ наши сосѣди, но и вся наша губернія, начиная съ губернаторши, были отъ меня въ восхищеніи. «Charmant enfant!» только и слышалось всюду. Волоса мнѣ завивали въ локоны, платье выписывали изъ Москвы, также какъ и бѣлье. До шестнадцати лѣтъ я носилъ бѣлье изъ самаго тончайшаго полотна, а теперь вотъ неугодно ли вамъ взглянуть.

Онъ улыбнулся, вытащилъ изъ-подъ обшлага кончикъ рукава изъ толстаго, грубаго холста и показалъ мнѣ.

— Отецъ души во мнѣ не чаялъ, продолжалъ онъ: — и баловалъ страшно. Матушка тоже. Въ шестнадцать лѣтъ отдали меня въ Московскій университетъ; отецъ полагалъ, что изъ меня выйдетъ геніальный человѣкъ; онъ прочилъ меня въ дипломаты, но вышло не такъ: я учился плохо, а потомъ пересталъ совсѣмъ учиться, игралъ съ утра до вечера въ трактирахъ на бильярдѣ, пилъ, волочился и надѣлалъ долговъ, а въ заключеніе, не кончивъ курса, вышелъ въ полкъ юнкеромъ! Отецъ былъ въ отчаяніи, но не отъ того, что я велъ безпутную жизнь, — «это», говорилъ онъ, «ничего, это молодость, это все пройдетъ!» — Но именно отъ того, что я въ *армейскомъ* полку имѣю товарищей съ какими-то неблагозвуч-

ными фамиліями и могу испортить свои манеры. О гвардіи и подумать было нельзя, потому что уже въ это время батюшка былъ въ такихъ обстоятельствахъ, что и въ арміи едва могъ содержать меня. Черезъ годъ послѣ моего производства онъ умеръ, матушка и два меньшіе мои брата умерли еще прежде его... Имѣніе мы продали. Двѣ сестры мои были замужемъ и отдѣлены. За уплатой долговъ, мнѣ и старшей сестрѣ моей, больной дѣвушкѣ, осталось всего пятнадцать тысячъ... Смерть отца и грозящая нищета поразили меня. Я вдругъ опомнился, какъ будто проснулся, увидѣлъ безобразіе своей жизни и всю ложь моего воспитанія. Къ тому же, мнѣ стало очень жаль мою бѣдную сестру, къ которой я былъ привязанъ съ дѣтства... Я отдалъ все сестрѣ. Признаюсь вамъ, что этотъ *великодушный* поступокъ мнѣ было сдѣлать не такъ легко, какъ выпить стаканъ воды. Я нѣсколько дней мучился и боролся съ самимъ собою, эгоизмъ чуть было не пересилилъ, но когда я уже отдалъ деньги сестрѣ, я почувствовалъ себя совершенно покойнымъ и счастливымъ, не смотря на то, что сдѣлался нищимъ. Потомъ скоро началась война, я былъ слегка раненъ, а теперь вотъ нахожусь въ безсрочномъ отпуску и ищу себѣ мѣста.

«Первое время мысль существовать своимъ трудомъ и бороться съ обстоятельствами приводила меня въ восторгъ. Я думалъ, что это не такъ трудно. На эту тему у меня были такія фантазіи, что теперь признаться стыдно. Я поборолъ въ себѣ почти совсѣмъ мои барскія вспышки, и былъ достаточно развитъ для того, чтобы отдѣлаться отъ понятій, которыя внушали мнѣ съ дѣтства; частію чтеніе, а частію опытъ жизни, нужда, заставили меня пріобрѣсть болѣе человѣческія понятія; но остатки прежнихъ дикостей все еще иногда и до сихъ поръ прорываются у меня, только не на словахъ, а на дѣлѣ... Что дѣлать!...

«Для пріисканія мѣста, я пріѣхалъ въ Петербургъ. У меня здѣсь по отцу и по матери родственники—люди богатые. Я отправился къ нимъ и объяснилъ имъ прямо и откровенно свое положеніе. Меня выслушали и то только потому, что мои бѣдствія я передалъ на бойкомъ французскомъ языкѣ, а безъ этого, можетъ быть, мнѣ просто бы на дверь указали. У насъ еще до сихъ поръ нѣкоторые люди изъ такъ назы-

ваемаго порядочнаго общества, на человѣка, говорящаго хорошо по-французски, смотрятъ какъ-то благосклоннѣе и считаютъ неловкимъ отдѣлаться грубостями отъ такого человѣка. Родственники довольно вѣжливо отвѣчали мнѣ, что они очень сожалѣютъ о моемъ положеніи, но не знаютъ, какъ помочь мнѣ, потому что вообще мѣста въ Петербургѣ доставать очень трудно, но обѣщали поговорить обо мнѣ князю такому-то и графу такому-то. Я разъ десять заходилъ послѣ этого узнавать, нѣтъ ли отвѣта отъ князя или отъ графа,—по глупости, я принялъ это обѣщаніе серьёзно; но когда мнѣ намекнули, что я слишкомъ нетерпѣливъ и навязчивъ, что я безпокою собой,—я раскланялся, и съ тѣхъ поръ, разумѣется, не видалъ моихъ милыхъ родственниковъ. Нетерпѣливъ и навязчивъ!... Имъ хорошо въ своихъ великолѣпныхъ домахъ съ швейцарами и съ прислугой въ бѣлыхъ галстукахъ разсуждать о терпѣніи, имъ и въ голову не прійдетъ, что человѣкъ можетъ умереть съ голоду. Въ самомъ дѣлѣ, какъ можно умирать съ голоду дворянину, имѣющему хорошія манеры и говорящему бойко по-французски!.. А что, если бы еще увидѣли мою рубашку, которую не надѣнетъ ни одинъ изъ ихъ лакеевъ?... Но я припряталъ ее... Теперь мнѣ ужасно досадно на себя, что я имѣлъ глупость просить этихъ людей, ходить къ нимъ, переносить грубость ихъ швейцаровъ и наглые взгляды ихъ лакеевъ. Все это неопытность! А вѣдь, кажется, тутъ и опытности-то большой не нужно имѣть: во всѣхъ романахъ пишутъ, что на богатыхъ родственниковъ надѣяться нечего... Впрочемъ одинъ изъ нихъ принялъ во мнѣ какъ будто участіе потому ли, что дѣйствительно вошелъ въ мое положеніе, или потому, чтобы похвастаться передо мною, съ какими людьми онъ имѣетъ связи,—это ужъ я достовѣрно не знаю; но дѣло въ томъ, что онъ далъ мнѣ письма къ нѣкоторымъ очень значительнымъ людямъ, изъ которыхъ нѣкоторые обнадеживали меня...

Офицеръ на минуту остановился и сказалъ, пристально посмотрѣвъ на меня:

— Но я, право, боюсь; мнѣ кажется... я отнимаю у васъ время. Скажите мнѣ прямо и откровенно.

— Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста не церемоньтесь и продолжайте, отвѣчалъ я.

— Мое путешествіе по переднимъ и по лѣстницамъ значительныхъ особъ довольно любопытно. Если бы я имѣлъ талантъ, я бы описалъ это путешествіе, и въ этомъ разсказѣ могло бы быть много любопытнаго и поучительнаго... по крайней мѣрѣ для такихъ бѣдняковъ, какъ я... Я вамъ замѣчу только, что люди дѣйствительно значительные принимаютъ нашего брата еще благосклоннѣе, чѣмъ тѣ, которые подъ ними стоятъ, и отъ которыхъ въ сущности много зависитъ. Я сейчасъ кончу; позвольте мнѣ только вамъ разсказать о томъ, какъ принялъ меня одинъ изъ этихъ послѣднихъ.

«Я пришелъ къ нему... это было не такъ давно... въ мѣсто его служенія. Надо вамъ сказать, что я не былъ ему рекомендованъ никѣмъ, а рѣшился пойти спросить у него, нѣтъ ли обо мнѣ чего нибудь, потому что его начальникъ обѣщалъ имѣть меня въ виду.

«Вхожу на департаментскую лѣстницу... Господи! Какая лѣстница, какія колонны, какая чистота и какъ пахнетъ — амбре накурено! Спрашиваю я у швейцара: гдѣ такой-то департаментъ? Онъ говоритъ: направо, во второмъ этажѣ, и прибавляетъ: да куда вы? извольте здѣсь снять шинель.—А что, говорю я, его превосходительство пріѣхалъ?... Нѣтъ еще, говоритъ, а скоро будутъ. Я поднялся съ біеніемъ сердца. У самыхъ дверей департамента стоялъ курьеръ и съ безпокойствомъ посматривалъ внизъ, изъ чего я заключилъ, что дѣйствительно его превосходительство долженъ быть скоро. Вхожу въ первую комнату. У окна за столомъ передъ бумагами сидитъ старый, плѣшивый чиновникъ; у дверей стоитъ унтеръ-офицеръ; на кожаномъ диванѣ, прямо противъ двери, сидитъ какая-то не старая и не дурная дама, должно быть просительница... Когда я вошелъ, плѣшивый чиновникъ апатически взглянулъ на меня и потомъ, отвернувшись, зѣвнулъ, а унтеръ-офицеръ спросилъ: «Кого вамъ нужно?»—Его превосходительство, отвѣчалъ я.—«Не пріѣхалъ еще, ваше благородіе...» Я сѣлъ на стулъ... На стѣнѣ часы тукъ, тукъ, тукъ... Тишина и порядокъ такой во всемъ, только изрѣдка или чиновникъ высморкается, или дама нѣжно крякнетъ отъ нетерпѣнія, или скрыпнетъ дверь и молодой чиновникъ съ завитыми висками, которому должно быть смертельная тоска въ департаментѣ, выглянетъ въ дверь, осмотрится кругомъ,

броситъ особенно внимательный взглядъ на то мѣсто, гдѣ сидитъ дама, выйдетъ изъ двери, поправляя виски, взглянетъ на стѣнные часы, посмотритъ на свои и опять броситъ взглядъ на даму.

«Пройдясь по комнатѣ мимо дамы, чиновникъ съ завитыми волосами сказалъ, обратясь къ плѣшивому чиновнику:

«— Ужъ половина двѣнадцатаго, а не ѣдетъ что-то!

«— Пріѣдетъ! отвѣчалъ плѣшивый чиновникъ, не глядя на завитаго. При этомъ онъ вынулъ табакерку, посмотрѣлъ на нее, и съ разстановкою понюхалъ табакъ.

«Затѣмъ чиновникъ въ завиткахъ удалился; все смолкло, а часы все тукъ, тукъ, тукъ...

«Такимъ образомъ я просидѣлъ болѣе часа.

«Вдругъ на лѣстницѣ послышалось сильное движеніе. Унтеръ-офицеръ полуотворилъ дверь, выглянулъ на лѣстницу и, засуетившись, сказалъ: — пріѣхалъ!

«Плѣшивый чиновникъ встрепенулся и своимъ клѣтчатымъ бумажнымъ платкомъ сдунулъ крошки табаку съ бумаги. Я все это наблюдалъ отъ нечего дѣлать, хотя мнѣ было не до того. Апатическое выраженіе въ лицѣ его мгновенно исчезло: онъ принялъ выраженіе озабоченное и робкое. Нѣсколько чиновниковъ выглянуло изъ двери въ пріемную, также съ безпокойнымъ и робкимъ взглядомъ; плѣшивый чиновникъ махнулъ имъ значительно рукой и прошепталъ: — идетъ! идетъ!

«Все замерло на мгновеніе и часы какъ будто нѣсколько оробѣли... Тукъ-тукъ раздавалось не такъ громко.

«Я никогда не видалъ его превосходительства, я только слышалъ объ немъ много съ тѣхъ поръ, какъ пріѣхалъ въ Петербургъ.

Но здѣсь я долженъ на минуту остановиться и объяснить читателю, что разсказъ офицера, хотя нереданъ мною не слово въ слово, — онъ, можетъ быть, и не говорилъ такъ гладко, — однако безъ всякихъ прибавленій съ моей стороны. Когда разсказчикъ назвалъ по имени его превосходительство, я пришелъ въ совершенный восторгъ.

— Боже мой! воскликнулъ я: — да я имѣю честь быть знакомымъ съ его превосходительствомъ. Это человѣкъ замѣчательный, несравненный, рѣдкій!...

Офицеръ улыбнулся.

— Что вы улыбаетесь?

— Ничего, помилуйте, отвѣчалъ офицеръ: — въ самомъ дѣлѣ это удивительный господинъ... и какую прекрасную карьеру онъ сдѣлалъ: ему на видъ не болѣе 45 лѣтъ...

— Что жъ, это не мудрено, замѣтилъ я:—при его ловкости и эластичности. Такого рода люди сквозь игличное ухо пролѣзаютъ... Но, сдѣлайте одолженіе, продолжайте.

— Признаюсь вамъ, продолжалъ офицеръ: — когда сторожъ отворилъ дверь изъ пріемной на лѣстницу и его превосходительство, предшествуемый курьеромъ съ портфелью, показался на порогѣ двери, я почувствовалъ сильное волненіе и вскочилъ со стула... Плѣшивый чиновникъ, унтеръ-офицеръ, дама-просительница и я, мы всѣ выпрямились въ одно мгновеніе; затѣмъ дама присѣла, а мы почтительно склонили головы.

«Его превосходительство, съ нѣсколько надвинутыми на глаза бровями, прошелъ мимо насъ, не обративъ на нашъ почтительный поклонъ ни малѣйшаго вниманія; за то, ловко, не теряя, впрочемъ, своего достоинства, расшаркнулся передъ дамой и сказалъ:

«— Что̀ вамъ угодно, сударыня?

«— Я все по тому же дѣлу къ вашему превосходительству, отвѣчала дама, бросивъ на него пріятнѣйшій взглядъ.

«— Но, сударыня, возразилъ его превосходительство съ глубокомысленнымъ выраженіемъ: — вы требуете невозможной быстроты... Если вы полагаете, что у насъ одно только ваше дѣло, вы совершенно ошибаетесь. У насъ есть дѣла, несравненно болѣе вашего важныя, — извините за мою откровенность,—дѣла государственныя. Надо имѣть немножко терпѣнія, сударыня.

«И затѣмъ его превосходительство, граціозно шаркнувъ ногою, продолжалъ свое шествіе.

«Когда онъ удалился, а дама вышла, я простоялъ съ минуту въ раздумьи и потомъ подошелъ къ плѣшивому чиновнику.

«— Доложите обо мнѣ его превосходительству. Мнѣ нужно его видѣть... Я сказалъ ему мою фамилію.

«Чиновникъ посмотрѣлъ на меня довольно равнодушно,

а на сапоги мои съ нѣкоторымъ вниманіемъ и любопытствомъ. Къ несчастью у меня была заплата на одномъ сапогѣ... Онъ понюхалъ табаку, зѣвнулъ и спросилъ:

«— А вамъ зачѣмъ его превосходительство? Ихъ нельзя безпокоить. Они теперь заняты.

«— Но я прошу васъ доложить...

«— Это не мое дѣло, отвѣчалъ чиновникъ: — вотъ скажите сторожу... и отвернулся къ окну.

«Сторожъ отвѣчалъ мнѣ, что генералъ никого не принимаетъ и что ему будетъ бѣда, если онъ доложитъ... У меня было четыре четвертака въ карманѣ, я отдалъ одинъ сторожу. Это подѣйствовало и, по нѣкоторомъ раздумьи, онъ пошелъ докладывать обо мнѣ его превосходительству.

«— Ничего, сказалъ онъ, вернувшись и дружески кивнувъ мнѣ головою: — велѣлъ погодить. У нихъ теперь Петръ Петровичъ.

«Я ждалъ полтора часа.

«Наконецъ меня позвали въ кабинетъ его превосходительства.

«Они изволили меня принять стоя у стола и значительно упершись правою ладонью о столъ, съ нависшими на глаза бровями, съ озабоченнымъ и занятымъ видомъ.

«Я поклонился.

«— Что вамъ угодно? произнесъ его превосходительство такимъ тономъ, какъ будто хотѣлъ мнѣ сказать: какъ вы смѣли меня безпокоить!

«— Его высокопревосходительство, началъ я: — нѣсколько мѣсяцевъ назадъ тому, когда я просилъ его объ опредѣленіи меня въ его вѣдомство, изволилъ сказать мнѣ, что онъ будетъ имѣть меня въ виду и поговоритъ обо мнѣ съ вашимъ превосходительствомъ. Не имѣя до сихъ поръ никакого отвѣта, я рѣшился лично безпокоить ваше...

«Но въ эту минуту слова замерли у меня на языкѣ, потому что его превосходительство нетерпѣливо, гнѣвно и быстро поднялъ голову и вскрикнулъ:

«— Только-то, сударь, только?... Я думалъ, что вы въ самомъ дѣлѣ имѣете до меня какое нибудь дѣло... Прощайте.

«И онъ величественно указалъ мнѣ на дверь.

«Я однако не вышелъ.

«— Я потому рѣшился безпокоить ваше превосходительство, сказалъ я твердо: — потому, что у меня въ карманѣ осталось только три четвертака... (Я не сказалъ, что четвертый я отдалъ его сторожу, чтобы быть къ нему допущеннымъ). Если это смѣлость съ моей стороны, извините меня; я пріѣхалъ въ Петербургъ для того, чтобы снискать себѣ кусокъ хлѣба честнымъ трудомъ... и долженъ былъ совсѣмъ прожиться... потому что меня постоянно все обнадеживаютъ... болѣе года. Скажите мнѣ, ваше превосходительство, рѣшительно...

«Его превосходительство прервалъ мою смиренную рѣчь ударомъ кулака по столу. Правая нога его пришла въ судорожное движеніе.

«— Что такое?... Кто васъ обнадеживаетъ? снова закричалъ онъ: — что мнѣ за дѣло до вашихъ трехъ четвертаковъ?... Вы, сударь, только попусту отрываете меня отъ важныхъ занятій: его высокопревосходительство по добротѣ своей обѣщалъ имѣть васъ въ виду, — что жъ изъ этого слѣдуетъ?... а вы съ вашими четвертаками... Что за четвертаки! Что это такое? Вы, сударь, забываетесь; вспомните, гдѣ вы и передъ кѣмъ стоите...

«Онъ при этомъ сдѣлалъ жестъ рукой, ткнувъ себя пальцомъ въ правую сторону груди съ блестящимъ украшеніемъ.

«— Мнѣ, сударь, некогда разговаривать съ вами. Честь имѣю кланяться.

«И онъ иронически поклонился мнѣ. У меня вертѣлся на языкѣ отвѣтъ ему, однако я промолчалъ и вышелъ...

«Такимъ образомъ, я обилъ пороги всѣхъ значительныхъ лицъ въ Петербургѣ, въ теченіе этого года, перенесъ тысячи оскорбленій въ родѣ разсказаннаго мною — и все напрасно; нѣкоторые, впрочемъ, очень вѣжливо водили меня за носъ — и за то спасибо... Но нигдѣ еще не вытерпѣлъ я такого страшнаго оскорбленія, какъ въ домѣ одного мильонера, нажившагося золотыми промыслами или откупами, чѣмъ-то въ родѣ этого... Мнѣ добрые люди посовѣтовали отложить надежды на казенное мѣсто, искать частнаго и обратиться съ этой просьбой къ господину, ворочающему мильонами, котораго я не назову вамъ по имени изъ скромности.

«Я разъ десять въ разное время дня пробовалъ заходить

къ нему; но швейцаръ его постепенно мнѣ отказывалъ; наконецъ, также по совѣту добрыхъ людей, я занялъ немного деньжонокъ и попробовалъ дать швейцару два цѣлковыхъ...

«Эта сумма, казалось, столь незначительная для швейцара господина, ворочающаго мильонами, подѣйствовала. Швейцаръ небрежно снялъ съ меня шинель и сказалъ:

«— Ступайте наверхъ. *Онъ* дома. Тамъ объ васъ доложутъ.

«Я, не помня себя отъ радости, почти взлетѣлъ по широкой лѣстницѣ, устланной драгоцѣннымъ ковромъ, покрытымъ сверху полотномъ снѣжной бѣлизны, и остановился на мраморной мозаичной площадкѣ, передъ раззолоченною дверью, за которой виднѣлись статуи въ цвѣтахъ и въ зелени, массивныя шелковыя портьеры, занавѣсы, зеркала и прочее.

«Я было уже хотѣлъ переступить порогъ этой завѣтной двери, какъ вдругъ передо мною очутился, точно какъ будто выскочилъ изъ-подъ пола, какой-то господинъ, очень полный, прекрасной и значительной наружности съ темными бакенбардами, въ бѣломъ галстукѣ, въ бѣломъ жилетѣ съ золотой цѣпочкой и брелоками, съ перстнемъ на указательномъ пальцѣ, въ тоншайшемъ черномъ фракѣ и въ лакированныхъ сапогахъ... Я принялъ его за *самого* и, признаюсь, оробѣлъ нѣсколько при одной мысли, что стою передъ такой несокрушимой силой—и невольно съежился внутренно.

«— Что вамъ нужно? спросилъ у меня господинъ значительной наружности, загораживая мнѣ дорогу.

«— Я съ просьбой къ ***... Я назвалъ мильонера по имени.

«— *Они* не принимаютъ... куда же вы лѣзете? кто васъ пустилъ?

«— Но нельзя ли обо мнѣ доложить... мнѣ *ихъ* (я ужъ употребилъ множественное мѣстоименіе отъ страха) очень нужно видѣть, сдѣлайте одолженіе... Съ кѣмъ я имѣю честь говорить?...

«— Я *ихній* камердинеръ и говорю вамъ, что ихъ нельзя видѣть...

«У меня кровь бросилась въ голову.

«— Нельзя ли повѣжливѣе, сказалъ я задыхающимся голосомъ:—вы видите, я офицеръ...

«— Чтооо? протянулъ лакей: — много васъ этакихъ... извольте идти, идите, идите... Что тутъ разговаривать-то.

«У меня поднялась ужъ рука, чтобы его ударить, но я пересилилъ себя; вы можете себѣ представить, чего мнѣ это стоило, — я промолчалъ и началъ спускаться съ лѣстницы; ноги у меня подкашивались... Я только невольно пробормоталъ вполголоса:

«— Господи! и у министровъ лакей вѣжливѣе и къ министрамъ легче доступъ.

«— Идите, идите, закричалъ лакей сверху:—насъ министрами-то не удивите... Эй, дуракъ швейцаръ! Зачѣмъ ты сюда пускаешь чортъ знаетъ кого?...

«Ужъ не помню, какъ я выбѣжалъ на улицу; я опомнился только, когда очутился Богъ знаетъ гдѣ, чуть не подъ Невскимъ. Дня два послѣ этого я былъ въ какомъ-то бѣшенствѣ... я хотѣлъ отколотить этого подлаго лакея, поймать самого мильонера на улицѣ и нагрубить ему... Каковъ слуга, таковъ и господинъ, думалъ я. Хорошъ же долженъ быть господинъ!...

«Но теперь, разсуждая хладнокровно и пересказывая вамъ мои похожденія, я думаю, что я былъ неправъ, сердясь на родственниковъ, генераловъ, мильонеровъ и на ихъ дворню; за нечеловѣческое, грубое обращеніе ихъ самихъ, или ихъ лакеевъ, съ бѣдными просителями. Сколько насъ несчастныхъ ежедневно шляется къ нимъ съ просьбами и какъ мы должны надоѣдать собою этимъ счастливымъ, избраннымъ особамъ, а еще болѣе ихъ лакеямъ. Теперь я сержусь не на нихъ, а на самого себя. Вольно же было мнѣ унижаться и таскаться по раззолоченнымъ лакейскимъ. Теперь ужъ нога моя не переступитъ за эти мраморные пороги... Человѣкъ средняго состоянія, испытавшій, что такое бѣдность, или бѣднякъ скорѣе сочувствуетъ бѣдняку. Я ужъ, знаете, заходилъ въ разные магазины и предлагалъ себя въ приказчики—хотѣлъ все испытать... Въ Гороховой есть одинъ маленькій магазинъ, хозяинъ его сжалился было надо мною и хотѣлъ мнѣ дать уголъ и небольшое жалованье, да и то раздумалъ потомъ... «Нѣтъ, говоритъ, не могу, воля ваша: съ васъ нельзя *взыскивать*.» Это мнѣ говорили и другіе магазинщики.

«Что же мнѣ дѣлать? Я думалъ-думалъ, да и придумалъ

обратиться къ вамъ. Вы имѣете связи съ разными журналистами, литераторами. Нельзя ли мнѣ хоть за небольшую плату пріютиться къ какому нибудь изданію? Я могу переводить; но, говорятъ, переводчиковъ и безъ того много. Я предлагалъ насчетъ переводовъ свои услуги книгопродавцамъ, да тѣ мнѣ отказали:—переводчиковъ, говорятъ, какъ собакъ, особенно съ французскаго... Я могу держать корректуру—не возьмутъ ли меня въ корректоры?

«Если бы теперь мнѣ кто нибудь предложилъ 25 рубл. с. въ мѣсяцъ, за мой трудъ, какъ бы онъ тяжелъ ни былъ, я счелъ бы его своимъ благодѣтелемъ... Вотъ за чѣмъ я у васъ, не имѣя чести быть съ вами знакомымъ...»

ЭПИЛОГЪ.

Офицеръ, тронувшій меня, получилъ мѣсто съ хорошимъ жалованьемъ у господина, ворочающаго милліонами, потому что, говорятъ, разсказъ его, переданный здѣсь мною, былъ кѣмъ-то указанъ милліонеру.

За достовѣрность этого я однако не ручаюсь; да, впрочемъ, и не въ томъ дѣло.

Офицеръ ѣздитъ, говорятъ, теперь на лихачахъ, пьетъ у Палкина шампанское и сочиняетъ пошлые стишки.

XXXII. МАКСИМЪ ИВАНЫЧЪ ФАВОРСКІЙ И ЕГО ДНЕВНИКЪ.

«Главное—благоправіе и благомысліе. Эти добродѣтели есть основа всего. Что въ томъ, что человѣкъ съ неба звѣзды хватаетъ? Безъ *благо*правія и *благо*мыслія человѣкъ ничто...» Такъ говаривалъ обыкновенно одинъ изъ моихъ почтенныхъ наставниковъ, учитель логики, Иванъ Акимовичъ Колмыковъ, шестидесяти-пяти-лѣтній старецъ, въ гусарскихъ сапожкахъ, съ длинными отъ затылка волосами, крестообразно зачесанными на лысинѣ и напомаженными клейкой помадой изъ

калины—его собственнаго издѣлія, про котораго одинъ мой школьный товарищъ сочинилъ пѣсенку, начинавшуюся такъ:

«Нашъ учитель Колмыковъ
Умножаетъ дураковъ,
Онъ жилетъ свой поправляетъ
И глазами все моргаетъ....»

Его уже нѣтъ давно на свѣтѣ, этого *благо*мыслящаго и *благо*правнаго старичка—вѣчная ему память!... Но я какъ будто въ сію минуту вижу его передъ собою.

— Что же должно разумѣть, Иванъ Акимычъ, подъ *благо*правіемъ и *благо*мысліемъ? спрашивалъ я его.

— Разумѣй.... отвѣчалъ Иванъ Акимычъ, моргая и подергивая свой жилетъ съ полосками, болѣе приличный для подрясника, чѣмъ для жилета,—разумѣй такъ:—не резонируй, *заискивай* въ начальствѣ, чти заповѣдь, не увлекайся, веди себя аккуратно, не дѣйствуй опрометчиво; пословица говоритъ: «семь разъ примѣрь, одинъ отрѣжь; говори передъ низшими, молчи передъ высшими; записывай ежедневно приходъ и расходъ и что дѣлалъ въ теченіе дня; не пренебрегай снами, отмѣчай ихъ въ записной книжкѣ, ибо Провидѣніе нерѣдко предостерегаетъ человѣка черезъ посредство сновъ; безпрекословно повинуйся старшимъ, не спорь съ ними, ибо яйца курицу не учатъ—и благо будетъ тебѣ на землѣ и высшихъ степеней достигнешь.

Но отчего же, о мой добрый наставникъ, о благонравнѣйшій изъ людей!—ты, для котораго чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника казался высочайшею земною наградою,—отчего, неуклонно исполняя въ теченіе семидесятилѣтней жизни своей всѣ эти превосходныя правила, ты сошелъ въ могилу только съ чиномъ титулярнаго совѣтника, и передъ гробомъ твоимъ несли только одну подушку, на которой скромно покоился орденъ Св. Анны 3-й степени?... Съ твоими превосходными правилами, ты могъ бы по службѣ уйти далеко и достигнуть не только столь вожделѣннаго для тебя чина, а даже перешагнуть за ту черту, о которой тебѣ и во снѣ не снилось: сдѣлаться сановникомъ (т. е. получить 3-й классъ) и украсить грудь тѣми украшеніями, при одномъ взглядѣ на которыя сердце твое бывало мучительно билось, какъ въ аневризмѣ, а краснорѣчивое слово прилипало къ гортани вмѣстѣ съ языкомъ!

Отчего ты, преподававшій намъ науку здраваго смысла (по твоему опредѣленію, логика—наука здраваго смысла, хотя, правду сказать, логика, которую ты преподавалъ намъ, не имѣла ни капли здраваго смысла), отчего ты, мудрецъ, повергавшій всѣхъ, *благо*намѣренныхъ, въ изумленіе своею ученостью, своими цитатами изъ Корнелія-Непота, Саллюстія и Цицерона,—отчего ты не умѣлъ примѣнять своихъ правилъ и знаній къ жизни и весь вѣкъ прожилъ темнымъ человѣкомъ на 1200-хъ р. ассигнаціями?

Чѣмъ ты былъ хуже, напримѣръ, Максима Иваныча Фаворскаго, достигшаго, именно съ помощію твоего нравственнаго кодекса, до большихъ чиновъ и до большихъ орденовъ и оставившаго послѣ себя значительный капиталецъ, накопившійся незамѣтно, вслѣдствіе аккуратной и экономной 50-лѣтней его жизни, изъ одного только жалованья? Отчего ты, подобно ему, не попалъ въ *сановники* и не составилъ себѣ капитальца?... Оба вы *благо*нравіе и *благо*честіе ставили выше всего, оба вы руководились совершенно одинаковой логикой, смотрѣли на міръ почти съ одной точки зрѣнія, оба любили древніе языки, въ особенности латинскій и славянскій, оба въ разговорѣ любили приводить тексты, ты, мой почтенный и вѣчно незабвенный наставникъ—латинскіе, а Максимъ Иванычъ—славянскіе; оба вы даже и по рожденію вышли изъ одного сословія!...

Нѣтъ, видно ты родился не подъ счастливою звѣздою....

Всѣ эти мысли пришли мнѣ въ голову, когда я перелистывалъ случайно доставшійся мнѣ любопытнѣйшій *Дневникъ* его превосходительства Максима Иваныча, найденный въ бумагахъ его послѣ смерти. Въ теченіе 50 лѣтъ Максимъ Иванычъ велъ аккуратно этотъ дневникъ, передъ которымъ блѣднѣютъ всѣ мемуары и записки—заграничныя и отечественныя.

Но, прежде чѣмъ я представлю отрывки изъ этого драгоцѣннаго дневника, я слегка познакомлю читателя съ личностью его автора. Максимъ Иванычъ пользовался нѣкогда значительною извѣстностью въ петербургскомъ чиновничьемъ мірѣ, какъ человѣкъ высоконравственный, благонамѣренный и умный. Безукоризненно-нравственное воззрѣніе его приводило въ умиленіе. Будучи еще не въ большихъ чинахъ, имѣя

отъ роду не болѣе 30 лѣтъ, Максимъ Иванычъ, въ одномъ домѣ выслушавъ однажды небольшое стихотвореніе, оканчивавшееся такъ:

Сей жизни краткой *всѣ* мгновенья
Тебѣ я тщуся посвятить,
Съ тобою жажду съединенья
И буду вѣкъ тебя любить!

которымъ неблагоразумно восхищался при немъ какой-то легкомысленный молодой человѣкъ, находившійся въ гостяхъ въ томъ домѣ,—обратился къ молодому человѣку и произнесъ:

— Позвольте-съ замѣтить вамъ, что стихотвореніе это вовсе не заслуживаетъ похвалы и не дѣлаетъ чести автору, потому что оно безнравственно-съ.—Разберите хорошенько-съ: авторъ хочетъ посвятить всѣ мгновенія своей жизни существу имъ любимому—положимъ-съ очень достойной и прекрасной особѣ; но если онъ *всѣ* минуты посвятитъ ей, то ему не останется времени—ни для исполненія обязанностей своихъ, какъ истинному христіанину относительно Бога, ни для его служебныхъ обязанностей, ибо предполагать должно, что авторъ не одними стихотвореніями занимается, а находится, какъ всѣ благонамѣренные люди, въ государственной службѣ.

Такимъ строго нравственнымъ воззрѣніемъ Максимъ Иванычъ руководился съ юныхъ лѣтъ.... Когда обстриженный подъ гребенку съ полными и румяными щеками, съ тихими и сдержанными манерами, съ благоговѣйно потупленнымъ взоромъ, стоялъ онъ въ вицъ-мундирѣ передъ своимъ начальникомъ, руки по швамъ, и только поводилъ бровями,—на него нельзя было смотрѣть безъ умиленія, а не только самому начальнику, но даже лицу совершенно постороннему такъ и хотѣлось невольно погладить его по головкѣ, потрепать по щекѣ и произнести: «умница!» Эти сдержанныя манеры и эти благоговѣйно-потупленные взоры онъ сохранилъ до преклонной старости въ обращеніи не только съ старшими, но и съ равными себѣ, съ господами до 4-го класса включительно. Разговаривая съ таковыми, онъ долгомъ считалъ повторять черезъ слово — «ваше превосходительство» и отъ поры до времени кивать головою въ видѣ поклоновъ, произнося: «такъ-съ». И если бы не украшенія на его груди,

всякій счелъ бы его за подчиненнаго того генерала, съ которымъ онъ разговаривалъ, или просто за его домашняго служителя... Стригся онъ также до конца жизни подъ гребенку, и полныя щеки его, одрябнувъ отъ старости, не потеряли однакоже румянца, что должно было, безъ сомнѣнія, приписать его регулярной и строго-нравственной жизни.

Максиму Иванычу было лѣтъ 40, когда я въ первый разъ увидѣлъ его въ нашемъ домѣ. Мнѣ тогда было не болѣе десяти.

Я помню, что онъ являлся къ намъ раза два въ мѣсяцъ, подходилъ къ ручкѣ бабушки и потомъ къ маменькиной ручкѣ, потомъ низко кланялся имъ и, по приглашенію бабушки, садился. Если бабушка или маменька не заговаривали съ нимъ, то онъ, промолчавъ съ минуты двѣ, вынималъ обыкновенно изъ кармана тоненькія нравственныя брошюрки (всѣ карманы его были постоянно набиты нравственными брошюрками) и, осклабя свой ротъ пріятною улыбкою, говорилъ, обращаясь къ бабушкѣ и къ маменькѣ:

— Вотъ-съ прекрасныя назидательныя сочиненія-съ, вышедшія недавно изъ печати-съ. Неугодно ли будетъ послушать одно изъ нихъ?

И, не дожидая отвѣта, приступалъ къ чтенію.

Бабушка, слушая его со вниманіемъ, отъ времени до времени тихо позѣвывала и прикрывала ротъ рукой, а маменька представлялась внимательною въ ту минуту, когда онъ или бабушка на нее взглядывали, но исподтишка дѣлала гримасы и пожимала плечами, взглядывая на сидѣвшую поодаль проживалку.

По окончаніи чтенія, Максимъ Иванычъ клалъ брошюрку въ карманъ и спрашивалъ, обращаясь къ бабушкѣ:

— Понравилось ли вамъ это сочиненіе-съ?

— Прекрасное сочиненіе, отвѣчала обыкновенно бабушка: — я заслушалась васъ.... Какъ вы безподобно читаете!

— Покорно васъ благодарю-съ.... Максимъ Иванычъ привставалъ на стулѣ, кланялся бабушкѣ и прибавлялъ:

— Если вамъ такъ понравилось это сочиненіе, — то позвольте мнѣ поднести его вашему превосходительству.

Бабушка благодарила и принимала съ удовольствіемъ брошюрку, а Максимъ Иванычъ, посидѣвъ немного, вставалъ, кланялся и снова подходилъ къ ручкамъ бабушки и маменьки.

— Куда же вы такъ торопитесь, Максимъ Иванычъ? спрашивала его обыкновенно бабушка:—посидѣли бы еще. Мнѣ всегда пріятно васъ видѣть.

— Очень благодаренъ-съ, отвѣчалъ онъ:—за вниманіе ко мнѣ; но я обремененъ занятіями и потому не могу воспользоваться вашимъ любезнымъ предложеніемъ-съ.

Когда онъ уходилъ, бабушка обыкновенно вздыхала и произносила:—Ахъ, какой прекрасный человѣкъ, истинно добродѣтельный! и какой умница!... Вотъ съ такимъ человѣкомъ пріятно и полезно проводить время!

Маменька обыкновенно поддакивала ей, а потомъ говорила потихоньку проживалкѣ, или какой нибудь родственницѣ, присутствовавшей во время чтенія:

— Ну, слава Богу, ушелъ!... какъ онъ надоѣдаетъ съ своими чтеніями! Кажется, нѣтъ на свѣтѣ скучнѣе человѣка!

Я внутренно соглашался съ маменькой и меня нисколько не удивляло, что она поддакиваетъ бабушкѣ и соглашается съ нею противъ себя, потому что это повторялось безпрестанно.

Я помню, что Максимъ Иванычъ производилъ на всѣхъ какое-то непріятное, стѣсняющее, тяжелое впечатлѣніе, хотя никто не рѣшался сознаться въ этомъ; я даже почему-то немножко боялся его, не смотря на то, что онъ очень ласкалъ меня. Въ лицѣ его было что-то неподвижное, мертвое, какъ будто это было не лицо, а маска; когда онъ улыбался, ротъ его растягивался до ушей, и, вмѣсто одушевленія, улыбка придавала ему выраженіе еще болѣе неестественное. Меня особенно смущали его огромныя, торчавшія уши. При его появленіи веселость исчезала на лицахъ, смолкалъ добродушный смѣхъ, всѣ какъ-то сжимались неловко и принимали постный видъ. Мой инстинктъ говорилъ мнѣ не въ пользу Максима Иваныча, но я старался заглушить въ себѣ этотъ инстинктъ, потому что всѣ кругомъ меня твердили, что онъ примѣрный, *благо*честивый, *благо*нравный, *благо*намѣренный, и проч. и что онъ ведетъ жизнь образцовую и безукоризненную. Позже я осмѣлился усомниться въ его умѣ, но не рѣшался никому высказать этого, потому что всѣ кругомъ меня твердили, что онъ умнѣйшій человѣкъ.

Старшій братъ мой, который былъ посмѣлѣе меня и вполнѣ раздѣлялъ мой образъ мыслей касательно Максима Иваныча, спросилъ однажды у одной изъ нашихъ родственницъ—дамы, имѣвшей авторитетъ въ нашемъ семействѣ по уму и начитанности, говорившей всегда сухими, моральными афоризмами:

— Неужели вы считаете Максима Иваныча умнымъ человѣкомъ?

— А неужели же можно сомнѣваться въ этомъ? отвѣчала она.

— Да чѣмъ же обнаруживается его умъ? возразилъ мой братъ: — говоритъ онъ мало, а если и говоритъ, то обыкновенно о вседневныхъ, самыхъ обиходныхъ вещахъ: о томъ, кого произвели въ чинъ, кому дали орденъ, что ему сказала графиня такая-то, у которой онъ имѣлъ счастье быть сегодня, или какъ изволилъ принять его ласково такой-то князь; для того же, чтобы читать во всѣхъ домахъ моральныя брошюрки—также не нужно большаго ума: нужно только умѣть читать складно и не имѣть никакого такта. Къ тому же, кромѣ своихъ моральныхъ брошюръ, онъ врядъ ли что нибудь читывалъ.

— Ты еще слишкомъ молодъ, чтобы критиковать такихъ людей, какъ онъ,—сказала тетушка, нахмуривъ брови: — это не дѣлаетъ чести твоей нравственности; дай Богъ, чтобы всѣ имѣли такія правила и такой образъ мыслей, какіе имѣетъ Максимъ Иванычъ. Его уважаютъ люди, которые имѣютъ значеніе побольше, чѣмъ мы съ тобой. Если бы онъ не имѣлъ ума, онъ не могъ бы занимать такого значительнаго мѣста и дослужиться до такого чина.

Братъ мой, въ которомъ отрицательный элементъ началъ проявляться очень рано, улыбнулся, выслушавъ тетушку, и не сталъ возражать ей.

Послѣдній аргументъ тетушки—именно тотъ, что, не имѣя ума, нельзя достигнуть значительнаго чина, сильно подѣйствовалъ на меня... Я поколебался.

— Нѣтъ, должно быть онъ въ самомъ дѣлѣ уменъ, подумалъ я, только скрываетъ свой умъ.. Какъ же безъ ума достигнуть до такого чина!

Впослѣдствіи, въ лѣтахъ зрѣлыхъ, я однако убѣдился,

что можно, и безъ ума и безъ особенно-глубокихъ свѣдѣній, добиться до лестнаго и почетнаго титла превосходительства.

Когда я окончилъ курсъ, матушка послала меня съ визитомъ къ Максиму Иванычу.

— Съѣзди къ нему, дружочекъ, говорила она: — онъ идетъ въ гору, надо всегда заискивать въ такого рода людяхъ. (Маменька также держалась нравственныхъ правилъ Ивана Акимыча и Максима Иваныча). Онъ можетъ тебѣ быть полезенъ.

Максимъ Иванычъ занималъ небольшую квартиру, которая содержалась въ баснословной чистотѣ, хотя на прислугахъ у него была одна только пожилая женщина, въ крайнемъ случаѣ исправлявшая также должность кухарки. Но эта женщина была нѣмка...

— Дома его превосходительство Максимъ Иванычъ? спросилъ я у нея, когда она отворила мнѣ дверь.

Нѣмка внимательно осмотрѣла меня съ ногъ до головы и сказала:

— А какъ объ васъ доложить?

Я назвалъ свою фамилію.

— Пожалуйте, сказала она, возвратясь черезъ минуту, и ввела меня въ комнату, которая была вся въ шкафахъ съ книгами:—*они* сейчасъ выйдутъ.

— Боже мой! подумалъ я:—можно ли хотя одно мгновеніе сомнѣваться въ умѣ и учености человѣка, у котораго такая чудесная библіотека!

Для меня до сихъ поръ однако загадка, къ чему служила библіотека Максиму Иванычу, никогда не читавшему добровольно ничего, кромѣ назидательныхъ брошюрокъ?...

Я всегда былъ робокъ по натурѣ и всякій авторитетъ невольно подавлялъ меня; эта робость осталась во мнѣ и до сихъ поръ... Человѣкъ, пользующійся репутаціею необыкновеннаго ума, или таланта, или учености, производитъ на меня такое впечатлѣніе, что въ его присутствіи я невольно теряюсь, взвѣшиваю каждое слово, боюсь провраться и потому становлюсь натянутъ, скученъ и глупъ, сознаю это внутренно и отъ этого дѣлаюсь еще смѣшнѣе и скучнѣе. Притомъ съ дѣтства мнѣ внушено, по нравственному кодексу Ивана Акимыча, глубочайшее уваженіе къ чиновнымъ авторитетамъ и

вообще къ чинамъ, титламъ, званіямъ и украшеніямъ, что осталось во мнѣ до нѣкоторой степени и доселѣ, не смотря на всѣ мои разочарованія. Въ присутствіи генерала я еще до сихъ поръ никакъ не могу быть вполнѣ самимъ собою: свободно сидѣть на стулѣ, свободно высказывать свой образъ мыслей, оспаривать свободно его мнѣнія; генералу я какъ-то невольно поддакиваю; передъ генераломъ я какъ-то невольно держусь, по старой привычкѣ, прямѣе; ему я какъ-то, также по старой привычкѣ, улыбаюсь слаще... Я понимаю, что его превосходительство изволитъ говорить совсѣмъ не то; я вижу ясно, что его превосходительство изволилъ отстать; что онъ не понимаетъ самыхъ простыхъ вещей, что его взглядъ смѣшонъ и жалокъ, а свѣдѣнія очень бѣдны; я чувствую, что не нужно большой храбрости и большихъ знаній для того, чтобы вступить въ борьбу съ его превосходительствомъ и побѣдить его, — но какъ-то недостаетъ духу... и еще — если бъ я въ немъ искалъ чего нибудь, если бъ я нуждался въ немъ! Привычки дѣтства сильны. Что дѣлать! титулъ превосходительства имѣетъ на меня какое-то магическое вліяніе... Съ статскимъ совѣтникомъ я уже несравненно свободнѣе, и если бъ я былъ столь же робокъ въ печати относительно ихъ превосходительствъ, то навѣрное пользовался бы ихъ благосклонностью и вѣроятно заслужилъ бы отъ нихъ наименованіе *благо*намѣреннаго и *благо*мыслящаго *молодого* человѣка, не смотря на то, что я вовсе не молодъ, но въ глазахъ ихъ превосходительствъ *я*, разумѣется, все еще *мальчишка*.

Если я теперь такъ робокъ передъ генералами, то читатель можетъ вообразить, до чего оробѣлъ я тогда, войдя къ Максиму Иванычу; къ тому же, его библіотека окончательно уничтожила меня... Генералъ и ученый! подумалъ я.

Въ ту минуту, когда я разсматривалъ книги, по бо́льшей части все назидательнаго содержанія, сзади меня раздался тонкій, нѣсколько дребезжащій и мало симпатичный голосъ:

— Мое почтеніе-съ.

Я вздрогнулъ и обернулся.

Передо мною стоялъ самъ Максимъ Иванычъ въ виц-мундирѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы и съ украшеніемъ на лѣвой груди.

Я смѣшался и произнесъ нескладно:

— Я долгомъ счелъ явиться къ вашему превосходительству, потому что (почему, я не понималъ самъ, и запнулся)... потому что маменька поручила мнѣ засвидѣтельствовать вамъ свое почтеніе...

— Благодарю васъ, отвѣчалъ Максимъ Иванычъ, наклонивъ свою обстриженную голову съ значительною просѣдью:— милости прошу сюда-съ.

И онъ ввелъ меня въ гостиную, самъ сѣлъ на диванъ передъ круглымъ столомъ, а мнѣ указалъ на кресло.

Я сѣлъ, поклонившись молча.

Минуты двѣ было молчаніе.

Его превосходительство крякнулъ. Затѣмъ опять съ минуту продолжалось молчаніе. Его превосходительство еще разъ крякнулъ и произнесъ:

— Вы, я слышалъ, очень успѣшно окончили курсъ наукъ-съ? Я съ вашимъ начальникомъ знакомъ-съ. Начальство вообще очень хорошо отзывается объ васъ и объ вашей нравственности-съ.

Я поклонился, внутренно спрашивая себя: зачѣмъ же я ему кланяюсь: вѣдь не онъ, а начальство хвалитъ меня?

— Такіе отзывы объ васъ начальства дѣлаютъ вамъ честь, продолжалъ Максимъ Иванычъ: — съ хорошею нравственностью и *благо*правнымъ поведеніемъ вы можете-съ до всего дойти.

«То есть до чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника», подумалъ я.

Затѣмъ снова послѣдовало молчаніе.

— Я, началъ Максимъ Иванычъ черезъ минуту:—имѣю счастіе пользоваться благосклонностью вашего министра-съ: онъ человѣкъ рѣдкій, высокихъ, прекрасныхъ правилъ-съ... и непосредственнаго вашего начальника знаю-съ: во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ достойный-съ... А чтеніе вы любите-съ?...

— Да-съ, я читаю много.

— Это прекрасно-съ, возразилъ Максимъ Иванычъ: — только надо читать съ большимъ выборомъ, только такія сочиненія-съ, которыя питаютъ въ одно время умъ и сердце — назидательныя, нравственныя сочиненія-съ... Вотъ-съ я вамъ рекомендую, вышла недавно одна весьма назидательная бро-

шюрка-съ... Она небольшая-съ. Я вамъ ее прочту-съ. Послушайте.

И Максимъ Иванычъ началъ читать брошюрку, въ которой доказывалось, что надобно идти по пути добродѣтели, избѣгая всякихъ соблазновъ и всякаго зла, на которые наталкиваетъ насъ врагъ человѣческаго рода.

— Не правда ли, прекрасное сочиненіе? произнесъ онъ, кончивъ: — какія высокія мысли и краснорѣчіе!

Да кто же не знаетъ этого? вертѣлось у меня на языкѣ,— если бъ это высказано было по крайней мѣрѣ не такъ пошло!

— Превосходно, ваше превосходительство! произнесъ я въ отвѣтъ и при этомъ еще, для выраженія бо̀льшаго восторга, поднялъ глаза къ потолку.

Максимъ Иванычъ былъ, повидимому, очень доволенъ мною, пожалъ мнѣ руку, проводилъ меня до передней и, кланяясь мнѣ, сказалъ: — желаю вамъ всякаго успѣха-съ. Я увѣренъ, что вы далеко пойдете по службѣ... Матушкѣ мое глубокое почтеніе-съ. Когда я сходилъ съ лѣстницы, я, однако, почувствовалъ себя какъ-то нехорошо, и какой-то какъ будто внутренній голосъ шепталъ мнѣ:

— Жалкій ты человѣкъ! ты еще только начинаешь свое поприще, а ужъ безпрестанно путаешься во лжи, въ лести и въ лицемѣріи... Ну, зачѣмъ ты такъ сладко смотрѣлъ на этого застарѣлаго ханжу и лицемѣра? Зачѣмъ ты прикинулся восхищеннымъ отъ его брошюрки?

Я, краснѣя, отвѣчалъ на это:

— Но мнѣ съ дѣтства внушали заискивать въ значительныхъ людяхъ, во всемъ соглашаться съ старшими и вести себя относительно ихъ какъ можно осторожнѣе и скромнѣе... Мнѣ безпрестанно твердили, что въ этомъ заключаются всѣ правила нравственности!

— Хороша нравственность, основанная на лжи, съ упрекомъ шепталъ мнѣ внутренній голосъ,—на уничтоженіи своего человѣческаго достоинства!... Искательство, ложь и лицемѣріе — правила холопства...

На это я не могъ ничего возразить моему внутреннему голосу... Я чувствовалъ, что онъ имѣетъ нѣкоторое основаніе, и послѣ его замѣчаній мнѣ стало на минуту еще тяжелѣе...

Слова Максима Иваныча: «я увѣренъ, что вы далеко пойдете по службѣ-съ» камнемъ легли мнѣ на сердце.

Но все это касается лично до меня и нейдетъ къ дѣлу. Обратимся къ *благо*мыслящему Максиму Иванычу.

Если еще въ чиновныхъ сферахъ, между людьми почтенными, находились люди, сомнѣвавшіеся въ умѣ Максима Иваныча, то уже относительно его *благо*мыслія и добродѣтели никто не имѣлъ малѣйшаго сомнѣнія. Съ моимъ внутреннимъ голосомъ, касательно того, что будто бы онъ тупой лицемѣръ и ханжа, соглашались только молодые люди, замѣченные вообще въ неблагонамѣренномъ и либеральномъ образѣ мыслей... И что они могли сказать противъ безукоризненнаго образа его жизни?

Максимъ Иванычъ съ примѣрною точностью и неуклонностью исполнялъ всѣ служебныя и общественныя обязанности, по общепринятымъ правиламъ. Вставалъ онъ ежедневно зимой въ 8 часовъ, а лѣтомъ въ семь; помолившись Богу, умывшись и одѣвшись и выкушавъ чаю, занимался бумагами до 12 часовъ, а въ 12 часовъ отправлялся пѣшкомъ въ должность... Максимъ Иванычъ, съ первыхъ дней своей служебной дѣятельности до послѣднихъ минутъ своей жизни, никогда, не развлекаясь и не увлекаясь ничѣмъ, не позволялъ себѣ истратить лишней копѣйки; еще съ самыхъ малыхъ чиновъ и окладовъ онъ началъ ежегодно откладывать въ ломбардъ маленькую сумму отъ экономіи, постепенно возвышая ее при своемъ возвышеніи. «Это копѣйка на черный день», благоразумно думалъ онъ, не подозрѣвая, что для такого рода людей, какъ онъ, не бываетъ чернаго дня... Въ значительныхъ чинахъ и при значительныхъ окладахъ, онъ продолжалъ все скромно ходить пѣшкомъ, не дерзая и подумать о заведеніи экипажа, какъ объ излишней роскоши. Мысль о женѣ, какъ и объ экипажѣ, почиталъ онъ равно дерзкою, и хотя смолоду чувствовалъ поползновеніе къ прекрасному полу, но, благоразумно сдерживая свои страсти, дошелъ до того, что уже въ преклонныхъ лѣтахъ—это было высшее торжество нравственности! — разсматривалъ женщину, какъ порожденіе нечистой силы, какъ первую причину всего зла... Въ большихъ чинахъ онъ позволилъ себѣ нанять только квартиру побольше, но не измѣнилъ почти ни въ чемъ своихъ преж-

нихъ привычекъ мелкаго чиновника и, попрежнему, оставался только съ своей нѣмкой, замѣнявшей ему всю прислугу... Возвратясь изъ должности, онъ кушалъ два блюда и въ такомъ случаѣ послѣ обѣда засыпалъ на часокъ-другой; но обѣдалъ дома рѣдко, въ видахъ экономіи, что ему было не трудно при его многочисленныхъ и разнообразныхъ знакомствахъ и при значительной смертности въ Петербургѣ. Максимъ Иванычъ больше обѣдалъ на похоронныхъ обѣдахъ, ибо считалъ непремѣннымъ долгомъ провожать всѣхъ своихъ знакомыхъ до послѣдняго жилища и потомъ помянуть ихъ за трапезой. Въ такихъ случаяхъ, онъ возвращался съ кладбища домой, чтобы отдохнуть и потомъ отправлялся въ гости, начинивъ широкіе карманы своего вицъ-мундира и своей шинели нравственными брошюрками. Онъ былъ вхожъ, между прочимъ, во многіе знатные дома, гдѣ его терпѣли, какъ терпятъ вообще старую прислугу... по необходимости. Максимъ Иванычъ, какъ человѣкъ добросовѣстный и аккуратный, былъ рекомендованъ еще въ молодости нѣкоторымъ именитымъ особамъ и исполнялъ ихъ разныя порученія и приказанія, за что и былъ награждаемъ вниманіемъ, ласковымъ обращеніемъ, дозволеніемъ иногда приходить обѣдать... и небольшими суммами. Изрѣдка, именитые особы, въ знакъ своего особеннаго благоволенія къ нему, дозволяли ему даже прочитывать имъ нравственныя брошюрки, и потомъ, улыбаясь, говорили между собою: «добрый человѣкъ, но ужасный чудакъ!» Часамъ къ двѣнадцати Максимъ Иванычъ обыкновенно возвращался домой и, вписавъ въ свой дневникъ нѣсколько строчекъ, (какое сходство съ моимъ почтеннымъ наставникомъ!) ложился почивать, помолившись Богу. У него были записаны рожденья и имянины всѣхъ важныхъ особъ и значительныхъ лицъ, и въ такіе дни, передъ должностью, онъ, обыкновенно, пѣшечкомъ отправлялся къ нимъ съ поздравленіями, былъ принимаемъ нѣкоторыми, а у другихъ записывался въ швейцарской — и все это исполнялъ постоянно въ теченіе всей своей высоконравственной жизни... О праздникахъ Рождества, Новаго года и Свѣтлаго Воскресенія говорить нечего... Въ первый день каждаго изъ высокоторжественныхъ праздниковъ онъ объѣзжалъ, на скромномъ извощикѣ, всѣхъ знатныхъ особъ и лицъ, на другой день—менѣе

значительныхъ, а на третій день — знакомыхъ попроще. Въ недѣлю Пасхи онъ уже непремѣнно останавливалъ всѣхъ встрѣчавшихся ему на улицѣ своихъ знакомыхъ, какого бы они ни были малаго чина, по христіанскому обычаю цѣловалъ ихъ трижды въ губы, произнося: «Христосъ воскресе» и потомъ кланялся, прибавляя: — желаю-съ, чтобы Господь сподобилъ насъ встрѣтиться и въ слѣдующемъ году въ этотъ день»...

Максимъ Иванычъ съ генеральскаго чина считалъ также своею непремѣнною обязанностью, неизвѣстно почему, появляться на всѣхъ публичныхъ экзаменахъ, актахъ и торжественныхъ засѣданіяхъ въ полномъ мундирѣ и во всѣхъ украшеніяхъ. Онъ внимательно выслушивалъ всѣ рѣчи, или отвѣты учениковъ, самъ никогда не предлагалъ никакихъ вопросовъ и, слушая, только отъ времени до времени поводилъ бровями.

Послѣ же публичнаго экзамена подходилъ обыкновенно къ выпускнымъ воспитанникамъ, съ родителями которыхъ былъ знакомъ, и говорилъ имъ постоянно одну и ту же фразу:

— Поздравляю васъ. Желаю-съ, чтобы вы были утѣшеніемъ вашихъ почтенныхъ родителей и достигли бы большихъ чиновъ-съ.

Трудолюбіе и усердіе къ службѣ Максима Иваныча были не подвержены никакому сомнѣнію и нельзя было не удивляться, какъ у него стаетъ времени при его служебныхъ занятіяхъ исполнять всѣ мелочныя общепринятыя и даже совсѣмъ никѣмъ непринятыя обязанности. О служебныхъ способностяхъ его были различные толки: пожилые служаки-рутиперы, искушенные многолѣтнимъ опытомъ, отзывались о немъ, какъ о замѣчательномъ чиновникѣ; люди же молодые, неопытные, съ либеральнымъ взглядомъ, имѣвшіе случай узнать его поближе, увѣряли, что все, выходившее изъ рутины или изъ обычной формы, ставило его въ тупикъ и потребны были необыкновенныя усилія для объясненія ему какой-нибудь новой, хотя и простой, мысли, и что онъ никакъ не могъ освоиться и примириться съ таковою мыслію до тѣхъ поръ, покуда она не была одобрена высшимъ начальствомъ и не признана имъ необходимою. Кому, въ этомъ случаѣ, вѣрить — я предоставляю рѣшить читателю; я знаю только то, что

Максимъ Иванычъ дѣйствительно оказывалъ свое покровительство тѣмъ изъ своихъ подчиненныхъ, которые были самыми закоренѣлыми представителями формы и рутины, какъ съ точки зрѣнія служебной, такъ и съ точки зрѣнія общественной; которые наиболѣе обнаруживали *преданности* и *подчиненности*, были слѣпыми и *безотвѣтными* исполнителями всякихъ приказаній, имѣли видъ скромный и благонравный и поздравляли начальство съ праздниками аккуратно.

Такихъ нравственныхъ пуристовъ, какимъ былъ Максимъ Иванычъ, въ сію минуту уже не отыщешь.

Онъ заботился не только о нравственности своихъ подчиненныхъ—чиновниковъ и сторожей, но простиралъ эту заботливость даже на ихъ женъ, дочерей и прочее..

Если кто нибудь изъ его подчиненныхъ приходилъ къ нему просить разрѣшенія о вступленіи въ законный бракъ, — его превосходительство при этомъ, обыкновенно, хмурился и, по нѣкоторомъ размышленіи, спрашивалъ:

— Очень хорошо-съ; но я прежде желалъ бы знать, хорошаго ли поведенія ваша невѣста-съ, честныхъ ли она родителей, и къ какому они званію принадлежатъ?

Женихъ отвѣчалъ обыкновенно, что невѣста дочь статскаго или коллежскаго, или надворнаго совѣтника, что будущій тесть, кромѣ того, имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы и при томъ кавалеръ, и что поэтому онъ, женихъ, не имѣетъ не только права сомнѣваться въ поведеніи невѣсты, но почитаетъ даже мысль о сомнѣніи предосудительною.

Это нѣсколько, повидимому, успокоивало его превосходительство, однако онъ возражалъ:

— Все это такъ-съ; ну, а можетъ быть, вы меня обманываете-съ?

Подчиненный, разумѣется, увѣрялъ, что онъ не осмѣлился бы обмануть его превосходительство, и клялся, что его невѣста имѣетъ весьма нравственныя правила. Но, не смотря на все это, Максимъ Иванычъ никогда не давалъ разрѣшенія прежде личнаго объясненія съ будущимъ тестемъ своего подчиненнаго.

Нравственная точка зрѣнія его превосходительства на литературу и на жизнь нерѣдко поставляла иныхъ въ весьма щекотливое и непріятное положеніе.

Говорятъ, какой-то издатель, высоко дорожившій мнѣніями Максима Иваныча и не рѣшавшійся ничего печатать безъ его совѣта, принесъ однажды на его одобреніе стишки, пріобрѣтенные имъ у какого-то поэта. Стишки были, бо́льшею частью, содержанія благочестиваго, — и Максимъ Иванычъ одобрилъ ихъ, но между ними попалось одно стихотвореніе къ *дѣвицѣ*, имя и фамилія которой были выставлены не вполнѣ. Поэтъ восхищался красотой ея и говорилъ ей, между прочимъ:

Природы — чудо, совершенство,
Васъ невозможно не любить,
Любимымъ вами быть блаженство... и прочее.

Максимъ Иванычъ очень призадумался надъ этимъ стихотвореніемъ: сначала вовсе не хотѣлъ его одобрить, а потомъ рѣшился одобрить не иначе, какъ съ слѣдующимъ примѣчаніемъ, которое онъ сдѣлалъ въ выноскѣ: «Авторъ не рѣшился бы написать и напечатать это стихотвореніе къ дѣвицѣ такой-то (имя и фамилія ея должны быть напечатаны вполнѣ), если бы онъ не имѣлъ намѣренія вступить съ нею въ законный бракъ.» Все это происходило въ отсутствіи поэта. Издатель напечаталъ стихотвореніе съ примѣчаніемъ. Влюбленный поэтъ, ничего не подозрѣвая и даже не зная, вышла или нѣтъ его книжка, въ день возвращенія своего въ Петербургъ, черезъ часъ отправился въ домъ родителей дѣвицы. Дѣвица не показывалась, а родители ея приняли его очень сухо. Смущенный молодой человѣкъ, всегда пользовавшійся особенною любовью и вниманіемъ ихъ, рѣшился спросить у нихъ: «за что они на него сердятся?...»

— И вы, милостивый государь, отвѣчалъ родитель дѣвицы: — имѣете еще дерзость предлагать мнѣ такой вопросъ?...

— Клянусь, нескладно заговорилъ молодой человѣкъ чуть не сквозь слезы: — я васъ такъ уважаю... мнѣ это такъ больно... я не понимаю, что все это значитъ... чѣмъ я могъ заслужить такое обращеніе...

— А это, сударь, что̀? воскликнулъ родитель дѣвицы, съ сверкающими глазами указывая ему на его стихотвореніе съ нравственнымъ примѣчаніемъ Максима Иваныча.

Поэтъ прочелъ примѣчаніе и чуть не упалъ въ обморокъ, и хотя дѣло объяснилось потомъ, но ему все-таки деликатно отказали отъ дома.

Когда Максиму Иванычу передали это печальное событіе съ поэтомъ, онъ хладнокровно выслушалъ и также хладнокровно произнесъ:

— По-моему-съ, безъ примѣчанія стихотвореніе это было бы еще неприличнѣе, и родители дѣвицы могли бы тогда еще болѣе оскорбиться. Во всякомъ случаѣ-съ, это можетъ послужить урокомъ молодому человѣку быть впередъ осторожнѣе-съ и выбирать предметы болѣе нравственные и серьёзные для своихъ стихотвореній.

Максимъ Иванычъ сошелъ въ могилу такъ же скромно, какъ онъ жилъ, оставивъ какому-то отдаленному родственнику, о которомъ онъ никогда не думалъ и котораго никогда не видалъ въ глаза, довольно значительный капиталецъ. Никто не присутствовалъ въ минуту его кончины, кромѣ его аккуратной и чистоплотной нѣмки, которая аккуратно закрыла ему глаза, аккуратно дала знать о его смерти кому слѣдуетъ, и потомъ, по обыкновенію, принялась аккуратно вязать свой чулокъ, какъ ни въ чемъ не бывало... Самое драгоцѣнное наслѣдіе, оставшееся намъ послѣ покойнаго и принадлежащее всѣмъ намъ, его соотечественникамъ, — это, безъ сомнѣнія, «Дневникъ», найденный послѣ смерти въ его бумагахъ, веденный имъ въ теченіе сорока лѣтъ, — удивительный матеріалъ для изученія человѣка, слывшаго нѣкогда полезнымъ, нравственнымъ, умнымъ, примѣрнымъ членомъ общества...

Вотъ отрывки изъ этого несравненнаго дневника. Я возьму только за годъ одинъ день изъ каждаго мѣсяца на выдержку:

Января 2 18**. Благодареніе Богу, сонъ былъ хорошъ отъ 12 до 7. Во снѣ видѣлся мальчикъ въ красной рубашкѣ, желавшій нанесть мнѣ смертельный ударъ. Всѣ жизненныя исправленія были какъ слѣдуетъ. Обѣдалъ у его превосходительства Ѳедора Мартыновича Зарубина, потомъ прошелся немного, вечеромъ былъ дома и легъ на ночь въ 12 часовъ.

Февраля 10. — Помяни Господи душу усопшія рабы твоей моей бабки, скончавшейся въ этотъ день въ 1792 г. Благодареніе Создателю, сонъ былъ хорошъ отъ 1 до 8 ч. Все было какъ слѣдуетъ. Во снѣ видѣлъ, что кто-то противъ воли моей берется докладывать мои бумаги и

потомъ, что я на Охтенскомъ кладбищѣ занимаюсь чьими-то поминками.

Марта 26.—Благодареніе Промыслителю, сонъ былъ хорошъ отъ 1 до 7 ч. Чувствовалось нѣкоторое разстройство желудка. Во снѣ видѣлъ двѣ могилы — и одну весьма глубокую, выложенную кирпичомъ, потомъ очутился въ Москвѣ и вижу Наполеона, занимающагося писаніемъ бумагъ, которыя я осмѣлился у него взять и читать кому-то, но опасался за эту смѣлость его мщенія. Обѣдалъ дома, послѣ обѣда уснулъ часа два, потомъ не спалъ, а на ночь легъ спать въ 12 часу.

Апрѣля 17. — Помяни Господи душу раба твоего, добраго начальника моего, его сіятельство князя Н*, скончавшагося въ этотъ день шесть лѣтъ назадъ тому. Благодареніе Богу, сонъ былъ хорошъ. Во снѣ видѣлись Александръ Николаичъ Борисовцевъ и молодой Радоминскій, которому я дѣлалъ замѣчаніе за его невниманіе къ старшимъ.—Желудокъ все разстроенъ и пищевареніе неправильное, оттого вѣрно, что дважды употреблялъ черносливъ и съѣлъ два моченыхъ яблока. Однако обѣдалъ у графини Р*, послѣ небольшой прогулки, возвратился домой и легъ на ночь въ 12 ч.

Мая 6.—Благодареніе Создателю, сонъ былъ хорошъ отъ 2 до 5 и отъ половины 6-го до 8 ч. Во снѣ видѣлись какіе-то молодые чиновники,—трое сидятъ и занимаются въ холодной комнатѣ, которую топить не велитъ начальство. Жизненныя исправленія какъ слѣдуетъ. Обѣдалъ на кладбищѣ на поминкахъ его превосходительства Василья Ивановича,—домой возвратился пѣшкомъ — вечеромъ занимался, ужиналъ въ 9 ч., легъ спать на ночь въ 11 ч.

Іюня 11.—Благодареніе Богу, сонъ былъ хорошъ. Видѣлось во снѣ, что ворона два раза садилась мнѣ на голову, когда я стоялъ у какого-то забора. Жизненныя исправленія какъ слѣдуетъ. Обѣдалъ дома. Послѣ обѣда, уснулъ часа три, въ которые много кое-чего видѣлось, а на ночь легъ спать въ 11.

Іюля 18. — Рожденіе сиротѣющей дочери княгини Агланды Васильевны С*.—Благодареніе Богу, сонъ былъ хорошъ

отъ половины перваго до половины пятаго. — Во снѣ видѣлъ — искушеніе духа тьмы! — балаганы, прекрасно устроенные на площади, и въ нихъ въ бѣломъ платьѣ кавалера и пѣвицу итальянскую, съ большими глазами.— Обѣдалъ на Волковомъ: по случаю похоронъ статскаго совѣтника Перемыкина. Послѣ заѣзжалъ къ вдовѣ Александра Петровича (напрасно), потомъ возвратился домой и легъ на ночь въ 12 ч.

Августа 3.—Благодареніе Всемогущему, сонъ былъ хорошъ, хотя въ началѣ испыталъ покушенія врага душъ на злыя мысли. Видѣлъ потомъ Петра Великаго, новый академическій словарь и его сіятельство графа **, выслушивающаго мои объ ономъ словарѣ отзывы и еще выпавшій у меня зубъ, съ ровнымъ, съ гладкимъ, какъ будто подпиленнымъ корнемъ. — Послѣ обѣда дома уснулъ и видѣлъ во снѣ тетушку въ странномъ видѣ. — На ночь легъ въ 12 ч.

Сентября 16. — Благодареніе Многомилостивому, сонъ былъ хорошъ. Во снѣ видѣлись мнѣ: фельдмаршалъ Радецкій, обласкавшій меня, съ которымъ я разговаривалъ о разныхъ нравственныхъ предметахъ, а потомъ родитель мой, идущій со мною въ нагольномъ тулупѣ въ Лѣтнемъ саду, кажется зимой, которому я раскрываю разные служебные планы мои.—Послѣ обѣда уснулъ часа три, и на ночь легъ въ 12 часовъ.

Октября 9.—Благодареніе Вседержителю, сонъ былъ хорошъ. Видѣлъ во снѣ какого-то значительнаго англичанина, который говорилъ мнѣ лестныя для самолюбія моего похвалы за мое усердіе къ службѣ, и проч. Обѣдалъ у его превосходительства Г. И. Т., и проч.

Ноября 4.—Благодареніе Создателю, сонъ былъ хорошъ. Во снѣ видѣлось много кое-чего: женскій полъ, профессоръ, объясняющій свою науку, еще какое-то общество, въ которомъ я кого-то оскорбилъ и потерялъ свое нижнее платье, еще какое-то странное явленіе на небѣ грозномъ и летающія бѣлыя птицы, обратившее на себя вниманіе многихъ зрителей, въ числѣ коихъ находился покойный фельдмаршалъ графъ И. И. Дибичь-Забалканскій. Обѣ-

далъ у добраго моего бывшаго сослуживца, нынѣ занимающаго мѣсто у его высокопревосходительства Д. К. Т....

Декабря 18.—Благодареніе Промыслителю, сонъ былъ хорошъ отъ 1 до 6. Во снѣ видѣлось, что я въ плѣну у Наполеона и считаю серебряныя деньги, а потомъ христосуюсь съ Наполеономъ, который очень ласкалъ меня. Обѣдалъ дома,—соснулъ послѣ обѣда часа два, а на ночь легъ спать въ 12 ч.

О, добродушнѣйшій и нравственнѣйшій изъ чиновныхъ старцевъ,—миръ праху твоему! Мой внутренній голосъ упрекалъ тебя нѣкогда во лжи, въ лицемѣріи и въ ханжествѣ, но онъ былъ несправедливъ къ тебѣ... Онъ горячился по молодости. Теперь онъ возмужалъ вмѣстѣ со мною и пріобрѣлъ болѣе опытности во взглядѣ на людей и судитъ о нихъ уже не такъ горячо и опрометчиво. Къ тому же въ твоемъ драгоцѣнномъ дневникѣ—ты весь передъ нами. Нѣтъ, ты не ханжилъ, не лгалъ и не лицемѣрилъ, ты былъ искрененъ; всю жизнь свою ты добродушно принималъ ложь за правду, ханжество и лицемѣріе — за благочестіе, холопство — за благонравіе и нравственность! Въ тебѣ, какъ въ кривомъ зеркалѣ, отражались въ преувеличенномъ безобразіи всѣ общественныя и оффиціальныя понятія, взгляды, условія и принципы среды, тебя окружавшей, которыя ты принималъ безъ повѣрки и изъ тупаго усердія еще преувеличивалъ и доводилъ до каррикатуры. И твои покровители и милостивцы, друзья, сослуживцы и сверстники, — люди болѣе тебя тонкіе, иногда втайнѣ позволявшіе себѣ, можетъ быть, подсмѣиваться надъ тобою, не подозрѣвали, что они смѣются надъ самими собою, надъ своею собственною злою и безпощадною каррикатурою въ лицѣ твоемъ!.... Ты совершилъ, по понятіямъ среды, тебя окружавшей, свое земное поприще съ честію, какъ подобаетъ всякому добропорядочному человѣку, то есть, достигъ генеральскаго чина и разныхъ отличій и оставилъ себѣ капиталецъ, хотя неизвѣстно для кого, — но все равно, безъ капитальца жизненный подвигъ твой былъ бы не полонъ! Скромно и незамѣтно, тихими шажками, шелъ ты по избитой колеѣ, почтительно сторонясь и преклоняясь передъ всякою силою, въ полномъ и добродушномъ убѣжденіи, что эта узкая, истре-

наная и избитая колея—широкій, ровный путь, ведущій къ спасенію. Если ты дѣлалъ *зло*, если тебѣ приходилось на пути твоемъ душить въ зародышѣ всякое человѣческое проявленіе, поражавшее тебя, всякое свободное слово и всякую свободную мысль, попадавшуюся тебѣ, то—какъ это ни дурно, у меня не поднимается языкъ на твое осужденіе, ибо ты, руководимый тупыми принципами, проникшими твою плоть и кровь, — полагалъ, что творишь *добро*.

Какъ бы то ни было, въ минуты бодрствованія: за своимъ почетнымъ кресломъ, въ мѣстѣ твоего служенія, за нравственною брошюркою въ гостяхъ, за кутьею на похоронномъ обѣдѣ, за обсужденіемъ поэтическаго творенія — и въ часы сна, когда ты парилъ въ высшихъ сферахъ, соприсутствовалъ Петру Великому и Наполеону, бесѣдовалъ съ Радецкими и съ Дибичами-Забалканскими.... ты представлялъ явленіе любопытное. Одинъ изъ самыхъ добродушныхъ сподвижниковъ отжившей эпохи, ты можешь служить намъ отчасти ея характеристикой.... И я знаю, что еще и теперь есть люди, душою и лѣтами принадлежащіе твоей несравненной эпохѣ, которые ставятъ тебя, по уму и по нравственности, въ примѣръ новому поколѣнію!...

Вотъ почему я бросаю цвѣтокъ воспоминанія на твою еще свѣжую могилу. Еще разъ, миръ праху твоему и той эпохѣ, въ которую ты жилъ, дѣйствовалъ, имѣлъ значеніе, почитался серьёзно-полезнымъ членомъ общества и получалъ награжденія за отличія и усердіе!

XXXIII. СТРАДАНІЯ ЖУРНАЛИСТА.

Самое несчастнѣйшее существо въ мірѣ, безъ всякаго сомнѣнія,—журналистъ. Я убѣдился въ этомъ, ибо, по моему роду занятій, имѣлъ очень частыя и близкія сношенія съ журналистами и коротко познакомился съ ихъ образомъ жизни. Какими бы благородными убѣжденіями онъ ни былъ проникнутъ, какъ бы честно и добросовѣстно онъ ни исполнялъ свои обязанности относительно своихъ читателей и сотрудниковъ, не смотря ни на что, въ каждую данную минуту онъ имѣетъ множество враговъ и людей, недовольныхъ имъ, и въ

публикѣ, и въ литературѣ. Удовлетворяя одного—онъ вооружаетъ противъ себя другаго, и наоборотъ; онъ раздражаетъ невольно различнаго рода самолюбія, особенно литературныя—самыя щекотливыя изъ всѣхъ самолюбій; онъ долженъ бороться съ явными интригами своихъ открытыхъ враговъ—соперниковъ по журнальному дѣлу и стоять на-сторожѣ противъ тайныхъ подкоповъ своихъ собратовъ по ремеслу, которые жмутъ ему руку, пріятно улыбаются при встрѣчѣ, изъявляютъ самыя дружескія расположенія и, при первомъ удобномъ случаѣ, подставляютъ подножку; онъ самъ долженъ,—о несчастный! для своего спасенія, вести иногда подкопы противъ своихъ мнимыхъ друзей-собратовъ и постоянно отмахиваться отъ клеветъ и сплетень, которыя, какъ паутина, незамѣтно опутываютъ его кругомъ. Онъ не можетъ свободно располагать двумя часами: двадцать звонковъ прерываютъ утромъ его занятія; двадцать незнакомцевъ одинъ за другимъ являются къ нему съ какимъ нибудь вздоромъ, какъ будто нарочно для того, чтобы мѣшать его занятіямъ. Онъ получаетъ до 30 писемъ ежедневно изъ всѣхъ концовъ необъятной Россіи, по бо̀льшей части исполненныхъ нелѣпыми вопросами и предложеніями, и на всѣ эти письма онъ обязанъ отвѣчать, потому что, оставляя ихъ безъ вниманія и отвѣта (чего бы они вполнѣ заслуживали, говоря искренно), онъ рискуетъ умножить своихъ враговъ до баснословнаго количества и подорвать свой кредитъ.

Положеніе всякаго журналиста довольно затруднительно и сопряжено съ различными непріятностями и хлопотами; но положеніе русскаго журналиста, при неустановившемся еще у насъ общественномъ мнѣніи и отсутствіи какихъ либо убѣжденій въ массѣ нашей читающей публики, очень грустно. Онъ безпрестанно сталкивается съ самыми *неожиданными* (объясняясь языкомъ утонченной вѣжливости) требованіями; постоянно рискуетъ или быть вовсе непонятымъ, или превратно понятымъ; обвиненнымъ или въ слишкомъ рѣзкомъ образѣ мыслей, или, наоборотъ, въ нерѣшительности, неопредѣленности и вялости. Самымъ благонамѣреннымъ его мыслямъ и дѣйствіямъ придается иногда совершенно противоположное толкованіе. Одни, напримѣръ, очень довольны тѣмъ, что онъ даетъ просторъ въ своемъ журналѣ авторамъ, изоб-

личающимъ различныя служебныя злоупотребленія, общественные предразсудки и дикости, отсутствіе чувства долга въ чиновникѣ и нравственнаго чувства въ человѣкѣ, выставляющимъ на позоръ казнокрадовъ, людей продажныхъ, льстецовъ, ханжей, лицемѣровъ, презрѣнныхъ эгоистовъ и такъ далѣе. Другіе наоборотъ приходятъ отъ такого изобличенія въ негодованіе. Первые разсуждаютъ, что выставлять на посмѣяніе и позоръ людей, злоупотребляющихъ своими общественными и гражданскими обязанностями—дѣло въ высшей степени нравственное и честное, и потому авторъ, пишущій статьи съ такою цѣлію, и журналистъ, помѣщающій ихъ въ своемъ журналѣ, заслуживаютъ поощренія и одобренія со стороны всѣхъ благомыслящихъ людей. Вторые кричатъ, что журналисты, помѣщающіе такія статьи, и авторы, ихъ пишущіе, не только люди неблагонамѣренные, но, можно даже сказать, враги отечества, ибо въ ихъ желаніи выставлять только злоупотребленія, дурныя, смѣшныя и грязныя стороны своего общества, заключается тайный умыселъ унижать свое, отечественное. Первые толкуютъ о пользѣ гласности, вторые—о вредѣ ея. Кто правъ—первые, или вторые?—я не знаю, но во всякомъ случаѣ все падаетъ на бѣднаго журналиста. Одни за помѣщеніе такихъ статей, другіе за равнодушіе къ такимъ статьямъ и вообще къ современнымъ вопросамъ обвиняютъ журналиста въ отсутствіи.... по крайней мѣрѣ такта, если не болѣе. Всѣ требуютъ отъ него, чтобы журналъ его наполнялся произведеніями замѣчательными; чтобы въ немъ являлись, и какъ можно чаще, имена нашихъ лучшихъ писателей, пріобрѣтшихъ вниманіе и извѣстность въ публикѣ, и если таковыхъ не является, то начинаютъ кричать, что журналистъ не понимаетъ своего дѣла, что журналъ его становится скученъ, что онъ падаетъ; но развѣ журналистъ можетъ создать замѣчательныхъ писателей, или насильно заставить писать лучшихъ современныхъ писателей, если они не пишутъ?... Одни требуютъ отъ журналиста только дѣльныхъ, серьёзныхъ статей, другіе — исключительно легкаго чтенія: повѣстей и разсказовъ; одни—поученія, другіе — увеселенія, а третьи — только *модныхъ картинокъ!*

А требованія журнальныхъ сотрудниковъ,—*наши* требованія?

Мы люди безжалостные, неумолимые!... Горе тому жур-

налисту, который осмѣлится обнаружить къ намъ равнодушіе, особенно если мы пользуемся извѣстностью въ публикѣ, если имя наше въ ходу, если объ насъ подняли крикъ въ литературныхъ кружкахъ!... Въ обращеніи съ нами нужна величайшая осторожность и тонкость.... и до нѣкоторой степени лицемѣріе.... что ни говорите противъ лицемѣрія, а безъ него нельзя даже и съ нами обращаться, съ нами — психологами и карателями пороковъ, преслѣдующими, между прочимъ, и лицемѣріе. Мы вообще не благоволимъ къ журналистамъ, во-первыхъ потому, что они разживаются нашими трудами и талантами (въ этомъ мы убѣждены), а во-вторыхъ, потому, что весьма немногіе умѣютъ себя вести какъ слѣдуетъ, относительно насъ. Я, какъ журнальный сотрудникъ и притомъ знатокъ сердца человѣческаго, и въ особенности литературнаго, очень хорошо знаю, чѣмъ намъ можно угодить и какимъ способомъ снискать нашу дружбу и благоволеніе. О, если бы я былъ журналистомъ, отъ меня были бы въ восторгѣ всѣ литературныя знаменитости, всѣ господа, имѣющіе значеніе и вѣсъ въ литературѣ! Эти господа навѣрно прокричали бы обо мнѣ, что я первѣйшій журналистъ въ мірѣ, что я именно рожденъ для этого ремесла, что я уменъ, остроуменъ, имѣю обширныя, экциклопедическія свѣдѣнія, тонкій, эстетическій вкусъ, глубочайшій литературный тактъ и прочее, и прочее (хотя бы я не имѣлъ ни одного изъ этихъ достоинствъ).

Для пріобрѣтенія всего этого я дѣйствовалъ бы слѣдующимъ образомъ: я поддерживалъ бы съ каждымъ литературнымъ авторитетомъ постоянныя сношенія, которыя должны бы были, со временемъ, принять форму дружбы.... я говорю форму потому, что такая дружба, какую питали въ древности Орестъ и Пиладъ, едва ли возможна въ настоящее время. Современные Оресты и Пилады выражаютъ свои нѣжныя ощущенія другъ къ другу не на дѣлѣ, а на словахъ, и то въ глаза другъ къ другу; но лишь только Орестъ выйдетъ, Пиладъ сейчасъ же начинаетъ наговаривать на Ореста такія ужаснѣйшія вещи, взваливать на него такія обвиненія, отъ которыхъ у постороннихъ слушателей поднимается дыбомъ волосъ, — и наоборотъ, если Пиладъ выйдетъ, Орестъ дѣйствуетъ относительно его точно такимъ же образомъ.

Вотъ какъ, будучи журналистомъ, я велъ бы себя относительно литературныхъ авторитетовъ. Я заѣзжалъ бы къ авторитету непремѣнно хоть черезъ день и каждый визитъ, заводя, между прочимъ, рѣчь о литературѣ, умѣлъ бы польстить ему тончайшимъ образомъ, посредствомъ намековъ, что его произведенія удовлетворяютъ почти всѣмъ высшимъ условіямъ искусства.... замѣтьте, тончайшимъ, потому что если лесть выйдетъ слишкомъ груба, то, Боже сохрани, это можетъ произвести дѣйствіе совершенно обратное моему желанію:—людей образованныхъ и умныхъ не легко обманешь!... Можно даже, пожалуй, слегка упомянуть о недостаткахъ авторитета, но такимъ образомъ, чтобы онъ могъ видѣть даже въ самыхъ этихъ недостаткахъ достоинство. При этомъ необходимо, нѣсколько разгорячась, прибавить, что вотъ, напримѣръ, кричатъ о талантѣ N. N. (N. N. также литературный авторитетъ, талантъ котораго смущаетъ нѣсколько моего авторитета, съ N. N. я, разумѣется, дѣйствую наоборотъ),—я не спорю, онъ точно имѣетъ вѣкоторыя достоинства, но если въ немъ признакъ *творчества*, хоть тѣнь *художественнаго таланта?* и такъ далѣе. Извѣстно, что слова: *чистое искусство, художественность, творчество* у насъ, въ нѣкоторыхъ литературныхъ кружкахъ, въ большомъ ходу,—а потому это почти неибѣжныя слова во всякомъ литературномъ разговорѣ. Кромѣ означенныхъ визитовъ, я, по крайней мѣрѣ разъ, а если можно и два раза въ недѣлю, приглашалъ бы авторитета обѣдать.—Въ случаѣ критики или разбора сочиненій авторитета я заказывалъ бы таковую критику или таковой разборъ (если самому мнѣ некогда или я не умѣю) одному изъ самыхъ опытныхъ моихъ сотрудниковъ, до мелочей знающему всѣ литературные нравы и понимающему отношенія, существующія между журналистомъ и авторитетами. Если критика или разборъ понравятся авторитету, онъ выразитъ мнѣ свое удовольствіе непремѣнно такимъ образомъ: «Спасибо тебѣ, милый другъ, за твою критику; но, кажется, ужъ ты мнѣ черезчуръ подкадилъ!» И онъ пріятно улыбнется, взглянувъ на меня одобрительно. При такихъ условіяхъ, съ хорошею платою, гораздо превышающею обыкновенную пятидесятирублевую плату съ листа—я пріобрѣту дружбу авторитетовъ, самъ сдѣлаюсь, по милости ихъ, авторитетомъ и не

буду бояться моихъ соперниковъ по ремеслу. Пусть они изъ зависти кричатъ, что я не умѣю дирижировать журналъ, что я ничего не смыслю въ литературномъ дѣлѣ, что я наполняю мой журналъ глупѣйшими изобличительными статьями, не имѣющими ни тѣни *художественнаго* достоинства, или серьёзными статьями о современныхъ вопросахъ, которыя пишутся людьми, ничего непонимающими въ этихъ вопросахъ, или, наоборотъ, что журналъ мой совершенно мертвый, отчужденный отъ всѣхъ животрепещущихъ вопросовъ и заботящійся объ одномъ только *чистомъ* искусствѣ (котораго не существуетъ въ настоящую минуту)—я буду только улыбаться надъ всѣми этими завистливыми криками, потому что голоса моихъ друзей-авторитетовъ....

Въ старинныхъ нашихъ журналахъ не разъ описывали журналиста и его горестное положеніе. Статьи эти, по большой части, носили названіе *Утро Журналиста*, потому что утро для него дѣйствительно самое безпокойное, тяжелое время дня. Между старинным журналистомъ, или журналистомъ начала сороковыхъ годовъ и журналистомъ современнымъ, конца пятидесятыхъ годовъ,—есть уже разница значительная. Любопытно было бы сдѣлать сближеніе между ними и представить характеристику того и другаго; но это бы завлекло меня слишкомъ далеко: было бы, можетъ быть, непріятно моимъ друзьямъ и произвело бы нѣкоторое безпокойство въ литературныхъ муравейникахъ, а я ужасно люблю тишину, миръ и согласіе. Къ тому же, я знаю только двухъ или трехъ журналистовъ, а теперь куда ни оглянешься (въ литературныхъ кружкахъ) вездѣ встрѣчаешь по нѣскольку журналистовъ, настоящихъ или будущихъ, издающихъ или намѣревающихся издавать журналы. Кстати о послѣднихъ.

Мѣсяца три тому назадъ, утромъ, часу въ первомъ, я сидѣлъ у одного изъ моихъ пріятелей-журналистовъ.... (Утро у нѣкоторыхъ изъ современныхъ журналистовъ начинается только послѣ полудня)... Входитъ человѣкъ и докладываетъ о г-нѣ.... положимъ, Прохоровѣ.

— Я его не знаю, что ему угодно? спрашиваетъ журналистъ.

— Они говорятъ, что имъ очень нужно васъ видѣть, отвѣчаетъ человѣкъ.

— Проси....

— Вотъ, любезный другъ, говорилъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—каждое утро этакихъ господъ Прохоровыхъ является ко мнѣ человѣкъ до 15, до 20 за всякимъ вздоромъ. Я увѣренъ, что и этотъ вовсе не имѣетъ до меня никакого серьёзнаго дѣла.... Только что примешься за работу—непремѣнно звонокъ....

Въ эту минуту тихими и скромными шажками вошелъ въ кабинетъ г. Прохоровъ. Это былъ маленькій человѣчекъ, съ неопредѣленнымъ выраженіемъ мутногороховаго колорита. Онъ раскланялся и посмотрѣлъ на моего пріятеля съ заискивающей улыбкой.

— Что вамъ угодно?

— Я-съ, отвѣчалъ онъ:—пришелъ безпокоить васъ покорнѣйшею просьбою.... принять участіе-съ въ моемъ положеніи, потому что я неопытный, еще молодой человѣкъ: для меня очень важны совѣты такихъ людей, какъ вы....

— Чѣмъ же я могу быть вамъ полезенъ?

— Я намѣреваюсь издавать журналъ-съ.

— Какая же цѣль вашего журнала?

— Цѣль-съ? собственно доставить публикѣ пріятное и полезное чтеніе.

— Да-съ.... конечно, эту цѣль имѣютъ всѣ журналы.... но, можетъ быть, вашъ журналъ имѣетъ еще что нибудь особенное въ виду, то, чего нѣтъ въ другихъ журналахъ?...

— Особенное.... то, чтобы *пополнить въ литературѣ недостатокъ*.... потому что еще у насъ нѣтъ ни одного журнала, гдѣ бы исключительно помѣщались стихи и повѣсти-съ. Я не смѣю думать о томъ, чтобы вступать въ соперничество съ другими изданіями.... я еще молодой человѣкъ.... не имѣю опытности-съ, получаю только въ годъ всего триста рублей жалованья, имѣю также семейство-съ.... то вы сами посудите, что тремя стами рублями жить нѣтъ никакой возможности-съ. На большіе барыши я не разсчитываю, а такъ собственно для поддержанія своего существованія....

— Все это очень хорошо, снова перебилъ журналистъ:— но что же я могу для васъ сдѣлать?

— Во-первыхъ, я попрошу васъ о благосклонномъ отзывѣ-съ, а во-вторыхъ, позвольте мнѣ включить ваше имя въ

число моихъ сотрудниковъ. Мнѣ обѣщали свои имена многіе наши извѣстные литераторы.

— Благосклонно или неблагосклонно, замѣтилъ журналистъ: — можно отзываться о томъ, *что есть*, что видишь, а о томъ, *чего еще нѣтъ* и, слѣдовательно, чего нельзя видѣть—отзываться нельзя ни благосклонно, ни неблагосклонно. Что же касается до моего имени, то я вамъ не могу его дать, потому что я работаю исключительно только для своего журнала; да имя мое не прибавитъ вамъ ни одного лишняго подписчика. Вы напрасно объ этомъ хлопочете.

— Нѣтъ-съ, помилуйте.... Я, впрочемъ, и не смѣю васъ просить о статьѣ: я только прошу васъ о дозволеніи напечатать ваше имя.

— Вы, стало быть, хотите, чтобы я позволилъ вамъ обманывать публику моимъ именемъ? Согласитесь, что это не совсѣмъ хорошо.

— Да-съ, конечно-съ, но, можетъ быть, когда нибудь.... Я также хотѣлъ васъ спросить, какъ вы находите названіе моего журнала-съ?

— Какъ же вы его назвали?

— Балагуръ.

— Что жъ, очень хорошо.

Затѣмъ журналистъ привсталъ, г. Прохоровъ тоже и началъ раскланиваться..

— Извините, что я отвлекъ васъ отъ вашихъ занятій, безпокоилъ васъ.... Я буду имѣть честь прислать вамъ мое объявленіе... Оно уже печатается.... Мнѣ, право, очень совѣстно.... Еще разъ прошу васъ извинить меня.

— Ничего.... помилуйте.

И г. Прохоровъ скрылся.

Мы молча взглянули другъ на друга и улыбнулись. Къ этому прибавлять уже было нечего.

И сколько такого рода лицъ являются къ журналисту ежедневно!

Пріятель мой журналистъ разсказывалъ мнѣ, что однажды пожелалъ его видѣть какой-то г. Веденяпинъ. Входитъ къ нему человѣкъ лѣтъ 35-ти, съ густыми черными волосами и съ большими черными глазами, одѣтый бѣдно, въ синемъ истертомъ сюртукѣ.

— Милостивый государь! говоритъ онъ нѣсколько трагическимъ голосомъ:—простите, что я, не имѣя удовольствія васъ знать, рѣшился прямо, безъ всякихъ рекомендацій явиться къ вамъ. Милостивый государь! отъ вашего рѣшенія зависитъ моя участь. Я совершенно полагаюсь на васъ.

— Въ чемъ дѣло? спросилъ журналистъ.

— Я страстный охотникъ до стиховъ: я въ дѣтствѣ еще зналъ всего Державина наизусть и мое пламенное желаніе всегда было сдѣлаться поэтомъ.... Я написалъ всего болѣе 300 стихотвореній и принесъ вамъ прочесть нѣкоторыя изъ нихъ. Отъ вашего рѣшенія будетъ зависѣть все. Скажите, какую избрать мнѣ карьеру: пойти въ чиновники или остаться поэтомъ?

«Поздно же спохватился этотъ господинъ о карьерѣ», подумалъ журналистъ.

— Удѣлите мнѣ нѣсколько минутъ изъ вашего драгоцѣннаго времени, продолжалъ г. Веденяпинъ.... только нѣсколько минутъ. Я прочту вамъ два или три лучшія, по моему мнѣнію, стихотворенія.

Журналистъ изъ вѣжливости согласился, и поэтъ началъ читать восторженнымъ голосомъ, размахивая руками. Нѣкоторыя стихотворенія воспѣвали побѣды русскаго оружія, другія — любовь и весну, третьи были какъ бы пародіями (хотя, конечно, авторъ и не подозрѣвалъ этого) на лучшія изъ современныхъ стихотвореній нашихъ извѣстныхъ поэтовъ. Одно изъ таковыхъ, въ которомъ описывалась несчастная участь какого-то лакея, оканчивалось энергическимъ стихомъ, что баринъ — его

«Безжалостно лупилъ и кулакомъ и плетью!»

Прочитавъ нѣсколько стихотвореній, г. Веденяпинъ замолкъ и устремилъ вопросительный взоръ на журналиста.

Журналистъ молчалъ.

— Произнесите же рѣшеніе моей участи! сказалъ г. Веденяпинъ въ волненіи.

— Если вы хотите узнать мое искреннее мнѣніе, то я долженъ сказать вамъ, что стихи ваши нехороши; но, пожалуйста, моего мнѣнія не принимайте за окончательное рѣшеніе вашей участи. Рѣшать участь человѣка я не возьму

на себя. Адресуйтесь къ другимъ литераторамъ, журналистамъ, посовѣтуйтесь съ ними...

— Благодарю васъ, отвѣчалъ Венедяминъ грустно. — Но изъ вашихъ словъ, милостивый государь, и изъ вашего тона я заключаю, что мнѣ не остается ничего болѣе, какъ идти въ чиновники—и я сдѣлаюсь чиновникомъ.... Что же дѣлать!... Но въ груди моей, повѣрьте честному слову, была божественная искра, горѣлъ священный огонь. Я думалъ, что я могу принести пользу человѣчеству... Видно, все это было, какъ говоритъ Лермонтовъ: *пьянной мысли раздраженье* — болѣе ничего. — И онъ глубоко вздохнулъ. — Извините меня великодушно за то, что я потревожилъ васъ....

Иной господинъ является, сидитъ, даже проситъ позволенія покурить, говоритъ, говоритъ; а чего онъ хочетъ и зачѣмъ онъ пришелъ — остается загадкою для журналиста до самаго прощанья. При прощаньи только господинъ вынимаетъ изъ кармана небольшую рукопись.

— Это, говоритъ, такъ, пустяки, кое-какія мысли пришли мнѣ въ голову: я ихъ и набросалъ на бумагу.... Я, признаться, до этого никогда и не писывалъ, а такъ, на старости лѣтъ, вздумалось пошалить. Думаю: зайду къ господину журналисту, отдамъ ему — а, можетъ быть, онъ и одобритъ и напечатаетъ! Кто знаетъ? почему не попробовать.... Примите, батюшка, мое первое дѣтище. Будьте къ нему благосклонны....

Есть господа очень смѣлые, которые, Богъ знаетъ почему, говорятъ какъ власть имѣющіе и заявляютъ съ первой минуты неслыханныя требованія.

Одинъ изъ такихъ почти насильно ворвался однажды въ кабинетъ къ моему пріятелю-журналисту.

— Я, говоритъ онъ: — къ вамъ со статьей для вашего журнала. Это статья, я вамъ скажу, отложа всякую скромность, умная и дѣльная. Если бы такія статьи въ вашихъ журналахъ — вы меня извините за откровенность — являлись почаще, журналы бы читались съ большимъ интересомъ. Въ статьѣ моей все извлечено изъ опыта, все взято изъ практики. Только, предупреждаю васъ, я за нее дешево не возьму: менѣе 75 р. за листъ я вамъ ее не могу уступить.

— А о чемъ идетъ рѣчь въ вашей статьѣ?

— О новомъ способѣ удобренія земли.... Превосходный

способъ! Этотъ способъ, я вамъ отвѣчаю, удесятеритъ доходы всѣхъ нашихъ землевладѣльцевъ....

— Я увѣренъ, отвѣчалъ журналистъ: — но статьи вашей я не могу напечатать въ своемъ журналѣ не только съ платою по 75 р. за листъ, но даже и даромъ.... Обратитесь въ «Земледѣльческую Газету»: тамъ она будетъ болѣе у мѣста.

— Да отчего же вы то не хотите ее взять? Повѣрьте, что это поинтереснѣе да и подѣльнѣе какихъ нибудь стишковъ или повѣстушекъ, которыми вы, господа, набиваете ваши изданія; или вы, можетъ быть, обидѣлись, что я назначилъ слишкомъ большую цѣну? Нѣтъ съ, эта цѣна невелика, потому что вамъ дастъ такая статья, по крайней мѣрѣ, до пятисотъ новыхъ подписчиковъ. Вы поступаете въ этомъ случаѣ неразсчетливо, вы напрасно скупитесь; да и, наконецъ, что же вамъ значатъ какіе нибудь 150 р.? въ статьѣ моей не больше двухъ листовъ. А вѣдь вы, господа, получаете сотни тысячъ!....

И прочее въ этомъ родѣ....

А молодые, возникающіе таланты, въ различныхъ мундирчикахъ, со стишками и съ повѣстями въ небольшихъ сверточкахъ, одинъ за другимъ потрясающіе звонокъ журналиста по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ!....

Все почти утро бѣднаго журналиста проходитъ въ этихъ безтолковыхъ пріемахъ. Къ четыремъ часамъ звонки прекращаются. Слава Богу!

Но и въ минуты его развлеченій: въ театрѣ, въ обществѣ, въ маскарадѣ, въ такія минуты, когда бы онъ хотѣлъ забыть, что онъ журналистъ, ему не даютъ покоя, безпрестанно напоминая объ этомъ....

Въ маскарадѣ къ нему подходитъ маска и начинаетъ интриговать его. Онъ очень доволенъ, воображая, что она интересуется *имъ*. Ничуть не бывало: ей до него никакого дѣла нѣтъ — оказывается, что она хлопочетъ пристроиться къ какому нибудь журналу въ качествѣ переводчицы.

Въ театрѣ, во время антракта, онъ прямо наталкивается на поэта, три мѣсяца тому назадъ издавшаго брошюрку «Полнаго собранія своихъ стихотвореній», о которыхъ въ его журналѣ былъ немного рѣзкій, но искренній отзывъ. Онъ первый разъ послѣ этого отзыва встрѣтился съ поэтомъ.

— Помилуйте, за что же вы такъ жестоко отозвались о моей книжкѣ? говоритъ поэтъ съ грустнымъ упрекомъ и покачивая головою: — неужто ужъ она такъ плоха?...

Что отвѣчать на такой вопросъ?

— Да вы пишите, конечно, очень гладкими стихами; но въ нихъ нѣтъ ничего... какъ бы вамъ сказать.... самостоятельнаго.... отвѣчаетъ журналистъ скрѣпя сердце.

— Однако, нѣкоторыя изъ моихъ стихотвореній, возражаетъ поэтъ: — были напечатаны въ вашемъ журналѣ; слѣдовательно, вы находили ихъ недурными.

И приходится объяснять поэту, что отдѣльное посредственное стихотвореніе, напечатанное въ журналѣ, ничего еще не доказываетъ, что оно можетъ, пожалуй, понравиться или пройти незамѣченнымъ... почему же не напечатать иногда журналисту такого стихотворенія, для удовольствія автора, особенно, если авторъ очень проситъ его объ этомъ .. но что нѣсколько такихъ отдѣльныхъ стихотвореній, изданныхъ особой книжкой, подъ заголовкой «полнаго собранія стихотвореній», обнаруживаютъ уже претензію автора, его желаніе обратить на себя вниманіе публики, а всякій человѣкъ, имѣющій претензію обращать вниманіе, подвергается общественному суду.... и прочее, и прочее.

Въ театральномъ корридорѣ встрѣчаетъ журналиста актеръ, о которомъ былъ не совсѣмъ благопріятный отзывъ въ его журналѣ.

— Скажите, за что вы меня преслѣдуете? спрашиваетъ онъ журналиста.

— Съ чего вы взяли? Я и не думалъ васъ преслѣдовать.

— Помилуйте! Какъ же! Брянцева какого нибудь ставите выше меня. Ну скажите же мнѣ, Бога ради, неужто я, въ самомъ дѣлѣ, хуже какого нибудь Брянцева, имѣю менѣе его таланта? Отчего же меня всегда такъ *принимаютъ*, а ему никогда ни щелчка. Я вамъ скажу только одно, что я понимаю искусство, что я изучаю добросовѣстно свои роли, сочувствую всѣмъ современнымъ взглядамъ....

«Лучше, если бы, вмѣсто этого сочувствія, имѣть талантъ», думаетъ журналистъ, глядя на толстую и тупоумную физіономію актера, судя по которой онъ, кромѣ напитковъ и съѣстныхъ припасовъ, ни къ чему не можетъ имѣть сочувствія.

Но вѣдь неделикатно же высказать все это въ глаза!

Если журналистъ отправляется, напримѣръ, съ визитомъ къ своимъ старымъ знакомымъ,—и тамъ не оставляютъ его въ покоѣ. Старый, добрый, ожирѣвшій и отупѣвшій его пріятель, дожившій до генеральскаго чина и до подагры въ лѣвой ногѣ, которую онъ обуваетъ въ плисовый сапогъ, и его супруга, съ лицемѣрно-сладкими ужимками, выводятъ предъ нимъ дѣтей своихъ — малютокъ отъ 10 до 13-ти лѣтъ — и начинаютъ хвастать ими.

— Какія дѣти у меня, братецъ, умницы! восклицаетъ добродушный отецъ въ умиленіи: — теперь ужъ умнѣе меня, ей Богу!... Этимъ они обязаны, впрочемъ, все *ей*: я тутъ непричемъ,—и онъ съ чувствомъ указываетъ на свою супругу, которая скромно потупляетъ глаза и произноситъ вполголоса: «отчего же одной мнѣ?» и такимъ тономъ, что слѣдуетъ понимать: разумѣется, одной мнѣ!

— Старшій нашъ сынъ имѣетъ, точно, поэтическія наклонности, говоритъ она, закатывая глаза подъ лобъ: — у него, право, есть талантъ... Поощрите его, пожалуйста: напечатайте его стишки въ вашемъ журналѣ... Онъ написалъ очень миленькіе стишки, въ день именинъ своего отца... Коля, другъ мой, прочти ихъ...

Коля, послѣ нѣсколькихъ минутъ колебанія, выступаетъ впередъ и декламируетъ:

«Позвольте, въ день для насъ священный,
Мнѣ чувство выразить мое,
Папаша мой неоцѣненный,
Намъ даровавшій бытіе!...

Онъ обращается къ папашѣ, у котораго на глазахъ выступаютъ слезы, и потомъ смотритъ на мамашу:

И ты, нашъ лучшій другъ мамаша,
Ты, наша радость, счастье наше!
Ты умъ нашъ дѣтскій просвѣщаешь,
Ты насъ лелѣешь, развиваешь
И нравственность вселяешь въ насъ....
Мы утѣшеніемъ для васъ
Всю жизнь потщимся быть, родные!
О, пусть угодники святые,
Внявъ нашимъ пламеннымъ мольбамъ,
Васъ сохранятъ на радость намъ!...

— Неправда ли, съ какимъ чувствомъ и какъ мило? спрашиваетъ маменька у журналиста.

— Прекрасно, прекрасно! отвѣчаетъ журналистъ.

— У меня до васъ есть пребольшая просьба, продолжаетъ маменька: — вы мнѣ сдѣлаете истинное одолженіе: напечатайте эти стишки въ вашемъ журналѣ и дайте ему какую нибудь работу — переводить съ французскаго — и, если можно, хоть маленькое вознагражденіе: вѣдь вы платите же за переводы; а вознагражденіе поощритъ его къ труду.

— Да, да, да! пожалуйста, душенька! прибавляетъ супругъ, ударяя дружески по плечу журналиста.

Только этого недоставало!

— Эти стихи, отвѣчаетъ смущенный журналистъ: — конечно, очень недурны, но ихъ можно напечатать... развѣ только въ дѣтскомъ журналѣ. При всемъ желаніи моемъ сдѣлать вамъ угодное (журналистъ обращается къ маменькѣ), я не могу ихъ напечатать въ своемъ журналѣ, потому что мой журналъ издается для взрослыхъ....

Замѣчаніе это, несмотря на то, что въ немъ заключается неопровержимая истина, производитъ непріятное впечатлѣніе на родителей отрока-поэта, и послѣ этого въ обращеніи ихъ съ журналистомъ примѣчается нѣкоторая сухость.

Всѣ знакомыя дамы журналиста, протежирующія различныхъ переводчиковъ, переводчицъ, сочинитей и поэтовъ (дамы вообще одержимы страстію протежировать), приступаютъ къ нему на вечерахъ, въ театрахъ, на гуляньяхъ съ просьбами: помѣстить стишки такого-то, дать переводы такой-то, и проч.

Его журналъ преслѣдуетъ его всюду... Бѣдный журналистъ!

XXXIV. ПЕТЕРГОФСКІЙ ПРАЗДНИКЪ.

Сцена происходитъ за два дня до петергофскаго праздника.

Супругъ—человѣкъ дѣловой: онъ сидитъ съ утра до ночи за бумагами; состоянія онъ почти не имѣетъ, но живетъ безбѣдно службой и нѣкоторыми частными занятіями. Все пріобрѣтаемое своимъ скромнымъ, усиленнымъ трудомъ онъ издерживаетъ на удовольствія супруги, на ея платья, шляпки, кринолины, браслеты, поѣздки, театры и другія городскія и загородныя развлеченія... Онъ никогда не жалуется на трудъ,

потому что на этотъ трудъ онъ доставляетъ удовольствія существу, которое онъ любитъ болѣе всего на свѣтѣ; да и какъ не любить ее?... У нея небесно-голубые глаза, съ такимъ ангельскимъ выраженіемъ.... когда она смотритъ на новую шляпку или мантилью!.. У нея талія такая стройная, гибкая, ножка такая маленькая, грудь такой ослѣпительной бѣлизны! У нея такой звонкій голосокъ.... въ которомъ есть, однако, кричащія ноты, когда она чѣмъ нибудь недовольна.... Но какъ сверкаютъ ея глазки, когда она сердится!... Она прелестна въ гнѣвѣ.... только для постороннихъ, а не для мужа. Мужъ въ это время блѣднѣетъ, замираетъ и совсѣмъ теряется, потому что онъ впечатлителенъ до болѣзненности. Ей 21 годъ; но на лицо ей кажется 16. Она совершенный ребенокъ: книгъ она не терпитъ, какъ всѣ дѣти и какъ она не знаетъ цѣны деньгамъ, на которыя пріобрѣтаются ея шляпки, и браслеты, и различныя удовольствія, и развлеченія, и не понимаетъ, какихъ трудовъ стоятъ мужу эти прелестныя побрякушки.... Отъ нея вѣетъ очаровательною невинностію и восхитительнымъ легкомысліемъ! Когда ей чего нибудь очень захочется, она только топнетъ ножкой, или вскрикнетъ, или нахмурится, или заплачетъ—и то, что она пожелала, чего бы это ни стоило, является передъ нею. Если капризъ неудобоисполнимъ или несбыточенъ, супругъ начнетъ представлять супругѣ, съ мягкостію и грустію, невозможность выполнить ея требованія. Супруга.... о, милое, легкомысленное созданіе!... ничего не хочетъ слышать, не принимаетъ никакихъ резоновъ, не внимаетъ никакой логикѣ.... какая же логика у дѣтей?... Она сердится, кричитъ, совершенно какъ семилѣтнее дитя, плачетъ.... и вдругъ падаетъ со стономъ, рыданіемъ и воплями и начинаетъ дрыгать ножками.... Бѣдняжка, она уже разстроена нервами и подвержена нервическимъ припадкамъ!... Несчастный супругъ въ отчаяніи: онъ брызгаетъ ей на голову воду, окуриваетъ ее жжеными перьями; онъ самъ чуть не плачетъ, глядя на нее!... Супруга наконецъ приходитъ въ себя, но еще нервы ея не успокоились. Она начинаетъ упрекать супруга въ томъ, что онъ лишаетъ ее удовольствій, губитъ ея молодость, что онъ не любитъ ее...

— Боже мой! Я тебя не люблю!!! восклицаетъ супругъ:— и тебѣ не грѣхъ говорить это!...

— Да, ты любишь на словахъ.... вы всѣ любите на словахъ, возражаетъ раздраженная супруга:—а чуть коснется до дѣла, тогда и любовь пропадаетъ...

— Но развѣ я тебѣ въ чемъ нибудь отказываю? развѣ я не дѣлаю для тебя всего, что могу? Для кого же я тружусь съ утра до ночи?...

Супругъ забываетъ, что онъ говоритъ не съ разумнымъ существомъ, а съ раздраженными нервами.... Сердце у его супруги—добрѣйшее, но нервы жестоки и безжалостны....

— А! такъ вы меня еще попрекаете? кричатъ нервы.— Не нужно мнѣ вашихъ трудовъ, вашихъ жертвъ!... Тотъ, кто любитъ, не рѣшится попрекать бѣдную, беззащитную женщину своими трудами!... Я несчастнѣйшее существо въ мірѣ!... и такъ далѣе...

Сцена продолжается нѣсколько часовъ сряду...

Извольте заниматься дѣлами послѣ такихъ сценъ, повторяющихся если не ежедневно, то, по крайней мѣрѣ, еженедѣльно!...

У супруга и во рту горько, и колѣни дрожатъ; но если бы не нервы, онъ былъ бы счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ! Проклятые нервы!...

За два дня до послѣдняго петергофскаго праздника мой пріятель сидѣлъ въ кабинетѣ на дачѣ въ Муринѣ, весь заваленный бумагами, весь погруженный въ дѣло. Дѣло это ему надобно было окончить непремѣнно въ три дня. Онъ не принималъ въ соображеніе петергофскаго праздника; онъ забылъ о существованіи всякихъ увеселеній и празднествъ...

Вдругъ является передъ нимъ супруга.

Она подходитъ къ его столу съ неописанною граціею и съ прелестнымъ, хотя нѣсколько плутовскимъ выраженіемъ въ лицѣ, наклоняется и цѣлуетъ его въ лобъ...

Супругъ вздрагиваетъ отъ восторга и съ нѣжностью обращаетъ свой взоръ къ супругѣ.

— Перестань писать. Какой ты гадкій! говоритъ она, потрепавъ его по щекѣ: — оставь эти скверныя бумаги. Ты для нихъ совсѣмъ забываешь меня!

И эти милыя слова пересыпаются самыми нѣжнѣйшими уменьшительными на отечественномъ и французскомъ языкѣ. Супругъ растаялъ... Передъ нимъ разверзлось седьмое небо...

Супруга садится къ нему на колѣни и продолжаетъ его трепать своей маленькой алебастровой ручкой по щетинистымъ щекамъ, приговаривая: mon cher, mon âme, душка, душоночекъ и т. п.

Голова моего бѣднаго пріятеля кружится отъ этихъ неожиданныхъ нѣжностей и ласкъ...

«Какъ она меня любитъ! Боже, какъ она меня любитъ!» говоритъ онъ самому себѣ, и сердце его захлебывается отъ блаженства...

Мы женщинъ называемъ дѣтьми; но развѣ мы, люди серьёзные, дѣльные, разсудительные не превращаемся въ дѣтей передъ любимыми женщинами и не глупѣемъ?

Эти воздушныя, восхитительныя, небесныя, очаровательныя созданія играютъ нами, какъ пѣшками; передъ ними таетъ вся наша мудрость, весь нашъ жизненный опытъ, уничтожается вся наша серьёзность и глубокомысленность!...

Одинъ ласковый взглядъ женщины, одно ея нѣжное слово—и бумаги летятъ подъ столъ и перо выпадаетъ изъ рукъ....

— Душка! говоритъ супруга моего пріятеля, сидя у него на колѣняхъ:—ты знаешь, что черезъ два дня петергофскій праздникъ?

— Какой праздникъ? что такое? спрашиваетъ супругъ.

— Ты у меня ничего не знаешь! нѣжно лепечетъ супруга и поправляетъ его растрепанные волосы и бантъ галстуха, съѣхавшій на сторону.

— Говорятъ, будетъ чудо какой праздникъ!... такой иллюминаціи еще никогда не бывало въ Петергофѣ.... Вообрази, говорятъ, даже будетъ электрическое освѣщеніе!

— Неужто?

— Да....

Затѣмъ нѣсколько минутъ молчанія и небольшой вздохъ.

— Мы ѣдемъ, душоночекъ, въ Петергофъ?

— Зачѣмъ?

— Ахъ, Боже мой! зачѣмъ? Какой ты тупой!... разумѣется, затѣмъ, чтобы видѣть иллюминацію....

— Но, другъ мой, у меня, во-первыхъ, это дѣло на рукахъ: я его долженъ кончить въ три дня; во-вторыхъ, ты представь себѣ.... отсюда какая даль.... Мы должны три дня

убить на этотъ праздникъ. Накануне надобно отправляться въ городъ, тамъ ночевать; а гдѣ мы ночуемъ? Ты знаешь, что нашу квартиру передѣлываютъ и переправляютъ....

Супруга вскакиваетъ съ колѣнъ супруга и хмурится.

— Я ужъ это заранѣе знала! говоритъ она:—у васъ всегда и во всемъ препятствіе....

— Но....

— Ни слова, ни слова!... Я не хочу никакихъ *но*....

Она обнимаетъ супруга и снова ластится къ нему.

— Ангельчикъ, доставь мнѣ удовольствіе.... Поѣдемъ....

Она произноситъ эти слова жалобнымъ голосомъ, нараспѣвъ.

Супругъ тронутъ. Онъ колеблется.

— Ну, хорошо.... только гдѣ же мы ночуемъ съ воскресенья на понедѣльникъ? Вѣдь праздникъ въ понедѣльникъ?

— Да.... мнѣ все равно, можно ночевать дома.... Что за бѣда, что пахнетъ краской? Для меня это ничего!...

— Какой вздоръ! Ты не знаешь, что такое запахъ масляной краски!... Развѣ взять нумеръ въ гостинницѣ?

— Ахъ, да, да! возьмемъ нумеръ въ гостинницѣ! вскрикиваетъ супруга, прыгая отъ радости: — это чудесно! Какъ это весело! Я никогда не ночевала въ гостинницѣ!

Супруги наканунѣ 21 іюля отправляются изъ Мурина въ дилижансѣ, съ горничной, съ безчисленными узлами и мѣшками. Ночь они проводятъ въ трактирѣ Клея. Рѣшено на слѣдующій день, въ 12 часовъ утра, ѣхать въ Петергофъ и обѣдать у дѣйствительнаго статскаго совѣтника Подсосова, съ супругой котораго супруга моего пріятеля находится въ самыхъ дружескихъ сношеніяхъ. Обѣ онѣ институтки.

При этомъ, однако, супругъ возражаетъ:

— Знаешь ли, дружочекъ, не потревожимъ ли мы ихъ? По случаю этого праздника къ нимъ, я думаю, соберется пропасть гостей.

— Какой вздоръ! возражаетъ супруга: — я знаю, что Ниночка будетъ мнѣ очень рада.

Ея превосходительство зовутъ Ниночкой.

Прекрасно... Итакъ, все рѣшено. Супругъ безпрекословно покорился всему; но онъ чувствуетъ себя какъ-то не совсѣмъ

ловко. Толпа на пароходѣ, обѣдъ у его превосходительства, котораго онъ терпѣть не можетъ, давка на гуляньи, возвращеніе почью, — все это представляется ему въ ужасной перспективѣ.

Супруга, между тѣмъ, въ ближайшей непроходной комнатѣ занимается своимъ туалетомъ. Съ десятаго часа горничная носитъ туда разкрахмаленныя юбки чудовищной ширины, съ обручами и сѣтками, задѣвающія по носу супруга, и другія различныя принадлежности туалета.

Наемная карета, которая должна отвезти супруговъ на пароходъ, съ 10 часовъ стоитъ у подъѣзда... Нельзя же ѣхать на простомъ извощикѣ въ кринолинахъ и воланахъ!...

Въ половинѣ двѣнадцатаго супругъ стучитъ въ дверь и говоритъ мягкимъ голосомъ:

— Душенька, пора. Ужъ болѣе половины двѣнадцатаго. Мы опоздаемъ на пароходъ.

— Ахъ, Боже мой! сейчасъ. Не могу же я одѣться въ пять минутъ! раздается прелестный, но нѣсколько раздраженный голосокъ

И вслѣдъ затѣмъ крики на горничную:

— Ахъ, больно! Да что ты, съ ума сошла!... Ты ничего не умѣешь сдѣлать порядочно!... Зашнилить не можешь, какъ слѣдуетъ!... Ты меня бѣсишь!... Я тебя выгоню! и прочее.

Супругъ, печально повѣсивъ голову, опускается въ кресла при этихъ крикахъ.

Безъ четверти двѣнадцать супруга выходитъ во всемъ блескѣ и пышности. Ея юбки заняли полкомнаты. Какъ хороша она и какъ перетянута! Она еле дышетъ. Талія ея тоньше бокала шампанскаго; ея очаровательное личико немного напудрено... Для чего эта пудра? Она и безъ того бѣла, какъ первый снѣгъ; но, говорятъ, пудра умягчаетъ кожу. Бѣлокурые ея волосы немилосердно взбиты и приподняты на вискахъ; шляпка изъ паутины съ васильками прикрываетъ только затылокъ; блѣдно-голубое платье, легкое какъ воздухъ, съ тремя воланами, такъ идетъ къ ней; на ножкѣ прелестнѣйшая синяя шелковая ботинка и блѣдно-розовый чулокъ. Восторгъ и соблазнъ, взглянуть и умереть! Кажется, если эта восхитительная женщина будетъ въ злобѣ топтать

васъ своими ножками — и это блаженство! Какъ не сносить всѣхъ ея капризовъ, всѣхъ выдумокъ, всѣхъ прихотей!...

— Ну, вотъ я и готова, говоритъ она: — ѣдемъ, — и натягиваетъ на свою ручонку перчатку...

— Застегни, мой другъ, пуговку, — и она протягиваетъ ручку супругу.

Супругъ цѣлуетъ ее въ ладонь и застегиваетъ пуговку съ нѣкоторымъ усиліемъ, при чемъ супруга нѣсколько сердится на его неловкость.

Супругъ совсѣмъ съежился въ каретѣ и исчезъ въ кринолинѣ и въ воланахъ. По дорогѣ на пароходъ заѣзжаютъ еще въ магазинъ за перчатками, потому что одна перчатка лопнула.

Въ ту минуту, когда они подъѣзжаютъ къ пароходу, пароходъ, набитый биткомъ, со свистомъ и дымомъ, отходитъ отъ пристани.

Супруга въ отчаяніи. Она высовывается изъ окна и кричитъ:

— Подождите! подождите!

Но пароходъ не слушаетъ ее. Онъ разсѣкаетъ воду, оставляя за собой струю дыма.

— Что жъ мы будемъ дѣлать теперь? восклицаетъ она сквозь слезы.

Къ счастію, пароходы идутъ каждый часъ.

Супругъ беретъ билеты, проводитъ супругу сквозь страшную толпу, тѣснящуюся на пароходной пристани, и усаживается съ нею.

Толпа все растетъ, пароходъ набивается биткомъ: почти пошевельнуться нельзя; множество дамъ и половина мужчинъ стоятъ: всѣ мѣста и складные стулья заняты.

— Это ужасъ какая толпа! говоритъ супруга моего пріятеля: — мы эдакъ потонемъ... Если бы я знала, что на пароходѣ такая толпа, я ни за что не поѣхала бы... Ужъ лучше бы ѣхать по желѣзной дорогѣ.

И она начинаетъ сердиться на супруга за то, что тотъ не присовѣтовалъ ей ѣхать по желѣзной дорогѣ.

Несмотря на то, что погода отличная и въ заливѣ ни малѣйшей качки, она жалуется на головокруженіе.

Наконецъ, слава Богу, пароходъ причалилъ къ петергофской пристани.

Дѣйствительный статскій совѣтникъ Подсосовъ нанимаетъ дачу въ Новомъ Петергофѣ. Отъ пароходной пристани до его дачи версты двѣ. Пѣшкомъ идти невозможно, на дрожкахъ неудобно, къ тому же, пыль на петергофскомъ шоссе стоитъ столбомъ и жара нестерпимая.

На пристани есть, впрочемъ, наемныя коляски.

Супругъ принужденъ нанять коляску, и на цѣлый день, потому что отъ г. Подсосова на иллюминацію нельзя же идти пѣшкомъ. Коляска скверная, уродливой формы и обита голубымъ ситцемъ; и эту коляску едва можно достать за 30 р. с., потому что всѣ коляски расхватили сейчасъ. Они садятся въ нее; но безобразная коляска разстроиваетъ нервы супруги моего пріятеля: она придирается ко всему и начинаетъ говорить мужу колкости.

Дребезжа и звеня, коляска останавливается у дачи г. Подсосова.

Къ его превосходительству съѣхались всѣ родственники его и его супруги: племянники, двоюродные братья, племянницы, дяди, деверья, свекрови, тещи и такъ далѣе, кромѣ того закадычные пріятели его превосходительства, два штатскихъ генерала съ женами и дочерьми, и одинъ военный, всего 39 человѣкъ совершеннолѣтнихъ и двѣнадцать малолѣтнихъ.

Комнаты его превосходительства такъ малы, что походятъ на пароходныя каюты; давка нестерпимая, почти такая же, какъ на пароходѣ, но на пароходѣ, по-крайней-мѣрѣ, продувало, а въ каютахъ его превосходительства духота невыносимая и милліоны ослабшихъ отъ жары мухъ лѣзутъ въ ротъ и въ носъ. И его превосходительство, и ея превосходительство въ ужасномъ волненіи. Они никакъ не ожидали, чтобъ къ нимъ наѣхало столько гостей. Столовая маленькая: какъ усадить въ ней 20 человѣкъ? посуды недостаетъ: надобно занимать у сосѣдей... И сколько выпьетъ и съѣстъ эта родственная орда!...

— Можно ли быть до такой степени неделикатнымъ! восклицаетъ его превосходительство, съ ужасомъ пожимая плечами, стоя въ запыленномъ палисадникѣ и разсуждая вполголоса съ ея превосходительствомъ: — какимъ способомъ и гдѣ расположить столы для обѣда? Это ужасно! Они вашъ

домъ принимаютъ, кажется, за трактиръ! прибавляетъ его превосходительство.

Въ эту минуту супруга моего пріятеля вылѣзаетъ съ супругомъ изъ коляски.

— О, Боже! еще гости!...

При видѣ этихъ гостей, его превосходительство и ея превосходительство входятъ въ справедливое негодованіе и едва могутъ скрыть его подъ насильственными улыбками. Супруги наши встрѣчаютъ очень холодный пріемъ.

«Я предвидѣлъ все это», думаетъ несчастный супругъ.

— А!! очень радъ — его превосходительство протягиваетъ моему пріятелю два пальца — и вы также на гулянье? спрашиваетъ онъ его.

Тонъ его превосходительства, эти два пальца, его возвышенныя манеры и гордые взгляды,—все глубоко оскорбляетъ моего пріятеля. И это оскорбленіе онъ терпитъ по милости обожаемой имъ супруги. Безъ нея онъ никогда не переступилъ бы за порогъ дома его превосходительства.

— Ахъ, душечка, говоритъ генеральша своей подругѣ: — я въ отчаяніи: вообрази, къ намъ сегодня наѣхало столько родственниковъ, что я совершенно растерялась и не знаю, куда ихъ всѣхъ размѣстить... у меня голова идетъ кругомъ.

Супруга моего пріятеля видитъ, что оставаться неловко.

— Ты, пожалуйста, не думай, что мы останемся, говоритъ она генеральшѣ:—мы только на минуту заѣхали къ тебѣ.

— Ну, что за вздоръ! возражаетъ лицемѣрно генеральша: — останься, душенька, у насъ. Я тебя ни за что не пущу: ты знаешь, какъ я тебя люблю!

И въ ту же минуту думаетъ:

«Если бъ чортъ ихъ поскорѣй унесъ!»

Супруга моего пріятеля подходитъ къ нему и шепчетъ:

— Уѣдемъ поскорѣй: я ни за что не останусь здѣсь... Мы остановимся гдѣ-нибудь въ трактирѣ.

Пріятель мой, разумѣется очень доволенъ этимъ, и черезъ четверть часа они уѣзжаютъ.

Они едва отыскиваютъ маленькую коморку въ гостинницѣ Belle-Vue, у пароходной пристани, которую содержитъ нѣкто г. Купріенко-*Вольдемаръ*. Обѣдаютъ очень дурно и платятъ за все баснословныя цѣны.

Пріятель мой внутренно задыхается отъ досады; но онъ не смѣетъ обнаружить своего неудовольствія, чтобы не потревожить нервъ своей супруги, которая, въ свою очередь, задыхается въ корсетахъ и въ сѣткахъ и отъ этого безпощадно пилитъ несчастнаго супруга.

— Ахъ, какая тоска!... Скоро ли смеркнется? повторяетъ она.—Ахъ, какая духота!... И зачѣмъ я сюда пріѣхала?...

— Пройдемся по саду, душенька, говоритъ супругъ.

— Вотъ еще! Я и безъ того измучена! я едва дышу отъ жара, я занемогу!...

Супругъ цѣлуетъ руку супруги, думая успокоить ее; но это еще болѣе раздражаетъ ее.

— Убирайтесь съ вашими нѣжностями! говоритъ она.

Супругъ съ горя обращается къ человѣку и спрашиваетъ его:

— Отчего г. Купріенко, малороссъ по фамиліи, называетъ себя *Вольдемаромъ?*

Лакей отвѣчаетъ:

— Это прозвище имъ пожаловано...

— Кѣмъ и за что? возражаетъ мой пріятель.

— Не могу знать-съ.

Это вызываетъ улыбку на прелестныя уста супруги, нѣсколько натертыя губной помадой, и супругъ счастливъ, что онъ вызвалъ эту улыбку.

Время тянется безконечно.

Но вотъ солнце уже начинаетъ погружаться въ воды Финскаго залива. Закатъ великолѣпенъ. Солнце, какъ раскаленное ядро, тонетъ въ сгущенной отъ духоты атмосферѣ и зажигаетъ вокругъ себя облака.

Какая картина!

Но нашимъ супругамъ не до нея.

Раздается выстрѣлъ. Солнце сѣло. Около вокзала появляются матросы со шкаликами и съ фитилями... Наконецъ!

Наши супруги отправляются въ садъ.

Отъ пруда Марли до канала противъ дворца они пробираются кое-какъ въ толпѣ и въ темнотѣ; но вотъ супруга моего пріятеля радостно взвизгиваетъ... Фонтанъ Еввы блеснулъ въ электрическомъ свѣтѣ.

— Ахъ, какъ это мило!...

Остановившись на минуту у этого фонтана и полюбовавшись мигающимъ освѣщеніемъ, они продолжаютъ шествіе... Толпа становится гуще, начинается давка. Они кое-какъ продираются къ Самисону, любуясь еще издали разноцвѣтными фонарями. Вотъ они добрались и до Самисона. Супруга моего пріятеля взглядываетъ на дворецъ и вскрикиваетъ въ восторгѣ: «Ah, comme c'est beau! mais c'est féerique! c'est charmant!» Въ толпѣ она всегда восклицаетъ по-французски.

Дѣйствительно, картина недурна.

Когда раздались наверху крики «ура!», супруга моего товарища бросилась впередъ. Супругъ убѣждалъ ее остаться, говоря, что наверху давка. Она не хотѣла ничего слышать.

Царскаго поѣзда они не видали: но ихъ едва не задавили въ толпѣ, супругъ чуть не попалъ подъ лошадь, а у супруги оборвали все платье.

Несмотря на это, она пожелала видѣть иллюминацію Верхняго сада. Супругъ, по неопытности, повелъ ее чрезъ одинъ изъ дворцовыхъ корридоровъ. Въ корридорѣ ихъ такъ смяли и сдавили, что съ супругою сдѣлалось дурно и ее едва привели въ чувство.

Они однако кое-какъ возвратились въ Belle-Vue, истомленные, закопченные, оборванные, измятые, больные. Супруга плакала, супругъ утѣшалъ ее, а безжалостная толпа смотрѣла на нихъ и подсмѣивалась надъ ними.

Въ заключеніе, они едва достали мѣсто на пароходѣ и должны были все время простоять. Удовольствіе это стоило супругу 100 р. с., не включая уничтоженнаго туалета супруги; а онъ получаетъ въ годъ не болѣе 3,500 р.... Но что жъ дѣлать?—Любовь...

Пріятель мой не забудетъ долго этого праздника. Онъ до сихъ поръ не можетъ опомниться отъ него. Три дня послѣ этой поѣздки супруга его страшно страдала нервами. Что вынесъ онъ въ эти три дня!

XXXV. ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТЩЕСЛАВІЕ.

Мнѣ кажется, ни одинъ городъ въ мірѣ (я разумѣю только европейскіе города) не преисполненъ такими претен-

зіями и такимъ мелкимъ тщеславіемъ, какъ Петербургъ, или ни въ одномъ городѣ эти претензіи и это тщеславіе не бросаются такъ рѣзко въ глаза... Чтобы убѣдиться въ этомъ, не нужно даже входить въ петербургскія общества и заводить знакомства. Въ театрахъ, на публичныхъ гуляньяхъ, на пароходахъ, на желѣзныхъ дорогахъ, вездѣ комическія сцены, и картины такого тщеславія поражаютъ. невольно людей, не надѣленныхъ даже отъ природы особенною наблюдательностью.

Положимъ, напримѣръ, что вы отправляетесь по желѣзной дорогѣ изъ Петербурга въ Петергофъ... Вы берете билетъ въ вагонъ перваго класса... Это также тщеславіе, потому что вы могли бы ѣхать въ вагонѣ 2-го класса, правда безъ зеркалъ и безъ мягкихъ подушекъ, но очень удобно и покойно. Послѣ втораго звонка вы отправляетесь, чтобы занять мѣсто, и смотрите, въ которомъ бы отдѣленіи кареты вамъ свободнѣе расположиться... Одно отдѣленіе уже почти полно, въ другомъ сидитъ только одна дама, необыкновенно пышная, вся въ воланахъ. Вы рѣшаетесь войти въ то отдѣленіе, гдѣ сидитъ пышная дама, и говорите кондуктору, чтобы онъ отворилъ дверь.

— Сюда нельзя-съ: пожалуйте въ отдѣленіе, отвѣчаетъ вамъ кондукторъ.

— Да я не хочу въ это; тамъ почти всѣ мѣста заняты, возражаете вы. — Отчего жъ нельзя? развѣ эта дама скупила всѣ мѣста для себя одной?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Такъ отчего же?

— Да помилуйте, намъ все равно, гдѣ угодно садитесь, но съ насъ за это взыскиваютъ, намъ не велятъ...

— Что же не велятъ-то?

— Приказываютъ, чтобы, на всякій случай, оставляли нѣкоторыя отдѣленія для важныхъ особъ... Вотъ одна-то ужъ и сидитъ тутъ.

— А! такъ это важная особа?...

Вы спрашиваете:

— А почему ты знаешь, можетъ быть, и я важная особа?

Кондукторъ смотритъ на васъ и простосердечно отвѣчаетъ:

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Ну, я хоть, правда, и не важная особа, но, извини

меня, любезный другъ, ужъ я сяду здѣсь, потому что имѣю на это полное право. Вѣдь у васъ мѣста не нумерованныя. Отвори-ка дверь.

Кондукторъ нехотя берется за ручку двери; но въ эту минуту пышная дама обращается къ кондуктору съ важнымъ и сердитымъ видомъ.

— Что это такое? говоритъ она: — развѣ пустыхъ мѣстъ нѣтъ?... Отчего же непремѣнно сюда?

И вслѣдъ затѣмъ измѣряетъ васъ отъ головы до желудка: ногъ вашихъ не видать, ибо дверь еще не отворена.

Вы смѣло выдерживаете этотъ взглядъ, ясно говорящій: что это за дерзость! И что это за человѣкъ? И какъ онъ смѣетъ безпокоить *меня?* и садитесь, противъ воли кондуктора, въ одно отдѣленіе съ пышною дамою, только въ противоположный уголъ кареты.

Пышная дама еще разъ съ уничтожающимъ слабаго человѣка величіемъ взглядываетъ на васъ; но вы, съ характеромъ твердымъ, не смущаетесь этимъ и, улыбаясь про-себя, думаете:

«Очевидно, что эту важную особу безпокоитъ и тревожитъ то, что она сидитъ, хотя и на весьма далекомъ разстояніи, съ incognii и имѣетъ несчастіе дышать съ нимъ однимъ воздухомъ; но въ такомъ случаѣ для чего же она не беретъ отдѣльнаго вагона? Ясно, что на всѣхъ incognus она смотритъ не какъ на людей, созданныхъ Богомъ по одинаковому подобію и образу, но какъ на существа низшія...»

Кондукторъ отворяетъ дверцы вашего отдѣленія господину съ лицомъ, круглымъ, какъ яблоко, и съ стеклянными, выпуклыми глазами, и пропускаетъ его въ вагонъ съ особымъ почтительнымъ выраженіемъ, изъ чего вы заключаете, что это также важная особа. Въ этомъ можно еще убѣдиться по самодовольствію и громкому голосу этой особы. Господинъ съ стеклянными глазами что-то такое кричитъ оберъ-кондуктору, который при этомъ поднимаетъ свою фуражку... Наконецъ онъ входитъ въ вагонъ, бросаетъ на васъ косвенный взглядъ и, увидѣвъ, что вы не имѣете честь быть съ нимъ знакомы, что вы incognii, принимаетъ, при взглядѣ на васъ, такое выраженіе или такую гримасу, какъ будто бы онъ проглотилъ чего нибудь очень кислаго.

Затѣмъ, при видѣ пышной дамы, гримаса эта мгновенно исчезаетъ, замѣняясь пріятнѣйшей улыбкой. Господинъ съ стеклянными глазами разѣваетъ ротъ для восклицанія; но пышная дама перебиваетъ его.

— Я очень рада, говоритъ она по-французски, подавая ему руку:—что вы ѣдете. Садитесь противъ меня: такъ непріятно ѣхать въ одной каретѣ съ незнакомыми.

Пышной дамѣ и въ голову не приходитъ, что вы, какой-то inconnu, можете понимать по-французски.

— Да, это правда, возражаетъ господинъ съ стеклянными глазами:—желѣзныя дороги, всѣ эти пароходы—славная вещь, но этимъ не удобны....

Отдѣленіе мало-по-малу наполняется, все, повидимому, болѣе или менѣе важными особами, при чемъ всѣ они протягиваютъ руки пышной дамѣ.

Между прочими входитъ господинъ среднихъ лѣтъ, небольшаго роста и невѣроятной надменности. По его вздернутой головѣ и сановитости, которую онъ усиливается придать себѣ, вы, по неопытности, сначала принимаете его за особу изъ особъ, тѣмъ болѣе, что онъ, разстегнувъ свой пальто и задѣвъ васъ локтемъ, важно и глухо бормочетъ: «извините», и обнаруживаетъ на фракѣ два сіянія съ правой и съ лѣвой стороны груди; но, къ удивленію вашему, господинъ съ сіяніями, при видѣ пышной дамы, господина съ стеклянными глазами и другаго пожилаго господина безъ всякихъ украшеній, мгновенно приходитъ какъ бы въ смущеніе, опускаетъ голову, утрачиваетъ почти совсѣмъ свою сановитость и съ безпокойствомъ начинаетъ ловить взоры пожилаго господина, чтобы, вѣроятно, раскланяться ему, при чемъ строгое и холодное лицо его все болѣе и болѣе смягчается.

Уловивъ наконецъ этотъ взоръ, господинъ съ сіяніями (котораго мы будемъ называть его превосходительствомъ, какъ и слѣдуетъ) вдругъ дѣлается сладокъ до приторности и начинаетъ даже таять подъ лучомъ этого взора, какъ леденецъ на свѣчкѣ. Онъ привстаетъ и почтительно наклоняетъ свою заносчивую голову передъ этимъ взоромъ.

Пожилой господинъ слегка улыбается и слегка наклоняетъ свою голову въ отвѣтъ на поклонъ его превосходительства.

— Здравствуйте, говоритъ пожилой господинъ: —ну, что, вы въ Петергофъ?

— Точно такъ, ваше сіятельство! отвѣчаетъ его превосходительство.

«Такъ вотъ оно что!» думаете вы.

— По дѣламъ или такъ?

— Я къ его высокопревосходительство Петру Александровичу: его высокопревосходительство желаетъ....

Но пожилой господинъ произноситъ длинное «а!» отворачивается отъ его превосходительства, не желая, повидимому, входить въ подробности, которыя тотъ желаетъ сообщить ему, и обращается съ улыбкою къ пышной дамѣ.

Пышная дама наклоняется къ пожилому господину и, кажется, спрашиваетъ его, что это за лицо, съ которымъ онъ говорилъ. Пожилой господинъ отвѣчаетъ ей, и оба они улыбаются, при чемъ пышная дама осматриваетъ его превосходительство съ головы до ногъ, отчего его начинаетъ коробить, какъ листъ бумаги на разгоряченной металлической поверхности.

Его превосходительство очевидно смущенъ тѣмъ, что пожилой господинъ его не дослушалъ, и, притомъ, его укололъ гордый взоръ пышной дамы. Чтобы скрыть свое смущеніе, онъ вынимаетъ изъ кармана «Independance Belge» и погружается въ политику. Но восточные вопросы: индѣйскіе, китайскіе, турецкіе, и тріумфальное путешествіе Наполеона III по Бретаніи и Нормандіи мало занимаютъ его; глаза его только скользятъ по газетѣ, а мысли его, конечно, заняты тѣмъ, какой бы новый предлогъ найти, чтобы имѣть счастіе снова обратить на себя вниманіе пожилаго господина и заговорить съ нимъ.

«У! да, видно, этотъ пожилой-то господинъ—того.... думаете вы. Не легко уже угадывать людей по наружности.... Съ перваго взгляда его превосходительство показался бы всякому несравненно важнѣе, величественнѣе и недоступнѣе пожилаго господина; а между тѣмъ.... Справедливая пословица: «не все то золото, что блеститъ!»

Его превосходительству такъ и не удалось заговорить съ почетнымъ господиномъ во всю дорогу. Это раздражило его, и онъ съ досады изрѣдка бросаетъ на васъ такіе взгляды,

какіе можетъ только бросать Юпитеръ-Громовержецъ съ высоты небесъ на червя, ползающаго на землѣ.

Вотъ и петергофскій дебаркадеръ. Машина останавливается. Его превосходительство, совершенно съежившись, пропускаетъ впередъ пожилаго господина, услащая свою физіономію и устремляя на него свои зрачки, въ которыхъ выражаются безконечная преданность и глубочайшая покорность.

Пожилой господинъ, ласково улыбаясь, киваетъ ему благосклонно головой и проходитъ мимо.

Его превосходительство скользитъ вслѣдъ за нимъ и отстраняетъ рукою какого-то человѣка, который загородилъ дорогу почетному господину.

Вслѣдъ за тѣмъ онъ, попрежнему, заноситъ вверхъ свою голову и обращаетъ ее вправо и потомъ влѣво, какъ бы отталкивая кого-то въ толпѣ. Бровь его надвигается на глаза. Онъ становится страшенъ и прекрасенъ въ эту минуту.

Изъ толпы выдирается молодой человѣкъ въ форменномъ пальто и фуражкѣ, съ портфелью подъ мышкой, и подбѣгаетъ къ его превосходительству съ наклоненнымъ туловищемъ.

— Да гдѣ же вы, батюшка? я васъ ищу вездѣ. Вы заставляете меня ждать....

Онъ произноситъ это такъ громко, что обращаетъ на себя всеобщее вниманіе. Нѣкоторые въ толпѣ съ почтеніемъ разступаются передъ нимъ, другіе насмѣшливо улыбаются, поглядывая на него (это либералы). Молодой человѣкъ въ форменномъ пальто, ничего не возражая его превосходительству, скромно потупляетъ глаза.

— Коляску наняли?

— Она ожидаетъ, ваше превосходительство!

— Хорошо... велите же подавать ее.

Чиновникъ бѣжитъ впередъ. Его превосходительство торжественно продолжаетъ шествіе, озираясь повременамъ кругомъ: смотрятъ ли на него и поражены ли его величіемъ?

Вы съ любопытствомъ слѣдите за нимъ.

Начинается разъѣздъ. Его превосходительство останавливается на подъѣздѣ, совершенно закинувъ назадъ обшлага своего пальто, можетъ быть, потому, что жарко, а можетъ быть потому, чтобы дать всѣмъ возможность полюбоваться его сіяніями на груди. Унтеръ-офицеры и кондукторы снимаютъ

передъ нимъ фуражки. Лицо его свѣтло и глаза блистаютъ, какъ звѣзды на его фракѣ.

— Посмотри, душечка, какъ молодъ и ужъ весь въ звѣздахъ! восклицаетъ нараспѣвъ, проходя мимо его, старая разрумяненная дама съ височками, толкая подъ локоть барышню, идущую съ ней рядомъ.

Его превосходительство слышитъ это и пріятно улыбается....

Коляска подана; чиновникъ подсаживаетъ его превосходительство... Онъ головою указываетъ ему мѣсто возлѣ себя. Чиновникъ, корчась и съуживаясь, садится.

Вы провожаете глазами его превосходительство и думаете.... Впрочемъ, зачѣмъ обнаруживать ваши мысли?... Если бъ еще онъ прочелъ ихъ; но вѣдь онъ ничего не читаетъ. Когда же ему читать? Онъ такъ занятъ службой, да и къ тому же у меня есть предчувствіе, что онъ презираетъ литературу, считаетъ ее пустяками, недостойными высокаго вниманія государственнаго человѣка.... онъ полагаетъ, что онъ государственный человѣкъ! Онъ, говорятъ, выписываетъ журналы только для модныхъ картинокъ, до которыхъ большая охотница Анна Васильевна—дама съ прелестнѣйшими формами, лѣтъ тридцати, пользующаяся особеннымъ вниманіемъ и расположеніемъ его.

Его превосходительство остановилъ даже однажды на улицѣ одного знакомаго журналиста и сказалъ ему съ свойственнымъ достоинствомъ, смягченнымъ пріятною улыбкою и таковымъ же тономъ голоса:

— Я на васъ въ претензіи, да! въ большой претензіи. Знаете ли, при послѣднемъ нумерѣ вашего журнала, я не получилъ модной картинки. Отчего же это? Пришлите мнѣ, пожалуйста.

Но дерзкій журналистъ отвѣчалъ, что на это есть контора, что это дѣло конторы и что онъ можетъ обратиться туда, если ему будетъ угодно.

Его превосходительство сжалъ губы при этомъ, сухо кивнулъ журналисту и лишилъ его съ этой минуты своего благосклоннаго и просвѣщеннаго вниманія....

Вечеромъ въ Петергофѣ вы отправляетесь на музыку ко дворцу...

Здѣсь мало одушевленія: нѣсколько дамъ и дѣвицъ въ пышныхъ платьяхъ и съ напыщенными манерами сидятъ на скамеечкахъ; нѣсколько великосвѣтскихъ кавалеровъ, военныхъ и статскихъ, печально прохаживаются по аллеямъ, искоса и гордо посматривая на этихъ дамъ, потому что онѣ inconnues. Вы ходите взадъ и впередъ, иногда останавливаясь у играющаго оркестра и спрашивая у самого себя: зачѣмъ всѣ сюда пришли или пріѣхали? Часу въ девятомъ, подъ балкономъ дворца, близъ караула, появляются нѣсколько великосвѣтскихъ дамъ и разсаживаются тутъ на стульяхъ.... Эти мѣста привиллегированныя.... Остальныя дамы со своихъ скамеечекъ начинаютъ озирать ихъ съ ногъ до головы съ любопытствомъ, подобострастіемъ и завистью. Около великосвѣтскихъ дамъ вертятся нѣсколько любезниковъ, также великосвѣтскихъ военныхъ и штатскихъ. Нѣкоторыя бойкія, можетъ быть, свѣтскія, но не *велико*свѣтскія дамы, желая задать тонъ передъ легковѣрною толпою и выдать себя за дамъ, принадлежащихъ къ высшему кругу, располагаются у самыхъ оконъ дворца, возлѣ стульевъ, на которыхъ сидятъ настоящія великосвѣтскія дамы, и оттуда гордо поглядываютъ на толпу. Все это мило, но однообразно и скучно....

Вотъ, напримѣръ, этотъ великосвѣтскій баринъ, съ которымъ вы знакомы и который не разъ даже разсыпался въ любезностяхъ предъ вами, два раза прошелъ мимо, какъ будто не замѣчая васъ, хотя онъ очень хорошо васъ видитъ; но онъ разсчитываетъ на то, что вы поклонитесь ему прежде: онъ боится уронить свое достоинство — поклониться вамъ первый. Онъ непрочь бы и поговорить съ вами, потому что онъ знаетъ, что вы человѣкъ неглупый, образованный, вы для него имѣете интересъ новости, вы даже возбуждаете до нѣкоторой степени его любопытство: *свои*, великосвѣтскіе, ему смертельно надоѣли; но онъ, не смотря на это, ни за что не заговоритъ съ вами первый.... потому что вы не ѣздите въ большой свѣтъ, вы не имѣете никакихъ внѣшнихъ украшеній, званій, титловъ и связей, а у него и то, и другое, и третье....

Такого рода разсчетами и воззрѣніями пропитана бо̀льшая часть петербургскихъ людей, и оттого всѣ наши публичныя сходбища такъ скучны и мертвы; оттого русскій человѣкъ въ толпѣ такъ напыщенъ, такъ накрахмаленъ, такъ

несообщителенъ и такое безвыходное уныніе распространяетъ вокругъ себя. Мѣстничество и табели о рангахъ до-сихъ-поръ не даютъ намъ свободно жить и веселиться.

Въ девять часовъ, когда кончается музыка, тѣ, которые занимаютъ привиллегированныя мѣста, отправляются въ экипажахъ въ Монплезиръ.

Скамейки, разставленныя на мраморной площадкѣ Монплезира, всѣ заняты цвѣтомъ великосвѣтскости. Разговоръ общій, живой и громкій. Здѣсь эти дамы въ своей сферѣ... Inconnus почти нѣтъ, кромѣ васъ, но вы стоите невидимые у балюстрады внѣ площадки. Въ разговорѣ (вы это наблюдаете издалека) не принимаетъ участія только одна молодая дама, ничѣмъ, повидимому, не отличающаяся отъ другихъ, одѣтая, можетъ быть, еще съ бо̀льшею роскошью и вкусомъ, чѣмъ другія, вся проникнутая тою искусственною граціею и владѣющая тѣми манерами, которыя зовутся хорошимъ тономъ. Возлѣ этой дамы дѣвочка лѣтъ пяти, уже умѣющая держать себя также не безъ граціи, одѣтая съ роскошью: въ кружевахъ, въ шелковыхъ получулочкахъ и съ обнаженными колѣнками... Дама говоритъ съ дѣвочкой, которая называетъ ее maman, по-французски; maman обдергиваетъ ея шелковое, пышное платьице, улыбается ей и нѣжно цѣлуетъ ее... Дитя хорошенькое, маменька тоже—картина прелестная! «Какая заботливая и любящая мать!» думаете вы въ первую минуту; но, ближе всматриваясь, вы, къ вашему огорченію, убѣждаетесь, что эта нѣжность и заботливость, эти поцѣлуи и взгляды только средства для обращенія вниманія избранной публики на собственную красоту, туалетъ и грацію и на красоту, туалетъ и грацію ребенка. Это не столько материнская любовь, сколько тщеславіе. Дама просто рисуется съ своей дочерью передъ этими господами и госпожами.

Когда одна изъ нихъ, старая и, повидимому, очень важная дама, встаетъ, поддерживаемая молодой дамой, и проходитъ мимо граціозной и кокетливой маменьки, она почтительно привстаетъ и кланяется ей съ восхитительной граціей.

Важная старушка останавливается, вглядывается въ нее; но въ эту минуту молодая дама что-то шепчетъ ей, и старушка восклицаетъ:

— Ah, madame! c'est vous?...

И покровительственно протягиваетъ ей свою руку.

— Что̀, это ваша маленькая? продолжаетъ важная старушка по-французски: — какое милое дитя!

Кокетливая маменька съ сіяющимъ лицомъ поднимаетъ на руки свою дочку и подноситъ ее къ важной старушкѣ, которая благосклонно треплетъ дитя по щекѣ, приговаривая:

— Charmante petite!

Затѣмъ старушка величественно наклоняетъ голову и продолжаетъ шествіе...

За нею отправляется все великосвѣтское общество. Остается одна кокетливая маменька; но черезъ минуту приходятъ двѣ какія-то дамы средняго общества съ дѣтьми.

Онѣ раскланиваются съ граціозною и нарядною маменькою.

Она отвѣчаетъ на этотъ поклонъ съ достоинствомъ и начинаетъ разсказывать имъ, стараясь казаться какъ можно хладнокровнѣй, что встрѣтила здѣсь всѣхъ своихъ знакомыхъ: княгиню такую-то, графиню такую-то и что княгиня N была въ восторгѣ отъ ея дочери, взяла ее на руки, цѣловала, и прочее... Все раскрашено, преувеличено и превращено почти въ фантазію; но странно, что послѣ этого разсказа прелестная разскащица пріобрѣтаетъ еще болѣе значенія въ глазахъ этихъ дамъ, несмотря на то, что онѣ вѣрятъ ей наполовину. Пожавъ руку своимъ знакомымъ, граціозная дама удаляется и, встрѣчая на дорогѣ неизвѣстныхъ дамъ, идущихъ къ площадкѣ, не только съ важностію, даже съ нѣкоторою наглостію обозрѣваетъ ихъ, потому что онѣ неизвѣстны.

Кто же она? и къ какому обществу принадлежитъ она? Дамы-аристократки смотрѣли на нее только съ благосклонностію и удостоили ее только нѣсколькими словами; слѣдовательно, она не принадлежитъ къ ихъ обществу...

Она во время разговора съ важною старушкою обнаружила относительно ея что-то ужъ слишкомъ подобострастное: въ эту минуту ея прелестное личико сіяло такимъ счастіемъ, что изъ всего этого можно было заключить, что ей не часто удается имѣть честь разговаривать съ этой старушкой....

Для разрѣшенія этого вопроса вы прибѣгаете къ вашему пріятелю, изучившему малѣйшіе оттѣнки петербургскаго тщеславія и петербургской суетности и знакомаго со всѣми петер-

бургскими кастами, со всѣми ихъ раздѣленіями и подраздѣленіями. привычками, обычаями, предразсудками и претензіями.

— Эта граціозная и кокетливая маменька, отвѣчаетъ вамъ вашъ пріятель: — петербургская нѣмка, дочь очень богатаго негоціанта. Она принадлежитъ къ петербургской коммерческой аристократіи. Эта аристократія вообще съ презрительною важностію, свысока смотритъ на всѣхъ русскихъ, не принадлежащихъ къ высшему обществу, но передъ высшимъ обществомъ распростирается. Жены и дочери этихъ негоціантовъ живутъ и дышутъ придворными и великосвѣтскими интересами и съ утра до вечера толкуютъ о княгиняхъ и графиняхъ....

Вы съ вашимъ пріятелемъ идете вслѣдъ за коммерческою аристократкою, пораженные ея восхитительною заносчивостью и искусственно выработанною граціей. Она садится на скамейку противъ фонтана, а дочка ея начинаетъ, тоже, конечно, съ граціею, бѣгать за бабочкой. .. Тщеславная малютка (да, и она ужъ тщеславна!), повидимому, очень заботится, чтобы не измять своего прелестнаго туалета.... Передъ вами точно картинка на заказъ, или театральная сцена. Иллюзія ваша еще увеличается, когда къ граціозной дамѣ подходитъ кавалеръ среднихъ лѣтъ и средняго роста, баснословной граціозности, изящнѣе и совершеннѣе во всѣхъ отношеніяхъ любаго jeune premier французскаго театра; онъ приподнимаетъ шляпу — и какъ приподнимаетъ! — и выставляетъ ногу въ лакированномъ башмакѣ и въ шелковомъ чулкѣ впередъ. Глядя на него, первый балетмейстеръ міра пришелъ бы въ восторгъ.... Волосокъ его подобранъ къ волоску, и сзади англійскій проборъ аккуратности и прямоты неописанной. При видѣ такого пробора, у перваго парижскаго парикмахера показались бы слезы на глазахъ. Сюртукъ, жилетъ, панталоны, — все это не только можно, но должно сейчасъ же перенести на модную картинку, для образца всѣмъ франтамъ; на воротничкахъ отъ рубашки ни одной складки, бантъ на маленькомъ галстухѣ можетъ привести въ изумленіе.... Далѣе нельзя идти въ туалетѣ.... Дойдти до такого туалетнаго совершенства нелегко! Господинъ этотъ, натурально, въ высшей степени доволенъ собою; да и какъ же быть недовольнымъ? Онъ,

кажется, убѣжденъ (и справедливо), что достигъ геркулесовыхъ столбовъ comme il faut-ности, что самъ Бруммель, при взглядѣ на него, бросился бы умиленный въ его объятія и графъ д'Орсе, посмотрѣвъ бы на него, невольно произнесъ про-себя: «это нашъ!»... Господинъ этотъ такъ изященъ, что даже ужъ походитъ не на живаго человѣка, а на мастерски сдѣланную куклу съ механизмомъ внутри.

Коммерческая аристократка благосклонно киваетъ ему головкой. Стоя передъ нею и рисуясь, онъ начинаетъ что-то говорить.... Она встаетъ и идетъ къ выходу.... Онъ опережаетъ ее, чтобы крикнуть кучера.

Къ воротамъ Монилезира подкатывается коляска легкости и изящности невообразимой... Коляска запряжена сѣрыми кровными рысаками, которыми управляетъ кучеръ такой толщины и важности, что передъ нимъ невольно хочется снять шляпу. Поддерживаемая кукольнымъ господиномъ, коммерческая аристократка садится въ коляску; затѣмъ кукольный господинъ беретъ осторожно на руки ея дочку и сажаетъ ее.... Маменька указываетъ ему головой на козлы. Кукольный господинъ вскарабкался на козлы, принялъ изящную позу и съ высоты козелъ гордо поглядываетъ на васъ и на остальныхъ, стоящихъ у входа, какъ бы желая сказать этими взглядами: «смотрите, вотъ къ какому обществу принадлежу я! вотъ съ какими дамами знакомъ я! вотъ какіе у насъ экипажи, рысаки и кучера!»

— Странный господинъ, замѣчаете вы: — отчего онъ, при своемъ изяществѣ, не можетъ скрыть своего восторга, что онъ такъ коротокъ съ этою дамою? развѣ онъ ниже ея какой нибудь степенью?...

— Дѣло въ томъ, отвѣчаетъ вамъ вашъ пріятель: — что стотъ кукольный господинъ сынъ одного бѣднаго негоціанта, служащій въ какомъ-то министерствѣ. Онъ пользуется чрезвычайно для него лестною благосклонностью коммерческихъ аристократовъ, которые допустили его въ свой кругъ потому, что онъ очень услужливъ, дорожитъ въ высшей степени честію быть въ ихъ обществѣ и, притомъ, имѣетъ такую изящную внѣшность, что съ нимъ не только не стыдно, даже до нѣкоторой степени пріятно показываться въ публикѣ...

Напыщенность и раболѣпство, барство и лакейство, очень удобно соединяющіяся въ одномъ лицѣ, и самое безобразное тщеславіе, не имѣющее въ себѣ даже ничего комическаго, поражаютъ въ Петербургѣ на каждомъ шагу...

Положимъ, что мы съ вами сидимъ, въ одинъ изъ четвергов, въ Павловскомъ воксалѣ въ галлереѣ и слушаемъ Штрауса.

Приходятъ два офицера и садятся неподалеку отъ насъ. Одинъ изъ нихъ, какъ говорится, *писаный* красавецъ: какой ростъ! какія плечи! какая грудь! какая талія! черты лица правильныя, волосы темные, усы прелесть! только въ глазахъ, которые, впрочемъ, прекрасны... выраженіе немного тупоумное...

— И онъ, кажется, чувствуетъ, что онъ бельомъ! произноситъ, въ восторгѣ глядя на него, одна пожилая и напудренная дама, стоящая сзади насъ, закатывая глаза совсѣмъ подъ лобъ и обращаясь къ другой дамѣ. — Ахъ, ma chère, какъ онъ долженъ быть хорошъ на конѣ!

Дама справедлива. Офицеръ, дѣйствительно, весь проникнутъ чувствомъ собственныхъ совершенствъ.

— Бутылку шампанскаго! слышишь? кричитъ онъ лакею...

— Слушаю-съ...

Лакей хочетъ бѣжать за шампанскимъ.

— Ну, куда жъ ты, болванъ? продолжаетъ красивый офицеръ.—Какого же шампанскаго? вѣдь я тебѣ еще не сказалъ... Олухъ! редерёру, да холоднаго, понимаешь?

— Понимаю-съ...

— И скорѣй! ну, пошелъ...

Затѣмъ красивый офицеръ начинаетъ насвистывать и поглядывать кругомъ съ пренебреженіемъ.

Лакей является съ бутылкой.

— Ну, откупори! кричитъ красивый офицеръ:—да не хлопай, уродъ!

— Никакъ нѣтъ-съ!

Бутылка откупоривается благополучно, безъ шума: шампанское наливается въ стаканы. Красивый офицеръ попиваетъ и подтруниваетъ надъ лакеемъ.

— Что это за цвѣты? спрашиваетъ онъ у лакея, указывая на клумбу съ цвѣтами.

— Ортензія-съ, отвѣчаетъ лакей.

— Оселъ! это гортензія?

— Ахъ, извините, ошибся: это... какъ бишь ихъ, еоргины.

— Еоргины! *гео*ргины, дуракъ! И говорить-то не умѣешь! А отчего у тебя такая рожа?

— Да ужъ какую Богъ далъ-съ.

— Чучело! восклицаетъ красивый офицеръ и хохочетъ, озираясь кругомъ съ довольной улыбкой.

— Хорошъ господинъ! замѣчаете вы, глядя на красиваго офицера.

— Да, очень! Онъ полагаетъ, что онъ человѣкъ воспитанный и, притомъ, хорошаго тона. Я знаю этого господина: онъ помѣшанъ на хорошемъ тонѣ. Онъ полагаетъ, что носить извѣстнымъ манеромъ эполеты, аксельбанты, выпускать немного рубашку изъ-подъ галстуха, вставлять блестящія запонки въ рукава рубашки, имѣть всегда на рукахъ чистыя замшевыя перчатки, хорошо обтягивающія руки, прохаживаться по Невскому съ извѣстными лицами, носящими громкія фамиліи или имѣющими громкія званія, имѣть собственный экипажъ, рысака, толстаго кучера, съ огромной черной бородой, быть членомъ англійскаго клуба и играть въ карты по большой и волочиться за какой нибудь актрисой — значитъ быть вполнѣ образованнымъ, порядочнымъ человѣкомъ, человѣкомъ хорошаго тона. Весь идеалъ заключается для него въ этомъ. Сфера, въ которой онъ вертѣлся, не вырабатывала, впрочемъ, еще высшаго идеала.... И онъ, понемногу, достигъ всего этого: изъ арміи перешелъ въ гвардію, завелъ экипажъ, рысака, попалъ въ англійскій клубъ, пустился играть сначала по маленькой а потомъ по большой и такъ далѣе. Все это онъ пріобрѣлъ не столько ловкостью, изворотливостью своего ума, котораго у него, впрочемъ, и нѣтъ, сколько случайнымъ и драгоцѣннымъ даромъ — красотою, ростомъ, плечами и станомъ, которыми наградила его природа. Онъ, какъ говорится, умѣлъ показать свой товаръ лицомъ... И на это надобно имѣть нѣкотораго рода талантъ; и это не всякій съумѣетъ сдѣлать... У инаго красота такъ и пропадаетъ даромъ, какъ мертвый капиталъ, и онъ не извлекаетъ изъ нея никакой выгоды...

Глядя на этого красиваго и заносчиваго офицера, можно подумать съ перваго взгляда, что онъ если не совсѣмъ важной породы, то, по крайней мѣрѣ, сынъ какого нибудь

откупщика или золотопромышленника, что онъ человѣкъ со средствами; а у него ничего нѣтъ, ровно ничего!... Онъ сынъ уѣзднаго стряпчаго города Краснорѣцка... Если бы его папенька, закоснѣлый и грязный ябедникъ, взглянулъ бы теперь на свое рожденіе, если бы онъ увидѣлъ его въ блестящемъ мундирѣ, пожимающаго руку князьямъ и графамъ, разъѣзжающаго въ каретѣ, играющаго въ клубѣ съ генералами или сидящаго въ Павловскомъ воксалѣ за бутылкою шампанскаго, подавляющаго своимъ презрѣніемъ и остротами несчастнаго лакея и посматривающаго на толпу гуляющихъ свысока, о, какъ бы затрепетало его подъяческое и родительское сердце отъ умиленія! Какъ бы онъ возблагодарилъ Бога за дарованіе ему такого сына!...

Но сынъ не только боится говорить, даже и думать о своихъ почтенныхъ родителяхъ; онъ блѣднѣетъ при одномъ упоминовеніи о городѣ Краснорѣцкѣ. Одна мысль, ужасная мысль, что кто нибудь изъ его блестящихъ петербургскихъ знакомыхъ узнаетъ, что онъ сынъ краснорѣцкаго стряпчаго—повергаетъ его въ трепетъ!...

И при этой мысли онъ начинаетъ держать себя съ вами еще важнѣе. Глядя на него, вы улыбаетесь и думаете: изъ чего этотъ красивый болванъ такъ важничаетъ? чѣмъ онъ тщеславится?... Жалкій человѣкъ, онъ и не подозрѣваетъ, что его тщеславіе постыднѣе всѣхъ самыхъ нелѣпыхъ тщеславій, потому что оно совпадаетъ съ тщеславіями Шарлоты Ѳедоровны, Армансъ, Луизы, Мины Александровны и другихъ дамъ подобнаго рода.

Сходство между нимъ и ими необыкновенное. Онъ, такъ же, какъ и онѣ, занятъ своею красотою, онъ, такъ же, какъ и онѣ, старается плѣнять ею, онъ, такъ же, какъ и онѣ, щеголяетъ экипажемъ, кучеромъ и рысаками и прокатывается по Невскому проспекту отъ трехъ до половины пятаго, единственно для того, чтобы показать свой экипажъ, свою сбрую и самого себя. И этотъ экипажъ, кучеръ и рысаки достались ему тѣмъ же самымъ способомъ, какимъ достаются рысаки, экипажи и прочее этимъ дамамъ.

Въ Петербургѣ даже и лакеи заражены тщеславіемъ.

На пароходѣ изъ Кронштадта въ Ораніенбаумъ, я разъ былъ свидѣтелемъ слѣдующей сцены.

Деньщикъ изъ кавалеристовъ, съ медалями, съ тремя гарусными и съ однимъ мишурнымъ шеврономъ, съ необыкновенно гордымъ видомъ, съ усами и узенькими, завитыми бакенбардами, оканчивающимися у широкихъ ноздрей, беретъ билетъ въ первыя мѣста—по 25 к.—и всходитъ на палубу парохода, въ сопровожденіи лакея, довольно чисто одѣтаго. Оказывается, что деньщикъ служитъ у весьма значительнаго лица, что и слѣдовало ожидать по его гордому виду. Онъ заговариваетъ важно съ лакеемъ, который заискиваетъ его расположеніе льстивыми улыбками и взглядами. Лакею также лестно показаться передъ публикой въ обществѣ этого деньщика, какъ какому нибудь барину пройтиться съ флигель-адъютантомъ по Невскому проспекту.

— Я вотъ, знаете, продолжаетъ деньщикъ свой разговоръ, начатый прежде:—и тороплюсь этакимъ манеромъ на пароходъ, потому что мнѣ приказано быть въ Петергофѣ къ этому часу. Подъѣзжаю... Пароходъ-то полнехонекъ. Я, понимаете, беру билетъ. Только что успѣлъ взойти и отвалили. Мнѣ и невдогадъ спросить, куда идетъ пароходъ-то. Вотъ такимъ случаемъ, вмѣсто Петергофа, я въ Кронштадтѣ и очутился. Я совсѣмъ этого и не зналъ, что петергофскіе-то отчаливаютъ отъ Аглицкой набережной... Вотъ вѣдь что!... Теперь я даромъ заплатилъ лишнее въ Кронштадтъ, теперь плачу въ Рамбовъ, да еще изъ Рамбова въ Петергофъ придется ѣхать... Вотъ и посудите...

Деньщикъ махнулъ головой и важно разсѣлся...

— Этакая оказія, подумаешь, скажите, пожалуйста, вкрадчиво произнесъ лакей, садясь рядомъ съ деньщикомъ.

Но въ эту минуту раздается голосъ обиравшаго билеты:

— Эй, господинъ! не въ свое мѣсто. Пожалуйте налѣво, во вторыя мѣста.

Лакей, къ которому относится этотъ крикъ, не обращаетъ на него вниманія.

— Я вамъ говорю, повторилъ обиравшій билеты.

— Что такое? Эка важность! говоритъ лакей, поглядывая съ смущеніемъ на публику.

— Да то, что не въ свои мѣста садиться неслѣдъ.

— Ну, и пойду. Ну что ты присталъ, мужикъ этакой,

право, мужикъ! говоритъ лакей съ презрѣніемъ и удаляется, совершенно сконфуженный, не смѣя взглянуть на деньщика.

Деньщикъ съ иронической улыбкой провожаетъ его глазами и вполголоса говоритъ про-себя:

— Голь этакая! Еще туда же въ первыя мѣста лѣзетъ!... Право голь!...

Справедлива французская пословица:

Tel maitre, tel valet.

XXXVI. ЧТО ТАКОЕ НРАВСТВЕННОСТЬ?

....Общество было немногочисленное, но почти все состоявшее изъ людей болѣе или менѣе значительныхъ. Разговоръ былъ жаркій. Одинъ изъ самыхъ значительныхъ вдругъ обратился ко мнѣ. Это былъ старичокъ.... впрочемъ, я буду лучше называть его *пожилымъ* господиномъ, потому что онъ никакъ не хочетъ казаться старикомъ, несмотря на то, что ему около 70 лѣтъ. Онъ носитъ на своемъ, совершенно обнаженномъ, черепѣ очень искусно сдѣланный парикъ изъ темно-каштановыхъ волосъ, съ завитыми висками, подкрашиваетъ свои торчащіе остатки бровей и даже, говорятъ, слегка подрумяниваетъ свои щеки, сплоенныя временемъ; одѣвается онъ съ претензіею на щегольство и имѣетъ непреодолимое желаніе обнаруживать бодрость въ походкѣ, хотя ноги его дрожатъ и измѣняютъ ему. При видѣ всякой хорошенькой женщины, онъ щуритъ глаза, подставляетъ лорнетъ къ своему потухшему глазу, пріятно улыбается и бодрится. Въ обществѣ онъ пользуется большимъ уваженіемъ и всегда съ большимъ жаромъ говоритъ о нравственности, вздыхаетъ о прекрасномъ прошедшемъ и скорбитъ о безнравственности настоящаго. Это любимая тема его разговоровъ.

— Все это прекрасно, распространеніе просвѣщенія, удобствъ жизни, развитіе промышленности, сказалъ мнѣ пожилой и значительный господинъ:—но (и при этомъ онъ остановился и вздохнулъ) но.... съ этимъ такъ называемымъ просвѣщеніемъ, развитіемъ, или, какъ это нынче у васъ модное слово, съ этимъ *прогрессомъ* (и, произнеся это, онъ улыбнулся иронически), искореняются добрыя правила, колеблются нравственныя основы, на которыхъ, такъ сказать,

зиждется общество, нравственность страдаетъ—вотъ что больно! Мы были, можетъ быть, и не такъ просвѣщенны, не пользовались тѣми удобствами жизни, какими пользуются теперь, но питали въ душѣ глубокое религіозное чувство, руководствовались тѣми нравственными правилами, которыя, можно сказать, по преданію переходили отъ отца къ сыну: а теперь.... взгляните на нынѣшнихъ молодыхъ людей.... Я говорю, разумѣется, о людяхъ *порядочнаго* общества.

— Это правда, ваше превосходительство, перебилъ я:— что богатые молодые люди, родившіеся въ атмосферѣ праздности, представляютъ весьма печальное и безнравственное зрѣлище. Но въ этомъ виноваты не просвѣщеніе, не прогрессъ. Просвѣщеніе, въ настоящемъ значеніи этого слова, если вы мнѣ позволите замѣтить, не коснулось этихъ господъ. Получивъ такъ называемое блестящее воспитаніе, то есть выучившись безукоризненно болтать по-французски, ѣздить верхомъ, стрѣлять, одѣваться съ шикомъ, вставлять въ глазъ стеклышко, дѣлать на головѣ англійскіе и другіе проборы, они остаются все-таки круглыми невѣждами. Для всякаго истинно образованнаго человѣка—книга, напримѣръ, такая же потребность, какъ пища, а эти господа смотрятъ на книгу, какъ лѣнивые школьники на букварь, почти съ отвращеніемъ. Да имъ и некогда читать книги: они встаютъ въ полдень, съ часъ просиживаютъ за своимъ туалетомъ.... на одну чистку ногтей сколько надобно употребить имъ времени!... Конечно, непріятно видѣть грязные ногти; но ногти расчищенные и обточенные на подобіе слоновой кости, какъ у женщины на содержаніи, которая всякую праздную минуту у себя дома посвящаетъ своимъ ногтямъ,—такіе ногти также непріятно дѣйствуютъ, потому что они служатъ признакомъ величайшей пустоты и праздности.... Послѣ туалета—прогулки, катанья по Невскому проспекту, верхомъ и въ экипажахъ, различные визиты, завтраки, волокитства, обѣды, театры, цирки, танцовщицы, клубы, Шарлоты Ѳеодоровны, Луизы и прочее,—для всего этого день коротокъ и ночь слишкомъ быстра.... Какое же тутъ чтеніе!... Я не знаю, какъ вели себя богатые и *порядочные* люди въ ваше время, ваше превосходительство; но теперь они, точно, представляютъ безнравственное зрѣлище, въ этомъ я совершенно со-

гласенъ съ вами.... И что всего печальнѣе: этимъ господамъ предназначено современемъ играть значительную роль въ обществѣ.... кто знаетъ?... сдѣлаться, можетъ быть, государственными людьми! Но я все-таки осмѣлюсь повторить, что просвѣщеніе не имѣетъ ничего общаго съ этими господами, и если они, дѣйствительно, представляютъ безнравственное зрѣлище, то въ этомъ случаѣ вина падаетъ не на просвѣщеніе, а на невѣжество. Не по этимъ comme il-faut'нымъ кукламъ, не по этимъ обезьянамъ, передразнивающимъ наружность французовъ и англичанъ, расчесывающимъ волосы по-англійски и болтающимъ съ парижскимъ акцентомъ,—не по нимъ должно судить о нашихъ успѣхахъ въ просвѣщеніи въ послѣднее время, о нашемъ развитіи....

Я было приготовился объяснять значительному пожилому лицу въ прекрасномъ темно-каштановомъ парикѣ, что̀ такое я разумѣю подъ словами просвѣщеніе и развитіе, которыя, повидимому, дѣйствовали на него не совсѣмъ благопріятно; въ какомъ классѣ общества, по моему мнѣнію, надобно отыскивать у насъ слѣдовъ этого успѣха и развитія; о томъ, что просвѣщеніе не уничтожаетъ, а улучшаетъ общественную нравственность, и тому подобныя истины, конечно, не новыя, но которыя у насъ еще приходится повторять безпрестанно; но мое краснорѣчіе было остановлено выраженіемъ лица его превосходительства, особенно его надвинутыми и ощетинившимися бровями и движеніями его головы и туловища, обнаруживавшими неудовольствіе и нетерпѣніе. Я упустилъ изъ виду, что съ значительными и пожилыми лицами нельзя объясняться пространно. Они любятъ быстроту и кротость. Я невольно смолкнулъ.

— Нѣтъ, вы на это не такъ смотрите, отвѣчалъ мнѣ пожилой и значительный господинъ, сжавъ губы и смолкнувъ на минуту, и потомъ продолжалъ съ разстановками:—это не то.... Можетъ быть, воспитаніе нашимъ молодымъ людямъ дается не совсѣмъ удовлетворительное, отчасти поверхностное, я объ этомъ спорить не буду; однако, все-таки гдѣ же искать у насъ просвѣщенія, какъ въ не высшихъ классахъ? Гдѣ же оно, какъ не въ благорожденныхъ людяхъ? Впрочемъ, мы это оставимъ въ сторонѣ. Мнѣ больно одно, что въ большей половинѣ нынѣшнихъ молодыхъ людей какая-то непріятная

заносчивость, дерзкая самоувѣренность; никакой атенціи, никакого, такъ сказать, подчиненія къ старшимъ, къ заслуженнымъ, къ опытнымъ людямъ, такія обо всемъ рѣзкія сужденія... Вотъ я въ чемъ вижу упадокъ нравственности; а то, что молодой человѣкъ, имѣя средства, ведетъ жизнь разсѣянную, волочится, танцуетъ, имѣетъ связь съ какой нибудь хорошенькой актрисой или такъ какой нибудь, въ этомъ большой бѣды еще нѣтъ.... Почему же и не пошалить молодому человѣку? Что жъ такое, перебѣсится. Всѣ мы, батюшка, были молоды! (При этомъ его превосходительство вздохнулъ).— По-моему, пусть лучше танцуетъ, чѣмъ резонируетъ не по лѣтамъ: въ томъ-то и бѣда, что нынѣшняя молодежь не танцуетъ, а умничаетъ. Мы въ молодые годы веселились отъ души, прыгали, бывало, до упаду, намъ и въ голову не приходили никакіе вопросы, а передъ старшими всегда съ покорностію и почтеніемъ.... только слушаешь да поучаешься. Для меня молодой человѣкъ, ведущій свѣтскую, разсѣянную жизнь, на которую вы такъ нападаете (его превосходительство иронически улыбнулся), даже позволяющій себѣ, можетъ быть, и лишнія удовольствія, несравненно лучше этихъ мудрецовъ-мальчишекъ, выскочекъ, у которыхъ молоко на губахъ не обсохло.... воображающихъ о себѣ Богъ знаетъ что,—вотъ этихъ, которые въ послѣднее время начинаютъ появляться и въ военной и въ статской службѣ и отбиваютъ только мѣста у людей заслуженныхъ, дѣльныхъ, почтенныхъ и опытныхъ... Вглядитесь попристальнѣе въ этихъ молокососовъ: что кроется подъ ихъ благонамѣренными фразами? отсутствіе всякихъ нравственныхъ правилъ, внушенныхъ намъ нашими дѣдами и отцами, ненависть ко всему старому, восхищеніе всѣмъ новымъ, хотя бы новое было и вредно, замаскированный религіознымъ умничаньемъ атеизмъ—голый атеизмъ!—отсутствіе всякаго патріотическаго чувства. Все свое скверно, все чужое прекрасно—вотъ ихъ прекрасныя правила. И что же вытекаетъ изъ этого?... Необходимость, видите ли, выставлять всѣ злоупотребленія, гадости, всю грязь на общій позоръ. Да помилуйте! гдѣ нѣтъ злоупотребленій, гадости, грязи? Люди вездѣ люди. И въ этой просвѣщенной Западной Европѣ дѣлаются злоупотребленія, и тамъ не все ангелы!... Если у насъ есть, дѣйствительно, злоупотребленія,

если у насъ дѣлаются гадости, то мы, изъ патріотическаго чувства, казалось бы, должны были ихъ прикрывать....

— Но позвольте, ваше превосходительство, рѣшился перебить я:—вы, конечно, не отнимете у англичанъ патріотическаго чувства: ихъ патріотизмъ доходитъ, можетъ быть, даже до эгоизма, но въ Англіи, между тѣмъ, существуетъ полная гласность, и англичане обнаруживаютъ малѣйшія свои злоупотребленія, всякую соринку выставляютъ наружу, и они дѣлаютъ это именно изъ глубокаго патріотическаго чувства! Они убѣждены, что свѣтъ и гласность искореняютъ зло и что, напротивъ, во тьмѣ, при печати молчанія на устахъ и при декораціяхъ, загораживающихъ все это, зло разростается и размножается. Англичанинъ въ разговорѣ съ иностранцемъ не скрываетъ темныхъ сторонъ своего отечества, не хвастаетъ и не восторгается всѣмъ *своимъ*, подобно французу; но англичанину и въ голову не приходитъ, чтобъ кто нибудь заподозрилъ его въ отсутствіи патріотизма. Патріотизмъ—по крайней мѣрѣ, я такъ думаю, ваше превосходительство—заключается не въ хвастовствѣ, не въ восторженныхъ фразахъ о томъ, что и «дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ», не въ лицемѣрномъ умиленіи отъ всего своего, а въ смиренномъ сознаніи зла и собственныхъ недостатковъ, въ горячемъ желаніи искорененія этого зла и уничтоженія этихъ недостатковъ и въ постоянномъ и непрерывномъ стремленіи къ улучшеніямъ и совершенствованіямъ....

Его превосходительство печально улыбнулся, вздохнулъ и покачалъ головою.

— Можетъ быть, отвѣчалъ онъ сухо:—но вы меня извините: по-моему, все это однѣ модныя фразы.... Мы въ наше время разсуждали не такъ. Мы любимъ свое отечество не менѣе васъ, господа современные мыслители, и потому именно, что мы любимъ его, мы стараемся обращать вниманіе преимущественно только на свѣтлыя, блестящія и отрадныя его явленія.... Вѣдь пятна и въ солнцѣ есть; а солнце все-таки ослѣпляетъ своимъ блескомъ.... Что же касается до вашихъ англичанъ, то они не могутъ служить намъ ни въ какомъ случаѣ примѣромъ. Мы, сударь, русскіе: у насъ свои взгляды, свои обычаи, свои нравы. У насъ, напримѣръ, подчиненность, покорность, уваженіе къ старшимъ искони были нравствен-

ною основою. и я все-таки повторяю, что нельзя безъ сокрушеннаго сердца видѣть, что эти высокія, твердыя основы общественнаго порядка и благоустройства начинаютъ колебаться въ наше время....

Я молчалъ; но его превосходительство продолжалъ, нѣсколько разгорячась:

— Вотъ у насъ зашла рѣчь о нынѣшнихъ молодыхъ людяхъ: я кстати приведу вамъ примѣръ.... У меня служитъ одинъ молодой человѣкъ хорошей фамиліи и съ большимъ состояніемъ. Способности онъ имѣетъ прекрасныя, быстрое соображеніе, смѣтливость, воспитанъ въ страхѣ Божіемъ и въ уваженіи къ старшимъ. Отецъ его былъ человѣкъ строгій, съ правилами: онъ-то и внушилъ ему все это.... Ну, словомъ, безподобный молодой человѣкъ, несмотря на то, что, по молодости, онъ увлекается....

Его превосходительство при этомъ улыбнулся съ большою пріятностью и, обратившись къ одному изъ своихъ сверстниковъ, присутствовавшихъ тутъ, произнесъ съ сладкимъ выраженіемъ въ глазахъ:

— Знаете Армансъ?... Nest ce pas, une jolie femme?... Ну, онъ живетъ съ нею....

И потомъ его превосходительство снова обернулся ко мнѣ:

— Что жъ такое? Это молодость, это очень извинительно, очень натурально. Съ лѣтами онъ сдѣлается, безъ сомнѣнія, серьёзнѣе, положительнѣе.... Эхъ! всѣ мы, батюшка, надо быть откровенну, пошаливали въ молодости, всѣ были не безгрѣшны; однакожъ, это не мѣшало намъ сдѣлаться впослѣдствіи людьми серьёзными, вѣрными и надежными слугами царя и отечества и достигнуть нѣкоторыхъ извѣстныхъ степеней.... Въ этихъ увлеченіяхъ и забавахъ молодости я, признаюсь, не вижу ничего безнравственнаго. Нельзя же винить дѣтей въ томъ, что ихъ занимаютъ игрушки. У всякаго возраста есть свои игрушки. Что дѣлать! всѣ мы такъ созданы.... И какое мнѣ дѣло, что онъ живетъ тамъ съ какой-нибудь Армансъ или съ кѣмъ бы то ни было, если онъ занимается службой, какъ слѣдуетъ, къ начальству почтителенъ, искателенъ, ведетъ себя относительно старшихъ, какъ вполнѣ благовоспитанный юноша, усерденъ къ религіи.... что нынче въ молодыхъ людяхъ рѣдкость? Онъ не пропускаетъ ни одной

обѣдни, ни одной всенощной, и посмотрѣли бы вы на него, какъ онъ усердно молится. C'est un plaisir a voir!... Къ тому же, замѣтьте, относительно этой женщины онъ ведетъ себя чрезвычайно осторожно: онъ не показывается съ нею въ публикѣ, не водитъ подъ ручку на гуляньяхъ, какъ водитъ такого рода женщинъ другіе молодые люди, ко всеобщему скандалу, не подходитъ къ ея бенуару въ театрѣ, глубоко понимая приличіе. Онъ встрѣтится съ нею, поклонится и пройдетъ мимо, какъ будто едва знакомъ съ нею. Онъ умѣетъ все это очень ловко замаскировать, скрыть.... И мнѣ при этомъ разсказывали, что онъ дѣла свои ведетъ аккуратно и прекрасно. Средства у него большія, такъ онъ, разумѣется, не стѣсняетъ себя, но самъ во все входитъ, ведетъ счетныя книги, и ея хозяйство, говорятъ, устроилъ премило.... Можно ли же такого молодаго человѣка, я васъ спрашиваю, назвать безнравственнымъ?

— Еще бы! воскликнулъ сверстникъ его превосходительства, скорчивъ утвердительную гримасу.

Его превосходительство, что называется, *расходился* и продолжалъ:

— Я какъ-то на-дняхъ спрашиваю его между прочимъ: ну, что, я говорю, Викторъ, твоя Армансъ здорова ли? Я ему говорю ты потому, что я знаю его съ дѣтства и на крестинахъ у него былъ.... Онъ такъ сконфузился, какъ красная дѣвушка, весь вспыхнулъ. Мнѣ даже стало его жаль. Я, знаете, тотчасъ ободрилъ его. Ты, я говорю, со мной можешь быть откровененъ, какъ съ роднымъ. Ты знаешь, какъ я тебя люблю, какое участіе въ тебѣ принимаю. Со мной тебѣ женироваться не для чего. Познакомь меня съ нею, братецъ, познакомь! Мнѣ бы, я говорю, было очень пріятно провести у нея вечеръ вмѣстѣ съ тобою.... говорятъ, что она очень милая женщина, qu'elle a des manières tout à fait distinguées....

Надобно было видѣть, какъ онъ обрадовался.... И я, господа, не скрываю отъ васъ, я прямо говорю вамъ, что я былъ у нея и провелъ вечеръ, даже пріятно. Очень милая женщина! Не зная, можно, право, принять ее за порядочную женщину, за женщину хорошаго общества. Прекрасно, скромно, съ достоинствомъ держитъ себя, говоритъ очень умно.

Въ наше время, правду сказать, такихъ не было. И съ какимъ вкусомъ, съ какою роскошью все это у нея устроено... прелесть! Совершенно забываешь, смотря на нее и слушая ее, что это женщина вольнаго обращенія... Посмотрѣвъ на все это вблизи, невольно извиняешь такую слабость и даже приходишь отчасти къ такому убѣжденію, что такого рода слабости не только не вредятъ, а приносятъ еще нѣкоторую пользу молодому человѣку, въ томъ смыслѣ, что отвлекаютъ его отъ разныхъ нелѣпыхъ умствованій и резонёрствъ, порождаемыхъ обыкновенно въ молодой, горячей головѣ совершенною праздностью; удаляютъ его отъ всѣхъ этихъ такъ называемыхъ глубокихъ современныхъ вопросовъ, въ которые вмѣшиваться мальчикамъ не слѣдуетъ и неприлично. Неправда-ли?...

Сверстнику его превосходительства мысль эта чрезвычайно понравилась, и онъ воскликнулъ съ увлеченіемъ:

— А что, вѣдь и въ самомъ дѣлѣ такъ! Это правда.

— Да, произнесъ глубокомысленно его превосходительство:—не тотъ безнравственень, кто ведетъ праздную, разсѣянную, даже буйную жизнь: пьетъ, волочится, имѣетъ связи съ женщинами и тому подобное,—все это очень свойственно молодости и съ лѣтами проходитъ, все это, такъ сказать, внѣшнее, отъ котораго легко освобождается человѣкъ, вступая въ зрѣлый, солидный возрастъ: истинно безнравственень тотъ, кто испорченъ, такъ сказать, духовно, зараженъ разными зловредными, растлѣвающими умъ и сердце идеями, пропитанъ разными безумными, утопическими теоріями, занесенными къ намъ изъ просвѣщеннаго Запада, и отъ этого воображаетъ, что онъ умнѣе людей почетныхъ, опытныхъ и заслуженныхъ и, не подчиняясь ихъ здравымъ сужденіямъ, туда же толкуетъ: «это противно моимъ убѣжденіямъ!» Да какія у него убѣжденія-то, у мальчишки!... А вотъ за эти убѣжденія его бы....

Пожилой и значительный господинъ не договорилъ; но губы его еще долго дрожали отъ волненія и гнѣва, а потухшіе зрачки глазъ вспыхивали гнѣвно.

Такъ вотъ оно что такое нравственность-то!

XXXVII. ОДНО ИЗЪ НЕИЗБѢЖНЫХЪ ЛИЦЪ НЕВСКАГО ПРОСПЕКТА.

Опять онъ, Невскій проспектъ, съ своими неизбѣжными лицами, изъ которыхъ многихъ я видѣлъ въ первый разъ на этомъ широкомъ тротуарѣ въ цвѣтѣ лѣтъ, красоты и силы, полными жизни и нѣкотораго блеска, подававшими различныя надежды и которыхъ я встрѣчаю теперь сгорбившимися, посѣдѣвшими, пожелтѣвшими, отупѣвшими и не подающими уже никакихъ надеждъ! Офицеры съ гремящими палашами и саблями; франты съ англійскими проборами и стеклышками въ глазу; чиновники съ портефелями; барышни съ маменьками; полулежащія въ коляскѣ Асназіи въ неизмѣримыхъ платьяхъ; молодые кутилы-купчики, какъ модныя куклы, выставляемыя въ магазинахъ портныхъ, на узенькихъ дрожкахъ, устроенныхъ для полу-человѣка, *обжигающіе* (т. е. перегоняющіе) этихъ дамъ на своихъ рысакахъ.... все это давно знакомыя явленія....

Еще Невскій не въ полномъ сборѣ; несмотря на то, встрѣчаешь уже почти всѣ неизбѣжныя его лица и между прочимъ одно изъ самыхъ неизбѣжныхъ, которое прохаживается по Невскому втеченіе 28-ми лѣтъ почти ежедневно.

Господинъ этотъ въ первый разъ появился на тротуарѣ Невскаго проспекта въ тридцатыхъ годахъ въ одномъ изъ блестящихъ гвардейскихъ кавалерійскихъ мундировъ. Его маменька, барыня въ широкомъ значеніи этого слова и помѣщица почти тысячи душъ, съ которыми она энергически расправлялась сама, проникнутая барскимъ тщеславіемъ, желала, чтобы сынъ ея служилъ непремѣнно въ полку самомъ аристократическомъ и, такимъ образомъ, завелъ бы связи съ молодыми людьми лучшихъ фамилій. Маменька, не отличавшаяся вообще особенною любовью и нѣжностью къ сыну, употребляла, однако, всѣ способы для развитія въ немъ тщеславія и не жалѣла денегъ, чтобы придать ему тотъ внѣшній блескъ, который иные въ простотѣ души принимаютъ за настоящее образованіе.... Къ великому ея удовольствію, сынъ съ раннихъ лѣтъ споспѣшествовалъ ея видамъ. Онъ отлично болталъ по-французски, смѣло ѣздилъ верхомъ и искусно ломался,

то-есть пріобрѣлъ *хорошія манеры.* Всѣ посторонніе восхищались его умомъ, — красотою его ужъ никакъ нельзя было восхищаться, — ловкостью и особенно удивительнымъ французскимъ выговоромъ. Мальчикъ, дѣйствительно, удался; въ десять лѣтъ онъ ужъ разъигрывалъ аристократа и обращался свысока съ своими сверстниками средняго состоянія или съ бѣдными мальчиками; передъ титулованными же своими товарищами подличалъ не безъ нѣкоторой тонкости. Окончивъ такое блестящее домашнее воспитаніе, онъ поступилъ въ юнкерскую школу, гдѣ уже окончательно утвердились и укрѣпились правила, внушенныя ему съ дѣтства. Попечительная маменька для того, чтобы вести своего сына барски и доставить ему возможность постоянно подерживать себя въ кругу товарищей лучшихъ фамилій, извлекала всевозможные и даже, можетъ быть, невозможные доходы изъ своего имѣнія, которое было между прочимъ давно, какъ и слѣдуетъ, заложено....

Его лошадь, когда онъ вышелъ въ офицеры, стоила нѣсколько тысячъ. Она была чуть ли не лучшею въ полку. Его экипажъ отличался изяществомъ; у него были абонированныя кресла во французскомъ театрѣ; онъ втеченіе года задолжалъ тысячи три Фельёгу. Словомъ, это былъ молодой человѣкъ вполнѣ образцовый, совершенно удовлетворявшій самолюбіе своей маменьки, которая начинала даже чувствовать къ нему нѣчто въ родѣ привязанности. Съ самаго перваго своего шага въ офицерскомъ чинѣ, онъ ни съ однимъ изъ своихъ школьныхъ или полковыхъ товарищей, носившихъ простое имя и имѣвшихъ среднее состояніе, не показывался нигдѣ въ публикѣ и постоянно старался держать себя отъ нихъ какъ можно подальше, а отъ титулованныхъ товарищей не отставалъ ни на шагъ, и называлъ ихъ не иначе, какъ Петрушами, Сашами, Гришами, Сережами и прочее. Онъ угождалъ имъ всѣми способами и снискивалъ ихъ расположеніе иногда, говорятъ, въ ущербъ собственному достоинству; но для того, чтобы имѣть счастіе показать свою короткость съ этими господами въ трактирѣ, въ театрѣ или на улицѣ, почему же иногда было не подвергнуться легкому униженію тайкомъ?... Я зналъ одного господина, получавшаго въ годъ тысячъ до двухъ дохода и употребившаго тысячъ шесть на украшеніе своей квартиры единственно для того, чтобы имѣть

честь пригласить къ себѣ на обѣдъ Сашу, Петрушу, Сережу и проч. Обѣдъ обошелся рублей по 40 съ персоны.... Амфитріонъ желалъ, чтобы обратили преимущественное вниманіе на его гостиную, отдѣланную съ величайшею роскошью, мебель въ которой была обита бѣлымъ атласомъ.... Саши, Петруши, Сережи и проч. удостоили пріѣхать на обѣдъ, кушали съ аппетитомъ, посмѣивались безъ всякой церемоніи надъ своимъ амфитріономъ, а въ заключеніе съ грязными ногами разлеглись на его бѣлые атласные диваны и прожгли нарочно атласъ на диванахъ и на креслахъ папиросами. Я зналъ еще другаго господина, который для того, чтобы имѣть честь находиться въ обществѣ этихъ господъ, позволялъ себя обливать водой и выставлять минутъ на пять на морозъ. Все это факты. И вотъ до чего можетъ довести всосанное съ молокомъ чувство холопства!

Мой неизбѣжный господинъ Невскаго проспекта не доходилъ, можетъ быть, относительно къ Петямъ, Сашамъ, Гришамъ и Сережамъ до такой крайности, но ихъ пріязнь и короткость были пріобрѣтаемы имъ все-таки не совсѣмъ дешевою цѣною. Передъ родителями Пети, Саши, Гриши и Сережи онъ обнаруживалъ глубочайшее уваженіе, безпредѣльную покорность, — и надобно было видѣть, какое выраженіе принимало лицо его и какую позу туловище, когда съ нимъ заговаривалъ вообще кто нибудь изъ значительныхъ особъ въ салонѣ, въ театрѣ или на улицѣ!... Всею цѣлью жизни этого достойнаго молодаго человѣка было усиліе держаться на вершинахъ великосвѣтскости и постоянною заботливостью — не потерять равновѣсія... Каждое новое знакомство съ значительнымъ лицомъ, съ великосвѣтскимъ или дипломатическимъ господиномъ, или даже просто съ какимъ нибудь титулованнымъ юнкеромъ, доставляло ему минуты невыразимаго самодовольствія и блаженства, и для того, чтобы обратить на себя благосклонное вниманіе этихъ господъ и снискать ихъ расположеніе, онъ приспособлялся къ лѣтамъ и къ характерамъ каждаго изъ нихъ... Съ значительными и пожилыми особами онъ обнаруживалъ почтительность и скромность; съ кутилами-товарищами буйствовалъ; съ серьёзными людьми прикидывался серьёзнымъ; передъ хвастунами хвасталъ своею пустотою и старался перещеголять ихъ... Съ

необыкновеннымъ рвеніемъ онъ топталъ собственную личность изъ желанія поддѣлаться подъ всякую новую титулованную личность, съ которою сходился, и проявлялъ свою самостоятельность (то есть былъ очень натянутъ, важенъ и скученъ) только съ людьми невеликосвѣтскими и нетитулованными.

Въ первые годы своего поступленія въ полкъ, когда еще онъ не успѣлъ вполнѣ дисциплинировать себя, онъ началъ шутя приволакиваться за одной барышней, которая жила съ своей маменькой на дачѣ, неподалеку отъ дачи, которую онъ занималъ съ однимъ изъ своихъ товарищей. Маменька съ дочкой принадлежали къ среднему петербургскому обществу, и потому ихъ нельзя было, по его мнѣнію, разсматривать серьёзно. Онъ представился къ нимъ въ домъ такъ, больше для шутки, для того, чтобы передавать своимъ товарищамъ различные смѣшные анекдоты о нихъ. Но маменька и дочка приняли это знакомство очень серьёзно и были въ восторгѣ отъ него, потому что самолюбію ихъ льстило, что въ ихъ гостиной вдругъ появился аристократическій мундиръ. У маменьки забилось сердце, при появленіи этого мундира, и она бросила торжествующій взглядъ на одного изъ своихъ старыхъ знакомыхъ въ скромномъ пѣхотномъ, хотя тоже гвардейскомъ мундирѣ, какъ будто хотѣла сказать ему этимъ взглядомъ: «видите ли, какіе полки ищутъ нашего знакомства! вѣдь это ужъ далеко не то, что вы!» а дочка вспыхнула и замерла при видѣ бѣлаго султана. Въ то время офицеры еще носили трехъугольныя шляпы съ султанами, а барышни сходили съ ума отъ бѣлыхъ султановъ. Бѣлый султанъ имѣлъ величайшее значеніе въ обществѣ, — до такой степени, что одинъ изъ повѣствователей того времени счелъ нужнымъ посвятить нѣсколько краснорѣчивыхъ страницъ описанію бѣлаго султана, въ одной изъ своихъ повѣстей *)... Барышня, о которой я завелъ рѣчь, была очень хорошенькая, имѣла прекрасныя манеры, то есть ломалась и кокетничала страшно, и, какъ всѣ барышни среднихъ кружковъ, была помѣшана на аристократіи, такъ же, какъ и ея маменька. Барышнѣ было 24 года; но ей считалось только 19. Маменькѣ было лѣтъ 40 съ небольшимъ, но она была что называется belle-femme и не безъ основанія имѣла

*) «Ятаганъ». Н. Ф. Павлова.

еще претензію нравиться; но маменькино кокетство обуздывалъ какой-то высокій господинъ лѣтъ 35, съ длинными усами, съ перетянутой таліей, съ тупоумнымъ выраженіемъ лица, который все крутилъ усы и улыбался. Господинъ этотъ находился неотлучно при маменькѣ, а дочка наединѣ все читала французскіе романы или мечтала объ офицерахъ съ бѣлыми султанами. Бѣлый султанъ началъ появляться ежедневно въ ихъ домѣ. Онъ сильно волочился за барышней, часто бесѣдовалъ съ нею вдвоемъ, привозилъ ей различные романы и вообще, какъ говорится, кружилъ ей голову. Имѣть мужа съ бѣлымъ султаномъ сдѣлалось для барышни любимою мечтою, и она истощала все искусство, внушенное ей маменькою, чтобы завлечь въ свои сѣти бѣлый султанъ. Дѣло было ведено такъ успѣшно, что онъ въ самомъ дѣлѣ начиналъ чувствовать что-то въ родѣ привязанности къ барышнѣ и нешутя уже увлекался ею. Однажды, когда они гуляли вдвоемъ въ саду во время вечернихъ сумерокъ, онъ съ жаромъ обнялъ ея прелестную талію, туго стянутую шнуровкой, коснулся губами ея розовой щеки и произнесъ въ волненіи, что онъ влюбленъ въ нее, какъ безумный; но барышня, какъ будто совсѣмъ не ожидала этого, съ испугомъ отскочила отъ него и скрылась въ аллеѣ. Онъ бросился отыскивать ее по саду, но не нашелъ нигдѣ. На другой день онъ имѣлъ съ ней объясненіе. Барышня намекнула ему, что она тоже любитъ его, но что она не зависитъ отъ самой себя, а отъ маменьки. Слово маменька привело его въ страшное раздраженіе, которое онъ, впрочемъ, скрылъ, успокоилъ барышню тѣмъ, что онъ переговоритъ съ ея маменькой современемъ, и продолжалъ свои ежедневные визиты, завлекаясь все болѣе и болѣе. Онъ дошелъ до того, что даже готовъ бы былъ, пожалуй, даже жениться; но что сказали бы въ такомъ случаѣ Петруша, Саша, Гриша и Сережа? что сказало бы сословіе его офицеровъ, свѣтъ? Что наконецъ сказала бы его маменька? что бы сталось съ его карьерой?...

Въ то самое время, когда онъ былъ волнуемъ такими мыслями и соображеніями, одинъ изъ самыхъ красивыхъ, богатыхъ и громкихъ по имени его товарищей, котораго онъ звалъ Сережей, попросилъ его, чтобы онъ представилъ его въ домъ барышни.

— Ты шутишь? улыбаясь, возразилъ онъ.

— Нисколько.

— Но что за мысль! Что тебѣ тамъ дѣлать? Ты соскучишься.

— А что жъ ты тамъ дѣлаешь?

— Да я, милый другъ, это совсѣмъ другое дѣло... я отъ нечего дѣлать волочусь за этой барышней, а ты вѣдь не станешь же волочиться за нею...

— Отчего же?... Буду, отвѣчалъ Сережа равнодушно.

— Какая идея!...

— Отчего? идея недурная!

У моего неизбѣжнаго господина защемило сердце. Къ тому же, онъ видѣлъ, что Сережа, въ послѣднее время, какъ-то очень внимательно поглядывалъ на его барышню, встрѣчаясь съ нею, а Сережа былъ для него страшный соперникъ; однако, онъ захохоталъ принужденно и сказалъ:

— Пожалуй, если ты хочешь... Я очень радъ.

— Когда же? спросилъ Сережа.

— Когда хочешь.

— Сегодня же.

Дѣлать было нечего: князь былъ представленъ имъ. Двѣ недѣли послѣ этого представленія и маменька и дочка только и твердили о князѣ. Въ нѣсколько дней князь совершенно завладѣлъ обѣими и распоряжался у нихъ, какъ у себя, устраивалъ отдаленныя кавалькады, катанья и приводилъ въ восторгъ своею особою не только маменьку и дочку, но даже усатаго, въ рюмочку затянутаго господина, который ухаживалъ за княземъ и угождалъ ему. Мой неизбѣжный господинъ отошелъ на задній планъ. Самолюбіе его было оскорблено, ревность терзала его, потому что барышня, несмотря на признаніе ему въ любви, вскорѣ послѣ появленія князя, почти перестала смотрѣть на него. Онъ начиналъ ненавидѣть князя, порывался объясняться съ барышнею, у него даже одну минуту мелькнула мысль вызвать князя на дуэль, но потомъ, благоразумно обдумавъ, онъ нашелъ, что все это надѣлаетъ только скандалъ и можетъ повредить ему во мнѣніи значительныхъ особъ; да и, къ тому же, игра не стоитъ свѣчъ! Изъ-за какой нибудь неизвѣстной барышни средняго кружка! Если бы еще изъ-за великосвѣтской барышни съ громкимъ именемъ — ну, это дру-

гое дѣло!... И, вмѣсто того, чтобы вызвать на дуэль или вооружить противъ себя князя, который и въ полку и въ свѣтѣ имѣлъ значительное вліяніе, отчего не воспользоваться удобнымъ случаемъ и не постараться, напротивъ, быть ему полезнымъ и угоднымъ касательно его волокитства? Можно ненавидѣть человѣка, но прикинуться его другомъ, для этого надобно только немножко лицемѣрія; а лицемѣрить не трудно, когда лицемѣріе одна изъ самыхъ важныхъ основъ воспитанія. Скрѣпя сердце и вооружившись благоразуміемъ, онъ, подавляя въ себѣ чувство ревности и ненависти, началъ дѣйствовать въ пользу князя и доставлялъ ему всѣ способы оставаться какъ можно чаще наединѣ съ барышнею. Для этого онъ даже началъ ухаживать за маменькою, самолюбію которой, вѣрно, было очень пріятно польщено этимъ...

Все кончилось, впрочемъ, очень скоро: черезъ три мѣсяца послѣ своего знакомства, князь вовсе пересталъ ѣздить къ барышнѣ, потому что она надоѣла ему... Барышня послѣ этого нѣсколько времени терзалась, плакала, скучала, хотѣла бѣжать къ князю, но потомъ благоразумно раздумала, покорилась своей участи и лѣтъ подъ-30 вышла замужъ за какого-то пожилаго начальника отдѣленія и завела, подобно маменькѣ, друга дома, также съ большими усами, но при этомъ еще съ бѣлымъ султаномъ.

Мой неизбѣжный господинъ одновременно съ княземъ прекратилъ свое знакомство съ барышнею и съ маменькою. Разсказывали, что усатый другъ маменьки вдругъ воспламенился ревностью и будто бы такъ припугнулъ его, что онъ даже послѣ этого избѣгалъ съ нимъ встрѣчи на улицѣ и, завидѣвъ его издалека, скрывался подъ ворота или убѣгалъ въ подъѣздъ. За достовѣрность этого я, однако, не ручаюсь, да и что до этого вамъ за дѣло? Я разсказалъ этотъ эпизодъ изъ юности неизбѣжнаго господина для того, чтобы короче познакомить съ нимъ.

Въ первую эпоху его жизни я встрѣчалъ его на Невскомъ въ колясках и каретахъ, верхомъ и пѣшкомъ, и всегда догоняющаго, или перегоняющаго, или галопирующаго вмѣстѣ, или идущаго о-бокъ съ какимъ нибудь княземъ или графомъ... Онъ въ походкѣ, въ движеніяхъ, въ манерѣ говорить, сморкаться, кашлять, курить папироску, ѣздить верхомъ, кланяться, при-

кладывать къ губамъ руку при встрѣчѣ знакомыхъ,—словомъ, во всемъ, вѣроятно и при исправленіи необходимыхъ жизненныхъ потребностей, подражалъ тѣмъ изъ своихъ великосвѣтскихъ товарищей, которыхъ онъ почиталъ представителями хорошаго тона. Всѣ убѣжденія, всѣ вѣрованія заключались для него въ поклоненіи хорошему тону.

Бо̀льшаго принужденія и отреченія отъ своей личности нельзя было требовать. Мой неизбѣжный господинъ щеголялъ хорошимъ тономъ даже передъ своимъ лакеемъ. Это былъ единственный человѣкъ (за исключеніемъ его подчиненныхъ), съ которымъ онъ говорилъ на отечественномъ языкѣ; но и въ этомъ случаѣ онъ считалъ нужнымъ коверкать русскія слова и выражаться съ трудомъ, хотя могъ объясняться по-русски очень хорошо, какъ всякій русскій.

Однако, по смерти своей маменьки, онъ долженъ былъ тотчасъ оставить свой аристократическій мундиръ, потому что маменька принесла въ жертву своему тщеславію изъ тысячи душъ восемьсотъпятьдесятъ, которыя должны были пойти на расплату ея долговъ.

Онъ распродалъ свои экипажи и лошади, однако появился на тротуарѣ Невскаго проспекта въ статскомъ щегольскомъ платьѣ, какъ будто ни въ чемъ не бывало, съ тѣмъ веселымъ и безпечнымъ видомъ, который свойственъ всѣмъ богатымъ людямъ.

Съ этой минуты наступаетъ для него вторая эпоха жизни. Съ полутораста заложенными душами и съ аристократическими наклонностями въ Петербургѣ жить невозможно, а добывать деньги трудомъ неприлично: человѣку благородному *трудиться*, фи! какъ это можно! на это есть простые люди, чернь; да если бы трудъ и не считать неприличіемъ, то къ какому же труду можетъ быть способенъ барченокъ, получившій блестящее воспитаніе и приготовленный собственно для праздности?

Чѣмъ же жить, однако?

Боже мой, какой странный вопросъ! А чѣмъ живутъ въ Петербургѣ десятки лицъ, ничего не имѣющихъ и ничего не дѣлающихъ, да еще какъ живутъ! У нихъ и квартиры отлично меблированныя и экипажи собственные или отъ Пахомова; они бросаютъ два раза въ недѣлю букеты танцовщицамъ по

25 рублей, обѣдаютъ у Донона, у Дюссо, да еще какъ обѣдаютъ, и пьютъ, да еще какія вина!...

Какъ же однако дѣлаютъ эти господа? Откуда достаютъ они деньги?

Ну, это ужъ ихъ тайна: спросите у нихъ.

Одинъ изъ такихъ, лѣтъ десять тому назадъ, говорилъ намъ, что всѣ его средства должны черезъ три года истощиться... «Ну, тогда», говоритъ, «и пойду по пріятелямъ, съ которыми кутилъ вмѣстѣ, и скажу: *повръ же сюи, доне кельк шозъ*: вы и сжалитесь». Однако, вотъ ужъ семь лѣтъ прошло послѣ самимъ имъ назначеннаго срока, а онъ все продолжаетъ процвѣтать и разъѣзжать въ экипажахъ, ѣсть въ лучшихъ ресторанахъ и ничего не дѣлать.

Ужъ самъ Богъ, видно, помогаетъ благорожденнымъ. Они ни въ огнѣ ни горятъ, ни въ водѣ не тонутъ...

Мой неизбѣжный господинъ, также лишась почти всѣхъ средствъ, продолжалъ, однако, вести жизнь вполнѣ *порядочнаго человѣка*, то есть прогуливаться въ извѣстные часы по Невскому проспекту, посѣщать клубы, театры, дорогіе рестораны и ничего не дѣлать. Петруши, Саши, Коли, Гриши и Сережи, правда, не такъ часто уже показывались съ нимъ; но, при встрѣчѣ съ ними, онъ все продолжалъ по-пріятельски пожимать имъ руки и называть ихъ Сашами, Петрушами и прочее.

Однажды мнѣ случилось обѣдать въ одномъ извѣстномъ ресторанѣ на Большой Морской. Еще при самомъ входѣ въ ресторанъ я прямо наткнулся на моего неизбѣжнаго господина. Онъ стоялъ въ первой комнатѣ, съ какимъ-то молодымъ человѣкомъ, который безпрестанно охорашивался, вертѣлся передъ зеркаломъ и поправлялъ свои височки и небольшіе мягкіе усики, которые только что пробились у него. Неизбѣжный господинъ важно кричалъ дискантомъ и требовалъ къ себѣ хозяина ресторана. Обратясь къ молодому человѣку, онъ сказалъ по-французски:

— Мы будемъ обѣдать въ той комнатѣ. Я ему закажу обѣдъ. Ты увидишь, ужъ ты будешь доволенъ,—и при этомъ онъ какъ-то весь передернулся (это была одна изъ привычекъ князя Коко, которую онъ усвоилъ себѣ) и, сложивъ пять пальцевъ, приложилъ ихъ къ губамъ, съ сладкимъ выраженіемъ въ

глазахъ. Затѣмъ онъ опять запищалъ раздражительнымъ голосомъ:

— Мишка! Мишка!...

Мишка почтительно обратился къ нему.

— Накрой намъ здѣсь... сюда... вотъ тутъ... этотъ столъ, сказалъ онъ, какъ будто не умѣя склонять по-русски.

И преважно разлегся на диванѣ, вздернувъ ноги на спинку дивана.

Когда хозяинъ ресторана явился, онъ, лежа, началъ толковать съ нимъ объ обѣдѣ, немного грессируя и пуская пыль въ глаза намъ, скромнымъ свидѣтелямъ его продѣлокъ, неслыханными гастрономическими терминами и самыми ухищренными названіями блюдъ. Хозяинъ ресторана выслушивалъ его съ великимъ уваженіемъ и вниманіемъ и только повременамъ глубокомысленно кивалъ головой, присвистывая вполголоса: «Oui, monsieur! Oui, monsieur!» Въ заключеніе мой неизбѣжный господинъ приказалъ подать какого-то только что привезеннаго лафита баснословной цѣны и поставить въ ледъ бутылку шампанскаго. Лакеи наперерывъ старались угождать ему и бросались къ нему при малѣйшемъ звукѣ его голоса и поворотѣ головы, когда она обращалась къ нимъ. Хозяинъ ресторана послѣ каждаго блюда подбѣгалъ къ нему. Мой баринъ кушалъ, отворотивъ рукава своего сюртука съ удивительною граціею, и, казалось, самымъ движеніемъ губъ и манерой жевать показывалъ свою гастрономическую ученость. Молодой человѣкъ съ мягкими усиками смотрѣлъ на него съ благоговѣніемъ и впивалъ въ себя его разсказы и замѣчанія...

— Какъ же говорятъ, что этотъ господинъ ничего не имѣетъ? спросилъ я у одного изъ постоянныхъ посѣтителей ресторана, знавшаго всѣ родословныя и подробности частной жизни извѣстныхъ петербургскихъ лицъ: — судя по его манерѣ заказывать обѣдъ, по самому обѣду и по тому уваженію, которое обнаруживаютъ передъ нимъ здѣсь, его можно принять за милліонера...

Посѣтитель ресторана иронически улыбнулся.

— Да развѣ вы думаете, что онъ платитъ за такіе обѣды?... Сегодня заплатитъ за него вотъ этотъ мальчикъ съ усиками, завтра другой какой нибудь...

— Кто же этотъ мальчикъ?

— Это единственный сынъ милліонера-золотопромышленника... Слыхали о Сыромятниковѣ? Какъ, я думаю, не слыхать! кто его не знаетъ?... Такъ онъ учитъ этого молодаго человѣка хорошему тону и посвящаетъ его въ тайны великосвѣтской жизни, а тотъ угощаетъ его обѣдами, возитъ на своихъ рысакахъ и прочее.

— Но, смотря со стороны, скорѣе можно подумать, что онъ угощаетъ мальчика обѣдомъ, замѣтилъ я.

— Въ томъ-то и штука. Это-то и есть высочайшее выраженіе хорошаго тона и великосвѣтскости. И онъ эксплуатируетъ не одного этого мальчика. У него нѣсколько такихъ господчиковъ, которые за знакомство съ нимъ готовы заплатить Богъ знаетъ какія деньги, потому что онъ считается человѣкомъ свѣтскимъ, потому что на короткой ногѣ, на *ты* со всею великосвѣтскою молодежью... Надобно, батюшка, только поставить себя въ выгодное положеніе, а потомъ умѣть извлекать изъ него пользу, тогда и безъ гроша можно въ Петербургѣ жить отлично, разсчитывая, напримѣръ, вотъ хоть на тщеславіе, глупость и невѣжество этихъ вдругъ, какъ грибы, выростающихъ въ наше время милліонеровъ, по милости золотыхъ и винныхъ промысловъ, и на ихъ глупыхъ дѣтокъ, которые всѣ помѣшаны на аристократіи и на свѣтскости. Да! человѣкъ умный! противъ этого ужъ сказать нечего.... У! какой....

Черезъ нѣсколько времени послѣ этого мой неизбѣжный господинъ вдругъ исчезъ съ Невскаго проспекта. Я уже думалъ, что онъ *оборвался* или умеръ, и забылъ о его существованіи.

Такъ прошелъ годъ.

Разъ я остановился съ пріятелемъ у Полицейскаго моста. Въ эту минуту къ намъ приближалась дама, одѣтая съ величайшею роскошью, очень пышно и оригинально и не безъ вкуса. По ея манерѣ и туалету можно было не ошибаясь заключить, что это француженка, только что прибывшая изъ Парижа. Рядомъ съ нею, ломаясь и увиваясь около нея, шелъ господинъ, одѣтый франтовски, но очень пестро, съ видомъ самодовольнымъ, подергивая головою, какъ князь Коко, и посматривая по сторонамъ, какъ бы стараясь прочитать на лицахъ прохожихъ, производитъ ли эффектъ ихъ появленіе.

Когда эта пара подошла къ намъ, въ кавалерѣ я узналъ неизбѣжнаго господина. Пышная дама, какъ оказалось впослѣдствіи, была, дѣйствительно, какая-то артистка, только что прибывшая изъ Парижа на одномъ съ нимъ пароходѣ. Онъ ѣздилъ за границу, какъ мнѣ разсказали потомъ, вмѣстѣ съ молодымъ Сыромятниковымъ. Онъ ввелъ Сыромятникова въ кругъ парижскихъ бульварныхъ актрисъ и занимался тамъ вообще его дѣлами. По мнѣнію обычнаго посѣтителя ресторана, о которомъ я упомянулъ выше, мой неизбѣжный господинъ, постоянно вертясь около дѣтей милліонеровъ и руководя ими, могъ бы легко составить себѣ порядочный капиталецъ; «но», прибавилъ онъ, «не такой человѣкъ. У него деньги не залеживаются въ портфелѣ, потому что онъ съ дѣтства привыкъ широко и хорошо жить, *барином*».

Съ послѣдней поѣздки своей, мой неизбѣжный господинъ не покидаетъ уже Невскаго проспекта. Вы его можете видѣть тамъ всякій день отъ трехъ до пяти часовъ. Время и жизнь оставили замѣтные слѣды на его лицѣ. У него подъ глазами лучи морщинъ, передніе зубы фальшивые, и въ очертаніи рта уже что-то старческое, а волосы совсѣмъ почти посѣдѣли; но, несмотря на это, онъ не утратилъ живости своихъ движеній и ведетъ себя попрежнему, точно какъ будто ему 25 лѣтъ... Да, морально онъ не постарѣлъ нисколько... Онъ такъ же, какъ и прежде, цѣлый день скитается изъ ресторановъ въ театры, изъ театровъ въ рестораны, гоняется за новыми Петрушами, Сашами, Гришами и Сережами и кутитъ вмѣстѣ съ ними, хотя они передъ нимъ кажутся младенцами, эксплуатируетъ милліонеровъ съ пушкомъ на щекахъ и обучаетъ ихъ хорошему тону. Жизнь кажется ему легка и пріятна; одно только безпокоитъ его нѣсколько, что у него чинъ ничтожный и что почти всѣ его пріятели и сверстники, прежніе Петруши, Саши и Гриши, поднялись на страшную высоту и всѣ обвѣшаны разными украшеніями. Но за то онъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что иногда прохаживается съ ними по Невскому передъ лицомъ всѣхъ и говоритъ имъ, попрежнему, *ты*, хотя тѣ, говоря съ нимъ, избѣгаютъ употреблять мѣстоименія... Шарлота Ѳедоровна, Луиза и прочія отъ него въ восторгѣ. Онѣ считаютъ его образованнѣйшимъ, умнѣйшимъ и любезнѣйшимъ изъ всѣхъ русскихъ. Несмотря на свои сѣдины и вставную

челюсть, онъ своею ловкостью и любезностью въ ихъ обществѣ рѣшительно затмѣваетъ молодыхъ людей. Онѣ еще любятъ его потому, что онъ принимаетъ въ нихъ иногда искреннее участіе и входитъ въ устройство ихъ дѣлъ. Одна очень хорошенькая танцовщица, когда рѣчь заходитъ о немъ, закатываетъ обыкновенно глазки подъ лобъ и съ глубочайшимъ чувствомъ, нараспѣвъ, восклицаетъ: «ахъ, это ангелъ!» потому что онъ ввелъ къ ней Сыромятникова.

Въ послѣдній разъ (это было на-дняхъ) я встрѣтилъ моего неизбѣжнаго господина на дебаркадерѣ желѣзной Царскосельской дороги. Онъ сопровождалъ секретаря какого-то посольства, въ ожиданіи отъѣзда, расхаживалъ съ нимъ по залѣ, важно, съ нѣкоторымъ презрѣніемъ посматривая по сторонамъ.... Въ залѣ, въ массѣ ожидавшихъ, находился его превосходительство NN. Онъ сидѣлъ на виду и могъ наслаждаться вполнѣ знаками глубочайшаго уваженія и безграничнаго подобострастія, которое изъявляли ему пожилые и молодые чиновники и разнаго рода господа, проходившіе мимо него. Одинъ чиновникъ съ просѣдью, проникнутый по виду чувствомъ достоинства и съ Анной съ короной на шеѣ, шелъ очень важно и вдругъ, поровнявшись съ его превосходительствомъ и взглянувъ въ ту сторону, гдѣ сидѣлъ онъ, вздрогнулъ, весь какъ-то съежился и изогнулся и ужъ не снялъ, а сдернулъ съ себя шляпу. Я наблюдалъ все это издалека, стараясь не быть замѣченнымъ его превосходительствомъ. Я видѣлъ между прочимъ, какъ неизбѣжный господинъ раза три прошелъ мимо него, кажется, улучая удобную минуту, чтобы имѣть честь раскланяться съ нимъ; но его превосходительство не обращалъ на него никакого вниманія. Наконецъ, въ четвертый разъ, онъ не совсѣмъ рѣшительно, съ сильнымъ подергиваніемъ, подошелъ къ нему довольно близко и снялъ шляпу, принявъ почтительную позу и скорчивъ умилительную гримасу. Его превосходительство приподнялъ свою шляпу и очень холодно кивнулъ ему головой. Неизбѣжный господинъ передернулся и отступилъ было шагъ назадъ, но потомъ вдругъ, вооружась рѣшимостью, заговорилъ съ его превосходительствомъ. Его превосходительство въ то мгновеніе, какъ онъ говорилъ, смотрѣлъ на него очень серьёзно, и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хотѣлъ сказать: «что вамъ отъ меня

нужно?» и на его разговоръ отвѣчалъ, какъ можно было замѣтить, односложными частицами. Затѣмъ неизбѣжный господинъ раскаркался съ нимъ, наклонивъ почтительно голову, и отошелъ отъ него, тотчасъ же снова принявъ свой гордый видъ...

«Ну, положимъ, вотъ этотъ чиновникъ съ Анной на шеѣ», думалъ я, «считаетъ нужнымъ изъявлять свое подобострастіе его превосходительству, потому что въ высшемъ и чиновничьемъ мірѣ онъ имѣетъ большое значеніе, но мой-то неизбѣжный господинъ, человѣкъ не служащій и не помышляющій о службѣ, изъ чего онъ-то добровольно и безкорыстно унижается?...»

Судьба свела меня въ каретѣ съ его превосходительствомъ. Онъ изволилъ сѣсть противъ меня и удостоилъ обратить ко мнѣ слѣдующую рѣчь:

— Какова у насъ погода стоитъ до сихъ поръ? а?...

— Да, удивительная-съ.

— И какая теплота!... Это приписываютъ кометѣ.

— Очень можетъ быть, ваше превосходительство....

Передъ самымъ третьимъ звонкомъ неизбѣжный господинъ, сидѣвшій съ секретаремъ посольства въ другомъ отдѣленіи кареты, увидѣвъ изъ окна князя Н., шедшаго съ билетомъ къ каретѣ, выскочилъ изъ кареты и закричалъ:

— Cher prince, cher prince!... сюда... садись съ нами... Charmé de vous voir — и увлекъ его съ собою въ карету.

Его превосходительство иронически улыбнулся, посмотрѣвъ на эту сцену, которая совершилась противъ нашихъ оконъ, и обратился ко мнѣ.

— Странный этотъ человѣкъ, сказалъ онъ о неизбѣжномъ господинѣ. — Малый, кажется, съ головой, съ образованіемъ, съ тактомъ: могъ бы сдѣлать себѣ порядочную карьеру — всѣ сверстники его генералы — и что жъ? дожилъ до сѣдыхъ волосъ и не имѣетъ никакого общественнаго положенія. Шляется вотъ такъ! Это жаль... А все оттого, что съ дѣтства не было ему внушено нравственныхъ правилъ.

XXXVIII. НА ЯВУ И ВО СНѢ.

СВЯТОЧНЫЙ ПОЛУ-ФАНТАСТИЧЕСКІЙ РАЗСКАЗЪ.

«Мой сонъ, хоть я и сплю, не сонъ, но продолженье
Мысли безконечной, неотразимой...»
(«*Манфредъ*» *Байрона*).

I.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Еще прошелъ годъ, и мы съ вами постарѣли еще однимъ годомъ, любезный читатель!

«Въ минуту перехода изъ стараго въ новый годъ (это говорю не я, а одинъ извѣстный французскій публицистъ, и слова его я здѣсь привожу кстати) люди и націи бросаютъ, обыкновенно, послѣдній, прощальный взглядъ на исчезнувшій годъ и хотятъ отдать себѣ отчетъ въ томъ, что они совершили втеченіе его. Одна нація укрѣпила свои побѣды и смирила своихъ непокорныхъ подданныхъ, другая — раздвинула свои границы и пріобрѣла особенное значеніе въ политическомъ мірѣ, третья—занималась мирными гражданскими улучшеніями и сдѣлала шагъ къ болѣе свободному развитію своихъ внутреннихъ силъ... И счастлива та изъ нихъ, которая въ просвѣщенномъ и полномъ сознаніи можетъ сказать самой себѣ: вотъ еще годъ въ моемъ существованіи, который не пропалъ даромъ и который смѣло можетъ выдержать судъ исторіи!

«Но человѣкъ, возвращающійся къ прошедшему году, не останавливаетъ взора только на этомъ ограниченномъ пространствѣ: передъ нимъ открывается невольно вся жизнь его. Онъ начинаетъ съ самаго дѣтства, припоминаетъ все свое постепенное развитіе, исполненное безчисленными испытаніями, и замѣчаетъ, какъ годы летятъ быстро, по мѣрѣ того, какъ онъ подвигается на своемъ тяжеломъ пути. День, который онъ ожидалъ нѣкогда съ такимъ нетерпѣніемъ и простодушно удивлялся, отчего онъ не приходитъ такъ долго, быстро и неожиданно является передъ нимъ теперь, возвѣщая, что онъ незамѣтно постарѣлъ еще годомъ. Современемъ и васъ, милыя дѣти, въ сію минуту такъ весело прыгающія около елки, бу-

дутъ смущать эти же самыя мысли — васъ, и не подозрѣвающихъ теперь, что можно когда нибудь постарѣть!... Что станется съ вашею простодушною, искреннею радостью, послѣ того, какъ вы тридцать или сорокъ разъ встрѣтите этотъ день? И кто знаетъ, гдѣ еще будемъ мы сами прежде окончанія этого года?

«На языкѣ человѣческомъ нѣтъ словъ, болѣе надменныхъ и неосновательныхъ, какъ самыя обыкновенныя слова, которыя мы произносимъ ежеминутно: «я пойду туда-то, я сдѣлаю то-то». И особенно въ эту переходную минуту, между прошедшимъ съ его непредвидѣнно совершившимися происшествіями и непроницаемымъ будущимъ, какъ не почувствовать вполнѣ суетности такихъ словъ?... Сколько бѣлыхъ листовъ въ мірѣ, и кто угадаетъ, что начертаетъ на нихъ геній человѣческій или человѣческая глупость? Календарь каждаго новаго года — бѣлая страница, недоступная нашей рукѣ, на которой судьба предоставляетъ право писать только самой себѣ. Мы можемъ навѣрно сказать: тогда-то зацвѣтутъ цвѣты, тогда-то созрѣютъ плоды, въ такое-то время оживится природа, улыбнется небо и зазеленѣютъ поля; но что мы можемъ сказать о томъ, что ожидаетъ самихъ насъ?...

«Все окружающее насъ исполнено призраками и обманами. Самый конецъ и начало года, эта столь торжественная для насъ минута, въ дѣйствительности не существуетъ. Раздѣленіе времени есть только наша фантазія: великая вселенная не знаетъ этого раздѣленія. Она непрерывно переходитъ отъ конца къ началу, отъ уничтоженія къ возрожденію, или, вѣрнѣе, она непрерывно развивается безъ начала и конца, равнодушная къ этимъ воображаемымъ границамъ, которыми мы обозначаемъ ходъ ея и которыя она уноситъ, какъ быстрый потокъ уноситъ соломенки. Что за дѣло природѣ, что на этомъ шарѣ, вертящемся въ безграничномъ пространствѣ, обитаютъ люди? Что ей за дѣло до того, находятся ли эти люди на извѣстной степени умственнаго развитія, или пребываютъ въ совершенной дикости? Что ей за дѣло до того, кто восторжествуетъ — люди просвѣщенные или дикари? Что бы ни совершилось, она спокойно и безстрасно будетъ продолжать свой ходъ, исполненная своей обычной гармоніи и свѣта. Отъ нея не дождешься правосудія. Правосудіе въ насъ

самихъ, и, несмотря на громадность и величіе этой вселенной, мы все-таки лучше ея.

«Будемъ же употреблять всѣ усилія, чтобы развивать въ себѣ то, что даетъ намъ преимущество передъ всѣми явленіями міровой жизни: твердость духа и чувство правосудія; не будемъ терять святой вѣры въ усовершенствованіе человѣчества и безтрепетно встрѣтимъ наступившій годъ...»

Съ которымъ я имѣю честь поздравить всѣхъ моихъ читателей, чиновныхъ и нечиновныхъ, невѣрящихъ и вѣрящихъ въ это усовершенствованіе, моихъ тайныхъ и явныхъ враговъ и друзей, желая всѣмъ имъ всевозможныхъ благъ въ наступившемъ году... Вамъ, ваши превосходительства, въ особенности, несмотря на ваше нерасположеніе ко мнѣ, Богъ знаетъ за что, я почтительнѣйше желаю повышеній, новыхъ орденовъ, значительныхъ денежныхъ наградъ, арендъ и прочаго. Но да смягчатся благородныя сердца ваши относительно меня такъ, какъ мое сердце смягчается относительно вашихъ превосходительствъ въ эти святые дни, въ которые я невольно всякій разъ переношусь въ прошедшее, впадаю въ умиленіе и дѣлаюсь незлобивъ и тихъ, какъ самое умное и благовоспитанное дитя...

II.

Воспоминанія.

Въ святочные дни съ особенною яркостью и живостью представляется мнѣ мое далекое прошедшее и воскресаетъ передо мною дѣтство со всѣми его простодушными ощущеніями.

Домашнія приготовленія къ праздникамъ, движеніе и суета въ домѣ, гаданья и святочные обряды, переносившіе меня нѣкогда въ иной, таинственный міръ, ожиданіе обновокъ, подарковъ,—о, какія блаженныя ощущенія!... А незабвенныя ночи на Рождество и на Новый годъ!... эти ночи, когда я, переполненный ощущеніями, не смыкалъ глазъ и поднимался съ разсвѣтомъ!... Праздникъ! праздникъ! Наконецъ-то наступилъ этотъ давно желанный праздникъ! И, несмотря на то, что небо подернуто сѣрою мглою и снѣжокъ порошитъ въ воздухѣ, какъ и въ будни, мнѣ кажется, что

все вокругъ меня какъ-то свѣтлѣе, веселѣе и пестрѣе обыкновеннаго. Пестрота, дѣйствительно, страшная, потому что всѣ проживалки, вся дворня въ своихъ обновахъ, отличающихся, по обыкновенію, самымъ дикимъ соединеніемъ цвѣтовъ; на всѣхъ лицахъ какой-то праздничный лоскъ, и, какъ звуки музыки, раздается въ ушахъ моихъ непрерывное шуршанье ситцевыхъ, еще не обмявшихся платьевъ, торчащихъ, какъ бумага, и скрипъ новыхъ козловыхъ башмаковъ.

На меня надѣваютъ новую курточку, обшитую шнурками, о которой я только подозрѣвалъ накапунѣ. Это первый сюрпризъ; затѣмъ начинается цѣлый рядъ сюрпризовъ: подарки бабушки, дѣдушки, маменьки, пріѣздъ родственниковъ, дяденекъ, тетенекъ и гостей и проч. съ новыми сюрпризами. И все это такъ живо передо мною, какъ будто совершалось вчера!... О! что можетъ быть восхитительнѣе жизни избалованнаго барченка на святкахъ!

Между нашими гостями мнѣ особенно памятны нѣсколько молодыхъ людей военныхъ и статскихъ, очень часто бывавшихъ у насъ и нѣсколько лѣтъ сряду, въ торжественные дни Рождества и Новаго года, являвшихся къ намъ не иначе какъ съ грудою игрушекъ и конфектъ для меня. Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидалъ я этихъ милыхъ молодыхъ людей, съ какою радостью бросался къ нимъ навстрѣчу! Какъ я любилъ ихъ! Мнѣ казалось, что и они очень любили меня, потому что всегда, и особенно въ присутствіи дѣдушки, смотрѣли на меня съ нѣжностью, трепали меня по щекѣ, привѣтливо гладили мои волосы, а одинъ изъ нихъ, служившій подъ начальствомъ дѣдушки, становился даже на четвереньки и возилъ меня по комнатѣ на спинѣ своей.

Впослѣдствіи эти милые молодые люди стали появляться къ намъ рѣже и рѣже, на меня почти уже не обращали никакого вниманія и въ праздникъ не привозили мнѣ ничего. Я никакъ не могъ объяснить себѣ ихъ перемѣны въ обращеніи со мною; но однажды маменька сказала въ моемъ присутствіи проживалкѣ, имѣвшей обязанность гадать для нея въ карты:

— Хороши эти господа, нечего сказать! покуда папенька былъ имъ нуженъ, они вертѣлись у насъ съ утра до ночи, привозили ему (маменька указывала на меня) цѣлыя игрушеч-

ныя лавки, разсыпались въ любезностяхъ, а теперь только поддерживаютъ съ нами знакомство изъ одного приличія...

Но, до охлажденія ихъ къ намъ, нѣкоторые изъ этихъ молодыхъ людей считались нашими домашними, какъ образцы во всѣхъ отношеніяхъ.

— Я бы желала, не разъ говорила мнѣ маменька, указывая на нихъ: — чтобы ты, современемъ, когда выростешь, имѣлъ бы такія прекрасныя, свѣтскія манеры и такъ же бы ловко танцовалъ, какъ Григорій Петровичъ, былъ бы такъ же любезенъ съ дамами, такъ же бы уважалъ старшихъ и былъ бы такъ же искателенъ и предупредителенъ ко всѣмъ, какъ Василій Степанычъ, и такъ молодцовать и смѣлъ, какъ Александръ Иванычъ, — словомъ, чтобы тобой восхищались всѣ, какъ теперь всѣ восхищаются ими.

Добрая маменька! она желала бы, чтобы я совокупилъ въ себѣ всѣ ея идеалы!... Невозможное, но такъ понятное желаніе въ матери, нѣжно любившей сына!...

Когда одинъ изъ этихъ идеаловъ, именно Григорій Петровичъ, однажды въ Новый годъ явился къ намъ въ первый разъ, весь облитый золотомъ, въ шелковыхъ чулкахъ и въ башмакахъ съ блестящими пряжками, въ домѣ у насъ произошло совершенное волненіе: вся дворня сбѣжалась смотрѣть на него во всѣ щели дверей и потомъ провожала толпою до подъѣзда; а я, нисколько не боявшійся его до этого, такъ оробѣлъ, ослѣпленный его костюмомъ, что даже не смѣлъ подойти къ нему. Онъ показался мнѣ недоступнымъ, высшимъ существомъ, вырвавшимся изъ волшебной сказки.

— Вотъ тебѣ конфекты, сказалъ онъ мнѣ, подавая свертокъ и привѣтливо улыбаясь: — ты, кажется, меня не узналъ? Ну, что, нравится тебѣ мой мундиръ? а?

У меня и языкъ замеръ. Я взялъ машинально свертокъ и былъ радъ не конфектамъ, о нихъ я и не думалъ въ ту минуту — но тому, что это высшее, вызолоченное существо удостоило обратить на меня вниманіе...

Я все время ходилъ за нимъ, не спуская съ него глазъ и проводилъ его въ переднюю, гдѣ онъ, къ удивленію моему, весь сначала покрылся какою-то большою салфеткою и потомъ уже надѣлъ свою шубу...

— Вотъ вы, наше сокровище, современемъ будете ще-

голять въ такомъ же золотомъ кафтанѣ, на утѣшеніе своей маменьки! съ чувствомъ замѣтила мнѣ одна изъ проживалокъ, по отходѣ вызолоченнаго господина.

— Да, сказала маменька: — я молю Бога объ этомъ; но для этого надобно умѣть вести себя, быть внимательну къ старшимъ и искательну. Впрочемъ, я во всякомъ случаѣ лучше желала бы, чтобъ онъ былъ военнымъ.

Вызолоченный господинъ долго не выходилъ у меня изъ головы и даже преслѣдовалъ меня во снѣ.

— Вишь, какъ повезло ему! сказалъ при мнѣ однажды молодой человѣкъ, возившій меня на четвереньках, другому своему пріятелю: — и не мудрено: ловокъ, плутъ! нечего сказать, умѣетъ, къ кому нужно, поддѣлаться, такъ въ душу въѣдетъ, что и не замѣтишь. Намъ до него далеко... куда! мы люди скромные, за блескомъ не гоняемся! Далъ бы Богъ только получить хорошенькое и тепленькое мѣстечко, чтобы быть и себѣ и другимъ полезнымъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, на старости имѣть кусокъ хлѣба, обезпеченіе для себя и для семейства.

Всѣ эти и тому подобныя рѣчи, раздававшіяся кругомъ меня, прелесть и глубокій смыслъ которыхъ я понялъ уже гораздо впослѣдствіи, живо сохранились въ моей памяти.

Молодой человѣкъ, возившій меня на четвереньках и мѣтившій въ генералы, несмотря на его ласки ко мнѣ, не совсѣмъ правился мнѣ, и я смотрѣлъ на него, какъ на существо низшее сравнительно съ другими молодыми людьми, посѣщавшими нашъ домъ. Онъ говорилъ на *о*, былъ сложенъ грубо и неуклюже, не умѣлъ танцовать и говорилъ по-французски съ усиліемъ и притомъ съ латинскимъ произношеніемъ. Маменька, барыни и барышни хотя любили его за услужливость и угодливость, но постоянно подсмѣивались надъ его манерами и французскимъ выговоромъ.

На меня, такъ же, какъ и на маменьку и на всѣхъ у насъ въ домѣ, производили особенно пріятное впечатлѣніе: Григорій Петровичъ, въ золотомъ кафтанѣ, говорившій все о князьяхъ и графахъ и значительныхъ особахъ; кавалерійскій офицеръ Александръ Иванычъ, съ смѣлыми и нѣсколько грубоватыми манерами, съ большими усами, затянутый въ рюмку, лихо танцовавшій мазурку и ловко постукивавшій шпорами и саблей, и господинъ съ тонкими и

нѣжными чертами лица, съ хохолкомъ, поднятымъ посредствомъ фиксатуара, и съ завитыми пукольками на вискахъ, котораго звали Васильемъ Степанычемъ. Василій Степанычъ отличался сладостью обращенія со всѣми, частымъ употребленіемъ уменьшительныхъ словъ въ разговорѣ, почтительностью къ старшимъ и чрезвычайною угодливостью къ дамамъ и барышнямъ; передъ послѣдними онъ совсѣмъ расплывался и таялъ, писалъ имъ чувствительные стишки въ альбомы и даже иногда пособлялъ вышивать по канвѣ, потому что, между прочимъ, былъ искусенъ и во многихъ женскихъ рукодѣльяхъ. Всѣ вообще мужчины и женщины, молодые и старые, сколько я помню, съ увлеченіемъ отзывались о его прекрасномъ сердцѣ, необыкновенной кротости нрава, добротѣ и многостороннихъ талантахъ. Даже няня, моя добрая няня, была отъ него въ восторгѣ. «Точно красная дѣвушка!» говорила она, любуясь имъ и покачивая съ умиленіемъ головою.

Молодому человѣку, возившему меня на четвереньках и не о многихъ отзывавшемуся съ похвалою, онъ нравился преимущественно своими патріотическими чувствами, потому что когда онъ заводилъ рѣчь или при немъ заходила рѣчь о какихъ либо доблестныхъ русскихъ людяхъ, какъ, напримѣръ, о графѣ Орловѣ-Чесменскомъ, о князѣ Потемкинѣ-Таврическомъ, объ Иванѣ Ивановичѣ Шуваловѣ, о Гавріилѣ Романовичѣ Державинѣ, — на глазахъ его обыкновенно показывались слезы, а на лицѣ — благоговѣйный восторгъ.

Я никогда не забуду, какъ онъ однажды читалъ у насъ свое похвальное слово *Болярину Матвѣеву*, которое было увѣнчано Россійскою Академіею, и того энтузіазма, который произвело на всѣхъ слушателей это чтеніе... По окончаніи этого незабвеннаго чтенія, одни утирали слезы, другіе рукоплескали, третьи восклицали: «какой высокій слогъ! Боже мой, какое краснорѣчіе!», четвертые прибавляли: «и какая удивительная метода чтенія! это просто музыка!», пятые твердили, значительно потрясая головами: «какой блистательный ораторскій талантъ!»

Василій Степанычъ черезъ нѣсколько времени послѣ этого написалъ трактатъ о цѣли и значеніи литературы, который былъ также читанъ имъ у насъ. Чтеніе это, однако, не произвело надлежащаго восторга, потому что предметъ былъ уже

слишкомъ серьёзенъ и глубокъ для общества, бо́льшею частью состоявшаго изъ дамъ и малолѣтнихъ... Въ этомъ превосходномъ трактатѣ, который я могъ оцѣнить только впослѣдствіи, образцовымъ слогомъ съ которымъ могъ сравниться развѣ слогъ Услада Жуковскаго, доказывалось, что литература есть смѣшеніе полезнаго съ пріятнымъ, свѣтлыхъ вымысловъ воображенія съ нравственными поученіями; что она должна услаждать поучая и выбирать изъ жизни только такіе предметы и картины, которыя бы могли смягчать и услаждать душу, совсѣмъ не касаться предметовъ низкихъ и вообще облагороживать и украшать жизнь, представляя ее, такъ сказать, сквозь розовую призму; что собственно поэзія имѣетъ уже высшее значеніе сравнительно съ прозой: описывать различныя торжества, воспѣвать побѣды, прославлять отечественныхъ героевъ и вообще людей сановныхъ и сидящихъ на высшихъ ступеняхъ гражданской *лѣстницы*, хотя, конечно, и проза иногда можетъ подниматься до высшихъ сферъ въ похвальныхъ словахъ этимъ лицамъ; но что въ такихъ случаяхъ она уже должна употреблять не простой, а высокій слогъ; что литераторы и поэты должны быть проникнуты глубоко-патріотическими чувствами и самою чистѣйшею нравственностью, безъ чего литература и не можетъ быть терпима, какъ опасная и вредная для общества. Патріотизмъ же и нравственность заключаются въ безусловномъ прославленіи всего отечественнаго, во внушеніи уваженія къ значительнымъ особамъ и въ прославленіи ихъ не только въ стихахъ, но и въ прозѣ.

Успѣхъ этого сочиненія, когда оно появилось въ печати, былъ, кажется, колоссальный. Я, по крайней мѣрѣ, помню, у насъ въ домѣ нѣсколько недѣль сряду только и говорили о томъ, какъ такой-то значительный человѣкъ пожалъ руку автора; какъ другой сказалъ ему, потрепавъ его одобрительно по плечу: «прекрасно, молодой человѣкъ, продолжайте; ваши патріотическія и нравственныя чувства дѣлаютъ честь и вамъ, и вашимъ родителямъ, воспитавшимъ васъ въ такихъ правилахъ!»; какъ третій, извѣстный ненавистникъ всего печатнаго, за исключеніемъ приказовъ и циркуляровъ, встрѣтивъ Василья Степаныча въ какомъ-то домѣ, простеръ свое благосклонное вниманіе къ нему до того, что изъявилъ желаніе съ нимъ познакомиться и произнесъ: «Если вамъ, сударь, когда-

нибудь вздумается оставить занимаемое вами мѣсто, то обратитесь ко мнѣ. Я поставлю себѣ за особенное удовольствіе имѣть такого подчиненнаго, какъ вы...»

Василій Степанычъ самъ передавалъ въ подробности бабушкѣ, дѣдушкѣ, маменькѣ и потомъ повторялъ моимъ дядямъ, кузинамъ, тёткамъ и даже нашимъ проживалкамъ, лестные отзывы, похвалы и поощренія, которыя сыпались на него свысока. Мнѣ особенно памятенъ одинъ вечеръ. Всѣ мы сидѣли за круглымъ чайнымъ столомъ... Онъ вбѣгаетъ въ волненіи и разсказываетъ, со слезами на глазахъ, дрожащимъ голосомъ, что одинъ просвѣщенный вельможа потребовалъ его къ себѣ, что онъ съ нѣкоторымъ трепетомъ и боязнію вошелъ въ его кабинетъ; но тотъ встрѣтилъ его прямо съ распростертыми объятіями, крѣпко прижалъ его къ сіяющей груди своей и проговорилъ: «спасибо тебѣ, братецъ!», и что онъ до сихъ поръ не можетъ еще прійти въ себя отъ такихъ милостей и не помнитъ, какъ отъ него вышелъ... Разсказъ этотъ на всѣхъ произвелъ необыкновенное дѣйствіе: всѣ мужчины обнимали, цѣловали и поздравляли его, а дамы съ чувствомъ пожимали ему руку; многіе плакали, и я даже, глядя на нихъ, прослезился.

Съ этихъ поръ Василій Степанычъ какъ-то невольно возвысился въ глазахъ всѣхъ и даже въ моихъ дѣтскихъ глазахъ. Передъ нимъ померкли и кавалерійскій офицеръ съ лихими манерами и длинными усами и даже вызолоченный статскій... Василія Степаныча прижимала къ груди своей такая особа!

— Мы что, братецъ, говорилъ ему Александръ Иванычъ: — люди простые, неученые... Все наше краснорѣчіе заключается въ этомъ, и, поправивъ усъ, онъ ударилъ по своей саблѣ — или въ этомъ — и, сдѣлавъ chassé en avant, онъ прищелкнулъ шпорами — ну, а ты — это совсѣмъ другое дѣло... Я, признаюсь тебѣ, штафирокъ не терплю; но ты — это исключеніе...

— Каждому, душа моя, свое, съ скромною нѣжностью отвѣчалъ Василій Степанычъ: — вы проливаете кровь за отечество, а мы воспѣваемъ ваши подвиги на лирахъ и передаемъ имена ваши потомству. Вы — герои, а мы — трубадуры!

Видя всеобщее уваженіе и внимательность къ Василію Степанычу, котораго прижимали къ груди вельможи, я усиливался во всемъ подражать ему и скоро превратился въ ма-

ленькую каррикатуру на него, такъ что ужъ надо мной начали подсмѣиваться.

Я даже принялся сочинять похвальное слово моей старухѣ-нянѣ. Съ этой-то минуты пагубная страсть моя въ литературѣ начала развиваться все болѣе и болѣе.

Когда Василій Степанычъ пріѣзжалъ къ намъ, я не отходилъ отъ него и не пропускалъ ни одного его слова и движенія. Я слушалъ, какъ онъ со старшими разсуждалъ о нравственности, о стихотворствѣ, о производствѣ въ чины, о наградахъ и милостяхъ; съ своими сверстниками — о барышняхъ и дамахъ... Тѣхъ, которыя болѣе ему нравились, онъ называлъ *цыпочками*... «Милая цыпочка!» И эти слова произносилъ онъ обыкновенно нѣжнымъ, пѣвучимъ, тонкимъ, какъ флейта, голоскомъ, и лицо его принимало такое выраженіе, что, при взглядѣ на него въ эту минуту, каждый долженъ былъ чувствовать сладость во рту. Я слѣдилъ за нимъ съ восхищеніемъ, когда онъ танцовалъ съ дамами матрадуру и, съ посоловѣвшими отъ счастія глазками, но въ почтительной и скромной позѣ, нашептывалъ имъ что-то. Одна моя родственница, очень хорошенькая, бойкая барышня, прозвала его *сахарнымъ*... «Ma tante! сахарный пріѣхалъ», говорила она обыкновенно, вбѣгая въ комнату маменьки... Это прозваніе такъ и осталось за нимъ; даже люди называли его сахарнымъ. Всѣ, сколько мнѣ помнится, понимали это прозваніе въ похвальномъ смыслѣ и разумѣли подъ этимъ человѣка симпатическаго, пріятнаго, кромѣ моей хорошенькой и бойкой родственницы, которая пустила его въ ходъ по слѣдующему случаю...

Надобно замѣтить, что Василій Степанычъ не спускалъ съ нея глазъ, постоянно преслѣдовалъ ее, ухаживалъ за нею болѣе, чѣмъ съ другими (а онъ ухаживалъ за всѣми барышнями), совсѣмъ млѣлъ передъ нею и привозилъ ей одной отличныя конфекты отъ единственнаго тогда петербургскаго кондитера Молинари. Однажды онъ обѣдалъ у насъ въ день ея имянинъ и сидѣлъ за столомъ противъ нея. Когда розлили въ бокалы шампанское, онъ всталъ со стула и устремилъ на нее свой нѣжный взглядъ. Всѣ смолкли и съ любопытствомъ обратились къ нему.

Онъ произнесъ нѣжнымъ, чувствительнымъ голосомъ:

— Позвольте имѣть честь поздравить васъ съ днемъ ангела, пожелать вамъ всего лучшаго... Но чего желать вамъ? Вы надѣлены и безъ того всѣми высшими дарами природы...

Вы восхитительны, вы милы,—
И вамъ все это невдомекъ:
Глядя на васъ теряетъ силы
И таетъ бѣдный человѣкъ!
Блестятъ, какъ звѣзды, ваши глазки,
Свѣжѣе розана — уста,
Вы фея изъ волшебной сказки.
Вы неземная красота!
Въ себѣ вы съединили разомъ:
Нравъ кроткій, сердца чистоту,
Покорность старшимъ, доброту
И свѣтлый, просвѣщенный разумъ.
Не мой то отзывъ—общій гласъ...
Еще два слова въ заключенье:
Родной семьи вы утѣшенье
И въ ней блестите, какъ алмазъ!...

Стихи эти произвели, какъ и слѣдовало ожидать, всеобщій восторгъ; у нѣкоторыхъ дамъ показались слезы умиленія на глазахъ, а Александръ Иванычъ попросилъ даже послѣ обѣда поэта продиктовать ихъ ему: такое сильное впечатлѣніе они произвели на него; только моя бойкая родственница вся вспыхнула закусила, губку и черезъ минуту шепнула другой барышнѣ, сидѣвшей возлѣ нея, съ досадою: «фи! какой сахарный!...»

Я былъ внѣ себя отъ этихъ стиховъ, я бредилъ ими и въ тотъ же вечеръ принялся, въ подражаніе имъ, сочинять стишки къ одной высокой, толстой, тридцатилѣтней барышнѣ, которая все сажала меня къ себѣ на колѣни и цѣловала и въ которую я былъ страстно влюбленъ.

Я помню, между прочимъ, что, когда заходила рѣчь о Васильѣ Степанычѣ (а о немъ, объ его талантахъ и его успѣхахъ по службѣ у насъ толковали безпрестанно) — въ особенное достоинство ставили ему еще то, что онъ не былъ ни *масонъ* ни *вольтерьянецъ*. Я не понималъ значенія этихъ словъ, хотя слышалъ ихъ безпрестанно. Маменька и другіе, говоря про нѣкоторыхъ изъ нашихъ знакомыхъ, всегда съ какимъ-то таинственнымъ выраженіемъ прибавляли: «вѣдь онъ масонъ!» или съ ужасомъ: «онъ вольтерьянецъ!», и я на этихъ масоновъ и вольтерьянцовъ смотрѣлъ не безъ невольнаго страха, когда они появлялись въ нашемъ домѣ.

Многіе, я помню — и въ томъ числѣ моя маменька — почти навѣрное полагали, что милый поэтъ сдѣлаетъ предложеніе нашей хорошенькой и бойкой родственницѣ, потому что его особенное расположеніе къ ней ни для кого не было тайной. Многія барышни заранѣе завидовали ей, а маменька говорила: «да, счастлива та, которая будетъ его женой, потому что въ этомъ человѣкѣ соединены всѣ добродѣтели...» Моя бойкая родственница всегда хмурилась при такихъ замѣчаніяхъ, а одна изъ нашихъ проживалокъ, съигравшая однажды въ день имянинъ дѣдушки роль Раисы Савишны, въ комедіи князя Шаховскаго: «Своя семья или замужняя невѣста», бросала злобные взгляды на мою бойкую родственницу, потому что Раиса была безнадежно влюблена въ Василья Степаныча, который исполнялъ роль Любимова въ этой комедіи.

— Къ нему такъ идетъ имя Любимъ, говорила обыкновенно Раиса, закатывая подъ лобъ свои мутные зрачки неопредѣленнаго цвѣта: — потому что онъ *любимъ* всѣми...

Но ожиданія нашихъ домашнихъ и маменьки не сбылись. Моя бойкая родственница, къ великому прискорбію Василья Степаныча, была небогата и притомъ была дочь умершаго поручика, — не болѣе.

Поэтъ впослѣдствіи вступилъ въ бракъ съ рябой и разноглазой, но богатой дѣвицей, дочерью генерала, къ которой онъ, будучи женихомъ, адресовалъ посланіе, начинавшееся такъ:

Спѣшу свою настроить лиру,
Счастливый смертный, чтобъ тебя
Воспѣть — тебя, мою Плѣниру —
И выразить, какъ счастливъ я!...
(и проч., смотри журналы 20-хъ годовъ).

И давно ли, кажется, все это было? только какихъ нибудь 30 лѣтъ тому назадъ!

Уже всѣ эти образцовые молодые люди: и Григорій Петровичъ, и Александръ Иванычъ, и Василій Степанычъ, достигли болѣе или менѣе извѣстныхъ степеней, блестящихъ украшеній, почетныхъ мѣстъ и званій, пріобрѣли трехъ и пятиэтажные дома въ Петербургѣ и другія движимыя и недвижимыя собственности, состоящія въ пахатной землѣ,

лѣсахъ, ломбардныхъ билетахъ, акціяхъ различныхъ компаній, и проч. и проч., и превратились въ маленькихъ баснословныхъ божковъ, получивъ, такъ сказать, достойную мзду за свое добронравіе, благоразуміе, благонамѣренность, благоприличіе и благоуклончивость... Созерцая ихъ величіе, я думаю, печально вздыхая:

Взрощенный въ правилахъ строгой нравственности, съ молокомъ, такъ сказать, всосавшій въ себя скромность, послушаніе, подчиненіе и другія высокія добродѣтели; имѣя съ дѣтства передъ глазами столь поучительные примѣры въ лицѣ ихъ, я бы, казалось, долженъ былъ, подобно имъ, съ достоинствомъ идти по той жизненной колеѣ, по которой шли они, мои достойные предшественники! Я долженъ былъ бы смотрѣть на жизнь и на все меня окружавшее въ то розовое стекло, въ которое они постоянно смотрѣли, и слабыя литературныя способности, данныя мнѣ Богомъ, употреблять съ пользою для отечества, то есть, пописывать нѣжные стишки къ барышнямъ, прославлять прозой отечественныхъ вельможъ и героевъ и, посредствомъ такихъ невинныхъ и совершенно благонамѣренныхъ литературныхъ упражненій, снискать себѣ, подобно имъ, покровительство людей сильныхъ, милостивцевъ и съ лестною ихъ помощію постепенно подниматься по службѣ, вступить въ выгодный законный бракъ, и, наконецъ, достигнувъ, подобно имъ, значительныхъ степеней, знаковъ отличій, и округливъ свое состояньице на служеніи отечеству, начать покровительствовать, въ свою очередь, молодыхъ, благонамѣренныхъ людей, которые бы изъявляли должный страхъ и благоговѣніе къ моей особѣ. Я долженъ былъ бы называть патріотами только тѣхъ, которые кувыркались бы передо мною, обнаруживая этимъ безконечное и благоговѣйное удивленіе къ моей особѣ, ибо моя особа и отечество были бы для меня понятіями нераздѣльными, и посягательство на меня я считалъ бы посягательствомъ на славу отечества. Такимъ образомъ, жизнь моя должна бы была протечь, какъ по атласу, съ нѣкоторыми маленькими волненіями при наступленіи Новаго года или большихъ праздниковъ, когда раздаютъ награды...

Такъ называемый *духъ времени*, толкающій людей впередъ, заставляющій постепенно все двигаться, все совершенство-

ваться, дающій смыслъ и значеніе жизни, несмотря на то, что его признаютъ всѣ просвѣщенныя правительства,—я, какъ закоснѣлый патріотъ, начертавшій на знамени своемъ: «какое мнѣ дѣло до другихъ, когда мнѣ хорошо?», и признавать не хотѣлъ бы. Этотъ духъ времени я называлъ бы зловредною выдумкою людей безпокойныхъ, зараженныхъ тлетворными западными идеями, и, если бъ имѣлъ власть, сослалъ бы этотъ духъ съ его распространителями туда, куда и воронъ костей не заносилъ; правда, дозволилъ бы говорить только значительнымъ особамъ, а не всякому безбородому и безчинному мальчику... Безбородыми мальчиками я считалъ бы всѣхъ 40 и 50-лѣтнихъ людей, не достигшихъ извѣстныхъ степеней и потому не могущихъ имѣть значенія... и проч. Вотъ каковъ бы я былъ, если бы я слѣдовалъ поучительному примѣру своихъ предшественниковъ!

И—увы! — чѣмъ же сдѣлался я, увлеченный этимъ проклятымъ духомъ времени? До чего дошелъ я? Грустно подумать!

Я осмѣливаюсь думать, что отечество заключается не въ однихъ значительныхъ особахъ, а въ совокупности всѣхъ сословій, и что благоденствіе его зависитъ не только отъ благоденствія высшихъ, но и низшихъ классовъ. Я осмѣливаюсь думать, что тѣ, которые рѣшаются обнаруживать всякія уклоненія отъ долга чести и совѣсти, всякія злоупотребленія, всякіе низкіе поступки административныхъ лицъ или предаютъ позору и смѣху всякія отсталыя, дикія понятія и предразсудки, хотя бы они принадлежали и значительнымъ особамъ, дѣлаютъ не худое дѣло... Я осмѣливаюсь думать, что истинный, разумный патріотизмъ заключается не въ томъ, чтобы смотрѣть на все свое отечественное непремѣнно въ розовое стекло, умиляться безусловно всѣмъ своимъ и тщательно скрывать всѣ свои недостатки, пороки и болѣзни. Это не патріотизмъ, а лицемѣріе... Счастливъ тотъ, кто не боится правды, и горе тому, кто, окуренный лицемѣріемъ, гимнами и реторическими возгласами, не выдерживаетъ никакого правдиваго слова и произносящаго это слово считаетъ врагомъ своимъ, человѣкомъ безпокойнымъ и вреднымъ!...

Я постепенно одушевлялся и незамѣтно началъ уже громко высказывать всѣ эти мысли, не отличающіяся, какъ вы видите,

ни особенною новизною, ни особенною глубиною, ни особенною смѣлостью, но которыя еще до сихъ поръ почитаются нѣкоторыми особами, не признающими духа времени, чуть не уголовнымъ преступленіемъ...

III.

ГРЕЗЫ.

Вдругъ передо мною начало разстилаться пустое пространство, покрытое густымъ туманомъ, и въ этомъ туманѣ засверкало множество какихъ-то разноцвѣтныхъ старческихъ глазъ. Всѣ эти глаза злобно устремились на меня. Я чувствовалъ, что если бъ лучи этихъ глазъ были посильнѣе, они, какъ ядовитыя стрѣлы, пронзили бы меня насквозь: но нѣкоторые изъ нихъ вовсе не доходили до меня, а другіе только щекотали, не причиняя мнѣ никакого вреда и только производя непріятное впечатлѣніе. Мнѣ стало тяжело дышать, моимъ легкимъ недоставало воздуху... Я хотѣлъ отвернуться отъ этихъ глазъ; но, въ какую сторону ни оборачивался я, эти глаза преслѣдовали меня повсюду: они принимали то угрожающее, то насмѣшливое, то презрительное выраженіе... Между тѣмъ, туманъ въ однихъ мѣстахъ рѣдѣлъ, а въ другихъ, именно въ мѣстахъ, гдѣ сверкали глаза, начиналъ сгущаться и образовывать сначала какія-то неопредѣленныя формы, которыя, однако, постепенно принимали формы человѣческія: вдругъ какъ будто рука протягивалась ко мнѣ, чтобъ схватить меня и повалить, а вслѣдъ затѣмъ образовывались ноги, приходившія въ сильное движеніе и какъ бы намѣревавшіяся растоптать меня; но ни руки, ни ноги эти не имѣли достаточно силы, чтобы привести въ исполненіе свое намѣреніе... Скоро я могъ уже ясно различать человѣческія фигуры и лица съ тѣми самыми злобными глазами, которые устремлялись на меня. Фигуры эти казались въ первыя минуты совсѣмъ безцвѣтными, но потомъ постепенно принимали такія пестрыя краски, какія можно только видѣть на китайскихъ картинахъ... Туманъ почти совсѣмъ исчезъ и все освѣтилось передо мною какимъ-то страннымъ огнемъ, очень яркимъ, но пріятнымъ для глазъ, и я ясно увидѣлъ большую китайскую храмину, расписанную пестрыми арабесками, украшенную удивительно мелкою рѣзь-

бою и уставленную фарфоровыми *маго* разныхъ величинъ. По срединѣ этой храмины стояли, на особыхъ коврахъ, господа, которымъ принадлежали эти ужасные глаза, въ мандаринскихъ великолѣпныхъ костюмахъ, съ различными шариками на своихъ пестрыхъ шапкахъ. Дыханію моему, впрочемъ, не сдѣлалось легче, потому что вмѣсто тумана въ храминѣ заходили волны отъ какого-то до крайности приторнаго и зловреднаго курева, extrait triple изъ благоуханной лести и лицемѣрія, которыми окуривали мандариновъ со всѣхъ сторонъ. «Что это за чудеса!» подумалъ я.

Я не успѣлъ очнуться, какъ вдругъ, расшаркиваясь и униженно изгибаясь передъ мандаринами, появился какой-то китайскій франтъ среднихъ лѣтъ, съ беззастѣнчивыми манерами, и, граціозно ставъ передъ ними на оба колѣна, произнесъ, завывая, съ неслыханнымъ жаромъ, то ударяя себя въ грудь, то размахивая руками:

О, Китай отчизна славная!
Вѣрный сынъ родной страны,
Чту тебя я, благонравная,
По преданьямъ старины.

Но не степи необъятныя
И не рѣкъ твоихъ краса,
И не пашни благодатныя,
Не озера, не лѣса

Пробуждаютъ умиленіе
Въ этомъ сердцѣ молодомъ:
Нѣтъ! другія впечатлѣнія
Я ищу въ краю родномъ.

Въ немъ одна благонамѣренность
(Да продлятся ваши дни!),
Аккуратность и умѣренность
Процвѣтаютъ искони!

(При этихъ словахъ китайскій поэтъ съ умиленіемъ и слезами взглядываетъ на мандариновъ и продолжаетъ:)

Зрю опору я китайщины
. . . . . .
Въ васъ, которымъ такъ отъ барщины
Отказаться не легко!

Величаво вы возноситесь
Въ мысляхъ, въ дѣйствіяхъ своихъ,
И невольно каждый проситесь
Въ мой почтительнѣйшій стихъ.

Въ васъ — отчизны прославленіе,
Страхъ и смерть ея врагамъ!...
И твержу я въ умиленіи:
Слава, слава, слава вамъ!

Благосклоннѣйшими минами
Ободрите голосъ мой...
О! съ такими мандаринами
Будетъ славенъ край родной!

О, Китай. . . . . .
. . . . . и прочее.

— Прекрасно! превосходно! воскликнули въ одинъ голосъ мандарины, обратившись благосклонно къ колѣнопреклоненному поэту: — стихи звучные, сильные, а мысли дѣлаютъ большую честь вашему патріотическому чувству...

— Да! прибавилъ къ этому мандаринъ съ длинной кривой саблей, никогда не вынимавшейся изъ ноженъ и заржавѣвшей:—прекрасно! именно страхъ и смерть нашимъ врагамъ!...

И при этомъ онъ нахмурилъ брови и замахалъ заржавленною саблею.

Каждаго изъ мандариновъ окружали ихъ креатуры, повсюду слѣдовавшіе за своими патронами, льстившіе имъ, сочинявшіе имъ стихи на рожденья и на имянины и поддакивавшіе всѣмъ ихъ рѣчамъ. Одна изъ этихъ креатуръ, также мандаринъ, но низшаго разряда, хотя надѣленный огромнымъ ростомъ и въ плечахъ имѣвшій косую сажень, ударивъ себя энергически кулакомъ въ грудь, воскликнулъ голосомъ Стентора, взглянувъ особенно на мандарина съ кривой саблей и обведя торжественно взоромъ все собраніе:

— Нѣтъ, герой отечества! мы не допустимъ тебя тревожиться и вынимать изъ ноженъ твой побѣдоносный мечъ, отъ котораго трепещетъ вселенная... Мы закидаемъ презрѣнныхъ враговъ нашихъ—шапками!...

— Шапками, шапками! повторили всѣ съ восторгомъ.

Мандаринъ съ тремя шариками на шапкѣ обратился къ мандарину низшаго разряда, пожалъ ему руку и сказалъ со слезой въ одномъ глазѣ:

— Умилительно слышать такихъ патріотовъ, какъ вы!...

Мандаринъ низшаго разряда преклонилъ голову передъ мандариномъ съ тремя шариками, сложилъ руки крестообразно на груди и произнесъ съ почтительнымъ умиленіемъ:

— О, мудрѣйшій и просвѣщеннѣйшій изъ китайскихъ сановниковъ! дозволь питаться мнѣ сладкими надеждами на *высокое* ходатайство твое, въ награду за мой безкорыстный патріотизмъ. Въ непродолжительномъ времени откроется вакансія исправляющаго должность старшаго помощника при исправляющемъ должность великомъ сборщикѣ податей: ты въ пріязни съ нимъ и отъ благосклоннаго мановенія одной изъ рѣсницъ твоихъ зависитъ все.

— Мы подумаемъ объ этомъ, благосклонно отвѣчалъ мандаринъ съ тремя шариками. — Но, господа, продолжалъ онъ, взглянувъ на колѣнопреклоненнаго поэта, все время съ заискивающей миной смотрѣвшаго на мандариновъ: — мы должны обратиться къ сему юному стихотворцу съ нашею признательностью за то, что онъ свой отличный талантъ употребляетъ на возвышенные, вполнѣ достойные поэзіи предметы — на прославленіе насъ. Въ поощреніе его, мы считаемъ себя обязанными выхлопотать ему подарокъ или денежную награду...

— Непремѣнно, непремѣнно! воскликнули мандарины.

Мандаринъ низшаго разряда, но огромнаго роста, подошелъ къ поэту, обнялъ его, поцѣловалъ и потомъ произнесъ, энергически ударивъ себя въ грудь:

— Мы, патріоты, понимаемъ другъ друга. Ваше стихотвореніе надо начертать золотыми буквами на мраморѣ...

Поэтъ казался тронутымъ. Онъ прослезился и произнесъ, вставъ съ колѣнъ и низко кланяясь мандаринамъ:

Я не ищу наградъ. Одно мое стремленье —
Я этой мыслію живу и буду жить!—
Вамъ угождать и ваше одобренье
По мѣрѣ силъ снискать и заслужить!...

— Вы вполнѣ уже заслужили его! воскликнули всѣ мандарины разомъ: — продолжайте такъ, и вы не раскаетесь.

По мѣрѣ того, какъ я вглядывался въ этихъ достопочтенныхъ мандариновъ, мнѣ все казалось, какъ это ни было смѣшно и странно, что ихъ черты, голосъ, манеры будто знакомы мнѣ. «Что бы это могло значить?» подумалъ я, и началъ разсматривать ихъ въ увеличительное стекло. Удивленіе мое было несказанно, когда въ мандаринѣ съ тремя шариками я узналъ сладенькаго Василья Степановича, въ ман-

дариніѣ съ кривой саблей — кавалерійскаго офицера съ длинными усами — Александра Ивановича, а въ остальныхъ—господина, возившаго меня на четвереньках, вызолоченнаго господина и другихъ моихъ старыхъ знакомыхъ, награждавшихъ меня конфектами и игрушками по праздникамъ... Открытіе это меня очень разсмѣшило. Но какимъ же образомъ всѣ эти почтенные сановники вдругъ превратились въ китайцевъ? Ужъ не въ маскарадъ ли попалъ я?

Этотъ вопросъ начиналъ меня безпокоить, какъ надъ ухомъ моимъ въ то же мгновеніе раздался чей-то пріятный голосъ, отзывавшійся нѣкоторой ироніей:

— Чему жъ вы удивляетесь? Все это очень натурально; господа эти по натурѣ своей всегда были китайцами. Ихъ моральныя понятія, ихъ образъ мыслей, вся складка ихъ ума (если допустить, что они имѣютъ умъ), — все было пропитано китаизмомъ. Воспитаніе получили они слабое, потому что, какъ извѣстно вамъ, во время оно

«Мы всѣ учились понемногу...» и проч.

— Ихъ главный принципъ, продолжалъ голосъ: — заключается въ томъ, что человѣчество должно упорно стоять на одномъ мѣстѣ, замеревъ въ тѣхъ формахъ, которыя они застали въ своемъ дѣтствѣ; что всякое уклоненіе отъ прошедшаго, всякое измѣненіе, требуемое духомъ времени, всякое малѣйшее движеніе и стремленіе къ улучшенію чего бы то ни было, всякое изобличеніе, всякая насмѣшка надъ ихъ закоснѣлостью есть высочайшая безнравственность. Видите ли, это чисто китайскія понятія. Если бы имъ дать волю, они истребили бы всѣхъ людей, и въ особенности писателей, стремящихся къ улучшеніямъ и преобразованіямъ, ибо они полагаютъ, что если сжечь этихъ людей на кострахъ, то мысль человѣческая мгновенно погибнетъ вмѣстѣ съ ними, міръ замретъ, и все пойдетъ прекрасно... Вы не смотрите на то, что они кажутся такими мягкими и сладенькими: если бы они имѣли власть, они были бы неумолимы и безжалостны, какъ Торквемады. Когда все было недвижно, они блаженствовали, надувались, важничали, держали себя какъ кумиры какіе. Будучи подчиненными въ дни своей юности, они изгибались и ползали передъ начальствомъ, а достигнувъ всего этого, на-

чали требовать отъ своихъ подчиненныхъ, чтобы и тѣ въ свою очередь изгибались и ползали передъ ними. Тѣхъ, которые ведутъ себя съ чувствомъ человѣческаго достоинства и не кувыркаются передъ ними, они называютъ либералами и соціалистами. Когда же были дозволены обличенія и раздались голоса правды,—эти старые лицемѣры, облачась въ китайское мандаринское платье, стали противодѣйствовать тайно и явно всѣмъ благимъ начинаніямъ и преобразованіямъ.

«Вотъ что! подумалъ я. — Такъ это, дѣйствительно, они, мои старые знакомые?» Но—Боже!—какъ измѣнились эти нѣкогда прелестные молодые люди! О, время, безжалостное и неумолимое! Ихъ гладкія, какъ атласъ, и румяныя щеки искрестились морщинами; ихъ густые, бѣлокурые, какъ ленъ, или черные, какъ смоль, и глянцовитые волосы или совсѣмъ вылѣзли, или представляютъ рѣдкіе, печальные и сухіе остатки на черепахъ; сладость въ глазахъ ихъ исчезла и замѣнилась какимъ-то пронзительнымъ, безпокойнымъ и злобнымъ выраженіемъ; ихъ колѣни подогнулись,—но они все еще стараются бодриться, и для того, чтобы нравиться женщинамъ (пламень въ ихъ дряблыхъ сердцахъ не угасъ доселѣ), расписываютъ свои физіономіи разноцвѣтными красками...

Эти расписанные анахронизмы ненавидятъ все современное, живое, молодое, дышащее здоровьемъ и силою!...

Вдругъ мой либеральный образъ мыслей былъ прерванъ голосомъ мандарина съ тремя шариками. Въ этомъ старческомъ, хотя еще довольно громкомъ голосѣ слышались дребезжащія, раздражительныя ноты оскорбленнаго самолюбія, обманутыхъ надеждъ, неудовлетвореннаго честолюбія, физическаго и нравственнаго безсилія и проч. и проч... Впрочемъ, несмотря на это, голосъ его превосходительства (я полагаю, что мандариновъ титулуютъ такъ же, какъ у насъ генераловъ) все-таки былъ пріятенъ....

Я слушалъ и заслушивался

его, какъ Сальери моцартову музыку.

Его превосходительство мандаринъ съ тремя шариками говорилъ:

— Нѣкоторыя злонамѣренныя лица распространяютъ, милостивые государи, слухи будто бы мы не любимъ литературы

и считаемъ ее вредною для общества... Это клевета, гнусная клевета,—я ссылаюсь на всѣхъ предстоящихъ здѣсь высокоименитыхъ собратій моихъ мандариновъ...

— Клевета, клевета! закричали мандарины.

— Да! клевета, повторилъ мандаринъ съ тремя шариками:—напротивъ, мы любимъ литературу, но литературу нравственную, благонамѣренную, проникнутую высокими патріотическими чувствами, воспѣвающую наши заслуги; литературу, проникнутую безусловнымъ уваженіемъ ко всѣмъ, которые облечены почетными званіями и имѣютъ счастіе носить шарики на своихъ шапкахъ; литературу, описывающую красоту нашей природы и всѣ кроткія и мирныя ощущенія и чувствованія,—словомъ, литературу, благородно дѣйствующую на умъ и на сердце! Такой литературѣ мы покровительствуемъ, такую литературу мы награждаемъ! Живое доказательство этого передъ вами, милостивые государи, въ лицѣ сего юнаго поэта, продекламировавшаго намъ сейчасъ превосходный гимнъ въ честь нашу... А то, что теперь выдаютъ намъ за литературу (при этомъ у мандарина съ тремя шариками обнаружилось дрожаніе въ губахъ и желчь разлилась по лицу)—грязныя картины, унижающія все отечественное, дерзкое вмѣшательство во всѣ вопросы, не касающіеся совсѣмъ до литературы, насмѣшки надъ лицами, подобными намъ... это... это...

Мандаринъ съ тремя шариками ничего не могъ прибавить отъ бѣшенства, замолчалъ и вдругъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ и остановился противъ меня.

— Какъ вы, сударь, напримѣръ, осмѣливаетесь, началъ онъ, бросивъ на меня уничтожающій взглядъ:—вы, не имѣющій ни чина, ни званія, какъ вы осмѣливаетесь подтрунивать надъ нами? Знаете ли вы, что мы васъ заставимъ замолчать, что мы долѣе не будемъ терпѣть такого неприличія...

— Но, ваше превосходительство, отвѣчалъ я хладнокровно и почтительно въ то же время:—какое вы имѣете право вмѣшиваться не въ свои дѣла?... Мы съ вами ничего не имѣемъ общаго. Вы китаецъ, а я русскій. Вы, китайцы, гордитесь своею неподвижностью, коснѣніемъ въ старыхъ предразсудкахъ и дикостяхъ, а мы, русскіе, напротивъ, гордимся нашею способностью къ развитію, нашею способностью подвигаться впередъ и смѣемъ вѣровать въ то, что Россіи предстоитъ великая будущность. Мы не поймемъ другъ друга.

— Но васъ, сударь, воспитывали въ китайскихъ правилахъ, перебилъ меня мандаринъ съ горячностью:—такъ же, какъ и меня... Вы, такъ сказать, нашъ китаизмъ всасывали съ молокомъ; мы всѣ думали, что вы съ этими нравственными правилами и какъ сынъ благорожденныхъ родителей достигнете до почетныхъ званій, сдѣлаетесь, какъ и мы, мандариномъ. Вспомните ваше дѣтство, вспомните, какъ всѣ мы любили васъ, возили вамъ конфекты и игрушки. Могли ли мы думать тогда, что вы сдѣлаетесь нашимъ врагомъ?... Но опомнитесь и подумайте, кто *мы* и кто вы, *молодой человѣкъ!*

Я невольно улыбнулся. Достопочтенные мандарины рѣшительно не признаютъ хода времени и считаютъ меня еще молодымъ человѣкомъ!...

— Подумайте, кто мы и кто вы! повторилъ мандаринъ съ тремя шариками, ударяя на мѣстоименіе *мы*, торжественно выпрямляясь передо мною и указывая на свое облаченіе и на три шарика, болтавшіеся на его шапкѣ...

Вдругъ раздались звуки тамъ-тама, возвѣщавшіе о томъ, что въ глубинѣ храмины за занавѣсою проходятъ мандарины изъ мандариновъ. Дѣйствительно, тѣни ихъ уже показались на занавѣсѣ, и мандаринъ, говорившій со мною, такъ же, какъ и другіе его товарищи, почтительно присмирѣли.

«Э! такъ они еще не очень важныя особы», подумалъ я: «оттого-то они такъ хорохорятся и задаютъ такого тона передъ нами!»

Но лишь только тѣни исчезли, мандарины оживились снова и мгновенно приняли гордыя, величественныя позы. Мандаринъ съ тремя шариками напалъ на меня еще съ бо̀льшимъ ожесточеніемъ. Онъ размахивалъ руками, глазки его налились кровью. Онъ даже дошелъ до того, что угрожалъ мнѣ аутода-фе. И это тотъ милый господинъ, котораго моя бойкая родственница называла нѣкогда *сладенькимъ!*... О, какъ лѣта и шарики на шапкѣ измѣняютъ людей!

Вслѣдъ затѣмъ удивительныя картины одна за другой стали развертываться передо мною.

Всѣ мандарины сѣли на великолѣпные табуреты, поставленные на возвышеніе, по степенямъ ихъ значенія и по количеству шариковъ на шапкахъ. Передъ ними начали появляться различныя лица, съ поклонами до земли. Одинъ изъ

такихъ, кажется, секретарь, подползъ къ его превосходительству, своему начальнику, съ опущенною къ землѣ головой, въ знакъ того, что онъ не могъ переносить свѣта, исходящаго отъ него, и произнесъ:

— Не безъизвѣстно вашему превосходительству, что по ввѣренному вамъ вѣдомству осталось къ новому 1859 году 2,000 р. серебромъ экономіи, сохраненной мудростію вашей, и что вы, представляя о семъ его высокопревосходительству, испрашивали у него, какъ поступить съ сею суммою? Мы всѣ осмѣливались думать и молили Бога о томъ, чтобы сія остаточная сумма была назначена въ награду вашему превосходительству, нашему достойному начальнику, за ваши неусыпные труды, мудрость, снисхожденіе и милость къ подчиненнымъ; но его высокопревосходительство, по своей премудрости, приготовляя вамъ, конечно, въ мысляхъ своихъ высокую и достойнѣйшую награду, соблаговолилъ бросить одинъ изъ свѣтлыхъ лучей взора своего на насъ, бѣдныхъ пресмыкающихся тружениковъ, и повелѣлъ: раздѣлить помянутую остаточную сумму между нами, недостойными такихъ милостей. Вслѣдствіе чего имѣю величайшую честь почтительнѣйше представить списокъ распредѣленія этой суммы на утвержденіе вашего превосходительства.

Секретарь подалъ бумагу мандарину и поклонился ему до земли.

Мандаринъ съ тремя шариками, глубокомысленно надвинувъ брови, надѣвъ очки и взявъ карандашъ, оправленный въ золото, началъ разсматривать списокъ. Во главѣ списка красовалось имя секретаря, который поднесъ его, и въ графѣ противъ этого имени стояло 500 р. Списокъ оканчивался самымъ незначительнымъ и бѣднымъ труженикомъ, ежедневно совершавшимъ 16 верстъ взадъ и впередъ между своей лачужкой и присутственнымъ мѣстомъ. Въ графѣ противъ него стояло 5 р.—послѣдняя цѣна сапоговъ въ Пекинѣ, въ которомъ все до крайности вздорожало съ нѣкотораго времени.

Мандаринъ, оставивъ неприкосновенными 500 р. своего секретаря, значительно уменьшилъ награды всѣмъ остальнымъ и незначительному и бѣднѣйшему изъ тружениковъ вмѣсто 5 р. назначилъ 2 р.; нѣкоторыхъ же, замѣченныхъ его превосходительствомъ въ либерализмѣ, то есть кланявшихся ему

просто, по церемоніалу, но не выражавшихъ при томъ преданнической игры въ глазахъ, вовсе вычеркнулъ. По исправленному такимъ образомъ списку оказались остаточныхъ 500 руб.

Вслѣдъ затѣмъ къ другому изъ мандариновъ подползъ, въ рубищѣ, исхудалый и больной человѣкъ и произнесъ дрожащимъ и слабымъ голосомъ:

— Мудрѣйшій и правосуднѣйшій изъ начальниковъ! воззри съ высоты на червя, ползающаго передъ тобою... Я лишился подруги своей ничтожной жизни, продалъ почти все, что имѣлъ, чтобы предать ее нашей матери-землѣ съ честію. У меня осталось отъ нея семеро дѣтей, ежедневно просящихъ пищи. Я работаю до истощенія силъ, что засвидѣтельствуютъ мои непосредственные начальники. И вотъ наступаютъ праздники, дни общей радости и веселія, а я безъ куска хлѣба... Мои бѣдные, невинные птенцы умираютъ отъ голода... Воззри на меня, плачущаго съ семью младенцами, и прикажи удѣлить мнѣ кроху отъ щедротъ твоихъ. Заставь вѣчно молить за себя.

Стонъ несчастнаго могъ разжалобить самое черствое сердце, и его превосходительство въ минуту хорошаго расположенія, вѣроятно, былъ бы тронутъ имъ, но, къ сожалѣнію, бѣднякъ явился невпопадъ (бѣдняки какъ-то всегда являются невпопадъ), ибо его превосходительство былъ погруженъ въ созерцаніе суеты и ничтожности сего міра, по поводу значительной награды, полученной его врагомъ, и вслѣдствіе того озлобленъ противъ всего человѣчества.

— Боже мой! къ кому же теперь обратиться мнѣ за помощью? прошепталъ въ отчаяніи несчастный и побрелъ къ какому-то стоявшему въ сторонѣ отъ мандариновъ господину въ высочайшемъ коническомъ колпакѣ.

Это былъ, какъ мнѣ замѣтилъ кто-то, глубочайшій ученый и первѣйшій китайскій мудрецъ, оффиціально признанный таковымъ. Онъ разрѣшалъ всѣ сомнѣнія и давалъ совѣты.

— Учитель! произнесъ бѣднякъ, подойдя къ нему и три раза ударивъ лбомъ о землю, въ знакъ уваженія къ его особѣ: — скажи мнѣ, для чего создано на свѣтъ такое странное и несчастное животное, какъ я?

— Зачѣмъ ты вмѣшиваешься не въ свое дѣло? глубокомысленно отвѣчалъ мудрецъ.

— Но, достопочтенный мужъ, ты видишь мои страданія... Для чего же столько зла на землѣ? я тебя спрашиваю.

— Экая важность! сказалъ мудрецъ: —да и что мнѣ за дѣло до твоихъ страданій?... Какое зло?...

— Что же мнѣ дѣлать, однако? воскликнулъ бѣднякъ въ отчаяніи.

— Молчать—и идти вонъ отсюда, произнесъ мудрецъ.

— Выведите его вонъ! закричали въ одно время глубочайшій изъ китайскихъ мудрецовъ и правосуднѣйшій изъ мандариновъ.—И какъ онъ смѣетъ безпокоить прямо насъ? продолжалъ мандаринъ съ тремя шариками: — что за дерзость!... Если онъ, дѣйствительно, нуждается, то онъ долженъ былъ ходатайствовать о пособіи у своего помощника столоначальника; помощникъ его долженъ былъ о семъ ходатайствовать у своего начальника отдѣленія, а начальникъ отдѣленія у правителя нашей канцеляріи, и уже правитель нашей канцеляріи могъ ходатайствовать у меня за него...

Бѣдняка вытолкали изъ храмины, а его превосходительство обратился къ другому его превосходительству и сказалъ, пожимая плечами:

— Ну, скажите, пожалуйста, на что это похоже! Всякая дрянь безпокоитъ насъ и имѣетъ дерзость лѣзть прямо къ намъ!... Какое неуваженіе къ властямъ! Допускать этого невозможно... неправда ли? Это можетъ привести Богъ знаетъ къ чему!...

— Совершенно справедливо, возразилъ другой мандаринъ.— Вообще я замѣчаю, что съ нѣкотораго времени начинаетъ распространяться вредный духъ неподчиненности... Вотъ я вамъ скажу, что случилось со мною недавно. Поручилъ я своему секретарю достать мнѣ ложу; привозитъ онъ билетъ—прекрасно. Ѣдемъ мы съ женой въ театръ, входимъ въ ложу— и что же видимъ? какъ бы вы думали? Рядомъ съ нами, въ сосѣдней ложѣ, сидитъ мой секретарь съ своею женою... Какова дерзость, каково неприличіе!... Я, разумѣется, послѣ такого поступка тотчасъ удалилъ его отъ себя... Ну, а всѣмъ этимъ безпорядкамъ причиною литература, распространяющая идеи своевольства.

— Да! да! это правда! это ужасно! воскликнули всѣ мандарины въ одинъ голосъ.

И мудрецъ туда же закивалъ головою, въ знакъ согласія.

— А вамъ что нужно? грозно сказалъ одинъ изъ мандариновъ, обращаясь къ молодому, довольно щеголеватому чиновнику, очутившемуся въ эту минуту въ почтительной позѣ передъ его превосходительствомъ.

— За васъ, началъ молодой чиновникъ, приложивъ руку къ сердцу:—за васъ, ваше превосходительство, въ моей безопасности ручается вашъ добрый геній и *общественное мнѣніе*...

При этомъ его превосходительство весь передернулся, ибо онъ не могъ слышать этихъ двухъ словъ: «общественное мнѣніе».

— ...увѣнчавшее васъ, продолжалъ молодой чиновникъ: — завидною славою; а потому я нисколько не думалъ и мои мысли сами по себѣ никогда не освѣщались лучомъ той догадки, чтобы ваше сердце, замѣчательнѣйшее признательностію къ подчиненнымъ, съ источникомъ вашей новой власти, могло исполниться неудовольствія ко мнѣ. И потому представьте себѣ, ваше превосходительство, странное разувѣреніе въ моемъ понятіи о васъ, когда мой начальникъ отдѣленія, при многихъ чиновникахъ, съ значительною улыбкою, объявилъ мнѣ вашъ строгій выговоръ и ваше вѣрное обѣщаніе уволить меня отъ дѣлъ. Наконецъ не могу и не долженъ скрыть того, что я былъ притомъ достаточно оскорбленъ позою, которую онъ дѣлалъ изъ себя, а также тѣмъ тономъ, съ которымъ онъ обращался со мною...

— Довольно! перебило его превосходительство: — прочь съ глазъ моихъ, дерзкій вольнодумецъ!... Ты смѣешь оскорбляться позами своего начальника, его тономъ!... Ты смѣешь ссылаться на общественное мнѣніе!... Чтобъ твоего духу не было съ сей минуты въ моемъ департаментѣ!

— Да, дѣйствительно, вольнодумство страшно начинаетъ распространяться, прибавилъ мандаринъ, обращаясь къ другимъ мандаринамъ: — противъ этого надобно принять мѣры, и это — явное вліяніе литературы... Вы слышали: онъ говорилъ объ общественномъ мнѣніи? Эти гнусныя слова взяты имъ цѣликомъ изъ журналовъ... И замѣтьте, въ какихъ краснорѣчивыхъ фра-

захъ онъ выражалъ свои жалобы... Гдѣ же онъ могъ выучиться такому краснорѣчію? Все литература!

Затѣмъ было отдано приказаніе, чтобы не допускать до ихъ превосходительствъ никого ни съ просьбами, ни съ жалобами, ибо ихъ превосходительства желаютъ погрузить умы свои въ глубокіе, государственные вопросы и соображенія.

«Вотъ поучиться-то и послушать», почтительно подумалъ я, «если они только будутъ излагать мысли свои вслухъ», и навострилъ уши. Они, дѣйствительно, заговорили между собою вслухъ, но о томъ, кому везетъ или не везетъ счастье въ клубѣ, кто сколько выигралъ или проигралъ втеченіе послѣдней недѣли; о какой-то неслыханной игрѣ, пришедшей наканунѣ къ которому-то изъ нихъ; о какомъ-то удивительномъ обѣдѣ, данномъ для нихъ на-дняхъ откупщикомъ; о томъ, какъ они веселились у золотопромышленника на балѣ и сообщали другъ другу свои предположенія, кто изъ нихъ и какія именно награды долженъ получить къ празднику.

Затѣмъ они удостоили благосклонно принять какого-то торгаша, случайно нажившаго милліоны.

Милліонеръ палъ къ ногамъ ихъ и умиленно просилъ ихъ осчастливить на всю жизнь и удостоить его высочайшей для него на землѣ чести — пожаливать къ нему на обѣденный столъ.

Мандарины удостоили его принятіемъ этого приглашенія и милость свою къ торгашу распространили до того, что объявили ему, что каждый изъ нихъ вмѣстѣ съ собою привезетъ къ нему всѣхъ своихъ креатуръ, льстецовъ и угодниковъ.

— Смотрите же! воскликнулъ одинъ изъ нихъ, удостоивъ взглядомъ торгаша: — чтобы обѣдъ вашъ былъ самый утонченный и роскошный, вполнѣ достойный тѣхъ особъ, которыхъ вы будете имѣть счастіе угощать, чтобы винъ было побольше и самыхъ лучшихъ, а въ заключеніе, чтобы непремѣнно былъ ликеръ изъ бананповъ, до котораго всѣ мы большіе охотники.

Торгашъ объявилъ, что онъ не пощадитъ ничего для полнѣйшаго удовлетворенія своихъ высокоименитыхъ посѣтителей, и, не оборачивая спины, удалился изъ храмины, отступая и кланяясь.

— Хорошій и добрый человѣкъ! произнесъ со вздохомъ одинъ изъ мандариновъ, по его удаленіи.

— Прекрасный и благонамѣренный! повторилъ съ чувствомъ другой.

— Патріотъ, истинный патріотъ! добавилъ третій.

Тогда на мгновеніе снова все, что было передо мною, покрылось бѣловатымъ туманомъ, мандарины съ ихъ причтомъ исчезли, и, когда туманъ началъ рѣдѣть, я увидѣлъ великолѣпно убранный будуаръ и, въ полусвѣтѣ, полулежащую на диванѣ полную даму, въ роскошнѣйшемъ платьѣ и въ неизмѣримѣйшемъ кринолинѣ, занимавшемъ полкомнаты. У ногъ ея, на богатомъ коврѣ, стоялъ на колѣняхъ тотъ самый мандаринъ, который уменьшилъ награды своимъ чиновникамъ къ празднику. Онъ держалъ браслетъ въ своей рукѣ, стоившій 500 р., показывалъ его дамѣ и потомъ началъ его надѣвать ей на ея пухлую и бѣлую руку, дрожа, тая и цѣлуя ея пальчики.

— Повтори мнѣ, ты очень меня любишь, очень! лепеталъ онъ со слезой въ глазѣ, смотря на нее.

— Ну, да, да, да... душка! Я тысячу разъ говорила вамъ это, отвѣчала дама съ нѣмецкимъ акцентомъ.

— Довольна ли ты, моя циночка, подаркомъ? Ты давно желала имѣть этотъ браслетъ...

— Mein liebe — умница! проговорила дама и потрепала мандарина по его испещренной морщинами и нарумяненной щекѣ.

Громъ тамъ-тама оглушилъ меня снова въ это мгновеніе. Мандаринъ, кряхтя и съ трудомъ приподнявшись съ колѣнъ, поцѣловалъ даму и произнесъ:

— Ну, прощай, моя циночка, до свиданія. Звуки эти возвѣщаютъ приближеніе новаго года, и мы должны идти встрѣчать его. Какъ жаль, что я завтра не могу быть у тебя. Къ сожалѣнію, я цѣлый день долженъ провести въ семействѣ. Нельзя же, ты сама знаешь. Это требуетъ приличіе, къ тому же мы обязаны подавать собою примѣръ нравственности и семейныхъ добродѣтелей...

Его превосходительство удалился, умильно оглядываясь на свою даму и дѣлая ей поцѣлуи рукою.

— Ахъ! слава Богу, слава Богу! закричала толстая дама,

по уходѣ его превосходительства, вскочивъ съ дивана и прыгая. — Ухъ!... Я завтра цѣлый день свободна!

И съ радости начала одна танцовать польку-трамблянъ передъ трюмо...

Картина опять измѣнилась. Будуаръ съ дамой исчезли, и неизмѣримой длины зала, въ родѣ галлереи, затопленная свѣтомъ, открылась передо мною.

Галлерея эта была биткомъ набита мандаринами и ихъ свитою, т. е. ихъ креатурами, льстецами, соглядатаями, привиллегированными пѣвцами и проч.

Въ глубинѣ галлереи виднѣлся исполинскій циферблатъ и стукъ маятника былъ такъ силенъ, что не могъ заглушить говора этой блистательной толпы.

Часы стучали *чикъ, чикъ* съ особою грозною торжественностью, какъ бы неумолимо напоминая напыщеннымъ и одряхлѣвшимъ мандаринамъ, что они съ каждымъ чикомъ дѣлаются еще старѣе и дряхлѣе, что съ каждымъ чикомъ у нихъ прибавляется лишняя морщина, что каждый чикъ — шагъ къ ихъ разрушенію.

Когда стрѣлка часовъ приблизилась къ полночи, лицемѣрные мандарины двинулись во срѣтеніе Новаго года, несмотря на то, что они отрицаютъ всякое движеніе и не признаютъ хода времени.

Раздался звонъ часовъ, и въ это мгновеніе, при звукахъ тамъ-тама и пушечной пальбы, появился въ углубленіи залы подъ часами молодой, свѣтлый, хотя и неопредѣленный образъ съ серьёзнымъ, строгимъ и нѣсколько грустнымъ выраженіемъ, возбуждавшій симпатію и вселявшій невольное уваженіе.

Я догадался, что это было олицетвореніе новаго 1859 года.

При появленіи его, всѣ мандарины преклонили передъ нимъ колѣни и воздѣли къ нему руки.

Мой знакомецъ, мандаринъ съ тремя шариками, считавшійся между своими лучшимъ риторомъ, произнесъ:

«Привѣствуемъ тебя, наступившій годъ, распростираемся передъ тобою и молимъ тебя:

«Останови безразсудное движеніе и порывы твоего предшественника, возвратись благоразумно назадъ къ годамъ нашей юности, когда процвѣтали на землѣ высочайшая нравственность, отрадное для насъ безмолвіе, строгій порядокъ,

безотвѣтность старшихъ и безусловная подчиненность младшихъ. Молимъ тебя, возврати душамъ нашимъ миръ и заставь насъ благословлять и прославлять имя твое!»

«Возвысь насъ! прибавь намъ окладовъ!» прибавили другіе мандарины. «Даруй намъ новыя титла и украшенія и загради уста тѣмъ безчиннымъ и безнравственнымъ крикунамъ, которые осмѣливаются предавать насъ на посмѣяніе и называютъ насъ отжившими и отсталыми людьми!...»

Когда всѣ крики эти смолкли. Новый годъ произнесъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на колѣнопреклоненныхъ предъ нимъ мандариновъ:

«Я пришелъ, чтобы продолжать дѣло, начатое моимъ предшественникомъ. Я — еще одинъ шагъ впередъ на великомъ пути человѣческаго развитія и совершенствованія. Какое мнѣ дѣло, безумцы, до вашихъ китайскихъ сословныхъ претензій, до вашихъ чиновъ, званій, титловъ, окладовъ и привиллегій, до всѣхъ вашихъ мелкихъ интересовъ? Не о васъ однихъ призванъ я заботиться, не объ одномъ вашемъ счастіи и благоденствіи — вы и безъ того пользуетесь имъ, — а о благоденствіи и счастіи всѣхъ людей, а особенно вашихъ низшихъ братій, и счастливъ буду я, если въ мое краткое существованіе хотя сколько нибудь подвинется это великое дѣло... Я знаю, что вы, отсталые и закоснѣлые въ предразсудкахъ и эгоизмѣ старцы, будете моими противниками; но вы не опасны; ваши разсчеты съ настоящею жизнію кончены; вы уже не въ состояніи понимать ничего совершающагося передъ вашими глазами. Помышляйте лучше о будущей жизни. Пора!... Моими сподвижниками будетъ новое поколѣніе, потому что въ немъ власть и сила.

«Но не заноситесь и вы, нѣкогда рьяные сподвижники улучшеній и совершенствованій: вы уже почти совершили дѣло, для котораго были призваны. Уступите мѣсто ваше новому поколѣнію и покоритесь ему, благословляя его, а не проклиная такъ, какъ васъ проклинаютъ эти старцы...»

И Новый годъ указалъ на мандариновъ, онѣмѣвшихъ отъ этой рѣчи и пришедшихъ отъ нея въ совершенное разслабленіе.

«Да», подумалъ я, «Новый годъ правъ: и наше поколѣніе доканчиваетъ свое дѣло...»

«Да здравствуетъ же новое поколѣніе, идущее смѣнить насъ!» вскрикнулъ я, и проснулся отъ этого крика.

Я улыбнулся моимъ грезамъ и уже на яву тихо повторилъ про-себя:

— Да здравствуетъ новое поколѣніе!...

XXXIX. СВѢТСКІЙ ЛИБЕРАЛЪ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИЛЛЕТАНТЪ.

I.

Въ одно прескверное, безразсвѣтное зимнее петербургское утро, часу во второмъ, когда я только что принялся за дѣло, человѣкъ подалъ мнѣ карточку. На карточкѣ былъ выгравированъ гербъ, а подъ гербомъ изображено тончайшими буквами: Валерьянъ Николаевичъ Городницкій.

— Они желаютъ васъ видѣть, сказалъ человѣкъ.

— Проси, отвѣчалъ я.

Съ г. Городникимъ я не былъ знакомъ, хотя встрѣчалъ его часто на Невскомъ проспектѣ подъ руку съ разными моими знакомыми, а въ оперѣ и въ французскомъ театрѣ — въ первыхъ рядахъ креселъ. На вопросъ мой объ этомъ господинѣ пріятели мои обыкновенно отвѣчали:

— Онъ славный малый, чрезвычайно образованный, начитанный и либералъ.

Г. Городницкому лѣтъ 35; онъ средняго роста, имѣетъ на головѣ жидкіе волосы, тщательно расчесанные, съ проборомъ на серединѣ, и довольно большіе неопредѣленнаго цвѣта глаза; онъ, должно быть, близорукъ, потому что безпрестанно вооружаетъ носъ двойнымъ лорнетомъ; г. Городницкій одѣвается съ изысканностью и носитъ безукоризненныя свѣтлыя перчатки, плотно охватывающія его маленькія и толстыя руки. Онъ имѣетъ манеры немного изнѣженныя, видъ разсѣянный и безпечный; онъ числится въ какомъ-то министерствѣ, кажется, по особымъ порученіямъ.

«Какую надобность онъ имѣетъ во мнѣ?» подумалъ я въ ту минуту, когда г. Городницкій любезно, но нѣсколько обя-

зательно протягивалъ мнѣ руку и говорилъ, какъ-то кокетливо подергивая головою:

— Pardon... извините, что я васъ безпокою... Мы, кажется, имѣемъ много общихъ знакомыхъ, и я всегда желалъ съ вами сблизиться.

Затѣмъ онъ живописно и небрежно расположился въ креслѣ противъ меня и, не снимая перчатокъ, закурилъ нахитоску.

— Какая отвратительная погода! сказалъ онъ, поднимая голову и выпуская тонкій дымъ къ потолку. — Петербургъ этотъ ужасенъ! Въ немъ жить невозможно! Съѣздить за границу, подышать чистымъ воздухомъ, запастись здоровьемъ и потомъ возвратиться для того, чтобы снова разстроить здоровье!... Ну, что, скажите, новенькаго?... Что ваша литература?

Я не отвѣчалъ на этотъ вопросъ и посмотрѣлъ на г. Городницкаго вопросительно, потому что не совсѣмъ понялъ, какого рода свѣдѣнія онъ желаетъ имѣть о литературѣ.

Но онъ не заботился объ отвѣтѣ и не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на выраженіе моего лица, потому что смотрѣлъ болѣе на стѣны моего кабинета (хотя онѣ не представляли ничего особеннаго).

Онъ продолжалъ:

— Теперь всѣ журналы ваши читаются съ большимъ удовольствіемъ... много дѣльныхъ, прекрасныхъ статей о современныхъ вопросахъ. Слава Богу, теперь все оживилось. Ну, да и пора же намъ наконецъ двинуться немножко впередъ. Мы объ этомъ толковали третьяго-дня съ княземъ Павломъ Григорьичемъ, у котораго я обѣдалъ... У него — вѣдь вы, можетъ, слыхали? —прекрасный, гуманный взглядъ на вещи... Это человѣкъ замѣчательный, европейскій. Я ему говорю: «пора же, говорю, князь, намъ освободиться отъ китайщины...» Онъ ужасно смѣялся... Я съ нимъ очень близокъ и высказываю ему все откровенно... Старое поколѣніе — его, конечно, не разувѣришь; эти *старомыслы*, какъ называетъ ихъ князь Поль, не могутъ существовать безъ десяти тысячъ церемоній. Ну, и Богъ съ ними! Но пріятно, знаете, видѣть молодое поколѣніе... Я разумѣю молодежь высшаго круга — я вѣдь ихъ почти всѣхъ знаю — у большей части изъ нихъ совсѣмъ ужъ взглядъ другой, этакой современный; особенно, я вамъ скажу, между военной молодежью есть люди чрезвычайно замѣча-

тельные... У нихъ образовался взглядъ.. убѣжденіе. Ну, а старомыслы эти, знаете, презабавны. Недавно въ одномъ домѣ— это было при мнѣ—сынъ un jeune homme tout-à-fait distingué, началъ говорить при своемъ отцѣ объ освобожденіи крестьянъ, о гласности, о публичномъ судопроизводствѣ, о свободѣ торговли... ну, обо всѣхъ этихъ насущныхъ вопросахъ, а у отца, знаете, и здѣсь и тутъ — (г. Городницкій указазъ на грудь и потомъ махнулъ черезъ плечо) все какъ слѣдуетъ; онъ человѣкъ значительный и при этомъ закоснѣлый въ своихъ понятіяхъ... Онъ ужасно какъ разгорячился... «Откуда, говоритъ, вы берете эти ужасныя понятія? Замолчи, говоритъ, я не могу этого слышать. Этого только недоставало, чтобъ у меня сынъ былъ либералъ!... И куда, говоритъ, приведутъ васъ всѣ эти идеи? Образумься, братецъ: ты стоишь на краю гибели.» Сынъ тоже разгорячился: «мы, говоритъ, батюшка, другъ друга понимать не можемъ, насъ раздѣляетъ бездна...» Онъ говорилъ отлично, съ жаромъ, съ каѳедры лучше нельзя бы говорить; но изъ этого могла бы выйти непріятная сцена: я остановилъ его, шепнулъ ему на ухо: «calmez vous, mon cher—вѣдь старика не переувѣришь; ты самъ говоришь, что васъ раздѣляетъ бездна...» Теперь вездѣ эта борьба стараго поколѣнія съ новымъ такъ рѣзко бросается въ глаза... Правда вѣдь?

Г. Городницкій прищурился, сжалъ носъ двойнымъ лорнетомъ и началъ разсѣянно перелистывать книжку, которая попалась ему подъ руку.

— Аа! произнесъ онъ протяжно. — Les oiseaux? Онъ улыбнулся.—Въ этой книжкѣ бездна поэзіи... mais le ton générale du livre manque d'unité. Я прочелъ ее съ удовольствіемъ, но я не охотникъ, я вамъ скажу, до Мишле, особенно до его «Исторіи Революціи». Онъ, знаете, впадаетъ въ утопіи, въ соціализмъ и заносится слишкомъ далеко... Я, признаюсь вамъ, люблю Ламартина больше. Ну, если хотите, онъ не историкъ въ строгомъ смыслѣ и тоже немного увлекается, поэтизируетъ; но у него стиль прелестный. Возьмите его «Исторію Жирондистовъ». Жаль, что онъ разстроилъ свои дѣла и послѣднее время пишетъ для денегъ, на скорую руку. Но, какъ человѣкъ политическій, онъ всё-таки замѣчателенъ, что ни говорите; онъ сдѣлалъ много, очень много... по-моему,

его промахъ заключался въ томъ, что онъ провозгласилъ республику. Вступись онъ за герцогиню Орлеанскую, было бы совсѣмъ другое; но, какъ поэтъ, онъ увлекся... Это натурально, хоть и грустно... Не будь этой нелѣпой республики, Франція подъ регентствомъ герцогини Орлеанской могла бы спокойно развивать свои парламентскія формы и избѣгла бы этого страшнаго военнаго деспотизма, этихъ Эспинасовъ... Да, эта республика большой промахъ со стороны Ламартина, очень большой! какъ вы полагаете?...

— Я совершенно съ вами согласенъ, отвѣчалъ я, восхищенный не столько умомъ, образованіемъ и политическими взглядами г. Городницкаго, сколько тою изящною формою, въ которой онъ передавалъ все это, и граціозными тѣлодвиженіями, которыми сопровождались его рѣчи.

«Кабы побольше такихъ господъ», подумалъ я. «У! съ такими можно бы уйти далеко!»

— Ну-съ, а какъ вы думаете, продолжалъ г. Городницкій послѣ минуты молчанія: — если мы будемъ такъ идти, не возвращаясь вспять, безъ реакцій, послѣдовательно, не торопясь, разумѣется, мы можемъ скоро догнать Европу?... Европа, впрочемъ, представляетъ въ сію минуту, надо сказать, странное зрѣлище... правда?... Всѣ мы, люди образованные, съ настоящимъ взглядомъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ смотрѣли на Францію, какъ на передовую націю въ человѣчествѣ... Отличилась же эта передовая нація, нечего сказать! Я ужъ, признаюсь вамъ, ничего не жду отъ нея.. Я вотъ недавно спорилъ объ этомъ съ графомъ Александромъ Славинскимъ. Я съ нимъ очень близокъ, и наши убѣжденія почти во всемъ сходятся, кромѣ Франціи. Онъ еще отъ нея надѣется чего-то!... Для меня, я вамъ скажу, Англія — вотъ это высшій политическій идеалъ... неправда ли?... Лучшихъ учрежденій вообразить нельзя... Чего же еще больше хотѣть? Журналы, митинги, парламенты и аристократическій элементъ, который не только не мѣшаетъ свободному развитію, напротивъ, способствуетъ ему. Если бъ я не былъ увѣренъ въ томъ, что намъ предстоитъ великая будущность, я, признаюсь вамъ откровенно, ничѣмъ не желалъ бы быть, какъ англичаниномъ...

«Странно», подумалъ я, смотря на моего нечаяннаго гостя, любуясь имъ и наслаждаясь его рѣчами, «неужели онъ

удостоилъ меня посѣщеніемъ только для того, чтобы высказать свои политическія воззрѣнія? Они, конечно, прекрасны; но какое же мнѣ до нихъ дѣло? Если бы еще у меня было много свободнаго времени, но...»

Но г. Городницкій какъ будто бы угадалъ мою мысль.

— Какой же я чудакъ! сказалъ онъ:—я болтаю вамъ о разныхъ вещахъ, а еще ничего не сказалъ о дѣлѣ, которое меня привело къ вамъ.

— Чѣмъ я могу служить вамъ? сказалъ я: — я очень радъ...

— Вотъ въ чемъ дѣло...

И при этихъ словахъ г. Городницкій старался придать себѣ видъ еще болѣе беззаботный и небрежный.

— Я, знаете, иногда отъ нечего дѣлать... видите ли, я не могу быть совсѣмъ празднымъ... въ свободное время отъ моихъ служебныхъ занятій и отъ свѣтскихъ обязанностей... такъ иногда, когда мнѣ приходятъ мысли въ голову, я ихъ вмѣстѣ съ моими свѣтскими наблюденіями набрасываю на бумагу. Изъ этого кое-что вышло. Я написалъ этакую небольшую... какъ бы вамъ это сказать?... драматическую proverbe изъ жизни высшаго свѣта... У меня, какъ вы увидите, есть немножко наблюдательности; притомъ, большой свѣтъ я хорошо знаю. Но, Бога ради, вы только не принимайте этого слишкомъ серьёзно и не будьте ко мнѣ строги. Я не хочу записываться въ цѣхъ литераторовъ, Dieu me preserve! Это просто такъ, шалость, и я обращаюсь къ вамъ, какъ къ человѣку, опытному въ литературныхъ дѣлахъ...

Г. Городницкій вынулъ изъ задняго кармана своего удивительно скроеннаго пиджака небольшую рукопись.

При этомъ движеніи у меня выступилъ холодный потъ на спинѣ и обнаружилась боль подъ ложечкой, которой я подверженъ въ критическія минуты.

— Я вѣрю вашему литературному вкусу, вашей опытности, и потому мнѣ хотѣлось бы вамъ прочесть это... это не много... это не больше получаса... pardon, что я васъ на полчаса отвлеку отъ вашихъ занятій.

— Но... пошевелилось у меня на языкѣ. Но я не успѣлъ произнести этого *но*, потому что г. Городницкій приступилъ уже къ чтенію, вооружившись лорнетомъ, съ полною безза-

стѣнчивостью свѣтскаго человѣка. Чтеніе продолжалось ровно втрое противъ обѣщаннаго, то есть полтора часа, и прерывалось собственными замѣчаніями автора въ формѣ вопросовъ: «Неправда ли, это съ натуры? Неправда ли, это довольно тонко подмѣчено? Это отъ многихъ ускользнетъ, потому что эти мысли ne sont pas à la portée de tout le monde... n'est-ce pas?...»

Г. Городницкій былъ правъ. Его драматическая поговорка прелестна, но состоитъ вся изъ такихъ великосвѣтскихъ тонкостей, которыя для непосвященныхъ рѣшительно непонятны. Я, по крайней мѣрѣ, не понялъ, въ чемъ дѣло и что хотѣлъ сказать авторъ. Когда онъ кончилъ, онъ поднялъ голову и, поправивъ свой лорнетъ, пристально посмотрѣлъ на меня.

— Ну, что? ну, какъ? сказалъ онъ: — какъ вы находите эту бездѣлушку?... Пожалуйста, откровенно, прямо скажите... Я вѣдь авторскаго самолюбія не имѣю. Я предпочитаю правду всѣмъ этимъ комплиментамъ, les gracieuses flatteries...

— Очень тонко, отвѣчалъ я: — но я, впрочемъ, не могу быть судьею, потому что мало знакомъ съ великосвѣтскою жизнію...

— Отчего же? возразилъ г. Городницкій, улыбнувшись и подернувъ головою: — вы знакомы со всѣми, вы знаете всѣхъ *нашихъ*... Такъ, въ самомъ дѣлѣ, вы находите, что это неглупо? Ну, а какъ насчетъ языка — il y a du style? Мнѣ русскій языкъ еще не совсѣмъ дается, я могу легче писать по-французски. Это, если хотите, глупо, потому что я русскій; но вѣдь, знаете, намъ всѣмъ даютъ такое воспитаніе...

— Нѣтъ, вы владѣете хорошо русскимъ языкомъ, сказалъ я...

— Въ самомъ дѣлѣ? прибавилъ онъ. — Ну-съ, такъ вотъ у меня до васъ просьба... Я желалъ бы напечатать эту вещицу именно въ журналѣ, въ которомъ вы участвуете, потому что я вполнѣ симпатизирую съ его направленіемъ... je ne connais pas ces messieurs, этихъ господъ редакторовъ и журналистовъ, хотя я ихъ очень уважаю, и обращаюсь къ вамъ, чтобъ вы оказали мнѣ протекцію... Будьте такъ добры.

Я обѣщалъ исполнить его желаніе, то есть передать рукопись редакторамъ.

— Очень вамъ благодаренъ, сказалъ г. Городницкій: —

но вотъ еще одно... je n'ai plus qu'un mot à dire .. говорятъ, вѣдь за статьи въ журналахъ платятъ деньги?... Я этого ничего не знаю, я такъ слышалъ... мнѣ собственно деньги, вы понимаете, не нужны!.. это какая нибудь бездѣлица... но, видите ли, если эта вещь будетъ помѣщена, мнѣ хотѣлось бы получить за нее что нибудь. Я пожертвовалъ бы эти деньги на бѣдныхъ. Меня бы, знаете, утѣшила мысль, что трудъ мой не совсѣмъ безполезенъ, что я имъ доставилъ хоть что нибудь нуждающимся... Я совершенно, впрочемъ, полагаюсь на васъ въ этомъ.

— Хорошо-съ, отвѣчалъ я: — я передамъ все это редакторамъ и потомъ увѣдомлю васъ...

— Будьте такъ добры...

Г. Городницкій потолковалъ еще нѣсколько о современныхъ вопросахъ, о необходимости различныхъ преобразованій и очень дружески простился со мною, замѣтивъ, что намъ, людямъ просвѣщеннымъ, съ европейскимъ образованіемъ мыслей, надо сближаться, извинялся, что онъ воспользовался моей добротою outre mesure, слишкомъ засидѣлся у меня и просилъ меня о продолженіи знакомства.

Когда онъ ушелъ, я подумалъ:

«Боже! сколько утонченности и прелести въ свѣтскихъ людяхъ! Но какъ, однако, этотъ господинъ умѣлъ мнѣ дать тонко почувствовать, какая неизмѣримая разница между имъ, литературнымъ диллетантомъ, вертящимся въ блестящихъ сферахъ, такъ ловко соединяющимъ величайшую comme-il faut-ность съ удивительнымъ либерализмомъ, и нами, записными литераторами, берущими деньги за свои труды — не для вспомоществованія бѣднымъ, а для собственнаго пропитанія!...»

Петербургъ идетъ исполинскими шагами по пути прогресса, — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Доказательствомъ этого можетъ служить, между прочимъ, г. Городницкій. Такихъ свѣтскихъ либераловъ у насъ развелось очень много въ послѣднее время...

II.

Черезъ три дня послѣ посѣщенія г. Городницкаго я отправился къ нему съ визитомъ, около трехъ часовъ, въ надеждѣ не застать его дома, потому что въ это время онъ обыкно-

венно гуляетъ по Невскому проспекту. Надежда моя не осуществилась: онъ былъ дома, потому что страдалъ маленькой простудою и гастритомъ, какъ онъ мнѣ объявилъ потомъ, потирая рукой по своей батистовой рубашкѣ у желудка.

Кабинетъ г. Городницкаго представлялъ изящный безпорядокъ: столы были завалены англійскими книгами, французскими журналами и различными иллюстрированными изданіями. На полу, обтянутомъ сукномъ, около того мѣста, гдѣ онъ сидѣлъ, лежали послѣднія сочиненія Монталамбера и Токвиля. Кабинетъ этотъ, не отличавшійся свѣжестью, потому что мебель, драпри, занавѣски, сукно на полу—все это было уже значительно потерто, имѣлъ, однако, что-то особенное. Въ немъ все было разсчитано на эффектъ... Одна стѣна была завѣшена литографированными и фотографическими портретами разныхъ великосвѣтскихъ людей, съ наиболѣе блестящими фамиліями; на другой висѣли портреты извѣстныхъ дипломатовъ и публицистовъ: Гизо, Тьера, Вильменя, сэра Роберта Пиля, гуляющаго съ Велингтономъ, лорда Пальмерстона и другихъ. Въ мраморной вазѣ была навалена груда визитныхъ билетовъ и записочекъ съ красивыми бордюрами. Свѣтскость и либерализмъ бросались въ глаза въ этой комнатѣ съ перваго раза.

Хозяинъ, въ пестренькомъ галстучкѣ и въ какой-то кофтѣ со шнурками, произнесъ длинное «А-а-а!» при моемъ появленіи и любезно вскочилъ съ низенькаго дивана, на которомъ онъ лежалъ съ листомъ Journal des Débats, бросивъ этотъ листъ и протягивая мнѣ руку.

— Очень, очень радъ васъ видѣть! Пожалуйста, садитесь. Я немножко простуженъ и къ тому же я подверженъ гастриту... Вчера мы ужинали... вотъ у него...

Г. Городницкій указалъ пальцемъ на портретъ одного изъ самыхъ великосвѣтскихъ петербургскихъ господъ и прибавилъ:

— Я немного разстроилъ желудокъ и воротился домой очень поздно.... Эта проклятая петербургская жизнь! Я ужъ хочу перемѣнить образъ жизни—это несносно!... А мы вчера выдумали очень забавную штуку... Я предложилъ, чтобы каждый изъ насъ произнесъ бы... такъ... маленькую рѣчь по-русски, развилъ бы въ ней какую нибудь современную тему....

Сначала это напугало многихъ; но, однако, это было принято большинствомъ и удалось такъ, какъ я не ожидалъ.... право.... Мы ужасно какъ не привыкли говорить публично, особенно на своемъ родномъ языкѣ: un bon parleur — вѣдь это рѣдкость между нами; чтобы логически, послѣдовательно развить мысль, насъ на это какъ-то не стаетъ. Я выбралъ ужъ самую этакую современную тему: «О томъ, что такое гласность и на сколько у насъ она можетъ быть допущена»... и самъ удивился своей смѣлости. Оно вышло у меня довольно кругло и недурно. Меня осыпали рукоплесканіями. Но всѣхъ лучше говорилъ Serge Наклашевскій: у него положительный даръ слова. По поводу Юма, вертящихся столовъ и другихъ чудесъ, онъ ввелъ насъ въ мистическій міръ и доказывалъ, что въ природѣ есть какія-то таинственныя силы. Это были, конечно, парадоксы, но блестящіе, выраженные съ жаромъ, съ увлеченіемъ.... Очень было мило!... Согласитесь, что все это лучше, по крайней мѣрѣ, чѣмъ играть въ карты или болтать о какихъ нибудь пустыхъ, свѣтскихъ, вседневныхъ происшествіяхъ?... Нѣтъ-съ, что ни говорите, а мы идемъ впередъ, и очень.

— О! да кто же въ этомъ сомнѣвается! произнесъ я.

— Ахъ, вы знаете эту книжку?

Онъ взялъ со столика какой-то романъ Октава Фёлье и подалъ мнѣ.

— Нѣтъ, я не читалъ, сказалъ я, посмотрѣвъ на книжку.

— Вы прочтите: это стоитъ... Онъ поэтъ, или, по крайней мѣрѣ, въ немъ много поэзіи... Онъ имѣетъ что-то общее съ нашимъ Тургеневымъ.... N'est ce pas?... Il est abondant en riches images, au couleurs éclatantes, il a beaucoup de sentimens.... Ну-съ, а что моя бѣдная пьеска — еще не удостоилась принятія?...

Я отвѣчалъ, что отдалъ ее редакторамъ журнала, въ который онъ желаетъ ее помѣстить, но что послѣ того еще не видѣлъ ихъ и не имѣю отъ нихъ отвѣта, и что тотчасъ по полученіи отвѣта я его увѣдомлю...

— Не безпокойтесь возразилъ г. Городницкій — это я такъ сказалъ... когда нибудь послѣ... мнѣ все равно... этой пьеской очень интересуется почему-то княгиня Красносельская. Разумѣется, ее въ сущности печатать не стоитъ: это пустяки; но

если гг. редакторы напечатаютъ ее у себя, она можетъ имъ доставить много подписчиковъ въ высшемъ кругу.... очень много!... А это недурно, знаете, сближать нашъ высшій кругъ съ русской литературой, пріучать ихъ читать по-русски. Я увѣренъ, что современемъ наша литература сдѣлается потребностью и этого кружка, что всѣ мы будемъ современемъ и говорить и мыслить по-русски... Тогда, въ свою очередь, избранное общество будетъ дѣйствовать на литературу и придастъ ей этотъ внѣшній блескъ, эту утонченность, которой, il faut dire franchement, немножко недостаетъ ей теперь. Правда вѣдь?

— Совершенно, отвѣчалъ я, прощаясь съ моимъ новымъ другомъ.

— Такъ вы меня потомъ объ моей пьескѣ увѣдомите? произнесъ онъ, сладко улыбаясь и крѣпко пожимая мнѣ руку.—Au plaisir de vous revoir... Я очень, очень радъ, что мы съ вами сошлись...

Съ этого дня г. Городницкій черезъ день заѣзжалъ ко мнѣ справляться объ участи своей пьески и писалъ кромѣ того записочки на французскомъ языкѣ.

До какой степени ни лестно было мнѣ знакомство съ нимъ, но его нетерпѣніе и докучливость стали надоѣдать мнѣ. Онъ съ своей пьеской не давалъ мнѣ покоя... даже на улицѣ. «Ну, что? когда? принята ли моя пьеска? неужели вы еще не получили отвѣта?»

Онъ засыпалъ меня такими вопросами... и уже начиналъ обнаруживать нѣкоторое неудовольствіе.

— Если пьеска моя не годится, сказалъ онъ однажды, останавливая меня на улицѣ:—вы мнѣ скажите откровенно и попросите, чтобы мнѣ возвратили ее... Я отдамъ въ другой журналъ. Меня даже просили объ этомъ. Если бъ не мои пріятели и нѣкоторыя свѣтскія дамы, которыя рѣшительно требуютъ, чтобъ я напечаталъ ее, я бы и не безпокоилъ васъ, потому что я знаю, что это вздоръ... я ужъ вамъ говорилъ, что это я такъ набросалъ.

— Мнѣ очень совѣстно, но я еще не получилъ отвѣта отъ редакторовъ. Впрочемъ, будьте покойны, я на-дняхъ вамъ непремѣнно дамъ отвѣтъ рѣшительный.

«О, несчастная слабость характера», думалъ я, «о ты—причина всѣхъ непріятностей моей жизни! Ну, кто меня про-

силъ вмѣшиваться въ это дѣло? Отчего я прямо не отказалъ этому господину?... Къ тому же, я увѣренъ, что гг. редакторы (я вѣдь коротко знаю ихъ) продержатъ рукопись нѣсколько мѣсяцевъ, не принимая въ соображеніе нетерпѣнія свѣтскаго литературнаго диллетанта. Они—народъ грубый и не отдаютъ первенства дворянскимъ и свѣтскимъ сочиненіямъ передъ сочиненіями какихъ нибудь семинаристовъ... Я почти не сомнѣваюсь, что они не напечатаютъ прелестной драматической поговорки этого милаго свѣтскаго либерала, потому что не съумѣютъ оцѣнить того благоуханія, того тончайшаго букета свѣтскости, котораго и я, къ сожалѣнію, не умѣю вполнѣ цѣнить.... О, для чего же я взялся быть посредникомъ?...»

Я былъ взбѣшенъ на самого себя, отправился тотчасъ же къ редакторамъ и потребовалъ отъ нихъ рѣшительнаго отвѣта. Они возвратили мнѣ рукопись и наотрѣзъ объявили, что это *чепуха!*

— Чепуха?! возразилъ я съ досадою:—но позвольте, господа, можно ли такъ варварски и грубо отзываться о сочиненіи господина, который принадлежитъ къ избранному, къ высшему обществу, который признанъ этимъ обществомъ за человѣка замѣчательнаго ума и образованія, въ которомъ находятъ талантъ всѣ великосвѣтскіе господа и даже сама княгиня Красносельская; который, наконецъ, извѣстенъ своимъ смѣлымъ образомъ мыслей, который считаетъ себя другомъ прогресса, котораго всѣ старовѣры считаютъ опаснѣйшимъ человѣкомъ, у котораго, по сознанію всѣхъ великосвѣтскихъ господъ, языкъ, какъ бритва... Вамъ, господа, продолжалъ я, все болѣе и болѣе одушевляясь:—слѣдовало бы непремѣнно напечатать эту поговорку, если бы она и была, въ самомъ дѣлѣ, слаба, потому что это хорошо зарекомендовало бы ваше изданіе въ высшемъ обществѣ, доставило бы вамъ въ этомъ обществѣ множество подписчиковъ... и прочее, и прочее.

Я говорилъ горячо и энергически; но варвары-журналисты не хотѣли ничего слышать и еще вдобавокъ начали подсмѣиваться надъ моею слабостью къ свѣтскимъ людямъ.

Дѣлать было нечего. Я возвратился домой съ рукописью г. Городницкаго и въ тотъ же день отослалъ ее къ нему при

самой вѣжливой запискѣ, въ которой я старался какъ можно болѣе смягчить отказъ.

«Редакція С.....а», писалъ я, «нашла вашу пьесу прекрасною (я не хотѣлъ обнаруживать грубаго вкуса редакторовъ и компрометировать ихъ передъ высшимъ свѣтомъ и потому позволилъ себѣ прибѣгнуть ко лжи); но, къ сожалѣнію, пьеса ваша не можетъ быть напечатана въ журналѣ прежде восьми мѣсяцевъ, по множеству матеріаловъ, которыхъ редакція отлагать не можетъ... Полагая, что вы не согласитесь на такой отдаленный срокъ, я долгомъ счелъ возвратить вамъ ее.»

III.

Послѣ этого нѣсколько времени я не встрѣчалъ г. Городницкаго и не видалъ никого изъ нашихъ общихъ знакомыхъ.

Первая моя встрѣча съ нимъ была въ Петергофѣ, на дебаркадерѣ желѣзной дороги. Онъ вертѣлся около какихъ-то весьма пышныхъ и важныхъ дамъ, съ лорнетомъ на носу и наткнулся прямо на меня.

Я съ пріятнѣйшею улыбкою поклонился ему и хотѣлъ было даже простодушно протянуть ему руку, но онъ измѣрилъ меня съ ногъ до головы, какъ бы припоминая: что это за человѣкъ, который безпокоитъ меня своимъ поклономъ? потомъ язвительно пошевелилъ губами, холодно кивнулъ мнѣ головою и, обратившись къ одной изъ дамъ, закричалъ: «Princesse, par ici!»

Къ подъѣзду дебаркадера подкатилась линейка; красный придворный лакей произнесъ, обращаясь къ пышнымъ дамамъ и г. Городницкому: «линейка подана»; пышныя дамы, съ помощью г. Городницкаго, сѣли въ линейку, и онъ самъ помѣстился возлѣ одной изъ нихъ, бросивъ на меня взглядъ, который говорилъ чрезвычайно много:

«Видишь ли ты», говорилъ этотъ взглядъ, «къ какому обществу принадлежу я? Видишь ли ты, въ какихъ линейкахъ я разъѣзжаю и какіе лакеи стоятъ за мною? Убѣдился ли ты теперь своими глазами, какая бездна между мною и вами, несчастными литераторами, не умѣвшими оцѣнить моего превосходнаго произведенія? Я удостоивалъ снисходить до васъ,

а вы, вмѣсто того, чтобы принять меня и мое произведеніе съ распростертыми объятіями и восторгомъ, вы...» и прочее.

Этотъ нѣмой языкъ былъ краснорѣчивѣе всякихъ словъ.

Я печально повѣсилъ голову и побрелъ вслѣдъ за линейкой, поднявшей облако пыли, залѣпившей мнѣ глаза и бросившейся въ носъ.

Я остановился, чихая и протирая глаза. Каждая пылинка, поднятая аристократическою линейкою и упавшая на меня, говорила мнѣ, казалось, устами г. Городницкаго о моемъ ничтожествѣ....

Въ другой разъ я встрѣтилъ г. Городницкаго у одного изъ нашихъ знакомыхъ. Онъ обошелся со мною холодно-вѣжливо и въ разговорѣ почти не относился ко мнѣ... Онъ говорилъ: о европейской политикѣ и въ особенности о взглядахъ Англіи на континентъ и о ея планахъ. Онъ развивалъ эти планы въ такихъ мелочныхъ подробностяхъ, какъ будто былъ другомъ перваго министра Англіи, который по дружбѣ передалъ ему всѣ тайны своего кабинета. Я слушалъ его съ восторгомъ и не зналъ, чему болѣе удивляться — его либеральнымъ убѣжденіямъ или его неслыханной памяти, потому что онъ цѣлыя страницы наизусть и почти слово въ слово передавалъ изъ сочиненій Токвиля и брошюрокъ Монталамбера, самъ не замѣчая, что это не его мысли и слова. Потомъ онъ перешелъ къ отечеству и съ ядовитѣйшей ироніей отзывался о разныхъ извѣстныхъ лицахъ, разсказывалъ, какъ онъ отдѣлалъ одного значительнаго ретрограда за обѣдомъ у другаго значительнаго лица, намекалъ о томъ, какъ вообще всѣ боятся его въ свѣтѣ, какъ онъ умѣлъ поставить себя относительно такого-то и такого-то лица, и проч., и въ заключеніе обвелъ торжественно комнату и бросилъ на меня едва замѣтный косвенный взглядъ, но столь же многозначительный, какъ и тотъ, который былъ имъ брошенъ на меня съ придворной линейки.

Когда онъ уѣхалъ, пріятель мой, также человѣкъ свѣтскій, воскликнулъ, обратившись ко мнѣ:

— Какой чудный человѣкъ!... Не правда ли?... Отчего это вы не напечатали его пословицы? Конечно, она не Богъ знаетъ какое произведеніе; но всетаки это вещь очень остроумная и милая и гораздо лучше этихъ всѣхъ грубыхъ и гряз-

ныхъ обличительныхъ разсказовъ, которые печатаются въ вашихъ журналахъ. Къ тому же, Городницкій съ просвѣщеннымъ образомъ мыслей; а такихъ людей вамъ, господа, не слѣдовало бы отталкивать отъ себя.... Такіе люди, какъ онъ, именно созданы для того, чтобы сближать высшее общество съ литературою.

— Боже мой! Да я-то чѣмъ виноватъ? вскрикнулъ я: — развѣ помѣщеніе его статьи зависѣло отъ меня?... Я только взялся, по безконечной и непростительной слабости моего характера, быть посредникомъ между нимъ и редакторами журнала. Развѣ я долженъ отвѣчать за то, что они по безвкусію своему не умѣли оцѣнить его поговорки и не поняли той выгоды, которую бы доставило имъ напечатаніе ея и сближеніе съ такимъ человѣкомъ, какъ ея авторъ?...

— Мнѣ, признаюсь, это очень досадно, перебилъ меня мой пріятель: — досадно въ особенности за тебя.... Воля ваша, это промахъ....

— Что жъ дѣлать! теперь ужъ не поправишь его, произнесъ я со вздохомъ.

— Онъ тебя именно обвиняетъ въ этомъ, продолжалъ мой пріятель: — онъ говоритъ, что ты принялъ его пьесу холодно, что ты могъ бы, если бы хотѣлъ, способствовать къ напечатанію ея, потому что имѣешь вліяніе на редакцію.

«Губительная слабость характера!» простоналъ я внутренно, «до чего ты доводишь!... Я желаю пріобрѣсти расположеніе и дружбу всѣхъ и потому не могу ни въ чемъ отказать никому и берусь даже за то, чего не могу исполнить, — и вотъ вмѣсто друзей я пріобрѣтаю враговъ, да еще какихъ враговъ! Впрочемъ, г. Городницкому я ничего не обѣщалъ, кромѣ передачи его рукописи; но, какъ бы то ни было, теперь онъ врагъ мой, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, и врагъ опасный и непримиримый, потому что самое раздражительное самолюбіе изъ всѣхъ самолюбій въ мірѣ — это самолюбіе свѣтскаго литературнаго диллетанта...»

Не прошло трехъ мѣсяцевъ послѣ всей этой исторіи, какъ въ городѣ начали носиться странные слухи обо мнѣ и о редакторахъ журнала, въ которомъ я имѣю честь участвовать. Слухи эти все дѣлались громче; увеличиваясь, они наконецъ дошли и до меня... Мнѣ передавали съ разныхъ сто-

ронъ, что въ свѣтѣ называютъ насъ ужаснѣйшими людьми, не имѣющими ни foi, ни loi, проникнутыми самыми вреднѣйшими для общества идеями, распространеніе которыхъ надобно мгновенно остановить, потому что онѣ угрожаютъ общественной нравственности и порядку; что въ моихъ скромныхъ замѣткахъ скрываются какія-то заднія мысли; что въ нихъ будто бы надо читать что-то между строкъ... и проч. и проч.

Если бы четверть этихъ милыхъ слуховъ имѣла какое нибудь правдоподобіе, то насъ справедливо слѣдовало бы изгнать изъ общества и отправить въ какія нибудь безлюдныя степи.

«Но все это вздоръ», подумалъ я, «неужели жъ найдется какой нибудь человѣкъ съ здравымъ смысломъ, который повѣритъ такимъ нелѣпымъ слухамъ?»

Однако, я сталъ замѣчать, что тѣ, которые прежде очень благосклонно обращались со мною, начали посматривать на меня какъ-то подозрительно и холодно, а нѣкоторые, изъявлявшіе мнѣ болѣе, нежели милостивое и лестное расположеніе, даже пожимавшіе мнѣ дружески руки, съ самыми наиприятнѣйшими улыбками, при встрѣчѣ со мною, произносили уже съ многозначительной ироніей и затаенной злобой: «здравствуйте-съ», какъ будто этимъ привѣтствіемъ хотѣли сказать мнѣ: «ну погоди же, голубчикъ, мы съ тобой справимся!»

Что же это такое? и откуда все это? Я не понималъ ничего.

— Послушай, любезный другъ, сказалъ мнѣ однажды одинъ изъ редакторовъ журнала, въ которомъ я участвую: — знаешь ли, какіе слухи ходятъ о насъ, да и о тебѣ тоже? Ты вредишь и себѣ и намъ.

— Я? Какимъ это образомъ? Что это значитъ? Часъ отъ часу не легче!

— Да, это все по твоей милости, продолжалъ редакторъ: — потому что ты Богъ знаетъ зачѣмъ связываешься съ свѣтскими литературными диллетантами! Кто тебя просилъ, напримѣръ, брать у г. Городницкаго его сочиненіе?

— Но какая связь, возразилъ я съ горячностью: — между этими слухами и драматическою поговоркой г. Городницкаго?

— Очень близкая: г. Городницкій оскорбился тѣмъ, что

его сочиненія мы не напечатали, и теперь мститъ намъ, распространяя эти слухи.

— Какой вздоръ! перебилъ я: — этого быть не можетъ! Городницкій человѣкъ порядочный и притомъ имѣющій такія убѣжденія...

— И ты вѣришь, что эти господа могутъ имѣть какія нибудь убѣжденія! это забавно!... Но какъ бы то ни было, а слухи эти пустилъ въ ходъ Городницкій,—я это знаю изъ вѣрныхъ источниковъ. Вотъ тебѣ и урокъ, любезный: не связывайся впередъ съ свѣтскими либералами и литературными диллетантами!...

«Неужели?» подумалъ я. «Но нѣтъ, этого быть не можетъ... это ужъ слишкомъ! Никто въ свѣтѣ не увѣритъ меня, чтобы человѣкъ съ такимъ образованіемъ, съ такими взглядами, съ такимъ возвышеннымъ образомъ мыслей могъ бы такъ нелѣпо и низко мстить!... Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! я этому не повѣрю!»

«Откуда же, однако, эти слухи?»

Я до-сихъ-поръ ломаю себѣ голову и не могу ничего придумать... Откуда же они?...

XL. МОЙ УВЛЕКАЮЩІЙСЯ ДРУГЪ.

I.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Тоска невыносимая! Въ окно глядѣть противно, не только выйти на улицу... Мутно-сѣрая, сплошная, безъ просвѣтовъ мгла наверху; грязь, ямы, лужи — внизу, а между небомъ, покрытымъ мглой, и грязными улицами, гдѣ ни пройти, ни проѣхать — мокрыя лепешки снѣга, падающія съ какимъ-то ожесточеніемъ и мгновенно расплывающіяся въ грязь... Нижніе этажи домовъ, экипажи, люди, лошади, собаки, забрызганныя грязью, кучи наколотыхъ грязныхъ осколковъ у тротуаровъ; тротуары, залитые грязною водою; несчастные дворники съ метлами и съ лопатами; наводящій уныніе звукъ воды, бѣгущей изъ трубъ, и визгъ санныхъ полозьевъ, безпрестанно задѣвающихъ о камни... Къ вечеру понемногу стяги-

ваетъ эти грязныя лужи; грязь начинаетъ хрустѣть подъ ногами; вода, повисшая на окраинахъ крышъ и выходившая изъ жолобовъ, превращается въ ледяныя сосульки. Утромъ морозъ—все подсохло, все приняло болѣе приличный видъ... Слава Богу, наконецъ можно выйти изъ дому и подышать воздухомъ. Но по тротуарамъ нѣтъ возможности безопасно пройти нѣсколько шаговъ: нога скользитъ на каждомъ шагу, и гулянье превращается въ пытку, въ эквилибристическое искусство, въ родѣ хожденія по канату... Не безпокойтесь,— это не продолжится: въ полдень начинаетъ уже валить снѣгъ, къ вечеру этотъ снѣгъ превращается почти въ дождь, снова вода льетъ изъ трубъ, разливаясь по тротуарамъ, и на слѣдующее утро опять грязь, лужи, ямы и проч... И послѣ-завтра то же и такъ далѣе... Морозъ съ оттепелью почти смѣняются черезъ день... Такая неопредѣленность, такая измѣнчивость петербургскаго климата, не принимающаго въ соображеніе никакихъ временъ года, невыносимы. Ртуть въ недоумѣвающихъ термометрахъ и барометрахъ то и дѣло что поднимается и опускается: вдругъ возвысится до beau fixe, и мы всѣ, пожилыя дѣти, начинаемъ радоваться, рукоплескать, воодушевляться надеждами на продолженіе такой благорастворенной погоды (въ самомъ дѣлѣ, не дѣтство ли полагаться на самый безалаберный изъ всѣхъ климатовъ въ мірѣ — петербургскій?)—глядь, черезъ три-четыре часа ртуть упала до *великаго дождя* и наши надежды рухнули. Можно ко всему на свѣтѣ привыкнуть, даже къ постоянному трескучему морозу: но ничего нѣтъ досаднѣе неожиданныхъ, быстрыхъ, безпрестанныхъ, ничѣмъ необъяснимыхъ переходовъ отъ мороза къ оттепели и обратно. Такія перемѣны дѣйствуютъ раздражительно на человѣка и порождаютъ сплинъ, жолчное состояніе и другія болѣзни.

На меня, по крайней мѣрѣ, это климатическое непостоянство дѣйствуетъ самымъ зловреднымъ образомъ. Я дѣлаюсь раздражителенъ, жолченъ, придирчивъ и несправедливъ даже къ самымъ лучшимъ друзьямъ моимъ. Всѣ предметы, одушевленные и неодушевленные, принимаютъ въ глазахъ моихъ печальный и мрачный колоритъ, совершенно соотвѣтствующій петербургской погодѣ. Я во всемъ вижу одну только заднюю сторону медали, и перестаю вѣрить въ различныя людскія

добродѣтели; докапываясь до источниковъ самыхъ похвальныхъ стремленій и поползновеній, я нахожу эгоизмъ, тщеславіе, суетность и тому подобное; ложь и лицемѣріе бросаются мнѣ на каждомъ шагу; я начинаю сомнѣваться въ убѣжденіяхъ самыхъ близкихъ мнѣ людей и въ возможности, которая одушевляетъ ихъ идти по новому *свѣтлому и прямому пути усовершенствованій и улучшеній*; эта стереотипная фраза сдѣлалась мнѣ противна; меня приводитъ въ бѣшенство всякое увлеченіе, всякая надежда, всякій радостный порывъ, всякая самая искренняя слеза благородной и умиленной, но слабой души, всякій изъ души вырвавшійся возгласъ или восклицаніе, при какомъ нибудь дѣйствіи, чуть-чуть выходящемъ изъ ряда обыкновеннаго... И все это отчасти, можетъ быть, потому, что я самъ — увы! — одинъ изъ самыхъ неисправимо впечатлительныхъ и непростительно увлекающихся людей, а увлекаться за сорокъ лѣтъ, какъ увлекаются 18-лѣтніе юноши, не къ лицу. Увлеченіе — идетъ только къ густымъ, вьющимся кудрямъ, къ розовымъ и пушистымъ щекамъ, а не къ сѣдымъ волосамъ, не къ лысымъ лбамъ и къ кожѣ, которая начинаетъ складываться въ морщины. Увлеченіе прекрасно, сохрани меня Боже возставать противъ увлеченій! я ненавижу самодовольныхъ, умныхъ мертвецовъ, неспособныхъ къ увлеченіямъ, но всему же есть пора и мѣра. Въ наши зрѣлыя и почтенныя лѣта надобно побольше хладнокровія и осмотрительности.

Въ сію минуту я особенно золъ на всѣхъ петербургскихъ 40 и 50-лѣтнихъ энтузіастовъ — моихъ друзей и пріятелей, повторяющихъ избитыя фразы о прогрессѣ и прочее и прочее.

II.

ОНЪ.

Люди, живущіе въ отдаленности отъ Петербурга и мало знакомые съ его общественною жизнію, вообще полагаютъ, что въ Петербургѣ все люди суровые, холодные, практическіе, безъ сердца, эгоисты, не способные ни къ какимъ увлеченіямъ... Какой вздоръ!

Мы всѣ, петербургскіе жители, люди страшно увлекающіеся. Я не буду ничего говорить о честолюбивыхъ, эгоистическихъ

и корыстолюбивыхъ увлеченіяхъ. Я докажу вамъ только примѣромъ, что въ Петербургѣ есть люди, дожившіе до сѣдинъ, милые, образованные люди, съ безкорыстными и честными убѣжденіями, умѣвшіе сохранить младенческую чистоту, юношескій энтузіазмъ и довѣрчивость, восторгающіеся на каждомъ шагу, увлекающіеся и умиляющіеся при малѣйшемъ поводѣ.

Вотъ вамъ очеркъ одного изъ такихъ господъ, моего искренняго друга, котораго ничѣмъ не исправишь отъ увлеченій.

Онъ родился въ Петербургѣ и почти безвыходно жилъ въ немъ. Въ двадцать-пять лѣтъ онъ увлекался тѣмъ, чѣмъ всѣ увлекаются въ эти годы — любовью... да еще какъ увлекался!... Предметъ его любви была женщина очень обыкновенная: она была ни хороша и ни дурна, ни умна и ни глупа, танцовала, какъ танцуютъ всѣ дамы и барышни, поигрывала на фортепьяно, какъ и всѣ, пѣла нѣсколько фальшиво, какъ по большей части поютъ дамы и барышни, извѣстные романсы: «Я видѣлъ дѣву на скалѣ», «Сто красавицъ черноокихъ предсѣдали на турнирѣ», «Цвѣтокъ», «Талисманъ», и такъ далѣе.

Но мой другъ видѣлъ въ ней какое-то неземное, высшее существо. Онъ полагалъ, что она надѣлена замѣчательнѣйшими музыкальными способностями и что ей недостаетъ только музыкальнаго развитія, чтобы сдѣлаться геніальной музыкантшей. Когда она, бывало, затягивала:

«Цвѣтокъ засохшій, безухаиный
Забытый въ книгѣ вижу я...»

онъ схватывалъ меня за руку и говорилъ:

— Какой голосъ! неправда ли, какой чудный голосъ? Ахъ, если бъ ей съѣздить въ Италію да поучиться! изъ нея бы вышла великая артистка, я убѣжденъ въ этомъ! И какая у ней душа! какое сердце!

Если я или кто нибудь другой рѣшались ему замѣтить, самымъ деликатнымъ образомъ, что въ ней нѣтъ ничего необыкновеннаго, что поетъ она мило, но въ Италію ей ѣхать незачѣмъ, онъ вспыхивалъ отъ досады и говорилъ: «ваше равнодушіе ко всему меня бѣситъ», и потомъ начиналъ клясться, что она во всѣхъ отношеніяхъ необыкновенная женщина.

Черезъ нѣсколько лѣтъ, когда его идеалъ превратился въ обрюзгшую, толстую и вялую барыню, курившую съ утра до вечера папиросы и даже Жуковъ табакъ, въ страшную сплетницу и домашнюю тиранку, я говорилъ ему:

— Вотъ твоя великая артистка! Полюбуйся-ка на нее....

— Ну, что жъ такое, возражалъ онъ, — это ничего не доказываетъ. Если бы она была при другой обстановкѣ, изъ нея вѣрно вышло бы что нибудь замѣчательное.

Но мой другъ при этомъ останавливался и самъ добродушно начиналъ смѣяться надъ самимъ собою.

Подъ тридцать лѣтъ онъ сошелся съ какимъ-то аферистомъ, на котораго сама природа положила печать отверженія, какъ бы желая предостеречь другихъ. Аферистъ уговорилъ его пожертвовать тысячъ сорокъ на бумаго-прядильную фабрику, которую онъ намѣренъ былъ завести, по его словамъ, на манеръ англійскихъ филатуръ, которыя онъ будто бы изучалъ нѣсколько лѣтъ въ Манчестерѣ. Аферистъ обѣщалъ ему въ десять лѣтъ милліоны, и мой другъ, увлеченный его разсказами, повѣрилъ имъ добродушно и, не посовѣтовавшись ни съ кѣмъ, отдалъ ему свои деньги въ полное распоряженіе.

Когда мы, его пріятели, узнали объ этомъ, мы ахнули.

— Помилуй, закричали мы ему въ одинъ голосъ: — какъ можно было довѣриться такому человѣку! У него на рожѣ написано, что онъ разбойникъ...

— Вотъ то-то, господа, возразилъ онъ намъ съ ироніей: — вы всѣ проповѣдуете о гуманности, о человѣческихъ воззрѣніяхъ, а осуждаете человѣка, котораго вовсе не знаете, по одной только наружности. Конечно, онъ не красавецъ, не имѣетъ хорошихъ манеръ, свѣтскости; но это человѣкъ умный, дѣльный и честный, съ глубокими и обширными торговыми взглядами; онъ политическую экономію знаетъ, какъ профессоръ. Если бы вы взяли на себя, по крайней мѣрѣ, трудъ послушать его, какъ онъ говоритъ... не думайте, чтобы онъ былъ фразеръ, нѣтъ! у него все взвѣшено, все на математическихъ разсчетахъ и на фактахъ. Онъ другъ съ Кобденомъ и въ перепискѣ съ нимъ; а Кобденъ, надѣюсь, не сталъ бы переписываться съ какимъ нибудь аферистомъ и мошенникомъ!...

— А ты читалъ эту переписку?

— Нѣтъ... Я не читалъ... Но неужели же нельзя никому вѣрить на слово? Неужели, по вашему, міръ состоитъ изъ мошенниковъ? Хороши у васъ понятія о человѣчествѣ!

— Да, тутъ, любезнѣйшій другъ, возразили мы: — дѣло идетъ не о человѣчествѣ, а объ одномъ аферистѣ, который надуваетъ тебя...

— Господа! произнесъ нашъ другъ съ глубокимъ огорченіемъ: — неужели жъ вы полагаете, что я такъ легко вдамся въ обманъ? Я, кажется, не такъ глупъ... А я вамъ скажу, что считаю себя счастливымъ, что онъ взялъ меня въ компанію къ себѣ. Ему не для чего было надувать меня: нѣсколько извѣстныхъ негоціантовъ, которые въ этомъ дѣлѣ смыслятъ поболѣе, чѣмъ мы съ вами, предлагали ему свои капиталы. Вотъ что!... Помилуйте! это предпріятіе великолѣпное, тутъ нѣтъ ни малѣйшаго риска... Въ десять лѣтъ можно утроить или даже учетверить капиталъ...

— Ну, дай Богъ, дай Богъ... посмотримъ! отвѣчали мы со вздохомъ.

Другъ нашъ послѣ этого накупилъ разныхъ политико-экономическихъ книгъ и весь обложился ими. Прочелъ ли онъ что нибудь изъ нихъ, за это я не ручаюсь; но промышленное направленіе на нѣкоторое время совсѣмъ овладѣло имъ: тысячи удивительныхъ проэктовъ бродили у него въ головѣ. Онъ улыбался, значительно потиралъ руки и говорилъ намъ:

— Вы будете смѣяться надо мною... пожалуй, смѣйтесь; а все-таки я скажу вамъ, что черезъ десять лѣтъ я сдѣлаюсь милліонеромъ. Вотъ вы увидите. Хотите пари?

Лицо его такъ сіяло, глаза такъ горѣли, онъ весь былъ такъ проникнутъ этимъ убѣжденіемъ, что было бы жестоко его разочаровывать, и мы не противорѣчили ему.

Аферистъ, съ печатью отверженія на лицѣ, былъ у него почти безвыходно. Онъ ѣлъ и пилъ на его счетъ. Это продолжалось года три. Втеченіе этого времени другъ мой нѣсколько разъ говорилъ мнѣ о немъ съ умиленіемъ и со слезами на глазахъ.

— Отличнѣйшій, честнѣйшій человѣкъ! прибавлялъ онъ обыкновенно въ заключеніе, нѣсколько нѣвучимъ голосомъ.

На четвертый годъ филатура остановилась, за неуплатою

долга рабочимъ, машины проданы съ аукціоннаго торга, капиталъ моего друга погибъ, а честнѣйшій человѣкъ тайно скрылся куда-то изъ Петербурга.

— Ну, что? не предупреждали ли мы тебя, не говорили ли мы тебѣ, что ты связываешься съ мошенникомъ? замѣтилъ я однажды моему другу какъ-то кстати, спустя мѣсяца два послѣ этого несчастнаго событія. — Можно ли до такой степени увлекаться?

— Ну, что жъ дѣлать! сказалъ онъ съ досадой и нѣсколько сконфуженный. — Это урокъ.

— Но за который заплачено дорого.

— Что за важность! возразилъ мой другъ: — у меня осталось довольно, чтобы прожить вѣкъ безбѣдно одному; требованія мои очень умѣренны...

— Но фантазіи неумѣренны, перебилъ я.

— Жениться я не намѣренъ, продолжалъ онъ: — да теперь ужъ и поздно. Пора этихъ увлеченій давно прошла...

— Не говори этого. Увлечешься и женишься...

— Никогда! никогда!

Онъ нешутя разсердился на меня и началъ мнѣ прекрасно доказывать, что онъ неспособенъ уже ни къ какимъ увлеченіямъ, что теперь онъ имѣетъ самый положительный взглядъ на вещи.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этого онъ уѣхалъ въ Москву, а черезъ два мѣсяца женился на дѣвушкѣ среднихъ лѣтъ, которую онъ въ первый разъ увидѣлъ съ эстетикой Гегеля въ рукѣ.

На эту эстетику вдругъ разгорѣлись его фантазіи.

Дѣвушка, читающая Гегеля — какое удивительное явленіе! каковъ долженъ быть умъ!

Каждое ея слово, самое обыкновенное, казалось ему послѣ этой эстетики исполненнымъ глубины необычайной, удивительнаго значенія.

— Ахъ, какое дивное существо! повторялъ онъ въ умиленіи, качая головою. — Какое счастіе встрѣтиться съ такою дѣвушкою! Вотъ этакая дѣвушка можетъ составить счастіе человѣка! И какое въ ней тонкое эстетическое чувство!

Эстетика такъ и вертѣлась у него въ головѣ. Онъ былъ

влюбленъ, влюбленъ страстно, но еще не рѣшался сдѣлать предложенія.

Однажды онъ заговорилъ о ней съ однимъ московскимъ авторитетомъ.

Авторитетъ отозвался о ней съ большимъ уваженіемъ.

«Ужъ если онъ отзывается о ней такъ», подумалъ мой другъ, «послѣ этого и думать нечего!»...

И онъ въ тотъ же день сдѣлалъ предложеніе.

Послѣ свадьбы онъ тотчасъ пріѣхалъ въ Петербургъ. Первое свиданіе наше было глубоко-трогательно.

— Что, братъ, мое пророчество сбылось? сказалъ я, обнимая его.

Онъ крѣпко прижалъ меня къ своей груди, держалъ такъ около пяти минутъ и, задыхаясь отъ волненія, повторилъ:

— Ну, да, да! ты правъ. Я теперь счастливѣйшій человѣкъ въ мірѣ! Если бъ ты зналъ, какая у меня жена!

Немного прійдя въ себя, онъ началъ мнѣ описывать ея качества и кончилъ такъ:

— Я чувствую, что я не стою ее, что она во сто разъ умнѣе меня, образованнѣе, глубже смотритъ на жизнь. Самъ NN (онъ назвалъ по имени московскій авторитетъ) уважаетъ ее — спроси-ка у него о ней — а ужъ послѣ этого, кажется, прибавлять ничего не остается...

Я съ любопытствомъ и не безъ страха представился ей.

Но, несмотря на уваженіе къ ней авторитетовъ и прочаго, она произвела на меня не совсѣмъ пріятное впечатлѣніе. Высокая, сухощавая, лѣтъ за 30, съ педантскимъ выраженіемъ въ лицѣ, съ сухими, угловатыми и рѣзкими манерами, она скорѣе могла оттолкнуть отъ себя, нежели привлечь къ себѣ. Обозрѣвъ ее, я невольно прошепталъ: «О, бѣдный другъ мой!...»

И чѣмъ болѣе я узнавалъ ее впослѣдствіи и наблюдалъ за нею, тѣмъ грустнѣе и чаще говорилъ: «О, бѣдный другъ мой!...»

Я это повторяю и до сихъ поръ.

Одинъ изъ нашихъ общихъ пріятелей, толкуя о ней, замѣтилъ, что она торжественностью манеръ своихъ напоминаетъ театральныхъ царицъ на Александринскомъ театрѣ.

— Нѣтъ, возразилъ другой нашъ пріятель: — она болѣе походитъ на бѣглаго солдата въ юбкѣ.

Я болѣе согласенъ съ послѣднимъ.

Я не завидую супружескому счастію моего пріятеля; но онъ находитъ себя счастливымъ (а женатъ онъ 15 лѣтъ). Онъ до сихъ поръ считаетъ свою супругу очень умной женщиной, но объ ея граціи, эстетическомъ тактѣ и объ эстетикѣ Гегеля вообще умалчиваетъ. Даже къ Гегелю онъ питаетъ, какъ я замѣтилъ, нѣкоторое отвращеніе.

Несмотря на свое счастіе, онъ, однако, такъ и норовитъ всякій разъ выбѣжать изъ дому подъ какимъ нибудь предлогомъ.

Дѣтей у нихъ нѣтъ.

И это слава Богу!...

III.

ПРОДОЛЖЕНІЕ ИСТОРІИ ОБЪ УВЛЕЧЕНІЯХЪ МОЕГО ДРУГА.—СЛЕЗЫ ПО ПОВОДУ ЛИТЕРАТУРНАГО ФОНДА, И ПРОЧЕЕ.

Неужели и послѣ такихъ сильныхъ жизненныхъ испытаній мой другъ не пересталъ еще увлекаться?

Нѣтъ, онъ все увлекается...

Вотъ какихъ господъ производитъ Петербургъ!

Можно ли послѣ этого упрекать его въ холодности?

Лѣтъ пять тому назадъ одинъ изъ нашихъ старыхъ знакомыхъ, котораго мой другъ почему-то считаетъ героемъ честности и котораго всѣ мы знаемъ за человѣка весьма обыкновеннаго и притомъ не весьма акуратнаго въ денежныхъ дѣлахъ, адресовался къ нему съ просьбой достать три тысячи на полгода. Господинъ этотъ сказалъ, что отъ трехъ тысячъ зависитъ его честь и что если онъ не будетъ имѣть ихъ послѣзавтра, то ему болѣе ничего не остается, какъ застрѣлиться.

Что дѣлать въ такомъ случаѣ?

Самое простое и легкое отвѣчать:

— Денегъ у меня нѣтъ. Застрѣлитесь, если хотите.

Но мой другъ, у котораго никогда не бываетъ въ наличности много денегъ—ему жена выдаетъ ежедневно только на мелочные расходы—рыскаетъ по всему городу, чтобы достать эти деньги подъ свое поручительство.

— Да, Бога ради, изъ чего ты такъ хлопочешь? говорятъ ему пріятели:—если бы это было для друга, для человѣка

близкаго тебѣ, въ которомъ ты увѣренъ, мы не сказали бы тебѣ ни полслова; а то вѣдь этотъ господинъ-то еще сомнительный...

— Я увѣренъ въ немъ болѣе, нежели въ самомъ себѣ, нежели во всѣхъ васъ! восклицаетъ мой другъ.

— Это, кажется, увлеченіе, замѣчаютъ ему.

— Ахъ, Бога ради! Опять ваши шуточки! кричитъ мой другъ, затыкая уши.

Странный человѣкъ!... Какія же шуточки?...

Онъ достаетъ деньги у ростовщика и подписывается подъ заемнымъ письмомъ, какъ поручитель.

Проходитъ полгода.

Занявшій господинъ оказывается, разумѣется, несостоятельнымъ, и за него платитъ мой другъ, перенося за эти деньги страшную сцену съ супругой, вооруженной Гогелемъ.

И деньги эти до сихъ поръ не возвращены ему!

Онъ, впрочемъ, это скрываетъ отъ насъ и увѣряетъ, что онъ получилъ ихъ.

Состояніе моего друга теперь очень разстроено, потому что супруга его, несмотря на свой философскій взглядъ, отличается суетностью и тщеславіемъ необыкновеннымъ, издерживаетъ пропасть на разныя тряпки, въ которыя она наряжается, потому что до сихъ поръ имѣетъ претензію нравиться и подрумяниваетъ свои сухощавыя и пожелтѣвшія щеки; по четвергамъ она открываетъ свой салонъ, въ который пріятели ея супруга не допускаются; держитъ экипажъ и человѣка въ ливрейномъ фракѣ, съ гербами на пуговицахъ и въ гороховыхъ штиблетахъ, и полулежитъ на туровскомъ пате́, подъ огромнымъ листомъ сзади стоящаго банана. Гости ея находятъ ее почти всегда въ этомъ положеніи и на этомъ мѣстѣ съ Шиллеромъ, или съ Гёте въ рукѣ, особенно съ послѣднимъ, который написалъ ей въ альбомъ нѣсколько строчекъ, когда она въ молодости, подъ именемъ русской геніальной дѣвушки, ѣздила въ Германію.

Этотъ альбомъ постоянно лежитъ на столѣ въ ея салонѣ въ великолѣпномъ футлярѣ, отдѣльно отъ всѣхъ книгъ и обыкновенно по четвергамъ переходитъ изъ рукъ въ руки.

И, несмотря на то, что подъ глазами у моего друга образовались морщины въ видѣ лапокъ, что волосы его совсѣмъ

посѣдѣли и лобъ сдѣлался необыкновенной величины, съ тремя глубокими чертами, а уши обросли волосами, — несмотря на все переносимое въ жизни, онъ все еще не потерялъ юношескаго энтузіазма и все еще продолжаетъ увлекаться и фантазировать, даже чувствительнѣе прежняго.

Все современное и общественное интересуетъ его въ высшей степени... Пароходы, желѣзныя дороги, откупы, политико-экономическіе споры, крестьянскій вопросъ, политическія событія, литература и журналистика,—все подвергаетъ въ восторгъ его любознательную фантазію... Читаетъ онъ, говоря правду, немного, но за то съ жадностью перебираетъ всѣ газеты и журналы, особенно отечественные. Онъ съ какимъ-то лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ждетъ выхода каждой новой книжки журнала, перелистываетъ нѣкоторыя, особенно замѣчательныя статьи, приходитъ обыкновенно въ умиленіе отъ какой нибудь изъ нихъ и восклицаетъ со слезами:

— Ахъ, какая глубина! какая сила! какое мастерство!... Это чудо! Ну, это статья капитальная! Меня даже лихорадка била, когда читалъ ее... У! какого человѣка пріобрѣтаетъ русская литература!... И какой жизнью кипятъ теперь всѣ наши журналы, прибавляетъ онъ: — сердце радуется... Благодарю Бога, что я дожилъ до такого времени!...

И слезы при этомъ такъ и капаютъ по щекамъ его.

Не такъ давно я встрѣтилъ его на Невскомъ проспектѣ.

Онъ бросился ко мнѣ на шею и обнялъ меня; лицо его сіяло такимъ счастіемъ, какъ будто онъ получилъ наслѣдство.

— Ты слышалъ? вскрикнулъ онъ.

— Что такое?

— Вѣдь ужъ Т* получилъ 200 руб. для литературнаго фонда!

И онъ при этомъ чуть не подпрыгнулъ на тротуарѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ? я очень радъ.

— Да что же ты, братецъ, принимаешь это такъ равнодушно? Вѣдь это отличное предпріятіе!... Общества для вспомоществованія литераторовъ существовали давно вездѣ; только у насъ до сихъ поръ не было. Честь и слава тому, кто первый поднялъ вопросъ объ этомъ дѣлѣ, и честь и слава тому, кто первый внесъ на это предпріятіе деньги... А для тебя это какъ будто все равно!...

— Какой же ты чудакъ! отвѣчалъ я. — Я совершенно согласенъ съ тобой, что это—прекрасное и благородное предпріятіе, объ этомъ и спору быть не можетъ. Я отъ души желаю, чтобы оно осуществилось скорѣе. Но неужели ты хочешь, чтобы я изъявлялъ свой восторгъ криками, слезами и прыганьемъ? Милый другъ, такое внѣшнее выраженіе восторга намъ не къ лицу и не по лѣтамъ. «Что за душа!» подумалъ я однако и крѣпко пожалъ руку моего друга...—Вотъ, продолжалъ я: —во внутреннихъ губерніяхъ говорятъ, что весь Петербургъ помѣшанъ на одномъ личномъ интересѣ, что всѣ мы зачерствѣлые эгоисты... Боже мой! Боже мой! Посмотрѣли бы эти господа на тебя... Вѣдь ты только живешь для другихъ и другими... Ну, казалось бы, какое тебѣ дѣло до литературнаго фонда: ты не литераторъ, и никогда ничего не получишь изъ этого фонда ни копѣйки, а у тебя и отъ него льются слезы...

Мой другъ былъ очевидно тронутъ моими словами, но въ то же время онъ какъ будто замѣтилъ въ нихъ маленькую иронію, и потому на физіономіи его выразилось умиленіе смѣшанное съ замѣшательствомъ.

— Клянусь тебѣ Богомъ, сказалъ онъ въ волненіи и съ жаромъ ударяя себя въ грудь: —всякій шагъ впередъ на пути просвѣщенія меня такъ радуетъ и такъ дѣйствуетъ на меня, какъ будто я вдругъ и неожиданно получилъ... ну... что бъ, напримѣръ? милліонъ... или какъ будто меня произвели въ большой чинъ. Я ужъ таковъ... Что дѣлать!... Господи! да какъ же не радоваться, напримѣръ, что скоро вся Россія покроется сѣтью желѣзныхъ дорогъ?...

И на глазахъ моего друга снова показались слезы.

— Вы меня упрекаете въ увлеченіи, продолжалъ онъ:— можетъ быть, я и увлекаюсь; но я счастливъ, когда могу оказать услугу какому нибудь хорошему человѣку; ей Богу...

— Я не сомнѣваюсь въ этомъ, мой милый другъ, перебилъ я:—но бѣда въ томъ, что ты иногда дурнаго человѣка принимаешь за очень хорошаго и, въ ущербъ собственныхъ интересовъ, тратишь свои силы и свое время для такого господина, который не стоитъ твоихъ хлопотъ...

— Ну, что жъ дѣлать? я таковъ! произнесъ онъ печально, разводя руками.

Дѣйствительно, самоотверженіе моего друга не имѣетъ мѣры. Онъ вѣчно бѣгаетъ, разъѣзжаетъ и хлопочетъ по чужимъ дѣламъ, самъ напрашивается у всѣхъ на какое нибудь порученіе, вѣчно кажется озабоченнымъ и занятымъ, хотя въ сущности серьёзно ничего не дѣлаемъ. Къ серьёзному дѣлу онъ вовсе неспособенъ и самъ немножко понимаетъ это, но страшно любитъ, чтобы его принимали за дѣловаго человѣка и передъ незнакомыми всегда прикидывается дѣловымъ.

Въ сущности, онъ только способенъ сочувствовать всему прекрасному и благородному, умиляться и восторгаться.

Онъ умиляется отъ самыхъ малыхъ причинъ. Поводомъ къ его умиленію служитъ хорошій обѣдъ или ужинъ, освѣщеніе и нѣсколько добрыхъ пріятелей. Въ такія минуты онъ доходитъ до опьяненія, не выпивъ еще рюмки вина; глаза его обыкновенно наполняются слезами, и онъ, не будучи въ состояніи удерживать себя, восклицаетъ:

— Ахъ, Господи, какъ я теперь счастливъ! Если бъ вы знали, какъ я люблю всѣхъ васъ! какъ мнѣ хорошо!...

Наливаетъ себѣ полный стаканъ вина и выпиваетъ его залпомъ, а иногда бросается къ кому нибудь изъ пріятелей и начинаетъ его обнимать и цѣловать.

Въ провинціи полагаютъ также, что петербургскіе люди неспособны къ родственнымъ чувствамъ; но такого нѣжнаго, горячаго, любящаго роднаго, каковъ мой другъ, не найдти отъ

«Финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды!»

Достаточно попасть къ нему какимъ нибудь образомъ въ родство, чтобы сдѣлаться мгновенно въ глазахъ его благороднымъ, честнѣйшимъ, умнѣйшимъ, просвѣщеннѣйшимъ и даже геніальнѣйшимъ изъ людей. Для каждаго изъ родныхъ, собственно своихъ или съ женниной стороны — все равно до седьмаго колѣна — онъ во всякую данную минуту готовъ пожертвовать жизнію, въ случаѣ необходимости. Онъ распинается за каждаго изъ нихъ.

Если у него въ числѣ родственниковъ оказывается самодовольный и наглый невѣжда, партизанъ всякаго притѣсненія и насилія, и если кто нибудь изъ пріятелей выскажетъ моему другу свое откровенное мнѣніе касательно этого родственника и представитъ на то очевидные факты, другъ мой приходитъ,

правда, въ крайнее смущеніе, но всетаки начинаетъ обыкновенно увѣрять пріятеля, что тотъ ошибается, что, можетъ быть, факты и противъ его родственника, но въ сущности онъ всетаки человѣкъ прелестный, свободно мыслящій, другъ всякаго разумнаго прогресса, и прочее, и прочее.

И родственникъ искренно кажется ему таковымъ, несмотря ни на какіе обличительные противъ него факты, потому что въ родственникѣ онъ положительно не можетъ видѣть дурныхъ сторонъ...

Въ послѣднее время другъ мой постоянно находится въ состояніи экстаза. Каждая журнальная статья, въ которой говорится о пользѣ гласности или о пользѣ публичнаго судопроизводства, о какой нибудь новой желѣзной дорогѣ у насъ или заграницей, или новой компаніи на акціяхъ, объ улучшеніи участи крестьянъ, или объ улучшеніи петербургскихъ мостовыхъ, повергаетъ его въ несказанное умиленіе.

Онъ въ такихъ случаяхъ ко всѣмъ пріятелямъ бросается на шею и говоритъ:

— Ну, слава Богу, вотъ до какихъ временъ мы дожили! слава Богу!

Онъ до того увлекается, что смѣшиваетъ порыванія, стремленія и предположенія съ осуществленіемъ. Ему кажется уже, что въ Петербургѣ отличная и гладкая, какъ паркетъ, мостовая, потому только, что напечатана гдѣ-то статейка объ улучшеніи мостовыхъ...

Восторгъ его не останавливается на однихъ отечественныхъ вопросахъ, предпріятіяхъ и событіяхъ: онъ также горячо сочувствуетъ всемірнымъ предпріятіямъ и вопросамъ.

Учрежденіе компаніи для прорытія Суэзскаго перешейка такъ поразило его, что онъ три недѣли къ ряду разъѣзжалъ по своимъ пріятелямъ и знакомымъ и только объ этомъ и говорилъ, горячо пожимая ихъ руки.

— Это великое событіе, великое! И какія неисчислимыя выгоды представляются теперь для европейской торговли!

Онъ досталъ себѣ одну акцію этой компаніи, выпросивъ не безъ труда у жены денегъ на это, и, получивъ, акцію, радовался ей, какъ ребенокъ, долго любовался ею одинъ и потомъ поѣхалъ показывать ее всѣмъ своимъ пріятелямъ.

— Вотъ и я, повторялъ онъ дрожащимъ отъ внутрен-

нихъ ощущеній голосомъ и со слезой на рѣсницѣ: — могу теперь сказать, что буду способствовать этому великому предпріятію!...

Въ сію минуту онъ занятъ итальянскимъ вопросомъ и такъ радуется за Италію, какъ будто она уже получила свободу и независимость...

У меня другъ мой бываетъ всякій день и въ постоянно восторженномъ состояніи... Онъ обнимаетъ меня, прижимаетъ къ груди, проливаетъ слезы умиленія, жметъ мнѣ очень больно руку, въ порывахъ своего увлеченія, и сердится на меня, если я не вполнѣ сочувствую его преувеличеннымъ надеждамъ и не раздѣляю его преувеличенныхъ фантазій.

— Нѣтъ, ты устарѣлъ, братъ! говоритъ отъ мнѣ съ упрекомъ, качая головою.

— Что жъ дѣлать! отвѣчаю я: — но посмотри въ окно: неужели этотъ видъ не охлаждаетъ твоего энтузіазма и не наводитъ на тебя унынія? Грязь, слякоть, мокрыя лепешки снѣга, ямы...

— Барометръ уже поднимается, перебиваетъ онъ меня: — уже поднялся... Завтра непремѣнно будетъ отличная погода, солнце... Ужъ весною запахло...

— Да это завтра!... а посмотри, что сегодня... Весенній запахъ! Я покуда слышу только запахъ сырости и гнили...

Я искренно и отъ всей души люблю моего друга, я вполнѣ цѣню его прекрасное, горячо сочувствующее всѣмъ великимъ и маленькимъ современнымъ вопросамъ сердце; но его вѣчный энтузіазмъ, его постоянно восторженное состояніе переносить не всегда можно, особенно въ дурномъ расположеніи духа и при такой мрачной, измѣнчивой погодѣ, какая была нынѣшнюю зиму въ Петербургѣ. При такихъ обстоятельствахъ, мой другъ такъ раздражаетъ мою жолчь, что я выхожу изъ терпѣнія, говорю ему непріятности, впадаю въ противоположную ему крайность и дѣлаюсь несправедливъ.

Когда онъ на-дняхъ бросился ко мнѣ на шею и заговорилъ о блестящей будущности Италіи, о ея независимости и прочее... (въ этотъ день, надобно замѣтить, была прескверная погода), у меня невольно вырвалось:

— Ахъ, оставь меня, пожалуйста, въ покоѣ съ своей

Италіей: она еще не освобождена; Суэзскій перешеекъ еще не прорытъ... Отложи свой восторгъ до времени... это скучно!...

Очеркъ моего друга не преувеличенъ. Если вы прочтете его, то, вѣрно, откажетесь отъ своего устарѣлаго мнѣнія, что Петербургъ населенъ только одними холодными людьми. Какое! я повторяю, мы всѣ ужасные энтузіасты и увлекающіеся люди, не исключая и меня, нападающаго на энтузіазмъ... только въ дурную погоду...

XLI. ХОРОШІЙ ТОНЪ.

I.

О ПОМѢШАТЕЛЬСТВѢ НА ХОРОШЕМЪ ТОНѢ И ПРИМѢРЫ ТАКОЙ БОЛѢЗНИ, ВЕСЬМА РАСПРОСТРАНЕННОЙ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ, А ТАКЖЕ ОПРАВДАНІЕ НАШЕГО XIX ВѢКА, НА КОТОРЫЙ НАПАДАЮТЪ НѢКОТОРЫЕ МЫСЛИТЕЛИ И ПОЭТЫ.

Къ числу самыхъ неизлечимыхъ помѣшательствъ принадлежитъ, безъ всякаго сомнѣнія, помѣшательство на *великосвѣтскости и хорошемъ тонѣ*. Эта психическая болѣзнь, какъ замѣчено извѣстными психіатрами, въ сильной степени распространена въ столичныхъ городахъ, въ которыхъ, по преимуществу, кишатъ суетность, пустота и тщеславіе и гдѣ искони всѣмъ жертвуютъ для внѣшняго блеска, на который еще до сихъ поръ съ тупымъ благоговѣніемъ смотрятъ многіе... Но, безъ сомнѣнія, нигдѣ нѣтъ такого количества страдальцевъ, рехнувшихся на *хорошемъ тонѣ*, какъ въ нашей Сѣверной Пальмирѣ. Въ Петербургѣ вы встрѣчаете такого рода людей на каждомъ шагу и до того привыкаете къ этому явленію, что оно не только перестаетъ возбуждать ваше состраданіе, но вы сами невольно дѣлаетесь нѣсколько причастными этой болѣзни, повторяя безпрестанно въ разговорѣ, хотя не совсѣмъ сознательно, но очень серьёзно, фразы въ родѣ слѣдующей: «всетаки, однако, это человѣкъ хорошаго тона», и ощущаете нѣкоторую пріятность, сближаясь съ человѣкомъ такого тона, совершенно забывая, что это человѣкъ больной, страдающій, мономанъ, съ которымъ нѣтъ возможности поддерживать ни-

какихъ серьёзныхъ человѣческихъ отношеній. Я это сейчасъ объясню вамъ примѣромъ.

Я зналъ одного господина, отецъ котораго былъ аптекаремъ. Аптека его считалась первое аптекою въ столицѣ; всѣ знаменитые петербургскіе доктора предписывали своимъ паціентамъ брать лекарства непремѣнно у него и звали его дружески Францомъ Иванычемъ.

Францъ Иванычъ подъ протекціею знаменитыхъ докторовъ нажилъ себѣ въ короткое время значительное состояніе и, что называется, вышелъ въ люди. Выйдя въ люди, онъ тотчасъ разошелся со всѣми своими старыми пріятелями и товарищами по фармацевтикѣ: Фрицомъ, Карломъ, Людвигомъ и проч., и началъ вести знакомства и угощать великолѣпными обѣдами своихъ покровителей — ихъ докторскихъ превосходительствъ съ сіяющими грудями. Ихъ докторскія превосходительства ввели къ нему въ домъ множество другихъ превосходительствъ — охотниковъ до даровыхъ и хорошихъ обѣдовъ. Желудки чрезвычайно благодѣтельно дѣйствуютъ на сердца, особенно генеральскіе, не только смягчая, но даже умиляя ихъ, и ихъ превосходительства, забывая неизмѣримое разстояніе, которое отдѣляло ихъ отъ какого нибудь... аптекаря, болѣе, нежели снисходительно, пожимали руки Франца Иваныча и отзывались о немъ съ весьма лестной стороны. Говорили даже, что Францъ Иванычъ тѣмъ изъ своихъ почетныхъ знакомыхъ, которые были покруннѣе, отпускалъ лекарства даромъ. Все это послужило ловкому аптекарю къ снисканію себѣ значительной протекціи.

Единственный сынъ Франца Иваныча, окончившій курсъ въ университетѣ, получилъ тотчасъ по выпускѣ штатное мѣсто и года черезъ два украшенъ былъ лестнымъ званіемъ, съ которымъ сопряженъ красивый и блестящій мундиръ. Въ день полученія имъ этой милости, счастливый отецъ задалъ баснословное пиршество его благодѣтельному начальнику и, въ порывѣ глубокой признательности, со слезами на глазахъ даже поцѣловалъ его руку, что очень пріятно подѣйствовало на его превосходительство, хотя онъ и замѣтилъ, какъ будто разсердясь: «Какъ тебѣ это не стыдно! Полно, любезный другъ, полно!... Что это ты!»

Францъ Иванычъ передъ этимъ событіемъ сдалъ, разу-

мѣется, на выгодныхъ условіяхъ, свою аптеку, не считая уже приличнымъ при новомъ званіи своего сына заниматься вареніемъ микстуръ и приготовленіемъ пластырей, и принялъ столь важный видъ, что его скорѣе можно было почесть за дѣйствительнаго статскаго совѣтника въ ходу, чѣмъ за аптекаря, остановившаго ходъ своей торговли.

На воротахъ его четырехъ-этажнаго дома появился билетъ съ надписью: «Домъ дворянина Франца Иваныча Шварца».

Никто, впрочемъ, не могъ бы носить съ такимъ достоинствомъ это лестное званіе, какъ Францъ Иванычъ. Если его нельзя было принять за столбоваго русскаго дворянина, ибо его нѣмецкій акцентъ и особаго рода грація, свойственная только нѣмцамъ, были тому препятствіемъ, то по надменности его взгляда весьма легко было подумать, что онъ принадлежитъ къ гордой кастѣ нѣмецкихъ бароновъ, потомковъ *крѣпкоголовыхъ* рыцарей, по выраженію Пушкина.

Адольфъ Францовичъ сынъ Франца Иваныча, былъ истинною радостью и утѣшеніемъ своего достойнаго родителя и не менѣе достойной родительницы Луизы Карловны, дочери токарныхъ дѣлъ мастера, пользовавшагося въ Петербургѣ большою извѣстностью въ концѣ царствованія Александра I. Онъ, такъ сказать, распространялъ блескъ на все семейство и много способствовалъ къ приданію возможно хорошаго тона папенькѣ, маменькѣ и всему дому. Его слово было въ семействѣ для всѣхъ закономъ, его одобреніе — величайшею наградою. Самого себя онъ устроилъ съ такою тонкою ловкостію и обставилъ такъ роскошно, что даже многіе герои хорошаго тона, изъ петербургской молодежи извѣстныхъ фамилій, отдавали ему справедливость, сквозь пальцы смотрѣли на его происхожденіе и снисходительно допускали его въ свой великосвѣтскій кружокъ. Тѣ же изъ молодыхъ петербургскихъ людей, которые принадлежали по своему происхожденію къ среднему дворянству, но были проникнуты съ ногъ до головы высшими потребностями, — то есть поставляли цѣлію своей жизни достиженіе хорошаго тона и сближеніе съ великосвѣтскими его представителями, — брали въ образецъ себѣ Адольфа Францовича и считали весьма лестнымъ для себя его расположеніе.

Одинъ изъ таковыхъ, добрѣйшей души человѣкъ и това-

рищъ Адольфа Францовича по университету, имѣлъ счастіе пользоваться его особенною дружбою. Товарищъ благоговѣлъ передъ нимъ и всѣми силами своей доброй и прекрасной души старался во всемъ копировать его. Адольфъ Францовичъ былъ для него высочайшимъ идеаломъ, и онъ, отзываясь о немъ, доходилъ въ энтузіазмѣ до поэзіи, до лиризма, хотя въ поэзіи ничего не смыслилъ.

Онъ снималъ съ него покрой платья, повязку галстуха, прическу, подражалъ его походкѣ и прочее, даже усиливался картавить букву *р* такъ, какъ это дѣлалъ его другъ.

Онъ полагалъ, что дружба, связывавшая ихъ, такъ же крѣпка и прочна, какъ дружба Ореста и Пилада, и что они вслѣдствіе своей дружбы пріобрѣтутъ себѣ также историческую извѣстность.

Онъ оказывалъ Адольфу Францовичу различныя мелкія услуги съ какимъ-то подобострастіемъ.

Въ нашей мелкой жизни въ крупныхъ услугахъ надобности не встрѣчается; но если бы потребовалась для Адольфа Францовича какая нибудь не только крупная, но даже страшная жертва, другъ его готовъ былъ на нее въ каждую данную минуту... Я былъ убѣжденъ, что онъ не задумываясь пожертвовалъ бы для него не только жизнью, даже своимъ небольшимъ капиталомъ... Читатель, можетъ быть, улыбнется при этомъ; но я говорю нешутя... Несмотря на эгоизмъ и корыстолюбіе, въ которыхъ упрекаютъ наше время, несмотря на то, что все современное человѣчество, какъ полагаютъ нѣкоторые мыслители и поэты, преклонилось передъ золотыми мѣшками (какъ будто люди прежняго времени не преклонялись передъ ними!), несмотря на громы и молніи, которыми разитъ современное общество г. Сухонинъ въ своемъ несравненномъ произведеніи, въ своей «трагедіи XIX вѣка Деньги»,— несмотря на все это, я вступаюсь за нашъ вѣкъ: въ немъ есть умилительные примѣры самой нѣжной и непоколебимой дружбы, доходящей до самоотверженія. Факты такой дружбы я даже считаю священнымъ долгомъ заявлять передъ цѣлымъ свѣтомъ, въ оправданіе этого бѣднаго XIX вѣка, который называютъ вѣкомъ промышленнымъ, *сухимъ*, *положительнымъ*, *эгоистическимъ* и прочее. Вотъ одинъ изъ такихъ фактовъ:

Нѣжнѣйшая дружба связывала одного глубокомысленнаго

человѣка, почти философа, съ однимъ блестящимъ и остроумнымъ господиномъ. Извѣстно, что контрасты всегда сходятся. Остроумный господинъ, происхожденія не слишкомъ аристократическаго, жилъ на барскую ногу, пріобрѣлъ аристократическія замашки и пріемы и совсѣмъ запутался въ денежныхъ дѣлахъ. Въ эту критическую для него минуту, его другъ-философъ получаетъ въ наслѣдство значительный капиталъ. Надобно замѣтить, что философъ до этого вовсе не отличался щедростью и даже нѣсколько времени послѣ полученія наслѣдства обнаруживалъ разсчетливость, которая одною только чертою отдѣлялась отъ скупости; но его дружба и довѣренность къ остроумному господину не имѣли границъ. И когда послѣдній предложилъ философу, чтобы онъ отдалъ ему свой капиталъ за извѣстные проценты, философъ, даже не задумавшись, бросился къ своему другу на шею, обнялъ его со слезами и произнесъ:

— Вотъ возьми... Я отдаю тебѣ все, что я имѣю... Теперь въ твоихъ рукахъ моя жизнь и честь!...

Философъ находится, говорятъ, въ сію минуту въ самомъ бѣдственномъ положеніи: ему угрожаетъ тюрьма, потому что остроумный другъ не платитъ ему ни капитала, ни процентовъ; но страдающій философъ, долженствующій скрываться отъ своихъ кредиторовъ на чердакахъ, въ то время, какъ его другъ, которому онъ ввѣрилъ свою честь, кушаетъ устрицы и разъѣзжаетъ въ каретѣ, на замѣчаніе скептиковъ: «какъ же вы ввѣрили такимъ образомъ все ваше состояніе человѣку, не имѣющему ничего, кромѣ остроумія?» отвѣчаетъ: «Я ввѣрился человѣку, котораго я всегда зналъ за честнѣйшаго человѣка; онъ мой другъ, и я до сихъ поръ увѣренъ въ немъ такъ, какъ въ самомъ себѣ». Одно только дурно, что философъ начинаетъ, кажется, терять уже вѣру въ самого себя...

Вотъ дружба-то! Называйте же послѣ этого XIX вѣкъ эгоистическимъ вѣкомъ!...

Въ самой отдаленной древности нельзя найти примѣровъ такой довѣрчивости и дружбы.

Все это я привелъ мимоходомъ, только для оправданія нашего XIX вѣка, который я считаю *великимъ* вѣкомъ и нападокъ на который не могу переносить равнодушно...

Обратимся теперь къ другу Адольфа Францовича.

Я сказалъ, что его другъ готовъ былъ для него на всѣ услуги и оказывалъ ему эти услуги почти ежедневно.

Портретъ Адольфа Францовича висѣлъ въ кабинетѣ у него на самомъ видномъ мѣстѣ, въ орѣховой рамѣ съ удивительной рѣзьбой, и другъ глядѣлъ на него всегда съ особеннымъ чувствомъ. При взглядѣ на портретъ глаза его загорались и на вопросъ: «чей это портретъ?» онъ отвѣчалъ обыкновенно съ жаромъ:

— О! это мой другъ, лучшій и совершеннѣйшій изъ людей!... Это образцовый человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ! Въ немъ все: и умъ, и образованіе, и утонченная свѣтскость! Это типъ человѣка *хорошаго тона!* Я горжусь имъ!

Въ кабинетѣ Адольфа Францовича висѣлъ также портретъ его восторженнаго друга, хотя не въ такой богатой рамкѣ и не на такомъ видномъ мѣстѣ, въ числѣ другихъ его великосвѣтскихъ знакомыхъ съ блестящими именами, и когда эти послѣдніе спрашивали у Адольфа Францовича: «что это за господинъ?» Адольфъ Францовичъ отвѣчалъ обыкновенно небрежно и несовсѣмъ охотно:

— Это такъ... портретъ одного изъ моихъ товарищей по университету...

Увы! Адольфъ Францовичъ нѣсколько смущался тѣмъ, что онъ имѣетъ друга, не принадлежащаго въ строгомъ смыслѣ къ великосвѣтскому кружку, или къ *нашему кружку*, какъ онъ обыкновенно выражался... Здѣсь я невольно останавливаюсь и сознаюсь, что, дѣйствительно, деньги имѣютъ нѣкоторое значеніе и въ нашемъ великомъ вѣкѣ!...

Другъ Адольфа Францовича принадлежалъ къ старинному дворянскому роду... чуть ли не къ суздальскимъ дворянамъ; но онъ имѣлъ состояніе ограниченное, протекцію слабую, а Адольфъ Францовичъ, съ своими деньгами, составленными изъ микстуръ и пластырей, перегналъ во всемъ своего друга и составилъ себѣ почти блистательное общественное положеніе. Если бъ какой нибудь господинъ, надутый своимъ именемъ, поморщился отъ его имени, онъ могъ бы гордо запѣть ему:

«Что въ имени тебѣ моемъ?»

— У меня деньги, которыя даютъ и имя, и почести!...

Но другъ Адольфа Францовича преклонялся не передъ его деньгами: онъ благоговѣлъ передъ его *хорошимъ тономъ*. Этотъ тонъ... qui fait la musique, могутъ оцѣнивать только немногіе, а другъ Адольфа Францовича принадлежалъ именно къ этимъ немногимъ.

Что такое, въ самомъ дѣлѣ, деньги безъ хорошаго тона? Мало ли развелось на свѣтѣ милліонеровъ съ песиками или грубыхъ мужиковъ съ бородами?... Какой же такъ называемый *порядочный* человѣкъ рѣшится прогуляться подъ ручку съ однимъ изъ такихъ милліонеровъ?...

Другъ Адольфа Францовича превыше всего въ человѣкѣ ставилъ хорошій тонъ: онъ распростирался передъ кумиромъ comme-il-faut'а и въ своемъ другѣ чествовалъ одного изъ первыхъ жрецовъ его. Онъ почти ничего не предпринималъ безъ его совѣтовъ, повѣрялъ ему всѣ свои душевные лирическіе порывы, всѣ тайны своего милаго, нѣжнаго и добраго сердца.

Увлеченный этимъ сердцемъ, онъ полюбилъ дѣвушку, въ которой соединилось все: красота, умъ, образованіе, грація,— все... кромѣ денегъ и блестящаго имени. Но мысль, что онъ допустилъ себя влюбиться безъ одобренія Адольфа Францовича, — испугала его. Съ трепетомъ онъ ожидалъ его слова. Когда же Адольфъ Францовичъ одобрилъ его выборъ и замѣтилъ притомъ, что его невѣста дѣвушка *хорошаго тона*, другъ совершенно вышелъ изъ себя и обнаружилъ такой восторгъ, такой лирическій порывъ, который уже вовсе неприличенъ человѣку *хорошаго тона*.

Замѣтивъ, однако, свой промахъ, онъ поправился, принялъ немедленно живописную позу, вставилъ въ глазъ лорнетъ и завелъ съ своимъ другомъ тотъ изящный свѣтскій разговоръ о ничемъ, который умѣютъ вести только люди *хорошаго тона*.

Но сердце, благородное, доброе сердце, вырывалось у него безпрестанно наружу въ дружескихъ изліяніяхъ, во вредъ этому неумолимому *хорошему тону*, и онъ снова схватилъ за руку Адольфа Францовича и произнесъ съ нѣкоторою яростью:

— Не правда ли, другъ, наши отношенія не измѣнятся? Моя женитьба не повредитъ имъ? Ты будешь ѣздить къ намъ,

проводить у насъ вечера?... Вѣра оцѣнитъ твои достоинства. Она ужъ и теперь отъ тебя въ восторгѣ. Вѣрь мнѣ, она умѣетъ оцѣнить *хорошій тонъ*. Но клянусь тебѣ, что если бы мой выборъ тебѣ не понравился, если бы ты не нашелъ въ ней *хорошаго тона*, я, при всей любви моей къ ней, не рѣшился бы жениться... Видишь ли, какъ я люблю тебя!

И, послѣ этихъ лирическихъ восклицаній, онъ вскочилъ со стула, остановился передъ Адольфомъ Францовичемъ и принялъ новую, не менѣе живописную позу. Этотъ лиризмъ вызвалъ ироническую улыбку на уста Адольфа Францовича, которую онъ, впрочемъ, смягчилъ дружескимъ выраженіемъ глазъ.

— Что за фразы! произнесъ онъ, слегка покачивая своею головою и поправляя свои воротнички. — Съ какой стати я измѣнюсь къ тебѣ!

— И ты будешь моимъ шаферомъ?

— Съ удовольствіемъ.

— Благодарю, благодарю!

— Ты чудакъ! замѣтилъ онъ: — для чего ты все принимаешь такъ трагически?... Будь, пожалуйста, проще и хладнокровнѣе... Извини меня, но я долженъ тебѣ замѣтить, что къ человѣку *хорошаго тона* такіе восторженные порывы нейдутъ...

Какъ ни было больно это замѣчаніе, но другъ созналъ внутренно его справедливость и послѣ мучительно упрекалъ себя въ томъ, что не можетъ уравновѣшивать порывовъ своего сердца, этихъ прекрасныхъ лирическихъ порывовъ съ требованіями *хорошаго тона*...

Однажды между другомъ Адольфа Францовича и его товарищемъ, человѣкомъ дурнаго тона, котораго онъ уважалъ, однако, за его прямоту и честность, зашла рѣчь объ Адольфѣ Францовичѣ.

— И ты думаешь, что онъ любитъ тебя! сказалъ человѣкъ дурнаго тона.

— Еще бы! онъ мой *первый* другъ! Я знаю, что для меня онъ готовъ на все...

— Полно! Онъ, братъ, никого не любитъ, кромѣ самого себя... Нашелъ любовь въ автоматѣ, который двигается однимъ приличіемъ и дышитъ только однимъ *хорошимъ тономъ!*

Чортъ бы васъ побралъ съ вашимъ тономъ! И еще аристократа корчитъ! Хорошъ аристократъ съ банкой микстуры и съ трубочными янтарями въ гербѣ!...

— Однако, любезный, имъ не пренебрегаютъ люди, принадлежащіе къ самому высшему обществу... Онъ уменъ, образованъ и ведетъ себя съ такою утонченностью, которой могутъ позавидовать даже тѣ, которые принадлежатъ по своему происхожденію къ самому высшему свѣту.

— Я этихъ вашихъ утонченностей не понимаю, грубо возразилъ человѣкъ дурнаго тона:—это все, по-моему, дребедень... Докажетъ тебѣ дружбу этотъ человѣкъ! Придетъ время—вспомяни меня—онъ на тебя и смотрѣть-то не захочетъ, не только дружбу съ тобой вести.

— Никогда! никогда! этого быть не можетъ!... Ради Бога, не говори мнѣ дурно о человѣкѣ, передъ которымъ я...

Другъ Адольфа Францовича остановился, какъ бы не находя достойнаго слова, и черезъ мгновеніе добавилъ съ лирическимъ жаромъ:

— Благоговѣю... Я и слушать ничего не хочу... Наша дружба непоколебима!

«Добрый, хорошій человѣкъ!» подумалъ онъ, съ сожалѣніемъ глядя на человѣка дурнаго тона, «но имѣетъ закоренѣлую ненависть ко всѣмъ *порядочнымъ* людямъ, къ людямъ *хорошаго тона*, какъ всѣ люди... дурнаго тона!...»

II.

О ТОМЪ, ЧТО СВЯЩЕННЫЯ ЧУВСТВА ДРУЖБЫ УНИЧТОЖАЮТСЯ ПЕРЕДЪ УСЛОВІЯМИ ХОРОШАГО ТОНА. — НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О ХОРОШЕМЪ И ДУРНОМЪ ТОНѢ.

Адольфъ Францовичъ, который поднимался очень легко и безъ большихъ трудовъ по служебной лѣстницѣ и съ каждымъ годомъ украшалъ грудь своего блестящаго мундира разноцвѣтными ленточками и крестиками, иностранными и отечественными, первое время послѣ женитьбы своего лирическаго друга посѣщалъ его довольно часто. Онъ, по его просьбѣ, принималъ даже весьма дѣятельное участіе въ устройствѣ его квартиры, такъ чтобы она вполнѣ соотвѣтствовала строгимъ требованіямъ *хорошаго тона*. Такое участіе тронуло нашего

свѣтскаго лирика почти до слезъ и еще болѣе укрѣпило его вѣрованіе въ непоколебимость дружбы къ нему Адольфа Францовича. Адольфъ Францовичъ подавалъ ему также совѣты насчетъ цвѣта и фасона экипажей и даже, говорятъ, самъ собственноручно начертилъ карандашомъ, какимъ образомъ должно нарисовать гербъ на дверцахъ кареты.

Сообщая потомъ все это своей супругѣ, другъ Адольфа Францовича восклицалъ:

— Видишь ли, какой это удивительный человѣкъ! Теперь можешь ли ты сомнѣваться въ его дружбѣ ко мнѣ?

И черезъ минуту прибавлялъ съ самодовольною улыбкою:

— Каковы у *насъ* друзья-то-съ? Не правда ли, *неглупо* имѣть такого друга?...

Супруга, пріятно улыбаясь, кивала граціозно головкой; но она признавалась потомъ людямъ близкимъ, что этотъ образцовый другъ, образецъ *хорошаго тона*, несмотря на всю свою утонченную любезность, наводилъ на нее уныніе и раздражалъ ея нервы своею изящною искусственностью.

Адольфъ Францовичъ производилъ своею особою точно такое же впечатлѣніе и на меня, и на многихъ изъ нашихъ общихъ знакомыхъ. Мы безусловно любовались покроемъ его платья, повязкою его галстука, бѣльемъ, прическою, перчатками, сапогами, манерами, движеніями, ровнымъ голосомъ, никогда не возвышавшимся и не понижавшимся, полуулыбками— онъ не позволялъ себѣ даже откровенной улыбки!—но намъ всегда казалось, что это не человѣкъ съ плотью и кровью, а какой-то изящный трупъ или красивая кукла, искусно сдѣланная изъ картона. Я не только никогда не находилъ съ нимъ разговора, несмотря на то, что многіе неглупые люди считали его умнымъ человѣкомъ, но даже всякое живое слово замирало у меня на губахъ при его появленіи...

Я рѣшился какъ-то высказать все это его лирическому другу; но другъ разгорячился и закричалъ:

— Я знаю, господа, вы нападаете на него только потому, что онъ человѣкъ свѣтскій, человѣкъ *хорошаго тона*; но Боже мой!—развѣ это преступленіе? развѣ человѣкъ *хорошаго тона* не имѣетъ сердца, какъ всѣ другіе, и не можетъ имѣть человѣческихъ чувствъ?

— О, нѣтъ! ты ошибаешься, возразилъ я:—вотъ, напри-

мѣръ, ты — ты умѣешь какъ-то искусно соединять горячее сердце, лиризмъ и всѣ человѣческія чувства и ощущенія съ *хорошимъ тономъ*, и при тебѣ легко...

— Что это, насмѣшка? перебилъ онъ и вспыхнулъ.

— Нисколько!

Тогда онъ съ чувствомъ посмотрѣлъ на меня, значительно пожалъ мнѣ руку, и такъ больно, что я чуть не вскрикнулъ. Лирическій порывъ уже закипалъ въ немъ, глаза его загорались, онъ принималъ живописную позу...

Я приготовился слушать его; но на этотъ разъ онъ обманулъ мои ожиданія и кротко, но съ свойственнымъ ему жаромъ, произнесъ:

— Я очень люблю тебя, и потому мнѣ досадно, что ты — *именно ты* — не оцѣняешь этого человѣка... Я знаю Адольфа со школьной скамьи; между нами никогда не было тайнъ: мы передавали другъ другу всѣ малѣйшія наши ощущенія; мы такъ крѣпко связаны другъ съ другомъ, что разорвать наши связи никто и ничто не можетъ... Нѣтъ, повѣрь, это душа горячая, любящая!...

Я не считалъ нужнымъ противорѣчить этому; я даже, по слабости своей, слегка поколебался и подумалъ: «что жъ? можетъ быть...» Но время приготовляло разочарованіе для друга Адольфа Францовича.

Почтенные родители Адольфа Францовича скончались вскорѣ одинъ послѣ другаго. Разсказывали, что онъ получилъ послѣ нихъ, кромѣ четырехъ-этажнаго дома, четыреста тысячъ капитала. Ему было уже за 35 лѣтъ, и очень натуральная мысль — упрочить окончательно свои великосвѣтскія связи посредствомъ брака съ какою нибудь великосвѣтской и титулованной барышней — начинала сильно занимать его. Онъ началъ было приволакиваться за одной изъ таковыхъ, за очень хорошенькой дѣвушкой безъ состоянія (онъ понималъ, что титулованныя особы съ большимъ состояніемъ для него невозможны), онъ было даже почувствовалъ къ ней что-то въ родѣ любви, по крайней мѣрѣ влюбилъ ее въ себя, но, разсмотрѣвъ ее поближе, убѣдился, что она для него недостаточно *хорошаго тона* и вообще не такъ утонченна, чтобы возвыситься до званія его супруги... Къ тому же, хотя она и принадлежала къ хорошей дворянской фамиліи и отчасти къ великосвѣтскому обществу,

но не имѣла никакого титла. Поэтому онъ отложилъ свое намѣреніе жениться на ней и вдругъ пересталъ ѣздить въ домъ ея родителей... Что, однако, если эта бѣдная дѣвушка полюбила его серьёзно? Но Адольфъ Францовичъ не останавливался передъ такого рода вопросами... Какъ можно изящнѣе и удачнѣе декорировать свою личность передъ свѣтомъ — вотъ въ чемъ заключалась для него великая задача жизни. И къ ней-то онъ шелъ бодро, твердо и неуклонно, подавляя въ себѣ человѣческія (по его мнѣнію, вульгарныя) чувства, какъ истинный герой *хорошаго тона*.

Стремленія его, какъ и должно было ожидать, увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Онъ отыскалъ какую-то застарѣвшую въ дѣвицахъ графиню, необыкновенно гордую, всѣ вѣрованія которой заключались въ одномъ *хорошемъ тонѣ*. Потерявъ всякую надежду на блистательный бракъ, о которомъ она грезила до 25 лѣтъ, она наконецъ отдала свою руку (сердца она не могла отдать, за неимѣніемъ его, да въ немъ и не требовалось надобности) Адольфу Францовичу, утѣшаясь мыслью, что онъ... по крайней мѣрѣ, человѣкъ богатый и, притомъ, *хорошаго тона*.

Всѣ въ Петербургѣ уже говорили объ этомъ бракѣ; одинъ только другъ Адольфа Францовича ничего не зналъ и не хотѣлъ этому вѣрить.

— Не можетъ быть! говорилъ онъ: — онъ *мой другъ!* Все это городскія сплетни, потому что онъ мнѣ *первому бы* сказалъ объ этомъ, а я отъ него не слыхалъ ни полъ-слова.

Однако, вѣсть эта нѣсколько смущала его.

— Скажи, пожалуйста, Адольфъ, сказалъ онъ ему при первой встрѣчѣ: — что это за слухи? Весь городъ кричитъ, что ты женишься; одинъ я ничего не знаю, и потому я не хочу вѣрить этому...

Адольфъ Францовичъ полуулыбнулся, по своему обыкновенію.

— Отчего же не вѣришь? сказалъ онъ: — да, это правда. Я женюсь...

Другъ вспыхнулъ.

— На графинѣ N?

— Да.

— Отчего жъ ты мнѣ не хотѣлъ ничего сказать объ

этомъ? Ты знаешь, какъ я тебя люблю, какое участіе принимаю въ тебѣ; какъ все, что касается до тебя, близко мнѣ...

Голосъ друга дрожалъ отъ волненія и огорченія.

— Да какъ-то не случилось, отвѣчалъ лаконически и равнодушно Адольфъ Францовичъ.

Этотъ отвѣтъ поразилъ друга въ самое сердце.

— Ну, Богъ съ тобой! произнесъ онъ:—это мнѣ больно, я не скрываю; но все это, впрочемъ, вздоръ... Я желаю тебѣ отъ всей души, повѣрь мнѣ (и при этомъ онъ ударилъ себя въ грудь), полнаго счастія и вполнѣ увѣренъ, что твой выборъ *вполнѣ* достоинъ тебя... Я ужъ заранѣе всѣмъ сердцемъ люблю твою будущую жену...

И послѣ этихъ словъ онъ бросился обнимать Адольфа Францовича и крѣпко прижимать свои толстыя и горячія губы къ его блѣднымъ щекамъ.

— Скажи мнѣ, отчего ты такъ холоденъ со мной? заговорилъ онъ, освободясь отъ его объятій и не безъ граціи отступивъ шагъ назадъ.

— Я неспособенъ быть такимъ горячимъ, какъ ты, отвѣчалъ Адольфъ Францовичъ:—ты это очень хорошо знаешь...

— Но, по крайней мѣрѣ, ты любишь меня по прежнему и я могу продолжать считать тебя—*другомъ?*

— Можешь, можешь, отвѣчалъ Адольфъ Францовичъ, полушутя и полусерьёзно.

— Ну, обними же меня, въ такомъ случаѣ...

И другъ растопырилъ руки для принятія друга въ свои объятія.

Адольфъ Францовичъ прислонился къ его груди и снова почувствовалъ огонь на своихъ щекахъ.

— Когда же свадьба? продолжалъ другъ.

— Еще я самъ не знаю... у меня столько дѣлъ...

— Я воображаю, съ какимъ вкусомъ меблируешь ты свою квартиру! перебилъ его другъ не безъ лиризма...

Когда они разстались, первою мыслью его было:

«Пригласитъ ли онъ меня на свадьбу?... Что, если нѣтъ?...» и при этомъ ледяныя иголки пробѣжали у него по спинѣ. «Не можетъ быть! Онъ не можетъ не пригласить меня... онъ долженъ пригласить меня!...»

Эти слова онъ произнесъ одинъ громко и докончилъ ихъ выразительнымъ жестомъ руки.

Три недѣли послѣ этого онъ былъ въ сильнѣйшемъ волненіи, все ожидая приглашенія. Волненіе это шло crescendo. Онъ узналъ потомъ, что свадьба назначена въ такой-то день. Оставалось до этого только два дня. Онъ становился все мрачнѣй и мрачнѣй и по временамъ глубоко вздыхалъ и пожималъ съ недоумѣніемъ плечами, не говоря ни слова, но какъ бы выражая этими внѣшними знаками тревожившія его мысли.

До послѣдней минуты онъ все еще надѣялся. Въ день свадьбы, въ 8 часовъ вечера, когда всѣ надежды исчезли, онъ съ яростью ударилъ кулакомъ по столу и произнесъ почти со стономъ и улыбнувшись съ горькой ироніей:

— Однако, видно, люди-то дурнаго тона правы!

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, когда онъ могъ разсуждать хладнокровнѣе, онъ думалъ:

«Не можетъ быть! я ни за что не повѣрю, чтобы онъ вдругъ разорвалъ нашу двадцатипятилѣтнюю дружбу!... На свадьбѣ, вѣроятно, не было никого, кромѣ родственниковъ:— вотъ почему онъ не пригласилъ меня... Хотя для меня онъ могъ бы сдѣлать исключеніе!

И глубокій вздохъ вырвался при этомъ изъ груди огорченнаго друга.

Втеченіе трехъ недѣль послѣ бракосочетанія Адольфа Францовича, его другъ по утрамъ почти не выѣзжалъ изъ дому и, просыпаясь каждое утро, думалъ: «Можетъ быть, онъ сегодня пріѣдетъ ко мнѣ съ визитомъ!» При трескѣ подъѣзжавшаго къ его дому экипажа, онъ съ біеніемъ сердца бросался къ окну съ мыслью: «Не онъ ли?» Каждый звонокъ приводилъ его въ содроганіе. Въ ожиданіи визита друга, онъ придалъ еще большее изящество своей квартирѣ и приказывалъ нѣсколько разъ въ утро курить амбре и уговаривалъ жену надѣвать ея лучшіе утренніе туалеты.

— Да что съ тобою? Ты въ какомъ-то волненіи? Ты ожидаешь кого-то? спрашивала она его, улыбаясь и видя насквозь его мысли.

— Изъ чего ты это заключаешь? съ испугомъ и неудовольствіемъ спрашивалъ онъ.

Боязнь показаться смѣшнымъ постоянно смущала его; а въ эту минуту онъ особенно какъ-то чувствовалъ комизмъ своихъ приготовленій и безпокойствъ и тщательно хотѣлъ скрыть его подъ наружной безпечностью.

— Кого же мнѣ ждать? Я никого не жду. Съ чего ты это взяла? продолжалъ онъ, расхаживая по комнатѣ и заложивъ руки въ карманъ.

— Но для чего ты такъ хлопочешь о моемъ туалетѣ?

И супруга бросила на него взглядъ очень мягкій, но подернутый самой тонкой ироніей, которая удивительно шла къ ней.

— Просто, милый другъ, потому... отвѣчалъ супругъ, нѣсколько запнувшись и принимая живописную позу: — потому что мнѣ всегда пріятно видѣть тебя въ хорошемъ туалетѣ.

Она улыбнулась только одной стороной своихъ губъ и неумолимо продолжала:

— А для чего это ты безпрестанно велишь курить?

— Такъ... потому что я люблю хорошій запахъ... отвѣчалъ онъ, поправляя передъ зеркаломъ свои густые бѣлокурые волосы, разобранные по срединѣ и прелестной волной спускавшіеся на обѣ стороны. Онъ ясно боялся встрѣтиться съ проницательными и умными глазками своей супруги, въ которыхъ читалъ часто собственное изобличеніе.

Но—увы!—всѣ куренія, туалеты и другія приготовленія были напрасны: Адольфъ Францовичъ не являлся съ своей графиней. Это значило, что онъ не намѣренъ продолжать знакомства съ своимъ другомъ, что онъ не желаетъ познакомить свою супругу съ женой своего друга. Но почему же? Странное дѣло! Я долженъ сказать по совѣсти, что если сравнить этихъ двухъ женщинъ (я обѣихъ ихъ знаю немножко), то это сравненіе ни въ какомъ случаѣ не будетъ въ пользу супруги Адольфа Францовича. Молодость, красота, грація, женственность, тонкость ума, — все на сторонѣ жены его друга. Она ужъ никакъ и ничѣмъ не могла бы *шокировать* ex-графиню; но бѣда въ томъ, что она не принадлежала къ высшему обществу, а съ другимъ обществомъ ни Адольфъ Францовичъ, ни его супруга не желаютъ имѣть никакихъ соприкосновеній... А старая дружба-то?... Но что такое любовь, дружба и тому подобныя глупости молодости передъ условіями великосвѣтскости и *хорошаго тона!* Еще между холостыми людьми раз-

ныхъ обществъ допускаются нѣкоторыя дружескія отношенія; но между людьми женатыми—это невозможно. Какъ же допустить въ свой салонъ даму, неизвѣстную дамамъ высшаго общества, потому только, что это жена стараго друга?...

Прошелъ годъ послѣ бракосочетанія Адольфа Францовича, и впродолженіе этого года другъ встрѣтилъ его только одинъ разъ—на Дворцовой набережной, подъ ручку съ супругой.

Несмотря ни на что, пламень прежнихъ чувствъ невольно и ярко вспыхнулъ въ немъ: сердце забилось, глаза сверкнули, лиризмъ уже закипалъ, и онъ готовъ былъ протянуть ему руку и вскрикнуть: «Адольфъ!» но Адольфъ Францовичъ прошелъ мимо, не замѣтивъ его. Въ то мгновеніе, когда другъ поровнялся съ нимъ, Адольфъ Францовичъ обратился къ Невѣ и показывалъ что-то своей супругѣ.

Рука друга опустилась, глаза его потухли, и на нихъ даже навернулись слезы... Однако, онъ остановился, долго съ жадностію смотрѣлъ вслѣдъ ему, несмотря на свое глубокое огорченіе, замѣтилъ всѣ мельчайшія подробности туалета его и его супруги и невольно прошепталъ про-себя: «А все-таки, что ни говори, *онъ образецъ хорошаго тона*».

На другой день послѣ этого онъ заказалъ своему портному точно такіе же панталоны, въ какихъ встрѣтилъ наканунѣ Адольфа Францовича, и подарилъ женѣ своей точно такую же матерію, какую замѣтилъ на платьѣ супруги своего идеала...

Мысль, что его несравненный другъ, къ которому онъ питалъ болѣе, нежели любовь—обожаніе... оставилъ его,—эта мысль до сихъ поръ грызетъ и терзаетъ его щекотливое самолюбіе и нѣжное сердце. При его имени онъ впадаетъ въ грустное расположеніе, испускаетъ вздохи, но никому, однако, не позволяетъ дурно отзываться о немъ въ своемъ присутствіи. Онъ передъ всѣми оправдываетъ и защищаетъ его. Портретъ Адольфа Францовича, въ великолѣпной орѣховой рамкѣ, все продолжаетъ стоять на первомъ мѣстѣ въ его кабинетѣ.

— Ты бы его лучше выкинулъ, разъ какъ-то шутя замѣтили ему его старинные пріятели, и въ томъ числѣ я.

Онъ вспыхнулъ и произнесъ съ торжественностью и энергическимъ жестомъ:

— Никогда! Пусть онъ не знается со мной, но для меня память о нашихъ прежнихъ дружескихъ отношеніяхъ всегда останется священною!

И при этомъ онъ, по своему обыкновенію, ударилъ себя въ грудь, для приданія бо́льшей силы словамъ своимъ.

— И ты все еще продолжаешь быть помѣшаннымъ на *хорошемъ тонѣ?* спросилъ я его: — но разсуди хладнокровно, что же такое этотъ тонъ? Если высшій идеалъ этого тона поступилъ съ тобой такъ, то чего можно ожидать отъ другихъ второстепенныхъ представителей?

— То есть отъ насъ грѣшныхъ? спросилъ онъ съ грустной ироніей.—Но я надѣюсь, господа, продолжалъ онъ съ болѣе веселымъ выраженіемъ въ лицѣ и даже не безъ самодовольствія: — что *хорошій тонъ* не допуститъ меня никогда...

И при этомъ онъ вскочилъ со стула и граціозно заложилъ руку за жилетъ.

— Измѣнить дружбѣ... Я даже благоговѣю передъ ея воспоминаніемъ.

— Мы вѣримъ этому, возразилъ я: — мы знаемъ твое доброе, довѣрчивое сердце; но, любезный другъ, я долженъ, къ огорченію твоему, замѣтить, что человѣкъ съ такимъ сердцемъ, какъ твое, съ такими лирическими вспышками, какъ у тебя — увы! — не можетъ быть вполнѣ человѣкомъ безукоризненнымъ, въ великосвѣтскомъ смыслѣ, человѣкомъ *хорошаго тона*, какъ вы выражаетесь... Я долженъ тебѣ сказать правду: въ сущности, ты человѣкъ *дурнаго* тона, и только усиливаешься внѣшнимъ образомъ казаться человѣкомъ *хорошаго тона*... Твой дурной тонъ дѣлаетъ тебѣ, впрочемъ, честь, по нашему мнѣнію. Повѣрь мнѣ, что мы, люди дурнаго тона, надежнѣе и въ любви, и въ дружбѣ, и въ другихъ человѣческихъ отношеніяхъ. Мы любимъ тебя отъ души и никогда, ни при какихъ обстоятельствахъ, не измѣнимъ нашихъ чувствъ къ тебѣ.

Другъ Адольфа Францовича вспыхнулъ отъ удовольствія при этихъ словахъ и, движимый лиризмомъ, бросился обнимать, цѣловать всѣхъ насъ и крѣпко прижимать къ своей груди, восклицая:

— Я увѣренъ въ этомъ, добрые друзья мои! благодарю васъ отъ всего сердца! Я самъ васъ горячо люблю...

Черезъ минуту послѣ этого порыва онъ, однако, приза-

думался, подошелъ къ зеркалу, принялъ живописную позу и, охорашиваясь и поправляя волосы, произнесъ не безъ нѣкоторой внутренней боязни:

— Однако, въ самомъ дѣлѣ, неужели я человѣкъ дурнаго тона?

И граціозно повернулся передъ нами на каблукахъ, какъ бы желая намъ показать себя со всѣхъ сторонъ, чтобы окончательно убѣдить насъ, что онъ все-таки человѣкъ *хорошаго тона*...

XLII. СВѢТЛЫЙ ПРАЗДНИКЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ И ФАНТАЗІИ НА ЭТУ ТЕМУ.

Завтра Свѣтлый праздникъ.

У Гостинаго двора нѣтъ проѣзда отъ экипажей; во всѣхъ магазинахъ по Невскому проспекту давка. Всѣ попадающіеся мнѣ, какъ это обыкновенно бываетъ наканунѣ праздника, чѣмъ-то озабочены, куда-то спѣшатъ, къ чему-то приготовляются, что-то закупаютъ. Одинъ я иду тихо и спокойно, ни о чемъ не заботясь, никуда не спѣша, ни къ чему не приготовляясь, ничего не закупая, и, глядя на этихъ волнующихся и безпокоящихся людей, ощущаю какое-то эгоистическое удовольствіе. Я, просто, вышелъ походить безъ цѣли, обрадовавшись теплой погодѣ.

«А вѣдь недурно пользоваться нѣкоторою независимостью», думалъ я. «Если бы я служилъ, напримѣръ, я былъ бы, вѣроятно, сегодня въ такомъ же волненіи и хлопотахъ, какъ всѣ эти господа, которые попадаются мнѣ. И, въ самомъ дѣлѣ, сколько дѣлъ въ это время человѣку служащему, зависящему отъ начальства: заботиться о визитныхъ карточкахъ (у меня ихъ вовсе нѣтъ, потому что мнѣ не къ кому разсылать ихъ; пріятели мои обойдутся и безъ нихъ), о наймѣ экипажа на слѣдующій день, чтобы разъѣзжать по передпимъ и расписываться (а наемные порядочные экипажи въ Петербургѣ, не только въ этотъ день, но и всегда, почти баснословной цѣны, несмотря на таксу), размѣнивать деньги для раздачи швейцарамъ, курьерамъ, сторожамъ и пр., закупать конфекты и яйца у Рабопа, Крампона или Фойе для тёту-

шекъ, кузинъ, подругъ дѣтства (у меня ихъ нѣтъ), а главное — для женъ и дочерей начальниковъ (подсластить начальство все-таки не мѣшаетъ).»

А сколько тратится денегъ на эти бездѣлушки!

Представьте себѣ, какая нибудь изящная коробочка съ конфектами или фарфоровое яичко съ сюрпризомъ внутри — десять рублей!... Нельзя же ея превосходительству поднести просто конфекты или какое нибудь обыкновенное красненькое яичко!

А внутреннія, духовныя волненія передъ праздниками?

Я, такъ сказать, вошелъ въ тѣло служащаго чиновника и продолжалъ мыслить:

«Получу ли я завтра награду и какую именно? Чинъ, крестъ, денежное награжденіе?...

«Деньги — прекрасно; но мой сослуживецъ, мой сверстникъ переходитъ меня въ такомъ случаѣ крестомъ или чиномъ, а это, какъ хотите, ужасно для самолюбія! Человѣкъ, съ которымъ мы шли, напримѣръ, наравнѣ, вдругъ махнетъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники, а я съ своею денежной наградой останусь статскимъ; ему будутъ говорить и писать: ваше превосходительство, а мнѣ на конвертахъ по прежнему станутъ писать: *ваше высокородіе*. Да и какая разница между высокородіемъ и высокоблагородіемъ — почти никакой! Иные даже и не знаютъ этого различія, тогда какъ слова: генералъ, ваше превосходительство, какъ-то звучатъ хорошо, въ этихъ звукахъ есть что-то значительное... Генералу ужъ никто не напишетъ на конвертѣ: «его высокоблагородію».

«Или: у меня, напримѣръ, Анна съ короной на шеѣ. Возьму денежную награду, а моему сверстнику дадутъ Владиміра на шею?... Воля ваша, можетъ быть, это и смѣшно; но мнѣ послѣ этого какъ-то неловко и непріятно будетъ встрѣчаться съ нимъ въ департаментѣ. Этотъ Владиміръ мнѣ невольно будетъ колоть глаза... Такова наша природа! Что дѣлать!

«Я отчасти и либералъ, если хотите: я всегда отзываюсь обо всѣхъ этихъ отличіяхъ и знакахъ съ равнодушіемъ; а, несмотря на это, внутренно все-таки меня коробитъ, хоть я это всячески стараюсь скрыть, если кто нибудь перегонитъ меня.

«Если бы, положимъ, я имѣлъ генеральскій чинъ, мнѣ, признаюсь откровенно, было бы неловко, если бы у меня не было звѣзды. Конечно, это предразсудокъ, я очень хорошо понимаю это; но что ни говорите, а генералу безъ звѣзды неловко! Я принадлежу къ *порядочнымъ людямъ:* разумѣется, я носилъ бы ленту не постоянно, а только въ экстренныхъ случаяхъ — на службѣ или являясь къ значительному человѣку; но отъ значительнаго человѣка я могъ бы, какъ будто нечаянно, заѣхать къ пріятелю, у котораго нѣтъ звѣзды и который не имѣетъ уже никакихъ надеждъ получить ее, и блеснулъ бы передъ нимъ моею звѣздою.

— «Въ какомъ ты парадѣ и блескѣ сегодня! воскликнулъ бы мой пріятель не безъ ироніи, потому что онъ, такъ же, какъ и я, человѣкъ свободно-мыслящій.

— «Отчего? отвѣчалъ бы я съ умышленною разсѣянностью и притворнымъ равнодушіемъ. — Ахъ, это-то?—и указалъ бы на звѣзду—да я вѣдь къ тебѣ прямо отъ министра.

«Повѣрьте моей опытности, что слова: «я прямо отъ министра» и моя звѣзда непремѣнно возвысили бы меня въ глазахъ моего пріятеля, и при этомъ онъ улыбнулся бы и пожалъ бы мнѣ руку съ бо̀льшимъ чувствомъ и гораздо слаще, несмотря на его свободный образъ мыслей и равнодушіе ко всѣмъ знакамъ отличія.

«Что жъ дѣлать, батюшка, человѣческая слабость! и самые умные люди, какъ мы съ вами, не изъяты изъ этихъ слабостей!...»

Пріятно получить генеральскій чинъ, что бы ни говорили; но какъ-то еще пріятнѣе украсить грудь свою первою звѣздою, потому что она, очевидно, наглядно, подтверждаетъ генеральское достоинство.

Предположимъ теперь, что я женатъ, что я имѣю милѣйшую подругу жизни, которая во мнѣ, такъ сказать, души не чаетъ, и нѣсколько прелестныхъ малютокъ. Супруга моя женщина очень образованная, проникнутая современными идеями, между нами сказать, даже либералка; но я знаю, что, несмотря на все это, ей смертельно хочется, чтобы меня произвели въ генералы (если я еще только статскій совѣтникъ), чтобы лакеи говорили ей: ваше превосходительство, и чтобы няня или гувернантка, гуляя въ Лѣтнемъ саду съ на-

шими дѣтьми, на вопросъ: «чьи это дѣти?» могла отвѣчать: «генерала такого-то»... Вотъ почему супруга моя передъ каждымъ праздникомъ въ такомъ волненіи, въ такомъ ожиданіи чего-то; она даже скрыть этого не можетъ и, ласкаясь ко мнѣ, спрашиваетъ:

— Ну, что жъ, мой другъ, тебя сдѣлаютъ генераломъ хоть къ нынѣшнему празднику?

Я очень хорошо знаю, что сдѣлаютъ, но притворяюсь неувѣреннымъ и говорю:

— Не знаю, право... можетъ быть.. (для того, чтобы сдѣлать ей сюриризъ).

Въ день Свѣтлаго Воскресенья, я получаю чинъ, иду къ женѣ и говорю ей съ пріятнѣйшею улыбкою:

— Поздравляю, ваше превосходительство, съ праздникомъ....

— Какъ! неужели! восклицаетъ она съ сіяющимъ лицомъ:—ты генералъ!... Поздравляю, поздравляю тебя, душка ты мой!

И она бросается ко мнѣ на шею и цѣлуетъ меня съ увлеченіемъ, съ жаромъ.

— Нынѣшній праздникъ для меня вполнѣ свѣтлый праздникъ! замѣчаетъ она.

Семейное счастіе мое поднимается еще на нѣсколько градусовъ. Мы всѣ блаженствуемъ. При разъѣздѣ изъ театра или изъ концерта кричатъ: «карету генерала такого-то». Когда первый разъ раздается этотъ крикъ, мы переглядываемся съ женою и пріятно улыбаемся другъ другу. Первыя три недѣли послѣ полученія генеральскаго чина намъ какъ-то особенно легко и отрадно, все такъ ясно и свѣтло вокругъ насъ, точно будто мы въ жаркій лѣтній день нѣжимся подъ прохладнымъ навѣсомъ деревьевъ и внимаемъ музыкѣ природы, жужжанію насѣкомыхъ и пчелъ. Дѣйствительно, вокругъ насъ всѣ такъ и жужжатъ: «ваше превосходительство! ваше превосходительство!»

Полученіе первой ленты и звѣзды—также одно изъ тѣхъ мгновеній, которыя никогда не забываются въ семейной жизни.

Представьте себѣ восторгъ моей доброй Женнички или Машеньки (я еще не знаю, какъ будутъ звать мою жену),

когда я вдругъ вхожу въ ея будуаръ въ мундирѣ съ красною лентою черезъ плечо и со звѣздой на груди.

Она восклицаетъ: «ахъ!» и бросается ко мнѣ на грудь, нѣжно прижимается къ лентѣ, потомъ отходитъ отъ меня на нѣсколько шаговъ, смотритъ на меня съ чувствомъ и говоритъ:

— Какъ это красиво, какъ это идетъ къ тебѣ!

И снова бросается въ мои объятія.

Вечеромъ у насъ ложа. Мы ѣдемъ въ театръ.

Я надѣваю фракъ безъ звѣзды, потому что порядочные люди ѣздятъ обыкновенно въ театръ безъ всякихъ знаковъ отличій, хотя, признаться, мнѣ очень хочется украсить свою грудь этою новинкой; но меня нѣсколько останавливаетъ то, что нѣкоторые вольнодумные мои пріятели, взглянувъ на меня, подумаютъ: «Вотъ обрадовался-то!»

Я вхожу къ женѣ, которая въ великолѣпномъ туалетѣ ожидаетъ меня.

При взглядѣ на меня, она хмуритъ бровки и говоритъ плаксиво:

— Serge! отчего же ты не надѣлъ звѣзды?

— Но, другъ мой, это не принято, отвѣчаю я.

— Я знаю, возражаетъ она: — но на этотъ разъ можно сдѣлать исключеніе. Я непремѣнно хочу, чтобы ты сегодня былъ въ театрѣ со звѣздою... Я хочу, чтобы всѣ увидѣли, что ты получилъ такую награду. Я увѣрена, что Саша Малевская придетъ въ бѣшенство, увидѣвъ тебя со звѣздою, и не дастъ покою своему колпаку мужу... Вѣдь онъ еще, мой другъ, не скоро получитъ звѣзду?

— Куда еще ему! говорю я, улыбаясь:—до этой звѣзды ему.

«Какъ до звѣзды небесной далеко!»

— Ну, такъ ты надѣнешь звѣзду? Не правда ли? перебиваетъ меня моя добрая жена и нѣжно прибавляетъ: — надѣнь, mon ange!

Я съ притворнымъ равнодушіемъ повинуюсь ей и пришпиливаю звѣзду къ фраку, какъ будто для того только, чтобы сдѣлать ей удовольствіе.

Саша Малевская, подруга моей жены по институту, когда мы входимъ въ ложу (ложа Малевскихъ рядомъ съ нашей),

бросаетъ удивленный и значительный взглядъ на мою звѣзду, закусываетъ губку отъ злости и произноситъ сухо:

— Поздравляю васъ.

И потомъ яростно взглядываетъ на своего мужа, какъ будто хочетъ сказать ему:

— Ну, а ты, дуракъ, когда же *ты-то* у меня получишь звѣзду?

Я и жена моя—мы это, разумѣется, тотчасъ замѣтили и торжествуемъ внутренно, потому что внушать къ себѣ чувство зависти въ друзьяхъ, что бы тамъ ни проповѣдывали моралисты, очень пріятно.

Вмѣстѣ съ генеральскимъ чиномъ, въ передней моей въ торжественные дни Рождества, Новаго года и Свѣтлаго Воскресенья появляется уже на столѣ листъ бѣлой бумаги и ставится чернильница, для того, чтобы приходящіе съ поздравленіями записывались. Возвращаясь домой, въ Свѣтлый день праздника къ обѣду (я уже изъѣздилъ весь городъ и записался вездѣ, гдѣ слѣдуетъ), я бросаю косвенный и любопытный взглядъ на этотъ листъ и потомъ беру его къ себѣ и прочитываю фамиліи записавшихся. Ихъ, правда, немного и все такая мелочь:

Коллежскій секретарь Подточинъ.

Титулярный совѣтникъ Иванъ Брылкинъ.

Коллежскій регистраторъ Илья Зарубаевъ.

Два или три коллежскихъ совѣтника, подвѣдомственные мнѣ, и статскій совѣтникъ Эльпидифоръ Перекачаевъ, очень четко полными и круглыми буквами написавшій свой чинъ, имя и фамилію. При этомъ имени я останавливаюсь съ особенною признательностью...

«Что ему во мнѣ?» думаю я. Онъ мнѣ не подчиненъ, мы служимъ въ разныхъ вѣдомствахъ, онъ бы смѣло могъ прислать мнѣ просто свою карточку, а, между тѣмъ... Но у него, канальство, чуткое обоняніе!... Онъ видитъ, что я иду въ гору, такъ на всякій случай заискиваетъ во мнѣ и оказываетъ мнѣ особенные знаки уваженія и преданности... Великій льстецъ и низкопоклонникъ!»

И у меня невольно рождается къ нему какое-то особенное расположеніе, именно вслѣдствіе того, что онъ *заискиваетъ* во мнѣ.

— Ловкій и милый человѣкъ! произношу я почти вслухъ, улыбаясь:—умѣетъ проникать въ изгибы и тайники чиновныхъ сердецъ!

Я бросаю листъ на столъ и продолжаю размышлять съ самимъ собою:

«Когда-то у меня будутъ на лѣстницѣ выставляться *книги* для росписки и исписываться отъ перваго до послѣдняго листа въ великіе дни Новаго года и Свѣтлаго Воскресенья, да исписываться не Брылкиными и Зарубаевыми, не какими нибудь ничтожными коллежскими регистраторами, а генералъ-лейтенантами, камеръ-юнкерами, камергерами, тайными совѣтниками?... Когда моя яшмовая вала, стоящая въ гостиной, въ которой нынѣ валяется десятка два карточекъ, будетъ биткомъ набита карточками съ именами сенаторовъ, графовъ, князей?... Ахъ, фантазія, фантазія! куда ты увлекаешь меня?... Когда? когда? Далеко еще кулику до Петрова дня!»

И при этомъ я испускаю печальный вздохъ.

Странное дѣло! я считаю себя человѣкомъ гуманнымъ, прогрессивнымъ, относительно Европы я даже имѣю весьма широкіе взгляды, которые, пожалуй, ретрограды назовутъ *красными* взглядами (они во всемъ видятъ красноту!), но если какой нибудь изъ чиновниковъ, подчиненныхъ мнѣ, самый дѣловой и усердный, не распишется на моемъ листѣ въ Новый годъ или въ Свѣтлый праздникъ, я ужъ на него смотрю какъ-то иначе и при случаѣ даже невольно придерусь къ нему... Конечно, изъ-за такихъ пустяковъ я не лишу его мѣста, какъ это дѣлывали нѣкоторые начальники съ старыми и дикими понятіями, но очень можетъ случиться, что представлю его къ меньшей денежной наградѣ, нежели бы какая ему слѣдовала.

А если онъ, человѣкъ бѣдный, слабый здоровьемъ, обремененный семействомъ, не пришелъ ко мнѣ росписаться потому, что живетъ гдѣ нибудь на Выборгской сторонѣ, въ пяти верстахъ отъ меня, и что ему тяжело тащиться такую даль пѣшкомъ, а нанять дрожки не на что, если онъ не пришелъ ко мнѣ расписываться именно потому, что считаетъ меня человѣкомъ образованнымъ, начальникомъ вполнѣ просвѣщеннымъ, который не требуетъ отъ своихъ подчиненныхъ мелочныхъ знаковъ уваженія, низкопоклонства, а только труда и дѣла?...

Какже я изъ моего личнаго, мелочнаго чувства лишу его какой нибудь сотни рублей, на которую онъ разсчитывалъ и которая ему необходима для поддержанія его многочисленнаго семейства, особенно теперь, при страшной дороговизнѣ петербургской?

Ахъ, ахъ ахъ! всѣ-то мы ужасные эгоисты, наше мелочное самолюбіе неутомимо; а мы должны бы подавлять его въ себѣ и стараться быть какъ можно снисходительнѣе къ бѣднымъ, подчиненнымъ намъ людямъ!... Намъ-то легко и хорошо расписываться, разъѣзжая на рысакахъ, да еще, пожалуй, съ лакеемъ въ ливреѣ и штиблетахъ!...

Любопытно бы, однако, знать, что сильные-то міра сего обращаютъ ли вниманіе на эти расписки, и неужели они каждый праздникъ перелистываютъ книги съ расписывающимися?...

Нѣтъ. Мнѣ кажется, это невозможно; да и до того ли имъ? у нихъ столько дѣла! Что, если они въ самомъ дѣлѣ не читаютъ? Для чего же въ такомъ случаѣ мы скачемъ, какъ угорѣлые, изъ дома въ домъ и расчеркиваемся въ этихъ книгахъ?... Вотъ забавно!... А вѣдь нельзя не расписываться, воля ваша... Я почти увѣренъ, что они не читаютъ... ну, а если читаютъ?...

Я, по чувству гуманности, могу еще извинить какого-нибудь бѣднаго чиновника, живущаго на Выборгской, если онъ не расписался на листѣ моемъ: у него сапоговъ нѣтъ, ему не на что нанять извощика; а чѣмъ же меня-то можетъ извинить его превосходительство или его сіятельство, если я не исполню относительно ихъ своего долга?

Я получаю прекрасное жалованье, столовыя, квартирныя, у меня экипажъ!...

Нѣтъ, нѣтъ! читаютъ или не читаютъ, но во всякомъ случаѣ необходимо расписываться.

Изучить нравы начальника, умѣть вовремя услужить, угодить ему—это, я вамъ скажу, наука, да еще какая! Для того, чтобы постичь ее, необходима глубокая нравственность, особая тонкость ума и изворотливость; для этого не должно упускать изъ вида никакихъ мелочей, формальностей. Въ такихъ случаяхъ логика и философія ни къ чему не поведутъ!

Его превосходительство непремѣнно вытащитъ меня, если

я съумѣю угодить ему; я, въ свою очередь, непремѣнно вытащу другаго, который съумѣетъ мнѣ угодить; онъ... и такъ далѣе.

Всѣ вытаскиваютъ своихъ фаворитовъ... Надобно только попасть въ число ихъ, крѣпко и вовремя зацѣпиться за значительнаго человѣка, а ужъ онъ вытянетъ—не безпокойтесь.

Тотъ, кто хочетъ идти вверхъ, долженъ быть всегда насторожѣ, всегда наготовѣ, обнаруживать постоянную расторопность и дѣятельность, быть всегда на виду у начальства, сдѣлаться, такъ сказать, необходимостью для глазъ начальства. Для этого нужна энергія, необходимо нѣкоторое самоотверженіе. Спокойствіе, усыпленіе, халатъ, татарскія привычки, *обломовщина* никуда не годятся. Положившій себѣ цѣлью идти впередъ долженъ воскликнуть, какъ Отелло:

«Прости спокойствіе!...»

Я зналъ, впрочемъ, многихъ Обломовыхъ, которые достигали до степеней извѣстныхъ.

Отчего же это?

Но на долю этихъ Обломовыхъ выпадали супруги честолюбивыя, энергическія, не дававшія имъ ни минуты покоя, принимавшія рѣшительныя мѣры относительно своихъ супруговъ и истребившія всѣ ихъ турецкіе и татарскіе халаты. Лишь только такого рода супругъ задремлетъ немножко, такого рода супруга толкаетъ его.

— Поѣзжай, говоритъ:—сію минуту къ тому-то. У него, говорятъ, сегодня на вечерѣ такой-то—человѣкъ тебѣ нужный... или:

— Сегодня рожденье или именины сестры, дочери, сына, брата или тётки такого-то извѣстнаго лица. Поѣзжай сейчасъ съ поздравленіемъ.

— Но... произнесетъ супругъ...

Но при этомъ *но* энергическая супруга такъ взглянетъ на своего супруга, что тотъ опрометью побѣжитъ одѣваться.

Что, если бы я имѣлъ такую супругу? спросилъ меня мой внутренній голосъ. Холодный потъ при этомъ выступилъ у меня на спинѣ и ледяныя иголки пробѣжали отъ темени до пятокъ...

— За то ты бы не излѣнился, какъ теперь, возразило моему внутреннему голосу мое мелочное самолюбіе: — не спалъ бы до полудня, не валялся бы на диванѣ съ книгой въ рукѣ, а рыскалъ бы съ утра до вечера, кланялся, извинялся, наклонялся, пріятно улыбался, служилъ и подслуживался.

Это взбѣсило меня.

— Я человѣкъ честный! честь и независимость для меня всего дороже! вскрикнулъ я съ жаромъ и хотѣлъ, какъ червя, придавить мое мелочное самолюбіе.

Но оно легко выскользнуло изъ-подъ пяты моей, какъ все мелкое и скользкое, и подняло свой голосъ:

— Честь, независимость! Это слова, которыми ты стараешься оправдать себя въ томъ, что ты почти въ 50 лѣтъ только какой-нибудь жалкій коллежскій секретарь, тогда какъ твои сверстники давно генералы со звѣздами, съ лентами черезъ то и другое плечо... Не честь, не независимость не допустили тебя до блестящаго пути административной карьеры, а лѣнь, обломовщина, любезный другъ... И что же хорошаго, что ты дожилъ до сѣдыхъ волосъ и остался такъ, ничѣмъ, въ своемъ татарскомъ халатѣ и съ книгою въ рукѣ? Ты отъ этого и состарѣешься и одряхлѣешь преждевременно, потому что только дѣятельная жизнь, постоянно на вытяжкѣ, поддерживаетъ здоровье и силы человѣка. Взгляни, напримѣръ, на его превосходительство Артамона Егорыча: ему подъ 60, а на видъ 40, ни одной морщинки, ни одной сѣдинки... Онъ и до сихъ поръ бѣгаетъ, кланяется, хлопочетъ, угождаетъ, вѣчно на вытяжкѣ, въ завитомъ парикѣ...

Я ужаснулся, что внутри меня могутъ подниматься еще такого рода скверные голоса.

Неужели я могъ допустить въ себѣ существовать такому пошлому и жалкому самолюбію? спросилъ я свой внутренній голосъ.

— Что дѣлать? Со дна души человѣка, отвѣчалъ онъ мнѣ, для успокоенія меня:—поднимаются иногда разныя мелкія страстишки и возвышаютъ свой голосъ... Онѣ кое-какъ тайно поддерживаютъ свое безсильное существованіе въ самыхъ чистыхъ натурахъ, питаясь предразсудочными впечатлѣніями дѣтства и жалкими привычками и обычаями той среды, въ

которой взросъ человѣкъ и отъ которой онъ постепенно отрывался, по мѣрѣ своего развитія и проникновенія своимъ человѣческимъ достоинствомъ.

Я легче вздохнулъ послѣ этого.

Въ эту минуту выбѣжалъ изъ магазина мой сверстникъ, человѣкъ отлично идущій по службѣ, ума неглубокаго, но крайней ловкости, расторопности и угодливости.

— Ааа! протянулъ онъ мнѣ:—здравствуй, душа моя!

— Что, все въ хлопотахъ, въ вѣчной дѣятельности? спросилъ я его.

— Comme de raison, mon chèr, отвѣчалъ онъ. Какъ всѣ люди, плохо знающіе французскій языкъ, онъ безпрестанно ввертываетъ въ разговорахъ избитыя французскія фразы.

— То есть ты не повѣришь, какъ измучился сегодня, продолжалъ онъ: — передъ праздникомъ, ты знаешь, всегда работы бездна, къ тому же *нашъ* (своего высшаго начальника онъ всегда называетъ *мой* или *нашъ*)... ты знаешь, онъ почему-то имѣетъ ко мнѣ особенное пристрастіе... поручилъ мнѣ пересмотръ одного очень важнаго дѣла... Я за нимъ, *имажине*, трое сутокъ сидѣлъ день и ночь и только кончилъ сегодня утромъ... да за то я всталъ въ пять часовъ... Въ девять я былъ уже у него въ кабинетѣ и занимался съ нимъ до 12. Въ 12 пришла его жена... Ее давно кто-то увѣрилъ, что я человѣкъ со вкусомъ, и съ тѣхъ поръ это просто бѣда, она поручаетъ мнѣ разныя закупки, подарки къ праздникамъ—у нихъ вѣдь бездна родни... Отъ порученія такой особы вѣдь не откажешься, дѣлать нечего!... Вотъ я и рыскаю съ 12-ти часовъ... Ну, и для себя надобно сдѣлать кое-какія закупки къ празднику... Я долженъ сегодня пообѣдать наскоро, а потомъ опять таскаться по магазинамъ... Измучился, совсѣмъ измучился... А завтра-то, завтра-то что предстоитъ мнѣ! Вотъ ты, братецъ, счастливый человѣкъ, независимый, свободный, какъ воздухъ... Я, признаюсь, тебѣ завидую...

— Притворяешься, не завидуешь! отвѣчалъ я. — Ты за свое усердіе получаешь награды къ каждому празднику, а я никакихъ; ты идешь все впередъ, украшаешься... генераломъ скоро будешь; а я все стою на одномъ мѣстѣ... Вотъ и теперь я ясно читаю на лицѣ твоемъ, что завтра ты непремѣнно

украсишься чѣмъ нибудь новенькимъ или поднимешься ступенью выше. Я поздравлю тебя заранѣе... Съ какой же стати ты будешь завидовать мнѣ?

Онъ пріятно улыбнулся, потрепалъ меня благосклонно по плечу и произнесъ не безъ ироніи:

— Да, какже! вы, господа, нынче въ ходу... Что мы передъ вами?... Мы васъ боимся, мы должны за вами ухаживать, потому что, того и гляди, попадешь въ вашъ журналъ...

И при этомъ онъ засмѣялся и крѣпко пожалъ мнѣ руку.

— До свиданія, мой милый! Мнѣ некогда. Au revoir.

Я провожалъ его глазами и думалъ:

«Нѣтъ, ты не завидуешь мнѣ, ты вздоръ говоришь; напротивъ, я знаю: ты убѣжденъ въ томъ, что я завидую твоимъ возвышеніямъ, твоимъ украшеніямъ и прочему... Но ты ошибаешься, любезный другъ! за ту цѣну, за которую ты пріобрѣтаешь все это, я не хотѣлъ бы пріобрѣтать награды въ двадцать разъ важнѣйшія.

«Мнѣ не нужно бѣгать по магазинамъ для угожденія женѣ начальника, торчать въ пріемной его превосходительства, чтобы быть всегда наготовѣ, когда позоветъ онъ, льстить, извиваться, разсыпаться мелкимъ бѣсомъ, интриговать противъ своихъ сослуживцевъ, подставлять имъ подножки, и прочее и прочее...

«Я завтра, когда ты въ мундирѣ и трехъуголкѣ будешь рыскать по швейцарскимъ и записываться, преспокойно разлягусь на диванѣ въ своемъ кабинетѣ и при громѣ экипажей, подкатывающихся къ подъѣздамъ, при мысли объ этомъ всеобщемъ волненіи, съ особеннымъ наслажденіемъ, крѣпко завернусь въ мой халатъ и приму еще болѣе покойную и удобную позу, поблагодаривъ Бога, что эта чаша прошла мимо меня...»

Я выведенъ былъ изъ этихъ глубокомысленныхъ разсужденій толчкомъ въ бокъ... Какой-то господинъ, выбѣжавшій изъ шляпнаго магазина съ новой шляпой, завернутой въ бумагу, вдругъ наскочилъ на меня.

Толкотня, суетня на тротуарахъ, оглушающій громъ на мостовой. Всѣ бѣгутъ, скачутъ, толпятся, закупаютъ...

Несчастные!

XLIII. ПО ПОВОДУ ДАЧЪ.

Каменныя стѣны вдругъ раскалились, пыль, духота, скверный запахъ со дворовъ, точно какъ будто въ серединѣ душнаго лѣта. Вчера никто еще не помышлялъ о дачѣ, о деревнѣ, а теперь всѣ всполошились.

«Вонъ изъ города!» закричали счастливцы, могущіе независимо дѣйствовать и имѣющіе средства уѣзжать на лѣто за границу, въ деревни, на дачи....

Но бѣда въ томъ, что еще многія дачи не готовы: у иныхъ на дачѣ перестройка, передѣлка, перекраска, другіе еще не позаботились нанять дачу... По поводу дачъ во многихъ почтенныхъ семействахъ *средняго рода* петербургскихъ людей (по незабвенному выраженію г. Безобразова) нарушилось спокойствіе, произошли драматическія сцены, ссоры, обмороки, слезы, нервическіе припадки.

Супругъ, господинъ среднихъ лѣтъ и съ значительной физіономіей, сидитъ въ своемъ кабинетѣ и что-то выкладываетъ на счетахъ, нахмуривъ брови, потомъ оставляетъ счеты, размышляетъ и записываетъ, наконецъ опускается въ кресла и улыбается наиприятнѣйшимъ образомъ. Я знаю, отчего онъ такъ улыбается: наканунѣ его супруга обнаружила къ нему особенную внимательность, даже нѣжность, поцѣловала его и два раза потрепала по щекѣ. Онъ припоминаетъ этотъ поцѣлуй и, улыбаясь, думаетъ:

«Нѣтъ, однако, она меня любитъ, и, право, я могу еще сказать, что я счастливъ!... Да, семейное счастіе есть, можно сказать, высочайшее счастіе на землѣ. Оно очень рѣдко...»

Размышленія его прерываются шумомъ отворившейся двери.

Въ кабинетъ входитъ сама супруга, дама лѣтъ 28, недурная собой, одѣтая съ изысканностью, въ неизмѣримомъ кринолинѣ. Годъ назадъ тому она не хотѣла и слышать о кринолинѣ.

— Это безобразно, уродливо, говорила она: — я ни за что не стану носить кринолина... Какое мнѣ дѣло, что всѣ носятъ, — пусть носятъ, а я не буду носить!

— Непремѣнно будете носить, возразилъ ей ея двою-

родный братецъ, офицеръ, который изученіе лошадей и женщинъ считаетъ своею спеціальностью.

— Не буду.

— Будете, продолжалъ онъ настойчиво.

— Я вамъ говорю: не буду, не буду и тысячу разъ не буду!

— Хотите пари?

— Хорошо; я вамъ вышью подушку, если проиграю — я убѣждена, что мнѣ не придется вышивать ее, замѣтила она съ улыбкой: — а вы мнѣ конфекты, если я выиграю, въ чемъ я нисколько не сомнѣваюсь.

Закладъ былъ заключенъ.

Черезъ два мѣсяца послѣ этого двоюродный братецъ выигралъ подушку, потому что двоюродная сестрица явилась въ кринолинѣ.

— Нельзя же, когда носятъ всѣ. Я не могу, чтобъ на меня показывали пальцами, говорила она съ недовольной гримасой въ свое оправданіе: — я, впрочемъ, надѣла этотъ гадкій кринолинъ à contre coeur...

Такъ она вошла въ кабинетъ своего супруга, шурша своими безчисленными юбками, надѣтыми сверхъ кринолина, для приданія себѣ еще бо̀льшей пышности.

Супругъ пріятно осклабился при ея появленіи.

— Фу, какая жара! произнесла она съ недовольнымъ видомъ: — другъ мой, пора на дачу, продолжала она, обращаясь къ супругу: — а ты, кажется, еще и не позаботился о дачѣ? Я хочу переѣхать какъ можно скорѣй... мнѣ надо дышать чистымъ воздухомъ. Ты знаешь, что я нездорова. Да и дѣтямъ тоже... для дѣтей дача необходима...

Супругъ вздрогнулъ.

— Да, кажется, мы всякое лѣто живемъ на дачѣ, сказалъ онъ вполголоса: — объ этомъ и говорить нечего; я хотѣлъ посовѣтоваться съ тобой, гдѣ ты желаешь, и на-дняхъ поѣхать нанять.

— На-дняхъ! посовѣтоваться! — Она пожала плечами. — Какже ты не могъ позаботиться объ этомъ прежде? Я увѣрена, что теперь ужъ всѣ дачи разобраны.

— Не безпокойся, возразилъ супругъ: — мы дачу найдемъ и переѣхать успѣемъ. Признаюсь, мнѣ и въ голову не при-

ходила дача: вчера еще былъ чуть не морозъ, еще зелени не видно, на деревьяхъ нѣтъ почекъ—какая тутъ дача!

— Ахъ, Боже мой! да долго ли распуститься деревьямъ? Одинъ еще такой день, и всѣ деревья распустятся... Я задыхаться въ городѣ не намѣрена...

— Да кто тебѣ велитъ задыхаться! возражаетъ супругъ, нѣсколько нахмурясь:—задыхаться! Вчера еще, кажется, у насъ печки топили...

— Что жъ изъ этого?—Она тяжело вздохнула.—Моимъ желаніямъ, видно, не суждено исполняться, продолжала она въ минорномъ тонѣ.—Я всякій годъ мечтаю на дачѣ встрѣчать самую раннюю весну, это лучшее время года... я такъ люблю природу... и это мнѣ никогда не удается по твоей милости... Ты обо мнѣ совсѣмъ не заботишься, вѣдь тебѣ все равно, существую я или нѣтъ; о моемъ здоровьи ты нисколько и не думаешь... Но если ты обо мнѣ не думаешь, то подумалъ бы, по крайней мѣрѣ, о своихъ дѣтяхъ. Саша такой больной: ты знаешь, какъ необходимъ ему свѣжій воздухъ.

— Господи Боже мой! Что такое? За что эти упреки?

Супругъ пожалъ плечами.

— Полноте, пожалуйста, продолжала супруга: — прикидываться такимъ жалкимъ, притѣсненнымъ!... Конечно, для моего спокойствія и удовольствія вы никогда не хотите ничего сдѣлать... Я очень хорошо понимаю и вижу васъ насквозь: вы только и заботитесь, что о самомъ себѣ. Себѣ вы ни въ чемъ не отказываете; а вотъ если я попрошу васъ объ чемъ нибудь, то если вы и исполните это, то вѣчно какъ будто нехотя. И чего мнѣ стоитъ всякая такая просьба! Я сношу ваши пожатія плечами, ваши гримасы, ваши ироническія улыбки и выраженія... Въ васъ нѣтъ ни малѣйшей жалости: вы знаете мое слабое здоровье, мои нервы...

При словѣ: нервы, супруга повела судорога.

Рѣчь, исполненная шпилекъ, колкостей, намековъ, самыхъ мелочныхъ, но страшно язвительныхъ, неудержимымъ и бурнымъ потокомъ полилась изъ устъ прелестной супруги. Супругъ раза два было запнулся; но это еще увеличило раздраженіе прекрасной супруги.

Вначалѣ ея голосъ звенѣлъ ровно и монотонно, какъ

колокольчикъ; потомъ онъ обратился въ писк, прерываемый всхлипываньемъ, и наконецъ совсѣмъ прервался. Изъ бѣлой волнующейся груди вырвался стонъ, пронзительный крикъ: «ахъ!» и супруга упадаетъ въ кресла, тяжело дыша и какъ будто задыхаясь. Кринолинъ приподнялъ юбки и обнаружилъ двѣ маленькія, прекрасно обутыя и дрыгающія ножки.

Супругъ, за минуту передъ этимъ почитавшій себя почти счастливѣйшимъ супругомъ, схватилъ въ отчаяніи себя за голову, прошепталъ: «что это такое? это ужъ изъ рукъ вонъ! это сумасшествіе!» бросился къ супругѣ и забѣгалъ около нея: подносилъ ей стаканъ воды, совалъ ей въ носъ стклянку съ одеколономъ, жженое перо; но она только стонала и дрыгала ножками. Когда же онъ принялся разстегивать ей капотъ, она дико вскрикнула:

— Подите прочь! оставьте меня! оставьте!

«Это не жизнь, а каторга!» думалъ счастливый супругъ.

Послѣ получасовой возни около нея, супруга начинаетъ дышать ровнѣе и легче и почти приходить въ себя, хотя все еще поглядываетъ на супруга свирѣпо и едва отвѣчаетъ на его мягкіе вопросы, сопровождаемые нѣжнымъ взглядомъ участія.

Черезъ часъ, впрочемъ, супруги примиряются; супругъ становится на колѣни передъ супругой, перебираетъ съ нѣжностью пальчики ея рукъ и тихимъ голосомъ лепечетъ:

— Не называй меня, душка, эгоистомъ: мнѣ это больно, — повѣрь, очень больно.

При этомъ онъ дѣлаетъ чувствительную гримасу и ударяетъ себя въ грудь.

— Вѣрь мнѣ, что твое спокойствіе, счастіе составляютъ постоянную заботу моей жизни... Если я тружусь, работаю, добиваюсь повышеній, то это не для удовлетворенія собственнаго честолюбія, а для того, чтобы расширить наши средства и имѣть возможность доставить тебѣ бо̀льшій комфортъ, бо̀льшія удовольствія. Я живу тобою и для тебя... Успокойся же, мой ангелъ: я сегодня же поѣду и найму дачу. Гдѣ ты желаешь? на островахъ?

— Вотъ еще выдумалъ: на островахъ! возражаетъ уже безъ свирѣпства, но болѣзненнымъ тономъ супруга: — на островахъ сыро, острова мнѣ надоѣли, на этихъ островахъ,

какъ на выставкѣ, надобно имѣть великолѣпные туалеты, которыхъ у меня нѣтъ...

«Боже! Боже! какъ она несправедлива!» думаетъ супругъ. «Четыре огромные шкафа биткомъ набиты дорогими и неизмѣримой величины платьями различныхъ цвѣтовъ, съ безчисленными юбками, фолбарами, воланами, кружевами, бархатами и тому подобными украшеніями: чего же ей еще? Что же называется великолѣпными туалетами?... Ненасытная женщина!»

Но онъ фразу супруги оставляетъ безъ всякихъ возраженій, боясь возобновленія нервическаго припадка, и кротко говоритъ:

— А что, не нанять ли намъ въ Гатчинѣ? Право. Мы никогда не живали въ Гатчинѣ; а тамъ хорошо, уединенно, кругомъ все лѣса, воздухъ чудесный...

— Какія у тебя, pardon pour l'éxpression, дикія фантазіи! Кто же живетъ въ Гатчинѣ? тамъ можно умереть отъ тоски... лѣсъ и болото, болото и лѣсъ... тамъ комары заѣдятъ. Я когда вспомню о Гатчинѣ, такъ у меня нервы разстроиваются...

Супругъ передернулся. Слова: *нервы* онъ не могъ слушать спокойно.

— Ну, нѣтъ, не надо въ Гатчину, перебилъ онъ торопливо. — Богъ съ ней, съ Гатчиной. Это я такъ только сказалъ. Не хочешь ли въ Петергофъ?

— Нѣтъ, отвѣчала она задумчиво: — Петергофъ я любила прежде... давно, когда я была еще очень молода и когда онъ былъ одушевленъ присутствіемъ Двора, праздниками... теперь ужъ меня это не занимаетъ, меня утомляетъ весь этотъ шумъ, блескъ...

— Въ такомъ случаѣ чего же лучше Ораніенбаума? Тихо, уединенно, прекрасный паркъ... Мы будемъ ѣздить на *Вѣнки*. Какой видъ оттуда! На дачу Академировской... какія тамъ живописныя мѣста! Знаешь ли, что я придумалъ: наймемъ-ка дачу въ Кронштадтской колоніи....

Супруга иронически улыбнулась и подернула однимъ плечикомъ.

— Колоніи! да кто же живетъ въ колоніяхъ? тамъ какіе-то все нѣмцы и нѣмки...

Она сдѣлала презрительную гримаску.

— Ты знаешь, что нѣмцы — моя антипатія... Они по праздникамъ пьютъ на дачахъ глинтвейнъ и поютъ хоромъ какія-то пѣсни или пляшутъ подъ звуки разбитой наемной шарманки; тамъ безпрестанно таскаются странствующіе мальчишки съ гармоникой, за которыми толпами бѣгаютъ грязныя дѣти колонистовъ. Все это не въ моемъ вкусѣ. Покорно васъ благодарю.

— А море-то! море! воскликнулъ супругъ.

— Я когда-то любила море, продолжала супруга немного нараспѣвъ, задумчиво, какъ бы погружаясь въ воспоминанія: — но теперь оно наводитъ на меня какое-то мучительное и тоскливое чувство.

— Переѣдемъ въ Царское-Село. Тамъ моря нѣтъ: гористое мѣсто, сухой воздухъ, для дѣтей тамъ очень полезно; или въ Лѣсной Институтъ, или наконецъ въ Парголово, что ли? Хоть мнѣ и неудобно оттуда ѣздить всякій день; но если тебѣ хочется, я готовъ и на это...

— Какія дачи въ Парголовѣ! тамъ все лачужки какія-то; а если есть порядочныя дачи, то ихъ не отдаютъ въ наймы.

— Прошлое лѣто Егоръ Васильичъ жилъ въ Полюстровѣ, на Кушелевскихъ дачахъ. Онъ былъ очень доволенъ.

— Нѣтъ, лучше ужъ ѣхать на Пороховые заводы или къ Александровской мануфактурѣ...

И при этомъ она залилась нервическимъ смѣхомъ, отъ котораго у супруга выступилъ холодный потъ на спинѣ и пробѣжали иголки на темени.

— Но... ангелъ мой... началъ было онъ:

— Какъ это вамъ не стыдно говорить, еще не давъ ему времени запкнуться, продолжала она: — кто же живетъ въ Полюстровѣ изъ порядочныхъ людей, я васъ спрашиваю?... Вашъ Егоръ Васильичъ мнѣ ни въ какомъ случаѣ не указъ! Тамъ живутъ такъ, самые мелкіе, самые ничтожные чиновники...

Супруга улыбнулась и вдругъ перемѣнила тонъ:

— Чудакъ ты! Какія тебѣ непостижимыя мысли приходятъ въ голову!...

И супруга ласково потрепала его двумя пальчиками по лбу, какъ будто хотѣла сказать:

— Хоть ты и дослужился до значительнаго чина, мой другъ, но здѣсь все-таки у тебя мало, очень мало!

— Ну, душенька, сказалъ супругъ, пріятно оскабляясь:— я сейчасъ же ѣду нанимать дачу, сію секунду; но скажи, Бога ради, гдѣ нанять? Я жду твоихъ приказаній...

Она задумалась.

— Я, право, не знаю... мнѣ все равно... начала она съ равнодушіемъ:—я полагаю... мнѣ кажется... всего приличнѣе опять въ Павловскѣ. Тамъ можно найти и совершенное уединеніе, и вмѣстѣ развлеченіе—воксалъ, хотя я вовсе не ищу развлеченія, ты это знаешь. Прошлое лѣто я всего, можетъ быть, была въ воксалѣ разъ десять или пятнадцать, несмотря на то, что хорошая музыка для меня величайшее наслажденіе...

— Помилуй, вырвалось невольно у супруга:—да ты, кажется, всякій вечеръ ходила и ѣздила въ воксалъ...

Супруга вспыхнула, и глаза ея сверкнули.

— Съ чего ты это взялъ? произнесла она скороговоркою и закусила немного нижнюю губку. — Боже мой! Я всякій вечеръ была на воксалѣ! продолжала она, поднявъ плечи. — Надобно съ ума сойти или не имѣть совѣсти, чтобы сказать это!

Въ прекрасныхъ глазахъ ея можно было прочитать близость новой бури, приближеніе разрушительнаго первическаго припадка. Чтобы отстранить эти ужасы, супругъ принялъ выраженіе самое туноумное и сладкое...

— Прости, душенька: я совралъ самъ не знаю что... Я теперь припоминаю... да, точно, ты врядъ ли и десять-то разъ была въ воксалѣ...

«Чортъ бы его побралъ, этотъ воксалъ!» прибавилъ онъ мысленно, и передъ глазами его мелькнули подпрыгивающій и размахивающій смычкомъ Штраусъ, приводящій въ энтузіазмъ павловскихъ жительницъ, образцовые и другіе офицеры, крики, вызыванья, хлопанья, маханья батистовыми платочками, сплетни, волокитства, толкотня въ залѣ, духота сигаръ, запахъ вина, пьяныя рожи, наглыя и разодѣтыя женщины, молодой полковникъ бель-омъ, съ локтями напередъ, съ черными усиками, кончающимися въ видѣ иголокъ, который вьется около его супруги и, какъ комаръ, все что-то жужжитъ ей подъ ухо, и опять подпрыгивающій Штраусъ, которому полковникъ

аплодируетъ во всю мочь, не щадя своихъ ладоней, и котораго онъ вызываетъ во все горло, не щадя своего голоса, хотя этому громозвучному голосу онъ обязанъ тѣмъ, что достигъ такъ скоро густыхъ эполетъ... Онъ кричитъ, и хлопаетъ, и смотритъ, дико улыбаясь, на его супругу, потому что все это онъ дѣлаетъ въ угодность ей, принадлежащей къ самымъ жаркимъ поклонницамъ Штрауса. Штраусъ и полковникъ, полковникъ и Штраусъ какъ-то страшно сливаются для него въ одинъ ненавистный образъ, возбуждаютъ въ немъ какія-то непріятныя и подозрительныя мысли, какое-то нелѣпое сомнѣніе, противъ воли тревожащее его всякій разъ, когда онъ вспомнитъ о Павловскѣ и о его воксалѣ...

Однако дѣлать нечего. Надо ѣхать въ Павловскъ нанимать дачу. Такъ приказываетъ супруга.

— Такъ ты рѣшилась въ Павловскѣ? спрашиваетъ онъ.

— Да. Пожалуйста, съѣзди нанять сегодня же.

— Хорошо, хорошо.

Онъ смотритъ на часы и говоритъ, какъ будто про-себя:

— Въ Павловскѣ-то, я думаю, дачи очень дороги, послѣ прошлогоднихъ пожаровъ, и спѣшитъ прибавить:—впрочемъ, ничего, я ѣду, ѣду въ Павловскъ.

— Ты найми, мой другъ, приличную, порядочную дачу, а не лучужку какую нибудь, и ближе къ саду.

— Будь покойна, я постараюсь отъискать хорошенькую дачу.

Онъ берется за шляпу и протягиваетъ ей руку, глядя на нее съ чувствомъ.

Она бросаетъ на него также чувствительный взглядъ. Они дѣлаютъ оба шагъ впередъ, сходятся, и уста ихъ сливаются въ поцѣлуѣ...

Картина очень трогательная! . . . . . .

Что связываетъ эти два существа другъ съ другомъ?...

Любятъ ли они хоть немного, уважаютъ ли хоть сколько нибудь другъ друга?

Говоря правду, имъ и не приходятъ въ голову такіе глубокіе вопросы, хотя у нихъ двое дѣтей и старшему уже лѣтъ около семи.

Онъ женился на ней потому, что какъ-то разъ плѣнился ея личикомъ и таліею.

«Она бѣдная дѣвушка», разсуждалъ онъ, «я человѣкъ съ состояніемъ; слѣдовательно, она будетъ мнѣ *обязана* своимъ благосостояніемъ и будетъ, такъ сказать, *подчинена* мнѣ, если не любовью, то чувствомъ благодарности; притомъ, разница въ нашихъ лѣтахъ небольшая: мнѣ 39, ей 23.»

Она вышла за него замужъ, какъ благоразумная дѣвушка, потому что ей пора было выходить замужъ и потому что онъ человѣкъ съ общественнымъ положеніемъ, на хорошей дорогѣ и съ деньгами.

«Правда», думала она, «онъ мнѣ вовсе не нравится, я не чувствую къ нему ничего; но тѣ, которые мнѣ нравятся, только ухаживаютъ за мною такъ, отъ него дѣлать, не имѣя никакихъ серьёзныхъ намѣреній; и что за бѣда, если я выйду замужъ за него не любя? Что жъ? я потомъ привыкну къ нему, какъ привыкли къ своимъ мужьямъ Катя, Надя, Соня, мои институтскія подруги, вышедшія также не любя. Къ тому же замужняя женщина всегда свободнѣе дѣвушки, и выйти замужъ—выигрышъ во всякомъ случаѣ.»

Первое время послѣ замужества новость положенія очень занимала ее. На восторженный вопросъ супруга: «любишь ли ты меня?» она отвѣчала: «люблю», и ей въ самомъ дѣлѣ казалось, что она начинаетъ какъ будто любить его; потомъ она убѣдилась, что ей только такъ показалось. Но нельзя же было сообщить мужу это убѣжденіе, поневолѣ надо было притворяться любящей, лицемѣрить, чтобы поддерживать *брачный эквилибръ;* къ тому же дѣти пошли... Можетъ быть, мысль, что она обманываетъ мужа, что она лицемѣритъ передъ нимъ, нѣсколько и смущала ее вначалѣ; но потомъ она совсѣмъ примирилась съ этимъ, тѣмъ болѣе, что лицемѣріе дѣйствовало отлично на семейное счастье. Да и къ тому же супругу некогда было дорываться до глубины сердца супруги; честолюбіе брало въ немъ верхъ надъ всѣмъ. У себя дома онъ искалъ только тишины и спокойствія, пріятной улыбки на устахъ супруги, изрѣдка поцѣлуя или нѣжнаго трепанья по щекѣ, не добиваясь, что движетъ этими поцѣлуями и нѣжностями—истинное чувство или притворство.

Когда они немного пообжились и поосмотрѣлись, вопросъ: кто будетъ играть первую роль въ домашнемъ быту? представился имъ обоимъ... Супругъ былъ по натурѣ деспотъ, всѣ

подчиненные сильно побаивались его: онъ натурально хотѣлъ взять верхъ и надъ супругой и первое время это удалось ему, но супруга была настороже... Первыя противорѣчія она сносила довольно терпѣливо, потомъ, при малѣйшихъ замѣчаніяхъ, стала впадать въ дурное расположеніе духа, а при серьёзныхъ противорѣчіяхъ плакать... Слезы кончались дурнотою; за дурнотою слѣдовалъ иногда нервическій припадокъ... Нервы у ней съ раннихъ лѣтъ были очень разстроены... Она видѣла, что, во время этихъ припадковъ, супругъ совершенно теряется и готовъ поддаться на все, что ей угодно. И усиленные нервическіе припадки возобновлялись всякій разъ, когда того требовала необходимость. Супругъ, человѣкъ съ упрямымъ, даже съ энергическимъ характеромъ, заставлявшій трепетать своихъ подчиненныхъ, долженъ былъ признать себя побѣжденнымъ и совершенно подчиниться нѣжной и слабой женщинѣ, всегда непобѣдимой и несокрушимой во всеоружіи своихъ нервовъ...

Въ самомъ дѣлѣ, что такое та энергія и сила воли, которыми мужчины гордятся? Одинъ нервическій женскій припадокъ—и все это исчезнетъ, и бѣлный безоружный мужчина становится тряпкою, по выраженію Гоголя. Великіе мужи силы, знаменитые герои, древніе и новые геніи, двигавшіе массами, исполины, управлявшіе судьбами царствъ и народовъ, не знавшіе преграды своимъ намѣреніямъ и замысламъ, нерѣдко являлись смирнѣйшими, робчайшими и покорнѣйшими въ своемъ домашнемъ быту. Тѣ, передъ кѣмъ трепетало человѣчество, сами трепетали передъ слабымъ и болѣзненнымъ существомъ, которое зовутъ женщиной...

Что герои! *Тучегонитель* и громовержецъ Зевсъ, который маніемъ бровей своихъ приводилъ въ ужасъ и трепетъ весь Олимпъ со всѣми его богами,—Зевсъ, повелѣвавшій и безсмертными и смертными, при видѣ своей *милейно-раменной* Геры робѣлъ и смущался и не всегда осмѣливался противорѣчить ея волѣ. Когда Ѳетида явилась передъ *молній-метателемъ* Зевсомъ съ просьбою объ отмщеніи за сына и дарованіи побѣды троянскимъ ратямъ:

«Ей, вздохнувши глубоко, отвѣтствовалъ тучегонитель:
«Скорбное дѣло, ненависть ты на меня возбуждаешь
«*Геры надменной: озлобитъ меня оскорбительной рѣчью;*
«*Гера и такъ непрестанно, предъ сонмомъ безсмертныхъ, со мною*

«Споритъ и вопитъ, что я за Троянъ побораю во брани.
«Но удалися теперь, да тебя на Олимпъ не узритъ
«Гера. . . . . .»

Правда, онъ прибавляетъ:

«. . . . . о прочемъ заботы пріемлю я самъ и исполню:
«Зри, да увѣрена будешь, тебѣ я главой помаваю.
«Се отъ лица моего для безсмертныхъ боговъ величайшій
«Слова залогъ; невозвратно то слово, вовѣкъ непреложно,
«И не свершиться не можетъ, когда я главой помаваю....»

Но такъ любятъ прихвастнуть почти всѣ мужья въ отсутствіи своихъ Геръ; при ихъ приближеніи они совсѣмъ перемѣняютъ тонъ. И чего бы, казалось, стоило молній-метателю и тучегонителю, всемогущему Кроніону разстаться съ своей надменной супругой? При всемъ пламенномъ желаніи его отдѣлаться отъ *волоокой* богини, всемогущій покоряется ей и противъ собственныхъ желаній исполняетъ всѣ ея желанія. Она принуждаетъ супруга согласиться на разрушеніе Трои...

«. . . . и внялъ ей отецъ и безсмертныхъ и смертныхъ.»

Что же заставляетъ его подчиняться надменной и капризной Герѣ? Желаніе домашняго спокойствія, боязнь скандала на Олимпѣ. «Что скажутъ боги?» думаетъ онъ, какъ Фамусовъ думалъ:

«Ахъ, Боже мой, что станетъ говорить
Княгиня Марья Алексѣвна?»

И сколько браковъ на свѣтѣ поддерживаются этими роковыми словами:

Что скажутъ?

Если бы супругъ и супруга, о которыхъ я завелъ рѣчь, взяли на себя трудъ углубиться въ самихъ себя и въ собственныя отношенія, они непремѣнно бы сознали, что между ними нѣтъ ничего общаго, что ихъ не связываетъ ни любовь, ни уваженіе другъ къ другу; но они не углубляются въ такіе вопросы, а живутъ день за день животною привычкою и поддерживаютъ кое-какъ свои отношенія лицемѣріемъ и обманомъ. Если бъ не страшное «что скажутъ?» они давно разстались бы другъ съ другомъ безъ сожалѣнія и обоимъ было бы свободнѣе и легче жить...

Для того, чтобы не нарушить домашняго спокойствія и не быть свидѣтелемъ обмороковъ, криковъ и стоновъ, супругъ нанимаетъ дачу въ Павловскѣ.

Они переѣзжаютъ.

Дача очень хороша и удовлетворяетъ вполнѣ самолюбію супруги, потому что дачи, нанятыя ея знакомыми, гораздо хуже. Первые дни послѣ переѣзда тепло, ясно, зелень распускается быстро на глазахъ, птицы чиликаютъ, соловей въ паркѣ противъ дачи вечеромъ такъ и заливается—удивительный соловей, будто нарочно нанятый вмѣстѣ съ дачею; черемуха разливаетъ въ воздухѣ благоуханіе; дѣти такъ рады свободѣ и такъ весело бѣгаютъ въ садикѣ. Все прекрасно.

Супруга впадаетъ въ поэтическое настроеніе. Она какъ будто помолодѣла и похорошѣла. Она гуляетъ по лугамъ, почти бѣгаетъ, собираетъ полевые цвѣты и составляетъ изъ нихъ букеты, прислушивается къ пѣнію соловья и погружается въ тихую задумчивость, играетъ съ дѣтьми и обнаруживаетъ къ нимъ необыкновенную внимательность и нѣжность; она въ такомъ кроткомъ расположеніи, что даже ласкаетъ супруга и приказываетъ приготовлять ему любимыя блюда къ его столу.

У него показываются повременамъ, глядя на нее, слезы благодарности и умиленія, и онъ шепчетъ про-себя:

«Нѣтъ, я еще счастливъ, ей-Богу, счастливъ!»

Воксалъ хотя еще не открылся, но, говорятъ, откроется на-дняхъ и опять появится подпрыгивающій Штраусъ... Полковникъ... онъ еще, благодаря Бога, не показывался; но тѣнь его уже какъ будто разъ мелькнула въ паркѣ.

Да что жъ ему до Штрауса и до полковника? Онъ ищетъ единственно домашняго спокойствія, семейной тишины; для укрѣпленія этого спокойствія, кажется, надобно только сквозь пальцы смотрѣть на кокетство супруги и стараться не видѣть того, что ясно для всѣхъ.

Неужели это — ревность? Но ревность болѣзнь, горячка любви. Ревность понятна только при бѣшеной, страстной любви. О такого рода любви мой супругъ и въ юности никогда не имѣлъ понятія.

Сказать откровенно, если бъ Штраусъ или полковникъ были дѣйствительно избранными сердца его супруги и онъ имѣлъ бы непреложныя доказательства этого, и если бы никто никогда не могъ подозрѣвать объ этомъ, и она была бы въ понятіяхъ всѣхъ, кромѣ его, образцовой супругой, то онъ

кое-какъ примирился бы съ своимъ положеніемъ и смотрѣлъ бы равнодушно на Штрауса и на полковника; но бѣда въ томъ, что кокетство его супруги не можетъ укрыться отъ постороннихъ глазъ, особенно въ такомъ маленькомъ городкѣ, какъ Павловскъ, гдѣ всѣ ежедневно другъ съ другомъ сходятся и знаютъ другъ друга, по крайней мѣрѣ по имени. Здѣсь сейчасъ представляется вопросъ:

«Что скажутъ?»

Вопросъ нестерпимый, мучительный для самолюбія... А развѣ по большей части источникомъ ревности не бываетъ самолюбіе?

Воксалъ открылся. Штраусъ появился на эстрадѣ, смычокъ его пришелъ въ движеніе. Дамскіе взоры устремились на Штрауса съ пріятнымъ и нѣжнымъ выраженіемъ; двѣ пятидесятилѣтнія дѣвственницы, разрисованныя и разряженныя, чуть не привскакнули отъ восторга на своихъ стульяхъ противъ того мѣста, гдѣ красуется плѣнительный дирижёръ оркестра; полковникъ захлопалъ при его появленіи изо всей силы... Все какъ слѣдуетъ, все опять точно такъ же, какъ прошлое лѣто. Тѣ же лица, тѣ же выраженія, тѣ же крики и вызовы.

И супруга сидитъ на томъ же мѣстѣ. Все то, что копошилось въ супругѣ, какъ самое непріятное воспоминаніе, какъ тяжелый сонъ, воскресло наяву.

Вотъ и полковникъ подходитъ къ нимъ, ловко раскланивается передъ его супругой, звякаетъ шпорами и уже начинаетъ жужжать около нея, какъ комаръ.

Полковникъ приглашенъ супругой на чай, послѣ музыки.

Они втроемъ возвращаются домой черезъ садъ.

Полковникъ начинаетъ разговоръ съ супругомъ. Супругъ чувствуетъ, что этотъ разговоръ заводится съ нимъ такъ только, изъ приличія, и что полковнику хочется собственно разговаривать не съ нимъ, а съ его супругой, и то еще не въ его присутствіи; но, чтобы не обнаружить и тѣни ревности, онъ поддерживаетъ съ нимъ разговоръ, повидимому, очень охотно и очень пріятно, и улыбается ему, несмотря на то, что онъ хотѣлъ бы разорвать его на части.

Противъ супруги у него внутри закипаетъ желчь ключомъ; но онъ отъ времени до времени обращается къ ней съ любезнѣйшимъ выраженіемъ и говоритъ ей нѣжнымъ голосомъ:

— Посмотри, мой дружочекъ, какъ хорошъ этотъ оврагъ и какъ живописно расположены въ немъ деревья!

или:

— Слышишь, слышишь—соловей! Но этотъ гораздо хуже нашего. Не правда ли?

За чаемъ полковникъ подсаживается къ супругѣ и жужжитъ что-то ей вполголоса. Супругъ дѣлается серьёзенъ. Ему кажется чай несладокъ, онъ изъявляетъ неудовольствіе, что нѣтъ его любимыхъ крендельковъ, и спрашиваетъ у своей супруги:

— Отчего же ихъ нѣтъ?

Супруга вспыхиваетъ при этомъ вопросѣ и, улыбаясь иронически, отвѣчаетъ:

— Ахъ, Боже мой, я-то почему знаю? Какіе крендели? Что такое?

И обращается къ полковнику, продолжая съ нимъ разговоръ.

Когда полковникъ уходитъ, она обращается къ супругу:

— Что съ вами? я чуть не сгорѣла отъ стыда... Какъ вы обращаетесь со мною при постороннихъ? Это ужасно! Вы адресуетесь ко мнѣ, какъ къ ключницѣ, спрашиваете меня о какихъ-то кренделяхъ, корчите какія-то недовольныя гримасы... просто ни на что похоже... Это мое терпѣнье можетъ только переносить все это.

— Господи! восклицаетъ супругъ, поднявъ плечи: — ну, что за бѣда, что я спросилъ васъ о кренделяхъ? Вы сами же мнѣ третьяго дня сказали: «я буду тебя всякій день кормить, мой другъ, твоими любимыми кренделями»; а гримасъ я никакихъ не дѣлалъ, вы ошибаетесь. Я не понимаю, отчего вы ко мнѣ привязываетесь?

— *Привязываетесь?* Какъ это любезно! Вы хотите, чтобы я никого не приглашала къ себѣ, желаете меня лишить всякаго развлеченія. Я не могу переносить такого деспотизма, я вамъ объявляю торжественно... слышите ли вы это? Не могу, не могу и не могу!... Я буду принимать къ себѣ всѣхъ тѣхъ, кого я хочу; а если кто нибудь изъ нихъ вамъ не нравится, вы можете уходить къ себѣ въ кабинетъ, я не мѣшаю вамъ...

Супругъ нахмурился при этихъ послѣднихъ словахъ.

— Вамъ, кажется, этого и хочется. Вы желаете, чтобы я уходилъ въ свой кабинетъ, когда этотъ полковникъ будетъ сидѣть съ вами?

— Что это значитъ! вскрикнула она. — Вы еще меня оскорбляете! Ахъ, я не могу переносить этого... Ахъ! ахъ!

Она схватываетъ себя за грудь и падаетъ на диванъ съ раздирающими криками.

Нервическій припадокъ въ сильнѣйшей степени.

На улицѣ противъ дома начинаютъ съ удивленіемъ останавливаться запоздавшіе гуляющіе. Въ это время никто никогда не показывается на улицѣ, а тутъ какъ нарочно!

Горничныя хлопочутъ около барыни.

Крики дѣлаются слабѣе.

Баринъ стоитъ у окна и смотритъ въ окно, ничего не видя, и шепчетъ про-себя:

«Вотъ адъ-то! вотъ настоящій адъ-то!... Связалъ же меня Господь съ этой женщиной!... Я ее облагодѣтельствовалъ, вырвалъ изъ нищеты, сдѣлалъ барыней, и вмѣсто благодарности — вотъ!»

Но когда барыня приходитъ въ себя, баринъ подходитъ къ ней на цыпочкахъ и съ грустной миной, боязливо и тихимъ голосомъ спрашиваетъ у ней:

— Ну, каково ты себя чувствуешь, мой ангелъ?

Нервы еще не совсѣмъ успокоились, и она, отвернувшись, мрачно и скороговоркой говоритъ:

— Подите прочь! Оставьте меня въ покоѣ, умоляю васъ!

Супругъ молча и печально отходитъ, но черезъ полчаса снова возвращается и, для водворенія въ домѣ спокойствія и мира, становится на колѣни передъ супругою, признаетъ себя виновнымъ, проситъ прощенія и цѣлуетъ кончики ея пальчиковъ.

Послѣ этого примиреніе совершается. Супруга треплетъ его по щекѣ и даже слегка прикасается своими губками къ его лбу, на которомъ время провело три рѣзкія складки.

На слѣдующее утро, въ воскресенье, когда супругъ не ѣздитъ въ Петербургъ, они вмѣстѣ прогуливаются въ паркѣ и отдыхаютъ въ Красной долинѣ.

Супруга очень внимательна, весела и разговорчива. Погода восхитительная: тепло, воздухъ душистъ, бѣлыя бабочки кру-

жатся около куста сирени, ласточки быстро летаютъ и хлопочутъ около своихъ гнѣздъ, которыя онѣ свили подъ крышей павильона; два дерева, береза и кленъ, противъ того мѣста, гдѣ сидятъ они, такъ дружно сплелись между собою и такъ тихо шепчутъ листьями, какъ будто ведутъ между собою въ объятіяхъ другъ друга любовную рѣчь. Все, кажется, дышетъ любовью и счастіемъ; только несносные комары не даютъ покоя.

Супруга закуриваетъ папироску, супругъ—сигару.

Разговоръ между ними становится все одушевленнѣе... Супруга перебираетъ критически всѣхъ своихъ родныхъ и знакомыхъ, особенно женскаго пола, предаетъ ихъ безпощадно строгому анализу, разбираетъ по косточкамъ; супругъ, хотя и не совершенно во всемъ соглашается съ нею, даже совсѣмъ не соглашается, но поддакиваетъ ей, улыбаясь, и еще прибавляетъ отъ себя яду, чтобы только не противорѣчить и не нарушать тишины и мира.

Утро проходитъ пріятно и незамѣтно.

И добрый супругъ почти опять готовъ воскликнуть: «однако, я, право, счастливъ!» почти забывъ вчерашнюю бурю.

XLIV. РУССКІЙ ДЖЕНТЛЬМЕНЪ-ОПТИМИСТЪ.

(посвящается всѣмъ *нашимъ*).

— О, Панглоссъ! восклицаетъ въ одномъ мѣстѣ вольтеровскій Кандидъ: — и ты не понялъ этой гнусности? Нѣтъ, я отказываюсь отъ твоего оптимизма.

— А что это такое оптимизмъ? спросилъ Какамбо.

— Увы! отвѣчалъ Кандидъ: — это безуміе поддерживать мнѣніе, что все на свѣтѣ прекрасно, тогда какъ...

У меня есть другъ, одержимый такимъ оптимизмомъ.

— *Другъ!...*

Это святое слово, любезный читатель, на нашемъ свѣтскомъ языкѣ, въ нашихъ свѣтскихъ правахъ имѣетъ значеніе довольно легкое, потому что мы, истинные джентльмены, смотримъ, какъ всѣмъ извѣстно, на жизнь вообще чрезвычайно легко. Мы ненавидимъ все глубокое и серьёзное и повсюду

ищемъ одной забавы и развлеченія: въ литературѣ, въ театрѣ, въ дѣйствительной жизни,—вездѣ.

Мы сходимся очень легко съ людьми, не имѣющими вовсе никакихъ убѣжденій... за хорошимъ обѣдомъ, за бутылкой *добраго* вина... и называемъ потомъ такихъ господъ *друзьями*.

Отношенія наши къ такого рода друзьямъ совершенно свободны и ни къ чему насъ не обязываютъ. Оттого мы пріятно улыбаемся и льстимъ имъ въ глаза, а за глаза не только отпускаемъ на ихъ счетъ язвительныя остроты, но даже просто очень зло клевещемъ на нихъ... Все это, однако, не мѣшаетъ намъ слыть истинными джентльменами между такими же джентльменами, какъ мы. Мнѣніемъ *черни* мы презираемъ...

Такъ я сказалъ, что у меня есть другъ, подобно Панглоссу, весь свѣтъ и все на свѣтѣ видящій въ розовомъ цвѣтѣ.

О, какой это милый человѣкъ, если бы вы знали, и какой джентльменъ! Всѣ *мы* и *наши* отъ него въ восторгѣ, хотя это не мѣшаетъ намъ тайкомъ отзываться объ немъ, какъ объ отсталомъ человѣкѣ, какъ о *гнилой* натурѣ, и прочее.

Но это ничего, потому что онъ всетаки *нашъ*, онъ хвалитъ насъ во всеуслышаніе, такъ же, какъ и мы хвалимъ его, и наша дружба поддерживается этой *лицемѣрной* (какъ бы сказали вульгарные люди), взаимной хвальбой, хотя тутъ дѣло вовсе не въ лицемѣріи, а въ тонкомъ разсчетѣ.

Нашъ другъ имѣетъ нѣкоторое значеніе: онъ человѣкъ образованный, онъ много читалъ умныхъ и веселыхъ книгъ, онъ обладаетъ обширною памятью, усвоиваетъ себѣ чужія мысли очень легко и выдаетъ ихъ за свои собственныя безъ всякой застѣнчивости; онъ говоритъ изящно и гладко, держитъ себя умно и прилично, исполненъ чувства собственнаго достоинства и *мѣры* (онъ всегда и во всемъ держится золотой середины) и съ восхитительнымъ ожесточеніемъ нападаетъ на всѣ *крайнія* мнѣнія, остроумно замѣчая, что такія мнѣнія имѣютъ только *семинаристы*, съ которыми джентльмены не должны имѣть ничего общаго...

Казалось бы, что̀ намъ въ похвалѣ такого господина, намъ, которые почитаемъ себя людьми съ широкими и смѣлыми взглядами и которые, пожалуй, не прочь сочувствовать во многомъ тѣмъ, которыхъ онъ зоветъ семинаристами?

Казалось бы, что̀ ему въ нашей похвалѣ: вѣдь онъ пистник-

тивно долженъ чувствовать, что между его золотою серединою и нашими смѣлыми стремленіями нѣтъ примиренія?

А, между тѣмъ, мы разсыпаемся другъ передъ другомъ въ комплиментахъ, съ чувствомъ пожимаемъ другъ другу руки, даже иногда бросаемся другъ другу въ объятія. Какіе мы слабые люди!

Это фактъ. Объясненіе его повело бы насъ слишкомъ далеко и могло бы бросить на насъ непріятную тѣнь, и потому мы оставимъ этотъ фактъ лучше безъ объясненій.

Нашъ другъ—не исключительное явленіе современной петербургской жизни: напротивъ, такого рода джентльменовъ развелось у насъ въ послѣднее время очень много... Вотъ почему я обращаю на него особенное вниманіе читателя.

Не знаю, съумѣю ли я вамъ представить хоть въ легкомъ очеркѣ это милое явленіе.

Для этого необходимъ тонкій карандашъ великосвѣтскаго артиста, и я останавливаюсь передъ моимъ трудомъ съ нѣкоторою боязнію...

Однако, почему же не попытаться?...

Если лицо не будетъ мною очерчено вполнѣ и такъ остроумно, какъ бы оно того заслуживало, то я представлю его, по крайней мѣрѣ, хоть въ общихъ чертахъ, такъ, чтобы читатель понялъ, на какой разрядъ людей я хочу намекнуть. Я убѣжденъ, что у всякаго читателя есть знакомый, похожій на того господина, котораго я хочу изобразить, и остроумный читатель добавитъ къ этому бѣглому очерку недосказанное мною.

Вотъ портретъ моего идеала:

Онъ не хорошъ и не дуренъ, черты лица у него правильныя, но строго холодныя и никогда не одушевляющіяся внутреннимъ огнемъ. Онъ неспособенъ ничѣмъ тронуться глубоко, почувствовать что нибудь энергически и сильно, какъ и слѣдуетъ джентльмену; но онъ можетъ умиляться очень часто отъ самыхъ пустыхъ и незначительныхъ фактовъ, и, если польстить его самолюбію, строгая физіономія его вдругъ умягчается до сладости, глазки покрываются масломъ, движенія становятся какъ-то особенно круглы и пріятны, и онъ начинаетъ говорить своимъ друзьямъ самыя льстивыя и вкрадчивыя рѣчи...

Онъ ходитъ, обыкновенно, серьёзно и важно, гордой, ровной и осторожной поступью, или, лучше сказать, *носитъ себя*, какъ драгоцѣнный хрустальный сосудъ, заключающій въ себѣ эссенцію человѣческой мудрости, и какъ будто боится расплескать ее даромъ передъ невѣждами. Невѣждами же онъ считаетъ почти всѣхъ, за исключеніемъ себя и людей, имѣющихъ честь принадлежать къ его кружку.

Когда онъ является среди людей малознакомыхъ или вовсе незнакомыхъ, онъ поражаетъ робкихъ съ перваго взгляда важностью и мудростью своей осанки, своего выраженія, своихъ немногихъ словъ, произносимыхъ имъ всегда съ необыкновеннымъ вѣсомъ и достоинствомъ. Глядя на него, можно подумать, что онъ исчерпалъ всѣ человѣческія знанія и рѣшилъ всѣ задачи жизни, а въ сущности онъ прочелъ только, и то довольно поверхностно, кое-что изъ сочиненій энциклопедистовъ и англійскихъ деистовъ XVIII вѣка, кое-что изъ англійской литературы, начиная съ Шекспира, «Исторію цивилизаціи» Гизо, сочиненіе Баранта о французской литературѣ, «Американскую Демократію» Токвиля и нѣсколько новѣйшихъ политическихъ брошюръ.

Что жъ? для насъ вѣдь и это ученость. Мы учились такъ плохо и читали такъ мало!

Если эти неосторожныя слова, нечаянно сорвавшіяся у меня съ языка, будутъ прочтены моимъ другомъ, тѣмъ лицомъ, которое я рисую передъ вами, онъ исполнится противъ меня негодованіемъ, въ этомъ я убѣжденъ.

«Какъ! воскликнетъ онъ: можно ли дойти до такой безтактности, чтобы осмѣлиться называть себя малоучеными и малоначитанными передъ толпою! Развѣ все, что думаешь, можно высказывать вслухъ?... Мы, напротивъ, должны себя держать такъ, чтобы толпа благоговѣла передъ нами и подозрѣвала въ насъ бездну знаній и премудрости. Какъ передовые люди, мы должны повелѣвать ею. Мы—каста современныхъ жрецовъ. Когда же жрецы открывали свои тайны?... Въ тайнѣ заключается наше значеніе и сила! Мы не должны унижать своего сословія!»

И, чего добраго, пожалуй, еще мои пріятели, всѣ *наши*, люди съ свободными и широкими взглядами, присоединятся къ этому голосу и закидаютъ меня каменьями!

Но, господа, Бога ради, чѣмъ же я виноватъ?

Вы сами безпрестанно твердите объ *искренности* въ искусствѣ и въ жизни...

— Да, это правда, но *тактъ, тактъ!* повторяютъ пріятели.

— Между собою мы можемъ быть откровенны, точно такъ же, какъ человѣкъ дома можетъ ходить въ халатѣ. Нельзя же, однако, въ халатѣ показываться передъ публикою. Передъ ней мы обязаны всегда являться въ парадѣ, съ нѣкоторою торжественностью. Дома, между собою, мы болтаемъ и объ Шарлоттахъ, и объ Каролинахъ, и объ разномъ вздорѣ, передаемъ другъ другу наши шалости, наши забавныя похожденія; но при постороннихъ мы обязаны сейчасъ принимать важный видъ и заговаривать о чемъ нибудь серьёзномъ... хоть, напримѣръ, о мемуарахъ Гизо...

Этимъ-то тактомъ владѣетъ въ высшей степени джентльменъ, изображаемый мною.

Онъ умѣетъ соединять, какъ никто, пріятное съ полезнымъ, мудрость съ шалостями, Гизо съ Каролиной!

Кому бы пришло въ голову, что этотъ человѣкъ, такъ мудро разсуждающій сегодня о величіи Гизо, о геніальности Шекспира, о безпутствѣ Жоржъ-Сандъ (къ Жоржъ-Сандъ онъ имѣетъ особенное предубѣжденіе и почитаетъ ея сочиненія глубокобезнравственными, несмотря на всѣ наши увѣренія въ противномъ),—кому бы пришло въ голову, что этотъ мудрецъ, этотъ герой нравственности, вчера, напримѣръ, цѣлый день предавался самымъ эксцентрическимъ шалостямъ съ какой-нибудь Каролиной или съ Идою?

Если же эту Каролину или Иду въ его присутствіи назовутъ безпутной, онъ съ ожесточеніемъ нападаетъ на такого дерзкаго и начинаетъ доказывать ему, что она вовсе не безпутная женщина. Что за странная логика у моего друга!

Мой другъ, несмотря на его качества джентльмена, не терпитъ, напримѣръ, людей великосвѣтскихъ и отзывается о нихъ съ презрѣніемъ, хотя самъ насквозь проникнутъ великосвѣтскими и плантаторскими началами и убѣжденъ, что будущее можетъ быть разумно устроено только тою кастою, къ которой принадлежитъ онъ; но если самый пустой и ничтожный человѣкъ изъ высшаго общества обнаружитъ уваженіе къ

его особѣ и торжественно признаетъ его геній, онъ дружески протягиваетъ ему руку, вводитъ его въ свой кружокъ, находитъ въ немъ небывалыя достоинства, сердится, если ему противорѣчатъ...

«Это исключеніе изъ этого тупаго общества, *перлъ!*» повторяетъ онъ упорно, указывая на него.

Мой джентльменъ не терпитъ великосвѣтскость, аристократизмъ, не потому, чтобы аристократическіе принципы возмущали его, а оттого, что аристократы смотрятъ на него свысока, тогда какъ ему хотѣлось бы смотрѣть на всѣхъ свысока.

Для этого онъ, по примѣру французскихъ энциклопедистовъ и новѣйшихъ доктринеровъ, мечтаетъ создать свой аристократическій кружокъ, въ которомъ бы основою аристократизма были прежде всего умъ и талантъ. Если къ этому примѣшается дворянское старое имя или какой-нибудь титулъ, разумѣется, тѣмъ лучше. Аристократизмъ ума и таланта—это конекъ, на которомъ онъ красуется. Себя онъ считаетъ главой этой современной аристократіи, потому что онъ почитаетъ себя умнѣе и талантливѣе всѣхъ...

Въ этотъ избранный кружокъ, существующій, впрочемъ, покуда въ его фантазіи, допускались бы только ésprit fort (въ великосвѣтскомъ смыслѣ), ésprit fin и bel ésprit; но умъ, проницательный, глубокій, смѣлый, здравый умъ, не подчиняющійся блестящимъ авторитетамъ, не идущій по реторической рутинѣ современныхъ умниковъ, этотъ безпокойный и опасный умъ не только не былъ бы допускаемъ въ кружокъ моего друга, но мой другъ джентльменъ старался бы всячески унижать и осмѣивать такого рода умы.

Снисходительный, мягкій, уступчивый относительно всякой посредственности, даже восторгающійся посредственностью, онъ былъ бы жестокъ, неумолимъ, безпощаденъ относительно умовъ, выходящихъ изъ-подъ общаго уровня золотой посредственности. Людей, обладающихъ такими умами, онъ клеймилъ бы именами: безумныхъ, утопистовъ, жалкихъ и пустыхъ крикуновъ, несчастныхъ соціалистовъ, и прочее; онъ презрительно называлъ бы ихъ героями сумасшедшаго дома и, если бы имѣлъ власть, истребилъ бы ихъ *для блага человѣчества*, то есть для собственнаго блага. Человѣчество моего джентльмена заклю-

чается въ немъ самомъ и въ избранномъ кружкѣ его. Онъ очень хорошо понимаетъ, что при господствѣ здравыхъ умовъ ему было бы не такъ ловко... Онъ принадлежитъ къ тѣмъ людямъ, про которыхъ сказалъ Руссо:

«Наслаждаясь роскошнымъ обѣдомъ, они убѣждены, что лжетъ тотъ, который говоритъ, что есть на землѣ люди голодные».

А если мой джентльменъ иногда и признаетъ существованіе на землѣ такого рода несчастныхъ, то онъ хладнокровно готовъ сказать имъ:

«Душѣ противны вы, какъ гробы,
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры...
Довольно съ васъ, съ рабовъ безумныхъ:
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметаютъ соръ... Полезный трудъ!
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у васъ метлу берутъ!...»

Мой джентльменъ питаетъ непреодолимое отвращеніе къ черни, то есть ко всѣмъ голоднымъ людямъ, и еще болѣе къ ихъ защитникамъ, потому что они своими воплями нарушаютъ прелестную гармонію, созданную его фантазіей, и мѣшаютъ нѣсколько его пищеваренію и удовольствіямъ.

Изъ всего этого, однако, не слѣдуетъ заключать, что онъ раздѣляетъ вполнѣ образъ мыслей тѣхъ старыхъ, невѣжественныхъ и совершенно отсталыхъ людей, которые хотятъ тупо держаться всякой рутины и не могутъ слышать равнодушно ни о какихъ исправленіяхъ и улучшеніяхъ. Нисколько! Мой джентльменъ считаетъ себя либераломъ, прогрессистомъ, онъ хочетъ не только большей свободы, но и разныхъ привиллегій и почестей для себя, для своихъ друзей и вообще для людей избранныхъ и образованныхъ.

Его утопія будущаго походила бы на утопію графа Соллогуба: онъ непремѣнно нарядилъ бы всѣхъ умниковъ и талантовъ, начиная, разумѣется, съ самого себя, въ какой нибудь особенный блестящій костюмъ и къ сапогамъ ихъ придѣлалъ бы непремѣнно красные каблуки, для отличія отъ простыхъ смертныхъ.

Эти красные каблуки безусловно должны бы были господ-

ствовать надъ толпою: они ораторствовали бы, писали бы стихи, сочиняли бы похвальныя рѣчи другъ другу и предавались бы другимъ пріятнымъ и невиннымъ занятіямъ; а толпа должна бы была благоговѣйно слушать все это и безусловно удивляться всему.

Отъ этихъ великихъ людей на красныхъ каблукахъ зависѣло бы раздавать дипломы на талантъ; охранять знаменитые европейскіе авторитеты (подъ знаменитыми авторитетами должно подразумѣвать всѣхъ умѣренныхъ публицистовъ и французскихъ доктринеровъ новѣйшаго времени, начиная съ мудраго Гизо до г. Аллури, пишущаго premier Paris въ Journal des Débats) отъ грубыхъ и невѣжественныхъ нападковъ тѣхъ, которые симпатизируютъ голодной толпѣ и возбуждаютъ къ ней неблагородное состраданіе, и направлять неуклонно въ собственную пользу и къ выгодѣ умниковъ на красныхъ каблукахъ тѣ постоянныя стремленія и ту благородную жажду улучшеній, которыя пробудились въ настоящее время во всѣхъ классахъ общества.

Зависть — чувство низкое и рабское, и нѣтъ никакой возможности подозрѣвать ее въ томъ джентльменѣ, котораго я описываю; поэтому я никакъ не назову завистью то безпокойное и непріятное ощущеніе, которое пробуждается въ немъ всякій разъ при чужихъ успѣхахъ, даже при успѣхахъ тѣхъ, которые принадлежатъ къ его кружку и которыхъ онъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, торжественно и публично величаетъ друзьями своими. Наружно онъ радуется этому успѣху и какъ будто вполнѣ сочувствуетъ ему. Онъ изъявляетъ это сочувствіе друзьямъ своимъ объятіями, пожатіями рукъ, обѣдами въ честь ихъ, похвалами, но къ этимъ похваламъ всегда примѣшиваетъ нѣсколько ядовитыхъ словъ и замѣчаній, сказанныхъ вскользь и дающихъ этому успѣху нѣкоторый не совсѣмъ выгодный и отчасти комическій колоритъ...

Этимъ замѣчаніемъ я никакъ не хочу бросить тѣнь на моего джентльмена. Извѣстно, что успѣхи Монтескьё и Жанъ-Жака Руссо производили на ихъ друга Вольтера не совсѣмъ пріятное впечатлѣніе, а Вольтеръ былъ человѣкъ геніальный... И если я нахожу какія нибудь общія черты у Вольтера съ моимъ героемъ, то это ужъ во всякомъ случаѣ можетъ быть обидно для перваго, но никакъ не для послѣдняго.

Кстати о Вольтерѣ.

Если этого геніальнаго человѣка упрекаютъ люди строгіе, положительные и серьёзные въ нѣкоторомъ легкомысліи, потворствѣ и угодничествѣ сильнымъ міра сего, то я смѣло послѣ этого могу замѣтить, что мой джентльменъ имѣетъ воззрѣнія также довольно легкомысленныя.

Въ искусствахъ, въ литературѣ, въ жизни, — вездѣ онъ ищетъ только комфорта для себя и себѣ подобныхъ, пріятнаго и милаго сочетанія наслажденій чувственныхъ съ духовными, отдавая перевѣсъ первымъ передъ послѣдними, внѣшней изящной свѣтскости съ удовольствіями физическими. Въ этомъ же упрекаютъ и Вольтера; но такъ какъ мой джентльменъ, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, всетаки не имѣетъ вольтерова генія, то эту теорію онъ довелъ до крайности... я бы сказалъ: до пошлости, если бы не боялся такимъ вульгарнымъ словомъ оскорбить моего друга.

Онъ хотѣлъ бы превратить и искусства, и литературу, и все въ забаву, въ милую шутку, безъ всякой цѣли, безъ всякаго направленія. Въ этомъ случаѣ онъ уже совершенно расходится съ Вольтеромъ, для котораго шутка и остроуміе служили орудіями другихъ, высшихъ цѣлей...

Мой джентльменъ любитъ шутку для шутки, забаву для забавы, искусство для искусства.

Несмотря на свой строгій видъ, на свою внушающую наружность, онъ хочетъ веселиться и забавляться, во что бы то ни стало.

Надобно замѣтить, что онъ членъ разныхъ ученыхъ обществъ, которыя, онъ, впрочемъ, рѣдко удостоиваетъ посѣщеніемъ. Когда его товарищъ по одному изъ этихъ обществъ наивно спросилъ его: «отчего онъ не былъ въ послѣднемъ засѣданіи?» мой джентльменъ иронически улыбнулся и отвѣчалъ:

— Я ѣзжу только туда, гдѣ нахожу что нибудь забавное, а въ вашемъ обществѣ забавнаго мало!

И—странное дѣло! — отъ этого человѣка, вѣчно толкующаго о весельи, постоянно стремящагося забавляться, вѣетъ какою-то злобною скукою...

Онъ обратилъ веселье и забаву въ теорію; но эта теорія вовсе какъ-то не примѣняется у него къ практикѣ и совсѣмъ нейдетъ къ его важной, строгой и холодной физіономіи. Въ

его забавахъ есть что-то мертвое; во время самыхъ шаловливыхъ и веселыхъ его разсказовъ лицо его остается постоянно сухимъ, недвижнымъ, и во всей его фигурѣ не бываетъ ни малѣйшаго признака одушевленія. Разсказы эти обыкновенно заключаетъ онъ насильственнымъ, старческимъ смѣхомъ, который не только не въ состояніи сообщить веселость слушателямъ, но скорѣе навести на нихъ мучительную тоску.

Онъ ровнымъ, гладкимъ, текущимъ языкомъ толкуетъ объ *изящномъ*—это одинъ изъ любимыхъ его предметовъ—и, слушая его, можно нешутя подумать, что онъ обладаетъ тонкимъ эстетическимъ вкусомъ; онъ обыкновенно пересыпаетъ эти толки, для блеска, великими именами. Но я не знаю человѣка, который бы окруженъ былъ такимъ отсутствіемъ всякаго изящества. Послѣдній сидѣлецъ въ лавочкѣ толкучаго рынка, или жидъ, мозольный операторъ, торгующій въ Пассажѣ случайными вещами, безъ всякаго труда можетъ сбыть ему какой нибудь старый завалявшійся пейзажъ, въ родѣ тѣхъ, которые украшаютъ стѣны русскихъ трактировъ, за настоящаго Карла Вернета, или какого нибудь амура съ корниловскаго завода за vieux-Saxe... И если мой джентльменъ внутренно и убѣдится въ обманѣ, онъ ни за что не сознается въ этомъ и будетъ доказывать вамъ съ пѣною у рта, что этотъ пейзажъ или этотъ амуръ—драгоцѣнность.

То, что однажды обратилось въ его собственность, возводится имъ уже въ перлъ созданія. Чувство собственности—не рѣдкость: всѣ собственники въ сильной степени обладаютъ этимъ чувствомъ; но такого горячаго и преувеличеннаго чувства собственности, какъ въ моемъ джентльменѣ, я не встрѣчалъ ни въ комъ.

Каждая картина, висящая у него на стѣнѣ—непремѣнно Рембрандтъ, или Рубенсъ, или Тиціанъ; каждая сорная травка, растущая на его землѣ — необходимое и вмѣстѣ цѣлебное растеніе; палисадникъ передъ домомъ — садъ или роща; домишко въ три окна — большой домъ; избушка въ родѣ шалаша—флигель, и такъ далѣе.

Я не укоряю моего друга за это чувство и нисколько не думаю обратить его въ смѣшное. Только тѣ несчастные, которые никогда не имѣли никакой собственности, могутъ подсмѣиваться надъ этимъ.

Напротивъ, для оправданія этого чрезвычайно натуральнаго чувства, я сдѣлаю здѣсь откровенное признаніе моему читателю.

Моя собственность очень ограничена. Вся она заключается въ кое-какой мебели и вещахъ. Между этими вещами есть женская, почти дѣтская головка въ чепцѣ и съ книгой въ рукѣ... Картина очень милая, хорошо и тонко написанная. Мнѣ продали ее за Грёза, и она, дѣйствительно, походитъ на Грёза.

Лишь только я повѣсилъ ее на стѣну своего кабинета, убѣжденіе, что это настоящій Грёзъ, сдѣлалось для меня теперь несокрушимо; тотъ, кто сталъ бы разувѣрять меня, что я нахожусь въ заблужденіи и что мой Грёзъ не Грёзъ, а только удачная копія съ Грёза, сдѣлался бы мнѣ (по крайней мѣрѣ, въ ту минуту, когда онъ сталъ бы разувѣрять меня) почти моимъ врагомъ.

Чувство собственности сильно и врожденно всякому джентльмену, и обращать его въ смѣшное я считаю не только безтактностью, но неприличіемъ.

Только безумцы, подобные Прудону, могутъ нападать на собственность и не понимать чувства, возбуждающаго ее.

Съ тѣхъ поръ, какъ я пріобрѣлъ Грёза, я сдѣлался самымъ яростнымъ защитникомъ собственности...

Въ политикѣ мой джентльменъ имѣетъ взглядъ, который крайніе люди, или, какъ онъ говоритъ, семинаристы, назвали бы узкимъ, пошлымъ и ограниченнымъ и который всѣ мы, его друзья, болѣе или менѣе столбовые дворяне, не можемъ назвать широкимъ. Взглядъ этотъ почерпнутъ имъ изъ двухъ источниковъ: изъ сочиненій Гизо и политическихъ брошюръ Монталамбера. Онъ преклоняется передъ краснорѣчіемъ Монталамбера и считаетъ Гизо олицетвореніемъ высочайшей современной мудрости. Мы также отдаемъ справедливость блестящимъ фразамъ католическаго оратора, уму, знаніямъ, талантамъ сухаго и строгаго протестанта, знаменитаго министра Людовика-Филиппа (несмотря на то, что зданіе, надъ которымъ онъ трудился и которое почиталъ такъ прочнымъ, рухнуло вдругъ, къ его удивленію, отъ легкаго дуновенія, какъ карточный домикъ); но мы не войдемъ въ азартъ, какъ нашъ джентльменъ, если кто нибудь замѣтитъ при насъ, что время

уже далеко опередило Гизо, что его мудрость поизносилась и пообветшала значительно, и не назовемъ за это такого смѣльчака мальчишкой и невѣждой.

Надо сознаться, впрочемъ, что вообще наши политическіе взгляды не имѣютъ никакой самостоятельности и очень шатки. Поэтому всѣ рѣчи о политикѣ даже нашихъ умниковъ и образованныхъ людей иногда напоминаютъ нѣсколько знаменитыя разсужденія о политикѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ.

Какъ большая часть образованныхъ современныхъ джентльменовъ, мой джентльменъ толкуетъ о свободномъ духѣ, о независимости: онъ ненавидитъ австрійцевъ, симпатизируетъ итальянцамъ, становится на колѣни передъ англійскими учрежденіями и проч., но въ сущности ужасно боится этого свободнаго духа, которымъ такъ восхищается издалека... Онъ опасается, что если откупорить стклянку съ этимъ духомъ, міръ сейчасъ же перевернется вверхъ дномъ, наступитъ хаосъ и въ этомъ хаосѣ, разумѣется, погибнутъ... о ужасъ! его Рембрандты, Рубенсы, Тиціаны, Вернеты, vieux-Saxe съ фарфороваго завода, его земли, дома, флигеля, сады, рощи, огороды и проч. и проч.

Вотъ почему къ этому духу, проявляющемуся въ его любимыхъ англійскихъ учрежденіяхъ, къ этому духу, заставляющему его симпатизировать итальянцамъ, онъ питаетъ такую же боязнь, какую питалъ къ нему... незабвенной памяти князь Меттернихъ, государственную мудрость котораго онъ не можетъ не признавать, хотя и не сочувствуетъ его идеямъ. Мой джентльменъ принадлежитъ къ тѣмъ людямъ, про которыхъ такъ мѣтко замѣтилъ Дидро:

«Есть люди, про которыхъ никакъ нельзя сказать, что у нихъ въ сердцахъ страхъ Божій, но которые просто запуганы.»

Въ себѣ и своихъ онъ, впрочемъ, такъ увѣренъ, что готовъ вынюхать вдругъ весь этотъ опасный духъ изъ стклянки и давать его вынюхивать своимъ друзьямъ, зная, что ни на нихъ, ни на него онъ не подѣйствуетъ и не совратитъ съ путей истины.

Въ этомъ случаѣ онъ совершенно сходенъ съ Меттернихомъ... Въ 8 томѣ своихъ воспоминаній Варнгагенъ фонъ-Эпзе, передавая свои дружескіе разговоры съ Меттернихомъ

въ Баденѣ, между прочимъ, говоритъ, что графъ Зичи жаловался при немъ Меттерниху на своего книгопродавца, который никакъ не хотѣлъ ему продать одно изъ сочиненій Ламенѐ.

При этомъ кто-то изъ присутствующихъ замѣтилъ, что одинъ господинъ получилъ дозволеніе выписывать «National».

— О, что касается до этого господина, замѣтилъ другой: — то, кажется, на его счетъ ужъ можно быть покойну: это самый благонадежный изъ всѣхъ австрійцевъ.

— Что же касается до его образа мыслей, прибавилъ, улыбаясь, Меттернихъ: — то «National» для него журналъ еще слишкомъ умѣренный...

Великосвѣтскіе либералы и прогрессисты имѣютъ особенный, рѣдкій даръ въ одно и то же время угождать на дѣлѣ друзьямъ преданія и порядка (l'ordre) — Меттернихамъ; ужасать рѣчами своими друзей свободы и порядка — Дюшателей и Гизо, и при этомъ обвинять Карелей и Арманъ Маррастовъ въ умѣренности!

Таковы они были въ концѣ двадцатыхъ годовъ, таковы же они и теперь, наканунѣ 60-го года.

И есть люди, которые считаютъ такихъ господъ опасными!

Я убѣжденъ, что и моего джентльмена считаютъ также человѣкомъ опаснымъ.

Если бы мой джентльменъ вздумалъ идти по административной карьерѣ, если бы онъ былъ одержимъ чинолюбіемъ и крестолюбіемъ, при своемъ умѣ, тонкости и ловкости, онъ могъ бы достигнуть высокихъ ступеней. Жаль, что онъ не пошелъ по этой карьерѣ.

Я живо представляю себѣ, какъ бы онъ дѣлалъ эту карьеру.

Онъ, какъ молодой человѣкъ, кое-что читавшій, немного разсуждавшій и порывавшійся выйти изъ рутины, непремѣнно прослылъ бы за либерала.

Либерализмъ его заключался бы въ слѣдующемъ:

1) Имѣть до извѣстной степени чувство собственнаго достоинства, то есть не совсѣмъ кувыркаться и раболѣпствовать.

2) Быть убѣжденъ въ томъ, что правда вообще лучше лжи, безкорыстіе лучше корысти, а умъ лучше глупости.

Вслѣдствіе этого довольно свободно отзываться о дуракахъ, взяточникахъ, рутинерахъ и проч., несмотря на ихъ чинъ и званіе.

3) Видѣть необходимость нѣкоторыхъ исправленій, смазокъ и улучшеній по административной части.

4) Читать иностранныя книги, особенно по части политической экономіи; слѣдить вообще за политикой хоть по Journal des Débats и Times и свободно разсуждать о палатскихъ преніяхъ, обнаруживая къ нимъ сочувствіе.

Старшіе, нюхающіе табакъ изъ бумажныхъ табакерокъ, покачивая головой, говорили бы про него:

— У! какая голова!... только съ *фанаберіей*... жаль! а голова, голова!

Старшіе, нюхающіе изъ золотыхъ табакерокъ *рококо*, отзывались бы о немъ такъ:

— C'est un jeune homme distingué, но зараженъ, къ сожалѣнію, этими либеральными идеями, которыя хороши, можетъ быть, *тамъ*, но у насъ ни къ чему не могутъ вести, не могутъ имѣть никакого примѣненія.

Начальство ближайшее къ нему, съ бумажными табакерками, побаивалось бы моего джентльмена, не терпѣло бы его и всячески старалось бы заградить ему дорогу впередъ; но начальство съ золотыми табакерками рококо за его изящныя манеры, французскій языкъ и вообще *порядочность* смотрѣло бы сквозь пальцы на его либерализмъ и даже иногда удостоивало бы его своего благосклоннаго вниманія.

Мой джентльменъ всѣми силами старался бы достигнуть того, чтобы имѣть личныя сношенія съ золотыми табакерками, до чего, разумѣется, усиливались бы не допускать его бумажныя табакерки. Цѣли онъ своей достигнулъ бы, конечно, не вдругъ и не безъ большихъ препятствій (я предполагаю, что мой джентльменъ не имѣетъ протекціи), но всетаки достигнулъ бы непремѣнно.

Преодолѣвъ всѣ препятствія и ставъ лицомъ къ лицу съ обладателями золотыхъ табакерокъ, онъ крѣпко уцѣпился бы за нихъ и, какъ человѣкъ умный и ловкій, проникнулъ бы въ самые сокровенные изгибы ихъ высокихъ помышленій, предначертаній и плановъ, что, при умѣ моего джентльмена, врожденной хитрости и нѣкоторомъ образованіи, было бы не

трудно. Онъ вскорѣ втерся бы въ довѣренность обладателей золотыхъ табакерокъ и мало-по-малу проводилъ бы черезъ нихъ свои кое-какія либеральныя идейки и убѣжденьица, показывая видъ, что онъ только слѣпой и ревностный исполнитель ихъ воли. Такимъ незамѣтнымъ образомъ онъ получалъ бы все бо̀льшее вліяніе и вѣсъ, и господа съ золотыми табакерками рококо начали бы вытягивать его вверхъ.

Мой джентльменъ лѣтъ въ 35 достигнулъ бы уже довольно видной степени и украсился бы знаками отличія, что придало бы ему, безъ сомнѣнія, почтенный и солидный видъ.

Съ каждою ступенью повышенія, съ каждымъ новымъ знакомъ отличія онъ становился бы мягче и уступчивѣе и все болѣе и болѣе примирялся бы съ рутиной, которая бы входила въ него незамѣтно для него самого.

Но либеральная репутація его нисколько бы не умалилась отъ этого. Въ глазахъ рутинеровъ онъ всетаки оставался бы человѣкомъ опаснымъ, точно такъ же, какъ въ глазахъ слѣпыхъ и пошлыхъ учителей и наставниковъ ученикъ, сначала обнаружившій прилежаніе, слыветъ постоянно до конца за отличнаго и прилежнаго ученика, хотя бы впослѣдствіи онъ ничего не дѣлалъ...

Никакіе факты не могли бы еще долго поколебать его либеральной репутаціи; ни то, что онъ, возвышаясь, какъ слѣдуетъ, становился бы холоднѣе къ друзьямъ своей либеральной юности и отдалялся бы онъ нихъ; ни то, что онъ заводилъ бы новыя связи и дружбы съ людьми нужными ему и имѣющими великосвѣтское значеніе; ни то, что онъ принялъ бы относительно своихъ подчиненныхъ тѣ начальническія манеры, на которыя онъ прежде нападалъ съ ожесточеніемъ.

Старовѣры упорно кричали бы: «на это смотрѣть нечего, онъ человѣкъ тонкій, хитрый и если допустить его до такого мѣста, на которомъ онъ будетъ имѣть вліяніе, онъ переломаетъ все... Это ужаснѣйшій либералъ! опаснѣйшій человѣкъ!»

А, между тѣмъ, годы шли бы и юношескія либеральныя воззрѣнія моего джентльмена, казавшіяся во время о̀но ужасными, входили бы въ жизнь, опошливались и, въ свою очередь, превращались бы въ рутину.

Каждая новая особа, замѣнявшая особу его покровителя, смотрѣла бы на моего джентльмена сначала съ предубѣжде-

ніемъ; но онъ умѣлъ бы расположить къ себѣ всѣхъ ихъ и пріобрѣлъ бы окончательное общественное положеніе, превратился бы самъ въ *особу* съ тѣми украшеніями, надъ которыми онъ подсмѣивался вначалѣ и на которыя смотрѣлъ потомъ съ нѣкоторымъ завистливымъ уваженіемъ...

Онъ, можетъ быть, усвоилъ бы на своей высотѣ всѣ тѣ привычки и манеры, которыя возмущали и приводили въ негодованіе его человѣческое чувство въ молодости: сдѣлался бы недоступнымъ, преслѣдовалъ бы, въ свою очередь, молодыхъ людей за либерализмъ, называлъ бы ихъ пустыми, вредными мальчишками и крикунами, жаловался бы на литературу, остановился бы упорно на своихъ маленькихъ улучшеніяхъ и коекакихъ преобразованьицахъ и считалъ бы неуживчивыми тѣхъ, которые хотѣли бы идти далѣе его, и сталъ бы къ нимъ въ такое же положеніе, въ какомъ находились относительно его рутинеры и старовѣры его времени.

Заведя, по своему положенію, великосвѣтскія пріязни и дружбы, очерствѣвъ въ эгоизмѣ, погрязши въ мелкомъ честолюбіи, заразившись внѣшнею пустотою и тщеславіемъ, превратясь въ отчаяннаго оптимиста, онъ уже не заботился бы ни о чемъ болѣе, какъ о собственномъ возвышеніи и о поставленіи своей особы въ такое положеніе, въ которомъ бы можно было свободно пользоваться всѣми благами міра сего...

Но—Боже!—куда увлекла меня моя фантазія?...

Мой джентльменъ никогда не былъ администраторомъ: онъ не имѣетъ никакого соприкосновенія съ золотыми табакерками рококо; онъ даже отзывается о самыхъ лучшихъ изъ нихъ съ ядовитою насмѣшкою. Въ немъ не было никогда замѣтно тѣни чиновничьяго честолюбія и самолюбія.

Его самолюбіе выше всего этого. Оно заключается въ томъ, чтобы быть руководителемъ вкуса, проповѣдникомъ изящнаго, диктаторомъ въ области искусствъ, раздавателемъ дипломовъ на таланты, образователемъ выступающаго на сцену юношества, подающаго, по его мнѣнію, надежды, карателя и преслѣдователя всякихъ вредныхъ, то есть слишкомъ смѣлыхъ идей.

Я никогда не слыхалъ, какъ онъ говоритъ съ юношами, подающими надежду, но я живо воображаю это и какъ бы слышу его краснорѣчивыя диктаторскія слова, обращенныя къ нимъ:

«О, юноши! (говоритъ онъ, или такъ непремѣнно долженъ говорить онъ) вы обладаете несомнѣннымъ дарованіемъ, которое можетъ превратиться въ замѣчательные таланты, если вы будете идти по прямому, по единственному пути, который ведетъ всѣхъ артистовъ къ безсмертію, если вы будете служить только одному искусству, отдаваясь свободно только собственнымъ внутреннимъ порывамъ и не развлекая своего вдохновенія криками, доходящими до васъ извнѣ... Помните, что тотъ, кто обнаруживаетъ сочувствіе къ этимъ крикамъ и воплямъ, измѣняетъ искусству. Чтобы вѣрно служить ему, надобно быть глухимъ и нѣмымъ... Возьмите, юноши, въ примѣръ птицъ небесныхъ, не заботящихся ни о чемъ и непринужденно поющихъ на своихъ вѣткахъ.

«Будьте птицами взвивайтесь на крыльяхъ вашихъ мыслей такъ же высоко, какъ онѣ, и чѣмъ выше вы взовьетесь, тѣмъ пѣснь ваша будетъ чище, возвышеннѣе, вдохновеннѣе, объективнѣе и художественнѣе. Такъ, на этихъ высотахъ, въ поднебесныхъ пространствахъ, все ежедневное, преходящее, житейское, пошлое, насущное, называемое современными вопросами и другими хитрыми именами, не будетъ доходить до васъ и съ той высоты, на которой вы будете царить, покажется вамъ смѣшнымъ, мелкимъ и жалкимъ, не заслуживающимъ вашего высокаго вниманія. Одно общее, вѣчное, не преходящее будетъ предметомъ вашихъ пѣснопѣній...

— Но, осмѣлится замѣтить, вѣроятно, который-нибудь изъ этихъ юношей, побойчѣе:—но, мудрѣйшій изъ учителей, въ поднебесныхъ пространствахъ, куда вы приказываете намъ взвиваться, пусто и холодно; къ тому же мы не имѣемъ крыльевъ какъ птицы или какія-нибудь миѳологическія существа... Мы рождены на землѣ, мы любимъ землю и все земное, мы не можемъ не принимать участія во всемъ томъ, что вамъ, о мудрый учитель, угодно называть мелочами, пустяками, преходящимъ и ничтожнымъ. Изъ всего этого составляется жизнь наша. Какъ же вы хотите, чтобы мы отрѣшились отъ жизни?... Да и сами вы, о глубокомысленнѣйшій наставникъ, любите эту землю, о который вы отзываетесь въ минуты реторическаго экстаза съ такимъ презрѣніемъ... Да! вы ее любите, потому что вы восхищаетесь живописцами и поэтами, воспроизводящими нашу земную природу, изображающими человѣка

въ его величіи или въ его паденіи, въ его смѣшныя или роковыя минуты... Вы любите земную пластическую красоту въ картинѣ, въ статуѣ, а еще болѣе въ самой натурѣ. Глазки ваши, я замѣтилъ это, подергиваются всякій разъ масломъ при встрѣчѣ съ такою красотою и все лицо ваше принимаетъ видъ разслабленнаго умиленія. Вы такъ крѣпко держитесь за тотъ клочокъ земли, который вы зовете своею собственностью, и такъ страстно къ нему привязаны, что каждая соринка на вашей землѣ кажется вамъ драгоцѣнностью... Вы не прочь отъ земнаго комфорта, вы объ немъ говорите съ такимъ увлеченіемъ и такъ хорошо устроили себя въ жизни... Вы, наконецъ—простите меня за откровенность, учитель!—такъ преданы всякимъ земнымъ и матеріальнымъ наслажденіямъ, такъ любите говорить о забавахъ и весельи, такъ мило проповѣдуете иногда прелесть эпикуреизма въ литературѣ и въ жизни, что я совершенно недоумѣваю, затѣмъ вы насъ хотите непремѣнно отправлять въ воздушныя пространства и отрѣшать отъ всего земнаго и человѣческаго...

— Вы не поняли меня, строго возразитъ мой джентльменъ съ недовольнымъ видомъ, потому что онъ не любитъ, чтобы ему возражали или противорѣчили въ чемъ-нибудь *мальчишки,* ученики.

— Вы неумѣстно перебили меня и не дали мнѣ докончить моей рѣчи, въ которой должна была выразиться моя мысль вполнѣ, такъ что всякія возраженія не имѣли бы уже мѣста. Слушайте же...

— Слушайте! Слушайте! повторятъ молодые люди, подающіе надежды.

И навострятъ уши.

— Я вовсе не хочу отрѣшать васъ совсѣмъ отъ земли: это было бы нелѣпо... Я хотѣлъ только сказать, что истинный художникъ, истинный поэтъ, человѣкъ, служащій искусству для искусства, долженъ стоять выше толпы и ея мелочныхъ насущныхъ интересовъ, и чѣмъ выше, тѣмъ лучше. Онъ долженъ помнить, что

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ!

Оставьте насущные, ежедневные, преходящіе интересы толпѣ, черни. Чернь создана для борьбы, и горе художнику, который вмѣшается въ эту борьбу, съ которой искусство не должно имѣть ничего общаго. Для черни горшокъ, въ которомъ она варитъ для себя кашу, дороже Венеры Милосской. Какое дѣло вамъ, людямъ избраннымъ, до этой тупой черни?... Не слушайте ея криковъ, повторяю вамъ, не обращайте вниманія на ея нелѣпыя требованія. Идите своею дорогою и помните, что одно только общечеловѣческое должно занимать васъ, если вы хотите прочной славы... Посмотрите на Гомеровъ, на Шекспировъ...

— Но, несравненный учитель, снова возразитъ бойкій юноша: — куда намъ до Гомеровъ и до Шекспировъ!... Къ тому же искусство нашего времени не можетъ творить равнодушно: оно не можетъ уже имѣть того величаваго спокойствія, которое является въ произведеніяхъ геніальныхъ людей прошедшаго... Они не имѣли понятія о тѣхъ требованіяхъ, которыя возникаютъ теперь отвсюду; они не видѣли вокругъ себя пробуждающагося сознанія къ новой, лучшей, болѣе человѣческой жизни... О, мудрый наставникъ! нельзя же намъ, въ самомъ дѣлѣ, смотрѣть равнодушно на страданія нашихъ братьевъ, не протягивая имъ руки помощи...

— Нѣтъ!

При этомъ юноша, можетъ быть, одушевится негодованіемъ и воскликнетъ:

— Да предастся вѣчному забвенію ваше безжалостное искусство, если оно только заботится въ такія минуты, какія переживаемъ мы, о себѣ самомъ, о собственной красотѣ и о доставленіи удовольствія людямъ богатымъ и празднымъ! Я не хочу служить такому себялюбивому и безжалостному искусству. Какое мнѣ дѣло до славы?... Если мой ближній будетъ умирать передо мною въ тоскѣ и мученьяхъ голода, а я, насыщенный утонченными блюдами, буду передъ нимъ пѣть равнодушно сладкія пѣсни, не обращая на умирающаго никакого вниманія, я позволю себя назвать самымъ презрѣннѣйшимъ изъ людей, если бы даже имѣлъ талантъ Шекспира!

О, если бы въ самомъ дѣлѣ произнесена была такая рѣчь передъ моимъ джентльменомъ, особенно въ ту минуту, когда бы онъ собирался, по приглашенію, обѣдать съ друзьями у

Дюссо или Донона и его воображенію рисовались бы пулярки съ трюфелями, драгоцѣнныя вина, утонченная и умная бесѣда избранныхъ друзей, онъ не могъ бы, несмотря на свою натуру джентльмена, подавить въ себѣ страшнаго взрыва негодованія, злобы и боязни, которыя бы должны были пробудить въ немъ эти слова...

Онъ, навѣрно, осмотрѣлъ бы съ презрительной ироніей съ головы до ногъ смѣлаго юношу и произнесъ бы, задыхаясь:

— Я вижу, милостивый государь, что вы заражены нелѣпыми теоріями разныхъ ученій, и потому съ вами мнѣ и говорить безполезно. Мы не поймемъ другъ друга... Я долженъ вамъ замѣтить только, что эти ученія съ презрѣніемъ отвергнуты самыми высокими умами и они уже обратились въ смѣшное... Ихъ серьёзно могутъ принимать только мальчишки.. Вы что: *соціалистъ, коммунистъ, красный?*

— Ни то, ни другое, ни третье, могъ бы отвѣчать спокойно юноша: — я не зараженъ никакими ученіями, я не слѣдую никакимъ теоріямъ; но мой здравый разсудокъ заставляетъ меня различать добро отъ зла, а сердце — сочувствовать страданіямъ бѣдныхъ, слабыхъ, притѣсненныхъ и страждущихъ... Я знаю, что всякія истины въ началѣ встрѣчаютъ упорное препятствіе въ рутинѣ и общихъ мѣстахъ...

— Что вы разумѣете подъ рутиной, подъ общими мѣстами? гдѣ вы видите притѣсненныхъ и страждущихъ? Все это нелѣпость, все это выдумки мальчишекъ или безпокойныхъ людей, враговъ порядка... Для страждущихъ устроены больницы, для бѣдныхъ — общества благотворительности, для слабыхъ умомъ — сумасшедшіе дома... Передѣлывать человѣчество по теоріямъ, сударь, нельзя... Оно развивается разумно, постепенно и осторожно подъ направленіемъ, надзоромъ и вліяніемъ высшихъ административныхъ и литературныхъ умовъ, которые имѣютъ законное право распоряжаться невѣжественною толпою и дисциплинировать ее, зная, что ей полезно и вредно... Чистому же искусству, во всякомъ случаѣ, въ эти дѣла вмѣшиваться не слѣдуетъ. Чистое искусство имѣетъ свой особенный, отдѣльный, замкнутый, независимый міръ...

Послѣ этого мой джентльменъ, можетъ быть, смягчился бы нѣсколько и снисходительно произнесъ бы въ заключеніе:

— Перестаньте, милый мой, умничать, накидывать на себя страданіе, порываться къ невозможному. Въ жизни, повѣрьте мнѣ, все устроено разумно и прекрасно, всему своя череда, все улучшается понемногу и совершенствуется временемъ. Время умнѣе насъ съ вами. Что же касается до искусства, то, Бога ради, не унижайте его до служенія временнымъ, ничтожнымъ общественнымъ интересамъ: это—святотатство... Если вы не рождены быть художникомъ въ высшемъ значеніи слова, но имѣете литературное дарованіе,—пишите веселыя повѣсти, забавные и острые фельетоны, развлекайте, смѣшите, забавляйте насъ и оставьте въ покоѣ всѣхъ этихъ, какъ вы говорите, угнетенныхъ, страждущихъ и всѣ эти пошлыя книжонки, сочувствующія имъ: все это старо, пошло и отзывается дурнымъ тономъ, простите за откровенность... Пора теперь разстаться намъ и съ этой такъ называемой *обличительной* литературой! Довольно съ насъ этихъ обличеній! Вашими карами и изобличеніями вы не сдѣлаете вдругъ людей совершенными и добродѣтельными. Всякое явленіе имѣетъ свою причину, все идетъ къ лучшему, въ этомъ нельзя сомнѣваться. О чемъ же вы безпокоитесь?...

Въ самомъ дѣлѣ, о чемъ же безпокоиться?

Еще мудрый наставникъ Кандида, Панглоссъ, училъ, что ничто не можетъ быть иначе, какъ есть; что все совершается къ лучшему; что носы созданы для очковъ, ноги—для обуви, камни—для того, чтобы ихъ обтесывать и строить изъ нихъ дворцы и зáмки, богатые и сильные бароны—для того, чтобы жить въ роскоши... и такъ далѣе, — словомъ, все прекрасно и все къ лучшему...

Да здравствуетъ же оптимизмъ Панглосса и всѣ современные Панглоссы, которыхъ развелось у насъ въ послѣднее время такъ много! Имъ хорошо жить на свѣтѣ!...

XLV. СОМНИТЕЛЬНЫЯ СУЩЕСТВОВАНІЯ.

(Этюды петербургскихъ нравовъ).

АНТОНИНА ПЕТРОВНА.

I.

Мы входимъ съ вами, любезный читатель, по широкому ковру лѣстницы, уставленной различными растеніями; останавливаемся у двери, обитой темнозеленымъ сукномъ, и звонимъ. Дверь отворяетъ лакей въ черномъ фракѣ и въ бѣломъ галстухѣ. Я спрашиваю:

— Дома барыня?

— Дома-съ, милости просимъ,—отвѣчаетъ развязный лакей.

Изъ передней мы проходимъ черезъ столовую съ рѣзнымъ дубовымъ потолкомъ и такою же мебелью въ гостиную, отдѣланную въ стилѣ Louis XV. На одной изъ стѣнъ этой комнаты въ раззолоченой рамѣ виситъ портретъ какого-то господина лѣтъ подъ 60, во фракѣ, съ длиннымъ горбатымъ носомъ, съ большими вытаращенными черными глазами и съ Анной съ короной на шеѣ, красная лента которой бросается прежде всего въ глаза на темномъ фонѣ. Въ этой гостиной мы останавливаемся и озираемся кругомъ въ ожиданіи хозяйки.

— У кого же мы? спрашиваете вы: — какое богатство! Какая роскошь!...

— Погодите. Я васъ сейчасъ представлю владѣтельницѣ этой роскошной квартиры. Ее зовутъ Антониной Петровной... Фамилію ея я вамъ скажу когда нибудь послѣ, а теперь умолчу объ ней изъ скромности... Съ этими словами я подхожу къ закрытой двери съ позолотой, ведущей изъ гостиной во внутреннія комнаты, и стучу въ нее.

— Антонина Петровна! Я къ вамъ привелъ гостя...

— Сейчасъ, сейчасъ,—раздается отвѣтъ изъ-за двери, на французскомъ языкѣ...

Послѣ этого проходитъ еще минутъ десять. Вы занимаетесь разсматриваніемъ комнаты и съ особеннымъ любопытствомъ останавливаете взоръ на лѣпномъ потолкѣ съ золотыми разводами. По угламъ потолка гербы и вензеля съ дворян-

скою короною. Но если бы выбыли даже—самъ г. Кюпе, изучившій великую геральдическую науку во всей ея глубинѣ,—въ этомъ гербѣ вы всетаки не добьетесь никакого толку.

— А чей это портретъ? спрашиваете вы, указывая на господина съ вытаращенными глазами и съ Анной на шеѣ.

— Это папенька Антонины Петровны... онъ скончался въ чинѣ коллежскаго совѣтника и съ Станиславомъ на шеѣ, но дочка велѣла нарисовать ему Анну съ короной. Она сама призналась мнѣ въ этомъ. «Анна съ короной какъ-то важнѣе», сказала она мнѣ съ добродушною улыбкою...

— Э! да напрасно ужъ вы не велѣли мазнуть Анну черезъ плечо, возразилъ я:—это было бы еще виднѣе и важнѣе. Право.

— Ну нѣтъ, это ужъ было бы слишкомъ! скромно отвѣчала она.

Премилая женщина! немножко тщеславна, да это не бѣда... Кто же не тщеславенъ?...

— Да она женщина, или дѣвушка? предлагаете вы мнѣ щекотливый вопросъ, и я, право, не знаю, какъ удовлетворить въ этомъ случаѣ ваше любопытство.—Если хотите, она женщина... Но вмѣстѣ съ тѣмъ... при этомъ я останавливаюсь, потому что отворяется дверь, раснахивается портьера и появляется сама Антонина Петровна во всей прелести роскошнаго утренняго туалета... .

Антонинѣ Петровнѣ лѣтъ 28; она средняго роста, полная грудь ея подъ кружевами такъ и колышется, такъ и дышетъ; у нее немного горбатый носъ, напоминающій нѣсколько носъ на портретѣ, большіе черные глаза, густые черные волосы; манеры ея бойки; она говоритъ безъ умолку... Въ разговорѣ она смѣшиваетъ обыкновенно русскія фразы съ французскими.

Я васъ представляю, какъ *одного изъ умнѣйшихъ, милѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей*... Говоря по правдѣ я не знаю, дѣйствительно ли вы таковы, любезный читатель, но нельзя же не сказать о человѣкѣ, котораго представляешь, нѣсколько лестныхъ фразъ, и въ особенности представляя такой женщинѣ, какъ Антонина Петровна.

У Антонины Петровны всѣ знакомые или титулованные крестоносцы, или люди блестящаго ума, громаднаго образованія и колоссальныхъ талантовъ.

Аристократы, ученые, литераторы, сановники, журналисты, офицеры, художники, музыканты, поэты, актеры, пріѣзжіе виконты, пѣвцы, пѣвицы и танцовщицы такъ и кишатъ въ ея блестящемъ салонѣ. Антонина Петровна удивительная... мы ужъ будемъ называть ее *женщиной*... удивительная женщина!

Кто попадетъ въ ея салонъ, тотъ дѣлается мгновенно человѣкомъ необыкновеннымъ, замѣчательнымъ. Представляя незнакомыхъ лицъ другъ друга, она обыкновенно перечисляетъ всѣ ихъ титулы, ордена и богатства, а если же у представляемаго нѣтъ таковыхъ, то упоминаетъ о всѣхъ его нравственныхъ совершенствахъ, способностяхъ и талантахъ. Она каждаго своего знакомаго снабжаетъ, такъ сказать, опоэтизированнымъ послужнымъ спискомъ. Даже лицъ, неимѣющихъ ни орденовъ, ни титуловъ, никакихъ талантовъ и достоинствъ, никакихъ видимыхъ или невидимыхъ украшеній, она съумѣетъ рекомендовать съ лестной стороны.

— Это такой-то, скажетъ она, и прибавитъ выразительно: *другъ дома князя или графа такого-то*, съ удареніемъ на князя или на графа...

Однажды я засталъ у нее блестящаго кавалерійскаго офицера; она представила насъ другъ другу и, указывая мнѣ на офицера, продолжала съ свойственною ей любезностью:

— NN находится въ самомъ высшемъ кругу. Онъ принятъ, какъ родной, во всѣхъ лучшихъ домахъ. Князь такой-то его дядя по матери. Онъ получилъ самое блестящее образованіе, владѣетъ языкомъ французскимъ, нѣмецкимъ и англійскимъ въ совершенствѣ; онъ написалъ отличное сочиненіе по-французски, такъ что первые знатоки языка, члены французской академіи были въ восторгѣ отъ этого сочиненія... Онъ два года тому назадъ путешествовалъ по Европѣ и познакомился со всѣми парижскими знаменитостями—и притомъ, я еще должна прибавить, онъ пишетъ очень мило по-русски...

Офицеръ пришелъ въ смущеніе.

— Антонина Петровна, Бога ради!... перебилъ онъ ее:— довольно!...

— Ну хорошо, хорошо, сказала Антонина Петровна, улыбаясь: — видите еще какой скромный при всемъ этомъ — и вслѣдъ затѣмъ начала импровизировать на мой счетъ, обратясь къ офицеру. Но и я, въ свою очередь, долженъ былъ также изъ скромности прервать ее...

Слова ея обыкновенно льются, не умолкая, шумнымъ потокомъ и не останавливаются ни передъ какими преградами. Какъ заведенный органъ, разъ начавши свою арію, она уже не можетъ остановиться не разыгравъ ее вполнѣ. Эти аріи длятся иногда болѣе часа, такъ что у непривычнаго слушателя дѣлается боль подъ ложечкой отъ ея восхитительнаго болтанья.

Одинъ изъ друзей ея дома, зная, что ей всегда необходимо дать вполнѣ высказаться, приходя къ ней, обыкновенно усаживается въ кресла и восклицаетъ:

— Ну, говорите, я слушаю.

И, покорясь неизбѣжной участи, не шевелится до тѣхъ поръ, покуда она истощитъ весь свой запасъ.

Любознательность Антонины Петровны не знаетъ границъ. Она съ одинаковымъ жаромъ предлагаетъ вопросы людямъ ученымъ о сотвореніи міра и добивается до причины всѣхъ причинъ, ни мало не смущаясь самыми смѣлыми гипотезами, и распрашиваетъ своихъ великосвѣтскихъ друзей о разныхъ вседневныхъ новостяхъ и выслушиваетъ все съ одинаковымъ вниманіемъ и жадностью.

Антонина Петровна симпатизируетъ всѣмъ своимъ знакомымъ, несмотря на разность ихъ взглядовъ, убѣжденій и мнѣній.

Искусства, литература, городскія сплетни, политика, европейскій прогрессъ и татарская окоченѣлость съ чиноманіей— все это въ головѣ ея спутано и смѣшано и на все это она отзывается съ одинаковымъ сочувствіемъ. Такая эклектическая женщина привела бы въ восторгъ даже самого знаменитаго эклектика Кузеня; если бы онъ имѣлъ случай гдѣ нибудь съ ней встрѣтиться, онъ вѣрно посвятилъ бы себя изученію ея съ такою же любовью, съ какою онъ посвящалъ себя изученію французскихъ женщинъ XVII вѣка.

Антонина Петровна остроумно подтруниваетъ надъ тѣми глубоко проникнутыми своимъ величіемъ высоко-чиновными особами, которые не разстаются съ своими блестящими украшеніями даже и тогда, когда ѣздятъ на садки *), или въ баню,

*) Здѣсь разумѣются тѣ особы, любители даровыхъ угощеній, которые удостоиваютъ высокой чести содержателей садковъ дозволеніемъ угощать ихъ.

и въ то же время разсказываетъ всѣмъ своимъ знакомымъ съ чувствомъ величайшаго счастія и гордости, что за нее сватался генералъ съ извѣстной фамиліей, имѣющій очень хорошее состояніе, и что отъ нее зависѣло быть *генеральшей*. Такія странныя противорѣчія встрѣчаются въ ней безпрестанно. Антонина Петровна, между прочимъ, предполагаетъ, что одно ея расположеніе къ человѣку доставляетъ уже ему всевозможное счастіе, выгоды, почести, богатство и другія блага. Когда одинъ изъ ея близкихъ знакомыхъ какое-то получилъ почетное званіе, она повторяла:

— Я знала это заранѣе. Тѣмъ, къ кому я расположена, которыхъ я люблю, непремѣнно все удается. Повѣрьте, что это такъ; я вамъ скажу нѣсколько примѣровъ... Вотъ профессоръ Д* черезъ нѣсколько времени послѣ знакомства со мною пожалованъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники; Г*, сблизившись со мною, получилъ полторы тысячи душъ въ наслѣдство... И она приводила мнѣ еще множество убѣдительныхъ тому доказательствъ...

Антонина Петровна... для объясненія ея общественнаго положенія, необходима ея краткая біографія... воспитывалась въ одномъ изъ извѣстныхъ женскихъ учебныхъ заведеній и получила воспитаніе, для котораго надобно было имѣть по крайней мѣрѣ тысячъ десять годоваго дохода. Она пріобрѣла тамъ кое-какія легкія и поверхностныя свѣдѣнія кое о чемъ, разныя тщеславныя фантазіи, непреодолимыя стремленія ко всякому внѣшнему блеску и извѣстности и чувство дворянской гордости, хотя она не происходила отъ древнихъ суздальскихъ дворянъ. Ея родословное древо начиналось съ ея родителя Петра Карлыча и не могло, къ сожалѣнію, укрѣпиться и развѣтвиться, потому что Петръ Карлычъ не оставилъ послѣ себя отпрысковъ мужескаго пола. У него были только двѣ дочери — Анна и Антонина; Анна, находившаяся въ замужествѣ за храбрымъ маіоромъ Селегинскаго пѣхотнаго полка Живодёровымъ, и Антонина, о которой здѣсь идетъ рѣчь, помѣщенная по протекціи княгини Б* пансіонеркой въ извѣстное учебное заведеніе. Въ сущности гордиться такимъ родомъ было нечего, но Антонина Петровна находила достаточнымъ предлогомъ для гордости уже одно то, что она не *простая какая нибудь*, а дворянка, и получила воспитаніе вмѣстѣ съ генеральскими,

графскими и княжескими дочерьми. Окончивъ курсъ воспитанія, она очутилась въ двухъ комнаткахъ у своей старухи-матери, которая едва содержала себя небольшимъ пансіономъ. Антонинѣ Петровнѣ эта дѣйствительность показалась ужасною... Ей было неловко, стыдно и душно въ этихъ клѣткахъ, освѣщенныхъ одною тускло горѣвшею свѣчой, передъ которой сидѣла ея маменька, молча и однообразно шевеля спицами; ей показалась страшна эта мертвая тишина послѣ огромныхъ звучныхъ залъ съ блестящимъ паркетомъ и широкихъ корридоровъ, ярко освѣщенныхъ, гдѣ вѣчно раздавались веселые и звонкіе голоса ея подругъ. Она чуть не со слезами входила по грязной, узкой, вонючей лѣстницѣ въ третій этажъ, и невольно сравнивала ее съ широкой институтской лѣстницей, устланной ковромъ, съ колоннами при входѣ и съ краснымъ швейцаромъ. Глядя на свою приземистую, морщинистую маменьку, почти выжившую изъ ума (которымъ она впрочемъ никогда не блистала), въ старомъ изношенномъ домашнемъ капотѣ и въ чепцѣ, сдвинутомъ на бокъ, она припоминала тѣхъ велицколѣпныхъ матерей, которыя пріѣзжали по воскресеньямъ къ своимъ дочерямъ и входили въ залу, торжественно волоча за собою хвосты своихъ толстыхъ шелковыхъ платьевъ, и сходя потомъ съ лѣстницы были благоговѣйно поддерживаемы ливрейными гайдуками и почтительно сопровождаемы директриссами, инспектриссами, классными дамами и проч.

Когда Антонина Петровна выходила на улицу въ салопѣ на бѣличьемъ мѣху, въ восьми-рублевой шляпкѣ, ни кѣмъ не замѣчаемая, и попадала на Невскій проспектъ, въ этотъ водоворотъ петербургской суетности, у нея кружилась голова, отъ шума, грома и свѣта, а сердце билось, разрываемое завистью при видѣ всего блестящаго, что металось ей на глаза. Она не разъ встрѣчала своихъ подругъ въ каретахъ или коляскахъ съ ливрейными лакеями или въ саняхъ съ медвѣжьими полостями. Головки ихъ были такъ прелестны въ изящныхъ шляпкахъ, пышные салопы съ соболями и чернобурыми лисицами придавали имъ такой важный видъ и такъ хорошо предохраняли ихъ отъ мороза, онѣ такъ гордо и весело мчались, покрытыя морозною пылью... Въ эти роковыя минуты Антонина Петровна крѣпче закутывалась въ свой бѣличій салопъ и судорожно опускала вуаль на глаза, замеревъ отъ страха, чтобы

кто нибудь изъ нихъ не замѣтилъ ее или ея бѣличьяго салопа, и, возвращаясь домой, бросалась на свой диванъ, набитый мочалками, покрытыми ситцемъ, и заливалась горькими слезами.

— Что съ тобою, Ниночка? заботливо спрашивала ее встревоженная маменька въ такія минуты.

— Ничего. Пожалуйста, оставьте меня въ покоѣ, мнѣ скучно.

Добрая маменька иногда думала: «постой, я развлеку ее!» бросала свой чулокъ, отправлялась къ комоду, доставала изъ него засаленныя карты, тщательно завернутыя въ бумажку, и предлагала ей сыграть въ свои козыри.

Но, къ удивленію маменьки, дочка обыкновенно отвѣчала на такое предложеніе съ едва сдержанной досадой, рѣзко и отрывисто:

— Я прошу васъ, оставьте меня, — или что нибудь въ родѣ этого...

Съ каждой минутой разгоралась въ Антонинѣ Петровнѣ жажда къ блеску и удовольствіямъ и увеличивала ее тревожное состояніе.

Особенную зависть возбудила въ ней одна дама, бросавшаяся невольно въ глаза своею гордостью, роскошью и утонченнымъ вкусомъ своихъ туалетовъ. Антонина Петровна всегда встрѣчала ее на Невскомъ проспектѣ. И не только сама эта прелестная незнакомка, но ея толстый кучеръ съ крашеною бородою и лакей со сложенными по-наполеоновски руками имѣли гордый недоступный видъ и, казалось, гордились именно тѣмъ, что имѣютъ счастіе служить такой барынѣ. Иногда барыня эта выходила изъ коляски и прохаживалась по тротуару, едва касаясь своими маленькими чудно обутыми ножками до плитъ... и въ такихъ случаяхъ вдругъ откуда-то появлялись, точно выскакивали изъ-подъ земли, самые изящные офицеры съ тонкими усиками и аксельбантами и начинали увиваться около нея, провожая ее толпой, а всѣ пѣшеходы и проѣзжіе съ любопытствомъ смотрѣли на такое зрѣлище...

Антонина Петровна не спускала съ нее горящихъ глазъ, обыкновенно долго провожала ее и думала съ внутреннею лихорадочною дрожью:

— О, я разбогатѣю, я должна разбогатѣть во что бы ни стало!

Антонина Петровна выходила изъ дому довольно часто и почти всегда одна; съ маменькой она гулять не любила.

— Какъ можно одной! говорила ей сначала маменька:— мало ли что можетъ случиться: ну если тебя обидитъ какой-нибудь недобрый человѣкъ или экипажъ наѣдетъ?

— Какія глупости! перебивала дочь:—развѣ я ребенокъ? Не безпокойтесь, меня не задавятъ,—а обидѣть я никому не позволю себя... Если вы хотите, чтобы я гуляла не одна,— такъ наймите для меня лакея.

— Ахъ, голубушка! печально возражала маменька: — я рада бы радехонька это сдѣлать, да вѣдь ты знаешь, что мы и безъ лакея-то едва пробиваемся.

— Ну такъ оставьте меня въ покоѣ и предоставьте мнѣ дѣлать, что я хочу.

И маменька боязливо смолкала при этомъ рѣшительномъ возраженіи...

Прогулки Антонины Петровны бывали обыкновенно довольно продолжительны и всегда приводили въ большое безпокойство бѣдную маменьку. Антонина Петровна во время прогулокъ обыкновенно останавливалась передъ каждымъ дорогимъ магазиномъ и жадно пожирала своими блестящими большими глазами соблазнительныя выставки... Если иногда о-бокъ съ нею останавливалась у оконъ магазина какая-нибудь *простая* дѣвушка-швея или горничная, разсматривавшая выставленныя въ окнѣ вещи съ простодушнымъ, независтливымъ любопытствомъ, съ дѣтскимъ удивленіемъ — Антонина Петровна озирала ее съ подавляющимъ величіемъ, какъ будто хотѣла спросить у дерзкой, какъ она осмѣлилась стать рядомъ съ нею?... Но замѣтивъ на дѣвушкѣ точно такой же салопъ на бѣличьемъ мѣху, какой былъ на ней, она вся вспыхивала отъ стыда, негодованія и отчаянія, отбѣгала отъ окна и думала: Боже мой! я осуждена носить одинаковый салопъ съ какой-нибудь крѣпостной или мѣщанкой!

И ей казалось притомъ, что дѣвушка въ салопѣ на бѣличьемъ мѣху провожаетъ ее глазами и подсмѣивается надъ нею... Отвратительный бѣличій мѣхъ болѣзненно щекоталъ ея

самолюбіе. Она готова была сбросить съ себя салопъ и растоптать его ногами.

Однажды, когда она остановилась передъ окномъ какого-то блестящаго магазина въ Большой Морской, къ этому окну подошелъ также бѣлокурый мужчина среднихъ лѣтъ, *почти бель-омъ*, въ прекрасномъ пальто и съ очень гордою осанкой и началъ бросать на нее косвенно-умильные взгляды.

— Какія отличныя вещи въ этомъ магазинѣ, произнесъ онъ послѣ минутнаго колебанія, обращаясь съ заискивающею улыбкою къ Антонинѣ Петровнѣ.

У Антонины Петровны даже уши покраснѣли. Она ничего не отвѣчала, отошла отъ окна и пошла далѣе.

Мужчина, *почти бель-омъ*, слѣдовалъ за нею. Она ускорила шагъ, и онъ тоже, наконецъ онъ поровнялся съ нею...

— Вы не боитесь промочить ваши прелестныя ножки? сказалъ онъ.

Антонина Петровна молчала.

— Отчего же вы не хотите удостоить меня однимъ словомъ? продолжалъ *почти бель-омъ*.

— Я васъ прошу оставить меня въ покоѣ,—произнесла Антонина Петровна гордо и на отличномъ французскомъ языкѣ.

— Вы француженка? воскликнулъ онъ съ радостью и также по-французски.

Французскіе звуки, и притомъ совершенно неожиданные, произвели на него сильное впечатлѣніе. Онъ тотчасъ сталъ смотрѣть на свою прекрасную незнакомку съ большимъ уваженіемъ и вознамѣрился обнаружить бо̀льшую утонченность въ обращеніи съ нею.

Въ эту минуту Антонина Петровна подошла къ воротамъ своего дома и потому сдѣлалась смѣлѣе и рѣшительнѣе.

— Нѣтъ, я не француженка, я русская; я живу здѣсь съ матушкой, произнесла она съ нѣкоторою торжественностію, остановилась и прибавила съ чувствомъ достоинства, кто она, гдѣ воспитывалась, и въ заключеніе иронически улыбнулась, кивнула головой незнакомцу и сдѣлала шагъ къ калиткѣ...

Но *почти бель-омъ* началъ разсыпаться передъ нею въ

такихъ краснорѣчивыхъ извиненіяхъ и съ такимъ жаромъ, что нельзя было не остановиться и не выслушать его.

— За вашу откровенность, прибавилъ онъ въ заключеніе:—я долженъ заплатить вамъ такою же откровенностью. Я баронъ такой-то... онъ назвалъ свою фамилію. Я надѣюсь, что вы позволите мнѣ продолжать знакомство съ вами, такъ дерзко начатое мною, и представиться вашей матушкѣ?

Антонина Петровна не знала, что отвѣчать; она была въ сильномъ смущеніи. Фамилія барона была ей извѣстна и она слышала о богатствѣ его еще отъ одной изъ своихъ классныхъ дамъ.

Антонина Петровна несвязно пробормотала что-то сквозь зубы...

— Въ доказательство же, что вы на меня не сердитесь, сказалъ баронъ:—протяните мнѣ вашу ручку!...

Антонина Петровна, не зная, что дѣлать, протянула ему ручку, которую баронъ съ чувствомъ пожалъ, прибавивъ:— До свиданья, неправда ли?...

Антонина Петровна запыхавшись взбѣжала на высокую лѣстницу, ошибкой позвонила въ чужую дверь, весь вечеръ обнаруживала необыкновенную разсѣянность и волненіе, и всю ночь видѣла во снѣ богатаго барона.

Баронъ представился маменькѣ Антонины Петровны черезъ нѣсколько дней послѣ этой встрѣчи. Черезъ мѣсяцъ онъ былъ уже на дружеской ногѣ съ матерью и съ дочерью. Маменька очень полюбила его, за его предупредительность и внимательность къ ней.

Разъ онъ привезъ имъ литерную ложу въ оперу.

Антонина Петровна страстно любила музыку, она играла на фортепіано и пѣла. У нея былъ довольно сильный, но необработанный голосъ. Баронъ замѣтилъ маменькѣ, что Антонинѣ Петровнѣ непремѣнно надо учиться пѣть, что для этого ей полезно какъ можно чаще посѣщать оперу, и что нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что если она будетъ учиться, то современемъ можетъ сдѣлаться замѣчательной пѣвицей и проч.

— Правда, отвѣчала, вздохнувъ, маменька:—но на это нужны большія средства, батюшка!

— Объ этомъ не заботьтесь, отвѣчалъ баронъ:—у меня есть пріятель итальянецъ, который охотно для меня возьмется

учить вашу дочь, это вамъ ничего не будетъ стоить... а что касается до оперы,—то у меня есть абонированная ложа, въ которую я никогда не ѣзжу; она къ вашимъ услугамъ.

Баронъ съ этихъ поръ началъ постоянно являться въ подаренную имъ ложу, билетъ на которую онъ поднесъ маменькѣ, и садился обыкновенно въ уголъ сзади Антонины Петровны такъ, чтобъ его не могли замѣтить изъ партера.

— Скажите, баронъ,—спросила его однажды Антонина Петровна, указывая на противуположную ложу, также литерную:—кто эта дама? какъ она мила и съ какимъ вкусомъ одѣвается! Я ее часто встрѣчаю на улицѣ въ чудесномъ экипажѣ. Она должно быть очень богата!...

Баронъ слегка приподнялся, тайкомъ взглянулъ на ложу и улыбнулся.

— А! это Шарлота Ѳедоровна, отвѣчалъ онъ.

— Шарлота Ѳедоровна?... а фамилія?

— У нея нѣтъ фамиліи.

— Какъ же это безъ фамиліи! съ невиннымъ недоумѣніемъ возразила Антонина Петровна:—откуда же у нея такіе туалеты, экипажи?...

Баронъ продолжалъ улыбаться.

— А вы хотѣли бы имѣть такіе экипажи и туалеты?

— И очень! но откуда мнѣ ихъ взять?...

— Если вы очень хотите,—они будутъ у васъ...

Баронъ проницательно взглянулъ на Антонину Петровну. Она посмотрѣла на него вопросительно, и произнесла, вспыхнувъ:

— Я не понимаю васъ.

Но сердце ея забилось такъ сильно, что она схватилась за него рукою, а въ глазахъ у нея такъ помутилось, что она едва усидѣла на стулѣ... она поняла его.

Все это происходило до моего знакомства съ Антониной Петровной и обо всемъ этомъ она мнѣ разсказала сама уже гораздо впослѣдствіи. Я познакомился съ нею, когда она занимала небольшую, но прекрасно меблированную квартиру въ Большой Морской; носила шелковыя платья; имѣла лакея въ черномъ фракѣ и въ бѣломъ галстухѣ, наемный экипажъ, значительный кругъ знакомства, больше впрочемъ мужской, и

угощала своихъ знакомыхъ ужинами, съ гостепріимствомъ и радушіемъ истинно трогательнымъ.

— Любопытно бы было знать, на чей счетъ мы такъ славно ужинаемъ? спросилъ меня однажды одинъ изъ ея гостей.

Я не зналъ, что отвѣчать: въ это время никому изъ насъ не могъ придти въ голову баронъ, потому что мы никогда не встрѣчали его у Антонины Петровны, несмотря на то, что посѣщали ее часто.

Маменька Антонины Петровны продолжала жить вмѣстѣ съ дочерью, и на маменькѣ появились нарядные чепцы и шелковыя платья.

Она чувствовала ко мнѣ особенную довѣренность и расположеніе.

— А что, вѣдь моя Ниночка умница, образованная?... Неправда ли? спросила она меня однажды.

— Кто же сомнѣвается въ этомъ!

— Но вы посмотрите еще, какъ она устроитъ себя!... еще что будетъ!

Маменька приняла таинственный видъ и, отведя меня въ сторону, шепнула:

— Вѣдь она замужъ скоро выйдетъ, да еще за какого человѣка-то! Вотъ вы увидите,—только ужъ Бога ради ничего не говорите ей объ этомъ. Покуда это большой секретъ.

Маменька боязливо осмотрѣлась кругомъ и прибавила, вздохнувъ:

— Да, я счастливая мать!

Но не болѣе, какъ черезъ полгода, я былъ свидѣтелемъ такой сцены между этой счастливой матерью и дочерью, которая еще теперь живо представляется мнѣ во всѣхъ ея страшныхъ подробностяхъ...

II.

Антонина Петровна пригласила къ себѣ на вечеръ человѣкъ пять или шесть самыхъ близкихъ людей и между прочимъ прожившагося, отставнаго, но чиновнаго господина, лѣтъ 60, съ впалыми, изъ подлобья выглядывавшими глазами, зрачки которыхъ безпокойно бѣгали изъ стороны въ сторону и по временамъ вспыхивали ярко какимъ-то зловѣщимъ огнемъ. Если бы въ густые и поднятые къ верху волоса этого достой-

наго господина воткнуть немножко малиновой фольги, а на плеча его накинуть плащъ, подбитый краснымъ,—онъ походилъ бы какъ двѣ капли воды на Бертрама.... Антонина Петровна называла этого подозрительнаго и извѣстнаго всему Петербургу старичка своимъ *отцомъ* и *другомъ*. Старичокъ обращался съ ней нѣжно и внимательно, говорилъ ей—ты и занимался различными закупками по ея хозяйству.

Изъ числа другихъ приглашенныхъ самыми замѣчательными были: молодой кавалерійскій офицеръ съ пушкомъ на усахъ, писавшій *чудные* стихи, по словамъ Антонины Петровны; одинъ изъ бывшихъ наставниковъ — господинъ лѣтъ 50-ти, въ форменномъ фракѣ, съ высокимъ и твердымъ галстукомъ на пряжкѣ, съ туго накрахмаленной манишкой, коробившейся на груди, и съ отборными и изящными фразами на устахъ, таявшій и умилявшійся отъ взглядовъ своей прелестной ученицы; молодой и *знатный* (по словамъ Антонины Петровны) иностранецъ, обращавшійся беззастѣнчиво съ матерью и съ дочерью, и еще какое-то безмолвное и безцвѣтное лицо.

Вечеръ протянули кое-какъ... Антонина Петровна любезничала съ гостями и пѣла; безцвѣтный господинъ переверты-валъ ей ноты; восхищенный наставникъ восклицалъ: «Диво-хорошо!» подозрительный старичокъ ухаживалъ за *знатнымъ* иностранцемъ и предлагалъ ему покупку какихъ-то рѣдкихъ и драгоцѣнныхъ вещей за безцѣнокъ... Въ первомъ часу былъ поданъ ужинъ.

За ужиномъ Антонина Петровна посадила подлѣ себя, съ одной стороны, *знатнаго* иностранца, съ другой офицера. Счастливая мать не сѣла за столъ: она молча и незамѣтно расположилась у окна столовой. На нее никто не обращалъ вниманія и ея присутствіе было почти забыто. Пили очень много, не исключая и Антонины Петровны, которой постоянно подливалъ въ стаканъ *знатный* иностранецъ. Разговоръ оживлялся съ каждой минутой. Глаза Антонины Петровны принимали все болѣе влажное выраженіе; щеки ея разгорались. Въ очаровательномъ ослабленіи, она наконецъ прислонила голову къ мягкой спинкѣ кресла и опустила недвижно руки. Въ эту минуту *знатный* иностранецъ овладѣлъ подъ столомъ ея рукою и не выпускалъ ее изъ своей.

Вдругъ забытая маменька незамѣтно поднялась со стула,

неслышно подкралась сзади къ *знатному* иностранцу, быстро схватила его за руку и проговорила дрожащимъ и задыхающимся голосомъ по-французски:

— Вы забываетесь, милостивый государь! Гдѣ вы и за кого принимаете мою дочь? Какъ вы смѣете такъ обращаться съ нею? Я не потерплю этого... моя дочь—честная дѣвушка... Слышите ли?

Знатный иностранецъ смѣшался, не находя отвѣта; впрочемъ не одинъ онъ, всѣ присутствовавшіе пришли въ крайнее замѣшательство отъ такой неожиданной сцены.

Антонина Петровна поблѣднѣла какъ полотно, глаза ея сверкнули; она приподнялась съ кресла и произнесла задыхающимся голосомъ:

— Маменька!... Я прошу васъ... выйдите сейчасъ отсюда!

И повелительнымъ жестомъ, какъ театральная царица, она указала старухѣ на дверь.

Счастливая мать оробѣла, и, не произнеся ни единаго слова, смиренно и тихо вышла изъ столовой...

Ужинъ впрочемъ окончился такъ же шумно и весело, какъ начался.

Прошло года четыре послѣ этой сцены. Я не ходилъ къ Антонинѣ Петровнѣ и только видѣлъ ее издалека на улицахъ и въ театрахъ, всегда величественную и роскошно одѣтую. О замужествѣ ея, на которое мнѣ намекала ея мать, не было никакихъ слуховъ; но въ городѣ ходили толки о томъ, что баронъ, получившій мѣсто въ провинціи, при отъѣздѣ имѣлъ съ Антониной Петровной не совсѣмъ дружелюбныя объясненія, послѣ которыхъ онъ однако оставилъ ей заемное письмо въ довольно значительную сумму; что письмо это было потомъ представлено за неплатежъ ко взысканію и что, послѣ долгихъ письменныхъ объясненій съ барономъ и проволочекъ съ его стороны, онъ былъ вынужденъ заплатить ей часть этой суммы, потому что въ Антонинѣ Петровнѣ приняло участіе одно значительное лицо.

Деньги, полученныя ею отъ барона, обезпечили бы ее на всю жизнь, но Антонина Петровна не могла довольствоваться малымъ; по совѣту подозрительнаго старичка, походившаго на Бертрама, она, говорятъ, пустила свой капиталъ въ

какую-то спекуляцію и вообразила, что въ нѣсколько лѣтъ сдѣлается милліонеркой...

Однажды, при разъѣздѣ изъ оперы, она поймала меня въ корридорѣ.

— Я на васъ очень сердита, сказала она мнѣ съ тѣмъ важнымъ видомъ, который никогда не оставлялъ ее:—вы меня совсѣмъ забыли... Если вы хотите, чтобы я помирилась съ вами, пріѣзжайте ко мнѣ завтра обѣдать. Вы вѣрно не соскучитесь у меня, потому что найдете избранное общество артистовъ. Мнѣ даетъ уроки пѣнія самъ Давидъ, знаменитый Давидъ... Я сдѣлала большіе успѣхи. Весной я отправлюсь въ Италію, потомъ буду дебютировать на какомъ нибудь итальянскомъ театрѣ, потомъ меня могутъ ангажировать въ Парижъ, а изъ Парижа ужъ я явлюсь въ Петербургъ съ европейскою извѣстностью...

На другой день я нашелъ у Антонины Петровны нѣсколько человѣкъ съ горбатыми носами, съ большими черными глазами и съ продолговатыми рѣзкими и выразительными итальянскими лицами, между которыми полное, круглое, курносое, чисто-русское лицо краснорѣчиваго ея наставника представляло поразительный контрастъ.

— Господа,—сказала Антонина Петровна по-французски, когда мы садились за столъ:—мы здѣсь всѣ артисты—люди близкіе другъ къ другу, потому что поэзія и музыка родныя сестры... Неправда ли?... А спросите-ка у этихъ господъ, какіе успѣхи я сдѣлала въ пѣніи! продолжала она, обращаясь ко мнѣ... Если я одинъ годъ пробуду въ Италіи, послѣ этого я могу смѣло дебютировать на первой европейской сценѣ... Скажите, вѣдь я говорю правду? ..

Она обвела итальянцевъ своимъ гордымъ взглядомъ...

Итальянцы всѣ въ одинъ голосъ подтвердили слова ея. На лицѣ ея показалась торжественная улыбка, и она прибавила: — Видите ли? я вамъ нешутя говорила, что могу сдѣлаться европейскою извѣстностью!

— Да, она будетъ великой пѣвицей! шепнула мнѣ маменька, сидѣвшая возлѣ меня: — это всѣ говорятъ... Ну, что жъ дѣлать? Богъ съ ней. Я ужъ не противорѣчу ей, если у нея такой талантъ... Конечно, дворянкѣ неловко быть на сценѣ,—это у насъ не принято, но заграницей, говорятъ, и

княжескія дочери идутъ на сцену, — вы слышали это?... Да кому же, на хорошихъ пѣвицахъ и графы женятся! Ниночка съ ея талантомъ можетъ легко получать тысячъ 50 франковъ жалованья, — всѣ итальянцы это говорятъ, а кому же это знать, какъ не имъ? Они, спасибо имъ, очень полюбили ее, и почти всякій день у насъ обѣдаютъ. Ниночка для нихъ ужъ нарочно велитъ и итальянскія кушанья готовить...

Дѣйствительно макорони и стофато играли самую важную роль въ обѣдѣ Антонины Петровны. Итальянцы кушали съ весьма замѣчательнымъ аппетитомъ и накладывали себѣ по два раза свои національныя блюда.

Они вели себя совершенно какъ дома и одинъ изъ нихъ, потребовавъ красное вино, сдѣлалъ такую гримасу, которая привела Антонину Петровну въ сильное смущеніе.

— Что вы морщитесь? развѣ это вино дурно?... спросила она съ удивленіемъ...

— Очень, отвѣчалъ итальянецъ.

— Но вѣдь это самый лучшій лафитъ! за него заплачено 4 р. сер.!

— Тѣмъ хуже, замѣтилъ итальянецъ...

— Господа! сказала Антонина Петровна, обращаясь ко мнѣ и къ своему краснорѣчивому наставнику: — Бога ради, попробуйте и скажите мнѣ откровенно, каково это вино. Я не понимаю, что это значитъ! Меня обманули...

Наставникъ, отпивъ немного, произнесъ: — Нѣтъ, вино имѣетъ очень благовонный запахъ... весьма пріятное вино, — видно, что дорогое.

Но такъ какъ всѣ остальные были совершенно противнаго мнѣнія, то Антонина Петровна послала за другимъ.

За жаркимъ человѣкъ явился съ бутылкою шампанскаго и началъ разливать его въ бокалы, но, ко всеобщему удивленію, шампанское не имѣло ни малѣйшей шипучести и болѣе походило на вейнъ-де-графъ, чѣмъ на шампанское.

Антонина Петровна вспыхнула и глаза ея сверкнули...

— Знаете ли, что все это значитъ, господа? сказала она: — я хотѣла скрыть, но ужъ это такъ нагло, что я не могу. Эти вина покупалъ Николай Николаичъ... (такъ звали подозрительнаго старичка Бертрама, любившаго Антонину Петровну, какъ дочь)... Онъ увѣрилъ меня, что меня обманы-

ваютъ, что я покупаю дурное вино, обѣщалъ мнѣ доставить самыя лучшія и дорогія вина и взялъ у меня для этого полтораста рублей... Вотъ вамъ образчики этого вина!... каково?

Антонина Потровна начала извиняться передъ нами и прибавила мнѣ по-русски вполголоса:

— Ну можно ли такъ вести себя — и еще при его чинѣ и званіи? Это ужасно!... я до сихъ поръ защищала его, но теперь—я не могу, онъ выводитъ меня изъ терпѣнія...

Послѣ обѣда Антонина Петровна пропѣла какой-то дуэтъ съ однимъ изъ итальянцевъ и два раза споткнулась и остановилась, извиняясь тѣмъ, что у нея болитъ горло. Послѣ дуэта, въ то время, когда кто-то импровизировалъ на фортепіано, она подсѣла ко мнѣ.

— Скажите мнѣ откровенно, сказала она: — я вѣрю вашимъ сужденіямъ, — хорошо ли я сдѣлала, что избрала для себя артистическую карьеру?

— Прекрасно, если это ваше призваніе, отвѣчалъ я.

— Конечно, мое призваніе—и всѣ итальянцы въ одинъ голосъ говорятъ, что во мнѣ все есть, что необходимо для настоящей пѣвицы, только надо серьёзно учиться и ѣхать въ Италію... Что̀ можетъ быть выше артистической карьеры, неправда ли? продолжала она съ жаромъ и сверкая глазами: — какая слава можетъ, напримѣръ, сравниться съ славою знаменитой пѣвицы?... Объ ней кричатъ въ журналахъ; ей аплодируютъ на сценѣ, ее забрасываютъ букетами, ее выносятъ на рукахъ изъ театра до кареты, ея носовые платки раздираютъ на мелкія части и лоскутки хранятъ, какъ драгоцѣнность; ее за счастіе считаютъ принимать у себя министры и самыя знатныя лица; ее наперерывъ ангажируютъ всѣ европейскіе театры; она получаетъ сотни тысячъ, дѣлается милліонеркой, покупаетъ самыя поэтическія и живописныя виллы; у нее тысячи поклонниковъ; она выходитъ замужъ за какого нибудь графа или князя и наслаждается всѣмъ—любовію, богатствомъ, знатностію, почестями, славою... Вотъ это жизнь!... Это лучше, нежели выйти замужъ за какого нибудь генерала и сдѣлаться *генеральшей*...

Она засмѣялась, потомъ задумалась и вдругъ, схвативъ меня за руку, вскрикнула:

— Вѣрьте мнѣ, что я года черезъ четыре достигну непремѣнно извѣстности и славы и заставлю всѣхъ говорить о себѣ!...

— Я вамъ искренно желаю всего этого, перебилъ я.

— А теперь покуда мнѣ хочется предварительно познакомить, знаете, публику съ своимъ именемъ — и для этого я хочу дать концертъ въ пользу бѣдныхъ музыкантовъ... Въ этомъ концертѣ, между прочимъ, будетъ участвовать, по дружбѣ ко мнѣ, Граціани... Вы знаете его... не правда ли — великій импровизаторъ?... Я надѣюсь, что вы будете на этомъ концертѣ? и вамъ пришлю нѣсколько билетовъ для васъ и для вашихъ знакомыхъ... У меня только споръ съ Граціани, — рѣшите, кто изъ насъ правъ? — вы знаете, что у него бездна иностранныхъ орденовъ, очень красивенькіе ордена и между прочимъ звѣзда, — я ѣздила съ нимъ недавно на балъ въ благородное собраніе, онъ велъ меня подъ руку и мы обратили на себя всеобщее вниманіе, на насъ смотрѣли всѣ съ любопытствомъ: многіе приняли его за посланника, а меня за жену его... Но дѣло, видите, въ томъ, что Граціани въ концертъ не хочетъ надѣвать своихъ орденовъ... Онъ говоритъ, что будто бы онъ никогда не импровизируетъ въ орденахъ, что это у нихъ не принято... Что за вздоръ! Почему же?... Неправда ли, въ орденахъ это будетъ гораздо значительнѣе, эффектнѣе, особенно въ концертѣ, который дается не простой артисткой, а дворянкой?... Скажите ваше мнѣніе.

— Да вы уговорите его, отвѣчалъ я: — онъ вѣрно для вашего удовольствія надѣнетъ ордена...

— Я ему скажу, прибавила она, значительно прищуривъ глаза и подумавъ немного: — что вы находите тоже, что въ орденахъ лучше. Я знаю, что онъ дорожитъ вашимъ мнѣніемъ.

Концертъ Антонины Петровны состоялся недѣли черезъ три послѣ этого разговора... Я ожидалъ его не безъ любопытства и пріѣхалъ за полчаса до начатія.

Большая, яркоосвѣщенная зала была довольно пуста, посѣтители большею частію состояли изъ знакомыхъ Антонины Петровны. Въ первомъ ряду сидѣла ея маменька въ новомъ шелковомъ платьѣ и чепцѣ... Она была въ сильномъ волненіи.

— Я очень рада, что вы пріѣхали, сказала она мнѣ:— признаюсь вамъ, батюшка, мнѣ немножко страшно за Ниночку,—такъ и замираетъ сердце... Ужъ вы ее, Бога ради, поддержите.

— Ничего, не безпокойтесь, отвѣчалъ я:—все пройдетъ благополучно. Антонина Петровна вѣдь не робкаго характера....

Мало-по-малу число посѣтителей увеличилось, хотя въ залѣ еще было все просторно.

Увертюра сыграна...

Наступило молчаніе—и всѣ съ любопытствомъ обратились къ эстрадѣ.

Во глубинѣ эстрады появилась Антонина Петровна въ бѣломъ богатомъ платьѣ съ кружевами, съ пунцовымъ цвѣткомъ въ волосахъ и съ бриліантовымъ фермуаромъ на шеѣ. Ее велъ подъ руку, съ почтительною ловкостью, импровизаторъ, человѣкъ лѣтъ пятидесяти, средняго роста, съ густыми черными волосами, завитыми для этого торжественнаго случая, съ большимъ морщинистымъ лбомъ и съ тонкимъ и горбатымъ носомъ. На немъ былъ черный фракъ, высокій бѣлый атласный галстукъ и бѣлый атласный жилетъ съ цвѣточками... Онъ былъ весь увѣшанъ разноцвѣтными орденами.

Онъ подвелъ ее къ эстрадѣ, опустилъ ея руку и отступилъ на одинъ шагъ, принявъ торжественную осанку.

Антонина Петровна была очень блѣдна, вѣроятно отъ внутренняго волненія, но, несмотря на это, она держала голову гордо, нѣсколько даже загнувъ назадъ, и смѣло обвела собраніе своими рѣзкими черными глазами, какъ бы вызывая рукоплесканія.

Антонина Петровна пропѣла свою арію довольно бойко.

Раздались рукоплесканія, смѣшанныя съ криками «Brava!»

Не упуская изъ виду, что она дворянка - артистка, Антонина Петровна сдѣлала только легкое, едва замѣтное движеніе головою въ знакъ благодарности.

Въ эту минуту изъ толпы посѣтителей вышелъ какой-то молодой человѣкъ и поднесъ ей огромный букетъ изъ камелій, заказанный сю же самою для этого случая, по замѣчанію какого-то злаго господина, стоявшаго сзади меня. Руко-

плесканія при этомъ увеличились... Маменька, близъ которой я сидѣлъ, не удержалась и начала всхлипывать.

— Я счастливая мать! бормотала она, обращаясь ко мнѣ и къ краснорѣчивому наставнику дочери, который изо всей мочи хлопалъ своими огромными руками, заключенными въ еще огромнѣйшія перчатки кардамоннаго цвѣта, и кричалъ: «Bravissima!»

Послѣ аріи, пропѣтой Антониной Петровной, появился импровизаторъ, низко раскланявшись передъ публикою и сладко улыбнувшись ей. Ему предложено было множество тэмъ и между прочими: *къ пѣвицѣ.*

Онъ выбралъ послѣднюю... и началъ быстрыми шагами прохаживаться по сценѣ въ замѣтномъ волненіи: лобъ его наморщился, изъ-подъ нависшихъ бровей глаза иногда вдругъ вспыхивали и губы судорожно шевелились. Минутъ черезъ пять онъ подошелъ къ эстрадѣ совершенно уже съ спокойнымъ, свѣтлымъ и торжественнымъ выраженіемъ, взмахнулъ рукою и началъ декламировать стихи въ честь юной дебютантки. Онъ ловко упомянулъ между прочимъ о ея дворянскомъ происхожденіи, замѣтилъ, что она была любимицею музъ съ колыбели и окончилъ такъ:

Путь артистическій, высокій путь избранъ
Прекрасной Донною—и онъ осуществится.
Кто̀ можетъ угадать, что въ будущемъ таится?
Что̀, если въ ней для насъ воскреснетъ Малибранъ?!

Громъ рукоплесканій и криковъ раздался вслѣдъ за этимъ. Антонина Петровна бросилась со слезами въ объятія импровизатора, когда тотъ возвратился въ комнату, назначенную для артистовъ. Маменька Антонины Петровны, пришедшая въ эту комнату, благодарила его также со слезами. Сцена была въ высшей степени трогательная. Антонина Петровна послѣ этого пропѣла еще двѣ пьесы съ большимъ эффектомъ и увѣренностью.... На эстраду брошено ей было нѣсколько букетовъ.... Ее нѣсколько разъ вызывали.... Она была въ полномъ упоеніи отъ своего успѣха и этотъ незабвенный вечеръ окончился у нея блистательнымъ ужиномъ, послѣ котораго импровизаторъ и краснорѣчивый наставникъ Антонины Петровны, сильно выпившіе, обнимались и объяснялись другъ съ другомъ очень горячо пантомимами, потому что наставникъ го-

ворилъ, хотя, правда, очень краснорѣчиво, на одномъ только отечественномъ языкѣ....

Пророчество импровизатора впрочемъ не сбылось. Антонина Петровна, вообще неотличавшаяся постоянствомъ, черезъ нѣсколько времени послѣ своего концерта совсѣмъ бросила заниматься музыкой и перестала кормить итальянцевъ макаронами и стофато. Она сдружилась съ одной пріѣзжей актрисою; вмѣстѣ съ нею начала появляться во всѣхъ театрахъ; не упускала ни одного маскарада, интриговала князей, графовъ и значительныхъ особъ, бредила только ими; начала давать для нихъ балы съ ужинами на золотѣ, á la Régence, на которыхъ блистали дамы, покровительствуемыя этими господами, и говорила, что она, хорошенько обдумавъ, не считаетъ для себя приличнымъ сдѣлаться артисткой, потому что ей мѣшаетъ ея происхожденіе и ея слишкомъ значительныя знакомства и связи....

Вы, вѣрно, еще не забыли блестящихъ ужиновъ Антонины Петровны, любезный читатель?...

И давно ли, кажется, все это было?...

Но я вамъ доскажу, если вы еще не знаете, печальный конецъ моей героини, изъ котораго вы можете вывести заключеніе о непрочности вообще сомнительныхъ существованій....

Пріѣзжая актриса познакомилась у Антонины Петровны съ какимъ-то богатымъ княземъ и нѣкоторые увѣряли, что Антонина Петровна много способствовала ихъ сближенію. На чемъ основывалась ея дружба съ актрисой—было неизвѣстно; но Антонина Петровна была съ нею неразлучна.

Однажды я встрѣтилъ у Антонины Петровны, находившуюся въ эту минуту подъ очень сильною протекціею, всѣмъ извѣстную Шарлоту Ѳедоровну, о которой она отзывалась мнѣ нѣкогда съ большимъ негодованіемъ и имя которой просила даже не произносить въ ея домѣ.

Когда Шарлота Ѳедоровна уѣхала, я обратился къ Антонинѣ Петровнѣ.

— Ну, я очень радъ, сказалъ я ей: — что вы, кажется, перемѣнили свой образъ мыслей о Шарлотѣ Ѳедоровнѣ и примирились съ нею.... Вы были прежде къ ней слишкомъ строги, согласитесь.

Антонина Петровна нѣсколько смѣшалась и даже покраснѣла.

— Я была убѣждена, сказала она, улыбнувшись: — что ея появленіе у меня должно удивить васъ.... Мнѣ самой это какъ-то странно, но что жъ дѣлать? иногда въ жизни невольно поступаешь противъ себя.... Я совсѣмъ не желала знакомиться съ нею, но дѣлать было нечего.... Ктому же, она мнѣ сдѣлала первая визитъ — и повѣрьте, что я относительно ея умѣю держать себя, какъ слѣдуетъ, съ достоинствомъ.... Но я вамъ сейчасъ разскажу, какимъ образомъ вдругъ она очутилась у меня.

— Надобно вамъ сказать, что Полина (Антонина Петровна такъ звала актрису, поступившую чрезъ ея посредство подъ покровительство богатаго князя) мѣсяца три тому назадъ пріѣзжаетъ ко мнѣ въ ужаснѣйшихъ слезахъ. «Я, говоритъ, самая несчастнѣйшая женщина, *онъ* меня не любитъ.... Это ужасно!...» Меня это, признаться, удивило, потому что князь наканунѣ былъ у меня и отзывался объ ней съ восторгомъ.... Князь со мной очень откровененъ и не сталъ бы скрывать отъ меня ничего.... Я говорю ей....—ты, мой другъ, ошибаешься, князь еще вчера заѣзжалъ ко мнѣ — и передала ей все, что князь говорилъ.... — Нѣтъ, говоритъ она: — онъ меня не любитъ, потому что требуетъ отъ меня невозможнаго.

— Чего же?...

— Тебѣ и въ голову не можетъ прійдти этого!

— Но, Бога ради, говорю я:—что такое?...

— Онъ непремѣнно хочетъ, чтобы я познакомилась... Я даже не могу произнесть это имя... ну, какъ ты думаешь, съ кѣмъ?...

Я сейчасъ догадалась и говорю:

— Съ Шарлотой Ѳедоровной.

Вы знаете, что Шарлота Ѳедоровна находится подъ покровительствомъ господина, который очень нуженъ князю.

— Ну что жъ дѣлать? говорю я: — это вовсе не доказываетъ, что князь тебя не любитъ, — и растолковала ей отношенія князя къ тому господину; но она слышать ничего не хотѣла и твердила только одно, что это ее унижаетъ, что она артистка, что она съ такого рода женщинами знакомиться не

можетъ. A la fin de fin, я ее успокоила немного и обѣщала ѣхать вмѣстѣ съ ней къ Шарлотѣ Ѳедоровнѣ.

— Ты понимаешь, я говорю, милая, какую я для тебя жертву приношу... Мнѣ, дворянкѣ, воспитывавшейся въ первомъ дворянскомъ заведеніи, еще неприличнѣе знакомиться съ нею, но это я дѣлаю для тебя.

Она бросилась ко мнѣ и начала меня цѣловать. Полина немножко вѣтрена, взбалмошна, какъ всѣ артистки, но у нея предоброе сердце...

Вотъ мы на другой день и сговорились ѣхать. Я нарочно выбрала такой часъ, въ который та никогда не бываетъ дома. Пріѣзжаемъ, останавливаемся у подъѣзда. Лакей побѣжалъ и вдругъ возвращается и къ моему удивленію говоритъ:—«Дома, приказали просить.» Вдругъ, вообразите, Полина поблѣднѣла, съ ней сдѣлалось дурно; но вы знаете, что я никогда не теряюсь въ такихъ случаяхъ. Я взяла ея карточку и велѣла лакею отдать ее и извиниться, что барыня не вышла, потому что она заѣзжала вмѣстѣ съ другой своей знакомой дамой...

Полина увѣряла меня, что послѣ этого на другой день Шарлота Ѳедоровна была у нея; но я подозрѣваю, что Полина на другой день сама ѣздила къ ней съ визитомъ, потому что ей ужасно хотѣлось познакомиться съ Шарлотой Ѳедоровной, хотя она въ этомъ и не признавалась, а всѣ эти слезы, отчаяніе, обмороки были, говоря откровенно, разыграны ею: вѣдь, знаете, актрисы мастерицы на это... Но какъ бы то ни было, а теперь Полина съ Шарлотой Ѳедоровной пріятельницы... Это удивительно!... Къ чему же было притворяться? Полина дѣлала для нее на-дняхъ великолѣпный обѣдъ... и Шарлота Ѳедоровна заставила себя прождать лишній часъ—какая наглость! и пріѣхала ужъ послѣ обѣда, извиняясь, что она по какимъ-то причинамъ не могла быть къ обѣду. И представьте себѣ, и Полина и другія ея пріятельницы артистки, которыя всегда съ ироніей и презрѣніемъ отзывались объ Шарлотѣ Ѳедоровнѣ, совершенно растаяли передъ нею. Полина посадила ее на первое мѣсто, начала ухаживать за нею... такъ что мнѣ было въ эту минуту гадко смотрѣть на нее, а Шарлота Ѳедоровна, надо отдать ей справедливость, вела себя очень умно, мило и съ большимъ тактомъ, такъ что я въ этотъ

вечеръ немного примирилась съ ней. Когда она прощалась, она всѣмъ протягивала руку и всѣ съ чувствомъ бросались къ ней и пожимали ей эту руку,—только одна я (вы знаете, что я умѣю вести себя съ этими госпожами) спрятала нарочно руки назадъ... Я думаю себѣ: нѣтъ, милая, я ужъ не стану пожимать твоей руки, не безпокойся; между нами слишкомъ большая разница!...

Шарлота Ѳедоровна умна, она очень поняла это, но несмотря на то, прикатила ко мнѣ на другой день утромъ... Ну, неловко же было не принять ее! согласитесь сами! Она наговорила мнѣ бездну любезностей, что, видите ли, она за особенную честь поставляетъ себѣ быть со мной знакомой, что она была бы счастлива, если бы заслужила мое расположеніе, и прочее; звала меня къ себѣ обѣдать, на вечеръ, но я наотрѣзъ объявила ей, что пріѣду къ ней, когда она будетъ одна... я тотчасъ же поставила ее относительно себя въ должныя границы...

Шарлота Ѳедоровна, съ своей стороны, разсказывала мнѣ о своемъ знакомствѣ съ Антониной Петровной совершенно наоборотъ.

— Она, говоритъ, навязывалась ко мнѣ съ своимъ знакомствомъ, заискивала черезъ разныхъ лицъ, три раза была у меня съ визитомъ и не заставала дома, наконецъ надоѣла мнѣ,—и я принуждена была ѣхать къ ней...

Кому вѣрить? — трудно рѣшить; но я въ этомъ случаѣ вѣрю болѣе Шарлотѣ Ѳедоровнѣ...

По образу жизни, который Антонина Петровна вела въ послѣднее время, по этимъ баламъ, ужинамъ à la Régence, по ея туалетамъ и постоянно гордому виду, можно было заключить, что ея денежная спекуляція удалась и что средства ея все расширяются; однако не все то золото, что блеститъ, особенно въ Петербургѣ...

Года полтора тому назадъ, въ одинъ осенній вечеръ, когда уже начинало смеркаться, я проходилъ по Литейной. Впереди меня шла дама, вся въ черномъ. Это была Антонина Петровна. Я узналъ ее по походкѣ. Поровнявшись съ нею, я назвалъ ее по имени. Она вздрогнула, подняла двойной вуаль, которымъ была закрыта, взглянула на меня и произнесла:

— А, это вы? какъ вы меня испугали!... У меня съ нѣко-

тораго времени ужасно разстроены нервы—и на меня дѣйствуетъ всякая неожиданность...

— Откуда вы такъ таинственно? спросилъ я.

— Я ходила недалеко... пройтиться... Мнѣ доктора приказываютъ ходить... Я не очень здорова.

Въ эту минуту мы остановились у ея подъѣзда.

— Пойдемте ко мнѣ чай пить, продолжала она: — я очень рада, что васъ встрѣтила. Мнѣ хочется поговорить съ вами.

Я согласился.

Антонина Петровна ввела меня въ свой салонъ.

— Я васъ на минуту оставлю и сейчасъ возвращусь къ вамъ, сказала она.

Комната эта, роскошно меблированная, представляла какой-то странный безпорядокъ, обнаруживавшій безпокойное состояніе духа хозяйки. На столикѣ изъ розоваго дерева съ фарфоровыми медальонами разбросаны были гербовыя бумаги и лежалъ X томъ Свода Законовъ...

— Вы изучаете законы? спросилъ я у Антонины Петровны, когда она возвратилась.

— Что жъ дѣлать? отвѣчала она съ грустною улыбкою:— для того, чтобы не быть обманутой, надобно знать самой все... Въ случаѣ нужды, я могу...

И глаза Антонины Петровны сверкнули, щеки ея вспыхнули, она подошла къ столу и, указывая на Сводъ Законовъ, прибавила:

— Я могу выучить эту книгу наизусть, я докажу, что со мной тягаться не легко!

— Сказать вамъ правду, гдѣ я была сейчасъ? сказала она послѣ минутнаго молчанія, остановившись передо мною:— у одного извѣстнаго стряпчаго.

— Развѣ у васъ какой-нибудь процессъ? спросилъ я.

— Очень вѣроятно, что будетъ; но я выиграю его, непремѣнно выиграю! Вы знаете мои связи, мои знакомства... Со мной шутить нельзя!... Съ вами я буду откровенна, но Бога ради, все это между нами, я васъ умоляю, — вы понимаете, если это распространится, я могу потерять кредитъ... Я обманута, безсовѣстно обманута... Я имѣла глупость довѣриться этому ста-

рику: онъ взялъ почти весь мой капиталъ, чтобы устроить его, онъ мнѣ обѣщалъ Богъ знаетъ какія выгоды—и точно, первые годы доставлялъ мнѣ огромные проценты, но вотъ теперь ужъ два года я не получаю ни одной копѣйки, и въ довершеніе всего онъ послѣднее время скрывается отъ меня; я нигдѣ не могу его отыскать... это ужасно!... Но кому бы пришло въ голову, чтобы человѣкъ въ такомъ чинѣ, съ такимъ званіемъ, въ такихъ лѣтахъ, могъ дѣлать то, что онъ дѣлаетъ!... Я узнала о немъ такія вещи, что подумать страшно... Одинъ ужъ поступокъ его съ виномъ показываетъ, что̀ это за человѣкъ,—вы помните!... Конечно, я не могу пойти по міру, у меня всетаки останется кусокъ хлѣба, но вы согласитесь, что мнѣ нельзя жить кое-какъ, я должна жить открыто... вы знаете мои знакомства, мои связи; весь Петербургъ меня знаетъ, на меня обращено вниманіе, я наконецъ привыкла жить хорошо, открыто... Ну что, если мой капиталъ погибнетъ? Что я тогда буду?

Антонина Петровна съ судорожнымъ движеніемъ схватила себя за голову...

— Я въ послѣднее время должна была занимать,—продолжала она послѣ минуты молчанія: — чтобы поддерживать себя, какъ слѣдуетъ, въ надеждѣ на обѣщанные мнѣ барыши. Я не могу же жить хуже какой-нибудь Шарлоты Ѳедоровны... вы согласитесь! Я дворянка, подруги мои замужемъ за князьями и графами, вы знаете, какъ я всегда вела себя и держала... Не сдѣлаться же мнѣ швеей и содержать себя своими трудами, какъ какой-нибудь простой бабѣ... Ну скажите, Бога ради, развѣ я виновата, что я родилась дворянкой, что я получила воспитаніе въ лучшемъ заведеніи, что во мнѣ развивали изящный, тонкій вкусъ ко всему, высшія потребности?... Кто захочетъ меня знать изъ моихъ теперешнихъ знакомыхъ, если я дойду до необходимости содержать себя своими трудами? Я ссылаюсь на васъ... вы первые откажетесь отъ меня и будете отворачиваться отъ меня при встрѣчѣ со мной...

— Вы ошибаетесь, перебилъ я:—если бы вы имѣли несчастье лишиться всего и съумѣли бы жить честно и скромно своими трудами, — всякій порядочный человѣкъ смотрѣлъ бы на васъ съ уваженіемъ и нисколько не думалъ бы отрекаться отъ васъ.

— Полноте, полноте,—я ни за что не повѣрю; но положимъ, вы такъ думаете,—да другіе-то этого не думаютъ—и... вы меня простите за мою откровенность, что же мнѣ въ одномъ вашемъ уваженіи, когда всѣ будутъ презирать меня? На штопанные чулки, на бѣличій мѣхъ и ситцевыя платья какой-нибудь добродѣтели всѣ посматриваютъ съ пренебреженіемъ! Что вы ни толкуйте, а за Шарлотой Ѳедоровной и ей подобными ухаживаютъ князья и графы! Всѣ мы поклоняемся блеску и успѣху, какимъ бы путемъ этотъ блескъ и успѣхъ ни былъ достигнутъ,—всѣ, не исключая и васъ, проповѣдующихъ мораль! Чѣмъ же я виновата, что я такая же, какъ и всѣ?... Я не могу жить въ бѣдности, ни за что! я лучше соглашусь сейчасъ умереть, чѣмъ разстаться съ тѣмъ, къ чему я привыкла и что меня окружаетъ...

Антонина Петровна бросилась на диванъ и зарыдала.

Минутъ черезъ пять она отерла однако глаза, встала съ дивана и обратилась ко мнѣ съ улыбкою:

— Пожалуйста, извините меня, сказала она:—я не знаю, право, что со мной дѣлается... У меня такъ разстроены нервы!... Я Богъ знаетъ что наговорила вамъ... Да что же это мы сидимъ въ потьмахъ?

Въ комнатѣ дѣйствительно была только одна свѣча... Она позвонила:

— Велите зажечь лампы въ залѣ и подавать чай, сказала она вошедшему человѣку.

Черезъ нѣсколько минутъ зала была ярко освѣщена, каминъ затопленъ и все приготовлено къ чаю.

Антонина Петровна повеселѣла, сама начала разливать чай изъ серебрянаго самовара и пустилась въ разсказы о различныхъ значительныхъ лицахъ, князьяхъ и графахъ, которые всѣ, по ея словамъ, принимали въ ней горячее участіе и питали къ ней самое дружеское расположеніе; она передала мнѣ между прочимъ нѣсколько очень забавныхъ анекдотовъ о пріѣзжей актрисѣ—своей пріятельницѣ и о Шарлотѣ Ѳедоровнѣ.

— Пожалуйста, навѣщайте меня почаще, сказала она, когда я прощался съ нею: — но умоляю васъ, не говорите никому о томъ, что я вамъ говорила... Къ тому же, я все преувеличила. У меня такъ разстроены нервы. Мнѣ все ка-

жется въ такихъ страшныхъ размѣрахъ!... Во всякомъ случаѣ, если и будетъ процессъ, я ужъ непремѣнно его выиграю... Мнѣ только стоитъ съѣздить къ князю М* и переговорить съ нимъ...

Черезъ полгода послѣ этого, одинъ старый знакомый Антонины Петровны, которому очень хорошо были извѣстны ея дѣла, сообщилъ мнѣ, что она находится въ самомъ бѣдственномъ положеніи; что чиновный и подозрительный старичокъ Бертрамъ, чувствовавшій къ ней отеческую нѣжность, часть капитала дѣйствительно отдалъ на какую-то отчаянную спекуляцію какому-то еще болѣе подозрительному чѣмъ онъ самъ лицу, съ котораго взялъ за это нѣсколько тысячъ; часть оставилъ для того, чтобы изъ нея выплачивать ежегодно мнимые проценты Антонинѣ Петровнѣ, которая не подозрѣвала, что проживаетъ свой капиталъ, и кромѣ того еще нѣсколько тысячъ удержалъ себѣ и просто прожилъ ихъ; что у нея не остается ничего; что она надавала на себя множество векселей, изъ которыхъ многіе уже представлены ко взысканію; что она должна мебельщикамъ, обойщикамъ, модисткамъ; что ей угрожаетъ тюрьма, и проч.

На другой же день я отправился къ ней.

Къ удивленію моему, я нашелъ ее среди еще болѣе блистательной обстановки. Она прибавила къ своей квартирѣ огромную залу отъ сосѣдней квартиры.

— Какова зала-то? сказала она:—мебели еще нѣтъ, но ее принесутъ на-дняхъ.

— Да для чего вамъ такая зала?...

— Какъ для чего?... Я буду давать балы, ко мнѣ будетъ съѣзжаться весь петербургскій beau-monde...

Я посмотрѣлъ на нее.

Въ ея лицѣ не было ни кровинки, но въ глазахъ показывался по временамъ какой-то странный блескъ. Кругомъ ея головы, въ видѣ ореола, какъ облако, вился воздушный бѣлый газъ. Она показалась мнѣ страннѣе обыкновеннаго.

— У меня есть до васъ просьба, сказала она мнѣ, указывая на кресла, когда мы возвратились въ гостиную, и садясь съ важностью на диванъ.

— Что прикажете?

— Рекомендуйте мнѣ пожалуйста хорошаго учителя фило-

софіи. Я хочу учиться философскимъ наукамъ: черезъ это я могу очень много выиграть въ свѣтѣ... Наши дамы вѣдь не занимаются серьёзными вещами... А женщина съ философскимъ образованіемъ — это будетъ ново и оригинально! Обо мнѣ заговорятъ всѣ. Я хочу, чтобы ко мнѣ съѣзжались всѣ знаменитости, въ особенности ученые и дипломаты. Съ артистами и артистками я разссорилась: они всѣ дурнаго тона и съ ужасными претензіями...

— Эге! подумалъ я, еще внимательнѣе смотря на нее.

Она замѣтила мой взглядъ, улыбнулась и сказала:

— Что это вы на меня такъ подозрительно смотрите? Не думаете ли вы, что я помѣшалась? — Не бойтесь... Я, къ сожалѣнію, не могу сойти съ ума ни отъ какихъ несчастій... Я вамъ говорю, что я чувствую необходимость учиться философіи, потому что мнѣ это въ жизни будетъ очень полезно...

Въ эту минуту вошла ея мать.

Я подошелъ къ ней

— Что такое съ Антониной Петровной? спросилъ я вполголоса, отводя ее въ окну.

— А что?... отвѣчала старушка: — она у меня немножко нездорова. Все жалуется на головныя боли... Не мудрено! Она, моя голубушка, послѣднее время вытерпѣла столько непріятностей... можетъ, вы слышали? но все это скоро поправится. Она мнѣ говоритъ, что самыя знатныя и высокія лица принимаютъ въ ней участіе... а что̀ она вамъ говорила?

— Она проситъ рекомендовать ей учителя философіи...

— Да, да; она все говоритъ объ этомъ... Ну, я этому очень рада... пусть займется... это ее развлечетъ...

— Что вы тамъ шепчетесь? вскрикнула Антонина Петровна: — маменька, пойдите къ себѣ... Я говорю о серьёзномъ дѣлѣ... — Садитесь возлѣ меня, продолжала она, обращаясь ко мнѣ. — Я вамъ сообщу мои планы... Знаете ли, когда кончится это несносное дѣло и когда я получу мой капиталъ, я куплю домъ и отдѣлаю его, какъ игрушку, съ роскошью и со вкусомъ, — вы знаете, что у меня есть вкусъ и что я съумѣю все это устроить... Вы увидите, что весь Петербургъ заговоритъ о моемъ домѣ!

Я слушалъ ее, не показывая ни удивленія, ни противо-

рѣчія; послѣ этого Антонина Петровна заговорила о разныхъ петербургскихъ новостяхъ и подсмѣивалась довольно остроумно надъ пріѣзжей актрисой, которая поссорилась съ богатымъ княземъ, своимъ покровителемъ.

— Когда зала моя отдѣлается, сказала она мнѣ въ заключеніе: — я дамъ балъ и надѣюсь, что вы будете у меня. Я васъ заранѣе приглашаю.

Это было мое послѣднее свиданіе съ Антониной Петровной.

Черезъ мѣсяцъ, полиція описала за долги все ея движимое имущество, а черезъ нѣсколько времени потомъ, по требованію кредиторовъ, Антонина Петровна приговорена была къ заключенію въ исправительное заведеніе.

Антонина Петровна въ этихъ печальныхъ обстоятельствахъ переходила отъ апатіи къ сильному одушевленію и, въ минуты такого одушевленія, еще все строила блистательные планы, касательно своего будущаго. Старушка мать очень серьёзно выслушивала эти фантазіи; искренно, отъ всей души, вѣрила въ ихъ осуществленіе, привыкнувъ безусловно во всемъ вѣрить своей Ниночкѣ, и поэтому была почти спокойна, несмотря на описанную движимость,—и не замѣчала въ дочери слишкомъ рѣзкой перемѣны... И въ самомъ дѣлѣ, перемѣна эта была не слишкомъ замѣтна, особенно для домашнихъ. Она собственно заключалась только въ томъ, что всѣ обычныя фантазіи и мечты Антонины Петровны представлялись ей въ болѣе широкихъ размѣрахъ, выходившихъ уже нѣсколько изъ предѣловъ возможнаго.

Но когда блюстители провосудія явились, чтобы отвести ее въ мѣсто, назначенное ей, и объявили ей это (старый знакомый Антонины Петровны, о которомъ я упоминалъ, былъ свидѣтелемъ этой сцены), Антонина Петровна, осмотрѣвъ ихъ съ ногъ до головы, захохотала такъ громко и страшно, что у всѣхъ присутствовавшихъ пробѣжалъ морозъ по кожѣ, а старушка мать вскрикнула отъ испуга и зарыдала.

— Такъ вы меня хотите заключить въ исправительное заведеніе? сказала Антонина Петровна, принявъ величественную позу:—отъ какихъ же пороковъ вы хотите исправлять меня? Развѣ я противорѣчила въ чемъ нибудь вашей общественной нравственности? Я поклонялась тому же кумиру, которому кланяетесь всѣ вы — деньгамъ!... Я стремилась къ

тому же блеску, къ той же извѣстности и славѣ, къ которой стремитесь всѣ вы... Мнѣ съ дѣтства внушали нравственныя правила мои родители, мои наставницы, мои надзирательницы, мои подруги, всѣ мои знакомые—страсть къ богатству и къ извѣстности... Я задолжала... ну что жъ такое? кто же изъ порядочныхъ людей не долженъ? Я вамъ назову тысячи самыхъ блестящихъ фамилій, которыя по уши въ долгахъ... Я всегда думала и теперь тоже думаю, что вся нравственность заключается въ томъ, чтобы заискивать вниманіе богатыхъ и сильныхъ, ни въ чемъ не противорѣчить имъ... подчинять себѣ низшихъ и повелѣвать ими... Я постоянно стремилась возвыситься, чтобы за мной ухаживали и во мнѣ искали, поэтому я считаю себя вполнѣ нравственной женщиной!... Я ни въ чемъ, ни въ чемъ никогда не противорѣчила вашимъ понятіямъ о жизни, вашимъ взглядамъ и вашимъ правиламъ... слышите ли вы?... въ чемъ же вы хотите исправлять меня? Это забавно! Вы съ ума сошли... И это правосудіе!!

Антонина Петровна нѣсколько разъ прошлась съ торжествующимъ взглядомъ по комнатѣ и вдругъ остановилась, бросила грозный, уничтожающій взглядъ на исполнителей правосудія, сдѣлала повелительный жестъ рукою и вскрикнула:

— Вонъ! подите всѣ вонъ!... Вы не понимаете, *съ кѣмъ* вы имѣете дѣло... Знаете ли, кто я?... На колѣни передо мною! Всѣ на колѣни! Во мнѣ течетъ королевская кровь... Я внучка Людовика XVII!... Эта тайна до сихъ поръ была только извѣстна мнѣ и еще одному высокому лицу, имя котораго я не назову, потому что вы недостойны того, чтобы его слышать!...

— Ниночка! Ниночка! что съ тобою, другъ мой! вскрикнула старуха отчаяннымъ голосомъ и съ воплемъ бросилась къ дочери...

Антонина Петровна оттолкнула ее.

— Не мѣшайтесь не въ свое дѣло... Вы ничего не понимаете. Подите прочь отсюда!

Старуха упала на полъ безъ чувствъ...

— Что жъ вы стоите, какъ окаменѣлые? прибавила Антонина Петровна исполнителямъ правосудія... Теперь вы знаете—кто я... Ну, осмѣльтесь же послѣ этого взять меня и посадить въ ваше исправительное заведеніе!...

СТИХОТВОРЕНІЯ.

СТИХОТВОРЕНІЯ
И. И. ПАНАЕВА.

I. ЕКАТЕРИНѢ СЕРГѢЕВНѢ КОМАРОВОЙ.

Я не люблю кокетки модной,
Души тщеславной и холодной,
Съ поддѣльнымъ сердцемъ и лицомъ.
. . . . . .
Ея плѣнительные взгляды
И сквозь лорнетъ летучій взглядъ,
И въ черныхъ локонахъ алмазы—
Меня ей Богу не плѣнятъ.
А впрочемъ, други, какъ повѣса,
Какъ романтическій поэтъ,
По милости людей и бѣса—
Я не безгрѣшенъ: слова нѣтъ.
Готовъ слѣдить ее на балѣ,
Готовъ въ досужіе часы
Воспѣть въ воздушномъ мадригалѣ
Ея бездушныя красы! *

---

* Это первое стихотвореніе И. И. Панаева, когда еще онъ былъ въ университетскомъ пансіонѣ, въ концѣ 20-хъ годовъ, кажется, было напечатано въ «Сѣверной Пчелѣ».—Въ послѣднихъ трехъ классахъ, кромѣ каникулярнаго времени, три года сряду Панаевымъ редактировался каждую недѣлю журналъ,

II. СТАНСЫ.

(Изъ Виктора Гюго).

Когда вдали смолкаетъ шумъ народа,
И въ небесахъ красуется луна;
И убрана звѣздами дальность свода,
И тихо спитъ сердитая волна:
Я жду съ небесъ высокаго призванья,
Я трепещу восторгомъ, и во мнѣ
Волнуется могучее желанье—
Исчезнуть въ семъ негаснущемъ огнѣ.
И мыслю я, что этотъ огнь далекій,—
Когда весь міръ одолѣваетъ сонъ,—
Лишь для меня Создателемъ зажженъ;
Что я одинъ и чувствую глубоко,
И таинства постигнуть сотворенъ!

1834.

III. МИНУВШАЯ ЮНОСТЬ.

(Изъ Виктора Гюго).

Воспоминаніемъ отрадно вдохновенный,
Читаю лѣтопись моихъ минувшихъ дней,
Съ благоговѣніемъ, колѣнопреклоненный,
И на мгновеніе я въ юности моей!
О, знаете ли вы, какъ сладко обновляться
И сбрасывать съ себя тяжелый опытъ лѣтъ?
Въ надеждахъ и мечтахъ по прежнему теряться
И чувствовать, какъ чувствуетъ поэтъ?

выходившій по субботамъ и составлявшій толстую тетрадь. Содержаніе было беллетристическое—стихи и проза. Изъ сотрудниковъ Панаева, которыхъ было очень мало, у меня сохранился въ памяти одинъ изъ нашихъ товарищей, Михайловъ, очень талантливый и вскорѣ по выходѣ умершій. Нашъ учитель словесности, Кречетовъ, прочитывалъ усердно еженедѣльный нашъ журналъ и, когда находилъ что-нибудь достойное вниманія, посылъ для прочтенія Подолинскому, воспитывавшемуся также въ университетскомъ пансіонѣ, но гораздо ранѣе насъ окончившему курсъ. Въ то время Подолинскимъ было обращено вниманіе на историческій разсказъ Панаева подъ названіемъ «Бѣльскій», который былъ напечатанъ въ какомъ-то альманахѣ того времени. — *Примѣч. М. А. Языкова, сообщившаго это стихотвореніе.*

Отъ жизни требовать могущества и славы,
Любить восторженно съ небесной чистотой,
Къ прекрасному стремиться величаво,
И вѣровать въ людей горячею душой?
Теперь—я видѣлъ все, я чувствовалъ, я знаю:
Очарованіе, какъ прежде, предо мной
Не блещетъ радугой, надеждою святой;
Теперь я жизнь, страдая, понимаю
И въ будущность иду нетвердою стопой...
Но что я сдѣлалъ вамъ, мои младые годы?
За что̀ такъ скоро вы покинули меня?
Вы унесли съ собой отрадный сонъ свободы,
Надежды свѣтлыя—блаженство бытія!
И покорясь невольно назначенью,
Со вздохомъ я кончаю каждый день,
И чувствую, какъ ждетъ меня забвенье:
Здѣсь человѣкъ пройдетъ какъ привидѣнье,
И вслѣдъ за нимъ его исчезнетъ тѣнь!

1836.

IV. ПОЭТУ.

Когда среди ничтожества суетъ,
Покорствуя могучему влеченью,
Любимый сынъ природы, ты, поэтъ,
Весь осіянъ лучами вдохновенья,
Величественъ надъ міромъ возстаешь
И міру пѣснь, восторженный, поешь,—
Я, звуками отрадными смятенный,
Твое владычество надъ нами познаю,
Я, праха сынъ, колѣнопреклоненный
Передъ тобой, дитя небесъ, стою!
И мнѣ легко: свободнѣй дышетъ грудь,
И мыслю я сквозь слезы умиленья:
Да, высоко твое предназначенье,
Благословенъ страдальческій твой путь!

1837.

V. СМЕРТЬ.

Кто мало жилъ, но много испытаній
На жизненномъ пути переносилъ,
Кто понималъ тщету своихъ желаній,
Кто вѣровалъ, молился и любилъ,
И, мучимый безумною любовью,
Страдальчески приникнувъ къ изголовью,
Забвенія, какъ счастія, молилъ,—
Тотъ знаетъ жизнь и не страшится тлѣнья,
Тотъ не глядитъ на камень гробовой
Съ боязнію презрительно-пустой,
Уразумѣвъ восторженной душой,
Что смерть—твое, Господь, благоволенье!

1837.

VI. ДВѢ СЛЕЗЫ.

Въ священный часъ, когда въ душѣ твоей
Рождаются молитвенные звуки,
И къ небесамъ ты воздѣваешь руки
И со слезою молишься о ней,—
Въ тотъ часъ, она невидимо съ тобою,
Она не слышитъ—чувствуетъ твой гласъ...
Ея слеза слилась съ твоей слезою—
И Богъ-Отецъ благословляетъ васъ!

1837.

VII. ПОМЕРКНУЛЪ ДЕНЬ.

Померкнулъ день. Сребристой пеленою,
Какъ ризою, одѣлись небеса;
Молчатъ ручьи, безмолвствуютъ лѣса—
И вотъ звѣзда зажглася за звѣздою.
Торжественъ сей успокоенья часъ:
На душу къ намъ нисходитъ умиленье,
И рвутся съ устъ горячія моленья:
И Онъ, Господь, внимаетъ грѣшныхъ насъ,
Съ отеческой любовію внимаетъ...
Для всѣхъ отверзъ Онъ милосердья храмъ:
Оттуда всѣхъ Онъ насъ благословляетъ
И говоритъ: *Просите—дастся вамъ!*

1838.

СТИХОТВОРЕНІЯ

И

ПАРОДІИ НОВАГО ПОЭТА.

НОВЫЙ ПОЭТЪ. *

Я ни уменъ, ни глупъ, ни ученъ, ни неучъ, ни богатъ, ни бѣденъ, ни старъ, ни молодъ, ни красивъ, ни дуренъ, ни холостъ, ни женатъ. Я съ старикомъ—старикъ, съ юношей — юноша, съ умнымъ — уменъ, съ глупымъ—глупъ, съ неучемъ — неучъ, съ педантомъ — педантъ; я съ богачомъ — богатъ, съ бѣднякомъ—бѣденъ, съ женатымъ я женатъ, съ холостымъ—холостъ...

Я, словомъ, самъ не знаю, что я такое!... Несомнѣнно только, что я человѣкъ благовоспитанный и благонамѣренный....

У меня лицо блѣдное, оливковое—короче, геморроидальное; ноги какъ щепки, вообще мяса на костяхъ мало; я смотрю, какъ наканунѣ переселенія въ иной лучшій міръ, куда, между нами будь сказано, мнѣ смертельно не хочется; люблю пожаловаться на боль въ поясницѣ, въ груди, на простуду, на индижестію, а между-тѣмъ, живу себѣ да живу, и долго буду жить, и многихъ толстяковъ переживу. Я живучъ, ужасно живучъ: обтерпѣлся!... Въ теченіи многихъ лѣтъ подвергался я вліянію опаснѣйшаго въ мірѣ климата и—уцѣлѣлъ... И ужъ теперь—прошу извинить! смерть не скоро до меня доберется, и не мало ей будетъ работы за мной! Я какъ обдержавшееся полусгнившее дерево, которое давнымъ-давно, ужъ лѣтъ двадцать, скрипитъ, а не ломится... Только не трогайте его, только не пересаживайте, и оно, поскрипывая, простоитъ долго, долго... Конечно, я тоже поскрипываю. Но вѣдь самое бо́льшее, можетъ быть, что у меня чахотка. Да что жъ такое чахотка?... Потому и люблю я кислую и больную природу, окружающую меня, потому именно не разстаюсь съ ней и никогда не разстанусь, чтобъ смѣяться надъ чахоткой, и, посмѣиваясь надъ ней, приготовлять себѣ съ помощью благонамѣренныхъ способовъ спокойную и безбѣдную старость...

---

* Стихотворенія Новаго Поэта печатаются нами въ томъ выборѣ и порядкѣ, какой сдѣланъ былъ самимъ И. И. Панаевымъ для изданія ихъ отдѣльною книжкою въ 1855 г.—Они стали появляться въ печати съ 1-й книги «Современника» 1847 г., гдѣ имъ предпослано было это предисловіе. — *И. Мартыновъ.*

Живу я какъ-то судорожно. Не то, чтобъ ужъ у меня было очень много дѣла, но я вѣчно занятъ, занятъ по горло, все тороплюсь, и все не успѣваю. Я не хожу, а бѣгаю, бѣгаю даже, когда гуляю; у меня лицо озабоченное, походка озабоченная. Я все исполняю съ какою-то торопливостію: на службу бѣгу торопливо, торопливо разсказываю тамъ о вчерашнемъ спектаклѣ, торопливо забѣгаю къ Излеру, торопливо выпиваю свою чашку кофе, торопливо прочитываю газеты... впрочемъ, газетъ я не читаю, а нюхаю. Въ Петербургѣ вообще собственно не читаютъ, а нюхаютъ. Читать нужно время, расположеніе; зачитаешься — какъ разъ и дѣло упустишь! А нюхать можно всегда и вездѣ, не теряя ничего по службѣ и даже съ пользою для нея. Въ Петербургѣ всѣ нюхаютъ. Въ Петербургѣ есть даже люди, которые, взявъ листокъ французской газеты, держатъ его вверхъ ногами, а между-тѣмъ, нюхаютъ, очень прилежно нюхаютъ. Вы можете встрѣтить такихъ нюхальщиковъ въ ресторацiяхъ и другихъ мѣстахъ. Я даже знаю французскiй языкъ и одинъ разъ въ мѣсяцъ нюхаю Journal des Débats. Да что и говорить? Я ничего не знаю и все знаю... Заговорятъ о Наполеонѣ—я и о Наполеонѣ! Скажу, что человѣкъ великiй, и посланъ въ мiръ для возвеличенiя и славы русской земли; прогремѣлъ и палъ, звѣзда закатилась, и съ жаромъ продекламирую: хвала! онъ русскому народу великiй жребiй указалъ! а не то: прошли тѣ дни, какъ взмахъ его руки, и тутъ рукой картинно взмахну. Бенедиктовъ мой поэтъ; я его смертельно люблю, — какiя сравненiя! Зайдетъ разговоръ отвлеченный—о любви къ отечеству, народной славѣ и гордости.... я тотчасъ тутъ о пространствѣ и о семи моряхъ, — пожалѣю, что мы увлекаемся подражанiемъ, не дорожимъ своею народностiю, и буду, знаете, говорить съ такимъ жаромъ, что всякiй тотчасъ увидитъ, что я не только умный человѣкъ, но и любящiй свое отечество человѣкъ. Заговорили о французахъ — я тотчасъ: народъ взбалмошный, легкомысленный, вѣтромъ подбитый, — ругну Жоржъ-Сандъ: сигару куритъ, ходитъ въ мужскомъ костюмѣ, — и насмѣшу, и другихъ научу, и себя съ нравственной стороны выставлю... Зайдетъ дѣло о русской литературѣ,—я Державина, Карамзина, Ломоносова: великiе были писатели, обезсмертили имя свое, славу отчизны увѣковѣчили,—и тутъ съ прискорбiемъ перейду къ тѣмъ, которые посягаютъ на ихъ вѣковѣчную славу, и съ такимъ негодованiемъ буду говорить, что слушающiе непремѣнно скажутъ: благонамѣренный человѣкъ! Словомъ, съумѣю обо всемъ говорить, — хоть не читалъ ни Ломоносова, ни Карамзина, ни Державина,—и нигдѣ не покажу себя неучемъ, выскочкой: противъ общаго мнѣнiя не пойду, амбицiи ни чьей не оскорблю, да и своей не уроню, я — травленый волкъ!... Я петербургскiй человѣкъ и ничто петербургское мнѣ не чуждо... И... знаете, какъ мнѣ дешево стоитъ, что я все такъ хорошо знаю и обо всемъ могу говорить?... ничего! ровно ничего! я какъ-будто родился со всѣмъ огромнымъ запасомъ моихъ свѣдѣнiй или вѣтеръ занесъ ихъ въ мою голову... А можетъ быть, я вычиталъ ихъ въ субботнихъ фельетонахъ «Сѣверной Пчелы», кромѣ которой съ недавняго времени я ничего не читаю.

Ничего! А прежде я читалъ много стиховъ. Я собственно съ тою цѣлiю и взялся за перо, чтобъ сказать вамъ, какъ я прежде любилъ стихи. Можетъ быть, нѣтъ человѣка, который помнилъ бы и десятую долю тѣхъ русскихъ поэтовъ, которыхъ я читалъ, которыми восхищался... Сколько ихъ! сколько ихъ! Отъ Бенедиктова, Языкова, Хомякова, Ростопчиной до Падерной и Шарша,—всѣ они приводили меня въ восторгъ. Но особенно любилъ я, разумѣется, Бенедиктова, Языкова, Хомякова, Кукольника. Бурная, клокочущая, гремящая и сверкающая поэзiя Бенедиктова, удалой, широкiй разгулъ Языкова,—какъ было устоять противъ нихъ?.... Мнѣ казалось, что я не могу ни такъ чувствовать, какъ Бенедиктовъ, ни такъ пить и предаваться разгулу, какъ Языковъ, и, подавленный ихъ величiемъ, я падалъ передъ ними во прахъ. Въ тоскѣ пробовалъ я вспоминать собственныя ощущенiя,—ничего похожаго! Сначала мнѣ показалось странно. Все же я человѣкъ, думалъ я въ неумѣстной и непростительной гордости: — я любилъ, страдалъ, кутилъ, порывы мщенiя и ненависти, злобы и ревности набѣгали не разъ и на мою душу,—и между тѣмъ, ничего похожаго!... Какъ у нихъ все широко, глубоко, могущественно! А мы, мы люди темные, чувствуемъ просто,

кутимъ просто; гдѣ намъ до нихъ! Не безъ тоски и горечи сдѣлалъ я такое открытіе,—и по мѣрѣ того, какъ самъ я уничтожался въ собственныхъ глазахъ, благоговѣніе къ моимъ великимъ поэтамъ возрастало... Помню, какое впечатлѣніе производила на меня величавая, пророческая лира Хомякова. Великій! великій! повторялъ я, и уже видѣлъ передъ собою разрушающійся Альбіонъ, слышалъ вопли и стенанія униженной гордыни, звонъ злата, погубившаго преступныхъ стяжателей, видѣлъ другую страну возникающую, полную славы и чудесъ... А Кукольникъ! Его драматическія представленія, драмы, трагедіи... сколько разъ они сводили меня съ ума!... Но вотъ вкусъ измѣнился, настала въ русской поэзіи эпоха таинственной неопредѣленности, мутливой грусти, грустной ироніи, настала гейневская эпоха; на петербургскихъ улицахъ начали появляться русые задумчивые и блѣдные юноши съ оттѣнкомъ болѣзненной ироніи, никогда не сходящей съ лица, — я полюбилъ и эту новую поэзію, полюбилъ и этихъ новыхъ поэтовъ. Кругъ друзей моихъ увеличился, сердце мое расширилось. Вдругъ...

Однажды ночь была бурная и дождливая. Проигравшись въ пухъ, я пѣшкомъ пришелся домой, схватилъ перо и началъ писать стихи. Я писалъ то, чего никогда не чувствовалъ, о чемъ никогда не думалъ, чего никогда со мной не случалось; я попробовалъ даже пророчить, не чувствуя въ себѣ способности предсказать грозу за часъ до ея наступленія, — ничего! Рука не останавливалась, перо повиновалось рукѣ, слова ложились на бумагу послушно и чотко, изъ словъ выходили стихи... Я писалъ долго, и когда пересталъ, очутился авторомъ десяти стихотвореній... Странно! Съ тѣхъ поръ какъ ни возьму котораго нибудь изъ моихъ поэтовъ, мнѣ все кажется, что я читаю собственныя мои стихотворенія, и наоборотъ: читая иногда собственное стихотвореніе, я принимаю его за стихотвореніе котораго нибудь изъ моихъ любимыхъ поэтовъ. Любимыхъ? увы! Съ тѣхъ поръ я разлюбилъ ихъ; я сталъ любить и читать только себя... Но самому быть единственнымъ читателемъ своихъ стихотвореній мнѣ, наконецъ, надоѣло. Я рѣшился выступить въ свѣтъ, и предлагаю вамъ прочесть нѣсколько моихъ стихотвореній.

(Затѣмъ напечатаны были стихотворенія, помѣщенныя ниже подъ №№ 5, 8, 9, 29 и 30 и невошедшее въ изданіе 1855 г. стихотвореніе-пародія на стихи Н. Языкова: «Прогрессъ»; статья оканчивалась замѣткою):

На первый разъ довольно. У меня много стихотвореній, и я еще успѣю познакомить васъ съ ними. Я пишу также и прозой... когда нибудь познакомитесь и съ нею. Проза моя похожа на мои стихи и на меня самого, а каковъ я, о томъ въ началѣ статьи предложены краткія свѣдѣнія. Я человѣкъ нравственный и глубоко правдивый: не хочу вводить читателя въ заблужденіе и заставлять его ждать отъ меня болѣе, чѣмъ я могу ему дать. Потому-то я и началъ съ очерка собственнаго моего характера. По-моему, каждый начинающій авторъ долженъ такъ поступать: даже не худо, если онъ означитъ свой чинъ, лѣта и департаментъ, въ которомъ служитъ, а если не живетъ въ столицѣ, то адресъ лица, черезъ которое можно отнестись къ нему въ случаѣ надобности. Необходимость адреса уже понята, и вы знаете, что одинъ литераторъ, и притомъ весьма знаменитый, уже внялъ ея голосу... Я скоро пошлю ему свои замѣтки, или лучше я сдѣлаю изъ нихъ статью и самъ ее напечатаю, а теперь на прощанье разскажу вамъ одинъ фактъ, очень любопытный и назидательный...

Отказавшись, по причинѣ, которую вы знаете, отъ чтенія нашихъ знаменитыхъ поэтовъ, я иногда не могу воздержаться отъ искушенія заглянуть въ стихотворенія, подъ которыми встрѣчаются новыя имена. Такъ въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ» съ нѣкотораго времени замѣчалъ я стихи, отмѣчаемые то буквами *А. С.*, то полной фамиліей: *А. Славинъ*. На меня, много лѣтъ не пропускавшаго непрочтеннымъ ни одного русскаго стиха, стихотворенія г. Славина всегда производили странное дѣйствіе,—не то, чтобъ я ихъ самъ написалъ или читалъ, а такъ все кажется, будто я ихъ зналъ наизусть, когда еще о г. Славинѣ не было и помина... Впечатлѣніе странное, разгадка котораго скоро сдѣлалась для меня мучительной задачей, задѣвшей заживо мое самолюбіе. Наконецъ, попался мнѣ 11 № «Репертуара» за 1846 годъ; я наткнулся на стихотвореніе, подписанное

А. С. (стр. 293), и тотчасъ увидѣлъ, что г. А. Славинъ открылъ новый способъ писать стихи. Способъ очень благовоспитанный: возьми книжку стараго журнала, напримѣръ, «Телескопа», сыщи тамъ стихотвореніе, какое понравится, ну, хоть стихотвореніе г. А. Станкевича «Мгновеніе» (Тел. 1832, № 5, с. 173),— заглавіе уничтожь вовсе, замѣнивъ его звѣздочкой, а хватитъ смыслу — придумай другое; нѣсколько словъ измѣни, удержавъ, впрочемъ, риѳмы (потому-что новыя риѳмы подбирать трудно), и смѣло выдавай за свое... Что стихотвореніе г. Славина, о которомъ я говорю, написано именно такимъ способомъ,—я сейчасъ вамъ докажу. Сличайте! (выписаны оба стихотворенія).

Говорятъ, со времени «Воскресныхъ Посидѣлокъ» г. Бурнашева въ русской литературѣ не запомнятъ такого явленія...

Читатель видитъ, что разсказъ мой, подтвержденный неоспоримымъ фактомъ, не принадлежитъ къ такимъ, о которыхъ можно сказать: «Больше ничего не выжмешь изъ разсказа моего». Я, однакожъ, ничего не прибавлю... Мнѣ пора поставить точку и подписаться. У меня престранная фамилія,—извините! Такая странная, что даже страшно подписывать. Лучше ужъ не подпишу.

ДВА СЛОВА ОТЪ АВТОРА

(къ изданію 1855 г.).

Страсть къ стихотворству развилась во мнѣ съ раннихъ лѣтъ. Я началъ писать стихи на двѣнадцатомъ году. До тридцати-пяти лѣтъ я воображалъ себя поэтомъ и стихи свои считалъ дѣломъ серьёзнымъ. Я написалъ по крайней мѣрѣ до сорока тетрадей стиховъ, довольно складныхъ и гладкихъ, отъ которыхъ мой учитель словесности былъ въ восторгѣ. Онъ говорилъ: «Это такіе цвѣтки въ вертоградѣ нашей словесности, мимо которыхъ нельзя пройдти не полюбовавшись.»

Поощряемый лестнымъ отзывомъ учителя, я предался стихотворству еще съ бо́льшимъ рвеніемъ. Стихъ мой, по мѣрѣ упражненія, принималъ ту гибкость и звучность, ту внѣшнюю обработку и лоскъ, которыя еще нѣсколько лѣтъ назадъ тому смѣшивались съ поэзіей.

Я воспѣвалъ сначала разгулъ юности, вакхическія сходки, хересъ бархатный и чудно-маслянистый и

.... напитокъ свой, народный—
Простое, пѣнное, чистѣйшее, *безъ травъ*,

потомъ различныхъ *чудныхъ* и *азіятскихъ дѣвъ*, пропитанныхъ *мускусомъ*, съ *косами, которыя бились до пятъ воронёными каскадами*. Все это озадачило не только моего учителя словесности, но даже и многихъ весьма почтенныхъ литераторовъ, изъ коихъ одинъ превозгласилъ меня по преимуществу *поэтомъ мысли*. Я надѣлалъ шуму. Стихи мои съ мускусами и каскадами вся читающая публика выучивала наизусть.

Я сдѣлался гордъ и началъ замышлять колоссальныя драматическія фантазіи, чтобы окончательно убить всю предшествующую литературу.... Сочинивъ нѣсколько такихъ фантазій, листовъ въ десять печатныхъ каждую, я сталъ читать ихъ моимъ друзьямъ и знакомымъ. Друзья и знакомые увѣрили, что я пошелъ далѣе Пушкина. Самъ я для себя уже давно, впрочемъ, рѣшилъ это.

Время между-тѣмъ шло. Мои вакхическія пѣсни съ хересомъ и пѣнимымъ и мои чудныя дѣвы были забыты. Скоро забыли и мои драматическія, колоссальныя фантазіи.

Это меня сильно смутило.... Я не зналъ, что дѣлать и въ смущеніи то принимался снова писать мелкіе стихи, въ томъ туманномъ и неопредѣленномъ родѣ, который былъ у насъ въ сильномъ ходу въ одно время, то подражалъ Гейне, то усиливался воскрешать греческій и римскій міры въ драмахъ, поэмахъ и антологическихъ пьесахъ. Все это однако мало удавалось мнѣ. На меня почти уже не обращали вниманія.

Я ожесточился и сталъ горько жаловаться на публику, говоря, что она не понимаетъ поэзіи и что для нея не стоитъ писать. Въ припадкахъ оскорбленнаго авторскаго самолюбія я клеймилъ даже XIX вѣкъ обидными прозвищами—анти-поэтическаго, сухаго, положительнаго, меркантильнаго. и прочее.

Когда раны, нанесенныя моему самолюбію, стали мало-по-малу затягиваться и заживать, я призадумался, углубился въ самого себя и перечелъ все мною написанное.... Результатомъ этого было то, что я началъ впервые сомнѣваться въ своемъ поэтическомъ призваніи. Это сомнѣніе мучило меня, и, для развлеченія себя, я принялся внимательно читать и изучать истинныхъ поэтовъ.

Тогда-то, увы! я понялъ вполнѣ, что непрочность моихъ успѣховъ и наконецъ равнодушіе къ моимъ послѣднимъ произведеніямъ—заключаются во мнѣ самомъ; что публику и вѣкъ обвинять въ этомъ равнодушіи не за что; что я никогда не имѣлъ искры поэтическаго таланта, а только писалъ болѣе или менѣе звучные, гладкіе и громкіе стихи; что одна внѣшняя, даже щегольская форма въ художественныхъ произведеніяхъ, безъ внутренняго содержанія, — ровно ничего не значитъ; что внутреннее содержаніе дается убѣжденіемъ и мыслію, которыхъ у меня не было; что громкій стихъ, не согрѣтый изнутри, не звучащій убѣжденіемъ, не проникнутый мыслію, не освѣщенный вдохновеніемъ, поражаетъ только ухо, а не душу.

Сознавъ все это, я вдругъ почувствовалъ озлобленіе къ своимъ твореніямъ и началъ писать на нихъ пародіи. Вотъ какъ объясняется появленіе *Новаго Поэта.*

Эти пародіи, печатавшіяся въ періодическихъ изданіяхъ, были принимаемы впрочемъ нѣкоторыми за серьёзныя произведенія. На одну изъ такихъ пародій, начинающуюся стихомъ:

Густолиственныхъ клёновъ аллея....
и прочее

написана даже въ Москвѣ г. Дмитріевымъ прекрасная музыка....

Теперь *Новый Поэтъ* собралъ всѣ свои пародіи, разбросанныя по разнымъ изданіямъ, въ одну книжку, единственно для того, чтобы еще болѣе подтвердить мысль, которую онъ преслѣдуетъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, что можно, не имѣя ни малѣйшаго поэтическаго таланта, писать гладкіе, звучные и громкіе стихи и что такіе стихи есть трудъ чисто-механическій, очень легкій въ настоящее время....

Сколько у насъ еще до-сихъ-поръ людей, пишущихъ стихи и воображающихъ себя поэтами!... Кто знаетъ? можетъ быть, предлагаемая книжка подѣйствуетъ хотя на одного изъ таковыхъ благотворно, и заставитъ его сознаться внутренно, что и его стихи — не поэзія и что вообще составленіе стиховъ безъ поэзіи самое пустое и безполезное препровожденіе времени, которымъ каждый благомыслящій человѣкъ обязанъ дорожить.... Если такая надежда осуществится, хоть на одномъ стихотворцѣ, книжка издана не даромъ и *Новый Поэтъ* достигъ своей цѣли.—15 февраля, 1855.

I. НА ДОРОГѢ.

Я ѣду просѣкой.... Зеленою стѣной
Деревья высятся направо и налѣво;
Въ прогалинахъ лѣсныхъ мелькаютъ предо мной
Густыя зелени недавняго посѣва.

Роскошный черноземъ подернулъ падшій листъ.
Орѣшникъ пожелтѣлъ и облетѣла роза....
Свѣжо... Лишь изрѣдка раздастся только свистъ
И вдругъ зашелеститъ плакучая береза.

Вся роща звуками и пѣснями полна.
Вотъ въѣхали въ чащу. Дорога сжалась узко....
Пронзительно кричитъ нахальная желна,
Трещитъ болтливый дроздъ и свищетъ трясогузка.

На темномъ ельникѣ краснѣетъ ярко кленъ;
Сквозь листья рѣзкою багровой полосою
Виднѣется заря.... Я въ думу погруженъ.
И грудь моя полна безвыходной тоскою.

На срубленной соснѣ, насупившись, сидитъ
Ворона, каркая.... И тяжело и больно!
Печальной осени кругомъ печальный видъ
Припоминаетъ мнѣ прошедшее невольно.

Остановилъ коней, изъ брички вылѣзъ вонъ....
Стою.... гляжу назадъ.... А сердце такъ и гложетъ....
И все мнѣ кажется, какъ будто бы сквозь сонъ,
Что съ разу угадать мой стихъ никто не можетъ!....

II. ПОЭТЪ.

Въ предѣлахъ дальней высоты,
Гдѣ носятся планетъ плеяды
И звѣздъ блистаютъ миріады,
Онъ водрузилъ свои мечты;
Среди небеснаго объема,
Преградъ не зная ни отколь,
Онъ въ облакахъ, въ сосѣдствѣ грома,
Земную позабылъ юдоль.
Игру мірского треволненья
Онъ прихотливо пренебрегъ,
Но въ бурномъ вихрѣ вдохновенья
О братьяхъ позабыть не могъ.
Надъ нимъ таинственныя мысли
Какъ тучи черныя нависли;
И — тѣломъ прахъ, душой колоссъ,
Свѣтило и надежда вѣка —
Онъ погрузился весь въ вопросъ
О назначеньи человѣка....
Не тщетно онъ пыталъ судьбу,
Не тщетно онъ виталъ въ эѳирѣ,
Печаль и тайную борьбу
На громкой возвѣщая лирѣ....
Вдругъ грянулъ колоколъ глухимъ
И перекатнымъ звономъ —
И мѣднымъ языкомъ своимъ,
Съ гудѣньемъ и со стономъ,
Вѣщалъ таинственный отвѣтъ,
Душѣ его понятный —
И очутился вдругъ поэтъ
Въ пустынѣ необъятной:
Кругомъ шумятъ толпы людей
Съ ихъ суетностью дикой,
Но онъ одинъ, какъ средь степей
Угрюмый и великій! —
И все, что радуетъ другихъ,
Ему смѣшно и ложно....

Да счастье для натуръ такихъ
Едва ли и возможно!...

III. *

Напрасно говорятъ, что я гонюсь за славой
И умствую. Меня никто не разгадалъ!
Нѣтъ, къ головѣ моей чернокудрявой,

---

* Этому стихотворенію въ «Современникѣ» 1847 г. № 4 предшествовала такая замѣтка:

Еще нѣсколько стихотвореній Новаго Поэта. Слава моя упрочена. Обо мнѣ говорятъ, интересуются узнать мой чинъ и фамилію; по городу ходитъ множество анекдотовъ, которыхъ герой я; одинъ почтенный литераторъ произнесъ мнѣ похвальное слово, другой нѣсколько вечеровъ сряду вотъ уже ни о чемъ больше не говоритъ, какъ о моей безталанности, третій далъ вечеръ — и къ нему пріѣхали (хотя на его вечера давно уже не ѣздили), пріѣхали, потому что онъ ловко далъ знать въ городѣ: что такого-то числа, въ такомъ-то часу, у него будутъ меня показывать. Я, признаюсь, сильно струсилъ, когда появился въ многочисленной и незнакомой толпѣ, струсилъ и чуть-чуть скоропостижно не лишился жизни; но меня увели въ другую комнату и похвалами моему великому таланту привели въ чувство... Я, впрочемъ, не вдругъ показалъ, что не нуждаюсь больше ни въ какомъ лекарствѣ: уже совершенно опомнившись, я долго не подавалъ признака жизни и все слушалъ, слушалъ съ закрытыми глазами, какъ кошка, у которой щекочутъ подъ горломъ... Не повѣрьте, что за удивительное наслажденіе, когда говорятъ объ васъ и такъ превозносятъ!... Я теперь просто начинаю сердиться и тоска на меня нападаетъ, когда долго говорятъ объ чемъ нибудь другомъ... Нарочно хожу по трактирамъ и по книжнымъ лавкамъ; чуть кто за журналъ — и смотрю, и прислушиваюсь, и задыхаюсь отъ волненія... Что жъ?... хвалятъ, ей Богу, большею частію хвалятъ... конечно, есть и такіе, которые порицаютъ; но то завистники, непремѣнно завистники: или у нихъ братъ, или какой нибудь родственникъ пишетъ стихи, или они сами пишутъ, или хотятъ писать стихи,—иначе быть не можетъ!... Вы понимаете, иначе изъ чего бы бранить... Охъ, зависть! зависть проклятая!... О, самолюбіе, мѣшающее отдавать достойному достойное!... о, самолюбіе!... Виноватъ ли я, что случай подвязалъ мнѣ орлиныя крылья, а другимъ позабылъ привязать и вороньи... Какъ бы вы думали?... виноватъ!... только-что выступивъ, уже успѣлъ и я потерпѣть отъ васъ зависть и самолюбіе, записные враги всякаго посторонняго успѣха! уже на сердцѣ моемъ синяки (выраженіе, заимствованное у одного русскаго извѣстнаго поэта) и разныя, тяжелыя язвы... но послѣ, послѣ! Скоро, очень скоро представлю я полную картину ужасовъ, вынесенныхъ мною въ борьбѣ съ человѣческимъ самолюбіемъ и завистью... Теперь я хотѣлъ представить вамъ картину, болѣе умилительную: картину моихъ успѣховъ и славы. Одни, которыхъ я въ глаза не видалъ, хвастаютъ знакомствомъ со мною; другіе хвастаютъ тѣмъ, что происходятъ изъ одной со мною губерніи; третьи съ удивительною подробностью описываютъ мои примѣты, и описываютъ такъ, что я выхожу похожъ на нихъ, какъ двѣ капли воды; четвертые, совершенно мнѣ незнакомые,

Вѣнчанной миртами, умъ вовсе не присталъ.
Нѣтъ, что мнѣ умствовать! къ чему? вопросы дня
И смысла здраваго прямое направленье
Меня не трогаютъ, не шевелятъ меня:
Когда въ движеньи умъ — мертво воображенье....
Не миръ дѣйствительный — однѣ мнѣ нужны грезы.
Одна поэзія душѣ моей нужна!
Порой салонный блескъ, мазурка, полька, слезы,
Порою мрачный гротъ и томная луна....
При ослѣпительномъ и яркимъ свѣтѣ бала,
Съ букетомъ ландышей и пышныхъ тюберозъ,
Иль одинокая подъ сумракомъ березъ,
Я съ наслажденіемъ мечтаю и мечтала.
Напрасно жъ говорятъ, что я гонюсь за славой
И умствую.... Меня никто не разгадалъ!
Нѣтъ, къ головѣ моей чернокудрявой,
Я повторяю вамъ: умъ вовсе не присталъ.

Неправда ли, восхитительно? Чѣмъ заплачу я ей за довѣренность ко мнѣ, за наслажденіе, которое доставила она мнѣ? О, я буду великодушенъ. Она проситъ моихъ стиховъ, я исполню ея просьбу: вотъ нѣсколько новыхъ моихъ стихотвореній. *

при встрѣчи дѣлаютъ видъ, что знаютъ меня: кланяются или пріятно улыбаются; наконецъ, одинъ издатель забѣгалъ ко мнѣ, кланялся, разводилъ руками и ногами, осматривался со всѣхъ сторонъ, шепелялъ, присвистывалъ, и наконецъ объявилъ, что желаетъ моихъ «стишковъ-съ». Какъ вы думаете: всѣ подобные факты, кажется, достаточно доказываютъ, что слава моя упрочена?... Да! моя слава упрочена: я теперь великій человѣкъ и мнѣ теперь никто нипочемъ! Люди за честь должны почитать знакомство со мною, а я имѣю полное право ломаться передъ ними—и буду ломаться...

И какъ мнѣ не знать себѣ цѣны, когда слава моя достигла уже отдаленнѣйшихъ предѣловъ нашего отечества... Еще на-дняхъ получилъ я письмо... о, какое письмо!.. и отъ кого?... Рука женщины... Она сама пишетъ мнѣ, что она молода и прекрасна, что съ самыхъ раннихъ лѣтъ полюбила горы и долины, ручьи и пригорки, и тамъ началъ являться ей идеалъ... «То былъ... о, я увѣрена! (пишетъ она) то былъ ты! я знаю твои черты... знаю тебя; ты давно и всюду невидимо присутствуешь со мною... твой геній»... Но я пропускаю здѣсь нѣсколько словъ... Окончивая письмо, она проситъ моего портрета и моихъ стиховъ, — и сама посылаетъ стихи... «Если (говоритъ она) ты найдешь въ нихъ что нибудь достойное того, кто вдохновилъ мое неопытное перо (тутъ она дѣлаетъ явный намекъ на меня, но я опять пропускаю нѣсколько строкъ изъ скромности)— напечатай ихъ»... Стихи прекрасны; я ихъ печатаю. Читайте.

* См. ниже № 6, 10, 11, 12 и въ «приложеніяхъ» № 3.

IV. КЪ ДРУЗЬЯМЪ.

Гдѣ вы, товарищи? Куда занесъ васъ рокъ?
Вы помните ль, какъ мы, хмѣльной отваги полны,
Собравшись въ дружески-отчаянный кружокъ,
Шумѣли будто бы въ рѣчномъ разливѣ волны?
Тѣхъ дней не воротить! Всему своя пора!
Они исчезнули, какъ свѣтлое видѣнье...
Блаженъ, кто пьянствовалъ отъ ночи до утра,
Изъ бочекъ черная любовь и вдохновенье!
Блаженъ, стократъ блаженъ!.... Встрѣчая новый годъ,
Въ мечтѣ я прошлые года переживаю,
Безпечные года возвышенныхъ заботъ
И издалека къ вамъ, товарищи, взываю!
Пріймите дружески-бурсацкій мой привѣтъ,
Порывъ души моей студенческой и чистой, —
Студенческой, друзья! (хотя мнѣ *сорокъ* лѣтъ!)
За ваше здравіе и счастье вашъ поэтъ
Пьетъ хересъ бархатный и чудно-маслянистый!

V. СЕРЕНАДА.

Въ томной нѣгѣ утопая,
Сладострастія полна,
Луннымъ свѣтомъ облитая,
Вотъ Севилья, вотъ она!

Упоительно-прекрасенъ,
И вкушая сладкій миръ,
Вотъ онъ блещетъ, гордъ и ясенъ,
Голубой Гвадалквивиръ!

Близь порфировыхъ ступеней,
Надъ заснувшею водой,
Тамъ, гдѣ двѣ сплелись сирени —
Андалузецъ молодой:

Шляпа съ длинными полями,
Плащъ закинутъ за плечо,
Двѣ морщины надъ бровями,
Взоръ сверкаетъ горячо.

Подъ плащемъ его — гитара
И кинжалъ — надежный другъ;
Въ мысляхъ — только донья Клара....
Чу! — и вдругъ гитары звукъ.

Съ первымъ звукомъ у балкона
Промелькнула будто тѣнь....
То она, въ тѣни лимона,
Хороша, какъ ясный день!

То она! и онъ трепещетъ,
Звуки льетъ, какъ соловей,
Заливается — и мещетъ
Огнь и пламень изъ очей.

Донья внемлетъ въ упоеньи,
Ей отрадно и легко....
Въ этихъ звукахъ, въ этомъ пѣньи
Все такъ страстно-глубоко!

Подъ покровомъ темной ночи,
Пѣсни пламенной въ отвѣтъ,
Потупляя скромно очи,
Донья бросила букетъ.

Въ томной нѣгѣ утопая,
Сладострастія полна,
Луннымъ свѣтомъ облитая,
Вотъ Севилья, вотъ она!

VI. КЪ МАТЕРИ.

Въ глубокую полночь, въ таинственный часъ,
Съ молитвой, я шелъ на кладбище,
Гдѣ горько я плакалъ — и плакалъ не разъ,
Гдѣ матери милой жилище!

Родная! какъ тихъ и отраденъ твой сонъ
Въ далекой и мрачной могилѣ!
Путь горя, путь терній тобою пройденъ....
Мы вмѣстѣ страдали и жили, —

И вмѣстѣ съ тобой я мечталъ умереть....
Мечтанье мое не свершилось!
Еще суждено мнѣ и жить и скорбѣть,
Но сердце въ борьбѣ истомилось.

О матерь! одинъ, сирота, безъ друзей,
Алкая возвышенной пищи,
Я въ немощи горькой и страшной моей
Скитаюсь здѣсь въ мірѣ, какъ нищій!

Напрасно, стеная, я сердца искалъ,
Ко всѣмъ простирая объятья:
Мой вопль, какъ въ пустынѣ, увы! замиралъ
При бѣшеныхъ кликахъ проклятья.

И нынѣ бѣгу отъ бездушныхъ людей
Къ тебѣ на кладбище, родная!
Мнѣ легче лежать на могилѣ твоей,
Въ горючихъ слезахъ утопая!

VII. КЪ АЗІЯТКѢ.

Вотъ она — звѣзда востока,
Неба жаркаго цвѣтокъ!
Въ сердце дѣвы страстно-окой
Льется пламени потокъ!

Груди бьются, будто волны,
Пухъ на дѣвственныхъ щекахъ
И роскошной нѣги полны
Рдѣютъ розы на устахъ;

Брови черныя дугою
И зубовъ жемчужный рядъ,
Очи — звѣзды подо мглою —
Провозвѣстники отрадъ!

Все любовію огнистой,
Сумасбродствомъ дышетъ въ ней....

И курчаво-смолянистый
На плечѣ побѣгъ кудрей....

Дѣва юга! предъ тобою
Бездыханенъ я стою:
Взоромъ адскимъ, какъ стрѣлою.
Ты пронзила грудь мою!....

Этимъ взоромъ, этимъ взглядомъ,
Чаровница! ты мнѣ вновь
Азіятскимъ злѣйшимъ ядомъ
Отравила въ сердцѣ кровь!...

VIII. КЪ ***.

Почтительно любуюся тобою
Издалека.... Ты яркой красотою,
Какъ пышный цвѣтъ, торжественно полна,
Ты царственно, ты дивно создана!

Промчишься ли въ блистающей каретѣ,
Тобою безкорыстно вдохновленъ,—
Творю тебѣ обычный мой поклонъ,
Ни мало не заботясь объ отвѣтѣ.

Окружена поклонниковъ толпой,
Сидишь ли ты въ великолѣпной ложѣ,
Я думаю: «какъ хороша, о Боже!»
Едва восторгъ удерживая мой.

Души моей высокое стремленье,
Мой драгоцѣнный, задушевный кладъ!
Брось на меня хоть ненарокомъ взглядъ, —
Твой каждый взглядъ родитъ стихотворенье!

IX. REQUIEM.

Въ ушахъ моихъ Requiem страшно звучалъ
И мрачно на улицахъ было,
Лишь тамъ на верху огонекъ чуть мерцалъ
Сквозь красную штору у милой.

И холодъ по жиламъ моимъ пробѣжалъ
И сердце болѣзненно сжалось;
Я болѣе года ее не видалъ....
Что съ ней, съ моей милою сталось?

Темна была ночь, ночь была холодна
И вѣтеръ свистѣлъ такъ уныло....
Въ гробу, какъ живая, лежала она
И полночь на башнѣ пробило.

X. ПЕРЕДЪ БАЛОМЪ

(отрывокъ изъ поэмы).

Красоточки, чечеточки
Бѣснуются, волнуются...
Гребеночки и щеточки
На столикѣ красуются....

На балъ! на балъ!
— Скорѣй, скорѣй
Подай корсетъ! —
«Онъ узокъ сталъ.»
— *Комъ эль э бэтъ!*
И барышня румянится,
Ломается, жеманится...
Все онъ въ мечтахъ,
Кавалергардъ!
Но *прене гардъ* —
Онъ молодъ страхъ....
Трепещетъ *кёръ*....
— Ахъ, *кэль бонёръ!*
Тамъ будетъ онъ:

Ну полькеронъ....
И туалетъ
Къ концу идетъ....
Затянутъ станъ.
— Машеръ, скорѣй!
Кричитъ *татап*
Изъ двери ей....
И вотъ мамзель
Стоитъ предъ ней....
«*Комъ эль э бэль!...*»

Красоточки, чечеточки
Бѣснуются, волнуются...
Гребеночки и щеточки
На столикѣ красуются....
. . . . . .

XI. БУДТО ИЗЪ ГЕЙНЕ.

Густолиственныхъ клёновъ аллея,
Для меня ты значенья полна:
Хороша и блѣдна, какъ лилея,
Въ той аллеѣ стояла она.

И головку склонивши уныло,
И глотая слезу за слезой,
«Позабудь, если можно, что было»,
Прошептала, махнувши рукой.

На нее, какъ безумный, смотрѣлъ я
И луна освѣщала ее;
Разставаяся съ нею, терялъ я
Все блаженство, все счастье мое!

Густолиственныхъ клёновъ аллея,
Для меня ты значенья полна:
Хороша и блѣдна, какъ лилея,
Въ той аллеѣ стояла она.

XII.

Болота и степь и окрестъ ни кусточка!
Вотъ утка вздрогнула въ густомъ тростникѣ,
Взвилась, и колышется въ небѣ какъ точка,
Засохшая ива торчитъ вдалекѣ,
Пары отъ болота — и мѣсяцъ кровавый
Взошелъ, разливая свой отблескъ на нёмъ...
Душа разгорается жаждою славы,
А тѣсно и душно и страшно кругомъ!

XIII. СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

Ты вакхической нѣги полна,
Ты статна, ты роскошно прекрасна....
И округлость грудей и плечей бѣлизна
И твой взглядъ упоительно-страстный
И движенiй краса и лукавость рѣчей, —
Все въ тебѣ такъ соблазномъ и пышетъ;
Отвести отъ тебя невозможно очей
И все слушать хотѣлось бы рѣчи твоей
Кто твой голосъ однажды услышитъ....
Одинъ я равнодушенъ и мраченъ съ тобой,
Современными мыслями полный,
И вопросы кипятъ въ головѣ молодой,
Какъ у берега бурныя волны.
Величаво изъ гроба встаютъ предо мной
Колоссальныя, дивныя тѣни,
Въ то мгновенье, когда вся толпа предъ тобой
Преклоняетъ въ восторгѣ колѣни!
Ты меня не поймешь. Цѣлый мiръ
Предо мной для тебя непонятный:
Гёте, Гегель, и Гомеръ и Шекспиръ,
Мрачный Дантъ и Байрóнъ необъятный.

XIV. СЕЛЬСКАЯ ТИШИНА.

Ужъ солнце медленно сокрылось за горою,
Означивъ свой закатъ огнистой полосою;
Прохлада чудная дневной смѣнила жаръ;
Надъ ближнимъ озеромъ поднялся бѣлый паръ
И слышно въ воздухѣ цвѣтовъ благоуханье....
Природа нѣжится въ таинственномъ молчаньи,
Лишь тамъ въ запущенномъ, заглохнувшемъ саду
Лягушки плещутся и квакаютъ въ пруду....
«Жить въ сельской тишинѣ, — какое наслажденье,
Имѣя такъ какъ я доходное имѣнье
И добрыхъ мужичковъ! Въ опредѣленный срокъ
Разъ въ годъ сбирая съ нихъ умѣренный оброкъ,
И прибавляя все — благодаренье Богу!
Къ наслѣдью отчему землицы понемногу.»
Такъ долго думалъ я и долго любовался
Природы красотой. Передо мной являлся
Порою Дормидонъ съ небритой бородой,
Чтобъ трубку вычистить докуренную мной....
Но вотъ ужъ тѣнь легла на нивы и поляны,
Вотъ мѣсяцъ выглянулъ и полный и румяный
Блѣднѣе и блѣднѣй на тверди голубой;
Вотъ песъ откликнулся на крикъ сторожевой....
Дрема долитъ меня и очи мнѣ смежаетъ....
На сонъ грядущій мнѣ постель приготовляютъ.
Пора и на покой, пора!... Покушавъ плотно,
Съ какой пріятностью, какъ сладко, беззаботно
Я лягу на постель и стану засыпать....
. . . . . .

XV. FAR-NIENTE.

Въ сельцѣ Валуевкѣ онъ тридцать лѣтъ живётъ,
Въ извѣстные часы травникъ цѣлебный пьётъ
И кушаетъ всегда три раза въ день исправно
Съ супругою своей Ѳедосьей Ермолавной.
Онъ послѣ трапезы куритъ обыкновенно,

Привычкамъ слѣдуя лѣтъ сорокъ неизмѣнно;
Зѣваетъ, кашляетъ, сморкается, плюётъ,
Приподнимается — и опочить идётъ....

Отъ безпокойныхъ мухъ прикрывъ свой тучный ликъ,
Онъ погружается въ огромный пуховикъ
И спитъ до вечера. И жизнь такъ льется плавно...
Придетъ его будить Ѳедосья Ермолавна,
И онъ поднимется; отекшею рукой
Укажетъ на стаканъ съ брусничною водой
И выпьетъ залпомъ все; потомъ почешетъ спину
И отправляется лѣниво на крыльцо,
Чтобъ освѣжить свое заплывшее лицо....
Межъ тѣмъ на водопой пригнали ужъ скотину,
Ужъ солнце клонится къ закату — и порой
Изъ саду вдругъ пахнетъ накошенной травой.
Сквозь рощу темную огонь заката блещетъ
И каждый листъ сквозитъ и радостно трепещетъ....

XVI.

Когда палящій жаръ смѣняется прохладой
И лугъ подернется вечернею росой,
И издали въ густой аллеѣ сада
Вдругъ что-то бѣлое мелькнетъ передо мной,

Когда въ окнѣ на опущенной шторѣ
Заколыхается знакомая мнѣ тѣнь;
Когда на праздникѣ въ блистательномъ уборѣ
Она является свѣтла, какъ Божій день, —

Я съ замираніемъ вездѣ слѣжу за нею,
Я для нее всѣмъ жертвовать готовъ....
Но къ ней приблизиться я и въ толпѣ не смѣю,
Но съ ней наединѣ не нахожу я словъ.

XVII.

Въ безумныхъ оргіяхъ уходитъ жизнь, какъ сонъ:
Шампанское съ утра до ночи льётся,
Крикъ, женщины, стакановъ битыхъ звонъ...
Хоть тяжело, а весело живётся....
И страшно мнѣ окончить жизнь въ глуши
И страшно мнѣ теперь за трудъ приняться,
А *между тѣмъ*, на днѣ моей души
Глубокіе вопросы шевелятся....

XVIII. КЪ НЕЙ.

Послѣ душнаго, знойнаго дня,
Разметавшись, съ какою отрадой
Ты сидишь подъ окномъ у меня,
Упиваясь вечерней прохладой!

И межъ тѣмъ, какъ ты, нѣгой полна,
Остывать начала понемножку,
Изъ-за облака вышла луна
И въ саду освѣтила дорожку.

И какъ будто, стряхая свой сонъ,
Въ цвѣтникѣ, заглушенномъ травою,
Поднялъ голову пышный піонъ,
Окропленный жемчужной росою.

Но склоняясь ко мнѣ на плечо,
Ты, въ свѣжительный сумерекъ часъ,
Цѣловала меня горячо
И мнѣ руки сжимала не разъ,

И душистыя пряди кудрей
Разсыпались по блѣдной груди....
И такихъ вдохновенныхъ ночей
Было много у насъ впереди!

XIX. МЕЛОДІЯ.

Ночь, а мнѣ совсѣмъ не спится,
  Сонъ бѣжитъ очей....
Что-то чудное творится
  Въ глубинѣ моей.

Предо мной мелькаютъ тѣни,
  Тѣни прежнихъ дней, —
Лучшія изъ всѣхъ видѣній
  Юности моей, —

Поэтическія тѣни!...
  И предъ ними я
Становлюся на колѣни,
  Плачу, какъ дитя.

Десдемона и *Джульетта*
  И *Лючія* — ты, —
Вы, фантазіи поэта
  Лучшіе цвѣты!

И я снова воскресаю
  Какъ былой порой,
Съ ними мыслю и страдаю
  Сердцемъ и душой....

Ночь, а мнѣ совсѣмъ не спится,
  Сонъ бѣжитъ очей....
Что-то чудное творится
  Въ глубинѣ моей.

XX.

Онъ блѣденъ былъ. Она была блѣдна.
Они сидѣли молча. Передъ нею
Стоялъ стаканъ съ водой. А онъ
Покачивалъ печально головою.
Она рукой коснулася лица

И съ странною какою-то улыбкой
Вдругъ что-то прошептала.
Онъ вздрогнулъ и на нее украдкой
Значительный, глубокій бросилъ взглядъ....
А на дворѣ привязанная къ цѣпи
Собака выла. Небо было сѣро
И мелкій дождь накрапывалъ давно....

XXI.

Мнѣ грустно. Отчего? Я самъ не знаю:
Мнѣ хочется широкой жизнью жить,
Всего себя отдать родному краю
И что-нибудь великое свершить,
Или въ кипучей оргіи забыться....
Еще мнѣ хочется въ науку погрузиться,
Тревожиться сомнѣньемъ; а порой
Любовью безграничною упиться
И съ дѣтскою сердечной простотой
И вѣровать, и плакать, и молиться...

XXII. ЗИМНІЙ ВЕЧЕРЪ.

И метель и вьюга воетъ,
Снѣгомъ занесло окно...
Сердцу грустно, сердце ноетъ!
Предо мной стоитъ вино,

И дрова трещатъ въ каминѣ,
На печуркѣ дремлетъ котъ...
Нѣту прошлаго въ поминѣ,
О грядущемъ нѣтъ заботъ.

Мой лакей храпитъ въ передней
И по прежнему сквозь сонъ,
Точно такъ, какъ онамедни,
Что-то тамъ бормочетъ онъ.

Машинально стулъ качая,
Мысль пришла мнѣ вдругъ о ней.
Что не выпить ли съ ней чая,
Не поужинать ли съ ней?

Но она заснула, пташка,
И потушена свѣча...
И скатилася рубашка
Съ бѣлоснѣжнаго плеча.

Спи, мой ангелъ, незабудка,
Спи спокойно. Часъ пробьетъ,
Когда голосу разсудка
Подчинишь ты жизни ходъ!

Богъ съ тобою!... Одинокій
Ночь привыкъ я коротать,
Вѣрить сильно и глубоко
И съ тоской разсвѣта ждать.

Пусть метель и вьюга воетъ,
Залѣпляетъ снѣгъ окно.
Пусть докучно сердце поетъ:
Предо мной стоитъ вино.

XXIII. ОСЕННІЙ ВЕЧЕРЪ.

Небо подернуто сѣрыми тучами.
Въ сумеркахъ дремлятъ вершины березъ,
Къ берегу рѣчьки песками сыпучими
Медленно тянется длинный обозъ.

Паромъ вечернимъ, какъ ризой покрытая,
Мрачно синѣетъ пустынная даль...
Тяжко и страшно давно позабытая
Въ сердце врывается съ болью печаль!

XXIV. ВЪ ДЕРЕВНѢ.

Я пріѣхалъ въ деревню вчера,
Но усталость и сонъ не томили меня:
У окна я сидѣлъ до утра...
Предо мной разстилались поля
И сребристой, живой полосой
Среди нихъ и узка и мелка,
Освѣщаема полной луной,
Въ камышахъ протекала рѣка...
И за этой рѣкой — темный боръ,
Гдѣ я съ дядькой грибы собиралъ,
И куда я потомъ потихоньку, какъ воръ,
На свиданіе *къ ней* убѣгалъ...
Вотъ и мельница та, у которой не разъ
Я тревожно ее поджидалъ,
Въ полуночный, таинственный часъ,
Гдѣ, какъ будто сейчасъ, гдѣ какъ будто вчера
Она ручкой раздвинула вѣтку куста...
Не смыкая очей я сидѣлъ до утра,
Все глядя на родныя мѣста!

XXV. ОТРЫВОКЪ.

. . . . . .

Она все думала, что мысль и вдохновенье
Достались ей въ удѣлъ;
Что рождена она для пѣснопѣнья,
Для высшихъ дѣлъ;
Что ей и стихъ и смѣлое созвучье
Въ ущербъ другимъ даны;
Что нѣтъ ее созданій въ мірѣ лучше;
Что въ даръ принесены
Ей блага всѣ отъ самой колыбели;
Что съ дѣтства въ ней
Все мысли чудныя и свѣтлыя кипѣли —
И нѣтъ подобной ей!

Что всѣ души высокія движенья
Извѣдала она,
И что окрестъ ее — благоговѣнье,
Любовь и тишина;

Что вымученный стихъ — изысканный и звучный,
Языкъ поэзіи — родной ей и присущный;
Что нужно геніемъ великимъ обладать,
Чтобъ рифмы трудныя искусно подбирать
И стихъ умышленно законченный хоть *утромъ*
Заставить рифмовать, положимъ, съ *перламутромъ*.

. . . . . .

И съ осанкой величавой
Свой она свершала путь;
Но чужой успѣхъ, иль слава
Раздирали ея грудь.
И съ завистливой тревогой,
Зло-обижена красой,
Она нравственностью строгой
Щеголяла предъ толпой....

Такъ вѣчно съ завистью и съ ложью и съ педантствомъ,
Съ претензіей на тонъ высокій, съ глупымъ чванствомъ
Ей нужно властвовать, порабощать умы, —
Но съ ужасомъ отъ ней бѣгутъ, какъ отъ чумы!...
Напрасно думала она во время оно
Привлечь избранниковъ, блеснуть своимъ салономъ:
Тоскою заклейменъ и для тоски назначенъ
Салонъ тотъ былъ и пустъ и постоянно мраченъ...

XXVI. КЪ ФАННИ ЭЛЬСЛЕРЪ.

ПОДРАЖАНІЕ ОДНОМУ МОСКОВСКОМУ СТИХОТВОРЦУ.

Фанни милая порхала
Амазонкой и съ ружьемъ,
Граціозно присѣдала
И летѣла напроломъ,
А сценическія плошки

Свѣта яркою струей
Освѣщали ея ножки.
Фанни! я поклонникъ твой!
Но ни танцы и не пляски,
Силы полныя, огня,
И не пламенные глазки
Озадачили меня....
Я люблю тебя, о Фанни!
Не за то, что легче лани
Ты порхаешь. Вовсе нѣтъ!
Не за эти прелесть-крошки —
Восхитительныя ножки;
А за то, что ты, на дрожки
Сѣвъ, поѣхала Москвой
Восхищаться. Взглядъ твой зоркій
Упивался красотой
Саматёка, Лысой-Горки
И Поклонною Горой...
Вотъ поэтому-то Фанни
Вдругъ съ ума свела меня...
Ей и дань рукоплесканій
И восторги... Да, тебя
Русскимъ сердцемъ понялъ я!

XXVII. КАРТИНА.

Повсюду царствовалъ покой —
И солнце медленно садилось
За дальней рощей и горой...
Она, прекрасная, молилась,
И изъ очей ея порой
Слеза горячая катилась...

Закатъ потухъ. Она стояла
На томъ же мѣстѣ — и мечты
Молитва тихая смѣняла
И были сложены персты!

XXVIII. ДРУГАЯ КАРТИНА.

Заря горѣла, какъ пожаръ...
Вдали скакала кавалькада,
И ужъ дневной, палящій жаръ
Смѣняла вечера прохлада...

Она стояла на крыльцѣ
И вдаль, блѣдна, какъ смерть, смотрѣла,
И, отражаясь на лицѣ,
Въ ней мысль рождалася и зрѣла.

Тревожа внутренній покой...
А вдоль дороги столбовой
Еще кого-то тройка мчала...
И тамъ... у рѣчки, подъ горой,
Корова глупая мычала.

XXIX. МОГИЛА.

Съ эффектомъ громовымъ, побѣдно и мятежно
Ты въ мірѣ пронеслась кометой неизбѣжной,
И бѣдныхъ юношей толпами наповалъ,
Какъ молнія, твой взглядъ и жегъ и убивалъ!
Я помню этотъ взглядъ фосфорно-ядовитый
И локонъ смоляной, твоимъ искусствомъ взбитый,
Набрежно падавшій до раскаленныхъ плечь,
И пламенемъ страстей клокочущую рѣчь;
Двухолмной груди блескъ и узкой ножки стройность,
Во всѣхъ движеніяхъ разгаръ и безпокойность
И припекавшія лобзаньями уста —
Вѣнецъ красы твоей, о дѣва-красота!
Я помню этотъ мигъ, когда царица бала
По льду паркетному Сильфидой ты летала,
И какъ, дыханіе въ груди моей тая,
Взирая на тебя, страдалъ и рвался я,
Какъ нынѣ рвуся я, безумецъ одинокой,
Надъ сей могилою заглохшей и далекой.

XXX.

Она стояла у окна
И вдаль свой тусклый взоръ вперяла.
Печально блѣдная луна
Поля и лѣсъ осеребряла —
И подымался паръ съ полей
И пѣлъ въ дубравѣ соловей —
И пѣсни звучныя сливались
Съ благоуханьемъ чуднымъ розъ...
А между тѣмъ верхи березъ
Отъ вѣтра тихо колебались.

XXXI. NOTTURNO.

Въ ароматную ночь у окна
Мы съ тобою сидѣли вдвоемъ,
А за рощей сверкала волна,
Озаренная блѣдной луной...

Счастью нашему громкій привѣтъ
Распѣвалъ вдалекѣ соловей
И луны упоительный свѣтъ
Трепеталъ между темныхъ вѣтвей...

Я не думалъ тогда ни о чемъ,
Ты безмолвно ласкала меня...
И мы долго сидѣли вдвоемъ
И молчали до бѣлаго дня.

XXXII. КЪ ПЛОХОМУ СТИХОТВОРЦУ.

Не вѣрь, что твоею душою
Владѣетъ поэзіи даръ;
Самолюбіе движетъ тобою
И обманчивой юности жаръ.

Ты скоро, поэтъ, исписался
И скоро на лаврахъ заснулъ,

Подъ шумъ похвалы заболтался
И нехотя насъ обманулъ.

Все это случается въ мірѣ,
Тутъ страннаго нѣтъ ничего;
Но только скажи: для чего
Брящать на разстроенной лирѣ?

XXXIII. ВОСПОМИНАНІЕ.

Свѣча едва мерцаетъ въ кабинетѣ.
Я въ Гегеля всей мыслью погруженъ...
Но вотъ блеснуло что-то на паркетѣ,
Зашелестилъ листами старый клёнъ;
Какой-то звукъ неясный и невнятный
Пронесся надо мною... Я вздрогнулъ
И бросилъ книгу и свѣчу задулъ...
Въ окно повѣялъ воздухъ ароматный,
И, музыкою внутреннею полнъ.
Я подошелъ къ окну. Луна сіяла,
На озерѣ чернѣлся утлый челнъ.
И мельница, грозя крыломъ, махала...
И вспомнилъ я другую ночь. Далеко,
Далеко отъ страны моей родной,
Куда я былъ заброшенъ одинокой,
Но гдѣ я такъ блаженствовалъ душой;
Гдѣ воздухъ растворенный померанцемъ
Внушаетъ всѣмъ поэзію и лѣнь;
Гдѣ жены пышатъ нѣгой и румянцемъ;
Гдѣ будто ночь древесъ густая тѣнь;
Гдѣ люди такъ порывисты и пылки...

И я досталъ бургонскаго бутылку
И съ нею сѣлъ смиренно у окна...
И жизнь моя тогда была полна
Плѣнительныхъ и радостныхъ видѣній,
Все близкія мнѣ возставали тѣни.

И предо мной являлася она
Прекрасная шекспирова Джульетта...
И у окна сидѣлъ я до разсвѣта.

XXXIV. РАННЕЮ ВЕСНОЮ.

Тихій вечеръ. Облаками
Чуть подернутъ небосклонъ,
И черемухи цвѣтами
Теплый воздухъ напоёнъ.

Между тощими кустами,
Опушенными едва,
Индѣ блещетъ полосами
Синеватая Нева.

Ставни дачъ еще закрыты...
Всюду пусто... Я одинъ,
И душой моей разбитой
Овладѣлъ невольно сплинъ.

Вонъ мелькаетъ что-то. Баба
Тамъ плетется за водой...
Какъ все бѣдно, какъ все слабо!
Ахъ, какъ грустно, Боже мой!

Кактусъ, фиги и бананы,
И палящій неба сводъ,
Ананасы и ліаны,
И граната сочный плодъ, —

Сей тропической природы
Огнецвѣтная краса...
Съ вихремъ мчащіяся воды,
Исполинскіе лѣса.

Вотъ гдѣ жить мнѣ назначенье!...
Жизнью я хочу играть
И въ безумномъ увлеченьи
Отаитянку лобзать.

XXXV. ПОДРАЖАНІЕ ГЕЙНЕ.

Склонивши на стѣнку головку,
Въ раздумьи сидѣла она,
Открывъ свою ножку-плутовку,
А ночь была страшно темна.

Смотрѣлъ на нее Мефистофель
Сквозь вѣтви угрюмыхъ берёзъ,
А мимо чухонецъ картофель
На клячѣ ободранной вёзъ.

XXXVI.

Ночь была ароматомъ полна.
Еще сѣно въ копны не сметали...
Изъ-за озера вышла луна,
А надъ озеромъ ивы дремали,

И тянулось надъ спящей водой
Дикихъ утокъ пугливое стадо...
Ахъ! натурѣ моей не покой,
А волненье безумное надо!

XXXVII. РЕВНОСТЬ.

Есть мгновенья думъ упорныхъ,
Разрушительно-тлетворныхъ,
Мрачныхъ, буйныхъ, адски-чорныхъ,
Сихъ — опасныхъ какъ чума —
Расточительницъ несчастья,
Вѣстницъ зла, воровокъ счастья
И гасительницъ ума!...

Вотъ въ неистовствѣ разбоя
Въ грудь вломились, яро воя —
Все вверхъ дномъ! И цѣлый адъ
Тамъ, гдѣ часъ тому назадъ
Яркимъ, радужнымъ алмазомъ

Пламенѣлъ твой свѣточъ — разумъ!
Гдѣ добро, любовь и миръ
Пировали честный пиръ!

Адъ сей... Въ комъ изъ земнородныхъ
Отъ степей и нивъ безплодныхъ,
Сихъ отчаянныхъ краёвъ,
Полныхъ хлада и снѣговъ —
Отъ Камчатки льдяно-реброй
До бреговъ отчизны доброй, —
Въ комъ онъ бурно не кипѣлъ?
Кто его — страстей изъятый,
Безсердечіемъ богатый —
Не восчествовать посмѣлъ?...
Адъ сей... ревностью онъ кинутъ
Въ душу смертнаго. Раздвинутъ
Для него широкій путь
Въ человѣческую грудь...
Онъ грядетъ съ огнемъ и трескомъ,
Онъ ласкательно язвитъ,
Все инымъ кровавымъ блескомъ
Обольетъ — и превратитъ
Міръ — въ темницу, радость — въ муку,
Счастье — въ скорбь, веселье — въ скуку,
Жизнь — въ кладбище, слезы — въ кровь,
Въ ядъ и ненависть — любовь!

Полонъ чувствъ огненалящихъ,
Вонющихъ и томящихъ,
Проживаетъ человѣкъ
Въ страшный мигъ тотъ цѣлый вѣкъ!
Вѣнчанъ терніемъ, не миртомъ,
Молитъ смерти — смерть бы рай!
Но отчаянія спиртомъ
Налитъ черепъ черезъ край...
Рай душѣ его смятенной —
Разрушать и проклинать,
И кинжаловъ всей вселенной
Мало ярость напитать!!

XXXVIII.

Было то давно, давно...
Ночь травой благоухала;
Въ растворенное окно
Свѣжесть ночи проникала
Послѣ зноя... Я лежала
Прислонясь къ его груди...

На поля ложились тѣни,
Что насъ ждало впереди —
Мы не знали. Въ страстной лѣни,
Не сводя съ меня очей,
Онъ пришпиливалъ сирени
Пышный цвѣтъ къ косѣ моей...

На лазури неба чистой
Мѣсяцъ плылъ въ красѣ своей,
Блескъ бросая серебристый...
И на ясени росистой
Заливался соловей...

XXXIX.

Они молчали оба. Грустно, грустно
Она смотрѣла. Взоръ ея глубокій
Былъ полонъ думы. Онъ моргалъ бровями
И что-то говорить хотѣлъ, казалось;
Она же покачала головой
И палецъ наложила въ знакъ молчанья
На синія, трепещущія губы...
Потомъ пошли домой все также молча,
И было въ ихъ молчаньи больше муки
И страшнаго значенья, чѣмъ въ рыданьяхъ,
Съ которыми бросаемъ горсть земли
На гробъ того, кто былъ намъ дорогъ въ жизни,
Кто насъ любилъ, быть можетъ! У воротъ
Они кухарку встрѣтили. . . . . .
. . . . . .

И долго изумленными глазами
Она на нихъ смотрѣла, но ни слова
Они ей не сказали. Да! ни слова...
И молча продолжали путь... и скрылись.

XL. БАЛЪ.

Горитъ, какъ въ пожарѣ, весь домъ...
Бананы и бронзы и свѣчи,
И мебели Гамбса кругомъ;
Полуобнаженныя плечи,
Безумные взгляды и рѣчи,
Подъ говоръ и музыки громъ.

Она же толпою сокрыта
Стоитъ въ амбразурѣ окна,
Гирляндой цвѣтовъ перевита,
Какъ мраморъ могильный блѣдна!

Въ косѣ ея черной двѣ розы
И блескъ непонятный въ глазахъ...
Какъ будто какія-то грёзы
Вселяютъ ей на сердцѣ страхъ.

Минувшаго страшныя тѣни
Встаютъ передъ ней изъ гробовъ,
И гнутся у бѣдной колѣни
И выразить страха нѣтъ словъ!

Межъ тѣмъ золоченый коптится
Плафонъ отъ дыханья людей...
Толпа все сильнѣй веселится
И нѣту сочувствія къ ней...

Горитъ, какъ въ пожарѣ, весь домъ...
Бананы и бронзы и свѣчи,
И мебели Гамбса кругомъ;

Полуобнаженныя плечи.
Безумные взгляды и рѣчи
Подъ говоръ и музыки громъ.

XLI. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛѢ БАЛА.

Залъ огнями ярко блещетъ.
Раздается громъ музыки...
Все мятется и трепещетъ;
И красавицъ чудныхъ лики
Все мелькаютъ предъ очами;
Но не высказать словами,
Какъ подъ Штраусовы звуки
Страстно сплетались руки;
Какъ скользили ваши ножки,
Въ ту минуту, какъ въ столовой
Ужъ звучали вилки, ложки...

Ужинъ поданъ. Но ни сливы,
Ни индѣйки, ни форели
Не хочу я... «Соловья» вы
Вашимъ голосомъ запѣли.
Вашимъ голосомъ! Невольно
Сердце дрогнуло. Довольно!
Для чего жъ, скажите, вновь
Волновать поэта кровь?

Вотъ усѣлись всѣ. Какъ Геба,
Вы разносите вино;
Вы слетѣли къ намъ, какъ съ неба;
Намъ же, смертнымъ, не дано
Долго любоваться вами,
Вашей ножкой и устами,
Вашимъ взглядомъ, вашей шуткой...

Я на васъ смотрю украдкой,
Какъ вы ручкою-малюткой
Пирожокъ берете сладкой...

Все прошло! Но я такъ живо
Помню васъ.... Какъ прихотливо
Вы, прелестная вострушка,
Вдругъ порхнувъ мимо меня
(О, забуду ль это я?),
Прошептали тихо: «душка!»

XLII.

Вчера, въ пустомъ и длинномъ переулкѣ,
Я шелъ одинъ, о прошломъ вспоминая,
И вдругъ она на встрѣчу.... Боже! Боже!
О, ты ли это, Людовика, — блѣдная, худая?
И долго на нее смотрѣлъ я молча
И подалъ руку ей... Она свою мнѣ протянула
И покачала головой такъ грустно, грустно...
Я говорить хотѣлъ. Она вздрогнула
И глухо прошептала: «о! ни слова,
Ни слова, ради Бога!... До свиданья»...
Я долго провожалъ ее глазами и думалъ:
Жаль тебя, погибшее, но чудное созданье!...

XLIII.

Ты мнѣ все шепчешь: «постой!»
Я говорю: «для чего же?»
Что же вдругъ сталось съ тобой?
Ты простонала: «О, Боже!»

Дивный былъ ужинъ вчера!
Мы проболтали до ночи,
Но и разстаться пора:
Сонъ ужъ смежаетъ намъ очи.

Что ты все смотришь кругомъ?
Что потупляю я взоры?
Долго мы были вдвоемъ,
Сладко вели разговоры.

Я виноватъ предъ тобой,
Ты предо мною.... Но что же?
Ты мнѣ все шепчешь: «постой!
Я говорю: «для чего же?»

XLIV. КЪ ЖЕНЩИНѢ.

(признания провинціальнаго печорина).

Мы съ тобою сошлися случайно
И случайно разстались потомъ;
Для людей наша связь была тайной,
А для насъ поэтическимъ сномъ.

Но теперь я смотрю равнодушно,
Какъ судьбу ты безумно клянешь,
Предаешься тоскѣ малодушной
И возврата прошедшаго ждешь.

Мнѣ не жалко прошедшихъ мгновеній,
Я усталъ, утомился любить;
Безъ любви, безъ тревогъ, безъ волненій
Я хочу наслаждаться и жить.

Вдохновенныя рѣчи и слёзы
И прогулки въ саду при лунѣ, —
Это дѣтскія, пошлыя грёзы,
Не смѣшны, а досадны онѣ!

Мы съ тобою сошлися случайно
И случайно разстались потомъ;
Для людей наша связь была тайной,
А для насъ поэтическимъ сномъ.

XLV. КЪ ДЮ.

Съ сладко-мучительно-трепетнымъ чувствомъ
Я жду ее вечеромъ въ густо-тѣнистой аллеѣ;
Жаждетъ мой слухъ, какъ блаженства, какъ счастья,

Рѣчью ея музыкально-прекрасной упиться
И на душисто-прелестныхъ устахъ изъ коралла
Слова *люблю* уловить зарожденье!
Алчетъ мой взоръ въ ея очи вонзиться.
Въ очи глубокія, полныя нѣги и страсти,
Въ млечно-пѣнную шею, въ роскошныя плечи...
Цѣлую бъ вѣчность, казалось, провелъ я,
Античныя формы ея созерцая,
И какъ Танталъ все жаждалъ бы, жаждалъ
Еще, и еще, и еще созерцать ихъ!

Дій велемудрый! съ высотъ недоступныхъ Олимпа
Безсмертный на смертнаго взглядъ обрати
Состраданья!... Дій, умоляю тебя,
Сократи ожиданья минуты... Тяжко мнѣ, тяжко!
Но если мольбой ты не тронешься. Вѣрь мнѣ,
Снесу я безъ ропота муки страданья...
Развѣ не вѣдаю я, Прометея жестокій каратель! —
Развѣ не вѣдаю гордо, что я человѣкъ,
Что въ груди моей міръ я вмѣщаю?

XLVI. КЪ ЧУДНОЙ ДѢВѢ.

Красоты ея мятежной
Въ душу льется острый ядъ...
Дѣвы чудной, неизбѣжной,
Соблазнителенъ небрежный
И расчитанный нарядъ!
Изъ очей ея бьетъ пламень,
Рвется огненный фонтанъ, —
А намѣсто сердца — камень
Искусительницѣ данъ!
Ею движетъ духъ нечистый,
Въ ней клокочетъ самый адъ —
И до пятъ косы волнистой
Вороненый бьетъ каскадъ.
Все въ ней чудо, все въ ней диво:
Ласка, гнѣвъ или укоръ

И блестящій, прихотливый
Искрометный разговоръ...
Онъ стоялъ въ ея уборной,
Страстно ей смотрѣлъ въ лицо,
И, страдая, усъ свой черный
Все закручивалъ въ кольцо.

XLVII. Я.

Я не прошу ни счастья, ни забвенья.
Возвышенной душой стремлюся я
Извѣдать все: блаженства наслажденья
И тяжкія минуты бытія.

Я человѣкъ! И этой мыслью гордой
Безтрепетно пронзаю взоромъ даль...
Несокрушимъ и закаленъ какъ сталь.
Страданія снести съумѣю твердо.

Я на борьбу съ слѣпой судьбой готовъ:
Дѣятельный, живой и вдохновенный,
Торжественнымъ металломъ звонкихъ словъ
Я прогремѣть желаю надъ вселенной!

XLVIII. ВОСПОМИНАНІЯ ДѢТСТВА.

Воспоминанія дней дѣтства предо мной
Нерѣдко возстаютъ со всею полнотой,
Когда ребенкомъ я, заносчивъ и безпеченъ
И громкимъ именемъ, какъ нынѣ, не отмѣченъ,
Игралъ съ дворовыми мальчишками въ снѣжки,
Иль руки запускалъ украдкою въ горшки,
Въ которыхъ — нянюшки моей произведенье —
Хранилось разное печенье и варенье...
Вотъ онъ, нашъ темный садъ и свѣтлый огородъ,
Гдѣ, между овощей копаясь будто кротъ
И дядьки обманувъ надзоръ за мной жестокой,
Я убѣгалъ то въ лѣсъ, то къ озеру — далеко...

Все это вижу я, какъ будто въ сладкомъ снѣ,
Но въ рѣзвомъ мальчикѣ, — никто тогда во мнѣ,
Никто грядущаго таланта не предвидѣлъ!
Я, робкій, всякую извѣстность ненавидѣлъ,
Я славы не искалъ. Нарушивъ мой покой,
Она незваная явилась предо мной,
Роскошно озаривъ меня лучами свѣта
И міру указавъ — на *Новаго Поэта!*
Но крики громкіе восторговъ и похвалъ,
Клеветъ и зависти, — я все бы промѣнялъ
На мирный дѣтскій кровъ, на скромный огородъ,
Гдѣ въ неизвѣстности, не вѣдая заботъ,
И дядьки обманувъ надзоръ за мной жестокой,
Я убѣгалъ то въ лѣсъ, то къ озеру.... далеко!

XLIX. ГРЕЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНІЕ.

Я лежалъ на Марафонскихъ поляхъ,
А гекзаметръ горѣлъ на устахъ.
На яву иль во снѣ, но, поэзіи полнъ,
Видѣлъ гдѣ-то я тамъ, вдалекѣ, при лунѣ,
Блескъ эгейскихъ серебряныхъ волнъ —
И чудесный процессъ совершался во мнѣ:
Предъ мечтою моею проходилъ
Эврипидъ и Софоклъ и Эсхилъ...
Вспоминалъ я прелестные взоры
Живописной Аркадіи дѣвъ,
Эриманфоса дивныя горы
И пѣвцовъ беотійскихъ напѣвъ
Подъ зеленымъ шатромъ сикоморы:
Въ честь Венеры паѳосскія храмъ,
Гдѣ у бѣлой коринѳской колонны,
Волю давъ неудержнымъ страстямъ,
Танцовали лесбійскія жены...

И пріятно ласкали мой взоръ
Пароспона краса и размѣры,
И дымокъ, что вился изъ амфоръ

И въ плющѣ виноградномъ гетеры....
Тамъ быстрѣй чѣмъ изъ лука стрѣла
Повершать — съ волей сильной и жгучей
На гражданской аренѣ дѣла
Къ агорѣ мчался всадникъ кипучій...
Высоко возносился мой духъ,
Я къ Зевесу поднялъ свои руки,
А межъ тѣмъ щекотали мой слухъ
Тетрахорды пріятные звуки...
Кипарисы склонялись ко мнѣ:
Перепутаны вѣтвью ліаны,
Помавали главою платаны...
И, пылая въ священномъ огнѣ
И сливаясь съ природой устами,
Я коснулся до лиры перстами...
И созналъ, что, душою и мыслію грекъ,
Я эллиновъ вполнѣ понимаю;
Что каковъ ни-на-есть, а и я — *человѣкъ*
И въ себѣ мірозданье вмѣщаю.

L. ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО.

Не сказка то. Нѣтъ, въ памяти глубоко
На днѣ ея та мысль затаена:
Въ глуши, въ степи, въ Саратовѣ... далёко
Была весна, прекрасная весна...
И пахло въ воздухѣ рябиной и сирепью
И отзывалось все любовію и лѣнью.

Міръ праздновалъ роскошно обновленье,
И степь была цвѣтами убрана;
Но краше всѣхъ цвѣтовъ — *онъ* и *она*,
На лицахъ ихъ — блаженство умиленья;
Она лишь имъ, *онъ* ей одной плѣненъ,
И разцвѣли душой *она* и *онъ!*

Она и *онъ! Онъ* и *она!* съ отрадой,
Обнявшися, гуляютъ по лугамъ

И рвутъ цвѣты — и хорошо имъ тамъ —
И гроздіи надъ ними винограда!
Она и *онъ!* Полны они собой
И этою гордятся *полнотой!*

Но дни идутъ. Весна уже проходитъ
И не наступитъ вновь для нихъ весна!
Онъ съ ней, увы! блаженства не находитъ.
Уже давно скучаетъ съ нимъ *она!*
Кто виноватъ? Никто. Тотъ и другой
Сердечною страдаютъ пустотой.

А съ розою по прежнему лепечетъ
Нарцисъ, и соловей свиститъ:
По прежнему, расширивъ крылья, кречетъ
Свою добычу жадно сторожитъ:
По прежнему вода шумитъ и плещетъ,
А надъ водою рыболовъ трепещетъ!

LI. ОНА И Я.

Какъ луна ты томна и прекрасна
И какъ солнце — ярка, горяча,
Благовонна, свѣжа, сладострастна
Въ трепетаньи златого луча
И въ дрожаніи звонкаго звука
Поэтическихъ пѣсенъ моихъ!
Ты безсмертна!... Безсмертью порука —
Гармоническій, гордый мой стихъ,
Прославлявшій тебя безконечно...

Когда первой разсвѣтной зарею
У пруда, наклонившись безпечно,
Увлажаешь ты ликъ свой водою,
Ликъ, подернутый легкой дремою —
О! я твердью клянусь голубою!
Что горжусь въ ту минуту тобою
Несравненно сильнѣй, чѣмъ собою!...

Въ головѣ моей мысли толпятся...
Музыкально-прекрасные звуки
На горячихъ устахъ шевелятся,
И, скрестивши торжественно руки,
Я твержу: «хоть я равенъ герою,
Но могучей атлета ступнёю
Не сомну и ничтожнѣйшей травки;
Мірозданья любуясь красою,
Не задѣну мельчайшей козявки!

Мимолетное духа явленье,
Хоть я мыслію — міръ обнимаю,
Но я въ вѣчности — только мгновенье —
И поэтому — *атомъ* творенья
Берегу — и изъ устъ выдыхаю!...

LII. МОЕ РАЗОЧАРОВАНІЕ.

ПОЭМА.

Говорятъ, что счастье наше скользко, —
Самъ, увы! я то же испыталъ!
На границѣ Юрьевецъ-Повольска
Въ собственномъ селѣ я проживалъ.
Недостатокъ внѣшняго движенья
Замѣнивъ работой головы,
Приминалъ я въ лѣто безъ сомнѣнья
Десятинъ до двадцати травы;
Я лежалъ съ утра до поздней ночи
При волшебномъ плескѣ ручейка,
И мечталъ, поднявши къ небу очи,
Созерцая гордо облака.
Вереницей чудной и безпечной
Предо мной толпился рядъ идей
И виталъ я въ сферѣ безконечной,
Презирая мелкій трудъ людей.
Я лежалъ, гнушаясь ихъ тревогой,
Не нуждаясь, къ счастію, ни въ чемъ,
Но зато широкою дорогой

Въ сферѣ мысли шелъ богатыремъ;
Гордый духъ мой росъ и расширялся,
Много тайнъ я совмѣщалъ въ груди
И повѣдать міру собирался;
Но любовь сказала: — погоди!
Я давно въ созданье идеала
Погруженъ былъ страстною душой:
Я желалъ, чтобъ женщина предстала
Въ видѣ мудрой Кліи предо мной,
Чтобъ и свѣтъ, и танцы, и наряды,
И балы не нужны были ей;
Чтобъ она на все бросала взгляды,
Добытые мыслію своей;
Чтобъ она не плакала напрасно,
Не смѣялась втунѣ никогда,
Говоря восторжено и страстно,
Вдохновенно дѣйствуя всегда;
Чтобъ она не въ рюмки и въ подносы,
Не въ дѣла презрѣнной суеты, —
Чтобъ она въ великіе вопросы
Погружала мысли и мечты...
И нашелъ, казалось, я такую.
Молода она еще была
И свою натуру молодую
Радостно развитью предала.
Я читалъ ей Гегеля, Жанъ-Поля,
Демосѳена, Галича, Руссо,
Глинку, Ричардсона, Декандоля,
Вольтера, Шекспира, Шамиссо,
Байрона, Мильтона, Соутэя,
Шеллинга, Клопштока, Дидеро...
Въ комъ жила великая идея,
Кто любилъ науку и добро;
Всѣхъ она, казалось, понимала,
Слушала безъ скуки и тоски,
И сама ужъ на ночь начинала
Тацита читать, надѣвъ очки.
Правда, легче два десятка кегель
Разомъ сбить ей было, чѣмъ понять,

Какъ великъ и плодотворенъ Гегель:
Но умѣлъ я вразумлять и ждать!
Видѣлъ я: не пропадетъ терпѣнье —
Даже мать красавицы моей,
Бросивши варенье и соленье,
Философскихъ набралась идей.
Такъ мы шли въ развитьи нашемъ дружно,
О высокомъ вѣчно говоря...
Но не то ей въ жизни было нужно!
Разъ, увы! въ началѣ сентября,
Прискакалъ я поутру къ невѣстѣ,
Нѣтъ ее ни въ залѣ, ни въ саду.
Гдѣ жъ она? «Онѣ на кухнѣ вмѣстѣ
Съ маменькой» — и я туда иду.
Тутъ предстала страшная картина...
Разомъ столько горя и тоски!
Растерзавъ на клочья Ламартина,
На бумагу клала пирожки
И сажала въ печь моя невѣста!!
Я смотрѣть безъ ужаса не могъ,
Какъ она рукой мѣсила тѣсто.
Какъ потомъ отвѣдала пирогъ,
Я не вѣрилъ зрѣнію и слуху...
Думалъ я, не перестать ли жить?
А у ней еще достало духу
Мнѣ пирогъ проклятый предложить.
Вотъ онѣ — великія идеи!
Вотъ они, развитія плоды!
Гдѣ же вы, поэзіи затѣи?
Что изъ васъ усилья и труды?
Я рыдалъ. Сконфузилися обѣ.
Видимо перепугались вдругъ:
Я ушелъ въ невыразимой злобѣ,
Объявивъ, что больше имъ не другъ.
Съ той поры, я вѣрю: счастье скользко,
Я безъ слезъ не проживаю дня;
Отъ Москвы до Юрьевецъ-Повольска
Нѣтъ лица несчастнѣе меня!

ДВА ОТРЫВКА

ИЗЪ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ГРЕЗЫ. *

ДОМИНИКИНО ФЕТИ

ИЛИ НЕПРИЗНАННЫЙ ГЕНІЙ. **

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

ВЫХОДЪ II.

1609.

Картинная галлерея въ Мантуи. Доминикино Фети прохаживается по залѣ въ глубокой и многознаменательной задумчивости. На глазахъ его живительныя слезы. Вдругъ онъ останавливается, поднимая руки горѐ передъ картиною Джуліо Романо.

ФЕТИ.

Гори огнемъ священнымъ, сердце,
Гори! Мнѣ любо и легко взирать
На дивныя созданія искусства!
О, Джуліо Романо! о, великій мастеръ!
Ты, кистью чародѣйственной владѣя,

---

* Напечатано въ «Современникѣ» 1847 г. № 2, съ слѣдующимъ предисловіемъ: «Я, Новый Поэтъ, имѣвшій честь представить въ первомъ нумерѣ «Современника» (1847 г.) на судъ публики нѣсколько мелкихъ моихъ стихотвореній, отважился теперь на твореніе болѣе строгое и обширное... приношу на судъ публики плодъ долговременныхъ трудовъ моихъ и глубокаго изученія. Скажу смѣло: «*Доминикино Фети*» произведеніе геніальное, громадное, шекспировское. Однакожъ, на первый разъ, не рѣшаюсь печатать его вполнѣ: въ немъ слишкомъ сорокъ тысячъ стиховъ. Странное дѣло! не могу писать коротко, а сократить жаль: свое, родное, вылившееся изъ сердца, при священномъ наитіи вдохновенія!... Читайте и судите!...»

** Сія драматическая грезa, какъ усмотритъ читатель, требовала обширной эрудиціи. — Герой ея художникъ римской школы, родившійся въ 1589 году и умершій въ 1624 году. — *Авторъ.*

Въ красѣ и блескѣ состязался съ небомъ!
Во прахъ, во прахъ передъ твоимъ талантомъ!

(Упадаетъ на колѣни передъ картиной. Черезъ немного времени встаетъ, отряхается, протираетъ глаза. Холодный потъ льется по его челу. Онъ снова смотритъ на картину и, преисполняясь восторгомъ, начинаетъ скакать и прыгать, напѣвая):

О Романо! о Романо!
Это диво — не картина!
Чудо мысли, исполненья,
Страсти, силы, вдохновенья...
И легко, и вмѣстѣ жутко,
Дрожь по тѣлу пробѣгаетъ,
Искры сыплются изъ глазъ,
И плѣнительные звуки,
Расплетаясь и сплетясь,
Будто змѣи обвиваютъ
Утлый, бренный мой составъ!
Страшно! Дивная минута!
Тра-ля-ля, тра-ля-ля!

(Въ изнеможеніи упадаетъ на стулъ. Затѣмъ величественно поднимается и произноситъ медленно и строго):

Условія искусства глубоки!
И путь его исполненъ бурь и терній.
Художникъ — не ремесленникъ. Онъ долженъ
Прежде всего имѣть запасъ идей и нѣчто.

(сжимая руку въ кулакъ)

Что избраннымъ изъ избранныхъ дается.
Я чувствую: во мнѣ есть это нѣчто...
Въ груди растетъ зиждительная сила,
По жиламъ вмѣсто крови льется огнь...
Не для земной и мимолетной славы
Я предаюсь великому искусству,
Не для себя, не для людей, — для Бога!
И жизнь моя пойдетъ легко и плавно,
Озарена священнымъ вдохновеньемъ...
Спасибо, Джуліо Романо! Онъ
Мнѣ указалъ мое предназначенье;

Двукратное — и отъ души спасибо
Великому! . . . . . .

(*Во все продолженіе времени, покуда, подъ вліяніемъ художническаго восторга, Доминикино Фети говорилъ, скакалъ и прыгалъ, въ глубинѣ галлереи стояла незамѣченная имъ дѣвушка Анунціата, съ умиленіемъ взиравшая на него*).

АНУНЦІАТА (*про-себя*).

Какъ онъ хорошъ сегодня!
Онъ облитъ весь лучами вдохновенья,
И блескъ въ очахъ, и гордая улыбка...
(*Невольно громко*):
О Доминикинъ!

ФЕТИ (*будто просыпаясь*).

Кто звалъ меня?...

(*Озирается... и съ удивленіемъ, увидѣвъ Анунціату, подходитъ къ ней робко, съ потупленнымъ взоромъ*).

Анунціата! вы ли? Какъ! откуда?...

АНУНЦІАТА (*присѣдая съ застѣнчивостію*).

Синьоръ-художникъ.... Боже... извините...
Я здѣсь нечаянно...

ФЕТИ.

Анунціата!

(*Долгое и краснорѣчивое молчаніе. Лицо Анунціаты постепенно одушевляется, глаза ея начинаютъ сверкать, станъ выпрямляется, правая рука поднимается торжественно. Во всей позѣ ея что-то прекрасное. Она смотритъ на Фети и говоритъ*):

Великій Боже! Что со мною? Я дрожу.
(*Громко и сильно*).
Внимай, внимай пророческому слову,
Изъ устъ моихъ ты слышишь голосъ свыше.
Страшный путь ты избралъ, Фети!
И на избранномъ пути
Для тебя разставятъ сѣти
Злоба, зависть; но итти
Долженъ ты по немъ, лелѣя

Свѣтлый, чистый идеалъ
Не ропща и не робѣя;
Богъ тебя сюда призвалъ...
Для великаго!... А люди...
Но ты пиши не для суда мірского,
Безсмысленъ и пристрастенъ судъ людей...
Есть судъ другой — и есть другое слово...
Его-то ты вполнѣ уразумѣй!...

(*Исчезаетъ. Доминикъ, пораженный сими словами, пребываетъ съ минуту безмолвенъ, съ опущенной головой. Потомъ поднимаетъ голову, ища глазами Анунціату*).

Д. ФЕТИ.

О дивное, прекрасное явленье!
О неземная!... Гдѣ ты? Погоди,
Не улетай.... Благодарю, Создатель!
Въ ея устахъ твое звучало слово!...
Мнѣ слышатся еще досель тѣ звуки
Гармоніи чистѣйшей!... Какъ свѣтло!...
Какъ хочется мнѣ плакать и молиться!
Какъ грудь кипитъ! Какъ сердце шибко бьется,
Рука къ холсту невольно такъ и рвется...
Мой часъ насталъ. Великій, дивный часъ!...
За кисть, за кисть, Доминикино Фети!...

(*Убѣгаетъ*).

ДѢЙСТВІЕ СЕДЬМОЕ.

ВЫХОДЪ ПРЕДПОСЛѢДНІЙ.

Черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ предшествовавшей сцены. Въ Римѣ, въ мастерской художника.

ФЕТИ

(*худой и блѣдный пишетъ картину и вдругъ останавливается, мрачно поводя глазами*).

Нѣтъ, конечно, остыло вдохновенье...
Не воротить минувшее мгновенье!...

(*Толкаетъ ногою станокъ, на которомъ стоитъ картина. Картина падаетъ*).

Прочь съ глазъ моихъ!... Ну, веселитесь, люди!

(*Рветъ въ бѣшенствѣ кисть, бросаетъ ее и топчетъ ногами*).

Сбирайтеся смотрѣть на мой позоръ...
И вы, завистники съ змѣиною улыбкой,
Художники! Сбирайтеся сюда...
Коварное, слѣпое провидѣнье!
Зачѣмъ сей путь ты указало мнѣ?
Обманъ и ложь — и на землѣ и въ небѣ!
Я изнемогъ!... Довольно.... Нѣту силъ;
Червь внутренній мнѣ сердце источилъ!...
Башмачникъ я, ремесленникъ презрѣнный,
А не художникъ, славой осіянный!

(*Хохочетъ дико*).

Разбитъ во прахъ мой велелѣпный сонъ!

(*Задумывается и черезъ минуту*).

А сонъ тотъ былъ и чуденъ и прекрасенъ...
Казалось мнѣ тогда, что я возстану
Въ лучахъ, въ вѣнцѣ и въ нестерпимомъ блескѣ,
Величіемъ, какъ ризой облаченъ
И молніею славы опоясанъ!
Колебляся подъ куполомъ святыни,
Я радугу хотѣлъ сорвать съ небесъ;
Съ природою я мыслилъ состязаться;
Пересоздать небесныя свѣтила;
Луну и солнце съ неба перенесть
На полотно. И кистью исполинской
Хаосъ и тьму и адъ изобразить,
На диво, страхъ и трепетъ человѣку!...
Я мыслилъ сжать въ одно произведенье
Громадное — всѣ Божіи міры!...

(*Немного погодя*).

Искусства царь, въ регаліяхъ моихъ,
Я плавалъ бы надъ міромъ изумленнымъ,
И на меня, въ нѣмомъ благоговѣньи,
Смотрѣли бъ очи тысячи людей...
И голосъ мой тогда бы съ высоты,
Подобно грому Божьему, раздался:
О, люди, на колѣни!... Не предо мною, люди, —

Предъ искусствомъ! . . . . . .
. . . . . А нынѣ что я?
. . . . . .

(*Приближаетъ съ себѣ бутылку съ виномъ и указывая на нее*):

Вотъ что теперь единственный мой другъ,
Единственное благо мнѣ дающій —
Забвеніе.... (*Пьетъ*). Какъ сладко въ душу льется
Живительный и пурпуровый сокъ!
Какъ весело мечтается и пьется!...

(*Выпиваетъ залпомъ нѣсколько стакановъ вина и по нѣкоторомъ молчаніи*).

Что вижу я?... Окрестъ меня собрались
Архистратиги дивные искусства,
Великіе!... Такъ точно, это онъ,
Божественный творецъ «Преображенья»,
И онъ, создатель «Страшнаго Суда» —
Сей строгій и суровый Бонаротти...
Вотъ нѣжный, утонченный Гвидо-Рени...
Страдалецъ вдохновенный Цампіери —
Мой геніальный тёзка — также здѣсь...

(*Еще пьетъ*).

И всѣ они съ любовью и съ почтеньемъ
Торжественно взираютъ на меня
И говорятъ: «Достойный нашъ собратъ!
Наполнивъ наши кубки золотые,
Мы чокнемся во здравіе искусства,
Обнимемся — и вмѣстѣ въ путь пойдемъ
Къ сіяющему храму вѣчной славы...
Мы геніи, мы высшіе земли!
Во храмѣ томъ мы съ гордостью возсядемъ
На благовонныхъ лавровыхъ вѣнкахъ, —
Амвросіей хваленій упиваясь,
И будемъ трактовать лишь объ искусствѣ,
Зане другая рѣчь намъ неприлична...»

(*Долгое молчаніе*).

Опять мечта.... Проклятая мечта!...

Вы, демоны, смѣетесь надо мною?...
Ну, смѣйтесь, смѣйтесь, — я и самъ смѣюсь.

(Ударъ грома).

Сильнѣе, громъ! Тебѣ не заглушить
Стенанія растерзаннаго сердца!...

(Другой ударъ сильнѣе).

Вотъ такъ! — И то не громко; посильнѣе!...
О, если бъ мнѣ стихіи покорялись!...
Однимъ ударомъ я бъ рузрушилъ міръ
И молніей спалилъ бы всѣ картины...
Пусть гибнетъ все.... Пощады ни чему!
И первое погибни ты, искусство!...
Искусство вздоръ.... Оно на днѣ бутылки,
Вотъ гдѣ оно, искусство!... Пить и пить....
Страстямъ своимъ... отважно предаваться,
Роскошничать и въ нѣгѣ утопать —
Вотъ жизнь!... И Рафаэль такъ жилъ...
И я...

(Засыпаетъ. Громъ и молнія. Фети спитъ непробуднымъ сномъ.... Освѣщенная молніей, блѣдная и худая, съ распущенной косой появляется Анунціата и останавливается передъ спящимъ Фети).

АНУНЦІАТА.

Богохулитель дерзкій!
И это ты, что обѣщалъ такъ много,
Ты, кѣмъ была я нѣкогда горда,
Кому вполнѣ безумно предавалась,
Кѣмъ я жила и страстно упивалась, —
И это ты, мой свѣтлый идеалъ?
Проклятіе! Ты дерзостно попралъ
Святыню чувствъ, надеждъ и вдохновеній,
Ты погубилъ въ зародышѣ свой геній,
На полпути къ безсмертію ты палъ!

(Фети просыпается, и съ ужасомъ смотритъ на Анунціату).

ФЕТИ.

О Боже! Прочь, ужасное видѣнье...
Анунціата!!... Это страшный сонъ,

Иль совѣсти тревожное явленье?!
Я безъ того разбитъ и сокрушонъ....
Анунціата, ты ли?...

АНУНЦІАТА.

Это я!
Я — казнь, тебѣ ниспосланная свыше!...
А! ты узналъ меня!... Да, это я, —
Твоя Анунціата!.... Это я,
Доминикино Фети!... О, гляди, гляди,
Я мало измѣнилась. Неправда ли?

. . . . . .

Проклятіе, проклятіе тебѣ!

ФЕТИ (*упадая передъ нею на колѣни*).

Не проклинай! Не я, не я, а люди —
Виновники погибели моей!
У ногъ твоихъ позволь мнѣ умереть,
Дай выплакать у ногъ твоихъ прощенье...
Не я, не я, — а люди! . . . . . .
. . . . . *

---

* Въ «Современникѣ» была сдѣлана такая прибавка: «Довольно!... Кто не признаетъ моего труда геніальнымъ, громаднымъ, шекспировскимъ, кто не станетъ передо мной на колѣни, тотъ не понимаетъ искусства, не понимаетъ!... Самъ же я, повторяю, доволенъ — и преклоняюсь передъ моимъ созданіемъ...

Дивно! сердце не всуе тоска обуяла, когда
Съ милымъ фантазіи чадомъ пришлось разставаться.
Долго тебя я голубилъ въ мечтѣ, какъ святыню;
Много съ тобою безсонныхъ ночей проводилъ я самъ-другъ;
Читалъ, перечитывалъ снова — и купно съ друзьями
Звуками мной порожденными всласть упивался!
Бѣдное чадо мое! Нынѣ идешь ты на судъ кривотолковъ.
Мужайся! Искусство для нихъ не искусство. — игрушка.
Взоромъ безстыднымъ своимъ люди тебя оскорбятъ,
Но *прекраснаго* участь (повѣрь мнѣ) всегда на землѣ такова!»

ДВА ОТРЫВКА

ИЗЪ ДРАМЫ:

ПЕТРОВЪ.

ДѢЙСТВІЕ I.

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА.

ОТДѢЛЕНІЕ II.

СЦЕНА ПОСЛѢДНЯЯ.

(Въ Москвѣ въ 1763 году).

Скворцовъ, *бывшій студентъ ....ской Академіи, товарищъ* Петрова, *ходитъ по комнатѣ неровными шагами, блѣдный, мрачный, задумчивый, съ нѣсколько-всклокоченными волосами.*

Скворцовъ. — И онъ называетъ меня своимъ другомъ!.. Другомъ!... Но развѣ друзья поступаютъ такимъ образомъ?... (*Останавливается, складываетъ на груди руки, дико поводитъ глазами и потомъ, ударяя себя въ лобъ, продолжаетъ съ возрастающимъ жаромъ*). Петровъ, ты не обманешь меня. Я читаю на днѣ твоего сердца.... Ты любишь ее.... Не даромъ, въ продолженіе мѣсяца ты избѣгаешь откровеннаго разговора со мною, не хочешь отвѣтствовать мнѣ на мои вопросы о причинѣ твоей грусти. Ты не желаешь, можетъ статься, поразить меня признаніемъ!... Напрасно же ты думаешь скрыть отъ меня свою тайну.... Что значитъ твой дрожащій голосъ, твои безпокойныя движенія, твоя мрачность? Во всѣхъ поступкахъ твоихъ изобличаются признаки сердечной болѣзни....

И она.... кажется, и она поглядываетъ на тебя неравнодушно.... О, коварная!... Онъ послѣдній разъ читалъ ей какіе-то стихи; въ этихъ стихахъ упоминалось что-то объ Амурѣ, о колчанѣ, о стрѣлахъ, о сапфирахъ, адамантахъ, рубинахъ и смарагдахъ, которые поражаютъ взоръ очей.... Эти метафорическіе обороты относятся явно къ ней. Такъ, нѣтъ сомнѣнія, онъ любитъ ее!.... (*Послѣ*

минутнаго молчанія). Да и Иванъ Кузьмичъ смотритъ на него слишкомъ благосклонно.... Онъ все толкуетъ о его піитическомъ талантѣ.... Нѣтъ, это не даромъ! не даромъ!

(*Въ бѣшенствѣ ударяетъ кулакомъ о столъ; въ эту минуту входитъ Петровъ съ лицомъ сіяющимъ радостію. Онъ бросаетъ шляпу на стулъ и ставитъ въ уголъ трость*).

ПЕТРОВЪ (*подходя къ Скворцову и слегка ударивъ его по плечу*). — Какъ поживаешь, любезный другъ? Что такъ печаленъ?

СКВОРЦОВЪ (*не глядя на него*). — А чему же прикажешь радоваться?... (*Съ ироническою улыбкою*). У меня, братецъ, такъ же есть свои тайны, какъ и у тебя.

ПЕТРОВЪ. — Но прежде ты ихъ открывалъ своему другу? Мы дѣлили вмѣстѣ и горе и радость.

СКВОРЦОВЪ. — Не всегда.

ПЕТРОВЪ. — Полно, полно хандрить по пустякамъ! Теперь никто не долженъ печалиться.... Москва ликуетъ, какъ невѣста, разубранная драгоцѣнными камнями, выписными тканями и умащенная благоуханіями. Всѣ россіяне....

СКВОРЦОВЪ (*при словѣ невѣста вздрагиваетъ*). — Какъ невѣста?... (*Глубоко вздыхаетъ и послѣ минутнаго молчанія*). Однако, Петровъ.... почему же совѣтуешь ты веселиться другимъ, когда самъ все это время былъ мрачнѣе осенней ночи?...

ПЕТРОВЪ. — Я?... Взгляни на меня, Скворцовъ.... Взгляни хорошенько.... Тучи, помрачавшія чело мое, исчезли.... и въ сію минуту оно горитъ и блещетъ, какъ лучезарный Фебъ.... Кажется, въ жилахъ моихъ вмѣсто крови текутъ струи чистѣйшаго вдохновенія, кастальскія струи.... Кажется, Аполлонъ улыбается мнѣ въ позлащенномъ облакѣ и манитъ къ себѣ....

Благословенъ, подъ русскимъ небомъ
Свое дыханье кто влечетъ!

СКВОРЦОВЪ (*въ сторону, бросая дикіе взоры на Петрова*). — Вѣроятно онъ получилъ благословеніе отъ Ивана Кузьмича на бракъ съ Марьей Ивановной.... Все кончено! Смерть и адъ!

ПЕТРОВЪ (*не замѣчая дикихъ взглядовъ Скворцова, вдохновенно распростираетъ руки*). — Другъ и братъ! Скорѣй, скорѣй въ мои объятія, на мою волнующуюся грудь!... О, какъ бьется мое сердце! (*Онъ хочетъ броситься въ его объятія.... Скворцовъ отталкиваетъ его съ бѣшенствомъ*).

скворцовъ. — Прочь, прочь! Ты издѣваешься надо мною.... Въ тебѣ нѣтъ ни чести, ни совѣсти, ни жалости... Лучше однимъ ударомъ лиши меня жизни, но не отравляй медленнымъ ядомъ!

петровъ. — Что это значитъ?... Лишить жизни? ядъ?... Ты рехнулся... Я ничего не понимаю.

скворцовъ. — Да, лучше было бы мнѣ рехнуться, чѣмъ въ полномъ разумѣ дожить до этого дня!

петровъ. — До какого дня?

скворцовъ. — Полно хитрить. Я все понялъ, все разгадалъ. Ты любишь Марью Ивановну, она любитъ тебя; ты объяснился съ нею и съ ея отцомъ и получилъ ея руку.

петровъ (*подставляя указательный палецъ ко лбу*). — А! я теперь все понялъ.... ревность!... (*Ходитъ въ волненіи по комнатѣ*). Бѣдный!... Онъ не въ состояніи понять меня.... О, люди! люди!... Какъ тяжко жить посреди васъ піитѣ.... Его настоящая обитель — Олимпъ... Его настоящіе друзья — боги. А Скворцовъ еще другъ мнѣ!... (*Сардонически смѣется*). Мой восторгъ, мое вдохновеніе, мой піитическій жаръ — онъ, жалкій смертный, принимаетъ за любовь къ Марьѣ Ивановнѣ!... Не Марья Ивановна, а музы вѣнчаютъ меня своей любовію! не Иванъ Кузьмичъ, а земные боги награждаютъ меня своими щедротами!... Аполлонъ отмѣтилъ меня перстомъ своимъ, Минерва украсила чело мое вѣнкомъ миртовымъ.... Нѣтъ, піитъ ничего не можетъ имѣть общаго съ людьми.... Піитъ — огонь, пламя; люди — вода, ледъ!... Толпа современная не пойметъ меня!... (*Онъ обращается къ Скворцову*). Скворцовъ, успокойся, другъ... Марья Ивановна остается при тебѣ.... Я у тебя не отнимаю ее. Ты ее любишь и она тебя любитъ.... Еще третьяго-дня она говорила мнѣ, послѣ того, какъ я прочелъ ей мою оду на Карусель: «Я — говоритъ — всѣмъ сердцемъ и всею душою люблю Антона Петровича и ни за кого, кромѣ его, не выйду замужъ».

скворцовъ (*недовѣрчиво, дрожащимъ голосомъ*). — Можетъ ли это быть?

петровъ. — Увѣряю тебя честью піиты!

скворцовъ. — Ты не шутишь?

петровъ. — Что за шутки!... Что за неумѣстная ревность!

скворцовъ. — Но объясни же мнѣ причину твоей грусти и причину твоего внезапнаго восторга?

ПЕТРОВЪ (*значительно улыбаясь, вынимаетъ изъ кармана тетрадь и читаетъ съ жаромъ*):

Молчите, звучны плесковъ громы
Пиндара слышные въ устахъ:
Подъ прахомъ горды ипподромы,
Отъ коихъ Тибръ стоналъ въ брегахъ,
До облаковъ всходили клики,
Коль вы предъ онымъ невелики,
Кой намъ открытъ въ прекрасный вѣкъ,
Когда питомецъ вѣчной славы
Могучей россіи державы
Геройства Россъ на подвигъ текъ!
. . . . . .
Отверзъ Плутонъ сокровищъ нѣдра....

СКВОРЦОВЪ (*перебивая его*). — Дивные стихи! Какой пиитическій огнь! Какая звучность, какое громогласіе. Это начало твоей «Оды на Карусель»....

ПЕТРОВЪ. — Да. И ты полагаешь, что акромя тебя, Марьи Ивановны и Ивана Кузьмича, никто не знаетъ этой оды?

СКВОРЦОВЪ. — Ты ее читалъ, помнится, Преображенцову и Срѣтенскому.

ПЕТРОВЪ (*презрительно*). — Преображенцову! Срѣтенскому!... (*смѣется*).

СКВОРЦОВЪ. — Но мы отклонились отъ главнаго предмета... Ты говоришь, что Марья Ивановна любитъ меня, что ты къ ней равнодушенъ, однако твои стихи къ ней, въ которыхъ ты сравнивалъ ее съ смарагдами, адамантами....

ПЕТРОВЪ. — Стихи къ ней?... Я сравнивалъ ее съ смарагдами?... что за нелѣпость! Развѣ ты забылъ продолженіе моей «Оды на Карусель»...

Подземный свѣтъ вдругъ выникъ весь;
Натура что родить всещедра,
Красотъ ея предстала смѣсь.
Сапфиры, адаманты блещутъ,
Рубинъ съ смарагдомъ искры мещутъ
И поражаютъ взоръ очей.

Развѣ это относится къ Марьѣ Ивановнѣ?...

СКВОРЦОВЪ. — Такъ это не къ ней, не къ ней?... Такъ ты точно не имѣешь претензій на ея руку?... (*Въ восторгѣ*). Петровъ, другъ! Прости меня! (*Бросается на шею къ Петрову, цѣлуетъ его и плачетъ*).

ПЕТРОВЪ. — Успокойся, другъ!... (*Торжественно*). Она будетъ принадлежать тебѣ.... Дѣло, начатое Амуромъ, долженъ покончить Гименей... Моя любовь, моя любовь — музы; я не измѣню имъ для Марьи Ивановны. Уже я достигъ вершины Парнаса, уже во срѣтеніе мнѣ течетъ богъ поэзіи и вручаетъ мнѣ позлащенную лиру... Уже

Явилась радуга на небѣ!
И ярки зрятся въ ней цвѣты.
Ахъ! кія ты лучами, Фебе,
На тучахъ пишешь красоты!...

Уже въ изумленіи оступили меня Парнасскіе боги, впервые внимая прекрасному, гремящему и бряцающему языку россійскому. Плѣнительные звуки очаровали ихъ.... Уже росскіе герои нашли пѣвца своихъ подвиговъ. Мечъ и цѣвница, цѣвница и мечъ!

Герою муза будь послушна,
Немедля въ звонку желѣзь ударь;
Твой гласъ пространства царь воздушна,
Сердечныхъ гласъ движеній царь!

Оцѣнятъ ли мой подвигъ?... Онъ уже оцѣненъ! оцѣненъ! (*Въ жару толкаетъ Скворцова*). А, это ты, Скворцовъ?

СКВОРЦОВЪ. — Да, это я, здѣсь передъ тобою.... А ты гдѣ, Петровъ.... Ужъ не въ Элизіумѣ ли?...

ПЕТРОВЪ (*смотритъ на него сложа руки*). — Я тамъ! (*Указываетъ на потолокъ*). Слушай. Недѣли двѣ тому назадъ, я отдалъ стихи мои князю Меценатскому и съ трепетомъ ожидалъ послѣдствій.... Эти двѣ недѣли я провелъ въ страшномъ волненіи; ты замѣтилъ, какъ я измѣнился и безпрестанно спрашивалъ меня о причинѣ моей грусти, въ безумной ревности приписывая эту грусть любви моей къ Марьѣ Ивановнѣ. Я до времени ничего не хотѣлъ открывать тебѣ; но теперь, теперь.... (*Съ гордостію поднимая очи горѣ*). Читай это письмо.... (*Подаетъ Скворцову письмо. Скворцовъ читаетъ. На лицѣ его замѣтно удивленіе, доходящее до остолбенѣнія*).

СКВОРЦОВЪ (*перечитавъ нѣсколько разъ письмо, какъ бы не довѣряя глазамъ своимъ*). — Какъ! неужели? Петровъ! И ты, и ты удостоенъ такой чести? Имя Петрова повторяется съ уваженіемъ вельможескими устами! Всѣ о тебѣ спрашиваютъ, всѣ хотятъ тебя видѣть!... И ты, и ты, Петровъ, вознесенъ на ту вершину, куда взоръ бѣднаго смертнаго и во снѣ не осмѣливается заглянуть.... И ты одолженъ этому своей «Одѣ на Карусель»?...

ПЕТРОВЪ. — Тому священному огню, который пылаетъ въ груди моей.... Понимаешь ли ты теперь мой восторгъ?...

СКВОРЦОВЪ. — О, понимаю!... И ты получилъ такое огромное денежное поощреніе?...

ПЕТРОВЪ (*торжественно*). — Благословенна земля, производящая князей Меценатскихъ!...

СКВОРЦОВЪ (*пожимая плечами*). — Похвально, но непонятно! Кто бы могъ это подумать?... Ты, который ведешь такую бозтолковую жизнь, твое разгулье, твои проказы.... Непостижимо!

ПЕТРОВЪ. — Ха, ха, ха! Долой съ неба, піитъ!... Вотъ судъ бѣдныхъ смертныхъ, твоихъ современниковъ!... Понимаешь ли ты, что піитъ живетъ двойною жизнію, что онъ, какъ и всѣ дѣти земли, окованъ тѣломъ.... Что въ то время, когда духъ его витаетъ тамъ, на высотахъ.... (*Входитъ Иванъ Кузьмичъ въ длинномъ сюртукѣ, съ широкимъ кушакомъ и съ косой, болтающейся сзади*).

ИВАНЪ КУЗЬМИЧЪ. — Здравствуйте, мои милостивцы, что вы подѣлываете?

ПЕТРОВЪ. — А, Иванъ Кузьмичъ! (*Подаетъ руку и говоритъ въ сторону*). Очень кстати....

(*Скворцовъ подходитъ къ Ивану Кузьмичу и объясняется съ нимъ вполголоса. Иванъ Кузьмичъ воздѣваетъ руки къ потолку въ изумленіи и безпрестанно повторяетъ: «Неужели?... Можетъ ли статься? О, необычайное событіе!» Потомъ подходитъ къ Петрову*).

ИВАНЪ КУЗЬМИЧЪ (*низко кланяясь*). — Василій Петровичъ! Позвольте принести вамъ мое усердное, мое нижайшее поздравленіе.... На верху почестей и славы не забудьте и объ насъ, вашихъ покорныхъ почитателяхъ и усердныхъ богомольцахъ.

ПЕТРОВЪ. — Благодарю, благодарю!... Какъ могу я забыть васъ? Я былъ принятъ въ вашемъ домѣ, какъ родной.... Но у меня есть до васъ просьба, Иванъ Кузьмичъ.

ИВАНЪ КУЗЬМИЧЪ (*низко кланяясь*). — Что прикажете, Василій Петровичъ? Все готовъ исполнить, все, что вамъ будетъ угодно... Но, можетъ, вы шутите.... Какая можетъ быть у васъ просьба до меня, ничтожнаго, ничего незначащаго человѣка?...

ПЕТРОВЪ. — Я нисколько не шучу... Знаете ли вы его? (*Указываетъ на Скворцова*).

ИВАНЪ КУЗЬМИЧЪ. — Антона-то Петровича?... Какъ не знать...

Старые знакомые... (*Скворцовъ смотритъ на Петрова, вытаращивъ глаза*).

ПЕТРОВЪ. — Онъ любитъ вашу дочь... Ваша дочь любитъ его... Иванъ Кузьмичъ, надо соединить любящія сердца. (*Скворцовъ съ чувствомъ смотритъ на Ивана Кузьмича*).

ИВАНЪ КУЗЬМИЧЪ. — Такъ... Антонъ Петровичъ прекрасный человѣкъ.... Я лучшаго зятя не желалъ бы имѣть; но.... дочь моя бѣдна.... онъ также...

ПЕТРОВЪ. — Что касается до этого, не безпокойтесь.... (*Вынимаетъ изъ кармана кошелекъ*). Этотъ кошелекъ туго набитъ полуимперіялами; я его получилъ за мою оду... Намъ, піитамъ, не нужны деньги... Этотъ кошелекъ принадлежитъ Скворцову... Скворцовъ, возьми его... Эти деньги пригодятся тебѣ на свадебныя издержки...

СКВОРЦОВЪ (*въ волненіи бросается къ Петрову*). — Петровъ!... Василій Петровичъ!... О! это слишкомъ... слишкомъ... Нѣтъ, я не возьму этихъ денегъ... Я не могу...

ИВАНЪ КУЗЬМИЧЪ (*въ сторону*). — Благодѣтель! Человѣкъ единственный, великій піитъ!

ПЕТРОВЪ (*Скворцову съ упрекомъ*). — Такъ ты не хочешь принять этотъ ничтожный подарокъ отъ друга?...

СКВОРЦОВЪ. — Но...

ПЕТРОВЪ. — Безъ *но*.... Поцѣлуй меня... (*Скворцовъ рыдаетъ, осыпая Петрова поцѣлуями. Петровъ обращается къ Ивану Кузьмичу*). Не тревожьтесь, Иванъ Кузьмичъ.... Участь Скворцова будетъ обезпечена... Я выхлопочу ему чрезъ князя Меценатскаго выгодное мѣсто... Обнимите вашего зятя...

ИВАНЪ КУЗЬМИЧЪ (*сначала обнимаетъ Петрова со слезами и бормочетъ сквозь зубы*): — Благодѣтель! Благодѣтель! (*Потомъ бросается въ объятія Скворцова, говоря*): Милый зять!... (*Оба заливаются слезами*).

ПЕТРОВЪ (*Ивану Кузьмичу*). — Иванъ Кузьмичъ, Скворцовъ достоинъ Марьи Ивановны.... Они будутъ счастливы.... (*Къ Скворцову*). Скворцовъ, твой тесть достоинъ тебя.... Питай къ нему уваженіе.... Да благословитъ васъ Господь!

СКВОРЦОВЪ И ИВАНЪ КУЗЬМИЧЪ (*въ одинъ голосъ*). — Благодѣтель нашъ! Мы вѣкъ будемъ молить Бога о твоемъ счастіи!

(*Нѣмая картина. Скворцовъ кладетъ одну руку на сердце, другую простираетъ къ Петрову, съ нѣжностію глядя на него. Иванъ Кузьмичъ*

стоитъ съ благоговѣйно-сложенными руками... Въ отдаленіи раздаются звуки музыки и пѣніе).

Любовь и дружба есть блаженство,
Даръ лучшій смертнымъ отъ высотъ,
Любовь есть міра совершенство,
Его твердыня и оплотъ!...

ДѢЙСТВІЕ III.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

(Въ орловской деревнѣ Петрова въ маѣ 1795 года).

Петровъ *въ халатѣ, въ колпакѣ, сидитъ въ старинныхъ креслахъ; противъ него, на другомъ креслѣ, его жена вяжетъ чулокъ .. Они безпрестанно поглядываютъ другъ на друга съ умилительною нѣжностію и примѣрнымъ чувствомъ.*

Петровъ. — Милый малютка! Онъ сокрылся отъ насъ въ селеніи горнія.... Тамъ ему лучше, Катерина Андреевна, не правда ли, лучше?

Катерина Андреевна. — Лучше, мой другъ, Васенька, несравненно лучше.

Петровъ. — Да! тамъ онъ витаетъ въ сонмѣ херувимовъ!... Катарина Андреевна, онъ, малютка, подалъ намъ примѣръ, какъ должно переносить страданія, какъ должно умирать. У него была душа великая въ тѣлѣ маломъ. Онъ такъ покорно сносилъ лютую болѣзнь и столько силъ явилъ въ борьбѣ съ нею. (*На глазахъ Петрова показываются слезы; жена спускаетъ двѣ петли и заливается слезами*).

Катерина Андреевна. — О, Николашенька! другъ нашъ Николашенька! Зачѣмъ ты оставилъ насъ, голубчикъ?

Петровъ. — Не ропщи, Катерина Андреевна. Роптать грѣхъ. Мы всѣ родимся на то, чтобъ умереть, сказалъ Гавріилъ Романовичъ Державинъ. (*Со вздохомъ*). Сущая правда!... Нашъ Николашенька былъ не жилецъ на землѣ. Утѣшимся мыслію, что тамъ ему лучше. (*Встаетъ, цѣлуетъ жену и, прохаживаясь по комнатѣ, говоритъ съ жаромъ*). Я не хочу читать никакихъ мудрецовъ, я брошу всѣ книги... И чему я научусь у этихъ мудрецовъ и что я вычитаю въ этихъ книгахъ?... Въ дому нашемъ, подъ нашими

взорами возрасталъ безграмотный мудрецъ! (*Подходитъ къ женѣ*). Полно, не плачь, мое милое, доброе существо! Я написалъ стихотвореніе на смерть Николаши... Позволь мнѣ прочесть его тебѣ... Это не разстроитъ тебя?...

КАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. — О, нѣтъ, мой ангелъ! ты знаешь, что стихи твои точно какъ бальзамъ дѣйствуютъ на мое сердце.

ПЕТРОВЪ. — Добрая, примѣрная жена!... (*Декламируетъ наизусть*).

Такъ нѣтъ тебя, дитя любезно!
Сомкнулъ ты очи навсегда;
И легъ, всѣмъ зрѣлище преслезно.
О, скорбь! о, лютая бѣда!
Я плачу, глазъ не осушая,
И стономъ надрываю грудь.
И льзя-ль, себя не сокрушая,
Николиньку воспомянуть?
Учися быть ему подобенъ;
Печаль внутрь сердца ты запри;
Живи, какъ онъ — правдивъ, незлобенъ;
Какъ онъ, нетрепетно умри.
И я отъ смертныхъ устраняюся,
Теку съ поспѣшностью въ твой слѣдъ;
Да, тамъ съ тобой соединюся,
Гдѣ нѣтъ печалей, страховъ, бѣдъ.
Мы станемъ тамо наединѣ
Бесѣдовать, въ садахъ гулять;
Я буду тамъ тебя, мой сыне,
А ты меня увеселять...

КАТЕРИНА АНДРЕЕВНА (*рыдая*). — Васенька, другъ мой милый... Что это ты такое сочинилъ? Такъ ты хочешь оставить меня, горемычную, ты хочешь умереть?

ПЕТРОВЪ. — Милый другъ мой, оборони меня Боже отъ этой мысли!... это такъ только въ поэзіи говорится.

КАТЕРИНА АНДРЕВНА (*утирая слезы*). — То-то же! А я ужъ думала, что ты это въ самомъ дѣлѣ хочешь умереть...

ПЕТРОВЪ. — Нѣтъ, Катенька! Тебя оставлять мнѣ не приходится. Ты меня помирила съ земною жизнію. Въ юныя лѣта я полагалъ, что піитъ можетъ обитать только на Парнасѣ, въ сообществѣ боговъ; но ты отвергла эту дерзкую мысль, заставивъ вкусить меня земное счастіе здѣсь, вдали отъ людей, въ Орловской губерніи, въ селѣ Сычовѣ!... Ты умѣешь, Катенька, услаждать забавой многомятежное житье, умиляясь, проливать слезы и нѣжно

восхищаться.... (*Становится предъ нею на колѣни и вдохновенно продолжаетъ*):

Ты, горлица моя, мнѣ нравиться умѣешь,
И больше всѣхъ любви законы разумѣешь.
Не вправду ли любовь есть сильно божество,
Что наше и живитъ и множитъ существо?
Не вправду ли въ тебѣ сугубо я дыхаю,
А безъ тебя, какъ цвѣтъ безъ влаги, изсыхаю?
Что въ отрасляхъ моихъ, посредствомъ я тебя
Многообразно самъ дѣлюся на себя!...

КАТЕРИНА АНДРЕЕВНА (*въ умиленіи обнимая супруга*). — О, мое счастіе! о, моя радость! какіе безподобные стихи!

ПЕТРОВЪ (*встаетъ и продолжаетъ съ возрастающимъ вдохновеніемъ*). — Они хороши потому, что внушены тобою, твоею любовію, —

Ты вся сама любовь, и словомъ ты и дѣломъ,
Душой любовь и тѣломъ;
Ты вся любовь.
Полюбитъ, на тебя кто взглянетъ;
Коль говорить съ тобою станетъ,
Тебя полюбитъ вновь,
Но скольку жару въ томъ изъ смертныхъ усугубишь,
Кого сама полюбишь!

КАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. — Я не хочу никого любить, акромя тебя.

ПЕТРОВЪ.

О, сколь прекрасна ты
Въ семъ нѣжномъ изліяньи....

(*Любуясь сю*).

Твои, о жено! красоты
Вселяютъ въ душу упованьи.
Въ постелю ляжешь ты, какъ солнце заходяще
Прекрасна и мила;
Сонъ очи тяготитъ, но попеченье бдяще
Твердитъ тебѣ сквозь сонъ велики дня дѣла.
Ты часто свой покой теряешь,
Другихъ покоити хотя,
И пробудяся слухъ вперяешь,
Не плачетъ ли дитя.

КАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. — Да.... Васенька! Дѣти и ты, ты и дѣти — вотъ все мое блаженство, вотъ вся утѣха моей жизни.

ПЕТРОВЪ (*движимый богомъ вдохновенія, продолжаетъ импровизировать*).

Съ постели встанешь ты, какъ тихая Аврора,
Природны кажуща красы,
Величественна безъ убора,
По раменамъ твои распущены власы;
Младенецъ при сосцѣ висящій,
Сосецъ твой, жизнь въ него росящій,
Твою сугубитъ красоту
И возвышаетъ ризъ небрежну простоту....

КАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. — И если бы не безпокойства по хозяйству, если бы не староста Ѳомка, который такъ часто досаждаетъ намъ, — повѣрь, мой другъ, село Сычово я не промѣняла бы на самый рай.

ПЕТРОВЪ (*беретъ жену за руку*).

Но ты безъ палицъ судія, безъ скипетра царица,
Ты судишь подданныхъ, страхъ въ сердце ихъ лія!
И улыбаясь какъ денница,
Мѣшаешь бурю съ тишиной!

КАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. — Такъ ты, Васенька, счастливъ со мною?

ПЕТРОВЪ.

Да, Катя милая, любовію твоей
Подъ солнцемъ я счастливый изъ мужей.
О, ангелъ! стражъ семьи ты вѣчно для меня,
Одна въ подсолнечной красавица, Прелеста,
Мать истинная чадъ,
Живой источникъ мнѣ отрадъ,
Всегда любовница, всегда моя невѣста!...

(*Катерина Андреевна обнимаетъ мужа. Въ объятіяхъ другъ друга они подходятъ къ окну. Солнце садится. Пастухъ гонитъ домой стадо и наигрываетъ въ рожокъ. Весенній вѣтерокъ прохлаждаетъ разгорѣвшіяся ланиты супруговъ.... Вдали поетъ соловей.... Супруги нѣсколько минутъ смотрятъ страстно другъ на друга въ молчаніи*).

КАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. — Слышишь, соловей поетъ!

ПЕТРОВЪ. — Да!

О, ты, пѣвецъ прешибкой,
Душа велика, малый ростъ,
Скача по вѣтви гибкой,
Корючишь къ верху хвостъ;

Жарокъ,
Ярокъ,
Удалой соловей,

Всѣхъ даромъ веселитъ музыкою своей!
Сперва онъ цвикаетъ, чуть слышенъ понемногу
И стелетъ голосу изъ горлышка дорогу;
Какъ грянетъ, полетятъ и ядра вдругъ и дробь;
То тоны всѣ мѣшаетъ
И рощи оглушаетъ,
То ставитъ каждый стихъ особь;
Творенье малосонно
Всю часто ночь насквозь кричитъ безугомонно;
. . . . . .
Не диво ль? крошечная глотка,
А въ ней свирѣль, труба, тимпанъ, трещотка!
. . . . . .

(Въ эту минуту входитъ староста Ѳомка. Катерина Андреевна вырывается изъ объятій супруга и подбѣгаетъ къ старостѣ. Петровъ продолжаетъ слушать пѣніе соловья).

АПРОНІЯ.

РИМСКАЯ ДРАМА ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Что такое Римъ, языческій Римъ во вторую половину кесарскаго владычества? Скрижаль, на которой начертаны слова: безумное празднество, дикая оргія, которая долженствовала окончиться окончательнымъ распаденіемъ и разрушеніемъ. Но въ этомъ роковомъ мракѣ, охватившемъ весь Римъ, изрѣдка появляются яркія звѣзды, разливающія вокругъ себя проблески возвышеннаго духа и героической добродѣтели, по большей части стоики. Таковы въ моей драмѣ *Апронія* и *Юній*.

Тацитъ — основа для ея содержанія. Историческихъ данныхъ въ ней мало, посильной фантазіи или *licentia poetica* много, но эта фантазія отражаетъ эпоху, оттого преобладающими элементами драмы: напыщенность, витіеватость, холодность, реторика, фразы. Не ищи въ ней болѣе ничего, другъ-читатель!...

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

ЮНІЙ, всадникъ, молодой стоикъ.
ФЛАВІЙ СЦЕВИНІЙ } сенаторы.
АФРАНІЙ КВИНТІАНІЙ }
ФЛЕНІЙ РУФЪ, префектъ преторіи.
ВОЛУЗІЙ ПРОКУЛЪ, старецъ-стоикъ.
АПРОНІЯ, дочь умершаго добродѣтельнаго сенатора.
АГРИППИНА, ея мать, нѣжно-любящая и безъ рѣчей.
ЭПИХАРИСА, подруга Апроніи.
ЛОКУСТА, волшебница.
ТУЛЛІЙ, отпущенникъ добродѣтельнаго сенатора, отца Апроніи.
Граждане, центуріоне, гладіаторы, глашатаи, рабы, музыканты, менады и проч. и проч.

Дѣйствіе въ Римѣ въ 65 г. по Р. Х.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Перистиль въ домѣ вдовы умершаго и добродѣтельнаго сенатора. Двадцать четыре колонны съ арками, всѣ повитыя плющемъ и павилкой. Посрединѣ сажалка, устланная мраморомъ, которую отѣняетъ кустъ сереги (дикаго жасмина); по угламъ фонтаны. Въ промежуткахъ колоннъ статуи. Апронія сидитъ, скорчившись, *подъ кустомъ* сереги и вдыхаетъ ея ароматъ. Она въ оранжевой туникѣ; въ черной, густой косѣ ея пунцовая георгина. Она задумчива. Всѣ движенія ея исполнены необыкновенной граціи и нестерпимаго очарованія, такъ же, какъ и рѣчи. Неподалеку отъ нея Агриппина, съ чувствомъ на нее смотрящая. Эпихариса съ прялкой и невольницы.

ЯВЛЕНІЕ I.

АПРОНІЯ.

О, какъ вдыхать пріятно благовонье
Жасмина.
(*Смотритъ на цвѣтокъ и вдыхаетъ его ароматъ*).
Какъ онъ граціозно
Качается на тонкомъ стебелькѣ
Въ своей одеждѣ бѣлой... Для чего
Я не цвѣтокъ? Будь я цвѣткомъ,
Я бъ не для всѣхъ всегда благоухала...
Укрывшися средь родственныхъ листочковъ,
(*едва слышно*)
Я видима была бъ лишь для *него*...
(*Громко къ Эпихарисѣ*).
Вели, вели запѣть, Эпихариса,
Невольницамъ. Гармоніею пѣсни
Мой слухъ упиться хочетъ. Отдохнуть
Стремится пламенное сердце
На сладкозвучномъ ритмѣ.

ЭПИХАРИСА (*невольницамъ*).

Ну, пропойте!

ХОРЪ НЕВОЛЬНИЦЪ.

Раздавайтесь пѣсней клики,
Наступилъ желанный часъ!
Для прекрасной Эвридики
Ожерелья и туники
Приготовлены у насъ!

Что съ красой ея сравнится?
Съ густотой ея кудрей?
Солнца свѣтъ, блѣднѣя, тмится
Отъ огня ея очей.

Сколько нѣги, сколько счастья
Эти очи подарятъ!...
На рукахъ ея запястья
Драгоцѣнныя горятъ....

Марцій-Фестій передъ нею.
Онъ ея привѣта ждетъ;
Скоро юноша своею
Эвридику назоветъ...

Раздавайтесь пѣсней клики.
Наступилъ желанный часъ!
Для прекрасной Эвридики
Ожерелья и туники
Приготовлены у насъ!

(*Апронія вздыхаетъ. Мать продолжаетъ на нее смотрѣть съ нѣжностью*).

ЯВЛЕНІЕ II.

ТѢ ЖЕ И ТУЛЛІЙ.

ТУЛЛІЙ (*униженно преклонивъ голову*).

Дозволено ль предъ свѣтлыми очами
Апроніи ничтожному предстать?

АПРОНІЯ (*едва кивнувъ головой*).

Salve! Что возвѣститъ намъ (*съ ироніей*)
Благородный Туллій?

ТУЛЛІЙ.

Для Туллія
Блаженная минута — твой образъ зрѣть...
И я къ тебѣ и ко вдовѣ достойной
Того, кто мнѣ свободу даровалъ,
Являюся съ почтеньемъ.

АПРОНІЯ (*все съ ироніей*).

Благодарю

За матушку и за себя; за память...
Я тронута. Благодарю тебя.

(*Мать смотритъ на нее съ нѣжностью и удаляется.* АПРОНІЯ *встаетъ и хочетъ слѣдовать за нею, вмѣстѣ съ* ЭПИХАРИСОЙ. ТУЛЛІЙ *останавливаетъ ее, между тѣмъ какъ* АГРИППИНА *съ* ЭПИХАРИСОЙ *уходятъ*).

ТУЛЛІЙ.

Остановись на краткую минуту,
Молю тебя, Апронія, постой...
Прости меня. Слова мои нѣмѣютъ
На трепетно запекшихся устахъ.
А сердце, сердце бѣдное какъ бьется!...
Я изнемогъ... Три года я страдаю
Безвыходной, но страшною болѣзнью —
Любовію безумною къ тебѣ...
Да! лотосомъ священнымъ я клянусь,
Любить сильнѣй и жарче невозможно.
О, пусть меня Юпитеръ-громовержецъ
Своимъ огнемъ сейчасъ испепелитъ,
Когда я лгу...

АПРОНІЯ (*по мѣрѣ рѣчей его приходя въ негодованіе, вдругъ вскрикиваетъ*).

Прочь съ глазъ моихъ, презрѣнный...
О, боги, что я слышу!

ТУЛЛІЙ.

Для чего
Ты сжалиться надъ страждущимъ не хочешь?
О, раздѣли преступника любовь...
Но ты стоишь недвижно и хохочешь...
А за тебя готовъ пролить я кровь
По каплѣ. Все съ себя до нитки
Отдать. Мученья страшной пытки
Безъ жалобы и стоновъ претерпѣть
И съ именемъ Апроніи прекрасной,
Ее благословляя, умереть...
Брось на меня лучъ благодатный взора...
Изъ устъ твоихъ я жажду приговора...

АПРОНІЯ (*съ презрительнымъ движеніемъ*).

Мой приговоръ (*хохочетъ*), безумецъ дерзновенный!

Я не могу безъ омерзѣнья видѣть
Передъ собой презрѣннаго раба...
(*Еще разъ дѣлаетъ презрительное движеніе и уходитъ*).

ТУЛЛІЙ.

Все кончено... Часъ мщенья наступаетъ.
Отвергнутъ я!... Ужасно будетъ мщенье,
Апронія! Я отплачу тебѣ
За тяжкое, обидное презрѣнье!
Подземные властители! трикраты
Взываю къ вамъ я именемъ Гекаты!
(*Ударяя себя въ лобъ, убѣгаетъ*).

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Римскій форумъ. На заднемъ, на переднемъ и на боковыхъ планахъ — базилики, храмы Минервъ, Вулкановъ, Марсовъ, Діанъ, Юпитеровъ-громовержцевъ со всевозможными священными лотосами и кипарисами. Водометы, статуи, капитоліи, тюрьмы и проч. На самомъ переднемъ планѣ справа или слѣва (какъ угодно, драмѣ это не повредитъ) домъ Агриппины, вдовы сенатора, съ выступными террасами, балкономъ, бесѣдкою. Вечеръ. Толпы гражданъ, рабовъ, торгашей и другихъ.

ЯВЛЕНІЕ I.

ПЕРВЫЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Ты слышалъ ли, въ долинѣ Ватикана
Готовится ристалище? Самъ кесарь
Конями править будетъ въ колесницѣ... *
Допущены всѣ будутъ безъ изъятья...
Вотъ зрѣлище...

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Ужели это правда?
(*Первый гражданинъ повторяетъ свои слова, раздается нѣсколько голосовъ*).
Да здравствуетъ нашъ кесарь несравненный!

---

* Въ книгѣ XIV Тацитъ говоритъ, что Кесарь давно хотѣлъ непремѣнно появиться на ристалищѣ въ колесницѣ и самъ править конями.

XIV. Vetus illi cura erat curriculo quadrigarum insistere, nec minus foedum studium cithara ludicrum in modum canere.... и проч.

ТРЕТІЙ ГРАЖДАНИНЪ.

А въ рощѣ Августа идутъ какія игры!...
Тамъ деньги раздаютъ, чтобы веселиться, *
И пиръ горой до самой поздней ночи...
Самъ кесарь появляется нерѣдко,
Какъ свѣтлый, лѣпокудрый Аполлонъ...
Своимъ присутствіемъ все вмигъ одушевляя.

НѢСКОЛЬКО ГОЛОСОВЪ.

Да здравствуетъ богамъ подобный кесарь!...

(*Въ толпѣ появляется Волузій Прокулъ, старецъ-стоикъ*).

ВОЛУЗІЙ.

Чернь гнусная, безмысленно тупая!
Ты дико торжествуешь гибель Рима...
И на развалинахъ его безумно пляшешь
При заревѣ кроваваго пожара...
Лесть, подкупы, безстыдство и позоръ
Широкою рѣкою разлилися.
Послѣдній день твой наступаетъ, Римъ!
Ужъ сонмъ боговъ, смятенный на Олимпѣ,
Готовитъ кары страшныя для васъ...
Уже готовъ Юпитеръ-громовержецъ
Растлѣнный городъ молніей спалить...
О, горе всѣмъ...

(*Во все время рѣчи Волузія, Апронія, стоявшая на балконѣ своего дома, внимательно слушала его*).

АПРОНІЯ (*съ балкона*).

Ты правъ, почтенный старецъ!

(*Толпа съ бѣшенствомъ бросается на Волузія*).

НѢСКОЛЬКО ГОЛОСОВЪ.

Вѣщунъ проклятый! Замолкнешь ли?
Каменьями его!

ГРАЖДАНИНЪ (*тихо*).

А правъ, старикъ,

---

* Въ той же XIV книгѣ Тацита: XV.... exstructaque apud nemus, quod navali stagno circumposuit Augustus, conventicula et cauponæ, et posita veno irritamenta luxus, dabanturque stipes, quas boni necessitate.... и проч.

Всѣхъ примѣчаній въ моей драмѣ 264. Прилагаю только необходимыя. Критики могутъ укорить меня въ несоразмѣрности частей моей драмы, въ отсутствіи концепціи, въ безхарактерности дѣйствующихъ лицъ.... Но все это намѣренно. Если художественная сторона драмы потеряла отъ этого—сожалѣю....

Клянусь богами, правъ! (*Громко къ толпѣ*).
Быть можетъ,
Онъ съумасшедшій... Бросьмте его...
Нѣтъ, смерть ему!... Онъ гибель возвѣщаетъ...

(*Въ это время появляется на конѣ Юній, очаровательный молодой всадникъ. Толпа разступается передъ нимъ съ почтеніемъ*).

АПРОПІЯ (*на балконѣ, быстро схвативъ себя за сердце*).

О, Юній!

ЮНІЙ (*къ толпѣ*).

Что означаютъ эти крики?

ГОЛОСЪ ИЗЪ ТОЛПЫ.

Да вотъ старикъ пришелъ къ намъ каркать гибель,
Такъ мы хотимъ каменьями его!

ЮНІЙ (*бросивъ взглядъ на старика, къ толпѣ*).

Нѣтъ... Старика оставьте... Онъ больной...
(*Съ горькой улыбкой*).
И оттого все въ черномъ свѣтѣ видитъ...
Пусть съ миромъ онъ идетъ себѣ домой...
(*Подъѣхавъ къ старику, тихо*).
Часъ не приспѣлъ, но близокъ этотъ часъ.
Теперь скорѣй ты удались отсюда,
Волузій! твой услышанъ будетъ гласъ...
Но не теперь.... такъ замолчи покуда.

(*Старецъ удаляется. Юній глядитъ продолжительно на Апронію, которая краснѣетъ и потупляетъ глаза. Онъ ей низко кланяется. Она, вздохнувъ, граціозно отвѣчаетъ на поклонъ*).

ЮНІЙ (*на конѣ, шопотомъ*).

Предъ ней блѣднѣетъ красота Венеры!

АПРОПІЯ (*на балконѣ, также шопотомъ*).

Предъ нимъ ничто самъ свѣтлый Аполлонъ!

(*Юній галопируетъ передъ балкономъ и потомъ скачетъ дальше и исчезаетъ*).

ПЕРВЫЙ ГРАЖДАНИНЪ (*провожая его глазами*).

Нѣтъ въ цѣломъ Римѣ юноши прекраснѣй!
И какъ конемъ онъ чудно управляетъ!...
(*Туллій подходитъ въ эту минуту къ говорящему*).

ТУЛЛІЙ.

Да, молодецъ... и смѣлъ. Отличный всадникъ!

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИНЪ (*къ Тулію*).

И онъ влюбленъ въ Апронію, ты знаешь....
Вотъ парочка! И онъ ея женихъ,
Всѣ говорятъ.... Она безумно любитъ
Его.... чего же лучше?

ТУЛЛІЙ (*бѣшенѣя*).

Въ самомъ дѣлѣ?
Прекрасно! Чудно! Парочка на славу.

(*Толпа расходится. Тулій остается одинъ*).

И я не вѣдалъ этого, безумный!
Теперь лишь прозрѣвать я начинаю....

(*Скрежещетъ зубами*).

Прекрасно.... лучше быть нельзя ...
Такъ не одна — въ рукахъ моихъ двѣ жертвы!...

(*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Катакомба близъ Рима.

ВОЛУЗІЙ ПРОКУЛЪ И ЮНІЙ.

ЮНІЙ.

Я какъ отца тебя, почтенный старецъ,
Глубоко уважаю, и тебѣ,
Философъ мудрый, я обязанъ всѣмъ.
Міръ въ стоиковъ весь долженъ превратиться.
Да, таково грядущее его!
Но я молю, отецъ! не подвергайся
До времени опасности....

ВОЛУЗІЙ.

Тебя
Благодарю, мой сынъ, я за спасенье,
Но смерть готовъ всечасно я принять
За мудрое, глубокое ученье.

ЮНІЙ.

Ты нуженъ намъ. Беречь ты долженъ жизнь.
Живи, чтобы творить живыхъ адептовъ,
Чтобъ гибнущихъ людей скорѣй спасать...

Отецъ! къ тебѣ я съ просьбой прибѣгаю.
Апронію ты знаешь; но не знаешь,
Что Агриппина насъ благословила,
И что теперь ужъ гласно я женихъ....
Апронія къ тебѣ притти желаетъ;
Твоихъ рѣчей возвышенныхъ услышать
Душа ея младая страстно жаждетъ...
Назначь ей часъ... Она придетъ тайкомъ...
Я приведу ее...

ВОЛУЗІЙ.

Чрезъ три дня ровно въ полночь.

ЮНІЙ.

Dixi!

(*Уходитъ*).

ВОЛУЗІЙ (*провожая его глазами*).

До свиданья!...

(*Въ то время, какъ Юній удаляется, изъ-за катакомбы показывается тѣнь, помахивающая кинжаломъ и обращенная къ Юнію*).

ТѢНЬ.

Ты мой, о Юній!

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Мраморная столовая въ домѣ Флавія Сцевинія съ дорическими колоннами, уставленная статуями Бахуса и Венеры. Столы изъ мозаикъ; вокругъ ложи съ голубыми тканями. На полкахъ драгоцѣнные сосуды. Въ курильницахъ курятся благовонія.

ЯВЛЕНІЕ I.

ФЛАВІЙ СЦЕВИНІЙ, АФРАНІЙ КВИНТІАНІЙ И ФЛЕНІЙ РУФЪ, *префектъ преторіи.*

ФЛЕНІЙ РУФЪ.

Пора принять рѣшительныя мѣры
И кесарю въ глаза повѣдать правду.
Доносы возрастаютъ ежедневно,
Порокъ открыто ходитъ, величаясь,
На торжищахъ свершаются дѣянья,
Всѣхъ въ ужасъ приводящія...

ФЛАВІЙ.

А кесарь?

ФЛЕНІЙ РУФЪ.

О, кесарь, нашъ властитель полвселенной,
Во всемъ подобный высшимъ божествамъ,
Не на него мы бьемъ челомъ, — на нравы.

АФРАНІЙ.

Прекрасно!... Именно на нравы. Нравы
Дошли до крайняго растлѣнья. Нельзя
Ужъ далѣе итти. А! вотъ и Туллій.

ЯВЛЕНІЕ II.

ТѢ ЖЕ И ТУЛЛІЙ.

ВСѢ ТРОЕ.

Привѣтъ тебѣ!

АФРАНІЙ.

Онъ протоколъ составитъ.
Мы подмахнемъ, да къ кесарю — и ладно.
Ужъ я ему (*указывая на Туллія*) объ этомъ говорилъ.

ТУЛЛІЙ.

На все для васъ я искренно готовъ.

АФРАНІЙ.

Да не пора ль намъ приступить къ трапезѣ?
Богамъ пріятно смертныхъ возліянье,
Утѣшимъ же, друзья мои, боговъ!...

(*Рабы несутъ блюда, возліяльники и пиршественные вѣнки. Совершивъ возліяніе, всѣ приступаютъ къ трапезѣ. Въ эту минуту входитъ Юній*).

ЯВЛЕНІЕ III.

ТѢ ЖЕ И ЮНІЙ.

ФЛАВІЙ СЦЕВИНІЙ.

Добро пожаловать. Какъ кстати, Юній!
Вѣнокъ еще, скорѣй вѣнокъ подайте
Изъ свѣжихъ и душистыхъ гіацинтовъ...
Возляжемъ! (*Къ рабу*). Рабъ! ѳазосскаго вина!

ЮНІЙ (*совершивъ омовеніе и возлегая*).

Нѣтъ, я не пью вина. Благодарю.
На что же вы рѣшились? Къ кесарю
Идете?...

АФРАНІЙ.

Идемъ, но только не сейчасъ.
Ужъ протоколъ готовъ, — вотъ имъ написанъ....
(*Указывая на Туллія*).

ЮНІЙ (*обмѣнявшись взглядомъ съ Тулліемъ, къ Афранію*).

Кто этотъ человѣкъ? Онъ знаетъ тайну?
Кто онъ?

ФЛЕНІЙ РУФЪ.

Отпущенникъ Апроніи отца.

ЮНІЙ (*успокоиваясь*).

Онъ долженъ быть надеженъ. Впрочемъ,
Апронію я все-таки спрошу.

АФРАНІЙ.

Объ дѣлѣ порѣшили — и довольно,
Теперь за ужинъ....

ФЛАВІЙ СЦЕВИНІЙ (*къ Юнію*).

Хочешь свѣжихъ устрицъ?

ЮНІЙ.

Благодарю. Нѣтъ, устрицъ я не ѣмъ.

ФЛАВІЙ СЦЕВИНІЙ.

Ну, раковинъ. поджаренныхъ въ золѣ?

ЮНІЙ.

Для ужина плохой я собесѣдникъ.

ФЛАВІЙ (*продолжая*).

Павлиньи яица, свиныя ножки?...

(*Юній на этотъ и на всѣ слѣдующія предложенія Флавія отрицательно качаетъ головой*).

Свиное вымя съ уксусомъ и тминомъ?...
Ну, разныхъ птичекъ въ соусѣ горячемъ?...
Кусочки брюквы въ уксусѣ вареномъ?...
Сыръ, стрекозы, оливы изъ разсола?

ЮНІЙ (*беретъ ножку стрекозы*).

Вотъ этого, клянусь, съ меня довольно.

ВСѢ (*въ одинъ голосъ, съ хохотомъ*).

Умѣренный желудокъ! Истый стоикъ!
Ты съ голоду себя совсѣмъ моришь.

(*Всѣ пьютъ вино, кромѣ Юнія*).

За здравіе твое, нашъ стоикъ юный,
Ѳазосское мы осушимъ до дна....
Вина! вина! еще скорѣй вина!
Да пѣсенку въ честь Бахуса, Афраній!

АФРАНІЙ (*поетъ*).

Взгляните, что за красота!
Верхомъ сидя на бочкѣ винной,
Онъ лижетъ тучныя уста
Съ улыбкой пьяной и невинной...

Вотъ онъ, нашъ богъ, нашъ идеалъ!
Въ рукѣ его златой фіалъ...
Горятъ обвисшія ланиты
Пурпурнымъ пламенемъ облиты:

На лысой головѣ вѣнокъ —
И душъ возвышенныхъ отрада —
Въ фіалѣ благодатный сокъ
Изъ сочныхъ гроздій винограда!...

ФЛАВІЙ СЦЕВИНІЙ.

Возчествуемъ же бога винограда!
Онъ добрый и веселый богъ! (*встаетъ и торжественно*).
Полнѣй фіалы наливайте
Горѐ... (*дѣлаетъ жестъ рукою*) вотъ такъ! и поднимайте —
И разомъ — эдакъ осушайте!

(*Пьетъ до дна, и опять возлегаетъ*).

Теперь стишки подъ музыку.

ФЛЕНІЙ РУФЪ.

Изволь.

(*Декламируетъ подъ музыку*).

Ѳебъ златокудрявый въ своей колесницѣ блестящей,
Правя лѣниво конями, полнеба еще не объѣхалъ.
Съ улыбкой взиралъ онъ на землю, съ палящимъ дыханьемъ,
Съ любовію пылкой и жгучей ее обнимая.
Цвѣтки, утомленные долгимъ вниманіемъ бога,

Стыдливо закрывшись, головки потупили долу, —
Въ эту минуту подъ тѣнью душистой оливы,
Виномъ упоенная, вакхова дщерь засыпала,
Грудь ея млечная, будто волна, воздымалась,
Влагой подернуты тусклыя очи сжимались,
Руки въ блестящихъ запястьяхъ небрежно раскинуты были...
Ею невидимый, долго смотрѣлъ я на дѣву,
Окомъ пронзительнымъ формы ея созерцая.

(*Во все время этихъ пѣсенъ, стиховъ и возліяній, Юній сидитъ мрачно, не принимая въ нихъ никакого участія*).

ФЛАВІЙ СЦЕВИНІЙ.

Стихи прекрасны. Римскія менады
Достойны страстныхъ пѣсенъ и стиховъ....
Безъ нихъ нѣтъ пира....
(*Ударяетъ трижды въ ладонь*).
Вотъ онѣ! Какъ кстати!

ЯВЛЕНІЕ IV.

Менады вбѣгаютъ, извиваясь, какъ змѣи, сплетаются руками, кружатся и разбѣгаются подъ музыку. Всѣ рукоплещутъ, кромѣ Юнія.

ЮНІЙ (*вставая*).

Почтенные сенаторы! я молодъ.... (*къ Фленію Руфію*)
Прости меня, достойнѣйшій префектъ!
Не мнѣ, не мнѣ читать вамъ наставленья, —
Лѣта давно сребрятъ уже вашъ волосъ...
Не время проводить въ пирахъ и пѣсняхъ
И съ этими безстыдными (*указывая на менадъ*)... когда...
Римъ Августа, великій Римъ нашъ гибнетъ...
Нѣтъ, Риму мы должны подать примѣръ
Воздержной, строгой и приличной жизни
И кесарю собой подать примѣръ!

(*При послѣднемъ словѣ на лицахъ всѣхъ изображается ужасъ, а у Туллія многозначительно и мрачно подергиваются брови*).

Противъ болѣзни тягостной и трудной
Рѣшительныя нужны мѣры... да!
Пусть гибнетъ все, коли нельзя иначе,
Но истина торжествовать должна...
Безъ добродѣтели и истины — нѣтъ жизни!

(*Всеобщее смятеніе. Сенаторы посматриваютъ другъ на друга, не зная, что дѣлать. Менады имъ глупо улыбаются. Одинъ Тулліи сохраняетъ полное спокойствіе*).

Я все сказалъ. Вы поняли меня...
Я не могу здѣсь дольше оставаться...

(*Уходитъ*).

АФРАНІЙ.

Безумный юноша! Какъ онъ заносчивъ!
Чего онъ хочетъ, я не понимаю.

ФЛАВІЙ.

По истинѣ, его понять нельзя...
Менады! начинайте пляску... Вина!
Еще сюда оазосскаго вина!...

(*Начинаются снова пляски и возліянія*).

ФЛЕНІЙ РУФЪ (*про-себя*).

Нѣтъ! не снести тебѣ своей главы,
О юноша прекрасный! Я вполнѣ
Твоихъ рѣчей значенье понимаю
И о тебѣ скорблю я и страдаю.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Ночь. Глухое мѣсто. На треножникѣ пылаетъ огонь. Вокругъ треножника змѣи, кошки, свиные клыки, папирусы, волшебные жезлы и проч.

ЯВЛЕНІЕ I.

ЛОКУСТА, ТУЛЛІЙ.

ЛОКУСТА.

Ты хочешь вызвать изъ аида духъ
И предложить ему вопросы? Онъ
Появится — за это я ручаюсь,
Но собери теперь всю твердость духа
И за черту никакъ не преступай...

(*Очерчиваетъ кругъ и начинаетъ бросать на огонь треножника волшебныя зѣлья... Вспыхиваетъ синее пламя*).

ЛОКУСТА.

Близко ты, Геката!
Слышу приближенье,

Чую носомъ смрадъ...
Страшно ожиданье,
Близокъ страшный мигъ...
Совершайтесь, чары!

(*Мѣшаетъ въ котлѣ*).

Слышу я, Геката,
Вопли и смятенье...
То ликуетъ адъ!
Голосъ заклинанья
До тебя достигъ...
Подъ землей удары...

(*Отступаетъ отъ треножника*).

Вотъ она, Геката!
Совершились чары!
Чу!... Совиный крикъ,
Филина стенанье,
Сѣрный дымъ и чадъ...
Дивное мгновенье!...

(*Поднимаетъ восторженно руки. Костеръ гаснетъ. Слышенъ крикъ совъ, филиновъ и проч., и изъ дыма поднимается грозный призракъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

ТѢ ЖЕ И ПРИЗРАКЪ.

ПРИЗРАКЪ.

Кто звалъ меня?

ТУЛЛІЙ (*трепеща*).

Ужасный призракъ!
Отвѣтствуй, что я долженъ предпринять!
Я женщину люблю, люблю безумно;
Она жъ другого любитъ. Мой соперникъ
Въ моихъ рукахъ — его я погублю...
Я ихъ могу обоихъ погубить,
Но, можетъ быть, она еще ко мнѣ
Преклонитъ взоръ любви и состраданья.
Возможно ль это?... Если жъ нѣтъ,
То дайте мнѣ какого нибудь зѣлья,
Иль талисманъ, чтобы ее привлечь...

(*Слышенъ адскій хохотъ, отъ котораго у Туллія поднимается дыбомъ волосъ*).

ДУХЪ.

Ты слышишь ли, безумецъ, этотъ хохотъ?
То сонмъ бѣсовъ отвѣтствуетъ тебѣ...
Ты дерзокъ, но Геката дерзкихъ любитъ
И потому внимай ея отвѣтъ:
Апронія любить тебя не можетъ
И нѣтъ еще такихъ на свѣтѣ травъ,
Такого былія, которое бъ могло
Тебя любить Апронію заставить...
Смотри...

(*Дымъ и пламя. Когда дымъ разсѣявается, появляется фигура Апроніи; передъ ней Юній, котораго она нѣжно обнимаетъ. Обѣ фигуры мгновенно исчезаютъ*).

ТУЛЛІЙ.

Ужасное, но вѣрное видѣнье!

ХОРЪ НЕВИДИМЫХЪ ДУХОВЪ.

Именемъ Гекаты
Мы зовемъ трикраты
На полночный пиръ
Весь подземный міръ.
Собирайтеся, духи! собирайтесь скорѣй!
Ужъ въ подземномъ чертогѣ милліоны огней,
И владыки ада ждутъ достойныхъ гостей!...
Сова прокричала,
Филинъ простоналъ;
Полночь ужъ настала,
Начатъ фестивалъ!...

(*Все исчезаетъ. Остается одна Локуста, лежащая на землѣ*).

ЛОКУСТА (*вставая*).

Ты слышалъ свой послѣдній приговоръ,
Теперь спѣши отсюда удалиться.

ТУЛЛІЙ.

О, замолчи, презрѣнная старуха...
Не вѣрю я подземнымъ силамъ ада.
Не властенъ онъ *надъ женщиной*, вашъ адъ!
Я адъ ношу въ самомъ себѣ, Локуста,
И этотъ во сто разъ страшнѣй того,
Которымъ ты глупцовъ римлянъ пугаешь!

Ложь, всюду ложь — и на землѣ, и въ адѣ...
Прости, прости! Ты обо мнѣ услышишь...

(*Уходитъ*).

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

Передъ катакомбой. При свѣтѣ луны.

ЯВЛЕНІЕ I.

АПРОНІЯ И ЮНІЙ.

ЮНІЙ (*передъ Апроніей на колѣняхъ*).

О, видишь ли, какъ я тебя люблю,
Моя богиня въ очертаньяхъ дѣвы!
Любить нельзя полнѣй и горячѣе.
Ты легкостью и граціей своей
Діанѣ-звѣроловицѣ подобна,
А красота Венеры предъ тобой,
Какъ звѣздочка предъ лучезарнымъ Ѳебомъ...
Ты римскихъ стройныхъ тополей стройнѣй,
А чистотой подобна голубицѣ...
Величіе во всѣхъ твоихъ движеньяхъ
И строгость благородная въ чертахъ...
Юпитеромъ, въ рукѣ держащимъ громы,
И Марсомъ — богомъ брани, я клянусь,
Что въ мірѣ нѣтъ тебѣ подобной дѣвы.

АПРОНІЯ (*потупляя очи, съ граціею*).

Ты милый льстецъ, Апроній... замолчи...

(*Зажимаетъ ему пальчикомъ уста*).

О, завтра день счастливый въ моей жизни!
Да, завтра насъ Гименъ соединяетъ —
И наканунѣ строгой рѣчью старца,
Его ученою бесѣдой насладиться
Намъ слѣдуетъ. Онъ насъ благословитъ
На подвигъ жизни. Мудрый, укрѣпитъ
Еще сильнѣе наши убѣжденья...
И мы пойдемъ стоическимъ путемъ
Рука съ рукой — тверды и нераздѣльны!

ЮНІЙ.

Тебѣ я въ вѣчной вѣрности клянусь,

Передъ лицомъ небеснаго свѣтила
Прими мою ты клятву!

(Поднимаетъ руку къ луне, Апронія слѣдуетъ его примѣру).

АПРОНІЯ.

И мою!...
Теперь ничто насъ въ мірѣ не раздѣлитъ!

ЯВЛЕНІЕ II.

ТѢ ЖЕ И СТАРЕЦЪ ВОЛУЗІЙ ПРОКУЛЪ.

ВОЛУЗІЙ ПРОКУЛЪ *(изъ катакомбы).*

Я ожидалъ васъ, дѣти!... Часъ насталъ.
Вступите въ катакомбу — благословенье
Принять...

ЯВЛЕНІЕ III.

Въ эту минуту стражи окружаютъ катакомбу. Впереди ихъ Центуріонъ и Туллій.

ЦЕНТУРІОНЪ.

Отъ имени сената.
Я возвѣщаю вамъ его велѣнья:
Апронія, ты — Юній, и Волузій
И всѣ, всѣ соумышленники ваши
Обвинены въ измѣнѣ противъ Рима...

ТУЛЛІЙ *(бросается на Апронію и Юнія).*

Дщерь гордая сенатора! скажи мнѣ...
Ты узнаешь презрѣннаго раба?

(Хочетъ схватить ее, но въ это мгновеніе Юній обнажаетъ мечъ и закалываетъ имъ сначала Апронію, потомъ себя и кричитъ):

ЮНІЙ.

Ты до живой къ ней, извергъ, не коснешься!
Возьмите трупы наши...

ТУЛЛІЙ *(отступая, съ ужасомъ).*

Боги! Боги!

АПРОНІЯ *(умирая и падая къ Юнію).*

Благодарю тебя, мой добрый Юній...
Ударъ былъ вѣренъ... Гдѣ ты... меркнетъ свѣтъ...
Дай руку мнѣ... Молю, не разлучайте
Наши трупы... Гдѣ ты, гдѣ ты, Юній?

ЮНІЙ.

Здѣсь, здѣсь, — у сердца твоего... Навѣки

Я всетаки съ тобой соединенъ...
Хотя не жизнь, а смерть соединила...
(*Обнимаютъ другъ друга и умираютъ*).

ВОЛУЗІЙ.

Въ лицѣ ихъ (*указывая на трупы Юнія и Апроніи*)
все, что въ Римѣ лучшаго, погибло!
Но близокъ часъ... и рухнетъ вѣчный Римъ,
Въ растлѣніи и гордости погрязшій.
Нѣтъ ему спасенья! (*Центуріону*) Объяви ты это
Своимъ сенаторамъ — и къ этому прибавь,
Что стонкъ, старый римлянинъ и воинъ,
Умирать умѣетъ.
(*Закалывается и падаетъ*).
Объяви же это!...

Центуріонъ, Туллій и стража, пораженные ужасомъ, недвижны.
Занавѣсъ опускается.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

I. НАПОЛЕОНЪ.

. . . . . .

Фосфорнымъ свѣтомъ вдохновеній
Его блистаетъ голова...
Вотъ онъ, вотъ онъ, сей чудный геній,
Чьи громоносныя слова
Европа съ ужасомъ внимала;
Предъ кѣмъ, безмолвная, она,
Склонясь во прахѣ, трепетала
И колыхалась, какъ волна!
Зарытый въ мечты и окутанный мглою,
Одинъ на горѣ исполинъ онъ стоитъ...
Заутра онъ двинетъ полки свои къ бою
И кто, дерзновенный, предъ нимъ устоитъ?...
Отважный виновникъ отчаянной брани,

Вперяя въ грядущее стрѣлы очей,
Внимая свистъ ядеръ и громъ восклицаній,
Онъ сердцемъ ликуетъ при звукѣ мечей!
О, гигантъ огне-гремучій!
Разрывая бурей тучи,
Ты погибелью дышалъ!...
Какъ орелъ мощно-крылатый,
Міръ въ когтяхъ своихъ держалъ
И, какъ онъ — сей царь пернатый,
Гордо въ облакахъ ширялъ!
Надъ стихіей ты смѣялся,
Громомъ, какъ Зевесъ, игралъ,
Въ ризы молній облачался
И вселенной потрясалъ!...

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

И что жъ, Титанъ, съ тобою совершилось?
Звѣзда твоя за тучу закатилась...
Разверзлось гибели жерло,
И поле битвы освѣтилось
Кровавымъ солнцемъ Ватерло!
Державный исполинъ промчался межъ полками,
Блеснувъ очей своихъ побѣдными лучами.
Онъ двинулъ гвардію — и вотъ раздался громъ,
И руки уложивъ на грудь свою крестомъ,
Онъ съ думой мрачною и царственно-глубокой
Съ холма взиралъ на бой, — недвижный, одинокой!
Земля застонала, земля задрожала,
Какъ море ея воздымается грудь;
Вотъ молнія, вспыхнувъ, въ дыму засверкала
И смерти широкій очистила путь.
И рыщетъ смерть, и гибельный свинецъ
Въ рядахъ безтрепетныхъ творитъ опустошенье...
Ужъ близко замысловъ гигантское крушенье...
И на главѣ его колеблется вѣнецъ!

. . . . . .

II. ПРОГРЕССЪ.

Въ былые наши дни, въ дни юности задорной,
Въ дни забубенные бурсацкихъ смутъ и бурь,
Любили мы, друзья, одинъ напитокъ вздорный,
Одно шипучее!... Но эта блажь и дурь
Давнымъ-давно прошла. Остепенившись, нынѣ
На жизнь взираемъ мы смиренно и умно
И уважительны къ ея мы благостынѣ,
Лишь чествуя одно солидное вино!
Лѣта уносятъ все, въ права вступаетъ мѣра,
Не бражничаемъ мы отъ утра до утра,
И развиваетъ насъ портвейнъ и мадера...
И, можетъ быть, близка желанная пора,
Когда, внявъ истинѣ и жаждѣ благородной,
Свое славянское достоинство сознавъ,
Ковшами будемъ пить напитокъ свой, народный, —
Простое пѣнное, чистѣйшее, безъ травъ!

III. ЕГИПТЯНКА.

И развратна и прекрасна,
Обнаживъ свои плеча,
Египтянка въ пляскѣ страстной
И дика и горяча!

Пѣснь изъ устъ ея несется,
Визгъ и стонъ и хохотъ въ ней;
Море огненное льется
У безстыдной изъ очей;
Грудь изъ платья такъ и рвется,
Будто въ платьѣ тѣсно ей.

Но вотъ, какъ бы въ недоумѣньи,
Тряхнувъ кудрявой головой,
Она нежданно и въ волненьи
Остановилась предъ толпой.

Не надолго! Снова мчится...
Вонъ смотрите, вонъ она!

И мятется и кружится,
Опьяненія полна.

. . . . . .

IV.

Въ одинъ трактиръ они оба ходили прилежно
И пили съ отвагой и страстью безумно мятежной,
Враждебно кончалися ихъ биліярдныя встрѣчи
И были дики и буйны ихъ пьяныя рѣчи.
Сражались они межъ собой какъ враги и злодѣи
И даже во снѣ все другъ съ другомъ играли.
И вдругъ подралися.... хозяинъ прогналъ ихъ въ три шеи,
Но въ новомъ трактирѣ другъ друга они не узнали...

V. FAR-NIENTE.

Люблю я, лежа на балконѣ,
Слѣдить, какъ нѣдра темныхъ тучъ
На отдаленномъ небосклонѣ
Вдругъ прорѣзаетъ молньи лучъ;
Люблю я вечера мерцанье,
Стукъ сторожа въ ночной тиши,
На чистомъ небѣ звѣздъ блистанье,
Протяжный свистъ въ лѣсной глуши;
Люблю вечернею порою
Смотрѣть на воды, гдѣ нашъ плотъ,
Куда съ бѣльемъ иль за водою
Смуглянка полная идетъ...

Тогда мнѣ грезится невольно
Иная дѣва, прудъ иной, —
И сердцу весело и больно
Припомнить прошлое порой.

VI. БЫЛО.

Она принесла *ему* въ даръ свое юное сердце,
Порывы любви безграничной и страстной,
Она предалася *ему* не за черныя, ночи подобныя, очи,
Не за станъ его, стройный, ремнемъ перетянутый

Въ рюмку, не за широкія плечи *его*,
Не за ловкость *его* въ контрадансѣ и полькѣ,
Хотя онъ всегда отличался на балахъ въ собраньи,
Не за черкесскій нарядъ, не за шашку,
Не за смѣлую удаль его на конѣ, изукрашенномъ сбруей,
Не за усы, не за носъ, не за взглядъ привлекательный —
Онъ смотрѣлъ всегда какъ-то безсмысленно, тупо —
Не за умъ, не за страстныя, сладкія рѣчи —
Онъ бормотать лишь умѣлъ по-лезгински —
Она полюбила его за достоинства душевныя,
Дивныя, свѣту совсѣмъ неизвѣстныя....

А свѣтскіе люди съ коварной и злобной улыбкой
Объ этой высокой и чудной любви толковали
И клеветой безпощадной жестоко *его* и *ее* уязвляли.
Нелѣпъ и безуменъ союзъ ихъ въ салонахъ блестящихъ казался. *

VII. ПИСЬМО НОВАГО ПОЭТА (1850).

Милостивые государи! Въ журналѣ вашемъ, пользующемся такимъ успѣхомъ (и, по моему мнѣнію, вполнѣ заслуженнымъ), вообще очень рѣдко появлялись стихотворенія, особенно въ послѣдніе годы. Вы напечатали только нѣсколько небольшихъ моихъ стихотвореній, отдавая имъ всегда должную справедливость, что дѣлаетъ честь вашему, мило-

---

* Напечатано въ «Современникѣ» 1850, № 8, съ отрывкомъ изъ письма: «Вамъ уже извѣстно, что я живу теперь въ Москвѣ бѣлокаменной, въ сердцѣ Россіи,—въ Москвѣ, которую призывали въ своихъ сладкозвучныхъ пѣсняхъ всѣ великіе поэты русской земли, въ которой издается «*Москвитянинъ*», помѣщающій творенія гр. Ростопчиной, гг. Мея и Берга, и гдѣ я на берегахъ Москвы и Яузы, полный любви и смиренія, недостойный служитель Аполлона, всегда чувствую въ себѣ несравненно болѣе вдохновенія, чѣмъ на берегахъ Невы. Вмѣстѣ съ нѣсколькими новыми стихотвореніями, я посылаю вамъ два стихотворенія, не принадлежащія мнѣ, но ознаменованныя печатью таланта высокаго. Изъ нихъ въ особенности одно, какъ вы увидите сами, отличается замѣчательными, рѣдкими въ наше прозаическое время поэтическими достоинствами: необыкновенною громкостью и звучностью стиха, богатствомъ и великолѣпіемъ риѳмы ... Привѣтствую русскую литературу съ появленіемъ новаго, мощнаго и прекраснаго поэтическаго таланта и отъ всего сердца желаю, чтобы онъ продолжалъ украшать своими произведеніями страницы вашего прекраснаго журнала». (Приведены два стихотворенія К. К. Павловой: «Вездѣ и всегда» и «Воетъ вѣтръ въ степи огромной»).

стивые государи, тонкому и изящному вкусу. Вы всегда были очень строги, и не безъ основанія, къ разнымъ поэтическимъ опытамъ, потому что въ настоящее время, послѣ Жуковскаго, Пушкина и Лермонтова, одна звучность и гладкость стиха не имѣетъ ровно никакого достоинства. Объ этомъ не одинъ разъ было говорено въ послѣднее время; но такія истины повторять не безполезно.

Что составляетъ истиннаго поэта? глубина мысли, чувства и страсти, неразлучныя съ энергіей выраженія, со *стихомъ звучнымъ и выстраданнымъ*, по выраженію поэта, или эта неопредѣленная, задумчивая прелесть — признакъ души, погруженной въ свои внутреннія явленія и передающей затаенныя движенія и стремленія чувства во всей ихъ простотѣ, безъискуственности и искренности. Такой поэтъ, принадлежитъ ли онъ къ первостепеннымъ или второстепеннымъ поэтамъ, носитъ ли онъ имя Байрона или Пушкина, Огарева или Фета, невольно зажигаетъ родственнымъ огнемъ очи человѣка, подъ какимъ бы поясомъ ни родился онъ.

Я выражаюсь, можетъ быть, нѣсколько темно и неопредѣленно; но о такомъ неопредѣленномъ предметѣ, какъ поэзія, нельзя же говорить языкомъ точнымъ, сжатымъ и положительнымъ. Не правда ли?

Наши пѣсни, милостивые государи, вы знаете, рождаются подъ звуками соловьинаго эха, при мерцаніи звѣздъ на темно-синемъ небѣ, подъ дыханіемъ этихъ росистыхъ и вмѣстѣ теплыхъ ночей, когда, сгараемые жаромъ внутреннимъ, мы вдыхаемъ въ себя и освѣжительную прохладу и вдохновеніе? Но не однѣ ночи любимъ мы, не однѣ онѣ вдохновляютъ насъ: мы отзываемся на всякій звукъ въ природѣ — несется ли онъ къ намъ вмѣстѣ съ ароматическимъ весеннимъ утромъ, когда солнце ярко сіяетъ на небѣ, отражая лучи свои въ каплях росы, дрожащихъ на листахъ лѣсного ландыша или пышной садовой розы, или вмѣстѣ съ зимнимъ вечеромъ, когда все бѣло на дворѣ, когда тонкіе фантастическіе узоры прихотливо рисуются на окнѣ, или съ зноемъ душнаго лѣтняго дня, когда мы, утомленные, лежимъ, подъ тѣнію дерева, на берегу рѣки и задумчиво внимаемъ плеску воды, разсѣкаемой купающимися поселянками....

Но все это вы знаете, милостивые государи, обо всемъ этомъ вы намекнули даже (если я не ошибаюсь) въ вашемъ журналѣ по поводу трехъ поэтовъ: г. Ѳ. Т., Огарева и Фета, знакомые звуки которыхъ вы такъ кстати пробудили въ настоящую минуту, когда, увы! нѣтъ уже болѣе истинныхъ поэтовъ, когда вся русская поэзія (это я могу сказать безъ хвастовства) воплощается во мнѣ одномъ... Въ самомъ дѣлѣ, г. Ѳ. Т. уже совсѣмъ окончилъ свое поэтическое поприще, гг. Огаревъ и Майковъ давно ничего не пишутъ.... да и звуки г. Фета принадлежатъ болѣе къ прошедшему, чѣмъ настоящему, потому-что все лучшее, заключающееся въ изданной имъ книжкѣ стихотвореній, давно извѣстно намъ...

Правда, пишутъ еще стихами гг. М. Дмитріевъ, Сушковъ, Бергъ и другіе (см. «Москвитянинъ»), но о нихъ лучше умолчу; такихъ стихо-

творцевъ можетъ расплодиться очень много, особенно если журналы будутъ поощрять ихъ... И вотъ здѣсь-то я приступлю къ дѣлу и обращаюсь къ вамъ, милостивые государи, съ слѣдующимъ вопросомъ:

Отчего (къ удивленію многихъ) съ 1850 года вы какъ-то вдругъ сдѣлались несравненно снисходительнѣе въ сужденіяхъ своихъ о различныхъ поэтическихъ опытахъ и даже какъ-будто поощряете, вызываете на поэтическую дѣятельность тѣхъ, которыхъ вы же заставили, можетъ быть, пріумолкнуть?

Вы говорите (№ 1, 1850, отд. VI, стр. 44): «Къ числу причинъ малаго количества стиховъ въ настоящее время должно отнести и *дружныя* осужденія журналистики, какимъ, *часто безъ разбора*, подвергались у насъ стихи въ послѣдніе годы.»

Позвольте вамъ замѣтить, что это не совсѣмъ справедливо... Этихъ *дружныхъ* осужденій никогда не существовало. Правда, «Библіотека для Чтенія» подсмѣивалась надъ поэтами, но въ то же время она печатала на первыхъ страницахъ своихъ въ отдѣлѣ изящной словесности стихотворенія ниже всякой посредственности, не имѣющія и тѣни поэтическаго достоинства, а нѣкоторыхъ поэтовъ пожаловала чуть не въ геніи. «Москвитянинъ» продолжаетъ и до-сихъ-поръ печатать плохіе стишки,— и ужь, конечно, нѣтъ журнала болѣе снисходительнаго къ слабымъ поэтамъ. О «Сынѣ Отечества» и говорить нечего. Только «Отечественныя Записки» были не слишкомъ привѣтливы къ разнымъ поэтическимъ опытамъ, появлявшимся въ послѣднее время, да и то не всегда.... На страницахъ этого журнала, въ которомъ когда-то и я былъ сотрудникомъ и гдѣ напечатаны первыя мои поэтическія произведенія, о нѣкоторыхъ юношескихъ попыткахъ, въ формѣ поэмъ, отзывались какъ о произведеніяхъ глубокихъ, истинно-поэтическихъ. Тамъ же печатались сантиментальныя стихотворенія г. Ѳ., довольно тусклыя стихотворенія г. Лизандера и другія на ряду съ Лермонтовымъ и Кольцовымъ!... гдѣ же эти *дружныя* осужденія? Укажите же хоть на одно истинное поэтическое дарованіе, которое было бы осуждено *безъ разбора* журналами?

Вы говорите далѣе, «что теперь нужно *болѣе снисхожденія*, болѣе *вниманія* къ появляющимся поэтамъ»,—что «журналы пріучили смотрѣть своихъ читателей на всякую новую книжку стиховъ недружелюбно, и что отъ этого иногда человѣкъ *весьма умный*, чувствующій въ себѣ поэтическій талантъ, *побоится* выступить съ своими стихами».... и проч.

Нѣтъ! это несправедливо. Развѣ Лермонтова журналы встрѣтили недружелюбно? Развѣ они отзывались когда нибудь дурно о стихотвореніяхъ г. Огарева? Развѣ въ настоящую минуту не хвалятъ они (иногда даже слишкомъ) г. Фета?

Повѣрьте, журналы своими отзывами не могутъ повредить поэтическому таланту въ человѣкѣ, который дѣйствительно имѣетъ его. Нѣтъ, мы вообще нуждаемся въ дѣльной, строгой и безпристрастной критикѣ, а не въ *снисходительныхъ отзывахъ*.

Не сожалѣйте же, что теперь пишутъ мало стиховъ: это признакъ возмужалости литературы; Бога ради, идите своимъ прежнимъ путемъ

и не поощряйте плохихъ стихотворцевъ... Успокойтесь, — поэзія не умерла. Я пишу стихи. Чего же вамъ больше? Я вамъ буду присылать въ каждую книжку по нѣскольку стихотвореній, если вы хотите. Давно же я не появлялся въ печати потому, что занятъ большой поэмой, надъ которой долго тружусь и которая должна поразить глубиною мысли и объективностью взгляда.

Сознавая свой талантъ, я не считаю, однако, себя геніемъ; въ моихъ поэтическихъ произведеніяхъ вы, конечно, не найдете ничего новаго, рѣзко-самобытнаго, но зато въ нихъ вы услышите родные, знакомые вамъ звуки и эти задумчивые аккорды души, и эту беззвучную музыкальность чувства.... и все, чѣмъ вы такъ восхищаетесь отдѣльно въ новѣйшихъ поэтическихъ талантахъ... Въ ожиданіи, что вы посвятите мнѣ отдѣльную статью въ «Современникѣ», въ которой окончательно опредѣлите степень и силу моего таланта и объясните мое значеніе въ русской литературѣ, я посылаю вамъ нѣсколько новыхъ моихъ стихотвореній. (Напечатано «Воспоминаніе» и «Far-niente».

VIII. ПИСЬМО НОВАГО ПОЭТА (1852).

Въ Смѣси X № «Отечественныхъ Записокъ», журнала, какъ вамъ, милостивые государи, извѣстно, довольно знакомаго мнѣ, ибо и я принадлежалъ къ числу его сотрудниковъ, * помѣщена статейка (въ формѣ письма), подписанная буквами С. С—чъ. Эта статейка, въ которой доказывается, что «Современникъ» — журналъ очень плохой, а «Отечественныя Записки» — журналъ превосходный, конечно, не обратила бы на себя моего вниманія, если бы въ ней не упомянуто было мое имя, — имя *Новаго Поэта*, такъ хорошо извѣстное читателямъ обоихъ журналовъ. Уважаемый мной редакторъ «Отечественныхъ Записокъ», который во время óно не пренебрегалъ моими стихотвореніями и печаталъ о нихъ лестные отзывы, чтò я могу доказать, въ случаѣ нужды, выписками изъ «Отечественныхъ Записокъ», — помѣщая статейку г. С. С—ча, счелъ долгомъ, въ выноскѣ (чтò дѣлаетъ честь его безпристрастію), *умыть*, какъ говорится, *руки*, вѣроятно потому, что эта статейка показалась и ему не совсѣмъ чистою. Онъ, по собственному его признанію, не желаетъ *отвѣтствовать за высказанныя въ ней мнѣнія*... Но здѣсь представляется невольно вопросъ: зачѣмъ же редакторъ «Отечественныхъ Записокъ», — ученыя познанія котораго, многосторонніе литературныя свѣдѣнія, эстетическій вкусъ и скромность не подлежатъ ни малѣйшему сомнѣнію, — зачѣмъ онъ помѣщаетъ въ своемъ журналѣ такія статейки, за которыя онъ не беретъ на себя отвѣтственности и еще, помѣщая ихъ, считаетъ необходимымъ *умывать свои руки?* Я думаю, что въ особенности чувство скромности редактора «Отече-

---

* Первыя стихотворенія мои появились въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1842 года.

ственныхъ Записокъ» не должно бы было дозволить ему напечатаніе въ своемъ журналѣ такой статейки, въ которой этотъ журналъ восхваляется чрезъ мѣру и въ то же время чрезъ мѣру унижается другой журналъ, всегда отзывавшійся съ должною справедливостью о своемъ литературномъ собратѣ. Люди, мало посвященные въ литературныя тонкости, не знающіе о безпристрастіи редактора «Отечественныхъ Записокъ», пожалуй, подумаютъ (чего я никакъ не могу допустить), что статейка г. С. С—ча сочинена въ самой редакціи и не безъ намѣренія появилась *осенью* при подпискѣ на журналы. Такія *осеннія* замѣтки должны быть очень хорошо извѣстны редактору «Отечественныхъ Записокъ», который не одинъ разъ жаловался на нихъ публикѣ, когда дѣло касалось его журнала...

Признаюсь, я не нахожу ни безпристрастія, ни остроумія, ни литературнаго такта въ *осенникъ* взглядахъ г. С. С—ча, которые къ тому же *выступаютъ потихоньку* (стр. 287), по его собственному выраженію, какъ будто самъ авторъ чувствуетъ себя какъ-то не совсѣмъ ловко. Впрочемъ, не мнѣ судить, до какой степени хороша эта *осенняя* статейка: лучшій судья въ этомъ дѣлѣ — подписчики «Отечественныхъ Записокъ». Я же никогда не принадлежалъ къ числу подписчиковъ русскихъ журналовъ, потому-что всегда получалъ ихъ *безденежно* отъ гг. редакторовъ (не исключая и «Отеч. Зап.», до 1846 года включительно). Я и вѣрно многіе другіе и до статейки г. С. С—ча не сомнѣвались, что «Отечественныя Записки» — журналъ очень хорошій, что ученый редакторъ «Отечественныхъ Записокъ» употребляетъ всѣ зависящія отъ него средства для улучшенія своего журнала, украшающагося почти постоянно именами гг. Бернета и Вл. Зотова, — что лучшимъ доказательствомъ этого служитъ даже послѣдній, X № «Отечественныхъ Записокъ», въ которомъ помѣщено начало романа г. Влад. Зотова въ *восьми частяхъ и съ прологомъ!* Послѣ всего этого — помѣщать еще себѣ хвалебную статейку, мнѣ кажется, это ужъ было совершенно излишне...

Теперь я скажу нѣсколько словъ о томъ, что̀ касается до меня лично въ статейкѣ «Отечественныхъ Записокъ». Отрицая *литературный элементъ* въ журналѣ, издаваемомъ вами, милостивые государи, господинъ, *потихоньку выступающій*, съ *осенними взглядами*, находитъ, что называть литературнымъ элементомъ *стихотворенія новыхъ*, *непризнанныхъ* (?) и *другихъ поэтовъ*, значитъ вредить «Современнику», чего онъ, авторъ статейки, конечно, нисколько не желаетъ. Не считая нужнымъ вступаться за *непризнанныхъ поэтовъ* (ибо я не знаю, о комъ идетъ здѣсь рѣчь), я долженъ замѣтить, что «Современникъ» не отличается, кажется, большою снисходительностью къ поэтамъ и рѣдко печатаетъ стихотворенія не только *непризнанныхъ*, но и *признанныхъ* поэтовъ, которыхъ, впрочемъ, почти и нѣтъ въ настоящую минуту въ русской литературѣ. Я же, оставляя всякую скромность, не полагаю, чтобы стихотворенія *Новаго Поэта* могли *вредить* какому либо литературному журналу, не исключая и «Отечественныхъ Записокъ», на страницахъ

которыхъ (мнѣ пріятно опять-таки повторить это) они печатались, можетъ быть, даже и съ излишними похвалами.

Защищать собственныя сочиненія въ журналѣ, въ которомъ я имѣю честь участвовать, и утверждать, что въ нихъ есть литературныя достоинства, я не считаю приличнымъ и ловкимъ, точно также, напримѣръ, какъ я не считалъ бы приличнымъ и ловкимъ, если бы былъ редакторомъ журнала, помѣщать въ собственномъ журналѣ похвалы самому себѣ, рядомъ съ отзывами, не совсѣмъ благопріятными, о другихъ журналахъ. Меня еще удержала бы въ этомъ случаѣ, кромѣ собственнаго такта, одна прекрасная русская пословица, которую могли бы мнѣ тогда напомнить кстати, и которую я, однако, не хочу напоминать здѣсь редактору «Отечественныхъ Записокъ».

Письмо мое, милостивые государи, не имѣетъ цѣлью заводить полемику съ господиномъ, *выступающимъ потихоньку*, съ *осенними взглядами*... Боже меня сохрани отъ этого! Я вообще избѣгаю всякихъ сношеній съ господами, сочиненія которыхъ помѣщаютъ *умывая руки*,— во-первыхъ потому, что я самъ права очень веселаго и смотрю на все—даже и на *осенніе* статейки—съ самою свѣтлою *весеннею* улыбкою,— а во-вторыхъ потому, что чрезвычайно люблю чистоплотность и имѣю дѣло только съ такими литераторами, сочиненія которыхъ печатаются безъ *умовенія рукъ*. Письмо мое не болѣе, какъ литературная замѣтка, какъ знакъ удивленія: ка́къ могъ ученый и уважаемый мной редакторъ «Отечественныхъ Записокъ», съ его литературнымъ тактомъ, помѣстить у себя такую статейку, которая можетъ бросить неблагопріятную тѣнь скорѣе на журналъ, въ которомъ она напечатана, нежели на журналъ, на который она нападаетъ. Имѣю честь быть.... и проч.

P. S. Прилагаю при семъ нѣсколько новыхъ моихъ стихотвореній.

IX. СТРАННЫЙ СОНЪ.

(Письмо Новаго Поэта). *

Милостивые государи! Вы просите у меня стихотвореній для вашего перваго нумера. Благодарю васъ за любезность. Мнѣ очень лестно ваше доброе мнѣніе о моихъ поэтическихъ бездѣлкахъ; но, къ сожалѣнію, я не могу удовлетворить вашей просьбѣ. Въ сію минуту у меня нѣтъ ничего оконченнаго, кромѣ одного стихотворенія, печатаніе котораго я хочу отложить до времени. Начатыхъ трудовъ много, и въ разныхъ родахъ: поэмъ, драмъ, посланій къ *друзьямъ*, всякихъ лирическихъ и драматическихъ фантазій; но страшно приняться за разработку ихъ. Къ тому же, я долженъ признаться вамъ, что литература мнѣ немножко надоѣла. Невольно вспоминаю прошедшее: эти счастливые, невозвратные года молодости, когда я бывало

---

* «Современникъ» 1851, № 1.

.... пѣвалъ безъ принужденья,
Какъ на вѣткѣ соловей....

и печаталъ мои стихи въ лучшемъ журналѣ того времени, съ ученымъ редакторомъ котораго я находился тогда въ очень пріятныхъ отношеніяхъ... Все это

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой!

Я люблю вспоминать прошедшее: мои первые успѣхи въ литературѣ, мои знакомства и сношенія съ геніальными людьми того времени, наши литературныя собранія, литературныя прогулки, литературные обѣды, ссоры и примиренія. Все это такъ живо въ моей памяти! Сколько простодушнаго и забавнаго было во всемъ этомъ! И какая, бывало, смѣсь *одеждъ и лицъ* на этихъ литературныхъ сходкахъ! Здѣсь вы могли встрѣтить и первыхъ бойцовъ, ветерановъ русской литературы и тѣхъ жалкихъ, мелкихъ литературныхъ существъ, у которыхъ, по выраженію поэта,

.... стекла битыя въ карманѣ
И обгрызокъ колбасы!

А литературные ужины, гдѣ передъ поэтами перваго разряда ставился лафитъ изъ англійскаго магазина, а передъ третьестепенными поэтами медокъ отъ Фохтеа въ 1 руб. 20 коп. ассигн... тогда еще считали на ассигнаціи!... Все измѣнилось окрестъ насъ, и нѣтъ ужъ на свѣтѣ героевъ, дававшихъ эти ужины... А давно ли все это было?

Давно ль, друзья? Но двадцать лѣтъ
Тому прошло....

Раздумавшись о прошедшемъ, на-дняхъ, послѣ обѣда, у моего камина, въ которомъ ярко горѣлъ уголь (patent-fuel), который я беру обыкновенно въ Конторѣ Коммиссіонерства и Агентства Языкова и Комп., я погрузился въ самый сладкій и пріятный сонъ... Мнѣ снилось, что я помолодѣлъ семнадцатью годами, что я очень тонокъ и блѣденъ, что у меня густые волосы и мягкіе небольшіе усики... да, это былъ только сонъ... упоительный сонъ!.. что я страшно робокъ, что я питаю ничѣмъ непреодолимую страсть къ поэзіи и почитаю высочайшимъ благомъ на землѣ напечатать свои *первые опыты въ одномъ изъ лучшихъ нашихъ журналовъ* и познакомиться съ какимъ нибудь журналистомъ и литераторомъ, хоть бы даже съ Иногороднымъ Подписчикомъ «Современника», который имѣетъ такую слабость къ поэтамъ... Мнѣ снилось, что *Новый Поэтъ* лицо отъ меня совершенно отдѣльное, ничего неимѣющее общаго со мной и даже вовсе незнакомое мнѣ. Въ юношескомъ нетерпѣніи видѣть имя свое поскорѣе на сѣренькой или песочной оберткѣ журнала, я принялся писать письма къ редакторамъ журналовъ. Письма эти были такого содержанія. Проснувшись, я запомнилъ ихъ слово-въ-слово и записалъ.

Письмо I.

Милостивый государь! Въ обширномъ нашемъ дорогомъ отечествѣ есть много знаменитыхъ талантовъ: ученыхъ, музыкантовъ, натуралистовъ, антикварієвъ, артистовъ, поэтовъ; *но нѣтъ ни одного такого поэта, какъ я*... что̀ докажутъ вамъ, милостивый государь, мои первые опыты, которые я имѣю честь представить вашему строгому, но справедливому суду, не разъ добросовѣстно высказанному въ вашемъ прекрасномъ журналѣ молодымъ писателямъ... Съ истиннымъ моимъ уваженіемъ и проч.

Написавъ это письмо, я нѣсколько разъ перечелъ его. Фраза: *нѣтъ ни одного такого поэта, какъ я*, написанная, разумѣется, въ шутку, и начало письма. — все это показалось мнѣ неловкимъ, и я съ досадой разорвалъ письмо.

Вдругъ мнѣ пришло въ голову (во снѣ чего не приходитъ въ голову!), будто я родственникъ одному изъ редакторовъ журнала, который, впрочемъ, меня никогда въ глаза не видалъ и не подозрѣваетъ о моемъ существованіи.

Я схватилъ перо и написалъ:

Письмо II.

Милостивый государь! Помня родство наше и искреннія отношенія покойныхъ отцовъ нашихъ, я, надѣясь на ваше снисхожденіе, беру смѣлость безпокоить васъ покорнѣйшею просьбой: я желалъ бы видѣть стихи свои помѣщенными въ журналѣ; *пока мнѣ 18 лѣтъ* (я убавилъ три года), *меня это довольно* занимаетъ, а вы, *я надѣюсь, уважая эту причину*, вѣроятно, будете снисходительнѣе и *безъ церемоніи, какъ родному*, скажете, что̀ дурно и что̀ хорошо, что̀ можно помѣстить въ вашемъ журналѣ и что̀ нѣтъ. Эта-то надежда и ободрила меня такъ, что *я рискую наконецъ привести въ исполненіе мое давнишнее желаніе*. Итакъ, милостивый государь, или почтеннѣйшій родственникъ (какъ позволите называть васъ?), если посылаемые мной стихи будутъ приняты благосклонно, то я по мѣрѣ того, какъ позволятъ мнѣ мои занятія, *буду присылать вамъ мои сочиненія въ стихахъ и прозѣ. Увѣряя себя*, что вы примете меня милостиво въ ваше родственное расположеніе, съ истиннымъ почтеніемъ и проч.

Это роковое посланіе я запечаталъ и отослалъ.

Поразмысливъ немного, я вознамѣрился также написать и къ *Новому Поэту*, чтобы на всякій случай снискать его расположеніе. Письмо это, по моему мнѣнію, должно было непремѣнно произвести эффектъ на Новаго Поэта, потому-что я разсыпалъ въ немъ много юмору. Я писалъ:

Письмо III.

Безконечно мной уважаемый и достойно цѣнимый г. Новый Поэтъ! Да не оскорбится ваше справедливое честолюбіе и славолюбіе моею дерзкою попыткою представить на судъ публики первый и слабый плодъ

моего слабаго таланта. Впрочемъ, можете ли вы обидѣться? Развѣ досягаема для другого та высота славы, съ которой вы бросаете юпитеровскіе взгляды на мелкую толпу? Кромѣ того, вы поймете, что я не мечтаю о соперничествѣ—уже и оттого, что съ этою *первою попыткою* я обращаюсь къ вамъ. Вы увидите, наконецъ, о, скромнѣйшій изъ поэтовъ! что васъ считаю я моимъ руководителемъ и менторомъ на указанномъ вами благородномъ, трудномъ и скользкомъ пути.

Итакъ, выслушайте благосклонно *вопль разбитой души* непризнаннаго поэта:

Потухъ волканъ моихъ страстей!
Ужъ въ жилахъ кровь не такъ клокочетъ
И надъ безумьемъ прошлыхъ дней
Разсудокъ съ злобою хохочетъ!
Смиренъ безсильемъ гордый умъ:
Онъ тайнъ природы не постигнулъ,
И мощной силой мощныхъ думъ
Впередъ искусства не подвигнулъ!
Онъ неуспѣхомъ заклеймилъ
Высокій міръ моихъ мечтаній
И ядомъ горькихъ испытаній
Въ призванье вѣру отравилъ!...
Съ тѣхъ поръ, отверженный, унылый,
Въ тоскѣ, съ разбитою душой,
Тащуся до своей могилы
И я избитою тропой!!?...

И представьте себѣ мое отчаяніе, г. Новый Поэтъ — мнѣ едва минуло *двадцать лѣтъ:* сколько же мнѣ придется тащиться съ разбитою душою до моей могилы? А тутъ еще на каждомъ шагу удары жестокой судьбы и другія непріятности со стороны неумолимаго рока! Тяжело!! Прощайте. Весь вашъ *Непризнанный поэтъ.*

Я не ошибся: письмо мое и особенно стихи (такъ по крайней мѣрѣ мнѣ снилось) очень понравились Новому Поэту; онъ съ гордостью читалъ его своимъ знакомымъ, замѣчалъ, что во мнѣ есть точно искра неподдѣльнаго таланта, и напечаталъ ихъ въ журналѣ, котораго онъ былъ сотрудникомъ. Все это чрезвычайно льстило моему самолюбію, особенно съ тѣхъ поръ, какъ я узналъ, что одному пожилому и ученому господину наотрѣзъ отказали въ этомъ же журналѣ въ помѣщеніи его поэмы, подъ заглавіемъ: *Духъ свѣта или Млеко сердца*, хотя этотъ ученый господинъ былъ твердо убѣжденъ въ томъ, что его поэма будетъ принята редакціею съ распростертыми объятіями, почему онъ и написалъ къ ней такое письмо:

«Редакціи *предоставляется право* напечатать эту поэму. Я же *чаю* вознагражденія за трудъ, котораго полагаю не менѣе 100 рублей серебромъ за листъ (плата умѣренная)». (Конечно!).

Мнѣ снилось, что нѣкоторые молодые пріятели, ободренные моимъ успѣхомъ, также пытались посылать плоды своей музы въ редакцію того журнала, гдѣ были напечатаны мои стихи; но ихъ попытки, увы! были неудачны. Одинъ изъ этихъ юношей, сгараемый страстью печататься, написалъ даже такое отчаянное письмо къ редактору:

Письмо IV.

«Милостивый государь! Каждая изъ пьесъ, мною посылаемыхъ, стоитъ мнѣ много безсонныхъ ночей и страданій. *Я знаю*, вы не будете смѣяться надо мною. Вамъ это *непристало*. Вы только пожмете плечами или слегка презрительно улыбнетесь; но это меня не удивитъ: *мнѣ давно знакомо презрѣніе всѣхъ родовъ*... Но, можетъ быть, я ошибаюсь, можетъ быть, вы дѣйствительно сочувствуете поэту, тогда, — о тогда, ради Бога! со вниманіемъ прочтите мои пьесы, и вы поймете, какъ много я страдалъ (изъ этихъ пьесъ, впрочемъ, ровно ничего нельзя было понять) и какъ много долженъ былъ перечувствовать. Я прошу васъ, напечатайте пьесы, приложенныя при этомъ письмѣ (письмо было написано съ самыми дѣтскими грамматическими ошибками), чтобы я могъ видѣть, что журналъ понялъ меня. Тогда, имѣя цѣль, я *вооружусь новыми силами для борьбы съ жизнію и увѣренъ, что останусь побѣдителемъ*... Но если вы откажете, то мнѣ не останется изъ моего положенія другого выхода, какъ черезъ могилу. О! не допустите меня до этого: *я человѣкъ и вы человѣкъ; мнѣ только двадцать одинъ годъ*, я чувствую въ себѣ силы, но нѣтъ средствъ ихъ употребить въ дѣйствіе... неужели никто не пойметъ этого?»

Безжалостная редакція не поняла моего пріятеля: пьесы его не были напечатаны; однако, онъ до-сихъ-поръ, благодаря Бога, живъ.

Мнѣ также снилось, что *тринадцатилѣтній* сынъ одного моего знакомаго, очень почтеннаго человѣка, мальчикъ, едва выучившійся писать по линейкамъ, узнавъ о напечатаніи моихъ стиховъ, разумѣется, тайкомъ отъ родителей, послалъ въ журналистику слѣдующее письмо и стихи:

Письмо V.

«Незная вашего имя и отчества я прошу васъ пожалуста *напишите* ето стихотворенія не означая имя моего города но можетъ быть вы найдете нѣкоторые недостатки то прошу извинить мнѣ только 13 лѣтъ.

ГЕНІЙ.

0 — мой Геній благодатной
1 — кости судьбу мою
2 — рь отторгнувъ съ непонятной
3 — зну праздпуешь свою....»

Поощренный добрымъ журналистомъ (не забывайте, что это все сонъ), я началъ каждый мѣсяцъ посылать къ нему по нѣскольку стихотвореній. Нѣкоторыя изъ нихъ удостоились чести быть напечатанными, а именно слѣдующія:

ВЕЧЕРЪ НА ДНѢПРѢ.

Солнце сѣло. Тѣнь ложится
Отъ пестаныхъ береговъ;

Мѣсяцъ полный серебрится
Межъ туманныхъ облаковъ.

Но вотъ внятно слуху стало:
По Днѣпру издалека
Пронеслась и прозвучала
Пѣснь родная рыбака.

Тише, тише становился
Голосъ звонкій на рѣкѣ;
Вотъ послѣдній звукъ *пролился*,
Умирая вдалекѣ.

***

Какъ прежде когда-то бывало,
Проводимъ мы съ ней вечера;
И будто что̀ было, что̀ стало,
Все это случилось вчера....

И грусть, и тоска, и разлука
Мелькнули томительнымъ сномъ,
И снова отъ чуднаго звука
Вся грудь запылала огнемъ.

И снова, какъ было и прежде,
Ведемъ мы живой разговоръ;
Но сердце не вѣритъ надеждѣ,
А прошлое шепчетъ укоръ!

ВОСПОМИНАНІЕ.

Мы съ нею одни на диванѣ сидѣли
И долго молчали въ какомъ-то невѣдомомъ, сладкомъ забвеньи,
Лишь въ страстныя очи другъ другу глядѣли
И руки сжимали въ сердечномъ волненьи.

Вдругъ дверь отворилась: сварливая тётка
Ея показалась.... и руки у насъ опустились:
Мы вздрогнули, встали, какъ дѣти смутились,
И стало намъ какъ-то обоимъ неловко.

Весь вечеръ потомъ мы безмолвно сидѣли,
Не смѣя взглянуть другъ на друга.... Старушка вязала,
Племянница грустно въ окошко глядѣла,
А въ глазкахъ слезинка алмазомъ сверкала.

КАКЪ ЖАЛЬ, ЧТО ЕЯ НѢТЪ СО МНОЮ.

Брожу я одинъ надъ рѣкою.
Ночь тихая; воздухъ душистый;
Край неба подернутъ зарею
И блещетъ какъ пологъ огнистый....
Но поздно. Густой пеленою
Туманъ разостлался волнистый,

И городъ весь скрылся за мглою:
Какъ жаль, что ея нѣтъ со мною!

Чуть слышно, какъ волны катятся,
Плескаясь одна за другою,
И мошки игриво роятся
И *дружно* жужжатъ надо мною.
Печальныя думы родятся
Въ душѣ моей, чуждой покоя...
Какъ жаль, что ея нѣтъ со мною!

ПРИЗНАНІЕ.

И скучно и грустно текутъ мои дни,
И не съ кѣмъ дѣлить мнѣ печали:
Вездѣ, неизмѣнно, онѣ лишь однѣ
Меня за родныхъ провожали.
Какъ вѣрные спутники — грусть и тоска
На сердцѣ запали глубоко;
А съ ними и то, что̀ живило слегка,
Давно отлетѣло далеко.
Въ душѣ — какъ въ могилѣ, все стало темно;
Безмолвна пустынника келья:
Ее посѣщаетъ лишь горе одно
И чужды ей звуки веселья.
И вотъ я печально, уныло влачу
Дни, полные злого несчастья:
И тщетно въ семъ мірѣ холодномъ ищу
Хоть въ комъ нибудь искры участья.
Съ младенческихъ лѣтъ я блуждаю по немъ
Какъ странникъ, всегда безъ пріюта:
Не ждетъ пришлеца ни богатый пріемъ,
Не даже сиротки — каюта.
Зимою, какъ лѣтомъ, небесъ стройный сводъ
Мнѣ служитъ надежнымъ покровомъ;
Никто вѣдь не призритъ меня отъ невзгодъ,
Ни встрѣтитъ привѣтливымъ словомъ.
И съ нѣжными ласками я незнакомъ:
Всѣ нынѣ убогихъ не любятъ;
Меня всѣ бѣгутъ лишь при видѣ одномъ,
Безъ жалости гонятъ и судятъ.
Ни разу красотки увлаженный взоръ
Не палъ на меня съ состраданьемъ:
Въ немъ вѣчно пыласть презрѣнье — укоръ,
Не льститъ онъ меня упованьемъ.
Въ борьбѣ постоянной съ людьми и собой,
Не зная конца всѣмъ мученьямъ,
Я жду, когда смерть моя съ лютой судьбой
Мнѣ будетъ служить примиреньемъ.
Тогда наконецъ я навѣки прощусь
Со всѣми земными трудами
И съ искренней дружбой, какъ братъ обоймусь
Съ незримыми гроба жильцами.
Къ могилѣ моей хоть никто не придетъ
Съ тоской и печалью на сердцѣ,
Но путникъ усталый на ней отдохнетъ
И вспомнитъ о бѣдномъ скитальцѣ!...

Не довольствуясь мелкими стихотвореніями, я написалъ между прочимъ поэму, въ подражаніе отчасти Пушкину, а отчасти Лермонтову. Она называлась *Шамаханская плѣнница* и начиналась такъ:

Зачѣмъ же съѣхалися ханы?
Безумный пиръ ли пировать?
Итти ль войной на вражьи станы?
Иль вражьи полчища встрѣчать?...

Героиней поэмы, разумѣется, была княжна. Поэма оканчивалась этими звучными и гладкими стихами:

. . . . . Разсвѣтаетъ.
Заря красой своей блистаетъ.
При блескѣ *рѣскошныхъ* лучей
Любимецъ царственной девицы
Поетъ дубравный соловей
На встрѣчу милой чаровницы.
Притихли волны. Воздухъ тихъ.
Въ гаремѣ тихо, какъ и было.
Все тотъ же рядъ сторожевыхъ,
Все тотъ же окликъ ихъ унылой.
Все тотъ же челнъ — и въ немъ княжна,
Блѣдна, спокойна, холодна.
Краса увяла *неземная!*
. . . . . .
Но вотъ надъ тихою рѣкою
Игриво-шумный вѣтерокъ
Подулъ прохладою дневною. .
И... далеко поплылъ челнокъ!...

Вторая поэма заимствована была (все это во снѣ) изъ народныхъ преданій и называлась *Гномъ:* но эта поэма мнѣ не удалась: стихи были тяжки и грубоваты, въ родѣ слѣдующихъ:

Для переду коснувшись *тайнъ*,
Могу сказать и самъ хозяинъ
Камней, и розсыпей и рудъ,
Какъ намъ открыто, любитъ трудъ.. .
и прочее.

Послѣ всѣхъ этихъ подвиговъ, я нешутя считалъ себя великимъ поэтомъ, совершенно забывъ, что до меня существовали Жуковскій, Пушкинъ и Лермонтовъ... Я вообразилъ, что пріобрѣлъ колоссальную славу, что имя мое гремитъ

. . . . . отъ Перми до Тавриды,
Отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды,
Отъ потрясеннаго Кремля
До стѣнъ недвижнаго Китая...

И я утоналъ въ неизъяснимомъ блаженствѣ. Какой чудный сонъ!

Полный этими очаровательными мыслями, я закурилъ отличную сигару; въ головѣ моей зашевелилось новое стихотвореніе, какъ вдругъ дверь моего кабинета съ шумомъ отворилась — и вошелъ какой-то мрачный незнакомецъ, съ волосами, надвинутыми на лобъ, и съ длинными усами. То былъ *Новый Поэтъ.* Не знаю отчего, я поблѣднѣлъ при этомъ неожиданномъ появленіи.

— Чему я обязанъ... пролепеталъ я, робко вставая съ креселъ.

— Милостивый государь, произнесъ Новый Поэтъ: — я являюсь къ вамъ незваным гостемъ... извините меня (онъ снялъ безъ церемоніи желтую лайковую перчатку, отлично обтягивавшую его руку, и бросилъ ее въ шляпу). — У васъ, кажется, недурныя сигары... я большой охотникъ до сигаръ...

И при этихъ словахъ онъ совершенно безъ застѣнчивости развалился въ моихъ креслахъ.

Я молча подалъ ему сигары и спички. Онъ закурилъ. Два или три раза пустивъ дымъ изо рту, онъ сказалъ небрежно, поднявъ верхнюю губу къ носу:

— Сигары ваши хороши, только не совсѣмъ сухи... а что, мой неожиданный приходъ васъ удивляетъ?...

— Нисколько, отвѣчалъ я: — я очень радъ, я...

— Знаете ли, что я пришелъ къ вамъ съ доброю цѣлью, изъ желанія вамъ добра... Я вамъ хочу кое-что высказать. Моя откровенность, можетъ быть, покажется вамъ въ сію минуту нѣсколько жосткою и неумѣстною... Но современемъ, когда вы возмужаете, придете въ зрѣлый возрастъ, вы, я въ этомъ увѣренъ, будете благодарить меня за нее... Вы пишете стихи,—вы очень молоды... это понятно .. Кто же не писалъ въ молодости стиховъ и кто не воображалъ себя нешутя поэтомъ? Зачѣмъ же вамъ быть исключеніемъ изъ общаго правила? Журналисты печатаютъ нѣкоторые ваши стихи, — они, по моему мнѣнію, дѣлаютъ дурно, потому что стихи ваши не стоятъ того, чтобы ихъ печатать...

Я пошевельнулся на стулѣ...

— Не перебивайте меня. Я читалъ всѣ ваши напечатанные и ненапечатанные стихи... Нѣкоторые изъ нихъ недурны; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы вы были поэтомъ... Повѣрьте, «То кровь кипитъ, то силъ избытокъ» .. Послѣ Пушкина и Лермонтова трудно быть поэтомъ. Послѣ нихъ писать гладкіе и звучные стихи немудрено; но между истинной поэзіей и звучными и гладкими стихами бездна неизмѣримая. Не слушайтесь похвалъ журналистовъ и поощреній *Иногородняго Подписчика*... Этотъ подписчикъ шутитъ и иногда даже очень легко о предметахъ очень серьёзныхъ. Онъ человѣкъ милый и образованный — я съ нимъ коротко знакомъ—но онъ помѣшанъ на парадоксахъ и блесткахъ. Онъ немножко *фатъ*... Въ васъ, можетъ быть, и есть поэтическое дарованіе; но оно еще въ зародышѣ, — вы только начинаете: зачѣмъ же спѣшить печатать? Какое дѣло читателямъ журналовъ до вашихъ *первыхъ опытовъ?* Журналъ долженъ представлять зрѣлые литературные труды, а не пробу пера, не попытки молодыхъ людей. . Черезъ десять лѣтъ, пробѣгая старые журналы, вы, краснѣя, съ досадою и горькою усмѣшкою встрѣтите собственное имя подъ какими нибудь стишками, которые вы почитаете теперь великимъ произведеніемъ, и готовы будете вырвать этотъ листокъ... Но вѣдь вы вырвете его только изъ одного экземпляра!... Погодите печатать... не торопитесь. Для меня первые опыты

даже великимъ поэтовъ — непріятны. Скажите, не досадно ли читать, напримѣръ, стихотвореніе Пушкина къ *Красавицѣ, нюхающей табакъ?*...

Во все время этой рѣчи я сидѣлъ какъ на иголкахъ и кусалъ губы...

— Выслушайте меня терпѣливо до конца, продолжалъ Новый Поэтъ: — я вамъ открою великую тайну — и онъ наклонился ко мнѣ. — Вы, можетъ быть, думаете, что все это я говорю изъ зависти, что я *нешутя* считаю самого себя поэтомъ... Вы ошибаетесь: я врагъ непримиримый врагъ всѣхъ посредственныхъ поэтовъ, — я смѣюсь надъ этими поэтами, — я пишу на нихъ пародіи, всѣ стихи мои не болѣе, какъ шутка, какъ желаніе доказать, что въ наше время, послѣ Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Лермонтова, писать звучные стихи ровно ничего не значитъ, что это только небольшой, механическій трудъ... Знайте, милостивый государь, что я не имѣю ни малѣйшаго поэтическаго дарованія, что я..

Но тутъ почудилось мнѣ, что Новый Поэтъ упалъ на меня всею своею тяжестью... Я задыхался... а тонкія оконечности усовъ его болѣзненно щекотали мои щеки... Мнѣ стало нестерпимо страшно... Я закричалъ... и съ усиліемъ проснулся... Угли догорѣли въ каминѣ... Я протеръ глаза... Сердце мое сильно билось... Какой странный, нелѣпый сонъ! Видѣть во снѣ самого себя и не признавать въ себѣ ни малѣйшаго поэтическаго дарованія!... Какой вздоръ можетъ иногда присниться, особенно послѣ хорошаго и сытнаго обѣда...

Я поднялся съ дивана, выпилъ стаканъ холодной воды и нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ. На письменномъ столѣ моемъ я нашелъ стихотвореніе, неизвѣстно чье и какимъ образомъ попавшееся ко мнѣ. Вы, вѣрно, съ удовольствіемъ напечатаете его въ «Современникѣ» и послѣ этого не будете сожалѣть, что на этотъ разъ я не послалъ вамъ ничего своего. (Приведено стих. М. П. Розенгейма: «А годы несутся, а годы летятъ»).

X. НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ОТЪ НОВАГО ПОЭТА. *

Новому Поэту очень нравятся слова Сенъ-Бёва, недавно имъ высказанныя: «Je déteste *la soi-disant belle poésie qui n'a que forme et son*, de peur qu'on ne la prenne pour la vraie et qu'elle n'en usupre la place, de peur qu'elle ne simule et ne ruine dans les esprits cette réalité divine, quelquefois éclatante, d'autrefois modeste et humble, toujours élevée, toujours profonde... (Я не терплю этой такъ называемой поэзіи, которая вся заключается только въ звукѣ и формѣ, — не терплю потому, что ее могутъ принять за истинную, потому, что она можетъ незаконно

---

* «Современникъ» 1851, № 4.

занять ся мѣсто, потому, что она можетъ исказить и уничтожить чувство истины — эту дѣйствительность, иногда блестящую и торжественную, иногда смиренную и кроткую, но всегда возвышенную, всегда глубокую).

Вотъ противъ этой-то такъ называемой поэзіи, облеченной только въ болѣе или менѣе громкіе звуки и въ болѣе или менѣе изящную форму и прикидывающейся иногда глубокою, вооружался и вооружается Новый Поэтъ. Что̀ въ этихъ звукахъ, льстящихъ только уху? что̀ въ этой формѣ, незаключающей никакого содержанія, или что̀ въ этомъ содержаніи, въ которомъ видна только одна смѣшная претензія на глубину? Что̀ намъ за дѣло до того, что авторъ *не проситъ покоя, не ждетъ ничего отъ судьбы*, что *онъ съ кѣмъ-то разстался и не встрѣтится снова, что ему мечтать нездорово, что его сердце больное спитъ, убаюканное моремъ?*... Что̀ въ этихъ *резонёрскихъ*, вѣющихъ холодомъ стишкахъ, въ которыхъ авторъ твердитъ безпрестанно и съ гордостью, что онъ *человѣкъ*, что онъ хочетъ *мыслить, дѣйствовать, страдать, любить*, что его духъ *погружается въ глубину* и оттуда достаетъ мысли на диво всему міру, *что онъ хочетъ прогремѣть надъ этимъ міромъ?*... и проч. Что̀ въ этихъ фразахъ, закованныхъ въ стопу, но не имѣющихъ искры поэзіи? Что̀ въ этихъ стихахъ непрочувствованныхъ и невыстраданныхъ?... Погружайтесь въ глубины и доставайте намъ оттуда... только не фразы, а въ самомъ дѣлѣ глубокія мысли, и, проникнувшись ими, выливайте ихъ въ звукахъ симпатичныхъ, затрогивающихъ, успокоивающихъ или раздирающихъ сердце, — и тогда мы невольно преклонимся передъ вами, мы будемъ восхищаться вашей поэзіей, будемъ сочувствовать ей, и намъ не придетъ въ голову писать на васъ пародіи...

Въ 5 № *Москвитянина* кто-то сказалъ, что пародіи Новаго Поэта *устремлены были и на произведенія бездарности и на произведенія талантовъ безъ различія и не разъ обличали въ авторѣ ихъ отсутствіе эстетическаго такта*, — что *пародіи Новаго Поэта на г. Огарева и Фета свидѣтельствовали только о грубости вкуса пародировавшаго и возбуждали въ людяхъ съ эстетическимъ тактомъ чувство довольно непріятное.*

Новый Поэтъ твердо убѣжденъ, что онъ точно обличилъ бы отсутствіе эстетическаго такта и грубость вкуса, если бы вздумалъ писать пародіи на произведенія такихъ талантовъ, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ, или на истинно-поэтическія произведенія и другихъ, второстепенныхъ поэтовъ. Такая нелѣпость никогда и не приходила ему въ голову, потому что онъ слишкомъ высоко цѣнитъ искусство и не позволитъ себѣ издѣваться надъ нимъ. Онъ очень уважаетъ таланты гг. Огарева и Фета, но въ то же время находитъ, что у нихъ, какъ и у всѣхъ второстепенныхъ талантовъ, есть слабыя стороны, что нѣкоторыя ихъ стихотворенія не выдержаны, а другія вовсе неудачны и слабы, а у послѣдняго, т. е. у г. Фета, есть даже и такія стихотворенія, которыя просто не имѣютъ смысла. *Новый Поэтъ* берется доказать это. Вотъ эти-то слабыя стороны этихъ поэтовъ, удачно или нѣтъ (это не ему судить), и старался подмѣчать Новый Поэтъ; но онъ никогда не писалъ и не

будетъ писать пародіи на такія стихотворенія г. Фета, какъ, напримѣръ, слѣдующее:

Сни. Еще зарею
Холодно и рано,
Звѣзды за горою
Блещутъ сквозь тумана, и проч.

или на стихотворенія г. Огарева: *Ночной сторожъ, Старый домъ* и другія т. п., потому что во всѣхъ этихъ стихахъ онъ находитъ истинную поэзію.

Отыщите же хоть одну пародію *Новаго Поэта* на произведенія истинно-поэтическія. Что у него были пародіи слабыя и неудачныя, это дѣло другое, — противъ этого мы не споримъ; но скажите, когда и чѣмъ именно онъ оскорбилъ вашъ тонкій эстетическій вкусъ, ваше чувство изящнаго?

PG
3337
P2
1888
t.5

Panaev, Ivan Ivanovich
Pervoe polnoe sobranie sochineniĭ

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY